

**ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

**ОБЩЕСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК**

**СЕРИЯ  
ОБРАЗЫ ИСТОРИИ**



**Кругъ  
Москва**

# **DIALOGUES WITH TIME**

## **MEMORY AND HISTORY**

Editor-in-Chief  
Lorina P. Repina



Krugh  
**Moscow 2008**

# **ДИАЛОГИ СО ВРЕМЕНЕМ**

## **ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ**

Под редакцией Л. П. Репиной



Кругь  
**Москва 2008**

**ББК 63. 3 (0)**

**Д 44**

*Издание осуществлено при финансовой поддержке  
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)  
Проект № 07–01–16069д*

**Д 44**

**ДИАЛОГИ СО ВРЕМЕНЕМ: ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ  
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ** / Под редакцией Л. П. Репиной. —  
М.: Кругъ, 2008. — 800 с.

В книге на материале различных культурных ареалов (Западной Европы, Руси / России, цивилизаций Востока) и эпох (Античности, Средневековья, Нового времени) исследуются образы времени и пространства, коллективные представления о прошлом и будущем, которые формируют матрицу восприятия происходящего и выполняют функцию ориентации индивидуального и группового поведения. Комплексное изучение феномена исторической памяти и традиций историописания в специфических социокультурных контекстах позволяет понять, как сохраняется и передается информация о событиях, как складываются и используются исторические мифы, как происходят изменения в историческом сознании.

Для специалистов-историков и культурологов.

© Л. П. Репина, общая редакция, составление, 2008  
© Коллектив авторов, 2008  
© Институт всеобщей истории РАН, 2008  
© Издательство «Кругъ», 2008

ISBN 9–7857–3960–1377

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	Память о прошлом и история ( <i>Л. П. Репина</i> ).....	7
----------	---	---

## Часть I

### ТЕОРИИ, ПОДХОДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

ГЛАВА 1	Современные <i>memory studies</i> и трансформация классического наследия ( <i>А. Г. Васильев</i> ).....	19
ГЛАВА 2	Обыденные представления о прошлом: теоретические подходы ( <i>И. М. Савельева, А. В. Полетаев</i> ).....	50
ГЛАВА 3	Обыденные представления о прошлом: эмпирический анализ ( <i>И. М. Савельева, А. В. Полетаев</i> ).....	77
ГЛАВА 4	Гражданская нация и негражданское историописание ( <i>Е. Е. Савицкий</i> ).....	100

## Часть II

### ИДЕЯ ВРЕМЕНИ И ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

ГЛАВА 5	Овладение будущим ( <i>Ж.-К. Шмитт</i> ), перевод с французского <i>М. Р. Майзульс</i> .....	127
ГЛАВА 6	История в хрониках: историческое сознание англосаксонской Англии ( <i>З. Ю. Метлицкая</i> ).....	149
ГЛАВА 7	Темпоральная организация истории: представления мыслителей западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени ( <i>М. С. Бобкова</i> ).....	202
ГЛАВА 8	Религиозная полемика и хронология: расчет пасхалии в английской религиозной полемике XVI в. ( <i>А. Ю. Серегина</i> ).....	222
ГЛАВА 9	Священная история в книжной проповеди: Симеон Полоцкий ( <i>М. С. Киселева</i> ).....	239
ГЛАВА 10	Временная глубина пространства в текстах средневековых арабских географов ( <i>И. Г. Коновалова</i> ).....	254
ГЛАВА 11	Течение времени и ход истории: средневековая Индия ( <i>Е. Ю. Ванина</i> ).....	283

ГЛАВА 12	Прошлое на службе современности: историческое сознание и процесс модернизации в Китае ( <i>Б. Г. Доронин</i> )..	318
ГЛАВА 13	Образы пространства и времени в имперском / колониальном и постколониальном дискурсах ( <i>И. Н. Ионов</i> ).....	337

### ЧАСТЬ III

#### ОБРАЗЫ ПРОШЛОГО: ФОРМЫ И СПОСОБЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ

ГЛАВА 14	История в драме — драма в истории: некоторые аспекты исторического сознания в классической Греции ( <i>И. Е. Суриков</i> ).....	371
ГЛАВА 15	Легенды прошлого: Троянская война в средневековой западной традиции ( <i>А. Н. Маслов</i> ).....	410
ГЛАВА 16	«Святой год» и «Вечный город»: образ юбилейного Рима ( <i>Н. А. Селунская</i> ).....	447
ГЛАВА 17	Событие и его интерпретации: «свидание в Шиноне» ( <i>О. И. Тогоева</i> ).....	467
ГЛАВА 18	Историческая память и технологии антикварного дискурса: Англия раннего Нового времени ( <i>А. А. Паламарчук, С. Е. Федоров</i> ).....	495
ГЛАВА 19	Модели естественной истории ( <i>В. В. Зверева</i> ).....	522
ГЛАВА 20	От Просвещения к романтизму: шотландская антикварная традиция и поиски национального прошлого ( <i>В. Ю. Апрыщенко</i> ).....	554
ГЛАВА 21	Идеология истории Ивана Грозного: взгляд из Речи Посполитой ( <i>К. Ю. Ерусалимский</i> ).....	589
ГЛАВА 22	Историческая память и образы прошлого в культуре пореформенной России ( <i>О. Б. Леонтьева</i> ).....	636
ГЛАВА 23	Мифологизация прошлого: советские революционные празднества 1917–1920-х годов ( <i>С. Ю. Малышева</i> ).....	682
ГЛАВА 24	Революция в диалогах эмигрантов о прошлом и будущем России ( <i>Н. Н. Алеврас</i> ).....	711
ГЛАВА 25	Фольклор как устная форма социокультурной памяти (на примере казачества) ( <i>Е. М. Белецкая</i> ).....	734
ГЛАВА 26	Время, события, герои в исторической памяти (на материале московских городских легенд) ( <i>А. С. Майер</i> ).....	762
SUMMARY	.....	791
CONTENTS	.....	796
АВТОРЫ	.....	798

# ВВЕДЕНИЕ

---

## ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ И ИСТОРИЯ\*

*Память «...черпает силу в тех чувствах, которые она пробуждает. История же требует доводов и доказательств»<sup>1</sup>.*

*Память, «есть “Другой”, который неустанно преследует историю»<sup>2</sup>.*

Разнообразие тематики современных исторических исследований наглядно демонстрирует имеющиеся в ней приоритеты, зоны особого интереса и горячих споров, основные направления теоретических и методологических поисков. В широчайшем диапазоне исследовательских подходов центральное место занимает антропологически ориентированная социокультурная история. Это и весьма обширный корпус работ, нацеленных на анализ исторических типов, форм, различных аспектов и казусов межкультурного взаимодействия («диалога культур и цивилизаций»), и проблема индивидуальной и коллективной идентичности, и, наконец, проблема соотношения времени, истории и памяти, которая чрезвычайно быстро оказалась в фокусе современной историографии и привлекла внимание представителей других социальных и гуманитарных дисциплин.

В значительной степени внимание к изучению ментальных стереотипов (в том числе темпоральных представлений) и феномену исторической / культурной памяти, было привлечено в результате междисциплинарного взаимодействия истории с культурной антропологией, а затем и в связи с экспансией постмодернистской парадигмы, ранее захватившей другие области гуманитарного знания, на «заповедную территорию» исторической науки. Ситуация рубежа тысячелетий во многом «подогрела» интерес общества и

---

\* Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках исследовательского проекта № 06–01–00453а.

<sup>1</sup> Про А. Двенадцать уроков по истории. М., 2000. С. 319.

<sup>2</sup> Мегилл А. Историческая эпистемология. М., 2007. С. 169.

историков к этой проблематике. Когда в конце XX века память в контексте современного плюралистического видения прошлого (речь идет о признании сосуществования конкурирующих «воспоминаний о прошлом») превратилась в ценность, проблематика памяти и идентичности выдвинулась на передовые позиции как в общественном сознании, так и в научных дискуссиях. Американский историк Аллан Мегилл точно обозначил это явление современной культурной жизни как «мемориальную манию» и даже постулировал правило: «когда идентичность становится сомнительной, повышается ценность памяти»<sup>3</sup>. Охватившая современное общество «мемориальность» была осознана как вызов рационально мыслящими профессионалами, позиция которых состояла в том, что «история не должна идти в услужение к памяти; она должна, конечно, считаться со спросом на память, но лишь для того, чтобы превратить этот спрос в историю»<sup>4</sup>.

Дело было, впрочем, не только в подведении итогов постепенно уходящего в историю XX века, но и в стремлении осмыслить актуальное состояние исторической науки, взглянув «с гребня эпох» (и с учетом ведущих тенденций) на ее возможные и наиболее вероятные перспективы в грядущем XXI столетии. Ведь именно в это время громко заявили о себе новые подходы, направленные не столько на исследование прошлого как реальности, сколько на анализ образов прошлого в историческом сознании, а представители ведущих направлений и научных школ, доминировавших в мировой историографии с середины XX века, ощутили весомую угрозу в «вызове постмодернизма».

В постмодернистской парадигме жизнеспособность коллективной памяти определяется ее имманентной связью с осознанной памятью членов группы. Второй ключевой момент, создающий преимущество коллективной памяти над Историей, видится в множественности первой и нормативно-унитарном характере второй<sup>5</sup>. Между тем именно мифы коллективной памяти, под-

---

<sup>3</sup> Там же. С. 138.

<sup>4</sup> *Про А.* Указ. соч. С. 319.

<sup>5</sup> Развернутое обоснование постмодернистской концепции памяти см. в статье: *Crane S. A. Writing the Individual Back into Collective Memory // American Historical Review.* 1997. P. 1372-1385. В качестве примера выступают две главные темы международных дискуссий об исторической памя-



держивающие претензии той или иной общности на высокий статус, материальные, территориальные, политические и иные преимущества в настоящем, базируются на стереотипизации и нетерпимы к каким-либо альтернативам и, тем более, к плюрализму мнений. Потребности в создании коллективной генеалогии, в «присвоении прошлого» через конструирование непрерывного исторического «нарратива идентичности»<sup>6</sup>, как, впрочем, и яркие свидетельства разрывов в культурной памяти, обнаруживаются в разные, в том числе ранние эпохи всемирной истории.

Сегодня в историографии (вслед за социологией и антропологией) на передний план вышла проблема изучения роли памяти в историческом конструировании коллективной идентичности. Процесс самоидентификации рассматривается как «процедура придания смысла» (на основе жизненного опыта или культурного присвоения унаследованного коллективного опыта). Социальное конструирование идентичности — сложный процесс, протекающий в контексте сменяющихся друг друга исторических ситуаций и подверженный воздействию разнонаправленных сил и многочисленных случайностей. В этом динамичном контексте образы уходящей реальности проходят процедуру стереотипизации, взаимодействуют с уже, казалось бы, обветшавшими, но удивительно живучими старыми мифологемами, способными актуализироваться в новых исторических обстоятельствах и трансформироваться сообразно возникающим общественным потребностям. Социальная память «вырастает» из разделяемых или оспариваемых смыслов и ценностей прошлого, которые «вплетаются» в понимание настоящего и в проекции будущего. При этом прошлое оказывается не менее проективным, чем будущее<sup>7</sup>.

---

ти: Холокост и дебаты германских историков. Исследования памяти о Холокосте составляют основной массив так называемых *memory studies*.

<sup>6</sup> Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001. С. 222.

<sup>7</sup> Метафора «зеркала» в применении к прошлому, верна только в том смысле, что на самом деле «век нынешний» вовсе не ищет в «зеркале» некий аутентичный образ минувшего, а именно *смотрится* в него, пристально вглядывается в собственный лик, «примеряя», например, новый образ единого национального прошлого, соответствующий запросам времени.

Известный немецкий историк Йорн Рюзен рассматривает процесс изменения идентичности как результат *кризиса исторической памяти*, который наступает при столкновении исторического сознания с опытом, не укладывающимся в рамки привычных исторических представлений. Рюзен предложил типологию кризисов (*нормальный, критический и катастрофический*) в зависимости от их глубины и тяжести и определяемых этим стратегий их преодоления. Первый может быть преодолен на основе внутреннего потенциала сложившегося типа исторического сознания с несущественными изменениями в характерных для него способах смыслообразования. Второй ставит под сомнение возможность адекватно интерпретировать зафиксированный в исторической памяти прошлый опыт в связи с новыми потребностями и задачами. В результате происходят коренные изменения в историческом сознании (формируется его новый тип), в ментальных формах сохранения исторической памяти, а также в основаниях и принципах идентификации. Наконец, кризис, определяемый как «катастрофический», препятствует восстановлению идентичности, ставя под сомнение саму возможность исторического смыслообразования<sup>8</sup>. Основным способом преодоления кризисов коллективного сознания является историческое повествование, оформляющее в определенную смысловую целостность прошлый опыт, зафиксированный в памяти в виде отдельных событий.

Социально сконструированные исторические мифы, представления о прошлом, воспринимаемые как достоверные «воспоминания» (как «история») и составляющие значимую часть данной картины мира, играют важную роль в ориентации, самоидентификации и поведении индивида, в формировании и поддержании коллективной идентичности и трансляции этических ценностей. В связи с этим возникает потребность в анализе формирования отдельных исторических мифов, их конкретных функций, среды их бытования, маргинализации или реактуализации в обыденном историческом сознании, их использования и

---

<sup>8</sup> См.: *Rüsen J. Studies in Metahistory*. Pretoria, 1993. См. также: *Рюзен Й.* Утрачивая последовательность истории (некоторые аспекты исторической науки на перекрестке модернизма, постмодернизма и дискуссии о памяти) // Диалог со временем. Вып. 7. М., 2001. С. 8-26.

идеологической переоценки, в том числе в сменяющих друг друга или конкурирующих нарративах национальной истории (поскольку все народы осознают себя в терминах исторического опыта, уходящего корнями в прошлое). В сети интерактивных коммуникаций происходит постоянный отбор событий, в результате чего некоторые из них подвергаются забвению, в то время как другие сохраняются, обрастают смыслами и превращаются в символы групповой идентичности. Решающая роль в конституировании коллективной идентичности принадлежит памяти о центральных событиях прошлого, будь то в модели «национальной катастрофы» или в модели «триумфа»<sup>9</sup>.

Образы прошлого варьируются, не в последнюю очередь, в зависимости от *времени*. Нельзя забывать о том, что выбор индивида на пересечении идентичностей делается каждый раз в конкретной ситуации<sup>10</sup>. Множественность идентичностей, наличие конкурентных версий исторической памяти, альтернативных воспоминаний даже об одних и тех же событиях и существование разных моделей интерпретации требуют разработки теоретических процедур, которые бы позволили поставить изучение соотношения «память / история / идентичность» на научную основу.

Разделяемая «картина мира» включает широкий комплекс представлений, ее ядро составляют взаимосвязанные представления о пространстве и времени. Значение темпорального компонента этой картины невозможно переоценить. Поэтому проблематика исторического сознания и исторической памяти

---

<sup>9</sup> Историческая память всегда мобилизуется и актуализируется в сложные периоды жизни нации, общества или какой-либо социальной группы, когда перед ними встают новые трудные задачи или создается реальная угроза самому их существованию.

<sup>10</sup> В одной из статей, написанных в ответ на критику «Войны и мира», Л. Н. Толстой объясняя неизбежные расхождения его версии с рассказами историков, указал на то, что при описании исторических событий «историк имеет дело до результатов события, художник — до самого факта события», то есть он ищет объяснения не в глубине исторической перспективы, а в ситуации, сложившейся в момент события. Это и есть то, что К. Поппер назвал «логикой событий», или «ситуационной логикой», благодаря которой в методологии «толстовской версии историцизма» соединяются индивидуализм и коллективизм. *Поппер К.* Нищета историцизма. М., 1993. С. 169-170.

предполагает также рассмотрение концепций времени в исторических традициях разных культур и эпох: представления о членении, измерении, движении, ценности времени, о соотношении прошлого, настоящего и будущего («связи времен» или разрыва между ними), а также образы общезначимого прошлого — эпох, событий, героев и пр.

Системы отсчета времени и периодизации прошлого включаются в понятие «режимов историчности», отражающее множественность способов деления времени в различных обществах и цивилизациях и включающее как объективную сторону их существования во времени, так и субъективную, т. е. восприятие времени субъектом истории (будь то индивид или группа). При этом сегодня ставится задача не просто констатировать особенности, но и направлять усилия на поиск всеобщего, характерного для всего человечества, в разных культурных концепциях времени. В связи с этим встает задача разработать новую методологию компаративной истории, применимую к сравнительному изучению исторического сознания и концепций прошлого, создать новый подход к историческому опыту, способный синтезировать единство человечества и темпоральное развитие, с одной стороны, и разнообразие и множественность культур — с другой<sup>11</sup>. В условиях, когда так много внимания концентрируется не на сходстве, а на различиях, не на универсальности, а на своеобразии, все более значимой становится роль антропологических универсалий, таких как представления о времени, заключенные в понятиях роста и упадка, рождения и смерти, изменения и преемственности, без которых не обходится любое повествование. Аналогичным образом могут быть выделены универсальные компоненты коллективных версий прошлого, такие, например, как характерные структурные элементы этноцентристской исторической мифологии, призванной объяснять мир, сплотить своих приверженцев и определенным образом направлять их действия (мифы о «золотом веке», «славных предках», «заключенном враге» и многие другие).

Вопрос о соотношении социальной / культурной памяти, знания о прошлом и истории как науки трактуется сегодня неоднозначно. Даже самые убежденные сторонники научного исто-

---

<sup>11</sup> Подробно см.: *Рюзен Й.* Указ. соч. С. 8-26.

ризма признают, что историю и память не всегда можно полностью отделить друг от друга, несмотря на самые решительные попытки их поляризовать<sup>12</sup>. Разумеется, история — это не память, и время истории строится как раз вопреки времени памяти, но это не значит, «что время истории — это время смерти воспоминаний»<sup>13</sup>. Однако, добывая из «достоверных источников» факты-события и организуя их в историческое повествование, историк, в конечном счете, предъявляет обществу свою «подлинную историю», которая претендует на то, чтобы стать общей социальной памятью, или, по меньшей мере, ее авторитетной версией. По мнению А. Мегилла, равным образом было бы ошибкой рассматривать память и историю переходящими друг в друга (например, думать о памяти как о сырьевом ресурсе для написания истории) или как простые оппозиции, поскольку связь истории с субъективностью неустранима в принципе. Но важно то, что «история *сама по себе* не порождает коллективное сознание, идентичность, и, когда она вовлекается в подобные проекты формирования и продвижения идентичности, результат плачевен»<sup>14</sup>. С одной стороны, нельзя забывать о живучести не до конца отрефлексированных ментальных стереотипов у самих историков и социальных стимулах их деятельности в области «нового мифостроительства», с другой, о присутствии и трансляции элементов знания о прошлом в самой памяти<sup>15</sup>, а также о процессах

---

<sup>12</sup> Широко цитируется знаменитое изречение Пьера Нора — «история убивает память». Вспомним, что в масштабном коллективном проекте (1983–1993 гг.) под его руководством приняли участие около ста французских историков. Сокращенное русское издание — *Нора П., Озуф М. и др.* Франция — Память. СПб., 1999. Подробное обсуждение этого вопроса см.: *Репина Л. П.* Память и историописание // История и память: Историческая культура до начала Нового времени / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2006. С. 19–46.

<sup>13</sup> *Про А.* Двенадцать уроков по истории. С. 116.

<sup>14</sup> *Мегилл А.* Историческая эпистемология. С. 169.

<sup>15</sup> Развернутый системный анализ разных типов знания о прошлом, механизмов его формирования и функционирования, специфики собственно исторического знания (в отличие от неспециализированных, неэкспертных форм знания о прошлом — мифологического, религиозного, философского, эстетического) представлен в фундаментальном труде: *Савельева И. М., Полетаев А. В.* Знание о прошлом: Теория и история. В 2-х тт. Т. 1. Конструирование прошлого. СПб., 2003. Т. 2. Образы прошлого. СПб., 2006. С. 52.

интеллектуализации обыденного исторического сознания, сколь бы неоднозначны и противоречивы они ни были.

В чем же заключается отличие «истории историков» от других репрезентаций прошлого? История как наука стремится к достоверности представления о прошлом, к тому, чтобы наши *знания* о нем не ограничивались тем, что является актуальным в данный момент настоящего. В то время как социальная память продолжает создавать интерпретации, удовлетворяющие новым социально-политическим потребностям, в исторической науке господствует подход, состоящий в том, что прошлое ценно само по себе, и ученому следует, насколько возможно, быть выше соображений политической целесообразности.

С XIX века, когда научная практика историков превратилась в общепринятый «правильный», критический метод изучения прошлого, она основывалась на трех принципах историзма. Во-первых, это признание различий между современной эпохой и всеми предыдущими (и потому в любом научном исследовании на первый план выступают именно отличия прошлого от настоящего). Во-вторых, предмет исследования должен рассматриваться в его историческом контексте (история — это «дисциплина контекста»<sup>16</sup>). В-третьих, это понимание истории как процесса — связи между событиями во времени. Что касается социальной памяти, то для нее характерны «линзы», обладающие серьезным искажающим эффектом: во-первых, *традиционализм*, который исключает важнейшее понятие развития во времени (то, что делалось в прошлом, считается авторитетным руководством к действиям в настоящем); во-вторых, *ностальгия*, которая, не отрицая факта исторических перемен, толкует их только в негативном плане — как утрату «золотого века»<sup>17</sup> и привычного образа жизни.

---

<sup>16</sup> Это определение, сформулированное в свое время выдающимся британским историком, классиком социальной истории второй половины XX века Э. П. Томпсоном в его широко известной статье об антропологии и «дисциплине исторического контекста» (*Thompson E. P. Anthropology and the Discipline of Historical Context // Midland History. 1972. № 3. P. 41-55*), стало для представителей профессиональной историографии своеобразным кредо, постоянно актуализируемым в текущих научных дискуссиях.

<sup>17</sup> См., в частности: *O'Brien J., Roseberry W. Golden Ages, Dark Ages: Imagining of the Past in Anthropology and History. Berkeley, 1991.*

ни («мир, который мы потеряли»); и напротив, в-третьих, *прогрессизм* — «оптимистическое верование», подразумевающее «не только позитивный характер перемен в прошлом, но и продолжение процесса совершенствования в будущем»<sup>18</sup>.

Между тем позиция историка в отношении социальной памяти не всегда последовательна: с одной стороны, ставятся вопросы о важнейших этических проблемах исторической профессии, преодолении европоцентризма, «ориентализма» и мифов о национальной исключительности, подчеркивается недопустимость «изобретения прошлого», его искажения и «инструментализации» в политических и каких-либо иных целях, а с другой стороны, активно обсуждается роль истории как фактора «социальной терапии», позволяющего нации или социальной группе справиться с переживанием «травматического исторического опыта». Вместе с тем, социальная память не только обеспечивает набор категорий, посредством которых члены данной группы или социума неосознанно ориентируются в своем окружении, она является также источником знания, дающим материал для сознательной рефлексии и интерпретации транслируемых образов прошлого, культурных представлений и ценностей. Перед историком памяти стоит задача изучить, как и почему создаются традиции, а также объяснить, почему определенные традиции соответствовали памяти определенных групп, учитывая при этом общекультурный и интеллектуальный контекст конкретной эпохи, весь комплекс факторов, воздействовавших на интерпретацию и трансформацию образов «ключевых» событий.

Не меньше трудностей представляет анализ средств контроля над исторической памятью. Как известно, «тот, кто контролирует прошлое, контролирует будущее». Речь идет об исторической легитимации как источнике власти и об использовании исторических мифов для решения политических проблем. Известно, что борьба за политическое лидерство нередко проявляется как соперничество разных версий исторической памяти и разных символов ее величия и позора, как спор по поводу того, какими эпизодами истории нация должна гордиться или стыдиться. Содержание коллективной памяти меняется в соответствии с социальным контекстом и прак-

---

<sup>18</sup> См.: Тош Дж. Стремление к истине. М., 2000. С. 11-32.

тическими приоритетами. Активно навязываемый аудитории образ прошлого становится нормой ее собственного представления о себе и формирует ее реальное поведение. Уместно вспомнить слова Ю. М. Лотмана о том, что даже если «такого рода текст расходится с очевидной и известной аудитории жизненной реальностью, то сомнению подвергается не он, а сама эта реальность, вплоть до объявления ее несуществующей»<sup>19</sup>. Так социальные потребности формируют искаженный образ прошлого.

Здесь обнаруживается обратная связь с важнейшими этическими проблемами исторической профессии, в числе которых — как раз недопустимость «изобретения прошлого», его искажения и инструментализации в каких бы то ни было целях. Одной из важнейших задач исторической науки является демифологизация прошлого, но все же историография не обладает достаточно стойким иммунитетом от прагматических соображений. Существует немало средств социального контроля над историей — не только прямое давление или запреты, но и более мягкие, скрытые ограничения и особые «механизмы поощрения», которые, так или иначе, воздействуют на формирование различных историографических традиций. Из этого следует вывод: одной из важнейших задач историков является противостояние социально мотивированным ложным истолкованиям прошлого. Ни одна националистически или политически ангажированная версия истории не способна пройти проверку научным исследованием<sup>20</sup>.

Диалог с прошлым — постоянный и динамический фактор развития любой цивилизации. Вот почему в исследовательском проекте «Образы времени и исторические представления в цивилизационном контексте: Россия — Восток — Запад», первым итогом которого является представленная книга, была поставлена амбициозная цель разработать ключевые аспекты этой сложнейшей проблемы на обширном конкретном материале разных регионов Западной Европы, России и стран Востока, исследовать как наличествующие культурные универсалии (при всем плюра-

---

<sup>19</sup> Лотман Ю. М. Литературная биография в историко-культурном контексте // Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. 1. Таллин, 1992. С. 368.

<sup>20</sup> Подробнее об этом см.: Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М., 2000. С. 11-32.



лизме исторических культур и специфике траекторий их развития) или плоды межкультурного взаимодействия (рецепции), так и цивилизационные особенности, а также их преломление на различных этапах развития социумов<sup>21</sup>. Проект специально ориентирован изучение таких аспектов исторического сознания, как его укорененность в историческом опыте, нормативно-ценностный характер, признание — в разной степени и в разных терминах — различия между прошлым и настоящим и понимание истории как процесса — связи между событиями во времени.

Авторский коллектив пытается решить две взаимосвязанные задачи: рассмотреть, как представители разных культур интерпретировали прошлое, а также предметно проанализировать генезис, структуру, социальное функционирование и механизм замещения наиболее живучих исторических мифов и стереотипов в стабильные и переломные эпохи истории. Авторы исходят из того, что историческое сознание, конструируя образ прошлого, соотнобразует с социокультурными запросами современности: происходящие в обществе перемены порождают у него новые вопросы к минувшему, трансформируя сложившиеся представления об истории, и чем значительнее происходящие в обществе изменения, тем радикальнее они изменяются, оказывая, в свою очередь, обратное влияние на социальные процессы. Максимальное расширение пространственно-временных рамок исследования, изучение исторических представлений, зафиксированных в письменных традициях разных эпох, культурных ареалов, цивилизаций требует новых моделей описания и типологизации основных форм исторического сознания как одного из фундаментальных цивилизационных компонентов. И эта работа непременно будет продолжена.

Комплексное исследование исторического сознания в цивилизационной перспективе опирается на социокультурный подход. Согласно этому подходу, общество понимается как система, возникающая и изменяющаяся в результате взаимодействий социальных субъектов, наделенных ментальными, ценностными, этиче-

---

<sup>21</sup> Историчность рассматривается как антропологическая универсалия, регулирующая ментальные операции, связанные с ориентацией исторических субъектов разного уровня (отдельных индивидов, социальных групп и общества в целом), и опирающаяся на историческую память.

скими характеристиками, которые, в свою очередь, определяются исторически сформированным контекстом культуры, понимаемой как совокупность способов и результатов деятельности человека (включая идеи, ценности, нормы, образцы поведения). Анализ работ наиболее видных представителей «новой культурной истории», позволяет констатировать: такой подход, рассматривающий общество в единстве его социально-структурных и культурно-исторических характеристик, дает возможность выявить исторически складывающиеся социокультурные ограничения, закрепленное в системе понятий, норм, правил, обычаев, идеалов и ценностей «принуждение культурой» (по выражению Р. Шартье) и воспроизводимые программы — образцы поведения и деятельности социальных субъектов (индивидов и групп), обеспечивающие передачу исторического опыта от поколения к поколению.

Именно в этом ракурсе рассматриваются представления о прошлом и формы проявления исторической памяти, прямые или косвенные оценки и суждения, скрытая или открытая рефлексия авторов исследуемых текстов относительно эпох, событий, деятелей и явлений исторического прошлого. Речь идет об изучении исторических представлений как об относительно недавнем прошлом, так и о событиях весьма отдаленных, причем в центре исследования — социально и культурно обусловленные коллективные стереотипы, обладающие значительной устойчивостью, иногда сохраняемой на протяжении многих столетий.

Книга состоит из трех частей. Первая часть посвящена теоретическим проблемам, характеристике различных подходов и концепций в рассматриваемом исследовательском поле. Во второй части речь идет об идеях и образах времени в разных культурно-цивилизационных пространствах. В нее входят конкретные исследования различных типов исторического сознания в связи с развитием исторической мысли и практики историописания. Наконец, в третьей части представлены исследования, в фокусе которых находятся формы и способы конструирования образов прошлого в различных культурных системах и на разных этапах развития — от Античности до Современности.

# ЧАСТЬ I

## ТЕОРИИ, ПОДХОДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

---

### ГЛАВА 1

## СОВРЕМЕННЫЕ *MEMORY STUDIES* И ТРАНСФОРМАЦИЯ КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

«Мемориальный бум» в социально-гуманитарных науках последних десятилетий привёл многих исследователей к выводу о том, что на сегодняшний день сформировалась (или формируется) новая парадигма социально-гуманитарных исследований, связанная с понятиями «память», «воспоминание», «забвение». Соответствующее дискурсивное пространство формировалось постепенно. Ещё на протяжении 1980-х гг. многие сюжеты, которые позднее стали основополагающими для «мемориальных исследований», рассматривались в рамках изучения традиции, наследия, политической мифологии и т. д.<sup>1</sup>

Поток работ, которые могут быть отнесены к области «исследований памяти» (memory research), в разных областях науки на протяжении 1980–90-х гг. нарастал лавинообразно. Для обозначения коллективного измерения памяти было предложено большое количество терминов (“collective memory”, “social memory”, “cultural memory”, “popular memory”, “public memory” в англоязычном контексте). Большинство из них до сих пор не получило сколько-нибудь однозначных определений, их взаимное соотношение тоже остаётся предметом дискуссий.

В 1989 г. начал издаваться журнал «История и память. Исследования в области репрезентаций прошлого»<sup>2</sup>. Исследования

---

<sup>1</sup> См., например: *Shils E. Tradition*. Chicago, 1981; *The Invention of Tradition* / Ed. by Hobsbawm E., Ranger T. N. Y., 1983; *Lowenthal D. The Past is the Foreign Country*. N. Y., 1988.

<sup>2</sup> *History and Memory: Studies in Representation of the Past*.

коллективной памяти стали местом встречи социологов, историков, психологов, социальных (культурных) антропологов, литературоведов, специалистов в области теории массовых коммуникаций и др. Уже к середине 1990-х гг. были сделаны первые попытки осмысления состояния исследовательского поля и степени его интегрированности<sup>3</sup>.

В опубликованной в 1992 г. книге «Культурная память. Письменность, воспоминание и политическая идентичность в ранних цивилизациях» Ян Ассман писал так: «всё говорит о том, что вокруг понятия воспоминания выстраивается новая парадигма наук о культуре, что различные явления и сферы культуры — искусство и литература, политика и общество, религия и право — могут быть рассмотрены в новой связи»<sup>4</sup>. В 1995 г. была опубликована этапная в этом отношении статья профессора Б. Зелицер (B. Zelizer) «Прочитывая прошлое “против шерсти”. Очертания memory studies»<sup>5</sup>. В ней выделены шесть основных положений, вокруг которых так или иначе структурируется поле “collective memory studies”. Фактически речь шла о попытке обозначения поля исследований, формирующегося вокруг нескольких основополагающих положений. Это, во-первых, трактовка коллективной памяти как процесса постоянного развёртывания, трансформаций и видоизменений; во-вторых, восприятие коллективной памяти как явления непредсказуемого, которое далеко не всегда носит линейный, рациональный, логический характер; в-третьих, коллективная память рассматривается с точки зрения вырабатываемых ею стратегий обращения со временем в интересах тех или иных социальных групп; в-четвёртых, память берётся в связи с

---

<sup>3</sup> «Social memory studies is or social memory studies are?», — задаётся вопросом один из авторитетных исследователей социальной памяти Дж. Олик (*Olick J. K. “Collective memory”: memoir and prospect // Memory studies. 2008. Vol. 1(1). P. 25*). В немецкоязычном контексте утвердился термин *Gedächtnisforschung*.

<sup>4</sup> *Assman J. Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München, 1992. S. 11.* (Рус. пер.: *Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004*).

<sup>5</sup> *Zelizer B. Reading the Past Against the Grain: The Shape of Memory Studies // Critical Studies In Mass Communication. Vol. 12. № 2. 1995. P. 214-239.*

пространством, «местами» и ландшафтами памяти, прослеживается топография социально значимых воспоминаний; в-пятых, коллективная память понимается как избирательная, социально распределённая, потенциально конфликтная; в-шестых, коллективная память видится здесь в «инструменталистской» перспективе, с точки зрения использования её социальными группами для достижения определённых целей и получения тех или иных выгод и преимуществ.

В 1998 г. была опубликована ещё одна работа, имевшая целью определить состояние проблемного поля “social memory studies”. Это — статья Дж. Олика и Дж. Роббинса «Исследования социальной памяти: от “коллективной памяти” к исторической социологии мнемонических практик»<sup>6</sup>. В ней авторы определили данное направление исследований как «непарадигмальное, междисциплинарное, децентрированное предприятие»<sup>7</sup>. Вместе с тем, авторами были намечены основные направления дальнейшего развития “social memory studies”. Это — изучение социальной памяти в связи с проблематикой коллективных идентичностей, прослеживание истории мнемонических практик, выработка подходов к разрешению и регулированию конфликтов, связанных с коллективной памятью, а также осуществление масштабной программы реформирования всей проблематики социологии как таковой в свете мемориальной перспективы.

Признание важности и перспективности данного направления исследований в научном сообществе обычно сопровождается констатацией того, что данное поле слабо интегрировано, структурировано, отсутствует единство мнений вокруг ключевых определений и основополагающих проблем<sup>8</sup>. Вот как пишет об этом

---

<sup>6</sup> Olick J. K., Robbins J. Social memory studies: From “collective memory” to the historical sociology of mnemonic practices // *Annual Review of Sociology*. Vol. 24. 1998. P. 105-140.

<sup>7</sup> Ibid. P. 105.

<sup>8</sup> Ситуация с определенностью ключевого концепта *memory studies* напоминает проблему с многообразием определений понятия “культура”. Как известно, в 1952 г. два американских антрополога А. Крёбер и К. Клакхон опубликовали книгу «Понятие культуры: критический обзор определений», в которой систематизировали 150 дефиниций культуры. В 2007 г. вышла статья Э. Тулвинга «Существует ли 256 различных видов

один из современных теоретиков: «...успех *memory studies* не сопровождался существенными концептуальными и методологическими успехами в исследовании процессов коллективной памяти... Эти методологические проблемы даже усиливаются в результате метафорического использования терминологии из области психологии или неврологии, которая искажённо представляет социальную динамику коллективной памяти как результат воздействия и продолжение индивидуальной автобиографической памяти»<sup>9</sup>.

Более мягкую позицию заняли в то же самое время немецкие исследователи-редакторы коллективного труда «Контексты и культуры воспоминаний. Морис Хальбвакс и парадигма коллективной памяти» Г. Ехтерхофф и М. Саар. Во введении к работе они писали: «Когда мы... говорим о “парадигме” коллективной памяти, то это не следует понимать в том “сильном” смысле, который изначально был придан этому понятию Томасом Куном в его исторической социологии науки. Введение понятия коллективной памяти очевидно не означает теоретической революции в том смысле, что старые проблемы оказались разрешены в рамках новой теории, или же вообще потеряли смысл... Напротив, парадигматическим (в “слабом” смысле) введение этого нового понятия или концепции является потому, что оно по-новому открывает целую область явлений и представляет в новом свете те феномены, которые до сих пор понимались совершенно иначе»<sup>10</sup>.

Можно заметить, что ни отсутствие единой общепризнанной теории памяти, взятой в её коллективном измерении, ни многообразие терминов не препятствуют тому, чтобы говорить о «парадигме памяти» в современном социально-гуманитарном зна-

---

памяти?», где приведён список всех обнаруженных автором словосочетаний, в которых встречается слово «память» (ложная, бессознательная, распределённая, произвольная, моторная и т. д. и т. п.). См.: *Tulving E. Are There 256 Different Kinds of Memory? // The Foundations of Remembering / Ed. by J. S. Nairne. N. Y., 2007.*

<sup>9</sup> *Kansteiner W. Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique of Collective Memory Studies // History and Memory. 41. 2002. P. 179.*

<sup>10</sup> *Kontexte und Kulturen des Erinnerns. Maurice Halbwachs und das Paradigma des kollektiven Gedächtnisses / Gerald Echterhoff, Martin Saar (Hg.). Konstanz, 2002. S. 14.*

нии. Наличие общей «мемориальной» перспективы, позволяющей рассматривать под единым углом зрения многообразные и до сих пор мало связанные между собой феномены, является для этого вполне достаточным основанием. Х. Л. Рёдигер и Дж. В. Вертш писали об этом так: «Мы полагаем, что *memory studies* — слишком обширное поле, чтобы какие-либо всеобъемлющие теории смогли привести его к единству и попытаться объяснить всё огромное число явлений, представляющих интерес. Скорее, как нам представляется, здесь будет развиваться ситуация, аналогичная той, которая имеет место в психологии памяти. Там сосуществует много теорий памяти, каждая из которых пытается объяснить достаточно скромный и строго очерченный круг фактов и явлений. Несомненно, что то же самое будет верно и для *memory studies*, пока они созреют как исследовательское поле. Будут возникать новые концепты и термины, будут создаваться новые теории»<sup>11</sup>.

Начало нового важного этапа оформления «парадигмы памяти» пришлось на последние несколько лет. Стали появляться первые обобщающие работы по *memory studies*. В 2003 г. вышла книга Б. Мишталь «Теории социальной памяти»<sup>12</sup>. В печати находится первый учебник в этой области<sup>13</sup>. На протяжении последних лет в Вашингтонском университете Сент-Луис действует двухгодичная программа обучения в области *memory studies* под названием «Память в голове и в культуре». Издательство *SAGE* начало издание первого журнала, призванного освещать «мемориальную проблематику» как самостоятельную область исследований, а не в связи с историей, психологией и другими науками, как это было до сих пор. В январе 2008 года вышел первый номер журнала «*Memory studies*». В частности, в нём была представлена статья Дж. К. Олика<sup>14</sup>, в которой автор возвращается к теме своей работы десятилетней давности — проблеме состояния и перспектив *memory studies*. Поставленный тогда им вместе с Дж. Роббинсом диагноз он оставляет в силе. Данное «предприятие» и сейчас,

---

<sup>11</sup> *Roediger H. L. (III), Wertsch J. V. Creating a new discipline of memory studies // Memory Studies. 2008. Vol. 1 (1). P. 18-19.*

<sup>12</sup> *Misztal B. Theories of Social Remembering. Maidenhead, 2003.*

<sup>13</sup> *Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook / Ed. by Erll A., Nünning A. Berlin; N. Y.*

<sup>14</sup> *Olick J. R. Op. cit.*

по его мнению, остаётся «непарадигмальным, междисциплинарным, децентрированным». Эту ситуацию он предлагает преодолевать через большую степень институционализации, «интеллектуальной организации» и «парадигматизации» исследовательской работы. Она, по мнению автора, должна проходить «поверх» традиционных дисциплинарных границ, вырабатывая одновременно свой «канонический свод» классических текстов, определений, критериев отнесения к исследовательскому полю.

Как любая область исследований, находящаяся в состоянии становления и институционализации, *memory studies* активно обращается к своим истокам. Точнее — ищет истоки и выстраивает свою генеалогию. Как хорошо известно специалистам по культурной (социальной) памяти, формирование нарратива своего происхождения и истории — неотъемлемая часть формирования любой идентичности, в том числе и идентичности научного сообщества той или иной дисциплины, претендующей на академический статус. Одним из важных направлений деятельности учёных, озабоченных институционализацией и «парадигматизацией» *memory studies*, является оформление «канонического» набора текстов и авторов, в первую очередь — основоположников, вокруг которых как вокруг общепризнанных авторитетов могла бы выстраиваться идентичность исследовательского сообщества.

Задача эта не так проста, как может показаться на первый взгляд. Причина сложностей заключается в разнообразии дисциплинарных и национальных научных традиций, взаимодействующих в данном интеллектуальном пространстве. Список «отцов-основателей» *memory studies* постоянно расширяется, обновляется и модифицируется. Среди них — Ф. Ницше, Дж. Г. Мид, В. Беньямин, Л. С. Выготский и др. Интересные мысли, ретроспективно вписывающиеся в «мемориальную парадигму», можно обнаружить у К. Маркса и Г. Зиммеля.

Однако есть два автора, чей авторитет основоположников мемориальной проблематики является общепризнанным. Именно с их работами 1920-х гг. связан переход от видения памяти как феномена индивидуального сознания, локализованного в голове человека и представляющего собой статичное хранилище “следов”, информационных отпечатков, к пониманию того, что содержание памяти, структурирование, припоминание или забвение



информации в значительной степени определяется извне, господствующими в социальной группе нормами, потребностями текущей политической ситуации и т. п.

В первую очередь — это французский социолог, яркий представитель школы Дюркгейма, М. Хальбвакс (1877–1945). Упоминание его имени в той или иной связи является практически обязательным в любой работе, посвящённой проблематике *memory studies* вне зависимости от конкретной темы и национальности автора. Второй такой фигурой является немецкий искусствовед А. Варбург (1866–1929). Однако понимание общеметодологического значения его трудов для исследований социальной (культурной) памяти начало приходить сравнительно недавно. Долгое время в нём видели в первую очередь искусствоведо-основоположника иконологии. Несколько эзотерический характер его мысли и сложность языка изложения привели к тому, что на него как на предтечу *memory studies* ссылаются преимущественно немецкоязычные авторы.

В связи с этим интересно проследить (пусть даже по необходимости избирательно и конспективно) развитие и преломление основных тем, обозначенных и развитых в их работах, в пространстве современных *memory studies*<sup>15</sup>. Это необходимо для более успешного развития процессов самоидентификации нового исследовательского поля и академической дисциплины.

Шаг от трактовки памяти как индивидуального состояния к идее социальной памяти А. Варбургу позволило сделать понятие символа. Основополагающие для культуры символы возникли в доисторическую эпоху как результат оргастического восторга, захваченности силами дионисийского религиозного энтузиазма, порыва примитивных чувств и страстей. Именно эти потоки эмо-

---

<sup>15</sup> Мы позволим себе здесь не излагать подробно взгляды обоих авторов, обозначив конспективно лишь основные проблемные узлы, получившие затем развитие в современных *memory studies*. На этот счёт существует достаточно обширная литература. В том, что касается теории коллективной/социальной памяти М. Хальбвакса, следует в первую очередь сослаться на работы Жерара Наме (например, *Namer G. Halbwachs et la mémoire sociale*. P., 2000 и др.). Что касается А. Варбурга, то непревзойдённой остаётся книга Э. Гомбриха (*Gombrich E. H. Aby Warburg. Eine intellektuelle Biografie*. Hamburg, 1992).

циональной энергии кристаллизуются в художественных символах, получая возможность внеиндивидуального существования и передачи на большие временные дистанции. Они входят в коллективное бессознательное человечества. Как таковые они не могут быть ни полностью забыты, ни припомнены в их первоначальном виде. Зато они могут вновь и вновь возвращаться в новых обликах, выполняя различные функции в историко-культурном процессе.

Варбург начинал свою научную деятельность с изучения мотивов развевающейся одежды у Боттичелли и фигуры бегущей женщины-нимфы у Гирландайо. Как создатель теории социальной памяти он видит в них новое переживание образов Медеи, танцующих менад, вакханалий и т. д. Жизнь античных образов прослеживалась Варбургом далеко за пределами эпохи Ренессанса, вплоть до произведений импрессионистов и современных рекламных плакатов. Варбург, таким образом, ставит, хотя и в весьма своеобразной форме, проблему носителей исторической памяти и способов её трансляции во времени. Его подход к художественному образу можно назвать культурологическим. Художественно-эстетическая ценность произведения принципиального значения для него не имеет. Носителем памяти, запечатлённой в образе, могут быть как полотно великого мастера, так и почтовая марка. В этом отношении они совершенно равнозначны для автора.

Для становления концепции М. Хальбвакса принципиальное значение имели философия А. Бергсона и социология Э. Дюркгейма. Используя концепцию “коллективного сознания” Дюркгейма, Хальбвакс переносит рассмотрение памяти из «недр духа» (А. Бергсон) в окружающий субъекта социальный контекст. Специфика подхода Хальбвакса заключается в интерпретации памяти как социально обусловленного явления. Память — частичное и избирательное воссоздание прошлого, ориентиры для которого определяет общество. Индивид способен реконструировать прошлое только как член определённой группы, которая и задаёт “рамки” воспоминаний. То, что в них не укладывается, подлежит забвению. Память — продукт социализации, результат участия в коммуникативных процессах, функция от включённости индивида в разнообразные социальные группы.

«Фундаментальный вклад Хальбвакса в изучение социальной памяти заключается в обосновании им связи между социальной группой и коллективной памятью. Его положение о том, что каждая группа формирует память о своём собственном прошлом, которая обосновывает её уникальную идентичность, продолжает оставаться отправной точкой для всех исследований в этой области»<sup>16</sup>, — пишет Б. Мишталь.

М. Хальбвакс рассматривает функции памяти в различных социальных общностях, с которыми личность может себя идентифицировать (семья, социальный класс, религиозная группа, профессиональное сообщество). «Вспомнить» для человека означает ставить себя мысленно на место той или иной группы, перемещаться от одной «рамки» к другой (воспоминания о совместном посещении какого-либо места, совместной учёбе и т. п.). Индивидуальная память всегда «социально оформлена», введена в социальные рамки<sup>17</sup>, подчинена правилам формирования памяти коллективной. Когда человек перестаёт быть членом группы, определённая часть его воспоминаний лишается внешней опоры, ослабевает и стирается. Это позволяет говорить о памяти у Хальбвакса как об «аутопоэтической»<sup>18</sup>, самовоспроизводящейся системе, которая постоянно воссоздаётся и поддерживается в актах социальной коммуникации.

По Хальбваксу, коллективная память — фактор, объединяющий группу, поддерживающий её идентичность. Места, события, герои, воплощают группу, обозначают её сущность и специфику. К ним необходимо более или менее регулярно обращаться для поддержания чувства солидарности и единства. Так у Хальбвакса возникает тема «мест памяти». Важный для жизни коллектива опыт должен получить пространственно-временную фиксацию (календарь памятных дат, топография значимых мест, связанных с

---

<sup>16</sup> *Misztal B. Op. cit. P. 51.*

<sup>17</sup> Это даёт основание современным исследователям зачастую проводить параллели между анализом социальных «рамок» Хальбвакса и «фреймовым» анализом Э. Гофмана, принадлежащего к совершенно противоположной дюркгеймианству интеракционистской интеллектуальной традиции.

<sup>18</sup> Используя заимствованный из биологии термин знаменитого немецкого социолога Н. Лумана.

важными для самоидентификации группы лицами и событиями). Примером “специализации” памяти для М. Хальбвакса служит топография Святой земли. Здесь сообщество христиан образовало настолько прочное соединение с территорией, что эта связь продолжает объединять их и тогда, когда большая часть христиан уже физически отделена от Палестины.

Учитель Хальбвакса, Э. Дюркгейм, в своей последней книге «Элементарные формы религиозной жизни» обращал внимание на тотемические культы первобытных австралийских племён, где тотем выступал как воплощение социальной общности, а регулярные ритуалы были призваны поддерживать её сплочённость и идентичность. Можно сказать, что Хальбвакс в данном случае развил и универсализировал идею основоположника французской социологической школы.

Поддержание идентичности требует ощущения непрерывности истории. Коллектив, адаптируя новые явления и идеи, должен периодически проводить переинтерпретацию прошлого так, чтобы эффект новизны был утрачен и новое предстало продолжением исторической традиции. Поэтому прошлое в коллективной памяти постоянно подвергается реорганизации. В этой картине прошлого должны отсутствовать большие перемены и разрывы, чтобы группа могла бы себя узнать в ней на любом историческом этапе. Отсюда возникает ещё одна важная идея французского социолога о том, что прошлое той или иной общности не является чем-то «естественным», постоянным и объективно данным. Образ прошлого подвергается постоянным видоизменениям, приспособляясь к меняющейся текущей ситуации.

Таким образом, кратко рассмотрев основную проблематику, затронутую основоположниками исследований коллективной / социальной памяти, можно выделить несколько сюжетов, которые, будучи связаны с их творчеством, и сегодня отчётливо структурируют поле *memory studies*. Перечислим их:

- проблема соотношения индивидуальной и коллективной памяти и вытекающая из неё проблема онтологического статуса таких понятий как «коллективная / социальная / культурная память»;
- проблема степени пластичности коллективной памяти, степени возможной свободы конструирования того или

инога образа прошлого в соответствии с запросами современности;

- проблематика социально-культурных функций памяти;
- изучение носителей памяти и их историко-культурных трансформаций;
- внутренняя организация содержания памяти и её динамика;
- соотношение памяти и истории.

Попробуем теперь рассмотреть некоторые преломления и развитие исследований этих вопросов в рамках современных *memory studies*.

Часто обсуждается вопрос о том, насколько вообще правомерно говорить о существовании коллективной памяти в философско-онтологическом смысле. Концепции Хальбвакса и Варбурга, так или иначе, были связаны с «реалистической» тенденцией в социальной мысли, склонной приписывать реальное бытие коллективным сущностям, коллективному сознанию и т. д. Хальбвакс вышел из школы Дюркгейма, утверждавшего, что общество и вырабатываемые им представления — «реальность особого рода». Варбург — во многом наследник немецкой идеалистической философии, допускавший существование «коллективной души», на которой яркие события прошлого оставляют «отпечатки».

Принять подобные тезисы современная наука вряд ли может. Невозможно говорить о бытии коллективной памяти в буквальном смысле. Однако что-то мешает и признать это понятие чистой метафорой. Субстанцию коллективной памяти составляют общие, разделяемые всеми членами группы, знаки и символы, вокруг которых выстраивается коллективная идентичность<sup>19</sup>. «Коллективные воспоминания, — пишет В. Канштайнер, — возникают из общих коммуникаций, касающихся значения прошлого, укоренённого в жизненных мирах индивидов, принимающих участие в совместной жизни соответствующих коллективов»<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> См. об этом, например: *Assmann A. Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München, 1999. S. 132.*

<sup>20</sup> *Kansteiner W. Op. cit. P. 188.* Похожим образом высказывались в последнее время и другие крупные специалисты в этой области (см., например: *Terdiman R. Present Past. Modernity and the Memory Crisis. Ithaca;*

Проблема соотношения индивидуальной и коллективной социальной / культурной памяти и сегодня остаётся актуальной и обсуждаемой. Речь идёт о том, чтобы, признавая роль социальной среды, формирующей у индивида определённый образ прошлого, в то же время избежать трактовки субъекта как послушного автомата, пассивно воспринимающего стереотипы социальной группы<sup>21</sup>. Наиболее значимой в этой связи является работа Дж. Фентресса и К. Уайкема «Социальная память»<sup>22</sup>. Особое внимание здесь также обращается на процесс социальной коммуникации. Совместные рассказы о прошлом превращают индивидуальные воспоминания в социальные. При этом неповторимо индивидуальные образы памяти артикулируются в речи, тексте, ритуале, изображениях, которые для того, чтобы их восприняли должны быть конвенциональны, понятны для всех членов группы и определённым образом клишированы, упрощены, адаптированы для всеобщего восприятия.

Положение Хальбвакса о том, что образ прошлого является социокультурным конструктом, а не данностью, сегодня практически никем не оспаривается. Проблемой является, однако, степень податливости этого образа к манипуляциям. Дискуссии о степени пластичности памяти были связаны в первую очередь с публикацией в 1983 г. сборника статей «Изобретение традиции» под редакцией Э. Хобсбаума и Т. Рэнджера<sup>23</sup>. Направление, связанное с их подходом к социальной памяти, получило название «теория политики памяти». Здесь акцент делается на анализе того, как политически доминирующие группы манипулируют об-

---

N. Y., 1993. P. 34; Zelizer B. Remembering to Forget. Holocaust Memory through Camera's Eye. Chicago, 1998. P. 4).

<sup>21</sup> Степень свободы и автономии индивида по отношению к социальной общности, влияющей на формирование его памяти, у Хальбвакса остаётся достаточно дискуссионным вопросом. Во всяком случае, обычно отмечается большая гибкость его подхода, по сравнению с Э. Дюркгеймом (см.: Misztal B. Op. cit. P. 54-55). По Варбург же, степень освобождения индивида от власти архаических отпечатков прошлого — нравственный долг и показатель прогресса культуры, прогресса, который, однако, автоматически ни человеку, ни культуре не гарантирован.

<sup>22</sup> Fentress J., Wickham C. Social memory. Oxford, 1992.

<sup>23</sup> The Invention of Tradition / Eds. Hobsbawm E. and Ranger T. N. Y., 1983.

рами исторического прошлого и внушают массам определённую концепцию истории, легитимизирующую их политические цели и господство. Исследователи, принадлежащие к этому направлению, стремятся показать, как новые традиции и ритуалы произвольно конструируются в соответствии с текущими политическими реалиями и потребностями. Память фактически оказывается здесь тождественной политической идеологии.

Однако в рамках данного подхода остаётся без ответа вопрос о пределах этого конструирования. Свободны ли люди (и особенно элиты) изобретать всё, что угодно? Есть ли тут какие-нибудь ограничения? А если нет, то почему далеко не всегда такое конструирование оказывается удачным?

В ответ на этот вопрос возник «динамически-коммуникативный» подход к социальной (культурной) памяти. Он делает акцент на существовании коллективной памяти в процессе социальной коммуникации и на тех структурных ограничениях, которые накладываются контекстом на участников взаимодействия, желающих переинтерпретировать прошлое в своих интересах. С точки зрения этого подхода, память конструируется не только «сверху», правящими элитами, но и «снизу», со стороны подчинённых групп.

Как писал М. Шадсон, конфликт различных групп по поводу видения прошлого в дальнейшем ограничивает наши возможности реконструировать его в соответствии с нашими интересами<sup>24</sup>. Определённые исторические события становятся своеобразными культурными «топосами», «рамочными моделями», при помощи которых затем рассматриваются все другие, в чём-то на них похожие, события. Таким образом, прошлое, задавая образец постижения настоящего, входит в современность культуры. Память, отмечает ещё один представитель этого направления Б. Шварц, — «культурная программа, ориентирующая наши намерения, склонности и дающая нам возможность действовать»<sup>25</sup>. Таким образом, политика памяти в этой перспективе не может рассматри-

---

<sup>24</sup> *Schudson M.* The present in the past versus the past in the present // *Communication*. 11. 1989. P. 109.

<sup>25</sup> *Schwartz B.* Abraham Lincoln and the Forge of National Memory. Chicago, 2000. P. 251.

ваться как беспроблемный процесс манипуляции с податливым историческим и человеческим материалом. Любые стратегии в этом поле могут столкнуться с контр-стратегиями, так как из одного и того же материала можно создавать разные нарративы, обосновывающие разные идентичности.

О функциях коллективной памяти также немало написано в последние десятилетия. Однако, если суммировать всё сказанное, то можно, пожалуй, согласиться с мнением известного польского социолога Б. Шацкой<sup>26</sup> о том, что таких функций всего две — формирование идентичности и легитимация.

Коллективная память формирует сознание общего прошлого у членов социальной общности, вызывает эмоциональное переживание долгого совместного пребывания во времени, транслирует ценности и образцы поведения. Определённые события прошлого теряют свой конкретно-исторический характер, превращаясь в символы добра и зла. Коллективная память также сохраняет и сакрализует символы коллективной идентичности, создающие общее семиотическое пространство и очерчивающие границы группы.

Аспект связи памяти и идентичности является на сегодняшний день одним из актуальных направлений исторических, социологических и культурологических исследований. Так, Й. Рюзен предложил типологию кризисов исторической памяти и связанных с ними изменений коллективного самосознания<sup>27</sup>. Исследования проблематики взаимосвязи памяти и идентичности в ситуации радикальных и резких исторических перемен, катастрофических событий стимулировали внедрение в поле мемориальных исследований заимствованного из психологии и психоанализа концепта «травмы». Ряд исследователей считает его применение эвристичным. Другая же часть выступает против использования психологической терминологии в социально-гуманитарном анализе.

Кроме этого, коллективная память выполняет функции легитимации существующего общественно-политического порядка. Формирование представлений о том, что и как следует пом-

---

<sup>26</sup> Szacka B. Czas przeszły, pamięć, mit. Warszawa, 2006. S. 47-58.

<sup>27</sup> Рюзен Й. Может ли вчера стать лучше? О метаморфозах прошлого в истории // Диалог со временем. Вып. 10. 2003.



нить — важный элемент осуществления стратегий политического господства и борьбы за такое господство. В последнее время в литературе особенно подчёркивается недостаточность представлений Э. Хобсбаума и его единомышленников о тотальном влиянии власти на содержание коллективной памяти общества. Подчёркивается, что за содержание коллективной памяти борются различные субъекты политического процесса. Различные группы, особенно в плюралистических демократических обществах, выдвигают противоречащие друг другу версии прошлого и борются за их признание. Каждый проект конструирования той или иной памяти может столкнуться с разнообразными проектами «контр-памяти», «неофициальной памяти», «оппозиционной памяти». Этот подход связан с идеями М. Фуко о «контр-памяти» как форме сопротивления доминирующему комплексу «власти-знания» и с подходами представителей британской школы *cultural studies*. В 1980-х гг. исследования по этой теме проводились группой по изучению *popular memory* Центра современных исследований в Бирмингеме и касались в основном массовой памяти британцев о Второй мировой войне. В отличие от М. Фуко, подчёркивавшего абсолютный приоритет официального властного дискурса, бирмингемские исследователи отмечали более сложный и диалектический характер взаимоотношений различных видов памяти<sup>28</sup>.

Отсюда у многих авторов возникает и вопрос о том, насколько применимо представление о памяти как об объекте централизованного управления, особенно в современных открытых плюралистических обществах эпохи постмодерна, в которых государство не является монопольным производителем и владельцем образов прошлого? Постмодернистский проект подверг тотальной критике «великие повествования» эпохи Модерна. Исчезновение монологов привело к возникновению множества малых и мельчайших историй (Ж.-Ф. Лиотар)<sup>29</sup>. На смену «официальной истории» пришло многообразие нарративов. Современные общества превращаются в сообщества «групп памяти». Денационализация памяти и стремление противопоставить

---

<sup>28</sup> Making Histories: Studies in History Making and Politics / R. Johnson, G. McLennan, B. Schwartz, D. Sutton (eds). L., 1982.

<sup>29</sup> Lyotard J.-F. Le postmoderne expliqué aux enfants. P., 1988. P. 34.

унифицирующей глобализации новые идентичности, фрагментация групп интересов, а также распространение политики защиты прав меньшинств — всё это ведёт сегодня к нарастанию волны «сакрализации памяти»<sup>30</sup>.

Проблема носителей памяти также привлекала к себе внимание многих авторов. Зарождалась эта проблематика ещё у основоположников в исследованиях художественных образов как носителей социальной памяти у Варбурга, мнемонических ритуалов у Дюркгейма и мемориальных ландшафтов у Хальбвакса.

Наиболее последовательным продолжателем дюркгеймовской традиции изучения носителей памяти в современных мемориальных исследованиях можно считать П. Коннертона<sup>31</sup>. Для него социальная память — это, прежде всего, система церемоний, ритуалов и телесных практик, посредством которых определённая социально значимая информация закрепляется, используется и передаётся.

В настоящее время внимание исследователей привлекают всё новые и новые виды носителей памяти. С этой точки зрения рассматриваются архитектурные сооружения, памятники, произведения искусства, язык, фильмы, школьные учебники, художественная и научная литература и т. д. Собственно, именно тот факт, что «мемориальный» угол зрения позволил рассмотреть во взаимосвязи огромный комплекс явлений культуры, до той поры мало связанных в научном дискурсе, является основным аргументом в пользу «парадигматичности» исследовательского поля *memory studies*. Эта сторона мемориальной проблематики нашла наиболее масштабное продолжение в современной французской историографии. В 1980-х – начале 1990-х гг. был реализован коллективный проект «Места памяти» под руководством П. Нора. «Места» могут быть как символическими, так и физически конкретными. Главное заключается в том, что это такие «места», в которых общество сосредотачивает то, что оно считает важным, неотъемлемым от своего индивидуального облика и достойным сохранения.

---

<sup>30</sup> *Misztal B. A. The Sacralization of Memory // European Journal of Social Theory. 2004. 7(1). P. 67-84.*

<sup>31</sup> *Connerton P. How Societies Remember. Cambridge, 1989.*

Особый аспект этой проблематики представляет проблема соотношения образа, слова и письма как носителей памяти. Часто подчёркивается приоритет образной памяти над словесной, поскольку она более ясно и непосредственно позволяет донести опыт прошлого. Однако до противопоставления этих двух носителей памяти дело обычно не доходит, поскольку очевидно, что любое изображение нуждается в интерпретации при помощи той или иной формы нарратива.

Историки и антропологи, заинтересованные проблематикой памяти, особое внимание обращают на специфику памяти бесписьменных и письменных обществ, а также на процессы перехода от доминирования одного типа носителя информации к другому. Этот процесс известный антрополог Дж. Гуди назвал «приручением неприрученной мысли»<sup>32</sup>. Он выделил пять периодов этого процесса: 1) «этническая память» бесписьменных традиционных обществ; 2) развитие памяти от устной формы передачи к письменной на протяжении периода от первобытности до Античности; 3) средневековый тип памяти как баланс устной и письменной её форм; 4) прогресс письменной памяти с XVI в. до современности и, наконец, 5) современный мемориальный бум.

Его периодизации предшествовала работа А. Леруа-Гура, который также разделил историю коллективной памяти на пять периодов, а именно: 1) период устной передачи; 2) письменный период с использованием табличек и значков; 3) память, основанная на простых заметках; 4) механизированная память; 5) электронная память<sup>33</sup>.

На почве изучения носителей памяти *memory studies* вступают в последнее время в плодотворный диалог с ещё одной быстро развивающейся областью — исследованиями в области современных медиа. Кино, телевидение, компьютерные технологии также всё больше интересуют сегодня исследователей коллективной памяти.

Достаточно логичным итогом развития этого аспекта мемориальных исследований можно считать публикацию в 2002 г.

---

<sup>32</sup> *Goody J.* The Domestication of the Savage Mind. Cambridge, 1977.

<sup>33</sup> *Leroi-Gourhan A.* Le geste et la parole. II. La mémoire et les rythmes. Paris, 1965. P. 65.

книги известного польского историка М. Кулы «Носители исторической памяти». Он пишет: «Прошлое... отражается практически в каждом предмете и явлении, которое существует до сегодняшнего дня. В конечном итоге носителем памяти о прошлом, по крайней мере, потенциальным, является буквально всё»<sup>34</sup>. При этом они могут отбираться обществом, признаваться или не признаваться в качестве таковых, актуализироваться, или же, напротив, терять своё значение.

Особым направлением исследования носителей коллективной памяти в самом широком их понимании является возникшая во второй половине 1970-х гг. меметика, теория мемов. Концептуально она связана с эволюционной биологией и неозоолоцинизмом в социальных науках. Создателем направления является Р. Доукинс (R. Dawkins). В своих работах он проводит параллели между механизмами передачи генетической информации и функционированием культурной памяти. Им было введено понятие “мем” для обозначения наименьшей единицы культурной наследственности. “Мем” — единица смысла, единица трансляции культурного наследия. Мемами могут быть идеи, лозунги, стереотипы, литературные клише, мода, алфавиты, музыкальные фразы и т. п. Мемы — репликаторы, стремящиеся к бесконечному самовоспроизводству. «Мемы, — пишет С. Блэкмор, — инструкции поведения, сохраняемые в мозгу (или в других объектах) и передаваемые по наследству. Соперничество между ними ускоряет эволюцию разума»<sup>35</sup>. Будучи устойчивыми элементами культуры, мемы транслируются через язык посредством подражания, то есть передаются от поколения к поколению при помощи слов и программируют поведение. Передача мемов связана и с генами, но зависимость мемов от генов тем меньше, чем больше по мере развития культуры возникает путей небиологической, негенетической передачи информации (книгопечатание, радио, телевидение, Интернет и т. д.).

Функционирование мемов описывается данной теорией в биологических терминах размножения, отбора, мутации, рекомбинации, инфицирования, смерти и т. п. Мемы в истории борются

---

<sup>34</sup> Kula M. *Nośniki pamięci historycznej*. Warszawa, 2002. S. 7-8.

<sup>35</sup> Blackmore S. *Maszyna memowa*. Poznań, 2002. S. 45.

между собой в соответствии с дарвиновским принципом естественного отбора. Помимо борьбы между мемами могут происходить процессы рекомбинации и кроссинговера (обмена гомологичными участками гомологичных хромосом, перераспределения генетического материала родителей в потомстве). Так, в соответствии с этой теорией, возникают новые культуры, перекомбинируя генетический (меметический) материал “родительских культур”. Мемы могут образовывать воспроизводимые как единое целое комплексы — “мемплексы”. Сам человек понимается тут как большой “мемплекс”, функционирование которого опирается на биологический аппарат мозга.

К проблематике носителей коллективной памяти и специфики её динамики обращалась и московско-тартуская семиотическая школа. Именно с ней связано введение в научный оборот понятия культурная память<sup>36</sup>. Ведущие представители этого направления — Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский — определили культуру как генетически ненаследуемую память коллектива. Ю. М. Лотман говорит о том, что, с семиотической точки зрения, культура является надындивидуальным механизмом хранения, передачи и выработки новых сообщений (текстов), т. е. коллективной памятью. При этом, поскольку любая культура внутренне гетерогенна, то, по Лотману, следует говорить о сосуществовании в ней “диалектов памяти”, соответствующих её субкультурам.

Культурную память Ю. М. Лотман делит на “информативную” и “креативную” (творческую). Информативная память подчинена линейному течению времени. Для неё значим лишь итоговый текст, активен лишь конечный результат. Эта память полностью принадлежит настоящему и движется вместе с ним, постоянно стирая прошлую информацию как неактуальную. Здесь хронологически последнее — самое ценное и значимое. Творческая (креативная) память, напротив, имеет панхронный характер. В ней ничто окончательно не проходит, не исчезает. Одни тексты временно теряют свою актуальность и передаются

---

<sup>36</sup> См.: Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Часть третья. Память культуры. История и семиотика // Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб., 2000; Лотман Ю. М. Память в культурологическом освещении // Там же; Лотман Ю. М. Память культуры // Там же.

“на хранение”. Другие же реактивируются, востребуются из “архива” культуры. Прошедшее отбирается, кодируется и вспоминается/забывается в синусоидальном ритме. В творческой памяти работает вся временная толща культуры, а не только последний временной срез. Ранние тексты вносятся в современность, воздействуя тем самым на настоящее. Затем изменившееся настоящее в свою очередь меняет образ прошлого. Очевидно, что информативный и творческий виды памяти, как они описаны у Ю. М. Лотмана, по способу обращения с прошлым аналогичны описанным В. С. Библером “логике цивилизации” и “логике культуры” соответственно.

Особым направлением мемориальных исследований является сравнительно недавно ставшая развиваться проблематика структуры и организации коллективной памяти. Эти исследования призваны заполнить своеобразную лауну, существование которой стало очевидно в последнее время. Со времен «отцов-основателей» мемориальные исследования были сконцентрированы преимущественно на содержании коллективной памяти. Вопросы же её формы, структуры, организации зачастую оставались на периферии исследовательских интересов.

Между тем, «парадигма памяти» нуждается в построении общей теории организации прошлого в культуре, в своеобразной «грамматике культурной памяти». В противном случае, отдельные (и даже блестящие) образцы изучения содержания культурной памяти той или иной социальной группы, или же конкретно-исторических способов манипулирования ею, не могут быть сравнимы между собой на общих основаниях и выстроены в более или менее целостную исследовательскую программу. Выявление таких общих форм позволяет, с одной стороны, видеть формальную сторону конкретного материала, а, с другой стороны, рассматривать варианты конкретно-исторического наполнения той или иной формы.

Особый интерес в связи с этим представляют работы ведущего представителя когнитивной социологии культуры Э. Зерубавеля. Данное направление тяготеет к традициям «формальной социологии» Г. Зиммеля. Главная идея когнитивной социологии культуры, — отмечает один из её исследователей, — заключается в том, что «мир входит в наши чувства социально

опосредованными путями так, что наше ментальное восприятие мира в значительной степени является процессом, происходящим в тех “сообществах видения” (“optical communities”), к которым мы принадлежим, и результатом той “социализации видения” (“optical socialization”), которую мы получили в этих сообществах... *Optical communities* воспитывают своих членов в собственных традициях видения мира и своих специфических стилях мышления...»<sup>37</sup>. Применительно к памяти это означает, что в рамках данного направления будет рассматриваться то, как сообщества, членами которых мы являемся, очерчивают и вводят в определённые рамки наши воспоминания так, что наше видение прошлого является не столько нашим индивидуальным, сколько нашим социальным опытом. «Разные общества по-разному видят начальные и конечные точки исторически значимых событий; «мнемонически социализируют» своих членов, с тем чтобы они определённым образом рассматривали определённые начальные и конечные точки, определённые континуальности и разрывы во времени, а также вписывали своё понимание прошлого в специфические сюжетные фабулы»<sup>38</sup>.

Память обладает способностью структурировать серии разрозненных событий в различным образом упорядоченные нарративы. Одно и то же событие при этом может приобретать разное значение, в зависимости от того, в какую сюжетную структуру оно оказалось включено. В этом процессе структурирования можно выделить определённую логическую последовательность. В зависимости от ситуации сегодняшнего дня, **выбирается временная перспектива**. Группа может смотреть в более или менее удалённое прошлое. Событие может попасть в то или иное повествование, или же, напротив, быть из него исключённым. Так, событие получает значимость. Социальная общность находит в истории тех или иных предков, выделяет принципиально важные для идентификации группы исторические события или периоды. Изменение степени отдалённости исторического прошлого, с которым связывает свою идентичность группа, может означать из-

---

<sup>37</sup> Brekhus W. The Rutgers School. A Zerubavelian Culturalist Cognitive Sociology // European Journal of Social Theory. 10(3). 2007. P. 452.

<sup>38</sup> Ibid. P. 453.

менение и самой этой идентичности. Затем, между выбранными точками «мнемонического пространства» **устанавливается линия преемственности**. Следует показать и доказать, что «всё это — наша история», «наша коллективная биография». Для этого требуется организовать образ исторического континуитета, неразрывной связи со «своим» и одновременно чётко обозначить линии разрыва, дисконтинуитета, отделяющие «своё» от «чужого». События при этом ставятся в определённую взаимосвязь. Решение же этой задачи сразу же требует и решения **проблемы, связанной с выбором типа взаимосвязи**. Важно, в какое повествование и в каком качестве будет включён тот или иной исторический сюжет.

Уход вглубь истории способен расширять границы «наших» предков и, соответственно, «нашей» идентичности практически до бесконечности. Насколько глубоко и в каком направлении произойдёт этот уход в историю является социокультурной конвенцией.

Известна фраза Л. фон Ранке о том, что все исторические эпохи относятся к Богу непосредственно и в этом смысле равны перед лицом Создателя. Однако к социально организованной культурной памяти прошлое относится совершенно иначе. В коллективном образе прошлого есть свои «периоды-фавориты» и «пустые» исторические периоды, своеобразные «вершины» и «долины» коллективной памяти. Особенно хорошо это видно при сравнении национальных календарей памятных дат. Это сравнение показывает, что особенно насыщенными периодами являются или эпохи случайно удалённые во времени, или же — последние два столетия<sup>39</sup>. Между этими «мнемоническими пиками» пролегают «мнемонические равнины». Обозначая определённый ряд событий в качестве однородных и принадлежащих, следовательно, одному и тому же периоду, коллективная память создаёт одновременно и исторический дисконтинуитет. Выделяются определённые события, получающие статус «поворотных моментов

---

<sup>39</sup> См.: *Zerubavel E. Time Maps. Collective Memory and the Social Shape of the Past.* Chicago, 2003. P. 31. См. также: *Zerubavel E. Calendars and History: A Comparative Study of the Social Organization of National Memory // States of Memory. Continuities, Conflicts, and Transformations in National Retrospection / Ed. by J. K. Olick. Durham, 2003.*



истории», с которых начинается новая эпоха и происходит полный разрыв с прошлым.

В пределах созданных «мнемонических континуумов» прошлое структурируется в соответствии с определёнными моделями. Эти мнемонические модели имеют социальное происхождение и играют решающую роль для наделения определённого события тем или иным значением. Э. Зерубавель пишет об этом так: «Я полагаю, что историческое значение событий существенным образом связано со способом их расположения в наших умах *vis-à-vis* по отношению к другим событиям», с их «структурной позицией в рамках таких “исторических сценариев”, как “водоразделы”, “катализатор”, “последняя капля”»<sup>40</sup>. В рамках этих «мнемонических континуумов» повествование может быть организовано, например, вокруг образов прогресса, упадка, циклизма, движения от упадка к возрождению и от возрождения к упадку. При этом для каждого конкретного культурного контекста характерно преобладание нарративов определённого типа.

Близкой является концепция структуры культурной памяти Я. Ассмана<sup>41</sup>. В ней также подчёркивается, что содержание культурной памяти может по-разному структурироваться в зависимости от интересов и видения мира той или иной социальной общности, в рамках которой создаётся этот “мемориальный нарратив”. Культурная память может быть “горячей” и “холодной”. “Горячая” культурная память ориентирована на динамику, развитие. Она концентрируется на уникальном, неповторимом в истории, переломных моментах взлёта, упадка, становления. “Холодная” опция культурной памяти, напротив, призвана сопротивляться изменениям и поэтому обращается ко всему регулярно повторяющемуся, неизменному, создавая образ прошлого как “вечного настоящего”. Стимулировать “горячую” опцию более склонны “парии”, низшие, угнетённые слои общества, заинтересованные в переменах. Господствующие классы, напротив, стремятся “охладить” память для увековечивания своего положения.

Говоря о “горячей” и “холодной” опциях культурной памяти, автор использует терминологию К. Леви-Стросса. Однако, в

---

<sup>40</sup> *Zerubavel E. Time Maps. P. 12.*

<sup>41</sup> *Assmann J. Op. cit.*

отличие от последнего, это не является у Я. Ассмана типологической характеристикой общества. «Нагреваться» и «остывать» может память любой социокультурной системы (первобытного племени или же цивилизации, обладающей письменностью и государственностью).

“Горячая” память имеет для культуры значение ориентирующей силы. Эта сила называется Я. Ассманом “мифомоторикой”, а сама “горячая” культурная память — мифом, то есть закреплённым и интериоризированным до состояния “обосновывающей истории” прошлым — вне зависимости от подлинности или же фиктивности этого образа. Миф — это обращение к прошлому, целью которого является понимание настоящего и поиск ориентиров дальнейшего развития. В этом качестве он может выполнять две функции — “обосновывающую” и “контрапрезентную (контрафактическую)”. В своей обосновывающей функции миф показывает прошлое как осмысленное и подтверждающее необходимость настоящего порядка вещей. “Контрапрезентная” функция связана с ощущением несовершенства настоящего и обращением к прошлому как к “золотому веку”, “героической эпохе”. Здесь настоящее критикуется с точки зрения “прекрасного прошлого”, сравнение с которым раскрывает всё несовершенство текущего положения дел. В определённых условиях обосновывающий миф может превратиться в контрапрезентный, а в экстремальных ситуациях (угнетения, обнищания, иноземного владычества) контрапрезентный миф становится революционным. Тогда образ прошлого превращается в социально-политическую утопию и может стать целью движений мессианского, хилиастического типа.

Ещё один подход к структурированию содержания культурной памяти связан с психоаналитической традицией. С позиций представителей этого направления, принципы отбора “образов-воспоминаний” в культурной памяти подчиняются определённым принципам. Главную роль здесь играют понятия “триумф” и “травма”. Цв. Тодоров отмечает, что коллективная память предпочитает сохранять ситуации, в которых можно рассматривать себя либо как героев-победителей, либо как невинных жертв<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> *Todorov T. L'home dépaysé. Paris, 1996. P. 70-71.*

«Травма и триумф, — пишет Б. Гисен, — конституируют “мифомотор” национальной идентичности. Они представляют крайние границы опыта и предельный горизонт для самоопределения коллективного субъекта, так же как рождение и смерть дают предельный горизонт для экзистенциального опыта индивида»<sup>43</sup>. Одним из ведущих современных специалистов в области *peace studies* Джоан Гальтунг была предложена концепция комплекса «избранность-миф-травма» (Chosenness-Myths-Trauma (CMT) complex), или — «коллективного мегало-параноидального синдрома»<sup>44</sup>. Избранность означает идею особой миссии народа. Идея избранности вызывает ощущение величия и способствует формированию мифа о славном прошлом, которое является прологом к славному будущему. Травматический опыт заключается в памяти об ущербе и страданиях, которые избранный народ претерпел от врагов в прошлом. Травма может подкреплять идею избранности, служить доказательством особого предназначения.

Оба элемента так или иначе присутствуют в культурной памяти всех социокультурных общностей и формируют основы их идентичностей. Однако типологически разновидности «культур воспоминания» народов могут быть расположены на шкале, экстремумами которой будут понятия «триумф-травма».

Соотношение истории и памяти — ещё одно важное направление дискуссий как в собственно исторической науке, так и в *memory studies*. Идея М. Хальбвакса о том, что образ прошлого социально конструируется, оказалась чрезвычайно востребованной современными исследователями. При этом сам Хальбвас в этом отношении стоял на твёрдых позитивистских позициях и чётко противопоставлял историческую науку и память. История, по его мнению, должна быть объективной, беспристрастной, внеличностной, абсолютной картиной прошлого — такого, каким оно было «на самом деле», память же является прямой её противоположностью. Она субъективна, избирательна, пристрастна, связана с интересами групп. История для Хальбвакса начинается

---

<sup>43</sup> *Giesen B.* National Identity as Trauma: The German Case // *Myth and Memory in the Construction of Community*. Bruxelles etc., 2000. P. 229.

<sup>44</sup> *Galtung J.* The Construction of National Identities for Cosmic Drama: Chosenness-Myths-Trauma (CMT) Syndromes and Cultural Pathologies // *Handcuffed to History* / Ed. by P. Udayakumar. Westport, 2001.

там, где память заканчивается. И сегодня ориентированным таким образом историкам «понятие памяти кажется... троянским конём постмодернистской критики в профессиональном историописании»<sup>45</sup>. Подчёркивается обычно профессиональный характер исторического знания, его институционализация, программное стремление исторической науки к истине, объективности, способность взглянуть на прошлое с разных сторон и т. д. Так, Дж. Плам<sup>46</sup> в конце 1960-х гг. чётко выразил эту прогрессистско-позитивистскую точку зрения, говоря о том, что история является научной, то есть высшей, формой познания прошлого, перед лицом которой все иные несовершенные формы его постижения должны вскоре исчезнуть. Ж. Ле Гофф полагает также, что задачей исторической науки является освобождение памяти от ошибок и заблуждений, и отождествлять эти формы познания прошлого ни в коем случае нельзя.

В то же время определённая часть историков рассматривает историописание как форму культурной (социальной) памяти. Отмечается, что невозможно провести чёткую границу между этими двумя формами видения прошлого. История, как и память, зависит от места, времени и социально-культурного контекста возникновения. Так, известный современный историк культуры П. Бёрк отмечает, что историки разных мест и времён сохраняют в качестве достойных памяти разные аспекты прошлых событий и изображают их очень по-разному, в соответствии с господствующей в их группе оптикой<sup>47</sup>. П. Хаттон в опубликованной в 1993 г. книге «История как искусство памяти»<sup>48</sup> также поддерживает тезис о том, что историческая наука — одна из исторических форм коллективной памяти, официально признанная память.

В определённом отношении компромиссной можно признать позицию Б. Шацкой, которая подчёркивает (с социологической

---

<sup>45</sup> *Sandl M. Historizität der Erinnerung // Reflexivität des Historischen Erinnerung, Gedächtnis, Wissen. Studien zur kulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung. Göttingen, 2005. S. 95.*

<sup>46</sup> *Plumb J. H. The Death of the Past. L., 1969. См. также: Wertsch J. H. Voices of Collective Remembering. Cambridge, 2002. P. 44.*

<sup>47</sup> *Burke P. History as social memory // Memory, History and the Mind / Butler T. (ed.). Oxford, 1989.*

<sup>48</sup> Рус. пер.: *Хаттон П. История как искусство памяти. СПб., 2003.*

точки зрения), что для неё память и история — разные виды знания о прошлом, создаваемые по разным правилам<sup>49</sup>. Вместе с тем, она отмечает, что «память» и «историю» следует признать скорее веберовскими идеальными типами<sup>50</sup>, пространство между которыми заполнено бесчисленным количеством смешанных, переходных форм, и которые «в чистом виде» в реальности практически не встречаются.

В связи с этим возникла и новая форма историографии — «история истории», рассматривающая те трансформации, которые совершались в сфере социальной памяти с историческим событием или лицом. В качестве наиболее интересных примеров работ такого рода Ж. Ле Гофф называет исследования Р. Фольца (R. Folz) «Воспоминание и легенда о Карле Великом», Ж. Тюляра (J. Tulard) «Наполеоновский миф», Ж. Дюби (G. Duby) «Бувинское воскресенье» и Ф. Жутара (Ph. Joutard) «Легенда камизаров»<sup>51</sup>. Количество такого рода работ, находящихся на стыке истории и *memory studies*, в последнее время постоянно возрастает. Из недавних примеров можно вспомнить исследование Ф. Б. Шенка «Александр Невский в русской культурной памяти»<sup>52</sup>, опубликованное в 2004 г.

Основываясь на идеях московско-тартуской школы, гейдельбергский египтолог Ян Ассман разработал теорию культурной памяти, систематически изложенную в уже упоминавшейся работе<sup>53</sup>. Эта концепция представляется важной для перспектив дальнейшего развития взаимодействия истории и памяти. Культурная память, по Ассману, представляет собой специфическую для каждой культуры форму передачи и осовременивания культурных смыслов. Это обобщающее понятие для всякого знания, которое управляет поступками и переживаниями в специфических рамках взаимодействия внутри определённого общества и подлежит повторяющемуся из поколения в поколение наставлению и заучиванию.

---

<sup>49</sup> Szacka B. Op. cit. S. 19.

<sup>50</sup> Ibid. S. 30.

<sup>51</sup> *Le Goff J. Histoire et mémoire*. Paris, 1988. P. 173.

<sup>52</sup> Рус. пер.: Шенк Ф. Б. Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, национальный герой (1263–2000). М., 2007.

<sup>53</sup> Ассман Я. Культурная память...

Смысл понятия «культурная память» определяется автором через противопоставление её коммуникативной памяти. Коммуникативная память функционирует в горизонте “жизненного мира”, который может быть охвачен собственным опытом индивида и услышанными им рассказами. Временной диапазон коммуникативной памяти, таким образом, около 80 лет. В отличие от неё, культурная память относится ко времени “истоков”, к “далёким временам”, о которых никто из ныне живущих не может иметь личных воспоминаний. Культурная память включает в себя “обосновывающие воспоминания”, утверждающие законность и оправданность существующего порядка вещей. Коммуникативная память опирается на непосредственное социальное взаимодействие, в то время как культурная память предполагает устойчивые объективации. Культурная память, в отличие от памяти коммуникативной, специально учреждается, искусственно формируется. Для её создания, хранения, трансляции в обществе создаются специальные институты. Культурная память имеет сакральную окраску, ей присуща приподнятость над уровнем повседневности (сферы коммуникативной памяти). Воскрешение культурных воспоминаний осуществляется в ритуализированной форме праздника. Поэтому культурная память может быть определена как орган ритуально оформленного неповседневного воспоминания. Причастность к коммуникативной памяти разлита по всему социальному целому. Знание, составляющее её содержание, приобретает неспециализированно, в ходе повседневного общения. Существование особых специалистов по коммуникативной памяти в обществе не предполагается. Напротив, культурная память требует существования профессиональных носителей (шаманов, жрецов, бардов, учёных, поэтов, писателей, художников и т. п.). Приобщение к культурной памяти специально организуется и контролируется этими специалистами. Усвоение культурной памяти требует желания и усилий со стороны обучающегося, поэтому овладение ею всегда социально дифференцировано. Одни члены социальной общности или же социальные группы причастны к ней в большей степени, чем другие. Эти два типа памяти, коммуникативная и культурная, в разных культурах более или менее резко отделены друг от друга. В некоторых обществах (напри-

мер, в Древнем Египте) дело могло доходить до их полной изоляции и возникновения ситуации “бикультурности”<sup>54</sup>.

Разработанная Я. Ассманом концепция позволила обозначить новую область историко-культурологических исследований — изучение “культур воспоминания” различных обществ и их сравнительный анализ. Сам автор предпринял такой анализ Древнего Египта, Древнего Израиля, хеттской цивилизации, Месопотамии, Древней Греции. Работы же Алейды Ассман посвящены формам и трансформациям культурной памяти в контексте модерна и постмодерна<sup>55</sup>.

На наш взгляд, теория Я. Ассмана позволяет, например, трактовать национальную историографию эпохи модерна как специфическую форму культурной памяти, адекватную задачам формирования масштабных идентичностей в условиях кризиса конфессиональных и династических легитимаций, с одной стороны, и подъёма исторического сознания, с другой.

Ещё одним аспектом изучения культурной памяти является анализ функционирования “образов-воспоминаний” в последующих культурах, выявление тех культурных смыслов, которые были ими порождены в иных контекстах. Такого рода исследования Я. Ассман провёл применительно к образам Древнего Египта и Моисея в культурной памяти Запада.

В итоге, Я. Ассман выдвинул проект “истории памяти” — дисциплины, изучающей динамику воспоминаний, культурную память вообще. С точки зрения истории памяти, прошлое никогда и нигде не передаётся просто от поколения к поколению, а всегда вновь и вновь пересоздаётся, реконструируется, исходя из

---

<sup>54</sup> Граница в понимании коллективной памяти между Варбургом и Хальбваксом, отмечает Я. Ассман, это «граница между “коммуникативной” и “культурной” памятью, между памятью как аутопоэтической системой и памятью культурной, запечатлённой в знаках, символах, образах, текстах и в институтах, находящих формы своего проявления в ритуалах...» (*Assman J. Erinnern, um dazuzugehören. Kulturelles Gedächtnis, Zugehörigkeitsstruktur und normative Vergangenheit // Generation und Gedächtnis. Erinnerungen und kollektive Identitäten / K. Platt und M. Dabag (Hg.) unter Mitwirkung von S. Heil. Opladen, 1995. S. 61*).

<sup>55</sup> *Assman A. Op. cit.*

потребностей современности<sup>56</sup>. История памяти призвана изучать то прошлое, которое осталось в памяти социальной группы, процессы его моделирования, переоткрытия в настоящем в зависимости от актуальной ситуации. История памяти задаётся вопросом не об истинности или ложности тех или иных воспоминаний о прошлом, бытующих в коллективе, а о причинах создания, поддержания или изменения определённого образа исторического события, эпохи, лица<sup>57</sup>. Эта дисциплина стремится обнаружить те обстоятельства, которые сделали определённый образ прошлого востребованным для текущей жизни социальной общности, или же, напротив, привели к утрате его актуальности, т. е. — к забвению.

К области истории памяти принадлежат, в частности, исследования культурной памяти эпохи модерна О. Г. Эксле. Автором предложен подход, рассматривающий культурную память под воздействием историзма<sup>58</sup>. При этом историзм понимается в том максимально широком смысле, который этому понятию придали К. Мангейм и Э. Трёльч. Историзм, для Эксле, — явление, возникшее в западной культуре второй половины XVIII века и охватившее все стороны жизни общества (от политики до искусства). Его суть заключается в ощущении историчности, а значит и относительности, всего происходящего, в постоянной рефлексии об истории и о своём месте в ней. Модернизация, всеохватывающий критицизм Просвещения, революции породили ощущение разрыва, пустоты, недостатка исторической традиции, поставив под угрозу культурную идентичность западных обществ. В связи с этим различные социально-политические силы начинают использовать исторические «образы-воспоминания» для обоснования своих программ сохранения или изменения существующего по-

---

<sup>56</sup> Именно поэтому понятие «культурная память» представляется многим более предпочтительным, чем понятие «традиция».

<sup>57</sup> «Основной проблемой, — писал антрополог Д. Телен, — является не то, в какой мере то, что мы помним, соответствует происходившему когда-то, а то, почему исторические акторы конструируют свою память тем, а не иным способом» (Memory and American History / D. Thelen (ed.). Bloomington and Indianapolis, 1990. P. XV).

<sup>58</sup> *Эксле О. Г. Культурная память под воздействием историзма // Одиссей. Человек в истории — 2001. М., 2001.*



рядка. Особенно яркими примерами таких “воображаемых эпох” являются Средневековье и Возрождение. Любимое и идеализируемое консерваторами-традиционалистами и отрицаемое либералами Средневековье в западной культуре эпохи модерна традиционно составляло контраст Возрождению. Симпатии и антипатии же к последнему были распределены между социально-политическими течениями «с точностью до наоборот». Такие исторические “образы-воспоминания” нашли своё отражение не только в публицистике, философии, историографии, но и в литературе, живописи, архитектуре.

\* \* \*

Конечно, мы не могли здесь ставить перед собой задачи исчерпывающе описать все аспекты трансформаций идей основоположников “мемориальной парадигмы” в современных исследованиях. Что-то по необходимости пришлось опустить, что-то описать схематично. Иначе и не могло быть, поскольку поле *memory studies* постоянно переструктурируется и внутренне усложняется. Постановка и обсуждение одних проблем выдвигает тут же совокупность новых вопросов. Поток работ исследователей разных специальностей, чувствующих тяготение к данной проблематике, также растёт лавинообразно.

Однако думается, что и сказанного достаточно, чтобы констатировать плодотворность идей М. Хальбвакса и А. Варбурга для современных исследователей социальной/культурной памяти. Их тексты действительно могут считаться основополагающими для формирующейся на наших глазах культурологической «парадигмы памяти».

Идеи М. Хальбвакса и А. Варбурга не только продолжают и развивают. С ними спорят, их дополняют, отталкиваясь от них современные исследователи ищут новые пути. Именно это как нельзя лучше свидетельствует о том, что классическое наследие основоположников живо.

## ГЛАВА 2

# ОБЫДЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОШЛОМ

### ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ<sup>\*</sup>

Представления о прошлом на уровне обыденного сознания тесно связаны с представлениями о настоящем и будущем, формирующими самоидентификацию субъекта в потоке времени. На философском уровне эта проблема обычно осмысливается в рамках темпоральной концепции, отражающей восприятие действующим субъектом «времяположения» настоящего в структуре прошлое–настоящее–будущее<sup>1</sup>.

Социологи уделяют большое внимание роли обыденных представлений о прошлом в социальных взаимодействиях, тому влиянию, которое они оказывают на поведение действующих в обществе субъектов. Особенно важное место темпоральные идеи занимают в теории символического интеракционизма Дж. Мида<sup>2</sup>.

---

<sup>\*</sup> Статья подготовлена в рамках работы над проектом «Формы знания о прошлом» Международной программы высших исследований Дома наук о человеке (Париж) и Института для исследователей Колумбийского университета (Рейд Холл, Париж). Работа выполнена при поддержке индивидуального исследовательского гранта ГУ–ВШЭ 2005 г. «Социальные представления о прошлом: механизмы формирования и эмпирические результаты».

<sup>1</sup> Как отмечал К. Ясперс, «прошлое содержится в нашей памяти лишь отрывками, будущее темно. Лишь настоящее могло бы быть озарено светом. Ведь мы полностью в нем. Однако именно оно оказывается непроницаемым, ибо ясным оно было бы лишь при полном знании прошлого, которое служит ему основой, и будущего, которое таит его в себе». — *Ясперс К.* Истоки истории и ее цель [1948] // *К. Ясперс.* Смысл и назначение истории. Пер. с нем. М.: Политиздат, 1991. С. 27-287. С. 141.

<sup>2</sup> *Mead G. H.* The Nature of the Past // *Essays in Honor of John Dewey* / Ed. J. Coss. N. Y.: Henry Holt & Co., 1929. P. 235-242; *Mead G. H.* The Philosophy of the Present [1930] // *G. H. Mead.* The Philosophy of the Present. La Salle (Ill): Open Court, 1932, p. 1-90.

Представления о прошлом, настоящем и будущем играют значимую роль в процессе индивидуальных взаимодействий, в ходе которых происходит выработка и изменение социальных значений. Анализ представлений о времени как факторе, обуславливающем целерациональное или целевое (purposive) поведение, получил дальнейшее развитие в исследованиях сторонников феноменологического подхода в социологии<sup>3</sup>.

Формирование обыденного знания о прошлом может рассматриваться также как проблема получения и усвоения информации. Строго говоря, практически вся информация, которой располагают индивиды, является информацией о прошлом — будь то сведения о зарождении жизни на Земле или самые свежие политические или биржевые новости. Связь знаний о прошлом с информацией выдвигает на первый план такие характеристики последней, как доступность, полнота и надежность. На практике информация, которой располагают действующие в обществе субъекты, в большинстве случаев является как раз неполной, несистематической и зачастую случайной, что не может не сказываться на принимаемых на основе этой информации решениях<sup>4</sup>.

Представляет интерес и вопрос о том, какова временная «глубина» информации, которую используют действующие субъекты при принятии решений. В некоторых случаях эта величина оказы-

---

<sup>3</sup> А. Шюц ввел разделение социального мира действующего субъекта на ближайшее социальное окружение, более широкое социальное окружение и предшествующий социальный мир: *Шюц А.* Смысловое строение социального мира [1932] // *А. Шюц.* Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004. С. 685-1022. Ч. IV. Для нашего исследования особый интерес представляет глава «Понимание мира предшественников и проблема истории», где анализируется различие в осмыслении прошлого в рамках обыденных представлений и с точки зрения исторической науки (С. 950-962). В последнее время о роли прошлого в процессе социальной коммуникации много размышляет А. Ф. Филиппов: *Филиппов А. Ф.* Конструирование прошлого в процессе коммуникации: теоретическая логика социологического подхода // *Феномен прошлого* / Ред. И. М. Савельева. М.: ГУ–ВШЭ, 2005.

<sup>4</sup> Применительно к экономике эта проблема была впервые проанализирована в: *Стиглер Дж. Дж.* Экономическая теория информации [1961] // *Теория фирмы* / Сост. В. М. Гальперин. СПб.: Экономическая школа, 1995. С. 507-529. См. также: *Arrow K. J.* Limited Knowledge and Economic Analysis // *American Economic Review*, March 1974. V. 64. No. 1. P. 1-10; *Arrow K. J.* The Future and the Present in Economic Life // *Economic Inquiry*. April 1978. V. 16. No. 1. P. 157-169.

вается относительно невелика и не превышает нескольких месяцев, реже — лет. Эта проблема подробно обсуждается, в частности, в моделях электорального поведения, большинство которых строится на предпосылке о «близорукости» или «короткой памяти» избирателей, принимающих решения в момент выборов<sup>5</sup>. В свою очередь на макроуровне, например при выработке государственной экономической политики, может учитываться достаточно давняя информация (например, об опыте реформ в Германии или Японии после Второй мировой войны, о создании Федеральной резервной системы в США в начале XX в., о развитии акционерных фирм и рынков ценных бумаг в XIX в.). Но в любом случае «глубина» учитываемого прошлого оказывает существенное влияние на характер принимаемых решений.

Еще один аспект рассматриваемой проблемы связан с самим процессом принятия решений. Возможности человеческого мозга хотя и велики, но не безграничны, и, принимая решения на основе некоей информации, действующие субъекты далеко не всегда могут перебрать все возможные варианты и выбрать наиболее правильные из них. Эта проблема была подробно проанализирована в работах лауреата Нобелевской премии по экономике Г. Саймона, который предложил концепцию «ограниченной рациональности», позволяющую учесть несовершенство способностей действующих субъектов, принимающих решения<sup>6</sup>.

Опосредованное влияние прошлого на настоящее (точнее, на текущие действия субъектов), связанное с несовершенством информации и ограниченными возможностями мозга, отражается в наличии запаздываний (лагов) в общественной системе. Изучение скорости распространения сигналов или воздействий в социальной системе также привлекает внимание многих исследователей, представляющих разные дисциплины.

---

<sup>5</sup> Nordhaus W. D. The Political Business Cycle // *Review of Economic Studies*. 1975. V. 42. No. 2. P. 169-190; Nordhaus W. D. Alternative Approaches to Political Business Cycle // *Brookings Papers on Economic Activity*. 1989. No. 2. P. 75-92; Kirchgässner G. Rationality, Causality and the Relation Between Economic Conditions and the Popularity of Parties: An Empirical Investigation for the Federal Republic of Germany, 1971-1982 // *European Economic Review*, June-July 1985. V. 28. No. 1/2. P. 243-268.

<sup>6</sup> См., например: Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления [1978] // *THESIS*. 1993. Вып. 3. С. 16-38.

В последние десятилетия интерес к обыденному знанию о прошлом проявляют представители разных дисциплин: социологии, социальной психологии, культурной и социальной антропологии, истории, а также специалисты в области политических технологий, массовых коммуникаций и т. д. Иногда эти штудии влияют друг на друга (при этом, к сожалению, междисциплинарные заимствования осуществляются не всегда достаточно профессионально), иногда ведутся независимо и изолированно, что тоже не способствует быстро освоению новой области знания.

### 1. Социальные представления

Проблема представлений (мыслей, настроений) больших социальных групп стала объектом внимания исследователей на рубеже XIX–XX вв., начиная с первых работ Г. Ле Бона и Ж.-Г. де Тарда о психологии масс («толп»). Интерес к этой теме усиливался на протяжении первой половины прошлого столетия вместе с осознанием возрастающей роли масс в современном обществе. Но тогда интеллектуалы еще воспринимали массы и их активность скорее со страхом, как иррациональную и опасную силу. Только после Второй мировой войны анализ этого социального объекта приобретает ценностно-нейтральный характер.

Важной областью исследования становится массовое политическое сознание. Превращение масс в серьезный политический фактор выражалось, в частности, в развитии гражданского общества и формировании большого числа различных общественных групп и организаций, не привязанных жестко к политическим партиям и гораздо более массовых, чем элитарные «общества» и «кружки» европейских интеллектуалов в XVIII–XIX вв. Но главное — эти многочисленные новые «группы интересов» получили возможность не только для организации, но и для расширения сферы своих социальных действий, в том числе, для самовыражения благодаря развитию системы коммуникации и средств *массовой* информации. Наконец, все больший интерес специалистов с середины XX в. привлекает и феномен массовой культуры.

Иными словами, в прошлом веке активно развивается как социальная структура общества (она становится более дифференцированной), так и средства коммуникации в широком смысле (включая возможности фиксации и распространения мнений отдельных людей и социальных групп). По вполне понятным при-

чинам растет интерес к мнению масс и их представлениям со стороны элиты — политической и интеллектуальной. Кроме того, и широким слоям населения становятся интересны сведения о собственных взглядах и позициях. Отсюда, в частности, — колоссальное распространение с 1930-х годов опросов общественного мнения, которые были неведомы предшествующим эпохам.

Уже во второй половине XIX – начале XX в. для обозначения массовых психических феноменов начинают использоваться разные термины: «формы общественного сознания» (К. Маркс), «психология народов» (Г. Штейнталь, М. Лацарус, Г. Вайц, В. Вундт, А. Фуйе), «психология масс» и «психология толп» (Ж.-Г. де Тард, С. Сигеле, Г. Ле Бон), «коллективные представления» (Э. Дюркгейм, М. Мосс, А. Юбер), а в первой трети XX в. к ним добавляется «ментальность» (Л. Леви-Брюль, Ш. Блондель), «общественное мнение» (Г. Тард, У. Липпман, Ф. Тённис), «групповое сознание» (У. МакДугалл), «коллективное бессознательное» (К. Юнг) и т. д.

Некоторые из этих понятий несли на себе явный отпечаток представлений о неких надындивидуальных психических феноменах, типа «духа» или «души» народа, «коллективного разума» и пр. Следы таких воззрений можно обнаружить, например, в понятии «коллективные представления», введенном Э. Дюркгеймом<sup>7</sup>. По этому поводу еще Б. Малиновский в 1916 г. писал:

«Я намеренно не использую выражение “коллективные представления”, которое было введено проф. Э. Дюркгеймом и его школой... Мне кажется, что эта философия содержит метафизический постулат “коллективной души”, который я не могу принять... В полевых исследованиях, анализируя туземное или цивилизованное общество, мы имеем дело со множеством индивидуальных душ, и все методы и теоретические понятия должны рассматриваться только в соответствии с этим сложным материалом. Постулат коллективного сознания бессодержателен и совершенно бесполезен для этнографа-наблюдателя»<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> См., например: Дюркгейм Э. Представления индивидуальные и представления коллективные [1898] // Э. Дюркгейм. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. Пер. с фр. М.: Канон, 1995. С. 208-243.

<sup>8</sup> Малиновский Б. Балом: духи мертвых на Тробрианских островах [1916] // Б. Малиновский. Избранное: Динамика культуры. Пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2004. С. 335-436 (С. 436).

Спустя 70 лет эту же мысль высказал С. Московичи:

«Понятие коллективных представлений, равно как... групповой разум, массовая душа, Volkseele, харизма и т.п., на самом деле относятся к коллективному индивиду или сущности»<sup>9</sup>.

Кроме того, как подчеркивает Московичи, эти термины предполагают существование стабильных гомогенных групп и устойчивых представлений в этих группах.

Малиновский предложил использовать вместо «коллективных представлений» термин «социальные идеи», определяя их следующим образом:

«...социальными идеями (social ideas) сообщества, в отличие от индивидуальных идей, <можно назвать> все верования, содержащиеся в обычаях и традициях туземцев... Этот класс верований вполне стандартизован, благодаря своим социальным формам... В дополнение к этому утверждению нужно сказать следующее: из всех элементов верований могут быть признаны “социальными идеями” только те, которые фигурируют не только в социальных обычаях, но и в сознании аборигенов — т. е. если сами туземцы их четко формулируют и сознают их существование»<sup>10</sup>.

В 1980-е годы С. Московичи предложил заменить термин «коллективные представления» на «социальные представления», объясняя свое терминологическое нововведение «необходимостью наведения мостов между индивидуальным и социальным миром и осмысления последнего как находящегося в состоянии перманентных изменений»<sup>11</sup>.

«Под социальными представлениями (social representations) мы понимаем ряд понятий, высказываний и объяснений, возникающих в повседневной жизни в процессе межличностного общения. В нашем обществе они эквивалентны мифам и системам религиозных убеждений в традиционных обществах: их можно было бы даже назвать современным вариантом здравого смысла»<sup>12</sup>. «То, что позволяет называть представле-

<sup>9</sup> *Moscovici S. Answers and Questions // Journal for the Theory of Social Behaviour. 1987. V. 17. No. 4. P. 513-529 (P. 516).*

<sup>10</sup> *Малиновский Б. Баломат: духи мертвых на Тробрианских островах [1916] // Б. Малиновский. Избранное... С. 335-436. С. 417.*

<sup>11</sup> *Moscovici S. Notes Towards a Description of Social Representations // European Journal of Social Psychology. 1988. V. 18. No. 3. P. 211-250 (P. 219).*

<sup>12</sup> *Moscovici S. On Social Representations // Social Cognition: Perspectives on Everyday Understanding / Ed. J. Forgas. L., 1981. P. 181-209 (P. 181).*

ния социальными, связано не столько с тем, что они обретают своих носителей в индивидах или группах, сколько с фактом их выработки в процессе обмена и взаимодействия<sup>13</sup>.

Термин «социальные представления» в трактовке Московичи и его последователей представляется нам вполне приемлемым. С одной стороны, акцентируется то обстоятельство, что речь идет о социально формируемых представлениях, с другой — что это представления о социальных явлениях, т. е. общественно (а не только индивидуально) значимых событиях, процессах, отношениях и т. д. Кроме того, Московичи связывает этот термин с понятием «повседневного взаимодействия» и возникающими в этом контексте «обыденным знанием», «здоровом смысле» (*commonsense knowledge*), которые вошли в научный оборот благодаря А. Шюцу<sup>14</sup>. Поэтому в нашем исследовании мы используем «социальные представления» в качестве синонима «обыденного знания», по крайней мере, в применении к современному обществу.

Однако употребление термина «представления» (фр. *représentations*, англ. *representations*) порождает некоторые терминологические проблемы. В психологии и логике «представления» традиционно обозначают звено в переходе от восприятия к мышлению, либо от образа к понятию. Являются ли социальные представления знанием с позиций социологии знания, т. е. рассматриваются ли они их носителями как знание? В отношении групповых представлений ответ, видимо, должен быть утвердительным. Что же касается массовых представлений, то здесь ответ не столь однозначен, и эта проблема нуждается в дальнейшем изучении. Тем не менее, в контексте нашего исследования мы будем использовать термин «социальные представления» (который распространен только во французской литературе, но почти не используется в англосаксонской и немецкой профессиональной лексике) в качестве синонима «знания», т. е. социально объективированных «мнений»<sup>15</sup>. В целом проблема формирования

---

<sup>13</sup> *Московичи С.* От коллективных представлений — к социальным [1989] // Вопросы социологии. 1992. № 2. С. 89-96 (С. 91).

<sup>14</sup> См., например: *Шюц А.* Обыденная и научная интерпретация человеческого действия [1953] // А. Шюц. Избранное... С. 7-50.

<sup>15</sup> *Савельева И. М., Полетаев А. В.* Знание о прошлом: теория и история. В 2-х т. Т. 1: Конструирование прошлого. СПб.: Наука, 2003. Гл. 3.



социальных (групповых, коллективных, массовых и т. д.) представлений детально изучалась в разных дисциплинах, прежде всего в психологии, социальной и культурной антропологии и в социологии. Эти исследования шли на разных уровнях и в рамках различных подходов. Отметим лишь несколько результатов, важных для нашего анализа.

Во-первых, были изучены механизмы выработки общих значений и смыслов в процессе межличностной коммуникации. Эти исследования велись, с одной стороны, социологами (Ч. Кули, Дж. Мид, А. Шюц, Г. Гарфинкель, И. Гоффман), с другой — психологами, в частности, в рамках различных теорий общения<sup>16</sup>. Так, важным направлением психологических исследований стала разработка так называемых теорий когнитивного соответствия (Ф. Хайдер, Т. Ньюком, Ч. Осгуд и П. Танненбаум, Р. Абельсон и М. Розенберг, и др.)<sup>17</sup>. Эти работы были ориентированы в первую очередь на выявление механизма «притирки» представлений взаимодействующих субъектов, особенно в рамках устойчивого группового общения.

Во-вторых, большая группа работ посвящена проблеме формирования представлений индивида в рамках собственно группового общения, прежде всего в малых группах. Это различные теории групповой динамики, в том числе теории социального поля (К. Левин) и социального обмена (Дж. Хоманс). Среди разнообразных моделей группового влияния, предложенных для анализа механизма воздействия группы (ее лидеров или группового большинства) на представления всех членов<sup>18</sup>, особую известность получила информационная модель конформности М. Дойча и Г. Джерарда, в которой выделяются два типа влияния: нормативное («давление») и информационное («убеждение»). Первое — для влияния, оказываемого большинством группы или ее признанными лидерами, второе — для влияния, оказываемого

---

<sup>16</sup> Обзор см. в: *Андреева Г. М.* Социальная психология. М.: Наука, 1994. С. 59-118.

<sup>17</sup> Обзор см. в: *Андреева Г. М.* Психология социального познания. М.: Аспект Пресс, 1997. С. 54-63. Подробнее см.: *Theories of Cognitive Consistency: A Sourcebook* / Eds. R. P. Abelson et al. Chicago: Rand McNally, 1968.

<sup>18</sup> См.: *Шихарев П. Н.* Современная социальная психология. М.: Академический проект, 1999. С. 136-157.

меньшинством группы<sup>19</sup>. Другая популярная концепция — теория референтной власти Б. Коллинза и Б. Рэвена, в которой представлено действие разных форм группового влияния на индивида<sup>20</sup>.

В-третьих, во многих исследованиях анализируется проблема социальной обусловленности индивидуального мышления, влияние социальных факторов на формирование человека и его когнитивные процессы. Основы этого направления заложены, в частности, работами Ж. Пиаже, Л. С. Выготского и др. о развитии мышления у детей. Написано множество работ о воздействии на когнитивные процессы социальных установок, норм и ценностей<sup>21</sup>.

Значительное число работ связано с изучением влияния когнитивных схем, принятых в данном обществе и воспринимаемых и усваиваемых человеком в процессе общения как само собой разумеющихся. У истоков этого подхода стояли в 1920-е годы представители гештальт-психологии (М. Вертгеймер и др.). Тогда же У. Липпман ввел понятие «социального стереотипа», под которым понимается упрощенный, схематизированный образ социальных объектов или событий, обладающий значительной устойчивостью; в более широком смысле — традиционный, привычный канон мысли, восприятия и поведения<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> Deutch M., Gerard H. B. A Study of Normative and Informational Influence upon Individual Judgements // *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 1955, no. 51, p. 629-636; схему этой модели см.: Андреева Г. М. Психология социального познания. С. 141-142.

<sup>20</sup> Collins D. E., Raven B. H. Group Structure: Attraction, Coalitions, Communication and Power // *The Handbook of Social Psychology* / Ed. G. Linzey, E. Aronson. 2<sup>nd</sup> ed. Reading (MA): Addison-Wesley, 1968. V. 4. P. 102-204; схему этой модели см.: Шухарев П. Н. Современная социальная психология. С. 151-153.

<sup>21</sup> Понятие социальной установки (англ. attitude) ввели У. Томас и Ф. Знанецки (*Thomas W., Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America*. 2 vols. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1918–1921). Под социальной установкой они понимали психологическое переживание индивидом ценности, значения, смысла социального объекта, состояние сознания индивида относительно некоторой ценности.

<sup>22</sup> Липпман У. Общественное мнение. М.: Фонд «Общественное мнение», 2002 [1922]. С. 93-162. В настоящее время понятие «стереотип» используется в более узком смысле, как устоявшееся представление о личностных чертах и особенностях поведения членов определенной группы.

В настоящее время в психологии выделяются два базовых элемента когнитивного процесса: категоризация (Дж. Брунер) и схематизация (У. Найссер)<sup>23</sup>. Эти базовые элементы влияют на все стадии когнитивного процесса — восприятие, переработку, хранение и воспроизведение информации. Категории и схемы являются социально обусловленными, и чем большим количеством категорий и схем владеет человек, тем более сложным и насыщенным является его когнитивный процесс.

В-четвертых, немало исследований посвящено проблеме культурной обусловленности индивидуальных представлений. Первыми такие исследования начали проводить антропологи (в США — Ф. Боас и его ученики А. Крёбер, Р. Бенедикт, М. Мид, Л. Уайт). Важное значение для этого направления имели результаты, полученные представителями американской этно-лингвистической школы (Э. Сепир, Б. Уорф), выдвинувшими так называемую гипотезу лингвистической относительности<sup>24</sup>. В Германии проблема культурной обусловленности социальных представлений осмысливалась в рамках диффузионистского подхода на основе концепции «культурных кругов» (Л. Фробениус, Э. Бернгейм, Б. Анкерманн, Ф. Гребнер, В. Шмидт)<sup>25</sup>. Во Франции особую роль сыграли работы Л. Леви-Брюля, предложившего для характеристики взаимосвязи индивидуального мышления и социальных представлений понятие «ментальность»<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> *Брунер Дж.* Психология познания: За пределами непосредственной информации. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1977; *Найссер У.* Познание и реальность: Смысл и принципы когнитивной психологии. Пер. с англ. Благовещенск: БГК им. И. А. Бодуэна де Куртене, 1998 [1976]. О категориях и схемах см. например: Перспективы социальной психологии / Ред. М. Хьюстон, В. Штребе, Дж. Стефенсон. 2-е изд. Пер. с англ. М.: ЭКСМО, 2001 [1988 / 1996]. С. 132-136. Различие между ними можно проиллюстрировать следующим образом: например, диван относится человеком к категории «мебель», но является частью схемы «комната» или «дом».

<sup>24</sup> *Уорф Б. Л.* Отношение норм поведения и мышления к языку [1939] // Зарубежная лингвистика. Вып. I. М.: Прогресс, 1999. С. 58-92.

<sup>25</sup> См. например, работу Ф. Гребнера «Картина мира примитивных народов» (*Das Weltbild der Primitives*, 1924).

<sup>26</sup> См.: *Леви-Брюль Л.* Первобытное мышление [1922] // *Л. Леви-Брюль.* Сверхъестественное в первобытном мышлении. Пер. с фр. М.: Педа-

В СССР исследования по этнокультурной психологии проводил А. Р. Лурия<sup>27</sup>.

Материалы, полученные в ходе полевых исследований примитивных культур, использовались не только для собственно этнологических выводов, но и для осмысления современного общества: речь идет как о выявлении его отличий от «досовременных», так и об идентификации «реликтовых» социокультурных характеристик в современном обществе. Этот подход активно развивался, в частности, в исследованиях Э. Эванс-Притчарда, Р. Бенедикт, М. Мид, М. Дуглас и многих других этнологов, которые убедительно продемонстрировали влияние социокультурных факторов на когнитивные процессы в современных обществах. Особенно популярным изучение роли культурных факторов в социальной психологии становится после II Мировой войны<sup>28</sup>.

В-пятых, большой интерес представляют исследования формирования массовых представлений в современном обществе в рамках упоринававшейся теории социальных представлений, предложенной С. Московичи<sup>29</sup>. Еще в своей докторской диссертации «Психоанализ: его образ и его публика» (1961) Московичи проанализировал формирование социальных (массовых) представлений о психоанализе во французском обществе (т. е. процесс

---

гогика-Пресс, 1999; *Леви-Брюль Л.* Сверхъестественное [и естественное] в первобытном мышлении [1931] // Там же.

<sup>27</sup> *Лурия А. Р.* Кросскультурные исследования. М.: Изд-во Московского ун-та, 1971; *Лурия А. Р.* Об историческом развитии познавательных процессов. М.: Изд-во Московского ун-та, 1974. Заметим, что А. Р. Лурия проводил свои полевые исследования в Средней Азии еще в 1930-е годы, но смог опубликовать их результаты только в 1970-е.

<sup>28</sup> См. обзорные работы: *Triandis H. C.* Cultural Influences upon Cognitive Processes // *Advances in Experimental Psychology* / Ed. L. Berkowitz. N. Y.: Academic Press, 1964. P. 1-49; *Коул М., Скрибнер С.* Культура и мышление: Психологический очерк. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1977 [1974].

<sup>29</sup> О теории социальных представлений см.: *Донцов А. И., Емельянова Т. П.* Концепция социальных представлений в современной французской психологии. М.: Изд-во Московского ун-та, 1987; *Якимова Е. В.* Теория социальных представлений в социальной психологии: дискуссии 80-х – 90-х годов. М.: ИНИОН РАН, 1996; *Шихарев П. Н.* Современная социальная психология. С. 273-282.

трансформации научного знания в обыденное сознание<sup>30</sup>), опираясь на результаты интервью с представителями разных слоев французского общества и на данные контент-анализа национальной прессы различной политической ориентации<sup>31</sup>. Этот подход, учитывающий влияние на современное массовое сознание научных теорий (в опосредованной форме), идеологических концепций и роль средств массовой информации, представляется весьма плодотворным.

К сожалению, все это многообразие подходов, концепций, моделей и результатов, полученных в рамках социологии, культурной антропологии и психологии, пока, насколько нам известно, практически не нашло применения в изучении социальных (обыденных) представлений о прошлом. Дискуссии в этой области пошли своим, довольно специфичным путем.

## 2. «Историческая память»

Представления о прошлом, или «историческое сознание», уже довольно давно находились в поле исследовательских интересов историков. Прежде всего эта тема разрабатывалась в рамках историографии в узком смысле, т. е. истории исторического знания (исторической науки). Основным объектом внимания при этом, естественно, оставались сочинения историков, причем наиболее известных. Но взгляды отдельных профессиональных историков еще не составляют знания о прошлом. Как отмечал Й. Хейзинга,

«...всякое историческое знание об одном и том же предмете — независимо от того, является ли этим предметом город Лейден или Европа в целом, — выглядит в голове ученого А совсем не так, как в голове ученого Б, даже если оба они прочли абсолютно все, что можно было прочесть на данную тему... В отдельном мозгу историческое знание никогда не мо-

---

<sup>30</sup> *Moscovici S.* La psychanalyse: son image et son public. P.: P.U.F., 1961.

<sup>31</sup> За пределами Франции теория социальных представлений стала относительно известна в Европе только в 1980-е годы, а в США вообще не получила признания. Тем не менее последователи Московичи во Франции и некоторых других странах (Д. Жоделе, К. Каёз, М.-Ж. Шомбар де Лёв, В. Дуаз, Дж. Ди Джакомо, А. Эчебаррия и Д. Паэз, Дж. Филоджин и др.) провели интересный и содержательный анализ самых разных социальных представлений: о культуре, болезнях и здоровье, СПИДе, о теле, городе, женщинах, детях, афроамериканцах и т. д. Обзор и библиографию этих работ см.: *Якимова Е. В.* Теория социальных представлений... С. 7-8, 83-107; *Перспективы социальной психологии.* С. 140-141.

жет быть чем-то большим, нежели память, откуда могут быть вызваны те или иные образы. In actu это знание существует лишь для пришедшего экзаменоваться студента, отождествляющего его с тем, что написано в книге»<sup>32</sup>.

Во второй половине XX в. наряду с традиционной историографией появляются работы, анализирующие развитие исторических представлений и взглядов («исторического сознания») более широких слоев интеллектуальной элиты: философов, религиозных мыслителей и т. д. Внимание исследователей привлекло, в частности, формирование исторического сознания на Древнем Востоке, в Древней Греции и Риме, в Средневековой Европе, в эпоху Возрождения и, наконец, в Новое время. Параллельно с этим специалисты по культурной антропологии продолжали активно изучать различные мифы и легенды примитивных культур, как древних, так и современных.

Наконец, в последние десятилетия XX в. возникает, причем отнюдь не по инициативе историков, живой интерес к социальным представлениям о прошлом, существующим в *современном* обществе. Если говорить о внешних (не эпистемологических) причинах популярности и востребованности этой тематики, то здесь можно выделить несколько факторов.

Прежде всего, это уже отмеченное нами активное формирование самых разнообразных общественных объединений и групп. Для любой социальной группы прошлое и история играют ключевую роль с точки зрения самоидентификации и выражения групповых интересов. Для большинства социальных групп или, по крайней мере, их лидеров, характерно стремление к акцентировке тех или иных событий прошлого, связанных с формированием данной группы или ее сегодняшними задачами. В свою очередь, политические оппоненты заинтересованы в создании альтернативного образа прошлого, в котором роль тех же групп или важных для них исторических событий, наоборот, преуменьшается.

Существенную роль сыграло и такое новое явление, как институционализация групп участников или жертв тех или иных исторических событий — прежде всего войн и этнических и полити-

---

<sup>32</sup> Хёйзинга Й. Задачи истории культуры [1929] // Й. Хёйзинга. Homo ludens. Статьи по истории культуры. Пер. с голл. М.: Прогресс Традиция, 1997. С. 216-272 (С. 219).

ческих репрессий. В этой связи, как отмечает Я. Ассман, одной из важнейших причин обращения в 1980-е годы к теме знаний о прошлом в современном обществе было осознание того факта, что «поколение очевидцев тяжелейших в анналах человеческой истории преступлений сейчас постепенно уходит из жизни»<sup>33</sup>.

Но содержание современных социальных представлений о прошлом связано отнюдь не только с событиями относительно недавнего прошлого и воспоминаниями их участников. Массовые представления о событиях более отдаленных и даже очень давних также служат формой интеграции или дезинтеграции общества и нации. Поэтому эта тематика часто актуализируется при возникновении какого-либо политического или мемориального повода.

Ко всем этим факторам можно добавить и несколько причин концептуального характера. Прежде всего, это ставшее общим местом среди представителей самых разных дисциплин положение о том, что прошлое — это конструкция, которая создается в настоящем, и наши сегодняшние репрезентации прошлого — это отнюдь не то, «как оно было на самом деле», а всего лишь очередные конструкции. В идеологизированной трактовке, которую активно развивают представители французского и американского постмодернизма, отсюда следует, что конструкция прошлого является объектом манипуляций и выступает в качестве одной из форм «властного дискурса», навязывающего массам образ прошлого (равно как и настоящего и будущего), выгодный интеллектуальным и политическим элитам.

Но если в работах постмодернистов этот феномен выступает как объект исследования, то отдельные политические группы и организации взяли его на вооружение в качестве практического руководства к действию. Борьба за групповые политические интересы стала включать в себя и активное предложение обществу партикулярного образа прошлого, например, «женской истории».

Постепенно в дискуссии о современном массовом знании о прошлом вовлеклись и историки. На протяжении большей части XX века историки полагали, что в современных обществах, в от-

---

<sup>33</sup> Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. Пер. с нем. М.: Языки славянской культуры, 2004 [1992]. С. 11.

личие от традиционных, одна из функций истории как научного знания состоит в том, что она выполняет роль каркаса исторического сознания или массовых представлений о прошлом. Однако оказалось, что трансформация научного знания в социальные представления — это сложный и часто даже крайне сложный процесс. Результаты проведенных в последние десятилетия опросов общественного мнения, ориентированных на выявление социальных представлений о прошлом, стали для многих профессиональных историков неприятным сюрпризом. Выяснилось, что, несмотря на существование всеохватывающей системы школьного образования, которая, по идее, должна служить инструментом трансляции научных знаний в общество, массовые знания истории сильно отличаются от профессиональных.

Приведем один пример, поразивший в свое время немецких историков. В Западной Германии, несмотря на колоссальное значение нацистского прошлого для послевоенной немецкой исторической науки, мыльная опера о Холокосте, показанная в январе 1979 г. (с телефонными звонками и вопросами зрителей после каждой части и панелями, на которые приглашались специалисты, в том числе и очень известные историки — М. Брошат, А. Хильгрубер), продемонстрировала, что профессиональное историческое знание об этой трагедии прошло мимо обывателя. Как пишет А. Людтке: «Один вопрос повисал в воздухе: Почему люди игнорировали это знание? Почему они не вычитали его в книгах?»<sup>34</sup>. Реакция телезрителей свидетельствовала, что вне академий и школ существует другая, «молчаливая» история нацизма.

В последние десятилетия массовые или групповые представления о прошлом часто обозначают словосочетаниями, включающими слово «память» — коллективная память, социальная память, культурная память, историческая память. Сразу скажем, что все эти клише кажутся нам не слишком удачными, хотя бороться с ними уже, видимо, поздно. Тем не менее, мы все же считаем необходимым высказать ряд критических замечаний по поводу этой терминологии<sup>35</sup>. Одной из главных причин появления термина

---

<sup>34</sup> *Lüdtke A.* «Coming to Terms with the Past»: Illusions of Remembering, Ways of Forgetting Nazism in West Germany // *The Journal of Modern History*, September 1993. V. 65. No. 3. P. 542-572 (P. 546).

<sup>35</sup> Более развернутую критику см. в: *Савельева И. М., Полетаев А. В.* «Историческая память»: к вопросу о границах понятия // Феномен прошлого



«память» в приложении к истории стало повышенное и во многом оправданное внимание к *воспоминаниям* участников и, главным образом, жертв величайших трагедий XX века — Холокоста, сталинских репрессий, других этнических и политических геноцидов, равно как и участников второй мировой войны. Однако затем термин «память» стал быстро распространяться на самые разные аспекты социальных представлений о прошлом. Например, во Франции, по мнению Ф. Артога, «вся шумиха вокруг памяти происходила в то время, когда приближалась важнейшая дата — двухсотлетие Революции, властно выносившее на повестку дня и на общее обсуждение юбилейное воспоминание как таковое»<sup>36</sup>.

Одновременно внимание ряда исследователей привлекли исследования одного из учеников Э. Дюркгейма, М. Хальбвакса, написанные в 1920-е – начале 1940-х гг.: «Социальные рамки памяти» (1925), «Легендарная евангельская топография Святой земли: этюд о коллективной памяти» (1941) и изданная уже после его смерти «Коллективная память» (1950)<sup>37</sup>. Фигура этого ученого сама попала в тот же символический ряд, поскольку в 1944 г. он был арестован гестапо и затем отправлен в Бухенвальд, где погиб в марте 1945 г. Поскольку концепция Хальбвакса довольно подробно обсуждалась в целом ряде работ<sup>38</sup>, мы ограничимся здесь лишь краткими замечаниями, существенными для дальнейшего изложения.

Научные интересы Хальбвакса были во многом обусловлены его биографией. В лицее он учился у А. Бергсона, в Высшей нормальной школе — у Ф. Симиана, после окончания университета — у Э. Дюркгейма. Затем он преподавал социологию в Страс-

го / Ред. И. М. Савельева. М.: ГУ–ВШЭ, 2005; *Руткевич А. М.* Психоанализ, история, травмированная «память» // Там же.

<sup>36</sup> *Артог Ф.* Время и история: «Как писать историю Франции?» [1995] // «Анналы» на рубеже веков: Антология / Сост. А. Я. Гуревич, С. И. Лучицкая. Пер. с фр. М.: «XXI век – согласие», 2002. С. 147-168 (С. 157).

<sup>37</sup> *Halbwachs M.* Les cadres sociaux de la mémoire. P.: Librairie Félix Alcan, 1925; *Halbwachs M.* La topographie légendaire des évangiles en Terre Sainte. Etude de mémoire collective. P.: P.U.F., 1941; *Halbwachs M.* La mémoire collective. P.: P.U.F., 1950. Эти работы неоднократно переиздавались во Франции и были переведены на английский и немецкий языки.

<sup>38</sup> См. *Namer G.* Mémoire et société. P.: Méridiens Klincksieck, 1987; *Ассман Я.* Культурная память... С. 35-50; *Хаттон П.* История как искусство памяти. Пер. с англ. СПб.: Владимир Даль, 2003 [1993]. С. 191-228, и др.

бурге, был близок с Л. Февром и М. Блоком и входил в первую редколлегию “Анналов”, представляя в этом междисциплинарном издании социологию<sup>39</sup>. Интерес Хальбвакса к проблемам памяти объясняется, в частности, влиянием Бергсона и его сочинения «Материя и память». Еще в работе «Социальные рамки памяти» (1925) Хальбвакс показал, что социальная среда ограничивает и упорядочивает воспоминания в пространстве и во времени, служит источником как самих воспоминаний, так и понятий, в которых они фиксируются. Даже личные воспоминания имеют социальное измерение, поскольку в действительности являются сложными образами, возникающими только через коммуникацию и взаимодействие в рамках социальных групп.

Эти идеи Хальбвакса вполне укладывались в русло передовой психологической науки 1920-х годов, когда происходило становление социальной психологии, и исследователи начали обращать внимание на влияние социальных факторов на различные виды психической деятельности, в том числе и на память (достаточно упомянуть широко известную среди психологов работу Ф. Бартлетта)<sup>40</sup>. Однако, как с сожалением замечает Я. Ассман, Хальбвакс не ограничился анализом «социальных рамок» памяти, а «пошел еще дальше, объявив коллектив субъектом памяти и воспоминания, создав понятия “групповая память” и “память нации”, в которых понятие памяти оборачивается метафорой»<sup>41</sup>.

Практика антропоморфизации социальных общностей, наделения социальных коллективов и групп чертами индивидуальной личности существовала со времен архаики и была активно выражена еще в XVIII–XIX вв. В частности, от Монтескье и Вольтера до Штейнтала и Вундта по страницам разных сочинений кочевали понятия «дух народа», «душа народа», «характер народа» и т. д. Отчасти подобные архаичные представления сохранялись и в первой половине XX в. — например, М. Шелер для характеристики социальных групп использовал выражения «групповая душа» и

---

<sup>39</sup> Однако восприятие Хальбваксом исторического метода оставалось основанным на устаревшей теории О. Конта, и в «Анналах» он выглядел посторонним (см. Хаттон П. История как искусство памяти. С. 196).

<sup>40</sup> Bartlett F. C. Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1932.

<sup>41</sup> Ассман Я. Культурная память... С. 37.

«групповой дух», а Э. Фромм в «Бегстве от свободы» (1941) писал о «социальном характере».

В полной мере эти архаичные представления о «коллективной психике» присутствовали и в работах Хальбвакса, который воспринял их от Дюркгейма. Более того, Хальбвакс делил «коллективную психику» на отдельные части — разум, рассудок, эмоции, память и т. д., — восходящие едва ли не к Аристотелю. Об этом наглядно свидетельствуют названия некоторых из его статей: «Коллективная психология рассудочной деятельности» (1938), «Индивидуальное сознание и коллективный разум» (1939) «Выражение эмоций и общество» (1947 посм.)<sup>42</sup>.

Антропоморфизация коллективного субъекта постоянно производится при использовании понятия «коллективная память» и в современной литературе, в том числе путем переноса на массовое сознание ряда понятий из психоанализа начала XX в. («травма» и др.), а также различных психических расстройств, выражающихся в нарушении памяти — амнезия, гипермнезия и т. д.<sup>43</sup>. Из-за этого более современно мыслящие авторы стараются использовать паллиативные термины, не несущие на себе явный отпечаток представлений о существовании «коллективной психики», например, «культурная память»<sup>44</sup>, «социальная память»<sup>45</sup> и др. Однако связывать, а тем более отождествлять представления (знания) о прошлом с памятью неверно в принципе. Как известно любому современному психологу, память является лишь одним из компонентов когнитивной системы и составной частью процесса восприятия, усвоения, переработки, хранения и

---

<sup>42</sup> См.: Хальбвакс М. Социальные классы и морфология (избр. статьи) / Сост. В. Каради. Пер. с фр. СПб.: Алетей, 2000 [1972 посм.], раздел «Коллективная психология».

<sup>43</sup> Амнезия — потеря памяти, гипермнезия — навязчивая память. В этом смысле психические заболевания, связанные с нарушением памяти — настоящая находка для любителей метафор. Мы можем предложить их вниманию и другие недуги: гипомнезия — сокращение памяти; криптомнезия — ложные воспоминания, старческий маразм и т. д.

<sup>44</sup> Ассман Я. Культурная память... Эксле О. Г. Культурная память под воздействием историзма [2000] // Одиссей. Человек в истории 2001. М., 2001. С. 176-198; Репина Л. П. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки). М.: ГУ-ВШЭ, 2003.

<sup>45</sup> Jeudy H.-P. Mémoires du social. P.: P.U.F., 1986; Fentress J., Wickham C. Social Memory. Oxford: Blackwell, 1992; и др.

воспроизведения информации. Поэтому память имеет такое же отношение к знаниям о прошлом, как и к знаниям о настоящем и о будущем, и вообще к любым знаниям (представлениям)<sup>46</sup>.

Особые возражения вызывает использование такого клише, как «историческая память», которое уже довольно прочно укоренилось в общественно-политической лексике и постепенно начинает проникать в профессиональную литературу. Напомним, что историю связал с памятью еще Ф. Бэкон. В работе «О достоинстве и приумножении наук» (1623) он ввел разделение знания на науки разума («философию» или «чистую науку»), науки памяти («историю») и науки воображения («поэзию»). Позднее это деление было закреплено Т. Гоббсом в «Левиафане» (1651) и являлось доминирующим вплоть до конца XVIII в.; в том числе оно использовалось в 1 томе «Энциклопедии» Д. Дидро и Ж. д'Аламбера (1751). Некоторые авторы, например П. Хаттон, продолжают следовать этой традиции и по сей день.

Однако, как напоминает Ф. Артог, «историческая наука XIX столетия начала с того, что провела отчетливый водораздел между прошлым и настоящим... Истории следовало начинаться там, где останавливалась память: в архивах»<sup>47</sup>. Еще более категорично высказывается по этому поводу Я. Ассман, и мы полностью разделяем его точку зрения: «Память о прошлом не имеет ничего общего с научной историей»<sup>48</sup>. Таким образом, большинство современных специалистов противопоставляет историческое знание (науку) и «историческую память», что не мешает, впрочем, использованию последнего выражения.

«Историческая память» по-разному интерпретируется отдельными авторами<sup>49</sup>: как способ сохранения и трансляции прошлого в эпоху утраты традиции (отсюда — изобретение традиций и установление «мест памяти» в современном обществе), как индивидуальная память о прошлом, как часть социального запаса знания, существующая уже в примитивных обществах, как «коллективная память» о прошлом, если речь идет о группе, и как «социальная па-

---

<sup>46</sup> См.: Психология памяти / Сост. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. М.: ЧеРо, 1998.

<sup>47</sup> Артог Ф. Время и история... С. 157-158.

<sup>48</sup> Ассман Я. Культурная память... С. 81.

<sup>49</sup> О спектре подходов к «исторической памяти» см.: Репина Л. П. Культурная память и проблемы историописания...

мья», когда речь идет об обществе, как идеологизированная история (более всего связанная с возникновением государства-нации), наконец, просто как синоним исторического сознания. «Историческая память» трактуется и как совокупность представлений о социальном прошлом, которые существуют в обществе как на массовом, так и на индивидуальном уровне, включая их когнитивный, образный и эмоциональный аспекты. В этом случае массовое знание о прошлой социальной реальности и есть *содержание* «исторической памяти». Или же «историческая память» представляет собой опорные пункты массового знания о прошлом, минимальный набор ключевых образов событий и личностей прошлого в устной, визуальной или текстуальной форме, которые присутствуют в активной памяти (не требуется усилий, чтобы их вспомнить).

На самом деле наша неудовлетворенность связана не просто с нечеткой концептуализацией понятия «историческая память», неоправданным увлечением новым термином, противоречивостью формулировок и недодуманностью трактовок. Из теоретически не проработанного материала следуют интерпретации, которые либо не вполне корректно используют потенциал нового концепта, либо вообще кажутся нам непродуктивными или избыточными. Конечно, можно использовать метафору «историческая память», чтобы подчеркнуть, что общество «помнит» о своем прошлом, «хранит в памяти» события своей истории, но на самом деле знания запечатлены в текстах и других материальных носителях, а память — это способность индивидуальной психики.

### 3. Групповое прошлое

Обыденное знание о прошлом складывается, по меньшей мере, из двух компонентов. Во-первых, это знания, основанные на *личном* опыте действующего. Речь идет об образах, возникающих на базе прошлой жизни индивида и воспоминаний о ней. Во-вторых, это социальное знание, т. е. информация, получаемая человеком из самых разных источников и отражающая представления, существующие и признанные в данном обществе. В этом случае характер получаемой, воспринимаемой и усваиваемой информации о прошлом самым существенным образом зависит от принадлежности индивида к тем или иным социальным группам. Поэтому одним из наиболее перспективных направлений исследования является изучение групповых представлений.

Понятие социальной группы одним из первых начал разрабатывать американский социолог и социальный психолог Ч. Кули; в частности, в работе «Социальная организация» он разделил социальные группы на первичные и вторичные<sup>50</sup>. Другой американский социолог и социальный психолог Э. Мэйо ввел разделение социальных групп на формальные и неформальные<sup>51</sup>. Затем еще один американский социальный психолог, Г. Хаймен разработал понятие референтных групп, т. е. сообществ, с которыми человек соотносит себя как с эталоном, и на нормы, ценности, мнения и оценки которых он ориентируется<sup>52</sup>. Вслед за этим М. Шериф разделил социальные группы на два вида: «группы членства», членом которых индивид является, и «нечленские», или референтные, в которых индивид не состоит, но с ценностями и нормами которых соотносит свои взгляды и поведение<sup>53</sup>.

Наконец, упомянем одно из наиболее жестких среди определений социальной группы. Речь идет о дефиниции, предложенной М. Шелером, который полагал, что «“группу” образует... *знание* — хотя бы еще и самое смутное — об ее существовании, а также о сообща признаваемых *ценностях и целях*»<sup>54</sup>. Понятно, что существ-

---

<sup>50</sup> Cooley Ch. H. Social Organization: A Study of the Larger Mind. N. Y.: Charles Scribner's Sons, 1909. «Первичными» Кули обозначал небольшие группы, складывающиеся в ходе непосредственного взаимодействия индивидов. Они имеют собственные нормы поведения и отличаются солидарностью. К этой категории можно отнести семью, группы друзей, многие рабочие группы. «Вторичные» группы больше по размерам, и их члены не взаимодействуют друг с другом непосредственно.

<sup>51</sup> Mayo E. The Human Problems of an Industrial Civilization. N. Y.: Macmillan, 1933.

<sup>52</sup> Hyman H. The Psychology of Status. N. Y.: Columbia University Press, 1942.

<sup>53</sup> Sherif M. An Outline of Social Psychology. N. Y.: Harper, 1948. Позднее другие исследователи (Р. Мёртон, Т. Ньюком) распространили понятие референтной группы на все объединения, которые являются для индивида эталоном при оценке им собственного социального положения, действий, взглядов и т. д., независимо от формального членства. Референтная группа может быть не только реальной (например, компания во дворе или близкие друзья), но и условной, воображаемой (интеллигенция, бизнесмены).

<sup>54</sup> Шелер М. Социология знания [1926] // Теоретическая социология: Антология / Сост. С. П. Баньковская. В 2-х ч. М.: Университет, 2002. Ч. 1. С. 350-373 (С. 350).

ует множество разных типов социальных групп — семейные, этнические, локально-территориальные, статусно-сословные, профессиональные, религиозные, партийно-политические и т. д. Не пытаясь охватить это многообразие в рамках нашего исследования, отметим некоторые существенные концептуальные моменты.

Во-первых, анализируя групповое прошлое, необходимо отличать *представления о групповом прошлом* и *групповые представления о прошлом*. Под групповым прошлым мы имеем в виду некие события или социальные действия, в которых принимали участие члены данной группы, нынешние или позиционируемые ныне в качестве таковых в прошлом. Сюда же относятся события или действия, прямо влиявшие на положение группы и ее членов (нынешних и прошлых), т. е. непосредственно значимые для данной группы и ее интересов. Помимо этого, члены каждой группы имеют свое, специфическое представление и о прошлом в целом. Хотя, конечно, степень однородности групповых представлений не следует преувеличивать<sup>55</sup>.

Во-вторых, знание о групповом прошлом, равно как и групповые представления о прошлом в целом, нельзя отождествлять с обыденным знанием членов группы. Прошлое почти любой группы или группового институционального образования (от племени, местной общины или организации до наций и государств) изначально конструируют «эксперты», специализирующиеся в такого рода деятельности (в данном случае мы не обсуждаем вопрос о качестве экспертных знаний, а лишь подчеркиваем факт разделения труда и специализации). И лишь затем это «экспертное» знание в той или иной мере воспринимается и усваивается остальными членами группы, превращаясь в обыденное знание о прошлом.

Групповое прошлое (прошлое нынешних и бывших членов группы) имеет разную значимость для различных групп. В некоторых случаях роль этих представлений относительно невелика

---

<sup>55</sup> Как отмечал Л. С. Выготский, «все в нас социально, но это отнюдь не означает, что решительно все свойства психики отдельного человека присущи и другим членам данной группы. Только некоторая часть личной психологии может считаться принадлежностью данного коллектива, и вот эту часть личной психики в условиях ее коллективного проявления и изучает всякий раз коллективная психология, исследуя психологию войска, церкви и т. п.». — *Выготский Л. С. Психология искусства* [1965]. М.: Педагогика, 1987. С. 20.

(например, для современных профессиональных групп), в других — прошлое оказывается едва ли не ключевым элементом групповой идентификации. Прежде всего, это относится к первичным (и древнейшим) общностям — семейно-родовым и этно-территориальным, но также и ко многим группам, возникающим в современных дифференцированных обществах.

Сведения о семейной истории в дописьменных культурах играли ведущую роль в содержании темпоральных представлений, будучи едва ли не единственным источником информации о событиях, выходящих за пределы индивидуальной человеческой памяти. Семейная история выполняла функцию накопления и передачи информации, знаний и опыта от поколения к поколению. В дописьменных культурах семейное прошлое и память о нем непосредственно влияли на настоящее и будущее членов рода или семьи: повышая уровень знаний, они обеспечивали адаптацию к внешней среде, облегчали условия существования и способствовали развитию общества.

В примитивных культурах одной из главных функций представлений о семейном прошлом было поддержание знаний о системе родства, прежде всего по социальным причинам, в том числе для предотвращения инцестов<sup>56</sup>. Родственные связи играли определенную роль и при регулировании простейших правовых отношений. Например, у варварских племен родство учитывалось при получении вергельда за убитого, при уплате выкупа за невесту, при участии в коллективной помощи родне и т. д.

Но особое значение семейное прошлое приобрело в Европе периода позднего Средневековья, когда сословность превратилась в доминирующую характеристику социального устройства. При этом внутрисословная семейная стратификация была характерна не только для дворянства, но для всех слоев феодального общества<sup>57</sup>. Семейное прошлое каждого человека едва ли не пол-

---

<sup>56</sup> Мёрдок Дж. П. Социальная структура. Пер. с англ. М.: ОГИ, 2003 [1949].

<sup>57</sup> «Духовенство охраняло свои привилегии и наследственный статус не менее ревностно, чем дворянство (высокие и прибыльные церковные должности зачастую замещались членами одних и тех же семейств, кланов, потомков которых готовили к духовной карьере)... “Генеалогический фактор” играл важную роль и в жизни городского сословия, особенно его вер-



ностью определяло всю его жизнь уже при рождении — род занятий, достаток, брачный круг, а то и конкретного супруга.

Принципиальные изменения в представлениях о прошлом, образующихся на основе семейной истории, начали происходить лишь с началом Нового времени, но активизировались эти процессы только в эпоху модерности. С одной стороны, роль семейного прошлого в формировании темпоральных представлений индивида начала уменьшаться. С распространением грамотности, а затем и всеобщего образования постепенно сходит на нет значение семейной истории как источника информации о прошлом в целом. Ликвидация сословий и увеличение социальной мобильности в западных обществах уменьшили влияние семейного прошлого на судьбу человека и его жизненные планы. Доминирование городской культуры и дальнейшая нуклеаризация семей также содействовали ослаблению семейных связей и уменьшению роли семейного прошлого. С другой стороны, распространение грамотности и средств аудио- и видеозаписи способствовало развитию семейной истории, которая ныне фиксируется не в устных преданиях, а в виде документов, писем, фотографий, видеофильмов. Как правило, большинство современных семей располагает документированной историей двух-трех, а то и более поколений. Это характерно даже для России, где семейное прошлое было в значительной мере подавлено в советский период. Сохраняется и влияние семейного прошлого на жизнь человека, а тем самым и на его представления о своем настоящем и будущем.

Роль прошлого необычайно велика и для такой древнейшей разновидности социальных групп как различного рода этнические и локально-территориальные сообщества. Мифические предки, история происхождения и другие компоненты прошлого являются важнейшей основой племенной идентификации, определяя разли-

---

хушки — патрициата, власть которого приобрела характер наследственной... В среде средневекового купечества и ремесленничества... благородство происхождения определялось статусом свободного человека, членством в цехе или гильдии, размерами состояния. Не чуждо было понятие благородства и средневековому крестьянству, для которого критериями были имущественный и социальный статус, авторитет в общине, наследственное отправление должностей в общинном управлении и т. д.». — *Дмитриева О. В.* Генеалогия // Введение в специальные исторические дисциплины. М.: Изд-во Московского ун-та, 1990. С. 6-39. (С. 7-8).

чия в тотемах, ритуалах и т. д. Одновременно возникает и обратное явление — групповая (племенная) самоидентификация влияет на отношение к «своему» и «чужому» прошлому в рамках межгрупповых отношений. Например, как отмечает В. Топоров,

«...уже в первых образцах “исторической” прозы (хотя бы в условном понимании этой историчности) “историческими” признаются только “свои” предания, а предания соседнего племени квалифицируются как лежащие в мифологическом времени и, следовательно, как мифология»<sup>58</sup>.

По мере развития и усложнения обществ из первичной этно-территориальной групповой идентификации развиваются два относительно самостоятельных, но достаточно тесно связанных между собой вида групп и соответствующих типов прошлого: этно-культурные и локально-территориальные.

Роль прошлого в этнической идентификации акцентируется многими современными авторами. Например, известный американский этнопсихолог Дж. Де Вос вообще рассматривает этническую идентичность как воплощенную в культурной традиции и обращенную в прошлое, в отличие от других форм групповой идентичности, ориентированных на настоящее и будущее<sup>59</sup>. Эту же мысль, пусть в более мягкой форме, проводят и многие российские исследователи: так, Г. У. Солдатова подчеркивает, что главная опора этнической идентичности — «идея или миф об общих культуре, происхождении, истории»<sup>60</sup>; Л. М. Дробижева отмечает, что «в современных условиях унификации этнических культур наряду с неуклонным сокращением этнодифференцирующих признаков возрастает роль общности исторической судьбы как символа единства народа»<sup>61</sup>. Эти тезисы подтверждаются и результатами исследований В. А. Шнирельмана<sup>62</sup>. Точно так же знание о прошлом своего места

---

<sup>58</sup> *Мифы народов мира*. Энциклопедия / Ред. С. А. Токарев. В 2-х т. М.: Советская энциклопедия, 1980. Т. 1. С. 572.

<sup>59</sup> Цит. по: *Стефаненко Т. Г.* Этнопсихология. М.: Академический проект, 1999. С. 211.

<sup>60</sup> *Солдатова Г. У.* Психология межэтнической напряженности. М.: Смысл, 1998. С. 48.

<sup>61</sup> *Дробижева Л. М.* Этническое самосознание русских в современных условиях: идеология и практика // Советская этнография. 1991. № 1. С. 3-13 (С. 7).

<sup>62</sup> *Шнирельман В. А.* Национальные символы, этноисторические мифы и этнополитика // Теоретические проблемы исторических исследований. Вып. 2. М., 1999. С. 118-147.

обитания (области, города или деревни) обеспечивает фундамент для идентификации жителей соответствующей местности<sup>63</sup>. Местная история достаточно компактна, понятна, наглядна, укоренена в семейном прошлом, и ее можно «вспоминать» и репрезентировать в интерьерах повседневного существования<sup>64</sup>.

Наконец, прошлое выступает одним из ключевых параметров национальной идентификации, которая складывается в XIX веке из двух базовых компонентов — этно-культурного и территориально-государственного, «смешивающихся» между собой в разных пропорциях.

В дифференцированных обществах прошлое начинает выступать в качестве важного фактора идентификации не только семейных и этно-территориальных, но и других социальных групп, возникающих по мере усложнения социальной структуры. Об этом свидетельствуют, в частности, результаты исследований немецких медиевистов, посвященных средневековому феномену *memoria*, который в узком смысле обозначает память об умерших, их литургическое поминовение: участвуя в подобных ритуалах, поминающие таким образом манифестировали себя как группу<sup>65</sup>.

---

<sup>63</sup> Выражение «моя страна» (*my country*) долго означало в Америке «мою колонию» или «мой штат», пока не приобрело иное значение. Даже в начале XIX в. для Джона Адамса оно все еще означало Массачусетс, а для Джефферсона — Виргинию (*Бурстин Д.* Американцы. В 3-х т. Т. 2: Национальный опыт [1972]. М.: Прогресс, 1993. С. 458).

<sup>64</sup> Например, в Британии «соединение непреходящей популярности истории семьи, родной деревни, прихода, города у многочисленных энтузиастов-непрофессионалов — с развернутым историками-социалистами широким движением за включение любительского краеведения в контекст большой «народной истории» сделало «социальную историю снизу» важным элементом массового исторического сознания». — *Репина Л. П.* Парадигмы социальной истории в исторической науке XX столетия // XX век: Методологические проблемы исторического познания / Ред. А. Л. Ястребицкая. В 2-х ч. М.: ИНИОН РАН, 2001. Ч. 1. С. 70-100 (С. 83).

<sup>65</sup> «В группах, членами которых были крестьяне, ремесленники, торговцы, словом, люди, объединенные на основе общности рода занятий, роль «великого предка», давшего начало истории группы, часто заменял святой-патрон... перенимая на себя роль не только небесного покровителя группы, но и объекта сословной, профессиональной самоидентификации ее членов». — *Арнаутова Ю. Е.* Методия: «тотальный социальный феномен» и объект исследования // Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени / Ред. Л. П. Репина. М.: Кругъ, 2003. С. 19-37 (С. 28).

Особый случай представляет собой формирование социальных групп исключительно на основе прошлого: речь идет о непосредственных участниках тех или иных исторических событий. Потенциально группы такого рода существовали всегда, но их институционализация — относительно новое явление: оно совпало с переворотом, связанным с появлением новых электронных средств фиксации, хранения и воспроизведения информации.

Раньше люди, пережившие эпидемию чумы, или участники, например, одного из Крестовых походов, или выжившие жертвы очередной резни типа Варфоломеевской ночи впоследствии не образовывали никакой социальной группы и не имели возможности выразить свои воспоминания. В лучшем случае оставались письменные мемуары одного-двух грамотных участников этих событий, типа Жоффруа де Виллардуэна и Жана де Жуанвиля или Анны Комниной и Никиты Хониата, Маргариты Наваррской или Теодора Агриппы д'Обинье (который, кстати, вообще не был в Париже 24 августа 1572 г.), или краткие записи в хрониках какого-нибудь монаха. Теперь же фиксация, хранение и воспроизведение большого числа индивидуальных воспоминаний участников или свидетелей какого-либо события стали обычной практикой.

В целом в групповом прошлом на первом плане, с одной стороны, оказывается групповой консенсус, с другой — противопоставление «своей» группы другим. Для конструкций любого группового прошлого, как и для описаний индивидуального прошлого, характерно стремление к приукрашиванию и ретушированию, наличие пустот (пропусков), связанных с «неудобными» для данной группы событиями. Отсюда возникают и распространенные в последние десятилетия претензии отдельных групп участников (реальных или мнимых) тех или иных исторических событий на то, что именно их воспоминания дают «правильную» картину этих событий, вплоть до активных протестов и попыток запрета иных, в том числе научных и художественных, описаний и трактовок происходившего.

## ГЛАВА 3

# ОБЫДЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОШЛОМ

### ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ\*

Изучение социальных (массовых) представлений, существовавших в досовременных обществах, в целом представляет большую проблему. Довольно долго все исследования такого рода так или иначе базировались на небольшом количестве письменных текстов, принадлежавших узкому кругу интеллектуалов. В свое время еще Р. Мертон с ехидством заметил по этому поводу:

«Например, Макс Вебер (или кто-то из многочисленного племени его эпигонов) может писать о широком распространении пуританских верований в семнадцатом веке, основывая свои фактические выводы на работах нескольких грамотеев, которые выразили свои верования и впечатления о верованиях других в книгах, которые мы теперь можем прочесть. Но, конечно, при этом остается незатронутым (и неприкосновенным) независимый вопрос о том, в какой степени эти верования, в том виде как они выражены в книгах, выражают верования широких слоев бессловесного (*inarticulate*), с точки зрения истории, населения (не говоря уже о различных стратах внутри этого населения)»<sup>1</sup>.

Надо заметить, что историки осознали данную проблему намного раньше, чем социологи. Начало исследованиям положили работы Л. Карсавина о народной средневековой религиозности в Италии XII–XIII вв. (1912 и 1915 гг.), Й. Хёйзинги о средневековом

---

\* Статья подготовлена в рамках работы над проектом «Формы знания о прошлом» Международной программы высших исследований Дома наук о человеке (Париж) и Института для исследователей Колумбийского университета (Рейд Холл, Париж). Работа выполнена при поддержке индивидуального исследовательского гранта ГУ–ВШЭ 2005 г. «Социальные представления о прошлом: механизмы формирования и эмпирические результаты».

<sup>1</sup> *Merton R. K. Social Theory and Social Structure. Glencoe (Ill.): The Free Press, 1957 [1949]. P. 445.*

символизме (1919 г.) и, наконец, французская история ментальности (А. Берр, М. Блок, Л. Февр), возникшая в 1920–30-е гг. под прямым влиянием работ Э. Дюркгейма, М. Мосса и Л. Леви-Брюля.

Эти исследования активно и успешно развивались во второй половине XX в., в первую очередь применительно к эпохе Средневековья и раннего Нового времени. Конкретное содержание обыденных знаний многие исследователи пытаются выявить на основе косвенных сведений о неких социальных действиях (ритуальных, обрядовых, церемониальных и т. д.), в которых, теоретически, находят отражение представления «простых» людей, совершающих эти действия или участвующих в них. Благодаря таким исследованиям мы довольно много знаем о том, что «безмолвствующее большинство» (выражение А. Я. Гуревича)<sup>2</sup> делало, но по-прежнему очень мало знаем о том, что оно при этом думало. В особенности это относится к обыденным представлениям о прошлом.

Для реконструкции обыденного знания о прошлом используются два основных источника: во-первых, всё те же сведения о ритуальных практиках, особенно религиозных; во-вторых, различного рода эпика. Теоретически ритуальное действие обеспечивает высокую вероятность того, что его участники разделяют связанные с этим ритуалом представления. С этой точки зрения, можно предполагать, что участие в «отмечании» праздников, связанных с событиями мирской или священной истории, означает, что участники хотя бы в общих чертах знают об этом событии, что, впрочем, никак не характеризует содержание этих представлений, в том числе и их хронологическую атрибуцию.

Рассмотрим в качестве примера празднование 23 февраля в России. Согласно опросу Социологического центра Российской академии государственной службы (РАГС), в 2001 г. 56% российских респондентов заявили, что в их семье празднуют 23 февраля<sup>3</sup>. По данным опросов Фонда «Общественное мнение», доля отмечающих этот праздник несколько ниже: в 1998 г. она составляла 34%, в 2003 г. — 47%<sup>4</sup>. Тем не менее, можно считать, что около половины взрослого населения России отмечает этот праздник. Конечно, число людей, принимающих участие в пуб-

---

<sup>2</sup> Гуревич А. Я. Средневековый мир. С. 261-547.

<sup>3</sup> [http://www.rags.ru/s\\_center/opros/istoriya/opros.shtm](http://www.rags.ru/s_center/opros/istoriya/opros.shtm) (февраль, 2008).

<sup>4</sup> <http://bd.fom.ru/report/cat/humdrum/holiday/of030101> (февраль, 2008).

личных праздничных ритуальных церемониях, намного меньше. В то же время число людей, наблюдающих эти церемонии по телевизору — намного больше. Так или иначе, значительная часть населения празднует 23 февраля, т. е. участвует в неких ритуальных мероприятиях по этому поводу.

Каковы обыденные представления о 23 февраля? У нас нет соответствующих опросных данных, но можно утверждать, что подавляющее большинство отмечающих этот праздник не знает, как он на самом деле называется на протяжении последних десяти лет<sup>5</sup>. Не вполне ясно российским жителям, и о каком собственно празднике идет речь. При ответе на вопрос: «Что в первую очередь приходит вам в голову, когда вы слышите слова “23 февраля”?» (опрос 2003 г.) были получены следующие результаты: День армии и флота (35%), День защитников Отечества (22%), праздник всех мужчин (18%), просто праздничный день, выходной (14%)<sup>6</sup>. Как отмечают сотрудники Фонда «Общественное мнение», исторический контекст, который в настоящее время мобилизуется в связи с 23 февраля, довольно расплывчат. На всех фокус-группах возникали более или менее похожие диалоги, свидетельствующие о том, что представления респондентов о «происхождении» этого праздника более чем туманны.

#### ФОКУС-ГРУППА (МОСКВА)<sup>7</sup>

Модератор: «Скажите, а вы знаете традицию возникновения этого праздника? Когда, откуда он пошел, в связи с чем?».

1-я участница: Ой, это что-то такое...

2-й участник: Военно-морского флота что-то.

3-я участница: По-моему, с революции чего-то такое.

1-я участница: Да, это чего-то с гражданской войной.

3-я участница: Да, с гражданской.

4-й участник: В 18-м году.

1-я участница: Это какая-то победа была.

3-я участница: Колчак?

---

<sup>5</sup> Напомним, что с 1918 г. он отмечался как «День Красной Армии», с 1946 г. — как «День Советской Армии и Военно-Морского Флота». В соответствии с законом «О днях воинской славы (победных днях) России», принятым Государственной Думой России 10 февраля 1995 г., этот праздник именуется «23 февраля — День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества».

<sup>6</sup> <http://bd.fom.ru/report/cat/humdrum/holiday/23february/d030712>.

<sup>7</sup> <http://bd.fom.ru/report/cat/humdrum/holiday/23february/d030730>.

- 5-й участник: Насколько помню, немцев отогнали от Петербурга, что ли.  
6-я участница: Это с Германией.  
3-я участница: А, 14-й год?  
5-й участник: Да, это Первая мировая. 17-й год.  
4-й участник: 18-й год.

И т. д.

Что касается использования эпических источников для реконструкции представлений о прошлом, то здесь возникает еще больше вопросов: насколько скажем, исландские саги, записанные в XIII в., отражают «массовые представления» скандинавов первого тысячелетия нашей эры? Исследования социальных антропологов в XX в. показали, что представления о прошлом даже членов примитивных племен могут очень сильно варьироваться и не сводятся к какому-то одному мифу или легенде. Сами же мифы и особенно легенды воспринимаются членами племени достаточно дифференцированно и не могут безоговорочно считаться общепринятым знанием, о чем писал еще Б. Малиновский:

«Этнограф пристаёт к информатору и из беседы с ним выводит формулировку туземного представления, скажем, о загробной жизни. Затем он пишет отчет, в котором грамматическое подлежащее обретает множественное число — так мы узнаем о “туземцах, которые верят в то-то и то-то”. Вот это я и называю “одномерным” описанием, поскольку оно игнорирует социальное измерение, в контексте которого верование следует проанализировать, а также проходит мимо существенной сложности и разнородности этого измерения\*.

\* Проверим это социологическое правило на примере нашей цивилизации. Когда мы говорим, что верующие Римско-католической церкви верят в непогрешимость папы, мы правы только в том смысле, что это ортодоксальная вера, которая навязана всем членам этой церкви. Польский крестьянин-католик знает об этом догмате ровно столько, сколько о дифференциальном исчислении. А если бы нам предложили изучать христианскую религию не как учение, но как социальную реальность (насколько мне известно, такие исследования пока не проводились), то все замечания, сделанные в этой части моей работы, можно было бы *mutatis mutandis* отнести к любому цивилизованному обществу точно так же, как к “дикарям” из Киривины»<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Малиновский Б. Балом: духи мертвых на Тробрианских островах [1916] // Б. Малиновский. Избранное: Динамика культуры. Пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2004. С. 335-436. (С. 413-414, 435-436).



Скептицизм по поводу возможностей реконструкции социальных представлений о прошлом еще больше усиливается в отношении более сложных и дифференцированных обществ. Как свидетельствуют современные исследования, массовые представления о прошлом необычайно сильно дифференцированы по социальным стратам (даже простейшим — по полу, возрасту, месту поселения, не говоря уже об уровне образования). Кроме того, эти представления довольно интенсивно меняются во времени.

Конечно, в прошлом общества были менее дифференцированы, и скорость социальных изменений, в том числе подвижек в «общественном сознании» (извиняемся за анахронизм) была существенно ниже. Тем не менее, пренебрежение социальной дифференциацией и изменчивостью социальных представлений применительно к обществам прошлого, особенно обладавшим письменностью, с неизбежностью ведет к «одномерному описанию». Показательно также, что даже современные социальные представления, в том числе и о прошлом, являются объектом разногласий и ожесточенных научных (не говоря уже о политических) дискуссий, и разные центры изучения общественного мнения получают порой весьма несходные результаты по одним и тем же вопросам.

Если же говорить об эмпирических данных, то нам известно лишь одно наблюдение, позволяющее с уверенностью судить об обыденных представлениях о прошлом в Средние века. Оно содержится в работе Э. Ле Руа Ладюри «Монтайю», написанной по материалам допросов в 1318-25 гг. жителей деревни, обвиненных в катарской ереси, представителем инквизиции, епископом города Памье Жаком Фурнье. При этом жители деревни использовали, как и в глубокой древности, не абсолютную, а только относительную хронологию (столько-то лет тому назад...). Абсолютная датировка от Рождества Христова упоминается лишь два раза, и то в речи горожан из Памье. Как заключает Ле Руа Ладюри,

«...Древней и менее древней истории нет или почти нет места в монтайонской культуре. Место Клио и не в церкви: ...со стороны католической традиции, как она понимается многими поселянами, едва ли известен даже тот временной период, который описывает Ветхий Завет. Если оставить в стороне два упоминания об Адаме и Еве (плоды просвещения сельских кюре), то в обыкновенных беседах между домочадцами не было и речи о потопах или пророках... Католическое время в верхней Арьежи, таким образом, начинается с Марии, Иисуса и апостолов...

Что касается древней или недавней истории, то ее, как таковой, почти нет в наших текстах, как в чисто монгайонских, так и вообще в аръезских. Римская древность известна — все еще — только в <городе> Памье, где функционируют школы, где циркулирует текст Овидия. Земледельцы же почти не идут дальше предыдущего графа Фуа (ум. 1302)... В общем свидетели, которых допрашивает Фурнье, не вспоминают десятилетия до 1290–1300 годов. В самом деле, среди свидетелей насчитывается не много стариков: демография и менталитет голосуют, таким образом, против исторического времени»<sup>9</sup>.

Случай Монгайю отнюдь не уникален: «этнографы встречали много “обществ без истории” (без истории *для себя*...)»<sup>10</sup>. Типичный пример — племя горных арапешей на Новой Гвинее, культуру которых изучала М. Мид в 1930-е годы:

«...Для арапешей нет прошлого, помимо прошлого, воплощенного в стариках... Чувство вневременности и всепобеждающего обычая, которое я нашла у арапешей, ...представляется тем более странным, что эти люди не изолированы, как жители отдельных островов, не отрезаны от других народов... Это чувство тождества между известным прошлым и ожидаемым будущим тем более поразительно, что небольшие изменения и обмены между культурами происходят здесь все время»<sup>11</sup>.

Вместе с тем, в примитивных сообществах иногда может, наоборот, наблюдаться очень активный интерес к прошлому: например, члены племени нуэр, которое изучал Э. Эванс-Причард, обычно могли назвать имена девяти-одиннадцати поколений своих предков<sup>12</sup>. Поэтому, если не пытаться экстраполировать наблюдения этнологов XX века на древние культуры и не отождествлять потенциальные источники формирования обыденного знания с самим этим знанием, приходится с сожалением констатировать, что нам почти ничего не известно об обыденном знании о прошлом, существовавшем до XX века.

Необходимые прямые сведения стали доступны исследователям, по существу, лишь в последние десятилетия прошлого столетия.

<sup>9</sup> *Ле Руа Ладюри Э.* Монгайю, окситанская деревня (1294–1324). Пер. с фр. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2001 [1975]. С. 342-345.

<sup>10</sup> Там же. С. 345.

<sup>11</sup> *Мид М.* Культура и преемственность: Исследование конфликта между поколениями [1970] (гл. 1-2) // М. Мид. Культура и мир детства. Пер. с англ. М.: Восточная литература; Наука, 1988. С. 322-361. (С. 326-327).

<sup>12</sup> *Evans-Pritchard E.* The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. Oxford: Clarendon Press, 1940.

тия. Прежде всего, речь идет о различного рода *мемуарах и воспоминаниях*, активно используемых ныне при изучении индивидуальных и семейных представлений о прошлом, особенно в рамках истории повседневности. Мемуары начали составляться разными представителями городского населения по меньшей мере с XVI в., и вплоть до XX в. поток мемуарной литературы постоянно нарастал. Но только во второй половине XX века в дополнение к стихийному процессу производства мемуаров «снизу» возникла практика целенаправленного сбора индивидуальных воспоминаний профессиональными исследователями. Появилось, в частности, такое направление историографии как «устная история» новейшего времени, отчасти смыкающееся с социологией и обеспеченное новыми способами обработки информации (звукозапись, перевод в машиночитаемую, а затем и электронную форму и т. д.)<sup>13</sup>.

Понятно, что основной общественный интерес вызывают воспоминания о трагических событиях XX века — войнах, Холокосте, политических репрессиях, голоде, массовых депортациях. Воспоминания людей, переживших эти трагедии, характеризуют не только обыденное знание об относительно недавнем прошлом достаточно больших групп, но и служат важным источником информации о самих этих событиях, существенно дополняющим и меняющим исторические представления, формируемые на основе документов. Тем не менее, с нашей точки зрения, большинство исследований в этой области пока напоминает любительскую стадию развития исторического знания — тогда коллекционировали древности (предметы материальной культуры), сегодня — воспоминания обычных людей о событиях, получивших статус «исторических». Кроме того, возможности этого источника ограничены. Во-первых, он охватывает представления лишь об относительно недавнем прошлом; во-вторых, он в большинстве случаев связан с ограниченным набором событий; в-третьих, он ориентирован прежде всего на *групповые* представления, которые могут существенно отличаться от массовых.

Второй источник сведений о массовом знании о прошлом — *контрольные тесты и опросы учащихся* школ и высших учебных

---

<sup>13</sup> См.: Томпсон П. Голос прошлого: Устная история. Пер. с англ. М.: Весь мир, 2003 [1978/2000].

заведений, ориентированные на проверку степени усвоения ими программ по истории и имеющихся у них «остаточных знаний», пользуясь терминологией российского Министерства образования. Результаты этих проверок широко обсуждаются в преподавательском сообществе и служат важной основой для корректировок и совершенствования учебных программ по истории<sup>14</sup>.

В США исследования знаний учащихся по истории проводятся раз в несколько лет, начиная с 1987 г. в рамках программы NAEP (National Assessment of Education Progress — Национальная оценка прогресса в образовании), реализуемой Национальным центром образовательной статистики при Министерстве образования США и охватывающей все базовые учебные дисциплины<sup>15</sup>. Во второй половине 1990-х годов масштабная программа оценки знаний учащихся по истории начала реализовываться в Европе по инициативе Европейского Союза. В настоящее время эта программа существует в 27 европейских странах<sup>16</sup>. И американские, и европейские обследования охватывают около 30 тыс. учащихся.

Надо сказать, что результаты проверок исторических знаний учащихся как в США, так и в Европе, не очень радуют преподавателей истории. Уже первое обследование, проведенное в США в 1987 г., выявило некоторые удручающие факты. Например, в выпускных классах американских школ (12-й год обучения), один из пяти учащихся считал, что Уотергейт произошел до 1900 г., и лишь одна треть учащихся смогла правильно датировать Гражданскую войну в США хотя бы с точностью до половины столетия!<sup>17</sup> В целом полученная картина оказалась столь неутешительной, что по результатам последующих обследований широкой публике предоставляются только агрегированные итоги, из которых видно, что 57% учащихся выпускного класса американ-

---

<sup>14</sup> См.: *Knowing, Teaching, and Learning History: National and International Perspective* / Eds. P. Stearns, P. Seixas, S. Wineburg. N. Y.: Univ. Press, 2000.

<sup>15</sup> О программе NAEP в целом и ее историческом компоненте см.: <http://nces.ed.gov/nationsreportcard/> (февраль, 2008).

<sup>16</sup> Описание программы и анализ ее результатов см., например, в: *Bories B., von. Methods and Aims of Teaching History in Europe: A Report on Youth and History // Knowing, Teaching, and Learning History...* P. 246-261.

<sup>17</sup> *Ravitch D., Finn C., Jr. What Do Our 17-Year-Olds Know? A Report on the First National Assessment of History and Literature.* N. Y.: Harper & Row, 1987.

ской школы знают историю только на тройку и на двойку (по нашей системе оценок)<sup>18</sup>.

Об относительно низком уровне исторических знаний учащихся свидетельствуют и другие обследования. Например, в 1988 г. М. Кёрл проверил знание хронологии исторических событий у 200 студентов младших курсов двух университетов (частного и государственного) в южном Техасе.

«Уровень исторического невежества был значительным. Даже в элитном частном университете мы обнаружили, что: Русская революция случилась в 1970 г., первое испытание атомной бомбы — в 1915 г., освобождение американских рабов произошло самое раннее в 1830 г., самое позднее — в 1910 г., Китайская народная республика возникла в 1790 г. и в 1880 г., Израиль — в 1810 г., Наполеоновские войны предшествовали Французской революции или были совсем недавно — в 1880-е годы, Дарвин писал в XVIII в., а американские женщины получили право голосовать на выборах еще в 1810 г.»<sup>19</sup>.

Основным и наиболее распространенным источником сведений о социальных представлениях являются *опросы общественного мнения*. Напомним, что опросы появились в США в 1930-е годы под названием «пробных выборов». Их проводили американские журналисты популярных газет и журналов без всякой методики (поэтому позднее они получили название «соломенные опросы»). Первые опросы с использованием научной теории выборки и статистических методов обработки полученных данных начал проводить основанный Дж. Гэллапом в 1935 г. Американский институт общественного мнения. Первым практическим результатом работы этого института стало предсказание победы Ф. Рузвельта на президентских выборах 1936 г.

В настоящее время социологический анализ массовых представлений о прошлом также ведется в основном на базе опросов общественного мнения. Такого рода исследования имеют существенное значение для современной России, находящейся в ста-

---

<sup>18</sup> National Center for Education Statistics, National Assessment of Education Progress, <http://nces.ed.gov/nationsreportcard/pdf/main2001/2002482.pdf> (февраль, 2008).

<sup>19</sup> *Kearl M. C. An Investigation into Collective Historical Knowledge and Implications of its Ignorance // Texas Journal of Ideas, History and Culture. 2001, <http://www.trinity.edu/~mkearl/histignr.html>* (февраль, 2008).

дии формирования национально-государственной идентичности и, соответственно, образа национального прошлого. В частности, Социологический центр РАГС провел три специальных опроса, посвященных массовому историческому сознанию (в 1990, 2001 и 2003 гг.)<sup>20</sup>. Вопросы по историческим представлениям систематически включаются в опросы, проводимые ВЦИОМом (ныне — «Левада-Центр»), в том числе в рамках программы «Советский человек» (1989, 1994, 1999 гг.)<sup>21</sup>. Эпизодически те или иные вопросы, связанные с историческими представлениям, включаются в опросы других социологических центров, например Фонда

---

<sup>20</sup> Анализ результатов этих обследований см.: Меркушин В. И. Историческое сознание: состояние и тенденции развития в условиях перестройки (результаты социологического исследования) // Информационный бюллетень Центра социологических исследований АОН. М., 1991; Тощенко Ж. Т. Историческое сознание и историческая память: анализ современного состояния // Новая и новейшая история. 2000. № 4. С. 3-14; Бойков В. Э. Историческая память российского населения: состояние и проблемы формирования, 2001, [http://www.rags.ru/s\\_center/opros/istoriya/analiz.shtm](http://www.rags.ru/s_center/opros/istoriya/analiz.shtm) (февраль, 2008); Бойков В. Э., Меркушин В. И. Историческое сознание в современном российском обществе: состояние и тенденции формирования // Социология власти. Вестник Социологического центра РАГС. 2003. № 2. С. 5-22; полные итоги 2001 и 2003 гг.: [http://www.rags.ru/s\\_center/opros/istoriya/opros.shtm](http://www.rags.ru/s_center/opros/istoriya/opros.shtm) (февраль, 2008); [http://www.rags.ru/s\\_center/opros/25.02.2003/index.htm](http://www.rags.ru/s_center/opros/25.02.2003/index.htm) (февраль, 2008).

<sup>21</sup> Анализ «исторического» компонента опросов ВЦИОМ/Левада-Центр см. в: Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х / Ред. Ю. А. Левада. М.: ВЦИОМ, 1993; Дубин Б. В. Национализированная память (О социальной травматике массового исторического сознания) // Человек. 1991. № 5. С. 5-13; Дубин Б. В. Прошлое в сегодняшних оценках россиян // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. 1996. № 5. С. 28-34; Дубин Б. В. Конец века // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. 2000. № 4. С. 13-18; Дубин Б. В. Сталин и другие: фигуры высшей власти в общественном мнении современной России // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. 2003. №№1-2; Левинсон А. Г. Значимые имена // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. 1995. № 2. С. 26-29; Левинсон А. Г. Массовые представления об «исторических личностях» // Одиссей — 1996. М., 1996. С. 252-267; Гудков Л. Д. Русский неотрадиционализм // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. 1997. № 2. С. 25-33; Гудков Л. Д. Победа в войне: к социологии одного национального символа // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. 1997. № 5. С. 12-19; Левада Ю. А. От мнений к пониманию: Социологические очерки. 1993–2000. М.: Московская школа политических исследований, 2000; и др.

«Общественное мнение»<sup>22</sup>, а также в специальные опросы, проводимые отдельными исследователями<sup>23</sup>.

Но опросы и анализ их результатов, при всей их важности, не закрывают полностью данную проблематику, о чем свидетельствует, в частности, отсутствие крупных монографических исследований по рассматриваемой теме. Главный недостаток опросов — это то, что в них в лучшем случае выявляются только «конечные результаты», но практически никак не обнаруживается механизм формирования тех или иных представлений о прошлом. Впечатляющая критика опросов общественного мнения в целом была дана П. Бурдьё, который поставил под сомнение «три постулата, имплицитно задействованные в опросах»:

«Так, всякий опрос мнений предполагает, что все люди могут иметь мнение или, иначе говоря, что производство мнений доступно всем. Этот первый постулат я оспарю, рискуя задеть чьи-то наивно демократические чувства. Второй постулат предполагает, будто все мнения значимы. Я считаю возможным доказать, что это вовсе не так, и факт суммирования мнений, имеющих отнюдь не одну и ту же реальную силу, ведет к производству лишенных смысла артефактов. Третий постулат проявляется скрыто: тот простой факт, что всем задается один и тот же вопрос, предполагает гипотезу о существовании консенсуса в отношении проблематики, то есть согласия, что вопросы заслуживают быть заданными. Эти три постулата предопределяют, на мой взгляд, целую серию деформаций, которые обнаруживаются, даже если строго выполнены все методологические требования в ходе сбора и анализа данных»<sup>24</sup>.

К сожалению, концептуальное качество большинства опросов на интересующую нас тему не очень высоко, и получаемые в итоге данные оказываются не слишком информативными с точки зрения целей нашего исследования. Это, впрочем, неудивительно, поскольку опросы общественного мнения ориентированы на другие (прежде всего, идейно-политические) задачи, что отражается и в подходе к изучению массовых исторических представлений. С учетом этих оговорок рассмотрим кратко наиболее интересные и, в то же время, типичные результаты опросов, проводившихся в

---

<sup>22</sup> См.: [http://bd.fom.ru/cat/societas/image/istoriya\\_rossii/](http://bd.fom.ru/cat/societas/image/istoriya_rossii/) (февраль, 2008).

<sup>23</sup> См., например: *Сикевич З. В.* Национальное самосознание русских (социологический очерк). М.: Механик, 1996. С. 113-128.

<sup>24</sup> *Бурдьё П.* Общественное мнение не существует [1972 / 1973] // *П. Бурдьё.* Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993. С. 159-177. (С. 161).

России в последние 15 лет. Кроме того, для сопоставления мы используем результаты некоторых опросов общественного мнения, проводившихся в этот период в США.

### а) Сферы интересов

Прежде всего следует отметить, что, по данным опросов Социологического центра РАГС, примерно 3/4 российских респондентов заявляют, что они интересуются прошлым России, в том числе 1/3 утверждает, что российское прошлое их «очень интересует» (данные за 2003 г.)<sup>25</sup>. Причины, по которым россияне интересуются прошлым, достаточно разнообразны, но преобладают, естественно, любительские или конъюнктурные интересы: желание расширить кругозор — 46%; потребность узнать и понять корни своей страны и своего народа — 37%, стремление найти в истории ответы на злободневные вопросы — 21%, недоверие к разным публикациям и спорам на исторические темы — 19%. Из числа тех, кто говорит о том, что он интересуется историей, только 14% прокламируют интерес к историческим знаниям как таковым<sup>26</sup>, для большинства же сведения о прошлом служат относительно утилитарным целям. На обыденном уровне знания о прошлом, как мы попытаемся показать ниже, являются прежде всего средством ориентации во времени и в социальном пространстве, основой для самоидентификации, причем в России — в первую очередь идентификации национально-государственной.

Важной характеристикой обыденного знания о прошлом является его распределение по «уровням» интересов, от семейной истории до всемирной. Весьма показательны с этой точки зрения результаты опроса, проведенного в США в 1997 г. Для американцев основным объектом интереса является семейное прошлое (2/3 опрошенных), на втором месте с большим отрывом идет национальное прошлое (22% опрошенных), а все остальное «прошлое» фактически не существенно, в том числе локальная история (ей интересуется 4% опрошенных)<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Здесь и далее мы используем результаты опросов взрослого населения (18 лет и старше).

<sup>26</sup> Опросы Социологического центра АОН/РАГС. РФ, 1990 г. N=2200, 2003 г. N=1950.

<sup>27</sup> США, телефонный опрос, 1997 г. N=800; выбор из списка, один вариант ответа; *Rozenzweig R., Thelen D. The Presence of the Past: Popular Uses of History in American Life*. N. Y.: Columbia Univ. Press, 1998. Table 1.4.



К сожалению, нам не удалось обнаружить аналогичный опрос по России. Но некоторое соответствие можно найти в опросах, проводившихся Социологическим центром АОН/РАГС. Прежде всего, поражает необычайно низкий уровень интереса к семейному прошлому и, соответственно, уровень знаний о нем. Согласно данным опроса 1990 г., на вопрос «Составлялась ли в Вашей семье родословная?» только 7% респондентов дали положительный ответ. Большинство респондентов плохо знают уже имена своих прадедов, а дальше, как в деревне Монтайю, описанной Э. Ле Руа Ладюри, начинается «темное» семейное прошлое.

Судя по имеющимся косвенным данным, значительно более важную роль, чем семейная история, играют в российском обыденном знании о прошлом локальная, региональная и этническая история. Интерес к этим трем уровням знания распределен примерно одинаково. Наиболее значима роль национально-государственного прошлого, а мировая история, наоборот, практически выпадает из сферы интересов. Итак, хотя национально-государственная идентификация является одним из главных мотивов к получению знаний о прошлом, россияне для этого совершенно не нуждаются в знании всемирной истории, а вполне удовлетворяются историей национальной<sup>28</sup>. Впрочем, точно такая же ситуация наблюдается, например, и в США.

В хронологической перспективе обыденные знания о прошлом в основном связаны с новейшей историей. Например, в ответ на просьбу назвать выдающихся исторических личностей россияне называют имена, половина которых (83 имени из 168) приходится на XX век. По мере удаления в прошлое объем знаний начинает быстро убывать, но эта тенденция не является линейной. Так, у россиян практически отсутствуют знания о периоде I–X вв. н. э., но примерно равный небольшой объем знаний имеется по периодам XI–XV вв. н. э. и I–VI вв. до н. э. (знания о более раннем периоде практически отсутствуют)<sup>29</sup>.

Помимо общего смещения знаний о прошлом в пользу новейшей истории, которое обусловлено отмеченными выше массовыми прагматическими когнитивными интересами, распределение

---

<sup>28</sup> Опросы Социологического центра АОН/РАГС. РФ, 1990 г. N=2200, 2003 г. N=1950.

<sup>29</sup> Опросы ВЦИОМ/Левада-Центр, 1994 г. — РФ, N =3000.

знаний по периодам определяется и рядом более сложных обстоятельств — длительностью национальной истории, сферой или объектом знаний (в частности, знания по политической истории и истории культуры распределяются во времени разным образом). Наконец, хронологическое распределение знаний зависит от содержательных характеристик самих исторических периодов, среди которых естественным образом выделяются более и менее значимые (важные) в соответствии с массовыми представлениями.

Интерес к прошлому реализуется, прежде всего, на уровне исторических личностей, т. е. обыденные знания во многом являются персонифицированными, привязанными к отдельным историческим фигурам. По областям — доминирует интерес к истории *государства* в ее различных аспектах (политическом, военном, экономическом); существенно меньший интерес вызывает история культуры<sup>30</sup>.

Прежде чем перейти к более конкретному анализу содержания массового знания о прошлом, следует оговориться, что в настоящее время здесь ощущается большая нехватка эмпирических данных. Объем проведенных социологических исследований в этой области крайне невелик, и имеющаяся информация имеет весьма поверхностный характер. При проведении многих опросов сведения о характере массовых представлений о прошлом играют второстепенную роль и, как правило, подчинены иным задачам, которые ставят перед собой организаторы опроса — изучение политических настроений, национальных и этнических установок и т. д. В силу этого большинство вопросов имеет крайне схематизированную форму или подталкивает респондентов к схематизированным и упрощенным ответам. Нельзя не сказать и о том, что формулировки многих вопросов часто содержат различного рода подсказки или акценты, ведущие к смещению получаемых результатов.

Приведем лишь пару примеров. Одними из наиболее популярных (у социологов) якобы «исторических» вопросов являются вопросы типа «назовите самую великую историческую личность», «главного злодея в истории», «личность, которая вызывает у Вас наибольшее уважение» и т. д. В тех случаях, когда респондентам предлагают открытый вопрос и просят выбрать одну

---

<sup>30</sup> Опросы Социологического центра АОН/РАГС. РФ, 1990 г. N=2200, 2001 г. N=2400.

самую великую личность на протяжении всей истории человечества, последнего тысячелетия или последнего столетия, то даже для относительно ограниченной сферы — политики, науки и т. д. — задача оказывается непосильной для большинства нормальных людей. В такого рода вопросах процент «социологического брака», т. е. доля респондентов, затруднившихся с ответом, достигает 40% и более от числа опрошенных, однако подобные вопросы продолжают с упорством задаваться.

Вторая очень популярная у социологов группа вопросов — «назовите самое важное историческое событие» или «оцените важность предлагаемых исторических событий». Здесь часто задается фиксированный набор событий, причем формулировка вопроса обычно неявно подразумевает, что раз эти события включены в список, они в любом случае являются важными<sup>31</sup>.

Впрочем, если смотреть на опросы общественного мнения с социологически-философской точки зрения, то можно считать, что стереотипные формулировки вопросов, предназначенных выявлять массовые представления о прошлом, сами демонстрируют стереотипы, характерные для массового сознания в целом, в том числе и для специалистов по опросам общественного мнения...

В целом, имеющиеся эмпирические данные не позволяют пока судить об обыденном знании о прошлом в сколько-нибудь полном объеме. Речь может идти лишь о выявлении наиболее явных «опорных точек», образующих, условно говоря, видимые «надводные вершины» социальных (массовых) представлений, основная часть которых пока остается скрытой от глаз исследователей.

В аналитических целях обыденные представления о прошлом мы разделим на две части — первая относится к социальной системе (политическая, военная, социальная и экономическая история), вторая — к системе культуры. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, эти две области по-разному структурируются на уровне массового сознания.

#### **б) «Политическая память»**

Анализ результатов разных социологических опросов позволяет сделать вывод о том, что представления о прошлом политиче-

---

<sup>31</sup> Характерный пример — опрос, проведенный службой Гэллага в США в ноябре 1999 г. (<http://www.pollingreport.com/20th.htm> [февр., 2008]).

ской и социально-экономической подсистем структурируются на трех уровнях: значимых исторических периодов, исторических событий и исторических личностей. При этом на всех трех уровнях могут существовать позитивные и негативные оценки, связанные с ценностно-эмоциональным подходом. Эти три уровня структуризации взаимосвязаны, но не всегда однозначным образом.

В российском обыденном сознании исторические периоды традиционно связаны с правлением тех или иных глав государства. Также и среди значимых исторических личностей традиционно высок удельный вес правителей. При этом в одних случаях наблюдаются однотипные представления (оценки), своего рода общенациональный консенсус, в других — мы сталкиваемся с сильной поляризацией представлений о прошлом, идет ли речь об исторических событиях или о политических деятелях.

Структура представлений российских граждан о прошлом довольно сильно различается для XX столетия и предшествующего времени, поэтому мы рассмотрим их отдельно.

Судя по данным опросов, вся российская история до XX века представлена на уровне массового сознания довольно скудно. Здесь выделяются два ключевых периода — время правления Петра I и Екатерины II, причем период правления Петра I является абсолютно доминирующим по значимости на протяжении всей российской истории, включая XX век. В качестве важнейших выделяются всего три события: Куликовская битва/освобождение от монголо-татарского ига, Отечественная война 1812 года и отмена крепостного права. Среди них относительно чуть большее внимание привлекает война с Наполеоном. О месте этих исторических эпизодов в массовом сознании свидетельствует также их включение в список событий, составляющих предмет национальной гордости. Точно так же объектами национальной гордости являются *периоды* правления Петра I и Екатерины II, вне связи с какими-либо конкретными историческими событиями.

Необычайно странную картину являет собой список наиболее значимых для периода до XX века исторических личностей, хотя бы потому, что он слабо связан с наборами важных периодов и событий (если не считать правления и личности Петра I). В эпоху Киевской Руси вообще не выделяется никаких личностей, в период монголо-татарского ига практически не вспоминается

Дмитрий Донской, не говоря уже об Иване III, в XIX веке отсутствуют и Александр I, и Александр II (хотя в числе значимых исторических событий часто упоминается и Отечественная война 1812 г., и отмена крепостного права).

На формирование пантеона исторических персонажей в советские времена существенное влияние, как известно, оказал выбор Сталина, реализованный в кинофильмах: «Александр Невский» (1938), «Иван Грозный» (1944–1945/1958), «Минин и Пожарский» (1939), «Петр Первый» (1937–1938), «Суворов» (1940), «Кутузов» (1943), «Адмирал Ушаков» (1953), «Адмирал Нахимов» (1946). В настоящее время популярность некоторых персонажей или фактически сошла на нет (Иван IV, Нахимов, Ушаков), или сильно уменьшилась (Александр Невский, М. И. Кутузов). В то же время популярность Петра I и А. В. Суворова, наоборот, выросла, в результате чего самой значимой личностью в эпоху Екатерины II оказывается не сама императрица, а Суворов<sup>32</sup>.

Обыденные представления россиян об истории XX века выглядят немного более сложными и комплексными. Максимально позитивную оценку в целом имеют времена Хрущева и особенно Брежнева, в то время как периоды правления других руководителей страны оцениваются скорее негативно. Несколько более разнообразным, чем для периода до XX века, является и набор значимых политических фигур. Помимо российских правителей и военачальников (Г. К. Жуков) он включает П. А. Столыпина и А. Д. Сахарова, а также несколько иностранцев, прежде всего связанных со II Мировой войной (А. Гитлер, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль). Из послевоенных иноземных политических деятелей самой значимой фигурой почему-то является М. Тэтчер. С точки зрения динамики массовых представлений (с начала 1990-х годов), можно отметить наблюдаемое в последние годы увеличение популярности И. В. Сталина и Л. И. Брежнева и снижение популярности Николая II, Столыпина и Сахарова.

Набор ключевых исторических событий XX века включает прежде всего войны (Первая мировая, Вторая мировая/Великая Отечественная, войны в Афганистане и в Чечне). Абсолютно до-

---

<sup>32</sup> Опрос Социологического центра РАГС, 2001 г., N=2400; опрос Социологического центра РАГС, 2003 г., N=1950; опрос ВЦИОМ / Левада-Центр, 1994, N=3000; опрос ВЦИОМ/Левада-Центр, 1998, N=1600.

минирующим событием является, конечно, Великая Отечественная война и связанные с ней события (прежде всего, победа, но также отступление 1941 года, Сталинградская битва, атомная бомбардировка Хиросимы/Нагасаки). Интересно, что Гражданская война, после короткого всплеска интереса к «белогвардейской» тематике в конце 1980-х – начале 1990-х годов, практически выпала из набора значимых для массового сознания событий.

Помимо войн важными событиями являются Революция 1917 года и события, связанные с крушением социализма (перестройка, распад СССР, переход к демократии и частной собственности). При этом в оценке обоих революционных периодов преобладают негативные эмоции. Наконец, к числу важнейших относятся и столь разные события, как полет Гагарина и авария в Чернобыле. С точки зрения динамики массовых представлений, в последние годы увеличивается и без того высокая оценка Великой отечественной войны, а также полета Гагарина, в то время как значимость всех остальных событий постепенно уменьшается (исключение составляет, естественно, война в Чечне, которая, увы, еще не стала прошлым)<sup>33</sup>.

Содержание массового исторического сознания в огромной степени определяется конкретным национальным опытом. Так, в исторической литературе можно найти немало размышлений, основанных на сопоставлении отношения к прошлому европейцев и североамериканцев. Как отмечает Р. Хайлбронер, американцы в этом вопросе не демонстрировали характерной для европейской мысли склонности к трагическому восприятию, потому что «они никогда не разделяли с Европой знания трагедии как аспекта, неотделимого от истории»<sup>34</sup>. В том же духе пишет Л. Харц: «Прошлое было для американцев благоприятным, и они это знали»<sup>35</sup>.

При сопоставлении обыденных представлений о политической истории граждан России и США в глаза бросаются, конечно, существенные различия в наборе значимых исторических событий и политических деятелей. Однако существуют и важные

---

<sup>33</sup> Опросы ВЦИОМ/Левада-Центр, 1999, N=1950; опрос ВЦИОМ / Левада-Центр, 1994, N=3000; опрос ВЦИОМ/Левада-Центр, 1998, N=1600; опрос Социологического центра РАГС, 2003 г., N=1950.

<sup>34</sup> *Heilbroner R. L. The Future as History. N. Y., 1961. P. 51.*

<sup>35</sup> *Харц Л. Либеральная традиция в Америке. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1993 [1955]. С. 53.*

сходные черты. Во-первых, «всемирная история» в массовом сознании остается прежде всего национальной историей. Во-вторых, важнейшими событиями являются войны и революции.

Для граждан США политическая история начинается, естественно, только с конца XVIII века, т. е. с процесса образования Соединенных Штатов и комплекса связанных с этим событий (Американская революция, Война за независимость, Декларация независимости, принятие Конституции) и личностей (прежде всего Вашингтона и Джефферсона). Ключевые события XIX века — Гражданская война и отмена рабства, соответствующая ключевая фигура этого периода — А. Линкольн. Занятно, что в ответах респондентов Линкольн порой фигурирует и среди самых выдающихся политиков XX века, хотя, как известно, он был убит в 1865 г. (это к вопросу об уровне исторических знаний).

Ключевое событие первой половины XX века для американцев — Вторая мировая война, и именно с ней связаны известные личности, как политические фигуры (Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль, А. Гитлер), так и военачальники (Д. Эйзенхауэр, Дж. Паттон, Д. Макартур). С точки зрения массового сознания, особенно насыщенным значимыми событиями был период 1960-х – начала 1970-х гг. (борьба за гражданские права, высадка американских космонавтов на Луне, война во Вьетнаме), а ключевые фигуры этого периода — Дж. Кеннеди и Мартин Лютер Кинг. Конец 1980-х – начало 1990-х гг. маркируются крушением социализма (коммунизма, по американской терминологии) и первой войной с Ираком. Ключевые фигуры — Р. Рейган в политике и К. Пауэлл и Н. Шварцкопф — в военной области. Важнейшими историческими событиями в начале XXI века стали для американцев террористические акты 11 сентября 2001 г. и вторая война в Ираке<sup>36</sup>.

До сих пор мы говорили в основном о военно-политической и социально-политической истории. Что касается экономической истории, которая, судя по данным опросов, привлекает достаточно большое внимание населения, то здесь почти нет эмпирических данных, если не считать включение небольшим числом респондентов в наиболее значимые события XX века голода 1932–

---

<sup>36</sup> National Opinion Research Center. General Social Survey 1993, N=1600, <http://www.cpanda.org/data/a00006/a00006.html> (февраль, 2008); ABC News Poll, 1999, N=500, <http://www.pollingreport.com/20th.htm> (февраль, 2008).

1933 г. в СССР и Великой депрессии 1930-х годов в США. В качестве иллюстрации можно привести лишь мнение американцев о наиболее выдающихся представителях делового мира (не удивляет, что все они оказались американцами)<sup>37</sup>.

Этот набор включает двух «классических» предпринимателей второй половины XIX в. (Э. Карнеги — 2% опрошенных и Дж. Д. Рокфеллер — 6%), одного — первой половины XX в. (Г. Форд — 6%), одного — периода 1970–1980-х гг. (Л. Якокка — 2%) и двух современников (Д. Трамп — 5% и Б. Гейтс — 33%), причем Гейтс является абсолютным лидером бизнеса. Интересно распределение имен по сферам бизнеса (что косвенно отражает историческую значимость тех или иных секторов экономики с массовой точки зрения): представлена сталелитейная промышленность (Карнеги), нефть и банки (Рокфеллер), автомобильная промышленность (Форд, Якокка), строительство, отели, игровой бизнес (Трамп), компьютерные программы (Гейтс).

#### **в) «Культурная память»**

В отличие от политической, военной и социально-экономической истории, где в опросах фигурируют не только личности, но и значимые периоды и исторические события, представления о прошлом в области культуры в опросах общественного мнения, к сожалению, определяются только на уровне имен деятелей культуры и науки (хотя, может быть, это и соответствует обыденным представлениям).

Набор выдающихся личностей в каждой из областей культуры в широком смысле довольно стандартен. В качестве примера можно привести результаты опроса ВЦИОМ в 1989 г. в СССР. Если не считать идеологических смещений, связанных с именами К. Маркса и Ф. Энгельса, в остальном приведенный набор имен воспроизводится и в большинстве последующих опросов. За исключением все тех же Маркса и Энгельса в списке, фиксирующем результаты опроса, нет никаких представителей философии, общественных и гуманитарных наук. Кроме того, полученный список показывает, что представления о науке в России традиционно

---

<sup>37</sup> «Назовите самую выдающуюся историческую личность за последнюю тысячу лет в области бизнеса» (открытый вопрос), ABC News Poll, 1999, N=500, <http://www.pollingreport.com/20th.htm> (февраль, 2008).



смещены в пользу естествознания<sup>38</sup>. Впрочем, сдвиг в сторону естествознания выглядит вполне естественно: в английском языке, например, под наукой (science) понимается именно естествознание, в то время как другие области знания доопределяются или называются иначе (social sciences, humanities). К сожалению, формулировка вопроса не позволяет получить более точное представление о характере обыденного знания в интересующей нас области.

Смещение оценок прошлого и, в частности, роли тех или иных личностей в истории, естественно, имеет национальный характер, что отражает доминирующее положение национально-государственной историографии в современном образовании. Подобные смещения проявляются в области культуры лишь незначительно слабее, чем в сфере политики и в военной области. Судя по некоторым косвенным данным, в обыденном знании о прошлом в российском обществе, видимо, несколько переоценивается вклад России и отдельных ее представителей (ученых, писателей и других деятелей культуры) в мировое развитие.

Можно с достаточной вероятностью говорить и о смещениях в оценке значимости вклада в мировую науку и культуру, как по областям деятельности, так и по персоналиям. Видимо, музыканты играют в формировании образа культуры прошлого в обыденном сознании гораздо меньшую роль, чем ученые и писатели (что отражается и в характере задаваемых вопросов). Весьма интересны и смещения в оценке роли отдельных личностей. Судя по данным опросов, россияне продолжают свято верить в выдающийся вклад М. В. Ломоносова и А. С. Пушкина в мировую науку и литературу<sup>39</sup>. Ну ладно, Пушкин — о проблемах перевода поэзии на иностранные языки широкие массы населения могут не задумываться. Но Ломоносов — это уж совсем удивительный случай, и причины отнесения его к великим ученым, оказавшим большое влияние на мировую науку, требуют специального исследования.

Надо заметить, что национальные смещения в представлениях о развитии мировой науки и культуры достаточно универсальны, о чем свидетельствуют, например, результаты опросов общественного мнения в США. Но в целом наука, культура, религия

---

<sup>38</sup> Опрос ВЦИОМ/Левада-Центр, СССР, 1989 г., N=2700; Советский простой человек... С. 293.

<sup>39</sup> Опрос Социологического центра РАГС, РФ, 2001 г., N=2400.

все же немного более интернациональны, чем политика, военное дело и экономика. В ряде областей в обыденных представлениях американцев имеются явно доминирующие фигуры: в географических открытиях — К. Колумб, в естественных науках — А. Эйнштейн, в медицине — Й. Солк (изобретатель первой вакцины от полиомиелита), в литературе — У. Шекспир. В других сферах предпочтения не столь однозначны: в области музыки лидерами американского общественного мнения являются В. Моцарт и Л. ван Бетховен, в области религии — мать Тереза, Билли Грэм (американский проповедник) и папа Иоанн Павел II<sup>40</sup>.

В заключение вернемся еще раз к вопросу о сферах когнитивных интересов в области знания о прошлом. Можно предположить, что степень интереса к тем или иным компонентам прошлого зависит от оценки степени их важности, «исторической роли». Это, конечно, не означает, что существует прямая связь между оценкой значимости и уровнем знаний о каком-то явлении, но косвенное влияние здесь, видимо, все же проявляется. Очевидно, что в целом оценка значимости, а, соответственно, и интерес к «политическому» прошлому выше, чем к «культурному», причем этот разрыв увеличивается (значимость «политики» возрастает, а «культуры» — уменьшается). При этом в сфере «политики» доминирующими являются собственно военно-политические компоненты, тогда как социально-экономические компоненты находятся на периферии обыденного интереса к прошлому. В любом случае можно говорить о снижении оценок значимости и, соответственно, интереса к истории науки и культуры со стороны российского населения.

\* \* \*

Как уже отмечалось, во всех странах результаты тестов, проводимых среди школьников и студентов, равно как и данные опросов населения в целом, свидетельствуют о формально очень низком уровне массовых исторических знаний. Однако нам кажется, что эти результаты следует интерпретировать с большой осторожностью. Действительно, если речь идет о конкретных датах, событиях и личностях, то соответствующие познания выгля-

---

<sup>40</sup> ABC News Poll, 1999, N = 500, <http://www.pollingreport.com/20th.htm>.

дят крайне скудными и примитивными, а их объем — весьма ограниченным. Но незнание исторической конкретики само по себе не может рассматриваться как свидетельство неинструментальности обыденных знаний о прошлом в целом. Тесты и опросы выявляют «конечные результаты» только одного типа: они дают информацию о систематизированных знаниях или знании фактов, но не позволяют судить о том, в какой мере усвоенные знания выполняют свою главную функцию — обеспечение ориентации во времени и в социальном пространстве.

Поясним свою мысль на примере естествознания. Подавляющая часть взрослого населения любой страны вряд ли сможет воспроизвести законы Ньютона, но при этом в современном обществе все понимают, почему брошенный камень падает на землю, а Земля не улетает от Солнца. Наличие общих представлений об электричестве и работе бытовых электроприборов не связано с точным знанием закона Ома. Это же относится и к массовым знаниям в области химии, биологии, медицины и т. д.

Иными словами, хотя после окончания школы большинство людей в современных обществах быстро забывает конкретные формулы, законы и т. д., полученные естественнонаучные знания позволяют в течение всей оставшейся жизни ориентироваться в физической реальности и понимать базовые принципы ее устройства в соответствии с относительно современными научными представлениями (хотя бы на уровне естествознания XIX – начала XX века). Благодаря усвоенным знаниям значительная часть населения может воспринимать и некоторые новейшие научные теории, популяризируемые печатными изданиями, а также телевидением и радио.

Гипотетически можно предположить, что такая же ситуация существует и в области массовых представлений о социальной реальности, в том числе и о прошлом. Незнание дат и конкретных исторических фактов вполне может сосуществовать с наличием функциональных знаний об устройстве социального мира, его историческом развитии и, соответственно, о «времяположении настоящего». Если эта гипотеза верна, то отсюда следует гораздо большая, чем принято считать, *познавательная* значимость школьного исторического образования.

## ГЛАВА 4

# ГРАЖДАНСКАЯ НАЦИЯ И НЕГРАЖДАНСКОЕ ИСТОРИОПИСАНИЕ

Принято различать «хорошее» и «плохое» понятия нации. «Плохая» нация — это та, которая основана на национализме, на утверждении приоритета собственных национальных интересов над интересами других наций, на национальности как основном критерии принадлежности к нации и т. п. «Хорошая» нация — это нация как гражданское общество («гражданская нация»), как сообщество равноправных граждан, примерно в том смысле, как это слово употребляется в названии Организации объединенных наций, или как оно употреблялось во времена Французской революции, или в британской конституционной истории.

«Хорошая» нация как сообщество граждан обладает достаточным моральным авторитетом для того, чтобы служить основанием для целого ряда различий, недопустимых в иных случаях. Скажем, никто сегодня не осмелится формально отделять чернокожих людей от белых, опасаясь прослыть расистом, но в то же время в каждом европейском аэропорту, выстраиваясь в очередь на паспортный контроль, нужно иметь в виду таблички с надписями «для граждан ЕС» и «для всех остальных». Однако как раз подобное стояние в отдельных очередях для неграждан, и в целом опыт ощущения себя иммигрантом, заставляет задуматься над тем, что и с «гражданской нацией» не все в порядке.

Чем именно нехороша идея сообщества граждан? Когда мы говорим о национализме, то на ум сразу приходит масса стандартных примеров и аргументов, которые позволяют записать его в абсолютное зло; но когда речь идет о демократическом сообществе граждан, на ум приходят, прежде всего, разные положительные определения, так что в итоге по поводу двух очередей в аэропорту

хочется сказать, что это не так уж важно в сравнении с теми преимуществами, которые имеет гражданское сообщество по отношению ко всякому иному. То есть, если критические размышления о националистической нации сразу находят себе дискурсивную поддержку, и нам нетрудно быстро разоблачить разного рода национальные мифы и предрассудки, то перейти от временного раздражения по поводу дискриминации неграждан к критике идеологии гражданских прав гораздо сложнее — имеющиеся для этого дискурсивные возможности не лежат на поверхности.

В частности, не существует исторических сочинений о гражданском обществе, подобных историческим и философским работам о нациях и национализме, написанным Эрнстом Геллнером, Бенедиктом Андерсоном, Эриком Хобсбаумом или Отто Данном<sup>1</sup>. О гражданском обществе вспоминаются скорее апологетические работы — того же Геллнера, Исаяи Берлина и множества других авторов<sup>2</sup>. Известная критика Квентином Скиннером<sup>3</sup> понятия свободы в либеральных теориях Геллнера и Берлина лишь противопоставляет идею одного гражданского общества другому. Тема проблематичного неравноправия граждан/ неграждан в историческом ключе только в последнее время становится предметом исследования, главным образом благодаря полемике, вызванной работами американского историка Питера Салинза<sup>4</sup>, а

---

<sup>1</sup> См.: Хобсбаум Э. Нации и национализм в Европе после 1870 года. СПб., 1998; Данн О. Нации и национализм в Германии, 1770–1990. СПб., 2003; Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М., 2001; Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991; Armstrong J. A. Nations before Nationalism. Chapel Hill, 1982.

<sup>2</sup> Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1-2. М., 2005; Геллнер Э. Условия свободы: Гражданское общество и его исторические соперники. М., 1995; Берлин И. Философия свободы. М., 2001.

<sup>3</sup> Скиннер К. Свобода до либерализма. СПб., 2006.

<sup>4</sup> См.: Sahlins P. Unnaturally French. Foreign Citizenship in the Old Regime and After. Ithaca, L., 2004. См. также: *Idem*. Fictions of a Catholic France: The Naturalization of Foreigners, 1685–1787 // Representations. № 47. 1994. P. 85-110; Sahlins P. Dubost J.-F. Et si on faisait payer les étrangers? Louis XIV, les immigrés et quelques autres. P., 1999; Sahlins P. La nationalité avant la lettre. Les pratiques de naturalisation en France sous l'Ancien Regime // Annales: Histoire, Sciences sociales. Vol. 55. № 5. 2000. P. 1081-1108. См. также полемические тексты Джулии Пачини, Софьи Розенфельд и Симоны

также его коллег Жана-Франсуа Дюбо<sup>5</sup> и Майкла Раппорта<sup>6</sup>. Не менее важен, однако, и поворот, произошедший в рамках «реви-зионистской школы» истории Французской революции (Ф. Фюре, Р. Шартье, Р. Дарнтон, Л. Хант и др.) — признаком такого поворота можно считать недавно изданную книгу Линн Хант «Изобретая права человека»<sup>7</sup>. Эта работа показывает, что критика революционных установлений не обязательно должна оборачиваться апологией либерального гражданского порядка.

Поворот в изучении Французской революции, который, в известном смысле, преодолевает традицию борьбы правых и левых ее прочтений, историографически крайне важен, и может оказать влияние на исторические исследования в целом. Тем не менее, в том, что касается истории гражданских наций и исторической дискриминации неграждан, количество исследований остается довольно небольшим, и их авторы, даже в случае Линн Хант и Питера Салинза, еще не могут соперничать по влиятельности с именами Хобсбаума или Геллнера.

В целом, до сих пор историками было сделано не так уж много выдающегося, чтобы это можно было всерьез противопоставить идеологии гражданских прав. До недавнего времени историография мыслила различиями, которые не очень благоприятствовали выработке критического отношения к нации как гражданскому обществу. Историки делились, в самом банальном

---

Черутти: *Pacini G.* Contending with the droit d'aubaine: Foreign citizen in France before 1819 // *Eighteenth-Century Studies*. Vol. 38. № 2. 2005. P. 369-382; *Rosenfeld S.* Review of: P. Sahlin. Unnaturally French // *American Historical Review*. Vol. 110. № 1. P. 230-232; *Cerutti S.* À qui appartiennent les biens qui n'appartiennent à personne? Citoyenneté et droit d'aubaine à l'époque moderne // *Annales: Histoire, Sciences sociales*. Vol. 62. № 2. 2007. P. 355-386.

<sup>5</sup> *Dubost J.-F.* Les étrangers en France, XVI siècle – 1789. Guide des recherches aux Archives nationales. P., 1993; *Idem.* La France italienne. P., 1997; *Idem.* Un refuge en France au XVII siècle: Les exilés britanniques pendant la première Révolution anglaise (1641–1660) // *Société et idéologies des Temps modernes. Mélanges offerts à Madame le Professeur Jouanna*. Vol. 2. Montpellier, 1996. P. 609-627. См. также: *Étrangers et provinciaux à Paris, XVII–XIX siècle* / Ed. D. Roche. P., 2000.

<sup>6</sup> *Rapport M.* Nationality and Citizenship in Revolutionary France: The Treatment of Foreigners, 1789-1799. Oxford, 2000.

<sup>7</sup> *Hunt L.* Inventing Human Rights. A History. N. Y., 2007.

смысле, на тех, кто рассматривал ремесло историка как гражданское занятие и написание истории — как политическое действие; и тех, кто «просто писал историю», не особенно задумываясь над тем, какое политическое значение может иметь написанное ими. Соответственно, дискуссия шла между этими двумя позициями.

С одной стороны, говорилось, что в демократическом обществе, к которому мы стремимся, всякий человек должен ощущать себя носителем общего суверенитета (как это записано в конституции), то есть гражданином, и быть им не только в дни выборов и прочее свободное от работы время, но и непосредственно в своей профессиональной деятельности. Человек всегда должен думать и поступать как гражданин. Не должно быть разделения между временем, когда я в качестве историка (или кого-то еще по профессии) делаю «что положено», скажем, пишу официально дозволенную и принятую версию истории, и временем, когда я, после работы, позволяю себе частным образом во всем этом сомневаться. Историк именно как историк должен быть гражданином, а история — гражданским занятием.

С другой стороны, по поводу фигуры историка-гражданина высказывается глубокий скепсис. Что всегда было трудно понять сторонникам гражданского характера историописания — это почему большинство их коллег так неприязненно относятся к политизации историописания, при этом не давая этому никакого внятного концептуального объяснения, кроме примитивных лозунгов «свободы от идеологического насилия» и т. п. То есть, эти коллеги не представляли никакой внятной антигражданской позиции, их неприятие ее проявлялось просто в том, что им неинтересно было все это обсуждать. Вопрос о том, скажем, не создает ли история ментальностей с ее обобщенным коллективным образом «культурно иного» теоретические основания для национализма, и не должны ли мы этому граждански противостоять, был интересен лишь тем, кто верил, что работы по истории ментальности вообще имеют какой-то значимый политический эффект. Наличие же такого эффекта, как у истории ментальности, так и у других высокопрофессиональных работ по истории, в высшей мере неочевидно. Стоит ли тогда тратить время на вопросы устройства гражданского миропорядка, или лучше просто писать хорошую историю, ориен-

тируясь на внутренние историографические проблемы, гораздо более релевантные для легитимации в академическом сообществе?

Сами историки–сторонники гражданского историописания признают свою слабость: согласно распространенной формулировке, истории пишутся для того, чтобы люди их прочитали, и, прочитав, нечто поняли, стали бы вести себя по-другому, изменили бы свои взгляды на будущее их гражданского сообщества. Это объяснение гражданской функции историописания может иметь различные вариации: например, воссоздавая некое прошлое, мы создаем для общества образ «Другого», по отношению к которому общество сможет формировать собственную идентичность или неидентичность и т. д. С этим связаны и все рассуждения о «доступности» исторических трудов, их «открытости» непрофессиональному читателю, о «ясности» их языка: ведь если мы стремимся нашей работой участвовать в демократическом обществе, то, значит, наши сочинения должны быть легко прочитываемы любым членом этого общества, любым гражданином, мы не должны обращать наши исторические рассуждения лишь к узкому кругу элитарных читателей, как это делалось в додемократические времена<sup>8</sup>. Однако эта зависимость от того, чтобы быть прочитанными, как раз и выдает слабость гражданского историописания. Историк каждый раз ожидает, что кто-то иной, прочитавший его книгу, станет думать по-другому и совершит какие-то политические изменения — кто-то иной, но не он сам. Сам себя историк способным к таким изменениям не чувствует, существует разрыв между той работой, которую он сейчас делает, и тем вероятным, отложенным эффектом, который эта работа может иметь в будущем.

В результате, как на это обращал внимание еще в 1970-е годы Мишель де Серто<sup>9</sup>, гражданская историография с ее разделением пространств историка и читателя воспроизводит более старое разделение историка-слуги и читателя-суверена (государя Макиавелли и т. п.), который позволяет и определяет социальное

---

<sup>8</sup> О проблеме «демократичности» историописания см.: *Савицкий Е. Е.* «Чтого ожидают читатели?» О демократичности в историографии 1980–2000 годов // *Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации* / Отв. ред. Л. П. Репина. М., 2005. С. 174–201.

<sup>9</sup> *Certeau M. de. L'écriture de l'histoire.* P., 1975.



место историка. Историк может надеяться, что суверен прислушается к его советам, он может в своих сочинениях играть в суверена, но он никогда не сможет сам занять место суверена, их пространства остаются раздельны. Тем самым, гражданская историография остается внутренне недемократичной, и неважно, имеет ли она дело с единоличным сувереном прошлого, или же с массовым носителем суверенности демократического общества.

Разделение пространств историка и читателя воспроизводит в себе другое фундаментальное для современной историографии разделение — разделение пространств настоящего и будущего. В свете «отложенного» гражданского эффекта труда историка будущее не воспринимается как непосредственное следствие настоящего. На это обратил внимание еще Мишель Фуко (примерно тогда же, когда было опубликовано «Написание истории» Серто), и проблема «отложенного» эффекта проявилась, в частности, в его критике революционной стратегии В. И. Ленина<sup>10</sup>. Когда Ленин в «Государстве и революции» обосновывает необходимость, пусть временного, но сохранения государства для спасения революции, он тем самым, по мнению Фуко, изменяет весь смысл Октябрьской революции. Если изначально эта революция несла в себе непосредственность освобождения, то есть, совершая нечто, разрушая старый порядок, мы тем самым освобождались, то теперь возникает эта пресловутая «отсроченность» освобождения: мы делаем нечто для будущего освобождения, но само наше действие этого освобождения не содержит, оно не воздействует на нас освобождающе. Позднее Славой Жижек<sup>11</sup> описывал это как переход от «ленинского» субъекта к «сталинскому»: для «ленинского» субъекта революция была собственным оправданием, и соответственно не было причин скрывать революционный террор или стыдиться его; для сталинского субъекта

---

<sup>10</sup> См., например: *Foucault M.* Par-delà le bien et le mal // Actuel. № 14. Nov. 1971. P. 42-47; *Idem.* Pouvoirs et stratégies // Les Révoltes logiques. № 4. 1977. P. 89-97.

<sup>11</sup> *Žižek S.* Lenin, Lukacs, Stalin // URL <http://www.kwinrw.de/lenin/disc2.htm> (март, 2008). Выступление Славоя Жижека на международной конференции «Политика правды — возрождение Ленина?», проходившей 2-4 февраля 2001 г. в г. Эссене (ФРГ).

террор уже не воспринимается как сам по себе освобождающий, и потому становится неприличной изнанкой «нормального» демократического порядка, гарантированного конституцией 1936 г.

Эта «отложенность» будущего в современной историографии, установление разрыва между настоящим и будущим, часто описывается как «презентизм», как исчезновение измерения будущего как такового. Отделенное от настоящего, оно перестает быть реальным<sup>12</sup>.

Это проявляется и в том, что историки отказались от идеи предсказания будущего. Антидемократические идеи Гегеля о всеобщей истории и ее поступательном движении, которое можно изучать и исследовать, были многократно подвергнуты осмеянию. Историки, дабы не навлекать на себя новых насмешек, полностью исключили тему будущего из круга своих профессиональных интересов. Можно сказать, что несмотря на полезность исследований Карла Поппера о «нищете историцизма», тема предсказания будущего была историографией не столько теоретически убедительно преодолена, сколько стыдливо «вытеснена». Кому из профессиональных историков сегодня хочется, чтобы его спросили, какова польза от производимых им знаний о прошлом, в какой мере они объясняют настоящее, позволяют нам постичь будущее? И это вытеснение тем более болезненно, что в эпоху экспертных мнений и прогнозов историки постоянно оказываются перед необходимостью высказываться о более или менее далеком будущем. Им приходится говорить о современных процессах «с исторической перспективы».

Примечательно, что историки, описывая свое отношение к будущему, говорят именно о его «предсказании» или «предвидении». Историк может лишь пытаться угадать будущее, более или менее верно предположить грядущие события, вычислить их вероятность, но сами эти события, само это будущее, эта история, наступают без его ведома, без его участия. Порою, дискурс предвидения может звучать очень властно, как в известных словах

---

<sup>12</sup> Савельева И. М., Полетаев А. В. О пользе и вреде презентизма в историографии // «Цепь времен»: Проблемы исторического сознания / Отв. ред. Л. П. Репина. М., 2004. С. 67-72; Hartog F. Régimes d'historicité: Présentisme et expériences du temps. P., 2003.

историка М. Н. Покровского: «Знать — значит предвидеть, а предвидеть — значит мочь или властвовать. Знание прошлого дает нам, таким образом, власть над будущим»<sup>13</sup>. Стремление сделать историю прозрачной, мыслимой, полезной воспроизводило взгляд правителя. Но за мнимой властью этих высказываний скрывается то, что сам историк лишь наблюдает извне за происходящим, пытаясь определить, куда, независимо от него, движется история. О внешней позиции наблюдателя, как уже говорилось, писал Серто: это место историка рядом с властью, место учителя-слуги, обреченного на вечное запаздывание, на «отложенность» его времени. Историк служит власти (пусть даже демократической), но сам он творить будущее не властен, он лишен суверенности и может лишь пытаться угадывать грядущее. Между тем, как об этом писал Ницше, именно способность обещать, свободно полагать будущее, отличает суверена от слуги<sup>14</sup>.

Это было очевидно и для позитивистской историографии, стремившейся обещать, желавшей найти подлинные закономерности исторического процесса, в которые будут включены и сами действия мнящих себя суверенами правителей. В отличие от позитивизма, готового овладеть будущим в его однозначной истинности, современная демократическая историография не берет на

---

<sup>13</sup> Покровский М. Н. Русская история в самом сжатом очерке. 15-е изд. М., 1934. С. 6.

<sup>14</sup> «...предстанет нам *суверенный индивид*, равный лишь самому себе, вновь преодолевший нравственность нравов, автономный, сверхнравственный индивид (ибо «автономность» и «нравственность» исключают друг друга), короче, человек собственной независимой длительной воли, *смеющийся обещать*, — и в нем гордое, трепещущее во всех мышцах сознание того, что наконец оказалось достигнутым и воплощенным в нем, — сознание собственной мощи и свободы, чувство совершенства человека вообще. Этот вольноотпущенник, действительно *смеющийся обещать*, этот господин над *свободной* волей, этот суверен — ему ли было не знать того, каким преимуществом обладает он перед всем тем, что не вправе обещать и ручаться за себя, сколько доверия, сколько страха, сколько уважения внушает он — то, другое и третье суть его «заслуга» — и что вместе с этим господством над собою ему по необходимости вменено и господство над обстоятельством, над природой и всеми неустойчивыми креатурами с так или иначе отшибленной волей?». Ницше Ф. К генеалогии морали // *Он же*. Соч. в 2-х тт. Т. 2. М., 1996. С. 440-441.

себя такой ответственности. Она не просто не способна сдержать свое слово, как оказалась неспособна его сдержать история позитивистская, она не просто ясно видит эту свою неспособность, а отказывается от самого намерения обещать (пусть даже хотя бы объективную истинность образа прошлого). Она критикует всякую линейность времени, ставит под сомнение эволюционность и преемственность истории, отрицает единичность картины прошлого, и, тем самым, показывая непригодность предмета своего исследования для предсказания будущего, она научно обосновывает свое нежелание обещать.

Как на это обратил внимание уже Пьер Нора<sup>15</sup>, установление разрыва по отношению к будущему есть лишь обратная сторона установления такого рода разрыва по отношению к прошлому. В современной историографии, говорит Нора, прошлое воспринимается как иное, как отделенное от нас непреодолимым темпоральным разрывом. Мы больше не способны к тому непосредственному переживанию прошлого, каким некогда была память о нем. Память историзируется, и потому не может более создавать живого присутствия прошлого в настоящем.

Однако именно память, живое присутствие прошлого в сознании человека, было необходимым условием гражданского сознания — способности гражданина самостоятельно ориентироваться в прошлом и исходя из этого выстраивать свое настоящее и полагать будущее (путем голосования за тот или иной социальный проект или как-либо еще). Когда непосредственность переживания прошлого исчезает, гражданину оказывается нужен посредник, ретранслятор, который будет рассказывать ему о прошлом, и роль такого посредника в современном обществе достается историку. Отныне, с исчезновением «тепла традиции», с прекращением памяти, гражданин имеет доступ к прошлому только посредством историка, удостоверяющего достоверность или недостоверность прошлого. Историк, таким образом, выполняет антидемократическую функцию опосредования социальной памяти, функцию, к которой он к тому же еще и мало приго-

---

<sup>15</sup> *Нора П.* Между памятью и историей. Проблематика мест памяти // Франция-память. СПб., 1999. С. 17-50.

ден, — ведь сразу же возникает вопрос о том, насколько он объективен и внепартиен, вопрос о степени чистоты этого медиума.

Таким образом, исчезновение памяти, не отделявшей прошлое и будущее от настоящего, делает невозможной демократическую фигуру гражданина. Как пишет Нора, нация-память исчезает, и это исчезновение нации угрожает республике. Республика невозможна без нации, без нации как символического пространства, объединяемого общей памятью. Следовательно, по Нора, необходимо создать эрзац исчезнувшей памяти. Иными словами, необходимо создать эрзац исчезающего гражданина. И именно этой цели должен был служить проект «мест памяти» — такой историографии, которая, по мысли Нора, могла бы функционировать так же, как некогда функционировала память, и тем самым служила бы иным основанием республиканского порядка.

Историзация образа прошлого, однако — лишь один из аспектов в истории исчезновения гражданина. Не менее важно и то, что, как на это обратила внимание еще Ханна Арендт<sup>16</sup>, с упадком национальных государств происходит упадок институтов, гарантировавших гражданские права. Права гражданина и национальное государство всегда были тесно связаны друг с другом, и с кризисом одного наступает и кризис другого. Для того чтобы фактически оказаться в своем правовом положении мигрантом, нам уже не обязательно покидать собственную страну. Иммигрант, по определению Джорджо Агамбена, становится всеобщей фигурой современности. Соответственно, можно сказать, что попытка создать эрзац-гражданина, предпринятая Пьером Нора, а также десятками других историков, работавших над проблемами памяти вместе с ним и после него, — эта попытка может помочь республике не более, чем отдельные очереди в аэропортах, отдельные службы по делам иностранцев, или новые институты по исследованию миграций, в которые иногда преобразуются институты истории<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> *Arendt H. The Origins of Totalitarianism. N. Y., 1951.*

<sup>17</sup> Такова, в частности, оказалась судьба известного Института истории Общества Макса Планка в Геттингене, основанного еще в начале XX века как Институт истории Общества кайзера Вильгельма Паулем Фридолином Кером, и воссозданного после Второй мировой войны Германом Хаймпелем: в 2007 году он был преобразован в Институт исследования мультирелигиозных и многоэтнических обществ.

В своих рассуждениях о том, что демократия невозможна без пространства, Нора следует довольно длительной, идущей от Платона и Аристотеля, интеллектуальной традиции, в которой атрибутом всякого идеального государства признавалась соответствующая ему территория, отграниченная от внешнего пространства в нужных (обозримых) границах<sup>18</sup>. Так же и в Новое время утопические государства мыслились как ограниченные в своей территории, да к тому же еще и труднодоступные для иностранцев — их заносила туда однажды какая-нибудь буря, и они, спустя некоторое время вернувшись из этих стран, больше не имели возможности найти дорогу туда.

В начале XX века Георг Зиммель условием действительного политического участия считал отношения пространственной близости, возможность живого присутствия сообщества граждан. Распад традиционных (деревенских) сообществ, о которых впоследствии писал и П. Нора, делает близкие отношения между живущими рядом людьми невозможными, между жителями городов устанавливаются скорее дистанцированные отношения. Ситуация, однако, не безнадежна, так как современная городская цивилизация предлагает одновременно целый ряд технических средств, создающих новые, даже большие, чем раньше, возможности создания близости. Тем самым, Зиммель возражал Фердинанду Тённису, для которого непосредственное политическое участие было связано исключительно с существованием традиционных «общностей» и становилось невозможным по мере образования «общества». Таким образом, для Зиммеля современные медиа создавали замену исчезающему традиционному пространству памяти. Иное решение данной проблемы предлагал писатель Ганс Гримм в своем знаменитом романе «Народ без пространства», но в любом случае наличие определенного пространства остается необходимым условием для существования политической общности. В своей недавней книге «Пространства, места, грани-

---

<sup>18</sup> Ян Ассман неустанно подчеркивает, что и в гораздо более древних культурах создание пространства памяти было непременным условием образования государственного пространства. См.: *Ассман Я.* Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004.

цы: на пути к социологии пространства» Маркус Шрер<sup>19</sup> прослеживает возрастающий интерес к этой проблематике в современной социологии, связанный с работами Пьера Бурдьё о социальном и физическом пространствах во Франции, и начиная с работ Никласа Лумана о пространстве общества в Германии<sup>20</sup>.

Современные исследователи миграций указывают, однако, на то, что вследствие миграций как раз территориальность обществ исчезает — это то, что в их исследованиях принято обозначать как «транстерриториальность» или «транснациональность»<sup>21</sup>. То есть, благодаря современным средствам передвижения и относительной открытости границ, мигрант не принадлежит какой-то одной территории, его нельзя рассматривать, как прежде, в рамках категории общества как соответствующего по умолчанию некой определенной части физического пространства<sup>22</sup>. Проблема пространства, по мнению этих исследователей, становится сегодня как раз потому важной, что эта категория перестала уже быть чем-то самим собой разумеющимся, как это было раньше, когда мы писали об обществе и его проблемах и имплицитно мыслили все это в национальных границах.

«Транстерриториальность» — проблема вполне решаемая в плане построения социологических и социально-исторических исследований таким образом, чтобы они отвечали актуальному положению дел, и как раз посвященные «транстерриториально-

---

<sup>19</sup> *Schroer M.* Räume, Orte, Grenzen: Auf dem Weg zu einer Soziologie des Raums. Frankfurt a.M., 2006.

<sup>20</sup> См.: *Бурдьё П.* Социология социального пространства. М., 2005; *Он же.* Социальное пространство: Поля и практики. М., 2005; *Луман Н.* Общество общества. Т. 1-4. М., 2004–2005.

<sup>21</sup> См., например: *Osterhammel J.* Transnationale Gesellschaftsgeschichte. Erweiterung oder Alternative? // *Geschichte und Gesellschaft: Zeitschrift für historische Sozialwissenschaft.* Bd. 27. H. 3. 2001. S. 464-479; *Spiliotis S.-S.* Das Konzept der Transterritorialität, oder Wo findet Gesellschaft statt? // *Ibid.* S. 480-488; *Wirz A.* Für eine Transnationale Gesellschaftsgeschichte // *Ibid.* S. 489-498.

<sup>22</sup> О центрированности на национальном уровне немецких социально-исторических исследований и тенденциях преодоления этого см. обзорную статью Лутца Рафаэля: *Raphael L.* Nationalzentrierte Sozialgeschichte in programmatischer Absicht. Die Zeitschrift „Geschichte und Gesellschaft“ in den ersten 25 Jahren ihres Bestehens // *Geschichte und Gesellschaft: Zeitschrift für historische Sozialwissenschaft.* Bd. 25. H. 1. 1999. S. 5-37.

сти» исследования это хорошо показывают. Но если с наукой все в порядке, остается, тем не менее, вопрос, как быть с республикой, с демократией, с их потребностью в пространстве. Возможна ли демократия без пространства?

Здесь можно было бы вернуться в важному пространственному опыту пересечения границы негражданином. Как об этом писала Ханна Арендт, опыт иммигранта связан с осознанием неприрожденного характера гражданских прав; прибывающий в чужую страну иммигрант (например, беженец из нацистской Германии, которому удалось добраться до США) перед лицом иммиграционных служб не ощущает себя обладателем неких присущих человеку с рождения прав, он ощущает себя как голое существо (и это ощущение усиливается в наше время, когда на границах требуется предъявить все большее количество биометрических данных). Как раз граница демократии позволяет увидеть эфемерный характер лежащих в ее основе гражданских прав, этой взаимосвязи демократии и гражданского общества<sup>23</sup>. Опыт иммигранта, кроме того, делает возможным осознание гражданских прав (и основывающегося на них общественного порядка) не как бескорыстного дара, а как тонкого инструмента контроля<sup>24</sup>.

Вернемся к поставленному в начале статьи вопросу: что способны сказать тут историки? Может ли их житейский опыт мигрантов (историки в наше время много ездят и подолгу живут за границей) быть как-то переведен в концептуальный опыт исследователя? Пока примеры такого рода исходят в основном от философов, историками в концептуальном плане сделано не так много.

Так, начиная с Фуко<sup>25</sup>, универсализация гражданских прав рассматривается в связи со становлением биополитики, включением в политический порядок биологического существования человека. Биологическая жизнь, по Фуко, не была политически значима при Старом порядке и принадлежала Богу как жизнь его творения.

---

<sup>23</sup> *Arendt H.* Op. cit.

<sup>24</sup> О критике «идеологии прав человека» и основанной на ней этике см.: *Бадью А.* Этика. СПб., 2006; *Žižek S.* Against Human Rights // *New Left Review*. Vol. 34. July-Aug. 2005. P. 115-131.

<sup>25</sup> *Фуко М.* «Нужно защищать общество»: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975–1976 учебном году. СПб., 2005.



Права человека были следствием начавшегося в XVIII в. процесса политизации жизни (естественного существования), возникновение «биополитики». Сообщество граждан имеет своим условием суверенизацию «голой жизни», наделение человека правами, превращение его в гражданина, которое проделывает в отношении населения государство. Этой фигуре гражданина соответствует картезианский образ суверенно мыслящего индивида.

Во многом следуя Фуко, Джорджо Агамбен<sup>26</sup> считает, что необходимо перестать рассматривать документы вроде «Декларации прав человека и гражданина» как бескорыстные провозглашения вечных и естественных, от природы принадлежащих нам прав. Надо перестать думать, будто все эти документы имели целью предписать законодателю уважение неких всеобщих качеств человека. Эти декларации надо рассматривать с точки зрения их реальной функции в формировании новоевропейского государства-нации. Декларации прав человека, по словам Агамбена, представляют собой как раз изначальную фигуру вписывания биологической жизни в политико-юридический порядок государства.

По мнению Агамбена, самое поверхностное рассмотрение «Декларации прав человека и гражданина» 1789 года показывает, что именно естественная жизнь, то есть простой факт рождения, выступает здесь как источник и носитель права. «Люди, — гласит первая статья, — рождаются и остаются свободными и равными в правах»<sup>27</sup>. Но наиболее точной с этой точки зрения, говорит Агамбен, можно считать формулировку, предложенную Лафайетом в июле 1789 года: «Всякий человек рождается с правами неотчуждаемыми и непредписываемыми». Тем не менее, естественная жизнь — которая, открывая биополитику нового времени, помещается в основание политической организации — тут же стирается в пользу фигуры гражданина, в котором права пребывают (*sont conservés*). Как гласит вторая статья, «цель всякого политического союза есть обеспечение естественных и неотъемле-

---

<sup>26</sup> *Agamben G. Homo Sacer: Le pouvoir souverain et la vie nue. Paris, 1997. P. 138-139.*

<sup>27</sup> Здесь и далее цит. пер. по изд.: Декларация прав человека и гражданина 1789 года // Французская Республика: Конституция и законодательные акты. М., 1989. С. 26-29.

мых прав человека.» Как раз потому, что Декларация прав человека вписала биологическое рождение в самый центр политического сообщества, оно может приписывать суверенность «нации» (ст. 3: «Источником суверенной власти является нация. Никакие учреждения, ни один индивид не могут обладать властью, которая не исходит явно от нации.»). «Нация», которая этимологически происходит от «рождения» (лат. «natio»), замыкает, таким образом, круг, открытый «рождением» человека.

Таким образом, декларации прав и свобод человека должны рассматриваться как то место, где происходит переход от королевской суверенности, с ее божественным происхождением, к суверенности национальной. Они обеспечивают, по терминологии Агамбена, «exsertio», включение/исключение жизни в новом государственном устройстве, которое возникает вслед за крушением Старого порядка. Тот факт, что таким образом «субъект» («подданный») превращается в «гражданина», означает, что рождение, то есть естественная жизнь как таковая, становится здесь впервые непосредственным носителем суверенности. Принцип рождения и принцип суверенности, которые при Старом порядке (когда рождение делало нас лишь подданными (субъектами)) были разделены, отныне объединяются в теле «суверенного субъекта», чтобы конституировать новое государство-нацию. Подразумеваемая здесь фикция состоит в том, что рождение немедленно становится нацией, и при этом между двумя понятиями не может быть никакого промежутка. Человек наделяется правами в той мере, в какой он собой образует основание, которое немедленно исчезает в фигуре гражданина (или, по крайней мере, никогда не должно возникать на свет как таковое).

Мигранты, количество которых в последние десятилетия неуклонно возрастает, потому и представляют собой столь беспокоящий элемент в организации современного государства-нации, что в них разрывается единство человека и гражданина, единство рождения и национальности (принадлежности к нации), они ставят под вопрос изначальную фикцию новоевропейской суверенности. Как пишет Агамбен, выставляя на свет разрыв между рождением и нацией, иммигрант заставляя появиться на политической сцене на короткое мгновение ту «голую жизнь», которая составляет ее секрет.

Западноевропейский иммигрант — не единственная фигура, которая может выступать противопоставлением гражданину. Применительно к советской действительности, о государстве, соблазняющем своих граждан к суверенности, писал Аркадий Недель<sup>28</sup>. По его словам, тоталитарные режимы, в частности советский, постоянно требуют от своих граждан обещаний: при вступлении в детские и юношеские организации, при вступлении в партию, по случаю праздников и годовщин, на армейской службе и т. д. Гражданин всегда обещает — и действительно, как об этом уже говорилось, способность к обещанию отличает, по Ницше, суверена от несуверена. Предоставляя возможность обещать и держать свое слово, государство, начиная с самого юного возраста, делает из человека гражданина.

При этом, однако, как правило, исполнения этих обещаний не требуется, просто не возникает таких ситуаций, когда бы требовалось исполнение обещанного. Обещанное бесконечно откладывается в будущее, и соответственно исчезает возможность нарушить это отложенное обещание. Эта невозможность ни исполнить, ни нарушить обещание образует ту ловушку, в которой в тоталитарном обществе оказывается суверенный индивид, и именно это Недель определяет как «соблазненную суверенность».

Соответственно, то, что оказывается важно, — это способность не сдерживать обещание, нарушить его. Таким нарушением будет и исполнение обещания — известно, что оппозиционные советскому режиму группы часто пытались как раз «исполнить обещания», создавая кружки «подлинных марксистов» и т. п. То есть, исполненное обещание как сверх-норма само оказывается способно обретать субверсивную силу, и, соответственно, навлекать на себя репрессии<sup>29</sup>. Надо подчеркнуть, однако, что это исполнение обретало смысл лишь в той мере, в какой оно представляло собой нарушение, то есть было бы неправильно сказать, что альтернативой тоталитарному режиму должна быть «подлинно

---

<sup>28</sup> Недель А. Соблазненная суверенность: Эссе об обещании // Логос. 2001. № 3 (29) С. 135-142.

<sup>29</sup> Такого рода субверсивный «идиотизм» некогда описал в своем романе о солдате Швейке Я. Гашек: *Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны.* М., 2003.

гражданская позиция». Наоборот, то, что было бы важно как в условиях советского строя, так и остается важным сейчас — это не подлинно гражданская историография, а историография последовательно негражданская, даже антигражданская.

Мы имеем здесь принципиально иную ситуацию неисполнения слова, нежели в современном гражданском обществе: то, о чем придет Недель, — это не унылое признание либеральным историком собственной неспособности обещать и держать слово, по сути не отличающаяся от такой же неспособности в рамках тоталитарного общества; речь идет о нашей принципиальной способности не обещать или разрывать данные обещания. Иными словами, нужна историография, которая была бы способна избежать описанной Мишелем де Серто дихотомии суверена и учителя-слуги. И нам уже удалось дать негативное определение этой альтернативы — это негражданское историописание. Это история, написанная с негражданских позиций. Что именно может представлять собой такого рода «негражданская историография»? В чем конкретизируются общие рассуждения о «разорванных обещаниях» и «голой жизни»?

Надо сказать, что идея «негражданской историографии» не является чем-то новым. Можно даже сказать, что историография вообще в самых своих основах была занятием негражданским, связанным с опытом пребывания негражданином.

Геродот пишет свою историю после длительных путешествий, Фукидид — после того, как был вынужден поселиться в изгнании. Римская историография имеет своим истоком сочинения греков, которые, как, например, Полибий, не имея гражданских прав, жили в Риме в качестве заложников или домашних учителей (как Энний, Ливий Андроник, Гней Невий и др.). Все эти тексты, рассматриваемые сквозь призму более поздней традиции, совершенно несправедливо толковались на протяжении веков как образцы гражданского сознания.

В новое время «негражданской» или «антигражданской» была прежде всего та историография, которая противопоставляла себя «буржуазному» (гражданскому) порядку. И здесь надо вспомнить об опыте пролетарского историописания. В середине XIX – первой половине XX в., начиная с исторических работ

Карла Маркса и Фридриха Энгельса, целый ряд видных историков попытались создать такой способ написания истории, который отражал бы (и в то же время создавал бы) ее специфическое видение пролетарием — человеком, лишенным имущества, и потому не привязанным к гарантирующим институты собственности гражданским правам. Пролетарское видение истории при этом не должно было быть всего лишь одним ее описанием среди многих, одним из отложенных обещаний среди прочих: пролетарское сознание, по Марксу, само по себе уже было освобождающей, материальной, революционной силой; само марксистское учение рассматривалось как орудие в классовой борьбе, и потому историографическая работа над этим орудием (в том числе как искоренение буржуазного сознания) была самым непосредственным участием в деле освобождения пролетариата от подавления его гражданским обществом.

Такая попытка создать антигражданское историописание выглядит вполне оправданной с точки зрения современных культурно-исторических исследований: всякая социальная группа имеет право на то, чтобы ее особый исторический опыт был репрезентирован, и он не может быть дискриминирован по отношению к какому-либо «большому нарративу». Тем не менее, во многом как раз усилиями сторонников культурной истории «пролетарская историография» была раскритикована и дискредитирована как не отвечающая требованиям «нормальной» исторической науки: допускающая анахронизмы, слишком тенденциозная, использующая спорные теоретические конструкции, не вполне верифицируемые на основании конкретных исторических данных, она плохо подходила под академические стандарты.

Надо сказать, что пролетарская историография во многом сама виновата в том, что ее интеллектуальный проект в конечном счете оказался заброшен. Выступая против буржуазности профессиональных историков, и в то же время стремясь заявить о себе как о серьезном деле, отвечающем критериям научного историописания, она тем самым подвела себя под чуждые ей критерии оценки и утратила возможность обосновать свой, принципиально иной характер написания истории.

Эта ошибка интеллектуалов, создававших пролетарскую историографию, кажется особенно досадной сейчас, когда многие

из тех критериев профессионализма, к которым она старалась приспособиться, ломая себя, выглядят не более, чем курьезными чудачествами историков старшего поколения (если не следствием их сомнительных убеждений: националистических, расистских, мизогинистских и т. д.)<sup>30</sup>.

Сегодня не тенденциозность историографии, а мнимый объективизм видится неприемлемым в работах историка: историк должен осознавать и ясно показывать читателю, что та история, которую он пишет, есть всегда чья-то история, и историк не занимает по отношению к этой истории нейтральную позицию, он всегда берет чью-то сторону, история всегда партийна (как «гендерная история», «черная история», «посткоммунистическое историописание» и т. д.).

Анахронизм, по крайней мере со времен «Интеллектуалов в средние века» Ле Гоффа, видится как продуктивный элемент исторической работы, и, кроме того, как преодоление новоевропейской линейной темпоральности, а также связанной с историзацией мифологии «подлинности» прошлого.

Использование историком теоретических построений больше не оценивается по их приложимости или адекватности — наоборот, важной стала та внутренняя динамика различия, которую привносит в историческое повествование та или иная теория, то есть как раз ее неадекватность исследуемому материалу. Способность историка к самостоятельному теоретизированию приобрела ввиду этого особое значение, отношение к теориям (как и в целом к историческим исследованиям) перестает быть утилитаристским.

Соответственно, можно поставить вопрос о том, не пора ли пересмотреть наше отношение к пролетарской историографии? Не было ли в ней как раз наиболее ценным то, что не соответствовало критериям «нормальной» буржуазной (гражданской) науки? И не стоит ли вновь обратиться к этому ценному содержательному опыту создания антигражданского историописания?

Проблема пролетарской историографии в том, что она не исчезла совсем и продолжает существовать в наше время в виде «ис-

---

<sup>30</sup> Применительно к медиевистике, см., например: *Medievalism and the Modernist Temper* / Ed. by R. H. Bloch, S. G. Nichols. Baltimore, 1996.

тории рабочего движения», за которой признается, что она еще не утратила свой научный или политический потенциал<sup>31</sup>. Сохранившись в таком виде, пролетарская история оказалась политически присвоена социалистами, подобно тому, как оказались присвоены «умеренными» партиями и «история женщин», и «черная история», и другие историографические направления. Сохраняясь в таком виде, пролетарская историография как история рабочего движения занимает то пространство, которое могло бы послужить созданию чего-то нового. Это можно сравнить с тем, как реальное существование позднего СССР до начала 1990-х гг. блокировало возникновение новых политически левых интеллектуальных проектов.

Следовательно, пока еще существует «история рабочего движения», нужно искать иное место для «негражданского историописания». Таким возможным местом могло бы быть то, что уже сегодня обозначается как «радикальная история»<sup>32</sup>, которая во многом взяла на себя функции негражданского историописания, но мне представляется, что в рамках «радикальной истории» следовало бы особо выделить иммигрантское историописание, как негражданское *par excellence*.

В наше время много говорится о том, что иммигрант занял в современном мире то место, которое в нем ранее занимал пролетарий, рабочий. Надо сказать, что рабочий класс в XVIII–XX вв. сам в значительной мере формировался из мигрантов, переселявшихся из деревень в города, из аграрных регионов в индустриальные, при этом сохраняя связи со своей прежней средой, а также определенные культурные различия, вплоть до диалектных. Ввиду этого, сближение фигур пролетария и мигранта кажется особенно верным. При всем этом, не служит ли, в перспективе, выстраивание подобной преемственности между пролетариатом и иммигрантом их

---

<sup>31</sup> См., например, статьи по сравнительной истории рабочего движения, опубликованные в специальном номере немецкого журнала “Geschichte und Gesellschaft” (Bd. 20. H. 4. 1994).

<sup>32</sup> Это понятие, которое возникает в противовес «левой» истории. См., например, публикации в журнале «Radical History Review», в частности, тематические выпуски «Performance, Politics, and History» (Issue 98, Spring 2007), «Truth Commissions: State Terror, History, and Memory» (Issue 97, Winter 2007), «Punishment and Death» (Issue 96, Fall 2006), «New Imperialisms» (Issue 95, Spring 2006) и др.

уравниванию между собой, то есть уравниванию иммигранта с сегодняшним, умиротворенным и понятным, образом рабочего? Не подразумевает ли это, что на самом деле с иммигрантами «все понятно», и их «проблема» постепенно решится так же, как решилась проблема рабочего движения, теми же исторически известными и испробованными средствами? Не следует ли поэтому противостоять соблазнительной формуле «иммигрант — это пролетарий», подчеркивая, наоборот, принципиальные различия между этими двумя фигурами? Здесь, однако, для историка возникает вопрос, в чем же именно эти различия — точнее, как мы, изначально натренированные в гражданской эстетике исторического, можем их распознать, сделать их воспринимаемыми?

Как раз на трудности в эстетическом восприятии иммигранта и иммигрантского указывал в свое время Борис Гройс в статье «Беженец с эстетической точки зрения»<sup>33</sup>. Прежде всего, по мнению Гройса, иммигранта нельзя однозначно определить как «своего» или «чужого». С одной стороны, он отклоняется от культурной нормы: плохо говорит на языке принимающей его страны, не всегда правильно понимает то, что ему говорят, и неадекватно реагирует на это. Иммигрант не владеет необходимыми культурными кодами, у него отсталый или пошлый вкус и т. д. С другой стороны, этот человек уже настолько отдалился от страны своего происхождения, что не воспринимается как аутентичный русский, турок или алжирец. Он пытается мимикрировать, подражать культурным нормам, приспособливаться к ним, и тем самым утрачивает свою оригинальность. Иммигрант не репрезентирует собой ни нормальное, ни исключительное, он не подходит ни под критерии классической, ни под критерии романтической эстетики, и это его ускользание от фундаментального для человеческой культуры бинарного разделения на «свое» и «чужое» делает его невоспринимаемым. Иммигрант кажется принадлежащим к трудно определяемой серой зоне, и для того, чтобы научиться воспринимать эту его радикальную эстетику, нам необходимо коренным образом перестроить наш перцептивный аппарат.

---

<sup>33</sup> Groyes B. *Asylant in ästhetischer Sicht // Idem. Logik der Sammlung: Am Ende des musealen Zeitalters.* München, 1997. S. 145-154.



Эту серую зону, к которой принадлежит иммигрант, невозможно, по Гройсу, определить и как сочетание своего и чужого. Иммигрант берет кое-как усвоенное из нормативной культуры и совмещает это с плохо припоминаемыми элементами родной, и хотя в результате получается некое гибридное образование, ни о каком подлинном культурном синтезе говорить нельзя, ибо такого рода синтез подразумевает участие в нем подлинного, собственного и «наилучшего» из обеих культур. Иммигрант, таким образом, отстоит от «межкультурного диалога» и его плодов дальше, чем кто бы то ни было. Он может выступать лишь как пародия на такого рода «диалог»<sup>34</sup>. Тем самым, можно сказать, что иммигрант не обладает никакими позитивными качествами в нашем традиционном понимании, и как раз эта его неопределяемость, это несоответствие нашим рамкам восприятия, делают фигуру иммигранта неприятной и подозрительной, он воспринимается как потенциальная угроза.

И действительно, суть того, что представляет собой иммигрант, определить нелегко. Когда, например, иммигрантов во время каких-нибудь беспорядков спрашивают, чего же они хотят, в ответ можно услышать, что они хотят лучшей интеграции, жить так же хорошо, как все другие граждане этой страны и т. п. Они не предъявляют никаких культурно специфических требований. В трудах современных исследователей миграций можно найти много личных историй мигрантов, составленных на основе взятых у них интервью, а также публикации самих этих интервью: они являют собой повествования о сложностях интеграции в новом обществе, об усилиях по преодолению этих сложностей, о тех или иных успехах и неудачах в этом деле. При этом никто, ни исследователи, ни сами интервьюируемые, не ставят интеграционизм под вопрос. Интеграция мыслится как единственно возможное поведение иммигранта в новом обществе, она явно и скрыто наделяется позитивной ценностью. Язык иммигранта, в итоге, несколько не отличается от языка исследователя миграций или чиновника миграционного ведомства, которые смотрят на ми-

---

<sup>34</sup> По этой причине надо признать не самым удачным определение Х. Бабой иммигранта как «находящегося-между», в состоянии «in-betweenness». *Bhabha H. The Location of Culture. L., 2003.*

грантов как на тех, кто должны быть наиболее эффективным способом «интегрированы», и чье нежелание или неумение интегрироваться должно преодолеваться в пользу большей открытости.

У мигрантов нет собственного языка — такого языка, на котором они могли бы определить себя как нечто отличное от классификаций миграционного ведомства. Как сказали бы французские структуралисты прошлых лет, как только иммигрант открывает рот, его речь тут же оказывается узурпирована языком эксплуатирующего его другого.

Так же как и рабочие, иммигранты сегодня требуют денег, и язык денег — это тот язык, который соответствует политическому уровню современной либеральной демократии, в которой подлинно релевантными являются не чьи-то политические декларации и заявления, а изменения биржевых индексов, проценты роста ВВП, соотношения основных валют и цены на нефть и основные металлы. Но если бы иммигранты просто требовали денег, с ними было бы все в порядке, рабочим нечего было бы их опасаться. Проблема как раз в том, что столь похожие требования денег звучат у иммигрантов все же не так, как у рабочих. А именно, они звучат очень фальшиво. У рабочих постоянно есть основание подозревать, что иммигранты на самом деле хотят чего-то большего, что остается невысказанным, потому что не может быть высказано в рамках принятого политического языка. Эти подозрения постоянно проявляются в своеобразной заботе об иммигрантах профсоюзов, требующих от работодателей и правительства уравнивать минимальный уровень зарплат для граждан и неграждан, законодательно запретить низкооплачиваемый труд иммигрантов. Тем самым, рабочие организации занимают гиперинтеграционистскую позицию: надо сделать всех иммигрантов гражданами, и только те иммигранты приемлемы, которые могут стать гражданами (будут солидарны в общегражданском неприятии низкооплачиваемого труда, будут разделять национальную память о борьбе за права рабочих, а еще лучше — будут вовремя возвращаться домой, оставаясь полноправными гражданами своей собственной страны). В этом смысле рабочие профсоюзы давно выступают заодно с полицией, которая то и дело «освобождает» мигрантов из подпольных мастерских, где их труд «нешадно эксплуатируется преступными хозяевами».

Недоверие к современному политическому языку испытывают и сами мигранты, и это проявляется в поиске ими иных, бессловесных форм выражения, и таковыми, в частности, становятся погромы. Погромы, при которых уничтожаются автобусы, детские сады и прочая «социальная инфраструктура», то есть как раз то, что должно сделать жизнь иммигрантов жизнью нормальных граждан, особенно наглядно показывают отличия иммигрантов от рабочих, и что дело не в деньгах, а в отрицании самого гражданского порядка, с его границей (сколь бы предельно открытой она ни была) между гражданами и негражданами.

В отсутствие иного политического языка погромы не могут быть иными, как бессмысленными. Именно в своей лишенности смысла, четко определяемых задач, какой-либо длительной стратегии, действия иммигрантов ускользают от хватки всякого семиотического и гражданского порядка, выступают как чистое проявление протеста, чистая негативность, не узурпируемая никаким дискурсом. Такая позиция — в определенном смысле более последовательна, чем пролетарская, так как не содержит никакого позитивного и отложенного в будущее проекта. Мигрант являет собой пример разрыва обещания, неисполнения слова (данного им при заполнении анкеты на въезд в страну), он ведет себя несоответственно честному гражданскому порядку. Это можно сопоставить с тем, о чем писал Фуко как о подлинной революционности как о протесте, исключающем всякую трансцендентность, и потому непосредственно освобождающем.

Значит ли это, что задачей иммигрантской историографии должна быть выработка иного политического языка, который позволил бы избежать погромов? Не следует ли историографии вообще подумать над тем, как вернуть политическую релевантность иным дискурсивным формам, нежели язык цифр, язык денег? Это вопрос и о политической (не обязательно гражданской) релевантности языка самой историографии.

Здесь, однако, надо проявить крайнюю осторожность, и не поддаваться циничным призывам «научить иммигрантов культуре мирного диалога». Как мы уже видели, иммигрант — фигура предельно чуждая диалогу, и в той мере, в какой он таковой остается, он сохраняет возможность противопоставить себя, свою по-

зицию, существующему гражданскому порядку. Важно отказаться от интеграционистского взгляда на мигранта, и в частности, от представления о том, что всякий человек должен быть способен диалогизировать со всяким другим. Всякий диалог изначально предполагает некое взаимное обещание (скажем, не стрелять во время этого диалога), и это обещание, за которым следуют другие, уже представляет собой ловушку.

Если и можно говорить о новом политическом языке, в создании которого было бы важно участие историографии, то в двух отношениях: во-первых, это мог бы быть такой язык, который бы создавал зияния, пустые пространства, в которых было бы возможно неартикулированное присутствие иного политического опыта; и во-вторых, это все-таки мог бы быть особый, недиалогический, язык иммигрантской историографии.

Тема дискурсивно неартикулированного присутствия (и связанная с ней — чистой негативности) в последнее время много обсуждалась<sup>35</sup>, в частности, в связи с вопросом об устройстве гуманитарных наук. Так, Ганс Ульрих Гумбрехт в своих рассуждениях о констанцской школе литературной антропологии<sup>36</sup> поставил вопрос о том, имеем ли мы право выступать с критикой какой-то концепции только тогда, когда действительно видим ее недостатки, когда имеем продуманную и обоснованную альтернативу ей; или же критика оправдана даже тогда, когда не имеет под собой никаких прочных научных (позитивных) оснований, когда она возникает как чистое отрицание, и уже потом может обрести или не обрести форму альтернативной концепции. Не

---

<sup>35</sup> См. посвященные теме присутствия статьи в форуме журнала «История и теория» (№ 3 за 2006 г.), в частности: *Runia E.* Spots of Time // *History and Theory*. Vol. 45. № 3. P. 305-316; *Gumbrecht H. U.* Presence Achieved in Language (With Special Attention Given to the Presence of the Past) // *Ibid.* P. 317-327; *Ankersmit F. R.* «Presence» and Myth // *Ibid.* P. 328-336; *Domancka E.* The Material Presence of the Past // *Ibid.* P. 337-348; *Bentley M.* Past and «Presence»: Revisiting Historical Ontology // *Ibid.* P. 349-361. См. также: *Гумбрехт Г. У.* Производство присутствия. М., 2006.

<sup>36</sup> *Гумбрехт Г. У.* От эдиповой герменевтики — к философии присутствия // Новое литературное обозрение. № 75. 2005. С. 45-67. См. также: *Он же.* Должны ли гуманитарные науки быть научными? // Неприкосновенный запас. 2004. № 3. С. 50-52.

создается ли возможность действительно радикальной критики именно изначальным голым различием, чистой негативностью, в частности ресентиментом; не следует ли признать такое устройство академического сообщества вполне нормальным, и именно в такой форме наиболее свободным?

Фуко, выступая против суверенизации индивида, также, парадоксальным образом, видел в нем человека, способного к суверенному жесту введения или устранения различий. Задача истории, как представляет ее Фуко в лекциях «Нужно защищать общество», состоит в создании исторической памяти, которая противостояла бы возникающей в конце XVIII–XIX вв. мифологии нации как гражданского сообщества<sup>37</sup>.

Наряду с этим, однако, важно и создание такой историографии, которая представляла бы собой специфически иммигрантский, недиалогический, взгляд на историю, которая обходилась бы с историей так, как это свойственно иммигрантам. При этом, когда мы говорим о специфичности иммигрантского взгляда, нужно помнить и о том, что иммигрант превращается во всеобщую фигуру современности, то есть специфический, «партийный» взгляд иммигранта — это одновременно и универсалистский взгляд на историю<sup>38</sup>. Иммигрантская история должна мыслиться как всеобщая история.

Помня о характерных чертах иммигранта, можно заранее сказать, что такая историография окажется чем-то серым и малопривлекательным (не вызывающим стремления вступить в диалог). Она не будет соответствовать нашим представлениям о хорошей работе историка, будет далека от признанных прекрасными ее образцов. И действительно, те тексты, которые уже написаны в духе, близком «иммигрантской историографии», с трудом воспринимаются сообществом профессиональных историков<sup>39</sup>. Они то кажутся старомодными, то, наоборот, раздражают

---

<sup>37</sup> Фуко М. «Нужно защищать общество»; см. также: Foucault M. Revenir à l'histoire // Paideia. № 11. Michel Foucault. 1972. P. 45-60.

<sup>38</sup> О сочетании «партийности» и «универсальности» см.: Бадью А. Апостол Павел. Обоснование универсализма. СПб., 1995; *Он же*. Краткий курс метаполитики. М., 2005.

<sup>39</sup> В медиевистике см., например, книги: Biddick K. The Shock of Medievalism. Durham, 1998; Dinshaw C. Getting Medieval: Sexualities and Com-

изломанностью своего языка, их упрекают в недостаточной открытости читателю («студенту», «простому человеку»)<sup>40</sup>, и тем не менее, их появление представляется крайне важным в плане преодоления идеалов интеграционизма в социальных науках.

Насколько созданный здесь, под влиянием Гройса и Фуко, образ иммигранта соответствует действительности? Насколько иммигранты были бы способны узнать себя в таком видении истории? В действительности, я не стремился получить некий идеально-типический образ иммигранта — современные исследователи миграций изготовили их уже достаточно. Важно не то, насколько упоминавшиеся черты «иммигрантскости» действительно присущи большинству или просто какому-то числу иммигрантов — это не имеет большого значения. Гораздо более интересным представляется мне вопрос о том, насколько сложившийся образ иммигранта может послужить важному делу создания негражданской историографии — как в плане конкретных особенностей представления ею прошлого, так и в ее теоретическом обосновании.

Такое теоретическое обоснование не обязательно должно быть приданием смысла, созданием системы смыслов, против чего выступал Фуко, видя в этом нормализующую силу гражданского порядка. Это может быть и сугубо негативной работой. Ее итогом станет самоупражняющееся в собственной банальности утверждение, что «быть гражданином — плохо».

---

munities, Pre- and Postmodern. L., Durham, 1999; *Strohm P.* Theory and the Premodern Text. Minneapolis, 2000; *Cohen J. J.* Medieval Identity Mashines. Minneapolis, 2003; *Haidu P.* The Subject Medieval/Modern. Stanford, 2004. *Holsinger B.* The Premodern Condition: Medievalism and the Making of Theory. Chicago, 2005.

<sup>40</sup> См. об этом: *Just Being Difficult? Academic Writing in the Public Arena* / Ed. by J. Culler, K. Lamb. Stanford, 2003.

# ЧАСТЬ II

## ИДЕЯ ВРЕМЕНИ И ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

---

### ГЛАВА 5

## ОВЛАДЕНИЕ БУДУЩИМ

Историки находятся в странных отношениях с будущим. Иногда они испытывают соблазн надеть свою дисциплину функцией пророчества так, как будто для того, чтобы делать предсказания и претендовать на роль в руководстве нашими действиями в будущем, было бы достаточно спроецировать в грядущее уже пройденный исторический путь, который им уже известен<sup>1</sup>. Однако история никогда не повторяется, и если размышление о том, как были устроены общества прошлого, помогает нам понять наши собственные общества, оно не дает нам никакого точного знания о том, что грядет.

Порой, напротив, они отворачиваются от будущего и даже от настоящего, под тем предлогом, что единственная сфера их компетенции — это прошлое, так, словно бы наше понимание прошлого вовсе не зависело от того, что мы сами представляем собой сейчас, от того, что мы знаем и на что надеемся в грядущем.

Еще более опасно, что им порой случается забыть о том, что мы являемся будущим обществ прошлого, которые мы изучаем как историки. Мы привыкли рассматривать их *gesta*, т. е. деяния, которые они совершили, в их собственном настоящем. С недавних пор мы, «другие историки», стали также интересоваться их *memoria*, т. е. теми формами, в которых они реконструировали свое собственное прошлое, и «местами памяти», в которых концентрировались активные воспоминания о нем. Однако мы долж-

---

<sup>1</sup> См. по этому поводу известный критический анализ Марком Блоком прописной истины, согласно которой история будто бы может служить «руководством для наших действий» (*Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986. С. 10*).

ны также поставить вопрос об их *futura*, т. е. о тех формах, в которых эти общества проецировали себя в будущее, в то будущее, которым мы сами отчасти являемся. Наш обычный взгляд на прошлое не может заслонить понимание того, что мы представляем собой «будущее прошлого» — «die vergangene Zukunft», как пишет Рейнхард Козеллек — древних обществ; при этом следует уточнить, что будущее, частичным воплощением которого служит наше настоящее, это лишь одно из тех будущих, которые тогда были возможны<sup>2</sup>. Дело в том, что история — это не линейный и однонаправленный прогресс, непрерывная и закономерная нить, которую нужно было бы всего лишь размотать из прошлого до наших дней и от нас к надежному предсказанию будущего. Как раз наоборот, она образует последовательность возможных альтернатив, будущих, в любой момент остающихся открытыми, из которых лишь некоторые воплощаются в действительность, и которые мы не можем знать заранее.

Изучаем ли мы *memoria* обществ прошлого или, напротив, их представления о будущем, их *futura*, мы всегда как историки, по сути, исследуем их настоящее. Общества мобилизуют свою память и реконструируют собственное прошлое, чтобы обеспечить свое функционирование в настоящем и разрешить актуальные конфликты. Точно так же, когда они в воображении проецируют себя в будущее — голосом своих пророков, мыслителей-утопистов или авторов научной фантастики — они говорят лишь о своем настоящем, о своих устремлениях, надеждах, страхах и противоречиях современности. Св. Августин очень тонко когда-то об этом заметил: обычно кажется, что существуют три времени: прошлое (*praeteritum*), которое принадлежит памяти (*memoria*), настоящее (*praesens*), подвластное непосредственному созерцанию (*contuitus*), и будущее (*futurum*), которое служит объектом наших ожиданий (*expectatio*). В действительности существует лишь настоящее, поскольку прошлого уже нет, а будущего еще нет. В нашем духе существуют — и при этом в настоящем — лишь об-

---

<sup>2</sup> Koselleck R. Le Futur passé. Constitution à la sémantique des temps historiques [1979]. trad. fr. Paris: E. H. E. S. S., 1990; Эту мысль можно встретить уже у Марка Блока. См.: Raulff U. Ein Historiker im 20. Jahrhundert: Marc Bloch. Francfort-sur-le-Main: Fischer, 1995. P. 92.



*разы* прошлого и будущего. Будущее, как и прошлое, это всего лишь «проекция» нашего духа<sup>3</sup>.

То, что Августин наблюдает на уровне индивидуального сознания, справедливо и для тех обществ, которые изучают историки: образ будущего в том или ином обществе, как и его коллективная память, ставит перед историком вопрос о том, как он функционирует в настоящем. Поэтому мы должны охватить эту проблему во всем ее масштабе и глубине: концепция будущего, которое существует в каждом обществе, не замыкается в великих пророческих, эсхатологических или утопических системах, которые оно создало. В XX в. мы сами испытали и продолжаем использовать множество других способов овладения будущим, кроме как с помощью великих идеологий современности, доказавших, к тому же, свою несостоятельность<sup>4</sup>. На индивидуальном уровне, как и на уровне группы, будущее, в более скромном масштабе, оказывается ставкой при любых ожиданиях, надеждах, проектах, размышлениях, во время соревнований, бросания жребия, в вопросе кредита, при расчете продолжительности жизни и т. д. Вопрос о будущем встает всякий раз, как только мы, даже не замечая этого, используем грамматическое будущее время при построении самых обычных фраз.

---

<sup>3</sup> *Августин*. Исповедь. Кн. XI, XVIII, 24: «Futura ergo nondum sunt et si nondum sunt, non sunt, et si non sunt, videri omnino non possunt sed praedici possunt ex praesentibus, quae iam sunt et videntur» («Будущего еще нет, а если его еще нет, то его и увидеть никак нельзя, но можно предсказать, исходя из настоящего, которое уже есть и которое можно увидеть»). Там же. XX, 26: «Quod autem nunc liquet et claret, nec futura sunt nec praeterita, nec proprie dicitur: tempora sunt tria, praeteritum, praesens et futurum, sed fortasse proprie diceretur: tempora sunt tria, praesens de praeteritis, praesens de praesentibus, praesens de futuris. Sunt enim haec in anima tria quaedam et alibi ae non video, praesens de praeteritis memoria, praesens de praesentibus contuitus, praesens de futuris expectatio...» («Совершенно ясно теперь одно: ни будущего, ни прошлого нет, и неправильно говорить о существовании трех времен: прошедшего, настоящего и будущего. Правильнее было бы, пожалуй, говорить так: есть три времени — настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе, и нигде в другом месте я их не вижу: настоящего прошедшего — это память; настоящее настоящего — это непосредственное созерцание; настоящее будущего — это ожидание»). См.: *Августин А.* Исповедь. М., 1999. С. 299-300.

<sup>4</sup> В этом вопросе я не согласен с недавним эссе Ж. Минуа (*Minois G.* Histoire de l'avenir, des prophéties à la prospective. Paris: Fayard, 1996).

### Говорить в будущем времени

Разве наш самый повседневный опыт будущего не заключается в языке? Однако этот вопрос уже оказывается не столь простым, поскольку не существует одного грамматического будущего времени, но много времен или, скорее, множество грамматических *форм* выражения будущего. Насколько я знаю, это касается, по крайней мере, всех индоевропейских языков, древних и современных: как тех языков, на которых мы говорим, так и средневековой латыни. Сделав такой вывод, остается изучить функции этих способов выражения будущего в различные исторические периоды и в различных языках, как в ученых, так и в народных. Существует *простое будущее время* (*futur simple*), ясно обозначающее действие, которое должно совершиться в будущем. Существует также *будущее предшествующее время* (*futur antérieur*), которое выделяет в будущем отрезок прошлого и обозначает действие, которое находится в будущем по отношению к нам, но в прошлом по отношению к еще более отдаленному будущему («когда вспашу, я буду сеять»)<sup>5</sup>. Другие глагольные формы, не будучи формами будущего времени в строгом смысле слова, выражают определенные аспекты будущего: *причастие настоящего времени* (*participe présent*) обозначает текущее действие, завершение которого лишь ожидается в будущем; в латыни *отглагольное прилагательное* (*adjectif verbal*) обозначает необходимость действия, которое следует совершить, но которое еще не произошло; в свою очередь, *сослагательное наклонение* (*mode conditionnel*) выражает возможность того, что могло бы произойти в будущем, если бы необходимые для этого условия были реализованы. Уже столь простые замечания показывают, в какой степени язык служит — вне рамок какой-либо развернутой концепции настоящего, прошлого и будущего — фундаментальным орудием изучения социальных функций времени, в их наиболее спонтанных и в значительной степени бессознательных формах: я могу сказать, что я буду делать завтра или через неделю, не создавая для этого специальной теории будущего, вероятностей, рисков или провидения.

Мы не только говорим *в будущем времени*, но мы еще и говорим *о будущем*, даем ему имя. Как уже было сказано, Августин

---

<sup>5</sup> Quand j'aurai labouré, je sèmerai (фр.).

различал три времени (которые, по сути, сводились к одному настоящему), соответствующие трем формам восприятия: прошлое (*praeteritum*), доступное памяти (*memoria*), настоящее (*praesens*), которое фиксируется восприятием актуально присутствующих вещей (*contuitus*), и будущее (*futurum*), которое мы предвосхищаем с помощью *expectatio*, ожидания. В средневековой латыни слово «будущее» чаще всего используется во множественном числе — *futura*. Возможно, в этом множественном числе следует видеть признание сложности будущего, эсхатологические рамки которого, в лучшем случае, известны благодаря религиозной истине, однако чьи сроки (мы не знаем ни час своей смерти, ни день Страшного суда) и конкретные обстоятельства остаются таинственными. Не менее интересно обозначение — также во множественном числе, конца времен — *novissima*. Самые «новые» события — это те, которые более всего удалены во времени, что, без сомнения, соотносится с идеей о том, что завершение истории испокон веков записано в божественном плане и что в глазах Бога в конце времен не будет ничего «нового». В этой перспективе, слово *novissima* точно выражает двойственность христианского восприятия исторического времени, которое является одновременно линейным (от сотворения мира до конца времен) и циклическим, поскольку оно глубоко религиозно и укоренено в мифе, в той мере, в какой оно сотворено и направляется трансцендентной волей Бога<sup>6</sup>.

Романские языки унаследовали латинское словоупотребление. «Роман о розе» неоднократно использует существительное *futur*. В свою очередь, Брунетто Латини перечисляет «*cil trois tens, ce est li presens, li preterites et cil qui est a venir*»<sup>7</sup>. Перифраз «*cil qui est a venir*» интересен тем, что он игнорирует существительное *avenir* («будущее»), очевидно, появившееся позднее. Мы могли бы позволить себе противопоставить во времени две кон-

---

<sup>6</sup> О циклической концепции времени в религиозном мышлении, в частности, в литургии, см. классическое исследование Анри Юбера: *Hubert H. Etude sommaire de la représentation du temps dans la religion et la magie // Hubert H., Mauss M. Mélanges d'histoire des religions. Paris: Alcan, 1909. P. 189-229*; О конкурирующих концепциях времени в Средние века см.: *Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.*

<sup>7</sup> См.: *Tobler A. Lommatsch E. Altfranzösisches Wörterbuch. Berlin-Wiesbaden, 1915. s. v. «Futur».*

цепции будущего: более древняя из них воплощается в слове *futur*. Будущее, *futura*, не может быть полностью известно, однако оно вписывается в те горизонты понимания, предвидения и воздействия, эффективность которых заранее гарантирована в религиозном времени эсхатологии и циклическом времени ритуалов и литургии<sup>8</sup>. На противоположном полюсе должно было бы находиться современное понятие грядущего (*avenir*), которое обозначает будущее открытое, абсолютно непредсказуемое, существующее в необратимом времени, времени без Бога, возникшем благодаря «расколдованию мира». Таким образом, радикальный разрыв между *futura* и *avenir* означивал собой переход от Средних веков к Возрождению, от религиозной мысли к современной рациональности.

### Использование будущего

Мы должны, прежде всего, поставить вопрос о том, каким образом самые обыкновенные и материальные поступки содержат в себе зерно будущего, и какие ментальные схемы (какие концепции времени, какие ожидания и какие представления о возможном) осознанно или бессознательно задают рамки для поступков и решений средневековых людей.

Важнейший полигон для наблюдения представляют собой формулы хартий, даже если они информируют нас, прежде всего, об образе мысли грамотных клириков, которые их составляли: хартии дарения (в частности, дарения земельного надела монашеской общине) обычно составлялись его получателем, часто общиной монахов, а не донатором, неграмотным (*illiteratus*) мирянином, который в обмен на свои благочестивые щедроты ожидал молитв о спасении своей души. Однако их массовый и однообразный характер, без сомнения, свидетельствует о представлениях, которые были широко распространены<sup>9</sup>. Вступительная формула хартии, ко-

---

<sup>8</sup> См. пример ритуального циклического времени, которое обеспечивает правильную циркуляцию жен и приданого в традиционной сельской общине на протяжении ограниченного числа поколений: *Lamaison P. Les stratégies matrimoniales dans un système complexe de parenté: Ribennes en Gévaudan (1650–1830) // Annales. E. S. C., 1979. № 4. P. 721-743. (P. 728).*

<sup>9</sup> Для удобства мы будем обращаться к актам, воспроизведенным и прокомментированным Жоржем Дюби: *Duby G. L'Économie rurale et la vie*

торая оставалась практически неизменной от одного акта к другому, сама по себе красноречива: «Да будет известно всем, сего дня и в будущем...», “Ego Johannes, tam presentibus quam futuris, in perpetuum dedi et concessi...”; “tam futuris quam presentibus in Christo fidelibus” “omnibus hanc paginam inspecturis...”; “omnibus ad quos iste littere pervenerint” и т. д. Донатор может также с помощью особых клауз обязаться сохранить в неприкосновенности свое дарение вплоть до дня своей смерти, “quod ut ratum et firmum permaneat, presentem paginam sigilli munimine roboravi”. Во всех этих формулах на передний план выступает человеческое время и время истории: время, которое ограничено продолжительностью жизни индивида или, за ее пределами, будущих поколений рода, время, которое разворачивается уже в чередe времен, стремящейся к бесконечности. Тем не менее, как только донатор обращается к божественному милосердию и возлагает на него надежду на отпущение грехов, он уже ставит вопрос о другом будущем: “Pro remedio anime mee et uxoris mee et pro animabus fratrum et sororum et omnium tam antecessorum quam successorum meorum...”. Речь идет уже не о чередe поколений в историческом времени, а об эсхатологическом будущем личного спасения и спасения душ близких.

В зависимости от типа акта, на первый план выступает тот или иной аспект будущего: передача держания в полное владение конкретной семье, которая будет обладать им «из поколения в поколение», при условии соблюдения определенного числа обязательств: выплачивать каждый год в установленный срок ценз в знак признания за сеньором верховных прав собственности; не продавать и не отчуждать цензиву частично; уважать права земельной юстиции сеньора. В этом случае регулярная ежегодная выплата повинностей подразумевает еще один тип проекции в

---

des campagnes dans l'Occident médiéval. Paris: Aubier, 1962. Т. 2. P. 79 et suiv.; См. особенно № 79 (1049–1109 гг., № 3302 из Recueil des chartes de Cluny, IV), № 82 (акт из аббатства Шаали 1172 г.), № 84 (Cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon) и № 86 (Recueil des pancartes de l'abbaye de la Ferté-sur-Grosne, ок. 1160 г.). Другие примеры см.: *Pipon B.* Le Chartrier de l'Abbaye aux Bois (1202–1341). Paris: Ecole des chartes, 1996; *Cosse-Durlin J.* Cartulaire de Saint-Nicaise de Reims. Paris: Ed. du C. N. R. S., 1991. P. 27; Число примеров чрезвычайно велико.

будущее: будущее ритуальное, циклическое, существующее в ритме, который задается возвращением в одну точку через регулярные интервалы времени. Это особенно актуально для крестьянина, который каждый год должен в семь различных сроков выплачивать положенные повинности: на Пасху, во время сенокоса, жатвы, сбора винограда, на Рождество, во время Карнавала<sup>10</sup> и на Средокрестье<sup>11</sup>!

В этом типе земельных актов, которые датируются Высоким Средневековьем, артикулируется друг с другом множество форм будущего: индивидуальное будущее донатора, предсказуемое лишь в пределах его земной жизни и ограниченное, в конце концов, его смертью; иногда в тех же рамках существует также будущее, которое мыслится в рамках кругообращения определенного цикла лет, ритуальных дат и неизменных повинностей; затем следует будущее более длительной истории, которое должно продолжаться «до конца времен», его ритм будет задаваться чередованием поколений потомков донатора; наконец, эсхатологическое будущее, которое растворяет человеческое время в божественной вечности; за пределами времени тел начинается будущее душ.

По крайней мере, часть этих представлений о будущем характерна лишь для земледельцев, которые имели дело с такими актами и совершали особый тип операций, каким были земельные дарения. Дело в том, что, начиная с этой эпохи, торговая и финансовая активность способствует распространению в городской среде иных представлений о будущем и связанных с ними практик: свидетельством этому служит, например, генуэзский договор об обмене, согласно которому неизвестная сумма, полученная в сольдо в Генуе, двенадцать дней спустя будет выплачена в Брюгге под процентную ставку тридцати сольдо на флорин<sup>12</sup>. Контракт фиксирует обещание, т. е. обязательство на будущее. Это время тщательно измерено: двенадцать дней. Наконец, это близкое будущее используется в качестве скрытого процента (*usura*): в са-

---

<sup>10</sup> *Carême-prenant* (фр.) — три праздничных дня, которые предшествуют началу Великого поста (прим. пер.).

<sup>11</sup> *Mi-carême* (фр.) — двадцать третий день после Пепельной среды, середина Великого поста (прим. пер.).

<sup>12</sup> Brunel G., Lalou E. (éd.). *Sources d'histoire médiévale (IX<sup>e</sup> – milieu du XIV<sup>e</sup> siècle)*. Paris: Larousse, 1992. P. 471.

мом деле, обычный процент погашения долга составлял тогда двадцать пять сольдо на флорин. Таким образом, заем на двенадцать дней оценивается в пять сольдо. Отныне будущее тоже имеет цену.

### Знать будущее и воздействовать на него

Без сомнения, желание заранее знать будущее присуще всем человеческим обществам: беспокойство о завтрашнем дне, стремление узнать, будет ли благоприятно предпринять тот или иной поступок, тревожное желание предвидеть час своей смерти встречаются везде и во все времена<sup>13</sup>. Однако средства, которые используются, чтобы удовлетворить эти желания, отличаются друг от друга в различных культурах, в зависимости от религиозных верований и форм рациональности, которые для них характерны. Например, в тех обществах, где письменность широко распространена и пользуется привилегированным идеологическим статусом, было отмечено особое значение дивинации с помощью книги<sup>14</sup>. Точно так же могут различаться, в том числе по ходу истории одной и той же культуры, те объекты, на которых с наибольшей силой концентрируется беспокойство о будущем: так, в Высокое Средневековье, страх индивидуальной смерти был усилен тревожным стремлением узнать, какая участь уготована душе во время частного суда, который немедленно следует за кончиной человека. Отсюда возникли новые вопросы, адресованные будущему: какова будет продолжительность мучений, которые душа должна будет претерпеть в чистилище? Какими средствами можно сократить это будущее *post mortem*, над которым люди стремятся установить контроль, чтобы помочь душе быстрее обрести вечное блаженство? Вера в чистилище, без сомнения, глубоко изменила представления о будущем на средневековом Западе<sup>15</sup>.

В культуре Средневековья наблюдение знаков, знамений и *mirabilia* было также поставлено на службу предсказанию будущего. Например, в «Житии аббата Майоля», написанном Одило-

---

<sup>13</sup> Например, в трактате «О дивинации» Цицерона.

<sup>14</sup> Vernant J.-P. (éd.). *Divination et rationalité*. Paris: Ed. du Seuil, 1974.

<sup>15</sup> Кроме классической книги Жака Ле Гоффа «Рождение чистилища» (*Le Goff J. La Naissance du purgatoire*. Paris: Gallimard, 1981), см. его статью «Лимбы»: *Les limbes // Nouvelle revue de psychanalyse*, 34, L'Attente, 1986. P. 151-173.

ном Клунийским, неожиданное видение, в котором рыцарь убивает волка, истолковывается как знак скорого нашествия сарацин<sup>16</sup>. Рауль Глабер рассказывает о том, как другой волк однажды ворвался в орлеанскую церковь и, схватив веревку от колокола, принялся в него звонить; местные жители не без причины были поражены этим случаем, поскольку в следующем году весь город был опустошен пожаром: «Никто не сомневался, — комментирует хронист, — в том, что этому событию предшествовало предзнаменование, *portentum*»<sup>17</sup>. Внезапное нарушение привычного порядка вещей — как, например, появление кометы, солнечное затмение или рождение теленка-монстра, внезапное обрушение моста, видение распятия, которое кровоточит, плачет или отворачивает свой лик, случайное падение святых даров во время жертвоприношения мессы, как то, свидетелем которого стал Иоанн Солсберийский — служит предвестием будущего<sup>18</sup>. Оно обычно истолковывается в дурную сторону, как зловещее предзнаменование, предвещающее катастрофу, нашествие, смерть государя и т. д. Как сказано в «Хронике Уолтхэма» (конец XII в.), чудотворное распятие, хранившееся в этом аббатстве, будто бы склонило голову, когда король Гарольд, накануне своего поражения при Гастингсе от Вильгельма Завоевателя, пришел перед ним помолиться: этот факт был истолкован как «предвестие будущего» и «зловещее предзнаменование»<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> Odilon de Cluny. *De vita Beati Maioli Abbatis* // PL 142. Col. 959-962.

<sup>17</sup> *Raoul Glaber. Historiae*, II, V. 8 (éd. G. Cavallo, G. Orlandi. Florence, 1989. P. 74-77). Этот же отрывок напоминает о том, что в 888 г. принявшееся кровоточить распятие возвестило о разрушении Иерусалима.

<sup>18</sup> *Jean de Salisbury. Historia pontificalis* / Ed. M. Chibnall. London: Nelson, 1956. P. 11. Во время папской мессы на ковер упала капля крови. Этот кусок ковра был тщательно отрезан и сохранен как реликвия. Было сразу же решено, что это происшествие возвещало «тяжкую угрозу», и это мнение вовсе не было ошибочным (“*certe non fefellit opinio*”), поскольку в том же 1147–1148 г. крестовый поход римского короля Конрада и французского короля Людовика VII был разбит сарацинами.

<sup>19</sup> *The Waltham Chronicle. An Account of the Discovery of Our Holy Cross at Montacute and its Conveyance to Waltham*. Ed. et trad. par L. Watkiss et M. Chibnall. Oxford: Clarendon Press, 1994. P. 46-47: “*Contigit autem interea miserabile dictu et a seculis incredibile. Nam imago crucifixi que prius erecta ad superiora respiciebat, cum se rex humiliaret in terram, demisit vultum, quasi*



Толкование сновидений было еще одной привилегированной сферой предсказания будущего. Отключение всякой сознательной воли во время сна, прилив образов сновидений, которые нарушают правила обычного восприятия, очевидная временная диссоциация уснувшего тела и бодрствующей души подтверждают мысль о том, что сон дает прямой и исключительный доступ к познанию будущего. Однако рассказ о сновидении кристаллизуется в стандартные повествовательные формы, такие, например, как широко известный агиографический тип сна беременной матери, который *a posteriori* истолковывается как пророческое предвестие рождения святого (наиболее знамениты случаи св. Бернарда и св. Доминика). Эта повествовательная модель встречается уже в конце XI в. в «Житии св. Тьерри»: в то время как его мать была им беременна, она увидела однажды ночью во сне саму себя, одетую в одежды священника и служащую мессу. Понимая, что подобное поведение непозволительно для женщины, и опасаясь того, что она стала жертвой «суежного» сна, вызванного бесом, она обратилась к пожилой благочестивой женщине, которая успокоила ее, возвестив ей то, что ее видение было «истинно», т. е. происходило от Бога, и должно было «исполниться» в рождении у нее сына, который станет священником и достигнет святости<sup>20</sup>.

Эти несколько примеров, выбранные среди множества других возможных, ясно показывают дистанцию, которая существует между предзнаменованием и будущим событием. Первое является предвестием второго в глазах того, кто умеет расшифровывать знаки, поскольку оно не изображает будущее ясным и несомненным образом. Между ними открывается пространство истолкования «знаков», которое неразрывно сопряжено с вопросом о власти и авторитете. В любом ином контексте, чем контекст агиографии, легко представить, что сон женщины, одетой как священник, был бы воспринят как порождение дьявола, а она сама была бы заподозрена в ереси.

---

tristis. *Signum quidem prescium futurorum!* [...] *Visio autem hoc infausto auspicio, multo dolore correpti...*” (курсив мой).

<sup>20</sup> Lauwers M. L'institution et le genre. A propos de l'accès des femmes au sacré dans l'Occident médiéval // *Clio. Histoire, femmes et sociétés*, 2 (1995). P. 279-317. (P. 281).

Церковь и клирики с подозрением относились к прорицателям и, особенно, к *vetulae*, которые утверждали, что могут предсказывать будущее, и практиковали толкование сновидений. Составленный св. Августином («*De doctrina christiana*»), заимствованный у него Исидором Севильским, а затем Гинкмаром Реймским, получивший широкое хождение благодаря «Декрету» Грациана и «Поликратику» Иоанна Солсберийского, список недозволенных способов дивинации составлял значительную часть каталога «суеверий», осужденных Церковью<sup>21</sup>. Следует помнить, какую роль в определении этих категорий и в их наименовании сыграла унаследованная от Античности ученая терминология, которая была практически оторвана от реальности: каковы могли быть средневековые эквиваленты таких терминов, как *magi*, *nigromantici*, *hydromantii*, *incantatores*, *haruspices*, *genethliaci*, *mathematici* и т. д.? Многочисленные миниатюры, иллюстрирующие двадцать шестую каузу второй части «Декрета» Грациана («*Quidam sacerdos sortilegus esse et divinus vincitur apud episcopum...*»), изображают целую гамму различных техник дивинации: с помощью карт, наблюдения за полетом и пением птиц (илл. 1), линий руки, звезд и т. д.<sup>22</sup>. Изобилие терминов, как и разнообразие изображений, свидетельствовало, прежде всего, о стремлении клириков учесть все многочисленные техники дивинации, поскольку они не могли ее контролировать, и пресечь кощунственное желание исследовать *occulta Dei*, единственным легитимным толкователем которых Церковь провозгласила саму себя<sup>23</sup>.

Те же самые противоречия наблюдаются при использовании в целях дивинации «жребия апостолов» или «жребия святых». Начиная с Раннего Средневековья клирики не прекращали метать громы и молнии против «суеверного» использования Псалтыри,

---

<sup>21</sup> *Jean de Salisbury*. Polycraticus / Ed. K. S. Keats-Rohan. Turnhout: Brepols, 1993 (Corpus Christianorum Continuatio Medievals. T. CXVIII). I, 12; В двадцать восьмой главе второй книги (II, 28) он рассказывает о том, как, будучи посланным, чтобы учиться, к одному священнику, он обнаружил, что тот практиковал искусство магии и убеждал своих учеников помогать ему в наблюдении за хрустальным шаром.

<sup>22</sup> *Melnikas A.* The Corpus of the Miniatures in the Manuscripts of *Decretum Gratiani*. 3 vol. Studia Gratiana. Rome, 1975. Vol. II. Causa XXVI. P. 833-862.

<sup>23</sup> *Schmitt J.-C.* Les «superstitions» // *Le Goff J., Rémond R.* Histoire de la France religieuse. T. I. Paris: Ed. du Seuil, 1998. P. 419-551 (особ. p. 482 et s. v.).

Евангелий и Деяний апостолов, которые открывали наугад, чтобы прочесть в первом стихе, который попадется на глаза, божественное одобрение сделанного выбора либо счастливое предзнаменование для поступка, который собирались совершить. Алан Лилльский пишет около 1200 г.: «Не следует бросать жребий с помощью таблиц и рукописей с целью узнать будущее. Пусть никто не осмеливается бросать жребий с помощью Евангелия, Псалтыри или других вещей либо пользоваться каким-либо другим способом дивинации при помощи каких-либо предметов. Если он это сделает, пусть совершит покаяние по усмотрению священника»<sup>24</sup>.

В действительности, теми, кто наиболее активно прибегал к «жребию апостолов», были сами священники. Избрание многих святых епископов Раннего Средневековья было если не предрешено, то, по крайней мере, подтверждено этим способом: таков, среди прочих, был случай св. Мартина Турского, если следовать рассказу о его избрании у Сульпиция Севера. При подобном легитимном использовании дивинации результат «жребия апостолов» не полагался на волю случая, а должен был свидетельствовать о божьей воле: в этом случае люди могли действовать с уверенностью, что они поступают по правде.

Они стремились узнать будущее, чтобы в соответствии с ним изменить свои поступки или даже воздействовать на него, его трансформировать. Провидение не установило раз и навсегда порядок вещей: человек все еще свободен измениться к лучшему, совершить покаяние и встать на путь обращения, чтобы избежать печальной участи, которая ему предначертана, и приготовить себе, в этом мире и, главное, за гробом, лучшее будущее. В христианстве человек не является пассивным объектом судьбы, или фатума, как в греческой трагедии. Не посягая на божественное всемогущество и всеведение, он сохраняет способность воздействовать на свою судьбу и изменять свое будущее. Польза снов, видений и пророчеств как раз и заключается в том, чтобы предостеречь его от того, что его ожидает, если он сам не возьмет свою судьбу в свои руки: он должен всегда помнить о том, что творить добро никогда не поздно. Книга Ионы дает нам пространно комментируемый в Средние века пример пророчества, которое не реализовалось из-за действий людей: пророк Иона получил от

---

<sup>24</sup> Ibid. P. 486.

Яхве приказ возвестить жителям Ниневии о том, что их город будет разрушен, если они не встанут на путь обращения. Поскольку они обратились, они были справедливо помилованы — к большой досаде пророка, который, по выходе из Ниневии, сел в тени клещевины, чтобы «увидеть, что будет с городом». Миниатюра английской псалтыри начала XIII века изображает удивление Ионы, который обнаружил, что его пророчество не реализуется (илл. 2)<sup>25</sup>. Однако экзегетические комментарии Книги Ионы, начиная со св. Августина (Град Божий, XXI, 24), напротив, подчеркивают, что, вопреки тому, что может показаться, воля Господня была исполнена: «дурная Ниневия» — та, которая заключалась в ожесточенных сердцах ниневитов — действительно, была разрушена, как это и было предсказано, поскольку жители города встали на путь обращения. Ошибка Ионы заключалась лишь в том, что он ожидал материального разрушения Ниневии. Это решение довольно остроумно: оно позволяет одновременно сохранить всемогущество Бога и свободную волю человека.

Существовали также и другие средства воздействия на будущее: все религиозные, литургические и магические практики используют символические средства — молитвы, ритуальные жесты, манипуляцию объектами — для того, чтобы эффективно воздействовать на течение времени и влиять на будущее в том или ином направлении. В благоприятную сторону: как это было, например, в случае литаний, которые заключаются в том, чтобы обратиться к святым с просьбой вызвать дождь либо даровать хороший урожай. Напротив, в дурную сторону: как это было в случае формул проклятия, которые, в конце хартий, обещают тем, кто нарушит их распоряжения, незавидную участь «Дафана и Авирона»<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Munich. Bayerische Staatsbibliothek. CLM 835. f. 111 v. Плоскость страницы разделена на шесть виньеток. Две из них, которые расположены в верхнем регистре, представляют историю с китом. Четыре оставшихся — пророчество о Ниневии и то, что случилось потом: в центре и слева Иона ожидает и спит под клещевинной. Справа он пророчествует о гибели города («Jonas hominibus Ninive subversionem civitatis predixit»). Внизу жители Ниневии, одетые в грубые одежды и постыющиеся, взывают к Божьему милосердию. Справа они благодарят Бога в декорациях идеального и искупленного города, который служит символом Небесного Иерусалима.

<sup>26</sup> Little L. K. *Benedictine Maledictions: Liturgical Cursing in Romanesque France*. Ithaca: Cornell University Press, 1993.

Наконец, в Средние века существовали также такие средства воздействия на будущее, которые претендовали на научный статус: в XIV в. папы окружили себя врачами, как, например, Арнольд из Виллановы. Они должны были отыскать эликсир, который, восстановив равновесие гуморов в ослабевшем с возрастом теле, обеспечил бы им «продление жизни»<sup>27</sup>. Стремление к вечности тоже является частью будущего.

### Пророк и священник

Будущее служит ставкой в борьбе за власть: если оракул способен предсказать его с помощью правильного истолкования знаков, владения сонниками и использования своего пророческого дара, он гарантирует себе доступ ко дворам королей, получает внимание папы и предостерегает людей против опасностей, которые им угрожают. Эта власть по своей природе сверхъестественна, поскольку будущее, по словам св. Августина, еще не существует. Познание того, чего еще нет, принадлежит к сфере чуда и, по сути, является покушением на прерогативы Бога. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Церковь, без конца повторяя то, что время принадлежит только Богу, всегда боролась против «суеверов», которые претендовали на предсказание будущего.

Это противоречие было тем более очевидным, что эсхатологическое и пророческое измерение изначально присуще христианству: Иоанн Евангелист, Предтеча, возвещает грядущее пришествие Мессии, доказывая скорое воплощение ветхозаветных пророчеств. В глазах его учеников, Иисус подтверждает пророчество Исаяи (62:11): «Скажите дочери Сиона: се, Царь твой грядет к тебе, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной». По его приказанию, они приводят ему осла и ослицу, чтобы он вступил в Иерусалим так, как это должен был сделать Мессия. Иисус пророчествует также и в своих речах, раскрывая при этом, однако, лишь часть тайны: «Истинно говорю вам: не пройдет род сей, как все это будет. Небо и земля пройдут, но слова Мои не пройдут. О дне же том или часе никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мк 13:30-34). С самого начала христианство поставило важнейший вопрос об абсолютном будущем, будущем *futura*, Страшного суда, час ко-

---

<sup>27</sup> Paravacini Bagliani A. Le corps du pape. Paris: Éd. du Seuil, 1997.

того не знает даже Сын, а вслед за ним и Церковь, что еще рельефнее противопоставляет ее тем, кто претендует на его предсказание. Проповедник Этьен де Бурбон обрушивается на прорицателей с такими словами: “Seducunt homines... isti qui divinos se dicunt, cum nil sciunt de futuris”<sup>28</sup>.

Особенность христианского и церковного будущего заключается в том, что оно заранее известно в том, что касается его формы, но остается неизвестным, когда речь заходит о сроках его наступления. Апокалипсис Иоанна, его бесчисленные комментарии, иконография тимпанов и манускриптов (комментарии к Апокалипсису Беата из Льебаны, апокалипсические видения из книги «Scivias» Хильдегарды Бингенской) широко распространили точное знание о том, что случится в конце времен: неизвестным остается лишь его час. Учитывая все это, мне кажется, что стратегия, принятая Церковью, состояла из трех элементов.

1) С одной стороны, она заключалась в том, чтобы в максимальной степени заключить пророческую харизму в строгие рамки, возложив на саму себя право если не пророчествовать, то учительствовать о *futura* с помощью устной проповеди и визуальных образов: церковная педагогика будущего должна была неустанно напоминать о неумолимом старении мира и, следовательно, о неотложной необходимости для каждого подготовиться к Судному дню. 2) С другой стороны, она заключалась в том, чтобы закрепить за своими святыми точно очерченную и контролируемую сферу для пророчества, которая распространялась только на ближайшее будущее, а не на последние времена: святой предсказывает час своей смерти, как, например, Кристина из Маркиата, которая, будучи еще маленькой девочкой, увидела себя лежащей на смертном одре, «словно бы будущее уже наступило» (“Denique prescripsit secum in animo, quasi jam fuisset quod futuram erat, se mortuam exponi”). Однако она предусмотрительно уточняет, что никто не может заранее знать, куда отправится его душа после освобождения от уз безжизненного тела (“exanimi cadavere, locum exalati spiritus non licere prenosci”)<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Étienne de Bourbon. Anecdotes historiques, légendes et apologues, tirés du recueil inédit d'Étienne de Bourbon, dominicain du XIII<sup>e</sup> siècle / Éd. A. Lecoy de La Marche. Paris: Renouard, 1877. P. 315. № 357.

<sup>29</sup> Talbot C. H. The Life of Christina of Markyate. A Twelfth Century Recluse. 2 ed. Oxford: Clarendon Press, 1959. P. 38-39.

Пророческий дар святых имел ограниченную сферу применения: агиограф Беда сообщает о св. Кутберте, что он “in spiritu prophetaverit”, однако это пророчество заключалось лишь в том, что он предсказал смерть Бойсила, прекращение бури и предрек, что по пути его будет кормить орел либо что дьявол разожжет «призрачный огонь»<sup>30</sup>.

Этому полюсу легитимного, но ограниченного пророчества, который внутри церковного института представляют собой святые, Церковь противопоставляет тех, кого она называет «лжепророками». Они изобилуют, например, в «Истории франков» Григория Турского, который повествует о том, как некий (“quidam”) выходец из Бери, потерявший разум из-за роя мух, стал в течение двух лет пророчествовать в Арле, в компании некой женщины, которая называла себя Марией. Он обрушился на епископа Пюи, который приказал его убить. Епископ Турский комментирует эти события, опираясь на IV Книгу Царств: «И упал сей Христос, которого скорее следует назвать Антихристом» (XXV: 5). Вред «лжепророков» двоякий: с одной стороны, их пророческие притязания были гораздо более велики, чем у самих святых, так как они, не колеблясь, пророчествовали о конце света; с другой, и это было более важно, они прорицали вне церковных рамок и даже вопреки авторитету Церкви и в противостоянии с ее институтами.

Однако следует обратить внимание на то, что между «лжепророками» и святыми существовала еще одна многочисленная категория пророков, в своем большинстве женщин, которые, не будучи отвержены церковными властями, сохраняли в их глазах определенную двойственность. Наиболее известной из них была Хильдегарда Бингенская, чей моральный авторитет еще при ее жизни был чрезвычайно велик, поскольку ее визионерские и теологические комментарии, пропитанные Апокалипсисом, пользовались вниманием св. Бернарда и папы. Но правда и то, что она в течение долгого времени не была канонизирована.

3) Наконец, усилия Церкви всегда были направлены на то, чтобы обуздать любой буквальный миллениаризм, способный воспользоваться ветхозаветными пророчествами, и прежде всего Апокалипсисом, чтобы призвать к немедленному ниспроверже-

---

<sup>30</sup> *Bede. Vita sancti Cuthberti // PL 94. Col. 735-790 (гл. VIII, XI, XII, XIII).*

нию социального порядка, как если бы люди должны были ускорить ход истории. Интерпретация «О граде Божьем» св. Августина, сохранявшая большое влияние на всем протяжении Средних веков, была более нюансированной: древние пророчества, дарованные людям как *тени* будущих событий, истинны, поскольку они были подтверждены пришествием Мессии и продолжают подтверждаться в истории Церкви<sup>31</sup>. Они гарантируют нам также реальность *futura*, хотя мы и не можем ни предсказать их час, ни доверять расчетам тех, кто оценивает время, которое должно истечь между Вознесением и Вторым пришествием Христа, в 400, 500 или 1000 лет<sup>32</sup>. Еще более важно то, что мы не должны давать древним пророчествам ни буквального истолкования (так, период в 1000 лет, после завершения которого Зверь должен быть освобожден, это совершенное число, а не точный срок), ни, наоборот, исключительно аллегорической интерпретации: истина пророчества занимает, так сказать, золотую середину и открывается с помощью аллегорического и морального прочтения их посланий<sup>33</sup>. Именно эта стратегия была воспринята иконографией в рамках традиционной библейской экзегезы: например, мюнхенский «Codex aureus» второй половины IX в. изображает Христа во славе, увенчанного крестообразным нимбом и восседающего в мандорле (речь, соответственно, идет о Христе-Судии Второго пришествия), в обрамлении ромбовидной фигуры, четыре угла которой образуют круги, которые занимают четыре ветхозаветных пророка; на периферии страницы эти четыре фигуры чередуются с изображениями четырех евангелистов, которые занимают ее углы<sup>34</sup>. География страницы рельефно подчеркивает преемственность ветхозаветных и евангельских пророчеств в предвозвестии возвращения Христа в конце времен. В начале XIII в. лицевые Библии об-

<sup>31</sup> Помимо XVIII книги «О граде Божьем» см. маленький трактат «De fide rerum quae non videntur» («Вера в невидимые вещи»), cap. VIII, 11; Среди продолжателей Августина см., прежде всего, трактат Юлиана Толедского «Prognosticon futuri saeculi» (PL 96. Col. 453-524).

<sup>32</sup> *Августин*. О граде Божьем, lib. XVIII, cap. LIII и lib. XX, cap. VII.

<sup>33</sup> Там же, lib. XVIII, cap. III.

<sup>34</sup> Munich. Bayerische Staatsbibliothek. CLM 14000. p. 6v° (IX век). Надпись золотыми буквами наверху миниатюры гласит: «Ordine quadrato variis depicta figuris / agmine sanctorum gaudia magna vident».



ращаются к той же самой идее, по сути восходящей к св. Августину, о новозаветной преемственности ветхозаветных пророчеств, которые предсказали не только пришествие Мессии, но и нынешнюю славу Церкви, рассматривая их в перспективе эсхатологического будущего: например, юный Давид, «успокаивающий» царя Саула, «означает» Христа, который искупает людей на кресте и открывает им путь к спасению в конце времен<sup>35</sup>.

Тем не менее, очевидно, что к предостережениям Августина не всегда прислушивались, и Ричард Ланд недавно справедливо напомнил нам о расцвете милленаристских спекуляций около 1000 г., как у аквитанца Адемара Шабаннского, так и у бургундца Рауля Глабера, а также многих других<sup>36</sup>. Ни один из этих авторов не был еретиком. Не больше чем Иоахим Флорский, который несколько позже предложит точную дату — 1260 год — для падения нового Вавилона и наступления царства Духа. Однако спиритуализация будущего всегда оставалась для церковной иерархии и учения возможным выходом в тех случаях, когда милленаризм принимал неприемлемые формы движения за ниспровержение церковного порядка: это случилось, когда спиритуалы, Герардо ди Борго Сан Доннино, Герардо Сегарелли, а затем фра Дольчино, вдохновились мыслью Иоахима, чтобы прямо обрушиться на апостольский престол<sup>37</sup>.

\* \* \*

Христианский контекст представлений о будущем объясняет, почему на всем протяжении Средних веков последние времена предстают как финальная проекция эпохи творения. Без сомнения, христианское время разворачивается в историю, однако речь идет о священной истории, которая, подобно мифу, должна,

---

<sup>35</sup> Vienne. Österreichische Nationalbibliothek. Ms. 2554. f°38 (лицевая Библия на французском языке, начало XIII в.).

<sup>36</sup> Landes R. *Relics, Apocalypse and the Deceits of History*. Ademar of Chabannes, 989-1034. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995.

<sup>37</sup> Carozzi C., Taviani-Carozzi H. (éd. et trad.). *La fin des temps: terreurs et prophéties au Moyen Age*. Paris: Stock, 1982; См. более старые работы: *Töpfer B. Das kommende Reich des Friedens. Zur Entwicklung chiliastischer Zukunftshoffnungen im Hochmittelalter*. Berlin, 1964; Cohn N. *Les Fanatiques de l'Apocalypse. Courants millénaristes révolutionnaires du XI<sup>e</sup> au XVI<sup>e</sup> siècle, avec une Postface sur le XX<sup>e</sup> siècle*, trad. fr. Paris, 1962.

в конце концов, возвратиться к исходной точке и раствориться в божественной вечности, из которой она появилась на свет. Даже если этот религиозный взгляд на будущее в течение долгого времени пронизывал культуру Запада, мы должны понять, сколь силен был разрыв, который произошел с наступлением Нового времени. Новый облик, который будущее приобретает в XVI в., это утопия в том смысле, какой ей придал и впервые дал имя Томас Мор. Она порывает с эсхатологией, миллениаризмом и даже с мифами о ниспровержении социального и религиозного порядка Средневековья, как в стране Кокань<sup>38</sup>. Она принадлежит, по сути, ко времени, все аспекты которого, как это показал Кшиштоф Помьян, постепенно претерпевают трансформацию в ту же эпоху: отныне поток времени мыслится как полностью необратимый; время если не обмирщенное, то, по крайней мере, дегуманизованное в своем начале («большой взрыв») и в своем вероятном завершении; повседневное время, точно измеряемое башенными и ручными часами; время, индивидуальный опыт которого становится более длительным по мере того, как растет продолжительность жизни; время, которое подчеркивает уже не начало (Бытие) или *futura*, которые служат его отражением, а как раз грядущее — грядущее, чей облик определяется лишь успехами людей, стремлением к прибыли, поиском выгодных вложений, кредитом, одним словом, согласно формуле Макса Вебера<sup>39</sup>, «протестантской этикой» и секулярными политическими идеологиями, для которых ни прошлое, ни эсхатологическое будущее не являются достаточным оправданием власти<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> *Graf A. Miti, leggende et superstizioni del Medio Evo. 2 vol. Turin: Loescher, 1892–1893. P. 229-238: «Il paese di Cuccagna e paradisi artificiali». См. также: Graus F. Social Utopias in the Middle Ages // Past and Present, 38 (1967). Он отличает страну Кокань от верований, восходящих к античному представлению о Золотом веке.*

<sup>39</sup> См. также справедливые замечания Марка Блока: *Histoire et historiens / Éd. Étienne Bloch. Paris: Armand Colin, 1995. P. 36-37: «Наша “капиталистическая” экономика работает в состоянии вечной неустойчивости. Она живет ожиданиями. Именно это имеется в виду, когда мы утверждаем, что она существует благодаря кредиту».*

<sup>40</sup> *Pomian K. L'Ordre du temps. Paris: Gallimard, 1984.*

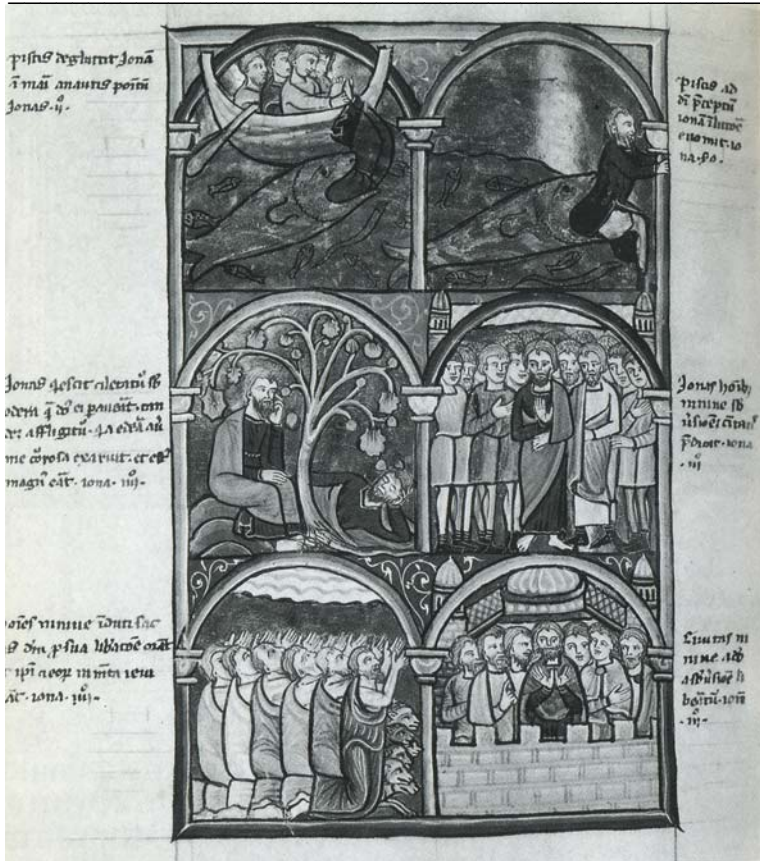


Илл. 1.

Предсказание будущего: наблюдение за птицами.

"Декрет" Гратиана, IIa Pars, Causa XXVI

(Berlin. Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz. Ms. Lat. f. 249).



Илл. 2.

Иона обнаруживает, что его пророчество не реализовалось.

Английская Псалтырь XIII в.

(Munich. Bayerische Staatsbibliothek. CLM 835. f. 111v).

## ГЛАВА 6

# ИСТОРИЯ В ХРОНИКАХ

## ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ АНГЛОСАКСОНСКОЙ АНГЛИИ

В этой статье речь пойдет об англосаксонском периоде в истории Англии, охватывающем в общей сложности шесть столетий — с середины V в. до 1066 г. Его событийными границами служат *adventum saxonum* — переселение германских племен англов, саксов и ютов на Британские острова (легендарная традиция датирует его начало 449 годом) и нормандское завоевание, в результате которого на английский трон вступил нормандский герцог Вильгельм, а земли и титулы перешли в руки континентальных баронов.

Считается, что представители германских племен появились в Британии еще в период римского владычества, как наемники в составе римских легионов. Утверждение их власти на острове (представленное в легендарной традиции как англосаксонское завоевание) происходило постепенно, в течение столетия, в результате военных бунтов, вторжений с континента и брачных союзов. Но к середине VI века на занятой пришельцами территории уже существовали отдельные королевства: Дейра и Бернисия (со временем объединившиеся в одно королевство — Нортумбрию), Мерсия, Восточная Англия, Суссекс, Кент, Уэссекс. Вплоть до IX века между ними шла борьба — Нортумбрия, Мерсия, Уэссекс поочередно подчиняли себе более слабых соседей. Христианизация, начавшаяся в последние годы VI века, полностью завершилась к середине VII в. В первые десятилетия IX века в жизнь англосаксов вторгается новая жестокая реальность — набеги воинственных скандинавских пиратов, викингов. Привлеченные богатством и плодородием английских земель, викинги вскоре отказались от своей обычной тактики кратких грабительских рейдов и стали за-

хватывать принадлежавшие англосаксам территории. К 860-м годам в их руках оказались Нортумбрия, Восточная Англия и восточная часть Мерсии (в западной части правил их ставленник). Из всех англосаксонских королевств только Уэссекс, в состав которого к тому времени вошли Суссекс и Кент, сохранял независимость. Возвышение Уэссекса совпало с началом викингских нашествий и связано с именами короля Эгбрихта (годы правления — 802–839), его сына Этельвульфа (839–858) и его внука Альфреда (871–900). Альфред, получивший в позднейшие времена прозвание Великий, был четвертым сыном Этельвульфа. Он стал королем после ранних и быстрых смертей трех своих братьев. Уэссекс в этот момент находился в очень тяжелом положении. Викинги практически не прекращали атак, стремясь уничтожить последнее англосаксонское королевство на острове. Но Альфреду удалось не только выстоять и сохранить собственные земли, но и объединить под своей властью все территории, которые по договору, заключенному в 878 г., отошли к нему. Он провел ряд государственных преобразований, и — что для нас весьма важно — заботился о просвещении своих подданных. Альфред настоятельно требовал, чтобы все мальчики благородного происхождения, «пока на них нельзя возложить иных дел», учились читать и писать на родном языке; создал при дворе школу для сыновей своих приближенных; собрал вокруг себя группу ученых клириков, помогавших ему в его просветительской деятельности. Во время его правления были переведены на древнеанглийский язык сочинения Григория Великого, Боэция, Орозия, Августина; составлены судебник («Правда Альфреда») и летопись — Англосаксонская хроника.

После смерти Альфреда до 1016 г. в Англии правили его потомки. Его сын Эдвард Старший (900–924) использовал новые силы, которые королевство обрело в результате альфредовских преобразований (в первую очередь, в военной сфере), для подчинения Дэнло — территорий, доставшихся по договору 878 года скандинавам. К концу правления Эдварда Нортумбрия и Восточная Англия признали верховную власть англосаксонских королей. Сын Эдварда, Этельстан (924–939) принял ряд мер, способствовавших стиранию политических и социальных различий между его англосаксонскими и скандинавскими подданными, и довершил объединение страны. При нем Англия превратилась в могущественную

державу, пользовавшуюся большим авторитетом в Европе, о чем свидетельствуют, в том числе, брачные союзы между сестрами Этельстана и представителями европейских правящих домов. После Этельстана в Англии властвовали его сводные братья — Эдмунд (939–946) и Эадред (946–955), а затем — сыновья Эдмунда, Эдви (955–959) и Эдгар (959–975). Все это время страна наслаждалась покоем и миром. При Эдгаре особого расцвета достигли английские монастыри. Одним из последствий бенедиктинской реформы стало укрепление связей монастырей с континентальной церковью, и под покровительством короля они стали могущественными оплотами учености и искусств.

Но со смертью Эдгара начался упадок, проявившийся в первую очередь в политической сфере. Борьба за власть между двумя могущественными группами знати (в состав которых входили и влиятельные клирики) завершилась убийством в 978 г. сына и преемника Эдгара — Эдварда (“Мученика”) и вступлением на трон его сводного брата Этельреда, которому в то время едва исполнилось восемь лет. Современные исследователи сильно расходятся в оценке качеств Этельреда как властителя, но одно очевидно — когда в 990-е гг. на Англию обрушилась новая волна викингских нашествий, король не был к этому готов. Он не сумел объединить вокруг себя англосаксонскую знать, как это сделал Альфред, или по крайней мере поддерживать равновесие сил между соперничающими группировками, по примеру Эдгара. Многие местные правители, элдормены, предпочитали заниматься внутренними дрязгами вместо того, чтобы защищать страну от врага. Кроме того, эти люди в большинстве своем принадлежали к поколению, выросшему в мирные годы, и у них не было того умения (и желания) воевать, которым отличались их деды. Этельред и советники взяли на вооружение порочную тактику, ошибочность которой наглядно подтверждал печальный опыт франкских королевств во второй половине IX века. Вместо того чтобы сражаться с викингами, король платил им огромные суммы с условием, что они покинут его земли. Постоянные поборы разоряли королевство, а враги на следующий год возвращались вновь.

Планомерное наступление скандинавов завершилось тем, что в 1013 г. в Англию приплыл датский конунг Свейн Виллобордый. Ситуация в стране была такова, что большинство элдор-

менов признало Свейна королем и перешло на его сторону. Этельред с семьей бежал в Нормандию, на родину своей второй жены, Эммы. Однако Свейн внезапно умер, а его юный сын Кнут<sup>1</sup> в тот момент не был готов занять его место. Этельред вернулся и сумятица продолжалась еще полтора года. В 1016 г. Этельред умер. На трон вступил его двадцатилетний сын от первого брака, Эдмунд Железный Бок. Под предводительством юного короля англосаксы нанесли несколько поражений Кнуту, высадившемуся в Англии со своим войском. Однако решающее сражение Эдмунд проиграл, после чего они с Кнутом заключили соглашение и поделили территории: Эдмунд должен был править в Уэссексе, Кнут — в Мерсии. Спустя два месяца Эдмунд умер, и Кнут стал королем всей Англии. В течение 26 лет в стране властвовала датская династия. Но в 1042 г. после смерти сына Кнута, Хардакнута, корона перешла к представителю древнего англосаксонского королевского рода, потомку Альфреда Великого, сыну Этельреда и Эммы. Он вошел в историю под именем Эдуард Исповедник. В правление Эдуарда Англия жила благополучно и мирно, но он умер, не оставив наследника. Единственным отпрыском королевской династии, остававшимся к тому времени в живых, был юный Эдгар Этелинг, внук Эдмунда. Однако ему едва исполнилось четырнадцать лет, кроме того, он родился и воспитывался на континенте, и знатные англосаксы воспринимали его как чужака. Они предпочли избрать королем Харальда, сына Годвине, королевского зятя, элдормена Уэссекса.

Харальд помимо богатства и могущества прославился своими военными талантами и доблестью. Последнее обстоятельство было немаловажным, поскольку на английскую корону претендовали два чужеземца — норвежский конунг Харальд Суровый и нормандский герцог Вильгельм. Новый англосаксонский король с весны готовился к войне, но решающие события разыгрались осенью. Харальд, сын Годвине, разбил своего норвежского тезку, самого прославленного воина Европы в битве у Стамфордского мос-

---

<sup>1</sup> Кнут, сын Свейна Виллобородого, получил позднее прозвание Могучий. Он был хорошим воином, мудрым правителем и умелым дипломатом и сумел на какое-то время объединить под своей властью Данию, Англию и Норвегию. Однако сразу после его смерти «империя Кнута» развалилась. В те времена, о которых идет речь, ему еще не исполнилось 20-ти лет.



та, в окрестностях Йорка. Но пока он был на севере, герцог Вильгельм беспрепятственно высадился в Певенси. Харальд поспешил туда со своим войском и дал бой Вильгельму, но проиграл и сам пал на поле битвы. Там же погибли два его брата. Те немногие представители высшей англосаксонской знати, которые уцелели после двух жестоких сражений (в основном это были церковные иерархи), избрали королем Эдгара Этелинга. Но у Эдгара не оказалось ни достаточного авторитета, ни боеспособного войска. Вильгельм подошел к Лондону и там принял капитуляцию от Эдгара, архиепископа Эалдред и горожан. В рождество герцог Вильгельм был коронован в Лондоне.

Таков краткий очерк событий англосаксонского периода в истории Англии<sup>2</sup>. Исторические сочинения и научные труды, посвященные этой эпохе, могли бы составить фонд средних размеров библиотеки. Сохранившиеся источники были досконально изучены, из них извлекались все возможные сведения о политических, социальных, экономических реалиях англосаксонской Англии. Однако взгляд исследователя, действующего подобным образом, всегда — *взгляд извне*. В то же время, для постижения исторической реальности в ее полноте, понимания внутренних мотивов человеческих поступков (из которых и складывается в итоге «общественная жизнь») не менее важно увидеть процесс развития данного социума *изнутри*, глазами составляющих его людей. Подобную возможность дает нам изучение исторического сознания, которое, по определению М. А. Барга, представляет собой такую форму общественного сознания, «в которой совмещены все три модуса исторического времени — прошлое, настоящее и будущее... В плане теоретическом оно определяет пространственно-временную ориентацию общества и тем самым содействует его самопознанию, в плане же “прикладном”, историческом, оно ближайшим образом определяет не только способ фиксации истори-

---

<sup>2</sup> При его составлении я опиралась на обширнейшую литературу по данной теме, в первую очередь на классические труды Г. Чэдвика (*Chadwick H. M. The origin of the English nation. Cambridge, 1924*) и Ф. Стентона (*Stenton F. Anglo-Saxon England. Oxford, 1943*). Из более современных работ следует назвать книги: *Whitelock D. History, Law and Literature in 10<sup>th</sup> – 11<sup>th</sup> century England. L., 1981*; *Campbell J. The Anglo-Saxons. L., 1982*; *Higham N. The death of Anglo-Saxon England. Sutton, 2000*.

ческой памяти (миф, хроника, история), но и отбор, объем и содержание достопамятного, т. е. выступает по отношению к историографии в качестве области нормативной и рефлексивной»<sup>3</sup>. Другими словами, речь идет о тех составляющих мировосприятия, которые рождаются из ощущения истории, из попыток выразить взаимосвязи между прошлым и настоящим, и находят свое отражение в историописании. И именно к этой теме нам предстоит сейчас обратиться.

Историческое сознание можно изучать на основании разных источников. Сохранившиеся англосаксонские памятники дают для этого богатые возможности. Теоретическое осмысление истории как воплощения божественного замысла и описание прошлого и настоящего англосаксонской Британии в общехристианском контексте содержатся в трудах Беда Достопочтенного (ум. 735)<sup>4</sup>. Различные образы прошлого и отчетливое ощущение неотвратимого движения времени переданы в древнеанглийской поэзии: эпической поэме «Беовульф», поэмах на библейские сюжеты, элегиях; события настоящего отражены в героических песнях — «Битва при Брунанбурге», «Битва при Мэлдоне»<sup>5</sup>. Попытки толкования и объяснения давних и недавних событий мы находим в проповедях, гомилиях и житиях святых<sup>6</sup>. Интересный материал могут дать упоминавшиеся выше переводы латинских сочинений, сделанные во времена Альфреда Великого<sup>7</sup>. При таком обилии материала ка-

<sup>3</sup> Барг М. А. Историческое сознание как проблема историографии // Цепь времен: проблемы исторического сознания / Под ред. Л. П. Репиной. М.: ИВИ РАН, 2005. С. 13. Статья была впервые опубликована в журнале «Вопросы истории» (1982, N 12. С. 49-66).

<sup>4</sup> См.: Bede. Ecclesiastical history of the English people / Ed. by Colgrave B., Mynors R. Oxford, 1969; Baeda Venerabilis. De temporum ratione. Patrologia Latina. Vol. XC. P. 293-578 и др.

<sup>5</sup> Всеобъемлющее издание древнеанглийских поэтических памятников см. Krapp G. P., Dobbie E. van Kirk. The Anglo-Saxon poetic records. Vol. 1-6. L., N. Y., 1931-1953. Переводы некоторых стихотворений на русский язык см. Древнеанглийская поэзия / Пер. В. Тихомирова под ред. О. А. Смирницкой. М., 1982.

<sup>6</sup> В качестве примера исследования житий как источника для изучения исторического сознания см. Otter M. 1066: the moment of transition in two narratives of the Norman conquest // Speculum. Cambridge (Mass.), 1999. Vol. 74. N 3. P. 565-586.

<sup>7</sup> King Alfred's Old English version of Boethius de Consolatione Philosophiae / Ed. W. L. Sedgefield, 1899; King Alfred's West-Saxon version of Greg-

жется удивительным, что систематического изучения исторического сознания англосаксонской Англии до сих пор не было предпринято. Я попытаюсь в данной работе сделать небольшой шаг на этом пути. Предметом моего исследования станет один источник, наиболее очевидный, если иметь в виду поставленные цели, — Англосаксонская хроника.

Англосаксонская хроника представляет собой последовательность погодных записей на древнеанглийском языке, перекрывающих, в общей сложности, временной промежуток с 60 г. до н.э. (приход Цезаря в Британию) до 1154 г. Она сохранилась в шести рукописях, обозначаемых латинскими буквами «А», «В», «С», «D», «Е», «F»<sup>8</sup>. История их формирования, воссозданная на основании сравнительно-текстологического анализа, в самых общих чертах выглядит следующим образом<sup>9</sup>. Около 892 г. Альфред и его помощники создали первоначальный текст Хроники (т. н. “common stock”, охватывающий период с 60 г. до н. э. до 891 г.)<sup>10</sup>, который сразу же был скопирован и разослан в различные монастыри и на епископские кафедры. В одном из монастырей (вероятно, на севере) полученный вариант “common stock” был переработан и существенно дополнен сведениями, почерпнутыми из «Церковной истории» Беды и северных (главным образом, нортумбрийских) источников, в результате чего появилась т. н. «северная версия» Хроники. В течение X века при королевском дворе были составлены и разосланы в те же летописные центры два продолжения. Помимо этого, в некоторых монастырях и общинах клириков полученные рукописи продолжались с использованием местных материалов. Во второй половине X в. и в XI в. обмен сведениями происходил уже между самими летописными центрами,

---

ory's Cura Pastoralis / Ed. by H. L. Sweet, 1871; King Alfred's version of St. Augusten Soliloques / Ed. by T. Carnicelly. Cambridge, 1969; The Old English Orosius / Ed. by J. Batley. L., 1980 и др.

<sup>8</sup> Сохранился также один лист некоей рукописи, обозначаемой как «Н»; он содержит погодные статьи за 1113–1114 гг. Более подробно о конкретных рукописях будет сказано ниже.

<sup>9</sup> См. напр.: *Plummer Ch. Introduction // Two of the Saxon Chronicles Parallel: A revised text.* Oxford, 1899. Vol. 2. P. CXIV–CXVII.

<sup>10</sup> Считается, что создатели “common stock” использовали при ее составлении местные латинские анналы, сочинения Беды и свидетельства устной традиции.

без участия королевского двора. Существовавшие рукописи и их фрагменты копировались и компилировались. Надо отметить, что, хотя текстологические расхождения между имеющимися в нашем распоряжении рукописями слишком существенны, чтобы говорить о них как о разных редакциях одного текста, различия не настолько велики, чтобы рассматривать эти рукописи как разные летописи. Хотя некоторые историки причисляют Англосаксонскую хронику к монастырским анналам, на мой взгляд, ее природа иная и гораздо более сложная. Первоначально составлением Хроники занимались те же люди, которые трудились над переводами латинских сочинений и созданием судебного кодекса. Можно спорить о том, какова была доля личного участия короля Альфреда в работе над тем или иным произведением, но тот факт, что все эти тексты написаны группой единомышленников и выражают совершенно определенные взгляды и мировосприятие, не вызывает сомнений. Из самого поверхностного прочтения указанных источников становится ясно: при том, что помощники Альфреда были клириками, их мировидение весьма далеко от узко монастырской или даже узко клерикальной перспективы. В этом смысле можно говорить, что Англосаксонская хроника (по крайней мере начальная ее часть) — это светский памятник<sup>11</sup>.

Идея использовать Англосаксонскую хронику как источник для изучения исторического сознания кажется достаточно очевидной и весьма привлекательной. Помимо прочего, летопись охватывает весь интересующий нас период, и в ней (поскольку она писалась разными людьми и в разных местах) представлено не просто восприятие одного человека, а своего рода «срез» менталитета. Однако исследователь, взявшийся за подобную задачу, сразу сталкивается с существенными трудностями.

Анналисты практически никогда не напоминают о случившихся прежде событиях и не устанавливают прямо причинно-следственные взаимосвязи; за редким исключением, они не выражают собственного отношения к тому, о чем пишут. Между

---

<sup>11</sup> В связи со светской придворной хроникой обычно возникает мысль о «заказе». Но рассмотрение Англосаксонской хроники в ряду других текстов альфредовской эпохи говорит, скорее, против такого прочтения, нежели в его пользу. Ни в одном из трудов, происходивших из «круга Альфреда», мы не находим прославления лично короля или его рода; цели их создателей были шире.

погодными статьями нет внешней связи, и они существенно различаются по размеру и стилю. На первый взгляд, перед нами набор разрозненных записей или, иногда, фрагментов, авторы которых стремились сообщить о происходящем, вовсе не заботясь о том, чтобы увязать свой рассказ на литературном или на смысловом уровне с предшествующим текстом. Не случайно Ч. Пламмер, подготовивший в конце XIX века классическое издание и исследование Хроники, настойчиво подчеркивал ее *разнородность* и *фрагментарность* и считал, что главной задачей ее составителей была точная фиксация событий и выстраивание их в правильном хронологическом порядке.

Лишь в последние десятилетия XX века, в результате «лингвистического поворота», давшего в руки историкам методы формального анализа текстов, стало возможным увидеть за внешней разнородностью некую внутреннюю целостность, проследить ассоциативные связи, не выраженные прямо, однако присутствовавшие в сознании автора. И. Н. Данилевский, с успехом применивший герменевтические методы к анализу русских летописей, так определил суть этого подхода: «Постижение... исходного, заложенного автором произведения, и в значительной степени определенного культурой, в рамках которой создается изучаемый текст, — смысла (или хотя бы приближение к нему)... составляет цель любого герменевтического исследования. С другой стороны, этот смысл *не отождествляется с буквальным значением текста...* (курсив мой. — З. М.)»<sup>12</sup>.

Все дальнейшее изложение представляет собой попытку проанализировать текст Англосаксонской хроники в свете того, что нам известно об истории ее создания и особенностях англосаксонской культуры в целом. Я не претендую на полноту истолкования. Моя задача состоит в том, чтобы попытаться ответить на два вопроса: О чем писалась Англосаксонская хроника? О чем она в итоге была написана? Другими словами, как выглядит история англосаксонской Англии глазами летописцев?

### **1. Тематика сообщений и язык Англосаксонской хроники**

Отправной точкой для обсуждения вопроса о содержании Англосаксонской хроники должен стать анализ тематики ее со-

---

<sup>12</sup> Данилевский И. Н. Повесть временных лет. М., 2004. С. 18.

общений. Установив круг тем, о которых писали анналисты, мы определим в первом приближении, что, по их мнению, входило в область истории; а рассмотрев, какого рода события описываются чаще (с учетом, разумеется, степени их повторяемости) и подробнее, мы сможем уяснить на уровне гипотезы, что считалось более, а что менее важным в рамках данной летописной традиции. Но, прежде чем изложить результаты тематического анализа, следует сказать еще несколько слов о рукописях.

Я опиралась на три из них: рукопись “А”, самую древнюю, написанную в конце IX века и затем пополнявшуюся новыми погодными статьями до середины XI века; рукопись “С”, написанную в середине XI века и пополнявшуюся до 1066 г.; и рукопись “D”, составленную в 1080-х гг. Рукопись “В” исключена из рассмотрения в силу того, что ее текст (она доходит до 977 г.) практически совпадает с текстом соответствующего фрагмента “С”. Вопрос о рукописях “Е” и “F” сложнее. Рукопись “Е” была составлена в Питерборо уже в англо-нормандский период, в 1120-е годы, и продолжалась до 1154 г. Поскольку нормандское завоевание привело к очень резким переменам в языке и культуре (в том числе — в мировосприятии), можно ожидать, что текст «Е» в том виде, в каком он до нас дошел, представляет собой результат наложения и синтеза двух разных летописных традиций — ранней, запечатленной в «англосаксонской» части Хроники, и более поздней, носителями которой являлись монахи монастыря Питерборо в середине XII века. Изучение рукописи “Е” с этой точки зрения представляет собой отдельную интересную задачу, но, поскольку моей целью на данном этапе является исследование исторического сознания *англосаксонской* Англии, а не переходного периода, я сочла возможным не обсуждать пока рукопись “Е”. Двухязычная (древнеанглийско-латинская) рукопись “F” датируется началом XII века. Древнеанглийский текст в целом совпадает с текстом “Е”, за каждой погодной статьей (рукопись обрывается на погодной статье 1058 г.) следует перевод на латынь. Я не обсуждаю “F” по тем же соображениям, по которым не стала рассматривать “Е”, — поскольку с точки зрения изучения англосаксонского периода данная рукопись не очень показательна.

В тексте Англосаксонской хроники традиционно выделяют группы погодных статей, объединенных общим авторством или

происхождением, либо тем, что они принадлежат к определенной стадии создания этого памятника<sup>13</sup>:

“common stock” — 60 г. до н. э. — 891(892)<sup>14</sup>;  
 «северная версия» — 60 г. до н. э. — 891(892);  
 история альфредовских войн — 892(893)–896(897);  
 «эдвардовские» погодные статьи — 900(901)–924;  
 Мерсийский регистр — 902–924;  
 погодные статьи — 925–975;  
 погодные статьи — 976–990;  
 «этельредовский» фрагмент (рукописи “С”, “D”) — 991–1016;  
 погодные статьи XI в. (рукописи “С”, “D”) — 1017–1066.

При анализе удобно использовать эти внутренние деления в качестве границ, что я и делала. Результаты проведенных подсчетов<sup>15</sup> представлены в приложении.

Как мы видим, во всей Англосаксонской хронике более или менее последовательно на всем ее протяжении фиксируются смены королей и высших церковных иерархов, военные кампании, различные эпизоды борьбы за власть. События религиозной жизни, деятельность церкви (если не считать назначений епископов)

---

<sup>13</sup> См., например: *Plummer Ch. Two of the Saxon Chronicles Parallel...* Vol. 2. P. CXIV–CXVII; *Bately J. M. Introduction // The Anglo-Saxon Chronicle: A collaborative edition.* Cambridge, 1986. Vol. 3: MS A: A semi-diplomatic edition with introduction and indices. P. XIII–CLXXVII; *Clark C. The narrative mode of the Anglo-Saxon Chronicle before the Conquest // England before the Conquest: Studies in primary sources presented to D. Whitelock.* Cambridge, 1971. P. 215–235; *O'Brien O'Keefe K. Introduction // The Anglo-Saxon Chronicle: A collaborative edition.* Cambridge, 1999. Vol. 5: MS C: A semi-diplomatic edition with introduction and indices. P. XI–CXII; *Cubbin G. P. Introduction // The Anglo-Saxon Chronicle: A collaborative edition.* Cambridge, 1996. Vol. 6: MS D: A semi-diplomatic edition with introduction and indices. P. XIII–CLXI.

<sup>14</sup> Из-за ошибок, допущенных писцами, существуют расхождения в датировках между рукописью “А” и рукописями “С”, “D”. Здесь и далее, когда приводятся две даты, первая соответствует хронологии рукописи “А”, вторая — “С”, “D”.

<sup>15</sup> Известия подсчитывались по следующему принципу. В тех случаях, когда сообщается о разных (пусть однотипных) событиях, например, о разных сражениях, происходивших подряд, я расценивала каждое такое сообщения как отдельное известие. Сообщения о событиях, связанных друг с другом, например, о смерти епископа и назначении его преемника, также рассматривались как разные известия, кроме тех случаев, когда летописец сам объединял их (например: и умер король (такой-то), и его сын (имя) стал править).

освещаются очень скупо. Относительно мало известий о необычных природных явлениях и стихийных бедствиях. Вплоть до XI века летопись не сообщает ни о каких деяниях королей, кроме участия в войнах. Хронистов не слишком интересуют и события за пределами Англии — известий с континента немного. В целом беглый анализ тематики говорит о том, что в центре внимания составителей Англосаксонской хроники были в первую очередь вопросы войны и политики; тем самым подтверждается тезис о ее светском характере. Однако это только первый шаг.

Не вдаваясь в детали, изложение которых заняло бы слишком много места<sup>16</sup>, следует сказать, что в тексте Англосаксонской хроники имеются достаточно большие фрагменты, в которых подавляющее большинство известий относятся к одной теме<sup>17</sup>. И главным сюжетом всех этих «тематически однородных» отрывков является война с викингами (либо с их непосредственными «преемниками», данами Дэнло). Таковы фрагмент “*common stock*” 832–894 гг., «история альфредовских войн» (892[893]–896[897]), «эдвардовские» погодные статьи (900[901]–924), «этельредовский фрагмент» (991–1016). Хронологически “тематически однородные” отрывки перекрывают все периоды массовых викингских вторжений в Англию<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Подробный разбор тематики известий см.: *Метлицкая З.* Историческое сознание англосаксонских анналистов. Дисс. на соискание уч. степ. кан. ист. наук. М., 2005.

<sup>17</sup> Скажем, тематика известий за период 832–892 гг. такова: государственные дела — 20; церковные дела — 3; войны между англосаксонскими королевствами — 0; войны с бриттами — 1; войны с викингами — 52; необычные природные явления — 1; бедствия — 0; дела Рима и папства — 1; дела империи — 3; войны с викингами на континенте — 9.

<sup>18</sup> В Англосаксонской хронике имеются также “тематически разнородные” отрывки. В подобных фрагментах X в. известия разрозненны и кратки. Фрагмент XI в. ближе всего стоит к традиционным европейским анналам. Я бы, однако, не стала утверждать наверняка, что в случае “тематически цельных” и “тематически разнородных” фрагментов мы сталкиваемся с двумя принципиально разными подходами к летописанию. Например, в “тематически разнородном” отрывке 976–990 гг. рукописи “С” начавшиеся викингские набеги сразу занимают важное место. Не исключено, что “разнородность” появлялась, когда викингских нашествий не было, и, соответственно, отсутствовала главная тема. Однако убедительные подтверждения этого едва ли можно найти.



Переводя сказанное с языка цифр на язык исторических фактов, можно предположить, что по каким-то причинам войны с викингами являлись важнейшей темой для летописцев. Когда этот сюжет реально присутствовал в истории (т. е. в периоды викингских нашествий), анналисты не писали практически ни о чем другом<sup>19</sup>. Никакие иные события не описаны в Хронике с такой степенью подробности. Даже в «тематически разнородном» отрывке 925–975 гг. самой (и практически единственной) длинной погодной статьёй является погодная статья 937 г., текст которой представляет собой поэтическое описание битвы Этельстана с объединенным флотом викингов, шотландцев и ирландцев.

Таким образом, ответ на вопрос, о чем писалась Англосаксонская хроника, может звучать так: она писалась о войнах с викингами. Но мы попробуем сделать следующий шаг и поискать за летописными сообщениями некий дополнительный смысл, который, по выражению И. Н. Данилевского, «не отождествляется с буквальным значением текста». Для этого присмотримся внимательнее к «викингским отрывкам».

Для начала спросим: есть ли у этих фрагментов что-либо общее, помимо тематики? Даже весьма поверхностное исследование показывает: да, есть.

В тексте Хроники, как в любом средневековом летописном тексте, присутствуют в большом количестве стандартные «формульные» выражения и целые фразы, повторяющиеся (с некоторыми вариациями) в рассказах о событиях определенного типа.

---

<sup>19</sup> Подобное наблюдение относительно “common stock” и следующих за ней погодных статей 892 (893) – 896 (897) и 900 (901) – 924 гг. (без точного подсчета тематики) делает А. Смит. В частности, он отмечает, что в Англосаксонской хронике этого периода полностью отсутствуют сообщения о необычных природных явлениях и бедствиях (что крайне нехарактерно для анналов), а также о столкновениях между англосаксонскими королевствами и междоусобицах (эта тема широко представлена в более ранней части Хроники, и вряд ли с началом викингских нашествий все усобицы внезапно прекратились). См.: *Smyth A. P. King Alfred the Great. N. Y.; Oxford, 1995. P. 515-516.* О том, что войны с викингами в правление Альфреда исполняют роль своего рода кульминации в композиции “common stock”, см. также *Abels R. Alfred the Great: war, kingship, culture in Anglo-Saxon England. L., 1998. P. 17; Irvine S. Pre-Benedictine Reform period // A Companion to Anglo-Saxon Literature / Ed. by P. Pulsiano, E. Treherne. Oxford, 2001. P. 143.*

Простейшие варианты такого рода «формул» — это зачин “her” (тогда, здесь), с которого начинается большинство погодных статей; связующие временные формулы, например, “on thisum geare” (в этот год) или “thy ilcan geare” (этим же годом); формулы “feng to rice” (получил власть, стал править) в сообщениях о вступлении на трон нового короля; “and his lic lith (resteth)” (и прах его покоится) в сообщениях о смерти и пр. Встречаются и более развернутые варианты: “athas swor and gislas sealde thaet hi eall woldon thaet he woldon” (клятвой поклялись и заложников дали в том, что они хотят того же, чего он хочет) — в описаниях мирных соглашений между победителями (англосаксонскими королями и эрлами) и их побежденными противниками; “mid eallum tham flotam (lith, here) the he begotan mihte” (со всем тем флотом (войском), какое смог собрать)) — чаще всего в рассказах о внутренних усобицах, но иногда и в описаниях действий эрлов и даже королей; “for...mid scipfyrdre and landfyrdre” (пошел... с флотом и войском) — в рассказе о военных кампаниях короля (чаще всего) или элдорменов и т. д.<sup>20</sup>

Но в данном случае для нас важно, что в арсенале «формульного языка» Хроники имеются три «военных» формулы: “sige ahton (nam, hafen)” (победу получили (взяли, имели)), “waes micel waell ofslegen” (многие были убиты) и “waelstowe gewæld” (овладели полем битвы), которые встречаются (за единичными исключениями) *только в описаниях сражений с викингами и в погодных статьях 1066 г. рукописей “С” и “D”*. Формула “sige ahton” появляется впервые в погодной статье 800 г. безотносительно к войне с викингами: анналист использует ее, сообщая об исходе сражения между Этельмундом, элдорменом Хвикке, и уилтширским элдорменом Веохстаном; оба элдормена погибли, но уилтширцы «победу имели». Второй раз формула употребляется в погодной статье 823 г., также не связанной с викингскими нашествиями. Далее, однако, она используется только в указанном мною контексте (10 раз — в “common stock”; 1 — в погод-

---

<sup>20</sup> Детальное исследование формул в рукописи «А» Англосаксонской хроники было предпринято Д. Стодник в ее диссертации, представленной в университете Аризоны. К сожалению, у меня не было возможности ознакомиться с диссертацией, а также с текстом статьи Д. Стодник, которая сейчас находится в печати.

ных статьях 892–896 гг.; 1 — в Мерсийском регистре; 2 — в погодных статьях 991–1016 гг. и 1 — в погодной статье 1066 г.). Сходным образом, формула “*waes micel waell ofslegen*” появляется впервые в той же погодной статье 823 г. (в сообщении о сражении уэссекского короля Эгбрихта и мерсийского короля Беорнульфа); затем она встречается в описаниях сражений с викингами: 11 раз — в “*common stock*”; 1 — в погодных статьях 892–896 гг.; 2 — в погодных статьях 900–924 гг.; 1 — в погодной статье 988 г. 4 — в погодных статьях 991–1016 гг. Эта формула также употребляется в погодной статье 1066 г. рукописи “D”. Использование того же оборота в погодных статьях 1054 и 1055 гг. рукописи “C” при описании похода эрла Сиварда в Шотландию и вторжения изгнанного эрла Эльфгара в Нортумбрию, а также в погодной статье 982 г. той же рукописи, где речь идет о сражении императора Оттона с сарацинами (в той же погодной статье присутствует и другая формула “*waelstowe gewæld*”), на первый взгляд, противоречит высказанному мной предположению о связи данной формулы с “викингской” тематикой. Однако следует отметить, что в рукописи “D”, где текст данных погодных статей в целом следует “C”, указанные формульные выражения заменены на более развернутые и нейтральные. Не исключено, что составитель “D” чувствовал их неуместность в данном контексте. О намерениях анналиста, использовавшего две военные формулы в известии о победе над сарацинами, трудно судить с определенностью. Эта погодная статья содержится только в “C”, и была внесена в Хронику, вероятней всего, монастырским хронистом (видимо, в Абингдоне). Не исключено, что он использовал формулы, не понимая всех тонкостей их употребления. Но возможно, он усмотрел аналогию между борьбой англосаксов с язычниками-викингами и сражениями императора с язычниками-сарацинами.

Пожалуй, наибольший интерес представляет формула — “*waelstowe gewæld*”. Она впервые появляется в погодной статье 833 г., в одном из первых сообщений о сражениях с викингами. Далее она встречается 7 раз — в “*common stock*”, 1 — в погодной статье 905 г., 1 — в погодной статье 982 г. рукописи “C” (единственное употребление, не относящееся к сражениям с викингами, о котором мы только что упомянули); 4 — в погодных статьях 991–1016 гг. (из них дважды — в двух погодных статьях рукописи “A”, и 3 раза — в погодных статьях 1066 г. рукописей “C” и

“D”). Как показывает анализ контекстов употребления этой формулы, в отличие от выражения “sige ahton”, которое могло относиться и к англосаксам, и к их противникам, формула “waelstowe gewæld” использовалась только для описания сражений, которые англосаксы проиграли, и, по всей видимости, в тех случаях, когда эти сражения были особенно трагическими. Исключения представляют собой погодная статья 860 г. (одно из первых употреблений, когда “трагическое звучание” формулы, вероятно, еще не определилось) и погодная статья 1066 г. рукописи “D”, где данная формула используется при описании сражения у Стамфордского моста, завершившегося триумфальной победой англосаксонского короля Харальда, сына Годвине, погибшего через десять дней после этого в битве при Гастингсе.

Помимо формул, связь “викингских” фрагментов устанавливается и просто на уровне лексики. В первых погодных статьях, сообщающих о набегах викингов, врагов именуют “haethene menn”, “haethene here” (язычники, языческое войско), а также “scyphlaesta” (корабельная команда, корабельщики) и “scyphere” (корабельное войско). Но, начиная с погодной статьи 861 г., за ними закрепляется термин “se here” (то войско): это словосочетание становится практически их нарицательным именем<sup>21</sup>.

Во фрагменте 900 (901) – 924 гг. противников Эдварда, данов, живших в Восточной Англии и Нортумбрии, также называют “se here”. «Тогда нарушило *разбойничье войско в Нортумбрии* мир и также отвергло тот мир, которого король Эдвард и его уи-тэны от него требовали, и разорило земли Мерсии...»<sup>22</sup> (910A).

---

<sup>21</sup>Существительное “here” этимологически связано с др. англ. глаголом “hergian” — разорять, грабить. В Законах Инге, составленных в VIII в. и входящих в состав «Правды Альфреда», проводится следующая градация между разбойничьими объединениями: если разбойников меньше семи, их называют “theof”, если их от семи до тридцати пяти — “hloth”, а если их больше тридцати пяти — “here”. Хотя к середине XI века слово “here” отчасти утратило свои отрицательные коннотации и стало иногда употребляться по отношению к любому “профессиональному” войску (в том числе англосаксонскому), мне казалось уместным в погодных статьях IX–X в. переводить “se here” как “разбойничье войско”. Я, однако, отступала от этого правила в тех случаях, когда частое повторение громоздкого словосочетания слишком утяжеляло текст.

<sup>22</sup>Her braec se here on Northhymbrum thone frith and forsawon aelc frith the Eadweard cyng and his witan him budon and hergodon ofer Mercia lond. (ASC. 1986. Vol. 3. P. 63-64.)

«Тогда, в этот год двинулось *разбойничье войско* верхом из Нортгэмптона и Лестера после пасхи и нарушило мир, и они убили многих людей в Хук Нортоне и окрестностях»<sup>23</sup> (913A).

Интересно сопоставить этот “викингский” фрагмент со следующим, отрывком 925–975 гг. В нем войны на севере и востоке Англии утрачивают свое значение как одна из главных тем сообщений Хроники, и одновременно исчезает наименование “*se here*”<sup>24</sup>. Говорится, например: «Тогда *нортумбрийцы* нарушили свою верность и избрали королем Анлафа из Ирландии»<sup>25</sup> (941D).

Однако знакомое имя возникает вновь в “этельредовском фрагменте”. Не раз встречается привычный нам по “альфредовским” погодным статьям оборот “*com se here*”, а в одном случае хронист повторяет своего предшественника, писавшего “историю альфредовских войн” и, говоря о действиях викингов, называет врагов “*forespescena here*” (войско, о котором рассказывалось ранее). Заметим, что дважды анналист использует не встречавшееся прежде производное от “*here*” “*uthere*” (внешнее войско, войско извне). Эта конструкция будет представлять интерес для моих дальнейших рассуждений.

Следует обратить внимание также на повторы. Составитель погодной статьи 1066 г. рукописи «D» повторяет фразу из погодной статьи 999г., где речь идет об очередной неудачной попытке англосаксов противостоять викигам: “*swa hit forwaerde beon sceolde, swa waes hit laetre fram ande tide to other*” (но как только приступали к делу, шло оно медленнее раз от разу), и пишет о северных эрлах Эадвине и Моркере, противостоявших Вильгельму: “*swa hit aefre forthlicor beon sceolde, swa wearth hit fram daege to*

<sup>23</sup> Her on thys gere rad se here ut ofer Eastron of Hamtune and of Ligeraceastre and braecon thone frith and slogon monige men aet Hocneratune and thaer onbutan. (ASC. 1986. Vol. 3. P. 65.)

<sup>24</sup> Исторически именно в этот период, во времена правления Этельстана, властители северных областей признали верховную власть англосаксонской династии. Политика Этельстана была направлена на то, чтобы превратить «английских данов» из «чужих», из захватчиков (пусть и покоренных) в равноправных со всеми другими подданных англосаксонского короля. Как писал Ф. Стентон, «в битве при Брунанбурге Этельстан защищал государство, которое включало в себя потомков прежних врагов Альфреда...» (*Stenton F. Anglo-Saxon England. Oxford, 1971. P. 343*).

<sup>25</sup> Her Northhymbra alugon hira getreowatha and Anlaf of Irlande him to cinge gecuron. (ASC. 1999. Vol. 6. P. 43).

daege laetre and wугe” (но как только доходило до дела, свершалось оно день ото дня медленнее и хуже). Также, в погодной статье 1066 г. рукописей «С» и «D» дословно повторяется пояснение, что такое комета («некоторые именуют эту звезду волосатой звездой»), присутствующее в погодной статье 892 г. Другая цитата из той же погодной статьи 892 г. содержится в погодной статье 1001 г. рукописи «А»: на этот раз повторяется выражение “on aenne sith” (за один раз, за один переход, сразу).

Как можно истолковать подобные языковые совпадения?

Выше говорилось, что в Англосаксонской хронике нет непосредственных указаний на какие-либо взаимосвязи между разными фрагментами и даже между отдельными последовательными погодными статьями. Тем не менее, осмелюсь утверждать: если не все, то, по крайней мере, многие англосаксонские летописцы, пополнявшие Хронику, читали то, что было написано их предшественниками. Фиксируя происходящие события, они ощущали свою принадлежность к традиции. А эта традиция, заложенная Альфредом и его помощниками, предполагала определенные принципы отбора материала и форму его изложения. Анналисты более поздних времен обращались к “common stock” как к литературному и жанровому образцу, но в результате вольно или невольно сопоставляли настоящее, о котором рассказывали они сами, с прошлым, описанным их предшественниками. На текстовом уровне это сопоставление выражалось в использовании определенного стандартного языка и цитировании. Заданные таким образом отсылки создавали дополнительную структуру внутри текста, заключающую в себе некий смысл. Соответственно, проанализировав ее, мы сможем (хотя бы отчасти) увидеть взаимосвязи прошлого и настоящего глазами анналистов.

Итак, в внутренние отсылки связывают начальную часть Хроники (“common stock”, “история альфредовских войн”, “эдвардовский фрагмент”, Мерсийский регистр), “этельредовский фрагмент» и погодные статьи 1066 г. рукописей «С» и «D». Начальная часть Хроники и «этельредовский фрагмент» связаны, кроме того, тематически. Но что стоит за этой структурой?

## **2. Викинские нашествия в «common stock» и «истории альфредовских войн»**

Из всех фрагментов Англосаксонской хроники “common stock”, наверное, наиболее изучена. Исследователи сходятся на

том, что составители этой части Хроники стремились, во-первых, придать «особый статус» уэссекской королевской династии и прославить Альфреда как ее достойнейшего представителя (в частности, и в первую очередь, рассказывая о его военных победах); а, во-вторых, укрепить единство англосаксов как христианского народа, ведущего «священную войну» против язычников-викингов.

Так, Сюзен Ирвайн пишет: «Основная идея, заложенная в Англосаксонской хронике — утверждение национальной идентичности англосаксов как христианского народа... В таком контексте сражения с данами, которым хронисты уделяют столь большое внимание, предстают как одна из битв ведущейся испокон века войны христиан против язычников, добра против зла»<sup>26</sup>. А. Смит утверждает: «Она (Англосаксонская хроника. — *З. М.*) призвана была “укоренить” англосаксов и, в особенности, уэссекцев и династию Альфреда в христианском и римском прошлом... Войны с данами в контексте Хроники становятся кульминацией более долгой и значимой духовной битвы, которая началась с появлением христианства и нашла свое продолжение в обращении предков Альфреда в правую веру и приобщении языческого англосаксонского общества к цивилизации»<sup>27</sup>.

Эти трактовки представляются достаточно убедительными. Однако, если принять точку зрения Альфреда Смита, считающего, что замысел “*common stock*” сводится к сюжету о торжестве христианства над язычеством вообще, выразившемся, в частности, в приобщении язычников-англосаксов к христианству и их победе над язычниками-данами, не вполне понятно, почему известиям, касающимся христианизации и церковных дел, в начальной части Хроники отведено далеко не первое место. В “*common stock*” имеются 14 известий о принятии христианства, 5 — о строительстве церквей и монастырей, 4 — о синодах. При этом 22 известия сообщают об убийствах, изгнаниях и борьбе за власть, 29 — о войнах с бриттами, 22 — о войнах между англосаксонскими королевствами. Едва ли можно ссылаться на то, что у создателей “*common stock*” не было материала для более подробного рассказа о принятии и утверждении христианской веры.

---

<sup>26</sup> *Irvine S.* Pre-Benedictine Reform period // *A Companion to Anglo-Saxon Literature* / Ed. by P. Pulsiano, E. Treharne. Oxford, 2001. P. 143.

<sup>27</sup> *Smyth A. P.* King Alfred the Great. N. Y.; Oxford, 1995. P. 524.

Дж. Бейтли<sup>28</sup> показала, что составители “common stock”, хотя и заимствовали данные из краткого хронологического свода, завершающего «Церковную историю народа англов» Беды Достопочтенного, по какой-то причине не обращались в поисках сведений к основному тексту этого сочинения. Таким образом, обширный материал остался неиспользованным.

Анализ тематики сообщений заставляет внести некоторые поправки и в утверждения о “про-уэссекской” направленности “common stock”. Если обратиться ко временам до начала правления Эгбрихта (800 г.) (с этого момента начинается период главенства уэссекских королей, и их дела и интересы, действительно, выходят в Хронике на первый план), то из 216-ти известий с 449 по 800 г. только 61 касается непосредственно Уэссекса.

Исследователи, считающие, что одной из основных (если не единственной) целью создателей “common stock” было прославление Альфреда и его рода, обычно утверждают, что генеалогии, помещенные в текст Хроники (редкий случай для раннесредневековых анналов), введены в текст именно с этой целью. На первый взгляд довод кажется вполне убедительным — из 17-ти генеалогий, присутствующих в Англосаксонской хронике, 8 — уэссекские. Однако в тексте присутствует также шесть нортумбрийских генеалогий, так что, на мой взгляд, цифры отнюдь не свидетельствуют об очевидных “уэссекских пристрастиях” составителей. Еще более интересный результат получается, если учесть, что среди генеалогий отчетливо выделяются две группы, различающиеся по своим функциям: “длинные генеалогии”, восходящие к легендарным героям и языческим богам, и “короткие генеалогии”, восходящие либо к одному из поселенцев-завоевателей, либо к кому-то из членов династии, чья генеалогия сообщалась ранее. “Короткие генеалогии”, как указал Д. Дамвилль<sup>29</sup>, обычно приводятся в тех случаях, когда наследование происходит не по прямой от отца к сыну, их цель — определить место правителя в родословном древе династии. Среди генеалогий этого типа преобладают уэссекские:

---

<sup>28</sup> *Bately J. M.* Bede and the Anglo-Saxon Chronicle // Saints, Scholars and heroes. Studies in honour of Ch. W. Jones. Minnesota, 1979. P. 234-244.

<sup>29</sup> *Dumville D. N.* The West Saxon genealogical regnal list and the chronology of early Wessex // *Dumville D. N.* Britons and Anglo-Saxons in the Early Middle Ages. Aldershot, 1993. P. 41.



их шесть из одиннадцати. Но “длинные” генеалогии, задающие связь династий с героическим прошлым (т. е. действительно служащие прославлению рода), распределены поровну — две уэссекские, две нортумбрийские и две мерсийские<sup>30</sup>.

Т. Бредехофт, утверждающий, что целью создателей “common stock” было исключительно прославление Альфреда и обоснование особого статуса уэссекской династии, полагает, что после смерти Альфреда анналисты, пополнявшие Хронику, столкнулись с проблемой: о чем писать дальше? Они разрешили возникшие сложности двумя разными способами: на юго-западе Англии писали “хронику потомков Альфреда”, а создатели “северной версии” «пошли по пути превращения уэссекской Хроники в общенациональную»<sup>31</sup>. На основании своей трактовки Т. Бредехофт ставит в один ряд с “common stock”, “историей альфредовских войн” и “Эдвардовским фрагментом” поэмы, посвященные коронации и смерти Эдгара. Между тем, эти фрагменты ни тематически, ни на уровне языка не связаны с тремя перечисленными отрывками. В то же время “этельредовский фрагмент”, автор которого, как мы показали, сам сопоставлял свой рассказ с повествованием “common stock”, в схему, предложенную Т. Бредехофтом, не укладывается.

Соответственно, традиционные трактовки нуждаются в уточнении и дополнении.

Как говорилось ранее, “common stock” составлялась осознанно, и если помнить об этом, ее композиция достаточно четко просматривается.

Хронике (как и «Церковную историю» Беда Достопочтенного) открывает сообщение о приходе Цезаря в Британию<sup>32</sup>. Да-

---

<sup>30</sup> Т. Бредехофт (*Bredehoft Th. A. Textual Histories: Readings in the Anglo-Saxon Chronicle*. Toronto; Buffalo; L., 2001. P. 34-37) считает, что особый статус уэссекской династии подчеркивался тем, что уэссекские генеалогии в Хронике построены в поэтическом размере (имя и патроним, или иногда имя, патроним и связка “se weas” образуют аллитерационную полустроку. Для других генеалогий характерны специальные “генеалогические” метры. Однако эта гипотеза представляется не слишком убедительной.

<sup>31</sup> *Bredehoft Th. A. Textual Histories...* P. 67.

<sup>32</sup> Хотя некоторые исследователи Хроники упускают из вида этот факт и (видимо, по инерции) пишут, что летопись начинается от Рождества Христова (См. например: *Gransden A. Historical Writing in England c. 550 to c. 1307*. L., 1997. P. 35).

лее следуют погодные статьи, сообщающие сведения из христианской истории и истории Римской империи, но эти известия по возможности увязываются со сведениями, относящимися к Британии (опять-таки заимствованными из сочинения Беды). Затем следуют погодные статьи, рассказывающие (в соответствии с легендарной традицией) историю «англосаксонского завоевания» (449–584 гг.) Далее (и отчасти перекрываясь с предыдущим) следует «генеалогический фрагмент» (547–755), в котором помещены все вошедшие в Хроники генеалогии, за исключением одной. В том же отрывке содержатся сведения о христианизации и о борьбе за главенство между англосаксонскими королевствами. Затем, примерно с 800 г. начинается рассказ о возвышении уэссекской династии, а далее с 832 г. главной темой становятся сражения с викингами.

Если вспомнить историю создания “common stock”, ответ на вопрос, почему ее создатели выделили войну с викингами в качестве важнейшей темы, кажется достаточно очевидным. Они сделали это, потому что война с викингами была жизненно важна для них в реальности, от ее исхода зависело само существование королевства. Помимо высшего плана — борьбы христиан с язычниками, Альфред и его помощники видели в сражениях с викингами совершенно конкретное содержание — то была битва за их собственную землю. Однако если присмотреться внимательно к композиции Хроники, становится ясно: пределы этой земли лежат существенно дальше границ Уэссекса. О том же говорят и описания сражений.

«Даны» в “common stock” «приходят» на своих кораблях “ofer sae” (из моря, через море, по морю) и уходят “ut” или “ufor” (прочь, наружу), или, например, в «землю франков»<sup>33</sup>. О них никогда не говорится, что они ушли “hamweard” (домой)<sup>34</sup>. Создается впечатление, что эти пришельцы являются из неких неведо-

---

<sup>33</sup> Здесь следует вспомнить и отмеченный нами эпитет “uthere” (букв. «внешнее войско») у “этельредовского хрониста”.

<sup>34</sup> Хотя позднее, в “эдвардовском фрагменте”, подобное выражение начинает употребляться по отношению к данам, живущим в Дэнло. Вероятно, здесь отразились определенные изменения в сознании хронистов — тот самый процесс превращения жителей Дэнло из “чужаков” в “своих”, о котором я упоминала выше, в связи с употреблением “se here”.

мых просторов и уходят туда же. «Линией обороны» служат берега острова.

Многие ученые, начиная с Ч. Пламмера<sup>35</sup>, писали о том, что для составителей “common stock” крайне важна была идея единства всех англосаксов как одного народа, изначально присутствовавшая еще у Беды. Но в чем они видели основу для объединения? Моя гипотеза состоит в том, что для них основой единства, помимо христианской веры, служила также общая земля, остров Британия, и эта мысль нашла свое отражение в составленной ими Хронике<sup>36</sup>. В дополнение к уже сказанному, замечу, что пролог, предварявший текст “common stock” в рукописи “А”<sup>37</sup>, представляет собой перечень уэссекских королей — с Кердика, одного из завоевателей Британии, до Альфреда. Однако в “северной версии”, отраженной в рукописи “D”, этот перечень был заменен описанием острова Британия из «Церковной истории народа англов» (там с этого описания начинается книга). Близость языка, тематики и содержания “северной версии” и “common stock” позволяют думать, что ее создатели понимали намерения составителей “common stock” и не собирались входить с ними в противоречие. Сам факт, что подобную замену сочли возможной, говорит о том, что рассказ об острове Британия в представлении англо-

---

<sup>35</sup> Ч. Пламмер считал, что Альфред «в противовес местным анналам выдвинул идею общенациональной хроники» (*Plummer Ch. Two of the Saxon Chronicles Parallel... Vol. 2. P. CXI*).

<sup>36</sup> Исходя из некоторых особенностей композиции и содержания «Церковной истории народа англов» Беды Достопочтенного, можно предположить, что мысль об общей земле как основе единства присутствует уже в этом сочинении, и составители “common stock” заимствовали ее отсюда. Но поскольку я не занималась специально изучением Беды и его трудов, я не стану обсуждать эту тему.

<sup>37</sup> В рукописи “B” перечень королей династии Кердика, доходящий до короля Эдварда, убитого в 978 г. и впоследствии получившего прозвание Мученик, причем без указания даты окончания его правления, помещался, по мнению современных исследователей, в конце (*Taylor S. [Introduction] // The Anglo-Saxon Chronicle: A collaborative edition. Vol. 4: MS B. P. XXXIII*). В рукописи «C» пролог вообще отсутствует. Однако, с учетом того, что рукопись «A» наиболее ранняя, подавляющее большинство исследователей сходятся на том, что, согласно первоначальному замыслу, генеалогический перечень должен был предварять Хронику (См., напр.: *Bately J. M. [Introduction] // The Anglo-Saxon Chronicle: A collaborative edition. Vol. 3: MS A. P. XIII-CLXXVII*).

саксонских хронистов мог исполнять ту же роль, нести тот же импульс, что и рассказ о правящей династии. Описание Британии, естественно, не могло выступать в качестве хвалебной реляции в адрес уэссекской династии, но оно являлось вполне подходящим вступлением к истории англосаксов как единого народа. Если “генеалогический” пролог задавал ее хронологию, запечатленную в смене властителей, то описание острова задавало ее пространственное измерение.

Тот факт, что земля, где жили англосаксы, со всех сторон была окружена морем, усиливал ощущение замкнутости и изолированности. Англосаксонская хроника изначально писалась как история народа, живущего на острове. Главные этапы этой истории отражены в композиции “common stock”: завоевание и обживание земли, утверждение королевских династий (которому в тексте соответствует “генеалогический фрагмент”), принятие христианства и, наконец, появление врагов, “данов”.

В связи со всем сказанным невольно приходит на память один из традиционных образов германского героического эпоса — пиршественный зал как воплощение мира людей, и окружающая его темнота, где обитают чудовища. В англосаксонской культуре этот образ нашел одно из самых ярких своих воплощений в поэме «Беовульф»: ярко освещенный Хеорот — королевские палаты под золотой крышей — и темные, мрачные болота и омуты, откуда приходят враги. Долг героя — сражаться, защищая обжитой светлый мир от пришельцев из внешней тьмы<sup>38</sup>.

Я, разумеется, не думаю, что составители “common stock”, рассказывая о сражениях с викингами и делая эту тему главной в Хронике, сознательно осмыслили ее в таких образах — в той же мере, в какой они *осознанно* представляли происходящее как борьбу христиан с язычниками. Тем не менее, надо учитывать, что эти традиционные образы, органично слившиеся с христианскими, составляли в IX веке неотъемлемую часть англосаксонской культуры и присутствовали в сознании авторов хроники. Сама возможность — пусть неосознанная — увидеть войну с викингами в таком свете приносила в восприятие реальных исторических событий элемент эпизации: отсвет героического мира

---

<sup>38</sup> См. например: Мельникова Е. А. Меч и лира. М., 1987. С. 88-89.

озарял битву, осмысленную в христианских терминах борьбы добра и зла. И, возможно, именно поэтому общая героическая тональность “common stock” и “истории альфредовских войн” естественна, даже если ее использование отчасти диктовалось обдуманым стремлением авторов Хроники убедить англосаксов, что они могут и должны победить.

Далее мы увидим, что именно возможность толковать сражения с викингами как героическую битву за свой остров, заложенная в “common stock”, позволила автору “этельредовских” погодных статей и анналистам, писавшим о нормандском завоевании и других событиях 1066 года, проследить связи между победоносной войной, о которой сообщают “common stock”, “история альфредовских войн” и “эдвардовский” фрагмент, и теми трагическими событиями, о которых рассказывали они сами.

Но, прежде чем переходить к анализу других частей Хроники, сделаю одно важное дополнительное замечание. Представления о войнах с викингами как о битве с язычниками и, в некотором роде, “силами зла” для англосаксонских анналистов определяли высшее содержание, угадывавшееся за событиями, но отнюдь не задавали восприятие конкретной повседневности. Образ захватчиков в Хронике, так сказать, “двоится”, ибо реально “чужаки” не были такими уж чужими. Англосаксы усматривали определенную аналогию между «приходом» «данов» и появлением в Британии их собственных предков 400 лет назад. Свидетельства этого, опять-таки, дает лексика. В погодной статье 787 г. о первых кораблях данов, появившихся в Англии, сказано, что они «землю народа англов» “gesohton”, и тот же глагол употреблен в погодной статье 449г., где говорится, что Хенгест и Хорса по призыву короля Вюртгеорне “gesohton Bretene”. Указанный глагол означает «достичь, появиться», но одно из главных его значений — «найти»<sup>39</sup>. Возможно, благодаря осознанию этого сходства, а также благодаря тому, что в историческом плане воюющие народы имели общие корни, близкие языки и во многом сходную культуру, язычники-викинги в Англосаксонской хронике представлены отнюдь не теми чудовищами и исчадьями ада, какими их иногда рисуют континентальные

---

<sup>39</sup> Еще дважды этот глагол употребляется в поэме «Битва при Бруннбурге». Об этих употреблениях я скажу ниже.

анналисты<sup>40</sup>. Они — враги и противники, когда приходят как «разбойничье войско», они — «язычники», но авторы Хроники видят в них также и людей, в целом не очень отличающихся от них самих. В сообщениях о битвах часто повторяется, что «много было павших с обеих сторон», а перечисляя имена погибших, хронисты нередко называют и англосаксов, и данов. В погодной статье 893 г., говорится, что даны, укрывшиеся от англосаксонского войска на речном островке, не смогли уйти оттуда, когда охрана с берегов на время была снята, «поскольку их король был ранен в сражении, и они не могли его перенести». А в погодной статье 876 г. хронист, рассказывая о том, что викинги при заключении мира принесли клятву королю Альфреду на своем священном кольце, с гордостью добавляет, что «такой клятвой они никогда ни одному народу не клялись». Военные столкновения в изложении “common stock” порой напоминают состязание в силе и доблести. «И в этот год послал король Альфред корабельное войско в Восточную Англию. И как только они вошли в устье Стура, им встретились 16 кораблей викингов, и они с ними сражались, и все корабли захватили, и людей убили. Когда они отправились домой с добычей, им встретилось большое корабельное войско викингов, и они с ним сражались в тот же самый день, и даны победили»<sup>41</sup> (885А).

Вероятно, не только “героический ответ”, о котором говорилось выше, но и близость культур ответственна за то, что, в отличие от франкских анналов, общий тон повествования в “common stock”, “истории альфредовских войн” и “эдвардовском фрагменте” достаточно жизнеутверждающ. Враг, чьи тактика и оружие по-

---

<sup>40</sup> См. например, начало погодной статьи 884 г. «Ведастинских анналов»: «Норманны продолжали убивать и брать в плен христианский народ, и разрушать церкви, и уничтожать города, и сжигать деревни. На улицах лежали тела клириков, светских людей, благородных и неблагородных, женщин, детей и младенцев. Не было ни дороги, ни места, где не лежали бы мертвые...» И далее, в погодной статье 885 г.: «Тогда норманны, жаждавшие убийств, снова принялись за свое...».

<sup>41</sup> And thy ilcan gear sende Aelfred cyning sciphere on Eastengle. Sona swa hie comon on Stufe muthan, tha metton hie... xvi. scipu wicenga and with tha gefuhton and tha scipo alle gerehton and tha men ofslogon. Tha hie tha hamweard wendon mid thaere herehythe, tha metton hie micelne sciphere wicenga and tha with tha gefuhton thy ilcan daege, and tha Deniscan ahton sige. (ASC. 1986. Vol. 3. P. 52).

хожи на твои, говорящий на понятном языке, соблюдающий знакомые обычаи, едва ли будет вызывать суеверный ужас и восприниматься исключительно как орудие божьего гнева.

Нашей задачей далее будет рассмотреть, каким образом дополнительный аспект, который мы выявили в описаниях викингских нашествий в “common stock”, может повлиять на прочтение “этельредовского фрагмента” и погодных статей 1066 г. рукописей “С” и “D”. Но предварительно для полноты картины скажу несколько слов об “эдвардовском” фрагменте (900 [901] – 924 гг.).

### 3. «Эдвардовский» фрагмент и «Битва при Брунанбурге»

Тематически и лексически “эдвардовский” фрагмент представляет собой непосредственное продолжение предшествующей ему “истории альфредовских войн”<sup>42</sup>. Правда, теперь «разбойничье войско» (se here) не «приходит» (com), а «нарушает мир» (braec thone frith) или «идет» (for), либо отправляется верхом (rad). Также, как уже говорилось, в отличие от «данов» из “common stock”, у них есть вполне конкретный “дом”. В погодной статье 910 г. король со своими воинами настигает «разбойничье войско» «на пути домой». «Корабельное войско» (sciphere) приходит из Бретани и уплывает затем «в Ирландию». «Высший план» противостояния практически не отслеживается — данов уже не именуют «язычниками», и они фактически начинают терять свой статус «пришельцев извне», хотя формально, по терминологии, еще остаются ими. Полная потеря этого статуса на данном этапе подводит итог борьбе.

Выше говорилось, что определенное сходство между реальной исторической ситуацией, как ее представляли составители “common stock” (народ, живущий на острове, и захватчики, приплывающие из-за моря), и традиционными образами эпического героического мира (пиршественный зал и чудовища, приходящие извне) приводило к невольной, неосознанной “эпизации” истории. В Англосаксонской хронике имеется по крайней мере одно свидетельство, указывающее на то, что хронисты ощущали непо-

---

<sup>42</sup> Ч. Пламмер писал: «Погодные статьи “А”... начиная с 893 г. и до смерти Эдварда (Эдварда Старшего, сына Альфреда. — *З. М.*) по своим характеристикам близки погодным статьям периода, непосредственно предшествующего 892 г. Они представляют собой общенациональные по духу, современные событиям записи, самой высокой пробы». (См.: *Plummer Ch. Two of the Saxon Chronicles Parallel... Vol. 2. P. CV-CVI.*)

средственную связь между повествованием Хроники и героическим эпическим миром.

Речь идет о поэме «Битва при Брунанбурге», помещенной уже за пределами «эдвардовского фрагмента», в погодной статье 937 г. Это одна из немногих погодных статей времен правления Этельстана, и в ней рассказывается о победе англосаксонского войска (уэссекцев и мерсийцев, как говорится в поэме) под предводительством Этельстана и его брата Эдмунда над объединенным войском викингов, приплывших из Ирландии, шотландцев и бриттов Стратклайдского королевства. О «Битве при Брунанбурге» писали много; исследователи отмечали совершенство ее формы, а также тот факт, что поэт, создавая ее, равнялся на лучшие образцы древней героической поэзии<sup>43</sup>. Т. Бредехофт в своей монографии приводит убедительные доказательства того, что «Битва при Брунанбурге» была написана специально для Англосаксонской хроники<sup>44</sup>. Если это так, то поэму можно расценить как попытку через использование соответствующей формы обнаружить связь между англосаксонской историей и «героическим миром». В ней присутствуют мотивы и лексика, знакомые нам по “common stock”, “истории альфредовских войн” и “эдвардовскому фрагменту”, но вписанные в рамки идеально выстроенных аллитерационных строк. Воины Анлафа “ofer eargebland . . . land gesohton” (по морю . . . землю находят); после битвы «властитель норманнов» (Анлаф) бежит на корабле с “lytle werode” («маленький отряд», дружина) (с “lytle werode” король Альфред принимал бой в 871 г. и скрывался на Этелни в 878 г.); сын шотландского короля остается на “waelstowe” (поле битвы). В последних строках поэмы непосредственно сопоставляются два события: победоносная битва, о которой она повествует, и начало истории — приход англов и саксов в Британию, и здесь же напрямую возникает тема острова. «Не случилось сражения большего на этом *острове*. . . с тех пор как англы и саксы пришли сюда по широкому морю, Британию нашли (*sohton*), гордые воины, бриттов сокрушили, жадные до славы, землю захватили»<sup>45</sup>.

<sup>43</sup> См. Greenfield S. A critical history of Old English Literature. N. Y., 1965; Ker W. Medieval English Literature. L., 1912.

<sup>44</sup> Bredehoft Th. A. Textual Histories. . . P. 72-73.

<sup>45</sup> Ne wearth wael mare on thys iglande. . . siththan eastran hider Engle and Sexe upp becomon ofer brade brimu, Bretene sohton, wlance wigsmithas Wealas ofercomon, eorlas arhwate eard begeaton. (ASC. 1986. Vol. 3. P. 72.)



#### 4. «Этельредовский фрагмент»

Теперь я постараюсь, основываясь на тех отсылках к “common stock” и “истории альфредовских войн”, которые присутствуют в тексте “этельредовского фрагмента”, и учитывая все то, что было сказано относительно “common stock”, уточнить и дополнить прочтение этого, позднейшего отрывка Хроники. Под названием “этельредовский фрагмент” я объединяю погодные статьи 991–1016 гг., содержащиеся практически в одинаковом виде в рукописях “С”, “D” и “E”. Эти погодные статьи написаны одним автором. С. Кейнс доказывает, что они составлялись, по всей видимости, одновременно, и называет в качестве предположительной даты период 1016–1023 гг., причем наиболее вероятной считает раннюю датировку, 1016–1017 гг.<sup>46</sup> По его мнению, эти погодные статьи писались «предположительно в Лондоне, уже после смерти короля (Этельреда Нерешительного. — *З. М.*), и хронист полностью сознавал окончательное поражение англосаксов. Судя по тексту, автор едва ли имел какие-то связи с королевским двором; соответственно, он не располагал детальной информацией относительно военных кампаний или внутренней политики Этельреда. Целью этого человека, писавшего в первые годы правления Кнута, было, оглядываясь назад из своего настоящего, рассказать о событиях, которые привели к датскому завоеванию: ему не требовалось подбадривать и воодушевлять своих возможных читателей, ибо война была уже проиграна...»<sup>47</sup>. С. Кларк отмечает своеобразный, необычно эмоциональный для хроники стиль повествования, главными особенностями которого являются использование аллитераций и рифм для выделения «ударных» слов в длинных и сложных периодах, присутствие в тексте повторов и антитез, а также употребление слов поэтической лексики и кеннингов, которые, по мнению исследовательницы, «задают более высокий план происходящего, придавая рассказу о войне героическое звучание» и, возможно, «являются заимствованиями из каких-то героических

---

<sup>46</sup> *Keynes S. The Declining Reputation of King Aethelred the Unready // Garland Papers on Anglo-Saxon History / Ed. D. Pelteret. 1999. P. 1-9.*

<sup>47</sup> *Keynes S. A tale of Two kings: Aelfred the Great and Aethelred the Unready // Transactions of the Royal Historical Society. 5<sup>th</sup> Ser. 36. 1986. P. 201.*

песен»<sup>48</sup>. Стилистические особенности “этельредовского фрагмента”, в частности, принципы употребления антитез, рифм и аллитераций сходны со стилистикой «Проповеди волка к англам» Вульфстана<sup>49</sup>. Формальное сходство наводит на мысль о близости настроений и замысла. С. Кейнс, например, считает, что именно под влиянием «Проповеди волка» хронист *сознательно* выстроил свое повествование о годах правления короля Этельреда как *рассказ о викингских нашествиях*, и во многом привнес мрачные впечатления от последних лет его правления в истолкование событий первых десятилетий<sup>50</sup>.

Предлагавшиеся исследователями прочтения, в первую очередь, гипотезы С. Кейнса, кажутся очень убедительными, но, исходя из того, что говорилось выше об отсылках, заданных «этельредовским хронистом», их можно уточнить.

Предположение, что хронист писал исключительно о викингских нашествиях просто из-за того, что он не представлял себе «внутреннюю политику короля», на мой взгляд, не вполне правомерно. Целью Кейнса было «оправдать» Этельреда и доказать, что традиционный образ «негодного», «слабого» короля, который мы обнаруживаем во всех позднейших хрониках, начиная с «Деяний английских королей» Уильяма Малмсберийского, не соответствует действительности. Законы и грамоты, выпущенные во времена Этельреда, говорят о нем как о достаточно разумном правителе. Разбирая «этельредовские» погодные статьи, С. Кейнс стремился не столько понять мысли и чувства автора, сколько убедить своих читателей, что нельзя рассматривать этот текст как *объективное* свидетельство о правлении Этельреда. В этом С. Кейнс совершенно прав. Хронист писал не о правлении Этельреда, а о войнах с викингами в правление Этельреда, поскольку так поступали его предшественники во времена Альфреда и Эдварда Старшего. Обратим внимание на некоторые детали и попробуем истолковать их.

---

<sup>48</sup> Clark C. The narrative mode of the Anglo-Saxon Chronicle before the Conquest // England before the Conquest: Studies in primary sources presented to D. Whitelock. Cambridge, 1971. P. 226-227.

<sup>49</sup> См., например: Whitelock D. [Commentary]. *Sermo Lupi ad Anglos* / Ed. Whitelock D. L., 1963.

<sup>50</sup> Keynes S. The Declining Reputation of King Aethelred... P. 10.

Во-первых, в тексте присутствуют все три выделенные нами “военные” формулы. Кроме того, врагов именуют “se here”, встречаются характерный для “common stock” оборот “com se here” («пришло то разбойничье войско») и определение “fore-spesena here”, которое мы находим в “истории альфредовских войн”. Кроме того, несмотря на отмеченное С. Кларк исключительное своеобразие стилистики данного отрывка Хроники, анналист, рассказывая о том, как молодой король, сын Этельреда, Эдмунд ведет англосаксонское войско на врага, обращается к более сухому и сжатому стилю “викингских” фрагментов “common stock”: «И созвал король Эдмунд в четвертый раз весь народ англов, и отправился через Темзу к Брентфорду, и прошел в Кент, и то войско бежало перед ним со своими конями на Шеппи, а король убил стольких из них, сколько смог захватить». И далее: «Тогда победил Кнут, и с ним сражался весь народ англов. Там были убиты епископ Эаднот, и аббат Вульфсиге, и элдормен Эльфрик, и элдормен Годвине, и Ульфкютель из Восточной Англии, и Этельвеард, сын элдормена Эльфвине, и все благородные воины народа англов»<sup>51</sup>. Едва ли анналист, столь внимательный к стилю и настолько хорошо им владевший, стал бы бездумно копировать чужую манеру.

Весьма интересным, с точки зрения отсылок, представляется рассказ об Ульфкютеле, элдормене Восточной Англии, в погодной статье 1004 г. Сначала Ульфкютель заключил мир с викингами и заплатил им откупные, поскольку не успел собрать войско. Но викинги нарушили договор и стали грабить земли Восточной Англии. Тогда элдормен собрал войско «тайно» (*digolice* — слово поэтического языка), так быстро, как только сумел. «Утром они (викинги) отправились к своим кораблям, и тогда вышел на них Ульфкютель со своим отрядом (*werode*; выражение *lytle werode*

---

<sup>51</sup> Ср.: «И спустя 4 ночи король Этельред и его брат Альфред сражались против всего разбойничьего войска на Эшдауне, и оно было поделено надвое: в одной части — короли язычников, Бэгсиг и Хэлфдене, а в другой — эрлы. Король Этельред сражался против войска королей, и там был убит Бэгсиг. А его (Этельреда. — *З. М.*) брат Альфред сражался против войска эрлов, и там пали эрл Сидрок Старый, и эрл Сидрок Юный, и эрл Осберн, и эрл Френа, и эрл Харальд, и оба войска бежали, и много тысяч были убиты, а битва продолжалась до ночи» (871A).

встречается в погодных статьях 871, 878 гг.), и они сошлись в жестокой схватке, и много было павших с обеих сторон. Тогда был убит предводитель Восточной Англии, но если бы было с ним все войско, не пришли бы они (даны. — *З. М.*) к своим кораблям; сами они говорили, что не случилось у них худшей сечи (*handplegan* — слово поэтического языка, употребляется, в частности, в поэме «Битва при Брунанбурге») с народом англов, чем та, что была у них с Ульфкютелем»<sup>52</sup>.

Замечу, что во всех упомянутых мной отрывках рассказывается о доблестном противостоянии врагу (хотя и закончившемся неудачно).

Однако в тексте имеются и отсылки другого рода, так сказать, “зеркальные”. В погодной статье 1009 г. автор, рассказывая об очередной безрезультатной попытке противостоять викингам, перефразирует привычную формулу “*sige nam*”: “*nes se sige na betera the eall angelcynn to hopode*” (была победа не больше, чем весь народ англов рассчитывал). Описывая возвращение бежавшего короля Этельреда после смерти Свейна, хронист рассказывает: «Тогда решили все уитэны, светские и облаченные саном, послать за королем Этельредом и сказать, что им ни один правитель не дороже, чем их законный<sup>53</sup> повелитель, если он будет править справедливей, чем он это прежде делал»<sup>54</sup>. Первая часть фразы практически дословно повторяет высказывание из истории о Кюневульфе и Кюнехерде, помещенной в погодной статье 755 г. Там убийца короля обещает дружинникам погибшего правителя, окружившим королевскую усадьбу, что он отдаст им бо-

<sup>52</sup> *Tha on mergen tha hi to scipon woldon, tha com Ulfcytel mid his werode thaet hi thaer togaedere fon sceoldon; and hi thaer togaedere faestlice fengon, and micel wael thaer on aegthre hand gefeol; thaer wearth Eastengla folces seo yld ofslagen. Ac gif thaet fulle maegen thaer waere, ne eodon hi naefre eft to scipon, swa hi sylfe saedon thaet hi naefre wyrsan handplegen on Angelcynne ne gemiton thonne Ulfcytel him to brohte.* (ASC. 1999. Vol. 6. P. 52).

<sup>53</sup> В тексте употреблено слово “*gecynde*”, этимологически связанное со словом “*сунн*” (род). Более точный перевод “*gecynde*” — прирожденный, подходящий по роду.

<sup>54</sup> *Tha geraeddon tha witan ealle the on Engla lande waeron, gehadode and laewede, thaet man aefter tham cyninge Aethelrede sende, and cwedon thaet him nan hlafordleofra naere thonne hiora gecynda hlaford, gif he hi rihtlicor healdan wolde thonne he aer dyde.* (ASC. 1999. Vol. 6. P. 59).

гатства и земли, если они признают его королем, и добавляет, что среди его людей в усадьбе есть их родичи. Дружинники отвечают, что «ни один родич им не дороже, чем их повелитель». Верность повелителю — одна из основных норм героического мира<sup>55</sup>. Но “этельредовский анналист” помещает героическую сентенцию в контекст, который превращает ее из декларации героических ценностей в насмешку над ними.

Похожее “переворачивание” происходит также на лексическом и на содержательном уровне. В погодной статье 1013 г. Свейн, предводитель викингского “here”, после того как большинство английских скиров признало его королем и предоставило ему заложников, выступает в поход «со всем фюрдом<sup>56</sup>» (таким образом его «разбойничье войско» в одночасье превращается в национальную армию).

Весьма показательно, что подавляющее большинство повторяющихся оборотов, постоянно используемых хронистом, описывают действия викингов. Враги “ferdon (ridon, eodon) swa wide swa hi woldon” (ходят, перемещаются как хотят), “dydon eall swa hi gewuna (bewuna) weron” (делают все, что в их обычае было) “hergodon, baernon and slogon” (грабят убивают и жгут). Они “worhton tha maestan yfel the aefre aenig here don meahte” (вершат такое великое зло, какого прежде ни одно войско не делало) и пр.<sup>57</sup>. Заметим, что в “ранних” частях Хроники формулы предназначались для описания действий англосаксонских королей, элдорменов, войск и пр., а не их врагов. Возможно, “этельредовский хронист”, создавая новые формулы для описания деяний «данов», хотел указать, что их поступки в большей степени соответствуют героическим нормам, нежели действия англосаксов<sup>58</sup>. Скорее всего, тем же целям служит использование в рассказе о деяниях викингов такой принадлежности героической поэзии, как

<sup>55</sup> См., например: Мельникова Е. А. Меч и лира. М., 1987. С. 159.

<sup>56</sup> Этим словом обозначается англосаксонское войско, собиравшееся по приказу короля или элдормена.

<sup>57</sup> См. также Clark C. The narrative mode of the Anglo-Saxon Chronicle before the Conquest. P. 227.

<sup>58</sup> Близкий мотив встречается у Вульфстана: язычники почитают своих богов, говорит он, и исполняют свои законы, а мы Бога не почитаем и своих законов не исполняем.

кеннинги<sup>59</sup>. Так, в погодной статье 1003 г. говорится, что войско Свейна, разграбив Уилтон, отправилось к морю “*thaer he wiste his ythhengestas*” (где, как он знал, были их кони моря; «кони моря» — обычный кеннинг корабля). В один ряд с употреблением кеннингов можно поставить и хвалебные эпитеты, относящиеся к врагам: в погодной статье 1006 г. захватчики, возвращающиеся с добычей к своим кораблям через Винчестер, названы “*gancne here and unhearhe*” (доблестное войско и бесстрашное).

Наконец, “ироническое переворачивание” затрагивает и тему защиты своей земли. В “*common stock*”, “истории альфредовских войн” и “эдвардовском фрагменте” о необходимости защищать свою землю не говорится впрямую (хотя, как ранее указывалось, это было важно для составителей ранней части Хроники). “Этельредовский хронист” обращается к теме защиты своей земли с грустной навязчивостью. Король и уитэны постоянно собираются и думают, как им «эту землю защитить» (*thisne eard healdan*). Но элдормены «не хотят эту землю защищать»<sup>60</sup>. В итоге, в погодной статье 1012 г. сообщается, что 54 корабля викингов приняли сторону Этельреда и пообещали ему, что «они будут эту землю защищать, а он должен давать им еду и одежду». «Чужаки» превращаются в единственных защитников острова.

В чем же смысл заданных хронистом отсылок? Он сопоставляет настоящее и прошлое, и, видя в прошлом тот ответ героики, о котором мы говорили, разбирая “*common stock*”, строит свое повествование как рассказ о забвении прежних “героических” норм и ценностей. В свете этого можно переосмыслить утверждение, будто настроения “этельредовского хрониста” близки к мрачным эсхатологическим ожиданиям Вульфстана. Безусловно, определенное сходство авторских позиций налицо: оно заключается в первую очередь в том, что и Вульфстан, и автор погодных статей

---

<sup>59</sup> Гипотеза С. Кларк о том, что слова поэтической лексики появились в Хронике как заимствования из неких существовавших в те времена героических песен, не кажется мне убедительной. Такой хороший стилист, как автор “этельредовского фрагмента”, не стал бы включать в текст очевидно чужеродные слова только потому, что они присутствовали в его “источнике”. На мой взгляд, все случаи употребления “поэтизмов” вполне объяснимы в контексте самой Хроники.

<sup>60</sup> См. погодные статьи 1006, 1009, 1010, 1012 гг.

991–1016 гг. называют «неверность» англосаксов и неисполнение своего долга одной из главных причин бедствий. Однако при более глубоком анализе обнаруживаются существенные различия. Для Вульфстана «неверность» — это в первую очередь неверность по отношению к Богу, и неисполнение долга — неисполнение своего долга перед Богом (хотя о предательстве по отношению к светским властителям он также упоминает). Логика его проповеди такова: мир близится к концу, и из-за человеческих грехов дела должны идти все хуже и хуже до появления антихриста. Англосаксы много лет «следовали за дьяволом», и все, что происходит сейчас — все несправедливости и зло, творящееся в стране, военные неудачи, бессилие и отчаяние — есть проявление божьего гнева, обрушившегося на народ за грехи. «Пираты» торжествуют в своей силе с Его дозволения. Для Вульфстана викинги — одно (и не главное) из орудий божественной кары. В конце проповеди он призывает англосаксов оставить злодеяния и дурные обычаи, любить Бога, исполнять заповеди, поступать по справедливости, очистить свои помыслы, соблюдать клятвы и обеты и помнить о Страшном суде, о муках, уготованных грешникам, и радостях, ожидающих праведников.

У “этельредовского хрониста” в одном месте мотив возмездия также присутствует. Однако посмотрим, как он выражен. Погодная статья 1014 г. начинается с известия о смерти Свейна Вилобородого, и далее следует описание позорных и мрачных событий, творившихся в английской земле. Уитэны приглашают короля Этельреда вернуться (о том, в какой форме описывает это событие анналист, сказано выше). Но жители Линдсея заключают союз с Кнутом, сыном Свейна, и начинают собирать войско. Прежде чем они успевают полностью подготовиться, Этельред вторгается в Линдсей и безжалостно предает эти земли огню и мечу, «убив всех, кого смог», а Кнут, бросив союзников, отправляется в Сандвич и приказывает отрубить руки и носы заложникам, которых англосаксы предоставили его отцу. «И помимо всех этих зол король повелел выплатить разбойничьему войску, стоявшему в Гринвиче, 21 тысячу фунтов. И в тот же год в день святого Михаила поднялся высокий прилив повсюду в этой земле, и дошел так далеко, как прежде не заходил, и затопил много горо-

дов, и бесчисленное множество людей утонуло»<sup>61</sup> (1014С). Складывается впечатление, что само море восстало, возмущенное позорными бесчинствами людей, и очистило землю. На этом примере отчетливо видна разница между позициями Вульфстана и “этельредовского анналиста”. Для Вульфстана происходящее само по себе — кара за грехи, совершенные ранее, для автора “этельредовского фрагмента” речь идет о возмездии за конкретные злодеяния, совершенные здесь и сейчас. Его восприятие менее эсхатологично.

Еще более принципиальным представляется тот факт, что в тексте “этельредовского фрагмента” упоминается о помощи, приходящей свыше: три раза божественное вмешательство спасает Лондон. Кейнс увидел здесь знак «особой заинтересованности» хрониста в судьбе этого города и заключил, что погодные статьи 991–1016 гг., возможно, написаны лондонцем. Я, однако, рискну предложить другое объяснение. В Англосаксонской хронике содержится десять ссылок на прямое божественное вмешательство. Девять являются указаниями на божественную помощь и относятся к разным эпизодам борьбы с викингами<sup>62</sup>. Таким образом, за плечами “этельредовского хрониста” была определенная традиция<sup>63</sup>. Ссылки на божественную помощь в “common stock” и “эдвардовском фрагменте”, с учетом того, что было сказано выше о восприятии викингских нашествий составителями этих частей Хроники, прочитываются вполне однозначно: Господь помогает христианам, сражающимся на его стороне против язычников, и героям, защищающим свою землю от захватчиков.

“Этельредовский хронист”, по сути, проводит ту же мысль: «Тогда в этом году пришли Анлаф и Свейн к Лондону на рождество

<sup>61</sup> And buton eallum thissum yfelum se cyng het gyldan tham here the on Grenawic laeig .xxi. thusend punda. And on thissum geare on Sancte Michaelae maesseaefen com thaet mycle saeflod gynd wide thysne eard and arn swa feor up swa naefre aer ne dyde and adrencte feala tuna and mancynnes unarimedlic getel. (ASC. 1999. Vol. 6. P. 59).

<sup>62</sup> Еще одно упоминание о прямом божественном вмешательстве присутствует в погодной статье 1066 г. рукописи “D” и представляет собой ссылку на божественную кару.

<sup>63</sup> Подробнее см.: *Метлицкая З. Ю.* Историческое сознание англосаксонских анналистов...



пресвятой девы Марии с девяносто четырьмя кораблями, и было яростное сражение за город, и они пытались его поджечь, хотя претерпели больше ущерба и зла от горожан, чем ожидали. Но пресвятая Матерь Божья в тот день явила свое милосердие жителям города, и они избавились от своих врагов»<sup>64</sup> (994С). «Тогда после дня св. Мартина они (викинги. — *З. М.*) вернулись в Кент и расположились на зиму на Темзе, и добывали все, что им требовалось, в Эссексе и других скирах<sup>65</sup>, что располагались поблизости на двух берегах Темзы, и часто нападали на Лондон. Но, хвала Господу, он (город. — *З. М.*) оставался невредим, и они там всякий раз зло терпели»<sup>66</sup> (1009С). «Вскоре после этого войско подошло к Лондону и окружило город, и было яростное сражение на суше и на воде, но всемогущий Бог их отвел»<sup>67</sup> (1016С). Следует обратить внимание на то, что упоминания о божественной помощи связаны с упоминаниями о твердом и мужественном сопротивлении викингам. Добавлю, что сообщений о доблестном противоборстве с врагом в «этельредовском фрагменте» немного, и всякий раз они оказываются стилистически или содержательно выделены.

Эти два факта говорят о принципиальном различии между воззрениями Вульфстана и «этельредовского хрониста». Вульфстан видит происходящее в общехристианской, вселенской перспективе. Он говорит о «последних временах» мира, для него то, что происходит в Англии, — одно из проявлений всеобщего торжества зла, которым Господь карает грешников и испытывает пра-

---

<sup>64</sup> Her on thissum geare com Anlaf and Swegen to Lundenbyrig on Natiuitas Sancte Marie mid .iiii. and hundnigontium scypum, and hi tha on tha buruh faestlice feohtende waeron and eac hi mid fyre ontendon woldan, ac hi thaer geferdon maran hearm and yfel thonne hi aefre wendon thaet him aenig buruhwaru gedon sceolde. Ac seo halige Godes modor on tham daege hire mildheortnesse thaere buruhware gecydde and hi ahredde with heora feondum. (ASC. 1996. Vol. 5. P. 87.)

<sup>65</sup> Территориально-административная единица в англосаксонской Англии. Отсюда произошло позднейшее «шайр» («шир») — графство.

<sup>66</sup> Tha aefter Sanctus Martinus maessan tha ferdon hi eft agen to Cent and namon him wintersetl on Temesan and lifdon him on Eastseaxum and of tham scirum theaer nexth waeron on twam healfum Temese, and oft hi on tha buruh Lundene fuhton. Ac si Gode lof thaet heo gyt gesund stent, and hi thaer aefre yfel geferdon. (ASC. 1996. Vol. 5. P. 94.)

<sup>67</sup> Tha gewende se here sona to Lundene and tha burh utan embaet and hyre stearclice onfeahrt aegther ge be waetere ge be lande, ac se almihtiga God hi ahredde. (ASC. 1996. Vol. 5. P. 102.)

ведников. В настроениях «этельредовского хрониста» эсхатологии в таком смысле нет. Непохоже, что он воспринимает викингские нашествия как “бич божий”, его упоминания о божественной помощи, приходящей к тем, кто сражается доблестно, свидетельствуют о том, что для него англосаксы по-прежнему остаются правой стороной, выступающей на стороне добра<sup>68</sup>. Но очень мало кто из них помнит о своем долге и готов его исполнить, ибо “героические ценности” забыты. То, что Вульфстану представлялось “последними временами” мира, для “этельредовского хрониста” было “последними временами” “героического” мира — того мира, о котором писали составители “common stock”; мира, где люди храбро и стойко сражались, защищая свой остров, короли поступали, как положено королям, элдормены и дружинники хранили верность своему повелителю, а доблестным врагам доставалась своя доля славы как достойным противникам, но не как кичливым победителям.

Теперь повсюду царят отчаяние и смута, враги торжествуют и хвалятся своей доблестью, а попытки сопротивляться чаще всего оказываются бесплодными. Так происходит из-за того, что “героические ценности” перестали быть общепринятой нормой: люди трусят и совершают предательства, или, как суссекский тэн Вульфнот или этелинг Эдмунд, выказывают свою личную храбрость и силу в разрушительных деяниях, разоряя и грабя собственную страну. Однако остаются и те, кто стойко противостоит врагу, — не всегда они побеждают, но деяния их отмечены. “Ге-

---

<sup>68</sup> Интересный материал для сопоставлений и размышлений содержится в статье М. Годдена (*Godden M. Apocalypse and Invasion in late Anglo-Saxon England // From Anglo-Saxon to Early Middle English. Oxford, 1994. P. 130-163*). Годден обсуждает эволюцию взглядов Эльфрика, англосаксонского гомилиста конца X в., автора многочисленных проповедей и житий. Исследователь указывает, что если в ранней гомилии «О молитве Моисея» Эльфрик рассматривает викингские нашествия как проявления божьего гнева и одновременно как знак приближения последних времен, то в гомилиях на книги Ветхого и Нового Завета (1005 г.) он отказывается от “эсхатологической” трактовки и говорит о том, что викинги — слуги дьявола, с ними надо сражаться, а тот, кто не исполняет этот долг, совершает грех. Годден связывает перемену с тем, что именно в период между написанием первой и второй гомилий Эльфрик тесно общался с представителями англосаксонской военной знати — элдорменом Этельвеардом и его сыном Этельмером. Возможно, беседы с ними заставили просвещенного клирика изменить свое отношение к происходящему. Автор статьи отмечает сходство “поздней” позиции Эльфрика и настроений “этельредовского хрониста”, но не развивает эту мысль.

роический” мир рушится, но за отчаянием брезжит надежда на помощь свыше.

Парадоксальным образом связь реальной истории и героической эпической традиции, которая в ранних “викингских фрагментах” лишь смутно угадывалась<sup>69</sup>, теперь, когда из повседневной жизни героика уходит, становится отчетливо видна. Не случайно хронист легко вставляет в текст слова поэтической лексики (ранее в Хронике этого не делалось). Заслуживает внимания и тот факт, что по поводу поэмы «Битва при Мэлдоне», рассказывающей о сражении 993 года и близкой по общему настроению к “этельредовскому фрагменту”<sup>70</sup>, исследователи до сих пор спорят, является ли она “документальным” описанием событий в поэтической форме (подобно «Битве при Брунанбурге») или литературным произведением, прославляющим добродетели героического мира<sup>71</sup>. По моему мнению, повествование “этельредовского хрониста” может служить наглядной иллюстрацией к мрачному пророчеству, которое произносит старица, плача над Беовульфом: «о том, что страшное время близится — смерть, грабежи и битвы бесславные»<sup>72</sup>. Приходят на память и строки из «Прорицания Вэльвы», в которых описываются последние времена перед «рагнарек» — гибелью богов: «Братья начнут биться друг с другом, родичи близкие в распрах погибнут; тягостно в мире, великий блуд, век мечей и секир, треснут щиты, век бурь и волков до гибели мира; шадить человек человека не станет»<sup>73</sup>. Вспомнив то, что говорилось выше об эпизации истории, можно сказать, что за “ранним” и “поздним”

<sup>69</sup> Она воплотилась явно единственный раз – в поэме «Битва при Брунанбурге». (См. п. 1.4.)

<sup>70</sup> См., например: *Godden M.* Apocalypse and Invasion in late Anglo-Saxon England. P. 153; *Clark C.* The battle of Maldon: A heroic poem // *Speculum*. Cambridge (Mass.), 1968. Vol. 43. P. 59.

<sup>71</sup> См., например: *Clark G.* The battle of Maldon... P. 52-71; *Macracl-Gibson O.* How historical is the ‘Battle of Maldon’ // *Medium Aevum*. Oxford, 1982. Vol. 51. P. 135-151; *Blake N.* The ‘Battle of Maldon’ // *Neophilologus*. 1965. Vol. XLIX. P. 332-345.

<sup>72</sup> *Thaet hio hyre heofungdagas hearde ondrede, waelfylla worn, werudes ege-san, hyndho ond haefnyd.* Привожу здесь перевод В. Тихомирова.

<sup>73</sup> *Broeðr munu berjask ok at bönum verðask, munu systrungar sífjum spilla; hart er i heimi, hordomr mikill, skeggöld, skalmöd, skildir ro klofnir, vindöld, vargöld, aðr veröld steypesk, mun engi maðr oðrum þyrma.*

рассказами о викингских нашествиях можно увидеть два облика героического мира — в его победоносной и трагической ипостаси.

На этом этапе рассуждений уместно вспомнить поставленный в начале статьи вопрос: о чем писалась Англосаксонская хроника и о чем она в итоге была написана? Подводя итог нашим долгим рассуждениям, можно сказать, что составители ранних частей Хроники и “этельредовский хронист” создали своего рода историческое повествование, внешним сюжетом которого является борьба с викингами, а глубинным содержанием — расцвет и упадок героического мира.

Замечу, что стремление сопоставить войны с викингами конца X и конца IX в. как две части одной истории, и восприятие происходящего как крушения героических ценностей, были характерны не только для “этельредовского хрониста”. Подтверждением этого служат погодные статьи 993 и 1001 гг. рукописи “А”<sup>74</sup>. Как указывает Дж. Бейтли, «их объединяет не только общность темы (викингские нашествия. — *З. М.*), но и сходство в способах выражения»; «ряд особенностей указывает на то, что они описаны одним автором»<sup>75</sup>. По выделенным нами тематическим и стилистическим признакам эти две погодные статьи также могут рассматриваться как часть «исторического повествования»: они рассказывают о викингских нашествиях, в них встречается дважды формула “micel wael ofslaegen” и трижды “waelstowe gewæld ahton”, и в целом их язык близок “формульному языку” викингских фрагментов “common stock”. Интересно, что и здесь мы находим повторяющиеся обороты в описании действий врагов (помимо обычного “com se here”). В погодной статье 1001 г. рукописи “А” трижды повторяется, что «за один переход» викинги добираются до очередного города или поместья (“swa thaet hy upp asetton on aenne sith”). Подобный оборот ранее встречается в Хронике один раз — в погодной статье 892 (893) г.

<sup>74</sup> К концу X в. записи в “А” становятся разрозненными, поэтому в ней имеется всего три погодных статьи, относящихся к периоду 991–1016 гг. Помимо обсуждаемых нами погодных статей 993 и 1001 гг., в “А” присутствует еще погодная статья 994 г., сообщающая об архиепископе Сигерике и назначении на его кафедру уилтширского епископа Эльфрика.

<sup>75</sup> *Bately J. M.* [Introduction] // *The Anglo-Saxon Chronicle: A collaborative edition. Vol. 3: MS A. P. XLVI.*

Я бы предположила, что анналист, составлявший погодные статьи 993 и 1001 г. рукописи “А”, так же как и “этельредовский хронист”, сопоставлял прошлое и настоящее, но избрал для этого другие средства. Если автор “этельредовского фрагмента” передавал свои ощущения через нарушение традиционной стилистики, то составитель погодных статей 993 и 1001 г. попытался рассказать о происходящем в прежней “героической” тональности. Показателем неблагополучия в данном случае оказывается несоответствие формы и содержания. В контексте “героического повествования” в духе “common stock” чужеродным выглядит, например, сообщение о том, что «к ним (данам. — *З. М.*) пришел Палий со всеми кораблями, какие смог собрать, ибо он отвернулся от короля Этельреда, вопреки всем тем обещаниям, которые он ему давал, хотя король щедро его одарил поместьями, золотом и серебром»<sup>76</sup>. Итак, мотив “крушения героического мира” присутствует в разных вариантах Хроники.

Но, как мы помним, языковые отсылки не только связывают «ранние» и «поздние» викингские фрагменты, но и вынуждают нас поставить в один ряд с ними погодные статьи, рассказывающие о событиях 1066 г. К их рассмотрению мы сейчас обратимся.

### 5. Погодные статьи 1066 г. рукописей “С” и “D”

Мы начнем обсуждение с рукописи “D”, поскольку этот текст более показателен и интересен для наших целей. Приведем его полностью.

«В этом году пришел король Харальд из Йорка в Вестминстер на Пасху, что была после середины зимы, когда умер король (Эдуард Исповедник), та Пасха была в XVI календы мая. Тогда был виден в небесах над всей Англией знак, какого никто прежде не видел. Некоторые говорили, что это звезда-комета, которую некоторые называют волосатой звездой, и она явилась впервые в канун Большой Литании в VIII календы мая и сияла семь ночей. Вскоре после того пришел эрл Тости *из-за моря* на Уайт с таким большим флотом, какой только смог собрать, и ему там заплатили дань имуществом и провизией. А король Харальд, его брат, собрал такой большой флот и такое войско, каких никакой король прежде в этой земле не созывал, ибо он

---

<sup>76</sup> and him thaer togeanes com Pallig mid than scipan the he gegaderian mihte, fortham the he aseceacen waes fram Aethelrede cynge ofer ealle tha getrywtha the he him geseald haefde, and eac se cyng him wel gegifod haefde on hamon and on golde and seolfre... (ASC. 1986. Vol. 3. P. 80).

узнал, что Вильгельм Бастард хочет сюда (прийти) и завоевать эту землю, точно как оно и случилось. Тем временем эрл Тости приплыл в Хамбер с шестьюдесятью кораблями, а эрл Эадвине с ополчением прогнал его; корабельщики его покинули, и он отплыл в Шотландию с 12 снаками, а там его встретил Харальд, король Норвегии, с тремя сотнями кораблей. Тости ему подчинился и стал его человеком, и они вдвоем вошли в Хамбер и подошли к Йорку, и там с ними сражались эрл Эадвине и эрл Моркере, его брат, но *норманны победили*. Тогда Харальд, английский король, узнал, что произошло, а это сражение было в канун дня святого Матфея. И вышел Харальд, наш король, неожиданно на норманнов, и встретил их за Йорком у Стамфордского моста с большим войском англо-норманнов, и было весь день очень яростное сражение на обоих берегах. Там были убиты Харальд Харфагер<sup>77</sup> и эрл Тости, а норманны, которые еще оставались, бежали, и англо-норманны их настигали и жестоко убивали, пока те не добрались до своих кораблей, иные же утонули, а иные сгорели, и разною смертью погибли, так что мало кто уцелел, и англо-норманны *захватили поле битвы*. Король тогда взял под свою защиту Олава, сына норманнского короля, и его епископа, и с ними эрла Оркнейских островов, и всех тех, кто уцелел на кораблях, и они пришли к нашему королю и принесли клятву, что они станут хранить мир и дружбу в этой земле, и король отпустил их домой с 23 кораблями. Между этими двумя сражениями прошло пять ночей. Тогда пришел Вильгельм, эрл Нормандии, в Певенси в канун мессы святого Михаила, и сразу же построил укрепление в гавани Гастингс. Король Харальд узнал об этом, и он собрал большое войско и пошел ему навстречу к старой яблоне. А Вильгельм вышел на него неожиданно, прежде чем он приготовил своих людей к бою. Но король очень храбро с ним бился, с теми людьми, которые захотели за ним последовать, и многие были убиты с той и другой стороны. И там был убит король Харальд, и эрл Леофвине, его брат, и эрл Гюрт, его брат, и много добрых людей, и французы *захватили поле битвы*, как *Господь им даровал за грехи народа*. Архиепископ Эалдред и горожане Лондона хотели сделать королем юного Эдгара, как ему подобало по праву, а Эадвине и Моркере обещали ему, что станут за него сражаться, но *как только доходило до дела, свершалось оно изо дня в день медленнее и хуже*, и на том закончилось. То сражение происходило в день папы Галестия. А эрл Вильгельм вернулся в Гастингс, и ждал, что люди ему подчинятся, но когда он понял, что никто не хочет к нему приходить, он выступил с

---

<sup>77</sup> В рукописи так, хотя речь идет, разумеется, не о Харальде Прекрасноволосом (Харфагер), а о Харальде Суровом (Хардрада).

тем войском, которое у него осталось, и с тем, что потом к нему из-за моря приплыло, и разорил все земли по пути, пока не пришел к Берхамстеду. Там его встретили архиепископ Эалдред, и юный Эдгар, и эрл Эадвине, и эрл Моркере, и все лучшие люди Лондона, и подчинились по необходимости, после того как многое зло уже совершилось, и большим безрассудством было не сделать этого раньше, когда *Господь ничего исправить не пожелал из-за наших грехов*. И ему дали заложников, и принесли клятвы, и он пообещал, что станет им добрым господином, но тем временем разорял все по пути. В день середины зимы архиепископ Эалдред помазал его на царство в Вестминстере, и он взял в руки книгу Христову и поклялся, прежде чем корону возложили ему на голову, что станет так хорошо этим народом править, как ни один король до него не правил, если они будут ему верны. Но, вопреки тому, он потребовал с людей больших выплат, а весной отправился за море в Нормандию, и взял с собой архиепископа Стиганда, и Эгельната, аббата Гластонбери, и юного Эдгара, и эрла Эадвине, и эрла Моркере, и эрла Вальтеофа, и многих других добрых людей из английской земли, а епископ Одо и эрл Вильгельм остались здесь, и строили замки повсюду в стране, и терзали несчастный народ, и с тех пор все время становилось хуже и хуже. Будет (хороший) конец, когда Господь пожелает».

С. Кларк посвятила этому тексту два абзаца в своей статье, отметив сходство “голосов” автора погодной статьи 1066 г. рукописи “D” и “этельредовского хрониста” и употребление «формулы IX века» “*ahton waelstowe gewæld*”<sup>78</sup>. Исследовательница, однако, не предложила объяснения отмеченным ею фактам. Попробуем прочесть погодную статью 1066 г. с учетом всего того, что уже было сказано об “историческом повествовании” Англосаксонской хроники.

Стилистически погодная статья отчетливо делится на две части, границей между которыми служит сообщение о гибели Харальда и победе нормандцев в битве при Гастингсе. В первой части эрл Гости, как прежние враги, приходит “*ofer sae*” (из моря). Мы встречаем все три “военные” формулы, и сам рассказ выдержан в героической тональности, характерной для “ранней” части “исторического повествования”. Правда, обращает на себя внимание “неправильное” использование формулы “*waelstowe gewæld*” в

---

<sup>78</sup> Clark C. The narrative mode of the Anglo-Saxon Chronicle before the Conquest. P. 232.

рассказе о битве у Стамфордского моста, в которой англосаксы победили. Я попытаюсь истолковать его чуть ниже.

Во второй части стиль, тон и настроение резко меняются. Именно к ней относится утверждение С. Кларк о сходстве погодной статьи 1066 г. рукописи “D” и “этельредовского фрагмента”. В следующей за “стилистической границей” фразе содержится почти дословная цитата из погодной статьи 999 г.:

1066: “swa hit aefre forthlicor beon sceolde, swa wearth hit fram daege to daege laetre and wygře”.

999: “swa hit forthwaerde beon sceolde, swa waes hit laetre fram ande tide to other”.

Напоминают об “этельредовском фрагменте” и определение “earme folc”, появляющееся в конце погодной статьи 1066 г. — в погодных статьях 991–1016 гг. оно встречается четыре раза. В тексте используется и такой знакомый нам по “этельредовскому фрагменту” прием, как повторение одного и того же оборота при описании действий врагов: во второй половине статьи 1066 г. и в начале статьи 1067 г. дважды повторяется, что Вильгельм “hergodon eall thaet hi oferforon” (разорил все по пути).

Объяснение подобной перемены в свете всего того, что уже говорилось о сопоставлении настоящего и прошлого через языковые отсылки, очевидно. До гибели Харальда при Гастингсе все происходит в соответствии с нормами героического мира. Но после смерти «нашего короля» и поражения англосаксонского войска знакомый мир рушится, и анналист передает трагизм ситуации, используя в качестве образца мрачное повествование “этельредовского хрониста”. Описав события 1066 года с помощью тех же средств и приемов, какими его предшественники описывали войну с викингами, он, возможно, сам того не предполагая, внес последний важный штрих в увиденную ими картину англосаксонской истории.

Для того чтобы понять смысл данного фрагмента в контексте “исторического повествования” Англосаксонской хроники, следует обратить внимание на тот факт, что во второй части погодной статьи 1066 г. содержатся две ссылки на божественное вмешательство — и это единственные во всех текстах всех рукописей Хроники до 1066 года упоминания о божественной каре. Вспомним, в “этельредовском фрагменте” также шла речь о бо-



жественном вмешательстве — но там свыше приходила помощь. Это различие очень важно.

“Этельредовский хронист” описывал мир, где царят отчаяние, смятение и смута, в котором попытки сопротивления чаще всего безрезультатны, но необходимы. Анналист, составлявший погодную статью 1066 г. рукописи “D”, пишет, что сопротивляться не имеет смысла, ибо «Господь ничего исправить не пожелал из-за наших грехов». Откуда такая разница позиций? По моему мнению, она связана с различием исторических ситуаций, в которых создавались “этельредовский фрагмент” и погодная статья 1066 г. Датское завоевание было горестным и унижительным для англосаксов фактом, но оно не изменило принципиально ни их образ жизни, ни англосаксонскую культуру в целом. Как говорилось выше, “чужаки” в действительности были не такими уж чужаками. Они принадлежали тому же “героическому” миру, о крушении которого рассказывал “этельредовский хронист”. Он, ведя свой печальный рассказ, воспринимал происходящее как “последние времена” героического мира, но видел, что конец еще не настал. Обращаясь к эпическим образам, можно сказать: в те времена еще продолжался «век волка», и «рагнарек» оставался где-то в грядущем.

Автор погодной статьи 1066 г. писал свой рассказ о нормандском завоевании предположительно в 1079 г., либо позднее. В те времена уже стало понятно, что прежние обычаи, язык и культура исчезли безвозвратно. Благодаря нормандским властителям установились тесные связи с континентом, и Британия, превратившаяся в придаток Нормандии, по сути, перестала быть островом<sup>79</sup>. “Островной мир” навеки остался в прошлом, и хронист не мог не сознать, что он описывает его гибель. Анналист употребил “неправильно” формулу “waelstowe gewewald”, возможно, потому, что не вполне понимал, в каких контекстах она ис-

---

<sup>79</sup> По поводу последствий нормандского завоевания см., например: *Stenton F.* Anglo-Saxon England. Oxford, 1973. P. 622-684; 14. *Loyn H.* Anglo-Saxon England and the Norman conquest. L., 1962. P. 381-422. О восприятии случившегося современниками событий см.: *Rubenstein J.* Liturgy against history: the competing visions of Lanfranc and Eadmer of Canterbury // *Speculum.* Cambridge (Mass.), 1999. Vol. 74. № 2. P. 279-309; *Otter M.* 1066: the moment of transition in two narratives of the Norman conquest // *Speculum.* Cambridge (Mass.), 1999. Vol. 74. № 3. P. 565-586; *Houts E. van.* The trauma of 1066 // *History today.* L., 1996. № 46. P. 9-15.

пользуется, а возможно, осознанно, но в любом случае — абсолютно точно. Битва у Стамфордского моста и битва при Гастингсе были двумя последними сражениями “героического” мира, о котором рассказывалось в Хронике с помощью “военных” формул, и Харальд Суровый, “последний викинг”, был его частью. В таком толковании исход обоих сражений одинаково трагичен и значим, и формула “waelstowe gewæld” не появляется более в Англосаксонской хронике никогда.

Хронист понимал, что событие такого масштаба может произойти только с соизволения Всевышнего. Божественного вмешательства не последовало, помощь свыше не пришла, и анналист считал, что виновны в этом «грехи народа». После того, как таким образом завершилась история “островного героического” мира, остается только ждать конца всей истории, который наступит, «когда Господь пожелает». Точно неизвестно, вписано ли слово *god* (хороший) над строкой рукой того же писца или нет, поэтому мы не знаем с определенностью, находил ли этот человек в себе силы верить в 1079 г., что конец будет “хорошим”.

Погодная статья 1066 г. рукописи “С” обрывается на середине описания битвы у Стамфордского моста. По стилю и тональности она близка первой части погодной статьи рукописи “D”. В ней также используется формула “waelstowe gewæld” — в описании битвы у Гейт Фулфорд, кровопролитного сражения, в котором северное ополчение под предводительством эрлов Эадвине и Моркере не сумело выдержать натиск объединенного войска захватчиков — Харальда Сурового и Гости. Однако в тексте присутствует намек на события, случившиеся потом, и на их неизбежность. Помимо содержащегося в общем с “D” отрывке указания «точно как оно и случилось» по поводу ожидавшегося прихода Вильгельма, обсуждавшегося выше, анналист “С”, рассказывая о том, что летом повсюду на южном побережье собралось ополчение, готовое встретить нормандцев, добавляет “*thæh hit aet tham ende nach ne forstode*” («но это в конце концов ничему не помогло»). В этой фразе присутствует в гораздо более слабой форме то же ощущение безнадежности, что и во второй части погодной статьи 1066 г. рукописи “D”. Судить о намерениях составителя погодной статьи 1066 г. рукописи “С”, не зная, чем в действительности заканчивался его рассказ, едва ли возможно. Т. Бредехофт, исходя из особенностей расположения текстов по-

годных статей 1065 и 1066 гг. в рукописи “С”, выдвинул гипотезу, что рукопись должна была завершаться рассказом о победе Харальда у Стамфордского моста<sup>80</sup>. Если бы были найдены убедительные подтверждения этой гипотезы, погодная статья 1066 г. рукописи “С” представляла бы собой «другой вариант» завершающего текста «исторического повествования», в котором рассказ о героическом мире заканчивается описанием последней героической битвы, а «рагнарек» остается за рамками повествования. Но, как указывает сам Бредехофт, его предположение «скорее всего так и останется чисто гипотетическим»<sup>81</sup>.

Так о чем же была написана Англосаксонская хроника? Альфред и его ученые помощники, “этельредовский хронист”, безвестный анналист, пополнявший на рубеже XI века рукопись “А”, “мрачный писец”, составлявший погодную статью 1066 г. рукописи “D” и, возможно, его “коллега”, трудившийся над рукописью “С”, — все они пытались воплотить в тексте свое видение настоящего и прошлого. Это видение было разным. Но все они вместе рассказали историю англосаксонской Англии как “островного мира”. Этот мир — христианский, но в нем признаются нормы и ценности героического эпического прошлого. Главным содержанием его истории становится борьба с чужаками, приходящими извне. И эта история движется от рождения и победоносного торжества к упадку и гибели.

Если вернуться к общим вопросам изучения исторического сознания, стоит сказать следующее. Во-первых, полученные здесь частные результаты свидетельствуют о том, что у англосаксонских летописцев было собственное восприятие истории, и не стоит отказывать им в этом лишь на основании того, что они нигде не высказывались открыто. Во-вторых, на мой взгляд, следует обратить внимание на присутствие разных аспектов в восприятии исторической реальности — тех, которые осознавались и привносились сознательно, и тех, которые связаны с глубинными слоями мировосприятия и культуры. Наконец, представляет интерес обнаруженный нами факт “эпизации истории”. На следующем шаге надо найти ответ на вопрос: для чего писалась Англосаксонская хроника? Но это будет темой дальнейших исследований.

---

<sup>80</sup> *Bredehoft Th. A. Textual Histories... P. 141-142.*

<sup>81</sup> *Bredehoft Th. A. Textual Histories... P. 210.*

## ТЕМАТИКА ИЗВЕСТИЙ В РУКОПИСИ “А”

Тема	Погодные статьи	Общее число известий
Приход в Британию	449, 477, 495, 501	4
Смены правителей, смерти королей и членов королевского дома	455, 488, 519, 534, 547, 560(2), 571, 588, 591, 593, 597, 611, 616, 636, 640, 643, 654, 657, 661, 664, 670, 672, 673, 674, 675, 676, 685, 688, 694, 703, 705, 709, 716(4), 718, 725, 728, 730, 731, 738, 741, 748, 754(2), 755(2), 760, 784, 785*, 794(2), 800, 805, 819, 821, 825, 828, 836, 855, 860, 966, 871, 874, 888, 890, 900, 918, 924, 940, 946, 955, 958, 971, 973*, 975*, 978, 1066	79
Смерти элдорменов и других светских людей	534, 661, 664, 800, 805, 819, 833, 888, 896(2), 897, 900, 905, 911, 962, 983	16
Убийства, изгнания, борьба за власть, распри	592, 633, 642, 645, 651, 654, 679, 685(3), 694, 716, 721, 731, 745, 748, 750, 755(2), 792, 794, 822, 900, 903, 962*, 978	26
Брачные союзы	718, 787, 836, 853, 855	5
Поездки короля		0
Королевские пожалования, дары, паломничества королей в Рим, уходы в монастырь	534*, 648*, 688, 703, 709, 728, 737, 851, 855(2), 887, 888, 889, 890	14
Назначение и отмена податей		0
Принятие христианства	596, 601, 604, 626, 627, 632, 634, 635, 636(2), 639, 646, 653, 655	14
Смерти епископов, аббатов и других клириков, назначение епископов, получение папиа	601, 625, 633, 644, 650, 651, 660(2), 664(3), 668, 670, 676, 679, 680, 690, 703, 705, 709, 714, 731, 734(2), 736, 741(2), 744(2), 745, 754, 758, 759, 763(2), 772, 790, 802, 803(2), 804, 805, 828, 829, 830(2), 831, 833, 867, 888, 897, 908, 909(2), 931, 932, 933, 951, 962, 963(3), 984	64
Изгнание епископов	678, 794, 964	3

Строительство церквей и монастырей	565, 643, 654, 669, 673	5
Паломничества клириков в Рим	721, 737, 799, 812, 813, 962	6
Синоды	673, 680, 785, 822	4
Перенесение мощей		0
Борьба с викингами (битвы, строительство бургов, соглашения)	787, 832, 833, 835, 837(2), 838(2), 839, 840, 845, 851(4), 853, 855, 860, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871(4), 872, 873, 874, 875(3), 876(2), 877(2), 878(4), 879(2), 880(2), 882, 885(2), 886, 892(2), 893(7), 894(3), 895, 896(2), 904(2), 905, 909, 910(2), 912(2), 913(2), 914, 915, 916, 917(9), 918(2), 919, 920, 937*, 993, 1001(3)	96
Покорение бриттов (войны, соглашения)	455, 457, 465, 473, 477, 485, 491, 495, 501, 508, 519, 527, 530, 552, 556, 571, 577, 584, 603, 614, 658, 682, 743, 753, 813, 823, 828, 853, 933, 945, 946	31
Войны между англосаксами, усобицы	568, 607, 628, 652, 661(2), 675, 686, 715, 725, 728, 733, 752, 773, 777, 796, 800, 823(3), 827(2), 942*, 944, 975*	25
Необычные природные явления	538, 540, 664, 678, 733, 734, 773, 774, 827, 891, 1066	11
Бедствия	664, 671, 754, 761, 896, 962(2), 975*	7
Дела Рима и папства	606, 794, 797, 814, 816(2), 885(2)	8
Дела империи	780, 812, 885(2), 887	5
Войны с викингами на континенте	881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 890, 891	9
Скандинавские дела		0

- 534 — пожалование земли светскому человеку  
648 — пожалование земли светскому человеку  
785 — помазание сына Оффы Мерсийского  
937 — известие содержится в поэтической вставке  
942 — известие содержится в поэтической вставке  
962 — сообщение о самоубийстве  
973 — известие содержится в поэтической вставке  
975 — известие содержится в поэтической вставке

## ТЕМАТИКА ИЗВЕСТИЙ В РУКОПИСИ “С”

Тема	Погодные статьи	Число известий
Приход в Британию	449, 477, 495, 501	4
Смены правителей, смерти королей и членов королевского дома	455, 488, 519, 534, 547, 560(2), 571, 588, 591, 593, 597, 611, 616, 636, 640, 643, 654, 657, 661, 664, 670, 672, 673, 674, 675, 676, 685, 688, 694, 703, 705, 709, 716(4), 718, 725, 728, 730, 731, 738, 741, 748, 754, 755(2), 760, 784, 785*, 794(2), 800, 805, 819, 821, 825, 828, 836, 856, 861, 867, 872, 875, 889, 891, 901, 902MR, 924MR, 940, 946, 957(2), 959, 972, 975*, 978, 1016(2), 1035< 1037, 1040, 1041(2), 1051, 1066	87
Смерти элдроменов и других светских людей	534, 661, 664, 800, 805, 819, 833, 889, 897(2), 898, 901, 906, 911MR, 918MR, 982(2), 992, 1007, 1054, 1055, 1056	22
Убийства, изгнания, борьба за власть, распри	592, 633, 642, 645, 651, 654, 679, 685(3), 694, 716, 721, 731, 745, 748, 750, 755(2), 792, 794, 822, 901, 919MR, 993, 1002, 1006(3), 1009, 1015, 1017, 1020, 1021, 1023, 1035, 1036, 1037, 1041(2), 1043, 1046, 1049, 1050, 1051, 1052, 1055(2), 1065	49
Брачные союзы	718, 787, 836, 854, 856, 1002, 1017, 1044	8
Поездки короля	1019, 1020, 1022, 1023, 1028, 1039*, 1041, 1044, 1045	9
Королевские пожалования, дары, паломничества королей в Рим, уходы в монастырь	534*, 648*, 688, 703, 709, 728, 737, 853, 856(2), 888, 889, 891, 1052*	14
Назначение и отмена податей	1018, 1040, 1049	3
Принятие христианства	596, 601, 604, 626, 627, 632, 634, 635, 636(2), 639, 646, 653, 655	14
Смерти епископов, аббатов и других клириков, назначение епископов, получение папиа	601, 625, 633, 644, 650, 651, 660(2), 664(3), 668, 670, 676, 679, 680, 690, 703, 705, 709, 714, 731, 734(2), 736, 741(2), 744(2), 745, 754, 758, 759, 763(2), 772, 790, 803(2), 804, 805, 828, 829, 830(2), 831, 833, 868, 889, 898, 909, 910(2), 916MR, 971, 977, 978, 980, 981(2), 982(2), 984, 985, 988, 990(3), 992(2), 995, 996, 1002, 1006(2), 1012, 1020, 1034, 1037, 1038(30), 1039, 1043, 1044(2), 1045(2), 1047(3), 1048(2), 1049(2), 1050(2), 1051, 1053(2), 1055, 1056(2)	103
Изгнание епископов	678, 794	2

Строительство церквей и монастырей	565, 643, 654, 669, 673, 1020, 1054, 1065	8
Паломничества клириков в Рим	721, 737, 799, 812, 813, 1022, 1049, 1053*, 1054*	9
Синоды	673, 680, 785, 822	4
Перенесение мощей	909MR, 1023	2
Борьба с викингами (битвы, строительство бургов, соглашения)	787, 832, 833, 835, 837(2), 838(2), 839, 840, 845, 853(4), 854, 856, 861, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872(4), 873, 874, 875, 876(3), 877(2), 878(2), 879(4), 880(2), 881(2), 883, 886(2), 887, 893(2), 894(7), 895(3), 896, 897(2), 904(2), 905, 909, 910(2), 912(2), 913(2), 914, 915, 902MR, 907MR, 909MR(2), 912MR, 913MR, 914MR, 915MR, 917MR, 918MR, 921MR, 937*, 980(30< 981, 982, 988, 991, 992, 993(2), 994(3), 997, 998, 999(2), 1001(2), 1002, 1003(2), 1004, 1006(3), 1007, 1008, 1009(2), 1010(2), 1011(2), 1012, 1013, 1014, 1015, 1016(3), 1048, 1066	133
Покорение бриттов (войны, соглашения)	455, 457, 465, 473, 477, 485, 491, 495, 501, 508, 519, 527, 530, 552, 556, 571, 577, 584, 603, 614, 658, 682, 743, 753, 813, 823, 828, 854, 916MR, 934, 1039, 1046, 1053, 1054, 1055, 1056, 1065	37
Войны между англосаксами, усобицы	568, 607, 628, 652, 661(2), 675, 686, 715, 725, 728, 733, 752, 773, 777, 796, 800, 823(3), 827(2), 942*, 944, 945, 946	26
Необычные природные явления	538, 540, 664, 678, 733, 734, 773, 774, 827, 892, 904MR, 905MR, 979, 995, 1066	15
Бедствия	664, 671, 754, 761, 897, 976, 982, 986, 1005, 1039, 1044, 1046(2), 1047, 1048, 1052	15
Дела Рима и папства	606, 794, 797, 814, 816, 886(2)	7
Дела империи	780, 812, 886(2), 888, 982(2), 1049, 1056	9
Войны с викингами на континенте	882, 883, 884, 885, 887, 888, 891, 892	8
Скандинавские дела	1030	1

534 — пожалование земли светскому человеку  
648 — пожалование земли светскому человеку  
785 — помазание сына Оффы Мерсийского  
937 — известие содержится в поэтической вставке  
942 — известие содержится в поэтической вставке

975 — известие содержится в поэтической вставке  
1039 — поездка Хардакнута  
1052 — паломничество Свейна, сына Годвине  
1053 — поездка клириков на континент  
1054 — поездка клириков на континент

## ТЕМАТИКА ИЗВЕСТИЙ В РУКОПИСИ “D”

Тема	Погодные статьи	Общее число известий
Приход в Британию		0
Смены правителей, смерти королей и членов королевского дома	694, 702, 704, 705(3), 716(3), 718(2), 725, 726, 729(2), 730(2), 737, 738, 740, 748, 754, 755(2), 760(2), 765, 768, 778, 782, 784, 785, 789, 794(3), 795, 796, 800, 805(2), 819, 825, 836, 855, 860, 866, 871, 874, 888, 890, 901, 905, 918, 923, 924, 925, 940, 946, 955, 959, 970, 972, 975, 979, 1014, 1016(2), 1034, 1035, 1037, 1040, 1042, 1043*, 1052, 1065	75
Смерти элдорменов и других светских людей	794, 800, 819, 833, 837, 897(2), 898, 901, 903, 906, 910, 966, 983, 992, 1007, 1017, 1053(2), 1054, 1055, 1056	22
Убийства, изгнания, борьба за власть, распри	694*, 697, 699, 710, 716, 718, 721, 722, 730, 746, 748, 750, 755(3), 757, 759, 761, 774, 778(2), 779, 784, 789, 790, 792(2), 794, 798, 806, 821, 822, 825, 901, 904, 919, 979, 993, 1002, 1006(3), 1009, 1015, 1017(2), 1020, 1021, 1036, 1037, 1041, 1045, 1050(2), 1051, 1052(2), 1055, 1058, 1065	60
Брачные союзы	787, 792, 853, 855, 924, 958*, 965, 1002, 1017	9
Поездки короля	1019, 1022, 1029	3
Королевские пожалования, дары, паломничества королей в Рим, уходы в монастырь	704, 705, 726, 757, 855(2), 883(2), 887, 888, 889, 890, 1031	13
Назначение и отмена податей	1018, 1040, 1052	3
Принятие христианства		0
Смерти епископов, аббатов и других клириков, назначение епископов, получение палия	693(2), 703, 705(5), 710, 714, 721, 727, 729, 730(3), 734(2), 735, 736, 737, 740(2), 744(2), 745, 754, 758, 759, 762(2), 766(2), 772, 776, 777, 779(2), 780(3), 782, 785(2), 788, 790, 791, 796(2), 797(3), 801, 803(2), 804, 805, 806, 828, 829, 830(2), 831, 833, 867, 888, 897, 898, 903(2), 909, 910(2), 957, 984, 988, 990, 992(2), 995< 996< 1002, 1006(2), 1012, 1014, 1019, 1020, 1021, 1033, 1034, 1037, 1038(2), 1041, 1045, 1046, 1047, 1048(2), 1050(3), 1051(3), 1053(3), 1055(2), 1056(6), 1058(2), 1060(3), 1061(2)	119
Изгнание епископов	733, 794, 957, 1050	4



Строительство церквей и монастырей	1020, 1050, 1054, 1058, 1059, 1065	6
Паломничества клириков в Рим	721, 737, 799, 812, 813, 870, 1007, 1022, 1026, 1051, 1058, 1061	12
Синоды	782, 785, 788, 789, 822,	5
Перенесение мощей	906, 980, 1023	3
Борьба с викингами (битвы, строительство бургов, соглашения)	787, 793, 794, 832, 833, 835, 837(2), 838(2), 839, 840, 845, 851(4), 853, 855, 860, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871(5), 872, 873, 874(2), 875(3), 876(2), 877(2), 878(4), 879(2), 880, 882, 884(3), 885, 893(2), 894(7), 895(3), 896, 897(2), 905(2), 906, 909(2), 910(2), 911(2), 913(2), 914, 915(2), 917(2), 918, 921, 937, 948, 981, 988, 991(2), 992, 993, 994(2), 997, 998, 999(2), 1001(2), 1002, 1003(2), 1004, 1005, 1006(3), 1007, 1008, 1009(3), 1010(2), 1011(2), 1012, 1013(2), 1014(2), 1015, 1016(4), 1046, 1058, 1066	132
Покорение бриттов (войны, соглашения)	710(2), 743, 753, 813, 823, 828, 853, 934, 945, 946, 1000, 1031, 1050, 1052, 1053, 1054, 1056, 1063, 1065, 1066	21
Войны между англосаксами, уособицы	715, 725, 726, 733, 734, 752, 774, 777, 796, 800, 823(4), 827(2), 942, 943(2), 944, 947, 952, 954, 966, 969	25
Необычные природные явления	729, 733, 737, 744, 774(2), 789, 793, 795, 800, 802, 806, 827, 879, 892, 905, 925, 995	18
Бедствия	741, 754, 761, 793, 897, 975, 986, 1005, 1014, 1048, 1049(3), 1053, 1060	14
Дела Рима и папства	785, 794, 797, 814, 816(3), 884, 1050, 1054, 1058, 1059, 1061	13
Дела империи	779, 812, 885(2), 887, 1050, 1054, 1056, 1060	9
Войны с викингами на континенте	881, 882, 883, 884, 885(2), 887, 890, 892	9
Скандинавские дела	1028, 1030, 1047, 1048(2), 1049	6

694 — сообщение об уплате вергельда

958 — сообщение о разводе

1043 — помазание Эдуарда Исповедника

ГЛАВА 7

ТЕМПОРАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИСТОРИИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МЫСЛИТЕЛЕЙ  
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И  
РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ\*

Цицерон настойчиво подчеркивал, что история — свидетельница времен и что история *вписывается во времена*<sup>1</sup>. С тех пор на протяжении столетий среди мыслителей царило согласие насчет того очевидного факта, что история разворачивается во времени. Античные историки представляли себе историю мира *циклической*. Христианское время мыслилось как сотворенное, линейное, имевшее начало и конец, двигавшееся *из вечности в вечность*, стремившееся к завершению. В «Церковной истории» Беда Достопочтенного приводился пример, который показывал человеческую жизнь и земную историю в ее соотношении с вечностью: «...они были подобны птице, на мгновение влетающей в освещенный пиршественный зал и снова уносящейся за его пределы в неизвестность»<sup>2</sup>.

Для христианского историка, строго говоря, время — единый поток, и он должен охватить единым взором всю историю мира, от его сотворения до конца<sup>3</sup>. Однако относительно буду-

---

\* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) в рамках исследовательского проекта № 06–01–00453а «Образы времени и исторические представления в цивилизационном контексте: Россия — Восток — Запад».

<sup>1</sup> Classical Influences on European Culture A. D. 1500–1700 / Ed. by R. R. Bolgar. N. Y., 1974.

<sup>2</sup> Беда Достопочтенный. Церковная история народа англоv. СПб., 2001. С. 58.

<sup>3</sup> The Uses of the Past in the Early Middle Ages. Cambridge, 2000.

щих событий, даже в тех случаях, когда Господь приподнял покров тайны над их ходом (посредством откровения, являемого чудом), никто не может сказать, когда они произойдут. Никто, например, не может сказать, когда настанет конец мира. Так что есть большая разница между прошедшими событиями, дата которых точно известна, и будущими событиями, дата которых неопределенна. Смирившись с этим, историк разграничивает в ровном потоке времени прошлое и будущее. Будущее — область пророка, царство историка — в прошлом. В этом непрерывном потоке, который представляет собой прошедшее время, единственным решающим моментом, собственно говоря, является смерть историка. Пока он жив, ничто не мешает ему продолжать свой рассказ<sup>4</sup>. Труд историка состоит в том, чтобы сохранить память о прошедших временах, рассказать относящиеся к ним факты, дать описание этих времен, представить «последовательность времен», установить достоверную хронологию событий<sup>5</sup>.

Время, увиденное авторами через текст Писания, имело свой центр и кульминацию — рождение Христа и Его жизнь среди людей. Все события поэтому делились на произошедшие «до», «после» и «в течение» этого переломного периода. Человеческое время «до» и «после» рождения Христа как бы «смотрелись» друг в друга, взаимно отражаясь, отсылая к уже совершенному или грядущему событию. И прошлое, и будущее могли быть выражены во время пришествия Спасителя. Таким же образом соотносились книги Ветхого и Нового Заветов. Все эти черты позволили исследователям говорить о том, что в раннесредневековых текстах о прошлом воплотились элементы анахронического понимания истории.

Из трактата Августина «О граде Божьем» и хроник Исидора Севильского средневековые историки восприняли идею о делении времени на шесть веков, уподобленных возрастам человека и дням Творения. «Нынешний» мир достиг старости; шестой век наступил ко времени рождения Христа. «Времена мира различают по шести возрастам, — писал Беда, — Первый век от Адама

---

<sup>4</sup> Григорий Турский. История франков. М., 1987.

<sup>5</sup> Средневековая историография плохо ориентировалась в пространстве, которое было ограничено рамками диоцеза, графства или королевства.

до Ноя насчитывал десять поколений и 1656 лет. Он целиком погиб в потопе, как имеет обыкновение погружаться в забвение младенчество. Второй — от Ноя до Авраама, охватывал также десять поколений, годов же 292. Во время него был изобретен язык, то есть еврейский. Ведь человек начинает говорить в детстве, после младенчества... Третий — от Авраама до Давида, насчитывал четырнадцать поколений и 942 года. И поскольку в юности человек становится способным рождать, Матфей принял начало родословия [Иисуса Христа] от Авраама...»<sup>6</sup>. Четвертый возраст, согласно Беде, — молодость, — был временем Царей, поскольку царское достоинство соответствовало молодости. Продолжаясь 473 года, он завершился переселением в Вавилон. С того момента вплоть до пришествия Спасителя 589 лет длился пятый возраст — старость, когда еврейский народ был поражен, как немощью, пороками. Шестой же, «который совершается ныне, не определенный рядом поколений или лет, ...должен закончиться смертью всего мира». В седьмой день Господь отдыхал от трудов, и за настоящим веком должна была последовать вечная суббота, отдохновение праведников. Те, кто утверждали, что за ним наступит седьмое тысячелетие, когда на земле они, бессмертные, будут царствовать с Христом, осуждались церковью как еретики.

При воспроизведении идеи о шести возрастах христианские авторы по-разному определяли число лет, соответствовавшее каждому веку. Хотя Беда позаимствовал много материала для составления своей всемирной хроники из сочинений Исидора Севильского, он не принимал хронологических расчетов предшественника. Цифры, приведенные в рассуждении англо-саксонского автора, были результатом его собственных вычислений. С сотворения мира до пришествия Христа, согласно Беде, прошло 3952 года (на 1259 лет меньше, чем у Исидора). Прямо связан с этими расчетами был вопрос о том, сколько лет выпадало на долю последнего века. Если шесть веков соответствовали такому же количеству тысячелетий, то знание числа прошедших лет косвенно указывало на то, сколько их оставалось до Страшного Суда. Из рассуждений Беды выходило, что нынешний возраст мира должен был

---

<sup>6</sup> *Беда Достопочтенный*. Указ. соч. С. 84.

длиться около 2000 лет, то есть, существенно больше, чем ему отводили другие писатели.

Григорий Турский начинал «Историю франков» с заверения, что он «ради тех, кто страшится приближения конца света, ...решился, собрав воедино хроники минувшего, ясно изложить, сколько лет прошло с сотворения мира»<sup>7</sup>. Но, по убеждению многих авторов, конец света и не должен был быть точно предсказан. Значимость скрытого срока Апокалипсиса состояла в том, что он мог произойти в любой день. Главный моральный урок состоял в том, что христианин должен ежечасно быть готов предстать перед Судом и держать ответ за свои дела. В «Церковной истории» Беды был введен способ датировки событий «от Рождества Христова»; само описание прошлого начиналось с более близкого времени — римского завоевания Британии.

Средневековые представления о времени генетически связаны с идеей вечности и постепенно формируют модель вечности, характерную для средневековой системы культуры. Рождение идеи вечности в качестве самостоятельного конструктивного элемента средневекового мира истории происходит в результате обретения временем независимости от мифологического сознания. «Ты не во времени был раньше времен, иначе Ты не был бы раньше всех времен. Ты был раньше всего прошлого на высотах всегда пребывающей вечности...Сегодняшний день Твой — это вечность...Всякое время создал Ты, и до всякого времени был Ты, и не было времени, когда времени вовсе не было»<sup>8</sup>. Таким образом Августин Блаженный связывает понятие «вечность» с трансцендентным началом. Идея творения в христианской традиции, по сути, представляет собой объединение и качественную переработку двух космогонических идей: мир сотворен Словом Бога из ничего, однако это не оформление изначального хаоса и тем более не его самоорганизация. Граница, проводимая между бытием и мышлением, в проекции на соотношение времени и вечности в истории становится границей между Временем-как-Вечностью и Священной историей, или — между моделью вечности и измерением вечности.

---

<sup>7</sup> Григорий Турский. Указ. соч., С. 5.

<sup>8</sup> Аврелий Августин. Исповедь. М., 1999. С. 291-292.

Заметим, что, хотя внешне в центре дебатов постоянно находилась проблема соотношения божественного времени (вечности) и земного времени, трактовка этой оппозиции постепенно изменялась. Если Августин Блаженный в основном интересовался проблемой времени<sup>9</sup>, то затем в центре теологических изысканий выдвинулась проблема вечности, а начиная с XIII века опять усиливается интерес ко времени, который достигает своего апогея в сочинениях гуманистов<sup>10</sup>. Почти во всех исторических сочинениях позднего Средневековья значительное внимание уделяется вопросам периодизации и связанным с ними теологическим дискуссиям, например, проблеме начала и конца мира, так как именно в ее контексте возможно было рассмотрение категории времени вообще. Кризис модели вечности, который переживался в процессе перехода от Средневековья к Новому времени, означал, что данная модель перестала быть продуктивной. Она больше не функционирует в культуре как *порождающая структура*, не представляет адекватно формирующуюся культурно-историческую общность, перестает определять и представления об истории. Новое восприятие вечности формируется после 1500 года, когда завершился седьмой век от сотворения мира, и в свои права должна была вступить Вечность.

У истоков принципиально новой периодизации истории стоял Франческо Петрарка, первым отвергнувший господствовавшую в средневековой историографии и освященную авторитетом церкви доктрину «четырёх монархий», показавший различия между античностью, «веком тьмы» и современным ему периодом. Основопологающим критерием выделения «веков» или «эпох» у Петрарки является состояние латинского языка, как родовой особенности культуры<sup>11</sup>.

Жан Боден в трактате «Метод легкого познания истории» создал периодизацию, основанную на характере климатических условий окружающей среды и распространения цивилизации с юга на север: «Сила внутреннего тепла делает более сильными

---

<sup>9</sup> Там же, С. 292-305.

<sup>10</sup> *Trinkaus Ch.* In our Image and Likeness. Humanity and Humanist Thought. L., 1970.

<sup>11</sup> *Desan Ph.* Naissance de la Méthode. Paris, 1987. P. 139.

тех, кто находится на севере. По этой причине скифы всегда направляли свои набеги на юг. Точно также и величайшие империи всегда возникали на юге»<sup>12</sup>. Выделяется три великих эпохи: в первую из них ведущая роль принадлежала народам, проживающим на юго-востоке, во вторую — народам Средиземноморья, в третью — жителям севера. Каждая из этих эпох продолжалась две тысячи лет.

Почему авторы и в раннее Новое время продолжают выбирать в основном период продолжительностью в шесть тысяч лет? Ведь по форме этот подход почти полностью соответствовал провиденциальной периодизации прошлого по «шести векам» (возрастам мира), предложенной Августином и в целом непосредственно не связываемой им с историей. Однако по мере удаления от времени его жизни и накопления нового опыта появилась задача придать элемент внутреннего динамизма уже существовавшей периодизации. В VIII в. Беда Достопочтенный дополнил унаследованную от Августина периодизацию священной истории внутренней характеристикой каждого из «шести веков мира». Так, например, первый день трудов Создателя начался с сотворения света, продолжился отделением света от тьмы и завершился наступлением ночи. Соответственно — первоначально появление человека, затем отделение праведников от грешников и, наконец, наказание грешников — Потоп. По этой схеме развитие событий в пределах каждого «века» проходило через три этапа: становление, разделение (в развитии) и крушение. Боденовская схема напоминает деление Беды, но только в масштабах регионально-климатической периодизации. Временные рамки эпох воспринимаются не исторически, а на основе Библии. Самая ранняя из них определяла процесс становления человеческой цивилизации, тогда южане занимались познанием религии, постижением мудрости, изучали движение небесных тел и всеобщую власть природы. В последующие две тысячи лет господство перешло к народам средней полосы. Вторая эпоха — это время мощного роста государственности, разработки законодательных систем, расцвета торговли. В следующие две тысячи лет первенство должно перейти к северянам, которым предстояло открыть неизвестные ранее ремесла и искусства, сделать новые изобре-

---

<sup>12</sup> Боден Ж. Метод легкого познания истории. М., 2000. С. 163.

ния. Затем, по мнению Бодена, по миру пройдет великая волна беспорядков, все будет подвергнуто гибели и крушению — начнется господство Марса. Первая из этих эпох уже миновала, а вторая, по Бодену, в его время подходила к середине.

Боденовская периодизация носит умозрительный, условный характер, как и всякая периодизация в принципе. По содержанию периодизации можно определить критерии этапов исторического движения. Это может быть, например, правление королей, господство той или иной религии, рост производительных сил и характер их взаимоотношений с общественной надстройкой, преобладающее влияние той или иной идеологии и пр. Боден же на основе очень кропотливого анализа всей истории человечества критерием своей периодизации выбирает объективные, рационалистичные факторы. Природные характеристики, например, влажность и температура воздуха определяют физический тип людей, их характер, темперамент, предрасположенность к тому или иному виду деятельности. Древность выделила народы юга — древние цивилизации Востока, затем Средиземноморье — античность, в Средние века, в эпоху Возрождения и чуть позднее расцветают общества, существующие в средней полосе, но третий этап, по Бодену, должен завершиться неминуемой всеобщей гибелью. С его точки зрения, историческое движение имеет следующую направленность: первая эпоха — души, вторая — разума, в третьей верх возьмет грубая сила. В мировоззрении Бодена дух рационализма был очень силен, этим и обуславливается попытка определить суть акта Божественного Творения. Он как бы сравнивает Бога с ученым, а Творение и существование мира — с величайшим экспериментом, который осуществляется на основе продуманной теории. Познание законов природы и механизмов, управляющих обществом, равнозначно для Бодена постижению божественного.

Поскольку для Бодена очевидно, что история существует не только в пространстве, но и во времени, то для него очень важен вопрос о соотношении таких понятий как «время», «вечность», «движение», которые можно определить, по его мнению, только в соотношении с божественным. Он считает, что понятие «времени» в истории существует *реально*. «Тот, кто думает, что можно понять историю вне времени, ошибается, подобно тому, кто от-



правляется в путешествие по запутанным лабиринтам. Он может блуждать очень долго, так и не найдя какого-либо выхода. Время, подобно нити Ариадны, ориентир для всех историков, не только предостерегает от бесполезных блужданий, но и помогает заблудившимся вернуться к верному пути»<sup>13</sup>. Боден выдвигает идею всеобщего времени, в рамках которого должна изучаться всеобщая история. Свою задачу он видит в установлении противоречий, которые имеются в определении древности событий и их последовательности. Он мечтает о создании такого *универсального* календаря, в котором для любого народа то или иное историческое событие соотносилось бы с одной датой (это касается и религиозных праздников). Боден признает неверным мнение о том, что время может управлять движением: ведь, если остановить часы, то само время не остановится — движение не зависит от времени. Время же отделяется от Вечности, ибо Вечность — это движение, а время — лишь его характеристика, способ его фиксации. Движение есть Бог, а «...он не может не двигаться, не может отдыхать».

Процесс формирования категории «исторического времени» не менее интересно проанализировать на примере историзма Френсиса Бэкона. По видимости формальное и «нейтральное» употребление терминов «время» и «век», встречающееся как в латинских, так и в английских текстах Бэкона, применительно к истории приобретает уже определенно содержательный, технический смысл — «эпоха». Это подтверждается во всех случаях, когда идея смены исторических эпох передается как «движение», «смена» времени. В этом плане характерно, что он рассматривал только свое время как предпосылку грядущего прогрессивного развития человечества, однако, обозревая прошлое, больше склонялся к идее «круговращения». Но что скрывается у Бэкона за таким словоупотреблением, как «время», «времена»? Лишь однажды мы неожиданно узнаем, что у каждого времени свои «нравы», что склонности и нравы магистрата могут совпадать или противоречить «нравам времени», что каждому времени свойствен свой «образ жизни», виды занятий, особенно ценимые и рас-

---

<sup>13</sup> Там же. С. 168.

пространенные<sup>14</sup>. И поскольку все эти черты эпохи не являются производными от характера властителя, а независимы от него, они и есть определение специфики данного исторического времени. Тем не менее, сама неопределенность, расплывчатость определений этой совокупности черт эпохи («характер», «нравы») как нельзя лучше свидетельствуют о том, насколько еще рудиментарной оставалась в представлении Бэкона категория «исторического времени». Но какой бы смысл ни вкладывался Бэконом в содержание понятия «дух времени», именно этот «дух» придавал «веку» печать неповторимого своеобразия и индивидуальности, в него историк должен был мысленно погружаться, духовно ему «уподобляться» для того, чтобы понять его и описать. Если судить по этим требованиям, которые Бэкон предъявлял историку, то он явно опережал развитие исторической мысли, по крайней мере, на два столетия, ибо лишь на рубеже XVIII–XIX вв. мы сталкиваемся с теми же, в общем и целом, требованиями, составлявшими вклад историков-романтиков в развитие историзма. Однако если попытаться приблизиться к пониманию смысла категории «дух времени», опираясь на косвенные данные, то мы окажемся отброшенными назад — к историзму Возрождения, поскольку речь шла о «нравах», зависевших от данного состояния мира и войны, процветания и упадка, обусловленных, в конечном счете, «характером правления»<sup>15</sup>.

Так или иначе, но концепция исторического времени, унаследованная от гуманистов Возрождения и заключающаяся в приближении к «круговороту времени», подвела Бэкона вплотную к проблеме периодизации истории. «Провидению было угодно явить миру два образцовых государства в таких областях, как военная доблесть, состояние наук, моральная добродетель, политика и право. Это — Греция и Рим. Их история занимает срединную часть исторических времен. Известна более древняя, по отношению к упомянутым государствам, история, именуемая общим названием «древности» мира, равно как и последующая за ним история, именуемая «новой». Данная периодизация примечательна в ряде отношений. В отличие от трехчленного деления всеобщей

---

<sup>14</sup> Бэкон Ф. Сочинения в 2-х тт. М., 1977–1978, Т. 1. С. 47.

<sup>15</sup> Там же. С. 54.

истории, выработанного гуманистами Возрождения, в основу ее положена не история Европы (и, тем более, Италии), а история всего известного тогда «круга земель». Нетрудно заметить, что история Древней Греции и Рима оказалась в такой периодизации передвинутой с «начальной» точки отсчета светской (подчеркиваем, светской, а не священной) истории на середину шкалы. «Древности» же были приурочены к государствам, им предшествовавшим. В этом, несомненно, состоял конструктивный сдвиг в сравнении с упомянутой периодизацией гуманистов. Вторая особенность бэконовской периодизации истории заключалась в совершенно немислимом, с точки зрения гуманистов Возрождения, причислении средних веков, наряду с Возрождением, к одной и той же эпохе — новой истории. В представлении Бэкона, эта эпоха наступила после Юстиниана, «последнего из римлян». Впрочем, эта периодизация, весьма близкая по духу к принятым в современной историографии концепциям всеобщей истории, оказалась всего лишь мимолетным провидением далекого будущего. В более поздних работах Бэкона она больше не встречается. Зато повторяются представления гуманистов о «темноте» тысячелетия между крушением Западной Римской империи и Возрождением.

Так или иначе, но факт отступления Бэкона, пусть лишь в одном случае, от ренессансной традиции, сама возможность такого отступления, являются еще одним свидетельством смелости его мышления. В целом, значение категории «время» в системе воззрений Бэкона очень велико. Заметим в этой связи, что наряду с провиденциальным смыслом истории Бэкон вынес за пределы науки и столь характерную для Средневековья оппозицию «время — вечность». Вместо нее на первый план выдвинулась оппозиция внутри самого времени: «прошедшее — будущее», в рамках которой «настоящее» выступает, одновременно, и разделительной гранью, и соединительным звеном. Перенесение центра тяжести в рассуждениях Бэкона о времени с модуса прошлого на модус будущего придавало историческому движению перспективу и качественную необратимость. Традиционное представление о «круговороте» приобретало постепенно характер линейной схемы смены времен и возраста мира. Суть истории все чаще отождествляется с поступательными изменениями, с прогрессом, вначале пусть лишь в движении наук и искусств.

Однако напрасно искать у Бэкона сколько-нибудь определенного ответа на вопрос: чем обуславливается смена исторических эпох? Лишь в его истолковании мифа о Прометее обнаруживаются подходы к возможным ответам: «Во всем многообразии Вселенной древние особо выделяли организацию и конституцию человека, что они считали делом провидения. Но особенно важно то, что человек, с точки зрения конечных причин, рассматривается как центр мироздания, так что, если убрать из этого мира человека, все остальное будет казаться лишенным головы, неопределенным и бессмысленным»<sup>16</sup>. И, тем не менее, человек как центр Вселенной и самое совершенное создание на Земле остался неудовлетворенным самим собой. В этом свойстве человеческой природы — никогда не довольствоваться достигнутым, а стремиться к все более совершенному состоянию — Бэкон увидел разгадку движения истории в исходном ее звене. «Ведь те, кто безмерно превозносит человеческую природу или искусства, которыми овладели люди, кто приходит в несказанный восторг от тех вещей, которыми они обладают, не приносят никакой пользы людям, они уже стремятся вперед»<sup>17</sup>. Наоборот, «кто обвиняет природу и искусство, кто беспрерывно жалуется на них, те, безусловно, постоянно стремятся к новой деятельности и новым открытиям»<sup>18</sup>. С точки зрения истории цивилизации в этом суждении гораздо больше смысла, чем в гуманистической концепции, рассматривавшей государство как важнейшее движущее начало человечества. В основе смены исторических эпох лежит «прометеев» статус человека, «школа Прометеев», а характер каждой эпохи определяется мерой влияния на ход истории людей, принадлежащих к этой «школе».

Тем, что историческая мысль рассматривала настоящее не только с позиций прошлого, но и будущего, она знаменовала крупный шаг вперед по сравнению с историзмом Возрождения. Историческое значение выдвинутых Бэконом положений в этой области трудно переоценить. В самом деле, хотя к началу XVI в. учение Августина, отождествлявшее изменения с упадком и пор-

---

<sup>16</sup> Там же. С. 103.

<sup>17</sup> Там же. С. 121.

<sup>18</sup> Там же.

чей, движением к «концу мира», уже было в значительной мере подорвано христианским гуманизмом Возрождения, однако его собственного исторического опыта и оптимизма хватило лишь на допущение возможности улучшений, прежде всего моральных и литературных. Два обстоятельства мешали христианским гуманистам сделать более далеко идущие выводы из данной ими весьма высокой оценки возможностей и призвания человека в этом мире: строгое соблюдение границ, предписанных Библией, и поиск эталонов человеческих доблестей и добродетелей в классической древности.

В целом идее прогресса принадлежит важное место в фило-софско-историческом наследии Бэкона, хотя в этой линии его рассуждений нетрудно обнаружить непоследовательность и явные противоречия. Начать с того, что идея прогресса сформировалась у Бэкона, прежде всего, по сугубо специальному поводу: в связи с непрекращавшейся со времени позднего Возрождения дискуссией между «модернистами» и «классиками» по вопросу о соотношении культурного наследия древности и культуры нового времени. Очевидно, что для преодоления завещанной Возрождением идеализации классической древности нужны были и более высокая степень секуляризации человеческой мысли, и более адекватное представление о методах интеллектуальной деятельности и, тем самым, о ее исторических перспективах. Именно последнего недоставало всем современным Бэкону участникам данной дискуссии. Даже в тех случаях, когда христианские гуманисты говорили о достижениях своего времени, границей этого состояния всегда мысленно оставалась классическая древность. У этой границы всякое творчество мыслилось лишь как «подражание»<sup>19</sup>. Отсюда следовало, что всевозможные улучшения, предвидимые в будущем, оказались всего лишь «восстановлением утерянного», большим или меньшим приближением к былой вершине. Одним словом, категория «развития» сводилась к возврату к прошлому. В этой дискуссии Бэкон оказался на стороне «модернистов», усматривавших в свершениях человека нового времени образцы, «превосходящие» доблесть древних.

---

<sup>19</sup> *Session W. A. Francis Bacon revisited.* N. Y., 1996. P. 23.

Однако свою позицию он аргументировал не формально, а исторически, хотя при этом речь шла лишь об истории наук и механических искусств. Это не должно удивлять. Ведь Бэкон был создателем философии «новой науки», призванной, по крайней мере в идеале, служить прогрессу материального производства. «Из двадцати пяти столетий, которые приходятся на науку и сохраняются в памяти людей, едва ли можно насчитать и выделить шесть столетий, плодотворных для науки. Пустынных и заброшенных областей во времени не меньше, чем в пространстве. Даже разумные и твердые мужи считают, что в мировом круговращении времен и веков у наук бывают некие приливы и отливы, поскольку в одни времена науки росли и процветали, а в другие времена приходили в упадок и оставались в небрежении»<sup>20</sup>. Бэкон рассматривал смену эпох расцвета и упадка наук не как проявление некой циклической закономерности, заложенной в самом процессе научного творчества, а как следствие специфических условий, в которых в соответствующие эпохи развиваются науки и искусства. «Одни умы, — отмечает Бэкон, — склонны к почитанию древности, другие привержены новизне. Но лишь немногие умы могут соблюдать такую меру, чтобы не отбрасывать то, что должным образом установлено древними, и не пренебречь тем, что из предложенного новыми верно». То, что тысячелетний «средний век» выпал из истории науки, явилось следствием помех, стоявших на ее пути. Это церковь, политические режимы, схоластика: «Если бы в течение многих веков умы людей не были заняты религией и теологией и если бы гражданские власти не противостояли такого рода новшествам, то без сомнения возникли бы еще многие философские и теоретические школы, подобные процветавшим некогда у греков». Развитие наук и «механических искусств» в новую эпоху — с момента изобретения книгопечатания, магнитной иглы и географических открытий — намного превзошло достижения древних: «Наше время по развитию знаний вовсе не уступает, а в ряде случаев, и значительно превосходит те, что выпали на долю греков и римлян»<sup>21</sup>. Человеческий ум ненасытен. Получив в «новой индукции» ариаднину

---

<sup>20</sup> Бэкон Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 14.

<sup>21</sup> Там же.

нить, ведущую не к словам о вещах, а к самим вещам, он будет все глубже проникать в тайны природы. С этих пор, развитие наук и искусств обрело необозримые горизонты: «Ведь именно в нашу эпоху земной шар каким-то удивительным образом сделался открытым и доступным для изучения»<sup>22</sup>.

Пока человеческий ум, блуждая по боковым тропинкам, был занят проблемами цели и методов исследования, развитие науки и искусств обнаруживало все признаки циклизма. Лишь одна область человеческой практики не знала перерывов в своем поступательном развитии: «механические искусства», основанные на законах природы, прогрессировали постоянно. Если бы науки «придерживались древа природы и питались бы от него, то не случилось бы того, что случалось на протяжении двух тысячелетий: науки остаются почти в одном и том же состоянии и не получают никакого приращения»<sup>23</sup>. Теперь же для них открылась возможность непрерывного развития по восходящей линии. Иными словами, движение исторического времени, пусть только в области опытных научных исследований, поставлено Бэконом в прямую связь с заложенной в настоящем исторической перспективой. Именно этим было обусловлено возвышение Бэконом «своего времени» над прошлыми эпохами, включая и классическую древность. Хотя времена Платона и Аристотеля именуются древностью, применительно к ним следует говорить о раннем возрасте: «Великий возраст мира должно отнести к нашим временам, а не к более молодому возрасту мира, который был у древних. И подобно тому, как мы ожидаем от старого человека большего знания и более зрелого суждения о человеческих вещах, чем от молодого, так и от нашего времени следует ожидать большего, чем от былых времен, ибо, это есть старшее время мира, собравшее в себе бесконечное количество опытов и наблюдений». Но в объяснении гражданской истории Бэкон оставался на почве ренессансного циклизма. «Случается и так, — развивает он свою мысль, — что после периода расцвета государств вдруг начинаются волнения, восстания и войны, люди вновь проявляют

---

<sup>22</sup> Там же. С. 96.

<sup>23</sup> Там же. С. 98.

худшие стороны своей природы, в деревнях и городах воцаряется опустошение, и тогда наступают времена варварства»<sup>24</sup>.

Итак, согласно Бэкону, возможен такой вариант развития общества как целого, когда после расцвета оно (по не уточненным им причинам) вдруг впадает в состояние нового варварства. Но самое удивительное в том, что и наука, единственный подлинно динамический элемент общества, также развивается циклами. «Даже разумные и твердые мужи считают, что в мировом круговращении времен и веков у наук бывают некие приливы и отливы»<sup>25</sup>. В сфере науки Бэкон разделяет циклическую концепцию только применительно к временам, предшествовавшим возникновению новой науки. Иными словами, наука развивалась циклически до тех пор, пока общество не осознало ложность путей ее движения — ее абстрактность, схоластичность и по сути беспредметность. Если же оно сумеет поставить себе на службу новую экспериментальную науку, то перед ним откроются поистине необозримые исторические горизонты. Совершенствования науки нужно ждать от последовательной смены поколений, сменяющих друг друга.

Наконец, не менее важные размышления о развитии в истории содержатся в сочинениях Тюрго, создателя первой цельной теории общественного прогресса, блестящее изложение которой было дано в его ранних работах. Идея закономерного и поступательного развития человеческого рода, его движения от низших форм к высшим выражена Тюрго с необычайной рельефностью: «...род человеческий, рассматриваемый с момента своего зарождения, представляется взорам философа в виде бесконечного целого, которое само, как всякий индивидуум, имеет свое состояние младенчества и свой прогресс»<sup>26</sup>. В соответствии со своей оптимистической концепцией Тюрго определял и задачу исторической науки. Для него всемирная история — это рассмотрение последовательных успехов человеческого рода и подробное изучение вызвавших их причин. Концепция прогресса у Тюрго —

---

<sup>24</sup> Там же.

<sup>25</sup> Бэкон Ф. Указ. соч., Т. 1. С. 80.

<sup>26</sup> *Turgot A. R. J. Oeuvres de Mr. Turgot, ministre d'état.* Т. 1-9. P., 1808-1811. Т. 2. P. 54.



это концепция бесконечного и непрерывного прогресса. Иногда ее оценивают как теорию линейного прогресса. Движение по пути прогресса Тюрго считал всеобщим историческим законом, действие которого охватывает все области человеческого бытия — развитие разума, наук, искусств, свободы и творческой активности людей, общественного устройства, способов добывания средств к жизни и т. д. Поэтому он не допускал мысли о наличии перерывов в поступательном движении истории. Тюрго считал, что «все эпохи сплетены цепью причин и следствий, связывающих данное состояние мира со всеми предшествующими состояниями»<sup>27</sup>. Подробно другим просветителям, Тюрго считал Средневековье периодом глубокого упадка. Но, в отличие от большинства просветителей, он выделил и в истории Средних веков элементы прогрессивного развития, которые проявились прежде всего в области «механических искусств»: «Какая масса изобретений, неизвестных древним и обязанных своим появлением варварскому веку! Ноты, векселя, бумага, оконное стекло, большие зеркальные стекла, ветряные мельницы, часы, зрительные трубы, порох, компас, усовершенствованное мореходное искусство, упорядоченный торговый обмен и т. д.». Именно «механические искусства» Тюрго считал такой сферой, в которой и во времена упадка культуры обеспечивается непрерывность прогресса.

В исторической теории Тюрго развитие общества ставится в зависимость от экономической жизни. Тюрго создал схему основных этапов общественного развития, которая в различных вариантах воспроизводилась целым рядом других мыслителей XVIII века. Восхождение человечества по ступеням общественного прогресса, наметившееся и углубляющееся общественное неравенство, согласно Тюрго, связаны с переходом от собирательства и охоты к скотоводству, а далее — к земледелию. Поскольку земледелие создает средства к существованию значительно большему числу людей, чем необходимо для возделывания земли, это ведет к разделению труда, появлению городов, торговли, искусств и т. д. В 1750 г. Тюрго выступил с двумя речами — «Рассуждения о всеобщей истории» и «О прогрессе человеческого разума», в которых сделал попытку опреде-

---

<sup>27</sup> Ibid. Т. 2. Р. 89.

лить характер исторического развития, его причины и движущие силы. И хотя он подчеркивал, что «подчиненные постоянным законам явления природы заключены в круге всегда одинаковых переворотов», показывая тем самым, что понимает развитие как движение по кругу, повторяемое до бесконечности, он присоединился не к тем, кто отстаивал традиционные взгляды на историю, освященные католической церковью и поддерживаемые ее авторитетом, а к представителям современного естествознания и «социальной физики» — к Бюффону, Монтескье, Вольтеру, Буланже, Мабли, Кондильяку, Дидро и др.

Учение Тюрго о прогрессе очень широко, оно включает в себя интеллектуально-художественную сферу, социально-политические отношения, индивидуальную и общественную мораль. Отличительной чертой технического прогресса, по Тюрго, является его непрерывность. Прогрессивное развитие в изящных искусствах менее заметно, здесь возможны периоды стагнации и упадка. Источником научного прогресса Тюрго считал собственную природу человека и его потребности. Социально-политические отношения, по мнению Тюрго, возникают как результат борьбы человека с природой и соседями, а рождение власти он объясняет пониманием необходимости подчинения многих волей одной воле. В области морали низкий нравственный уровень соответствует низкой ступени культурного развития. Разум оценивался как сама справедливость, поэтому культивирование разума — это самая благородная и плодотворная работа. Уровнем просвещения Тюрго определял и уровень морали. Исходя из тезиса о том, что «познание природы и истины безгранично, как сама истина», Тюрго утвердил бесконечность нравственного прогресса. Тюрго не сомневался, что древнегреческие и древнеримские мыслители в сравнении с людьми XVIII века — не более чем гениальные дети. Исторический процесс мыслитель воспринимал как движение, смену одних явлений другими, непрерывное следование веков и поколений. Это движение и образует восходящую линию, так как более поздние наслоения являются и более совершенными. Из всего этого Тюрго делал вывод о том, что история человеческого рода, который един, есть «непрерывная комбинация прогрессивных движений», а задача всемирной истории — «рассмотрение после-

довательного прогресса человеческого рода и подробный анализ тех причин, которые ему способствовали»<sup>28</sup>.

Тюрго стремился понять исторический процесс как единое целое, во взаимосвязи всех его элементов. История человеческого общества рассматривалась им как часть истории природы, развивающаяся по своим собственным законам: если в «последовательной смене поколений, через которую воспроизводятся растения и животные, время в каждый данный момент лишь восстанавливает образ того, что оно разрушило», то в истории общества «последовательная смена поколений, наоборот, представляет из века в век меняющееся зрелище. Разум, страсти, свобода порождают непрерывно новые события. Все эпохи связаны цепью причин и следствий, которые соединяют современное состояние мира со всеми ему предшествовавшими»<sup>29</sup>.

Тюрго сближался с историческими воззрениями Вико, изложенными в его «Новой науке об общей природе наций». Эти общие черты состоят не только в установлении ими связи настоящего с прошлым в виде цепи причин и следствий, но и в выделении общих ступеней исторического развития у всех народов, в признании определенной повторяемости стадий исторического развития. Как и Вико, Тюрго стремился познать историю на основе общей природы народов. Но эту общую природу народов и наций Тюрго понимал несколько иначе, рассматривая ее прежде всего с точки зрения общности потребностей человека, являющейся следствием единства его физической природы. При этом Тюрго подчеркивал своеобразие закономерностей общественного развития, их несводимость к законам физиологии и физики: «Человек, как и животные, идет по стопам тех, кто дал ему жизнь, и он видит себе подобных, как и они, распространенными по обитаемой поверхности земного шара. Но имея более обширный ум и более активную свободу, он вступает с ними в значительно более многочисленные и разнообразные отношения. Владея сокровищем законов, которые он имел возможность умножить почти до бесконечности, он может обеспечить себе

---

<sup>28</sup> Ibid. Т. 2. Р. 30.

<sup>29</sup> Ibid. Т. 2. Р. 57.

обладание всеми усвоенными идеями, сообщать их другим людям и передавать своему потомству как постоянно увеличивающееся наследство». Именно благодаря уму человека и его творческой активности история человеческого рода является движением ко все большему совершенству в противоположность природе, которая движется по кругу. В противовес теории Боссюэ, истолковывавшего всемирную историю с теологической точки зрения как осуществление божественного замысла и проявление божественной мудрости, Тюрго рассматривал всемирную историю как картину последовательных успехов человеческого рода с объяснением и подробным изучением обусловивших их причин. Исходя из этого, он в кратких чертах набросал общий план построения исторической науки. «Первые шаги людей; образование и смешение народов; происхождение правительств и революций; развитие языков, физики, нравов, наук, ремесел, и искусств; революции, посредством которых одни империи сменялись другими, одни народы другими, одни религии другими. Человеческий род во всех этих потрясениях оставался неизменным, как морская вода во время бури, и всегда шел к своему усовершенствованию»<sup>30</sup>.

Хотя Тюрго и не искал в прошлом образцов государственного и социального устройства и политической мудрости, как стали делать позднее Мабли и некоторые другие французские просветители XVIII в., это вовсе не означало, что история, с его точки зрения, не имела практического значения. Тюрго тоже смотрел на нее как на мудрую наставницу, полезную главным образом своими отрицательными примерами и проявляющимися в ней всеобщими социальными и историческими законами. Обращение к прошлому, с его точки зрения, необходимо для правильного понимания задач настоящего. Оно было для Тюрго в то же время и одним из способов критики современности. На примерах прошлого было легче обнаружить несостоятельность определенных систем управления и политических принципов, исходя из того, что в истории имеет место повторяемость. В настоящем, доказывал он, воспроизведены некоторые коллизии и системы прошлого. Тюрго указывал на одновременное существование различных

---

<sup>30</sup> Ibid. Т. 2, Р. 34.

форм общественного и государственного устройства, которые можно было бы расположить в хронологическом порядке как более ранние и более поздние, сменяющие друг друга. В этом он видел важную роль современной политической географии, которая оказывалась ближайшей помощницей истории. Его книга «Политическая география» должна была, по его замыслу, стать своего рода второй частью «Рассуждения о всеобщей истории».

Мы обратились лишь к нескольким теоретическим сочинениям, но даже столь беглый взгляд позволяет сделать некоторые выводы. Отметим, что переход от Средневековья к Новому времени характеризовался замещением религиозных представлений о времени естественнонаучными<sup>31</sup>. Уже в XVII в. концепция двух времен приобретает новое звучание: идея божественной вечности сменяется идеей абсолютной длительности, а на смену представлений о сущностном отличии «божественного» и «земного» времени приходит тезис о наличии объективного (абсолютного времени) времени и его субъективного восприятия (относительного времени).

Ни сам человек и его мышление, ни общественные институты не могут быть поняты вне связи с временными и пространственными координатами, так же как не могут быть поняты вне связи с историей их становления. Время в качестве важнейшего критерия исторической ориентации человека и общества в целом, его фундаментальной этической ценности и способа рассмотрения реальности с точки зрения изменений, движения стало восприниматься в эпоху Возрождения. Открытие исторического времени было огромным скачком в миропонимании и самопознании человека. Оно обусловило поворот человека к окружающей его действительности, и, прежде всего, к социальной действительности. Открылась истина, совершенно чуждая средневековому сознанию: жизнь постоянно ставит человека перед выбором, а время оставляет лишь единственную альтернативу — деятельность, дальновидность и расчетливость в обращении со временем.

---

<sup>31</sup> Рехенбах Г. Философия пространства и времени. М., 1985. С. 158.

## ГЛАВА 8

# РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛЕМИКА И ХРОНОЛОГИЯ

## РАСЧЕТ ПАСХАЛИИ В АНГЛИЙСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛЕМИКЕ XVI ВЕКА\*

Реформация, изменившая практически все стороны жизни европейского общества, породила многочисленные волны памфлетных войн. Тематика памфлетов затрагивала многие аспекты богословия, истории и политики. Одним из длинного перечня спорных вопросов, дебатировавшихся католиками и протестантами в Англии XVI века — причем вопросом немаловажным — была кажущаяся сейчас сугубо академической проблема расчета пасхалии в древней британской и англо-саксонской церкви.

Проблема определения даты празднования Пасхи была не нова: она порождала проблемы богословского и технического свойства еще в первые века христианства. Сам праздник Пасхи повсеместно праздновался христианами уже в I в. Однако различные церкви устанавливали разные даты окончания поста и начала праздника. Церкви христианского Востока, следуя традиции Антиохийской кафедры, праздновали Пасху в соответствии с еврейским календарем, заканчивая пост 14 нисана (первого лунного месяца по лунному календарю, принятому у иудеев). Антиохийская церковь заявляла об апостольской традиции, возводя ее к практике апостола Иоанна.

Римская (а также александрийская и др.) практика отличалась от антиохийской, поскольку в Риме стремились дистанциро-

---

\* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) в рамках исследовательского проекта № 06-01-00453а «Образы времени и исторические представления в цивилизационном контексте: Россия — Восток — Запад».

ваться от иудейских традиций. Кроме того, 14 нисана могло выпасть на любой день недели, а римская церковь предпочитала праздновать Пасху в воскресенье — день, посвященный Господу. Поэтому в Риме Пасху праздновали в первое воскресенье после еврейской Пасхи. Около 155 г. епископ Поликарп Смирнский посетил Рим, где обсуждал с папой Аничетом вопрос о дате празднования Пасхи, однако разрешен он так и не был. Впрочем, к открытой схизме это не привело. Папа Виктор I (189–198) в начале своего понтификата отлучил от церкви всех восточных последователей иудейской практики празднования Пасхи 14 нисана. Впрочем, при посредничестве других, более миролюбиво настроенных отцов церкви, в частности Ириней Лионского, отлучение было забыто (хотя формально и не отменено; в римской практике празднование Пасхи 14 нисана считалось ересью четырнадцатников или квадродециман).

Постепенно римский обычай праздновать Пасху в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния распространился и на другие церкви. Однако окончательно вопрос был улажен на Никейском соборе 325 года, постановившем следовать Римскому правилу (праздновать в воскресенье) и традиции Александрийской церкви определять первое полнолуние (поскольку Александрия в то время была признанным научным центром). Александрийская церковь определяла день весеннего равноденствия как 21 марта, тогда как Римская — 18 марта. Александрийцы определяли дату первого полнолуния после весеннего равноденствия, основываясь на известном с V в. до н. э. 19-летнем цикле (Метоновом круге), но при этом использовали свой календарь<sup>1</sup>. Римляне опирались на менее точные 84-летние таблицы. В 525 г. Дионисий Малый опубликовал свои таблицы расчета пасхалий. В них он использовал александрийский метод, но перевел его в юлианский календарь<sup>2</sup>.

Метод Дионисия был признан Римской церковью приблизительно в VI в.; еще долгое время спустя многие европейские церкви

---

<sup>1</sup> *Евсевий Памфил*. Церковная история. IV, 26; V, 23 и 25; VI, 13; VII, 20 и 32. См. также: *Чичуров И. С.* Александрийская Православная церковь // Православная энциклопедия. Т. I. М., 2000. С. 573-574.

<sup>2</sup> *Grumel V.* Chronologie. Traité d'études bysantines. P., 1958. P. 32-33, 49-53, 136-137, 187-188.

рассчитывали пасхалию по-своему. Лишь в X–XI вв. этот метод в Западной Европе стал общепризнанным.

В Британии долгое время сохранялся изначальный римский способ. Метод Дионисия был признан в 664 г. на соборе в Уитби<sup>3</sup>.

Основным источником, благодаря которому и современные историки, и полемисты эпохи Реформации имели представления об истории древней церкви в британской и англосаксонской церкви, был труд Беда Достопочтенного «Церковная история народа англов». В 25-й главе III-й книги своего труда Беда писал о спорах относительно расчета пасхалии, имевших место в Нортумбрии — северном королевстве, где клирики — выходцы из других англосаксонских государств, придерживавшихся римской традиции, сталкивались со скоттами, сохранявшими обычаи британской церкви.

Беда описывает столкновение двух традиций, приводившее к тому, что в Нортумбрии Пасха праздновалась два раза, так как король Осви и его супруга Энфледа (уроженка Кента) придерживались разных календарей. Наконец, спор был разрешен в 664 г. на специально созванном соборе в пользу принятого Римом метода Дионисия Малого.

В труде Беда аргументация противоборствующих сторон представлена речами ирландца Колмана (Св. Колмана, епископа Линдисфарнского в 661–664 гг.) и священника Вилфрида (Св. Вилфрида, епископа Йоркского в 664–678 гг.), обучавшегося в Кентерберии и в Риме. Беда не пытался соблюсти беспристрастность: Вилфрид у него предстает очевидным победителем, раскрывающим все ошибки и заблуждения своего оппонента.

А ошибок там было предостаточно: Беда вкладывает в уста Колмана утверждение о том, что кельтская традиция расчета пасхалии восходит к апостолу Иоанну, и немедленно опровергает его. Колман сказал:

«Способ исчисления Пасхи, которому я следую, я узнал от своих наставников, пославших меня сюда епископом; его

---

<sup>3</sup> О расчетах пасхалии в Европе см. также: *Blackburn B., Holford-Strevens L. The Oxford Companion to the Year: An exploration of calendar customs and time-reckoning. Oxford, 2003.*



придерживались все наши отцы, возлюбленные Богом. В этом способе нет ничего сомнительного и предосудительного, поскольку еще блаженный евангелист Иоанн, возлюбленный ученик Господа, соблюдал его вместе со всеми управляемыми им церквами»<sup>4</sup>.

Возражения Вилфрида делятся на две части. Одна из них относится, собственно, к традиции апостола Иоанна и восходит еще к древним спорам о расчете пасхалии.

«Я далек от того, чтобы обвинять Иоанна в глупости; просто он буквально соблюдал правила Моисеева закона, когда церковь еще во многом была иудейской, и апостолы не могли в один миг заставить отказаться от закона, данного Богом, как заставляли они новообращенных отказаться от идолов, которые есть демоны. Конечно же, они опасались поставить этим преграду перед иудеями, рассеянными среди язычников. Вот почему Павел обрезал Тимофея, принес жертвы в храме и обрил голову в Коринфе вместе с Аквиллой и Присциллой; все это он делал, чтобы не возмутить иудеев. Ведь Иаков сказал Павлу: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Но сейчас, когда свет благовествования уже распространился по миру, для верующих необязательно и даже незаконно обрезать или приносить жертвы из плоти и крови...»<sup>5</sup>.

Вилфрид показывает, что римский обычай определения даты, основанный Св. Петром, более правилен:

«...когда Петр проповедовал в Риме, он вспомнил, что Господь восстал из мертвых и принес миру надежду на воскресение в первый день недели, и понял, как следует отмечать Пасху. Он дождался восхода луны вечером четырнадцатого дня первого месяца в соответствии с обычаями и установлениями закона, как делал Иоанн, и когда луна восходила, начинал праздник, если был Господень День, который потом назвали первым днем недели; так мы делаем и сейчас. Но если Господень День приходился не на утро после четырнадцатого дня луны, а на шестнадцатый, семнадцатый или любой другой день до двадцать первого, он ждал этого дня и начинал пасхальную службу вечером в субботу; так повелось, что пасхальное воскресение

---

<sup>4</sup> Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов / Пер. В. Эрлихмана. Спб., 2001. С. 101.

<sup>5</sup> Там же. С. 102.

ные приходится только между первым и двадцать первым днями луны. Евангельская и апостольская традиция не нарушают закон, а лишь дополняют его, когда велят праздновать Пасху между вечером четырнадцатого дня луны первого месяца и двадцать первым днем того же месяца»<sup>6</sup>.

В подтверждение своего вывода он ссылается на решение Никейского собора<sup>7</sup>.

Другая линия аргументации показывает, что на самом деле с древними квадродециманами у британской церкви мало общего:

«...ты, Колман, не следуешь примеру ни Иоанна, как ты думаешь, ни Петра, с традицией которого споришь; таким образом, ты в твоём исчислении Пасхи не следуешь ни закону, ни благовествованию. Иоанн, который отмечал Пасху по установлениям Моисеева закона, не заботился о воскресенье; ты не делаешь и этого, поскольку празднуешь Пасху только в воскресенье. Петр отмечал пасхальное воскресенье между пятнадцатым и двадцать первым днями луны; ты, напротив, отмечаешь его между четырнадцатым и двадцатым днями. Таким образом, ты часто начинаешь Пасху вечером тринадцатого дня луны, о чем нет никаких упоминаний в законе. Был не этот день, а четырнадцатый, когда Господь, автор и податель благовествования, вкусил вечером ветхую пасху, и в память о Его страстях Церковь празднует таинства нового завета. Кроме того, в своем обычае ты полностью исключаешь двадцать первый день, который Моисеев закон особо велит отмечать. Так, как я уже сказал, в своем исчислении величайшего из праздников ты не согласишься ни с Иоанном, ни с Петром, ни с законом, ни с благовествованием»<sup>8</sup>.

Попытка Колмана сослаться на авторитет Св. Анатолия, а также на местную традицию была отвергнута, причем в довольно резких выражениях:

«Верно, что Анатолий был святейшим и ученейшим мужем, достойным всяческой хвалы; но что у тебя общего с ним, если ты не соблюдаешь его предписания? Он следовал верному способу исчисления Пасхи, основанному на девятнадцатилетнем цикле, чего ты или не знаешь или, если знаешь, отвергаешь, хотя это соблюдается всей Церковью Христовой. Он

---

<sup>6</sup> Там же.

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> Там же. С. 102-103.

соотносил четырнадцатый день луны с пасхальным воскресеньем по обычаю египтян, которые пятнадцатый день луны начинали с вечера четырнадцатого. Так же он и двадцатый день относил к пасхальному воскресенью, считая, что с вечера уже начинается двадцать первый день. Но ты, как кажется, не ведаешь этого различия, поскольку начинаешь день Пасхи до восхода луны, а это еще тринадцатый день. Что до твоего отца Колумбы и его последователей, чьей святости ты стремишься подражать и чьим правилам и наставлениям, подтвержденным небесными знаменами, ты стремишься следовать, то относительно их я отвечу — многие скажут Господу, что от Его имени они пророчествовали, и изгоняли бесов, и творили многие чудеса, но Господь объявит, что никогда не знал их. Я далек от того, чтобы говорить о твоих отцах такое, поскольку много лучше полагать о незнакомых людях доброе, а не худое; поэтому я не отрицаю, что те, кто служат Богу в грубой простоте, но с благочестивыми побуждениями, поистине есть слуги Божьи, угодные Ему. Я также не думаю, что их исчисление Пасхи повредило им, поскольку не нашлось никого, чтобы указать им верный способ. Напротив, я уверен, что если бы кто-либо, знавший истину, принес ее им, они бы следовали ей так же, как следуют всем известным им законам Божиим. Но если, услышав мнение апостольского престола или, скорее, Вселенской Церкви, ты не следуешь ему, как самому Святому Писанию, ты совершаешь грех. Пусть твои отцы и святые, но неужели ты думаешь, что горсточка людей на краю отдаленнейшего из островов более права, чем Вселенская Церковь Христова, которая простерлась по всему миру? И пусть твой Колумба — впрочем, и наш, раз он Христов — святой и добродетельный муж, но разве можно поставить его выше блаженнейшего предводителя апостолов, о котором Господь сказал: «Ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного»<sup>9</sup>.

На этом дискуссия (в рассказе Беды) практически завершилась, поскольку присутствовавший на соборе король Осви счел за благо подчиниться авторитету Рима:

«Когда Вилфрид закончил, король сказал: «Правда ли, Колман, что Господь сказал такие слова Петру?» «Это правда, король», — ответил Колман. Тогда король продолжал: «Мо-

---

<sup>9</sup> Там же. С. 103-104.

жешь ли ты доказать, что такая же честь воздавалась твоему Колумбе?» «Не могу», — ответил Колман. Тогда король сказал: «Значит, вы оба согласны, что эти слова обращены только к Петру и что Господь вручил ему ключи от Царства Небесного?» «Да», — ответили они. И король заключил: «Тогда я скажу вам, что раз он так велик, я не могу противоречить ему, но намереваюсь подчиниться его велениям во всем; ведь иначе, когда я подойду к вратам рая, некому будет отпереть их, поскольку тот, кто, по вашим словам, владеет ключами, отвернется от меня». Когда король закончил, все сидевшие и стоявшие там, знатные и простые, выразили свое одобрение, отринули несовершенные установления и приняли вместо них те, которые признали лучшими»<sup>10</sup>.

Здесь необходимо отметить три обстоятельства, немаловажные в контексте позднейшей полемики. Во-первых, Беда подчеркивал, что принятый в Британии обычай не имеет ничего общего с традицией апостола Иоанна. При этом он, по всей видимости, не отдавал себе отчета в том, что британская традиция — это, по сути, исходный римский обычай, от которого впоследствии там отказались, перейдя к александрийскому способу расчета пасхалии. И, наконец, Беда подчеркивает решающую роль авторитета римской кафедры. Это окажется весьма важным для полемистов XVI столетия.

В средневековой и ренессансной Англии (да и сейчас) Беда считался главным авторитетом по истории национальной церкви, поскольку его обстоятельное сочинение почиталось «достоверным». Спорить с авторитетом Беды оказывалось сложным, если не невозможным. На него постоянно ссылались (даже если цитаты были более чем неточными). Католические памфлетисты считали, что сам по себе труд Беды подтверждает их правоту — а именно, что церковь на Британских островах всегда была католической и сохраняла связь с Римом. Поэтому именно в католической среде созрело решение перевести «Церковную историю» на английский язык.

Выполненный католическим богословом Томасом Стэплтоном (1535–1598) перевод был опубликован в Антверпене в 1565 г. и быстро обрел популярность. Целью публикации было

---

<sup>10</sup> Там же. С. 104.

сделать текст Беды доступным для широкого читателя — то есть, для тех, кто не владел латынью. Тем самым Беда был поставлен на один уровень с полемической и наставительной литературой, контрабандно ввозившейся с континента.

Доступность перевода читателю изменила и способы работы полемистов с «Церковной историей». Безнаказанно перевирать цитаты в хорошо известном тексте стало невозможным, и необходимо было выбирать более тонкие пути его использования в собственных полемических построениях.

Это отчетливо видно при сравнении цитирования Беды авторами-протестантами в первой половине XVI в., т. е., до публикации перевода, и после него. Само использование текста Беды в качестве источника было неизбежным, каким бы неудобным для их полемических целей он ни оказывался.

«Неудобство» Беды (или же его достоинство, если речь идет о католических авторах) заключалось в его стремлении показать английскую церковь частью вселенской церкви с центром в Риме. Именно связи с Римом вызывали негодование протестантов. Оно породило стремление переписать историю национальной церкви, связать ее происхождение с иной, не-римской, апостольской традицией.

Собирая исторический материал, который помог бы обосновать новую версию церковной истории, протестантские полемисты хватались за любую соломинку. Одной из таких соломинок и стал спор о Пасхе, упомянутый у Беды: ведь там говорилось о традиции апостола Иоанна!

Богослов и историк Джон Бейл (1495–1563) сформулировал в своих сочинениях основные положения протестантской версии истории национальной церкви. Одним из наиболее влиятельных его текстов была «Сумма знаменитых хроник Великой Британии, то есть, Англии, Уэльса и Шотландии»<sup>11</sup> (1548). Первое и второе (1549 г.) издания охватывали первые столетия британской истории; переработанная и дополненная версия, вышедшая в Базеле («Каталог знаменитых хроник великой Британии», *Scriptorum*

---

<sup>11</sup> *Bale J. Illustrium majoris Britanniae scriptorium, hoc est, Angliae, Cambriae, ac Scotiae Summarium, Ipswich 1548.*

*illustrium majoris Britanniae...Catalogus, 1557–1559*) включала в себя историю островных государств вплоть до XV века.

Сочинение Бейла вышло в свет до появления перевода Беды. Поэтому, хотя Бейл ссылается на «Церковную историю», его способ цитирования напоминает многих средневековых хронистов: это не прямое цитирование, а пересказ (отчасти обусловленный жанром сочинения, требовавшим краткого изложения всех упоминаемых эпизодов). Кроме того, этот пересказ часто переиначивает текст, радикально меняя акценты.

У Беды Вилфрид оказывается однозначным победителем в споре благодаря неодолимой силе своих аргументов. Однако Бейла это не могло устроить, ведь его целью было показать независимую от Рима христианскую традицию, существовавшую в Британии до англосаксов, а также и постепенную узурпацию власти римской кафедрой. Поэтому в его версии история выглядит совсем по-другому. Добрый пастырь и ученый богослов Колман заявил, что бритты придерживаются традиции азиатских церквей<sup>12</sup> (об этом у Беды ни словом не упомянуто), и в качестве обоснования своей позиции сослался на авторитет Св. Анатолия и Евсевия Памфила<sup>13</sup>.

Возражения Вилфрида (относительно того, что апостол Иоанн, соблюдая иудейский обычай, стремился избежать скандала) у Бейла названы глупыми<sup>14</sup>. Другую часть аргументации Вилфрида (связывавшую «правильный» способ исчисления Пасхи с римской традицией и с авторитетом Св. Петра) Бейл назвал измышлениями. По его версии, победу в диспуте Вилфриду удалось одержать лишь благодаря откровенной манипуляции — убедив короля Осви в том, что нельзя противоречить авторитету Св. Петра, держащего в своих руках ключи от рая<sup>15</sup>. Примечательно,

---

<sup>12</sup> *Bale J. Illustrium majoris Britanniae scriptorium... f. 41: 'Asiaticae ecclesiae consuetudines'.*

<sup>13</sup> *Ibidem.*

<sup>14</sup> *Ibidem: 'Stulte respondit Wilfridus'.*

<sup>15</sup> *Ibid., f. 42: 'Addiditque consuetudines Romanas, pontificum decreta, atque non interpretabilem papae auctoritatem per, Tue es Petrus & c. temporum calculatores Evangelistis opponens. In fine, suis prevaluit imposturis dementatis qui aderant regibus, stolidissimeque concludentibus, mo tuum Petrum coeli esse ostiarium, nec velle eis referare fores, nisi consciant'.*

что последний абзац — это парафраз текста Беды (*И король заключил: «Тогда я скажу вам, что раз он так велик, я не могу противоречить ему...»*)<sup>16</sup>, однако истолкован он в противоположном смысле.

В своем стремлении обнаружить связь британской церкви с восточной (не-римской) христианской традицией Бейл обошелся с текстом Беды не слишком бережно, перекраивая его в соответствии с собственными потребностями. Однако позднее такие вольности оказывались уже недопустимыми, как в силу распространения гуманистического стандарта историописания, так и потому, что читателям стал доступен перевод «Церковной истории» Беды.

Более тонкая интерпретация этого текста предстает на страницах «Книги мучеников» Джона Фокса (1517–1587), на столетия ставшей стандартной протестантской версией истории английской церкви.

Фокс не пытался, вслед за Бейлом, пересказать «Церковную историю» на свой лад. Напротив, рассказывая о споре относительно пасхалии, Фокс словно бы отказывается от собственного голоса, предоставляя говорить Беде. Он приводит большую, в некоторых местах сокращенную, но в целом точную цитату из «Церковной истории»<sup>17</sup>. Тем не менее, интерпретация Фокса отнюдь не является нейтральной. Его собственное мнение ясно прочитывается в маргинальных комментариях и небольших фразах-вставках, направляющих внимание читателя в нужное автору русло. Так, приводя речь Вилфрида и, в частности, его пассаж относительно установлений Св. Петра, Фокс на полях замечает: «Приведен пример Св. Петра, но не предоставлено никаких доказательств»<sup>18</sup>.

Далее на той же странице Фокс пишет на полях: «Петр и Иоанн не согласны между собой относительно празднования Пасхи»<sup>19</sup>, тем самым указывая на существование двух независимых друг от друга апостольских традиций. Более того, Фокс в начале

---

<sup>16</sup> См. примеч. 10.

<sup>17</sup> *Foxe, John. Actes and Monumentes of the Church. London, 1570. Book 2, 164-166.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, 165: 'Example of Peter alleaged, but no prooffe brought therof'.

<sup>19</sup> *Ibidem*: 'Peter & Iohn did not agree in the celebrating of Easter'.

своего рассуждения четко оговаривает: Колман придерживался традиции Св. Иоанна<sup>20</sup>, и ссылается далее на Беду, хотя, как мы видели, в «Церковной истории» подобного утверждения нет.

Приводя слова Вилфрида о том, что правильный способ рассчитывать пасхалию (т. е. Римский способ) был определен Никейским собором, Фокс замечает на полях:

«На Никейском соборе об этом не говорили»<sup>21</sup>.

Тут Фокс откровенно лукавит. Никейский собор запретил следовать иудейскому обычаю. Однако он не предписал определенного способа расчета пасхалии как единственно верного, но даровал епископу Александрийскому привилегию ежегодно сообщать римской курии дату Пасхи. Таким образом, формально Фокс прав. А то обстоятельство, что на момент описываемых Бедой событий римский способ расчета пасхалии фактически был александрийским, Фокса совершенно не смущало. Его задачей было посеять у читателя сомнение в правоте слов Вилфрида, чего он и добивался своими комментариями. Примечательно, что все эти комментарии набраны тем же шрифтом, что и вынесенные на поля рубрики текста, обозначающие начало разделов, или новые темы (например, «*Вилфрид говорит*» и т. п.). Так не подозревающий подвоха читатель воспринимает отнюдь не нейтральные высказывания автора.

И наконец, цитируя завершающие дебаты слова короля Осви, Фокс называет довод короля «*простым и грубым*»<sup>22</sup>. Таким образом, он, как и Бейл, показывает, что решение в пользу римской пасхалии было принято не потому, что доводы Вилфрида оказались более убедительными, но из-за того, что на его сторону встал король (намек на умение «прелатов» манипулировать правителями, добиваясь своей цели — власти).

Как становится очевидным, Фокс рассказывает ту же историю, однако пользуется при этом иными методами, направляя восприятие читателем текста.

В первые годы XVII столетия версию Фокса оспорил блестящий католический полемист, иезуит Роберт Парсонс, предста-

<sup>20</sup> Ibid., 164.

<sup>21</sup> Ibid., 165: 'In the councell of Nice no such matter appeareth'.

<sup>22</sup> Ibid., 166: 'this simple and rude reason of the kyng'



вив читателям свой вариант национальной церковной истории — «Трактата о трех обращениях Англии из язычества в истинную веру» (2 тома, 1603–1604). Сочинение Парсонса было призвано доказать, что английская церковь с момента своего возникновения и вплоть до правления Генриха VIII Тюдора являлась католической, а ее учение и практика соответствовали римским.

Обращение к спору о праздновании Пасхи было одним из немногих эпизодов «Церковной истории» Беды, который мог вызвать у Парсонса дискомфорт. Ведь речь шла о том, что британская церковь следовала иной, не-римской традиции расчета пасхалии, или, по крайней мере, не той, что была принята в Риме на момент рассматриваемых событий. Парсонс разрешил это затруднение, заявив, что если англичане и впали в ересь квадродециман, то, во-первых, не с самого начала, поскольку первые проповедники христианства в Британии принесли туда истинное римское учение и обычаи. Кроме того, если бы эта ересь и укоренилась в Англии, с ней бы пришлось столкнуться миссионерам, посланным папой Элевтером к королю Луцию<sup>23</sup>, и об этом наверняка сообщалось бы в хрониках. Но подобных свидетельств нет<sup>24</sup>.

Парсонс уделяет много места рассуждениям о заблуждении квадродециман, поскольку именно из этой традиции протестанты пытались выводить связь Британии с Восточными церквями. Опираясь на «Церковную историю» Евсевия, сочинения отцов церкви (в том числе Теодорета), а также послание императора Константина (британца по рождению, как подчеркнуто в трактате!) Никейскому собору и постановления последнего, Парсонс показывает истинность принятого Римом и всей церковью правила расчета пасхалии<sup>25</sup>.

Отклонение же от этого правила, зафиксированное в Британии, по мнению Парсонса, имело место незадолго до описываемого

---

<sup>23</sup> О мифическом крещении Британии при короле Луции см.: *Серегина А. Ю.* Мифы о крещении Англии в религиозной полемике конца XVI века // Диалог со временем. Вып. 12. М., 2004. С. 144-155; *Она же.* Мифы об обращении Англии в христианство и национальная/ конфессиональная идентичность в XVI – начале XVII в. // Исторические мифы и этноконфессиональная идентичность. М., 2007.

<sup>24</sup> *Persons R.* A Treatise of Three conversions of England. Vol. I. Pt. I. C. 3, 44-47.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 64-74.

мых Бедой событий и объяснялось... невежеством ирландцев и бриттов, попросту не умеющих правильно определять дату празднования Пасхи в силу сложности самого процесса.

«Основная причина затруднений, вызываемых этим вопросом у простых людей, состоит в неравной длине солнечного и лунного года... ведь церковь использует второй, а не первый. Разница между ними составляет одиннадцать дней. Для того, чтобы их уравнять, есть правило эпакта, соответствующее 19-летнему циклу золотого числа, показывающему выпадающие каждый год новолуния и полнолуния. Ведь Пасху надлежит праздновать в первое воскресенье после первого полнолуния в марте... Более того, 14 день лунного месяца должен падать на день весеннего равноденствия или непосредственно за ним следовать. (Никейский собор определил день этого равноденствия, который тогда выпадал на 21-е марта, но с тех пор постепенно сместился на 11 дней. Для исправления папа Григорий XIII был вынужден отнять 10 дней от года 1582-го, как все знают). А если 14-й лунный день в марте выпадает на воскресенье, то празднование Пасхи должно, по предписанию тех же древних отцов [собора] быть перенесено на следующее воскресенье. Для соблюдения этого условия был изобретен 28-летний солнечный цикл, или круг воскресной буквы»<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Ibid., 'the principall grounds that make the matter hard to the common sort, are: first, the inequality between annus Solaris & annus Lunaris, ...the Church usinf the second and not the first. And the difference between them standing in the odds of eleven dayes, for equaling wherof serveth the rule of theyzсе answerable to the Cycle of the golden number consisting of 19. yeares revolution, for observing the beninning and full moones that fall out in every yeare, seeing that Easter day must be kept upon the first Sunday after the first full moone of March, as hath byn said. And furthermore fok so much as this 14.day of the moone must be that, which fal-leth upon the very day of the spring equinoctial or immediately followeth the same (which equinoctioum was observed by the Councell of Nice to be in those dayes upon the 21. of March, though since that time it fell backe by little and little to the eleventh day, for correction wherof Pope Gregory the 13. was forced to make his reformation from the yerae 1582. by detracting ten dayes as all men know) for this... and for that na the 14. day of the moone of march should happen to be Sunday, the celebration of Easter must, by the same ancient fathers prescription, be transferred to the next Sunday. For observing of these points the Cycle also of the sunne or circle of dominical letters conteyning the revolution of 28.yeares, was invented as necessary for this observation'.

Парсонс здесь не просто блеснул эрудицией, объясняя читателю, как рассчитывать дату Пасхи. Он стремился подчеркнуть, что григорианская реформа календаря не изменила решение Никейского собора, но лишь уточнила мелкие технические детали. Мысль о том, что сама римская традиция менялась — а именно это и поставило в свое время британскую церковь в положение сектантов — Парсонсу явно не приходила в голову. Для него римская традиция оставалась неизменной от Св. Петра и до его времени, а Англия если и отклонялась от нее в прошлом (до Реформации), то совсем ненадолго — по невежеству, и вскоре вернулась обратно, обретая истинных учителей — естественно, из Рима.

Обращаясь к спору о расчете пасхалии, Парсонс, конечно же, стремился представить своих оппонентов в невыгодном свете. Главным оппонентом Парсонса в данном случае был Джон Фокс. Однако, как уже было отмечено, последний был весьма осторожен, трактуя этот эпизод. Поэтому полемика Парсонса с Фоксом оказывается косвенной, а ее главные моменты — в обосновании верности британской церкви римской традиции (с небольшим отклонением), а также и в том внимании, которое в «Трактате» уделено постановлению Никейского собора относительно Пасхи<sup>27</sup>. Объектом же прямых нападок Парсонса стал Бейл. Причина такого выбора очевидна: Бейл, в отличие от Фокса, не был осторожен со своим источником, и его легко было уличить в передергивании и искажении исходного текста «Церковной истории» ради собственной выгоды.

Парсонс ехидно замечает в адрес «английских кальвинистов» (к которым он причислял и Бейла):

«Хотя в практике английской церкви они соблюдают тот же самый римский обычай, как все знают, в своих сочинениях они стремятся его опровергнуть, как исходящий из Рима»<sup>28</sup>.

Для него это доказательство лживости еретиков (ведь великий грех притягивает к себе и малые). В качестве подтверждения

---

<sup>27</sup> Ibid., 71-74.

<sup>28</sup> Ibid., 58: 'Who though in practise of the English Church do observe the same Roman custome, as all men do know: yet in their wrytings they are content to impugne the same as the matter comming from Rome'.

Парсонс цитирует текст сочинения Бейла, показывая, как тот искал свой источник — труд Беды.

Например, он приводит фразу Бейла, сказанную им о Вилфриде: *temporum calculatores Evangelistis opponens (он противопоставил римских хронологов авторитету Писания)*. Однако, как с торжеством заявляет Парсонс, у Беды нет ничего подобного:

«...этот лживый отступник хотел бы, чтобы его читатель решил — иудейский еретический обычай согласен с евангелистами, хотя вряд ли можно солгать больше»<sup>29</sup>.

Парсонс снова уличает Бейла во лжи, цитируя его фразу относительно завершения дебатов: *In fine, suis prevaluit imposituris dementatis qui aderant regibus (В конце он возобладал благодаря своим измышлениям, околдовав присутствовавших там королей)*, и добавляет: «Слышали ли вы когда-либо более бесстыдную ложь?»<sup>30</sup>.

Рассматривая дальше «портрет» Вилфрида, приведенный Бейлом, Парсонс выделяет те черты, которые более всего ненавистны протестанту:

«Отметьте, как его оскорбляют за то, что он путешествовал и учился в Риме, за то, что он на публичном диспуте защищал римский обычай праздновать Пасху, который уже был одобрен и открыто объявлен вселенским Никейским собором... За то, что на его шее висел ларчик с мощами, принесенными из Рима. А это, несомненно, одна из причин, которая больше всего беспокоит дух Джона Бейла...»<sup>31</sup>.

Нетрудно усмотреть здесь образ современника Парсонса — католического священника, получившего образование за пределами Англии и вернувшегося на родину, чтобы проповедовать римское учение.

<sup>29</sup> Ibid., 60: 'this false Apostata would have his reader thinke, that this Iewish heretical custome is conforme to the Evangelists, then which nothing can be spoken more wickedly'.

<sup>30</sup> Ibid., 61: 'Did you ever heare a more shamelesse tongue?'

<sup>31</sup> Ibid., 62: 'Marke how he is taxed for traveling and studying at Rome, for defending by publicke disputations, the Roman custome of celebrating Easter, which yet was defended and decreed openly by the generall Councell of Nice ... For bearing a box of reliques about his necke brought from Rome, which no doubt is one of the things epeф most troubleth the spirit of Iohn Bale'.

Не стоит, впрочем, считать, что если Парсонс сурово критикует вольности с источниками, то его собственные тексты в данном отношении безупречны. Отнюдь нет. Конечно, Парсонс не позволял себе таких отклонений от исходного текста, как Бейл, ведь это сделало бы его весьма уязвимым. Тем не менее, сопоставление с текстом «Церковной истории» показывает ряд расхождений. Так, в «Трактате» Парсонса — как, впрочем, и у Бейла — совершенно не упоминается Св. Колумбан, на которого ссылался Колман. Для Бейла это упоминание не было важным, поскольку ему нужно было установить апостольскую, а не местную традицию. Для Парсонса же Св. Колумбан и другие отцы ирландской и британской церкви, придерживавшиеся другого способа расчета пасхалии, создавали неудобство, так как являлись подтверждением идеи о существовании на островах иной, не-римской христианской традиции. Поэтому Св. Колумбан исчезает со страниц труда Парсонса.

Умолчания дополняются прямыми передержками. Так, рассуждая о решении Никейского собора, Парсонс приводит слова послания к Александрийской церкви, переданные Бл. Феодоритом: *Scitate controversiam de paschate susceptam, prudenter sedatam esse. Ita ut omnes franres, qui orientem incolunt, iam Romanos, nos & omnes vos, sint orientem animis in eodem celebrando deinceps sequuturi*. Вслед за ними следует довольно точный перевод:

«Вы должны понять, что спор относительно празднования Пасхи, который мы взяли в свои руки, улажен. Так что все наши братья, обитающие на востоке, в будущем последуют за римлянами (или римской церковью), нами (и авторитетом собора) и всеми вами (египетской церковью), единодушно придя к согласию относительно этого празднования»<sup>32</sup>.

Далее, за этим переводом дано разъяснение Парсонса:

«Отметь, что Собор ставит авторитет римской церкви на первое место, даже перед собой, затем себя и власть собора на

---

<sup>32</sup> Ibid., 72: ‘Yow must understand, that the controversie about celebrating Easter taken in hand by us, is prudentlie pacified: so as all our brethren that inhabit the east parts will follow for the time to come the Romans (or the Roman church) us (and the authoritie of the Councell) and all yow (of the Egiptian Church) with full consent of mind in celebrating the same feast’.

второе место, а авторитет Александрийской церкви — на третье место»<sup>33</sup>.

Усмотреть подобное в исходном тексте может только человек, стремящийся обосновать примат кафедры Св. Петра, поскольку для беспристрастного взгляда натяжка очевидна.

Таким образом, и «эрудит» Парсонс не избежал общей участи полемистов, хотя его «работа с текстом» гораздо более тонка и изящна, чем у многих его современников.

\* \* \*

Рассмотренный в статье спор о расчете пасхалии в Британии и англосаксонской Англии сам по себе — всего лишь небольшая часть принципиального столкновения двух представлений о церкви — вселенской и национальной. Если для протестантов существовала древняя церковь, к истинному учению которой, незамутненному последующими римскими искажениями, им надлежало вернуться, то для католиков всегда существовала только одна истинная, видимая церковь.

Однако способы ведения спора на протяжении XVI столетия существенно менялись. Если труд Бейла еще следует вполне средневековой традиции «подправления» источников или их весьма вольного пересказа ради изложения «истины», то более поздние сочинения Джона Фокса и особенно Парсонса демонстрируют ренессансные техники манипуляции читателем: точность цитирования в сочетании с неслучайными умолчаниями, демонстрация эрудиции и высмеивание чужих ошибок, комментарии на полях и изящные толкования цитат. Поистине XVI век был столетием рождения истории как дисциплины.

---

<sup>33</sup> Ibid., 73: 'Note here that the Sponcell doth put the authoritie of the Church of Rome in the first place even before themselves, and then themselves and the authoritie of the Councell in the second place, and those of Alexandria in the third'.

## ГЛАВА 9

# СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ В КНИЖНОЙ ПРОПОВЕДИ

СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ

Проповедь, будучи одним из важнейших жанров популярного богословия, более других направленного на непосредственный контакт священника с верующими, несет в себе Слово Божие с целью воспитательного воздействия на паству, чтобы привести человека к покаянию. Одновременно проповедь выполняет и просветительскую задачу, освящая Божественным светом души слушателей. Сам порядок произнесения проповедей, кроме всего, приучает паству к церковному календарю, благодаря связи основной темы проповеди с тем или иным фрагментом из Священного Писания, определяющим ее принадлежность к определенному событию жизни церкви: празднику, воскресному дню, поминовению святого и т. д. Имея эту календарную «привязку», церковная проповедь как бы подключает паству к общему потоку длящейся Священной истории, соотнося настоящее и давно прошедшее, но всегда актуальное сакральное событие. Проповедь становится живым и постоянно осуществляющимся *способом культивирования исторического сознания*, выполняя особый род духовной практики христиан. Наряду с четырьмя книгами, рассчитанными на годовой круг чтения каждым человеком и «соучастия» тем самым событиям Священной истории или жизни святых, проповедь становится средством приобщения всей паствы к христианскому календарю, поддерживая коллективное историческое сознание «православных слушателей».

Казалось бы, в этом Священном прошлом ничего нельзя менять, распорядок событий и действий давно стал канонем, войдя во «внутренний календарь» верующего. Однако есть один вопрос, который обсуждается на протяжении всей истории христи-

анской церкви с редким постоянством. Это вопрос о праздновании субботы и/или воскресения, их взаимозаменяемости или незаменяемости: упразднения субботы как иудейского праздника (у западных христиан, католиков), её восстановления (как у протестантов-адвентистов) или придания ей особенного значения (как у православных<sup>1</sup>). На эту проблему можно смотреть под разными углами зрения: и как на календарный вопрос, и как на феномен усвоения новозаветной историей истории ветхозаветной, наконец, как на межконфессиональную полемику. Нас будут интересовать первые два аспекта проблемы в том виде, как они оказались востребованы в «Обеде душевном» Симеона Полоцкого, сборнике православных проповедей второй половины XVII века.

\* \* \*

В отношении христиан к празднованию субботы, прежде всего, проявилось их отношение к ветхозаветному иудейскому обрядовому закону<sup>2</sup>. Поскольку в первую христианскую общину

---

<sup>1</sup> «Господь установил субботу как день отдыха, покоя, в память о том, что по шести днях творения: «Почи в день седмый от всех дел своих, яже сотвори. И благослови Бог день седмый, и освяти его: яко в той почии от всех дел своих, яже начат Бог творити» (Быт. 2. 2-3). Ветхозаветная суббота прообразовала смертный покой Господа во гробе после подвигов и страданий земной жизни: ...«Днешний день тайно великий Моисей прообразоваше глаголя: и благослови Бог день седмый: сия бо есть благословенная суббота, сей есть оупокоения день, он же почи от всех дел своих едиnorodный Сын Божий, смотрением еже на смерть плотию субботствовал» (из стихир на «Господь возах» Великой Субботы). Суббота поэтому стала днем поминовения всех святых, праведников, которые обрели Царствие Небесное, находятся в раю, где и была установлена суббота... И уповая на бесконечную милость Божию, св. Церковь соборно молится в этот день за почивших православных, испрашивая в память Господня покоя для них и наших родителей упокоения со всеми Его святыми, почему субботу называют еще родительским днем... Наконец, и по сей день являет Всеблагий Господь великое утешение православным христианам и великое знамение всему миру — нисхождение Небесного Огня в Великую Субботу на Гроб Господень. Событие это совершается ежегодно с незапамятных времен только... по православному календарю». — Церковнославянской грамоте. Учебные очерки. СПб., 1998. С. 298.

<sup>2</sup> Благодарю Т. И. Хижей за указание литературы и консультацию по истории этого вопроса.



входили как христиане-евреи, прозелиты, так и крестившиеся язычники, то для первых посещение Иерусалимского храма и соблюдение Моисеева закона, включая и почитание субботы, оставалось долгое время важным. За пределами Иерусалима иудео-христиане и христиане-неевреи по субботам ходили в синагоги.

Вопрос о том, на каких условиях язычники (с точки зрения иудео-христиан) могут вступать в Церковь, имел практическое значение: нужно ли совершать обрезание, соблюдать Моисеев закон, в том числе праздновать субботу, если они не-иудеи? Апостольский собор (49 г.) ответил на этот вопрос отрицательно, освободив «языко-христиан» от необходимости выполнения иудейского закона.

Совершенно понятно, что христиане нуждались в своих особых богослужебных собраниях. Уже с апостольского времени они собирались вместе в первый день недели, т. е. в воскресенье — день, когда вспоминали о воскресении Христа, центральном событии человеческой истории, ставшим начальной точкой христианского годовичного цикла. М. Скабалланович писал, что «празднование воскресного дня положило начало христианскому церковному году, который стал постепенно заслонять иудейский»<sup>3</sup>. Он указывает на источники апостольских времен, где собрания верующих происходили в воскресный день как для благотворительности («агапы»), так и для богослужений, о чем сообщается в «Деяниях святых апостолов», (Деян. 20. 7, 8), в 1-м послании к Коринфянам ап. Павла (1 Кор. 16. 1, 2)<sup>4</sup>.

Во II в., ссылаясь на Послание апостола Варнава: «Мы и проводим в радости восьмой день, в который Иисус воскрес из мертвых» (Послание Варнавы, 15), Скабалланович делает вывод о «полной замене еврейской субботы воскресным днем»<sup>5</sup>. Об этом же пишет историк Церкви М. Э. Поснов, считая, что «Праздник Пасхи в своей церковно-догматической сущности был определен еще во II в.»<sup>6</sup>. Poleмика между иудеями и христианами продолжалась, и ее подробности нашли свое отражение в

---

<sup>3</sup> Скабалланович М. Толковый Типикон. М., 2004. С. 45.

<sup>4</sup> См. также Смирнов Д. Празднование воскресного дня (Его история и значение). Киев, 1893.

<sup>5</sup> Скабалланович М. Толковый Типикон. С. 63.

<sup>6</sup> Поснов М. Э. История Христианской Церкви. Брюссель, 1964. С. 477.

«Диалоге с Трифоном иудеем» (10, 18, 19, 23, 27, 29, 43) св. Иустина Философа, который доказывал своему оппоненту бессмысленность обрезания, соблюдения Моисеева закона и празднования субботы для крещеных христиан, ибо они и без всех этих правил спасутся по своей вере в Господа Христа.

Значение воскресенья как «восьмого дня», «Дня Господня» заключалось также в том, что это был день Нового Творения, день Царствия Божия, предвещающий конец всего ветхого порядка вещей, прообраз будущего века. Хотя в III в. продолжается полемика против иудейской субботы, по мнению М. Скабаллановича, одновременно появляется тенденция к выделению субботы из ряда обычных дней, которая приводит к тому, что к концу III – началу IV в. в некоторых церквах суббота почитается едва ли не одинаково с воскресеньем (об этом — у Тертуллиана «О молитве», 23, в «Апостольских постановлениях» (II. 59), в «Завещании Господа нашего Иисуса Христа» (II. 28) и других источниках<sup>7</sup>.

Что касается христианского календаря, то формирование его начинается с I в., как раз с введением воскресного дня. Впоследствии в круг праздников начинает входить христианская Пасха, Пятидесятница, позже — Богоявление, Рождество, затем — другие Господские и Богородичные праздники, дни памяти мучеников и т. д. Собственно говоря, новые праздники появляются в Церкви на протяжении всей её истории, вплоть до настоящего времени (например, прославление новомучеников). На Руси после Крещения принимается византийский литургический календарь, который с течением времени дополняется новыми праздниками, связанными с канонизацией русских святых, событиями русской церковной истории. Существенно, что с установлением праздников в христианском календаре определяется и место праздничной проповеди среди других ее видов (изъяснение Св. Писания, догматических споров и назидательных слов). Собственно праздничные проповеди, считает Скабалланович, занимали в начальном периоде не столь большое место, как это, очевидно, стало позднее<sup>8</sup>. Со временем праздничные проповеди

---

<sup>7</sup> Скабалланович М. Толковый Типикон. С. 114.

<sup>8</sup> Там же. С. 175.

стали присваивать себе задачи разъяснения и догматических, и полемических, и назидательных вопросов христианской веры.

\* \* \*

В Московском Царстве искусство книжной проповеди стало развиваться с приездом туда выпускников Киево-Могилянской коллегии Епифания Славинецкого, Симеона Полоцкого и др., являвшихся проводниками третьего юго-славянского влияния<sup>9</sup>. Современные исследования показывают, что еще задолго до известного труда Иоанникия Галятовского «Ключ разумения», где в специальном разделе указывались правила построения проповеди (1659 г.), Петр Могила при переводе в 1616 г. «Учительного Евангелия» на славянский язык («простую мову») ввел новые для православия правила организации проповеднического текста<sup>10</sup>, которые развивались в соответствии со школьными практиками, сложившимися под влиянием иезуитских учебных курсов барочного проповеднического искусства<sup>11</sup>.

Как в украинских, так и российских сборниках проповедей ее началом служил отрывок в виде цитаты из Евангелия, который выделялся отличным от текста проповеди шрифтом, часто и цветом, с обязательной ссылкой на Священное Писание. Правила, усвоенные из курсов школьной риторики, разделяли в текстах проповедей экскордиум, наррацию (основной текст) и конклюдзию (вывод). Если заголовок проповеди, цитата из Евангелия и экскордиум (краткая расшифровка ее) непосредственно определяли «календарное место» проповеди, то наррация и конклюдзия содержательно развивали и привязывали к нему важнейшие нравственные, догматические и просветительные назидания. Рубежными временными точками на «недельном» (воскресном) календаре<sup>12</sup> проповедей были:

---

<sup>9</sup> Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. М., 1996. С. 314.

<sup>10</sup> Чуба Г. «Учительне Євангеліє» 1616 р. У перекладі Мелетія Смотрицького в контексті української гомілетичної літератури // Київська Академія. Вип. 2-3. Київ, 2006. С. 5-13.

<sup>11</sup> Исаченко І. Риторика й барокове проповідництво // Київська Академія. Вип. 2-3. Київ, 2006 С. 32-39.

<sup>12</sup> Здесь необходимо пояснение относительно слов «недельный» и «воскресный». На церковнославянском языке неделя — «седмица», которая

1. Пасха.
2. Недели «по Пасхе».
2. Сошествие Святого Духа. (Пятидесятница).
3. Недели «по Сошествию Святого Духа».
4. Неделя о мытаре и фарисее.
5. Неделя о блудном сыне.
6. Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
7. Неделя сыропустная. (Прощёное воскресенье).
8. Недели Великого поста.

Сборник проповедей «Обед душевный»<sup>13</sup> Симеона Полоцкого, ученого иеромонаха, выпускника Киево-Могилынской коллегии, был создан в середине 70-х гг. XVII в., а издан учеником Симеона Сильвестром Медведевым в 1681 г. Имеющий каноническую форму организации в соответствии с годовым «недельным» (воскресным в нашем понимании) церковным календарем, он открывается стихами с названием «Стихи о недели, честь субботы преемшей к читателям» и завершается проповедью «Поучение общее в день недельный». И в том, и в другом случае речь идет об уже известном нам важнейшем календарном вопросе — замене иудейской субботы христианским воскресеньем. По существу, Симеон полемически обосновывает жанр праздничных проповедей, открывая своего рода «полемику» стихами и закрывая ее проповедническим Словом, закольцовывая тем самым свой большой труд. Иными словами, введение книжной проповеди на

---

включает в себя следующие дни: «понедельник», «вторник», «среда», «четверток», «пятток», «суббота» и «воскресение» или «неделя». Таким образом, мы видим, что воскресенье также называлось неделей, это же название закрепилось на Украине, в текстах украинских и белорусских проповедников. В «Церковнославянской грамоте...» находим следующее пояснение: «Православный календарь отражает положение воскресения и как первого дня (от Светой Пасхальной седмицы, начинающейся с Воскресения, до Святой Троицы) и как седьмого (от Троицы седмицы начинаются понедельником)... Воскресение Христово, став главным днем мировой истории, в который Сын Божий примирил людей с Богом, выходит за рамки седмиц преодолением ветхозаветной субботы» (С. 295, 298). Теперь понятно, что слово «недельный» употребляется в значении «воскресный».

<sup>13</sup> Симеон Полоцкий. Обед душевный. М., 1681. Далее в тексте при ссылке на эту книгу указываются в скобках листы.

воскресные праздники, скорее всего, по мысли Симеона, требовало своего объяснения и обоснования по той причине, что в московских церковных кругах чтение проповедей, как мы сказали, не было принято.

Важно отметить, что всему тексту проповедей предшествует в издании книжная гравюра, которую смело можно считать иллюстрацией как к стихотворению, так и к завершающей проповеди, что, очевидно, является уже замыслом издателя Сильвестра Медведева, хорошо усвоившего полемический ввод автора в сборник проповедей. Автор гравюры — Афанасий Трухменский, «фряжских резных дел мастер» при московской Оружейной палате<sup>14</sup>, развернул 15 аргументов из текста Симеона в пользу празднования воскресенья, а не субботы, в небольшие картинки-клейма числом 15 вокруг фигуры Иисуса Христа, держащего в левой руке раскрытое Писание со словами из Евангелия от Матфея (22) и Иоанна (21) «Се обед мой уготован. Прийдите обедуйте», а правую сложивши для благословения. Каждое из событий Священной и церковной истории, взятое из текстов как Ветхого, так и Нового Заветов, изображены на гравюрах, имеют номер и подписаны: 1) «Первый день»; 2) «Ковчег Ноев ста на гре»; 3) «Израиль море преиде»; 4) «Манна одождися»; 5) «Рождество Христово»; 6) «Трех царей пришет»; 7) «Благославление Господне»; 8) «Брак в Кане Галилейстей»; 9) «Народа насыти 5 000»; 10) «Вход в Иерусалим»; 11) «Воскресенье Христово»; 12) «Фомино уверение»; 13) «Сошествие Духа Святаго»; 14) «Второе пришествие»; 15) «Откровение Богослову». Как мы увидим далее, Симеон Полоцкий выдвигал именно эти события как аргументы для объяснения необходимости «перемены» празднования с субботы на воскресенье.

В стихотворении, выполняющем задачу предисловия и открывающем сборник недельных проповедей «Обеда...», Симеон Полоцкий определяет пятнадцать причин («вин»), по которым, по его мнению, следует праздновать субботу вместо воскресения. Ссылаясь на слова из ветхозаветного Исхода о необходимости

---

<sup>14</sup> См.: *Ровинский Д.* Подробный словарь русских граверов XVI–XIX вв. в 2-х тт. СПб., 1895. Т. 2. Автором отмечена 31 работа А. Трухменского.

помнить «день субботный» и «светить его», проповедник толкует его в православной традиции как день «успокоения». «Новая благодать» обновляет и субботу «в новое духовное субботствование, на день иное празднуемый, нарицаемый день недельный, день воскресения, день Господен...» (л. 681).

В «Вертограде многоцветном» (автограф 1678 г.), большой поэтической работе, следующей за сборниками проповедей, Симеон помещает стихотворение с названием «Суббота». Источником его, как установил английский исследователь А. Хипписли, является проповедь Матиаса Фабера, священника-иезуита, автора трехчастного собрания годичных проповедей *Concionum opus tripartitum*, на 16-ю неделю по Пятидесятнице *Dierum festivorum profanatio reprehenditur*<sup>15</sup>. В этом стихотворении не обсуждается тема перемены субботы на воскресение, ее сюжет — притча о «вельможном некто», который не соблюдал субботу и был за это «жизни лишен». Иными словами, пафос стиха — соблюдение праздничного дня по завету Господа. Интересующий нас сюжет перемены субботы на воскресение принадлежит стихотворению с названием «Неделя». В нем мы находим перечисление почти всех известных по сборнику проповедей причин («вин») календарно-событийного характера из Священной истории для перемены субботы на воскресенье.

Начнем анализ аргументов со сравнения вводного стихотворения к «Обеду» со стихотворением «Неделя» из «Вертограда многоцветного», а затем сопоставим эту аргументацию со 2-м Словом в неделю 30-ю по сошествию Св. Духа и последней проповедью «Обеда душевного». Заметим, что для текста «Недели» не найден какой-либо источник из текстов католических проповедников на латинском языке. Думается, что этот повторяющийся интерес к теме перемены субботы есть интерес самого Симеона. Трижды в тексте «Обеда» Симеон подробно проговаривает аргументы, почти повторяя себя и убеждая слушателей, что именно в воскресный, но не субботный день произошли все важнейшие события Священной истории от самого ее начала.

---

<sup>15</sup> См.: *Simeon <Polockij> Vertograd mnogocvetnyj* / Ed. by A. Hippisley and L. I. Sazonova. Foreword D. S. Lichachev. Köln; Weimar; Wien, 1996. Vol. 10, 3. P. 215, 596 (commentary).

Итак, вначале два стиха, написанные Симеоном, из «Обеда...» и «Вертограда». Структура вводного стихотворения из «Обеда душевного» задана перечислением аргументов, и их, как мы уже сказали, всего пятнадцать, причем каждый аргумент оформлен самостоятельными строфами и пронумерован. Давая указания на источники в Священном Писании и у св. отцов, Симеон выстраивает следующую историческую последовательность событий, произошедших в день недельный (воскресный):

1. мир «вещественный» и свет в этот день Богом сотворен (кн. Бытия);
2. при потопе «корабль на версах гор армянских сташе» (кн. Бытия);
3. «море чермно пресечеса // имже Израиль сухо преведеся» (кн. Бытия, собор Кесарийский)
4. «начат хлеб аггельский дождити // манна реченый: да бы путным жити» (Августин и Оригена);
5. «наш Христос Бог родися // нас ради в яслях скотских положися» (Собор 6, канон 8)
6. «звезда возсияше // волхвом, яжея к Христу провождаше» (Лев папа, эпистола 81);
7. «В Иордане в сей же день крестился // иже нас ради грешных воплотился» (Августин);
8. «первое чудо сотворил есть // Христос, во вино воду преложил есть» (Иоанн: 2);
9. «Пять хлебов в сей день Христос умножи есть // пять тысяч людей теми насытил есть» (Матф. 14);
10. «В день недельный изволи въехати // в Иерусалим, на осле жребяти» (Матф. 21);
11. «Воста из мертвых в сей день торжественный // и бысть мир ветхий ныне обновленный...» (Матф. 28);
12. «Пак в день осмый Фому уверил есть // иже в бок его персти си вложил есть...» (Иоанн: 20);

13. «...с небесной страны // Дух Божественный апосто-  
лом даны...» (Деян. 2);
14. «По сих Иоанн в день недельный бяше // в дивне  
восторзе, и дивная зряше» (Ап. 30).
15. «...мудрия вещают // яко в неделю страшна суда  
чают...»<sup>16</sup>.

Почти все эти аргументы повторяются в стихотворении «Не-  
деля»:

Чесо ради суббота ныне оставися,  
вместо ея неделя Церкви освятися?  
Вина есть, яко многи тайны совершенны  
от Бога всемогуща в день святыи неделный.  
В неделю положися вселенней начало, (1)  
сухо пройде Израиль морское забрало. (2)  
Манна нача в неделю в пустыни росити, (3)  
Христос в сей день плотию избра рожден быти. (4)  
Волхвом звезда в неделю начала светити, (5)  
Иоанн сподобися Христа в ню крестити. (6)  
Пять тысящей народа насыти хлебами (7)  
пятми Христос Питатель, и двама рыбами.  
В сей день воскресл из мртвых, двери затворенны (8)  
пройде к учеником Си, мир дая спасены.  
Посла в мир апостолы правду возвестити,  
учаще вся народы во Троицу крестити.  
Сошествие в неделю бысть Духа Святаго, (9)  
приход мнится в ню будущь Судии  
Страшнаго. (10)  
В сей день и Богословцу бысть откровение, (11)  
тем и Церковь празднует верным в спасение<sup>17</sup>.

Сравнение текстов показывает, что в стихе «Вертограда...» не хватает четырех аргументов в сравнении со стихотворением из «Обеда...»: о потопе, о превращении воды в вино, о въезде в Иерусалим на осляте, о Фоме неверующем. Но совершенно очевид-

<sup>16</sup> Симеон Полоцкий. Обед душевный. М., 1683 л. 2–2 об. – 3.

<sup>17</sup> Simeon <Polockij> Vertograd mnogocvetnyj. Vol. 10, 3. P. 423.



но, что все указанные в начальном стихотворении «Обеда» аргументы имеют место в виде небольших картинок в гравюре А. Трухаменского, причем с полным совпадением последовательности, за исключением последних двух, которые на гравюре поменяны местами: сначала изображается Второе Пришествие, а затем «Откровение Иоанну Богослову». Можно предположить, что ошибка принадлежит гравировщику.

Снова к этой теме Симеон возвращается в Слове 2 в неделю 30 по сошествию Св. Духа, выстраивая заповеди Моисеевы как ступени Лествицы к Богу. Под ступенью четвертой («помни день субботний») Симеон дает текст из книги Бытия «и благослови Бог день седмый, и освети его» (л. 489), давая комментарий из Слов Иоанна Златоуста, в которых тот, в свою очередь, приводит слова Исайи: «Люди сидящие во тме, видеша свет велий». Воскресный день, по Иоанну — день обретения сущности, «день ощущения» (л. 489 об).

В заключительной проповеди «Поучение общее в день недельный» отсутствует экскурдум с его обязательной ссылкой на Священное Писание. Эта проповедь произносится как бы по инициативе автора, через которого говорит Бог: «приклоните ушеса ваши во глаголи уст моих, люди богоизбраннии, новый Израилю, Православные христиане... отверзу бо Богу поспешествующу, уста моя, и провещаю волю его божественную...» (л. 680 об.). Симеон, празднуя Воскресение Христово, снова возвращается к уже известной теме, желая в последний раз убедить своих слушателей в наличии связи между ветхозаветным и новозаветным «календарем», объясняя, почему Израиль празднует субботу, а христиане воскресенье.

Итак, еще раз сопоставим «вины» (причины), которыми объясняет Симеон необходимость смены субботы на воскресенье:

	<b>Слово 2 в неделю 30 по сошествию Св. Духа (л. 489-490)</b>	<b>«Поучение общее в день недельный» (л. 671-674)</b>
1	«яко в сей день мир приять бытия си начало».	«В сей день основа си вселенней начало».
2	«яко в сей день ковчег Ноев ста на горах араратских».	

- 3 «яко в сей день море чермное Израильтяне преидоша».
- 4 «яко в сей день манна начать с небес деяться».
- 5 «яко в начале сего дне веруется Христос рожден бытии, яко же иматъ Собор шестый в каноне осмом».
- 6 «яко же в сей день звезда волхвомъ явися».
- 7 «яко в сей день крестися Господь в Иордане от Иоанна».
- 8 «яко в сей день первое содея чудо в Канне галилейстей, преложив вино в воду».
- 9 «яко в сей день пять тысяч народа насыти».
- 10 «яко в сей день во Иерусалимъ вниде торжественнее».
- 11 «яко в сей день воскресе».
- 12 «яко в сей день явися оученикъ и даде им власть грехи оставляти».
- 13 «яко в сей день дух святой сниде на апостоли, во виде языкъ огненныхъ».
- 14
- «и сухо пройде Израиль из Египта моря чремнаго пучину».
- «В сей день в пустыне небесной хлеб, манна реченный, аггелским служением оуготованный людем Божиим дадеся».
- «В сей день Христос спасает пять тысяч народа насыти пятми хлебами, и двема рыбами».
- «В сей день вниде торжественно на жребяти осле, во град Иерусалимский».
- «В сей день воскресая из мертвых и весь род свободил от узъ смертныхъ, и тмы вечныхъ».
- «В сей день пройде затворенныя двери ко ученикам своим, мир даруя им: и Фомино уверяя неверие».
- «В сей день посла божественных своя ученик во вселенную благовестити всем спасение, и крестити во имя Отца и сына и свягаго духа».
- «В сей день пресвяти и животворящи Параклит, сниде на божественных апостоли и оученики в Огненных языщех, оучи их божественной премудрости, и непреоборимую дая силу слова, чудес и разума».
- «В сей день возлюбленный ученик Христов на острове Патмы, виде

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 15 | «напоследок непшуютъ нецѣи яко в сеи день имать Господь судити живыя и мертвыя. Тако Августин и Иларий глаголятъ». | свое откровение, якоже сам свидетельствует, глаголя: бых на острове нарицаемом Патмосъ, быхъ въ Дусе в день недельный.<br>«в сей день напоследок многими напишутся, второе страшное хотящее бытии судий нелицемернаго пришествие, во еже комуждо по делом его воздате...». |
|----|--|--|

Как видим, есть прямые повторения аргументов, есть и различия. Отметим, что по количеству они равны. В Заключительной проповеди «Обеда» этих причин тоже пятнадцать, ибо начинает Симеон с трех «общих», которые в таблице опущены. Если в Слове Симеон идет как бы «хронологически» от сюжетов Ветхого Завета к Новому, то в «Поучении общем» он начинает с утверждения новозаветных праздников. Проповедник дает характеристику «сего дня» воскресного как дня «праздника, недельного, воскресения, дня Господня», нарицая «еленнски» — «день солнца»<sup>18</sup>: 1) Первый день — «не плотский оный свет, яко в первотворении чюственнаго сего міра, но небесный» (л. 671 об); 2) «вспоминая нам седмоденным своим возвращением спасительную тайну его воскресения, купно же и нашего совостания» (там же); 3) «верующие искуплены от ига и времени законного: и того ради новой приобщены субботе» (там же). От этого события он и ставит себе вопрос о «конеч-

---

<sup>18</sup> См. современный католический катехизис: «Мы собираемся все вместе в день солнца, потому что это первый день [после еврейской субботы, но также первый день], когда Господь, вызволяя из тьмы вещество, создал мир, и потому что в этот же день Иисус Христос, наш Спаситель, воскрес из мертвых» (см.: <http://www.catholic.ru/ccc/2168.html> [февр., 2008]). Известно, что Иустин Мученик в «Апологии» говорит о «дне после Сатурнова дня, то есть дне солнца» (Апология, 1, 67), т. е. считать воскресенье днем солнца — давняя традиция. Считать дни по неделям и называть их именами планет в Римской Империи стали приблизительно с I в. н. э. Это было время влияния иудейства и процветания культа Митры. Именно последний культ знал и практиковал почитание семи планет в семь дней недели и главной из них — солнца (в *dies solis*) особенно торжественно. См.: Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1. М., 1993. С. 376; Скабалланович М. Указ. соч. С. 269-271.

ных», «благословенных» причинах («винах»), позволяющих показать все значение этого дня на основании Священного Писания.

В «Слове 2 в неделю 30 по сошествии Святого духа», по существу — развернутом «Credo» христианского вероучения в «Обеде душевном», экскордиумом которого является фрагмент из Евангелия от Луки: «Учителю Благий, что сотворив живот вечный наследую» (л. 486), делается вывод о том, что все рассмотренные аргументы объясняют «достойно есть и праведно день недельный праздновати, вместо обветшавшая субботы». В последней проповеди логика Симеона приводит его к противопоставлению грехов — «дел темных», которых нельзя творить в недельный день, и дел светлых. Воскресный день — апология света, потому, призывает проповедник, «очистим от беззаконий наших чувства, а узрим в непреступном свете царствующего о десную Бога отца Христа Господа нашего» (л. 687 об.).

Наконец, последнее, на что нельзя не обратить внимание. Всякая проповедь содержит в себе нравственное поучение, тем более это относится к проповеди, завершающей большой книжный цикл. Поэтому в последней проповеди «Обеда душевного» Симеон обращается к пастве с моральными требованиями соблюдения заповедей Христовых: не подчиняться «житейским суетам», не служить мамоне, не поддаваться плотским страстям. Требования к христианам, «любимым братьям», о почитании праздника и достойного его проведения без греховных страстей Симеон выдвигает как бы перед лицом неверных, иудеев, сторонников субботнего празднования: «Беззаконии осудят нас иудеи обветшавшую свою субботу многочисленнее почитающих, нежели мы новое наше воскресное упокоение» (л. 684). Благочинность празднования, а главное — справедливое для Симеона чувство победы над «временным» (субботним) днем и празднование «вечного» дня (воскресного) выводят эту практическую календарную тему в область высоких догматических истин. За «Обедом душевным» следует «Вечеря душевная» с ее проповедями обретения вечности, снискания «невечернего света» в «вечном праздничном пиршестве». Идея воскресенья как Церковного календарного празднования перерастает в празднование соприсутствия на Божественном пире вечности.

Завершение всего цикла проповедей акцентом на перемене календаря и тот мостик, который перекидывает проповедник к своему следующему циклу «Вечере душевной» (1683 г.), позволяют сделать несколько предположений:

1. что указание на временные границы необходимы православным слушателям и играют свою организующую роль. Поучающая сторона проповеди направлена на упорядочивание повседневности с ее различением празднеств и будней по новозаветному календарю, при этом каноническая связь с ветхозаветным календарем остается семантически значимой;
2. что «обновление» — не случайное слово, оно характерно для семантического подчеркивания новозаветного христианского вероучения как возможности обретения совершенства жизни с Богом и в Боге;
3. что воскресение есть не только календарный день, это догматически «нагруженный день», и *его место в календаре — начало всего*, от творения мира до воскресения Христа;
4. что особенность воскресения состоит в *преодолении времени вечностью*: обретение «света невечернего», соединение с Богом в вечном воскресении. Воскресенье — день солнца, день света. Преодолевая субботу, христианин преодолевает время, даже время «успокоения», и обретает вечность. В этом смысле можно говорить о завершении Священной истории и наступлении жизни вечной.

Итак, подводя итоги анализа текстов проповедей, можно сказать, что определенный полемический интерес, безусловно, содержался в «Обеде душевном», но, оставшись смысловым элементом композиции, оформляющей начало и конец сборника, эта полемическая интенция реализовалась скорее в проповедовании единства ветхозаветной и новозаветной истории, определения ее начала и ее земного конца и, безусловно, соединения всех слушающих, включения их в переживание осуществляющейся Священной истории

ГЛАВА 10

# ВРЕМЕННАЯ ГЛУБИНА ПРОСТРАНСТВА В ТЕКСТАХ СРЕДНЕВЕКОВЫХ АРАБСКИХ ГЕОГРАФОВ\*

Исследование проблем, связанных с феноменом исторической памяти и образами прошлого в различных социумах и культурах, чаще всего основывается на анализе собственно исторических сочинений, а также публицистических, религиозно-дидактических, биографических и художественных произведений. Труды географического характера для изучения представлений о прошлом практически не привлекаются, поскольку их главной целью является характеристика пространственных, а не временных, объектов.

Априорный отказ — просто по жанровому принципу — от рассмотрения географических сочинений в контексте проблем исторической памяти не вполне справедлив. Если говорить о средневековой мусульманской литературе, то следует заметить, что граница между произведениями разных жанров в ней была весьма подвижной, вследствие чего в географических трудах можно найти немало данных исторического характера, а в исторических — богатые сведения по географии. Одни и те же авторы зачастую являлись и историками, и географами, как, например, выдающийся арабский ученый и путешественник середины X в. ал-Мас'уди. Его крупнейшее сочинение «Мурудж ал-захаб ва ма'адин ал-джаухар» («Золотые копи и россыпи самоцветов») представляет собой настоящую энциклопедию, содержащую в основном исторические сведения, но включающую также обширные главы географического содержания<sup>1</sup>. Подобных примеров

---

\* Работа выполнена при финансовом содействии РГНФ (проект № 07–01–00058) и РФФИ (проект № 06–06–80285)

<sup>1</sup> Мурудж аз-захаб ва ма'адин ал-джаухар / Тасниф ар-раххала ал-кабир ва-л-му'аррих ал-джалил Аби-л-Хусайн 'Али ибн ал-Хусайн ибн

можно было бы привести много, но дело не только в характерном для арабской интеллектуальной традиции синкретизме разных форм историографической и географической рефлексии.

Образы прошлого отражают распространенные в том или ином сообществе или культуре представления о времени, но не исчерпываются этим. Неотъемлемой частью образа прошлого является пространственная локализация воспоминаний. Глубинную связь исторической памяти с фактором пространства хорошо показал в своих работах о природе коллективной памяти М. Хальбвакс<sup>2</sup>. Ключевым элементом в системе координат исторической памяти, особым образом структурирующим как время, так и пространство, М. Хальбвакс считал «мнемонические места» — вместилища образов прошлого, в совокупности образующие специфический ландшафт памяти для носителей той или иной культурной традиции. Память, таким образом, можно рассматривать как проблему ментальной географии<sup>3</sup>.

Точно так же — добавлю уже от себя — и географический текст не является простым набором топонимических данных, но представляет собой органичный элемент целостной ментальной карты, сформировавшейся на базе строго определенной во времени и пространстве дискурсивной практики, которая, в свою очередь, включает в себя идеологическое обоснование, символическое, топонимическое и литературно-художественное освоение пространства. Современные исследования, выполненные в русле концепции ментальных карт<sup>4</sup>, показывают, что большинство об-

---

<sup>1</sup> 'Али ал-Мас'уди ал-мутаваффи фиам 346 ал-хиджрийа / Би тахкик Мухаммад Мухйи-д-Дин 'афа-л-Лах'анх. Бейрут, 1973. Т. I–IV (араб. яз.). Частичный перевод на русский язык: *Абу-л-Хасан 'Али ибн ал-Хусайн ибн 'Али ал-Мас'уди*. Золотые копии и россыпи самоцветов (История Аббасидской династии: 749–947 гг.) / Сост., пер. с араб., примеч., коммент. и указ. Д. В. Микульского. М., 2002.

<sup>2</sup> *Halbwachs M.* Les Cadres sociaux de la mémoire. Paris, 1925; *Idem.* La Topographie légendaire des évangiles en Terre Sainte. Paris, 1941. О М. Хальбваксе см.: *Хаттон П.* История как искусство памяти / Пер. с англ. В. Ю. Быстрова. СПб., 2003. С. 191–228 (там же и другая литература о нем).

<sup>3</sup> *Halbwachs M.* La Topographie légendaire. P. 124.

<sup>4</sup> Термином «ментальная карта», введенным в научный оборот Е. С. Толманом (*Tolman E. C. Cognitive Maps in Rats and Men // Psychological Review.* 1948. Vol. 55. P. 189–208), обозначается субъективное представление человека о части окружающего пространства. Группы людей и их

шеупотребительных названий обширных территорий (например, «Восток», «Восточная Европа», «Балканы», «Индия» и др.) являются не столько нейтральными географическими понятиями, сколько концептами, подлинный смысл которых можно раскрыть лишь в контексте того исторического, идеологического и культурного дискурса, в рамках которого они сформировались<sup>5</sup>. О том же говорит и проведенный мною анализ некоторых восточноевропейских топонимов средневековых мусульманских источников («Остров русов», «Русская река», «река Атил», «озеро Тирма», «гора Кукайя» и др.<sup>6</sup>).

Топонимия средневековых географических сочинений, таким образом, может быть не только источником информации о широте собственно географического кругозора того или иного автора. Ме-

---

сообщества также создают специфические в историко-культурном отношении представления о пространственной структуре окружающего мира, который они видят или могут вообразить. В историографии, разрабатывающей концепцию ментальной карты, предметом исследования являются дискурсивные практики по формированию различных схем географического пространства и наделению тех или иных его частей определенными характеристиками. Обзор исследований ментальных карт см.: *Шенк Ф.Б.* Ментальные карты: Конструирование географического пространства в Европе от эпохи Просвещения до наших дней: Обзор литературы // Новое литературное обозрение. 2001. № 6 (52). С. 42-61.

<sup>5</sup> *Said E. W.* Orientalism: Western Conceptions of the Orient. New York, 1978 (пер.: *Саид Э. В.* Ориентализм: Западные концепции Востока / Пер. с англ. А. В. Говорунова. СПб., 2006); *Inden R.* Imagining India. Cambridge, 1990; *Wolff L.* Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment. Stanford, 1994 (пер.: *Вульф Л.* Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003); *Todorova M.* Imagining the Balkans. New York, 1997; *Neumann I. B.* Uses of the Other: «The East» in European Identity Formation. Minnesota, 1998 (пер.: *Нойманн И. Б.* Использование «Другого»: Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., 2004) и др.

<sup>6</sup> *Коновалова И. Г.* Состав рассказа об «острове русов» в сочинениях арабо-персидских авторов X–XVI вв. // Древнейшие государства Восточной Европы. 1999 г. М., 2001. С. 169-189; *Она же.* Топоним как способ освоения пространства («Русская река» ал-Идриси) // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. М., 2001. Вып. 6. С. 192-219; *Она же.* Гидрография Восточной Европы в арабской географии XII–XIV вв. // *Джаксон Т. Н., Калинина Т. М., Коновалова И. Г., Подосинов А. В.* «Русская река»: Речные пути Восточной Европы в античной и средневековой географии. М., 2007. С. 173-250; *Она же.* Топоним как концепт // *Одиссей.* 2007. М., (в печати).



сто, отводимое географическому объекту на ментальной карте средневекового ученого, говорит многое и о той картине мира, частью которой этот объект является. Поэтому для адекватной интерпретации сообщений средневековых географов необходимо — среди прочего — ответить на вопрос, насколько они отдавали себе отчет в том, что данные о каком-либо описываемом ими объекте имели не только пространственную, но и временную локализацию.

Рассмотрение этого вопроса в настоящей работе ведется на примере известий (относящихся по преимуществу к Восточной Европе), которые содержатся в трех крупнейших арабских географических сочинениях XII–XIV вв.: «Нузхат ал-муштак фи ихтирак ал-афак» («Отрада страстно желающего пересечь мир», 1154 г.) сицилийского географа ал-Идриси<sup>7</sup>, «Китаб джуграфийа фи ал-акалим ал-саб'а» («Книга географии о семи климатах») испано-арабского ученого Ибн Са'ида ал-Магриби (70-е – 80-е годы XIII в.)<sup>8</sup> и «Таквим ал-булдан» («Упорядочение земель») сирийского географа и историка Абу-л-Фиды (первая треть XIV в.)<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> *Al-Idrisi. Opus geographicum sive «Liber ad eorum delectationem qui terras peragrarare studeant» / Consilio et auctoritate E. Cerulli, F. Gabrieli, G. Levi Della Vida, L. Petech, G. Tucci. Una cum aliis ed. A. Bombaci, U. Rizzitano, R. Rubinacci, L. Vecchia Vaglieri. Neapoli; Romae, 1970–1984. Fasc. I–IX. P. 9.* Об ал-Идриси и его сочинении см.: *Крачковский И. Ю.* Арабская географическая литература // *Крачковский И. Ю.* Избранные сочинения. М.; Л., 1957. Т. IV. С. 281–282; *Oman G.* Al-Idrisi // *Encyclopaedia of Islam. New ed. Leiden; London* (далее — *EI*<sup>2</sup>). Vol. III. P. 1032–1035; *Maqbul A. S.* A History of Arab-Islamic Geography (9<sup>th</sup>–16<sup>th</sup> Century A. D.). Amman, 1995. P. 163–166; *Коновалова И. Г.* Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы: Текст, перевод, комментарий. М., 2006. С. 7–27.

<sup>8</sup> Об Ибн Са'иде и его сочинении см.: *Ensayo bio-bibliográfico sobre los historiadores y geografos arábigo-españoles por F. Pons Boigues.* Madrid, 1898. P. 306; *Крачковский И. Ю.* Арабская географическая литература. С. 352–354; *Pellat Ch.* Ibn Sa'id al-Maghribi // *EI*<sup>2</sup>. Vol. III. P. 926; *Ibn Sa'id al-Maghribi.* Libro de la extensión de la tierra en longitud y latitud / Edición crítica y notas del Dr. J. Vernet Gines. Tetuan, 1958. P. 7–8; *Kitab al-jughrafiya: Ibn Sa'id's geography / Ed. I. 'Arabi.* Beirut, 1970. P. 5–15, 24–26; *Коновалова И. Г.* Физическая география Восточной Европы в географическом сочинении Ибн Са'ида // *Древнейшие государства Восточной Европы.* 2002 г. М., 2004. С. 214–235.

<sup>9</sup> Об Абу-л-Фиде и его сочинении см.: *Крачковский И. Ю.* Арабская географическая литература. С. 386–389; *Gibb H. A. R.* Abu 'l-Fida // *EI*<sup>2</sup>. Vol. I. P. 118–119; *Maqbul A. S.* A History of Arab-Islamic Geography. P. 195–197; *Коновалова И. Г.* Черное море в описании Абу-л-Фиды // *Сборник Рус-*

Все эти источники, представляющие собой систематизированные описания ойкумены, генетически связаны друг с другом: трактат ал-Идриси — крупнейшего средневекового арабского географа — являлся одним из важных источников сочинения Ибн Са'ида, которое, в свою очередь, послужило основой для многих сообщений Абу-л-Фиды<sup>10</sup>.

### Ал-Идриси

Согласно традиции, идущей от античных географов, ал-Идриси разделил всю обитаемую землю на семь широтных зон-«климатов»<sup>11</sup>. «Климаты» у ал-Идриси превратились в зоны одинаковой широты, для выделения которых он не опирался на какие бы то ни было астрономические принципы. Каждый «климат» ал-Идриси, в свою очередь, механически разбил на десять поперечных частей-секций (*джуз*'), равных по длине и ширине. Описание ойкумены в основной части сочинения ведется по «климатам», с юга на север, а внутри «климатов» — по секциям, с запада на восток. Каждому описанию соответствует карта. Таким образом, 70 секционных карт, будучи сложены вместе, образуют прямо-

---

ского Исторического общества. М., 2003. Т. 7 (155): Россия и мусульманский мир. С. 51-57; *Она же*. Восточная Европа в географическом сочинении Абу-л-Фиды // Славяноведение. 2005. № 2. С. 85-95.

<sup>10</sup> О взаимосвязи географических сочинений ал-Идриси, Ибн Са'ида и Абу-л-Фиды см.: *Maqbul A. S. A History of Arab-Islamic Geography*. P. 370-376; *Коновалова И. Г.* Бассейн Днепра в арабской географии XII–XIV вв. / *Ad fontem* / У источника: Сборник статей в честь С. М. Каштанова. М., 2005. С. 120-125; *Она же*. Город *Русийа* в арабской географии XII–XIV вв. // Древнейшие государства Восточной Европы. М., 2005. С. 102-106; *Она же*. О характере преемственности географических сочинений ал-Идриси, Ибн Са'ида и Абу-л-Фиды // Восточная Европа в древности и средневековье: Проблемы источниковедения. XVII Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто. Тез. докл. М., 2005. Ч. I. С. 92-95; *Она же*. Северное Причерноморье в арабской географии XIII–XIV вв. // Вопросы истории. 2005. № 1. С. 93-104.

<sup>11</sup> Термин «климат» (араб. *иклим*) является арабской передачей греч. *κλίμα* («наклонение»). В арабской географической литературе этим термином обычно обозначались широтные зоны, на которые арабы разделяли земную поверхность. С IX в. термином *иклим* арабские географы стали называть не только греческие «климаты», но и персидские «кишвары» — географические области (*Tibbets G. R. The Beginnings of a Cartographic Tradition // History of Cartography / Ed. by J. B. Harley, D. Woodward. Chicago; London, 1992. Vol. II. Book 1: Cartography in the traditional Islamic and South Asian societies. P. 93*).

угольную карту мира с изображением морей, озер, рек, гор, городов и политических образований<sup>12</sup>.

Даже беглое знакомство с трудом ал-Идриси не оставляет сомнений в том, что «Нузхат ал-муштак» — сочинение тщательно продуманное, весь материал которого расположен в соответствии с географической концепцией автора и теми задачами, которые он ставил перед собой.

История создания «Нузхат ал-муштак», подробно описанная в предисловии к сочинению<sup>13</sup>, позволяет заключить, что свою глав-

---

<sup>12</sup> См. публикацию карт ал-Идриси: *Miller K. Mappae arabicae: Arabische Welt- und Länderkarten. Stuttgart, 1927. Bd. VI.*

<sup>13</sup> Инициатива составления «Нузхат ал-муштак» по традиции, идущей от самого ал-Идриси, приписывается покровителю ал-Идриси — норманнскому королю Сицилии Рожеру II (1130–1154), пожелавшему иметь детальную карту и описание ойкумены. В предисловии к своему труду ал-Идриси подробно описал ход работы над его составлением. По словам ал-Идриси, предшествующая историографическая традиция оказалась неудовлетворительной с точки зрения поставленных перед географом задач: ведь Рожер «пожелал узнать свойства своих стран по существу, изведать их с ясностью на опыте, узнать их границы и пути на суше и на море, в каком они климате, что относится к ним из морей и заливов, находящихся в них, а вместе с тем ознакомиться с прочими странами и областями в семи климатах». Прочтя же имевшиеся в его распоряжении книги географов и историков, Рожер нашел, что приводимые ими сведения неполны и необстоятельны. «Тогда он призвал к себе знающих эти вещи и стал их испытывать в этом, обсуждать с ними это, но не нашел у них знания больше, чем в упомянутых книгах. Когда же он увидел их в таком состоянии, то послал в прочие свои страны и призвал знающих их, странствовавших там и расспрашивал их о них через посредника и всех вместе, и отдельно». Вместе с ал-Идриси король отобрал «людей умных, смысленных, способных» и отправил их «по климатам востока и запада, юга и севера». «Он отправил с ними художников, чтобы зарисовать то, что они увидят, на глаз, и велел обследовать и исчерпать все, что надо знать. Когда кто-либо из них возвращался с изображением, аш-Шариф ал-Идриси закреплял его, пока не завершилось то, что он хотел». У ал-Идриси есть также указание на то, как Рожер оценивал достоверность полученных им сведений: «То, в чем речи сходились, а передача ими всего этого казалась верной, он закреплял и оставлял; в чем они расходились, он отменял и откладывал». Далее Рожер «пожелал выяснить с несомненностью истинность того, в чем сошлись указанные люди, помяная длину расстояний о странах и их обширность, и приказал доставить ему доску для черчения. Он стал проверять это мерками из железа, одно за другим, смотря в книги, упомянутые раньше, и взвешивая слова их авторов. Он внимательно рассмотрел все это, пока не остановился на истине; после этого он

ную задачу ал-Идриси видел не в том, чтобы сообщить читателю нечто новое, а в том, чтобы возможно более полно представить достоверные с его точки зрения сведения о Земле и ее обитателях в форме последовательного рассказа о различных странах и народах.

Соблюдению формы изложения географ придавал большое значение и почти каждую секцию своего сочинения начинал с уведомления читателя о том, как он намеревался вести свой рассказ. Например, характеристика стран и народов второго климата предваряется следующими словами: «После того, как мы описали разделенный нами на десять частей первый климат и то, что они в себе заключают, рассказав в каждой части о достойных упоминания городах, деревнях, горах, заселенных и безлюдных землях, их животных, минералах, морях, островах, царях, народах, обычаях, внешнем виде и религиях этих народов, мы переходим к рассказу о странах, крепостях, крупных и иных городах, пустынях, степях, морях с их островами, о народах и протяженности [соединяющих] их дорог второго климата, как мы делали это, описывая первый климат»<sup>14</sup>. О стремлении соблюдать преемственность в

---

приказал, чтобы ему был вылит из чистого серебра диск с разделениями, большой величины, толстый в ширину, весом в 400 ритлей по римскому счету, в каждом ритле 112 дирхемов» (ок. 150 кг: *Lewicki T. Polska i kraje sąsiednie w świetle «Księgi Rogera» geografa arabskiego z XII w. al-Idrisi'ego.* Kraków, 1945. Cz. I: Uwagi ogólne, tekst arabski, tłumaczenie. S. 17). На этом диске Рожер приказал начертить изображение семи климатов и составить книгу, «соответствующую тому, что в этих формах и изображениях» (*Al-Idrisi. Opus geographicum.* P. 5-7; пер. отрывков цит. по: *Крачковский И. Ю.* Арабская географическая литература. С. 282-284; см. также: *Lewicki T. A propos de la genèse du «Nuzhat al-mustaq fi 'htiraq al-afaq» d'al-Idrisi // Studi Magrebini.* 1966. Vol. I. P. 41-55). Даже сделав поправку на неизбежную в таких случаях преувеличенность похвал в адрес Рожера, нет оснований сомневаться в правдоподобию охарактеризованных ал-Идриси приемов работы над составлением сочинения, особенно в том, что касается сбора данных о разных странах. Хорошо известно, что организация путешествий с практическими и познавательными целями была достаточно распространенным явлением в мусульманском мире в Средние века (см.: *Крачковский И. Ю.* Арабская географическая литература. С. 129-146; *Muslim Travellers: Pilgrimage, Migration and the Religious Imagination / Ed. D. F. Eickelman, J. Piscatori.* Los Angeles, 1990; *Donini P. G. Arab Travellers and Geographers.* London, 1991).

<sup>14</sup> *Al-Idrisi. Opus geographicum.* P. 103. Пер. цит. по: Арабские источники X–XII веков по этнографии и истории Африки южнее Сахары / Подг. текстов и пер. В. В. Матвеева и Л. Е. Куббеля. М.; Л., 1965. С. 308.

способе изложения материала ал-Идриси говорит и во вводной части к 6-й секции VI климата: указав те страны, о которых пойдет речь в этой секции, географ добавляет, что их описание он будет вести «сообразно тому, как мы это делали раньше и как описали страны перед этим»<sup>15</sup>. Материал каждой секции ал-Идриси стремился изложить, по его словам, «в виде законченного рассказа, согласно правилам глубокого исследования»<sup>16</sup>. Правила, которых ал-Идриси придерживался, кратко можно было бы охарактеризовать как соблюдение последовательности и полноты изложения: «Город за городом, область за областью, не опуская ни одного сообщения о том, что ... достойно упоминания»<sup>17</sup>.

Благодаря такому подходу сочинение ал-Идриси, будучи в целом географическим по своему характеру, вместе с тем не становилось узкоспециализированным и предоставляло читателям многоплановую информацию. Свое сочинение ал-Идриси, по его же собственному признанию, адресовал образованным, начитанным людям, знакомым с широким кругом литературы, способным сопоставлять данные из разных источников и делать самостоятельные заключения. Вот как, к примеру, ал-Идриси опровергает распространенное среди путешественников мнение о том, что река, текущая в Нил из африканской страны *ал-Хабаша*<sup>18</sup> — это якобы и есть Нил: «Большинство путешественников заблуждалось относительно этой реки, говоря, что это Нил. Это [происходило] потому, что они видели, что вода в этой реке прибывает, выходит из берегов и разливается в то время, когда обычно выходит из берегов Нил, а спадает разлив этой реки тогда же, когда спадает разлив Нила. По этой причине большинство людей заблуждаются относительно этой реки, в то время как в действительности это не так, и не делают различия между ней и Нилом, потому что видят у нее описанные нами особенности Нила. Правильность сказанного нами относительно этой реки — то, что это не Нил — подтверждают книги, посвященные этому предмету, которые рассказывают об этой реке, ее истоке, течении и впадении в рукав Нила около

---

<sup>15</sup> *Al-Idrisi. Opus geographicum. P. 914.*

<sup>16</sup> *Ibid. P. 58.*

<sup>17</sup> *Ibid. P. 121.*

<sup>18</sup> К *ал-Хабаша* мусульманские географы относили народы, населявшие Северо-Восточную Африку.

города Билак<sup>19</sup>. Об этом рассказывал еще Птолемей Клавдий в своей книге под названием “География”. Об этом упоминал также Хассан ибн ал-Мунзир в “Книге чудес”<sup>20</sup>, в том месте, где он говорит о реках, их истоках и устьях. Этот вопрос принадлежит к числу таких, которые не вызывают сомнений у образованного человека<sup>21</sup> и не могут ввести в заблуждение тех, кто читает книги, посвященные его исследованию»<sup>22</sup>.

При составлении своего труда ал-Идриси опирался на широкий круг разнообразных источников: нарративных, документальных, картографических, устных<sup>23</sup>. Наиболее важными источниками для него были произведения арабо-персидских ученых IX–XI вв. — Ибн Хордадбеха, ал-Йа‘куби, Ибн Хаукала, ал-Джайхани, Кудама ал-Басри, ал-Мас‘уди, ал-‘Узри и др. Наряду с географическими сочинениями, ал-Идриси использовал и исторические труды. Ссылки на них, правда, весьма неопределенны: так, он упоминает о «различных исторических трудах»<sup>24</sup> и «старинных хрониках»<sup>25</sup>, а также о неких «книгах, составленных под диктовку тюрок»<sup>26</sup>.

Кроме сочинений мусульманских авторов, ал-Идриси был знаком с трудами многих античных ученых, доступных ему в арабских переводах и переработках, — с сочинениями александрийского астронома и географа II в. н. э. Клавдия Птолемея<sup>27</sup>,

<sup>19</sup> *Билак* — город в Нубии, расположенный при слиянии Нила и его правого притока Атбары.

<sup>20</sup> Сочинение ал-Идриси пестрит ссылками на некую «Китаб ал-‘аджа’иб» («Книга чудес»). Ее склонны отождествлять с «Китаб ал-‘аджа’иб ал-арба‘а» («Книга четырех чудес») арабского историка и филолога IX в. Хишама Абу-л-Мунзира, которого ал-Идриси ошибочно называет Хассаном ибн ал-Мунзиром (*Al-Idrisi. Opus geographicum*. P. 5; *Крачковский И. Ю.* Арабская географическая литература. С. 121).

<sup>21</sup> Ал-Идриси использует термин *‘алим* («ученый», «знающий», «познающий»).

<sup>22</sup> *Al-Idrisi. Opus geographicum*. P. 42-43. Перевод цит. по: Арабские источники X–XII веков по этнографии и истории Африки южнее Сахары. С. 298-299.

<sup>23</sup> Этот вопрос подробно рассмотрен в: *Коновалова И. Г.* Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы. С. 27-36.

<sup>24</sup> *Al-Idrisi. Opus geographicum*. P. 401.

<sup>25</sup> *Ibid.* P. 406.

<sup>26</sup> *Ibid.* P. 511.

<sup>27</sup> *Ibid.* P. 6, 7, 17, 43, 103, 221, 939.

греческого ученого-энциклопедиста IV в. до н. э. Аристотеля<sup>28</sup>, греческого математика и механика III в. до н. э. Архимеда<sup>29</sup>, ученого II в. до н. э. Селевка из Вавилона<sup>30</sup>, а также раннесредневекового автора, испанского историка и богослова начала V в. Павла Орозия<sup>31</sup>. В различных частях «Нузхат ал-муштак» исследователи выделяют следы знакомства автора с рядом других литературных источников — легендой о плавании Св. Брендана, сочинением Нила Доксопатра «История пяти патриархатов», произведениями античных авторов, популярных в Византии — Фукидида, Полибия, Диодора, Диона Кассия; высказывалось предположение о том, что ал-Идриси мог использовать и сочинение Константина Багрянородного «Об управлении империей»<sup>32</sup>.

Как явствует из предисловия к «Нузхат ал-муштак» и подтверждается исследованиями материала различных секций сочинения, там, где у ал-Идриси был выбор между книжными сведениями и данными информаторов, географ отдавал предпочтение сообщениям своих современников. Богатый расспросный материал имелся у ал-Идриси относительно стран и народов Западной Европы, Балканского полуострова, Византии, Северной Африки, вследствие чего роль письменных источников для описания этих территорий сравнительно невелика. Напротив, для стран Центральной и Восточной Европы, немусульманских областей Азии и Африки влияние литературных источников весьма значительно, а роль личных наблюдений и устных свидетельств не столь существенна<sup>33</sup>. В описании многих периферийных районов ойкумены заметно влияние Птолемея<sup>34</sup>.

---

<sup>28</sup> Ibid. P. 51, 93.

<sup>29</sup> Ibid. P. 93.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid. P. 6.

<sup>32</sup> Историографию см.: *Lewicki T. Polska. Cz. I. S. 56-57.*

<sup>33</sup> *L'Italia descritta nel «Libro del re Ruggero» compilato da Edrisi / Testo arabo pubblicato con versione e note da M. Amari e C. Schiaparelli. Roma, 1883. P. X; Tomaschek W. Zur Kunde der Hämus-Halbinsel, II: Die Handelswege im 12. Jahrhundert nach den Erkundigungen des Arabers Idrisi // Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 1887. Bd. 113. № 1. S. 285; Кендерова С. Балканский полуостров в «Географията» на ал-Идриси // Библиотекар. 1986. № 1. С. 35-41; *Lewicki T. Polska. Cz. I. S. 36-56.**

<sup>34</sup> Библиографию см.: *Lewicki T. Polska. Cz. I. S. 38-42.*

Таким образом, благодаря обилию и разнообразию использованных географом источников, его сочинение представляет собой сложный сплав разнородной информации, на основе которой ал-Идриси конструирует мировое пространство. Анализируя эту ментальную конструкцию, можно выделить ряд приемов, с помощью которых географ вводит в характеристику пространства временной фактор.

Довольно часто при описании современного ему маршрута ал-Идриси попутно сообщает о том, насколько древним является тот или иной населенный пункт, через который проходит данный маршрут. Делает он это, как правило, в очень краткой форме, буквально в двух словах «локализуя» топоним во времени. Например, переходя от описания нижнедунайского города *Дисины*<sup>35</sup> к рассказу о следующем пункте маршрута, ал-Идриси пишет: «От него до города Армукастру на юг два дня [пути]. Город Армукастру — древний город, [где имеются] высокие здания и постройки с широкими сводами; он отличается большими размерами и низкими ценами [на товары]. Расположен он у подножия прекрасной горы, выступающей в море»<sup>36</sup>. О Трапезунде говорится следующее: «Это красивый город, стоящий на побережье Соленого моря»<sup>37</sup>. Во времена халифов и впоследствии он был местом торговли и желанной целью греков и мусульман. Жители города — богатые купцы. Расстояние между ним и ал-Кустантина<sup>38</sup> составляет девять с половиной дней плавания»<sup>39</sup>. В уникальном для мусульманской литературы своего времени описании Тмутаракани ал-Идриси пишет: «Матраха<sup>40</sup> — это вечный город, существующий с незапамятных времен, и неизвестно, кто его построил. Там есть виноградники и обработанные поля. Его владыки очень сильны, мужественны, благоразумны и решительны. Их почитают за смелость и господство над соседями. Это большой город с множеством жителей, с про-

---

<sup>35</sup> *Дцинь, Дичинь* древнерусских источников (подробнее см.: Конова-лова И. Г., Перхавко В. Б. Древняя Русь и Нижнее Подунавье. М., 2000. С. 88-91).

<sup>36</sup> *Al-Idrisi. Opus geographicum.* P. 897.

<sup>37</sup> Одно из наименований Черного моря у ал-Идриси.

<sup>38</sup> Константинополь.

<sup>39</sup> *Al-Idrisi. Opus geographicum.* P. 907.

<sup>40</sup> Греческое наименование Тмутаракани.



цветающими областями; там имеются рынки и [устраиваются] ярмарки, на которые съезжаются люди из самых отдаленных соседних стран и близлежащих округов»<sup>41</sup>.

Во всех этих примерах (а подобных им в сочинении ал-Идриси весьма много) географ оперирует современными ему данными, восходящими к информации мореплавателей, купцов и путешественников, знакомых с описываемыми объектами лично или через посредников — но таких же, как и они сами, практиков.

Вместе с тем, в других случаях ал-Идриси нередко прибегает и к книжной традиции. Чаще всего географ просто ссылается на сообщение, взятое им из той или иной книги по какому-либо вопросу, никак не комментируя цитату. Ал-Идриси обращается к сочинениям более ранних авторов по самым разным поводам: для описания отдаленных частей земли, для характеристики диковинных животных и растений, для описания практически всех географических объектов (рек, озер, морей, островов, гор, оазисов), для сообщения о городах и связывавших их путях, для описания обычаев разных стран и их достопримечательностей, для характеристики природных явлений и для уточнения написания топонимов.

Данные из трудов более ранних географов могут соседствовать на страницах «Нузхат ал-муштак» со сведениями, полученными от купцов и путешественников. Если информация из разных источников противоречит друг другу, ал-Идриси нередко предоставляет читателю возможность сделать самостоятельное заключение об истинном положении вещей. В таких случаях, стремясь к полноте изложения, он приводит все известные ему данные, оставляя их, как правило, без авторского комментария.

Подобных примеров довольно много. Без каких-либо комментариев со стороны ал-Идриси даны два сообщения о длине Нила<sup>42</sup>, три — об африканской реке *Каука*<sup>43</sup>, два — о том, кто построил Александрийский маяк и дворец Соломона<sup>44</sup>, несколько сообщений об охоте на слонов в Индии<sup>45</sup>. Приводя указанное Ибн Хор-

---

<sup>41</sup> *Al-Idrisi. Opus geographicum. P. 909.*

<sup>42</sup> *Ibid. P. 138.*

<sup>43</sup> *Ibid. P. 116.* Земля *Каука* (или *Куку*) — названия многих городов и поселений в Западной и Центральной Африке (см.: Арабские источники X–XII веков по этнографии и истории Африки южнее Сахары. С. 406).

<sup>44</sup> *Al-Idrisi. Opus geographicum. P. 321.*

<sup>45</sup> *Ibid. P. 199-202.*

дадбехом (IX в.) расстояние между городами Ирана, ал-Идриси одновременно дает и другую цифру, полученную им от своих информаторов, но при этом ничего не говорит, какая из них точнее<sup>46</sup>.

В «Нузхат ал-муштак» несколько раз встречаются выражения типа «в наше время», «в настоящее время», «сейчас» и т.п. Например, про город *Аклиба* сказано, что это самая крайняя область Кумании «в наше время»<sup>47</sup>. Рассказ об индийских мусульманах сопровождается словами — «в то время, когда мы пишем [эту книгу]»<sup>48</sup>. Ссылки на современность описываемых фактов имеются в сообщениях о городах Аравии<sup>49</sup>, об острове *Сийах-Кух* в Каспийском море<sup>50</sup> и ряде других объектов. Указанные сообщения, по всей вероятности, отражают устную информацию, сведения, восходящие к рассказам купцов и путешественников, од-

<sup>46</sup> Ibid. P. 672.

<sup>47</sup> Ibid. P. 958.

<sup>48</sup> Ibid. P. 185.

<sup>49</sup> Ibid. P. 158.

<sup>50</sup> Ibid. P. 833. Название *Сийах Кух* (другой вариант написания, отличающийся от первого лишь наличием точек при первой графеме, — *Шийах Кух*) в переводе с персидского означает «Черная гора». Арабо-персидские географы X в. использовали это наименование для обозначения гористого полуострова Мангышлак, а также лежащего к востоку от него плато Устюрт (*Бартольд В. В.* Мангышлак // *Бартольд В. В.* Сочинения. М., 1965. Т. III. С. 479). По координатам Сухраба, горы *Сийах Кух* имели иное расположение — между восточным берегом Черного моря и рекой *Ра* (Волга), т. е. северо-западным побережьем Каспия (*Калинина Т. М.* Сведения ранних ученых Арабского халифата: Тексты, перевод, комментарий. М., 1988. С. 112, 116, 123). Кроме гор с таким названием, географы X в. знали остров *Сийах Кух* в Каспийском море. Так, Ибн Хаукал говорит о том, что в 968 / 969 г. некоторые жители *Атила*, спасаясь от напавших на них русов, бежали на остров *Сийах Кух* (Bibliotheca Geographorum arabicorum. Leiden [далее — BGA]. 1873. Т. II. P. 282; Opus geographicum auctore Ibn Haukal (Abu'l-Kasim Ibn Haukal al-Nasibi): Secundum textum et imagines codicis constantinopolitani conservati in Bibliotheca Antiqui Palatii N 3346 cui titulus est «Liber imaginis terrae» / Ed. collato textu primae editionis aliisque fontibus adhibitis J. H. Kramers. Lugduni Batavorum-Lipsiae, 1938–1939. Fasc. I–II [далее — BGA<sub>2</sub>]. 1939. Fasc. II. P. 393–394). Как полагают, в данном случае под островом *Сийах Кух* имеется в виду Мангышлак и Устюрт (*Минорский В. Ф.* История Ширвана и Дербента X–XI вв. М., 1963. С. 152; *Агаджанов С. Г.* Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии IX–XIII вв. Ашхабад, 1969. С. 78; *Новосельцев А. П.* Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 1990. С. 246, прим. 615).

нако на основании этих примеров нельзя утверждать, будто ал-Идриси четко видел разницу между современными ему сообщениями и данными из книг более ранних авторов.

В «Нузхат ал-муштак» есть несколько случаев, когда ал-Идриси ссылается на сведения Ибн Хаукала (X в.) как на вполне современные. Так, рассказывая об оазисах, примыкающих к египетскому городу Асуану с запада, ал-Идриси несколько раз подчеркивает современность своего повествования: «В настоящее время они пусты и в них никто не живет, а некогда они были населены и землю их прорезывали [каналы] с водой. Теперь же в них [есть только] остатки деревьев и разрушенные необитаемые деревни»<sup>51</sup>. Последующая же цитата из Ибн Хаукала — «Ибн Хаукал рассказывает, что до настоящего времени там [встречаются] одичавшие козы и овцы» — свидетельствует о том, что эти сведения относились не к XII, а к X в. или даже раньше<sup>52</sup>. А при описании Хазарии, после перечисления ее городов, ал-Идриси указывает, что «все эти города построил Кисра Ануширван, и они до сих пор населены и [существуют] сами по себе»<sup>53</sup>. Эту фразу ал-Идриси целиком позаимствовал из сочинения Ибн Хаукала<sup>54</sup>, поэтому выражение «до сих пор» не может относиться к XII в., но тем не менее воспринимается самим ал-Идриси как актуальное. Точно так же, говоря о русах в 6 секции VI климата, географ пишет, что они «сейчас, в то время, когда мы составляем эту книгу, уже победили буртасов, болгар и хазар»<sup>55</sup>. Эта фраза также является прямой цитатой из сочинения Ибн Хаукала<sup>56</sup>. Порой ал-Идриси не ограничивается пересказом какого-либо сообщения из трудов более ранних ученых, а излагает целые сюжеты, повторявшиеся по традиции из

---

<sup>51</sup> *Al-Idrisi. Opus geographicum*. P. 40 (пер. цит. по: Арабские источники X–XII веков по этнографии и истории Африки южнее Сахары. С. 298).

<sup>52</sup> Ср. сообщения ал-Истахри (BGA. 1870. P. 52; русский пер.: Арабские источники VII–X веков по этнографии и истории Африки южнее Сахары / Подг. текстов и пер. В. В. Матвеева и Л. Е. Куббеля. М.; Л., 1960. С. 149) и Ибн Хаукала (BGA<sub>2</sub>. 1938. Fasc. I. P. 153; русский пер.: Арабские источники X–XII веков по этнографии и истории Африки южнее Сахары. С. 69).

<sup>53</sup> *Al-Idrisi. Opus geographicum*. P. 918. *Кисра Ануширван* — Хосров I Ануширван (531–579), персидский царь из династии Сасанидов, известный своей строительной деятельностью на Кавказе.

<sup>54</sup> BGA<sub>2</sub>. Fasc. II. P. 393–394.

<sup>55</sup> *Al-Idrisi. Opus geographicum*. P. 920.

<sup>56</sup> BGA<sub>2</sub>. Fasc. II. P. 397.

сочинения в сочинение. Таков, к примеру, приводимый им пространный рассказ о трех группах русов, весьма популярный в мусульманской географической литературе X–XII в.<sup>57</sup>. Таким образом, можно заключить, что ал-Идриси далеко не всегда различал современные ему данные и сведения, передаваемые по традиции.

Наконец, совершенно особым случаем интеграции пространственно-временных характеристик являются умозрительные топонимические конструкции самого ал-Идриси, созданные географом для описания крупных природных объектов — рек, озер, гор. В пределах Восточной Европы это, в первую очередь, относится к реке *Атил*, описания которой в сочинении ал-Идриси недвусмысленно свидетельствуют о том, что при характеристике реки географ использовал информацию, в действительности относившуюся к нескольким гидрографическим объектам. Под рекой *Атил* ал-Идриси подразумевал, во-первых, нижнее и среднее течение Волги, начиная от места впадения в нее р. Камы, которую географ принимал за верховья *Атила*, и во-вторых, нижний Дон (от излучины до устья), Азовское море и Керченский пролив, рассматриваемые как «рукав», ответвляющийся от основного течения *Атила* и текущий в Черное море<sup>58</sup>. Представление об Азовском море как о продолжении нижнего течения Дона и Керченском проливе как о донском устье ал-Идриси позаимствовал у средневековых итальянских мореплавателей. Что касается представления о связи нижнего течения Дона с нижней Волгой, то оно было распространено в арабской географии задолго до ал-Идриси и отражало реальный маршрут воинов, купцов и путешественников, двигавшихся по Волжско-Донскому пути. Верхнее же течение реальной Волги было плохо известно ал-Идриси; те скудные данные, которые имелись в его распоряжении относительно городов Верхневолжья, географ никак не связывал с *Атилом* и включил их в описание совсем другой реки Восточной Европы, названной им «Русской рекой» (*нахр ар-Русиййа*) и воплотившей идею о возможности вод-

---

<sup>57</sup> *Al-Idrisi. Opus geographicum. P. 917-918.* См. также: Коновалова И. Г. Рассказ о трех группах русов в сочинениях арабских авторов XII–XIV вв. // Древнейшие государства Восточной Европы: Мат-лы и исследования. 1992–1993 гг. М., 1995. С. 139-148.

<sup>58</sup> *Al-Idrisi. Opus geographicum. P. 831, 834-835, 919-920, 928-929.* Подробный анализ этих данных см.: Коновалова И. Г. Восточная Европа в сочинении ал-Идриси. М., 1999. С. 83-96.

ным путем пересечь Восточно-Европейскую равнину в меридиональном направлении<sup>59</sup>. Точно так же озеро *Турма* нельзя отождествить ни с одним озером Восточной Европы: в рассказе о нем тесно переплелись материалы ал-Хваризми и ал-Баттани об Азовском море, сведения купцов и путешественников об озерах Русского Севера и, возможно, данные литературных источников жанра «описания чудес» (*'аджа'иб*)<sup>60</sup>. Среди гор Восточной Европы нельзя найти точного соответствия горе *Кукайя*, поскольку в этом орониме заключено обобщенное представление об окраинных, труднодоступных, заснеженных и безлюдных районах Севера<sup>61</sup>.

### **Ибн Са'ид ал-Магриби**

Сочинение испано-арабского историка, географа, поэта и путешественника XIII в. Ибн Са'ида ал-Магриби «Книга географии о семи климатах» уже в самом названии обозначает принципы, на которых географ строит землеописание. Сведения о странах и народах Земли в книге Ибн Са'ида распределены по семи климатам, каждый из которых, как и у ал-Идриси, разбит на десять секций. Правда, в отличие от ал-Идриси, у которого семь климатов включали в себя всю ойкумену, Ибн Са'ид располагал климаты на пространстве, заключенном между линией экватора и 50° северной широты. Поэтому в его сочинении добавлены еще два раздела — характеристика земель, лежащих к югу от экватора и к северу от семи климатов; по своей структуре оба раздела идентичны остальным и также состоят из десяти секций каждый. В другом наименовании сочинения Ибн Са'ида — «Китаб баст ал-ард фи ал-тул ал-'ард» («Книга распространения Земли в длину и ширину»)<sup>62</sup> — подчеркивается еще одна принципиальная

---

<sup>59</sup> *Al-Idrisi*. *Opus geographicum*. P. 909, 910, 916. О «Русской реке» см. подробнее: *Коновалова И. Г.* Топоним как способ освоения пространства; *Она же*. Гидрография Восточной Европы.

<sup>60</sup> *Al-Idrisi*. *Opus geographicum*. P. 921, 957 (разбор известий об оз. *Турма* см.: *Коновалова И. Г.* Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы. С. 247-249, 266-268).

<sup>61</sup> *Al-Idrisi*. *Opus geographicum*. P. 910, 916, 959 (разбор известий о горе *Кукайя* см.: *Коновалова И. Г.* Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы. С. 185-187).

<sup>62</sup> Возможен и иной вариант перевода: «Книга распространения Земли в долготу и широту», поскольку слова *тул* и *'ард* употребляются и в терминологическом смысле, для обозначения географических координат.

особенность организации материала: указание географических координат для многих объектов.

Последовательное использование Ибн Са'идом координатного принципа несовместимо с основным способом локализации, практикуемым ал-Идриси — определением местоположения одного пункта относительно каких-либо других в рамках определенного маршрута. Тем самым для Ибн Са'ида исключалась возможность прямого заимствования сообщений ал-Идриси, без нарушения их внутренней структуры, основу которой составляли дорожники. О кардинальной переработке, которой Ибн Са'ид подверг заимствованные им у ал-Идриси сведения, свидетельствует и тот факт, что в тексте «Географии» почти совершенно отсутствуют маршрутные данные с указанием расстояний между пунктами. В тех немногочисленных случаях, когда Ибн Са'ид указывает расстояния между теми или иными объектами, он опирается, главным образом, на книжную информацию, источник которой, как правило, нетрудно установить.

Таким образом, говоря о характере заимствования Ибн Са'идом данных из его главного источника — сочинения ал-Идриси, — следует иметь в виду, что почерпнутые им из «Нузхат ал-муштак» сведения были поставлены испанским географом в иную, чем у его предшественника, систему связей<sup>63</sup>. Благодаря этому Ибн Са'иду удалось создать свою собственную картину физической и этнополитической географии Восточной Европы, в которой он использовал во многом иные принципы временной локализации географических объектов.

В отличие от ал-Идриси, Ибн Са'ид, «локализуя» описываемые им географические объекты во времени, делает это куда более обстоятельно. Если в распределении материала по климатам и секциям Ибн Са'ид руководствуется чисто географическими критериями (координатами), то в пределах секции рассказ о том или ином объекте помещается, как правило, в столь плотный исторический контекст, что историческая составляющая описания нередко заслоняет собственно географическую информацию.

---

<sup>63</sup> Этот вопрос исследован в ряде моих работ: *Коновалова И. Г.* Состав рассказа об «острове русов»; *Она же.* Азовское море в арабской географии XII–XIV вв. // Восточная Европа в древности и средневековье: Автор и его текст. XV Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто. Мат-лы конф. М., 2003. С. 121–125.

Так, после рассказа об острове *ал-Буркан* в Каспийском море, Ибн Са'ид пишет: «К северу от него лежит остров Шийа Кух — тот, на который, спасаясь от татар<sup>64</sup>, бежал хорезмшах 'Ала ад-Дин<sup>65</sup>. Он умер на корабле, прежде чем прибыл туда<sup>66</sup>, и был погребен на острове»<sup>67</sup>. Очевидно, что в этом фрагменте историческая информация призвана играть роль своего рода маркера, при помощи которого географический объект (остров *Шийа Кух*) «локализуется» на ментальной карте читателя сочинения.

Описание же населенных пунктов Восточного Причерноморья превращается под пером Ибн Са'ида в настоящий многоплановый рассказ: «Атрабзунда<sup>68</sup> — известный порт, на рынки которого стремятся иноземные купцы из [разных] стран. Большинство его жителей — [из народа] ал-лакз<sup>69</sup>. К югу от него простирается

---

<sup>64</sup> Татары — обозначение монголов в китайских, мусульманских, русских и западноевропейских источниках, начиная с XIII в. (*Бартольд В. В. Татары // Бартольд В. В. Сочинения. М., 1968. Т. V. С. 559-561; Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. М., 1985. С. 151-158.*)

<sup>65</sup> 'Ала ад-Дин Мухаммад II (1200–1220) — хорезмшах. В его правление Хорезм стал одной из наиболее могущественных держав на мусульманском Востоке, форпостом мусульманской цивилизации в евразийских степях. Государство Хорезмшахов первым приняло на себя удар монголов, двинувшихся на запад. Несмотря на то, что военные силы хорезмшахов превосходили по численности монгольскую армию, они не сумели противостоять захватчикам ни на границах, ни внутри страны. Мухаммад II бежал в Хорасан, откуда намеревался перебраться в Ирак, однако, преследуемый монголами, укрылся на острове Ашур-Ада, расположенном неподалеку от устья реки Гурган и порта Абаскун на юге Каспийского моря (*Бунятов З. М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов: 1097–1231. М., 1986. С. 148.*)

<sup>66</sup> Хорезмшах на самом деле скончался уже на острове, в месяце шавваль 617 г. х. (декабрь 1220 г.), и был там похоронен (*Бунятов З. М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов. С. 148.*)

<sup>67</sup> *Ibn Sa'id al-Magribi. Libro de la extensión de la tierra en longitud y latitud. P. 122.*

<sup>68</sup> Город Трапезунд, крупнейший портовый город Южного Причерноморья, с 1204 г. столица Трапезундской империи.

<sup>69</sup> Этноним *ал-лакз* применялся восточными авторами XIII–XIV вв. для обозначения сразу двух народов — лазов (жителей восточных территорий Трапезундской империи), а также лезгин (*Бартольд В. В. Дагестан // Бартольд В. В. Сочинения. М., 1965. Т. III. С. 410-411; Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. М., 1962. Ч. I. С. 126; Минорский В. Ф. История Ширвана и Дербента. С. 112; Шукуров Р. М. Великие*

на восток большая гора ал-Лакз<sup>70</sup>. Ее называют Горой языков из-за множества наречий, распространенных там. Эта гора соединяется с горой ал-Баб ва-л-Абваб. Большая часть [народа] ал-лакз — мусульмане, совершающие хаджж, но есть там и христиане. Их город Атрабзунда находится у моря, на 64 градусах 30 минутах долготы и 47 градусах широты. К востоку от него расположен город Каса<sup>71</sup>. Он принадлежит [одному] племени из народа ат-турк<sup>6</sup>, принявшему христианство и приобшившемся к цивилизации. Город стоит у моря, на 66 градусах долготы и 47 градусах 53 минутах широты. К востоку от него лежит город Аркашийя, населенный людьми из народа ал-аркаш<sup>72</sup> — одного из племен ат-турк. Они

---

Комнины и Восток (1204–1461). СПб., 2001. С. 53). Неоднозначность этнонима способствовала тому, что имевшиеся в его распоряжении данные о лезгинах Ибн Са‘ид объединил со сведениями о лазах.

<sup>70</sup> Исходя из указанного Ибн Са‘идом расположения горы и учитывая связь ее наименования с этнонимом *ал-лакз* и с описанием Трапезунда, можно было бы полагать, что географ имел в виду лежащие к югу от Трапезунда отроги Понтийских гор. Однако еще одно наименование, которое Ибн Са‘ид дает горе *ал-Лакз* — «Гора языков» — позволяет относить рассматриваемый ороним, скорее, к Кавказским горам. Дело в том, что многие арабо-персидские авторы прилагали эту характеристику к Кавказским горам, подчеркивая наличие там большого числа народностей, говоривших на разных языках (BGA. T. I. P. 186; BGA. 1885. T. V. P. 295; *Al-Maḥūdī. Les Prairies d’or / Texte et traduction par C. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille. Paris 1863. T. II. P. 2*). По мнению В. В. Бартольда, под «Горой языков» Ибн Са‘ид подразумевал Восточный Кавказ (*Бартольд В. В. География Ибн Са‘ида // Бартольд В. В. Сочинения. М., 1973. Т. VIII. С. 109*). В пользу этого предположения говорит и указание Ибн Са‘ида о соединении горы *ал-Лакз* с горой *ал-Баб ва-л-Абваб* («Гора Дербента»), т. е. с Дербентским горным проходом.

<sup>71</sup> Наименование города и народа *Каса*, скорее всего, связано с этнонимом «касаг» («кашак»), который до сих пор сохраняется в языках Кавказа в качестве наименования одного из адыгских народов (*Волкова Н. Г. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. М., 1973. С. 19-21*). Древнерусские источники знают этот народ под названием «касоги» (Полное собрание русских летописей. М., 1997. Т. I. Стб. 65, 146, 166, 446, 477; М., 1998. Т. II. Стб. 26, 55, 62).

<sup>72</sup> Приводимая Ибн Са‘идом форма этнонима восходит к наименованию одного из народов Северного Кавказа «аркеш» («азкеш») (*Бартольд В. В. География Ибн Са‘ида. С. 109*). В описании города *Аркашийя*, по мнению Ж. Т. Рено и У. де Слэна, речь идет о городском центре зихов (*Géographie d’Aboulféda traduite de l’arabe en français et accompagnée de notes*



приняли христианство от миссионеров. Город находится у моря, на 67 градусах 13 минутах долготы и 46 градусах 40 минутах широты. К востоку от него у моря стоит портовый город ал-Анджаз, принадлежащий [народу] ал-курдж<sup>73</sup>, исповедующему христианство. Он расположен на 67 градусах 30 минутах долготы и 46 градусах широты. К востоку от него на море [стоит город] ‘Аланийя. Он населен людьми из народа ал-‘алан, которые являются христианизированными турками<sup>74</sup>. Его координаты — 69 градусов долготы и 46 градусов широты. Ал-‘алан — это многочисленный народ, обитающий в том районе и позади Баб ва-л-Абваб. По соседству с ними живет тюркский народ, называемый ал-ас<sup>75</sup>, похожий на них по своим обычаям и вере. К востоку от [города] ‘Аланийя в бухте на краю моря Синуб<sup>76</sup> лежит город Хазарийя. По своему происхождению он связан с хазарами, которые были истреблены русами. По имени хазар это море также называется Хазарским. Координаты города — 71 градус долготы и 45 градусов 30 минут широты. Он стоит на реке, текущей с севера и впадающей в море»<sup>77</sup>.

---

et d'éclaircissements par M. Reinaud. Paris, 1848. T. II. Première partie; Géographie d'Aboulféda traduite de l'arabe par St. Guyard. P. 286).

<sup>73</sup> Грузины (Géographie d'Aboulféda: Texte arabe publié d'après les manuscrits de Paris et de Leyde aux frais de la Société Asiatique par M. Reinaud et Mac Guckin de Slane. Paris, 1840. P. 203).

<sup>74</sup> Ибн Са'ид ошибочно называет ираноязычных алан тюрками.

<sup>75</sup> Ибн Са'ид приводит самоназвание алан — «асы», которое сохранилось в топонимии Северного Кавказа и Крыма (Бартольд В. В. Аланы // Бартольд В. В. Сочинения. М., 1963. Т. II (1). С. 866-867). Восточные авторы еще в X в. имели представление о неоднородности аланского этнического массива. Так, по свидетельству Ибн Русте, аланы состояли из четырех племен (BGA. 1892. Т. VII. P. 148). Одним из компонентов населения Алании были тюркоязычные болгары, в VIII–IX вв. расселившиеся по правому берегу Верхней Кубани и далее на восток (Кузнецов В. А. Очерки истории алан. Орджоникидзе, 1984. С. 102-103, 149). Возможно, именно к этой части населения Алании могут относиться слова Ибн Са'ида об асах как о тюркском народе.

<sup>76</sup> Ибн Са'ид впервые в арабо-персидской географической литературе приводит новое, современное ему, наименование Черного моря, связанное с именем Синопа (араб. *Синуб*), второго по значению — после Трапезунда — портового города Южного Причерноморья.

<sup>77</sup> *Ibn Sa'id al-Magribi*. Libro de la extensión de la tierra en longitud y latitud. P. 128-129.

Как видно, в данном рассказе — по типу которого построены и многие другие сообщения в сочинении Ибн Са'ида, — опорными точками изложения служат географические объекты (города, горы, море), локализуемые в пространстве через указание их координат. Они образуют смысловой каркас повествования, на который географ «наносит» сведения негеографического толка — исторические, экономические, этноконфессиональные, лингвистические, этимологические.

Порой Ибн Са'ид выстраивает целые цепочки разновременных событий, связанных с тем или иным объектом. Так, говоря о кипчаках (половцах), Ибн Са'ид замечает: «Они ушли в страну ал-Кустантинийа<sup>78</sup>, и на западе у них было множество правителей. Их объединенные силы были рассеяны татарами, которые, увидя их отвагу, взяли их с собой в поход на страну Саксин»<sup>79</sup>. Как известно, половцы еще с начала XII в. стали проникать на территорию северовосточной Болгарии, находившейся под властью Византии. В первые десятилетия XIII в. под натиском монголов приток половцев в Болгарию усилился<sup>80</sup>. Отдельные отряды половцев, спасаясь от монголов, в 20–30 гг. XIII в. ушли на Запад — в Венгрию, Литву, Болгарию<sup>81</sup>. Монголы имели несколько военных столкновений с половцами в 20–30 гг. XIII в. Возможно, Ибн Са'ид имеет в виду эпизод, связанный с половецким военачальником Бачманом, оказавшим монголам упорное сопротивление в 1235–1236 гг.<sup>82</sup>

Приводя данные об Итиле (который он ошибочно называл *ал-Баб*, т. е. Дербентом), Ибн Са'ид пишет: «Город, состоящий из трех частей, располагается на большой реке Асил около места ее впадения в море Табаристан<sup>83</sup>. Южная часть [города] принадлежа-

<sup>78</sup> «Страна Константинополя», т. е. Византия.

<sup>79</sup> *Ibn Sa'id al-Magribi. Libro de la extensión de la tierra en longitud y latitud.* P. 141.

<sup>80</sup> Бибииков М. В. Византийские источники по истории Руси, народов Северного Причерноморья и Северного Кавказа (XII–XIII вв.) // Древнейшие государства на территории СССР: Мат-лы и исследования. 1980 г. М., 1982. С. 114–133.

<sup>81</sup> Плетнева С. А. Половцы. М., 1990. 175, 179–182.

<sup>82</sup> Подробный рассказ о Бачмане сохранился в персидских и китайских источниках (Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. М.; Л., 1950. С. 58–59; Плетнева С. А. Половцы. С. 176–179).

<sup>83</sup> Одно из наименований Каспийского моря в мусульманской литературе. Табаристан — арабо-персидское название области на юге Каспия, лежащей к северу от гор Эльбурса, совр. Мазандаран в Иране.

ла мусульманам, северная — иудеям, христианам и огнепоклонникам. Та же часть, что на острове, была резиденцией хакана хазар, который был иудеем. Затем город разрушили русы, и султанат ал-Хазар прекратил свое существование. Впоследствии [город] был заселен мусульманами, а потом его разорили татары»<sup>84</sup>. Ибн Са'ид использовал здесь как мусульманскую книжную традицию о городах Хазарии и их разорении русами<sup>85</sup>, так и дошедшие до него устные сведения о последующей мусульманизации города и его завоевании монголами. Совершенно очевидно, что для Ибн Са'ида все эти события одновременны, и он располагает их строго по хронологии — Итиль хазарского времени, разрушение города русами, падение Хазарского государства, заселение города мусульманами в конце X — начале XIII в., завоевание его монголами.

В посвященных описанию Восточной Европы разделах сочинения Ибн Са'ида неоднократно встречаются указания на современное автору состояние дел. Во всех случаях употребления географом выражений типа «сейчас», «теперь», «в настоящее время» они, действительно, относятся ко времени написания сочинения. Так, Ибн Са'ид отмечает широкую известность в его время Железных ворот на Кавказе<sup>86</sup>, что соответствует реальной ситуации в районе Дербента, который в XIII–XIV вв. играл стратегически важную роль пограничной крепости, стоявшей на рубеже владений Джучидов и Хулагуидов.

Приводя рассказ об островах русов в Азовском море, Ибн Са'ид замечает, что «русы в настоящее время исповедуют христианскую веру»<sup>87</sup>. Рассказ Ибн Са'ида об островах русов имеет сложный состав и опирается на информацию более ранних арабских авторов<sup>88</sup>, в то время как фраза о христианстве русов при-

---

<sup>84</sup> *Ibn Sa'id al-Magribi*. Libro de la extensión de la tierra en longitud y latitud. P. 121.

<sup>85</sup> О разрушении Итиля русами сообщают многие мусульманские источники (их анализ см.: *Новосельцев А. П.* Хазарское государство. С. 220–230; *Коновалова И. Г.* Падение Хазарии в исторической памяти разных народов // *Древнейшие государства Восточной Европы*. 2001 г. М., 2003. С. 171–190).

<sup>86</sup> *Ibn Sa'id al-Magribi*. Libro de la extensión de la tierra en longitud y latitud. P. 129.

<sup>87</sup> *Ibid.* P. 136.

<sup>88</sup> Подробнее см.: *Коновалова И. Г.* Состав рассказа об «острове русов». С. 179–180; *Она же.* Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы. С. 228–229.

надлежит самому географу и отражает современные ему реалии. Точно так же совершенно оправданно употребление слова «сейчас» применительно к сообщению о принадлежности города Саксина к владениям «потомков Берке»<sup>89</sup> — т. е. к современникам Ибн Са'ида ханам Менгу-Тимуру (1267–1280) и Туда-Менгу (1280–1287) — или к утверждению географа о том, что в Куме и Тереке «и сейчас находят панцири и кольчуги» воинов Хулагу, потерпевших в этом районе сокрушительное поражение от Берке в 1263/64 г.<sup>90</sup>

### Абу-л-Фида

Сочинение сирийского географа первой трети XIV в. Абу-л-Фиды «Таквим ал-булдан» («Упорядочение земель»), будучи произведением общегеографического характера, опирается на широкий круг разновременных источников. Абу-л-Фида приводит обширный список своих источников: труды мусульманских ученых IX–XIII вв. Ибн Хордадбеха, Ибн Хаукала, ал-Бируни, ал-Идрисси, ас-Сам'ани, Йакута, Ибн ал-Асира, Ибн Са'ида ал-Магриби, астрономические таблицы (*зиджи*) и «книги долгот и широт», а также некие «старинные книги»<sup>91</sup>.

Для характеристики восточноевропейских стран и народов Абу-л-Фида использовал также сведения, полученные от современных ему информаторов, которые побывали в тех или иных районах Восточной Европы. Так, Абу-л-Фида ссылается на сообщения лиц, ездивших из Египта в Крым и обратно, в том числе — на послов золотоордынского хана Узбека (1313–1341) в Египет<sup>92</sup>; на рассказы путешественников и купцов, плававших по Черному и Каспийскому морям и посещавших Золотую Орду<sup>93</sup>. Среди информаторов географа были жители золотоордынских городов Исакчи на Нижнем Дунае, Сарая и Булгара на Волге, а также некто, ездивший к далекому северному народу, с которым можно вести меновую торговлю<sup>94</sup>.

<sup>89</sup> *Ibn Sa'id al-Magribi*. Libro de la extensión de la tierra en longitud y latitud. P. 140.

<sup>90</sup> *Ibid.* P. 139.

<sup>91</sup> *Géographie d'Aboulféda: Texte arabe*. P. 1-3, 34, 35, 64, 71, 202, 203, 207, 214, 215, 218-223.

<sup>92</sup> *Ibid.* P. 32-33.

<sup>93</sup> *Ibid.* P. 34, 63.

<sup>94</sup> *Ibid.* P. 201-202, 212, 217.

Несмотря на столь разновременный состав источников, сообщения о географических объектах Восточной Европы, а также о странах и народах этого региона приводятся Абу-л-Фидой, как правило, без указаний на время, к которому относится то или иное известие. Что касается устных данных, то они, по-видимому, априорно рассматривались географом как современные. Цитаты из письменных источников IX–XIII вв. органично включаются им в повествование, так что создается впечатление, что и их сведения также воспринимались самим Абу-л-Фидой как современные.

К примеру, цитируя сообщения Ибн Са'ида, в которых встречаются указания на современные испано-арабскому географу известия, Абу-л-Фида лишь в минимальной степени согласовывает их с находившимися в его распоряжении более свежими данными:

## Ибн Са'ид

Все земли, расположенные к северу от этой стены<sup>95</sup>, в настоящее время входят в пределы [государства] Берке, султана татар-мусульман<sup>96</sup>; а тем, что лежит к югу, владеет сын Хулавуна<sup>97</sup>, султан татар неверных<sup>98</sup>.

## Абу-л-Фида

Все земли, расположенные к северу от стен цитадели, в том числе используемые в настоящее время горные проходы, входят в государство Берке, султана татар-мусульман; а тем, что лежит к югу от них, владеет сын Хулавуна<sup>99</sup>.

---

<sup>95</sup> Имеется в виду крепость в Дарьяльском ущелье на левом берегу р. Терек, напротив места впадения в нее р. Кистинки. Крепость являлась неприступным укреплением, откуда осуществлялся контроль за древней дорогой вдоль левого берега Терека (*Кузнецов А.В.* Алания в X–XIII вв. Орджоникидзе, 1971. С. 156). Во второй половине XIII в. Дарьяльская крепость, будучи важным стратегическим укреплением, стала объектом борьбы между ханами Золотой Орды и Хулагуидами (*Новосельцев А.П.* К истории аланских городов // *Мат-лы по археологии и древней истории Северной Осетии.* Орджоникидзе, 1969. Т. 2. С. 132-133).

<sup>96</sup> Берке стал первым золотоордынским ханом, принявшим ислам.

<sup>97</sup> Под сыном Хулагу, упоминаемым Ибн Са'идом, по всей вероятности, имеется в виду Абака (1265–1282), пришедший к власти еще при жизни Берке и оставшийся немусульманином, в то время как его брат и преемник Текудер (1282–1284) принял ислам и мусульманское имя Ахмад.

<sup>98</sup> *Ibn Sa'id al-Magribi.* Libro de la extensión de la tierra en longitud y latitud. P. 130.

<sup>99</sup> *Géographie d'Aboulféda: Texte arabe.* P. 203.

Золотая Орда была известна Абу-л-Фиде как «государство Берке», но географ знал, что Берке правил в прошлом: «Того, кто правит этим государством в наше время, зовут Узбек»<sup>100</sup>, — замечает он в разделе, посвященном описанию Черного моря. Несомненно, Абу-л-Фиде было известно, что государством ильханов в его время правил не сын Хулагу Абака, а правнук последнего Абу Са'ид (1316–1335). Тем не менее, цитируя Ибн Са'ида и прямо ссылаясь на его данные как на современные, Абу-л-Фиде оставил в неприкосновенности уже устаревшие к его времени сведения о правителях Золотой Орды и Ирана. Он, правда, опустил определение, которое Ибн Са'ид — совершенно справедливо! — дал сыну Хулагу («султан татар неверных»), так как среди Хулагуидов ислам получил статус государственной религии еще при Газан-хане (1295–1304), и во времена Абу-л-Фиды государство ильханов воспринималось как безусловно мусульманское.

Абу-л-Фиде повторяет и слова Ибн Са'ида о том, что в реках Северного Кавказа «и сейчас находят панцири и кольчуги», принадлежавшие утонувшим воинам Хулагу<sup>101</sup>, хотя у Абу-л-Фиды не было современных ему данных, чтобы относящееся ко времени Ибн Са'ида выражение «и сейчас находят» можно было бы распространить и на первую треть XIV в.

Случаи, когда Абу-л-Фиде специально локализует во времени то или иное сообщение, редки и связаны с необходимостью упорядочить сведения целого ряда источников, когда разновременность информации была слишком очевидной для автора.

Так, приводя несколько названий Черного моря — *Humai*<sup>102</sup>, «Крымское», «Черное», «Хазарское», «Армянское», — Абу-л-Фиде отмечает, что под наименованиями «Крымское» и «Черное» это море известно «в наше время», а название *Humai* встречалось ему «в старинных книгах»<sup>103</sup>. Точно так же Абу-л-Фиде различает и известные ему два наименования Азовского

<sup>100</sup> Ibid. P. 33 (рус. пер. см.: Коновалова И. Г. Черное море в описании Абу-л-Фиды. С. 53-55).

<sup>101</sup> Ibid. P. 204.

<sup>102</sup> Море *Humas*, или *Humai* — обозначение Черного моря в сочинениях многих арабских авторов. Название произошло от неверной постановки диакритических знаков в арабской передаче греческого наименования Черного моря *Βουντος* (греч. *Πόντος*, араб. *بنطس*).

<sup>103</sup> Géographie d'Aboulféda: Texte arabe. P. 34.

моря — *Маниташ*<sup>104</sup> и «Азакское»: «Озеро Маниташ ... известно в наше время как море ал-Азак, по имени города, стоящего на его северном побережье»; «море ал-Азак известно в древних книгах как озеро Маниташ»<sup>105</sup>.

Наименование *Ниташ* и *Маниташ* неоднократно встречаются в сочинениях арабских географов IX–XIII вв., в том числе и тех, чьи труды были Абу-л-Фида хорошо известны (ал-Идриси, Ибн Са'ид). Таким образом, Абу-л-Фида не видел принципиальной разницы между сочинениями, относящимися к разному времени, и давал им общее определение — «древние, старинные книги».

В другом месте своего сочинения, говоря о стене, построенной Хосровом I Ануширваном на Кавказе, Абу-л-Фида пишет, что она «с древних времен известна как Железные ворота»<sup>106</sup>.

Таким образом, в представлении Абу-л-Фиды прошлое лишено временной глубины, совершенно не структурировано, в этом «прошлом вообще» рядом оказываются Сасаниды, арабские географы IX–XIII вв. и ханы Золотой Орды, правившие до Узбека. Граница между современностью и прошлым у Абу-л-Фиды размыта, благодаря чему одни и те же события или исторические лица в разном контексте могут фигурировать то как современные автору, то как относящиеся к прошлому (как, например, Берке).

\* \* \*

Рассмотрение сочинений ал-Идриси, Ибн Са'ида и Абу-л-Фиды позволяет выявить основные элементы той своеобразной ментальной конструкции, которой являлось пространство средневекового географа.

Для создания своих сочинений ал-Идриси, Ибн Са'ид и Абу-л-Фида использовали широкий круг источников: сочинения историко-географического характера (созданные как античными и раннесредневековыми, так и мусульманскими авторами), документальные памятники, устные сообщения своих современни-

---

<sup>104</sup> Араб. *Маниташ* (или *Манитас*) — распространенное в арабской географии наименование Азовского моря, восходящее к греч. *Μαιῶτις* (Метотида), искаженному в арабской передаче неверной постановкой диакритических знаков.

<sup>105</sup> Géographie d'Aboulféda: Texte arabe. P. 31, 217.

<sup>106</sup> Ibid. P. 71-72.

ков — дипломатов, купцов и путешественников. В проанализированных мною фрагментах сочинений трех географов выделяется комплекс общих, «базовых» географических сведений, переходящих из сочинения в сочинение. Эти сведения восходят к известиям ранних арабских географов, опиравшихся, в свою очередь, на птолемеевскую традицию, и относятся к элементам оро- и гидрографии региона (в ряде случаев удается проследить и картографическую основу этой информации). Элементы рельефа и — в меньшей степени — гидрографии служат опорными деталями, помогающими географам расположить в пространстве сведения о населенных пунктах или же структурировать пространство для тех областей (как правило, северных), о которых иная информация просто отсутствует.

Лишь для немногих районов Восточной Европы географы XII–XIV вв. располагали «самодостаточными» сведениями, которые сами по себе позволяли составить развернутое описание ряда объектов (такой материал предоставляли, как правило, черноморские лоции, использованные ал-Идриси и Абу-л-Фидой).

В большинстве же случаев фрагментарные современные данные помещались в традиционный контекст, который придавал им связность и целостность. Приемы совмещения новых и традиционных сведений могли быть самыми разными. Если основу рассказа Абу-л-Фиды о северных странах составляют обширные выдержки из сочинения Ибн Са'ида, то последний, обращаясь к книжной информации, не только избегает прямого цитирования фрагментов из сочинений своих предшественников, но подвергает их сообщения основательной переработке. При этом объем заимствованного материала у Ибн Са'ида очень невелик сравнительно с теми возможностями, которые предоставляло ему, скажем, сочинение ал-Идриси. К примеру, Ибн Са'ид совершенно не воспользовался богатыми сведениями ал-Идриси о городах Нижнего Подунавья, Поднестровья, Поднепровья и Северного Причерноморья при составлении своего описания всех этих регионов<sup>107</sup>.

---

<sup>107</sup> Подробнее см.: *Коновалова И. Г.* Восточная Европа в сочинении ал-Идриси; *Она же.* Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы; *Она же.* Физическая география Восточной Европы в географическом сочинении Ибн Са'ида; *Она же.* Восточная Европа в географическом сочинении Абу-л-Фиды.



Сравнение материалов ал-Идриси, Ибн Са'ида и Абу-л-Фиды о Восточной Европе убеждает в том, что, несмотря на очевидную связь этих сочинений, пространственная структура каждого сочинения глубоко индивидуальна. Ибн Са'ид не ставил перед собой задачи приращения знаний о Восточной Европе по сравнению с ал-Идриси; то же самое относится и к Абу-л-Фиде, который не стремился углубить представления Ибн Са'ида об этом регионе. Каждый автор «осваивал» это пространство заново, пренебрегая многими сведениями своих предшественников — не случайно, этнополитическая картина Восточной Европы у Ибн Са'ида и Абу-л-Фиды практически исчерпывается пределами Золотой Орды, несмотря на наличие богатого материала о Руси и Прибалтике в сочинении ал-Идриси. Интерес к тем или иным сведениям ал-Идриси со стороны Ибн Са'ида или к материалам последнего у Абу-л-Фиды диктовался, главным образом, задачами их собственных сочинений, а также содержанием той информации о Восточной Европе, которая поступала в мусульманский мир по современным каналам, которые для второй половины XIII – первой трети XIV в. были почти целиком связаны с Золотой Ордой.

Главным предметом описания во всех трех сочинениях выступали разнообразные географические объекты. Именно они являлись ключевыми точками создаваемого каждым из географов пространства, а также структурообразующими элементами текста, определяющими его жанровую специфику.

Одним из важнейших приемов, используемых географами для характеристики населенных пунктов, рек, озер, гор, были данные исторического плана. Мусульманские ученые рассматривали их как верное средство идентификации географических объектов путем актуализации связанных с ними образов прошлого. Степень использования этого приема у разных авторов могла быть различна.

У ал-Идриси, изложение которого строится на маршрутных данных (как правило, современных автору), исторические сведения дополняют собой собственно географическую информацию, помогают географу последовательно выдерживать принцип полноты изложения, ориентированный на восприятие широко образованного читателя. Вкрапления в ткань повествования сведений о прошлом как бы раздвигают пространство ал-Идриси, придавая ему временное измерение.

Ибн Са'ид, напротив, использует образы прошлого не как дополнение к географической информации, а как основное средство характеристики того или иного объекта, его локализации. Называя объект, Ибн Са'ид создает его географический образ, опираясь, в первую очередь, на связанные с этим объектом воспоминания о прошлых событиях. Размечая создаваемое им пространство географическими координатами описываемых объектов, Ибн Са'ид почти целиком заполняет его сведениями исторического характера, выстраивая их в хронологической последовательности. Поэтому его пространство в гораздо большей степени, чем у ал-Идриси и Абу-л-Фиды, является, если можно так сказать, пространством времени.

В отличие от Ибн Са'ида, Абу-л-Фиды не столько создает географические образы, сколько использует уже готовые. Его рассказ о «северной части Земли», куда входит и Восточная Европа, по преимуществу состоит из обширных цитат из сочинения Ибн Са'ида. Это «историографическое» пространство играет у Абу-л-Фиды самостоятельную роль и сосуществует параллельно с другим, представленным во Введении к сочинению, где дается описание морей, рек и гор на основе современных географу данных.

Наряду с географическими объектами, еще одним элементом пространства средневекового географа являются исторические лица, сами образы которых неразрывно связаны с определенным географическим контекстом. Немногочисленные исторические персонажи, населяющие географическое пространство ал-Идриси, Ибн Са'ида и Абу-л-Фиды, все до одного являются знаковыми фигурами для мусульманского мира. Это Хосров I Ануширван, которому в арабской традиции приписывалось основание почти всех укреплений на Кавказе (именно в этом контексте он и упоминается всеми нашими географами); золотоордынские ханы Берке и Узбек, внесшие большой вклад в мусульманизацию Золотой Орды (с их именами связаны некоторые сведения Абу-л-Фиды о Причерноморье и Поволжье); завоеватель Багдада Хулагу, ведший упорные войны с ханом Берке за обладание Азербайджаном (благодаря рассказу об одном из эпизодов этого соперничества, Ибн Са'ид сообщает новые детали о физической географии Северного Кавказа).

## ГЛАВА 11

# ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ХОД ИСТОРИИ

## СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИНДИЯ\*

Тема времени, всемогущей, всеокрушающей силы издревле привлекала индийских мыслителей, подробно рассматривалась многочисленными философскими школами. Еще в ведийских текстах время, персонифицированное в образе Калы, рассматривалось в качестве одной из ипостасей бога-творца. В пуранах (раннесредневековых текстах, излагающих священное предание индуизма) Кала — важнейший компонент мира и одновременно атрибут бога. Кала воплощал всеобщий закон, согласно которому все живое и неживое, сама Вселенная и даже боги рождаются, проживают отмеренный срок и погибают<sup>1</sup>. Древние и средневековые поэты слагали исполненные горестных или философски бесстрастных раздумий строфы о краткости и бренности человеческой жизни, о бессилии человека перед временем, которое «правит движеньем Вселенной», губит и созидает все сущее, превосходит по силе и значению даже бога, который нуждается во

---

\* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) в рамках исследовательского проекта № 06–01–00453а «Образы времени и исторические представления в цивилизационном контексте: Россия — Восток — Запад».

<sup>1</sup> Время, говорится в «Махабхарате», уничтожает все существа, чей срок на земле истек; оно печет людей, готовит их, как пищу, которую потом поедает Смерть. (*Vassilkov Y. Kalavada (the Doctrine of Cyclical Time) in the Mahabharata and the Concept of Heroic Didactics // Composing a Tradition: Concepts, Techniques and Relationships. Proceedings of the First Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Puranas / Ed. by M. Brockington and P. Schreiner. Zagreb, 1999. P. 21-22*). Не случайно на санскрите и многих других индийских языках *кала* означает одновременно и «время», и «смерть».

времени для того, чтобы создавать и разрушать мир<sup>2</sup>. Однако здесь предметом исследования будет не «время вообще», не философская категория, а то восприятие времени, которое было характерно для средневековых индийцев или, по крайней мере, тех социальных слоев, чей голос позволяют «услышать» сохранившиеся источники.

Как и все народы, индийцы рано начали измерять отрезки времени, пользуясь для этого доступными им способами астрономических наблюдений и вычислений. Ключевой единицей времени для древних индийцев был год (*самватсара*), делившийся на полугодия (*айана*) — «северное», начинавшееся в день зимнего равноденствия, и «южное», начинавшееся в день летнего, а также на двенадцать месяцев, составлявших шесть времен года (*риту*): весна, жаркий сезон, сезон дождей, осень, зима, прохладное время.

В различных регионах существовали собственные календари, каждый из которых считал тот или иной месяц первым: чаще всего это был *чайтра*, приходящийся на март-апрель, и новый год наступал в день весеннего равноденствия. Месяц начинался в североиндийской традиции в первый день после полнолуния (на Юге — с новолуния) и делился на две половины: «светлую», начинавшуюся с полнолуния, и «темную», начинавшуюся с новолуния — всего около 30-ти лунных суток (*митхи*) или чуть более 29-ти солнечных. Кроме того, месяц делился на недели, каждая состояла из семи дней, посвященных, как следует из их названий, семи известным древнеиндийской астрономии планетам — Солнцу (оно тоже включалось в число планет), Луне, Марсу, Меркурию, Юпитеру, Венере и Сатурну. Год состоял из двенадцати месяцев или 354-х дней (каждый второй или третий год был високосным, к нему прибавлялся «лишний» лунный месяц).

День, в свою очередь, делился на тридцать *мухурт*, каждая из которых равнялась приблизительно 48 минутам<sup>3</sup>. В отличие от

---

<sup>2</sup> Столпестковый лотос. Антология древнеиндийской литературы / Сост. И. Д. Серебряков. М., 1996. С. 17. Один из величайших санскритских поэтов, Бхартрихари (VII–VIII вв.), называл время первопричиной рождения, бытия и упадка всего сущего и сравнивал его с кукловодом, держащим в руках нити, которые управляют миром. (Там же. С. 386–387).

<sup>3</sup> *Smith, Brian K. Classifying the Universe. The Ancient Indian Varna System and the Origins of Caste. Delhi, 1994. С. 172–175.*

привычных нам координат (от полуночи до полуночи), день у индийцев, равно как и у средневековых европейцев до изобретения механических часов, начинался с восхода солнца и продолжался до заката, подразделяясь на утро, день и вечер. Очень рано возникла и продолжалась на протяжении всего средневековья традиция делить сутки на «стражи» — отрезки длиной в три *мухурты*, через которые сменялась городская охрана. «Дневные стражи» отсчитывались от полного восхода солнца, «ночные» — от наступления темноты, поэтому в литературе чаще всего действие происходит «в первую стражу ночи», «в третью стражу дня» и т. д.<sup>4</sup> Каждая *мухурта* делилась, в свою очередь, на две *схати*, а кроме того — на ряд еще более мелких и мельчайших единиц, таких, например, как *нимиша* или *нимеша* — «мгновение ока» и им подобных, еще меньших; причем между всеми ними было математически установленное соотношение. Разумеется, подобные мелкие измерения не имели никакого практического значения и были зафиксированы либо в астрономических трактатах, либо в художественных текстах; отразились они и в разговорной речи.

При этом в Индии, как и на Западе до начала использования механических часов, общество не ощущало потребности точно знать, который час (не говоря уже о минутах и секундах<sup>5</sup>). Дата (год, месяц, число) и время суток — эти измерения времени были достаточны, и то, в основном, для образованной элиты и государственного аппарата. Развитие административной и судебной системы привело к осознанию необходимости фиксации времени: согласно древним и раннесредневековым трактатам, на документе, отражавшем тот или иной коммерческий, гражданский или юридический акт, а также судебный иск, должны были быть обязательно указаны год, месяц, половина месяца и день составления<sup>6</sup>. В более точном измерении времени общество практически

---

<sup>4</sup> По «стражам» дня и ночи строился распорядок дня в царских дворцах, ему подчинялась даже личная жизнь государей, как это отражено в ряде литературных текстов. (Столепестковый лотос... С. 204-205; *Cand Bardai*. Prithviraj-rasau. Udaipur, 1955. Vol. I. P. 103).

<sup>5</sup> Стоит напомнить, что на многих сохранившихся до нашего времени средневековых курантах западноевропейских городов минутная стрелка, не говоря о секундной, отсутствует.

<sup>6</sup> *Самозванцев А. М.* Книга мудреца Яджнавалкьи. М., 1994. С. 56, 63.

не нуждалось. Главными часами было солнце, по положению которого и определяли приблизительное время суток.

Вместе с тем, в царских дворцах, в обиходе образованной знати, в храмах и монастырях для более точного измерения времени использовались водяные часы, отличавшиеся от античной клепсидры. Они упоминались еще в источниках первых веков нашей эры. Основным элементом этого нехитрого прибора являлась небольшая медная чаша в форме полусферы; на дне ее было микроскопическое отверстие. Размер чаши, качество металла и диаметр отверстия должны были соответствовать определенным стандартам. Чашу помещали в наполненный водой широкий сосуд, где она плавала на поверхности до тех пор, пока вода, проникая через отверстие, не заполняла чашу, и она не погружалась на дно. Этот период времени и составлял одну *гхати*, половину *мухурты* или примерно 24 минуты. Рядом с водяными часами обычно ставили гонг, удары которого и возвещали время<sup>7</sup>. О таком способе измерения времени в царских дворцах, особняках вельмож и военных лагерях повествуют исторические и литературные тексты<sup>8</sup>.

Источники также сообщают, что водяные часы устанавливались в средние века и на площадях крупных городов, на крепостных башнях, что свидетельствовало о более широком общественном интересе к точному времени. Видимо, гонг, отбивавший время по водяным часам, был весьма распространенным атрибутом городской жизни. По звону гонга горожане узнавали не только *гхати*, но и «стражу»: сначала гонг отзванивал количество *гхати* (от полного восхода солнца), а затем, после паузы, порядковый номер «стражи». Таким образом, двадцать шесть ударов (двадцать четыре плюс еще два после паузы) давали знать о том, что наступил полдень, — от восхода солнца истекли двадцать четыре *гхати*, завершилась вторая стража<sup>9</sup>. Этот способ измерения времени был доступен, стоит повторить, главным образом, знати и жителям крупных городов и крепостей (да и то лишь тем, кто мог непосредст-

---

<sup>7</sup> Sarma S. R. Alam Ishrat. Announcing Time — The Unique Method at Hayatnagar, 1676 // Proceedings of the Indian History Congress. 52<sup>nd</sup> session. Delhi, 1992. С. 426-427.

<sup>8</sup> Cand Bardai. Prithviraj-rasau. Vol. I. С. 103.

<sup>9</sup> Abu-l Fazl Allami. Ain-i Akbari. Vol. III. Trans. by H. S. Jarrett. Delhi, 1978. P. 17-18.

венно слышать удары гонга). Всем прочим было достаточно поднять голову вверх и определить, где находится солнце.

Судя по тем фактам, которыми мы сейчас располагаем, первые механические часы индийцы увидели тогда, когда на их землю ступили европейцы, причем произошло это, видимо, в XVII в., поскольку до того сама Европа знала лишь один вид часов — башенные, затем напольные и настольные, лишь после этого — брегеты и наручные. Индийская знать оценила заморскую диковинку, и дорогие, художественно выполненные часы находили свое место во дворцах правителей, вельмож и богатых купцов. Так, Шриниваса Кави, автор санскритской биографии Ананды Ранги Пиллей, тамильского купца и писателя, служившего в 1742–1761 гг. переводчиком и торговым агентом губернатора Пондишери, французского владения на юге Индии, повествует о том, что в доме Ананды Ранги появилась европейская новинка: «стоит в доме — небольшой механизм — и показывает часы непрерывно, к великому изумлению астрологов, занятых вычислениями, и брахманов, которые теперь точно знают, в котором часу им надо приходиться к государю Шриранге (хозяину дома. — *Е. В.*) за денежным пособием»<sup>10</sup>. Во второй половине XVIII в. правитель Майсура Типу Султан наладил с помощью французских мастеров изготовление часов в казенных мануфактурах своей столицы<sup>11</sup>.

Несмотря на все это, индийское общество, как можно судить по доступным сейчас источникам, в целом довольствовалось знанием таких отрезков времени как дата (год, месяц и его «светлая» или «темная» половина, число, день недели) и время суток, не ощущая при этом потребности в почасовом, не говоря уже о минутном, делении времени. Главными «хранителями времени» были брахманы-астрологи, которые для составления гороскопов нуждались в определении точного времени (хотя бы на уровне

---

<sup>10</sup> Цит. по: *Shulman David. Cowherd or King? The Sanskrit Biography of Anandra Ranga Pillai // Telling Lives in India. Biography, Autobiography, and Life History / Ed. by David Arnold and Stuart Blackburn. Delhi, 2004. С. 191.* Это описание, возможно, не лишено юмористической ноты (выпад в адрес брахманов, живущих на подачки богатого купца).

<sup>11</sup> *Habib Irfan. Introduction // Confronting Colonialism. Resistance and Modernization under Haidar Ali and Tipu Sultan / Ed. by Irfan Habib. Delhi, 1999. С. XXX.*

даты). В отличие от средневековой Европы, где астрология была занятием, доступным лишь элите и осуждаемым церковью, в Индии каждая сельская община имела брахмана-астролога, который вел календарь, составлял гороскопы новорожденных, определял благоприятное время полевых работ, свадеб, праздников, всех событий в жизни деревни и каждого жителя<sup>12</sup>.

Все это способствовало определенной фиксации времени как на уровне крупных социальных единиц, так и на уровне семьи или индивидуума, хотя, видимо, и в начале XX века далеко не каждый индеец мог назвать дату рождения и свой точный возраст (подобное было характерно также для социальных низов Европы и России). Потребность же в почасовом измерении стала ощущаться лишь в конце XIX века в городах, с развитием фабричной промышленности и почасовой, затем поминутной фиксацией трудового процесса, рабочего времени и заработной платы. И поныне различие между европейцами / американцами и индийцами в отношении к точному времени весьма ощутимо: даже занятые в самых современных сферах промышленности и бизнеса индийцы не склонны согласовывать каждое свое действие с движением стрелок на циферблате, обходятся весьма вольно с понятием «точное время» и при этом, с присущей им самоиронией, нередко подшучивают над *Indian time*.

\* \* \*

На ранних этапах развития практически все народы воспринимали течение времени как неуклонное повторение определенного высшими силами цикла. Такой подход (циклизм) был подсказан, подчеркивает М. М. Бахтин, самой «природной и биологической жизнью»<sup>13</sup> с ее чередованием времен года, дня и ночи, а также повторяемостью непосредственно связанных с нею видов деятельности, прежде всего — сельскохозяйственной. Неуклонно повторяемым циклом представлялось и человеческое существо-

---

<sup>12</sup> Знатные и богатые семьи имели собственных астрологов. Придворный астролог был важнейшей фигурой царского окружения и пользовался огромным влиянием на все государственные дела.

<sup>13</sup> *Бахтин М. М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 30.



вание: человек рождался, проходил свой жизненный путь, главные этапы которого были отмечены определенными обрядами (рождение, имянаречение, обучение, возрастные инициации, брак, ритуалы, связанные с основным занятием, религиозным культом и т. д.), а после его смерти тот же цикл практически без изменений повторяли дети и внуки, для которых высшей степенью общественного авторитета было признание полного сходства с предками, внешнего и внутреннего.

Таким образом, умерший продолжал жить в потомстве, почти стопроцентно воспроизводившем жизненный цикл предшествующих поколений; культ предков, распространенный у всех древних народов, обеспечивал контакт между мертвыми и живыми, прошлым и настоящим. Прошлое, настоящее и будущее были неразличимы в сознании людей и сосуществовали в единой плоскости: связь между ними осуществлялась при помощи культовых обрядов и магических действий, позволявших общаться с предками и предсказывать грядущее. Неразрывно связанное с жизнью общества и не воспринимаемое вне конкретных человеческих дел и занятий, время для людей на этом этапе истории «стояло на месте», его движение не проявляло себя в сколько-нибудь заметных изменениях социальной жизни и потому не ощущалось<sup>14</sup>.

Такой этап восприятия времени прошли практически все народы. Кардинальный поворот, как принято считать, произошел с началом распространения христианства. Ход времени впервые вытянулся в линию (линеаризм) и приобрел векторное направление — от первого дня творения до Страшного суда, то есть получил начало и конец. Кульминационной точкой на этой оси стало событие, изменившее весь ход истории человечества — пришествие Христа, его земная жизнь, жертвенная смерть и воскресение, залог будущего спасения для всех людей. Дохристианское прошлое воспринималось как предыстория, подготовка к пришествию Спасителя, настоящее — как подготовка к будущему «концу света» и воздаянию каждому за дела его. Все это воспринимается современными исследователями как важнейший поворот в созна-

---

<sup>14</sup> Там же. С. 436; Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. С. 103-114; Элиаде М. Трактат по истории религий. Т. II. СПб., 2000. С. 285-322.

нии народов, ознаменовавший появление самой идеи исторического развития, эволюции, в конечном счете — прогресса<sup>15</sup>. Близкой по содержанию представляется и линейная концепция времени в исламе, который, как известно, многое заимствовал у иудаизма и христианства.

Подобную трансформацию представлений о времени прошли, как принято считать, лишь передовые, «цивилизованные» народы (из числа которых мусульмане, несмотря на присущий их восприятию времени линейизм, все же исключались). Что же касается остального Востока, и в первую очередь Индии, то там, как считали и до сих пор считают многие исследователи, вплоть до XX века «сознание человека и общества оставалось замкнутой системой микро- и макроциклов, из которых слагался индивидуальный и социальный опыт, закрепляемый религией. Он оказывал обратное, попятное воздействие на ход исторического процесса, нередко придавая ему цикличную замкнутость»<sup>16</sup>. По мнению Д. Е. Фурмана, «создав картины вечного мира, где все движется по неизменным законам и ничего нового не возникает, а есть лишь движение по кругу, и индийцы, и китайцы создали предельно устойчивые традиционные цивилизации, где действительно все «движется по кругу». Исключив идею поступательного движения из картины мира, они исключили его и из своих социумов»<sup>17</sup>. «Неизменяемость» социальных условий, — полагает Л. Б. Алаев, — породила особое отношение к времени — отсутствие ощущения его движения. Индийское ощущение времени противостоит не только линейному, но и циклическому его пониманию, хотя последнее было в Индии распространено»<sup>18</sup>. Именно с этим «специфическим восприятием времени» в индологии долгое

---

<sup>15</sup> Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. С. 120-121; Ле Гофф Ж. Другое средневековье. Время, труд и культура Запада. Екатеринбург, 2000. С. 40-43.

<sup>16</sup> Павлов В. И. К стадияльно-формационной характеристике восточных обществ в новое время // Жуков Е. М., Барг М. А., Черняк Е. Б., Павлов В. И. Теоретические проблемы всемирно-исторического процесса. М., 1979. С. 263.

<sup>17</sup> Индия и Китай: две цивилизации — две модели развития. Круглый стол // Мировая экономика и международные отношения. 1988. № 6.

<sup>18</sup> Алаев Л. Б. Темп и ритм индийской цивилизации // Цивилизации. Вып. 1. М., 1992. С. 127.

время связывался так называемый феномен «антиисторизма индийской мысли», что выражалось, по мнению сторонников этой концепции, в отсутствии традиций исторического писания в Индии до мусульманского завоевания в конце XII – начале XIII в.<sup>19</sup>

Действительно, концепция времени, закреплённая в древнеиндийских текстах и сохранявшаяся в индусской (точнее — «высокой», брахманской) традиции на протяжении всего исследуемого периода, предстает как циклическая. Время от начала творения мира богом Брахмой и до разрушения мира богом Шивой (*пралая*) составляет космический цикл или «сто лет Брахмы»; каждый «год Брахмы» делится на 360 равновеликих «дней» и «ночей». «День Брахмы» составляет одну *калпу*, равную 4320 млн. земных лет или 1000 *махаяуг* — «великих эр». Одна *махаяуга* делится, в свою очередь, на четыре *юги* — эры. Каждую *югу* открывает *крита*, Золотой век всеобщего счастья, изобилия и блаженства, равный 4800 годам. За ним следуют *трета* длиной в 3600 лет, *двапара* длиной в 2400 лет и *кали* длиной в 1200 лет, каждая из которых представляет определенную степень упадка мировой гармонии, достигающего своего апогея в последнюю эру, *калиюгу*. Именно в конце *калиюги* бог Вишну в своем десятом воплощении Калкина (в имени которого сразу обращает на себя внимание корень *кала* — время), всадника на белом коне, восстанавливает нарушенный миропорядок, истребляя неправедных царей, грешников и варваров, после чего наступает новая *юга*, открывающаяся Золотым веком *крита*<sup>20</sup>, и весь цикл повторяется снова.

Уже начиная с ведийских времен, циклическое повторение времени ассоциируется с образом «колеса времени» (*калачакра*), ось которого закреплена неподвижно, и каждая точка в непрестанном вращении возвращается на прежнее место<sup>21</sup>. Концепция циклического времени усиливалась и подкреплялась основопола-

---

<sup>19</sup> Dumont L. Homo Hierarchicus. The Caste System and Its Implications. Delhi, 1970. P. 195; Алаев Л. Б. Средневековая Индия. СПб., 2003. С. 18-19. «Родоначальником» данной концепции явился автор опубликованной в 1817 г. «Истории Британской Индии» Джеймс Милль (*Mill J. History of British India*. Vol. I. Delhi, 1972. P. 28-29).

<sup>20</sup> Thapar R. Time as a Metaphor of History: Early India. Delhi, 1996. P. 11-23; Вишну-пурана. С. 20-22, 150-154.

<sup>21</sup> Thapar R. Time as a Metaphor of History. С. 16-17; Vassilkov Y. Kalavada... P. 21.

гающим учением о круговороте бытия, переселении душ — *сансаре* и *карме*<sup>22</sup>. Таким образом, бесконечным оказывалось не только мировое время, но и время жизни индивидуальной души. Это дало возможность ряду исследователей утверждать, что «неприятие представления о движении времени (за исключением представления о постоянном «ухудшении») связано с концепцией неизменности кастового деления, перерождения, переселения душ, с идеей воздаяния в будущих жизнях»<sup>23</sup>.

Имеются ли реальные основания считать, что для индийцев доколониальной эпохи время действительно «стояло на месте», не принося никаких изменений в общественную жизнь и не осознаваясь социумом как процесс, связанный с определенным развитием? Причем здесь следует уточнить, что речь в данном контексте должна идти именно о неподвижном времени, ибо оговорка о «постоянном ухудшении» значительно меняет дело: если общество считает, что «становится хуже», то оно осознает изменения во времени, пусть и негативные. Именно так мыслил «прогрессивный Запад» на протяжении большей части средневековья. И была ли концепция циклического времени единственной на протяжении всего периода древности и средневековья и, как следствие, ответственной за «стагнационный», «застойный» характер индийского общества до прихода английских колонизаторов?

Чтобы разобраться в этом комплексе проблем, следует начать с решения более узкого вопроса: является ли циклическое время полным и абсолютным антиподом времени линейному, не могут ли эти две концепции сосуществовать?

Если вновь обратиться к Западной Европе, которую после принятия христианства принято считать эталонным ареалом распространения линейной концепции времени, то более пристальное исследование приводит к не столь однозначным результатам. Оказывается, христианский линейизм на протяжении всего средневековья сосуществовал с языческим циклизмом. С одной стороны, образованная элита, главным образом — клир, обращалась к сочинениям античных авторов, в которых концепция цик-

---

<sup>22</sup> См. подробнее: Эрман В. Г. Ведийская религия // Древо индуизма. М., 1999. С. 62-63.

<sup>23</sup> Индия и Китай... С. 69.

лического времени была широко распространена, и вряд ли св. Августин столь резко и горячо опровергал бы эту концепцию, если бы она не смущала умы его современников<sup>24</sup>. С другой стороны, циклизм продолжал жить в народных представлениях, и христианская религиозная практика не могла не учитывать этого. Церковные праздники подстраивались под природный цикл, многие из них просто замещали, и то не абсолютно, языческие календарные обряды. Сам христианский календарь с его двенадцатью главными праздниками, отмечающими основные события земной жизни и воскресения Христа, представляет собой не что иное, как ежегодно повторяющийся круговой цикл. «Движение по линии и вращение в круге, — отмечал А. Я. Гуревич, — объединяются в христианском переживании хода времени»<sup>25</sup>. Отвергаемая католической церковью идея циклического времени (включая и заимствованную у Пифагора концепцию переселения душ) неоднократно возрождалась в учениях средневековых неортодоксальных сект и ряда философско-теологических школ. Особенно стойко держался циклизм в народном сознании<sup>26</sup>.

Подобно тому, как христианский линейризм не явился полным отрицанием циклизма, в Индии концепция «колеса времени» и догмат о переселении душ не исключали и линейного восприятия времени. В качестве непрерывно повторяемых циклов осознавались бытие живой природы, цепь перерождений человеческой души и существование Вселенной, которая неоднократно создавалась и разрушалась, чтобы вновь быть созданной. Но все эти циклы мыслились как громадные, непостижимые для человеческого ума, абстрактные отрезки времени (миллионы лет). Со всем иным было осознание человеческой жизни в рамках одного рождения и существования общества (касты, рода, города, храма, местности, страны) в период каждой из четырех *юг*, и особенно последней — *калиюги*, которая, и это стоит отметить особо, не случайно является намного более короткой, чем три остальные — период в 1200 лет выглядит вполне исторически осязаемым. По

---

<sup>24</sup> *Balslev A. N. A Study of Time in Indian Philosophy. Wiesbaden, 1983. P. 141-143.*

<sup>25</sup> *Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. С. 121.*

<sup>26</sup> Там же. С. 156-157.

мнению известного индийского историка Р. Тхапар, длинные периоды трех первых *юг* цикла словно подчеркивают отдаленность мифологического времени от времени исторического, представляемого *калиюгой*<sup>27</sup>.

Возникновение линейного восприятия времени было непосредственно связано с учением о *дхарме* — общественном порядке, при котором каждая *варна* / каста и каждый человек неуклонно выполняет обязанности и обладает правами, соответствующими кастовому статусу<sup>28</sup>. *Дхарма* была важнейшим проявлением космической гармонии, установленной Абсолютом, и проявлялась с наибольшей полнотой в первую *югу* — *критаюгу*, другим названием которой было *сатъяюга* — Праведный век, имеющий свою точку отсчета — всемирный потоп, ознаменовавший конец предшествующего цикла (после истребления грешников Калкином). В это время, утверждают древние тексты, все люди были безгрешны, счастливы, здоровы и жили по 400 лет (согласно другим версиям — столько, сколько хотели). В *критаюгу дхарма* господствовала безусловно, ничем не нарушаемая; но затем началась ее постепенная деградация, и в последующие две *юги дхарму* приходилось поддерживать лишь усилиями таких праведных царей, как Рама, герой эпоса «Рамаяна», и Юдхиштхира, старший из братьев-пандавов, героев «Махабхараты». *Двапараюга*, третья эра цикла, заканчивается великой битвой на Курукшетре, кульминационным событием «Махабхараты», и лишь только эта кровавая и страшная, поистине пиррова, победа Юдхиштхиры и его братьев позволила на какое-то время вновь установить изрядно пошатнувшуюся *дхарму*.

Но после битвы начинается четвертый и последний (в цикле) век — *калиюга*, когда упадок *дхармы* достигает высшего предела. Древняя и раннесредневековая литература изобилуют мрачными описаниями ужасов *калиюги* (природные катаклизмы, неправедность царей, всеобщий разврат и — самое страшное — нарушение варновой иерархии, в результате чего неприкасаемые и шуд-

---

<sup>27</sup> Thapar R. Cultural Pasts. Essays in Early Indian History. Delhi, 2000. P. 736-737.

<sup>28</sup> См. подробнее: Сыркин А. Я. Дидактика классического индуизма // Древо индуизма. М., 1999. С. 100-104.

ры прорываются на верхние ступени социальной лестницы, а брахманы оказываются оттесненными вниз). Восстановить окончательно разрушенную *дхарму* может только пришествие Калкина, сопровождающееся страшными природными катастрофами, истреблением несправедливых царей и варваров. В этих мрачных картинах, нередко приобретающих вид эсхатологических пророчеств, современные исследователи с полным основанием ищут свидетельства реальных общественных катаклизмов и перемен, знаменовавших переход от древности к средневековью<sup>29</sup>.

Но в данном случае важнее то, что внутри одного цикла, продолжающегося 12 000 лет, время воспринималось как линейное. Его отсчет начинался от потопа, впоследствии оно получило еще одну основополагающую веху — битву на Курукшетре, с которой начиналась *калиюга*, а затем и конечный пункт — пришествие Калкина, знаменующее одновременно и «конец света», и начало нового творения. Роль великой битвы в качестве важнейшего временного рубежа трудно переоценить: в отличие от потопа, отделенного от *калиюги* слишком большим промежутком времени, это событие воспринималось как историческое, не столь давнее, зафиксированное в эпосе сперва устно, потом письменно. К главным героям «Махабхараты» возводили свой род многие древние и средневековые государи; великая битва открывала отсчет достаточно четко фиксируемого общественным сознанием исторического времени, непосредственно связанного с прогрессирующим упадком *дхармы* и движущегося по прямой линии к своему эсхатологическому завершению — пришествию Калкина.

Идея поступательного, линейного движения времени (внутри одной *махаюги*) нашла отражение и в образности древних и ранне-средневековых индийских текстов: ведь сравнение времени с колесом является отнюдь не единственным. Не менее часто время приравнивается к водному потоку, ветру, огню — стихиям, ассоциируемым не столько с круговым движением, сколько с линейным<sup>30</sup>. Идея поступательно движущегося времени, отмечает Р. Тхапар,

---

<sup>29</sup> Sharma R. S. The Kali Age: A Period of Social Crisis // The Feudal Order / Ed. by D. N. Jha. Delhi, 2000. P. 61-78; Yadava B. N. S. The Problem of the Emergence of Feudal Relations in Early India // Ibid., P. 79-120.

<sup>30</sup> Vassilkov Y. Kalavada. P. 21-22.

столь ярко выражена в древнеиндийских и раннесредневековых текстах, что можно только удивляться, почему современная наука отказывает индийцам в способности воспринимать линейное развитие времени и связанные с ним изменения<sup>31</sup>.

Таким образом, внутри значительного временного отрезка в 12000 лет, и особенно во время последних 1200 лет *калиюги*, время не просто воспринималось как линейное, оно приносило с собой весьма ощутимые изменения, причем изменения негативные. С каждой *югой дхарма* все более слабеет, усиливаются беззаконие и безнравственность. Даже и внутри одной *юги* прошлое всегда лучше предыдущего, древнее — нового. Во многих произведениях средневековой литературы описаны идеальные цари, мудро и справедливо правящие благочестивыми и счастливыми подданными, процветающие страны и города, где «если и били кого-нибудь, то лишь фигуры на шахматной доске, если и носили на руках цепи, то лишь из живых цветов... а воровством занимались только красавицы, похищавшие разум мужчин кокетливыми взглядами»<sup>32</sup>. Все красочные описания такого рода относятся, как правило, к давним временам, что подчеркивается соответствующими зачинами типа «давным-давно».

Все же, что касается современной автору эпохи, то, за исключением традиционных панегириков правящим государям (они, кстати, присутствуют далеко не везде), тон меняется на негативный. В знаменитой «Рамаяне» Тулсидаса, самой известной средневековой переработке древнего эпоса (XVI в.), с пространственным описанием благоденствия народа во время правления Рамы контрастирует мрачная картина всеобщего упадка в эпоху *калиюги*<sup>33</sup>. Точно такой же схемы придерживались и другие средневековые поэты<sup>34</sup> — видимо, противопоставление «доброе старое

<sup>31</sup> *Thapar R. Time as a Metaphor of History. С. 24-25.*

<sup>32</sup> См., напр.: *Alam, Madhavanal Kamkandala. Hindi premgatha kavya sangrah. Allahabad, 1943. P. 207; Сомадева. Дальнейшиехождения царевича Нараваханадатты / Перевод, предисл. и примеч. И. Д. Серебрякова. М., 1976. С. 237. Серебряков И. Д. «Океан сказаний» Сомадевы как памятник индийской средневековой культуры. М., 1989. С. 129-130.*

<sup>33</sup> *Gosvami Tulsidas krit sacitr Ramcaritmanas. Allahabad, n.d. P. 999-1078.*

<sup>34</sup> См., например: *Surdas. Sursagar. Mathura, 1970. С. 243-244.*



времени» и ужасов *калюги* стало в литературе индийского средневековья канонем, отражавшим господствовавшее в обществе представление о том, что изменения, приносимые течением времени, всегда неблагоприятны. Поэтому главной целью добродетельного и праведного монарха было сохранение *дхармы*, что однозначно воспринималось как недопущение каких-либо общественных нововведений, а также максимально возможное возвращение всего того, что было уже изменено ходом времени, к идеалам предшествующих эпох.

Представление о том, что мир «стареет» и время «портится», средневековые индийцы полностью разделяли со своими западноевропейскими современниками. Идея «прогресса», которую ассоциируют с утвердившимся на христианском Западе линейным восприятием времени, касалась лишь сферы духовной, божественной: чем ближе к концу света, тем ближе Царство Божие; чем дальше от мрачных времен язычества, тем более приближаются люди к познанию истинной веры<sup>35</sup>. Но никакого «прогресса» на грешной земле не было и не могло быть: напротив, с течением времени все на земле становится хуже, люди деградируют физически и духовно, справедливые обычаи старины уступают место неправедным законам.

Обличение мрачных сторон современного бытия и противопоставление ему «доброе старое время» было столь же обычным для средневековых западноевропейских авторов, как сетование на ужасы *калюги* для их индийских собратьев. Католические философы и теологи констатировали упадок веры и добродетели<sup>36</sup>. Поэты жаловались на то, что «правда спит, убит закон, / превратился храм в притон», и предвидели наступление «последних времен», когда «скоро гром над всеми грянет, / мир продажный в пропасть канет»<sup>37</sup>. Причем так мыслили не только «хулиганы» — ваганты, из произведений которых взяты две предыдущие цитаты, но и благочестивый трубадур Кретьен де Труа, призывавший свою аудиторию: «Оставив это время злое, давайте всмотрим-

---

<sup>35</sup> Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. С. 137-138.

<sup>36</sup> Там же. С. 123-137.

<sup>37</sup> Поэзия трубадуrow. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов. М., Библиотека всемирной литературы, 1974. С. 459.

ся в былое»<sup>38</sup>. Именно тогда, когда всеобщая греховность превысит намеченную богом меру (*дхарма* придет в полный упадок, сказали бы индусы), и настанет Страшный Суд, к которому нынешнее «время злое» неуклонно приближает человечество.

Линейное восприятие времени было в целом характерно практически для всей древней и средневековой литературы Индии, начиная уже с эпоса. И в «Махабхарате», и в «Рамаяне» действие разворачивается по осевому принципу, который, разумеется, далеко не всегда строго выдерживается, и различные временные пласты оказываются смещенными, что вполне естественно для текстов, существовавших многие столетия в устной традиции. В обеих поэмах, и особенно в «Махабхарате», герои основного сюжета продолжают длинную генеалогическую линию, которая в большинстве случаев не пресекается и с их смертью. Первые слушатели или исполнители эпических поэм связаны с их основными героями узами прямого родства: так «Рамаяну» исполняют сыновья Рамы, а «Махабхарата» впервые звучит на великом жертвоприношении змей, которое совершает правнук одного из героев эпоса — Арджуны<sup>39</sup>.

Таким образом, время непосредственных событий, о которых повествует эпос, представляется не точкой на окружности, а отрезком прямой линии. Начало этой линии уходит в далекие времена, смыкаясь с мифологическим временем, и включает предысторию основных событий эпоса, прежде всего — генеалогию героев. Далее следуют непосредственно отраженные в основном сюжете события с многочисленными, особенно в «Махабхарате», возвратами к далекому прошлому во вставных эпизодах, имеющих характер повествований о «делах давно минувших дней», которые слушают персонажи основного сюжета. Реально между героями эпоса и временем его создания проходят столетия<sup>40</sup>, которые в самом эпосе спрессовываются в более короткий отрезок — произведение впервые исполняется при жизни самого ге-

---

<sup>38</sup> *Кретьен де Труа*. Ивэйн, или Рыцарь со львом. Перевод В. Микушевича // Средневековый роман и повесть. М., Библиотека всемирной литературы, 1974. С. 31.

<sup>39</sup> *Гринцер П. А.* Древнеиндийский эпос: генезис и типология. М., 1974. С. 111-112, 158.

<sup>40</sup> Там же. С. 166.

роя его сыновьями («Рамаяна») или его правнуком («Махабхарата»). От этих потомков временная линия протягивалась все дальше и дальше, тем более что в средние века большинство правящих феодальных кланов возводило свой род к персонажам того или другого эпоса.

В Индии наступление средневековья, в отличие от Европы, не сопровождалось разрывом с античной традицией. Поэтому, разрабатывая новые сюжеты, средневековые авторы иногда ощущали необходимость как-то соотнести их с древним эпосом на оси времени. Так, в «Океане сказаний» Сомадевы, прославленной кашмирской эпопее XII века, герои дважды совершают своеобразные «экскурсии» по местам, связанным с «Рамаяной». Первый раз это происходит во вставном романе о приключениях принца Мриганкадатты и его друзей. В своих странствиях они попадают на южный склон гор Виндхья и встречают отшельника, который рассказывает им, что «всего лишь в одном косе<sup>41</sup> отсюда» находится Панчавати, место, где жили в изгнании главные герои эпоса — Рама, его жена Сита и брат Лакшмана. И там до сих пор «дряхлая газель, некогда возвращенная Ситой, с глазами, полными слез, видя, что все пусто кругом, не прикасается к траве»<sup>42</sup>. Время, прошедшее с описанных в «Рамаяне» событий, в восприятии героев романа выглядит как относительно недавнее прошлое: еще жива, пусть и дряхлая (яркая деталь!) газель, тоскующая по своей хозяйке. При этом автор нигде не сообщает о том, что еще продолжается земная жизнь Ситы, и его не смущает, что век газели значительно короче человеческого.

Вторую «экскурсию» совершает сам Нараваханадатта, главный герой эпопеи Сомадевы. В сопровождении одной из своих возлюбленных он оказывается на берегу озера Пампа, близ которого, согласно «Рамаяне», произошла встреча Рамы и Лакшманы с царем обезьян Сугривой и его мудрым министром Хануманом<sup>43</sup>. Здесь герою просто напоминают о событиях эпоса, и никаких живых свидетелей этих событий, подобных дряхлой газели, он не видит. Так прослеживается определенная логика, сви-

---

<sup>41</sup> *Кос* — мера длины, равная примерно 3,5 км.

<sup>42</sup> *Сомадева*. Океан сказаний. С. 317.

<sup>43</sup> Там же. С. 350-351.

детельствующая о том, что и для Сомадевы время является линейным: ведь сказание о Мриганкадатте, которое Нараваханадатта узнает от случайно встреченного отшельника, является вставным эпизодом и хронологически относится к еще более давним временам, чем основной сюжет. Поэтому Мриганкадатта мог застать живых свидетелей событий «Рамаяны», а Нараваханадатта не мог. История Рамы, похождения Мриганкадатты и основной сюжет о Нараваханадатте оказываются таким образом размещенными в определенном порядке на оси времени.

Линейное восприятие времени практически господствует в историко-биографических и героических сочинениях раннего средневековья, а также во многих других жанрах художественной литературы более позднего времени. При этом догмат о переселении душ, нередко являющийся двигателем или важнейшим аспектом сюжета, нисколько не препятствует развертыванию повествования по линейной оси, и предшествующие воплощения героев рассматриваются как их «прошлое», о котором персонажи в нужный момент «вспоминают» или, чаще, «узнают» с посторонней помощью<sup>44</sup>. Разумеется, утверждение линейного восприятия времени не означало исчезновения циклизма: в Индии вообще практически ничто не исчезает, ни одна новая форма общественного бытия не стирает полностью старую, а в течение долгого времени сосуществует с ней. Ярким примером сосуществования циклического и линейного восприятия времени в одном произведении является «Рамаяна» Тулсидаса.

Основной сюжет этой средневековой поэмы, как и в древнем первоисточнике, развивается линейно, представляя собой жизненный путь героя — воплощенного бога — от момента зачатия. Однако Тулсидас, переосмысливший древнее героическое сказание в духе мистического учения *бхакти*, сделал в своей поэме основной акцент на божественной сущности Рамы. Чтобы обрисовать Раму как Абсолюта, творца и первооснову Вселенной,

---

<sup>44</sup> Следует обратить внимание на то, что, согласно индусским представлениям, помнить или знать о своих прошлых рождениях дано лишь избранным мудрецам — *риши*; обычному человеку это недоступно, и даже Рама, воплощенный бог Вишну, узнает о том, кем он был в прошлом рождении, лишь в конце эпоса.

Тулсидас ввел в поэму эпизод игры маленького Рамы с божественной птицей, вороном Бхушунди, влетающим в рот юного царевича и видящим в одномоментном срезе множество прежних миров, которые были уже созданы и разрушены<sup>45</sup>. В каждом из этих миров присутствуют бог-творец Брахма и все прочие божеества индуизма, прародитель Ману, все персонажи «Рамаяны» и сам Бхушунди, проживший в каждом из миров по сто лет. Так Тулсидас воссоздает всю картину циклического времени, но и в этой картине, если к ней присмотреться, есть черты, не соответствующие представлению о повторении одних и тех же циклов в неизменном виде. Это подтверждает мнение индийской исследовательницы о том, что циклическое время, воплощенное в образе колеса, отнюдь не предполагало механического повторения прошлого на каждом повороте и не исключало возможности перемен, наделения каждого цикла новыми чертами<sup>46</sup>.

Во-первых, из увиденных Бхушунди миров «одни были сотворены встарь, а другие совсем недавно», что придает всей концепции определенный линейизм. Во-вторых, и это важно, в каждом мире все элементы в чем-то отличаются от своих аналогов в последующих мирах: природа, боги, люди, все герои «Рамаяны» и даже сам Бхушунди не похожи на себя таких, какими они являются во время повествования. Лишь Рама во всех мирах остается одним и тем же, что, как справедливо отмечает Ю. В. Цветков, подробно исследовавший этот эпизод, соответствует идее *бхактов* о том, что реальный мир изменяем, а потому иллюзорен, неизменяем же и потому реален один Рама-Абсолют<sup>47</sup>. Но для настоящей темы существеннее то, что даже картина циклического времени у Тулсидаса включает черты линейизма, предшествующие циклы осознаются как предыстория, и что между различными циклами существования мира происходят определенные изменения в природе, обществе и характере людей.

Таким образом, темпоральные представления индийского средневековья отличались сложностью и многослойностью,

---

<sup>45</sup> Аналогичный сюжетный ход встречается у многих поэтов *бхакти*, в т. ч. у кришнаитов, которые нередко описывали, как приемная мать Кришны Яшода заглядывает божественному ребенку в рот и видит там весь мир.

<sup>46</sup> *Balslev A. N. A study of Time in Indian Philosophy. С. 147.*

<sup>47</sup> *Цветков Ю. В. Тулсидас. М., 1987. С. 115-116.*

включали в себя и циклизм, и линейризм, «отвечавшие» за соответственно разные сферы бытия. Индийская мысль уже в древности различала *пурану* — предание о полубогочеловеческих мудрецах и героях предшествующих *юг*, и *итихасу*<sup>48</sup> — историю царств, царей и святых более близкой *калийюги*, которая воссоздавалась в текстах самых разных жанров, будь то эпиграфические надписи, царские родословные, родовые панегирики, в средневековье — героические поэмы и баллады, агиографические сочинения, наконец — хроники, которых современные исследователи, оторвавшиеся от стереотипов колониальной индологии, находят все больше. Разумеется, представления «традиционных» индийцев о времени и истории отличались от современных, как отличались они и у других народов, но «чувство истории» существовало и было во многом сходно с воззрениями средневековых европейцев на «доброе старое время» и «портящийся современный мир».

\* \* \*

Подобно другим странам в ту эпоху, средневековая Индия была обществом молодых людей. Средняя продолжительность жизни на том или ином этапе доколониальной истории точно неизвестна, но можно без особого риска утверждать, что она была весьма невелика. Старость традиционно отсчитывалась от рождения внуков, что при широко распространенных ранних браках позволяло причислять к старикам людей, подходивших к сорокалетию. Долгий жизненный срок считался свидетельством особого расположения богов и высоких духовных заслуг, что не является специфически индийским представлением — достаточно вспомнить библейских патриархов. Эпические сказители повествовали о многотысячелетней жизни Рамы, пандавов и других героев, великих мудрецов древности (*риши*). Согласно уже упоминавшимся пуранам, в первые *юги* люди жили сотни лет и умирали лишь по собственной воле. Накопление грехов привело к сокращению человеческой жизни. «В ведах сказано, — поучает «Гарудапурана», — что человек в давние времена жил сто лет. Но, совершая неверные действия, он умирает преждевременно... Челю-

---

<sup>48</sup> Термин *итихаса* складывается из санскритского словосочетания *iti ha asa* — «именно так было».

век, соблюдающий обряды и раздающий дары, живет долго»<sup>49</sup>. Чем дольше жил человек, тем больше возможностей имел для праведной жизни: преждевременная смерть лишала его этой перспективы и способствовала посмертному превращению в злого духа (*прету*) или последующему рождению в низкой касте.

В средние века эти представления сохранялись. Многим прославленным проповедникам религиозно-реформаторских течений *бхакти* и суфизма в агиографических сочинениях приписывали жизнь, намного превышавшую столетие. Своеобразным, не лишенным шутивого оптимизма, отражением таких воззрений явилось название уникального источника, поэмы Банараси Даса «Половина рассказа» (1641 г.) — одновременно автобиографии и хроники небогатой купеческой семьи. Завершая свое жизнеописание в возрасте 55-ти лет, автор пояснил: «Что будет далее — посмотрим. Идеальная продолжительность жизни человека — сто десять лет». Поэтому жизнеописание Банараси названо «Половина рассказа»<sup>50</sup>.

Многие тексты классического индуизма повествуют о возрастных стадиях (*ашрамах*), которые должен был пройти в течение жизни каждый «дважды рожденный», т.е. член одной из трех высших *варн*: ученик (*брахмачарин*), домохозяин (*грихастха*), отшельник (*ванапратста*) и странствующий аскет (*сангьясин*)<sup>51</sup>. Эта идеальная схема, видимо, даже в брахманской среде не воспринималась и не воспроизводилась буквально, но представления о том, что человеческая жизнь делится на определенные возрастные стадии, каждой из которых соответствуют фиксированные нормы социального поведения, сохранялись. Более того, принадлежность человека к той или иной возрастной группе имела большее значение, чем его конкретный возраст, который, как уже отмечалось, значительному большинству средневековых индийцев не был известен. Традиция составления гороскопов новорожденных требо-

---

<sup>49</sup> Тюлина Е. В. Гаруда-пурана. Человек и мир / Перевод с санскрита, исследование, комментарий. М., 2003. С. 159-160.

<sup>50</sup> Банараси Дас. Половина рассказа. Семейная хроника XVI–XVII вв. / Предисловие и перевод с хинди Е. Ю. Ваниной // Голоса индийского средневековья. М., 2002. С. 240.

<sup>51</sup> См. подробнее: Сыркин А. Я. Дидактика классического индуизма. С. 102-103, 120.

вала фиксации месяца, дня, точного времени (вплоть до *мухурты*) рождения, но не года. Поэтому для характеристики человека и оценки его поведения было важнее знать не точное число прожитых им лет, а к какой возрастной группе он принадлежит.

Каждая возрастная группа имела четко определенный свод прав и обязанностей, поведенческих стереотипов. Средневековые тексты содержат подробное описание стиля жизни учеников, домохозяев и аскетов. При этом особое внимание уделялось тому, чтобы на каждой жизненной стадии человек выполнял предписанные именно ей обязанности и никакие другие. Если период ученичества, будь то брахмана или ремесленника, связывался с абсолютным подчинением гуру / мастеру, служением ему, целомудрием, воздержанием от удовольствий и какой-либо самостоятельной деятельности, то домохозяину прямо предписывались в качестве жизненных целей *артха* — достижение материального благополучия и *кама* — чувственное наслаждение. Переход из одной возрастной группы в другую сопровождался совершением определенных ритуалов, среди которых для членов трех высших *варн* особое значение имел обряд *упанаяна* — надевание священного шнура (*джанеу*), знаменовавший вступление мальчика в число «дваждырожденных» и переход его в возрастную стадию ученичества. Специальными церемониями отмечалось окончание обучения и вступление в ряды домохозяев (это снимало с бывшего ученика обет celibата и открывало возможность создания собственной семьи), что было принято среди самых разных по статусу каст, от брахманов до ремесленников.

По мнению известного исследователя Ф. Ариеса, до XII века Европа не ценила детей как таковых, не отводила детству особого места в социальной и культурной жизни и не создавала традиций его художественного отображения<sup>52</sup>. А. Я. Гуревич считает это утверждение несколько преувеличенным, но все же соглашается с тем, что западноевропейское средневековье, несмотря на широко распространенный культ младенца Христа и евангельские высказывания об особой избранности детей, не имело четких представлений о детстве как о специфическом периоде физической и духовной жизни человека. Действительно, в средневековой Евро-

---

<sup>52</sup> *Aries Ph. Centuries of Childhood. Harmondsworth, 1973. С. 31.*



пе ребенок рассматривался как уменьшенная или незрелая, недоразвитая копия взрослого, иногда — как неполноценный, слабоумный человек. Ребенка кормили, одевали, обучали как взрослого; в своем поведении, манерах и даже играх он должен был подражать старшим<sup>53</sup>.

С этой точки зрения, Индия, казалось бы, обладала определенной спецификой. Яркие и трогательные картины детских забав и мотивы восхищения, умиления ребенком нередки в литературе индийского средневековья. Лепет малого дитяти сравнивался поэтами с мифическим напитком бессмертия — *амритой*. «Дети — молодая поросль в саду жизни. Любить их — значит обращаться мыслью к Творцу», — говорил могольский падишах Акбар (1556–1605)<sup>54</sup>. Детство не входило в число четырех установленных ортодоксальным индуизмом возрастных стадий, о которых упоминалось выше, и рассматривалось как период от рождения до начала обучения (4–7 лет), во время которого ребенок, еще не прошедший посвящения в члены своей сословно-кастовой группы, являлся как бы не вполне человеком, и потому на него не распространялись требования социального поведения. Забавы, шалости, капризы, непослушание считались для ребенка естественными и потому вполне простительными. Один из сюжетов сборника средневековых басен о падишахе Акбаре и его остроумном придворном Бирбале даже утверждает, что «главнее всех — малое дитя». Чтобы доказать это положение, Бирбал приносит во дворец маленького мальчика, которому всемогущий падишах с радостью позволяет дернуть себя за бороду, на что никто из придворных, поясяет Бирбал, не посмел бы дерзнуть даже в мыслях<sup>55</sup>.

Особое отношение к детству было связано, разумеется, с развитием именно в средние века мистического культа Кришны-младенца: вся поэзия кришнаитского *бхакти* полна прелестных картин детства Кришны, игр и забав божественного ребенка, нежной любви к нему приемных родителей — простых поселян Нанды и Яшоды, не ведающих о подлинной природе своего воспитанни-

---

<sup>53</sup> Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. С. 318-319.

<sup>54</sup> *Abu-l Fazl Allami. Ain-i Akbari. Vol. III / Trans. by H. S. Jarrett. Delhi, 1978. С. 431.*

<sup>55</sup> *Dvivedi R. Akbar Birbal vinod. Benares, 1947. С. 314-315.*

ка. Даже кража масла и простокваши у соседок, подобно другим не слишком благовидным поступкам Кришны, воспринимаются как естественные детские проказы и вызывают у взрослых наигранный гнев, за которым скрыто умиление (Яшода даже грозит отхлестать маленького воришку хворостиной, ее отговаривают сами «потерпевшие»)<sup>56</sup>. Видимо, под влиянием кришнаитской лирики и Тулсидас заставил маленького Раму, так же, как и Кришна, воплощенного бога Вишну, играть с мальчишками, шалить и пачкаться в грязи — сцена, невозможная в древнем эпосе Валмики и созданная под явным влиянием кришнаитской поэзии. Здесь, видимо, индийское отношение к детству отличалось от средневекового европейского: ни христианский канон, ни озарения мистиков не могли представить себе, как маленький Иисус озорничает с мальчишками на улицах Назарета, а дева Мария грозит ему хворостиной.

Еще одним возрастным состоянием, привлекавшим особое внимание средневековых авторов, была старость, отношение к которой отличалось двойственностью. С одной стороны, как уже отмечалось, долголетие считалось божьим благословением, вознаграждением за праведную жизнь. Старость давала право на уважение и авторитет в семье и внутри социальной группы: почтительное отношение к старшим родичам и кастовым старейшинам, безусловное повиновение им было одной из ценностей, общих для всех сословий и каст. Рама прославлялся не только как образец воина и государя, но и как идеальный сын, ради спасения отцовской чести отправившийся в добровольное изгнание. В «Океане сказаний» за историей о сыновьях, которые ослушались родителей и навлекли на себя мучения, следует сюжет о том, что даже неприкасаемый мясник за преданное служение отцу и матери может быть наделен сверхчеловеческими знаниями и проницательностью<sup>57</sup>. Всесильный могольский император публично воздавал своей матери все почести, которые по дворцовому этикету полагались ему самому, включая земные поклоны; падишах Акбар однажды даже лично нес материнский паланкин<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup> *Surdas*. Sursagar. 1970. С. 390-391; 409, 423, 428.

<sup>57</sup> *Соматдева*. Океан сказаний. Избранные повести и рассказы. С. 221-223.

<sup>58</sup> *Mukhia Harbans*. The Mughals of India. Malden US – Oxford UK, 2004. С. 114-116.

Достижение старости, не слишком, видимо, частое в реальной жизни, рассматривалось как счастливый жизненный исход, и в литературе старики обычно описываются в самых благодных красках как воплощение мудрости, опыта и праведной жизни. Негативное отношение или насмешку могла вызвать не сама старость, а неподобающее ей поведение. Так, в «Океане сказаний» с откровенной насмешкой изображен старый раджа, вознамерившийся жениться на юной красавице: «уж настолько он был стар, что от дряхлости даже посерел. Его дрожь словно бы говорила: “Уходи от меня, немощного!”», и весь он трясся, подобно султану из перьев», поэтому «Старость выбрала его себе в мужа — разве изберет такого женщина?»<sup>59</sup>. С другой стороны, старость рассматривалась как «посланица смерти», и во многих произведениях литературы, особенно в поэзии, можно встретить реалистические и даже натуралистические изображения физической дряхлости и болезненности стариков, их скорби по уже ушедшим из жизни близким и друзьям.

В определенной степени осознавая специфику физических характеристик различных возрастных групп, люди средневековья, и индийцы — не исключение, рассматривали человеческую жизнь как «серию состояний, смена которых внутренне не мотивирована»<sup>60</sup>. Иными словами, возрастная эволюция человека воспринималась как набор количественных изменений: «маленький — большой», «слабый — сильный», «несмышленный — умный» и т. д. Поскольку все духовные и даже физические качества считались обусловленными принадлежностью индивидуума к данной социальной группе и потому заложенными изначально, развитие личности с возрастом не осознавалось и не отображалось в литературе, что нашло особенно яркое подтверждение в текстах биографического жанра, историко-героических поэмах и «романах». Так, рисуя прославленного воинской доблестью князя Притхвираджа (1149–1192) шаловливым малышом, придворный бард при этом никогда не забывает, что это прелестное дитя — *уже* Притхвираджд, поэтому «он развивается за месяц так, как другие дети за год»<sup>61</sup>, и с самого рождения наделен всеми добро-

---

<sup>59</sup> *Сомалева*. Океан сказаний. Избранные повести и рассказы. С. 93.

<sup>60</sup> *Гуревич А. Я.* Категории средневековой культуры. С. 318.

<sup>61</sup> *Cand Bardai*. Prithviraj-rasau. Udaipur, 1955. Vol. I. С. 26.

детелями доблестного воина-феодала, включая богатырскую силу, разум, честь и благородную отвагу. Аналогичным образом, авторы многих агиографических сочинений, описывавших жизненный путь прославленных проповедников *бхакти* и суфизма, специально подчеркивали, что святость, благочестие, доброта, пренебрежение ко всему мирскому и сверхчеловеческая мудрость были присущи их персонажам уже в раннем детстве, едва ли не с рождения.

Герои древней и средневековой индийской литературы — это люди без возраста, на протяжении всей своей жизни не меняющиеся физически и духовно. Детство если и описывается, то лишь для того, чтобы вызвать у читателя / слушателя умиление прелестным ребенком и одновременно поведать, что все физические и моральные совершенства были присущи герою уже с рождения. Но основные свои деяния, на стезе воинской доблести или духовного подвижничества, герой совершает, выйдя из детства, в возрасте, по М. М. Бахтину, «максимально удаленном и от материнского чрева, и от могилы»<sup>62</sup>. Перейдя во вторую возрастную стадию, персонаж навсегда застывает в образе молодого, красивого и сильного человека (если агиографический сюжет не требует образа мудрого старца), оставаясь таковым до конца жизни, иногда, как в эпосе, длящейся не одно столетие.

Интересно, что реалистические описания старческих слабостей, как правило, встречаются в поэзии малых форм, например — в антологической лирике или сочинениях поэтов *бхакти*, которые учили своих последователей не гордиться молодостью и помнить о быстротечности земного бытия. Для литературы эпического или биографического жанра такие мотивы не характерны. Биограф князя Притхвираджа Чанд Бардаи проследивает жизнь своего героя от рождения до гибели в возрасте 43-х лет, и в последних главах поэмы Притхвирадж, уже немолодой по меркам того времени человек, ни внешне, ни внутренне не отличается от Притхвираджа-юноши. Даже появление детей и внуков не заставляет героя состариться и измениться: отец и сын нередко изображаются как сверстники, равно молодые и сильные.

---

<sup>62</sup> Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. С. 35.

Так, в «Махабхарате» глубокая старость никак не сказывается на физическом могуществе Бхишмы (как, например, и английского Беовульфа или «шестисотлетнего слона» Рустама у Фирдоуси): этот индийский патриарх на равных сражается со своими внуками. Аналогично в агиографии *бхакти* святой, достигнув духовного просветления и мистического контакта с богом (чаще всего это происходит в детстве), остается внешне и внутренне неизменным до самой смерти. Такой подход полностью разделяли средневековые европейцы, и, например, автора немецкого рыцарского эпоса «Кудруна» нимало не смущало, что одна и та же «юная дева» фигурирует как подруга главной героини и одновременно сверстница ее же бабушки<sup>63</sup>. Средневековая мысль считала главной целью человеческой жизни абсолютное воплощение сословных ценностей, максимальное повторение образа жизни предков или особо чтимых данной группой героев, поэтому, как только подобное совершенство было достигнуто, зачастую еще в первые годы жизни, дальнейшая эволюция человеческого характера, и между возрастными группами, и внутри них, лишалась смысла, а потому не осознавалась и не фиксировалась.

\* \* \*

Постепенная деградация всего и вся, регресс от «доброе старое время» к «последним временам» — единственное, в чем средневековый человек, в Индии или на Западе, ощущал движение времени. С этим в Индии были согласны и индуистские, и мусульманские историки. Во всем остальном, частично включая и человеческую жизнь, время как бы стояло на месте. Хроники включали в себя мифологические события на равных с реальной историей. В художественной литературе время, обозначенное формулами типа «давным-давно», парадоксальным образом оказывалось близким автору и его читателям / слушателям. Средневековому автору ничего не стоило свести воедино исторические персонажи, которые на самом деле были отделены друг от друга

---

<sup>63</sup> Кудруна / Пер. Р. В. Френкель. М., 1984. С. 118, 351. См. также: Вольфрам фон Эшенбах. Парцифаль / Пер. Л. Гинзбурга // Средневековый роман и повесть. М., Библиотека всемирной литературы. 1974. С. 382; Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. С. 145-148.

столетиями и никоим образом не могли встретиться. Так, в санскритской «Повести о Бходже» Баллалы живший в XI в. царь Бходжа Парамара оказывается покровителем великих драматургов Калидасы (ок. IV в.) и Бхавабхути (VIII в.), а также романиста Баны (VII в.)<sup>64</sup>. И даже в более поздних сочинениях, например, агиографии различных направлений *бхакти*, а также в ряде могольских миниатюр, нередко описываются встречи святых, реальный жизненный путь которых был разделен столетиями.

Аналогичным образом мыслили и средневековые европейцы, будь то создатели рыцарских романов или ученые историографы. Историческая мысль средневековья, будь то в Индии или на Западе, характеризовалась, по определению Б. Андерсона, не «радикальным разрывом между прошлым и будущим», а «одновременностью прошлого и будущего в мгновенном настоящем»<sup>65</sup>. Воссоздавая события далекого прошлого, средневековый автор, будь то индус, мусульманин или европеец, неизбежно делал персонажей своими современниками. Представление о том, что одна эпоха чем-то отличается от другой с точки зрения хотя бы материальной культуры, быта, одежды, не говоря уже о мышлении людей, отсутствовало. В восприятии образованной элиты Запада античные греки и римляне представляли феодальную культуру и рыцарство; даже художники эпохи Ренессанса изображали библейских персонажей или античных героев в костюмах современников. Точно так же, иллюстрируя, скажем, «Рамаяну» или «Махабхарату», индийский миниатюрист XVI–XVIII вв. без малейшего сомнения изображал эпических героев в костюмах могольских вельмож.

«Неподвижность» времени в представлениях средневековья означала не только отсутствие историзма в произведениях литературы и искусства, но и абсолютную ориентированность на прошлое во всех построениях социальной жизни, нормах законодательства, государственной политике, ценностях и моделях по-

---

<sup>64</sup> Баллала. История Бходжи / Пер. С. Д. Серебряного // Индийская средневековая повествовательная проза. М., 1982. С. 322-324.

<sup>65</sup> Anderson B. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Development of Nationalism. L., 1983. С. 29-30. См. также: Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. С. 140, 146.

ведения людей. Достоинством человека были древность рода и максимальное приближение к образу жизни предков. Достоинством монарха — неуклонное следование образцам царей и героев прошлого, сохранение в неизменном виде всех законов и обычаев, унаследованных от предков. Ставшие общим местом в индусской литературе сравнения реальных и вымышленных государей с Рамой, Юдхиштхирой или Притхвираджем, равно как в мусульманской — с Рустамом, Хатемом Таи, первыми халифами (или в европейской — с Карлом Великим) были не просто лестью придворных поэтов и хронистов, но абсолютно преваляровавшим убеждением в том, что лучшие времена — в прошлом, и всякий государь должен стремиться в своей политике хоть в какой-то мере исправить «портящееся» время и вернуться в прошлое, максимально приблизиться к образцам эпических героев и славных предков. Приписывая своим персонажам добродетели эпических героев и царей прошлого, хронисты и поэты были абсолютно убеждены в том, что данные идеалы и добродетели вечны, и если тот или иной монарх им не во всем соответствовал, то пусть хоть в памяти грядущих поколений он останется таким, каким *должен быть*.

В позднее средневековье, однако, в воззрениях как индусских, так и мусульманских авторов на ход времени появились новые черты. Прежде всего, они выражались в постепенном осознании того, что время движется, это движение связано с определенными переменами в жизни людей и общественном устройстве, и поэтому далеко не все идеалы и установления далеких предков пригодны для их потомков, люди должны слушать и читать не только предания о далеком прошлом, но и достоверные рассказы о более недавних событиях, а также осмысливать современность. В качестве примера стоит привести обрамленную повесть «Испытание человека» выдающегося поэта и прозаика Видьяпати Тхакура (XV в.).

Рамочный рассказ этого произведения повествует о некоем радже Параваре, который в поисках достойного жениха для дочери обращается за помощью к мудрецу Субуддхи, от которого слышит совет: «Выдай ее замуж за человека!». Далее мудрец поясняет, что человеком можно считать лишь героя, мудреца и умельца, прочие же — «бесхвостые животные». На вопрос о том,

какими приметами обладает подлинный герой, мудрец приводит в пример хорошо известных любому индийцу героев «Махабхараты», на что следует весьма примечательный ответ раджи: «О мудрый Субуддхи! Это ведь все герои другого времени. В наш век, в кали-югу, они не могут служить образцом для подражания». Затем раджа поясняет свою мысль:

Нам слава героев былых / не может служить примером,  
Из-за различий времен / непригодны их идеалы.  
Не тот уже ум у людей, / не та теперь сила в теле,  
Не то уже естество / у рожденных в нашу эпоху<sup>66</sup>.

Этот фрагмент представляет собой наглядный пример сочетания традиционных и новых воззрений на течение времени и ход истории. С одной стороны, автор и его герой полностью разделяют со своими предшественниками, как индийскими, так и западными, представление о «портящемся» времени и о том, что его современники физически и морально уступают эпическим героям. Но, с другой стороны, традиционный подход предполагал, что именно поэтому герои прошлого, славные предки, должны служить идеалом и образцом для подражания, с чем Видьяпати выражает несогласие устами своего персонажа. Царь Паравара, как и сам поэт, несомненно, почитает эпических царей, о которых напоминает Субуддхи, но отдает себе отчет в том, что «это ведь все герои другого времени» и что «из-за различий времен непригодны их идеалы». И далее в повествовании основные человеческие качества подчеркнута иллюстрируются на примерах, взятых не из эпоса или иных древних сочинений, а из средневековой литературы и фольклора, нередко — реальных исторических событий, нашедших отражение в хрониках XIV–XV вв.

В XVI в., особенно в среде «просвещенных философов», составлявших окружение могольского падишаха-реформатора Акбара<sup>67</sup>, утвердилось представление о том, что течение времени может и должно приносить изменения в общественной жизни и мышлении людей. Прежде всего, это находило отражение в не-

---

<sup>66</sup> *Видьяпати. Испытание человека (Пуруша-парикша) / Пер. С. Д. Себряного. М., 1999. С. 6-7.*

<sup>67</sup> См. подробнее: *Ванина Е. Ю. Идеи и общество в Индии XVI–XVIII вв. М., 1993. С. 64-83.*



однократных заявлениях самого Акбара и его приближенных, прежде всего — выдающегося государственного деятеля, мыслителя-рационалиста и писателя Абу-л Фазла Аллами, о несогласии с тем, что общественные институты и идеалы прошлого полностью пригодны для настоящего времени и должны быть примером для подражания. Напротив, говорили «просвещенные философы», государь, руководствуясь принципами всеобщего блага, обязан вносить изменения в унаследованный от предшественников порядок вещей, а разумный и просвещенный человек имеет право на собственный взгляд, расходящийся с заветами предков и даже нормами религии. Отраженные в хронике «Книга Акбара» и трактате «Установления Акбара» представления Абу-л Фазла о времени и истории отличаются от взглядов его предшественников и современников тем, что в них, пожалуй, впервые во всей индийской литературе, довольно четко выражена идея прогресса. Время, согласно концепции этого мыслителя, не стоит на месте, оно движется, принося с собой общественное развитие, причем кульминацией этого развития является правление великого реформатора Акбара<sup>68</sup>.

Индийское общество XVI–XVIII вв. обладало, по сравнению с предшествующими периодами, несравненно более ярко выраженным чувством времени. Это находило выражение в самых разных сферах социальной и культурной жизни. Если подавляющее большинство произведений древней и средневековой литературы Индии не содержит никакой датировки, и исследователям зачастую приходится лишь по косвенным данным определять время, в которое жил и творил данный автор (при этом выдвигаемые версии могут различаться на несколько столетий), то большинство писателей и поэтов позднего средневековья считали необходимым указать дату создания своих произведений. При дворах были учреждены специальные службы, задачей которых было хранить государственные документы и регистрировать происходившие в стране события, создавая таким образом рукописные «бюллетени событий», чем-то напоминавшие «куранты» в допетровской России; аналогичные записи вели специальные чи-

---

<sup>68</sup> См. подробнее: *Олимов М. А.* Эволюция историософских воззрений в фарсиязычной историографии Индии // Восток. 1996. № 3. С. 15-18.

новники при посольствах в других странах и отсылали ко двору своих государей. Позднее средневековье в Индии — это время бурного развития хронистики на разных языках, причем как придворной, так и неофициальной, вплоть до подчеркнуто оппозиционной, причем их авторы все больше декларировали в качестве своей основной задачи фактическую достоверность, подтверждаемую источниками. Многие хроники стали включать в себя статистические данные и тексты подлинных документов.

В то же самое время происходило выделение биографии как специфического жанра, приобретшего особую популярность в позднее средневековье. Причем для биографических сочинений этого периода характерна датировка, которой не было в ранних произведениях такого рода. В качестве примера стоит привести даже агиографическое сочинение — «Игра рождения», житие Даду Дайала, одного из крупнейших проповедников *бхакти* (1544–1605). Это произведение, написанное в 1620 г. Джан Гопалом, принадлежит к агиографической традиции, но при этом, в отличие от других сочинений такого рода, содержит вполне реальную датировку жизни святого: даты рассыпаны по всему повествованию, а в завершающих строфах дана как бы хронологическая таблица основных событий от рождения до кончины учителя<sup>69</sup>.

Мало того, подобно многим другим произведениям агиографической литературы, этот текст повествует о начале духовного пути Даду после встречи с неким «старцем» (некоторые версии текста прямо указывают, что в этом обличье предстал сам бог), попросившим милостыню у игравших мальчишек, среди которых был и одиннадцатилетний Даду, и лишь будущий святой с радостью дал ему монетку. Старец благословил доброго мальчика, вложил ему в рот лист бетеля и с этим «дал вечное познание бога». Но, что отличает «Игру рождения» от других агиографических сочинений, в которых аналогичные эпизоды не редкость, автор особо подчеркивает: «детский ум ничего не воспринял». И лишь через семь лет, в течение которых Даду «занимался другими вещами», он осознал свою миссию, увидел в мистическом озарении бога и начал путь поэта-проповедника *бхакти*.<sup>70</sup> Этот

---

<sup>69</sup> The Hindi Biography of Dadu Dayal / Ed., trans. by M. Callewaert Winand. Delhi, 1988.

<sup>70</sup> Там же. С. 91-92.

небольшой эпизод свидетельствует об определенном сдвиге в восприятии человека и времени. В отличие от других святых, в детстве пренебрегавших обычными играми и с самого рождения сосредоточенных лишь на божестве, Даду в повествовании Джан Гопала ведет себя соответственно возрасту, оказывается не в состоянии осознать свое духовное предназначение. Автор понимает, что возможности одиннадцатилетнего ребенка, даже если это будущий святой, ограничены, и откладывает постижение им божественных истин до более подходящего возраста.

Еще большим чувством времени обладал купец Банараси Дас, автор уже упомянутой поэмы «Половина рассказа». И «общественное время» — история Могольской империи и родного города Банараси Джаунпура, — и «лично-семейное» время — история семьи и самого повествователя, — развиваются в тексте линейно. Практически каждое крупное событие в жизни автора и его семьи датировано, причем подробность датировки (не только год, но месяц и число) предполагает ведение автором дневника и использование каких-то письменных архивов семьи, ибо вряд ли кто-то мог сохранить в памяти точную датировку событий на протяжении почти столетия. Новое для средневековой Индии чувство времени выражается и в том, что, повествуя о событиях собственной жизни с рождения до 55-ти лет, автор «Половины рассказа» вполне реалистично изображает развитие во времени своего внутреннего мира, разницу в мировосприятии ребенка, юноши, зрелого мужчины. Такое развитие стала отражать даже позднесредневековая поэзия кришнаитского *бхакти*: описывая жизненный путь вочеловеченного бога от рождения до зрелости, поэты подчеркнуто фиксировали внимание на психологических и поведенческих особенностях каждой из переживаемых им возрастных стадий. Прелестный младенец реалистично достоверно превращается в озорника-мальчишку, тот — в страстного и изнеженного юношу, на смену которому приходит мудрый и благородный муж — воин, политик, мыслитель.

Новое ощущение времени нашло отражение даже в позднесредневековой научной литературе на санскрите, что было убедительно исследовано американским санскритологом Ш. Поллоком. Созданные в XVI–XVIII вв. трактаты на санскрите по различным проблемам философии, языкознания и теории литературы пред-

ставляли, по мнению исследователя, исключительно консервативный пласт научного мышления; их проблематика, метод исследования, сама система взглядов во многом являлись повторением и комментированием авторитетов тысячелетней давности. Бурное развитие литературы на местных индийских языках заставило приверженцев санскритской учености еще больше законсервироваться в своем узком интеллектуальном кругу, наглухо закрыть все двери для контактов с современным миром.

Но даже в эту осажденную крепость проникли новые идеи, связанные с представлениями о времени. Традиционно древние и раннесредневековые мыслители были для их позднейших последователей как бы современниками, вернее — существовали вне времени и пространства, никакого развития своей науки во времени мыслители не ощущали и не отражали. «Прошлое, — подчеркивает Ш. Поллок, — воспринималось как старший собеседник, как учитель, который уже сделал все основные заявления, а позднейшие участники дискуссии могли лишь комментировать их». Именно в позднее средневековье авторы философских, лингвистических и поэтологических трактатов стали помещать своих предшественников в определенный временной контекст, стали делать различие между авторитетами «древними», «новыми» и «современными», иногда подразделяя их на «приверженцев традиции» и «независимых», причем «новое» и «современное» во многих случаях не осуждалось, а, наоборот, превозносилось, как более продвинутый этап в развитии данной области знания<sup>71</sup>.

Представления индийцев о времени, кратко и неполно обрисованные в данной статье, могут быть определены как типично средневековые, с сохранением многих более архаичных пластов темпорального сознания. Несмотря на всю специфику, эти представления были вполне сопоставимы с воззрениями других народов в эпоху феодализма. Для средневековых индийцев, как и для их современников в других странах, время выступало как таинственная сила; с одной стороны, оно являлось атрибутом божества и даже стояло над ним, с другой — было неотъемлемо связано с человеком и не воспринималось вне его бытия. Свободный от

---

<sup>71</sup> *Pollock S. New Intellectuals in seventeenth-century India // The Indian Economic and Social History Review. 2001. Vol. 38. № 1. С. 7-11.*

диктата часовой стрелки, человек оперировал лишь крупными единицами времени и сверял свою деятельность с положением небесных светил. В сознании индивидуума и общества циклическое время сосуществовало с линейным, и каждая из этих ипостасей располагалась в собственной нише: одна отвечала за охватывающие миллионы лет циклы существования тварного мира, другая — за более короткие и обозримые отрезки общественной и индивидуальной истории.

Позднесредневековая Индия не знала столь резких социальных потрясений и культурных изменений, с которыми столкнулась в тот период Европа, когда механические часы на городских башнях стали отбивать новое время — Ж. Ле Гофф образно назвал его «временем купцов»<sup>72</sup>. Но это не значит, что «осень средневековья» не принесла Индии никаких изменений. Индийское общество XVI–XVIII вв. обладало заметно более обостренным чувством времени, чем предшествующие эпохи, оно впервые ощутило, что время движется, принося с собой новые подходы к обществу и человеку.

Читатель, сведущий в истории и культуре европейского средневековья, может увидеть в приведенном мною индийском материале немало знакомых по Западу черт. Значит ли это, закономерен вопрос, что средневековая Индия была похожа на средневековую Европу? Мой ответ будет таким: нет, это значит, что мировоззрение и индийцев, и европейцев в ту эпоху представляется вариантами единой «ментальной программы», общей для всех народов, переживавших в своей истории стадию средневековья, что, разумеется, ни в коей мере не отрицает множества естественных различий между ними. Сопоставление «Востока» (в данном случае — Индии) с «Западом» на равных, в качестве одинаково значимых опытов исторической эволюции, может показать, что те или иные аспекты, которые казались востоковедам спецификой восточного менталитета, а «западникам» — восточной экзотикой, на самом деле представляют собой закономерности историко-культурного процесса, общего для многих цивилизаций.

---

<sup>72</sup> *Ле Гофф Ж.* Другое средневековье. Время, труд и культура Запада. С. 40.

## ГЛАВА 12

# ПРОШЛОЕ НА СЛУЖБЕ СОВРЕМЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В КИТАЕ\*

Современный Китай находится на крутом повороте своей пятидесятивековой истории: весьма радикальная модернизация, к которой там приступили 30 лет назад, стремительно меняет жизнь огромной страны и ставит перед нею комплекс сложнейших проблем, многие из них не приходилось еще решать никому. Относятся они и к гуманитарной сфере, от состояния дел в которой в значительной мере зависит не только успех реформ, но и будущее Китая.

Избранная китайскими реформаторами модель преобразований имеет ярко выраженную и всемерно акцентируемую национальную специфику, что было определено уже при разработке планов модернизации и закреплено во всех государственных документах, посвященных данной проблематике. Отличительной чертой модернизации «с китайской спецификой» является ее социальная ориентация, а конечной целью преобразований заявлено возрождение китайской нации, формирование нового общества и воспитание нового человека. Модернизация предполагает построение «социалистической духовной цивилизации», которая должна строиться на базе цивилизации традиционной, стать ее преемницей. Немало гуманитарных проблем породили и сами реформы: в ходе стремительных преобразований отмирают либо трансформируются многие институты, прежде служившие опорой китайскому обществу и определявшие его облик, и поэтому сохранение цивилизационных ценностей, их адаптация к услови-

---

\* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках исследовательского проекта № 06–01–00453а.

ям современного Китая, а также консолидация общества стали делом первостепенной важности. Накладывают свой отпечаток на процессы, идущие ныне в Китае, и перемены в мире, которые также пришлись на последние десятилетия.

Для решения всех этих проблем китайские реформаторы используют самые разные меры, среди которых приоритетное место отводится курсу «поставить древность на службу современности» (*зу вэй цзинь юн*). Формулировка эта пришла из далекого прошлого, своими корнями она восходит к конфуцианству и предполагает обращение к культурному наследию, накопленному к настоящему времени древнейшей в современном мире цивилизацией. В наши дни такой возможностью не располагает ни одна страна. Казалось бы, устремленный в будущее Китай окончательно распрощался со своим прошлым: модернизацию и «традиции» совместить трудно, тем более что преобразования в Китае осуществляются по инициативе и под руководством правящей коммунистической партии. Однако практика китайских реформаторов убеждает, что это не так.

Китайскую цивилизацию принято считать конфуцианской, что в какой-то мере справедливо: духовная культура императорского Китая развивалась под влиянием этого учения<sup>1</sup>. Однако при этом не учитывается, что не менее важным и значительно более древним компонентом китайской цивилизации является историописание. Оно появилось много раньше конфуцианства и во многом определило его особенности. Именно к нему на протяжении многих веков апеллировали государственные и политические деятели, и это было закреплено в политической культуре страны в качестве одной из главных ее установок. На историописание, средоточие опыта прошлого, ориентировались, прежде всего, и авторы курса «поставить древность на службу современности».

Китайское историописание — феномен уникальный, аналогов которому в мире нет. Свое начало оно берет у истоков китай-

---

<sup>1</sup> Обоснованию этого посвящен труд «Перспектива конфуцианской культуры Китая» (*Чжунго жусюэ взньхуа дагуань*). Сост. Тан Цзе, Чжан Яонань, Фань Цзинмин. Пекин, 2001 г. «В традиционной китайской культуре, — подчеркивают авторы, — самым главным является культура конфуцианская... Без нее не было бы модернизации Китая, и она должна стать фундаментом для создания культуры современной» (с. 906-907).

ской цивилизации и к настоящему времени насчитывает более 30 веков непрерывного существования, его отличают многие, присущие только ему особенности. Историописание в Китае зарождалось и мужало как инструмент власти правителей древности, а со становлением империи в III в. до н. э. обрело очень высокий официальный статус и превратилось в один из важнейших институтов императорского Китая. Освещение и интерпретация прошлого стали там монополией придворных историков, а конфуцианство, возникшее на благодатной почве, подготовленной первыми историографами, выступает теперь в качестве их концептуальной базы. Между историописанием и официальной доктриной «конфуцианской монархии» складываются особые, очень тесные связи, которые сохранились вплоть до крушения империи в начале XX века. Данное обстоятельство предопределило отношение придворных историков к прошлому, видение ими исторического процесса и другие особенности их творчества. Конфуцианскую ориентацию получило и функциональное начало китайского историописания. Приблизительно с середины I тысячелетия н. э. в нем утверждается представление о том, что главное предназначение исторического труда — быть полезным для дел правления (*цзин ши чжи юн*). Этой норме придворные историки следовали неукоснительно. В соответствии с нею они видели свою задачу не только в аккумуляции и сохранении сведений о прошлом, им необходимо было вооружать правителя опытом предыдущих поколений, прошедшим апробацию временем и критически осмысленным, и столь необходимым ему для воздействия на процессы, идущие в обществе, дидактическим материалом. При этом имелись в виду потребности не только того правителя, под эгидой которого данный труд готовился: придворные историки стремились придать урокам истории универсальный, вневременной характер, и поэтому они, по возможности, дистанцировались от давления политической конъюнктуры и отдавали предпочтение тому, что будет не подвластно времени. Интерпретированное с позиций государственной доктрины прошлое должно было также демонстрировать ее универсальную ценность и обеспечивать конфуцианству систематическую подпитку данными истории, без чего это этико-политическое учение ни существовать, ни нормально работать не могло.



Функциональный потенциал официального историописания многократно усиливался его непрерывностью и единообразием, стабильностью концептуальной базы, неизменностью понимания исторического процесса и методов его интерпретации, которые обеспечивались государством. Утвержденные императором и изданные труды ревизии не подлежали, они были неприкосновенны. Эти свои особенности историописание императорского Китая пронесло через века, функциональная ориентация и поныне считается его главным достоинством.

Трудами многих поколений придворных историков императорского Китая было создано огромное историческое полотно, вместившее в себя весь путь, пройденный потомками Желтого императора (*Хуан-ди*). Оно было по-своему совершенно и убедительно, утверждало связь времен и содержало огромную и разнообразную информацию о прошлом. В зеркале истории китайское общество видело свое великое прошлое, свидетельства уникальности китайской цивилизации и особого, упорядоченного характера пройденного Китаем исторического пути, где ничто не выходило за рамки, определенные государственной доктриной. Вглядываясь в свое прошлое, подданные Сына Неба видели там торжество существующей от века государственности, воплощением которой являлся правитель; его власть имела особую природу и выступала как гарант существования китайского общества. Прошлое демонстрировало извечное стремление китайцев к консолидации и стабильности, свойственное им величие духа, особые качества их менталитета, давало им образцы социального поведения. Официальное историописание императорского Китая выступало как сила созидательная, мудрый наставник, рекомендации которого могли обеспечить нормальное с точки зрения властей функционирование государства и общества. Мобилизацию заложенного в официальное историописание мощного созидательного потенциала и предполагает курс «поставить древность на службу современности».

Характер задач, которые стремятся решать китайские реформаторы, обращаясь к прошлому, а также состояние современного китайского общества делают главным звеном этой работы приобщение китайского общества к официальной версии национальной истории, воспитание исторического сознания. На это в

Китае ориентировано сейчас практически все обществоведение, но ключевая роль, несомненно, принадлежит исторической науке.

Воспитание исторического сознания процесс сложный и многогранный, он предполагает использование самых разных средств. Но обеспечить его должны, прежде всего, исследования в области древней и средневековой истории Китая. В последние годы внимание китайских историков все больше привлекают темы, имеющие особое значение для исторического воспитания общества. Одна из них — китайская цивилизация, ее генезис и особенности ее развития<sup>2</sup>. Растет число фундаментальных исследований, посвященных китайской государственности, в рамках которой, формировались и утверждались многие из тех ценностей, которые могут быть использованы в процессе реформ<sup>3</sup>. Тесно примыкает к данной теме и изучение жизни и деятельности правителей Китая. Проблематика эта всегда была очень популярна в Китае, но если прежде историки посвящали свои исследования преимущественно тем императорам, правление которых приходилось на период смены династий, главным образом императорам-китайцам, то теперь объектом их исследований стали практически все обладатели китайского престола. Число таких исследований, опубликованных в последние годы, очевидно, составляет не одну сотню<sup>4</sup>. В современной исторической науке

---

<sup>2</sup> Весьма крупным явлением в разработке этой темы стало издание многотомной серии «Перспектива китайской культуры» (*Чжунго вэньхуа дагуань*), в нее входит и упомянутый выше труд. Богатую информацию о китайской культуре содержит также коллективная монография «История китайской культуры» (*Чжунхуа вэньмин ши*), труд Фэнь Тяньюя и Чоу Цзимина «Сокровенные тайны древней китайской культуры» (*Чжунго гу вэньхуа ди аоми*) и др.

<sup>3</sup> Долгое время специальных работ китайских авторов по этой теме было крайне мало, а уровень их невысок. Эта ситуация радикально меняется с 1980-х гг. К настоящему времени опубликовано немало серьезных исследований, высоко оцененных в Китае. Так, в 2005 г. дважды издавался труд профессора Чжан Чуансиня «История политической системы Китая» (*Чжунго чжэньши чжиду ши*).

<sup>4</sup> К числу наиболее заметных работ на эту тему можно, например, отнести фундаментальные труды, посвященные трем императорам династии Цин (1644–1911), владевших китайским престолом без малого 150 лет: «Полная биография императора Канси (*Канси хуанди цюаньчжуань*).

КНР даже появился специальный термин, определяющий это направление исследований — «императороведение» (*ди ван сюэ*). Причем авторы таких работ, опираясь на данные официального историописания, стараются отойти от утвердившихся в нем шаблонов изображения Сына Неба и показать малоизвестные аспекты деятельности правителей, их личную жизнь, жизнь двора, ближайшее окружение; немало работ посвящается императрицам. Необычайно активно разрабатывают китайские историки и проблемы экзаменационной системы, посредством которой на протяжении многих веков формировалась интеллектуальная и политическая элита империи, опыт которой весьма интересует китайских реформаторов.

Принципиальное значение для всей работы по реализации курса «поставить древность на службу современности» имеет разработка проблем истории династии Цин (1644–1911). Это завершающий этап существования монархии в Китае, время наивысшего расцвета «конфуцианской монархии» и ее окончательного крушения. С этого рубежа Китай вступил в XX век. В империи Цин получили оформление и закрепились в общественном сознании многие особенности национальной культурной традиции и менталитета китайцев, стереотипы их поведения. История династии отражена в огромном количестве трудов, в том числе и трудов придворных историков (они относятся, главным образом, к XVII–XVIII вв.), ни одна другая из правивших в Китае династий не имеет подобной историографии. Именно это 300-летие пользуется в Китае наибольшей популярностью, весь XX век необычайно активно над его историей трудились китайские ученые. Тем не менее, в 2002 г. ими был подготовлен грандиозный проект создания новой 92-томной истории империи Цин. Он — впервые в обществоведении КНР — получил официальный статус, его кураторами стали один из членов Политбюро ЦК КПК и министр культуры. Переоценить значение этого акта для реше-

---

Глав. ред. Бай Синьян. Пекин, 1994 г. (он правил с 1662 по 1722 г.); «Полная биография императора Юнчжэна» (*Юнчжэнь хуанди цюаньчжуань*). Глав. ред. Фэн Эрман и др., Пекин, 1994 г. (он правил с 1723 по 1735 г.); и «Полная биография императора Цяньлуна» (*Цяньлун хуанди цюаньчжуань*). Глав. ред. Го Чэнкан, Чэн Чуньдэ и др. Пекин, 1994 г. (он правил с 1736 по 1796 г.; авторы называют его «великим человеком XVIII века»).

ния многих проблем в гуманитарной сфере, которыми озабочены ныне китайские реформаторы, невозможно.

Особым направлением в работе китайских историков стало в последние годы изучение проблем, непосредственно относящихся к консолидации общества — воспитание «национального духа» (*цзин шэн*), патриотизма, общественной морали, утверждение концепции «общекитайской нации» (*чжунхуа миньцзу*) и некоторые другие.

Понятие «национальный дух» появилось в конце XIX – начале XX вв., в период острейшего национального кризиса, и означало важнейшие признаки национальной идентичности китайцев: особые качества их менталитета (акцент делался на стремлении к единству и стабильности), социального поведения и пр. Именно «национальный дух», как считали ученые того времени, является гарантом преодоления кризиса, а питать его должна «национальная наука» (*го сюэ*), основу которой составляют история и конфуцианство. Великий китайский писатель Лу Синь называл «цзин шэн» становым хребтом китайской нации. Сейчас он рассматривается как важнейшее условие решения многих социальных проблем и консолидации китайского общества, его воспитанию уделяется первостепенное внимание.

Тема патриотизма в классической культуре Китая звучала несколько иначе, чем в Европе, а сам термин появился лишь в XX в. И хотя по своему значению он весьма близок к понятию «национальный дух», в Китае их никогда не отождествляют, воспитание патриотизма и воспитание «национального духа» — задачи разные.

Концепция «общекитайской нации» имеет особый характер — она ориентирована на решение национального вопроса, консолидацию многонационального китайского общества и апеллирует к этнокультурным ценностям народов, населяющих ныне КНР. В соответствии с нею все народы этой страны, не утрачивая своей национальной идентичности, составляют в то же время единую китайскую нацию. Концепция эта появилась в XX в. в постимперском Китае, она достаточно противоречива и имеет непростую историю.

Таким образом, все эти понятия для китайской культуры сравнительно новые, но без обращения к прошлому и самого ак-

тивного использования материалов официальной версии истории Китая воспитание всех этих качеств невозможно. Однако обнаружить там такие материалы трудно: придворным историкам подобные проблемы были неведомы, они придерживались моноэтнических взглядов и считали, что подданные Сына Неба — это, прежде всего, ханьцы, именно они были создателями китайской цивилизации. Все это ставит перед китайскими историками очень непростые задачи и требует самой основательной разработки данной проблематики. И в последние годы работа на этом направлении приобрела необыкновенный размах<sup>5</sup>.

В центре внимания китайских историков оказалось и само историописание императорского Китая. Оно изучалось всегда, в Китае существует огромная литература на эту тему. Но, как правило, эти исследования велись в рамках традиционной, давно сложившейся схемы, за пределы которой ученые выходили редко, и многие принципиально важные вопросы оставались неизученными. Необходимость обеспечения курса «поставить древность на службу современности» заставила историков обратиться к ним. Необычайный интерес у них вызывают проблемы функциональ-

---

<sup>5</sup> В 1991 г. был издан огромный (его объем — 1,5 млн. иероглифов) труд «Национальный дух Китая» (*Чжунго цзиншиэн*). Этой же теме посвящены и такие работы как «История и национальный дух» (*Шисюэ юй миньцзу цзиншиэн*) Чэнь Цитая (Пекин, 1999 г.), «Строительство современного китайского цивилизационного духа» (*Чжунго дандай жэньвэнь цзиншиэн дэ гоуцзян*) Ян Ланя и Чжан Вэйчжэня (Пекин, 2002 г.). Проблемы патриотизма весьма обстоятельно рассматриваются в монографии Чжан Дая «Душа Великой китайской стены — традиции китайского патриотизма» (*Синьлин Чанчэн — Чжунхуа айгоцжжу чуаньтун*), Пекин, 1995 г.; в 1990-е годы была издана состоящая из 20-ти книг серия «Воспитание патриотизма» (*Айгоцжжу цзяюй цуншу*). Среди трудов по проблемам китайской нации внимание научной общественности привлек двухтомник Вань Вэньгуана «История развития китайской нации» (*Чжунго миньцзу фацжань ши*), Пекин, 2005 г. В последние годы «национальная наука», которая прежде изучалась в контексте проблематики «национального духа», все больше приобретает самостоятельное звучание, превращается в особый объект исследований. В конце 1990-х гг. планировалось провести представительную конференцию «Национальная наука и наука современная». А в 2005 г. в Народном университете Китая, который со времени своего создания в начале 1950-х гг. был ориентирован на наиболее актуальные проблемы современности, открыли факультет «национальной науки».

ных особенностей официального историописания: концепция «цзин ши чжи юн», предусматривавшая прикладной характер исторического труда, не сходит со страниц работ не только историков, но и других обществоведов. Авторы этих работ настойчиво убеждают читателя, что официальное историописание отнюдь не ограничивалось обслуживанием «конфуцианской монархии» и всегда было озабочено проблемами, имевшими высокое социальное, гражданское звучание. Такая постановка вопроса серьезно облегчает использование трудов придворных историков в целях воспитания исторического сознания современного общества. Основательно изучают китайские историки и роль официального историописания в истории китайской цивилизации, его место в жизни общества и духовной культуре императорского Китая.

Особая проблема, к которой приковано сейчас внимание китайских обществоведов, в том числе и историков — мораль, определявшая жизнь «конфуцианской монархии». Ее китайские реформаторы видят как важный инструмент консолидации китайского общества и решения некоторых других стоящих перед ними задач; они подчеркивают стратегическое значение работы на этом направлении. Эталоном здесь стал изданный в КНР 5-томный труд «Китайская традиционная мораль», он был подготовлен под эгидой ЦК КПК.

Беспрецедентная по своим масштабам и целеустремленности деятельность китайских историков создает надежную базу для развертывания конкретной работы по историческому воспитанию общества. Она стала особым и очень важным направлением в исторической науке КНР, хорошо организована, ведется с необыкновенным размахом и четко ориентирована на обеспечение курса «поставить древность на службу современности». А питает ее официальная версия истории Китая, подготовленная придворными историками.

Приобщение к ней начинается в КНР со школы — именно она положена в основу действующих там учебников<sup>6</sup>, ее воспроизводит и рассчитанная на школьников необыкновенно богатая

---

<sup>6</sup> См., например, «История Китая» (*Чжунго лishi*) — Учебник для третьего года обучения 9-летнего обязательного образования средней школы. Т. 2. Пекин, 1993 г.

методическая литература (пособия, справочники, словари и пр.). И в дальнейшем, как бы ни сложилась его судьба, история остается постоянным спутником гражданина КНР, в той или иной форме она неизменно присутствует в его жизни. Главную роль здесь играет популярная историческая литература. В Китае такая литература издавалась всегда и всегда пользовалась большим спросом, но таких масштабов, которые эта деятельность приобрела в последние десятилетия, Китай не знал никогда. Книжный рынок страны переполнен подобными изданиями, они выходят большими тиражами, хорошо оформлены, доступны по цене и рассчитаны на самого разного читателя (прежде всего, на молодежь); на этом направлении сосредоточены большие силы и средства. Сколько-нибудь полно охарактеризовать развернутую в КНР популяризацию истории вряд ли возможно, попытаемся лишь обозначить ее контуры.

Хотя репертуар издаваемой популярной исторической литературы безграничен, в нем достаточно четко просматривается несколько приоритетных для реализации курса «поставить древность на службу современности» тем; как правило, они перекликаются с упомянутыми выше проблемами, над которыми работают современные китайские историки.

Основную массу публикуемой ныне в КНР популярной исторической литературы составляет литература биографическая, это самый востребованный ее жанр. Герои, которым она посвящена, пришли из официального историописания, где этот жанр был одним из главных. Его создатель великий китайский историк Сыма Цянь (прибл. 145–90 г. до н. э.) — он в Китае считается отцом национального историописания — видел в жизнеописаниях наиболее эффективный в условиях китайского общества (его характер определяли родовые и земляческие связи) инструмент воздействия на него, закрепления в его сознании необходимых, с точки зрения властей, уроков истории. Поэтому, создавая первые в Китае биографии, он тщательно отбирал не только необходимые ему персонажи, но и те эпизоды из их жизни (преимущественно из служебной карьеры), которые несли наибольший дидактический заряд. Такие биографии и составили большую часть созданного им труда «Исторические записки» (*Ши цзи*) — первой официальной сводной истории Китая. За двадцать с лишним ве-

ков преемники и последователи Сыма Цяня создали гигантское количество биографий. Только биографические разделы 25-ти династийных историй содержат несколько десятков тысяч жизнеописаний, огромное и пока не поддающееся учету количество биографий содержат и готовившиеся под эгидой местных властей историко-географические описания различных регионов империи (*фан чжи, ди фан чжи*); к настоящему времени сохранились более 8 тысяч таких сочинений. На такой базе в КНР произрастает невероятное количество популярной историко-биографической литературы. Даже, повествуя об исторических событиях или явлениях культурной жизни, особенностях китайской цивилизации, авторы популярных книг стараются делать это, рассказывая об исторических персонажах.

В мощном потоке популярной историко-биографической литературы особое место занимают биографии императоров. Такая литература была востребована всюду и во все времена, но в Китае, где престолом обладал Сын Неба, жизнь которого проходила за стенами Запретного города, была табуирована и известна лишь немногим, а предназначенные элите труды придворных историков посвящались только делам правления, повествования об императорах и жизни двора всегда были необыкновенно популярны. И хотя в последние годы издается множество таких трудов, спрос на них отнюдь не убывает, на полках книжных магазинов они не пылятся<sup>7</sup>.

Немало увлекательной популярной литературы посвящено также истории китайской цивилизации, крупным событиям в истории страны и ее духовной культуры, наиболее известным письменным памятникам, свершениям, прославившим китайцев в мире. Получают развитие в популярной литературе и темы патриотизма, общекитайской нации, национального духа. Военная

---

<sup>7</sup> В качестве примера здесь можно назвать также книгу Цзоу Юаньпу «Важнейшие сведения о китайских императорах» (*Чжунго хуанди яолу*), Шанхай, 1989; «Знаменитые императоры в истории Китая» (*Чжунго лидай минцзюнь*) Ван Тинью; «Шестнадцать императоров династии Мин» (*Минчао шилю ди*), Пекин, 2001 г.; (годы правления династии 1368–1644). Издаются в Китае несколько серий, посвященных императорам, одна из них «Мудрость правления знаменитых китайских императоров» (*Лидай минди чжэнчжи чжихуэй цун шу*).



тема у авторов такой литературы вниманием не пользуется, ушла в тень и тема народных движений, которая еще совсем недавно была ведущей. Очевидно, уроки, которые могут преподать участники этих событий для современного китайского общества не походят.

Укрепляет нити, связывающие современное китайское общество с его прошлым, и неплохое знание понятийного аппарата классической культуры, которое также питает популярная историческая литература — ее создатели настойчиво насыщают им свои труды. Не стал чуждым для современного китайского общества и временной каркас китайской цивилизации, оно уверенно ориентируется во всем календарном комплексе, который функционировал в императорском Китае. Он включал в себя историческое (династийное) время, лунно-солнечный календарь (*нун ли*) и связанные с ним 24 сезона, а также циклическое летосчисление (*гань чжи*). Это важнейшее достояние китайской культуры вызывает большой интерес (теперь не только в Китае) и ему тоже посвящена большая и разнообразная литература.

Что собой представляет популярная историческая литература, заполняющая ныне прилавки книжных магазинов КНР, какие уроки истории хотят преподать читателю их авторы, и желает ли он их слушать? Познакомимся поближе с некоторыми из таких книг.

Весьма заметным событием в культурной жизни КНР и важным рубежом в публикации популярной исторической литературы стало издание книги «Вся история Китая за 5 тыс. лет» (Шан ся уянь нянь)<sup>8</sup>, подготовленной Линь Ханьда и Цао Юйчжаном. Впервые на книжном рынке она появилась в 1979 г., а в 1984 г. вышел ее переработанный и дополненный вариант, который продавался не только в Китае, но и в странах, где есть китайская диаспора, и раскуплен он был мгновенно. С 1991 по 1998 гг. книга дореиздавалась еще 20 раз, и общий тираж ее составил около полумиллиона экземпляров. Книга объемом 1261 стр. хорошо издана, богато иллюстрирована и содержит 262 рассказа о крупных событиях в истории Китая и участвовавших в них людях,

---

<sup>8</sup> «Вся история Китая за 5 тысяч лет» (*Шан ся у вань нянь*). Сост. Линь Ханьда и Цао Юйчжан. Шанхай, 1998 г.

тех, которые прославили китайскую цивилизацию и внесли в нее свой вклад. Составители подчеркивают, что каждый китаец обязан знать свою историю; работу они адресовали молодежи. Китайская нация, пишут они, издавна прославилась в мире своим трудолюбием, смелостью и мудростью, она создала блестящую национальную культуру. Великое множество выдающихся мыслителей, политиков, специалистов военного дела, литераторов, ученых, художников, национальных героев и предводителей повстанцев представляют нашу нацию, их славные свершения придают особое сияние полотну нашей истории, которой все мы — потомки (мифических) императоров Ян-ди и Хуан-ди — можем гордиться. Разумеется, историю изучают не только для того, чтобы преисполниться любовью к прошлому, гораздо важнее создавать будущее, постигая уходящую вглубь веков патриотическую традицию, стимулировать строительство сильного государства на основе четырех модернизаций<sup>9</sup>.

Очень важную роль в деле исторического воспитания подрастающего поколения призвана сыграть серия «Эпопея национального духа» (*Миньцзу цзиншэн шиши*), к изданию которой недавно приступили в КНР. В мае 2005 г. одна из частей этой серии — «Рассказы о Китае» (*Шохау чжунго*) — поступила в продажу. Она была издана в традиционном для книжной культуры старого Китая виде и состояла из более двухсот *тао* (комплект, включающий в себя несколько тетрадей). Авторский коллектив сумел собрать огромный и занимательный материал (в том числе и иллюстративный) и в живой популярной форме знакомит читателя с 50-вековой историей Китая и наиболее известными историческими персонажами. Это — своеобразная фундаментальная хрестоматия по истории и культуре Китая. Предназначение труда сформулировано так: научить молодежь понимать историю и горячо любить Родину. По данным прессы он имел необыкновенный успех: в мае 2005 г. на очередной книжной ярмарке в г. Тяньцзинь было распродан огромный ти-

---

<sup>9</sup> Чтобы не затруднять читателя здесь и далее автор дает не перевод, нередко требующий комментария, а пересказ китайского текста, сохраняя его тональность и акценты.

раж отдельных томов этого труда, и его пришлось допечатывать 26 раз<sup>10</sup>.

В последние годы в мощном потоке популярной литературы о китайских императорах появилась серия книг, названия которых начинаются со слова «правда» (*чжэньшо*). Одна из них «Правда о 14-ти императорах — основателях династий» (*Чжэньшо кайчао шисы ди*) Ду Вэньцина. В качестве подзаголовка на ее титуле автор приводит такой афоризм, состоящий из двух параллельных фраз: «Императоры творят историю — мудрость потомков растет». Книга содержит очерки, где в занимательной форме повествуется об основателях династий, правивших в Китае с III в. до н. э. (в том числе и не-китайцев). Каждому такому очерку предпослано высказывание о данном правителе известных в Китае людей. Введение к книге называется «Раскрыть суть истории, развивать интеллект». Там, в частности, говорится следующее: история китайского феодального общества (автор имеет в виду императорский Китай) — словно простершийся на небе Млечный путь, она насчитывает более двух тысяч славных лет, и подобна сокровищнице, в ней мы можем обнаружить все, чего добиваемся в повседневной жизни. Кратчайший путь к углублению своих знаний и совершенствованию своих духовных качеств — обратиться к истории, прикоснуться к свершениям великих людей, они помогут нам взглянуть на мир их глазами и избежать многих трудностей, которые нас подстерегают. А олицетворяли историю императоры<sup>11</sup>.

Приблизительно так же оценивают значение биографий императоров для современного читателя и составители трехтомного «Полного собрания биографий китайских императоров» (*Чжунго хуанди цюаньчжуань*)<sup>12</sup>. Они пишут: Императоры всегда были тесно связаны с жизнью страны и народа, и поэтому история их жизни — это зеркало, в котором каждый человек может увидеть много полезного для себя.

<sup>10</sup> «Чжунго цинняньбяо», 29 мая 2005 г.

<sup>11</sup> Ду Вэньцин. «Правда о 14-ти императорах — основателях династий» (*Чжэньшо кайчао шисы ди*). Пекин, 2005 г.

<sup>12</sup> Цяо Цзитан. «Полное собрание биографий китайских императоров» (*Чжунго хуанди цюаньчжуань*). Т. 1-3. Пекин, 2003 г.

Очень любопытна и по-своему необычна книга Шао Хэпина «Рассказы об истории китайского патриотизма»<sup>13</sup>. Книга вышла в серии «Рассказы о ярких персонажах китайской истории за 5000 лет» и охватывает период от правления мифических императоров-культуротворцев Янь-ди и Хуан-ди до Синьхайской революции в начале XX века. В ней автор повествует о крупных событиях китайской истории и людях, внесших вклад в китайскую цивилизацию и консолидацию китайской нации. Посвящая свой труд патриотизму, Шао Хэпин фактически создал сводную историю Китая. Материал расположен в хронологическом порядке, по династиям, и каждому периоду предпослана краткая историческая справка. Среди героев книги не только китайцы, но и представители других народов, в том числе Чингисхан (его в Китае считают основателем династии Юань (1271–1368)) и маньчжурские правители Китая, а такие предводители крестьянских войн как Хуан Чао (IX в.) и Ли Цзычэн (XVII в.) в нее не попали.

Необычно подошел к ознакомлению своего читателя с азами китайской истории Чжао Чэн, автор книги «Выживание приспособленных» (*Шичжэ шэньцунь*)<sup>14</sup>, об этом свидетельствует не только ее название, но и оформление: помимо подзаголовка, который гласит «Эффективные правила выживания минувших пяти тысяч лет, нормы выживания, которые пронизывают историю Китая», на титуле и оборотной стороне книги дается довольно большой текст, знакомящий читателя с основными концепциями, которыми руководствовался автор. Он пишет, в частности, что данная книга представляет собой зеркало истории, где герои — это те исторические персонажи, которые сумели приспособиться к обстоятельствам и выжить, а те, кто этого сделать не смог, преподадут потомкам соответствующие уроки. Книга состоит из двух частей «Логика выживания» и «Фиаско выживания» и представляет собой нечто вроде учебника жизни, построенного в основном на материалах официального историописания.

---

<sup>13</sup> Шао Хэпин. «Рассказы об истории китайского патриотизма» (*Чжунхуа айгочжун шихуа*). Ухань, 1999 г. Книга вышла в серии «Захватывающие рассказы о 5-тысячелетней китайской нации» (*Шушо уцянь чжунхуа миньцзу ды дунъжэнь гуши*).

<sup>14</sup> Чжао Чэн. «Выживание приспособленных» (*Шичжэ шэньцунь*). Пекин, 2004 г.

Как видим, эти очень разные по своей тематике труды ориентированы в основном на молодежь и имеют четко выраженный дидактический характер, что авторы настойчиво подчеркивают, призывая своих читателей учиться у истории.

Не оставляют китайские историки своим вниманием и более подготовленного читателя, желающего основательнее познакомиться с историей страны. Он найдет для себя в книжных магазинах обильную научно-популярную литературу, переводы основных письменных памятников на современный язык<sup>15</sup>, записанный на компакт-дисках текст всех династийных историй, комментированные подборки фрагментов классических текстов, хрестоматии, словари (особенно много издается биографических словарей, содержащих жизнеописания исторических персонажей), энциклопедии и другую доступную ему литературу.

Самое непосредственное отношение к историческому воспитанию общества имеет и умело организованная и ведущаяся очень настойчиво и с большим размахом пропаганда исторической науки. Формы здесь используются самые разные. Огромной популярностью в Китае пользуется «Исторический ежегодник Китая» (*Чжунго лиши няньцзянь*), регулярно издающийся с конца 1970-х годов. Он содержит достаточно полную и квалифицированную информацию о жизни исторической науки за год (данные о работе китайских историков над проблемами новейшей истории в «Ежегоднике» не отражаются): археологические экспедиции, научные конференции, аннотированный перечень опубликованных статей, изданные за год монографии, характеристика наиболее важных тем, над которыми работали историки, сведения об архивах и библиотеках и многое другое. Статьи по истории и рецензии наиболее интересных трудов китайских историков регулярно публикуют общественно-политические журналы. Постоянную историческую страницу имеет одна из центральных газет КНР «Гуанмин жибао». Приобщение китайского общества к национальной истории осуществляется и в других формах: на центральном телевидении КНР существует программа «Зеркало ис-

---

<sup>15</sup> В КНР издана серия «Переводы наиболее известных китайских письменных памятников» (*Чжунго лидай минчжу цюань цуншу*).

тории», регулярно демонстрируются там и фильмы, и телесериалы на исторические темы<sup>16</sup>; молодежь играет в компьютерные игры, подготовленные по мотивам, заимствованным из трудов придворных историков, выпущены игральные карты с изображениями наиболее известных императоров и краткими биографическими справками, некоторые антикварные магазины обзавелись визитными карточками, на которых перечислены все существовавшие в Китае династии и годы их правления и т. д.

Таким образом, настойчивыми и целеустремленными усилиями реформаторов и научной общественности в КНР к настоящему времени создано мощное силовое историческое поле, которое должно питать историческое сознание общества и благотворно влиять на некоторые процессы, порожденные модернизацией. Его первооснова — официальная версия истории, созданная придворными историками императорского Китая. Это воспринято китайским обществом позитивно, история все более активно присутствует в его жизни. Образовавшиеся в предыдущие годы серьезные пробелы в историческом сознании общества успешно преодолеваются, и его уровень сегодня существенно выше, чем когда-либо в постимперском Китае. Разумеется, современный китаец видит в зеркале истории не всегда то, что видел в нем подданные Сына Неба, уроки истории он воспринимает иначе, но его наставником история остается, как и прежде. Связь времен, которую убедительно демонстрирует национальная история, дает китайскому обществу ощущение его глубоких корней, принадлежности к великой цивилизации, а это серьезно меняет социальный климат в стране, самочувствие общества улучшается, оно обретает уверенность, оптимизм, самоуважение, что весьма значимо для решения фундаментальных гуманитарных проблем, стоящих на пути модернизации страны. В сегодняшнем Китае апелляция властей к истории, их настойчивое обращение к нормам традиционной политической культуры находят понимание в обществе, а стремление подчеркнуть исто-

---

<sup>16</sup> Показанный несколько лет назад по центральному телевидению многосерийный фильм о цинском императоре Юнчжэне вызвал в Китае небывалый ажиотаж, его смотрели все.

рические корни проводимых в стране преобразований позволяет китайскому обществу легче воспринимать происходящие перемены, делает для него более понятной динамику идущих процессов и их перспективы.

Реализация курса «поставить древность на службу современности» сделала достоянием современного общества цивилизационные ценности, обеспечив тем самым преемственность национальной культурной традиции, вдохнуло в нее новую жизнь, и древнейшая в современном мире цивилизация без серьезных потрясений вступает в XXI век. Современная китайская действительность свидетельствует, что своего созидательного потенциала официальное историописание императорского Китая не утратило, оно продолжает и теперь работать на благо модернизации страны.

У читателя, мало знакомого с Китаем, официальный характер курса «поставить древность на службу современности» может вызвать сомнения в его истинном содержании и предназначении; может он восприниматься и как еще одно свидетельство «традиционности» китайского общества, его нежелания идти в ногу со временем. Между тем, и прежде государственные деятели самой разной политической ориентации при решении сложных проблем, стоявших в то время перед Китаем, стремились опереться на прошлое. Прибегали к этому и в других странах конфуцианского культурного региона, и это давало эффект. Некоторые считают, что первопроходцем здесь был премьер Сингапура Ли Куанью, который в конце XX века сумел вывести свою страну в ряды динамично и весьма успешно развивающихся государств. Опора на цивилизационные ценности способствовала успехам в социально-экономическом развитии и некоторых стран Дальневосточного региона. Не является альтернативой прогрессу и избранный китайскими реформаторами курс «поставить древность на службу современности» — модернизации страны он отнюдь не мешает, сомневаться в ее успехах оснований пока нет.

Примечательно, что никто из дальневосточных «тигров» и «драконов», обращаясь к цивилизационным ценностям, не апеллировал к своей национальной историографической традиции столь настойчиво и последовательно, как это делают в Китае. Причина тому очевидна: ни в одной из этих стран историописание не обла-

дало теми качествами, которые были присущи официальному историописанию императорского Китая — оно от рождения было ориентировано на решение социальных и политических проблем.

В Китае давно поняли значение прошлого и его хранителя — историописания — в жизни человеческого общества. Многовековой опыт научил жителей Поднебесной, что без связи со своими корнями, уважительного отношения к своей истории они обречены, особенно в периоды тяжелых испытаний<sup>17</sup>. И курс «поставить древность на службу современности» утверждает эту истину в сознании граждан КНР. На ее значение постоянно обращает внимание китайское руководство<sup>18</sup>. Реализация этого курса придала особое звучание и современной исторической науке, да и всему общественному — в Китае считают, что по своему значению для жизни страны они вполне сопоставимы с естественными науками<sup>19</sup>.

Опора на прошлое, пестование исторического сознания общества — курс стратегический, потребность в этом не исчезнет никогда. Очевидно, время внесет в этот курс свои коррективы, по своему расставит акценты, но его суть останется прежней.

---

<sup>17</sup> Примечательно: если конфуцианство в XX в. не раз подвергалось в Китае суровой критике, то официальное историописание императорского Китая не критиковалось никогда, для китайцев его авторитет и поныне непрекаем.

<sup>18</sup> Так, в конце 1990-х гг. руководитель КНР Цзян Цзэминь пригласил к себе видных китайских ученых и обсудил с ними состояние дел в исторической науке. Одним из результатов стала публикация в 1997 г. книги «Суждения восьми по проблемам истории Китая и зарубежных стран» (*Чжунвай лиши вэньти бажэнь тань*). Она открывается таким суждением Цзян Цзэминя: «Если нация забыла собственную историю, она не может глубоко познать настоящее и правильно определить путь в будущее». Впервые подобные мысли излагал в свое время Конфуций в беседах со своими учениками.

<sup>19</sup> Общественные науки в КНР: обзор в XXI веке // Экспресс-информация № 10. Институт Дальнего Востока РАН. Центр научной информации. М., 2005.



## ГЛАВА 13

# ОБРАЗЫ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ

### В ИМПЕРСКОМ / КОЛОНИАЛЬНОМ И ПОСТКОЛОНИАЛЬНОМ ДИСКУРСАХ\*

В 1970-е – 2000-х гг. активно развивается изучение историками предпосылочного знания, в частности, способов конструирования образов прошлого своей и других стран<sup>1</sup>. Оно является частью исследований философами, социологами, психологами, географами, историками ментальных (символических) карт, создаваемых общественным сознанием, т. е. установок, позволяющих людям познавать мир. Понятие ментальной карты было введено в 1948 г. Е. С. Толменом и развито, прежде всего, применительно к географии, Р. М. Доунзом и Д. Стеа. В отечественной науке представления о ментальных картах развиваются А. И. Миллером<sup>2</sup>. Изучение ментальных карт пространства ведут

---

\* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках исследовательского проекта № 06–01–00453а.

<sup>1</sup> *Koselleck R.* Futures Past. On the Semantics of Historical Time. Cambridge, London, 1985; *Hartog F.* The Mirror of Herodotus. Representation of the Other in the Writing of History. Berkeley; Los Angeles, 1988; *Hartog F.* Mémoire d'Ulisse. Récit sur la frontière en Grèce ancienne. Paris, 1996; *Hartog F.* Régimes d'historicité. Présentisme et expériences du temps. Paris, 2003; *Konocov H. E.* Как мыслят историки. М., 2001; «Цепь времен». Проблемы исторического сознания / Отв. ред Л. П. Репина. М., 2005; История и память. Историческая культура Европы до начала Нового времени / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2006; Время — История — Память / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2007.

<sup>2</sup> *Downs R. M., Stea D.* Maps in Mind. Reflections on Cognitive Mapping. New York, 1977; *Миллер А. И.* Предисловие // *Вульф Л.* Указ. соч. С. 5-6; см. также *Шенк Б.* Ментальные карты. Конструирование географического пространства в Европе со времен эпохи Просвещения // Регионализация посткоммунистической Европы / Под ред. А. Миллера. Серия «Политические исследования». ИНИОН РАН. М., 2001. № 4.

М. Шрер, Л. Вульф, И. Б. Нойманн, Д. Н. Замятин<sup>3</sup>, а ментальных карт времени (хронотипов) и их структуры (начатое Ж. Гурвичем) — Э. Зерубавел, К. Помиан, А. Джелл и др.<sup>4</sup>.

Это направление связано с процессом проблематизации метанарративов, созданных эпохой Просвещения в условиях кризиса классического, логоцентрического, истинностного знания, так или иначе соотносимых с масштабными идеологическими целями — обоснованием имперского превосходства или национального единства. Не случайно, что ряд авторов (Л. Вульф, И. Б. Нойманн) соприкасается с проблематикой различения колониального и постколониального дискурсов, начало которой положили Ф. Фанон, М. Фуко и Э. Саид. Поэтому важно различать собственно имперскую и постимперскую (постколониальную) составляющие в структуре ментальных и когнитивных карт. К тому же эта структура определялась разными влияниями — от развития естественнонаучного знания, породившего новые модели пространства и времени, новых веяний в искусстве (прежде всего, живописи), до процессов модернизации, изменивших представление о течении времени, явлений секуляризации, заставлявших переосмысливать сакральность пространства и времени, революционных движений и т. п. Становление и разложение, а затем и крушение колониальной системы Запада — лишь один из факторов конструирования образов пространства и времени, роль которого полезно определить.

В какой мере ментальные карты зависели от развития самой западной культуры, а в какой — от политического взаимодейст-

---

<sup>3</sup> *Lefebvre H.* The Production of Space. Oxford, 1994; *Schroer M.* Räume, Orte, Grenzen. Auf dem Weg zu einer Soziologie des Raums. Frankfurt-am-Main, 2006; *Вульф Л.* Изобретая Восточную Европу. М., 2003; *Нойманн И. Б.* Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., 2004; Гуманитарная география. Научный и просветительский альманах. Вып. 1–4 / Гл. ред. Д. Н. Замятин. М., 2004–2007.

<sup>4</sup> *Gurvitch G.* The Spectrum of Social Time. Dordrecht, 1964; *Zerubavel E.* The Language of Time: Toward a Semiotics of Temporality // The Sociological Quarterly, 1987, Vol. 28, № 3. P. 343–356; *Zerubavel E.* Time Maps: Memory and the Social Shape of the Past. Chicago, 2003; *Pomian K.* L'ordre du temps. Paris, 1984; *Chronotypes: The Construction of Time* / Ed. J. Bender, D. E. Wellbery; *Gell A.* The Anthropology of Time: Cultural Construction of Temporal Maps and Images. Oxford, 1992.

вия с иными странами? Этот вопрос становится сейчас тем более острым, что сами постколониальные исследователи сомневаются в самостоятельности постколониального дискурса как новаторского и глобального, интерпретируют его скорее как форму самокритики западной культуры (постмодернизма)<sup>5</sup>. Конечно, в статье рассмотреть вопрос во всей его полноте невозможно, но мы обратимся к ряду примеров и затронем достаточно важные его аспекты.

### **Возникновение и развитие имперского образа мира в Новое время**

Одним из ярких переломных и довольно загадочных явлений в восприятии пространства мира и исторического времени в эпоху Просвещения был слом универсалистских тенденций, характерных для XVII – начала XVIII в. К тому времени на основе изучения христианскими миссионерами Индии и Китая возникло течение «фигуралистов», провозглашавшее универсальность человеческой культуры и доказывавшее, что китайцы получили свои священные знания непосредственно от сыновей Ноя, а китайские символы имеют христианский смысл. На этой основе У. Темпл во второй половине XVII в. провозгласил Китай государством «развитым и цивилизованным» (framed and policed), своего рода воплощением «королевства разума»<sup>6</sup>. Для начала XVIII в. была характерна критика европейской культуры с реконструируемых позиций неевропейских культур, что полностью соответствовало универсальности идеала разума. Знания, собранные в рамках этой парадигмы, были обобщены в фундаментальных трудах, в частности созданной в Англии «Универсальной истории» (1736–1766), в которой история человечества представляла как единый временной процесс<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> The Post-Colonial Studies Reader // Eds. B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin. New York, 1995. P. 10; Dutton M., Seth S., Gandhi L. Postcolonial Discernment or was it Deceit? // Postcolonial Studies. 1999. Vol. 2. № 1. P. 13-18.

<sup>6</sup> Crossley P. K. History and Identity in Qing Imperial Ideology. Berkeley, Los Angeles, London, 1999. P. 276. В это время Дж. Мильтон мог писать о России как «самой северной части Европы, считающейся цивилизованной». См. Нойманн И. Б. Указ. соч. С. 106.

<sup>7</sup> Osterhammel J. Die Entzauberung Asiens: Europa und asiatischen Reiche im 18. Jahrhundert. München, 1998.

Однако уже с середины XVIII в. наметились перемены, которые привели к резкому изменению структуры форм восприятия пространства и времени. Характерно, что это было связано с колониальными мыслителями, такими как Н. А. Буланже (1722–1759). В его сочинениях сочетались два подхода к истории: универсалистский, описывающий сменяющие друг друга эпохи дикости, варварства, государственности, просвещенной монархии и собственно цивилизации — и бинарный, основанный на противопоставлении прогрессирующего Запада и застойного Востока<sup>8</sup>. Вместо одного временного потока и одного образа мира получилось два. В условиях обострения борьбы за колониальные владения между Англией и Францией в середине XVIII в. (особенно в Индии и Северной Америке) картина мира теряла свою универсальность; представления о внешних образцах цивилизованности, таких как Китай, вытеснялись негативным образом отсталого Востока, теорией «восточного деспотизма».

В книге «Изыскания о происхождении восточного деспотизма» (1761) Буланже позиционировал деспотизм (что характерно, не только собственно на Востоке, но также в Африке и Америке<sup>9</sup>) как антиидеал, повреждение человеческой природы, отход от истонных, доминировавших изначально принципов разума, т. е. от идеала прогресса. Застой и деспотизм во многом связаны, по его мнению, с проявлением вредного воздействия на общество и культуру действий власти и природных катаклизмов, оборвавших связь между современным и древним просвещением. Эти явления поколебали порядок вещей, ход времен, создав два альтернативных направления движения времени: прогресс и упадок. Восточный деспотизм стал вторичным упрощением культуры, проявлением варварства и позорным провалом на пути человеческого общества, причиной несчастья человеческого рода<sup>10</sup>. Образы целых континентов Земли выводились в «фон»; живущие там народы маркировались как обреченные на вырождение и деграда-

---

<sup>8</sup> *Boulanger N. A. L'Antiquite devoilée par ses usages ou examen critique des principales opinions, cérémonies et institutions religieuses et politiques des différens peuples de la terre. Amsterdam, 1766.*

<sup>9</sup> *Boulanger N. A. Recherches sur l'origine du désotisme oriental. Quebec, 1998. P. 128.*

<sup>10</sup> *Ibid. P. 12-13, 133-134.*

цию<sup>11</sup>. Историзм Буланже становился телеологическим, дискретным и финалистским, он по-разному проявлял себя применительно к разным частям мира. Восточный субъект диалога XVII века превратился в середине XVIII века в объект оценки и завоевания<sup>12</sup>.

Надо отметить, что подобное отношение ко времени и пространству характерно даже для критиков крайностей колониализма, таких как Кондорсе, который протестовал против власти монополий (например, Вест-Индской компании) и выступал за колонии свободных граждан (подобных Северной Америке) и свободу торговли. Тем не менее, и он, рассматривая историю как картину прогресса, делает некоторые оговорки. Для него Китай — страна «остановленного прогресса»; он порицает «позорную неподвижность огромных империй Азии»<sup>13</sup>. Это мир однообразия, на который не распространяются утверждения автора об универсальности прогресса. Кондорсе ставит на одну доску «спартанцев, римскую знать и восточных сатрапов, которые в действительности были варварскими правителями»<sup>14</sup>. Поэтому, призывая населять страны Африки и Азии европейскими колонистами, что должно привести к равенству внутри и между обществами, он, тем не менее, отмечает, что у этого процесса есть объективные препоны, отчасти природные, «необходимая причина неравенства, зависимости и даже нищеты», так что причины неравенства могут уменьшиться, но не исчезнуть — история никогда не станет полностью универсальной, полным воплощением прогресса<sup>15</sup>.

Такой подход трудно прямо возвести к идеалам прогресса или той модели линейной перспективы, к которой Н. Е. Копосов возводит происхождение теории прогресса<sup>16</sup>. «Спасиализация

---

<sup>11</sup> Ibid. P. 123-124.

<sup>12</sup> Эти процессы датируются по-разному. Ср.: *Hazard P.* La pensée européenne au XVIII siècle. De Montesquieu à Lessing. Paris, 1963. P. 13-16; *Osterhammel J.* Geshichtswissenschaft jenseits des Nationalstaats. Studien zu Beziehungsgeschichte und Zivilisationsvergleich. Göttingen, 2001. S. 81.

<sup>13</sup> *Condorcet J.* Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'Esprit humaine. Préface et notes Monique et François Hincker. Paris, 1971. P. 76, 114-115.

<sup>14</sup> Ibid. P. 155.

<sup>15</sup> Ibid. P. 258-261. Цитата на P. 261.

<sup>16</sup> *Копосов Н. Е.* Как думают историки М., 2001. С. 129, 157-159.

мысли» в данном случае происходит не по одной модели (линейно-стадиальной), а, по крайней мере, по двум, применительно к миру цивилизации и применительно к миру варварства. Можно показать, что наличие двух этих моделей, вопреки тому, что писали М. Хоркхаймер и Т. В. Адорно<sup>17</sup>, мало связано с Возрождением и Просвещением. Ведь подобные же формы восприятия времени можно найти также и в китайской культуре XVII века, где не существовало линейной перспективы и Просвещения. Философ Ван Фучжи (Ван Гуань Шань) строил свои представления о мире на схожих основаниях. Его модель также носила бинарный характер: центр — периферия, внутреннее (Китай) — внешнее (варвары). От этой географической модели зависело и течение времени. Ван Фучжи создал вариант теории прогресса, который имел отношение исключительно к китайцам, но не к варварам. По мысли философа, неотъемлемая и исключительная черта «варваров» — деградация<sup>18</sup>. Таким образом, и здесь время течет двунаправленно. Цивилизация и «варварство», как самостоятельные сущности, образуют два моральных и исторических пространства, которые не только нигде не пересекаются, но и взаимно отталкиваются в соответствии с законами природы. Различия между китайцами и варварами считались более существенными, чем между людьми и животными<sup>19</sup>.

Главное в этой имперской модели — максимальное дистанцирование от «варваров», предотвращение любой разновидности диалога с ними, превращение их в чистый объект знания и действия. Между *центром и периферией* создается нормативная *граница*, познавательный *горизонт*, за которым уже нет ничего актуального и значимого. Там, в отличие от упорядоченного мира цивилизации, все маркировано нестираемыми знаками варварства, хаоса, позволяющими различить *сакральный* мир прогресса и *десакрализованный* мир варварства<sup>20</sup>. Соответственно, в простран-

---

<sup>17</sup> Хоркхаймер М., Адорно Т. В. Дialeктика Просвещения. Философские фрагменты М.; СПб, 1997. С. 30, 40.

<sup>18</sup> Буров В. Г. Мировоззрение китайского мыслителя XVII в. Ван Гуань Шаня. М., 1976. С. 49, 80-81, 142.

<sup>19</sup> Там же. С. 153.

<sup>20</sup> Скрынникова Т. Сакральное пространство // Гуманитарная география / Гл. ред. Д. Н. Замятин. Вып. 2. М., 2005. С. 365-366.

стве мира выделяются две субстанции, два качественно различных состояния — *внутреннее и внешнее*. Внутреннее (метрополия) дифференцированно и подвижно, внешнее (мир потенциальных и реальных колоний) — однообразно и неподвижно. Все это служит для экзотизации неевропейских культур, превращающейся, по словам Л. Массиньона, в «манию экзотизма»<sup>21</sup>. Экзотика — это еще и маркировка отличия познаваемого и колонизируемого *объекта* от активного познающего *субъекта*, обозначение чужой идентичности, перехода границы внутреннего и внешнего.

Так достигается цель дистанцирования имперского и колониального. Такой подход, пишут М. Хоркхаймер и Т. В. Адорно, изгоняет восточное прошлое «за абсолютную границу безвозвратности» и позволяет использовать его «в качестве материала прогресса»<sup>22</sup>. Это совсем не похоже на универсальное, абсолютное и субстанциональное, гомогенное и изотропное время ньютоновской физики<sup>23</sup>. Здесь формируется совершенно иная нормативная модель, тесно связанная с представлениями о культурном наполнении пространства, о границе варварства и цивилизации. Эксплицитно в теории прогрессизма доминировало универсальное, однонаправленное изотропное время прогресса, в который предполагалось вовлечь все человечество. Но фактически описывалось бинарное двунаправленное анизотропное время, формируемое условиями существования обществ и раздваивающееся на границе варварства и цивилизации (прогресс или деградация). Эта модель была ближе к представлениям Г. В. Лейбница об относительности времени (его связи с «вещным» наполнением). Складывался нормативный образ бинарного гетерогенного анизотропного пространства мира, четко разделенного границами варварства и цивилизации (мир наблюдается из единого центра, движение к границе и по периферии меняет сущность, природу места)<sup>24</sup>.

Эти познавательные инструменты позволяют манипулировать образами колоний и периферии. Объект колонизации постулируется как отделенный горизонтом, а значит отсутствующий в диалоге

---

<sup>21</sup> Цит. по: Сауд Э. В. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006. С. 415.

<sup>22</sup> Хоркхаймер М., Адорно Т. В. Указ. соч. С. 49.

<sup>23</sup> Schroer M. Op. cit. S. 35-39.

<sup>24</sup> Ibid. S. 39-40.

с цивилизацией по объективным причинам. Как писал Э. Дуссель, это была форма трансцендентализации колониального субъекта, превращения его в объект, трансцендентальное Иное<sup>25</sup>. Бинарное членение мира на метрополию и (потенциальные) колонии закреплялось в понятийной системе, основанной на логике бинарных оппозиций: противопоставлениях цивилизации и варварства, культуры (свободы, разума) и природы, времени и пространства, прогресса и застоя, демократии и деспотизма, умеренности и крайностей, центра и периферии, «внешнего» и «внутреннего», дифференцированного и однообразного, субъекта и объекта. Реифицируясь, эти метафорические оппозиции предстают для современников как основы ментальной карты, выражающие сущность тех или иных явлений, заданную мировым порядком.

Динамика бинарного членения образа мира наглядно видна на примере трудов А. Фергюсона. Если в 1767 г. главным действующим лицом его истории был универсальный разум, который проявлялся уже в эпоху дикости, и тем более на цивилизованном Востоке<sup>26</sup>, то к 1792 г. действующих лиц истории становилось два: разум и невежество. Картина мира приобретает отчасти манихейский характер. Фергюсон называет Китай и Индию «прибежищами невежества и варварства». Ведь они являются деспотиями, а цивилизация присутствует только там, «где имеются свободные политические институты»<sup>27</sup>.

Крайней формой дистанцирования от периферии было противопоставление сакрального и профанного в пространстве и времени. Дистанцирование от незападного означало в Европе XVIII века его десакрализацию, вплоть до буквально воспринимавшейся Кондорсе перспективы «быстрого упадка великих религий Востока» под влиянием европейского Просвещения<sup>28</sup>. В этих

---

<sup>25</sup> *Dussel E., Guillot D. E. Liberación latinoamericana y Emmanuel Levinas. Buenos Aires, 1975. P. 21.*

<sup>26</sup> *Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества. М., 2000. С. 136-139, 142, 158-160, 164; Ренев Е. Г. Концепция цивилизации в философии истории шотландского Просвещения // Цивилизации / Отв. ред. М. А. Барг. Вып. 2. М., 1993. С. 227.*

<sup>27</sup> Цит. по: *Ренев Е. Г. Указ. соч. С. 228.* Этого не замечает Ю. Остерхаммель. См. *Osterhammel J. Geschichtswissenschaft... S. 136.*

<sup>28</sup> *Condorcet. Op. cit. P. 258.*



условиях периферия рассматривалась не просто как отсталые области, но и как возможный объект экспансии и манипуляций, воспринимавшихся как обрядовые практики, кровавое жертвоприношение. Сходные способы восприятия населения периферии характерны для самых разных империй. «Уничтожение варваров для спасения нашего народа можно назвать гуманным... — отмечал Ван Фучжи, — Поскольку варвары не являются нам подобными и приносят нам громадный вред, необходимо больше убивать их, и это не будет ущербом для нашего человеколюбия»<sup>29</sup>. Так же рассуждал знаток Аристотеля, испанский мыслитель XVI века Х. Г. Сепульведа. Описывая индейцев, он оказывался неспособным «обнаружить что-либо человеческое... у этих человечков»<sup>30</sup>. Животная сущность индейцев, по его мнению, нарушает естественный порядок, а потому «мы можем считать, что господь снабдил нас несомненными и ясными наставлениями относительно истребления этих варваров», — заключал философ<sup>31</sup>. Таким образом, колониальное завоевание Америки и истребление индейцев — не война, а жертвоприношение на алтарь сакрального порядка вещей, воспроизводство основных жизненных ориентиров.

Десакрализация периферии в западной философии истории XIX века проявлялась наиболее ярко в менее кровавых, но не менее унижительных формах деисторизации, также оправдывавших колонизацию и порабощение. Гегель выдвинул светский сакрализованный внеисторический идеал (абсолютный дух) и маркировал в соответствии с ним все познавательное пространство. Противопоставляя свободу и природу, он создал сниженный образ народов периферии мира, которые рассматривались как принципиально выпавшие из истории. В тропиках и приполярных областях, где нет государственности, колонизация и рабство — не ущерб свободе, а путь к свободе. «Естественное состояние называется состоянием абсолютной и сплошной несправедливости... Негры уводятся европейцами в рабство и продаются в Америку, — пишет философ, — однако их участь едва ли не

---

<sup>29</sup> Буров В. Г. Указ. соч. С. 149-150.

<sup>30</sup> Sepúlveda J. G. Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los Indios. México, 1941. P. 105.

<sup>31</sup> Ibid. P. 115.

оказывается еще хуже в их собственной стране, где... человек не осознает своей свободы...»<sup>32</sup>. Рабство, таким образом, может рассматриваться как «момент прогрессивного перехода... имеющий воспитательное значение, благодаря которому люди становятся причастными к более высокой нравственности и к находящейся в связи с ней культуре...»<sup>33</sup>.

### **Путешествия в периферийный мир варварства и жизнь в нем**

Представления о линейной перспективе срабатывали в имперском дискурсе весьма специфическим образом: это была символическая, часто метафорическая перспектива, согласно которой чем дальше объект наблюдения располагается от наблюдателя, тем дальше он во времени. Переход европейскими путешественниками XVIII века границы цивилизации и варварства (обычно располагавшейся в Польше) означал разрыв с сакральным, современным, культурным и погружение в профанное, пережиточное, дикое. Это сущностно амбивалентное место столкновения порядка и хаоса, настоящего и прошлого, резких контрастов, соединения несоединимого, невозможности целостности и синтеза<sup>34</sup>. Отстояние от идеала цивилизации проявляется во всех элементах местного образа жизни, в обычаях той или иной эпохи (порой средневековых), в цвете одежды, расовых чертах и даже уровне местности<sup>35</sup>. Поэтому местные жители не рассматривались как современники европейца конца XVIII века. Дворянство Восточной Европы оказывалось «снаружи», за границей цивилизации, а его озабоченность делами Франции воспринималась с недоумением. Здесь наблюдали эпоху гуннов, татар и «древних москвитов». В крайнем случае признавалось сосуществование в пограничной цивилизации России как бы двух времен. Посол Франции Л. Ф. Сегюр писал о неразрывности «века варварства и века цивилизации, X и XVIII столетий»<sup>36</sup>.

---

<sup>32</sup> Гегель Г. В. Ф. *Философия истории* // Сочинения. Т. VIII. М.-Л., 1935. С. 16-17, 77, 93, 91.

<sup>33</sup> Там же. С. 93-94.

<sup>34</sup> Вульф Л. Указ. соч. С. 54-97.

<sup>35</sup> Там же. С. 502.

<sup>36</sup> Там же. С. 60.

Наиболее отдаленные «потусторонние» территории Сибири и Америки считались равно отсталыми. Это было нерасчленимое и внутренне неразличимое пространство изначальной древности<sup>37</sup>. В Сибири американский ученый Дж. Ледъярд на основе сравнения внешнего облика, нравов, одежды и языка обнаружил в 1788 г. родство между «сибирскими татарами» и американскими индейцами (в чем был определенный этнографический смысл), но также предположил наличие расового сходства между татарами и африканцами (что имело только символический смысл)<sup>38</sup>. Последнюю идею породил образ равноудаленной от Европы периферии мира, самой последней из «последовательных ступеней, посредством которых осуществляется переход от цивилизации к нецивизованности»<sup>39</sup>.

Л. Вульф связывает эти идеи с проявлением в Европе XVIII века имперского / колониального дискурса власти-знания, который он характеризует как «ненавязчивое приглашение к завоеванию»<sup>40</sup>. В наиболее зрелой форме этот унифицирующий периферию дискурс проявился у Г. Т. Бокля, который, отстаивая колониальные права Англии на Индию после восстания 1857–1859 гг., приписывал единообразие всем «периферийным» культурам, в том числе высоким. «...Во всех важнейших отношениях цивилизации Мексики и Перу были строго аналогичны индийской и египетской... — писал он. — Чем далее мы продолжаем наше исследование, тем разительнее становится сходство между всеми цивилизациями, процветавшими ранее того времени, которое можно было бы назвать европейским периодом в истории человеческого рода»<sup>41</sup>. Гомогенность периферии обосновывалась географическим детерминизмом — преобладающим воздействием на «первоначальные цивилизации» природы, а на европейские цивилизации — человека и его разума.

Система европейского образования, все шире распространявшаяся по миру, стремление следовать образцам Просвещения,

---

<sup>37</sup> Там же. С. 61-62, 92.

<sup>38</sup> Там же. С. 502, 505-506.

<sup>39</sup> Там же. С. 501.

<sup>40</sup> Там же. С. 39, 525.

<sup>41</sup> Бокль Г. Т. История цивилизаций // История цивилизации в Англии. Т. 1. М., 2000. С. 62, цитата С. 70-71.

модернизации и секуляризации приводили к тому, что имперские представления о времени и пространстве, входившие в состав прогрессивистской парадигмы, экспортировались в иные культуры. Во многих современных исследованиях по истории цивилизаций эти колониальные конструкты воспринимаются как *объективные формы восприятия* неевропейской реальности. Так, Я. Г. Шемякин описывает «масштабы воздействия природы на человека и общество» в Латинской Америке, опираясь на тексты писателей Д. Ф. Сармьенто, А. Карпентьера, А. Услара Пьетри, подчеркивающих экзотичность континента и его природы («Ад Америки», «континент ураганов», «враждебная и агрессивная по отношению к человеку») <sup>42</sup>. Наверное, у этого дискурса была и объективная основа, но нельзя не уловить в нем той страсти к экзотизации неевропейского, которую Э. Саид связывал с ориентализмом как проявлением колониального дискурса, и ту амбивалентность по отношению к колониям, которую Х. Баба определял как одновременное вожделение и отталкивание колонизируемого, желание и ненависть по отношению к нему (ср. сочетание образов «Ада Америки» и «Рая Америки») <sup>43</sup>. Особенно это касается цитирования теоретика и практика «реколонизации» Америки Д. Ф. Сармьенто, который взаправду считал, что «зло, от которого страдает Аргентинская республика, — это ее протяженность» <sup>44</sup>.

Интерпретация Я. Г. Шемякина может показаться убедительной, только если не учитывать ее сходство с умозрительными построениями никогда не бывавшего в Латинской Америке Г. Т. Бокля, который, описывая Бразилию, подчеркивал, что там «силы природы опутали дух человека», и продолжал: «...среди этой пышности, этого блеска природы не оставлено ни малейшего места для человека», а потому «нигде нет такой грустной противоположности между величием внешнего и ничтожеством внут-

---

<sup>42</sup> Шемякин Я. Г. Европа и Латинская Америка. Взаимодействие цивилизаций в контексте всемирной истории. М., 2001. С. 193-196.

<sup>43</sup> Gandhi M. K. Postcolonial Theory. A Critical Introduction. New York, 1998. P. 11; Bhabha H. The Location of Culture. L., 1994. P. 44-45.

<sup>44</sup> Шемякин Я. Г. Указ. соч. С. 196. Некоторые оговорки сделаны на с. 211-212, но и здесь граница «цивилизация-варварство» рассматривается не как конструкт европейской мысли, а как объективное явление, вредный «феномен», порождающий воздействие хаоса и невозможность синтеза культур.

ренного мира [человека. — *И. И.*]»<sup>45</sup>. При этом в книге ни слова не сказано о культуре индейцев, она принципиально не интересует Бокля. Для него важно лишь то, что это сущностно однообразное, «внешнее», «периферийное» пространство, которое можно освоить лишь при помощи воздействия европейских колонистов. О природе подобных взглядов хорошо высказался А. М. Эткин: «Ясность этого мира — прямое следствие Просвещения и порожденных им метафор»<sup>46</sup>.

Подобные формулы воспроизводились и в российской культуре. Литературовед М. В. Глостанова и культуролог А. М. Эткин пишут о России как о своеобразной «империи-колонии» или о «квази-западной славяно-православной империи подчиненного типа», в которой колонизатор постоянно осознает свою уязвимость, «представляет собой подавляемого колонизатора, если не колонизированного субъекта в более глобальном мировом масштабе»<sup>47</sup>. Российская империя «осваивала свой народ», интерпретируя его как объект ассимиляции и радикальных преобразований, порождала колониалистские и ориенталистские, миссионерские, этнографические и экзотизирующие стратегии взаимодействия с ним<sup>48</sup>. Интеллигенция пыталась осмысливать себя в западных терминах («вторичный европоцентризм») и понятиях собственной исключительности, но вместе с тем остро ощущала недооценку России на Западе. Другим вариантом является острая самокритика и бескомпромиссное желание идентифицировать себя с Западом<sup>49</sup>.

Эти противоречивые чувства отражают подспудное, слабо осознанное недовольство, спровоцированное ощущением своего противоречивого положения в являющейся нормативной для образованного человека системе языка и ментальных карт западной

---

<sup>45</sup> Бокль Г. Т. Указ. соч. С. 66-67. В связи с этим вводилось представление об «обуздаемости» природы, которое позволяло судить о «шаткости» или устойчивости прогресса. Там же. С. 68, 72.

<sup>46</sup> Эткин А. Хлыст. Секты, литература и революция. М., 1998. С. 136.

<sup>47</sup> Глостанова М. В. Постсоветская литература и эстетика транскультурации. Жить нигде, писать ниоткуда. М., 2004. С. 98, 142-143.

<sup>48</sup> Эткин А. Указ. соч. С. 59.

<sup>49</sup> Кантор В. К. «Есть европейская держава». Россия: трудный путь к цивилизации. Историографические очерки. М., 1997.

культуры. Будучи их носителем, интеллигент должен бы осознавать себя в качестве субъекта познания, ассоциировать себя только с западной культурной метрополией как центром мироздания, но, не будучи человеком Запада и осознавая отличия России и Запада, он не может не переживать себя одновременно и в качестве периферийного объекта познания и (потенциально) цивилизаторской деятельности. Происходит что-то вроде самообъективации субъекта знания (ср. с разрушительной политикой самоколонизации в исполнении Д. Ф. Сармьенто, от которой, как писал Л. Сеа, «только шаг до самоуничтожения») <sup>50</sup>.

Это очень заметно в философских построениях П. Я. Чаадаева, для которого «Россия... лишь страничка географии», расположенная «на перепутьи», территориально не принадлежащая «ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку», и вместе с тем лишенная собственного времени, неудобно приютившаяся «в самом ограниченном настоящем, без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя». Меру отстраненности незападных обществ в имперской парадигме Просвещения лучше характеризуют слова Чаадаева о том, что в России «сведен на нет всеобщий закон человечества» <sup>51</sup>. Дело здесь даже не столько в познавательной пустоте и непредсказуемости. Для Чаадаева как человека верующего самым страшным было ощущение России как десакрализованного пространства, противопоставленного Европе, где отчасти уже осуществлено Царство Божие. Его слова о том, что «мы похожи на кочевников, хуже кочевников» <sup>52</sup>, маркируют российское общество как далекую периферию (Ад Кромешный, т. е. расположенный на краю мира). В этом он по типу восприятия пространства страны и способу выражения мыслей схож с его младшим современником Д. Ф. Сармьенто, который не только сравнивал аргентинских гаучо с азиатскими кочевниками, варварами, но и физически истреблял их, будучи военным министром и президентом страны <sup>53</sup>.

---

<sup>50</sup> Сеа Л. *Философия американской истории. Судьбы Латинской Америки*. М., 1984. С. 42.

<sup>51</sup> Чаадаев Н. Я. *Сочинения*. М., 1989. С. 267, 19, 18, 20, 25.

<sup>52</sup> Там же. С. 19.

<sup>53</sup> Земсков В. Б. *Доминго Фаустино Сармьенто: человек и писатель // Сармьенто Д. Ф. Избранные сочинения*. М., 1995. С. 459-480.

При этом П. Я. Чаадаев не был рабом господствующего европейского дискурса. Он порой дистанцировал себя от него и осознавал, что его мысли связаны с чужой для России познавательной и культурной формой: «...поневоле приходится говорить на языке Европы... у нас нет другого языка, кроме языка той же Европы; им и приходится пользоваться»<sup>54</sup>. Он понимал плюсы этого положения (перспективу «нашей общей судьбы»), но не понимал его минусов, ментальной заданности случившейся с ним метафизической истерики. Отчасти наличие западного идеала способствовало критике местного положения вещей, но придавало ей чрезмерную остроту и отчаянность, стремление к самопожертвованию. Чаадаев, впрочем, нашел выход в том, что сменил одну парадигму западного восприятия России — «образ варвара» на другую — «образ ученика», позволяющий в будущем увидеть величие страны, вернуть ее контекст универсальной истории<sup>55</sup>.

Важнейшей задачей для российской историографии XIX века была презентация страны в качестве самоколонизирующейся, самостоятельно перемещающей границу варварства и цивилизации; только это могло поставить ее историю в европейский контекст представлений о всеобщей истории и прогрессе, перенести воображаемую границу варварства на Восток от Петербурга и Москвы. Это был ответ на сомнение Запада в том, что ««славянин» — это человек, не вполне годящийся на роль настоящего колонизатора с европейской точки зрения»<sup>56</sup>. Отсюда положение В. О. Ключевского, выработанное в рамках боклевских взглядов, но создавшее основы для представления о российских государстве и цивилизации: «Колонизация страны... основной факт русской истории... Область колонизации в ней расширялась вместе с государственной ее территорией... Исторически Россия... переходная страна... культура неразрывно связала ее с Европой; но природа... всегда влекла ее в Азию»<sup>57</sup>. Ему вторил К. Д. Кавелин, который утверждал: «Наша история представ-

---

<sup>54</sup> Чаадаев П. Я. Указ. соч. С. 131.

<sup>55</sup> Эти парадигмы исследовал И. Б. Нойманн. См. *Нойманн И. Б.* Указ. соч. С. 115-156.

<sup>56</sup> Глостанова М. В. Указ. соч. С. 130.

<sup>57</sup> Ключевский В. О. Сочинения в 8 тт. Т. 1. М., 1956. С. 30-31, 47.

ляет постепенное *изменение* форм, а не *повторение* их... в ней было развитие, не так, как на востоке, где с самого начала до сих пор все повторяется почти одно и то же, а если по временам и появлялось что-нибудь новое, то замирало или развивалось на европейский почин. В этом смысле мы народ европейский, способный к совершенствованию, к развитию...»<sup>58</sup>.

Но эта компромиссная версия не была вполне убедительной. Периферийно-колониальные мотивы возрождаются в периоды кризисов в России XX века, причем у представителей самых разных идеологических направлений. Так, Н. Я. Бердяев, критикуя русский коммунизм, писал: «Необъятность русской земли, отсутствие границ и пределов выразилось в строении русской души. Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли, та же безграничность, бесформенность, устремленность в бесконечность, широта... Можно было бы сказать, что русский народ пал жертвой необъятности своей земли, своей природной стихийности»<sup>59</sup>. Эта интерпретация была бы убедительной, если бы не педантирование Бердяевым колониального мифа периферии, отсутствия границ, пространства как антитезы времени. Поэтому можно сказать, что в этой цитате отразились две группы предпосылок революции — реальные (адекватно описанные Бердяевым) и ментальные (которые мы находим и в его собственном воображении).

Можно продолжить этот анализ, отметив вслед за Т. фон Лауэ и Т. Шаниным *зависимое развитие* российского дореволюционного общества. С. А. Нефедов отмечает, что Т. фон Лауэ называл революции XIX–XX вв. «революциями извне», т. е. индуцированными внешним, западным влиянием. Он связывает с этим влиянием российскую революцию 1905–1907 гг., в которой П. Б. Струве выделил две «параллельных» революции — вестернизаторскую и «элементарную» (стремление низов к освобождению от материальных тягот)<sup>60</sup>. Но было бы недостаточным сводить внешнее влияние к переносу идеала модернизации. По

---

<sup>58</sup> *Кавелин К. Д.* Взгляд на юридический быт древней России // Наш умственный строй. М., 1989. С. 13.

<sup>59</sup> *Бердяев Н. Я.* Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 8.

<sup>60</sup> *Нефедов С. А.* Демографически-структурный анализ социально-экономической истории России. Конец XV – начало XX века. Екатеринбург, 2005. С. 330.



нашему мнению, для интеллигенции гораздо большее значение имели метафоры объектности, периферийности, исторической ущербности, которые, прилагаясь к российской реальности, делали ее фатально непереносимой, смертельно унижительной. Отсюда стремление к отстранению от западной культуры и ресубъективизация, связанная с ресакрализацией пространства.

Отсюда, в частности, влияние на российскую интеллигентскую культуру Серебряного века сектантства (прежде всего хлыстовства). А. М. Эткинд прав, говоря что «Просвещение вызывало к жизни силы, противоположные ему по качеству и направлению»<sup>61</sup>. Но «ожесточенное сопротивление» вызвали не только «культура капиталистического города, рационализм среднего класса», но и, прежде всего, культурная шизофрения, порождаемая объективистским идеалом и использованием западных ментальных карт вне Европы. Именно поэтому «интеллигенция относилась к «народу» так, как имперская элита в момент распада империи относится к бунтующим колониям: с чувством вины, с подавленным страхом и с надеждой на примирение». Это и порождало «инверсию основных значений... культуры». Русская интеллигенция *впервые в истории* осознала права периферийного, трансцендентального субалтерна, признала себя несведущей в природе и смысле народной жизни, отрицала свое право на их оценку, ставила себе в обязанность «принимать на веру то, во что верит “народ”»<sup>62</sup>. Она взяла на себя ответственность за преодоление границы двух гетерогенных пространств, на которые Просвещение разделило русскую культуру. Проблема российской революции не в природе, а в экстремальной интенсивности этих ощущений, в их истерическом и эсхатологическом накале, связанном с западной идеей прогресса, воспринятой интеллигенцией как догма.

При этом эсхатологические идеи преобразования мира, выдвинутые З. Гиппиус и Д. Мережковским, А. Блоком, Всев. Ивановым, Н. Клюевым, апеллировали к представлениям о пространстве и времени, во многом альтернативным западным, были ориентированы на гомогенизацию культурного пространства-времени страны, ресакрализацию и ресубъективизацию России и ее народа. А. Блок в «Скифах» заводил разговор о «холопстве»

---

<sup>61</sup> Эткинд А. Указ. соч. С. 675.

<sup>62</sup> Там же. С. 59-60.

русских перед Западом, возникших «обидях». Так он начинает игру с представлениями о границе, одновременно неподвижным и оборотническим образом русской культуры, проблематизирует эти ментальные стереотипы<sup>63</sup>. Особенно важны телесные метафоры Н. Клюева, восстанавливающие позитивную самоидентификацию: «Я здесь, — ответило мне тело, — / Ладони, ребра, голова, — / Моей страны осиротелой / Материки и острова»<sup>64</sup>. Это была не люмпенская реакция, а попытка возвращения в родное пространство из странствий по чужим ментальным мирам, «национально специфичное, культурно насыщенное» движение, череда «мистических пророчеств, крестьянских восстаний, религиозных расколов... космических утопий»<sup>65</sup>. Это была попытка культуры обрести собственный голос. И хотя революционные события 1917 года выдвинули на первый план совсем иные идеи<sup>66</sup>, источающийся шлейф этой духовной традиции (прежде всего русского космизма) прослеживается до 1960-х гг.

Сохранение верности западным (прогрессистским) формам самосознания связаны в условиях периферийности с не меньшими противоречиями. Воспринимая универсализм теории прогресса, российские мыслители (как марксисты, так и либералы) зачастую не осознавали ее внутреннюю противоречивость, не анализировали ее бинарную структуру, основанную на метафизическом противопоставлении цивилизации и варварства, прогресса и застоя. Соответственно, это порой приводило к воспроизводству тенденций к периферизации, деисторизации, десакрализации своей и других культур. В частности, Б. Ф. Поршнев, развивая идеи Гегеля об условной справедливости рабства для неисторических народов, писал, что «в глубинах первобытнообщинного строя человек в известном смысле был еще более поработен, чем при рабовладельческом строе... рабовладельческий строй был толь-

---

<sup>63</sup> Блок А. Стихотворения. Поэмы. М., 1978. С. 359-360.

<sup>64</sup> Цит. по: Эткин А. Указ. соч. С. 299.

<sup>65</sup> Там же. С. 675.

<sup>66</sup> Можно в целом согласиться с центральным положением А. Эткинда: «Русские революции были актами деколонизации “народа”, актами последовательными, как всякая имперская политика; противоречивыми в силу внутреннего их характера, и закончившимися новой, беспрецедентной попыткой имперского завоевания собственного народа». Там же. С. 60.

ко там, где люди начинали свои первые исторические попытки бороться против рабства»<sup>67</sup>. Освободительный пафос этой фразы растворяется в имперском дискурсе порабощения, так как автор прямо постулирует наличие эпох и регионов, *достойных рабства*.

Для имперского дискурса характерно обращение стратегии дистанцирования не только вовне, но и внутрь собственной страны. Так, Ван Фучжи, вопреки своей основной идее, воспринимал китайских крестьян как варваров, животных, которых невозможно перевоспитать и которым нельзя внушить моральные ценности<sup>68</sup>. Подобным образом, признавая западные определения российской цивилизации как «промежуточной», «варварской»<sup>69</sup>, (которые М. В. Глостанова вполне справедливо связывает с западным имперским дискурсом<sup>70</sup>), часть наших либералов полагает, что российское общество больно «локализмом» и мало способно развиваться по типу большого общества. Оно по сути своей «периферийное», «варварское», «высоко дезорганизованное» и заражает своей дезорганизацией государство. Исторический процесс превращается для них в «выравнивание разницы потенциалов дезорганизации между обществом и государством». Это фактически *обрекает* государство на авторитаризм, порождает бюрократию и коррупцию как парадоксальные *формы самоорганизации* общества<sup>71</sup>. Массы населения (до 4/5) при этом признаются не столько объектом модернизации, сколько жертвой во имя поступательного движения, прогресса. «Железная поступь общеисторического императива, — пишет И. Г. Яковенко, — сметает с земли неэффективные способы бытия»<sup>72</sup>.

---

<sup>67</sup> Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. М., 1979. С. 217, 220.

<sup>68</sup> Буров Б. Г. Указ. соч. С. 153.

<sup>69</sup> См. также: Яковенко И. Г. Цивилизация и варварство в истории России. Статья 2. Россия — «варварская цивилизация?» // Общественные науки и современность. 1995. № 6. С. 82.

<sup>70</sup> Глостанова М. В. Указ. соч. С. 46.

<sup>71</sup> Ахиезер А. С., Давыдов А. П., Шуровский М. А., Яковенко И. Г., Яркова Е. Н. Социокультурные основания и смысл большевизма. Новосибирск, 2002. С. 549, 555.

<sup>72</sup> Яковенко И. Г. Российское государство: национальные интересы, границы, перспективы. Новосибирск, 1999. С. 64; Яковенко И. Г. Риски социальной трансформации. М., 2006. С. 85.

Таким образом, имперский дискурс пространства и времени воспроизводится в зависимых субкультурах как объективное научное знание и транслирует туда под видом модернизационных, прогрессистских идей образы мира, имеющие мало общего и с наукой, и с модернизацией, и даже не вполне секулярные.

### **Трансформируя познавательное пространство**

Могучим основанием имперского дискурса является моноцентрическая концепция познавательного пространства, идеал объективного знания и субъект–объектная парадигма, которая предполагала анизотропию познавательного процесса (просвещенный человек познает дикаря, а дикарь не может познать просвещенного человека; научное познание не может быть повернуто вспять). Некоторые радикальные постколониальные критики видят истоки этой концепции в гегемонистских чертах западной мысли, в ее глобалистских амбициях, проявившихся еще в философии Ф. Бэкона, но при этом отмечается, что наибольшее развитие она получила в позитивизме XIX в., тесно связанном с ориентализмом<sup>73</sup>. Возникает то, что М. М. Бахтин критически именовал эпистемологизацией знания. «Гносеологическое сознание, сознание науки, — писал он, — единое и единственное сознание... все, с чем имеет дело это сознание, должно быть определено им самим, всякая определенность должна быть его активной определенностью... В этом смысле гносеологическое сознание не может иметь вне себя другого сознания, не может вступить в отношение к другому сознанию, автономному и неслиянному с ним... оно не может допустить рядом с собой иного, независимого от него единства (...другого сознания)... противостоящего ему своею, им не определенной судьбой<sup>74</sup>.

Таким образом, самой логикой познания мир распадается на две части (субъект и объект), превращается в дуальный. Образы центра и периферии, внешнего и внутреннего получают укоренен-

---

<sup>73</sup> *Bajaj J.* Francis Bacon, The First Philosopher of the Modern Science: A Non-Western View // *Science, Hegemony and Violence. A Requiem to Modernity* / Ed. A. Nandy. New Delhi, 1991. P. 24-67; *Alvarez C.* Science, Colonialism and Violence: A Luddite View // *Ibid.* P. 68-112.

<sup>74</sup> *Бахтин М. М.* Автор и герой в эстетической деятельности // *Эстетика словесного творчества*. М., 1986. С. 29.

ность в логике научного познания. Имперские академии наук становятся машинами по объективизации реальности, утилизации энергии, сырья и людей как ресурсов власти. Применительно к колониальной периферии этому служило в XIX в. изучение антропологии или этнографии народов, подвергшихся деисторизации.

Значимой считалась только одна версия познания — западная, полагавшаяся единой и универсальной. Воплощением этого подхода была линейно-иерархическая модель развития знания О. Конта, проявлявшаяся в чередовании трех компетенций — религиозной, метафизической и позитивно-научной. При этом имперский дискурс исторического времени преобладал над конкретным знанием. У О. Конта схема истории оказывается «безусловно, гораздо лучше известной и более доступной непосредственному восприятию, чем те разнообразные ее части, которые становятся различимы в итоге». Модельное, предпосылочное знание вытесняло конкретное знание вплоть до ситуации «ментальной гигиены», когда накладывался запрет на новое конкретное знание, не уместяющееся в схему<sup>75</sup>. Иные центры знания превращались в объекты «антропологии знания». Постколониальный критик Л. Т. Смит пишет, что «туземные азиатские, американские и африканские формы знания, системы классификации, технологии и коды социальной жизни... начали фиксироваться как “новые открытия западной науки”. Эти открытия осмыслились как принадлежащие культурному архиву и корпусу знаний Запада»<sup>76</sup>.

Европейские объективистские и тотально объективирующие неевропейский мир мировоззрение и наука, распространяясь за пределами Запада, порождали гигантскую волну отчуждения, которую впоследствии проанализировал Ф. Фанон<sup>77</sup>. С ней было связано стремление к ресубъективизации, а значит и ресакрализации собственного пространства, создания альтернативных центров сакральности, как это мы видели в России. Нередко такие попытки имели антипросветительский, романтический или прямо фундаменталистский характер. Однако это была не вина антиколониаль-

---

<sup>75</sup> *Comte A.* Cours de la philosophie positive. Paris, 1864. Vol. 4. P. 286, 291; Vol. 1. P. 16.

<sup>76</sup> *Smith L. T.* Decolonising Methodologies: Research and Indigenous Peoples. L., 2001. P. 61.

<sup>77</sup> *Fanon F.* Les damnés de la terre. Paris, 1991.

ного движения, а скорее его беда. Слишком прочно были увязаны истинностные и объективистские принципы классического знания и позитивистской теории прогресса с имперским дискурсом. Например, их не различали и философы Франкфуртской школы.

До конца XIX в. попытки выстроить новые формы осознания пространства и времени были связаны в основном с воспроизводством имперских моделей. Н. Я. Данилевский в книге «Россия и Европа» выступил сразу в двух противостоящих ипостасях. Как периферийный мыслитель, объект агрессии Запада (его усадьбу сожгли во время Крымской войны), он выступил против самых оснований ориентализма — стремления представить европейскую историю как всечеловеческую, против оппозиций «Запад–Восток» и «Европа–Неевропа» как центра и периферии, охарактеризовав их как «совершеннейший вздор». Данилевский выдвинул модель изотропного пространства истории. По его мнению, «прогресс состоит не в том, чтобы идти все в одном направлении... а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще исторической деятельности во всех направлениях»<sup>78</sup>. Он критиковал колониализм, «охоту за людьми, упаковку их в товар, выбрасывание десятками за борт, тяжелое рабство миллионов»<sup>79</sup>. Он продемонстрировал спекулятивный характер обобщений «философской географии» ориенталистов, произвольно объединявших Индию и Сибирь<sup>80</sup>.

Но как имперский мыслитель он демонстрировал стремление к сакрализации Российской империи, к переосмыслению в ее пользу понятий центра и периферии, внешнего и внутреннего, субъекта и объекта знания. В результате формируется последовательно оксиденталистский образ истории Европы как непрекращающегося насилия и ориенталистский (хотя и несколько смягченный поначалу) образ Китая и Индии как «первобытных», «подготовительных», а потому неполноценных цивилизаций<sup>81</sup>. Создавая организмические образы России и Запада, Данилевский лишь усилил представление об анизотропности исторического времени (как времени жизни цивилизаций). По его мнению, Европа не может претендовать на место центра мира и единствен-

---

<sup>78</sup> Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 109.

<sup>79</sup> Там же. С. 185.

<sup>80</sup> Там же. С. 56-58, 72-75, 71-90.

<sup>81</sup> Там же. С. 179-187, 472-473.

ного субъекта знания, поскольку она уже 150–200 лет как «вступила... на нисходящую сторону своего пути»<sup>82</sup>. Высшей, божественной телеологии истории соответствует лишь Россия, а Западу остается роль периферийного лидера десакрализованной, профанной истории<sup>83</sup>.

В конце XIX в. попытки ресакрализации собственного пространства начинаются и в колониальном мире, в частности в Индии, где С. Вивекананда (Н. Датта) пытался пересмотреть ментальные основы сравнения культур и создать двухцентровую схему отношения Запада и Востока. «Запад показал, как можно “раздуть” потребности человека, — писал он, — Восток — как можно их обуздать; Запад показал возможность контроля над внешней средой, Индия — как контролировать “внутреннюю природу”; Запад ориентирован на естественные науки, Индия спиритуалистична и ориентирована преимущественно на религию»<sup>84</sup>. Философ полагал, что Индии для ее органичного развития необходимо избежать как Сциллы старой ортодоксии, так и «Харибды европейской цивилизации»<sup>85</sup>. А в начале XX века А. Гхош нарисовал картину изотропного пространства многополярного мира, противопоставляя образам Англии с ее идеалом научного исследования, Франции с ее идеалом рациональной логики, Германии с ее спекулятивным гением, России с ее эмоциональной силой, Америке с ее коммерческой энергией — дух Азии и особенно Индии с ее спокойствием, созерцательностью и самообладанием<sup>86</sup>.

Сложность статуса классического научного знания, переплетение в нем познавательных и властных (в том числе имперских) элементов делает для многих мыслителей невозможным однозначно интерпретировать классическую науку как новый способ глобализации мировой истории, второе «Осевое время», по словам К. Ясперса. В отличие от некоторых его последователей и интерпретаторов, среди которых Ш. Н. Айзенштадт и Я. Г. Ше-

---

<sup>82</sup> Там же. С. 172.

<sup>83</sup> Там же. С. 480, 509.

<sup>84</sup> *Костюченко В. С.* Вивекананда. М., 1977. С. 154.

<sup>85</sup> Там же. С. 162.

<sup>86</sup> *Mukherjee H., Mukherjee U.* Bande Mataram and Indian Nationalism (1906–1908). Calcutta, 1957. P. 86.

мякин, однозначно (хотя и не полностью) уравнивающих по значению первое и второе «Осевые времена», Ясперс воздерживается от этого<sup>87</sup>. Анализируя последствия европейской научной революции 1500–1800 гг., он отмечал, что она все же «чисто европейское явление и... не может иметь значение оси для всего мира, для всего человечества, и маловероятно, чтобы смогла стать таковой в будущем»<sup>88</sup>. У Ясперса события научной революции пока еще лишь «предвосхищение будущих возможностей», а не «историческая реальность». Он связывает это с мерой, в какой в классической науке оказалась «реализованной возможность всемирного общения»<sup>89</sup>. То есть К. Ясперса (помимо всего прочего) не удовлетворяет, как и М. М. Бахтина, *диалогический потенциал* классической науки, как он сложился к 1800 году, т. е. ее объективистский, «эпистемологизированный» вариант, связанный, как было показано, с имперским/колониальным дискурсом. Из этого можно заключить, что, по мнению К. Ясперса, именно объективирующая традиция мировой науки — это то, что делает ее не универсальным, а локальным европейским феноменом. Ведь она порождает, как мы видели, мощную реакцию ресубъективизации и ресакрализации, которая является ее неотъемлемой составляющей. Преодоление этой реакции возможно лишь в критике имперской власти-знания, в становлении неклассического (субъект–субъектного) знания, в уходе от диалектики к диалогике, которая становится основанием действительно глобалистского постколониального дискурса. Все это связано с порождением совершенно иных ментальных карт и моделей пространства и времени.

### **Создавая постколониальные модели пространства и времени**

Для рубежа XIX–XX вв. была характерна релятивизация образов пространства и времени в физике, философии, истории. Причем, если нормативные прогрессистские модели времени строились в колониальных империях XVI–XIX вв. — Испании, Англии и Франции, то большинство альтернативных релятивист-

---

<sup>87</sup> Шемякин Я. Г. Указ. соч. С. 68-69.

<sup>88</sup> Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Смысл и назначение истории. М., 1994. С. 97.

<sup>89</sup> Там же. С. 95.



ских моделей конца XIX – начала XX в., которые создали предпосылки для рождения неклассической науки и постколониального дискурса, зарождались в странах, стоявших несколько в стороне от первоначального раздела мира: Германии, США или периферийных империях, таких как Россия или Австро-Венгрия. Для сторонников этих взглядов характерно совершенно иное отношение ко времени и пространству. Это уже не метафизические и общезначимые модели, под которые подгоняется конкретный опыт. Это попытка осмыслить конкретные научные знания о специфике культур и опыте их взаимодействия.

Типичным примером такого рода является «транспортная метафора» М. Вебера. «Над человеческим действием непосредственно господствуют интересы (материальные и идеальные), а не идеи, — писал социолог. — Однако “картины мира”, создаваемые “идеями”, очень часто выполняли роль “стрелочников”, определяющих тот путь, по которому динамика интересов тянет вперед человеческое действие»<sup>90</sup>. Внимание в этом отрывке сосредоточено уже не на метафизическом европейском «центре цивилизации», а на реальных «управляющих центрах» великих культур, в которых происходит взаимодействие человеческих идей и интересов. Время истории теперь не является нормативным и бинарным, не делится по принципу прогресса и застоя, а становится относительным, функциональным, производным от интересов и идей людей. «Поприще исторической деятельности», обозначенное Н. Я. Данилевским, делается зримым, как бы расчерченным железнодорожными путями.

Пространство уже не моноцентрично, а полицентрично (стрелочников много), диверсифицировано, картина времени многолинейная, сетевая, дробная. Поэтому дедуктивные и индуктивные логические приемы, которые употребляли позитивисты,

---

<sup>90</sup> Weber M. Gesamtausgabe. Ser. I. Bd. 19. Glinzer; Tübingen, 1989. S. 101. Перевод дан по тексту Козлов С. Л. Крушение поезда: Транспортная метафорика Макса Вебера // Новое литературное обозрение. 2005. № 71. С. 19. Существуют другие переводы, отчасти модифицирующие смысл. См. Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 55. Давыдов Ю. Н. “Картины мира” и типы рациональности (Новые подходы к изучению социологического наследия Макса Вебера) // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 750.

дополняются у М. Вебера методами криминалистики, в частности «каузальным сведением» единичного феномена. На первый план выходят не общие закономерности, а случайные индивидуальные особенности тех или иных социальных явлений. С. Л. Козлов указывает, что методы Вебера очень напоминают «уликовую парадигму» К. Гинзбурга, которая использует логику абдукции, базирующуюся на деконструкции представления об общих закономерностях и прогрессизме. Однако он подчеркивает, что эта близость частична, так как М. Вебер моделирует идеальное целерациональное поведение человека, а К. Гинзбург — уникальное спонтанное поведение<sup>91</sup>.

Австро-американский ученый Ф. Боас в начале XX века создал релятивистскую историческую школу в антропологии, подвергнув систематической критике имперские представления о единообразии обществ североамериканских индейцев, их способности развиваться; «идеи единой и всеобщей... культурной эволюции», линейно-иерархические классификации, полагающие более простые по своим проявлениям социальные формы более древними<sup>92</sup>. В центре внимания автора и его школы — смена исторических периодов изоляции и диалога в истории индейских обществ, их параллельное развитие, конкретные каналы для проникновения элементов чужой культуры, обмен культурными достижениями, формы культурной диффузии и ассимиляции<sup>93</sup>. Метафизическая модель (эволюция как форма восприятия времени) заменяется на диалогическую, субъект-субъектную модель (хотя изучающую скорее последствия, а не процедуру диалога). В этом варианте социальной теории не пространство само по себе определяет темпы эволюции, а практика диалога. Антропология, соз-

---

<sup>91</sup> Козлов С. Л. Указ. соч. С. 49-52. О сходстве идей Вебера и Гинзбурга см.: *Strong T.B. Weber and Freud: Vocation and Self-Acknowledgement // Max Weber and his Contemporaries / Ed. W. J. Mommsen, J. Osterhammel. L., 1987. P. 471.*

<sup>92</sup> Боас Ф. Методы этнологии // Антология исследований культуры. Интерпретации культуры / Под ред. С. Я. Левит. М.; СПб, 2006. С. 519, 522; Боас Ф. Некоторые проблемы методологии общественных наук // С. 503; Боас Ф. Эволюция или диффузия? // Там же. С. 343-347.

<sup>93</sup> Боас Ф. Границы сравнительного метода в антропологии // Там же. С. 510-511, 516-517.

данная как «заповедник» антиисторических, имперских идей, превращалась в авангард борьбы с ними, что проявилось в «антропологическом повороте» в историческом знании, представленном французской школой «Анналов»<sup>94</sup>.

Но полностью подорвать влияние имперских форм репрезентации пространства и времени можно было, только пересмотрев стереотипы сакральности, которые и определяли, в конечном счете, соотношение образов времени и пространства метрополии и колоний. Большой шаг вперед совершил в этом смысле немецкий теолог П. Тиллих. В статье 1948 года он дал расширительное толкование христианскому представлению о кайрósе (букв. — «исполнение времен», время пришествия на Землю Иисуса Христа). «Для философа истории, — писал он, — кайрós... есть каждый поворотный момент в истории, когда вечное судит и преобразует временное...»<sup>95</sup>. Тиллих подвел под это понятие взгляды Лейбница, Гёте и Ранке, которые, по его мнению, считали, что «“всякое время — Божье”... В каждую эпоху, в каждой нации реализуется вечная идея Бога»<sup>96</sup>. Подобным же образом интерпретировался прогрессизм Конта, Гегеля и Маркса, в которых распределенным оказывался идеал прогресса<sup>97</sup>.

Тиллих открыл дорогу к признанию диссистемности, многомерности и разнородности исторического сознания и моделей времени. Философия истории обретает у него не внешний, нормативный, а внутренний стержень в моральной философии, ценностных основах работы историка. Это делает невозможным выделение одной привилегированной области в прошлом (менее всего — истории одной религии или церкви<sup>98</sup>). Именно это моральное и божеское в человеке объединяет историю, делает ее познаваемой и, в конечном счете, придает ей исповедальный характер. Йорн Рюзен описывает современную роль кайрósа и утопии как важных форм исторического сознания и самоидентификации во временном континууме, а также способа манипулирования им,

---

<sup>94</sup> Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993.

<sup>95</sup> Тиллих П. Кайрос // Избранное. Теология культуры. М., 1995. С. 219, 228-229.

<sup>96</sup> Там же. С. 224, 226.

<sup>97</sup> Там же. С. 225.

<sup>98</sup> Там же. С. 221.

взаимодистанцирования опыта и познания, создания смыслового напряжения, смысловой дистанции между прошлым, настоящим и будущим<sup>99</sup>.

При этом надо подчеркнуть, что релятивизм историко-антропологический отличается от релятивизма физического. Релятивистские представления о времени А. Эйнштейна основаны на различении «собственного» времени наблюдателя и «несобственного» времени, несопадении мнений разных наблюдателей о времени и пространстве<sup>100</sup>. Релятивистские представления об историческом времени и пространстве построены на анализе М. М. Бахтиным и Э. Левинасом процедуры диалога между субъектами, когда происходит не накопление темпоральных модификаций (это отличало феноменологию Э. Гуссерля), а «разрывы» во времени субъекта, провоцируемые временем Иного («разъединенное соединение двух различных темпоральностей»), на стыке интенционального и неинтенционального. Такого рода время продуцируется только в отношении с другим<sup>101</sup>.

Хотя идеи А. Эйнштейна оказывали влияние на М. М. Бахтина, главным для него, как и Левинаса, был опыт жизни на полиэтничной и многоязычной периферии Российской империи (первоначально Каунас и Вильнюс, затем Харьков и Одесса, а у Бахтина еще и Витебск, Казахстан, Саранск), а также воздействие диалогической традиции русской литературы, особенно Ф. М. Достоевского. Под влиянием этого опыта имперский феноменологический монолог был подвергнут ими критике с точки зрения диалогических форм сознания и мировосприятия, в которых отдельные (в частности, периферийные) образы мира взаимно оспаривают друг друга и переплетаются, но не «снимаются» и не создают основу для синтеза. Резко изменилось представление о роли пространства и времени. В классическом знании — это формы восприятия; в неклассическом — формы смыслопорожде-

---

<sup>99</sup> *Rüsen J. Lebendige Geschichte. Grundzüge einer Historik III. Formen und Funktionen des Historischen Wissens. Göttingen, 1989. S. 122-126, 132.*

<sup>100</sup> *Schroer M. Op. cit. S. 43-44.*

<sup>101</sup> *Полеуцк И. Понятие интерсубъективной темпоральности в философии Левинаса // Эмманюэль Левинас: путь к другому. Сборник статей и переводов, посвященный 100-летию со дня рождения Э. Левинаса. / Ред. Н. В. Голик, И. Н. Зайцев, О. К. Кошмилло и др. СПб, 2006. С. 31, 33, 35.*

ния. Именно такую роль играет у М. М. Бахтина понятие *хронотоп*. Более того, возможным становится диалог разных хронотопов (автора, произведения, персонажей, читателя, слушателя или зрителя). Важнейшую роль приобретает хронотоп границы, которая интерпретируется теперь не как место столкновения несоединимого, а как источник новых смысловых возможностей<sup>102</sup>. Если эпоха Просвещения создавала ментальные карты, то постколониальная эпоха проблематизирует их, говорит об их условности и возможности их исчезновения<sup>103</sup>. Не случайно, что особый отклик этот подход нашел в пограничных условиях — среди афроамериканских литературоведов — и был применен к изучению так называемого «Опыта чернокожих»<sup>104</sup>.

Научная конкретизация таких форм отношения к пространству и времени происходит уже в 1960–1970-х гг. Феноменологический подход реализован в работах социолога Н. Лумана, который подчеркивал соприсутствие во времени множества исторических альтернатив, связанных с культурными горизонтами породивших их обществ, и отсутствие прямой связи будущего, выстраиваемого из чужого прошлого (скажем, африканских или азиатских обществ), с нашим собственным настоящим<sup>105</sup>. Вслед за этим начинается конкретное исследование различных форм темпорализации историком Р. Козеллеком<sup>106</sup>.

Тематика колониальности, периферии и диалога стала принципиально важна для микроистории, которая принципиально противостояла старым образам пространства и времени. Э. Ле

---

<sup>102</sup> *Тлостанова М. В.* Указ. соч. С. 232, 236. Европоцентрические элементы в теории хронотопа преодолеваются сейчас путем разработки хронотопов транскulturации, промежуточности, имперского и колониального города, исхода, дома и внедомности. Такие идентификации сочетают множественность и частичность. Там же. С. 233-234, 179.

<sup>103</sup> Там же. С. 251-254.

<sup>104</sup> *Peterson D. E.* Response and Call: The African American Dialogue with Bakhtin and What It Signifies // Bakhtin in Contexts: Across the Disciplines / Ed. A. Mandelker. Evanston, 1995. P. 93-94; *Gates H. L., Jr.* The Signifying Monkey: A Theory of African-American Literary Criticism. New York, 1988. P. 110-112.

<sup>105</sup> *Luhmann N.* The Differentiation of Society. New York, 1962. P. 320-321.

<sup>106</sup> *Koselleck R.* Futures Past. On the Semantics of Historical Time. Cambridge. London 1985.

Руа Ладюри акцентировал все эти моменты, сделав предметом исторического описания процесс колонизации северной Францией южной Франции, или Окситании, которая выступает как альтернативная цивилизация («архаическая общность аграрных и горных цивилизаций Западного Средиземноморья», «оседлая или отгонно-пастушеская цивилизация людей Монтайю», «холостяцкая цивилизация пастухов») <sup>107</sup>. При этом король Франции, (северные) французы и в особенности католическая церковь, развернувшая крестовый поход против южан-альбигойцев, характеризуются как агрессоры. Для Ладюри средневековая Франция — «дамоклов меч», висящий над самодостаточным миром Окситании, колониальная империя. Король Франции уподобляется историком убийце, а северные французы — прокаженным <sup>108</sup>. Католическая церковь подается как «тоталитарная» сила <sup>109</sup>.

Автор сосредоточен на том, чем периферия может принципиально отличаться от центра; *цивилизация периферии* рассматривается им как ценность. Поэтому в книге доминирует идея об ограниченной применимости моделей, созданных для описания центра <sup>110</sup>. Основными объектами изучения для Ле Руа Ладюри выступают не формальные пространственные единицы, а *площадки культурного диалога*, причем не городские, а горные — те лачуги в горах («кабаны»), где встречаются католики, катары и мусульмане; социальной единицей — не сословие, а дом («осталь»); трансформируются привычные эволюционные представления об исторических процессах. Основной социальный конфликт переносится из сферы отношений «знать / крестьяне» или «бедные / богатые» в сферу «свои / чужие», которую структурируют представления о «внешнем», региональном и «внутреннем», местном обществе <sup>111</sup>.

Наряду с этими процессами, в «третьем мире» разворачивается собственно постколониальный дискурс, инициаторами кото-

---

<sup>107</sup> *Ле Руа Ладюри Э.* Монтайю, окситанская деревня. (1294–1324). Екатеринбург, 2001. С. 126, 67, 293.

<sup>108</sup> Там же. С. 30, 35, 348, 354–360, 371.

<sup>109</sup> Там же. С. 36.

<sup>110</sup> *Гуревич А. Я.* О кризисе современной исторической науки // Вопросы истории. 1991. № 2/3. С. 30.

<sup>111</sup> *Ле Руа Ладюри Э.* Указ. соч. С. 126, 124, 30, 40, 83.

рого являются Э. В. Саид и египетский социолог А. Абдель-Малек, который первым почувствовал, что колониальные «объекты» изучения и принуждения превращаются в «суверенных субъектов». В этих условиях моноцентризм в восприятии пространства, основанный на культуре и понятиях, созданных западным человеком, заменяется полицентрической картиной мира. Более того, сама идентичность становится полифоничной. В Египте она историческая и подвижная: исламская, оттоманская, арабская, восточная, нилотская, средиземноморская (а значит, и европейская). Ее характер подрывает субстанционалистскую бинарную картину мира, основанную на понятиях объекта и субъекта, нормативных пространства и времени, центра и периферии, прогресса и отсталости<sup>112</sup>. Создается программа периферизации Запада и одновременно овладения его наследием, ассимиляции знаний, полученных западной наукой при помощи незападных познавательных инструментов, систем знания, опирающихся, в частности, на египетскую и магрибскую культурные традиции, такую как социология Ибн-Хальдуна<sup>113</sup>.

Современная постколониальная программа «демократизации прошлого» Д. Чакрабарты предполагает не только изучение истории угнетенных меньшинств, но и создание теории «субалтерных прошлых», которые, как правило, не вписываются в традиционные (западные, преемственные, гомогенные) представления о времени. Это ограничивает, в частности, стремление марксистской историографии к историзации прошлого, так как выявляет в нем элементы (узлы), особым образом связанные с настоящим, не лежащие в воссоздаваемую историком ткань времени. При интерпретации подобного рода явлений, связанных с историей ментальности, Д. Чакрабарты предлагает использовать современные

---

<sup>112</sup> *Abdel-Malek A.* La dialéctica social. México, 1975. P. 74, 227.

<sup>113</sup> *Cea J.* Указ. соч. С. 35, 37-38; *Chakrabarty D.* Provincialising Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton, 2000; *Amin S.* La nation arabe et la lutte des classes. Paris, 1976; *Meghrebi A.* La pensée sociologique d'Ibn Khaldun. Alger, 1977; *Garaudy R.* Pour une dialogue des civilisations. L'Occident c'est un accident. Paris, 1977; Science and Other Cultures. Diversity in the Philosophy of Science and Technology / Eds. R. Figeroa, S. Harding. L., 2003.

антропологические материалы, ссылаясь на историко-антропологические работы А. Я. Гуревича по истории ментальности. В этих условиях «историописание имплицитно предполагает наличие множества сосуществующих времен, дизъюнкцию современности (выявление ее альтернативных составляющих. — *И. И.*). Именно “субалтерные прошлые” позволяют нам произвести подобную дизъюнкцию». В результате создается сложный, уникальный для данного конкретного опыта общения с прошлым, образ «распределенного настоящего», связи современных и до-модерных элементов современности<sup>114</sup>.

На сходных представлениях о единстве и многообразии времени создаются многие западные макроисторические модели прошлого. В частности, А. Г. Франк изучает роль европейских купцов в историческом пространстве Мир-системы, созданной функционированием экономик Китая и Индии. Азиатский век (XIV–XVIII вв.) выступает как новый предмет исследования, альтернативный истории Запада<sup>115</sup>. Ю. Остерхаммель выдвигает на подобной основе программу создания новой, действительной всеобщей истории, в которую может быть интегрировано прошлое Америки, Азии, Африки. В ней сочетается учет периферийности некоторых стран Запада (Швеция, Россия, Турция рассматриваются как аутсайдеры Европы) и «центральности» некоторых восточных феноменов (Япония как «Британия Востока»). В основе метода Ю. Остерхаммеля — разрушение моноцентрического пространства знания, сочетание у историков цивилизаций по крайней мере двух компетенций. Неклассические образы пространства и времени (тотальное / частичное; синхронное / диахронное сравнение цивилизаций) становятся у него критериями научности, дистанцированности от спекулятивных подходов<sup>116</sup>.

Таким образом, западное постмодернистское влияние на постколониальный дискурс не является доминирующим. Надо отметить, что постколониальный и постмодернистский дискурс хотя

---

<sup>114</sup> *Chakrabarty D.* *Minority Histories, Subaltern Pasts // Postcolonial Studies.* 1998. Vol. 1. № 1. P. 15, 22-27.

<sup>115</sup> *Frank A. G.* *ReOrient: Global Economy in the Asian Age.* Berkeley, Los Angeles, 1998.

<sup>116</sup> *Osterhammel J.* *Geshichtswissenschaft ...* S. 8, 15, 54-59.



и близки, но далеко не во всем совпадают. Для постмодернистского дискурса характерно ризомное, чисто изотропное представление о времени, которое подразумевает универсальность сетевых связей и невозможность утопии; в пределе — радикальная деисторизация времени и детерриториализация пространства<sup>117</sup>. Постколониальный дискурс реставрирует представления о родине как единственном месте, он не только не чуждается утопии, но и порой делает ее своим знаменем, как это произошло в Бразилии, которую О. Андради провозгласил «реализованной утопией»<sup>118</sup>. Если постструктурализм, начиная с М. Фуко, пытается оспорить роль субъекта, то постколониальный дискурс стремится восстановить роль субъекта (прежде всего, «голоса молчавших» субалтернов<sup>119</sup>), того трансцендентального субъекта, о котором писал Э. Дуссель. Постмодернистские литературоведы, стремясь к диалогу, считают возможным принесение ему в жертву собственной самоидентификации. Постколониальные идеологи борются за восстановление самоидентификации, хотя и не сводят ее к представлению о сущности и именуют идентификацию историческим, социальным, интеллектуальным и политическим процессом<sup>120</sup>. За всем этим стоят разные представления о пространстве и времени: одни — чисто релятивистские и изотропные, доводящие эти свойства до статуса нормы, другие — ограниченные в своем релятивизме и изотропии, ориентированные на диалог и связанное с ним воспроизводство границ.

\* \* \*

Таким образом, имперский дискурс пространства и времени, как он сформировался в Новое время, нельзя свести к дискурсу линейной перспективы, прогресса или модернизации. Он имеет специфическую властную составляющую, позволяющую манипулировать образом периферийного (колониального) субъекта, превращенного в объект. Это бинарный нормативный дискурс, в

---

<sup>117</sup> *Тлостанова М. В.* Указ. соч. С. 353.

<sup>118</sup> *Аинса Ф.* Реконструкция утопии. Эссе. М., 1999. С. 178-179.

<sup>119</sup> *Тлостанова М. В.* Указ. соч. С. 375.

<sup>120</sup> *Саид Э. В.* Указ. соч. С. 512-513. Ср. С. 515.

котором резко разделены сакральное пространство цивилизации и время прогресса — от профанного пространства варварства и времени отсталости. Подобные ментальные карты возникают в разное время и в разных империях, в том числе в Китае, Испании, России.

Постколониальный дискурс также является сложным образованием, которое формируется разнообразными «Иными», порожденными в свое время имперскими дискурсами: периферийными империями (противоцентрами модернизации, как пишут В. И. Пантин и В. В. Лапкин<sup>121</sup>), старыми центрами власти и культуры (Окситания Э. Леруа Ладюри) и лишь в последнюю очередь — собственно (пост)колониальной интеллигенцией. Постколониальность — здесь своеобразная реакция на осознание универсальности того ущерба, который нанесли западные имперские представления о периферийности в колониях, в соседних империях, на рубежах западных метрополий. Таким образом, в гносеологическом плане раскрывает себя то, что А. Кихано и В. Миньоло назвали *колониальностью власти* — универсальность имперского/колониального и, как следствие, постколониального дискурса, не обязательно привязанного в XX в. только к «третьему миру».

Этот последний дискурс многообразен, подвижен, непостоянен, он уделяет больше внимания осознанию смыслообразующей роли пространства и времени (проблема хронотопа) и занимает промежуточное положение между дискурсами модерна и постмодерна, провоцирует диалог между ними. Он предполагает сдвиг в область релятивистских, дифференцированных, произвольных и текучих, неустойчивых представлений о пространстве и времени, однако не доводит эти тенденции до крайности — превращения пространственного и временного детерминизма во временной и пространственный волюнтаризм<sup>122</sup>.

---

<sup>121</sup> Лапкин В. В., Пантин В. И. Феномен «противоцентра» в глобальной политической истории Нового времени // Цивилизации. Вып. 5. Проблемы глобалистики и глобальной истории. М., 2002. С. 204.

<sup>122</sup> Schroer M. Op. cit. S. 175.

# ЧАСТЬ III

## ОБРАЗЫ ПРОШЛОГО

### ФОРМЫ И СПОСОБЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ

---

#### ГЛАВА 14

### ИСТОРИЯ В ДРАМЕ — ДРАМА В ИСТОРИИ НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В КЛАССИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ\*

Древнегреческая цивилизация, не будучи первой в истории человечества, не являлась, естественно, и родиной исторического сознания. Однако несомненен тот факт, что именно в ее рамках это сознание впервые приобрело рефлектированную, дискурсивную форму, стало эксплицитным предметом теоретического осмысления. Собственно, сказанное относится не только к истории, но и, по сути дела, ко всем ментальным феноменам<sup>1</sup>.

Греки уже обладали средствами рефлексии по поводу собственного прошлого. И это то, что роднит их с нами. Однако очень часто возникает соблазн, поддавшись этому (в конечном счете лишь частично) сходству, абсолютизировать его и при этом закрыть глаза на существенные различия, которые тоже имеют место. В подобной системе координат греки предстают как бы «недооформившимися» европейцами Нового времени; оказывается, что в их мироощущении присутствовали элементы историзма, но просто они находились еще *in statu nascendi*.

---

\* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках исследовательского проекта № 06–01–00453а.

<sup>1</sup> Ср.: «Как известно, теоретический дискурс — по крайней мере в странах Средиземноморья — обязан своим возникновением греческой культуре» (*Ассман Я.* Египет: теология и благочестие ранней цивилизации. М., 1999. С. 27). Цитированное суждение тем более показательно, что оно принадлежит не какому-нибудь антиковеду, которого, так сказать, положение обязывает быть «патриотом» своей эпохи, а крупнейшему современному египтологу, специалисту по истории религии и культуры.

В действительности, однако, ситуация значительно сложнее. Нам представляется перспективным применить к эволюции исторического сознания разработанную в свое время С. С. Аверинцевым на материале литературных памятников весьма удачную категорию «рефлексивного традиционализма»<sup>2</sup>. Этот последний, сложившийся в ходе греческой интеллектуальной революции классической эпохи и просуществовавший вплоть до XVIII в., противопоставит как наивному, чуждому рефлексии традиционализму предшествующего времени, так и антитрадиционалистской тенденции индустриальной эпохи. Суть «рефлексивного традиционализма» как раз в том, что, хотя традиция уже является предметом теоретического дискурса, тем не менее, культура осознает себя по-прежнему как часть этой самой традиции, в ее рамках. До разрыва с традицией, до окончания традиционалистской установки еще далеко.

Распространение вышеописанной категории на процессы исторического сознания влечет за собой важные следствия и делает более ясными многие нюансы, которые отмечались, естественно, и ранее, но не находили однозначной и исчерпывающей интерпретации. Так, исключительное значение имеет то обстоятельство, что античными греками прошлое еще не осознавалось как некая «отдельная» реальность, принципиально отделенная от настоящего. Прошлое продолжало жить в настоящем<sup>3</sup>, воспринималось «сквозь призму настоящего»; точнее, настоящее виделось как часть прошлого<sup>4</sup>. Подобный подход, в рамках которого

---

<sup>2</sup> Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996. С. 101-114, 146-157.

<sup>3</sup> Отметим, что весьма перспективным (но на сегодняшний день практически не разработанным) направлением изучения типов исторического сознания и мироощущения в рамках различных цивилизаций мог бы стать анализ в соответствующем ракурсе грамматики использовавшихся в этих цивилизациях языков (ничто в такой степени не отражает мышление, как язык), в частности, временных форм глагола. С данной точки зрения можно отметить, что древнегреческий перфект — не просто прошедшее время совершенного вида; в нем значительно более важна *результативная* функция, указывающая не столько на прошедшее действие, сколько на состояние, ставшее результатом этого действия, но длящееся в настоящем. «Неоторванность» настоящего от прошлого — черта, проступающая здесь.

<sup>4</sup> Ср. похожие соображения по поводу исторического сознания средневековой Европы в работе: Бобкова М. С. «Мы сами — время»: прошлое и

прошлое меняется вместе с настоящим, постоянно конструируется, в современной историографии иногда называют «презентизмом»<sup>5</sup>. Применительно к античности, как нам представляется, возможно, точнее было бы говорить о «принципе актуализма».

Уместно рассмотреть этот актуализм древнегреческого исторического сознания на примере той довольно специфичной формы этого сознания, которое проявилось у драматургов классической эпохи. Такая постановка вопроса — изучать историческое сознание на материале произведений не собственно историков, а авторов иных жанров — может показаться парадоксальной, и необходимо сказать несколько слов в ее обоснование.

\* \* \*

Классическая эпоха древнегреческой истории и, в частности, ее первая половина (V в. до н. э.) во многом прошла, если можно так выразиться, «под знаком театра». Во всяком случае, это в полной мере относится к Афинам, где, собственно, зародилось и сделало свои первые шаги само театральное искусство. И не случайно праздник Великих Дионисий, на котором происходили драматические представления, как магнитом притягивал в афинский полис множество гостей-зрителей из самых разных частей греческого мира<sup>6</sup>. V в. до н. э. — это время Эсхила и Софокла,

---

настоящее в историческом сознании эпохи Средневековья // «Цепь времен»: проблемы исторического сознания. М., 2005. С. 133 слл.: «На протяжении почти всего Средневековья история строилась на непрерывности, преемственности... Прошлое продолжало присутствовать, жить в настоящем, и поэтому важно было его выявить: история естественным образом освещала настоящее... Для современных историков изучение истории строится на обостренном осознании радикального разрыва между миром прошлого и научной реконструкцией». Налицо тот же контраст между установками «рефлексивного традиционализма» и современными дисциплинарными нормами, порожденными антитрадиционалистской тенденцией.

<sup>5</sup> Подробнее см.: *Савельева И. М., Полетаев А. В.* О пользе и вреде презентизма в историографии // «Цепь времен»... С. 63-88.

<sup>6</sup> Для понимания отношения греков к афинскому театру в высшей степени показателен рассказ Плутарха (Nis. 29) о том, как афинских воинов, попавших в плен на Сицилии в 413 г. до н. э., спасло от гибели хорошее знание ими произведений Еврипида. См. к этому: *Allan W. Euripides in Megale Hellas: Some Aspects of the Early Reception of Tragedy // Greece & Rome.* 2001. Vol. 48. No 1. P. 67-86.

Еврипида и Аристофана; вряд ли их имена нуждаются в каких-либо комментариях.

С другой стороны, в ту эпоху создавались первые грандиозные и сразу же ставшие парадигматичными (отнюдь не только для античной цивилизации) исторические труды. И опять же в данной связи приходится говорить прежде всего об Афинах. «Отец истории» Геродот, хотя и происходил из малоазийского Галикарнасса, в период наиболее активной деятельности прочно связал свою судьбу с судьбой Афин<sup>7</sup>. У нас есть основания предполагать, что и его многочисленные путешествия, в ходе которых он собирал материал для своего труда, или, по крайней мере, некоторые из них, следует трактовать в контексте афинской политики. Весьма вероятно, в частности, что в Скифии Геродот побывал, участвуя в черноморской экспедиции Перикла<sup>8</sup>. И уже совсем никакому сомнению не подлежит тот факт, что историк по инициативе того же Перикла переселился в панэллинскую колонию Фурии в Италии, основанную под эгидой Афин.

Что же касается младшего современника Геродота — Фукидида, чья «История» так и осталась высшим, никогда и никем не превзойденным шедевром древнегреческой историографии, «достоинством на все времена», по выражению самого автора, — то он был, как известно, уроженцем Афин, афинским политическим деятелем и полководцем, занявшимся историческими изысканиями после того, как вынужденно прервалась его публичная карьера. Во многом те же слова могут быть отнесены и к продолжателю Фукидида, еще одному историку-афинянину — Ксенофону.

Итак, первые великие драматурги и первые великие представители исторической мысли действовали в одной и той социо-

---

<sup>7</sup> Нам уже приходилось писать об афинском периоде биографии Геродота. См.: Суриков И. Е. Первосвященник Клио (О Геродоте и его труде) // *Геродот. История в девяти книгах*. М., 2004. С. 12 слл. Из новейших работ см. также: Forsdyke S. Athenian Democratic Ideology and Herodotus' Histories // *AJPh*. 2001. Vol. 122. P. 329-358; Moles J. Herodotus and Athens // *Brill's Companion to Herodotus*. Leiden, 2002. P. 33-52; Fowler R. Herodotus and Athens // *Herodotus and his World*. Oxford, 2003. P. 303-318.

<sup>8</sup> Об этой экспедиции см.: *Surikov I. E. Historico-geographical Questions, Connected with Pericles' Pontic Expedition // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia*. 2001. Vol. 7. No. 3/4. P. 341-366.

культурной среде, буквально бок о бок друг с другом. То, что их жизненные пути пересекались, само собой разумеется: иначе и не могло быть в условиях “face-to-face society” (модный ныне, но, к сожалению, неудобопереводимый термин), каким в целом ряде отношений был античный греческий полис<sup>9</sup>. Достоверно известно, например, что Софокл и Геродот были дружны<sup>10</sup>. Фукидид, несомненно, лично (и неоднократно) видел в афинском театре Диониса постановки трагедий того же Софокла и Еврипида. И трагедии в немалой мере повлияли на сам стиль изложения у этого историка, на структуру его труда<sup>11</sup> — образчика не только научной, но и «трагической» историографии. В частности, насколько можно судить, обилие речей действующих лиц в «Истории» Фукидида — феномен, опирающийся не только на риторическую практику V в. до н. э. (на что обычно обращается внимание, хотя, может быть, и не следовало бы переоценивать степень развития риторики на этом этапе), но и на черты драматического искусства<sup>12</sup>. Для последнего, как известно, уже в середине V в. до н. э. были в высшей степени характерны сольные монологи, — по сути дела, те же речи, только в поэтической форме.

Но о влиянии театра на античную историографию в целом вряд ли имеет смысл подробно говорить. Эта тема уже не раз ос-

---

<sup>9</sup> О классическом афинском полисе как “face-to-face society” см.: *Welwei K.-W.* Die Entwicklung des Gerichtswesens im antiken Athen: von Solon bis zum Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr. // *Große Prozesse im antiken Athen.* München, 2000. S. 17, 28.

<sup>10</sup> Это факт, установленный уже давно (см., например: *Зелинский Ф. Ф.* Софокл и Геродот (новые данные) // *Гермес.* 1912. № 15 (101). С. 379-380; *Egermann F.* Herodot — Sophokles. Hohe Arete // *Herodot: Eine Auswahl aus der neueren Forschung.* München, 1962. S. 249-255). Разумеется, из него совершенно не обязательно делать выводы о тех или иных конкретных взаимодействиях Софокла у Геродота. Некоторые скороспелые суждения такого рода подвергнуты аргументированной критике в недавней работе: *Синицын А. А.* Геродот, Софокл и египетские диковинки (Об одном историографическом мифе) // *Античный мир и археология.* 2006. Вып. 12. С. 363-405.

<sup>11</sup> *Buck R. J.* The Sicilian Expedition // *Ancient History Bulletin.* 1988. V. 2. No. 4. P. 78 f. (с указаниями на предшествующую литературу по сюжету).

<sup>12</sup> Драма в фукидидовское время (в частности, в лице Еврипида) и сама была тесно связана с риторикой. См.: *Riedweg Chr.* Der Tragödiendichter als Rhetor? Redestrategien in Euripides’ Hekabe und ihr Verhältnis zur zeitgenössischen Rhetorik // *Rheinisches Museum für Philologie.* 2000. Bd. 145. S. 1-32.

вещалась в исследовательской литературе<sup>13</sup>, в том числе и в отечественной (в частности, вопрос о восприятии идеи театра в исторической науке<sup>14</sup>). В контексте настоящей работы представляется более интересным и перспективным подойти к проблеме, так сказать, с противоположного конца, заняться иным аспектом взаимодействия истории и драмы. Не «история как драма», а «драма как история» — вот о чем пойдет речь. Это тем более актуально, что в таком ракурсе вопрос, как правило, не ставится. А между тем, постановка его представляется вполне оправданной — прежде всего тем фактом, что сама греческая античность в лице Аристотеля (Poet. 1451b) трактовала историю и драматическую поэзию как явления одного порядка, различные, но вполне сопоставимые. Позволим себе привести *in extenso* соответствующую цитату: «Историк и поэт различаются не тем, что один пишет стихами, а другой прозой (ведь и Геродота можно переложить в стихи, но сочинение его все равно останется историей, в стихах ли, в прозе ли), — нет, различаются они тем, что один говорит о том, что было, а другой — о том, что могло бы быть. Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории, ибо поэзия больше говорит об общем, история — о единичном»<sup>15</sup>.

Суждение, представляющееся сознательно-парадоксальным, возможно, даже заостренно-полюемичным. Для нас важнее всего то, что Аристотель судит историографию и драму, пользуясь одними и теми же законами. Историография драматична — у него это не вызывало сомнения. А «историографична» ли драма? Следует ли считать ее произведения, помимо всего прочего, еще и проявлением исторического сознания эллинов классической эпохи? Некоторые мысли по этому поводу мы и попытаемся сформулировать.

---

<sup>13</sup> Приведем лишь несколько примеров: *Marasco G.* Ctesia, Dinone, Eraclide di Cumae e le origine della storiografia “tragica” // *Studi italiani di filologia classica*. 1988. Vol. 6. P. 48-67; *Saïd S.* Herodotus and Tragedy // *Brill’s Companion to Herodotus*. Leiden, 2002. P. 117-147.

<sup>14</sup> См.: *Смирнова О. П.* Идея театра в античной и ранневизантийской историографии // *Проблемы исторического познания*. М., 2002. С. 209-222.

<sup>15</sup> Перевод М. Л. Гаспарова. Из всего контекста данного места «Поэтики» следует, что, говоря здесь о поэзии, Аристотель имеет в виду прежде всего драматическую поэзию. Ср.: *Kitto H. D. F.* Greek Tragedy: A Literary Study. 3 ed. L., 1966. P. 36.



Начнем с очевидного. Аттическая трагедия, являвшаяся в V в. до н. э. ведущим театральным жанром, вплоть до конца этого столетия не пользовалась вымышленными сюжетами<sup>16</sup>. Это можно сказать обо всех дошедших до нас произведениях трагедиографов — будь то Эсхил, Софокл или даже Еврипид. Функция трагедии виделась в другом — представлять вниманию зрителей воспроизведение событий реально происшедших (или, во всяком случае, тех, которые считались реально происшедшими). Иначе и быть не могло, пока трагедия сохраняла память о своем сакральном происхождении. Являясь по своим истокам синтетическим культовым действием, в известной мере даже «литургического» характера<sup>17</sup>, она неизбежно зиждилась на некотором каноне. Сказанное относится, прежде всего, к сюжетной, «фактологической» стороне драм; понятно, что в интерпретации психологической мотивировки тех или иных поступков авторам предоставлялась значительно бóльшая свобода. В драмах Эскила, Софокла и Еврипида, написанных на один и тот же сюжет, Орест убивает мать. В произведениях трех драматургов те чувства, которыми он руководствуется, душевное состояние, которое порождает в нем необходимость этого акта, — всё это трактуется отнюдь не одинаковым образом. Но сама фабула должна быть сохранена. Невозможно представить себе классическую трагедию, в которой Орест сжалился бы над матерью и сохранил бы ей жизнь. Равным образом, Эдип не мог по ходу действия умереть в родных Фивах, а Ифигения — выйти замуж за Ахилла. А именно эта незыбле-

---

<sup>16</sup> Первым трагедиографом, который обратился в своем творчестве к вымышленным сюжетам, принято (и, по-видимому, вполне справедливо) считать Агафона, младшего современника Еврипида (см. об этом: Arist. Poet. 1451b20 sqq.). Основные произведения Агафона были созданы в период Пелопоннесской войны.

<sup>17</sup> См. подробнее: Суриков И. Е. Эволюция религиозного сознания афинян во второй половине V в. до н. э.: Софокл, Еврипид и Аристофан в их отношении к традиционной полисной религии. М., 2002. С. 243 слл. О «синтетическом» характере ранней трагедии см.: Wallace R. W. Frammentarietà e trasformazione: evoluzioni nei modi della comunicazione nella cultura ateniese fra V e IV sec. // Quaderni urbinati di cultura classica. 1994. Vol. 46. Fasc. 1. P. 7-20; *idem*. Speech, Song and Text, Public and Private. Evolutions in Communication Media and Fora in Fourth-Century Athens // Die athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v. Chr. Stuttgart, 1995. P. 199 ff. О ее сакральных истоках: Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994. С. 222 слл.

мость сюжетной стороны для нас и важна в контексте настоящей работы.

Вплоть до конца V в. до н. э. все произведения трагического жанра (включая те, которые дошли до наших дней, и те, о которых просто сохранились какие-либо сведения) могут быть по своей сюжетике разделены на две неравные группы. В одну из них, привлекающую наше внимание прежде всего, входят те, которые можно назвать «историческими драмами» в собственном, привычном для нас смысле. Таковых — очень незначительное меньшинство; можно сказать, они практически единичны. В качестве цельного текста в нашем распоряжении есть только «Персы» Эсхила; по названиям и основным сюжетным линиям известны еще несколько. Характерно, что все трагедии данной категории хронологически относятся к одному и тому же (и не слишком протяженному) периоду — первой четверти V в. до н. э.

Судя по всему, это не случайное совпадение. С внешней, чисто исторической точки зрения, обозначенный период — время первого, самого ожесточенного периода Греко-персидских войн, время самых славных побед эллинов. А эти войны, как известно, в колоссальной степени повлияли на историческое сознание древнегреческой цивилизации. Отлившись усилиями нескольких поколений в грандиозный миф, они стали одним из ключевых, структурообразующих элементов классической греческой картины мира — с ее живущей и по сей день дихотомией «Запада» и «Востока», «свободы» и «рабства», «эллинства» и «варварства»<sup>18</sup>. В это создание «образа иного» вносили свой вклад и трагедия, и историография, и Эсхил и Геродот.

А с точки зрения развития театрального искусства на начало V в. до н. э., насколько можно судить, пришлась попытка реформирования трагического жанра. Эту попытку, очевидно, следует связать в первую очередь с поэтом Фринихом<sup>19</sup>. К величайшему

---

<sup>18</sup> См. об этом общеисторическом контексте: *Purcell N. Mobility and the Polis // The Greek City: From Homer to Alexander. Oxford, 1991; Hall E. Inventing the Barbarian: Greek Self-definition through Tragedy. Oxford, 1991; Georges P. Barbarian Asia and the Greek Experience: from the Archaic Period to the Age of Xenophon. Baltimore, 1994.*

<sup>19</sup> О Фринихе в целом и его интересе к современным сюжетам см.: *Martin A. La tragédie attique de Thespis à Eschyle // Culture et cité: L'avènement d'Athènes à l'époque archaïque. Bruxelles, 1995. P. 23.*

сожалению, его произведения утрачены, и нам приходится довольствоваться косвенными свидетельствами, которые, впрочем, сами по себе достаточно информативны. В 492 г. до н. э. огромный резонанс произвела в Афинах его драма «Взятие Милета», темой которой стало подавление персами Ионийского восстания. По словам Геродота (VI. 21), «когда он поставил ее на сцене, то все зрители залились слезами. Фриних же был присужден к уплате штрафа в 1000 драхм за то, что напомнил о несчастьях близких людей. Кроме того, афиняне постановили, чтобы никто не смел возобновлять постановку этой драмы» (ср. также: Strab. XIV. 635).

Столь brutальное обращение афинян с автором художественного произведения отчасти может быть объяснено конкретными перипетиями политической ситуации<sup>20</sup>. Однако, на наш взгляд, могло сыграть свою роль и творческое новаторство Фриниха, его стремление повернуть трагический жанр лицом от древних мифов к актуальным историко-политическим темам. Это, видимо, показалось непривычным и вызвало неприятие. Фриних, однако, и в дальнейшем продолжал экспериментировать в том же духе. В 476 г. до н. э. он написал и поставил трагедию «Финикиянки» (Plut. Them. 5), также посвященную Греко-персидским войнам<sup>21</sup>. Эксперименты Фриниха в целом почти не нашли подражателей. Значимым исключением являются, конечно, «Персы» Эсхила — трагедия о Саламинском сражении, в котором, кстати, участвовал сам автор.

На примере последнего произведения, сохранившегося полностью, можно в наиболее ясной форме осознать, что представляла собой раннеклассическая «историческая драма». Она повествует о конкретном историческом событии, в котором приняли участие и персы, и греки. Но вот отражены в трагедии эти две действующие стороны отнюдь не в равной степени. Главные герои принадлежат к персидскому лагерю: это — царь Ксеркс, его мать Атосса и покойный отец Дарий (в качестве призрака). В монологах действующих лиц появляются десятки имен других персов — вельмож и

---

<sup>20</sup> О политическом контексте творчества Фриниха см.: Суриков И. Е. Аттическая трагедия и политическая борьба в Афинах // Античный вестник. Вып. 4-5. Омск, 1999. С. 189 сл.

<sup>21</sup> O'Neill E. Note on Phrynichus' Phoenissae and Aeschylus' Persae // Classical Philology. . Vol. 37. No. 4. P. 425-427.

военачальников. Создается впечатление, что Эсхилу интересно нанизывать одно на другое эти экзотически звучащие имена.

А что же греки? В трагедии не упоминается *ни один* эллинский герой, прославившийся в Саламинской битве. Мы не находим в ней ни слова ни о Фемистокле, ни об Аристиде, ни об Еврибиаде, ни о Ксантиппе... Победившие греки выступают некоей единой, едва ли не безличной массой. Нередко считается, что эсхиловские трагедии по своему подходу к изображению действительности во многом исходят еще из эпического, гомеровского наследия. Собственно, этой точки зрения придерживался уже сам Эсхил, утверждавший, что он лишь подбирает крохи со стола Гомера<sup>22</sup>. Однако гомеровские поэмы переполнены именами греческих героев! А здесь, в трагедии, мы встречаем какой-то совсем иной тип исторического сознания, иной по сравнению и с эпосом и, кстати, с историографией Геродота и Фукидида, труды которых тоже изобилуют эллинскими именами<sup>23</sup>.

Историческое сознание Эсхила, как оно проявилось в «Персах» — сознание не индивидуальное, а коллективное. Оно в наибольшей мере сродни духу раннеклассического полиса — тому духу, который породил и «строгий стиль» в искусстве, игнорирующий индивидуальные черты. Сразу припоминается эпизод, происшедший вскоре после Марафонской битвы, о котором рассказывает Плутарх (Сим. 8): «Мильтиад домогался было масличного венка, но декелеец Софан, встав со своего места в народном собрании, произнес хотя и не слишком умные, но все же понравившиеся народу слова: “Когда ты, Мильтиад, в одиночку побьешь варваров, тогда и требуй почестей для себя одного”».

Такое отношение выработалось, повторим, после победы при Марафоне, в период молодой клисфеновской демократии в Афинах, когда, по словам Аристотеля (Ath. pol. 22. 3), «народ стал уже чувствовать уверенность в себе». Именно в это время наиболее активно в афинской политической жизни применялась процедура остракизма, с помощью которой гражданский коллектив удалял из полиса наиболее влиятельных, наиболее ярко

---

<sup>22</sup> Тронский И. М. История античной литературы. 5 изд. М., 1988. С. 116.

<sup>23</sup> Хотя и не в такой степени, как эпос. Героями исторических произведений становятся уже не только индивиды, но и полисы.

индивидуальных политиков<sup>24</sup>. В период ранней классики коллективистская тенденция общественного сознания существенно возобладала над индивидуалистической. Любое выдающееся деяние воспринималось как заслуга не личности, но общины. Вполне естественно, что драматическая поэзия, по самому своему существу являвшаяся (в отличие, скажем, от лирики архаической эпохи) воплощением полиса, причем полиса демократического, стала рупором именно такого типа исторического сознания.

Как бы то ни было, трагедии, сюжет которых был взят из современной авторам и зрителям действительности, так и остались большой редкостью. Подавляющее большинство произведений этого жанра относятся к категории (к ней и мы теперь переходим), которую можно определить как «мифологическая драма».

Но вот здесь необходима чрезвычайно существенная оговорка. Это для нас миф (да и то скорее по инерции, идущей от позитивизма XIX века) предстает как нечто внеположенное по отношению к исторической истине или даже противопоставленное ей<sup>25</sup>. Отнюдь не так было в античности, когда легендарно-мифологическая традиция «воспринималась и трактовалась как историческая»<sup>26</sup>. Греки воспринимали свои мифы не как вымысел, а как собственную «древнюю историю»<sup>27</sup> или — *cum grano salis* — «священную историю». Не то, чтобы мифы виделись некой дог-

---

<sup>24</sup> Подробнее см.: Суриков И. Е. Функции института остракизма и афинская политическая элита // ВДИ. 2004. № 1. С. 3-30; *Он же*. Остракизм в Афинах. М., 2006.

<sup>25</sup> Ср. критику этого подхода в посмертно опубликованной работе выдающегося отечественного антиковеда: Утченко С. Л. Факт и миф в истории // ВДИ. 1998. № 4. С. 4-14.

<sup>26</sup> Видаль-Накэ П. Черный охотник. Формы мышления и формы общества в греческом мире. М., 2001. С. 228. Ср. *Starr Ch. G. The Origins of Greek Civilization 1100-650 B.C. L., 1962. P. 68.*

<sup>27</sup> Интересно, что во многом они были правы. В частности, большинство так называемых героических мифов действительно отражает (другой вопрос, насколько адекватно) историческую ситуацию II тыс. до н. э. Одну из наиболее плодотворных попыток привлечения данных мифологической традиции для реконструкции исторических реалий крито-микенской эпохи см. в работе: Молчанов А. А. Социальные структуры и общественные отношения в Греции II тысячелетия до н. э. (Проблемы источниковедения минойстики и микенологии). М., 2000.

мой, которая не может быть оспорена. Скорее напротив, мы встречаем в истории греческой культуры многочисленные примеры критики ряда конкретных мифов<sup>28</sup>. Однако критика частных не означала отхода от общей картины мира, в которой миф занимал место одного из краеугольных камней. Характерный пример: один из первых древнегреческих историков (если не самый первый) — логограф Гекатей, известный своим рационализмом, называвший многие мифы «смехотворными» (Hecat. FGrHist.1. F1), при этом вполне признавал другие, не менее фантастические, и уж совсем ни в коей мере не отрицал реальности богов и героев<sup>29</sup>.

Иными словами, имея дело с любым древнегреческим литературным памятником, не следует абсолютизировать дихотомию «миф — история». Это относится и к драме, и к историографии. Равным образом для Эсхила и Геродота Греко-персидские войны и Троянская война — явления одного порядка, просто одно ближе, а другое дальше отстоит во времени от актуальной современности<sup>30</sup>.

Мы выходим на важную проблему актуализма античного греческого исторического сознания, как оно проявилось в драме. Кажалось бы, что может быть менее актуального, чем те «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой», о которых повествуется в трагедиях с мифологическими сюжетами. Тем не менее, эти сюжеты воспринимались и трактовались драматургами (следовательно, нужно полагать, и их аудиторией) только сквозь призму современности. Игра парадигмами, прототипами, аллюзиями — одна из важных черт драматического искусства. Прочитируем в данной связи небольшой пассаж из того же Плутарха (Aristid. 3):

«Когда в театре прозвучали слова Эсхила об Амфиарае:  
Он справедливым быть желает, а не слыть.  
С глубокой борозды ума снимает он  
Советов добрых жатву, —

<sup>28</sup> См. важнейшие данные: Суриков И. Е. Эволюция религиозного сознания... С. 247 слл.

<sup>29</sup> Суриков И. Е. Лунный лик Клио: элементы иррационального в концепциях первых европейских историков // Проблемы исторического познания. М., 2002. С. 226 слл.

<sup>30</sup> Ср.: Vandiver E. Heroes in Herodotus: The Interaction of Myth and History. Frankfurt a/Main, 1991. P. 19.

все взоры обратились к Аристиду, который, как никто другой, приблизился к этому образцу добродетели».

Речь здесь идет о трагедии Эсхила «Семеро против Фив», которая и в остальном была пронизана аллюзиями на современные поэту реалии и персоналии<sup>31</sup>. В нашем случае реминисценция вполне прозрачна: описывая древнего героя Амфиарая, Эсхил (вне сомнения, сознательно) придает ему эпитет «Справедливый» (*dikaios*) — тот самый, который устойчиво связывался с именем афинского политика Аристида<sup>32</sup>. Зрители, как видим, вполне уловили намек.

Это лишь одна иллюстрация к тезису об актуальности истории в памятниках трагического жанра. Действие в трагедиях может происходить где угодно — в зависимости от того, с каким местом связывался исходный миф. Это могут быть Микены, Фивы, Аргос, Троя... Кстати, как раз Афины оказываются полем действия довольно редко (это связано с тем, что афинский цикл мифов был куда более бедным по сравнению с фиванским или микенским). Однако выявляется любопытная закономерность, которую мы как раз и назвали бы «принципом актуальности»: под Фивами или Микенами далекого прошлого всегда подразумеваются Афины и афинские реалии V в. до н. э.

Конкретное действие этого принципа нам уже приходилось освещать в предшествующих работах<sup>33</sup>. Вряд ли имеет смысл

<sup>31</sup> О политическом контексте трагедии см.: *Post L. A. The Seven Against Thebes as Propaganda for Pericles // Classical Weekly. 1950. Vol. 44. No. 4. P. 49-52.* О политической подоплеке творчества Эсхила см.: *Podlecki A. J. The Political background of Aeschylean Tragedy. Ann Arbor, 1966; Goldhill S. Civic Ideology and the Problem of Difference: The Politics of Aeschylean Tragedy, Once Again // JHS. 2000. Vol. 120. P. 34-36.*

<sup>32</sup> Об Аристиде см.: *Piccirilli L. Temistocle, Aristide, Cimone, Tucidide di Melesia fra politica e propaganda. Genova, 1987; Суриков И. Е. Аристид «Справедливый»: политик вне группировок // ВДИ. 2006. № 1. С. 18-47* (в этой же работе, в прим. 78, изложены соображения по поводу проблемы, связанной с различием в данном месте у Эсхила).

<sup>33</sup> *Суриков И. Е. Афинский ареопаг в первой половине V в. до н. э. // ВДИ. 1995. № 1. С. 23-40; Он же. Аттическая трагедия... Он же. Из истории греческой аристократии позднеархаической и раннеклассической эпох. М., 2000. С. 188-209; Он же. Трагедия Эсхила «Просительницы» и политическая борьба в Афинах // ВДИ. 2002. № 1. С. 15-24.*

вновь подробно повторять сказанное ранее. Поэтому ограничимся кратким суммированием и синтезом полученных результатов.

Чаще всего говорят в данной связи о трагедии Эсхила «Евмениды»<sup>34</sup>. Трилогия «Орестея», в которую она входит одной из составных частей, была поставлена вскоре после известной демократической реформы Эфиальта, в ходе которой древний Совет Ареопага был лишен ряда своих полномочий. И не удивительно, что Ареопаг становится, по сути дела, одним из главных героев «Евменид». Действие трагедии разворачивается в легендарные времена, в числе персонажей, как и положено, мифические герои и боги. А Ареопаг, тем не менее, предстает тем самым Ареопагом, который был столь знаком зрительской аудитории Эсхила. Связать прошлое с настоящим в некую единую цепь, актуализовать прошлое, использовать его как обоснование тех или иных вполне современных шагов — такова одна из главных задач драматурга.

Кстати, обратим внимание на редко привлекающее внимание исследователей и, однако, весьма характерное обстоятельство. В условиях религиозного менталитета (а в том, что древнегреческий менталитет был религиозным, ныне вряд ли кто-либо усомнится<sup>35</sup>) любой сюжет, взятый из прошлого, даже из далекого прошлого, неизбежно становился актуальным и связанным с настоящим уже в силу наличия, так сказать, «божественного фактора». В любом мифе действовали герои и боги. И если герои воспринимались как персонажи уже не существующие (во всяком случае, в «человеческом измерении»), то боги (выступавшие, кстати сказать, в качестве даже не предмета веры, а некой эмпирической данности<sup>36</sup>) являлись той самой нитью, которая соединяла века и эпохи. Зевс, Афина, Аполлон были во времена Тесея

---

<sup>34</sup> См. наиболее подробно: *Braun M.* Die “Eumeniden” des Aischylos und der Areopag. Tübingen, 1998.

<sup>35</sup> Кажется, миновало то время, когда античную Грецию считали едва ли не «светским обществом». Из последних работ, в которых, наконец, воздается должное религиозному фактору в жизни греков см.: *Polignac F. de.* La naissance de la cité grecque: Cultes, espace et société VIIIe — VIIe siècles avant J.-C. P., 1984; *Sourvinou-Inwood Chr.* What is Polis Religion? // *The Greek City: From Homer to Alexander.* Oxford, 1991. P. 295-332; *Андреев Ю. В.* Цена свободы и гармонии: Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации. СПб., 1998.

<sup>36</sup> См.: *Суриков И. Е.* Эволюция религиозного сознания... С. 37.



или Ореста. Но те же самые Зевс, Афина, Аполлон, в представлениях греков классической эпохи, и в их собственные времена никуда не исчезли и по-прежнему продолжали блюсти миропорядок. Боги оказывались гарантом стабильности в меняющемся универсуме<sup>37</sup>. Собственно, именно их наличие и придавало единичному и частному смысл общего.

Но вернемся к основной нити изложения. Несколько (но не намного) раньше, чем «Евмениды» в тот же период активизированного демократического дискурса, тем же Эсхилом была написана трагедия «Просительницы»<sup>38</sup>. В ней, на первый взгляд, речь идет о событиях совсем уж далеких времен (задолго до Троянской войны), к тому же происходивших в Аргосе. Однако, темы, поднимаемые в этом произведении, были темами, насущными отнюдь не для Аргоса ахейской эпохи, а для раннеклассических Афин. Демократия<sup>39</sup>, ответственность властей перед народом, моральный долг помощи слабым и обиженным — все это, бесспорно, находило отзвук в сердцах афинян, современников Эсхила.

В произведениях трагического жанра встречаются реминисценции не только внутривосточного, но и внешнеполитиче-

<sup>37</sup> Впрочем, у богов была своя «история», своя, если можно так выразиться, эволюция. Нельзя не заметить в «Теогонии» Гесиода (а это едва ли не первый памятник древнегреческой культуры, в котором обнаруживаются определенные исторические концепции) определенный параллелизм «божественной» и «человеческой» истории: меняются поколения богов — от древнего Хаоса до Зевса, меняются «века» людей — от золотого до железного (см. в данной связи: *Видаль-Накэ П.* Указ. соч. С. 69 слл.). Правда, параллелизм этот нельзя считать полным. Уже подмечено (*Жигунин В. Д.* Очерки античной естественной истории (от Гомера до Анаксагора и его последователей) // МННМА. Сборник научных трудов, посвященный памяти проф. В. Д. Жигунина. Казань, 2002. С. 57), что истории людей у Гесиода атрибутируется регрессивный ход, а «истории» богов — прогрессивный.

<sup>38</sup> Далее мы исходим из того, что время создания «Просительниц» — 460-е гг. до н. э., а не самое начало V в. до н. э., как считалось раньше. Наиболее детальное обоснование поздней датировки см. в монографии: *Garvie A. F.* *Aeschylus' Supplikes: Play and Trilogy.* Cambridge, 1969.

<sup>39</sup> Самого слова «демократия» мы в тексте «Просительниц» еще не встречаем. Однако эта трагедия — едва ли не первый античный литературный памятник, в котором рядом друг с другом, в едином и взаимосвязанном контексте стоят корни *dem-* и *krat-*. См. к данной проблематике: *Lotze D.* *Bürger und Unfreie im vorhellenistischen Griechenland: Ausgewählte Aufsätze.* Stuttgart, 2000. S. 207-218.

ского характера. Эта проблематика также была весьма актуальной для классической афинской драмы<sup>40</sup>. Целый ряд событий, будь то военная помощь восставшему против персидского владычества Египту, проникновение Афин в Западное Средиземноморье или заключение ими союза с Аргосом, преломлялись сквозь причудливую призму мифологического повествования, но и в таком виде, бесспорно, были вполне понятны зрительской аудитории Эсхила.

Творчество младшего современника Эсхила — Софокла — тоже может быть рассмотрено с точки зрения «принципа актуальности». Этот поэт, кстати, помимо занятий чистым искусством, играл также и видную роль в общественно-политической жизни афинского полиса второй половины V в. до н. э.<sup>41</sup>. В частности, по авторитетному свидетельству традиции (Aristoph. *Vuz. Nypoth. Sophocl. Antig.*), после громкого успеха его трагедии «Антигона», поставленной в 442 г. до н. э., он был даже избран стратегом. Можно сколько угодно иронизировать над афинянами, сделавшими драматурга военачальником, но если отрешиться от столь поверхностного подхода и посмотреть на вещи глубже, данный факт как раз и окажется прекрасным символом глубокой связи театра и политики, шире — театра и полиса<sup>42</sup>.

Самой злободневной, особенно тесно связывавшей историю и современность, была знаменитейшая из трагедий Софокла — «Эдип-царь», написанная в начале Пелопоннесской войны, как раз в то самое время, когда Аттика страдала от чумы, а многолетний лидер государства — Перикл — попал в опалу. Не будет преувеличением сказать, что одна из ключевых тем названной драмы — «тема Перикла». Вряд ли уместно будет здесь включаться

---

<sup>40</sup> См., в частности: *Mariotta G. Riflessi della politica ateniese in Occidente nelle Eumenidi (vv. 295-7)? // Studi italiani di filologia classica. 2003. Vol. 96. Fasc. 1/2. P. 129-135.*

<sup>41</sup> Конкретные факты см.: *Суриков И. Е. Эволюция религиозного сознания... С. 265 слл.*

<sup>42</sup> Это опять же вполне закономерно. Для полисного типа общества характерна, как справедливо отмечалось (*Murray O. Cities of Reason // The Greek City: From Homer to Alexander. Oxford, 1991. P. 1-25*), определенная «тотальность», отцентрированность всех сфер бытия вокруг политического «стержня». Можно сказать, что и драма, и историография, в конечном счете, были политическими жанрами.

в давнюю дискуссии о том, сочувствует ли Софокл Периклу или же, напротив, осуждает его<sup>43</sup>. Главное в том, что софокловский Эдип — это в известной мере именно Перикл. В ином виде, кроме как в облике мифологического прототипа, реальный политик и не мог быть выведен на трагическую сцену. Но, повторим еще раз, для зрителей и эта форма была вполне достаточной.

Наконец, Еврипид тоже вполне может быть назван политическим — соответственно историческим *sensu* Грассо — драматургом<sup>44</sup>. Целый ряд его трагедий, написанных в период войны со Спартой («Гераклиды», «Просительницы», «Троянки», «Елена») могут быть полностью и правильно поняты только в историческом контексте. И в высшей степени интересно наблюдать за тем, как по мере тех или иных перемен в ходе военных действий меняется и позиция автора: то ему свойственны жгучий патриотизм и стремление сражаться «до победного конца», то он переходит (после крупного поражения афинян на Сицилии) к мягкой, примиренческой линии<sup>45</sup>.

В последние десятилетия аттическую трагедию модно изучать в структурно-антропологическом и социально-психологическом аспекте<sup>46</sup>. Но нам представляется вполне оправданным и другой ракурс ее анализа — исторический или, чуть точнее, историко-политический (ввиду неразрывности истории и политики в полисном греческом мире<sup>47</sup>). Обращение к «вечным» мифоло-

---

<sup>43</sup> См. наиболее подробно: *Ehrenberg V. Sophokles und Perikles. München, 1956.*

<sup>44</sup> Еврипид и в целом был автором особенно отзывчивым на интеллектуальные веяния его эпохи. См.: *Egli F. Euripides im Kontext zeitgenössischen intellektueller Strömungen: Analyse der Funktion philosophischer Themen in den Tragödien und Fragmenten. Lpz., 2003.*

<sup>45</sup> *Ярхо В. Н. Миф и политика в древнегреческой трагедии // Вопросы истории. 1970. № 1. С. 209-214.*

<sup>46</sup> См., например: *Vernant J.-P., Vidal-Naquet P. Mythe et tragédie en Grèce ancienne. T. 1-2. P., 1981-1986; Nothing to Do with Dionysus? Athenian Drama in its Social Context / Ed. by J. J. Winkler, F. I. Zeitlin. Princeton, 1990; Gagliardi M. Social et discourse de la folie dans la tragédie grecque du Ve siècle avant J.-C. // Histoire & Mesure. 1999. V. 14. No. 1/2. P. 3-50.*

<sup>47</sup> О политической интенции в классической трагедии см.: *Meier Chr. Die politische Kunst der griechischen Tragödie. Dresden, 1988; Подс П. Дж. Афинский театр в политическом контексте // ВДИ. 2004. № 2. С. 33-56.*

гическим сюжетам гарантировало сочетание общего и единичного (вспомним цитировавшееся в начале работы высказывание Аристотеля), вневременного и актуального.

Перейдем теперь к комедии — второму важнейшему драматическому жанру эпохи классики<sup>48</sup>. Так называемая древняя аттическая комедия, представленная дошедшими полностью сочинениями Аристофана, фрагментами Кратина, Евполида и ряда других авторов, кардинально отличается от трагедии, прежде всего в том отношении, что она как раз пользовалась практически исключительно вымышленными сюжетами, причем не просто вымышленными, а замысловатыми до фантазмагоричности.

Однако — и в этом еще один парадокс — вымышленный сюжет постоянно сочетался в произведениях древней комедии с вполне реальными действующими лицами. Комедиографы V в. до н. э. (в отличие, скажем, от работавшего век спустя Менандра, у которого персонажи уже являются тоже продуктом художественной фантазии) активно выводят на сцену своих реальных современников — политиков, философов, поэтов<sup>49</sup>. Демагог Клеон и полководец Ламах, Сократ и Еврипид — все они появляются в пьесах Аристофана. Кратин высмеивал самого Перикла<sup>50</sup>. Естественно, здесь же присутствуют и вездесущие боги — этот элемент вечного в современности. Но боги, конечно, могут быть выведены в комедии только в *комическом* виде — иной подход противоречил бы природе жанра<sup>51</sup>.

<sup>48</sup> Мы не будем в данной работе касаться еще одного существовавшего в Афинах интересующего нас времени драматического жанра — так называемой «сатировой драмы». Памятников этого жанра почти не сохранилось, что делает проблематичным изучение его в контексте эволюции исторического сознания.

<sup>49</sup> *Degani E.* Aristofane e la tradizione dell'invettiva personale in Grecia // *Entretiens sur l'antiquité classique.* 1991. V. 38. P. 1-49; *Storey I.* Poets, Politicians and Perverts: Personal Humour in Aristophanes // *Classics Ireland.* 1998. Vol. 5. P. 85-134; *Stark I.* Athenische Politiker und Strategen als Feiglinge, Betrüger und Klaffärsche. Die Wannung vor politischer Devianz und das Spiel mit den Namen prominenter Zeitgenossen // *Spoudaiogeloion: Form und Funktion der Verspottung in der aristophanischen Komödie.* Stuttgart – Weimar, 2002. S. 147-167.

<sup>50</sup> *Schwarze J.* Die Beurteilung des Perikles durch die attische Komödie und ihre historische und historiographische Bedeutung. München, 1971.

<sup>51</sup> Подробнее см.: *Суриков И. Е.* Эволюция религиозного сознания... С. 197-239 (с указаниями на важнейшую литературу по вопросу).

А как обстоят дела с историческими деятелями и событиями в собственном, привычном нам смысле слова? И здесь мы тоже обнаруживаем в комедии специфические черты, отличающие ее от трагического жанра. «Принцип актуальности» в ней тоже работает, но принимает несколько иное обличье.

Так, одним из типичных сюжетных ходов комедиографов V в. до н. э. является то, что можно назвать «воскрешением мертвых». Души славных героев прошлого, законодателей, полководцев и государственных деятелей в подобии некоего спиритического сеанса вызываются драматургами из Аида. Это — тоже способ «столкнуть лицом к лицу» прошлое с настоящим, но способ, естественно, специально комический.

Солон, выдающийся реформатор афинского полиса, действовавший в начале VI в. до н. э., полтора века спустя появляется в комедиях Кратина («Хироны», «Законы») и Евполида («Демь») <sup>52</sup>. Но если Солон еще можно назвать для этих авторов деятелем достаточно отдаленным во времени, как бы теряющимся во мгле забвения <sup>53</sup>, то совсем другое дело, например, Перикл. А он тоже «воскрешается из мертвых» в одной из комедий Евполида.

---

<sup>52</sup> У Кратина уже заметна тенденция к героизации фигуры Солона, к приданию ей нормативно-идеальных черт. Судя по всему, именно он — автор версии, согласно которой прах Солон после смерти был якобы развеян над островом Саламин, который он присоединил к Афинскому государству. Эта версия (несмотря на то, что впоследствии она ввела в заблуждение самого Аристотеля) ни в коей мере не соответствует действительности (см.: Суриков И. Е. Законодательство Солон об упорядочении погребальной обрядности // Древнее право. 2002. № 1 (9). С. 19). Это — творимый комедиографом «исторический миф». Нам лишний раз приходится вспомнить о близости мифологического и исторического в греческом менталитете и греческой традиции.

<sup>53</sup> Судьба исторической традиции о Солоне сама по себе представляет собой исключительно интересную иллюстрацию к тезисам о специфике греческого исторического сознания. Полузабытый к концу V в. до н. э., великий законодатель впоследствии оказался «возрожден из небытия», естественно, получив при этом ряд новых, в жизни не свойственных ему черт и деяний. Из обширной литературы по сюжету см.: Mossé C. Comment s'élabore un mythe politique: Solon, "père fondateur" de la démocratie athénienne // *Annales: économies, sociétés, civilisations*. 1979. А. 34. № 3. P. 425-437; David E. Solon, Neutrality and Partisan Literature of Late Fifth-Century Athens // *Museum Helveticum*. 1984. Vol. 41. Fasc. 3. P. 129-138; Hansen M. H. Solonian Democracy in Fourth-Century Athens // *Classica et mediaevalia*. 1989. Vol. 40. P. 71-99.

Можно было бы еще долго говорить о специфике исторического сознания, проявляющегося в греческой драме классической эпохи. Но пора уже подводить некоторые предварительные итоги. На основании вышесказанного, как нам представляется, можно с достаточной долей уверенности сформулировать следующие соображения.

Во-первых, классическая драма, как трагедия, так и комедия, с полным основанием может быть отнесена к жанрам исторического характера. Само по себе это настолько очевидно, что для обоснования данного тезиса вряд ли стоило писать специальную работу. Важнее другое: как и в чем этот исторический характер проявлялся, какими отличительными чертами обладал?

Таких черт, видимо, можно выделить несколько, но определяющей из них будет актуализм исторического сознания драмы. Прошлое воспринималось не иначе, как в контексте настоящего. Становление — лишь подготовка бытия, таков, как известно один из краеугольных камней всего древнегреческого мировосприятия<sup>54</sup>. Бытие, бесспорно, не следует отождествлять с непосредственно данным *hic et nunc*. Однако на эмпирическом уровне они непрерывно коррелировали (во многом, кстати сказать, посредством вневременного «божественного фактора»).

«Поэзия говорит об общем, история — о единичном», если следовать словам Аристотеля. Для него это — похвала поэзии. Но разве и историки, по крайней мере, крупнейшие из них, не понимали свою задачу сходным образом? И они старались говорить об общем. И их тоже дела прошлого интересовали только в той мере, в какой это было важно для настоящего и будущего. Геродот начинает свой труд следующими словами (I. prooem.): «Геродот из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение, и великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров не остались в безвестности». Еще яснее выражается Фукидид (I. 22. 4): «Если кто захочет исследовать достоверность прошлых и возможность будущих событий (могущих когда-нибудь повториться по свойству человеческой природы в том же или сходном виде), то для меня будет достаточно, если он сочтет мои изыска-

---

<sup>54</sup> Что справедливо подчеркнуто в известной книге: *Коллингвуд Р. Дж. Идея истории*. М., 1980. С. 19 слл.

ния полезными. Мой труд создан *как достояние навеки* (курсив наш. — *И. С.*), а не для минутного успеха у слушателей».

История и для Геродота, и для Фукидида — не самоцель, не антикварные штудии, не интерес к «прошлому ради прошлого»<sup>55</sup>. Интересно, что среди древнегреческих историков классической эпохи почти не было, так сказать, «древних историков», историков древности. Задачу освещать далекое прошлое историки предоставили мифографам и тем же поэтам, а сами сконцентрировались на прошлом близком и предельно близком. В определенной мере имело место «разделение труда» между историком и поэтом (для V в. до н. э. в первую очередь драматургом). При схожих исходных методологических принципах, при одном и том же типе исторического сознания они говорили о разном. Трагедия в самом начале классической эпохи предприняла попытку вторгнуться в домен историографии. Не раз нечто подобное делала, со своей стороны, и историография. И, помимо всего прочего, уже это говорит, что мы имеем дело с близкими друг другу реалиями.

\* \* \*

Итак, для классической греческой драмы характерен актуализм исторического сознания. Не иначе, однако, дело обстоит и собственно с первыми историками. Как отмечалось чуть выше, не случайно в исторических произведениях V в. до н.э. речь шла, прежде всего, о событиях недавних, о прошлом — но о прошлом близком или даже предельно близком<sup>56</sup>. Эту принципиальную черту, актуализм, нам необходимо будет постоянно держать в памяти при дальнейшем анализе основной проблематики данной работы.

Как известно, «отцом истории» называют Геродота, и эта традиция не изобретена современной историографией, а восходит к самой античности (например: *Cic. De leg. I. 1. 5*). Говоря строго

---

<sup>55</sup> Античные греки четко отделяли друг от друга собственно историческое исследование и исследование антикварное. См.: *Momigliano A. Studies in Historiography. N. Y., 1966. P. 1 ff.*

<sup>56</sup> Геродот писал о Греко-персидских войнах, которые при его жизни еще продолжались, а те события, которые он непосредственно освещал, еще хорошо помнили люди, с которыми он встречался и беседовал. Фукидид избрал предметом своего сочинения Пелопоннесскую войну — а ведь он сам принял участие в первом этапе этого вооруженного конфликта в качестве полководца.

формально, такое определение не вполне верно. Геродот не был *самым первым* в мире историком; его нельзя назвать даже первым из античных историков — в том смысле, что не его перу принадлежал наиболее ранний из исторических трактатов, созданных в Древней Греции<sup>57</sup>. Тем не менее, в цicerоновской характеристике, цитируемой из поколения в поколение во всех трудах о Геродоте, все-таки содержится значительная доля истины. Историописание «догеродотовской» эпохи существовало, но не оно легло в основу последующей историографической традиции. Труд Геродота настолько затмил творения его предшественников — логографов (Гекатея и др.), — что эти последние, насколько можно судить, довольно скоро вообще практически перестали читаться и переписываться. Как следствие, все они безвозвратно погибли, не считая незначительных фрагментов, и не оказали заметного влияния на дальнейшую эволюцию исторической науки. А труд Геродота остался в веках.

Но, если сказанное справедливо, Геродот по справедливости должен разделить титул «отца истории» со своим младшим современником — Фукидидом, в творчестве которого античная историография, лишь недавно возникшая, достигла своего пика, наивысшего уровня<sup>58</sup>, впоследствии так ею и не превзойденного. Да что говорить только об античности: и по сей день все мы, работающие в самых разных областях исторического знания, являемся прямыми наследниками этих двух великих древнегреческих историков. Их фундаментальные труды, как две колонны, гордо стоят у входа в «храм Клио», начиная собой историю как научную дисциплину.

Тем более интересен и даже парадоксален тот факт, что, сравнивая «Историю» Геродота и «Историю» Фукидида, нельзя не поразиться тому, как непохожи друг на друга эти произведения, разделенные лишь несколькими десятилетиями<sup>59</sup>. Различия

---

<sup>57</sup> Подробнее см.: Суриков И. Е. Первосвященник Клио... С. 5 слл.

<sup>58</sup> Ср.: Фролов Э. Д. Факел Прометея: Очерки античной общественной мысли. Л., 1981. С. 118: «Фукидид являет собой... высшую стадию в процессе становления античной исторической науки».

<sup>59</sup> Геродот внес последние штрихи в свое повествование (создававшееся на протяжении длительного хронологического отрезка) в 420-х гг. до н. э., то есть на начальном этапе Пелопоннесской войны (есть мнение,



до такой степени велики, что их нельзя отнести на счет расхождений стилистического порядка и даже на счет своеобразия исследовательских методов двух ученых. Как мы попытаемся показать, речь следует вести именно о двух разных типах исторического сознания, один из которых пришел на смену другому как раз в хронологических рамках V в. до н. э.

В первую очередь бросаются в глаза именно отличия в стиле: они настолько существенны, что влияют даже на жанровые характеристики двух интересующих нас литературных и научных памятников. Сочинение Геродота часто — и совершенно справедливо — относят к категории «эпической историографии»<sup>60</sup>, тем самым сближая его с героическим эпосом, представленным на греческой почве прежде всего поэмами Гомера. Что же касается труда Фукидида, то он дает несравненно больше оснований для параллелей с драматическим жанром, с классической трагедией, и такие параллели неоднократно проводились<sup>61</sup>.

«Истории» Геродота в высшей степени свойственно «эпическое раздолье» (термин, традиционно употребляемый филологами в отношении «Илиады» и «Одиссеи»). Автор щедро делится с читателями самыми разнообразными сведениями, сплошь и ря-

---

что даже позже, см.: *Fornara Ch. W.* Evidence for the Date of Herodotus' Publication // *Journal of Hellenic Studies*. 1971. Vol. 91. P. 25–34). Именно в это время уже начал работу над своим трудом Фукидид (как он сам сообщает: *Thuc. I. 1. 1*), а оборвалась эта работа (именно оборвалась, а не окончилась, поскольку «История» Фукидида осталась незавершенной) в самом начале IV в. до н. э.

<sup>60</sup> Например: *Артог Ф.* Первые историки Греции: историчность и история // ВДИ. 1999. № 1. С. 178 слл. В отечественной исследовательской литературе см.: *Кузнецова Т. И., Миллер Т. А.* Античная эпическая историография: Геродот. Тит Ливий. М., 1984. В целом в российском антиковедении Геродоту в известной степени «повезло»: ему посвящены специальные (и весьма высококвалифицированные) монографические исследования: *Лурье С. Я.* Геродот. М.–Л., 1947; *Доватур А. И.* Повествовательный и научный стиль Геродота. Л., 1957. Что же касается Фукидида, то с ним дело обстоит значительно хуже: на русском языке по сей день нет ни одной монографии о нем (ни оригинальной, ни даже переводной), и это, конечно, представляет собой весьма прискорбную лауну.

<sup>61</sup> *Connor W. R.* Thucydides. Princeton, 1984. Passim; *Buck R. J.* Op. cit. P. 78 f.; *Will W.* Thucydides und Perikles: Der Historiker und sein Held. Bonn, 2003. S. 67 ff.

дом отклоняется от основного предмета своего интереса — Греко-персидских войн, — чтобы дать обширные экскурсы на самые неожиданные темы: то о переселениях эллинских племен много веков назад, то о становлении царской власти в далекой Мидии, то о нравах скифов, то о разливах Нила, то о каких-нибудь муравьях величиной с собаку, стерегущих индийское золото... «История» Фукидида — полная противоположность: ее автор строго придерживается одного сюжета — предпосылок, начала, хода Пелопоннесской войны. Нельзя сказать, что в этом сочинении совсем нет экскурсов. Но они немногочисленны, обычно кратки, а главное — всегда концептуально и композиционно мотивированны. Если труд Геродота производит порой впечатление повествования бессистемного до хаотичности, то труд его младшего современника, напротив, весьма стройно и четко структурирован.

Геродот раскован и информативен — Фукидид точен и аккуратен. Первый (если прибегнуть к аналогии, взятой на этот раз из области изобразительного искусства), подобно живописцу, наносит на полотно новые и новые мазки, создавая пеструю и красочную картину; второй скорее напоминает скульптора — он работает, отсекая всё лишнее. А порой элиминируется даже и такой материал, который мы никак не назвали бы лишним.

Здесь мы выходим на проблему пропусков и умолчаний у Фукидида, исключительно важную для понимания творчества этого историка, но пока еще не получившую однозначного решения<sup>62</sup>. Суть проблемы заключается в том, что великий афинский историк, практически никогда не прибегая к прямым искажениям фактов и в этом отношении всегда оставаясь в рамках объектив-

---

<sup>62</sup> К этой проблеме см.: *Herman G. Nikias, Epimenides and the Question of Omissions in Thucydides* // *Classical Quarterly*. 1989. Vol. 39. No. 1. P. 83-93; *Badian E. From Plataea to Potidaea: Studies in the History and Historiography of the Pentecontaetia*. Baltimore, 1993. P. 27 f., 59. Неоднократно, по различным поводам приходилось касаться упоминаемой здесь проблемы и автору этих строк. См., в частности: *Суриков И. Е. Историко-географические проблемы понтийской экспедиции Перикла* // ВДИ. 1999. № 2. С. 100-101; *Он же. К историко-хронологическому контексту последнего афинского остракизма* // *Античность: эпоха и люди*. Казань, 2000. С. 19; *Он же. Внешняя политика Афин в период Пентеконтаэтии* // *Межгосударственные отношения и дипломатия в античности*. Ч. 2. Казань, 2002. С. 44.

ности, с другой стороны, вполне мог — и очень нередко — в силу различных причин вообще не упомянуть в соответствующем контексте о том или ином, даже весьма важном, событии, попросту проигнорировать такое событие в том месте, где ему надлежало бы появиться. Достаточно привести *exempli gratia* хотя бы несколько взятых почти наугад исторических фактов большого значения, ставших жертвами «фигуры умолчания» у Фукидида: реформа Эфиальта 462/461 г. до н. э., знаменовавшая собой важнейший этап формирования афинской демократии, перенос казны Делосского союза на афинский Акрополь в 454 г. до н. э., после которого произошло перерождение этой симмахии в гегемониальную державу, Каллиев мир 449 г. до н. э., завершивший Греко-персидские войны<sup>63</sup>, попытка созыва общегреческого конгресса в Афинах в 448 г. до н. э., интенсивная внешняя политика афинян в Центральном Средиземноморье в 450-х — 440-х гг. до н. э. (включая основание под афинской эгидой панэллинской колонии Фурии), крупная морская экспедиция Перикла в Понт Эвксинский ок. 437 г. до н. э., остракизмы 444 и 415 гг. до н. э., в ходе которых из полиса изгонялись крупные политические деятели... Ни о чем из перечисленного у Фукидида нет ни слова<sup>64</sup>, и, если бы не сообщения других, более поздних античных авторов (Аристотеля, Плутарха и др.), мы вообще не узнали бы об этих событиях, что, безусловно, обеднило бы наше понимание исто-

---

<sup>63</sup> Строго говоря, речь, скорее всего, следует вести не об одном, а как минимум о двух Греко-персидских договорах — 464 и 449 гг. до н. э. (см.: Суриков И. Е. Два очерка об афинской внешней политике классической эпохи // Межгосударственные отношения и дипломатия в античности. Ч. 1. Казань, 2000. С. 105-106). У Фукидида нет ни слова ни об одном из них, равно как и о еще одном договоре — т.н. Эпиликовом мире 423 г. до н. э. (о нем см.: Рунг Э. В. Эпиликов мирный договор // ВДИ. 2000. № 3. С. 85-96), хотя этот последний прямо укладывался в хронологические рамки основной части «Истории».

<sup>64</sup> Только об остракизме 415 г. до н. э. Фукидид упоминает — мимоходом, в двух словах, и при этом не в том месте, где следовало бы, а гораздо позже. См. по поводу этого пассажи: Brenne S. Thukydides 8, 73, 3 (400-395 v.Chr.): Motive für die Ostrakisierung des Hyperbolos (ca. 416 v.Chr.) // Ostrakismos-Testimonien I: Die Zeugnisse antiker Autoren, der Inschriften und Ostraka über das athenische Scherbengericht aus vorhellenistischer Zeit (487-322 v.Chr.). Stuttgart, 2002. S. 258-270.

рии классической Греции. Вполне обоснованным будет суждение о том, что молчание Фукидида никогда не должно становиться для нас аргументом против историчности какого-либо факта.

Итак, если Геродот подчас говорит больше, чем необходимо, то Фукидид, наоборот, часто говорит меньше, чем следовало бы. Здесь контраст тоже очевиден, и в связи со сказанным необходимо коснуться вопроса о принципах отбора двумя историками находившегося в их распоряжении фактологического материала, их подхода к данным предшествующей традиции. К счастью, оба эксплицитно продекларировали эти свои принципы, и они опять же оказываются прямо противоположными. Вот позиция Геродота (VII. 152): «Мой долг передавать все, что рассказывают, но, конечно, верить всему я не обязан». А вот что пишет Фукидид (I. 22. 2), вне сомнения, в пику своему великому предшественнику: «Я не считал согласным со своей задачей записывать то, что узнавал от первого встречного, или то, что я мог предполагать, но записывал события, очевидцем которых был сам, и то, что слышал от других, после точных, насколько возможно, исследований относительно каждого факта, в отдельности взятого».

Иными словами, в первом случае историк считает своим долгом преподнести читательской аудитории всю информацию, которая есть в его распоряжении; соответственно, мы слышим в его труде многоголосый хор самых различных мнений<sup>65</sup>. Во втором же случае историк прибегает к сознательному отбору, излагает только те факты и суждения, которые представляются ему, лично ему достоверными. Метод Фукидида обычно считается

---

<sup>65</sup> По вопросу об источниках Геродота за последнее время сложилась немалая и интересная своим полемическим характером историография. Начало дискуссии положил Д. Фелинг, в намеренно провокативной работе высказавший крайне гиперкритическое отношение к традициям, отразившимся у «отца истории»: *Fehling D. Herodotus and his 'Sources': Citation, Invention and Narrative Art. Leeds, 1989.* В продолжение дискуссии см.: *Vandiver E. Op. cit.; Pritchett W. K. The Liar School of Herodotus. Amsterdam, 1993; Thomas R. Herodotus in Context: Ethnography, Science and the Art of Persuasion. Cambridge, 2000; Bichler R. Herodots Welt: Der Aufbau der Historie am Bild der fremden Länder und Völker, ihrer Zivilisation und ihrer Geschichte. 2 Aufl. B., 2001.* Из других важных работ о Геродоте, появившихся относительно недавно, см.: *Hartog F. Le miroir d'Hérodote: Essai sur la représentation de l'autre. P., 1980; Bichler R., Rollinger R. Herodot. Hildesheim, 2000.*

началом исторической критики<sup>66</sup>. Пожалуй, что это и так (хотя, наверное, все-таки не лучший способ критики — замалчивание тех взглядов, с которыми автор не согласен). Но в то же время перед нами — начало догматизма в историописании, догматизма, который Геродоту был еще чужд<sup>67</sup>. Данные соответствующим образом «препарируются» и подаются в таком свете, чтобы не вызвать у читателя и тени сомнения в правильности проводимой историком концепции<sup>68</sup>. А между тем, насколько ценнее был бы эпохальный труд Фукидида, если бы в нем, в дополнение к его прочим многочисленным достоинствам, еще и приводились иные точки зрения на спорные вопросы, если бы автор не пытался взять на себя роль высшего арбитра в вопросе о том, «что есть истина»...

Можно сказать, что практически с самого момента «рождения Клио», в V в. до н. э., наметились две противостоящие друг другу принципиальные установки, которые можно охарактеризовать как «диалогическую» и «монологическую». Они-то и проявились соответственно у Геродота и Фукидида. В дальнейшем «геродотовская» и «фукидидовская», «диалогическая» и «монологическая» линии противоборствовали в античной историографии. В частности, «Афинская политика» Аристотеля написана всецело в русле второй из них; не случайно в ней, как и у Фукидида, столь редки ссылки на источники. Совсем иное дело — Плутарх<sup>69</sup>. Он, следуя заветам Геродота<sup>70</sup>, «передает все, что рассказывают», даже если он со многим и не согласен. Херонейский биограф очень любит, разбирая какой-нибудь вопрос, сталкивать друг с

---

<sup>66</sup> Ср. *Raubitschek A. E. The School of Hellas: Essays on Greek History, Archaeology, and Literature. Oxford, 1991. P. 292-294.*

<sup>67</sup> Ср. противопоставление Геродота и Фукидида в известной работе: *Коллингвуд Р. Дж. Указ. соч. С. 30-31.*

<sup>68</sup> На ряде конкретных примеров это убедительно показано в монографии: *Badian E. Op. cit.* Э. Бадян даже сравнивает приемы, использовавшие Фукидидом, с приемами, характерными для современной журналистики.

<sup>69</sup> Подробнее см.: *Суриков И. Е. «Солон» Плутарха: некоторые историко-ведческие проблемы // ВДИ. 2005. № 3. С. 151-161.*

<sup>70</sup> Сказанное, конечно, не отменяет того факта, что субъективно Плутарх относился к Геродоту отрицательно (и даже написал обличающий его трактат «О злокозности Геродота»), а Фукидида просто-таки боготворил (ср. *Will W. Thukydides... S. 275*).

другом две (или более) противоречащие друг другу трактовки, обнаруживаемые им в предшествующей традиции. При этом чаще всего сам он не делает однозначного выбора в пользу одной из версий, предоставляя такой выбор читателю<sup>71</sup>. Плутарх принципиально не догматичен, его стиль проникнут «диалогической» установкой (здесь, между прочим, еще и влияние метода Сократа, который — через труды Платона — оказал определяющее воздействие на весь склад плутархова мышления)<sup>72</sup>. И эта черта — не только одна из самых импонирующих в его творчестве, но еще и одна из особенно коррелирующих с наиболее передовыми ныне методиками исторической науки<sup>73</sup>. Парадоксальным образом Геродот и Плутарх оказываются близкими и современными нам по своим подходам.

Труд Геродота можно назвать открытой текстовой структурой, а труд Фукидида — закрытой. И в этом отношении опять же напрашивается сравнение соответственно с эпосом и драмой. Памятник эпического жанра принципиально не замкнут, он имеет тенденцию к постоянному разрастанию, причем как «вовне», так и «внутри себя» — посредством вставок, делавшихся новыми и новыми поколениями аэдов<sup>74</sup>. Что же касается драм, особенно трагедий, то их жанр характеризуется, как известно, чрезвычайно стройной композицией, в которой нельзя ничего «ни прибавить, ни убавить».

Различно и отношение ко времени в произведениях двух великих историков. У Геродота оно тоже «эпично»: этот автор мыслит широкими временными категориями, живет в мире веков и десятилетий, а не лет. Скрупулезно точные, тем более аргумен-

<sup>71</sup> Ср.: Plut. Sol. 19: «Над этим вопросом ты подумай сам».

<sup>72</sup> Эта черта хорошо видна не только в биографиях, написанных Плутархом, но и в трактатах, входящих в состав его «Моралий». Эти трактаты очень часто принимают форму диалога.

<sup>73</sup> См., в частности, о необходимости для историка «завязать диалог с культурой иного времени»: Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990. С. 9.

<sup>74</sup> Гомеровские «Илиада» и «Одиссея» обрели свою окончательную, каноническую форму лишь достаточно поздно, в VI в. до н. э., когда усилиями Солона, а затем Писистрата их текст был зафиксирован. См. к вопросу: Cook E. F. The Odyssey in Athens: Myths of Cultural Origins. Ithaca, 1995; Sauge A. “L’Iliade”, poème athénien de l’époque de Solon. Bern, 2000.

тированно-точные датировки у него трудно найти<sup>75</sup>. Фукидид и здесь являет собой полную противоположность: рассказ о Пелопоннесской войне строго разбит у него по годам, начало каждой очередной кампании четко фиксируется во времени. Порой хронологическая точность достигает уровня таких малых промежутков, как несколько дней<sup>76</sup>.

И еще один небезынтересный нюанс нам представляется уместным отметить. В античной традиции Гераклита называли «плачущим философом», а Демокрита — «смеющимся философом». К историкам, насколько нам известно, подобные эпитеты не прилагались, но если попробовать охарактеризовать с их помощью двух крупнейших представителей историографии V в. до н. э., то выйдет (просим прощения у читателя за несколько разговорное выражение) просто-таки «попадание в десятку». Геродот — в полном смысле слова «смеющийся историк». Все его жизнеощущение проникнуто глубочайшим оптимизмом, который прорывается почти на каждой странице его труда. Создается впечатление (и, кажется, не ложное), что этот галикарнасский грек работал с улыбкой удовлетворения на устах. Поражает жизнерадостность и доброжелательность, с которой он относится ко всему человечеству. Он не склонен сводить старые счеты, с симпатией относится не только к «своим», эллинам, но говорит немало добрых слов и по адресу народов Востока — египтян, лидийцев и даже «исконных врагов», персов<sup>77</sup>.

Если Геродот — историк-оптимист, то Фукидид, напротив, — историк-пессимист, «плачущий историк». Его мировоззрение порой мрачно до безысходности. Некоторые фукидидов-

---

<sup>75</sup> В целом о категории времени у Геродота см.: *Payen P. Comment réviser à la conquête: temps, espace et récit chez Hérodote // Revue des études grecques. 1995. Vol. 108. P. 308-338.*

<sup>76</sup> Ср. в рассказе о захвате в плен афинянами отряда спартиатов на острове Сфактерия (Thuc. IV. 39): «Осада этих людей на острове продолжалась целых 72 дня, считая от морского сражения до битвы на острове. Из них около 20 дней... лакедемонян снабжали съестными припасами; остальное время они жили тем, что им доставлялось тайно». Клеон «в течение 20 дней... доставил в Афины пленников, как и сулил».

<sup>77</sup> За это много веков спустя Плутарх раздраженно называл Геродота «филоварваром».

ские пассажи (например, II. 51-54; III. 82-84), написанные с огромной силой выразительности, при этом принадлежат, без преувеличения, к самым тяжелым и даже страшным страницам всего античного историописания, наряду со знаменитыми тирадами Тацита. Не могут не вспомниться в данной связи аристотелевские категории трагического — сострадание и страх, вызывающие очищение (Arist. Poet. 1449b27)<sup>78</sup>.

Это кардинальное различие в мироощущении между двумя величайшими историками древней Эллады уже в античности не ускользнуло от внимания такого тонкого и проницательного знатока литературы, как Дионисий Галикарнасский (Epist. ad Pomp. 774-777 R). Сравнивая Геродота и Фукидида, он, в числе прочего, пишет: «Я упомяну еще об одной черте содержания... — это отношение автора к описываемым событиям. У Геродота оно во всех случаях благожелательное, он радуется успехам и сочувствует при неудачах. У Фукидида же в его отношении к описываемому видна некоторая суровость и язвительность, а также злопамятность... Ведь неудачи своих соотечественников он описывает во всех подробностях, а когда следует сказать об успехах, он или вообще о них не упоминает, или говорит как бы нехотя... Красота Геродота приносит радость, а красота Фукидида вселяет ужас».

Говоря об оптимизме Геродота и пессимизме Фукидида, следует отметить, что перед нами — не просто индивидуальная позиция конкретных авторов, а выражение общего исторического сознания эпохи. На это убедительно указывает тот факт, что в другой области афинского литературного творчества на том же хронологическом отрезке имели место аналогичные перемены. Старший из трех великих аттических трагедиографов — Эсхил, участник и певец Греко-персидских войн, отличался, как видно из его драм, могучим, непоколебимым оптимизмом. А младшие представители того же жанра — Софокл и особенно Еврипид, чей творческий расцвет пришелся на время Пелопоннесской войны, несравненно более пессимистичны<sup>79</sup>.

---

<sup>78</sup> По поводу теории трагедии у Аристотеля (в историографическом аспекте) см.: *Schlesier R. Lust durch Leid: Aristoteles' Tragödientheorie und die Mysterien. Eine interpretationsgeschichtliche Studie // Die athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v. Chr. Stuttgart, 1995. S. 389-415.*

<sup>79</sup> *Суриков И. Е. Эволюция религиозного сознания... С. 76.*



Как же получилось, что на протяжении V в. до н. э. древнегреческое (в частности, афинское) историческое сознание проделало такой путь — от «эпического» к «трагическому» типу? Чтобы лучше понять это, необходимо обратиться к проблемам исторического контекста. Следует оговорить: мы отнюдь не считаем, что эволюция ментальных феноменов всегда и всецело происходит под влиянием внешних исторических обстоятельств. В действительности, конечно, каждая отдельная форма духовной жизни изменяется, прежде всего, по собственным внутренним законам, в соответствии с собственной логикой развития, заключающейся в вырастании проблем внутри традиции и последующем их разрешении имеющимися средствами<sup>80</sup>. Всё это так, но не будем забывать, что *историческое сознание* — это такая специфическая сфера духовной жизни, предметом которой является именно та самая историческая реальность; перемены в этой последней неизбежно влекут за собой модификацию инструментов ее постижения, то есть субъектно-объектные связи здесь налицо.

А главной исторической реальностью первой половины V в. до н. э., отразившейся в труде Геродота, были, бесспорно, закончившиеся победой эллинов Греко-персидские войны. Совершенно не касаясь здесь этого конфликта с чисто военной точки зрения, мы никак не можем обойти стороной его грандиозный цивилизационный смысл. Ведь, в сущности, именно в ходе столкновения с Персидской державой Ахеменидов, если так можно выразиться, «Греция стала Грецией». Произошло своеобразное «похищение Европы», впервые сформировалось представление об особом, отдельном мире Запада, резко отличающемся от мира Востока и, более того, во всем противостоящем ему. Это представление, как известно, имело колоссальные, и по сей день

---

<sup>80</sup> См. этот тезис в максимально общей форме: *Поннер К. Р.* Ницета историцизма. М., 1993. С. 169-174. Применение его, в качестве примера, к такой конкретной сфере культуры, как древнегреческая скульптурная пластика, см.: *Hallett C. H.* The Origins of the Classical Style in Sculpture // *Journal of Hellenic Studies*. 1986. Vol. 106. P. 71-84. Некоторые уточнения методологического характера, снимающие жесткую категоричность данного тезиса, см.: *Суриков И. Е.* Олимпийские игры и греческая скульптура конца VI–V вв. до н. э. // *Античность: общество и идеи.* Казань, 2001. С. 259.

дающие о себе знать последствия для всей последующей европейской истории: обычные географические ориентации получили культурную и ценностную семантику.

Именно в таком ракурсе написана вся «История» Геродота, о чем ее автор сразу же, с самого начала эксплицитно дает знать читателям (I.1 sqq.), отмечая как свою главную задачу описание войн между эллинами и варварами (под последними понимаются в первую очередь именно восточные варвары). «Эллины» и «варвары» — в рамках этой бинарной оппозиции вращается вся греческая мысль, начиная с V в. до н. э. Это достаточно известный факт<sup>81</sup>, и для нужд нашего исследования, пожалуй, следует лишь подчеркнуть специально вот какой нюанс. Сами понятия «эллин» и «варвар» возникли, разумеется, не в классическую эпоху, а значительно раньше<sup>82</sup>. Но именно Греко-персидские войны привели к тому, что эти два концепта оказались не просто отчленены друг от друга (как бывает при всяком нормальном процессе формирования этнического самосознания), а прочно встали в ситуацию тотального противопоставления<sup>83</sup>, на котором зиждилась историческая идентичность цивилизации<sup>84</sup>.

---

<sup>81</sup> См., в частности, о формировании этнического и цивилизационного самосознания греков и о роли Греко-персидских войн в этом процессе: *Georges P. Op. cit.*

<sup>82</sup> Если не во времена Гомера, то, во всяком случае, у писателей архаического периода. Появление концепта «варваров» во многом было обусловлено Великой греческой колонизацией, в ходе которых эллины неоднократно вступали в контакты с самыми различными чужими народами. Характерно, впрочем, что изначально термин «варвар» осмыслялся как принадлежащий к чисто языковой сфере. «Варвар» — буквально «бормочущий, невнятно говорящий», то есть не владеющий «нормальной» греческой речью (ср. обозначение древними славянами иноземцев как «немцев», то есть «немых»).

<sup>83</sup> Интересно, что как раз незадолго до описываемых событий, ближе к концу VI в. до н. э., в греческой философии (конкретно — в раннем пифагореизме) была детально разработана теория бинарных оппозиций («предел — беспредельное», «нечет — чет», «единство — множество»), «правое — левое», «мужское — женское», «прямое — кривое», «свет — тьма», «добро — зло» и т. д., см. *Трубецкой С. Н. Курс истории древней философии. М., 1997. С. 131 слл.*) Пары оппозиций выстроены в два ряда, четко соотносимых друг с другом, а, главное, не нейтральных, а имеют выраженный оценочно-этический характер. Как хорошо впоследствии вписалась в эту систему мышления пара «эллины — варвары»!

<sup>84</sup> Ср.: *Hall E. Op. cit.*

Ментальный дуализм, о котором идет речь, стал главным методологическим средством постижения мира и конструирования истории, с помощью которого она предельно упорядочивалась: пестрый хаос повседневной реальности, взятый в подобном ракурсе, легко и быстро выстраивался в гармоничный космос, как на природном, так и на социальном уровне. Рождалось оптимистическое ощущение<sup>85</sup>, согласно которому миропорядок мог быть понят, освоен разумом. Не случайно V в. до н. э. — время высшего расцвета античного греческого рационализма, период, когда «на волне побед» большее, чем раньше, распространение получили представления об историческом прогрессе, развитии от низшего, первобытного состояния к высшему, культурному<sup>86</sup> — представления, в целом для античной цивилизации не слишком характерные.

Геродот, живший и писавший в этом упорядоченном космосе, в котором всё «встало на свои места», именно поэтому мог позволить себе известные вольности, внести в свой труд упоминавшуюся выше пестроту и разноголосицу. Ведь прочный стержень дуального мировосприятия ничто в тот момент не могло поколебать. Победители могли позволить себе быть «открытыми» миру. Само четкое вычленение понятий «своего» и «чужого»<sup>87</sup> способствовало завязыванию диалога.

Еще одним важным событием периода, на который пришла деятельность Геродота, стало резкое возвышение Афин. Этот полис, до Греко-персидских войн остававшийся в числе ординарных, в ходе конфликта с державой Ахеменидов решительно

---

<sup>85</sup> Для предшествующей, архаической эпохи, напротив, скорее характерен пессимизм. Девизом для всего ее мировоззрения могут служить знаменитые строки Феогида (425 sqq.):

Лучшая доля для смертных — на свет никогда не родиться  
И никогда не видеть яркого солнца лучей.  
Если ж родился, войти поскорее в ворота Аида  
И глубоко под землей в темной могиле лежать.

<sup>86</sup> Подробнее см.: *Виц-Маргулес Б. Б.* Античные теории общественного развития и прогресса // Античный полис. СПб., 1995. С. 134-144 (впрочем, в этой работе реальная роль «прогрессистских» теорий в древнегреческой общественной мысли, как нам представляется, несколько преувеличена).

<sup>87</sup> Вплоть до рубежа VI-V вв. до н. э. греки не ощущали себя «чужими» по отношению к миру Востока. См.: *Purcell N.* Op. cit.

выдвинулся на первое место, занял со временем положение лидера сопротивления «варварскому» натиску, встал во главе крупнейшего в греческой истории военно-политического союза и превратился, в конце концов, в «культурную столицу» Эллады. Расцвела афинская демократия, которая явилась в целом ряде оттошений предельным воплощением потенций, заложенных в самом феномене античного полиса. Значительная часть V в. до н. э. прошла в Греции «под знаком Афин»: это — всем известный факт, вряд ли нуждающийся в аргументации. Происходили события огромного исторического значения; назревало ощущение колоссального прорыва, грядущих невиданных высот. Эти события оказали самое прямое влияние и на личную судьбу Геродота.

В историографии на протяжении десятилетий не прекращается дискуссия по вопросу о том, был ли великий галикарнасский историк сторонником или противником демократических Афин<sup>88</sup>. Выдвигались и обосновывались обе точки зрения. Касаясь этой проблемы необходимо отметить, что вопрос «Геродот и Афины» должен быть отделен от вопроса «Геродот и Перикл». Обычно эти два сюжета жестко увязывают друг с другом, что, на наш взгляд, не вполне правомерно. Действительно, нет категорических оснований однозначно считать Геродота горячим приверженцем Перикла, членом «культурного кружка», созданного этим афинским политическим деятелем<sup>89</sup>. Перикл упоминается в труде Геродота лишь один-единственный раз (VI. 131), причем в двусмысленном контексте<sup>90</sup>.

---

<sup>88</sup> См. из важнейшей литературы по вопросу: *Strasburger H.* Herodot und das perikleische Athen // *Historia*. 1955. Bd. 4. Ht. 1. S. 1-25; *Harvey F. D.* The Political Sympathies of Herodotus // *Historia*. 1966. Bd. 15. Ht. 2. S. 254-255; *Schwartz J.* Hérodote et Périclès // *Historia*. 1969. Bd. 18. Ht. 3. S. 367-370; *Develin R.* Herodotos and the Alkmeonids // *The Craft of the Ancient Historian*. Lanham, 1985. P. 125-139; *Ostwald M.* Herodotus and Athens // *Illinois Classical Studies*. 1991. Vol. 16. No. 1/2. P. 111-124; *Forsdyke S.* Op. cit.; *Moles J.* Op. cit.; *Fowler R.* Op. cit.

<sup>89</sup> Ср. скептические соображения по поводу традиции о пресловутом «кружке интеллектуалов», сплотившихся вокруг Перикла: *Stadter P.A.* Pericles among the Intellectuals // *Illinois Classical Studies*. 1991. Vol. 16. No. 1/2. P. 111-124; *Will W.* Thukydides... S. 313-316.

<sup>90</sup> *Will W.* Perikles. Reinbek, 1995. S. 23.

С другой стороны, говорить о враждебности Геродота к Афинам как таковым, афинскому полису, афинской демократии, на наш взгляд, нет никаких оснований. Историк неоднократно бывал в «городе Паллады» и подолгу жил там. Более того, в результате активной внешней политики Афин Геродот смог обрести себе «новую родину». Еще в молодости ему пришлось покинуть родной Галикарнасс после того, как он принял участие в неудачном заговоре против тирана Лигдамида. После этого он стал лицом без гражданства, не имевшим политических прав где бы то ни было. А в середине 440-х гг. до н. э., когда под эгидой Афин была основана в Южной Италии панэллинская колония Фурии, Геродот принял участие в этом мероприятии. Он переселился в Фурии, стал и до конца жизни продолжал оставаться их гражданином.

Итак, историческое сознание, отразившееся у Геродота, было типично для эпохи «великого проекта». Какая-то удивительная свобода и широта духа, целостность в сочетании с разнообразием проявлений отличала человеческие натуры этого времени. Сам Перикл, многолетний лидер афинского государства, мог, отложив все дела, целый день беседовать с философом Протагором о каком-нибудь чисто умозрительном вопросе (Plut. Pericl. 36).

Что же касается Фукидида (который был лишь одним поколением моложе Геродота), то он в своей молодости еще застал конец этой блестящей эпохи<sup>91</sup>. Более того, именно он дал самую полную и адекватную во всей античной историографии характеристику «великого проекта». Мы имеем в виду, разумеется, знаменитую «Надгробную речь Перикла» в труде Фукидида (II. 35-46)<sup>92</sup>, в которой дано лучшее из современных описаний классиче-

---

<sup>91</sup> Legon R. P. Thucydides and the Case for Contemporary History // Polis and Polemos: Essays on Politics, War and History in Ancient Greece in Honor of D. Kagan. Claremont, 1997. P. 3-22.

<sup>92</sup> Эта речь всегда оставалась предметом самого пристального внимания в современном антиковедении. Укажем несколько посвященных ей работ, относящихся к самому последнему времени: Bosworth A. B. The Historical Context of Thucydides' Funeral Oration // Journal of Hellenic Studies. 2000. Vol. 120. P. 1-16; Balot R. Pericles' Anatomy of Democratic Courage // American Journal of Philology. 2001. Vol. 122. P. 505-525; Winton R. Thucydides 2, 37, 1: Pericles on Athenian Democracy // Rheinisches Museum für Philologie. 2004. Bd. 147. Ht. 1. S. 26-34).

ской афинской демократии (конечно, скорее ее идеальных принципов, нежели повседневной реальной действительности) и в которой Афины названы «школой всей Эллады».

Но в целом на период жизни второго гиганта античной исторической науки пришлось как раз крушение «великого проекта». Мощнейшим катализатором этого процесса стала, бесспорно, Пелопоннесская война. Эта война — самый крупный и продолжительный вооруженный конфликт внутри самого греческого мира, помимо прочего, имевший все черты настоящей «тотальной войны», ведшийся с чрезвычайным ожесточением, — поставила на повестку дня новые проблемы. В частности, имевший столь большое значение в труде Геродота топоним «эллины — варвары», для Фукидида оказывался уже практически irrelevantным. Какие уж тут «варвары», когда сами эллины, борясь друг с другом, презрели все когда-то незыблемые нормы...

В Пелопоннесской войне не было победителя. Она положила начало общему кризису греческого полисного мира в целом, в том числе и в идейном плане<sup>93</sup>. Но особенно тяжело она ударила по Афинам. «Город Паллады» пережил сокрушительное поражение, капитулировав перед спартанцами. Демократия дважды (в 411 и 404 гг. до н. э.) свергалась в результате государственных переворотов<sup>94</sup>, а после своего восстановления уже не достигла прежних высот<sup>95</sup>. Рухнул союз полисов, возглавлявшийся Афи-

---

<sup>93</sup> О роли Пелопоннесской войны в нарастании кризисных явлений в Греции (с особым акцентом на ее последствия для Афин) см.: *Lévy E. Athènes devant la défit de 404: Histoire d'une crise ideologique.* P., 1976; *Strauss B. S. Athens after the Peloponnesian War.* Croom Helm, 1986; *Bleckmann B. Athens Weg in die Niederlage: Die letzten Jahre des Peloponnesischen Kriegs.* Lpz., 1998; *Фролов Э. Д. Огни Диоскуров: Античные теории переустройства общества и государства.* Л., 1984. С. 11 слл.; *Суриков И. Е. Эволюция религиозного сознания...*

<sup>94</sup> *Krentz P. The Thirty at Athens.* Ithaca, 1982; *Lehmann G. A. Oligarchische Herrschaft im klassischen Athen: Zu den Krisen und Katastrophen der attischen Demokratie im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr.* Opladen, 1997; *Hefner H. der oligarchische Umsturz des Jahres 411 v. Chr. und die Herrschaft der Vierhundert in Athen: Quellenkritische und historische Untersuchungen.* Frankfurt a. M., 2001.

<sup>95</sup> Это наше принципиальное убеждение, идущее вразрез со все более популярным в современной западной науке мнением, согласно которому IV в. до н.э. был чуть ли не временем наибольшего развития и совершенства афинской демократии.

нами, а с ним — и претензии этих последних на гегемонию в Элладе.

Война и лично для Фукидида стала временем тяжелых испытаний. В ее начале он оказался одной из жертв обрушившейся на Аттику эпидемии, но, к счастью, выжил. А затем, в 424 г. до н. э., в ходе своего единственного полководческого опыта, будущий историк, командуя в качестве стратега эскадрой афинских кораблей, неудачно провел операцию у северного побережья Эгейского моря. За это на родине он был приговорен к пожизненному изгнанию и много лет провел в чужих краях. Если Геродот, как мы видели, в результате политики Афин обрел полис, то Фукидид потерял свой полис (и здесь контраст!). Возвратиться с чужбины историк смог лишь по окончании Пелопоннесской войны, скорее всего, в результате амнистии, проведенной в 403 г. до н. э.<sup>96</sup> Впрочем, дело, повторим, даже не в персональной судьбе Фукидида, а в кардинальной смене общего духовного климата.

Стройный космос, возникший в ходе Греко-персидских войн, за считанные годы развалился, превратился в хаос. Мир стремительно утрачивал смысл. К сложившейся тогда ситуации удивительно точно подходят сделанные на другом материале наблюдения Й. Рюзена о «катастрофическом» кризисе исторического сознания. Прочитируем слова немецкого исследователя *in extenso*<sup>97</sup>. Кризис такого рода «разрушает способность исторического сознания превращать последовательность событий в осмысленное и значимое повествование. В этом случае под сомнение ставятся сами принципы образования смысла, благодаря которым историческое повествование приобретает последовательность. Они должны быть вынесены за пределы культуры или даже быть признаны бесполезными. Поэтому такому кризису трудно найти место в памяти тех, кто вынужден страдать от него. Когда он возникает, язык исторического смысла немеет. Кризис становится травмирующим. Требуется время (иногда даже поколения), чтобы найти слова, которые могут выразить его».

---

<sup>96</sup> Об этой амнистии см.: *Natalicchio A.* «Μή μνησικακέϊν»: Γ' amnistia // *I Greci: Storia, cultura, arte, società*. Vol. 2. II. Torino, 1997. P. 1305-1322; *Carawan E.* The Athenian Amnesty and the 'Scrutiny of the Laws' // *Journal of Hellenic Studies*. 2002. Vol. 122. P. 1-23.

<sup>97</sup> *Рюзен Й.* Кризис, травма и идентичность // «Цепь времен»... С. 42.

В Афинах, правда, осмысление новой реальности пришло довольно быстро — прежде всего, именно благодаря гению Фукидида, его могучему интеллекту, которому оказалось под силу сразу выработать новый тип исторического сознания, ставший столь необходимым. В условиях потери старых «смыслов» приходилось форсированно искать и создавать новые, конструируя их буквально на руинах и обломках. И тут уже никак нельзя было сохранить геродотовскую открытость и широту тем и взглядов. Напротив, если в эпоху «космоса» историк мог позволить себе быть несколько «хаотичным», то в эпоху «хаоса» исторический труд должен был стать максимально «космичным», строго-упорядоченным (пусть даже до концептуальной узости) и закрытым в структурном плане. Разумный миропорядок, утраченный на уровне реальной жизни, требовалось восстановить хотя бы на уровне нарратива.

Геродот писал для «поколения победителей», осознавшего свою силу; первой читательской аудиторией Фукидида было «поколение побежденных», «потерянное» поколение послевоенных лет<sup>98</sup>, ощущавшее только собственную слабость, растерянность и потерю всяческих ориентиров. Эти ориентиры и восстанавливает историк, соответствующим образом расставляя акценты и давая ответы на ключевые вопросы (подчас в противоречие с реальными фактами). Война была неизбежной, во всяком случае, не афиняне развязали ее, и поэтому в данном отношении им не в чем винить себя. Афины не были обречены на поражение, они могли бы победить, если бы у руля государства по-прежнему стояло «поколение отцов», представленное в первую очередь Периклом: так пусть же его деятельность служит потомкам уроком и идеалом. Таковы основные элементы исторического мировоззрения Фукидида.

Геродот в четко структурированном ментальном космосе своего времени мог совершать увлекательные «путешествия духа» без всякой опаски заблудиться. В погрузившемся в хаос мире

---

<sup>98</sup> Ср.: *Will W. Thukydides...* S. 230. Релевантными в данной связи представляются интересные размышления Милорада Павича о чередовании «сильных» и «слабых» поколений, «киновитов» и «идиоритмиков». См.: *Павич М. Ящик для письменных принадлежностей*. СПб., 2001. С. 173-193.



Фукидида такая опасность была вполне реальной, и историк, никуда не отклоняясь, строго следует вехам своих базовых принципов, дабы поддержать поколебленную идентичность. Подчеркнем еще раз: когда мы говорим «Геродот» и «Фукидид», это следует понимать в смысле поколения Геродота и поколения Фукидида, столь близких друг к другу, но в то же время разделенных непреодолимой чертой.

В дальнейшем, в IV в. до н. э. и в эллинистическую эпоху, в греческой исторической мысли восторжествовала скорее не «фукидидовская», а «геродотовская» линия<sup>99</sup>. Не Фукидид с его утрированным рационализмом стал «путеводным маяком» для новых поколений историков. Фукидида почитали, но его методу работы не следовали. Крайне немногочисленные исключения (важнейшим из них следует назвать Полибия с его «прагматической историей») способны лишь подтвердить общее правило.

И все же, если мы скажем, что Эфор, Феопомп или Ктесий Книдский явились в полной мере прямыми «наследниками» Геродота, это будет не совсем верно. Безвозвратно исчезло что-то неуловимое, что прочно ассоциируется у нас именно с Геродотом. Ушел тот самый горячий, искренний, открытый миру оптимизм. На смену ему пришел холодноватый, порой несколько искусственный пафос риторической историографии; появились ностальгические нотки. Прошлое по-прежнему осознавалось сквозь призму настоящего, в тесной связи с ним; но характер этой связи значительно изменился, он уже больше не отвечал «эпическим» критериям. Гармоничный космос «Периклова века», заслоненный полосой хаоса, так и остался «потерянным раем», недостижимым образцом для подражания. «Мир Геродота» прошел через суровое чистилище Фукидида.

---

<sup>99</sup> *Seidensticker B. Dichtung und Gesellschaft im 4. Jahrhundert v.Chr.: Versuch eines Überblicks // Die athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v.Chr. Stuttgart, 1995. S. 181; Суриков И. Е. Лунный лик Клио... С. 231 слл.*

## ГЛАВА 15

# ЛЕГЕНДЫ ПРОШЛОГО

## ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЗАПАДНОЙ ТРАДИЦИИ

*«...Троя принадлежала нашим предкам, а те из них, кто уцелел, они пришли оттуда и поселились в той стране, откуда пришли мы; и так как Троя принадлежала нашим предкам, то мы поэтому и прибыли сюда, чтобы завоевать землю».*

Робер де Клари,  
«Завоевание Константинополя»<sup>1</sup>.

Память о гибели древней Трои, унаследованная от периода Античности, никогда не исчезала из исторического сознания сколь-либо образованной части средневекового общества. Подобно римлянам, многие знатные династии и даже целые народы претендовали в Средние века на родство с троянцами. Рассказы о заселении выходцами из Трои тех или иных территорий вне Малой Азии и троянском происхождении новых хозяев Запада включаются в тексты исторических трудов примерно с VII в.<sup>2</sup>, постепенно превращаются в своеобразный историографический топоним (к XII–XIII вв.) и очень долго (вплоть до XVI–XVII вв.) используются для обоснования претензий отдельных аристократических родов, «конструирования» национальной идентичности и т. д.

---

<sup>1</sup> Робер де Клари. Завоевание Константинополя / Пер. М. А. Заборова. М., 1986. С. 75.

<sup>2</sup> Самыми ранними из дошедших до нас принято считать сведения «Хроники» пс.-Фредегара и анонимной «Книги истории франков» — см. Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Merovingicarum. Т. II / Ed. В. Krusch. Hannover, 1888. P. 93, 242-243. Соответствующие фрагменты этих произведений недавно опубликованы на русском языке: Хроники длинно-волосых королей / Сост. Н. Горелов. СПб., 2004. С. 26-27, 30-32.

Роль мифа о «тройанских истоках» в истории Запада неоднократно обсуждалась специалистами<sup>3</sup>, что избавляет от необходимости подробно останавливаться на его многочисленных манифестациях<sup>4</sup> или заново определять причины его успеха. Стоит лишь отметить, что в течение какого-то времени он сосуществовал с иными версиями возникновения западных народов<sup>5</sup> и, разумеется, мог отчасти переплетаться с ними. В контексте средневековой культуры сведения о тройанском происхождении позволяли не только соперничать со славой и могуществом великого Рима, но и оправдывать свое «возвращение» на Восток в ходе крестовых походов, а также противопоставлять себя наследникам вероломных разрушителей Трои — византийцам. Интересно, что сходными мотивами принято было объяснять и деятельность других противников греческого мира: турки-османы в XV столетии выделялись некоторым средневековым писателям потомками тройанских героев<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> См., напр.: *Beaune C.* Naissance de la nation France. Paris, 1985; *Federico S.* New Troy: Fantasies of Empire in the Late Middle Ages. Minneapolis – L., 2003; *Hoppenbrouwers P.* Such Stuff as Peoples are Made on: Ethnogenesis and the Construction of Nationhood in Medieval Europe // *The Medieval History Journal*. 2006. Vol. 9. № 2. P. 195-242; *Huppert G.* The Trojan Franks and their Critics // *Studies in the Renaissance*. 1965. Vol. 12. P. 227-241; *Cohen P.* La Tour de Babel, le sac de Troie et la recherche des origines des langues: Philologie, histoire et illustration des langues vernaculaires en France et en Angleterre aux XVI<sup>e</sup>–XVII<sup>e</sup> siècles // *Etudes Epistémè*. 2005. № 7. P. 31-53; *Эльфонд И. Я.* Раннесредневековые основы политической мифологии во французской культуре XVI в. // Миф в культуре Возрождения / Отв. ред. Л. М. Брагина. М., 2003. С. 239-252; *Калмыкова Е. В.* Мифы о Бруте и о древнейшем заселении Британии в английской исторической мысли XV–XVI вв. // Там же. С. 285-293.

<sup>4</sup> Их краткий обзор см. в статье: *Poucet J.* Le mythe de l'origine troyenne au Moyen âge et à la Renaissance: un exemple d'idéologie politique // *Folia Electronica Classica*. Num. 5 — janvier-juin 2003 (<http://bcs.fltr.ucl.ac.be/FE/05/anthenor2.html>) [февраль, 2008].

<sup>5</sup> См., напр.: *Matthews W.* The Egyptians in Scotland: The Political History of a Myth // *Viator*. 1970. Vol. 1. P. 289-306; *Innes M.* Teutons or Trojans? The Carolingians and the Germanic past // *The Uses of the Past in the Early Middle Ages* / Ed. by Y. Hen and M. Innes. Cambridge, 2004. P. 227-249; *Harris S. J.* Race and Ethnicity in Anglo-Saxon Literature. N. Y. – L., 2003. P. 131-156 (Chapter 5 — “Woden and Troy”).

<sup>6</sup> *Spencer T.* Turks and Trojans in the Renaissance // *The Modern Language Review*. Vol. 47. № 3. P. 330-333.

Возводя свое происхождение к уцелевшим троянцам, средневековый Запад был обречен определять при помощи аллюзий на легендарные события, связанные с падением Трои, и значение ряда внутренних политических конфликтов. Впрочем, интерес к Троянской войне не исчерпывался сферой политической мифологии. В период высокого и позднего Средневековья данная тема порождает немалое количество произведений искусства, — начиная с миниатюрных резных жетонов для настольных игр и заканчивая гобеленами, украшавшими внутренние покои дворцов и замков<sup>7</sup>. Писатели зачастую уподобляли троянским и греческим героям своих знатных покровителей, при дворах которых порой разыгрывались дорогостоящие представления, посвященные осаде легендарного города древности<sup>8</sup>. В целом, судьба Трои пользовалась повышенным вниманием.

В данной связи довольно важен вопрос о тех книгах, с помощью которых средневековая публика могла составить более-менее подробное представление о событиях *самой Троянской войны* и ее героях. Появление и широкое распространение таких произведений логичным образом вытекало из увлечения Запада своими «троянскими корнями», но не ограничивалось лишь стремлением удовлетворить генеалогические запросы недостаточно образованной и амбициозной аудитории. Оно всегда было частью более сложного диалога с культурным наследием Античности.

Предпринимая ниже обзор наиболее известных и значимых — в плане трансформации традиционной античной картины Троянской войны — средневековых текстов о падении Трои, которым посвящено большое количество специальных трудов<sup>9</sup>, мы

---

<sup>7</sup> Общие сведения по иконографии Троянской войны в Средние века см. в книге: *Scherer M. R. The Legends of Troy in Art and Literature*. N. Y. – L., 1963. См. также: *Mann V. B. Mythological Subjects on Northern French Tablemen // Gesta*. 1981. Vol. 20. № 1. P. 161-171; *McKendrick S. The Great History of Troy: a Reassessment of the Development of a Secular Theme in Late Medieval Art // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes*. 1991. Vol. 54. P. 43-82.

<sup>8</sup> См., например: *Loomis L. H. Secular Dramatics in the Royal Palace, Paris, 1378, 1389, and Chaucer's "Tregetoures" // Speculum*. 1958. Vol. 33. № 2. P. 242-255.

<sup>9</sup> Укажем на наиболее важные из этих работ: *Dunger H. Die Sage vom Trojanischen Kriege in den Bearbeitungen des Mittelalters und ihre antiken Quel-*

не рассчитываем ни на его исчерпывающий характер (целый ряд сочинений недоступен автору), ни, тем более, на обращение к культуре Средневековья *sub specie memoriae de bello Troiano*. Основной целью данной публикации представляется отход от понимания совокупности средневековых легенд о Троянской войне в качестве некоей единой 'Книги Трои' и дополнительный акцент на разнообразии причислявшихся к ней писателями Средних веков (и иными сведущими людьми) рассказов. Содержание этих рассказов, даже восходя, по большей части, к весьма ограниченному кругу источников, не согласуется сегодня с чересчур обобщенными их оценками, сколь неизбежными последние бы ни оказывались, в том числе, и в рамках настоящего очерка.

## I

Сложности с изучением и преподаванием греческого языка, наметившиеся на западе Европы еще в период поздней Античности, существенно ограничили круг древних сочинений, известных средневековой западной аудитории, и незнание оригинальных текстов гомеровских поэм (не говоря уже о прочих древнегреческих авторах) — вполне традиционный упрек в ее адрес. Хотя историки литературы порою указывали на отдельных писателей вроде Моисея из Бергамо, возможно, читавших «подлинного»

---

len. Halle, 1874; *Greif W.* Die mittelalterlichen Bearbeitungen der Trojanersage. Marburg, 1886; *Gorra E.* Testi inediti di storia trojana, preceduti da uno studio sulla leggenda trojana in Italia. Torino, 1887; *Morf H.* Notes pour servir a l'histoire de la légende de Troie en Italie et en Espagne // Romania. 1892. Vol. 21. P. 18-38; *Idem.* Notes pour servir a l'histoire de la légende de Troie en Italie // Romania. 1895. Vol. 24. P. 174-196; *Rey A., Solalinde A. G.* Ensayo de una bibliografía de las leyendas troyanas en la literatura Espanola. Bloomington, 1942; *Schneider K.* Der "Trojanische Krieg" im späten Mittelalter: deutsche Trojaromane des 15. Jahrhunderts. Berlin, 1968; *Carlesso G.* La fortuna della "Historia destructionis Troiae" di Guido delle Colonne e un volgarizzamento finora ignoto // Giornale Storico della Letteratura Italiana. 1980. Vol. 157. Fasc. 498. P. 230-251; *Benson C. D.* The History of Troy in Middle English Literature. Woodbridge, 1980; *Jung M.-R.* La légende de Troie en France au Moyen âge. Basel, Tübingen, 1996. Среди работ на русском языке можно отметить небольшой очерк М. Е. Грабарь-Пассек в кн.: *Грабарь-Пассек М. Е.* Античные сюжеты и формы в западноевропейской литературе. М., 1966. С. 198-212.

Гомера, знакомство с его поэзией в целом начинается на Западе лишь в эпоху Ренессанса<sup>10</sup>.

Незнание греческих текстов Гомера, конечно же, не означало забвения его славного имени: Гомер сохранил статус величайшего поэта древности, и довольно частые упоминания о нем в литературе средневекового Запада иногда способны сбить с толку неискушенного читателя. Судить о примерном содержании гомеровской «Илиады» средневековая публика могла, опираясь, главным образом, на ее сокращенный латинский парафраз (“*Ilias Latina*”, “*Epitome Iliados Homeri*” etc.), выполненный в I в. н.э. неизвестным автором<sup>11</sup> и пользовавшийся относительной известностью, по крайней мере, в Италии. О бытовании в средневековой западной традиции развернутых пересказов «Одиссеи» мы ничего не знаем: скорее всего, их попросту не существовало<sup>12</sup>.

Среди прославленных римских поэтов, в трудах которых, наряду с “*Ilias Latina*”, знавшие латынь средневековые читатели могли почерпнуть ряд сведений о Троянской войне, стоит назвать Вергилия, Овидия и Стация: их сочинения пользовались повсеместной известностью и сами по себе породили в Средние века обширный пласт литературы. В той или иной мере связанные с троянской темой тексты этих авторов поспособствовали усвоению на Западе основной канвы и знакомству с главными героями легендарных событий. Если «Энеида» оставалась наиболее распространенным и ярким из поэтических рассказов о гибели Трои и судьбе уцелевших троянцев, то «Метаморфозы» Овидия для интересующихся обозначенной тематикой могли служить своеобраз-

---

<sup>10</sup> По поводу ренессансных переводов и переложений гомеровских поэм см.: *Kendrick R. Ancient Epics, Renaissance Translations. PhD Diss. University of Chicago, 2005; Ford Ph. Homer in the French Renaissance // Renaissance Quarterly. 2006. Vol. 59. № 1. P. 1-28.*

<sup>11</sup> Исходя из двух акrostихов в начале и конце поэмы (их первые буквы образуют слова «ITALICUS» и «SCRIPSI»), ее часто приписывают Бебию Италику, см.: *Vaebii Italici Ilias latina / Ed. a cura di M. Scaffai. Bologna, 1982.*

<sup>12</sup> Единственный известный нам средневековый западный текст, целиком посвященный Одиссею, — это ирландская сага “*Merugud Uilixis meic Laertes*” («Странствия Улисса, сына Лаэрта»), которая была написана около 1200 г., но не содержит следов знакомства с греческой традицией — см.: *Hillers B. L. The Medieval Irish Odyssey — Merugud Uilixis meic Laertes. PhD Diss. Harvard University, 1997.*

разным справочником по мифологии, «Героиды» же проливали свет на некоторые «частные» эпизоды троянского прошлого. Менее важную роль, по всей видимости, играла незаконченная «Ахиллеида» Стация<sup>13</sup>. Естественно, следует учитывать тот факт, что сведения латинских поэтов отчасти дополнялись всевозможными комментариями и данными мифографической традиции.

Вполне возможно, что на протяжении Средневековья были в ходу относительно краткие прозаические пересказы того комплекса троянских преданий в целом, которым располагала образованная часть римского общества в первые столетия новой эры. Примером такого рода произведений служит анонимное «Разрушение Трои» (“*Excidium Troiae*”), составленное в период поздней Античности или раннего Средневековья и содержавшее классическую версию всего мифа, начиная с замужества Фетиды и заканчивая основанием нового царства троянцев в Италии<sup>14</sup>. Хотя данный текст сохранился в малом количестве рукописей, он, скорее всего, использовался при составлении ряда средневековых сочинений Троянского цикла<sup>15</sup>.

Подлинная специфика средневековых представлений о Троянской войне, однако, заключается в том, что существенное влияние на них оказали две небольшие книги, созданные в позднеантичное время неизвестными авторами, но приписанные легендарным участникам троянской войны — ‘Диктису Критскому’ и ‘Дарету Фригийскому’. Средневековье восприняло их как подлинные свидетельства.

---

<sup>13</sup> Исследование и публикация ряда рукописных *accessus* к «Фиваиде» и «Ахиллеиде» Стация осуществлены Х. Дж. Андерсоном: *Anderson H. J. Medieval ‘Accessus’ to Statius. PhD Diss. Ohio State University, 1997.*

<sup>14</sup> *Excidium Troiae* / Ed. by E. B. Atwood and V. K. Whitaker. Cambridge (Mass.), 1944. См. также: *Atwood E. B. The Rawlinson Excidium Troiae — A Study of Source Problems in Mediaeval Troy Literature // Speculum. 1934. Vol. 9. № 4. P. 379-404.*

<sup>15</sup> См.: *Ibid.* P. 380-387. “*Excidium Troiae*”, вероятно, повлияло на содержание анонимной среднеанглийской поэмы “*Seege or Batayle of Troye*” (*The Seege or Batayle of Troye: A Middle English Metrical Romance* / Ed. by M. E. Barnicle. L., 1927) и средневерхнемецкой поэмы Конрада фон Вюрцбурга «Троянская война» (*Konrad von Würzburg, Der Trojanische Krieg* / Hrsg. von A. von Keller. Stuttgart, 1858).

Латинский перевод греческого текста «Дневника Троянской войны» (*Ephemeris Belli Troiani*) ‘Диктиса Критского’<sup>16</sup> появился, вероятно, в III или IV в. н. э. Этому переводу предшествует письмо некоего Луция Септимия, адресованное Квинту Арадию Руфину, в котором рассказывается о судьбе оригинала: изначально записанный при помощи финикийского алфавита, он якобы был обнаружен на Крите во времена правления Нерона и по приказу последнего переписан по-гречески. Сходным образом объясняется происхождение греческого текста «Дневника» в прологе к нему<sup>17</sup>. Хотя все эти сведения крайне сомнительны, появление «Дневника» на греческом языке иногда датируют именно 60-ми гг. I в. н. э., т. е. временем Нерона, о котором говорится и в письме, и в прологе. Довольно долго существование греческого оригинала считалось сомнительным, но на рубеже XIX–XX вв. в Египте был обнаружен папирус, относящийся приблизительно к 200 г. н. э. и содержащий отрывки текста на греческом, которые соответствуют нескольким главам из латинского перевода<sup>18</sup>. Кем был переводчик «Дневника» на латинский язык Луций Септимий установить трудно.

«История о разрушении Трои», написанная якобы троянцем ‘Даретом Фригийским’, сохранилась только в латинском варианте<sup>19</sup>. Существование греческого оригинала «Истории» ‘Дарета’ считается возможным, хотя и оспаривалось рядом ученых. Его иногда датируют I–II вв. н. э.<sup>20</sup>. Латинский перевод «Истории» фи-

<sup>16</sup> *Dictys Cretensis. Ephemeridos belli Troiani* / Hrsg. von W. Eisenhut. Leipzig, 1973. Выполненный В. Н. Ярхо перевод «Дневника» “Диктиса Критского” опубликован в журнале «Вестник древней истории» (далее — ВДИ) за 2002 — №№ 1 (с. 239-251), 2 (с. 236-250), 3 (с. 244-251), 4 (с. 239-246) — и 2003 (№ 4, с. 247-262) годы.

<sup>17</sup> *Диктис Критский*. Дневник Троянской войны // ВДИ. 2002. № 1. С. 243-244.

<sup>18</sup> *Griffin N. E. The Greek Dictys* // *The American Journal of Philology*. 1908. Vol. 29. № 3. P. 329-335.

<sup>19</sup> *Дарет Фригийский*. История о разрушении Трои / Подгот. А. В. Захарова. СПб., 1997. Здесь же опубликован латинский текст «Истории» по изданию Ф. Майстера — *Daretis Phrygii De excidio Troiae historia* / Hrsg. von F. Meister. Leipzig, 1873.

<sup>20</sup> См.: *Захарова А. В.* Об истории книги // *Дарет Фригийский*. История о разрушении Трои. С. 21-25.



лологи XIX века Г. Дюнгер, А. Жоли и издатель 'Дарета' Ф. Майстер относили к VI в. н.э.<sup>21</sup>. Некоторые современные исследователи полагают, что латинский текст 'Дарета' появился в начале V в. н.э.<sup>22</sup>. Очевидной мистификацией является предпосланное основному тексту «Истории» письмо, в котором якобы переведший ее с греческого языка Корнелий Непот обращается к другому знаменитому историку древности — Саллюстию: «Среди многих прочих любопытных вещей я обнаружил в Афинах историю Дарета Фригийского, написанную, как указывает надпись на рукописи, его собственной рукой; в этой повести он изложил дела греков и троянцев. Восхищенный, я тотчас перевел ее...»<sup>23</sup>. Кто в действительности составил латинский текст «Истории» — неизвестно.

С точки зрения сюжета и «Дневник», и «Историю» относят к разряду произведений, рассказывающих о событиях Троянской войны от имени ее участников и поэтому иногда так и называющихся — *тρωικά*. В плане соотношения с гомеровской традицией, оба текста можно рассматривать в качестве *Schwindelliteratur* (определение немецкого филолога Ф. Якоби) — т. е. «литературы фальсификаций»<sup>24</sup>. Писавшие в этом жанре — как правило, на троянскую тему — стремились, пересмотрев содержащиеся в поэмах Гомера сведения, сделать свой рассказ о Троянской войне более увлекательным и придать ему налет большего правдоподобия, приписав авторство кому-нибудь из участников событий.

Количество изменений, привнесенных авторами «Дневника» 'Диктиса' и «Истории» 'Дарета' в традиционную картину Троянской войны (восходящую к «Илиаде» и «Одиссее» Гомера, к так называемым «киклическим» поэмам, дополненную произведениями афинских трагиков, сведениями мифографов и др.), довольно

---

<sup>21</sup> Там же. См. также: *Meister F. Praefatio // Daretis Phrigii De excidio Troiae historia*. P. XVI-XVII.

<sup>22</sup> Так поступает, например, В. Шеттер — см.: *Schetter W. Dares und Dracontius. Über die vorgeschichte des Trojanischen Krieges // Hermes*. 1987. Bd. 115. № 2. S. 211-231; *Idem. Beobachtungen zum Dares Latinus // Hermes*. 1988. Bd. 116. № 1. S. 94-109.

<sup>23</sup> Перевод А. В. Захаровой, см.: *Дарет Фригийский*. История. С. 120.

<sup>24</sup> См.: *Торшилов Д. О. Античная мифография: мифы и единство действия*. СПб., 1999. С. 120.

велико, и их подробное перечисление вряд ли уместно. Отметим, что помимо переделки привычных сюжетных линий (в этом отношении, очевидно, более радикален автор «Истории»<sup>25</sup>) и утраты ряда важных повествовательных деталей, сочинения ‘Диктиса’ и ‘Дарета’ отличает некий общий налет рационализма, главным выражением которого можно считать почти полное устранение сведений о вмешательстве в ход событий языческих богов.

Другой характерной чертой рассматриваемых текстов, несомненно, являются скудость языковых средств и подобающий эпохе их составления отход от норм классической латыни. Трудно сказать, насколько значимым было данное обстоятельство для средневековой аудитории, к которой, разумеется, могли изредка принадлежать и более-менее начитанные люди. Вполне вероятно, что грамматические изъяны и стилистическая «бесхитрость» псевдо-дневниковых записей ‘Дарета’ и ‘Диктиса’ иногда воспринимались в качестве дополнительного подтверждения их «древности» и «правдивости». Основным же фактором успеха данных произведений в Средние века был статус очевидцев событий, некогда приписанный их авторам.

Наибольшей популярностью в период Средневековья пользовалась «История» ‘Дарета Фригийского’, латинский текст которой сохранился в десятках манускриптов<sup>26</sup>. Сам ‘Дарет’, чье имя ассоциировалось с авторитетом Корнелия Непота и Саллюстия, уже в раннесредневековое время удостоился звания первого историка после Моисея и предшественника Геродота<sup>27</sup> — данная репутация преследовала его вплоть до эпохи Возрождения. «Дневник» ‘Диктиса Критского’, судя по количеству дошедших до нашего времени рукописей<sup>28</sup>, был менее известен: повлияли ли на его восприятие симпатии западной публики к троянскому лагерю или же многочисленные несовпадения с версией ‘Дарета’, сказать трудно.

<sup>25</sup> Анализ основных отклонений от традиционной версии у ‘Дарета’ см. в работе: *Захарова А. В.* Об истории книги // *Дарет Фригийский. История о разрушении Трои.* С. 25-52.

<sup>26</sup> См.: *Jung.* Op. cit. P. 332.

<sup>27</sup> Так писал о нем Исидор Севильский — см.: *Этимологии I*, 42.

<sup>28</sup> Их около тридцати — см.: *Eisenhut W.* Praefatio // *Dictys Cretensis. Ephemeridos belli Troiani.* P. XI-XL.

Самые ранние из сохранившихся манускриптов ‘Диктиса’ и ‘Дарета’ датируются IX веком, но «История о разрушении Трои» пользовалась относительной известностью и прежде. Приблизительно в середине VII – начале VIII в. анонимный автор составил (причем, скорее всего, по памяти) собственный пересказ «Истории» ‘Дарета’, включенный затем в ряде кодексов во вторую книгу «Хроники» псевдо-Фредегара, где содержались, как уже было отмечено, сведения о троянском происхождении франков<sup>29</sup>. Данная адаптация — “*Historia Daretis Phrygii de origine Francorum*” — интересна целым рядом деталей, которые отсутствовали в традиционной версии «Истории» и даже позволили поставить вопрос о существовании более пространного сочинения ‘Дарета Фригийского’<sup>30</sup>. Ее автор, очевидно, не питал иллюзий по поводу знания потенциальными читателями древней истории и мифологии: он, в частности, специально оговаривает тот факт, что предательски убивший Ахилла троянец Александр (т. е. Парис) не тождественен Александру Македонскому (“*qui postea ortus fuit*”)<sup>31</sup>.

Сам раннесредневековый писатель, правда, искажает имена античных героев (Неоптолем превращается у него в Триптолема, Лаомедонт — в Лаодемона) и путается даже в наиболее известных деталях легенды: место Менелая, супруга Елены и брата Агамемнона, в его рассказе занимает Мемнон (вероятно, из-за созвучия с именем микенского царя)<sup>32</sup>, Улисс (*Olixis*) становится приближенным троянского царя Приама и вместе с Энеем предаст Трои<sup>33</sup> и т. д. Особый интерес представляет пояснение по поводу жертвоприношения Юпитеру, для которого различные греческие цари якобы съезжаются в «главный город Македонии»: эта языческая традиция неожиданно уподобляется «обычаю иудеев» (“*sicut Judaeis mos erat Deo sacrificare in Hierosolima*”)<sup>34</sup>.

---

<sup>29</sup> См.: *Paris G. Historia Daretis Frigii de origine Francorum // Romania*. 1874. Т. 3. P. 129-144. Латинский текст также опубликован в качестве приложения к критическому изданию «Хроники» псевдо-Фредегара во втором томе “*Scriptores rerum Merovingicarum*” серии “*Monumenta Germaniae Historica*” (P. 194-200).

<sup>30</sup> *Paris G. Op. cit.* P. 131-135.

<sup>31</sup> *Ibid.* P. 142.

<sup>32</sup> *Ibid.* P. 139 et ss.

<sup>33</sup> *Ibid.* P. 142.

<sup>34</sup> *Ibid.* P. 139.

Сведений о каких-либо похожих латинских адаптациях «Истории о разрушении Трои» в IX и X вв. у нас нет, хотя последними годами первого тысячелетия датируют иногда ирландское переложение книги ‘Дарета’, которое известно под названием “Togail Troí” («Разрушение Трои») и, по-видимому, было составлено все-таки несколько позднее<sup>35</sup>. Подлинный расцвет интереса к ‘Дарету Фригийскому’ (а равно и к троянскому материалу в целом) на Западе начинается примерно с середины XII столетия, когда, вероятно, был создан анонимный гекзаметрический парафраз «Истории» объемом более девятисот стихов<sup>36</sup>. В 1150-е годы, предположительно, была написана и небольшая (около 500 элегических дистихов в самой пространной редакции) поэма о Троянской войне и странствиях Энея, автором которой являлся Симон по прозвищу Аугея Сарга<sup>37</sup>, и которая была весьма популярна в средневековой Европе (ее полный текст дошел до нас в составе 22-х манускриптов). Данное сочинение, возможно, содержит следы знакомства с ‘Даретом’, однако, основывается, главным образом, на сообщениях латинских поэтов и мифографической традиции. К произведению Симона примыкает совсем краткая (всего 62 дистиха) поэма Петра Санктонского, составленная *versu leonino* и бегло, но довольно эмоционально повествующая о связанных с Троянской войной событиях, начиная с суда Париса и заканчивая подвигами Энея в Италии<sup>38</sup>. Своеобразно преломляющийся здесь мотив

---

<sup>35</sup> Myrick L. D. From the ‘De Excidio Troiae Historia’ to the ‘Togail Troí’. Heidelberg, 1993.

<sup>36</sup> Stohlmann J. Anonymi Historia Troyana Daretis Frigii (Untersuchungen und kritische Ausgabe). Düsseldorf, 1968.

<sup>37</sup> Нам, к сожалению, недоступны критические издания текста поэмы, опубликованные в работах: Parrott M. M. The "Ylias" of Simon Aurea Capra: a Critical Edition. PhD Diss. University of Toronto, 1978; Peyrard S. L'Ilias de Simon Chèvre d'Or. Édition critique et commentaire. La thèse pour le diplôme d'archiviste paléographe. L'École nationale des chartes, 2007. Первая часть поэмы публиковалась также у Миня — см.: Patrologiae cursus completus. Series Latina. Vol. 171. Col. 1447-1451. О Симоне см.: Manitius M. Geschichte der lateinischen literatur des Mittelalters. Bd. 3: Vom Ausbruch des Kirchenstreites bis zum ende des zwölften Jahrhunderts. München, 1931. S. 646-647.

<sup>38</sup> См.: Patrologiae cursus completus. Series Latina. Vol. 171. Col. 1451-1453; Manitius. Op. cit. S. 647.

feminae fatalis (“digna perire mari potius, flammisque cremari”) роднит опус Петра с очень известным «Плачем о гибели Трои» (“Pergama flere volo”), который мог быть написан в XI или XII в.<sup>39</sup> и впоследствии с незначительными изменениями включен в “Carmina Burana”. В средневековых рукописных кодексах стихотворный «Плач» порою выполнял роль пролога или эпилога к более солидным текстам о Троянской войне.

## II

Помимо относительно небольших (и, по всей видимости, не выходящих за рамки тривиальных упражнений в латинском стихосложении) работ, посвященных гибели Трои, в XII столетии создаются две пространные и весьма яркие поэтические адаптации позднеантичных рассказов ‘Дарета’ и ‘Диктиса’. Речь идет о поэме Иосифа Искана “Frigii Daretis Ylias” (иначе — “De bello Troiano” или “Bellum Troianum”) и произведении Бенуа де Сен-Мора “Le Roman de Troie”, в которых четко обозначились два различных подхода к «правдивой истории» Троянской войны, две специфических модели диалога средневековых авторов с культурным наследием древности.

Хронологически “Frigii Daretis Ylias” Иосифа Исканского<sup>40</sup> — сочинение более позднее, чем «Роман о Трое» Бенуа де

---

<sup>39</sup> Текст опубликован в ст.: *Hammer J.* Some Leonine Summaries of Geoffrey of Monmouth’s *Historia Regum Britanniae* and Other Poems // *Speculum*. 1931. Vol. 6. № 1. P. 114-123. См. также: *Sedgwick W. B.* ‘Pergama Flere Volo’ // *Speculum*. 1933. Vol. 8. № 1. P. 81-82. Стихотворное переложение на русский язык см. в книге: *Поэзия вагантов / Подгот. М. Л. Гаспаров. М., 1975. С. 302-307.*

<sup>40</sup> Опубликована в кн.: *Joseph Iscanus. Werke und Briefe / Hrsg. von L. Gompf. Leiden – Köln, 1970. S. 77-211.* См. также: *Root R. K.* Chaucer’s Dares // *Modern Philology*. 1917-18. Vol. 15, № 1. P. 1-22; *Sedgwick W. B.* The “Bellum Troianum” of Joseph of Exeter // *Speculum*. 1930. Vol. 5. № 1. P. 49-76; *Manitius.* Op. cit. S. 649-653; *Riddehough G. B.* A forgotten poet: Joseph of Exeter // *Journal of English and Germanic Philology*. 1947. Vol. 46. № 3. P. 254-259; *Idem.* Joseph of Exeter: the Cambridge manuscript // *Speculum*. 1949. Vol. 24. № 3. P. 389-396; *Bezzola R.* Les origines et la formation de la littérature courtoise en Occident. Troisième partie: La société courtoise. Vol. I: La cour d’Angleterre comme centre littéraire sous les rois Angevins (1154-1199). Paris, 1967. P. 146-149; *Грбаварь-Пассек.* Указ. соч. С. 202-203; *Захарова.* Указ. соч. С. 52-57.

Сен-Мора (оно написано в конце 1180-х годов, а «Роман», скорее всего, относится к периоду 1160–1170 гг.), но поскольку эта поэма отчасти продолжала традицию стихотворных рассказов о Троянской войне на латинском языке, она может быть охарактеризована первой. В ее основу положена «История» ‘Дарета’, хотя Иосиф был знаком и с содержанием «Дневника» ‘Диктиса’. Поэма Иосифа написана гекзаметром, состоит из шести книг и наряду с «Алекса́ндреидой» Вальтера Шатильонского, несомненно, представляет собой один из лучших образцов латинского эпоса в Средние века. Показательно, что она иногда принималась за сочинение античного, а не средневекового автора.

В контексте ученой культуры XII века произведение Иосифа стало наиболее успешной попыткой изложить историю Троянской войны в форме высокой латинской поэзии. Незнакомая с подлинным Гомером и пренебрегавшая сведениями «латинского Гомера» средневековая культура, даже обладая «простыми и правдивыми» книгами ‘Дарета’ и ‘Диктиса’, очевидно, все-таки испытывала определенную нехватку такого звучания троянской темы, которое, с одной стороны, восходило бы к авторитетному источнику, а с другой — соответствовало известным достижениям античной языковой культуры. Интерес к последним существенно вырос на протяжении XII века, и вполне вероятно, что Иосиф Искан стремился вернуть троянские сказания к тем идеалам изящной словесности, от которых были столь далеки «История» и «Дневник». В какой-то степени ему это удалось, и его «Илиада Дарета Фригийского», возможно, высоко оценивалась образованными читателями<sup>41</sup>. Но обратной стороной такого подхода был довольно сложный и зачастую вычурный язык поэмы, текст которой в целом ряде случаев нарочито многозначен и труден для понимания. Характерно, что, несмотря на оригинальное видение материала (сквозь призму античных образцов высокой словесности), Иосиф не предложил более-менее широкой средневековой

---

<sup>41</sup> В одном из манускриптов “Frigii Daretis Ylias”, в частности, содержится восторженное обращение к Иосифу переписчика его книги. Он называет Иосифа питомцем Муз, «единственным Орфеем в западных частях света», сказителем, которого вдохновляет «древний Аполлон» (см.: *Riddelhough*. Joseph of Exeter: the Cambridge Manuscript. P. 390).

аудитории каких-либо новых сюжетных линий, способных ее заинтересовать, или повествовательных деталей, которые приближали бы сознание читателя к описываемым событиям «древности». Вероятно, поэтому его сочинение не получило широкого распространения на протяжении Средневековья (оно сохранилось только в пяти рукописях).

Более привлекательной могла показаться средневековой аудитории старофранцузская поэтическая версия, изложенная Бенуа де Сен-Мором в «Романе о Трое»<sup>42</sup>. Де Сен-Мор (Бенедикт из Сен-Мора — местечка на границе Пуату и Турени) был клириком при дворе короля Генриха II Английского во второй половине XII в. Практически никаких сведений о его жизни не сохранилось. Обычно Бенуа де Сен-Мора отождествляют с автором пространной стихотворной «Хроники герцогов Нормандии», написанной, по различным оценкам, в период с 1170 до середины 1180-х гг. и являющейся весьма интересным историографическим памятником<sup>43</sup>.

Не имея возможности точно датировать появление «Романа о Трое», исследователи достаточно четко определяют тот общекультурный контекст, в котором создавалось произведение Бенуа де Сен-Мора: это один из первых французских рыцарских романов, появившихся при континентальном дворе английского короля Генриха II. Вместе с «Романом об Александре», «Романом о Фивах» и «Романом об Энее» произведение Бенуа относится к начальному периоду развития французского рыцарского романа, который был связан с переосмыслением античного прошлого и мифологизацией истории. Несомненно, что в этих текстах «еще не было многих существенных признаков романа (индивидуальность подвига, сконцентрированность вокруг одного эпизода и т. п.)»<sup>44</sup>,

---

<sup>42</sup> *Benoît de Sainte-Maure. Le Roman de Troie. 6 vols / Publ. par L. Constans. Paris, 1904–1912 (далее — Le Roman de Troie).*

<sup>43</sup> *Benoît de Sainte-More. Chronique des ducs de Normandie. 4 vols / Publ. par S. Fahlin. Uppsala, 1951–1979.* «Хроника» являлась продолжением «Романа о Роллоне», написанного нормандцем Робертом Васом.

<sup>44</sup> См.: *Михайлов А. Д.* Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. М., 1976. С. 35. Характеризуя французский стихотворный рыцарский роман, А. Д. Михайлов выделяет в нем памятники двух противоположных друг другу (по композиционной структуре и трактовке действительности) типов. К одному он относит по-

но в них присутствовали и многие важные черты, характерные для более поздних образцов жанра. В целом романная проблематика переплеталась здесь с проблематикой исторической (сегодня точнее говорить — псевдоисторической), что превращает данные сочинения в интереснейшие памятники культуры того времени.

Рождение рыцарских романов «античного цикла» около середины XII столетия было во многом связано с ростом интереса к древней истории и литературе — в определенной мере «Роман о Трое» Бенуа и произведение Иосифа Искана были частью одного и того же явления. С другой стороны, в отличие от латинской поэмы Иосифа, написанной в подражание античным поэтическим образцам, сочинение Бенуа адресовалось более широкой и качественно иной аудитории. Бенуа писал свой «Роман», главным образом, для современного ему придворного и рыцарского сообщества.

Вероятно, что западное рыцарство, претерпевшее на протяжении второй половины XI–XII в. глубокую эволюцию, постепенно ощутило потребность в мифологизации собственного прошлого, которую было достаточно трудно осуществить в рамках официальной церковной традиции. Придворные же писатели, каковым в окружении Генриха II, возможно, являлся и Бенуа де Сен-Мор, порою охотно брали на себя подобные задачи. Первые рыцарские романы «античного цикла» в итоге могли рассматриваться современниками — людьми XII века — и в качестве романизированных исторических поэм, благодаря которым рыцарство обретало свои корни среди прославленных воинов древности, и которые были написаны на доступном ему языке, с использованием понятных ему образов.

---

священные единичному остроконфликтному событию романы «кретьеновского типа», которые тяготеют к авантюристике, в которых ярко выражено лирическое начало и в центр повествования поставлен, как правило, один герой. К другому типу (хронологически предшествовавшему романам «кретьеновского типа»), по его мнению, принадлежат подобные «Роману о Трое» произведения, «в известной мере рассказывающие о целом социуме — от его зарождения до гибели», в которых «нельзя не заметить стремления к эпоейности и своеобразной наивной историчности (вот почему в произведениях этой разновидности столь широко использовались античные легенды, воспринимавшиеся в условиях Средних веков как подлинная история), а, следовательно — и многоконфликтности и многогеройности» (Там же. С. 193-194).



В «Романе о Трое» Бенуа де Сен-Мор объединил в одно целое сведения 'Дарета' и 'Диктиса'. Их короткие рассказы он сумел превратить в написанную восьмисложником крупнейшую поэму (30316 строк в критическом издании Л. Констана), подробно освещавшую события от похода аргонавтов до гибели Улисса от рук его сына Телегона. «Роман» Бенуа де Сен-Мора приобретал черты сочинения, в котором легендарное троянское прошлое выглядит как особый рыцарский мир, созданный в соответствии с интересами и представлениями современной ему придворной аудитории. Греческие и троянские воины становятся в «Романе» рыцарями, которые одеваются в доспехи XII века, пользуются средневековым оружием и даже сражаются верхом на арабских скакунах и конях «из Арагона»<sup>45</sup>. Троя превращается в средневековую крепость (где Илион — «донжон короля Приама»<sup>46</sup>), а Гомер, Дарет Фригийский и упомянутый в прологе к «Истории о разрушении Трои» Саллюстий — в «ученых клириков», каким, вероятно, считал себя и сам Бенуа<sup>47</sup>. Данный ряд примеров можно продолжать весьма долго, поскольку — в отличие от поэмы Иосифа Искана — «Роман о Трое», в каком-то смысле, сплошь соткан из анахронизмов.

Главное место в «Романе о Трое» занимает сама война, описываемая как длинная цепь дипломатических переговоров, военных советов, отдельных стычек и больших сражений, многочисленных перемирий и т. д. Все эти моменты не являются принципиальным нововведением Бенуа, но зато становятся благодатной почвой для вымысла. Впрочем, описание военных действий — не единственная составляющая «Романа о Трое». Другим важным моментом в поэме Бенуа де Сен-Мора стали подробные сведения о любовных отношениях ряда его героев и героинь. В свое сочинение Бенуа включил рассказы о любви Ясона и Медеи,

---

<sup>45</sup> См., напр.: *Le Roman de Troie*, vv. 7754, 7825, 7920.

<sup>46</sup> *Ibid.*, v. 3042.

<sup>47</sup> *Ibid.*, vv. 45-46, 80-81, 99-100. О Корнелии Непоте Бенуа говорит, что тот «держал школу в Афинах» (v. 86). Когномен римского историка — *Nepos* — средневековый поэт истолковывает как степень родства — «племянник» и, таким образом превращает Корнелия в близкого родственника Саллюстия (v. 81-83: “*Cil Salustes ... / Ot un nevo fortment sachant / Cornelius ert apelez ...*”).

Париса и Елены, Троила и Брисеиды, Брисеиды и Диомеда, Ахилла и Поликсены<sup>48</sup>. Эти рассказы, естественно, не заняли в огромном «Романе» центрального места (в отличие от более поздних образцов жанра), однако, они не носили и характера сугубо «развлекательного» отступления от основного повествования<sup>49</sup>.

Бенуа де Сен-Мор создавал свой «Роман» в эпоху, когда в результате крестовых походов на Восток существенно расширились горизонты средневекового мира, и по-новому зазвучали темы дальних странствий и покорения неизведанных земель. Интерес к загадочным восточным странам и опасным путешествиям нашел самое непосредственное воплощение в произведении Бенуа. В этом отношении показательно, что поэт уделил большое внимание походу аргонавтов, о котором в его главном источнике — «Истории» ‘Дарета’ — рассказывается очень кратко<sup>50</sup>, и несколько расширил рассказ ‘Диктиса’ о возвращении Улисса. Важное место в «Романе о Трое» занимает описание Востока и царства амазонок, пришедших на помощь троянцам уже в конце войны: опираясь на географические представления своего времени, Бенуа перечисляет моря, реки, острова, горы, отдельные страны и народы, обитающие в этой части света<sup>51</sup>. Троянская война в «Романе» воспринимается отчасти как покорение Востока, ведь на стороне троянцев выступают «короли» и «герцоги» из многих восточных стран<sup>52</sup>, а сама

---

<sup>48</sup> Отметим, что сведениями о любви Ясона и Медеи, Париса и Елены, Ахилла и Поликсены Бенуа обязан предшествующей традиции, лишь знаменитая история Троила и Брисеиды от начала до конца выдумана им самим. Именно ее ждал огромный успех в литературе позднего Средневековья и раннего Нового времени. Данный сюжет был положен в основу знаменитой поэмы Джованни Боккаччо “Il Filostrato” («Сраженный любовью»), а затем использовался Джеффри Чосером и Уильямом Шекспиром.

<sup>49</sup> См. по этому поводу: *Lumiansky R. M. Structural unity in Benoit’s “Roman de Troie” // Romania. 1958. Vol. 79. № 3. P. 410-424; Adler A. Militia et Amor in the “Roman de Troie” // Romanische Forschungen. 1960. Bd. 72, № 1-2. S. 14-29.*

<sup>50</sup> Так, например, добыче золотого руна в «Истории» посвящено лишь несколько слов: «они отчалили от этой земли, отправились в Колхиду, похитили шкуру, вернулись домой» (*Дарет Фригийский*. История. С. 123). Бенуа де Сен-Мор посвятил пребыванию аргонавтов в Колхиде (на острове Колхосе) более 900 стихов — см.: *Le Roman de Troie*, vv. 1137-2064.

<sup>51</sup> *Ibid.*, vv. 23127-23356.

<sup>52</sup> *Ibid.*, vv. 6658-6920.

древняя Троя приобретает черты сказочно богатого восточного города<sup>53</sup>, удаленного от читателей поэмы не столько во времени, сколько в пространстве. Показательно, что созданный поэтом XII столетия восточный мир открыт для необычных, экзотических явлений: здесь присутствуют чудесные изобретения, фантастические существа и волшебные животные.

Очевидно, что средневековый автор определял собственное сочинение как «роман» (*roman*) только в том смысле, что оно было написано не на латыни — во всех других отношениях поэма представлялась ему «историей» (*estoire*)<sup>54</sup>. Для Бенуа было важно подчеркнуть, что он не исказил сведения ‘Дарета’ — об этом он говорит и в начале, и в конце «Романа о Трое»<sup>55</sup>. Обосновав в Прологе «правдивость» рассказа Дарета Фригийского, поэт затем десятки раз ссылается на него, и эти ссылки вряд ли стоит считать совсем уж условными: создатель «Романа» действительно пользовался и «Историей» ‘Дарета’, и «Дневником» ‘Диктиса’, а не просто указывал читателю на некие мифические «старые книги». Вероятно, что в контексте современной для него культуры Бенуа де Сен-Мор осознал возможность выйти далеко за пределы традиционной «исторической» картины гибели Трои, предложенной ее «очевидцами», но вряд ли мог точно предвидеть, как этот выход будет воспринят аудиторией: отсюда — сочетание размашистой фантазии с постоянной оглядкой на «историю» и слишком частыми заверениями в правдивости своего рассказа.

Нам неизвестно, стало ли сочинение Бенуа популярным в ближайшие после его создания десятилетия, если считать наиболее вероятным временем его написания период с 1160 по 1170 гг. Ф. А. Беккер связывал поручение продолжить «Роман о Роллоне» Роберта Васа, данное Генрихом II «мэтру Бенуа», как историку, именно с успехом «Романа о Трое» при дворе английского короля<sup>56</sup>, хотя это — лишь предположение. Количество дошедших до

---

<sup>53</sup> См., в частности, описание Трои: *Ibid.*, vv. 2977-3186.

<sup>54</sup> См. в данной связи также: *Strohm P.* *Storie, spelle, geste, romaunce, tragedie: generic distinctions in the Middle English Troy narratives* // *Speculum*. 1971. Vol. 46. № 2. P. 348-59.

<sup>55</sup> *Le Roman de Troie*, vv. 134-137, 30301 et ss.

<sup>56</sup> *Becker Ph. A.* *Die Normannenchroniken: Wace und seine Bearbeiter* // *Zeitschrift für romanische Philologie*. 1953. Bd. 63. № 6. S. 485.

нашего времени манускриптов с текстом «Романа» позволяет говорить о том, что он был весьма востребован на протяжении XIII–XIV вв.<sup>57</sup> Об интересе к сочинению Бенуа де Сен-Мора в этот период свидетельствуют не только многочисленные манускрипты, но и регулярно появлявшиеся переложения «Романа» на различные европейские языки. Самым ранним из этих переложений стала немецкая поэма Герборта фон Фритцлара «Песнь о Трое» (“*Liet von Troye*”)<sup>58</sup>, написанная в начале XIII в. при дворе ландграфов Тюрингии. Около 1260 г. появляется расширенная переработка «Романа» на средненидерландском языке (“*Historie van Troyen*”), принадлежащая перу Якоба ван Марланта<sup>59</sup>, а несколько позднее знаменитый немецкий поэт Конрад фон Вюрцбург использовал книгу Бенуа (по всей видимости, наряду с источниками античного происхождения) в своей огромной поэме «Троянская война»<sup>60</sup>, которая не была закончена из-за смерти автора в 1287 г. В Италии собственный прозаический пересказ «Романа» на «вольгаре» составил в 1322 г. Биндуччо делло Шельто<sup>61</sup>.

Особо следует отметить старофранцузские прозаические переработки «Романа» Бенуа де Сен-Мора, возникавшие на протяжении второй половины XIII – начала XIV в. М.-Р. Юнг насчитывает пять таких версий (анонимных), большинство из которых получили

---

<sup>57</sup> В настоящий момент известно 30 полных манускриптов и 28 рукописных фрагментов с текстом «Романа о Трое» — см.: *Jung*. Op. cit. P. 19-23, 78-305 (анализ 30-ти полных манускриптов), 306-330 (анализ 28-ми фрагментов). Предположительно, лишь один манускрипт и один фрагмент «Романа о Трое» относятся к последним годам XII в., еще один фрагмент датируется концом XII – началом XIII в. Четырнадцать рукописей и восемнадцать фрагментов датируется XIII столетием. К XIV веку относят 13 рукописей и пять фрагментов. Одна рукопись и один фрагмент датированы концом XIII – началом XIV в. Еще одна рукопись и фрагмент датируются широко: XIII–XIV вв. (Ibid. P. 22-23).

<sup>58</sup> *Herbert von Fritzlar. Liet von Troye* / Hrsg. von G. K. Frommann. Quedlinburg – Leipzig, 1837.

<sup>59</sup> *Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen* / Uitg. J. Verdam. Groningen, 1873

<sup>60</sup> *Konrad von Würzburg, Der Trojanische Krieg* / Hrsg. von A. von Keller. Stuttgart, 1858.

<sup>61</sup> *Binduccio dello Scelto. La Storia di Troia* / A cura di M. Gozzi. Milano – Trento, 2000.

дальнейшее самостоятельное распространение в средневековой традиции<sup>62</sup>. Лишь одна из них появилась во Франции (это — т. н. Prose 4 по классификации Юнга), остальные были созданы за ее пределами: Prose 1 в середине или во второй половине XIII в. на территории Морейского княжества в Латинской Романии<sup>63</sup>, Prose 2 и Prose 3 — в северной и центральной Италии соответственно, в конце XIII в., Prose 5 — в южной Италии в начале XIV столетия.

Параллельно с распространением «Романа о Трое» Бенуа де Сен-Мора и его адаптаций в Западной Европе XIII – начала XIV в. продолжают появляться латинские поэтические переработки «Истории» ‘Дарета Фригийского’ (примером может служить поэма Альберта Стаденского «Троил»<sup>64</sup>, написанная около середины XIII столетия), а также ее сравнительно небольшие прозаические парафразы<sup>65</sup>. Очевидно, что читатели «Романа» Бенуа и его переработок замечали многочисленные несоответствия версии ‘Дарета’ и считали подобные рассказы чересчур длинными. Во всяком случае, именно этими обстоятельствами объяснял в 1272 г. создание собственного перевода «Истории о разрушении Трои» некий Жан де Фликсекур из монастыря Сен-Пьер де Корби<sup>66</sup>. Этот перевод, правда, не пользовался известностью

<sup>62</sup> Jung. Op. cit. P. 440-562 (Chapitre 3: Les mises en prose du Roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure).

<sup>63</sup> Текст «общей» редакции Prose 1 (см.: *Constans L. Introduction // Le Roman de Troie. Vol. VI. Paris, 1912. P. 264-318; Jung. Op. cit. P. 440-484.*) был частично опубликован (по наиболее раннему манускрипту Paris, BN fr. 1612) в первом томе незаконченного издания: *Le Roman de Troie en prose. T. 1 / Éd. par L. Constans, E. Faral. P., 1922.*

<sup>64</sup> *Troilus Alberti Stadensis / Hrsg. von T. Merzdorf. Leipzig, 1875.*

<sup>65</sup> Показательно, что с XIII в. «История» ‘Дарета’ становится известной даже в скандинавских землях, где появляются различные редакции т. н. «Саги о троянцах» (“*Trójumanna saga*”). Об их характерных чертах см.: *Матюшина И. Г. Поэтика рыцарской саги. М., 2002. С. 230-231.*

<sup>66</sup> «Поскольку романы о Трое содержат многие вещи, которых не найти на латыни (так как тот, кто их создал, не мог бы иначе красиво рифмовать), я, Жан де Фликсекур (*Jehans de Fliccicourt*), перевел с латинского на романский без рифм и слово в слово историю троянцев и Трои так, как нашел ее в одной из книг библиотеки... Если те, кто хотят услышать о Троянской войне и не приемлют рифмованные романы, потому ли что они слишком длинны или потому что им этого мало, пусть читают сей [текст],

(текст дошел всего в двух рукописях), — точно так же, как не был знаменит и другой перевод «Истории» на старофранцузский, выполненный в конце XIII века уроженцем Ирландии Жофруа де Уотерфордом<sup>67</sup>. Наиболее успешной из прозаических обработок «Истории» ‘Дарета’ стал ее пересказ, в самом начале XIII века включенный в состав большой компиляции, которую впоследствии стали называть «Древней историей до Цезаря» (“Histoire ancienne jusqu’à César”), и затем распространявшийся в ее многочисленных списках<sup>68</sup>.

Выполненная для Роже IV, шателена Лилльского, скорее всего, между 1208 и 1213 гг. “Histoire ancienne” должна была содержать в себе развернутый рассказ о событиях всемирной истории, начиная с сотворения мира и заканчивая современным для составителя периодом, но почему-то осталась незавершенной. Рассчитанная по преимуществу на светскую аудиторию, эта старофранцузская компиляция лишь в самой скромной мере отражала библейскую картину прошлого (ограничиваясь парафразом книги Бытия в начале и книг Эсфири и Юдифи в середине повествования) и проливала свет, главным образом, на ключевые эпизоды языческой древности: падение Фив, войну греческих героев с амазонками, гибель Трои, странствия Энея, подвиги Александра Великого и историю Рима вплоть до покорения Цезарем Галлии.

«Троянский» раздел «Древней истории» представляет собой довольно обстоятельный и близкий к оригиналу пересказ книги ‘Дарета’, но в его заключительной части упоминается и сочинение «клирика Диктиса», которое, по словам средневекового автора, также перевел на латынь Crispus (т. е. Саллюстий!)<sup>69</sup>. Свое повествование писатель регулярно прерывает обращениями к потенци-

---

поскольку он небольшой, и из него можно узнать правду истории». Цит. по: Jung. Op. cit. P. 436.

<sup>67</sup> Ibid. P. 438-439.

<sup>68</sup> Meyer P. Les premiers compilations françaises d’histoire ancienne // Romania. 1885. Vol. 14. P. 1-85; Raynaud de Lage G. Les premiers romans français: études littéraires et linguistiques. Genève, 1976. P. 5-13, 55-86; Jung. Op. cit. P. 334-430. Здесь же (на с. 358-405) опубликован текст данного переложения «Истории» ‘Дарета’ по рукописи fr. 20125 из Национальной Библиотеки Франции.

<sup>69</sup> Jung. Op. cit. P. 401.

альным слушателям (“Segnor, Herculés ne vesqui mie puis lonc tens”, “Segnor, cele roïne Helaine fu fille la roïne Leda”, “Segnor et dames, ensi fu mors Achillés et Antilogus, com vos poés entendre”<sup>70</sup> etc.), для которых порой поясняет происхождение того или иного героя. Наиболее существенным отступлением от версии ‘Дарета’ является отсутствие в “Histoire ancienne” т. н. «Каталога портретов» (описаний внешности и характера главных героев), хотя последнего могло не быть и в том списке «Истории о разрушении Трои», которым пользовался книжник в начале XIII века.

Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что средневековый составитель “Histoire ancienne” по ходу рассказа проявляет интерес к языческим обрядам древности, связанным с погребением и поминовением умерших. Он не забывает отметить, что игры и песнопения в честь погибших героев устраивались в соответствии с обычаями прошлого<sup>71</sup>, охотно описывает экзотический внешний вид захоронений<sup>72</sup> и даже предается рассуждениям о родстве древних поминальных обрядов с практиками, распространенными среди vilaine gens crestiene его собственного времени<sup>73</sup>, находя тем самым повод для небольшого поучения аудитории. В остальном, подобно большинству средневековых писателей, автор “Histoire ancienne” слабо осознает дистанцию, отделяющую современность от мира древних героев. Последние,

---

<sup>70</sup> Ibid. P. 361, 366, 390 etc.

<sup>71</sup> Ibid. P. 374, 379.

<sup>72</sup> Ibid. P. 385: “... li rois Agamenon se pena mout de ses gens qui ocis estoient honorablement ardoir et doner sepoutures, et ausi firent cil de Troies. A ce faire mistrent assés lonc termine, qar contre ce qu’il haut home estoient, lor faisoient il hautes piramides, c’estoient sepoutures. E tot ou som el pomel metoient il la cendre dou cors, qui ars estoit, et c’estoit ramenbrance de sa proece et de sa hautece. La piramide estoit ausi faite, a iiij costés o reonde com uns clochers”.

<sup>73</sup> Ibid. P. 390: “Li rois Agamenon le fist mout richement faire, et si fist faire mout de gius divers, si com il estoit adonques la costume as cors a faire. E bien sachés, vos qui entendés, segnors et dames, que de cele costume paiene et ancienne tienent encore un mauvais rain la vilaine gens crestiene, qar la nuit qu’il lor cors guardent por l’endemain doner sepouture, s’assemblent li plusor homes et femes a la maison o li cors est en presence si i corolent et chantent, dont li dolante arme, si m’ait Des, n’aurait cure. Et puis après, i funt gius vilains et oribles qu’i representer ne faire n’i devoient”.

как и в рассказе Бенуа де Сен-Мора, предстают рыцарями, графами, герцогами и королями.

Наряду с антиквизированным латинским эпосом Иосифа Искана и пространным рыцарским романом Бенуа де Сен-Мора, прозаический пересказ «Истории» ‘Дарета’, вошедший в состав популярной компиляции “*Histoire ancienne*”, помогает наметить основные направления трансформации позднеантичной псевдо-исторической картины гибели Трои в Средние века. Еще одна важная разновидность адаптаций этой картины к интересам средневековой публики связана с дидактизацией и морализацией подробнейшего повествования «Романа о Трое» в его прозаических переработках второй половины XIII в. Хотя обозначенная тенденция проявилась уже в старофранцузской *Prose 1*, наиболее ярким ее выражением стала пространная латинская «История разрушения Трои» Гвидо де Колумна<sup>74</sup>.

Гвидо де Колумна (в западной литературе он чаще именуется Гвидо делле Колонне) в середине – второй половине XIII в. был нотарием и судьей в городе Мессина (Сицилия). Точные даты рождения и смерти Гвидо неизвестны. Исходя из его отождествления с одним из поэтов так называемой «сицилийской школы» (расцвет этой школы пришелся на годы правления в Южной Италии и Сицилии Фридриха II Гогенштауфена), обычно делается вывод о том, что писатель родился около 1215 г. и умер после 1287 г. В настоящее время известно несколько документов, в которых Гвидо фигурирует в качестве судьи и которые относятся к периоду с 1243 по 1280 гг.<sup>75</sup>

«История разрушения Трои» (иначе — «Троянская история») была составлена Гвидо де Колумна в два приема. Вероятно, что впервые он начал работать над ней около 1270 г. по поручению архиепископа Салернского Маттео де Порты. Именно в это время была написана первая из книг «Истории». После смерти архиепископа в конце 1272 г. Гвидо надолго забросил работу над «Историей» и вновь вернулся к ней осенью 1287 года, когда в течение двух с половиной месяцев (с 15 сентября по 25 ноября) появилась на

<sup>74</sup> *Guido de Columnis. Historia destructionis Troiae* / Ed. by N. E. Griffin. Cambridge (Mass.), 1936 (далее — *Historia*).

<sup>75</sup> См.: *Chiantera R. Guido delle Colonne, poeta e storico latino del sec. XIII e il problema della lingua della nostra primitiva lirica d'arte*. Napoli, 1956.



свет бóльшая часть латинского текста. Последний включает в себя пролог<sup>76</sup> и 35 книг, неодинаковых по объему. Заключительная часть 35-й книги является своеобразным эпилогом сочинения.

Пересказав латинской прозой поэму Бенуа де Сен-Мора, Гвидо ни разу не упомянул в «Истории» имени своего французского предшественника, но заявил, что опирался непосредственно на рассказы ‘Дарета’ и ‘Диктиса’<sup>77</sup>. Анализ содержания «Истории» свидетельствует о том, что Гвидо довольно точно следовал тексту «Романа о Трое», сохраняя общую фабулу рассказа Бенуа, приводя многие вымышленные французским поэтом повествовательные детали, речи героев и т. д. Вместе с тем, он внес в это повествование и ряд заметных изменений: опустил или сильно сократил некоторые эпизоды «Романа», другие, напротив, расширил и, наконец, ввел в рассказ собственные замечания, пояснения, описания.

Если Бенуа де Сен-Мор делал особую ставку на детализированное описание любовных историй, на введение в рассказ всевозможных экзотических и фантастических мотивов, а также на придание образам древних героев неких черт, присущих собственно средневековому рыцарству, то его последователя Гвидо де Колумна повествование о Троянской войне интересовало, прежде всего, как удобный повод не столько для развлечения, сколько для «вразумления» и «поучения» потенциальной аудитории. Гвидо в «Истории» старался не просто снабдить своих будущих читателей некими общими сведениями по античной поэзии и мифологии, средиземноморской географии или

---

<sup>76</sup> Текст Пролога к «Истории» переведен на русский язык и опубликован: *Гвидо де Колумна. История разрушения Трои. Пролог* / Пер. и комм. А. Н. Маслова // Из истории античного общества. Вып. 9-10 / Под ред. А. В. Махлаюка. Н. Новгород, 2007. С. 262-270.

<sup>77</sup> *Historia*. P. 4: «...чтобы в будущем у западных народов процветали истинные записи правдивых писателей Троянской истории и, особенно, на пользу тем, кто знает грамматику (дабы среди написанного в грамматических книгах умели отделить истинное от ложного), пусть читается ими впредь то, что мною, судьей Гвидо де Колумна из Мессины, в данной книжице почерпнуто при посредстве Диктиса Греческого и Дарета Фригийского, которые во время Троянской войны постоянно находились при своих войсках и являлись правдивейшими рассказчиками увиденного; а все, что ими словно в один голос в двух книгах отображено, в Афинах найдено было».

современной для него астрономии, но и предложить их вниманию определенные нравственные уроки, извлекаемые автором, — вполне усердно, хотя и не очень последовательно, — из адаптируемого романно-эпического материала<sup>78</sup>. Подобный подход превращал книгу Гвидо де Колумна в нечто отличное от рыцарского романа, отчасти сближая ее с историографической традицией Средневековья. Показательно также, что в заключительной части «Истории» Гвидо специально указывал на свою заинтересованность в «услаждении образованных»<sup>79</sup>.

---

<sup>78</sup> См. в качестве весьма типичного примера порицание автором Елены Прекрасной: «О, сколь многих развратниц влекут к позорному падению те игрища и шутовские зрелища, во время которых стекающиеся [туда] юноши расставляют свои приманки и с внезапной жадностью подвигают пойманные женские души от незначительных утех к прелюбодеянию, поскольку молодые люди, имея надлежащую способность различать [порядочных] девиц и [женщин], более склонных к безрассудству, легко располагают к себе женские сердца (то взглядом, то незаметной лестью, то прикосновением руки, то намеком) и заключают их в оковы при помощи хитростей и сладкоречивого обмана... Но ты, Елена, прекраснейшая из женщин! Какой дух овладел тобой, что в отсутствии мужа ты оставила свой дворец из-за столь пустой новости (о прибытии Париса. — *А. М.*), покинула его покои, чтобы посмотреть на незнакомца? Сколь легко потянув за поводья, ты могла удержаться [от этого], дабы сохранить целомудрие в чертогах подвластного тебе дворца. О, сколь многих [женщин] привела к позору дорога, ведшая на площадь! О, сколь милы должны быть женщинам домашние пределы и сохранность рубежей добродетели! Никогда ведь поломанный корабль не потерпит кораблекрушения, если останется стоять в порту, не плавая в чужие страны. Ты же, Елена, захотела покинуть дворец и посетить Киферы, чтобы под предлогом жертвоприношения посмотреть на чужеземца и с помощью [этого] благовидного предлога склониться к недозволенному. Поистине, взгляд на этого мужчину стал ядовитой заразой, пропитавшей через тебя, [Елена], всю Грецию, вследствие чего погибло так много данайцев, и столько фригийцев было уязвлено тяжелыми укусами» — *Historia*. P. 70-71.

<sup>79</sup> *Ibid.*. P. 275: “ad litteratorum... solacium, vt ueram noticiam habeant presentis hystorie et ut magis delectentur in ipsa”. О том, что Гвидо де Колумна волновали вопросы, связанные с красотой изложения, свидетельствует и еще один фрагмент в заключительной части «Истории»: «Я расцветил бы эту историю и более изысканным стилем при помощи пышных метафор, ярких красок и беглых переходов, которые суть украшения речи, но из-за величины произведения испугался, как бы со мною, покуда я влачу изящ-

Сегодня известно о существовании примерно 240 манускриптов с латинским текстом «Истории» (большинство из них датируются второй половиной XIV–XV вв.), а с началом книгопечатания этот текст выдержал восемь изданий с 1474 по 1494 гг. Начиная с 1320-х гг. появлялись многочисленные переложения латинского текста «Истории» на новые языки. Около десяти таких переложений зафиксировано в Италии<sup>80</sup>: самым популярным из них стал перевод флорентинца Филиппо Чеффи (сохранился в 14-ти рукописях), напечатанный в Венеции в 1481 г.<sup>81</sup> Ряд пересказов «Истории» возник и в Испании<sup>82</sup>.

Во Франции во второй половине XIV в. появились два сокращенных латинских парафраза «Истории». Кроме того, в период с 1380 по 1500 гг. здесь также было создано пять французских прозаических переложений «Истории»<sup>83</sup>. Одна из этих прозаических версий, появившаяся в Бургундии около 1459 г., представляет собой продолжение т. н. прозаического «Романа о Фивах», заимствованного неизвестным компилятором из соответствующего «фиванского» раздела “*Histoire ancienne*” (он, в свою очередь, являлся пересказом стихотворного «Романа о Фивах»). К данной «бургундской» версии «Истории» Гвидо де Колумна восходит третья книга «Сборника троянских историй» Рауля Лефевра (около 1464 г.), печатавшегося 12 раз, начиная с первой половины 1470-х гг. до 1544 г.<sup>84</sup>

В Англии с «Историей» Гвидо был знаком Джеффри Чосер, который использовал ее — наряду с «Филострато» Боккаччо и, возможно, поэмой Иосифа Искана — при написании «Троицы и Крессиды», а самым известным английским переложением «Истории» Гвидо стала «Книга Трои» знаменитого поэта Джона Лид-

---

ным стилем сей долгий рассказ, не случилось чего недоброго вследствие бренности людской...» — см.: *Ibid.* P. 275-276.

<sup>80</sup> См.: *Gorra*. Op. cit. P. 152–202; *Morf*. Op. cit.; *Carlesso*. Op. cit.

<sup>81</sup> (*Guido delle Colonne*) Storia della guerra di Troia di M. Guido Giudice dalle Colonne, messinese, volgarizzamento del buon secolo, testo di lingua / Per cura di M. dello Russo. Napoli, 1868.

<sup>82</sup> *Rey, Solalinde*. Op. cit. P. 10, 38-40.

<sup>83</sup> По поводу этих переложений «Истории» Гвидо см.: *Jung*. Op. cit. P. 567-601.

<sup>84</sup> См.: *Jung*. Op. cit. P. 588-590.

гейта<sup>85</sup> (создана в период с 1412 по 1420 гг., ее текст сохранился в составе около 20-ти манускриптов, известны также печатные издания 1513 и 1555 гг.<sup>86</sup>). Примечателен тот факт, что первой печатной книгой на английском языке принято считать выполненный Уильямом Кэкстоном около 1474 г. перевод уже упомянутого «Сборника троянских историй» Рауля Лефевра<sup>87</sup>.

В Германии «Историю» Гвидо де Колумна впервые пересказал прозой Ганс Маир из Нёрдлингена в 1391 г., а в XV в. в немецких землях были созданы, как минимум, еще четыре анонимных прозаических переработки «Истории» Гвидо<sup>88</sup>. Параллельно с этими переработками в позднесредневековой Германии бытовали и прозаические переложения поэмы Конрада Вюрцбургского. В течение последней четверти XV в. одна из таких переработок, анонимная «Книга Трои» (создана, вероятно, в конце XIV в.) была положена вместе с маировским пересказом «Истории» Гвидо в основу текста нескольких печатных изданий на немецком языке<sup>89</sup>. В соседней с немецкими землями Чехии переложение «Истории» Гвидо («Троянская хроника»), по всей видимости, является самой ранней из известных печатных книг<sup>90</sup>.

Читатели «Истории» Гвидо де Колумна на западе Европы, вероятно, неплохо улавливали общий пафос рассказа из любви не

<sup>85</sup> *John Lydgate. Lydgate's Troy book. 4 vols / Ed. by H. Bergen. L., 1906-35; John Lydgate. Troy book: selections / Ed. by R. R. Edwards. Kalamazoo, 1998.*

<sup>86</sup> О рукописной традиции «Книги Трои» (помимо характеристики 19-ти манускриптов Г. Бергеном — *Bergen H. Bibliographical Introduction // John Lydgate. Lydgate's Troy Book. Vol. IV. P. 1-91.*) см. статью: *Lawton L. The Illustration of Late Medieval Secular Texts, with Special Reference to Lydgate's "Troy Book" // Manuscripts and readers in fifteenth-century England: the literary implications of manuscript study / Ed. D. Pearsall. Cambridge, 1981. P. 41-69.*

<sup>87</sup> *Lefèvre, Raoul. The recuyell of the historyes of Troye. Written in French. Transl. and print. by William Caxton (about A.D. 1474) / Ed. by H. O. Sommer. L., 1894.*

<sup>88</sup> *Schneider. Op. cit. S. 9-22, 28-65.*

<sup>89</sup> *Ibid. S. 102 ff.*

<sup>90</sup> См. издания: *Kronika trojánská / Priprav. J. Danhelka. Praha, 1951; Kronika trojánská: Guidonis de Columna Historiae destructionis Troiae, versio Bohemica. Pragae, 1968.*

только к «правде о прошлом», но и к красноречивым поучениям. При этом они могли совершенно по-разному оценивать стилистические эзерсисы Гвидо. Так, английский поэт Джон Лидгейт, в начале XV в. составивший на основе «Истории» собственную «Книгу Трои», превозносит «мастера» (т. е. магистра) Гвидо за достойное украшение рассказа о Троянской войне «цветами красноречия»<sup>91</sup>. С другой стороны, некий льежский клирик Жерар, пересказывавший «Историю» в 1373 г., не преминул упрекнуть ее знаменитого автора в излишней многословности<sup>92</sup>. В целом же, вплоть до конца XV века книга Гвидо де Колумна оставалась наряду с сочинениями «очевидцев» самым авторитетным источником сведений о Троянской войне.

### III

Круг интерпретаций упомянутых сочинений в современной историографии необычайно широк, и в заключительной части очерка мы попытаемся кратко обозначить свое мнение лишь по двум проблемам. Первая из них связана с жанровой спецификой текстов, подобных «Истории» Гвидо де Колумна (именно они вызывают много вопросов), вторая же касается соотношения рассказов о гибели Трои с мифом о троянском происхождении различных западных династий и народов.

Стоит отметить, что пространные средневековые сочинения о Троянской войне XII–XV вв., много раз не вполне точно отождествлявшиеся исключительно с романной продукцией, долгое время служили благодатным полем, в основном, для литературоведческих споров, и лишь последние 25–30 лет отмечены более-

---

<sup>91</sup> См.: Lydgate's Troy book. Vol. I. P. 11 (Prologue, lines 360-365): "And of Columpna Guydo was his name, / Whiche had in wrytyng passyng excellence. / For he enlvmyneth by crafte & cadence / This noble story with many fresche colour / Of rethorik, and many riche flour / Of eloquence to make it sownde bet..."

<sup>92</sup> Он, в частности, писал: «Да позволит мне Бог не заразиться в этом небольшом сочинении выдумками поэтов, уйти от краткости Корнелия (имеется в виду Корнелий Непот, якобы переведший на латынь «Историю» Дарета Фригийского. — А. М.) и избежать многословия (*superfluitatem*) Гвидо» — Цит. по: *Jung*. Op. cit. P. 567.

менее адекватными попытками определить их место по отношению к собственно средневековой историографии, выявить общие взгляды их составителей и потенциальных читателей на историю. Условным рубежом здесь можно считать 1980 год, когда, в частности, был издан обобщающий труд Б. Гене «История и историческая культура средневекового Запада». В данной работе довольно уверенно констатировалось включение части сведений о Троянской войне в общий фонд «достоверных» знаний о прошлом в Средние века, и приводились основные причины их длительного успеха<sup>93</sup>. В не лишенных односторонности суждениях<sup>94</sup> Б. Гене отразилось характерное для работ конца XX – начала XXI в. стремление вывести средневековые рассказы о Троянской войне за рамки «чистой» литературы, поместив их отчасти на тех «размытых и сомнительных границах», где она смыкается с историей, отчасти — внутри историографической традиции.

---

<sup>93</sup> Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада. М., 2002. С. 316-317: «На протяжении столетий, вплоть до XVI в. включительно, история Трои оставалась в центре внимания, вызывая к жизни множество произведений, которые у серьезных читателей считались сомнительными, и обильную научную литературу, которую эти читатели считали истинной, то есть достойной веры. ...Притягательность Трои состояла в том, что, во-первых, многие считали себя потомками троянских воинов, а с другой стороны, что было, возможно, еще важнее — в том, что как Священная история, как история Александра и некоторые другие, троянская тема шла с Востока и рассказывала о Востоке, а умы Запада на протяжении всего Средневековья были зачарованы Востоком. Этой зачарованностью пользовалось движение крестоносцев, и в то же время крестовые походы ее питали. Сразу после первого крестового похода стало производиться больше копий сочинений Иосифа Флавия. Сразу после второго крестового похода при дворах мирских государей расцвела троянская тема, и в дальнейшем всякий раз, когда Запад охватывала лихорадка нового крестового похода, появлялось больше произведений, в которых Западу рассказывалось о Востоке, навевались мечты о Востоке. В этой атмосфере у троянской истории не было конкуренции, кроме разве что истории самих крестовых походов...».

<sup>94</sup> На наш взгляд, выводя на первый план «восточную тематику», Б. Гене не учитывает того обстоятельства, что с течением времени она могла в определенной мере «приглушаться» средневековыми авторами. В качестве примера можно привести изменения, постигшие «хронотоп» «Романа о Трое» под пером Гвидо де Колумна.

Другая важная публикация 1980 года — тематически гораздо более узкая книга американского медиевиста К. Д. Бенсона «История Трои в среднеанглийской литературе»<sup>95</sup>, со временем приобретающая репутацию весьма авторитетного исследования. Объектом внимательного изучения Бенсона стали поэтические тексты на среднеанглийском языке, особое место среди которых было отведено трем стихотворным переложениям «Истории» Гвидо де Колумна конца XIV – начала XV в.: огромной аллитерационной поэме «Разрушение Трои» (конец XIV века, приписывается перу некоего Джона Клерка из Уэйлли)<sup>96</sup>, пространному стихотворному роману “Laud Troy Book”, посвященному троянскому вождю Гектору (около 1400 г., автор неизвестен)<sup>97</sup>, и «Книге Трои» Джона Лидгейта. Помимо ряда ценных выводов, касающихся телеологической стороны повествования о Троянской войне, в работе Бенсона была сделана попытка решительно пересмотра жанровых характеристик столь значимого для средневековой традиции сочинения Гвидо де Колумна.

Постулируя в своей работе в качестве традиционного деление исторических сочинений Средневековья на «истории» и «хроники», К. Д. Бенсон попробовал доказать принадлежность «Истории» Гвидо (в сознании ее средневековых читателей) именно к разряду «хроник». Выделяя среди последних «церковные» (clerical) и «аристократические» (aristocratic) хроники, Бенсон высказал предположение, что «История» Гвидо могла напоминать ее английским пересказчикам не столько «церковную», сколько «аристократическую» хронику на античную тему. Позднесредневековым читателям, по мнению Бенсона, «должно было показаться, что с точки зрения наиболее существенных интересов автора и по своей форме «История» делала с эпохой царя Приама

---

<sup>95</sup> Benson. Op. cit.

<sup>96</sup> The “Gest hystoriale” of the destruction of Troy: an alliterative romance tr. from Guido de Colonna’s “Hystoria troiana” / Ed. by G. A. Panton, and D. Donaldson. L., 1869–1874. По поводу авторства поэмы см.: *Turville-Petre Th. The Author of the ‘Destruction of Troy’ // Medium Aevum. 1988. Vol. 57. № 2. P. 264-269.*

<sup>97</sup> The Laud Troy book. A romance about 1400 A. D. / Ed. by J. E. Wulfin. L., 1902–1903.

то же, что писатели, подобные Фруассару, проделывали с современностью»<sup>98</sup>. В целом представляющаяся нам не вполне верной точка зрения Бенсона интересна в том плане, что основным критерием для идентификации «Истории» Гвидо де Колумна в качестве хроники служит вопрос о наличии или отсутствии в ее тексте некоего глубокого провиденциального заряда<sup>99</sup>. Не обнаружив такового в «Истории», Бенсон причисляет сочинение Гвидо, а заодно и его позднесредневековые английские адаптации, к разряду хроник: «“История” Гвидо и ее английские переложения являются хрониками и не имеют ничего общего с более возвышенными (т. е. обладающими своеобразной философией. — А. М.) историями»<sup>100</sup>. Вытесняемая за рамки философски (теологически) отрефлексированной историографической продукции, «История разрушения Трои», тем не менее, предстает в первой главе книги Бенсона как объект сугубо историографического анализа.

На самом деле включение ориентированных либо на простое перечисление «фактов», либо на извлечение нравственных уроков из прошлого средневековых повествований о событиях Троянской войны в разряд историографических текстов, оказывается такой же крайностью, как и долго доминировавшее причисление их к образцам романного жанра. Об этих рассказах (подчас весьма различающихся между собой с точки зрения отношения к своим источникам) скорее можно говорить как о результате своеобразного синтеза романного, историографического, дидактического, отчасти мифографического начала в средневековой литературе.

---

<sup>98</sup> *Benson. Op. cit.* P. 14.

<sup>99</sup> Бенсон прав, когда констатирует отсутствие в «Истории» Гвидо божественного провидения, как фактора развития описываемых событий, но разве этого достаточно, чтобы заявлять о том, что «“История” Гвидо и ее английские переложения являются хрониками и не имеют ничего общего с более возвышенными историями»? Ясно, что другим важнейшим критерием различия между «историями» и «хрониками» в Средние века выступала оппозиция *prolixitas*–*brevitas*. Непонятно, как может «История» Гвидо — с ее пространными дидактическими отступлениями, картинными описаниями времен года, унаследованными от «Романа» Бенуа де Сен-Мора любовными диалогами и т. д. — быть «хроникой», если отличительной чертой «хроники» является в Средние века ее относительная лаконичность.

<sup>100</sup> *Benson. Op. cit.* P. 8.



Заново поставленный вопрос о жанровой принадлежности данных текстов, позволил обратиться к проблеме их соотношения с мифом о троянском происхождении многочисленных знатных династий и народов средневекового Запада. Дополнительную важность данная проблема приобрела в свете публикации статьи Ф. Ингльдю «Книга Трои и генеалогическое истолкование истории: случай “Истории королей Британии” Гальфрида Монмутского»<sup>101</sup> и последующей ее критики Дж. Симпсоном в статье «Другая ‘Книга Трои’: “История разрушения Трои” Гвидо делье Колонне в Англии XIV–XV столетий»<sup>102</sup>. Обе статьи служат наглядной иллюстрацией трудностей, возникающих при включении наиболее популярных средневековых текстов о троянском прошлом в более широкий историко-культурный контекст.

Френсис Ингльдю попробовал увидеть за упоминанием в т. н. “*Scalacronica*” Томаса Грея (XIV в.) “*gest de Troy*” (призванной послужить — наряду с Библией — одним из ориентиров для этого автора) некую абстрактную ‘Книгу Трои’, содержащую все доступные позднесредневековому читателю сведения о легендарном городе древности и его судьбе. Исследователь связал этот гипотетический “мегатекст” с возрождением важнейших аспектов античной и, в частности, т. н. «вергилианской» философии истории, к числу которых относятся: а) генеалогическая преемственность между «древними» и «новыми» носителями земной власти, б) понимание более поздних событий истории в свете реализации старинных пророчеств, в) закономерное (и одновременно драматичное) отсутствие разграничения между «приватными» матримониальными или родственными связями/конфликтами и механизмами обретения, перераспределения и потери власти<sup>103</sup>. Все эти черты Ингльдю попытался обнаружить в знаменитой «Истории королей Британии» Гальфрида Монмутского, указав на

---

<sup>101</sup> *Ingledeu F.* The Book of Troy and the Genealogical Construction of History: The Case of Geoffrey of Monmouth’s *Historia Regum Britanniae* // *Speculum*. 1994. Vol. 69. № 3. P. 665-704.

<sup>102</sup> *Simpson J.* The Other Book of Troy: Guido delle Colonne’s *Historia destructionis Troiae* in Fourteenth- and Fifteenth-Century England // *Speculum*. 1998. Vol. 73. № 2. P. 397-423.

<sup>103</sup> *Ingledeu.* Op. cit. P. 666-669, 671-673.

данное произведение как на самый яркий пример использования «троянского происхождения» в качестве аргумента, подтверждавшего справедливость экспансионистских устремлений аристократии, а заодно и королевской власти.

Выводы, к которым приходит Ингльдью, вполне предсказуемы: в качестве носителя «вергилианской» философии истории псевдоисторический труд Гальфрида Монмутского не только успешно оправдывал нормандское завоевание Англии и стал «историографической матрицей» в период наивысшего расцвета анжуйско-нормандского «империализма» (т. е. годы правления Генриха II Плантагенета)<sup>104</sup>, но и в значительной мере определил развитие собственно «островного» исторического сознания, подпитываемого уже на новом витке экспансионизма (при Эдуарде I и Эдуарде III) все теми же выкладками, что и аудитория «Истории» и ее производных в XII в. Постепенно выходя за рамки аристократической культуры, логика исторического развития, предложенная Гальфридом Монмутским, превращалась в составляющую английской национальной идентичности. Видение истории сквозь призму великого и древнего происхождения обретало своей автономной единицей нацию, вступало в соревнование с историей единого народа Божьего, которая воспроизводилась в рамках «официальной» церковной (монастырской) традиции историописания<sup>105</sup>.

Джеймс Симпсон, отчасти соглашаясь с аргументацией Ф. Ингльдью, тем не менее, предпринял попытку оспорить функциональную однородность того «мегатекста», который служит исходной точкой в его построениях. В качестве альтернативной 'Книги Трои' он предложил рассматривать совокупность позднесредневековых английских переложений не раз упомянутой латинской «Истории разрушения Трои» Гвидо де Колумна. Отличительной чертой этих переложений, а равно и их латинского источника, Симпсону видится их отчетливо «анти-империалистский» (anti-imperialistic) характер, особый интерес к темам гибели земных властителей и крушения «империй» (вообще «мили-

---

<sup>104</sup> Ibid. P. 687-688, 695 ff.

<sup>105</sup> Ibid. P. 703-704.

таристских сообществ»), акцент на роковой, трагической роли матримониальных и экспансионистских устремлений героев повествования<sup>106</sup>.

Ориентированные, как и тексты, попавшие в поле зрения Ингльдю, главным образом, на аристократическую аудиторию, английские переложения «Истории» Гвидо заключают в себе, по мнению Симпсона, элемент критического отношения к аристократии (олицетворяемой греческими и троянскими героями-воинами), не способной прислушаться к советам и пророчествам ряда «мудрых» персонажей, отождествляемых Симпсоном с носителями клерикальной традиции. Позднесредневековые писатели, пересказывавшие «Историю» Гвидо, таким образом, исходят из современных им представлений о роли интеллектуальных, «бюрократических» процедур, нарушение которых воинами-аристократами приводит к гибели сообщества в целом<sup>107</sup>. Общий эффект оказывается противоположным «историографической матрице», некогда предложенной Гальфридом Монмутским: перед читателями и слушателями предстает не легитимирующий экспансионистские претензии аристократии рассказ, а проникнутое пессимизмом повествование, составитель которого, осознавая свою исключенность из придворно-аристократической среды, критикует (оплакивая их гибель) «сильных мира сего». Соответствующий позднесредневековый контекст может быть додуман без особых сложностей.

Принимая ряд наблюдений, сделанных Ф. Ингльдю и Дж. Симпсоном, в качестве точных и очень важных для объяснения места и роли троянских легенд в исторической культуре Средневековья, нельзя не отметить, что предлагаемые ими обобщения зачастую носят довольно умозрительный характер. В случае с Ингльдю обращает на себя внимание тот факт, что, представляя текст «Истории королей Британии» как средоточие имперской идеологии, восходящей к «Энеиде» Вергилия, он на чисто игнорирует различия между содержащимися в них «рассказами об основании». Различия очевидны при самом беглом знакомстве с текстами «Энеиды» и «Истории» Гальфрида, и они

---

<sup>106</sup> Simpson. Op. cit. P. 410 ff.

<sup>107</sup> Ibid. P. 411-413, 419-421.

весьма принципиальны. Укажем хотя бы на то обстоятельство, что тотальный провиденциализм «Энеиды» находит слабое выражение в «Истории королей Британии», равно как и характерная для Вергилия идея о вечности и незыблемости основываемой волею богов Новой Трои («История» Гальфрида в целом кажется доказательством обратного). Это не значит, что необходимо опровергнуть влияние «Энеиды» на представления о прошлом современников Гальфрида Монмутского (факт данного воздействия неопровержим), но скорее служит напоминанием о более чем тысячелетней дистанции между античным и средневековым образцами «генеалогического истолкования истории» и позволяет судить не столько о возрождении «вергилианского» понимания истории, сколько о процессе его сложной адаптации в иной культурной среде.

Что касается точки зрения Симпсона, то, старательно противопоставляя две традиции повествования о судьбе Трои, восходящие, соответственно, к «Истории» Гальфрида и «Истории» Гвидо де Колумна, он не учитывает, что оба эти произведения могли встречаться в составе одних рукописных сборников (такие случаи известны<sup>108</sup>), входить в книжные собрания одного и того же владельца (представляя в них некое подобие тематического «исторического» свода — в качестве примера можно привести две рукописи из коллекции Ричарда III, хранящиеся в РНБ<sup>109</sup>). Сходным образом, в одних и тех же рукописях иногда встречаются переложение «Истории» Гальфрида, созданное Робертом Васом («Роман о Бруте») и положенный в основу «Истории» Гвидо де Колумна «Роман о Трое» Бенуа де Сен-Мора<sup>110</sup>. При-

---

<sup>108</sup> Известны, по крайней мере, два средневековых кодекса, которые содержат в себе и «Историю разрушения Трои», и «Историю королей Британии» — это рукописи Harley 4123 (1349 г.) и Royal 15. C. XVI (XIV–XV вв.) из библиотеки Британского Музея в Лондоне.

<sup>109</sup> Более подробно см.: Маслов А. Н. «История разрушения Трои» Гвидо де Колумна в библиотеке короля Ричарда III // Актуальные проблемы исторической науки и творческое наследие С. И. Архангельского. Н. Новгород, 2003. С. 58–66.

<sup>110</sup> Это манускрипты: Montpellier, Bibliotheque interuniversitaire. Sect. medecine, H. 251 (вторая половина XIII в.) — “M1” по принятой в работах Констанана и Юнга классификации (*Constans*. Introduction. P. 16–19; *Jung*. Op.

влекательный образ клирика-«антиимпериалиста», с горечью повествующего о непонимании между древними «аристократами» и носителями «клерикальной традиции», не проявляется в тексте «Истории разрушения Трои» Гвидо де Колумна в «чистом виде»: вполне «клерикальные» по своему содержанию речи могут вкладываться в уста «аристократов»: в шестой книге «Истории» Гектор убеждает отца не поддаваться жажде мщения<sup>111</sup>, в двенадцатой книге Агамемнон многословно рассуждает о вреде гордыни, мотивируя необходимость переговоров с троянцами<sup>112</sup>. Хранителями «профетической» информации могут выступать не только священники или жрецы (отождествляемые в средневековой традиции с клиром), но и рядовые рыцари: так, по словам Гвидо, «некий рыцарь... по имени Пертей, сын Эвфорбия, великого философа, в которого, как рассказывает Овидий, переселилась душа великого Пиктагора (т. е. Пифагора)», обращается к царю Приаму с предостережением об опасных последствиях визита Париса в Грецию, о которых он многократно слышал от отца<sup>113</sup>. Ряд примеров, связанных с взаимосочетанием двух ролей — «милитаристской» и «клерикальной», можно было бы продолжить. Отметим также, что вопреки общему пафосу статьи Симпсона, известны случаи, когда переписчики XIV–XV вв. указывали на пользу «Истории» «для тех, кто занят посольствами»: многочисленные речи из сцен, где Гвидо описывал приемы посольств или советы, по всей видимости, рассматривались — вне зависимости от их кажущейся «де-бюрократизации» и торжества «милитаристского начала» — позднесредневековыми читателями в качестве удачных риторических моделей, своего рода образцов «дипломатического стиля»<sup>114</sup>.

---

cit. P. 116-122); Paris, Bibliotheque nationale, fr. 794 (XIII в.) — “E” по той же классификации (*Constans*. Introduction. P. 7-9; *Jung*. Op. cit. P. 185-194); Paris, Bibliotheque nationale, fr. 1450 (XIII в.) — “H” по той же классификации (*Constans*. Introduction. P. 40-42; *Jung*. Op. cit. P. 204-212).

<sup>111</sup> *Historia*. P. 59-60.

<sup>112</sup> *Ibid.* P. 104-106.

<sup>113</sup> *Ibid.* P. 65-66.

<sup>114</sup> См.: *Jung*. Op. cit. P. 566. М.-Р. Юнг говорит о существовании трех манускриптов «Истории» Гвидо (Chartres, BM 426; Bruxelles, BR 3732; Vat. Reg. lat. 765), текст которых заканчивается следующими словами: “Ex-

Разумеется, в огромном массиве средневековых легенд о Троянской войне при желании можно отыскать и довольно обескураживающие суждения о последствиях исхода уцелевших троянцев на запад. Все тот же Гвидо де Колумна, перечислив в начале второй книги «Истории» известные ему случаи заселения троянцами западных областей, замечает: «Сомнительно, стало ли столь значительное предательство (имеется в виду измена Энея и Антенора. — *A. M.*) причиной последующего блага»<sup>115</sup>. Однако подобные взгляды вряд ли могли пошатнуть убежденность средневековой аудитории в величии предков, какими бы опрометчивыми и вредными не казались те или иные их поступки. С другой стороны, медиевистам, естественно, не стоит абсолютизировать значение конкретных деталей той разновидности мифов *de origine*, которая представлена в Средние века легендами о троянских истоках Запада. Свидетельства о троянском происхождении, распространенные в литературной и историографической традиции Средневековья, не отличались особой стройностью, а определяемые ими идентификационные характеристики (даже самые важные) порой приносились в жертву изменившимся политическим реалиям.

---

plicit hystoria Troyana que utilis est litteratis personis ac illis qui exercent legationes principum et prelatorum”.

<sup>115</sup> Historia. P. 12.

## ГЛАВА 16

# «СВЯТОЙ ГОД» И «ВЕЧНЫЙ ГОРОД» ОБРАЗ ЮБИЛЕЙНОГО РИМА

Каждый пилигрим, посетивший Рим и его древнейшие христианские святыни (прежде всего, базилики Св. Апостолов Петра и Павла) в 1300 год от Рождества Христова, получал полное отпущение грехов. Так прошел первый христианский «юбилей», который был учрежден Папой Бонифацием VIII. На первый взгляд, нововведение и было обязано своим существованием инициативе этого незаурядного понтифика, который всеми силами способствовал возвеличиванию могущества Римской Церкви и провозглашал превосходство папской власти над всякой другой. При этом юбилей провозглашался как уникальный момент истории Церкви — всего один священный момент или срок покаяния, и последовавшее вскоре после этого ослабление папства и отсутствие понтифика в Риме (т. н. «авиньонское пленение пап»), как будто, должно было перечеркнуть возможность превращения новшества в последовательный ряд юбилеев в Вечном городе. Тем не менее, юбилей 1300 года не стал единичным событием, но положил начало традиции юбилейных «святых лет», как эти годы стали называть с 1475 г. Христианские римские юбилеи превратились не просто в большую страницу истории Церкви, но в своеобразный институт, который не прекратил своего существования до сих пор.

Естественно, возникает вопрос о том, что обусловило становление этой традиции, как произошла встреча двух разнородных историй — представления о святых годах (юбилеях) и о римской истории с преданием о Вечном Городе? И, наконец, как взаимно сказались, отразились друг в друге образы сакрального времени и сакрального пространства, став нераздельным целым — встречей юбилея в Городе Св. Петра?

Мы должны услышать своеобразные диалоги времени и места, переключку сакрального пространства и сакрального момента, в которые осуществились юбилеи, и объяснить не только смысл новой традиции христианского Запада — прощения паствы о полном отпущении грехов в определенные годовщины Рождества Христова, но и роль города с многовековой дохристианской историей в рождении этой традиции. И, прежде всего, нас интересует, что предоставили со своей стороны Рим и римляне для того, чтобы встреча юбилейного года неразрывно связалась с римской традицией в глазах всего латинского христианского мира. Образ вечного Рима на рубеже XIII века и Треченто, способы репрезентации образов сакрального времени и пространства — священного центра и юбилейного святого года на фоне расцвета письменной и визуальной культуры Италии — вот круг вопросов, который волнует автора работы.

На первый взгляд, ряд этих вопросов тривиален. Но нет сомнений, что это проблемное поле осложнено историографическими стереотипами, господствующими способами конструирования истории Рима, которые требуют разностороннего анализа. В частности, согласимся, что образ имперского раннехристианского Рима и Рима Возрождения и ренессансных пап преобладают в сознании и специалиста-историка, и поверхностно образованного читателя. Именно встречу двух миров — древнего имперского величия Города и роскоши Ренессанса и величия ренессансного папства — видят в традиции празднования римских юбилеев, а образ римского Средневековья как будто выпадает как лишнее звено.

Между тем, весьма важной представляется задача анализа самоидентификации средневековых римлян, той *цивитас*, которой продолжала именоваться римская община, а также интерпретации взаимодействия римских исторических реалий с восприятием средневекового человека, странника, впервые столкнувшегося со спрессованными веками римской истории как квинтэссенции истории романизованного мира. Необходимо проанализировать господствующие в историографии образы и реконструкции римской истории, а также проинтерпретировать то представление о Риме и «самопредставление» Рима, которые создавались до эпохи юбилея.



Ликующую паству, собиравшуюся в Риме при объявлении о юбилейном годе, составляли не клирики, приближенные к курии, и не аскеты, взявшие за образцы подвижников раннего христианства, и даже не ученые поклонники римской истории (хотя предтечи Возрождения — Данте и Джотто — отдали дань восхищенного внимания юбилею 1300 года). Прощение и даже требование особого «святого года» принесли другие средневековые персонажи — масса заурядных купцов и стряпчих, толпа странников и бродяг, требующая хлеба и зрелищ челядь римских аристократов. О чем думали эти люди и к чему стремились, что в окружавшем их римском городском пейзаже вдохновляло на дерзновенное требование, обращенное к понтифику — простить грехи тем, кто приобщился к Вечному городу и его святыням? Почему это случилось именно на излете XIII столетия?

Каждый из этих вопросов является весьма интригующим для исследователя, хотя вряд ли можно получить неопровержимо обоснованный ответ хотя бы на один из них. Важно и возможно понять не только что находилось в поле зрения и обсуждения свидетелей эпохи, но и то, как традиции изложения и изображения отдельных событий и всей римской истории влияли на складывающуюся картину восприятия юбилея в Риме. Как при описании Вечного Города и римских торжеств перекликались образы и топосы, выработанные в разные времена, казалось бы, принадлежавшие совершенно несхожим пластам культуры? Как, наоборот, в широкой палитре, совершенно с различных точек зрения могли быть описаны и освещены одни и те же исторические реалии сверстниками и современниками<sup>1</sup>?

---

<sup>1</sup> Историографическая ситуация такова, что при общем большом потоке литературы по теме паломничеств и, в частности, римских паломничеств, очень незначительный объем составляет библиография, отражающая рефлексию авторов по теме трансформации коллективного или индивидуального сознания и памяти в процессе пилигримажа, попытки анализа восприятия исторических реалий современниками паломничеств. Отметим, что это, прежде всего, англоязычные авторы, фокусирующие внимание на восприятии и историческом сознании пилигримов — выходцев из Англии: *Parks G. B. The English Traveler to Italy. Vol. 1. The Middle Ages (to 1525)*, Edizioni di Storia e Letteratura: Rome, 1954; *Grossi J. L. Jr. Uncommon Fatherland: Medieval English Perceptions of Rome and Italy* (John Lydgate, John Cap-

Итак, мы знаем, что юбилейный год, который провозгласил низринутый французским монархом папа накануне своего падения, как это ни странно, не только не стал последним, но был повторен по историческим меркам весьма скоро: быстрее, чем успела измениться политическая ситуация в Европе. Юбилей был объявлен через 50 лет, когда папский двор все еще находился во французских владениях. Юбилейное отпущение грехов было возобновлено, но на этот раз пилигримы не могли получить благословение от папы в Риме, поскольку даже в период принятия решения и провозглашения нового юбилейного года наместник св. Петра отсутствовал в апостольском граде. Столица христианского мира не видела великого понтифика долгие годы, в то время как новшество юбилеев превращалось в традицию и обычай Вечного Города. Одно это обстоятельство заставляет задуматься о том, что большую роль в учреждении и поддержании обычая «юбилеев» сыграл не только папский престол.

Христианский культ всегда был связан с городской культурой, будь то начало христианской эры<sup>2</sup> или время возникновения нищенствующих орденов на латинском Западе. Но Рим — это особый случай и особый город, точнее даже — архетип города. Многие наводит на мысль о том, что решающее значение в укоренении традиции стал сам Вечный Город, некий культ Рима, проявившийся в самосознании христианского мира в целом, и образы Рима, созданные в той или иной среде — как возникшие в сознании средневековых горожан, так и поддерживаемые имперскими или папскими притязаниями. Память о первом юбилее и образ Рима, запечатленный его свидетелями, культурно-историческая коллективная память поколения заставили невиданное и необычное событие превратить в событие повторяющееся, а со временем — в обычай, очевидцем и участником которого может стать любой, каждое поколение христиан (именно этим мотивировалась необходимость проводить юбилеи чаще).

---

grave, *Anglo-Italian Relations*). Ohio State University. Ph.D. Dissertation. Advisor Chr. K. Kacher. 1999.

<sup>2</sup> *Baldovin J. F. The Urban Character of Christian Worship: The Origins, Development, and Meaning of Stational Liturgy // Pont. Institutum Studiorum Orientalium. Rome, 1987.*

Успех и популярность римских юбилеев привели к тому, что святые юбилейные годы стали провозглашать сначала раз в 50, затем в 33 и даже 25 лет.

Что касается нововведения — празднования «святых лет», то инициатива была проявлена не столько клиром, сколько миром и именно в Риме. Под новый 1300 год, точнее, в канун Рождества 1299 года, толпа верующих в Риме как будто стихийно стала требовать от понтифика особого отпущения грехов в честь наступающего нового века. Папа, справившись с авторитетами и церковными хрониками, не нашел и не мог бы найти никакого точного аналога для учреждения празднования юбилейной даты с провозглашением полного прощения грехов, чего требовал «глас народа», причем именно в кратный столетию год от Рождества Христова.

В иудейско-христианской традиции, однако, существовало представление о юбилейных годах милости и благодати<sup>3</sup>. Интересно, что в библейском представлении о юбилее проявлялась символика числа семь, в то время как современное сознание четко ассоциирует юбилей со столетием или кратным столетию числом. Семикратное повторение семилетнего цикла давало число 49, и уже отсюда следовало, что 50-й год должен быть особым годом. Эта сакральная символика половины столетия и могла быть подхвачена христианами. Возможно, кроме библейского концепта юбилея и святого года «отпущения» на основе семилетних циклов, сыграла свою роль и историческая память о традиции, известной как *ludi saeculares* и упомянутой Горацием “*Carmen Saeculare*”.

Так или иначе, понтифик пошел навстречу пастве и решился на спорный шаг именно на рубеже XIII и XIV столетий. Появилась специальная папская булла, подводившая основание под нововведение *Antiquorum fida relati* (хотя в булле нет упоминания самого слова «юбилей»). В названии же сочинения современника и идео-

---

<sup>3</sup> Символика Дней Творения и Субботы перенесена была на семилетку, и седьмой год также считался годом благодати и отдохновения, когда прощались долги и отпускались на свободу рабы. Семикратное повторение семилетнего цикла давало число 49, в 50-й год отдохновения и милости предполагалось, что верующие, уповая на щедрость Бога, должны отрешиться от заботы об урожае, и каждый соединиться со своим племенем. (Leviticus Лев. 25:10,12).

лога нововведения (юбилея 1300 года) кардинала Якопо Стефанески, отпрыска исконно римских семейств *Stefaneschi* и *Orsini*, содержатся оба ключевых слова — «юбилей» и «столетие»: *De Centesimo seu Jubileo anno liber*. Так открылась эпоха юбилеев христианского мира и новая эра в истории Вечного Города.

Интересны для историка не столько канонические аспекты сами по себе, сколько детали и цели поощряемого в юбилейный год паломничества в связи с темой Вечного города. Примечательно, что речь шла не о причастии, получаемом на богослужениях с папским присутствием в главных храмах латинского Запада, но именно о «посещении» древнейших центров христианского культа, своего рода — римских достопримечательностей. Можно увидеть парафраз библейского повеления соединиться со своим племенем в предписании оставить все дела в юбилейный год для длительного путешествия и очутиться в Риме — как духовной прародине западных христиан. При этом устанавливалась специальная «норма» для двух категорий христиан — не для клириков и мирян, и не для мужчин и женщин, но для римлян и неримлян. Римлянин должен был посетить святые места на срок в два раза больший, чем пришелец. Для странников, проделавших дальний путь в Рим, требовалось 15-кратное посещение древнейших в Европе мест культа Петра и Павла, Богородицы (базилик Санта Мария Маджоре и Санта Мария ин Трастевере) и Св. Креста (Санта Кроче ин Джерусалеме).

Свидетели святого 1300 года, люди, которые жили после этой даты, и те, кто были очевидцами становления традиции святых лет в XIV–XVI вв. (т. е., по нашим представлениям, современники Ренессанса), скорее назвали бы свое время эпохой Юбилея, а не Возрождения. Юбилеи, соответственно, ассоциируются с Возрождением и новым расцветом Рима, ренессансный Рим — это главный образ, который существует, как в представлении рядового туриста, так и в историографии истории Рима после падения Империи<sup>4</sup>. Остается решить вопрос, что же было исторически первичным в связке Рим – Юбилей – Ренессанс? Юбилеи ли

---

<sup>4</sup> *Stinger Ch. L. The Renaissance in Rome. Bloomington, 1998; Partner P. Renaissance Rome 1500–1559. Berkeley, 1976. Introduction; Partridge L. The Art of Renaissance Rome, 1400–1600. N. Y., 1996.*

способствовали возвышению Рима или Рим породил христианскую традицию юбилеев, новая ренессансная мода на античную историю привлекла внимание к Вечному городу или возрождение римской *дивитас* началось задолго до Ренессанса, а притягательность города действительно оставалась вечной, от темных веков до века ренессансного гуманизма?

Естественно, Рим всегда был местом поклонения, а с началом христианской эры прошел путь от оплота гонений и сопротивления новому культу до основного центра, столицы христианского мира. Вечный Город — Рим имперский, Рим могущественной папской курии, Рим — средоточие христианских и святынь, должен был стать не тем образом столицы империи зла, которым его запечатлели ранние христианские авторы, а местом чудес и паломничества. Путешествия и паломничества в Рим составляли особую страницу в истории средневекового христианства<sup>5</sup>.

Итак, паломничества в Рим к христианским святыням, конечно, практиковались до начала Треченто, но никак не связывались с необходимостью совершать их по особым датам<sup>6</sup>. Только в некоей особой точке пересечения истории церкви и истории римского паломничества встретились и наложились друг на друга представления о юбилейном святом времени и об очистительном посещении святыни. Только при этом совпадении сакральности момента и места действия паломника возник образ юбилейного Рима<sup>7</sup>. Особенности пилигримажа в эпоху юбилеев, изменения, коснувшиеся тех дорог, центров, через которые следовали пилигримы, а также самих форм гостеприимства, составляют особую сферу исследований, которые интенсивно развиваются в последние годы<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> *Birch D. J.* Pilgrimage to Rome in the Middle Ages: Continuity and Change. Woodbridge, Suffolk; Rochester, N.Y., 1998; *Cahn W.* Margaret of York's Guide to the Pilgrimage Churches of Rome // Margaret of York, Simon Marmion, and the Visions of Tondal: papers delivered at a symposium organized by the Department of Manuscripts of the J. Paul Getty in collaboration with the Huntington Library and Art Collections, June 21-24, 1990. Malibu, 1992. P. 89-98.

<sup>6</sup> Birch D.J. Pilgrimage to Rome...

<sup>7</sup> *Hulbert J. R.* Some Medieval Advertisements of Rome // *Modern Philology*. 20. 1922-23. P. 403-424; *Cahn W.* Margaret of York's Guide... P. 89-98.

<sup>8</sup> Интересный пример — работа независимого венгерского исследователя, который руководит на протяжении десятилетия работой лаборатории визуальных ресурсов Центрально-Европейского Университета в Будапеште:

Но для эпохи Высокого Средневековья и начала Ренессанса в Италии понятия сакрального пространства, святых мест и тема паломничества связаны с собственно христианской традицией не так четко и прямолинейно, как это представляется на первый взгляд. Формы паломничества в период Средневековья (особенно позднего средневековья) также нельзя свести к одной единственной модели, а осуществление миссии пилигрима было возможно наряду с другими способами удовлетворить «охоту к перемене мест», дух бродяжничества, которым жило Средневековье.

С началом нового тысячелетия (с XI по XIII столетие в особенности) умножились формы небезвозмездного гостеприимства, по мере роста числа пилигримов в эпоху Крестовых походов усложнились все структуры, все виды социальной коммуникации, сопутствующие жизни паломника<sup>9</sup>. Несомненно, что и эти предпосылки сыграли свою роль в увеличении масштаба паломничества, а все возраставший поток паломников затем запускал новые механизмы обеспечения взаимодействия пилигримажа и гостеприимства в итальянских землях. При этом, речь идет, разумеется, не о феномене десакрализации, а о более сложной взаимосвязи тех компонентов культуры, которые мы теперь расчлняем в виде понятий мирского и сакрального, но которые, однако, оставались неразделимыми в сознании средневекового человека.

Таким же двуликим, как и феномен странничества и гостеприимства, был и средневековый город Рим, облеченный сакральным и мирским величием: его неоднозначные образы неразделимо существовали в восприятии паломников. Однако, зададимся, наконец, вопросом, чем Рим Средневековья мог поразить воображение и выделиться из ряда процветающих городских общин Италии? Каким могли увидеть Город пилигримы, призванные папой Бонифацием Каэтани для полного отпущения грехов в Рим в 1300 г.? Почему юбилейный год был провозглашен тогда, когда христианство просуществовало в Риме около тысячи лет? Почему это массовое паломничество случилось лишь в начале эпохи Ренессанса?

---

*Szabo Th.* Le vie per Roma // *Storia dei Giubilei*. Volume primo: 1300-1423. P. 70-89.

<sup>9</sup> *Peyer H. C.* Viaggiare nel medioevo. 4 ed. Bari, 2005. P. 62-146 (особенно p. 70-73).

Не потому ли, что Рим, средоточие христианских святынь, демонстрировал паломникам еще и культ Города, миф Города, который был в равной степени востребован сознанием человека того времени<sup>10</sup>. Во всяком случае, это один из возможных ответов и, без сомнения, важный образ, запечатленный, если не созданный в эпоху юбилеев. Можно смело утверждать, что востребован был образ прошлого величия Рима, а не средневековые реалии. Но важно, что именно средневековая культура сама и подготовила для себя этот образ прошлого, особый блеск величия Вечного Города, в свете которого засиял и Рим эпохи Треченто.

Античность оставила в наследство Средневековью настоящую сокровищницу образов власти и способов манипулирования этими образами. Силой, вызывающей античные образы (языческие и раннехристианские) к жизни в новую эпоху, являлись потребности и особенности самоидентификации различных групп средневекового общества. Я имею в виду как коллективное сознание римлян и, прежде всего, элиты римской цивитас, так и активную позицию папства в освоении античного культурного наследия<sup>11</sup>. Для исследования восприятия образа Рима важна тема континуитета античного города, но интересны также и особенности традиции городской символики: способов утверждения величия городской общины и демонстрации богатства и могущества, также имевшей символический характер.

Рим был и оставался общиной, со своими традициями общественной жизни и распорядителями. В Средневековье Вечный Рим должен был потратить много сил для того, чтобы отстаивать свою городскую вольность и чтобы удерживать за собой особое место среди окружавших его общин и городов, подчинять их своему влиянию. Естественно, что городской общиной Рима были

---

<sup>10</sup> *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albin. Torino, 1998.

<sup>11</sup> *The Renaissance in Rome* / Ed. by Ch. L. Stinger. Bloomington, 1998; *Jacks P. J. The Antiquarian and the Myth of Antiquity: the Origins of Rome in Renaissance Thought*. Cambridge, 1993; *Holmes G. Florence, Rome, and the Origins of the Renaissance*. Oxford, 1986; *Esch A. Rome entre le Moyen Age et la Renaissance* / Stuttgart, 2000; *Elsner J. Imperial Rome and Christian Triumph: the art of the Roman Empire AD 100–450*. Oxford – N. Y., 1998.

задействованы рычаги права и закона, были использованы традиции и обычаи, римские празднества, ритуалы и церемонии вовлечения округа в зону римского воздействия. При этом кажется, что огромную роль в претензиях Рима на господство в округе и их частичном удовлетворении и поддержании римского авторитета (как в раннее Средневековье, так и в поздний его период) играли именно основания нематериального порядка.

Как известно, средневековый Рим уже не являлся крупнейшим и богатейшим среди городов Италии по сравнению с Венецией или Флоренцией, центрами интенсивного развития экономики, Рим не мог поразить воображение масштабами и интенсивностью городского развития. Разумеется, фразы о средневековом запустении Рима более подходят для популярной литературы, в то время как в научной литературе развиваются представления о моментах позитивной динамики урбанистических структур средневекового Рима и чертах континуитета в развитии значимых центров поселения.

Численность населения — это, разумеется, не определяющий, но наиболее наглядный показатель развития города. Именно численностью населения поражали современников мегаполисы — императорский древний Рим или Константинополь времен расцвета Византийской империи. Средневековый Рим явно выпадает из этого ряда образов. Рим Средневековья все еще выделялся среди небольших городов римского региона с населением в 3–6 тыс. жителей. Разрыв этот, конечно, был в пользу Рима в Лации, но не напоминал о былом превосходстве древнего Рима над другими городами (кроме того, в период позднего Средневековья в Италии уже были города-коммуны, которые вмещали в своих стенах более 100 тыс.).

Классический труд Краутхаймера, дающий представление о преемственности развития структур урбанизма, рисует достаточно впечатляющую картину населения средневекового Рима<sup>12</sup>. Некоторые же другие исследователи склонны считать, что в апогее своего развития, т. е. около 1300 г. Рим входил в достаточно распространенную категорию — вторую по численности жителей группу

---

<sup>12</sup> *Krautheimer R. Rome. Profile of a City, 312–1308. Princeton, 2000.*



городов с населением от 40 до 80 тыс. Хотя произнести это словосочетание «Рим в числе городов второй категории» просто невозможно, но ясно, что Рим средневековый не имел полного сходства с огромным античным мегаполисом, несравнимым ни с одним городом римской державы. Средневековый Рим, апостольская столица, в начале XIII в., вероятно, насчитывал всего около 17 тыс. горожан, а к юбилейному 1300 году явно превысил 30–40 тыс. жителей. К концу XIV в. число жителей Рима резко убавилось<sup>13</sup>.

И все же образ Рима — Вечного Города был чарующим для сознания людей средневекового мира. Здесь было средоточие церковных конгрегаций, сюда стекались потоки паломников, многие из которых желали остаться на долгий срок подле христианских святынь. Но и мирские интересы, в частности, возможность пополнить ряды клиентов и «верных» могущественных римских аристократов, влекли их в Рим. Риму в результате была присуща характерная для столиц и крупных городов перенаселенность и нехватка продуктов питания. Хотя бы для удовлетворения собственных потребностей в провизии Рим должен был добиваться господства над округой. Военное превосходство Рима над округой и военное могущество элиты — эти черты могли показаться странникам и пилигримам из разных уголков Европы более близкими и понятными, чем устройство других итальянских коммун, где власть принадлежала торгово-ремесленным кругам. Именно военная сила, римский рыцарский нобилитет выступали гарантом возможности обезопасить дороги и добиться относительной стабильности и единения округи вокруг Рима. Итак, не сложно объяснить, почему цеховые ремесленные круги вносили меньшую лепту, чем это типично для коммун Севера и Центра Италии, как в управление делами городской коммуны, так и в развитие городской символики. Нобилитет, напротив, играл ведущую, знаковую роль в прямом и переносном смысле. Важно осознать это положение в связи с особенностями знаковых репрезентаций города.

---

<sup>13</sup> В отношении проблем демографического развития полезный материал содержит исследование Вечного города к началу юбилеев: *Hubert E. Rome au XIV siecle: population et espace urban. Rome des jubiles // Medievales. 40. 2001. P. 43-52.*

Особенности развития римской городской общины воплотил собой институт сенаторского правления. «Восстановление» сенаторского правления было провозглашено в момент, который считается или, по крайней мере, ассоциируется с наиболее радикальным демократическим переворотом в социальной истории Рима. При этом важной задачей «возобновленного» сената для римлян-современников этого процесса *renovatio* было подчинение города Тиволи, античного Тибура. Подчинение этой сильной коммуны коллективной власти Рима<sup>14</sup> и риторическое и правовое обоснование этого события показывают явное стремление возродить дух Рима древнего, уже не имперских амбиций города, но дух цивитас-воительницы, дух раннего Рима периода борьбы за Лаций. Эта задача была успешно выполнена под руководством римских сенаторов. Сенаторы стояли во главе римской коммуны с 1143–44 гг., времени первых успешных войн с городами округи<sup>15</sup>. Но если большинство итальянских коммун в этот период принимало на высший коммунальный пост уроженцев других городов, не причастных к соперничеству между членами коммуны, то институт сенаторов достаточно прочно держала в своих руках именно римская аристократия<sup>16</sup>. Думается, что для современников систе-

---

<sup>14</sup> Военная экспедиция против Тиволи была предпринята Римом и около середины апреля 1254 г., в период демократического режима Бранкалеоне из Болоньи, в момент, когда позиции аристократических семейств в городе, а значит, и в войске, были ослаблены. Победа, достигнутая уже к лету того же года, принесла обильные плоды на пользу всей коммуне Рима. По договору Тиволи с Римом от 1257 г. коммуна Тиволи обязывалась уплачивать ежегодно 1000 лир провизинами сената или одну десятую часть совокупного дохода коммуны и, кроме того, отныне все нововведения в Тиволи подвергались цензуре со стороны Рима: *Statuti della Provincia Romana*. I. P. 153, 263-267: «...ordinamenta et statuta Tiburis per comune Urbis hactenus conrecta... et si que de nuovo per comune Tiburis fierent, per comune Urbis corrigantur...».

<sup>15</sup> *Parmer P.* The Lands of St. Peter. The Papal State in the Middle Ages and the Early Renaissance. Berkeley and Los Angeles, P. 179-182.

<sup>16</sup> См., например, в качестве источников: *Codice diplomatico del Senato Romano*. V. I. Roma, 1948. *Statuti della citta di Roma*. Roma, 1880. Богатый источниковый материал по истории средневекового подестага в Италии собран в коллективном труде, изданном Французской Школой в Риме: *I podesta della Italia comunale*. V. 1-2. Roma, 2000. В этом фундаментальном исследовании представлена статистика исполнения высших коммунальных

ма средневекового сенаторского правления воспринималась как прямое продолжение древнего института.

Кроме институциональной символики влияния, использованной элитой, нельзя не заметить и визуализации власти нобилей, в городском ландшафте.

Символическая сакральная зона Рима — семь холмов — были включены в сферу доминирования нобилитета. Холмы, на которых римляне долгое время избегали селиться из-за недостатка воды, были заняты знатью<sup>17</sup>, что позволяло осуществлять контроль над целыми городскими кварталами, а кварталы эти, как известно, в период Средневековья имели своими центрами церкви.

Римляне-нобилы, бароны Рима, а не коммуна обладали стратегически важными укреплениями Города. Господство римских нобилей преобразило средневековый городской ландшафт не менее, чем постройка крупнейших в христианском мире церквей. Башни и укрепления, воздвигнутые нобилеями, символизировали мощь и неприступность средневекового Рима. В группу сильнейших городских нобилей входили роды Орсини, Колонна, Конти, Аннибальди, Франджипани. Именно эти семейства владели стратегически важными опорными пунктами в Риме: башнями, цитаделями, замками. Укрепленные дома и замки северной части Рима от ворот Порто дель Пополо, Кампо Марцио и до Квиринала включительно контролировали Колонна. Именно через эти ворота

---

должностей иноземцами на Севере Италии, в центральных ее землях, а также в Папской области. Важнейшие работы разных лет по указанной теме: *Cortonesi A.* Terre e signori nel Lazio medioevale. Un economia rurale nei sec XIII–XIV. Napoli, 1988. Lazio meridionale tra papato e l'impero al tempo di Enrico VI. Roma, 1991; *Tomassetti G.* La campagna romana antica, medioevale e moderna. Vols. 1-2. Roma, 1910. Vols. 3-4. Roma, 1925; *Toubert P.* Les structures du Latium medieval: Le Latium meridional et la Sabine du IX a la fin du XII siecle. Roma, 1973.

<sup>17</sup> См. например, новую, но уже выдержавшую второе издание работу, заключающую в себе интереснейшую историю средневекового Палатина, к которому вернулось значение политического символа уже к VII–VIII в., а в рассматриваемый нами период перешла роль оплота аристократического рода Франджипани: *Augenti A.* Il Palatino nel Medioevo. Archeologia e Topografia (sec. VI–XIII). Roma, 1996. (Ristampa 2001). См. также: *Early Medieval Rome and the Christian West. Essays in honour of D. A. Bullough / Ed. by J. M. H. Smith.* Leiden, 2000. P. 43-54.

паломники обычно и проходили в Рим. Род Орсини, их извечные соперники, стремились укрепиться в районах, граничивших с кварталами Колонна, к юго-востоку от них (Сан Агостино, Пьяцца Навона), а на другом берегу Тибра опирались на мощнейший замок Каstellь Сан Анджели, имели владения вокруг церкви Сан Пьетро. И рост значения Ватикана как части городского целого произошло благодаря усилению контролировавшего этот район рода Рима. Оба рода — и Колонна, и Орсини — приписывали себе происхождение от древнеримских фамилий, однако имеющиеся данные этого не подтверждают; скорее всего, они получили владения в Риме и округе не ранее конца XI – начала XII в.

Савелли, державшие позиции у Театро Марчелло и на Авентинском холме, являлись ветвью рода Крешенци, известных уже в X в. графов Сабина, имевших резиденции и в Риме. Владение одного из старейших римских семейств — Франджипани — группировались вокруг Колизея, на Палатине. Франджипани боролись и за холмы вокруг Чирко Массимо, а с другой стороны контролируемая ими зона доходила до самой святыни католического Рима — Сан Джованни ин Латерано. Далее латеранский квартал держали в своих руках Аннибальди, как и холм Эсквилин, связанный для христиан с легендой о строительстве базилики и августовского снегопада. Аннибальди имели в руках важнейшую цитадель — башню Милициис, которая давала ее владельцу право на особый титул (в начале XIV в. их вытеснили отсюда Гаэтани — папские nepоты). Таким образом, и христианские святыни Рима, так или иначе, подпадали под контроль благородных семейств Города.

Что касается отображения Рима *sensu stricto* — в виде планов и карт, то и этот вопрос имеет непосредственное отношение к теме нашего исследования, к образам и ментальным проекциям Рима, созданным к эпохе юбилеев. Наиболее известный эпитет Города — Вечный — был далеко не единственным, подчеркивающим преемственность Античности и Средневековья. Существовала как бы вневременная, пространственная образность, передающая суть Города, которая, пожалуй, не являлась не менее важной и для античного, и для средневекового сознания. Это была ассоциация Рима с царем зверей, представление города в виде льва, и употребление эпитета «львиный образ» (“*forma leonis*”).

Этот образ был краеугольным для развития и восприятия средневековой римской цивитас как для средневековых римлян, так и для пришельцев-пилигримов<sup>18</sup>. Есть примеры образцов средневековой картографии, а также нарративов, использующих этот образ. Например, “*Liber ystoriarum Romanorum*” — иллюстрированный манускрипт конца XIII в., предположительно выполненный в самом Риме и содержащий страницу, озаглавленную “*Roma aedificata amuodo de liono*”<sup>19</sup>.

При этом возникали попытки интерпретировать символически место нахождения этих баронских оплотов на карте Города. Голова или брюхо зверя — львиного образа средневекового Рима — включает в себе родовое гнездо того или иного римского семейства? Эти вопросы, связанные с символикой Города, не казались отвлеченными средневековому сознанию. Наоборот, эти проблемы были насущными, и ответы на вопросы о том, как можно интерпретировать городскую символику, зависели от сиюминутных политических амбиций и политического расклада сил в средневековом Риме. При этом городская топонимика, и даже сам вид нобильских твердынь и родовых владений в Риме создавали для наблюдателя-современника картину, которая была насквозь пронизана символическим смыслом.

Рассмотрев некоторые аспекты влияния нобилитета городской элиты на процессы осмысления средневекового образа Рима, необходимо все же вернуться к роли папства в создании нового средневекового образа Вечного Города. Мы исходили из того, что папство не могло быть единственным виновником возвеличивания Рима и распространения идеи римских юбилеев, однако к эпохе юбилеев римская курия и ряд пап этого времени (в социальном плане они представляли собой круг образованных отпрысков итальянской элиты, прежде всего римского нобилите-

---

<sup>18</sup> *Guidoni E.* Roma e l'urbanistica del trecento // *Storia del arte italiana*. Torino, 1979–83. Vol. V. P. 309–316.

<sup>19</sup> Этот вопрос разбирается историками нечасто, зато имеющиеся примеры анализа можно назвать блестящими. Образцовым исследованием, и по объему интерпретируемых источников, и по разнообразию сюжетов, и по содержательности изложения, на мой взгляд, является: *Jacks Ph.* *Antiquarian and the Myth of Antiquity*. P. 54.

та) занимали весьма активную позицию в деле освоения античного наследия и использования римского мифа для собственного политического усиления.

Две традиции — восходящие к апостолу Петру и императору Константину — легли в основу политических концепций папства XII века. Понятно, что в качестве константиновских памятников часто воспринимались произведения, созданные в IV–VI вв. Можно сказать, что все или почти все планы римских церквей XII века восходят к этим прототипам. С точки зрения историка искусства, в этом случае историческое прошлое как будто пересиливало более современные тенденции и не давало двигаться вперед. Но с точки зрения историка Средневековья в этом поведении нет ничего архаизирующего, есть только умение сделать актуальным и созвучным современности наследие прошлого. Моделями, к которым мастера обращались наиболее часто, стали Сан Паоло «за стенами» (S. Paolo fuori le mura), Латеранская базилика и баптистерий, Санта Мария Маджоре (S. Maria Maggiore), сан Лоренцо (S. Lorenzo) и Санта Аньезе за стенами (S. Agnese f.l.m.). Продолжавшие быть открытыми взорам античные (раннехристианские) детали убранства играли не просто декоративную роль, но роль катализатора интереса и вкуса к присвоению античности<sup>20</sup>.

Возрождение раннехристианских моделей активно проявилось в самом Риме не ранее 1100 г., притом, что в непосредственной округе Рима, можно найти более ранние примеры воплощения того же процесса. На полстолетия раньше аббат Дезидерий выстроил и украсил новую монастырскую церковь Monte Cassino. Сам Дезидерий был учеником Григория VII и мог стремиться воплотить концепцию реформированной церкви посредством использования раннехристианских моделей.

Особое значение приобретает и другая тенденция. Вероятно, именно в годы церковной реформы при Григории VII или чуть позднее в Риме появляются фресковые житийные циклы, посвященные прославленным римским святым и мученикам. Вот лишь краткий перечень примеров проявления и усиления интереса к

---

<sup>20</sup> *Henkels H.* Remarks on the Late 3th century Apse Decoration in S. Maria Maggiore // *Simiolus*. IV. 1971. P. 128-49.

местным культам: обращение римских заказчиков к образам: св. Алексея — в нижней церкви S. Clemente, св. Цецилии — в посвященной ей церкви в Trastevere (1099–1118) (сохранился лишь поврежденный фрагмент), в S. Urbano alla Caffarella (около 1090 г.) и в S. Pudenziana. Интересен и живописный цикл церкви S. Crisogono 1057–58 гг., посвященный св. Бенедикту, римскому уроженцу и родоначальнику западного монашества.

В тиражировании этих программ чувствуется уже вполне светский дух прославления великого города, а не только поклонение святым. Конечно, тем же объясняется и наличие нобильской эмблематики в римских церквях — гербов аристократических семейств города. Социальные особенности формирования как римской элиты, так и высшей церковной иерархии, находившейся в Риме, обусловили определенные черты патронажа произведений искусства и сам подъем искусств, обеспеченный щедрым покровительством.

В последней трети XIII – начале XIV в. Рим испытывает прилив новых художественных сил и влияний мастеров нового плана. Меняется сама структура храмов и городского пространства. Гений этой эпохи Арнольфо ди Камбио создает около десятка проектов величественного характера, как по заказу папы, так и по поручению представителей нобильских фамилий<sup>21</sup>. Монументализм этих произведений уже прямо соперничал с выражением силы и власти римских правителей, запечатленным позднее — античным искусством. Статуя Св. Петра, невиданное строительство гробницы папы Бонифация, монумент Луки Савелли, представителя одного из самых могущественных родов Рима (в церкви Санта Мариа ин Ароцели) были готовы к юбилейному году и предстали перед взорами изумленных паломников.

Любопытно (но не удивительно в свете вышесказанного), что в эти века не существовало конфронтации между клиром и миром Рима, не было эстетического диссонанса между вкусовыми предпочтениями римских церковных иерархов и горожанами Рима, или, по крайней мере, церкви и элиты общины, которая и

---

<sup>21</sup> Gardner J. Arnolfo di Cambio and Roman Tomb Design // Burlington Magazine. CXV. 1973. P. 420-423.

выступала обычно в качестве заказчиков. Это не только не удивительно, но закономерно, если проследить историческую близость римского папства и римского нобилитета, которая, сложившись в период поздней Античности, стала чертой средневековой жизни Рима. Паганизму античного искусства были подвержены произведения, выполненные по заказу не только донаторов-мирян, но и лиц духовного звания. Папские троны, стоявшие в *S. Maria in Cosmedin*, *S. Lorenzo in Lucina*, *S. Clemente*, поражают обилием подобных языческих элементов: декором, в котором преобладали играющие путти, гербы и венки античной формы. Весьма важной чертой рубежа XIII в. и Треченто, т.е. начала эры юбилеев, стало возрождение монументальной скульптуры, которое получило дальнейшее развитие в эпоху Ренессанса. Особенности патронажа искусства в Риме эпохи Средневековья и Ренессанса надо учитывать, составляя представление о юбилейном Вечном Городе, образ юбилейного Рима<sup>22</sup>. Все свидетельства городской силы и мощи отражали одни и те же основные идеи.

Мы рассмотрели лишь некоторые основные образы из числа визуальных и текстуальных воплощений идеи уникальности римской городской культуры и черт преемственности ее античного и средневекового бытования. Обращение к античному и раннехристианскому наследию в памятниках римского искусства, безусловно, имело политические коннотации. Бесспорно, древняя римская слава стала частью нового городского мифа, наследие раннехристианского Рима — законной долей славы папского средневекового города. И то, и другое помогало представить Рим центром мира.

Символические репрезентации важны для любой городской общины, для городской культуры Средневековья в целом. Но Рим — Вечный город — был определенной моделью, архетипом городской жизни. Для подтверждения права и статуса *цивитас* необходимо было доказать, что средневековая община является наследницей древней традиции и славы.

Свидетельствами могущества римской идеи призваны были стать и прекрасные величественные общественные и частные

---

<sup>22</sup> *Hetherington P.* Pietro Cavallini, Artistic Style and Patronage in Late Medieval Rome // *Burlington Magazine*. CXIV. 1972. P. 4-10; *Partner P.* Renaissance Rome... *Partridge L.* The Art of Renaissance Rome...



здания, многолюдность города, размах торжеств и празднеств, заказ масштабных фресковых росписей и грандиозных скульптур.

Разнообразные интерпретации традиций античности в сакральном пространстве города, в его храмах, свидетельствовали не только о том, что папы мыслили себя непосредственными наследниками имперского Рима, но и о том, каким образом они могли восприниматься средневековыми горожанами, ибо использовать в целях пропаганды можно только то, что кажется понятным и доступным. К сожалению или к удовольствию, но именно таким актуальным образом историку приходится рассматривать произведения вечного и прекрасного искусства. Ведь не надо напоминать, что утилитарность и целенаправленность в средневековой ментальности и идеологии не только не противоречила эстетической ценности, но и предполагала ее, как необходимый и пробуждающий христианские чувства мотив.

Мы отметили, таким образом, что и папство, и городская община Рима не упускали случая подчеркнуть преемственность с былой славой Рима. В какой-то мере обе стороны имели моральное право на древнеримское наследие, ибо и Город, и Церковь не дали погибнуть многому из античного богатства, причем не только материального, но и идейного.

Да, риторика и аллюзии, связанные с образом Вечного Города, не побудили коммуны Италии или, хотя бы, соседние общины римской округи добровольно предоставить пальму первенства средневековому Риму и объединиться под его началом. Но важно понять, что та взаимосвязь противоречивых черт, которую мы проследили, была для средневекового сознания образом Рима, неразделимым космосом мирских и сакральных основ городского величия.

В 1300 г. Бонифаций, папа из рода Каэтани, как представитель аристократии Римской провинции, образованный и ученый деятель церкви, смог осознать и совместить в великом проекте римских юбилеев чаяния пилигримов и римлян с риторикой власти, слить в едином образе прошлое и будущее Вечного города. Несмотря на крах самого Бонифация, после «авиньонского пленения» идея нового возвеличения Рима была воплощена. Продолжение традиции юбилеев в эпоху Ренессанса, начиная с Кватроченто, произошло вместе с усилением папства в Италии. Думается, одна-

ко, что эти тенденции не совпадали полностью, а стремление пап к земному величию и темпоральной власти не превышало собственной воли паствы наместников св. Петра к юбилейной традиции. Почувствовав это веяние времени, притяжение величия юбилеев, к новшеству проявили интерес и сторонники, и противники светской власти пап, к юбилейному Риму обратили взоры гениальные творцы Чимабуэ, Джотто, ди Камбио. В Рим по возобновлению традиции «святых лет» устремились все выдающиеся творцы Ренессанса (из них почти никто не являлся уроженцем Города), чтобы навеки запечатлеть или переосмыслить и сотворить заново своими произведениями образ юбилейного Рима.

Рим огромных статуй, которые не только нашли в руинах римской цивилизации, но и снова научились делать жители Италии, Рим возрожденного сената, снова, как во времена древней республики, подчинивший себе Лаций, Рим новых церквей и монастырей, выстроенных в подражание раннехристианским постройкам (наивно принимаемым за древнеримские) — вот переключка образов Города эпохи юбилеев.

Нам хотелось ответить на многие вопросы: как и кем фиксировалась и репрезентировалась культурно-историческая эпоха юбилеев, в чем заключалось своеобразие Рима к моменту провозглашения юбилеев, что обуславливало притяжение сакрального момента времени к сакральному пространству — установление юбилея в Вечном Городе на исходе XIII столетия. С помощью различных ракурсов — обзоров моментов римской истории и исторических этапов возрождения интереса к ним — можно представить диалоги, переклички образов пространства и времени, сакральных и профанных черт Вечного Города и времени юбилеев. Не все привлекательные для любопытства исследователя проблемы имеют решение, но возникающие вопросы получают развитие в новых сюжетных линиях, в новых попытках реконструкции истории юбилейного Рима. Очевидно, что реконструкции образа Рима, распространенные на уровне историографического дискурса, не пересекаются с образами, созданными в поддержку мифа о христианском Риме, одновременно унаследовавшем древнюю славу римской цивитас, с теми образами, которые привлекали современников первых юбилеев.

## ГЛАВА 17

# СОБЫТИЕ И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИИ

### «СВИДАНИЕ В ШИНОНЕ»

Ранней весной 1429 г. в городе Шиноне, расположенном к северу от Тура, на правом берегу р. Виенны, состоялась странная встреча. Будущий король Франции Карл VII принял в своем замке никому до того момента неизвестную девушку по имени Жанна д'Арк. Она утверждала, что только с ее помощью дофин сможет одержать победу над своими врагами-англичанами, изгнать их из страны и вернуть себе королевство. Нерешительный и недоверчивый по своей природе Карл, до того категорически отказывавшийся от любых контактов с «пророчицами» и «провидицами», в большом количестве появившимися в то время во Франции<sup>1</sup>, не только встретился с Жанной, но действительно поверил ей. Он сделал ее своим военачальником и разрешил возглавить операцию по снятию осады с Орлеана. Будущее показало, насколько верным было это решение: всего за девять дней город был освобожден, а последовавшая затем «неделя побед» в долине Луары оказала огромное влияние на весь ход Столетней войны, заставила французов поверить в свои силы, сплотиться вокруг короля и впервые в истории почувствовать себя единой нацией.

Согласно канонической версии событий, Жанна увиделась с Карлом в самом конце февраля или в первых числах марта 1429 г. Встреча произошла под вечер в присутствии всего двора: в своих показаниях на суде в Руане Жанна сама вспоминала о горевших в зале 50 факелов и о 300 шевалье, собравшихся в Шинонском замке<sup>2</sup>. Среди них и попытался затеряться дофин, решивший испы-

---

<sup>1</sup> Подробнее об этом см.: *Тогоева О. И.* Исполнение пророчеств: Ветхозаветные герои Столетней войны // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории — 2005. Вып. 7. М., 2006. С. 88-106.

<sup>2</sup> «Interrogata an ibi erat lumen: Respondit: ibi erant plusquam trecenti milites et quinquaginta tede seu torchie, sine computando lumen spirituale. Et

тать девушку и представить ей в качестве короля кого-то из своих придворных. Однако Жанна, отвергнув двух первых претендентов, подошла прямо к Карлу и преклонила перед ним колени. Назвав его «благородным дофином», она заявила, что сам Господь послал ее на помощь французскому королевству<sup>3</sup>. Затем Жанна и Карл довольно долго беседовали наедине. Содержание их разговора осталось неизвестным: Жанна до последнего дня отказывалась открыть эту тайну своим судьям, предлагая им вызвать для допроса самого Карла VII<sup>4</sup>. Современники событий отмечали позднее, что дофин был якобы чрезвычайно обрадован тем, что по секрету сообщила ему девушка<sup>5</sup>. Именно эта беседа, как принято считать, и стала залогом последующей удачной политической и военной карьеры Жанны д'Арк.

\* \* \*

---

raro habeo revelaciones quin ibi sit lumen” (Procès de condamnation de Jeanne d'Arc / Ed. P. Tisset, Y. Lanhers. P., 1960. T. 1. P. 76 — далее везде: PC, том, страница).

<sup>3</sup> Вот как, к примеру, описывал это событие Жан Шартье: “Lors ycelle, venue devant le roy, fist les inclinacions et reverences acoustumees de faire aux roys, ainsy que se elle eust esté nourie en sa court, et la salutation faicte dist en adreschant sa parolle au roy: “Dieu vous doint bonne vie, gentil roy”, combien que elle ne le congnoissoit, ne sy ne l'avoit oncques veu. Et y avoit plusieurs seigneurs pompeusement vestus et richement et plus que n'estoit le roy. Pourquoy il respondy a la dicte Jehanne: “Ce ne suis je pas qui suis roy, Jehanne”. Et en lui monstrant l'un de ses seigneurs, dist: “Vela le Roy.” A quoy elle respondy: “En mon Dieu, gentil prince, c'est vous et non autre” (*Quicherat J.* Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle. P., 1846. T. IV. P. 52-53). Практически идентичным выглядит рассказ анонимного автора «Хроники Девы»: “Ladicte Jeanne fut amenee en sa presence, et dist qu'on ne la deceust point, et qu'on luy monstrast celuy auquel elle devoit parler. Le roy estoit bien accompagné, et combien que plusieurs faingnissent qu'ils fussent le roy, toutefois elle s'adressa a luy assez plainement, et luy dist que Dieu l'envoyit la pour luy ayder et secourir” (Ibid. P. 207).

<sup>4</sup> “Interrogata quales revelaciones et appariciones idem rex suus habuit: Respondit: Ego non dicam hoc vobis. Adhuc non est vobis responsum; sed mictatis ad ipsum regem, et dicet vobis” (PC, 1, 52).

<sup>5</sup> Секретарь ларошельской мэрии писал в своих «Записках»: “Et dit-on qu'elle luy dit certaines choses en secret, dont le Roy fut bien esmerveillé” (*Quicherat J.* Une relation inédite sur Jeanne d'Arc // *Revue historique.* 1877. N 4. P. 235).

Значение, которое имела встреча в Шиноне, действительно трудно переоценить. Однако парадокс ситуации заключается в том, что исключительной популярностью данный сюжет обязан прежде всего *шаблонности* своего описания. Иными словами, «свидание в Шиноне» относится к тому типу встреч, которые в научной и псевдо-научной литературе принято называть «*историческими*» и описывать в соответствии с одной из многочисленных и хорошо известных историографии *готовых* схем, по которым в сознании исследователей, а вслед за ними и читателей, упорядочиваются и даже в большой степени моделируются знания о прошлом<sup>6</sup>.

Именно шаблонность описания делает встречу в Шиноне легко воспринимаемым, легко узнаваемым, а потому — одним из самых известных эпизодов истории Франции XV в. Многочисленные поклонники Жанны относятся к нему с особым вниманием: даже если они не знают, где именно была казнена французская героиня, или мечтают побывать на ее — несуществующей — могиле, мало кто из них сомневается в том, что она действительно встретила с дофином Карлом, чудесным образом узнав его в толпе придворных<sup>7</sup>.

Легкость читательского восприятия в свою очередь выступает залогом, пусть даже неосознанной, популярности данного сюжета у профессиональных историков. «Свидание в Шиноне», начиная с XVII в. и до сих пор, остается одной из излюбленных тем *études johanniques*<sup>8</sup>, ибо — как и любая другая «историческая встреча» — подразумевает использование законченного *сюжет-*

---

<sup>6</sup> Подробнее см.: *Бойцов М. А.* Исторические встречи как казусы исторического сознания // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории — 2003. Вып. 5. М., 2003. С. 17-24.

<sup>7</sup> *Bouzy O.* Jeanne d'Arc au Centre Jeanne d'Arc: historiographie, littérature, histoire // Bulletin de l'Association des amis du Centre Jeanne d'Arc. 1995. N 19. P. 93-144.

<sup>8</sup> Одно из наиболее ранних описаний «свидания в Шиноне» в 1625–1630 гг. дал французский историк Эдмон Рише: *Richer E.* Histoire de la Pucelle d'Orléans / Sous la dir. de P. Dunand. P., 1911. Последней по времени публикацией, специально посвященной тому же событию, является статья Оливье Бузи: *Bouzy O.* Jeanne d'Arc, les signes au roi et les entrevues de Chinon // Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen Age. Mélanges en l'honneur de Philippe Contamine. P., 2000. P. 131-138.

ного повествования, при котором основное внимание обращается на внешнюю канву событий. Степень же важности тех или иных обстоятельств конкретной «исторической встречи» определяется при этом исключительно по ее заведомо известным результатам.

Однако, подобная «обратная» перспектива в оценке события, именуемого «исторической встречей», ведет к определенным упрощениям и лакунам при его анализе. Прежде всего, происходит автоматический отбор лишь тех данных источников, которые, с точки зрения историка, соответствуют высокому значению той или иной встречи. Как следствие, материал, оказывающийся «ненужным», исключается из научного анализа. Кроме того — и это, пожалуй, самое важное — шаблон «исторической встречи» задает достаточно жесткие рамки исследования, которое оказывается посвященным преимущественно *реконструкции* конкретных обстоятельств того или иного события, но никак не *осмыслению* последнего современниками.

\* \* \*

Именно эту ситуацию мы наблюдаем уже более 300 лет в оттошении работ, посвященных «свиданию в Шиноне». Специалисты по *études johanniques* продолжают постоянно проверять и перепроверять каждую — пусть даже незначительную — деталь этой встречи, пытаясь установить, как же все происходило *на самом деле*. Пересмотру подвергается даже дата приезда Жанны д'Арк в Шинон<sup>9</sup>, хотя, по справедливому замечанию В. И. Райцеса, эта информация «для истории особого значения не имеет»<sup>10</sup>.

Напротив, значение имеет совсем другой и, на мой взгляд, весьма примечательный факт: даже если описания встречи в Шиноне и разнятся в деталях, их суть остается одинаковой. Ключевыми моментами, на которые обращают внимание все без исключения историки, являются публичный характер аудиенции, опознание дофина Жанной и, наконец, содержание «королевского

---

<sup>9</sup> Краткое изложение всех существующих на сегодняшний день версий о дате приезда Жанны в Шинон см.: *Тогоева О. И.* В плену у «исторической действительности» // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории — 2003. С. 60-72.

<sup>10</sup> *Райцес В. И.* «Свидание в Шиноне». Опыт реконструкции // Там же. С. 42-59 (С. 57).

секрета»<sup>11</sup>. В полном соответствии с канонем «исторической встречи», этим «фактам» исследователи пытаются найти *логическое* объяснение, лишний раз подтверждающее значение встречи в Шиноне для французской и европейской истории.

Следуя традиции, мы также рассмотрим последовательно все три главных эпизода свидания в Шиноне — в надежде увидеть за данными источников не столько «историческую реальность», сколько ее *понимание* современниками событий.

\* \* \*

Как уже было сказано выше, большинство авторов, интересующихся эпопеей Жанны д'Арк, всегда придерживались версии о *торжественном* приеме, оказанном девушке дофином Карлом в парадном зале Шинонского замка в присутствии множества придворных. Эта трактовка представлялась историкам настолько аксиоматичной, что критическому анализу источников они предпочитали их простой пересказ: «В огромном зале шумела многочисленная толпа. Пятьдесят факелов и свечей яркого воска отбрасывали дрожащий свет на лица трехсот шевалье, теснившихся вдоль прохода, по которому шла Дева. Жанна не позволила смутить себя ничем: ни любопытством и презрением, которые были написаны на лицах улыбающихся придворных дам, ...ни язвительными замечаниями сеньоров и шевалье, ни подозрительными взглядами, которыми окидывали ее клирики»<sup>12</sup>. Это описание «чуда в Шиноне», данное в 1977 г. французским историком Э. Бурасеном, практически дословно воспроизводится в одном из последних крупных исследований эпопеи Жанны д'Арк, предложенном американкой Карен Салливан: «Когда она вошла в замок, ее провели в большой зал, в котором находились более трехсот рыцарей и горели пятьдесят факелов... Несмотря на такое огромное количество богато одетых придворных, ...она узнала среди них короля при помощи своего голоса, указавшего ей на него»<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Эти основные элементы традиционного рассказа о встрече в Шиноне выделил в свое время В. И. Райцес: *Райцес В. И.* Указ. соч. С. 45.

<sup>12</sup> *Bourassin E. Jeanne d'Arc.* P., 1977. P. 66-67 (цит. по: *Райцес В. И.* Указ. соч. С. 44).

<sup>13</sup> *Sullivan K. The Interrogation of Joan of Arc.* Minneapolis; L., 1999. P. 66.

Наиболее близкой идея торжественного приема в Шиноне оказалась бельгийскому ученому Жану Фрекену. Он, впрочем, явился также одним из немногих исследователей, попытавшихся логически обосновать такой характер встречи. С точки зрения Фрекена, свидание Жанны с Карлом состоялось 6 марта, на которое в 1429 г. приходилось Прощеное воскресенье<sup>14</sup>. В замке по этому поводу готовился праздник, на который собралась масса людей. На него же угодила и Жанна, приехавшая в город незадолго до того. Именно с праздничной обстановкой Ж. Фрекен связывал позднейшие воспоминания девушки о «трехстах шевалье и пятидесяти факелах». По той же причине он не видел ничего удивительного и в процедуре опознания Жанной короля. Праздник в замке представлял собой ничто иное как маскарад, а потому дофин на самом деле мог находиться на нем в скромном платье, тогда как его роль исполнял кто-то другой<sup>15</sup>.

К мотиву троекратного испытания, которому была якобы подвергнута Жанна д'Арк, мы еще вернемся. Пока же следует отметить, что о маскараде, проходившем в Шинонском замке в начале весны 1429 г., не сообщает ни один из известных на сегодняшний день источников<sup>16</sup>. Да и о 300 шевалье и 50 факелах мы знаем лишь по собственным показаниям Жанны, данным ею на суде в Руане.

Обратив на последнее обстоятельство особое внимание, тезис о торжественной встрече в Шиноне аргументированной критике подверг В. И. Райцес<sup>17</sup>. По свидетельству очевидцев, прочитанный им в Центре Жанны д'Арк в Орлеане весной 1989 г. доклад вызвал настоящий шок у большинства присутствовав-

---

<sup>14</sup> Поэтому для бельгийского историка вопрос о дате приезда Жанны в Шинон также получал особое значение.

<sup>15</sup> *Fraikin J.* Was Joan of Arc a "Sign" of Charles VII's Innocence? // *Fresh Verdicts on Joan of Arc* / Ed. by B. Wheeler and C. T. Wood. N. Y. – L., 1999. P. 61-72.

<sup>16</sup> Жан Фрекен, утверждавший, что «имеется множество свидетельств» о маскараде в Шиноне, не дает на них никаких ссылок (*Ibid.* P. 62).

<sup>17</sup> *Райцес В. И.* Жанна д'Арк. Факты, легенды, гипотезы. Л., 1982. С. 11-120; *Raytses V.* La première entrevue de Jeanne d'Arc et de Charles VII à Chinon. Essai de reconstitution d'un fait historique // *Bulletin de l'Association des amis du Centre Jeanne d'Arc.* 1989. N 13. P. 7-17 (перевод статьи: *Райцес В. И.* «Свидание в Шиноне»).



ших<sup>18</sup>. По мнению Райцеса, главной темой показаний Жанны, данных ею 27 февраля, была вовсе не ее первая встреча с дофином. Речь шла о «голосах», являвшихся девушке, и о свете, сопровождавшем ее откровения: «Будучи спрошенной, был ли там свет, когда она увидела «голос», она ответила, что там было много света, что он шел со всех сторон, и что так и должно было быть... Будучи спрошенной, был ли ангел над головой ее короля, когда она увидела его впервые, она ответила: «Пресвятая Дева! Если он и был там, я не знаю и не видела его». Будучи спрошенной, был ли там свет, она ответила, что там было более трехсот шевалье и пятьдесят факелов, не считая небесного света. И редко мне были откровения, когда бы не было света»<sup>19</sup>. Специально останавливаясь на вопросе о явно преувеличенном количестве шевалье, якобы присутствовавших при встрече Жанны с Карлом, Райцес высказывал предположение, что в данном случае речь шла не о реальном событии, но о «видении визионерки, испытавшей в тот момент некий мистический экстаз»<sup>20</sup>. Иными словами, никаких трехсот шевалье в действительности не существовало, они явились Жанне в откровении в сиянии небесного света. Что же касается собственно аудиенции в Шинонском замке, то свидетелями ее, по мнению русского историка, могли стать не более 25-30-ти наиболее близких к Карлу лиц<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> «В Орлеане в переполненном зале он прочел лекцию, посвященную первому свиданию Жанны с дофином: в ней он задался целью воссоздать истинные обстоятельства исторической встречи, состоявшейся весной 1429 г. в Шиноне. На основании скрупулезного анализа источников он доказывал ошибочность хрестоматийных представлений об этом событии, прочно укоренившихся в сознании французов. Лекция вызвала живейший интерес, хотя и шокировала часть публики» (*Абрамович С. Л.* Владимир Ильич Райцес. Памятные записки // *Средние Века.* Вып. 60. М., 1997. С. 360).

<sup>19</sup> «Interrogata, quando vidit illam vocem que venit ad ipsam, utrum ibi erat lumen: Respondit quod ibi erat multum de lumine ab omni parte, et quod hoc bene decet... Interrogata utrum erat aliquis angelus supra caput regis sui, quando vidit eum prima vice: Respondit: Per beatam Mariam! si erat, ego nescio nec ipsum vidi. Interrogata an ibi erat lumen: Respondit: ibi erant plusquam trecenti milites et quinquaginta tede seu torchie, sine computando lumen spirituale. Et raro habeo revelaciones quin ibi sit lumen» (PC, I, 75-76).

<sup>20</sup> *Райцес В. И.* «Свидание в Шиноне». С. 47.

<sup>21</sup> Там же. С. 49.

Подобная трактовка свидания в Шиноне предполагала полный отказ от традиционной версии событий, а потому не нашла особой поддержки у западных историков. Единственную, пожалуй, попытку примирить две диаметрально противоположные гипотезы предпринял французский исследователь Оливье Бузи. Он выдвинул версию о *двух* встречах Жанны с Карлом, первую из которых предложил считать неофициальной, проходившей в частных покоях дофина. Торжественный же характер, по мнению Бузи, носила вторая встреча, состоявшаяся в апреле 1429 г., т.е. уже после допросов в Пуатье, в ходе которых была установлена добропорядочность и благонадежность французской героини. На ней и присутствовали те самые 300 шевалье, в существовании которых усомнился в свое время В. И. Райцес<sup>22</sup>.

Именно эта компромиссная трактовка показаний Жанны д'Арк о ее встрече с дофином на сегодняшний день является, насколько можно судить, общепринятой для французской историографии<sup>23</sup>. Впрочем, она ненамного отличается от традиционной версии: ее приверженцы точно так же заняты выяснением обстоятельств встречи — того, как все было на самом деле. Устремляясь на поиски «исторической действительности», они полностью упускают из вида действительность *символическую* — тот миф о Жанне д'Арк, который появился вместе с ней самой и сопутствовал ей всегда<sup>24</sup>.

Первый шаг в символическом прочтении данных источников о свидании в Шиноне сделал уже упоминавшийся В. И. Райцес. Но его вывод о сверхъестественной природе картины, нарисованной Жанной, требует, как мне кажется, некоторых уточнений.

---

<sup>22</sup> Bouzy O. Jeanne d'Arc, mythes et réalités. St.-Jean-de-Braye, 1999. P. 58-61; *Idem*. Jeanne d'Arc, les signes au roi et les entrevues de Chinon.

<sup>23</sup> См., к примеру: Beaune C. Jeanne d'Arc. P., 2004. P. 84-85.

<sup>24</sup> В свое время в статье, носящей, на мой взгляд, программный характер, Филипп Контамин указывал на необходимость «двойного прочтения» источников, связанных с личностью Жанны д'Арк — прочтения одновременно эмпирического и мифологического: *Contamine Ph. Mythe et histoire: Jeanne d'Arc, 1429 // Contamine Ph. De Jeanne d'Arc aux guerres d'Italie: figures, images et problèmes du XV<sup>e</sup> siècle. Orléans-Caen, 1994. P. 63-76. См. также: Idem. Une biographie de Jeanne d'Arc est-elle possible? // Images de Jeanne d'Arc. P. 1-15.*

Прежде всего необходимо обратить внимание на тот факт, что на процессе в Руане Жанна категорически отказывалась говорить с судьями о своих видениях<sup>25</sup>. Она заявляла, что все данные ей откровения касаются только ее самой и Карла VII<sup>26</sup>, и что она поклялась никому и никогда не разглашать их содержание<sup>27</sup>. На таком фоне подробные показания Жанны об одном из самых существенных эпизодов ее политической и военной карьеры заставляют усомниться в их подлинности.

Однако если предположить, что рассказ о торжественной встрече Жанны д'Арк с Карлом в присутствии 300 шевалье был чистой воды выдумкой, возникает закономерный вопрос, на какие источники могла опираться обвиняемая, дабы представить своим судьям убедительную версию событий, не нарушая при этом данную когда-то клятву. Как мне представляется, таким источником для Жанны в первую очередь могли стать библейские тексты, пользовавшиеся в политической теологии Средневековья наибольшим авторитетом<sup>28</sup>. Именно здесь, в книгах Ветхого Завета, содержатся по крайней мере два эпизода, близкие к описанию встречи в Шиноне по *формальным* признакам.

В первом из них речь идет о Самсоне, который мстит своему тестю за то, что тот лишил его жены: «Чрез несколько дней, во время жатвы пшеницы пришел Самсон повидаться с женою своею, принеши с собою козленка; и когда сказал: «войду к жене моей в спальню», отец ее не дал ему войти. И сказал отец ее: я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему. Вот, меньшая сестра красивее ее; пусть она будет тебе вместо ее»<sup>29</sup>.

---

<sup>25</sup> Это обстоятельство отмечал и В. И. Райцес: *Райцес В. И.* «Свидание в Шиноне». С. 47.

<sup>26</sup> «Dixit eciam quod sunt revelaciones que vadunt ad regem Francie et non ad ipsos qui eam interrogant» (PC, I, 72).

<sup>27</sup> «De hoc quod ego promisi tenere bene secretum, ego non dicam vobis illud. Et ultra dixit: Ego promisi in tali loco quod non possim vobis dicere sine pariurio» (PC, I, 88).

<sup>28</sup> См. об этом, к примеру: *Schramm P. E.* Das Alte und das Neue Testament in der Staatslehre und der Staatssymbolik des Mittelalters // *Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo.* Spoleto, 1963. Т. 10. P. 229-255; *Gibert P.* La Bible à la naissance de l'histoire. P., 1979; *Buc Ph.* L'ambiguïté du Livre. Prince, pouvoir et peuple dans les commentaires de la Bible au Moyen Age. P., 1994 (с обширной библиографией).

<sup>29</sup> Суд. 15: 1-2.

Самсон в ответ «делает зло» филистимлянам: «И пошел Самсон, и поймал *триста* лисиц, и взял *факелы*, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами. И зажег факелы, и пустил их на жатву Филистимскую, и выжег и копны, и нежатый хлеб, и виноградные сады и масляничные»<sup>30</sup>. За это филистимляне убивают жену Самсона и его тестя<sup>31</sup>, а его самого ловят и ведут на суд. Однако Господь прощает Самсона: веревки, связывавшие его, падают на землю, и он, подобрав «свежую ослиную челюсть», убивает ею тысячу человек<sup>32</sup>.

История Самсона, получившего свыше прощение за убийство, была, безусловно, известна современникам Жанны д'Арк. В иске, поданном ее матерью и братьями в 1450 г. и содержащем просьбу о пересмотре решений руанского процесса 1431 г., именно этот сюжет (наряду с историями Авраама, прощенного Господом за адюльтер, и Давида, с которого оказалось снято обвинение в многоженстве) был использован в качестве примера того, как деяние конкретного человека, первоначально истолкованное как преступление, может впоследствии быть сочтено «почти чудесным» поступком<sup>33</sup>.

Однако в том, что касается рассказа о встрече в Шиноне, сравнение Жанны с Самсоном, использовавшим триста лисиц и факелы в личных и далеко не благовидных целях, не кажется оправданным. Значительно более близким к истории, рассказанной Жанной д'Арк, мне представляется другой библейский эпизод. Он также происходит из «Книги Судей» и повествует о противостоя-

<sup>30</sup> Суд. 15: 4-5 (курсив мой. — О. Т.).

<sup>31</sup> «И говорили Филистимляне: кто это сделал? И сказали: Самсон, зять Фимнафынина, ибо этот взял жену его и отдал другу его. И пошли Филистимляне и сожгли огнем ее и отца ее» (Суд. 15: 6).

<sup>32</sup> «И сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть и, протянув руку свою, взял ее, и убил ею тысячу человек» (Суд. 15: 14-15).

<sup>33</sup> “Et ex jussu Dei aguntur, sub lege non sunt; ipsa enim lex inspirationis, omnem legem superat; cujus signa manifesta sunt eventus et effectus jam dicti, prope miraculosi. In hiis autem non reprehendenda, sed potius excusanda censetur; sicut Sampson ab homicidio, Abraham ab adulterio, David a pluralitate uxorum, sacra jura excusant” (Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc / Ed. par P. Duparc. P., 1977–1988. 5 vols. T. 1. P. 87 — далее: PN, том, страница).

нии израильтян во главе с Гедеоном войску мадианитян. Господь, явившийся Гедеону, советует ему ради победы уменьшить число своих воинов: «И сказал Господь Гедеону: тремя стами локавших (с руки) Я спасу вас, и передам мадианитян в руки ваши»<sup>34</sup>. Гедеон поступает именно так: «И разделил *триста человек* на три отряда, и дал в руки всем им трубы и пустые кувшины, и в кувшины *свечильники*»<sup>35</sup>, и одерживает победу, прогоняя мадианитян: «И пришел Гедеон к Иордану, перешел сам и триста человек, бывшие с ним. Они были утомлены, преследуя врагов»<sup>36</sup>.

Именно эта история, на мой взгляд, могла служить основой для показаний Жанны д'Арк, данных ею в Руане. Формальное сходство двух рассказов — триста шевалье, якобы присутствовавших на встрече девушки с дофином Карлом, и триста воинов, задействованных Гедеоном в битве с мадианитянами — дополнялось в данном случае сходством *смысловым*. Ведь речь шла о военной помощи, посылаемой Господом своему избранному народу, самому существованию которого угрожали враги: Жанна во главе французских войск должна была одержать над ними победу точно так же, как это сделали израильтяне во главе с Гедеоном.

Лишним свидетельством в пользу такой трактовки рассказа о встрече в Шиноне может служить и то, что сравнение французской героини с Гедеоном было одним из самых популярных на протяжении всей ее недолгой политической карьеры и появилось одним из первых. Оно присутствовало уже в заключении, составленном в Пуатье в марте-апреле 1429 г., т.е. еще до начала военной кампании с участием Жанны д'Арк<sup>37</sup>. В июне того же года, сразу после снятия осады с Орлеана, то же сравнение появилось в трактате Генриха фон Горкума, особый упор сделавшего именно на освобождении избранного народа и, с этой точки зрения, не видевшего разницы между библейскими Иосифом, Моисеем и Гедеоном и Жанной<sup>38</sup>. Не менее ясно изложила свою точку зре-

<sup>34</sup> Суд. 7: 7.

<sup>35</sup> Суд. 7: 16 (курсив мой. — О. Т.).

<sup>36</sup> Суд. 8: 4.

<sup>37</sup> “Et semblablement fist Gedeon, qui demanda signe” (Des conclusions données par les docteurs réunis à Poitiers // *Quicherat J.* Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc. P., 1845. T. III. P. 391).

<sup>38</sup> “Sicut ergo in spiritu Dei praemissus est Joseph ante patrem et fratres in Aegyptum, et Moises ad populi Israel liberationem, et Gedeon, et supradictae

ния и Кристина Пизанская, писавшая в июле 1429 г.: «Нужно особо сказать о Гедеоне, / Который был простым крестьянином, / А Господь послал его, как рассказывает предание, / Сражаться, и никто его не победил»<sup>39</sup>.

Большой популярностью сравнение с Гедеоном пользовалось и на процессе по реабилитации Жанны д'Арк в 1456 г.<sup>40</sup> Однако для нас особое значение имеет тот факт, что более ранние упоминания этого библейского героя в актуальном для французского королевства контексте могли быть известны самой Жанне, а потому его история оказывалась вполне подходящим источником для ее рассказа о встрече с дофином Карлом и ее *символического* осмысления. Даже если речь шла, как утверждал В. И. Райцес, о видении (чего мы никогда не узнаем наверняка), *описано* оно было, как мне представляется, в соответствии с христианской экзегезой и требованиями политического момента. История свидания в Шиноне в присутствии трехсот шевалье в устах Жанны д'Арк превращалась в историю о сборе войск для борьбы с захватчиками родной страны и грядущей неминуемой победе над ними.

\* \* \*

Не менее интересным, с символической точки зрения, представляется и эпизод с узнаванием дофина и трехкратным испытанием Жанны д'Арк — второй элемент схемы, по которой выстроена классическая версия «свидания в Шиноне». В отличие от рассказа о трехстах шевалье, якобы собравшихся в тот вечер в парадном зале замка, история об опознании Карла известна нам по многим источникам.

---

foeminae: pari modo hanc juvenulam non est incongruum connumerari bonis specialiter a Deo raissis, praesertim quum nec munera quaerat, et ad bonum pacis tota devotione laboret” (Propositions de maitre Henri de Gorcum pour et contre la Pucelle // Ibid. P. 416).

<sup>39</sup> “De Gedeon on fait grant compte / Qui simple laboureur estoit, / Et Dieu le fist, ce dit le conte, / Combatre, ne nul n’arrestoit” (*Christine de Pizan*. Ditié de Jeanne d’Arc / Ed. by A. J. Kennedy, K. Varty. Oxford, 1977. V. 209-212).

<sup>40</sup> Так, например, Жан Бреаль не один раз возвращался к сравнению Жанны с Гедеоном, обращая особое внимание на то, что им обоим являлся ангел, предвещавший успех и победу над врагами: “Et Gedeon post multa cum angelo sibi apparente gesta dixit” “Vidi angelum Dei facie ad faciem”, *Judicium VI*” (PN, 2, 414. См. также: PC, 2, 411, 415, 416, 417). Ср.: Суд. 6: 12-23.

Одним из самых ранних свидетельств такого рода является недавно обнаруженное в Ватиканской библиотеке письмо неизвестного итальянского гуманиста, датируемое июнем-сентябрем 1429 г.: «Кто, скажи мне, дал тебе понять, что тот, кого тебе предъявили, дабы убедиться в твоей вере и мудрости, не является королем — тебе, которая, раскрыв обман, потребовала [увидеть] истинного короля? Найдя его, одетого скромно, в то время как он прятался в толпе богато разодетых придворных, ты приветствовала его в его величии, более божественном, чем когда бы то ни было»<sup>41</sup>. Позднее (в 50–60-х гг. XV в.) тот же эпизод с незначительными вариациями был повторен в хронике Жана Шартье, «Хронике Девы»<sup>42</sup> и «Дневнике осады Орлеана»<sup>43</sup>.

Что касается мотива троекратного испытания Жанны д'Арк, то он впервые, насколько можно судить, фиксируется в «Записках секретаря ларошельской мэрии», датируемых, согласно Жюлю Кишра, осенью 1429 г.: «И когда она приехала в Шинон, где, как было сказано, находился король, она просила дать ей с ним поговорить. И тогда ей показали господина Шарля де Бурбона, говоря, что это и есть король. Но она сразу же ответила, что это не король и что его она легко узнает, если увидит, хотя и не видела никогда прежде. Затем к ней подвели некоего экуюе, говоря, что это король. Но она ответила, что это не так. И вскоре после этого король вышел из соседней комнаты, и когда она его увиде-

---

<sup>41</sup> “Quis, te oro, docuit non esse Regem quem ut fidem et prudentiam experiretur tua pro rege offerebant, ubi ipsa fraudem adversata, verum Regem proscisti. Inventumque dum medio cultu inter purpuratos principes delitescit diviniore magnificentia salutasti” (Vat.Lat. 6898.f. 24v, цит. по: *Gilli P.* L'épopée de Jeanne d'Arc d'après un document italien contemporain: édition et traduction de la lettre du pseudo-Barbaro (1429) // *Bulletin de l'Association des amis du Centre Jeanne d'Arc.* 1996. N 20. P. 4-26 (P. 12)). Об этом источнике см. подробнее: *Gilli P.* Une lettre inédite sur Jeanne d'Arc (1429), faussement attribuées à Francesco Barbaro, humaniste vénitien // *Annuaire-Bulletin de la Société de l'histoire de France.* P., 1998. P. 53-73; *Idem.* Jeanne d'Arc en Italie au XV<sup>e</sup> siècle et la restauration de la dignité royale // *Images de Jeanne d'Arc.* P. 19-27.

<sup>42</sup> См. прим. 3.

<sup>43</sup> “[Elle] lui fait la reverence, et le congneut entre ses gens, combien que plusieurs d'eulx faignoient, la cuidant abuser, estre le roy, qui fut grant apparence, car elle ne l'avoit oncques mes veu” (*Quicherat J.* Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc. T. IV. P. 127).

ла, то сказала, что это он, и сказала ему, что прислана к нему Небесным Царем и что она хочет поговорить с ним»<sup>44</sup>.

Именно этот комплекс документов лежит в основе традиционной версии об опознании Жанной д'Арк дофина, хотя историкам, придерживающимся ее, хорошо известно, что ни сама девушка<sup>45</sup>, ни очевидцы ее свидания с Карлом<sup>46</sup> никогда не упоминали о чем-либо похожем.

Впрочем, справедливости ради, следует отметить, что в последние годы момент опознания Карла Жанной д'Арк вызывает у специалистов все больше сомнений. Если, к примеру, уже упоминавшийся Жан Фрекен продолжает настаивать на канонической версии событий, заявляя, что одетый для маскарада Карл действительно мог затеряться в толпе своих более роскошно одетых придворных<sup>47</sup>, то Оливье Бузи полностью отрицает саму возможность опознания на том основании, что оно никак не согласуется с последующими событиями. Если бы Жанна сразу узнала Карла, считает он, это было бы расценено окружающими (да и самим дофином) как чудо, отрицать которое никто бы не осмелился.

---

<sup>44</sup> “Et quand elle fut arrivee au dit lieu de Chinon ou le roy estoit, comme dit est, elle demanda parler a luy. Et lors on luy monstra Monsr Charles de Bourbon, feignant que ce fust le Roy; mais elle dit tantost que ce n'estoit pas le Roy, qu'elle le cognestroit bien si elle le voioit, combien que oncs ne l'eust veu. Et apres on luy fit venir un escuier, faignant que c'estoit le Roy; mais elle cognut bien que ce n'estoit-il pas; et tantost après le Roy saillit d'une chambre, et tantost qu'elle le vit, elle dit que c'estoit il et luy dit qu'elle estoit venue a luy de par le Roy du Ciel, et qu'elle vouloit parler a luy” (*Quicherat J.* Une relation inédite sur Jeanne d'Arc. P. 335).

<sup>45</sup> На допросе 22 февраля 1431 г. Жанна сообщила своим судьям лишь о том, что, войдя в комнату, она узнала своего короля, благодаря «голосу», указавшему ей на него: “Item dicit quod, quando intravit cameram sui regis prediciti, cognovit eum inter alios, per consilium sue vocis sibi revelantis” (PC, 1, 51-52).

<sup>46</sup> Так, например, Рауль де Гокур, один из ближайших советников Карла VII, исполнявший обязанности коменданта Шинона и бальи Орлеана в 1429 г., отмечал, что свидание было кратким, поскольку дофин, дабы получить о своей гостье более полную информацию, сразу же определил ее под надзор, в дом своего дворецкого Гийома Белье, и велел, чтобы ее допросили представители церкви: “Et tunc rex, ipsa visa et audita, ut amplius informaretur de statu suo, jussit eam tradi in custodia Guillelmo Bellier...precepitque preterea ipse rex quod dicta Johanna visitaretur per clericos, prelatos et doctores, ad sciendum si deberet aut posset licite adhibere fidem dictis prefate Johanne” (PN, 1, 326).

<sup>47</sup> *Fraikin J.* Op. cit. P. 62.



Но Жанну послали в Пуатье и допрашивали там в течение трех недель. Мнение о ней запросили и у других известных теологов, в частности, у Жака Желю, архиепископа Амбрена и верного советника Карла. Если бы его ответ не запоздал, Жанну, скорее всего, отправили обратно домой<sup>48</sup>. Только после положительного вердикта, пришедшего из Пуатье, Карл решил принять предложение Жанны, доверить ей войско и отправить под Орлеан<sup>49</sup>.

Отрицая саму возможность опознания Жанной дофина, О. Бузи никак не объясняет, почему этот эпизод с такой регулярностью появлялся в откликах современников<sup>50</sup>. За него это пытаются сделать другие исследователи. Так, Карен Салливан, обходя молчанием вопрос о том, имело ли в принципе место опознание Карла, пишет, что рассказ о нем был частью пропаганды, развернутой арманьяками<sup>51</sup>. Даже если Жанна просто узнала дофина, подошла к нему и преклонила колени, сам этот факт мог служить указанием на его избранность, ибо ее поступками руководил сам Господь. В словах «Король вовсе не я, Жанна» (*Ce ne suis je pas qui suis roy, Jehanne*)<sup>52</sup> можно, по мнению Салливан, услышать сомнения самого дофина в законности его притязаний на престол, а

---

<sup>48</sup> Ответ Желю можно рассматривать как самый первый отклик на появление Жанны д'Арк. Его мнение о ней было крайне негативным: он считал ее или сумасшедшей, или еретичкой, или переодетым убийцей. Дофин, с точки зрения епископа, ни в коем случае не должен был ее принимать, поскольку мог себя скомпрометировать либо быть убитым. Девушку, считал он, следовало немедленно отправить в родную деревню. К чести Желю следует признать, что после победы под Орлеаном он радикально изменил свою точку зрения. Подробнее см.: *Bouzy O. Traité de Jacques Gelu, de adventu Johanne // Bulletin de l'Association des amis du Centre Jeanne d'Arc. 1992. N 16. P. 29-39.* Первоначальное мнение Желю о Жанне получило несколько иную трактовку в недавней работе Деборы Фрайоли, полагавшей, что архиепископ, скорее, пребывал в сомнениях, нежели полностью отрицал возможную роль незнакомки в деле спасения Франции: *Fraioli D. Joan of Arc: The Early Debate. Woodbridge, 2000. P. 17 ff.*

<sup>49</sup> *Bouzy O. Jeanne d'Arc, mythes et réalités. P. 62.*

<sup>50</sup> Об знакомстве с этой легендой упоминали, в частности, свидетели на процессе по реабилитации Жанны д'Арк. В Нормандии, согласно показаниям Жана Моро, слухи об опознании дофина циркулировали уже весной 1429 г. (PN, 1, 462). Примерно в то же время, как отмечал Юссон Леметр, они достигли и Лотарингии (PN, 1, 468).

<sup>51</sup> *Sullivan K. Op. cit. P. 67-68.*

<sup>52</sup> См. прим. 3.

потому история с опознанием могла быть сознательно включена в самые разные документы — дабы свидетельствовать о помощи, которую отныне оказывает Карлу Господь во всех его начинаниях<sup>53</sup>. Пропагандистский характер рассказов об опознании дофина подчеркивает в своей статье и Франсуаза Отран. Только так, по ее мнению, окружение Карла (люди военные и политики, привыкшие к более рационалистическому, более светскому, нежели провиденциальному, взгляду на войну и на историю) могло принять и осмыслить вмешательство сверхъестественного в свои дела: они приспособили его под себя, под свои политические, земные нужды<sup>54</sup>.

Высказанные в последние годы гипотезы относительно того, *зачем* в свидетельства современников событий была включена история об опознании Карла, представляются весьма важными и продуктивными. Однако ни в одной из этих работ не была пока предпринята попытка объяснить, *откуда* взялась сама идея узнавания дофина и троекратного испытания Жанны д'Арк.

С этой точки зрения особый интерес вызывает работа Жана-Марка Пастре, предложившего рассматривать биографию французской героини (естественно, в том виде, в котором она описана в источниках) как цепь совершенно определенных и неизменных поведенческих инвариантов, свойственных любому мифологическому Герою. К ним исследователь в первую очередь относит: предназначение Героя, чье появление на исторической сцене бывает обычно предсказано в ряде пророчеств; подозрения в незаконном происхождении; необычные обстоятельства рождения; неясное или неизвестное место рождения; смена местожительства, имени, общественного положения; удивительно быстрое освоение воинского искусства; завоевание земель и, наконец, бескорыстная служба суверену, законность притязаний которого на престол также подтверждается Героем<sup>55</sup>.

---

<sup>53</sup> Интересно, что те же самые слова Карла Бузи интерпретировал совершенно иначе: опасаясь подосланного убийцы, советники дофина якобы попросили его проявить осторожность и не откликаться сразу на приветствие Жанны (*Bouzy O. Jeanne d'Arc, mythes et réalités.* P. 59).

<sup>54</sup> *Autrand F. Le pouvoir et le surnaturel: Jeanne d'Arc en 1429 // Bulletin de l'Association des amis du Centre Jeanne d'Arc.* 1995. N 19. P. 5-24 (P. 16-17).

<sup>55</sup> *Pastré J.-M. Jeanne, l'imaginaire collectif et les invariants de la carrière politique // Images de Jeanne d'Arc / Sous la dir. de J. Maurice et D. Couty.* P.,

Узнавание избранного, т. е. истинного, а потому законного правителя страны выступает, таким образом, одним из неотъемлемых элементов героического поведения. Соответственно, канонический рассказ о «свидании в Шиноне», построенный, как мне представляется, именно по этой мифологической схеме, *не мог не включать* в себя момента опознания. Иными словами, эта встреча *не могла быть описана иначе*: ведь Герой всегда узнает своего Короля — и Жанна узнала Карла<sup>56</sup>.

То, что действия французской героини в данном случае оказывались подчинены общей для всех эпох мифологической схеме, подтверждается и эпизодом с *тройным* испытанием, якобы устроенным ей дофином и его окружением. Специалистов уже давно должны были насторожить эти волшебные три раза — тем более что в эпопее Жанны д'Арк они встречаются постоянно. Так, согласно собственным показаниям девушки в Руане, только на третий раз она поверила в то, что к ней в Домреми является ангел (а не демон)<sup>57</sup>. По прибытии в Вокулер она только с третьей попытки увиделась с капитаном крепости Робером Бодрикуром<sup>58</sup> — точно так же, как только на третий день после своего приезда в Шинон она оказалась допущена к Карлу<sup>59</sup>.

2000. P. 109-116. О мифологических героях см. также: *Тахо-Годи А. А., Мелетинский Е. М.* Герой // Мифы народов мира. М., 1980. Т. 1. С. 294-297; *Ранк О.* Миф о рождении героя. М., 1997; *Raglan F.R.S.* The Hero. A Study in Tradition, Myth and Drama. L., 1949.

<sup>56</sup> Особую склонность средневековых авторов к мифологизации именно встречи в Шиноне отмечал в свое время Ф. Контамин: *Contamine Ph.* Mythe et histoire. P. 74.

<sup>57</sup> “Et postquam audivit ter illam vocem, cognovit quod erat vox angeli” (PC, I, 47-48).

<sup>58</sup> “Ipse autem Robertus bina vice recusavit et repulit eam, et in tertia vice ipsam recepit et tradidit sibi homines” (PC, I, 49).

<sup>59</sup> “Et quum usque pervenissent ad castrum de Caynone in Turonensibus partibus quo se rex muniebat, consilio regio deliberatum erat quod faciem regis non videret neque ei praesentaretur usque in diem tertiam” (Lettre de Perceval de Boulainvilliers au duc de Milan Philippe-Marie Visconti // *Quicherat J.* Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc. P., 1849. T. V. P. 118). Любопытно, что и Бодрикура, по словам самой Жанны, она узнала сразу же, как и Карла, хотя никогда его раньше не видела: “Item dixit quod, quando ipsa venit ad sepedictum opidum de Vallecoloris, ipsa cognovit Robertum de Baudricuria, cum tamen antea nunquam vidisset eum” (PC, I, 49).

Как известно, в мифологии и фольклоре число 3 фигурирует чаще всего именно в предписаниях трижды совершить некое магическое действие: такой повтор придает действиям героя эпоса или волшебной сказки значение сакрализованного ритуала<sup>60</sup>. Тем не менее, несмотря на столь явно выраженный мифологический характер любой из перечисленных выше встреч Жанны д'Арк, многие исследователи относятся к ним вполне серьезно. Так, Жану Фрекену кажутся совершенно логичными и мотив троекратно-го испытания Жанны при встрече с Карлом (поскольку, как мы помним, ученый уверен, что дело происходило на маскараде), и отсрочка самого свидания на три дня<sup>61</sup>. Той же версии придерживается в своей последней книге Дебора Фрайоли<sup>62</sup>. Единственным, кто обратил внимание на «типично фольклорный мотив троекратно-го испытания», был все тот же В. И. Райцес, хотя он и не успел подробно развить эту интересную тему<sup>63</sup>.

Не получила должного развития и гипотеза, высказанная совсем недавно французской исследовательницей Колет Бон относительно конкретного *прообраза* сцены опознания<sup>64</sup>. Она писала, что последняя «любопытным образом напоминает» библейский эпизод с помазанием Давида, когда Самуил среди многочисленных — более сильных физически и лучше одетых — кандидатов находит того, кто является истинным царем: «И сказал Самуил Иессею: все ли дети здесь? И отвечал Иессей: есть еще меньший; он пасет овец. И сказал Самуил Иессею: пошли и возьми его... И послал Иессей, и привели его... И сказал Господь: встань, помажь его; ибо это он»<sup>65</sup>. Как мне представляется, эта библейская история действительно заслуживает внимания и вполне может рассматриваться как образец, по которому строилось описание

<sup>60</sup> Толстая С. М. Число // Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 2002. С. 489; Кривонос В. III. Отмеченные числа у Гоголя // Arbor mundi. 2006. N 13. С. 52-61.

<sup>61</sup> Fraikin J. Op. cit. P. 62-63, 69.

<sup>62</sup> Fraioli D. Joan of Arc and the Hundred Years War. Westport – L., 2005. P. 98.

<sup>63</sup> Райцес В. И. «Свидание в Шиноне». С. 52.

<sup>64</sup> Beaune C. Op. cit. P. 98.

<sup>65</sup> 1 Цар. 16: 11-12.

встречи в Шиноне, поскольку в основных своих чертах полностью соответствует мифологической схеме, предложенной Ж.-М. Пастре. Однако сама К. Бон, по-видимому, не отнеслась к своей гипотезе всерьез: она предпочла остаться на вполне традиционной точке зрения, заявив, что момент опознания *на самом деле* мог иметь место — ведь Жанна, будучи визионеркой, просто обязана была узнать истинного правителя<sup>66</sup>.

\* \* \*

Устойчивость столь *рационального* подхода специалистов к эпохе Жанны д'Арк, их веру в возможность *логического* объяснения исторических событий наиболее, пожалуй, ярко демонстрирует ситуация с изучением третьего эпизода «свидания в Шиноне» — так называемого «королевского секрета».

Не ставя под сомнение само существование некоей тайны между Жанной д'Арк и дофином Карлом, исследователи выдвигают самые разнообразные гипотезы относительно ее содержания. Так, Франсуаза Отран считает, что речь могла идти о тайной молитве короля, которую Карл якобы вознес Всевышнему, прося у него защиты для себя и своей страны. Жанна, раскрыв дофину содержание этой молитвы, не только подтвердила его претензии на французский престол, но и дала ему тот самый «знак» своей избранности, которого ждали от нее окружающие<sup>67</sup>.

Не менее популярным и обоснованным является предположение, высказанное Бернаром Гене. С его точки зрения, речь шла не о признании законности избрания Карла королем и не о помощи в победе над врагом, но о прощении свыше за убийство 10 сентября 1419 г. на мосту Монтро Жана Бесстрашного, герцога Бургундского<sup>68</sup>. С критикой этой гипотезы выступает Ж. Фрекен. Обращаясь к латинскому тексту материалов обвинительного процесса, он отмечает, что фраза Жанны д'Арк «*habuit rex suus signum de factis suis, priusquam vellet ei credere*»<sup>69</sup>, кото-

---

<sup>66</sup> Ibidem.

<sup>67</sup> *Autrand F.* Op. cit. P. 16-17.

<sup>68</sup> *Guenée B.* Un meurtre, une société: l'assassinat du duc d'Orléans, 23 novembre 1407. P., 1992. P. 283-289.

<sup>69</sup> РС, 1, 76.

рую принято обычно переводить «прежде чем король поверил ей, он получил знак о своих деяниях» (т. е., по мнению Б. Гене, о своем участии в заговоре против герцога), на самом деле должна звучать как «прежде чем король захотел поверить ей, он получил знак о ее деяниях»<sup>70</sup>. Соответственно, «знаком», данным Карлу, исследователь предлагает считать обещание снять осаду с Орлеана, о чем впервые Жанна заявила во время допросов в Пуатье<sup>71</sup>.

Наиболее детальный анализ вопроса о «королевском секрете» дает в своей недавней статье О. Бузи<sup>72</sup>. Традиционную версию о тайной молитве дофина он объявляет вымышленной, основанной на одном-единственном, к тому же датируемом 1516 г. документе — свидетельстве Пьера Сала<sup>73</sup>, который пересказал со слов Гийома Гуфье разговор, якобы состоявшийся у последнего с самим Карлом VII<sup>74</sup>. Что же касается обещания снять осаду с Ор-

<sup>70</sup> *Fraikin J.* Op. cit. P. 64-67.

<sup>71</sup> “Quant à la seconde manière de probation, le roy luy demanda signe, auquel elle respont que devant la ville d’Orléans elle le monstrera, et non par ne en autre lieu: car ainsi luy est ordonné de par Dieu” (Des conclusions données par les docteurs réunies à Poitiers. P. 392).

<sup>72</sup> *Bouzy O.* Jeanne d’Arc, les signes au roi et les entrevues de Chinon. P. 134-135.

<sup>73</sup> “Et pour ce que par aventure il seroit malaisé à entendre à aulcunes gens que le roy adjoustast foy aux parolles d’icelle, sachez qu’elle luy fit ung tel message de par Dieu, où elle luy declara ung secret encloz dedans le cueur du roy, de tel sort qu’il ne l’avoit de sa vie a nulle créature revelé, fors a Dieu en son oraison... Le roy estant en ceste extrême pensée, entra ung matin en son oratoire, tout seul; et la, il fit une humble requeste et priere à Nostre Seigneur, dedans son cueur, sans prononciation de parolle, ou il requeroit devotement que, se ainsi estoit qu’il fut vray hoir descendu de la noble maison de France, et que le royaulme justement luy deust appartenir, qu’il luy pleust de luy garder et defendre” (*Pierre Sala // Quicherat J.* Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc. P., 1847. T. IV. P. 278-280).

<sup>74</sup> Не ставя под сомнение вымышленный характер истории о тайной молитве короля, следует, тем не менее, заметить, что свидетельство Пьера Сала не было самым первым документом, в котором она излагалась. По мнению В. И. Райцеса, такая версия «королевского секрета» впервые прозвучала в «Мистерии об осаде Орлеана». (*Raitses V. I.* La légende du “secret du roi” // *Le Porche. Bulletin de l’Association des Amis du Centre Jeanne d’Arc* — Charles Péguy de Saint Pétersbourg. 1996. N 1. Octobre. P. 9). Действительно, мистерия в своей первоначальной версии, которая, как полагают

леана, то Бузи справедливо замечает, что подобный «знак» не мог повлиять на решение дофина довериться Жанне д'Арк, поскольку предоставить его девушка могла только после того, как покинула Шинон<sup>75</sup>. В попытке ответить на вопрос, о каком же «секрете» шла речь в Шиноне, Бузи, единственный из современных специалистов по *études johanniques*, обращает внимание на собственные показания Жанны в Руане, в которых обвиняемая вроде бы весьма недвусмысленно давала своим судьям понять, что «знак» имел *материальную* природу. Это была некая золотая *корона*, символизировавшая «обещание помазания на царство». Именно эта таинственная корона, неизвестно каким образом попавшая в руки девушки и переданная ею дофину, послужила, по мнению исследователя, «знаком», заставившим Карла официально признать избранность Жанны д'Арк и божественный характер ее миссии<sup>76</sup>.

Сюжет с короной на самом деле очень важен, ибо перед нами — совершенно новая версия истории о «королевском секрете», причем основывается она на самом, пожалуй, достоверном из всех возможных в данном случае источников — на показаниях самой Жанны д'Арк, которая, вероятно, лучше всех прочих знала о том, что происходило в Шинонском замке весной 1429 г. И, тем не менее, рассказ о принесении короны не пользуется большой популярностью у исследователей. Причины этого парадоксального явления, как мне представляется, следует искать в самой истории, рассказанной Жанной, ибо она в самой малой степени соответствует тому, что можно было бы назвать «исторической действительностью».

\* \* \*

Впервые о «знаке», якобы данном дофину Карлу, Жанна упомянула мельком 27 февраля 1431 г. при ответе на вопрос, почему

---

исследователи, была написана в 30-е гг. XV в., начиналась как раз со сцены молитвы дофина Карла, после которой Господь, поддавшись на уговоры Богоматери и святых покровителей Орлеана, отправлял к Жанне д'Арк архангела Михаила (*Le Mistere du siege d'Orleans / Edition critique de V. L. Hamblin. Genève, 2002. V. 6813-7064*).

<sup>75</sup> Bouzy O. *Jeanne d'Arc, les signes au roi et les entrevues de Chinon*. P. 136.

<sup>76</sup> Ibidem. P. 137.

король поверил в ее избранность<sup>77</sup>. 10 марта она призналась, что этот «знак» помимо короля видели и другие люди — архиепископ Реймский, Шарль де Бурбон, де ла Тремуй, герцог Алансонский<sup>78</sup> — однако категорически отказалась описать его, сказав лишь, что его можно по-прежнему увидеть в королевской сокровищнице<sup>79</sup>. И только 13 марта 1431 г., на допросе, проводившемся в тюрьме, Жанна по какой-то причине изменила свое решение и поведала судьям поистине удивительную историю.

Она говорила, что знаком ее избранности стала встреча короля с *ангелом*, принесшим корону и подтвердившим тем самым, что Карл с помощью Господа получит в свое владение все французское королевство<sup>80</sup>. Однако, сделать это он мог, лишь прибегнув к помощи Жанны и дав ей войско — только в этом случае он был бы коронован и помазан на царство<sup>81</sup>.

Встреча дофина Карла с ангелом, согласно Жанне, произошла в самом конце марта или в апреле, поздно вечером. Девушка как обычно проводила время в молитвах и была в своей комнате, в доме «доброй женщины» недалеко от Шинонского замка. Вдруг дверь в ее комнату отворилась, и вошел ангел, который пригласил Жанну следовать за ним<sup>82</sup>. Прибыв в замок, они направились в личные покои дофина<sup>83</sup>, где вместе с ним находились архиепископ Реймский, Шарль Бурбон, герцог Алансонский и Жорж де

<sup>77</sup> “Respondit quod ipse habebat bona intersignia et per clerum” (PC, 1, 76).

<sup>78</sup> “Respondit quod, si signum Katherine ita bene fuisset ostensum coram notabilibus viris ecclesiasticis et aliis... videlicet coram archiepiscopo Remensi et aliis quorum nescit nomina, sicut fuit signum ipsius Iohanne, ubi erat Karolus de Borborio, dominus de Tremoillia, dux Alenconii et plures alii milites qui viderunt...” (PC, 1, 116).

<sup>79</sup> “Et durabit usque ad mille annos et ultra. Item dicit quod dictum signum est in thesauro regis sui” (Ibidem).

<sup>80</sup> “Item dicit quod illud signum fuit quod angelus certificabat hoc regi suo, sibi apportando coronam et ei dicendo quod ipse haberet totum regnum Francie ex integro, mediante auxilio Dei et mediante labore ipsius Iohanne” (PC, 1, 133-134).

<sup>81</sup> “Et quod ipse poneret eandem Iohannam ad opus, videlicet quod traderet sibi gentes armorum, alioquin non esset ita cito coronatus et consecratus” (PC, 1, 134).

<sup>82</sup> “Ego eram quasi semper in oracione ut Deus miceret signum ipsius regis, et eram in hospicio meo, in domo unius mulieris prope castrum de Chinon, quando ipse angelus venit; et postea ipse et ego simul ivimus ad regem” (PC, 1, 137).

<sup>83</sup> “Hoc fuit in camera regis sui, in castro de Chinon” (PC, 1, 134).



ла Тремуи<sup>84</sup>. Там ангел заговорил с королем и напомнил ему то терпение, с которым тот переносил все несчастья, выпавшие на его долю<sup>85</sup>. Жанна же сказала, обращаясь к Карлу: «Сир, вот ваш знак. Возьмите его»<sup>86</sup>.

Знаком этим была золотая корона, принесенная ангелом, чудесно пахнувшая и так тонко и богато украшенная, что ни один мастер на земле не смог бы такую изготовить. Корона, таким образом, была послана самим Господом<sup>87</sup>. Ангел отдал корону архиепископу Реймскому, а тот в свою очередь передал ее дофину. Затем она была помещена в королевскую сокровищницу, где ее видели очень многие люди, а не только те, кто присутствовал при встрече с ангелом<sup>88</sup>. Передачей короны явление ангела завершилось: он покинул Жанну в маленькой часовне, расположенной рядом с покоем дофина<sup>89</sup>.

Представить, что подобная встреча состоялась в действительности, довольно затруднительно, и именно поэтому большинство исследователей предпочитают не учитывать показания самой Жанны, повествуя о ее пребывании в Шиноне<sup>90</sup>. Проблема,

<sup>84</sup> “Interrogata utrum omnes qui illic erant cum rege suo... Respondit quod, prout credit, archiepiscopus Remensis, domini de Alenconio et de Tramoilla et Karolus de Borbonio” (PC, 1, 137).

<sup>85</sup> “Quando idem angelus venit coram suo rege, fecit eidem reverenciam, inclinando se coram eo et pronunciando verba que ipsa Iohanna supra dixit de hoc signo. Et cum hoc, ipse angelus eidem regi suo reducebat ad memoriam pulchram patientiam quam ipse habebat, secundum magnas tribulaciones que ipsi contigerant” (PC, 1, 136).

<sup>86</sup> “Dixitque ipsa Iohanna regi suo: Domine, ecce signum vestrum; capiat is ipsum” (Ibidem).

<sup>87</sup> “Respondit quod bonum est scire quod erat de puro auro; et erat corona adeo dives seu opulenta quod divicias existentes in illa nesciret numerare seu appreciari” (PC, 1, 135). “Ipsa corona fuit apportata ex parte Dei, et quod non est aurifaber in mundo qui scivisset facere ita pulchram vel ita divitem” (PC, 1, 139).

<sup>88</sup> “Respondit quod predicta corona fuit tradita uni archiepiscopo... in presencia regis sui; et dictus archiepiscopus eam recepit et tradidit eidem regi suo... Estque corona predicta posita in thesauro regis sui” (PC, 1, 134). “Et, quantum est de corona, plures viri ecclesiastici et alii viderunt eam, qui non viderunt angelum” (PC, 1, 137).

<sup>89</sup> “Ab ea recessit in quadam parva capella” (PC, 1, 138).

<sup>90</sup> Исключение представляют работы, авторы которых либо искренне верят в то, что ангел действительно являлся Жанне и Карлу (*Pinoteau H. La*

однако, заключается в том, что данный ответ и не должен был отражать *историческую* реальность.

Дело в том, что сюжет о явлении ангела королю считался одним из основных во французской политической теологии. И он мог быть хорошо знаком Жанне, прежде всего по иконографическим свидетельствам — сценам, изображавшим помазание Христа, коронование Давида, коронование Марии или св. Елизаветы, не считая мотива принесения короны собственно французским королям<sup>91</sup>. Все эти сюжеты (или хотя бы некоторые из них) Жанна могла видеть либо в книгах (часословах или библиях), либо в храмах и, соответственно, обобщить имевшуюся у нее информацию для того, чтобы после многочисленных отказов все же поведать судьям о своем «знаке» и о том, что явление ангела стало главным доказательством легитимности прав Карла на французский престол.

Однако миниатюры и прочие живописные или же скульптурные изображения, которые гипотетически могла использовать в качестве основы для своего рассказа Жанна, обладали одной общей особенностью — они оказывались статичны, неподвижны, тогда как ее история была буквально переполнена движением. Возможно, что рассказ Жанны строился на основании каких-то виденных ею мистерий или мираклей, посвященных Богородице, в которых присутствовала сцена коронования Марии. К ним, в частности, относились «Чудеса Богоматери по персонажам»<sup>92</sup>, датируемые XIV в., или «Мистерия о Вознесении Девы Марии» середины XV в.<sup>93</sup> Однако, «Чудеса», насколько известно, ставились только в Париже<sup>94</sup>, а «Мистерия» сохранилась всего в одном ману-

---

symbolique royale française, V<sup>e</sup>–XVIII<sup>e</sup> siècles. La Roche-Rigault, 2003. P. 282-287), либо полагают, что Жанна могла описывать как ангела себя саму (*Sullivan K.* Op. cit. P. 71-81).

<sup>91</sup> Подробнее об этих иконографических сюжетах см.: *Тогоева О. И.* Король и ангел // Русская Антропологическая Школа. 2008. Вып. 5 (в печати).

<sup>92</sup> *Miracles de Notre-Dame par personages* / Ed. par G. Paris, U. Robert. P., 1876–1893. 8 vol.

<sup>93</sup> *Mystère de l'Ascension de la Vierge* / Ed. par B. Lunet // *Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron*. 1842–1843. T. 4. P. 300-375.

<sup>94</sup> *Runnalls G. A.* The Miracles de Notre-Dame par personnages: Erasures in the Manuscripts and the Dates of the Plays and the Serventois // *Philological Quarterly*. 1970. T. 49. P. 19-29.

скрипте, происходящем из Родеза. Ни в одном из этих мест Жанна не бывала, а потому происхождение рассказа о явлении ангела стоит, как мне кажется, связать с *устной* традицией — вернее, все-го с одним, но, вероятно, хорошо знакомым девушке рассказом.

Как известно, обвинительный процесс против Жанны д'Арк в Руане начался уже после того, как состоялась коронация Карла VII. В Реймсе Жанна, прибывшая туда вместе с дофином, оставалась довольно длительное время — около недели<sup>95</sup>. Для французских королей Реймс был совершенно особым местом, ведь именно там, согласно легенде, явился ангел, принесший елей для крещения Хлодвига I<sup>96</sup>. Эта история была известна в подробностях всем жителям Реймса<sup>97</sup>, она многократно становилась сюжетом средневековых анналов и хроник. Одним из основных сообщений о принесении еля считался рассказ реймского каноника Флодоарда, помещенный в «Историю реймской церкви», написанную им около 948 г. Думается, что он был хорошо знаком представителям церковных кругов, с которыми общалась Жанна во время своего пребывания в городе.

Речь у Флодоарда шла о св. Ремигии, которому выпала честь крестить Хлодвига и который накануне вечером отправился в личные покои короля, чтобы еще раз побеседовать с ним о смысле столь важного в жизни последнего события. Он был с почтением встречен королевскими приближенными, и все вместе они оказались в часовне рядом с королевской опочивальней<sup>98</sup>. Архи-

---

<sup>95</sup> “Respondit quod, prout credit, ipsa et sui fuerunt illic quinque aut sex diebus” (PC, 1, 100).

<sup>96</sup> *Le Goff J.* Reims, ville du sacre // *Les lieux de mémoire / Sous la dir. de P. Nora. II: La Nation. P., 1986. P. 89-184.*

<sup>97</sup> *Togoeva O.* Lieux de mémoire. Le pouvoir judiciaire à Reims en 1431 // *Bilder der Macht in Mittelalter und Neuzeit. Byzanz – Okzident – Russland / Hrsg. von O. G. Oexle, M. Boitsov. Göttingen, 2007. S. 461-474.*

<sup>98</sup> “Post hymnos precesque nocturnas prescul regium cubile petit, ut absoluto curis secularibus rege liberius ei committere sacri valeret misteria verbi. Quo reverenter a cubiculariis admissis rex prosiliens obivus alacriter occurrit et oratorium beatissimi apostolorum principis Petri, cubiculo regis forte contiguum, pariter ingrediuntur. Cumque dispositis sedilibus pontifex, rex atque regina consedisent intromissis quibusdam clericis, sed et aliquibus regi necessariis ac domesticis et venerabilis pater regem monitis imbueret salutaribus ad corroborandam salutiferam fidelis servi sui doctrinam, dominus etiam visibiliter dignatus est

епископ обратился к королю с речью, и в этот момент Господь, дабы придать силы его словам, решил показать, что он всегда пребывает среди своих верных слуг (т.е. среди людей). Часовня наполнилась светом, бывшим сильнее света солнца. И из середины этого светового потока раздался голос: «Не бойтесь, это я. Пребывайте в мире и моей любви». После этого свет исчез, но в часовне еще долго сохранялся чудесный запах<sup>99</sup>. Свет, однако, разлился по лицу св. Ремигия, который получил откровения о судьбе присутствующих и королевства: о том, в частности, что его размеры увеличатся, что оно защитит церковь, станет империей и победит врагов<sup>100</sup>. После столь чудесных предзнаменований присутствующие начали готовиться к самому крещению — и в баптистерии также разлился чудный аромат<sup>101</sup>. Однако, клирик, который должен был поднести св. Ремигию елей для помазания, не смог пробиться сквозь толпу собравшихся. Таинство оказалось под угрозой. В этот трагический момент святой со слезами на глазах вознес тайную молитву Господу. И сразу же с небес спус-

---

*ostendere sese fidelibus suis in nomine suo congregatis, ut promiserat, semper adesse*” (Flodoardus Remensis *Historia Remensis ecclesiae* / Hrsg. von M.Stratmann // MGH. *Scriptores*. Hannover, 1998. T. 36. S. 87-88).

<sup>99</sup> “*Repente namque lux tam copiosa totam replevit ecclesiam, ut solis videretur evincere claritatem. Mox cum luce vox facta est inquit: “Pax vobis, ego sum! Nolite timere! Manete in dilectione mea!”*. Post que verba lux, que advenerat, abscessit, sed ineffabilis odor suavitatis in eadem domo remansit, ut evidenter valeret agnosci lucis, pacis atque pie dulcedinis illuc auctorem venisse” (Ibid. S. 88).

<sup>100</sup> “*Irradiatus quoque vir beatissimus Remigiis, ut exterius, veteris exemplo legislatoris, vultus illustratione, ita multoque magis interius divini fulgoris illuminatione, spiritu prophetico, que ipsis veleurum forent eventura prosapie, traditur predixisse: quomodo videlicet eorum posteritas regnum nobiliter esset propagatura, ecclesiam quoque Christi sublimatura Romanaque dignitate vel regno potitura et victorias contra impetus aliarum gentium perceptura, si non a bono degenerantes salutis viam forte relinquerent et, quibus deus offenditur, scelera consecrati pestiferorum viciorum laqueos incurrerent, quibus regna subverti atque de gente solent in gentem transferri*” (Ibidem).

<sup>101</sup> “*A domo denique regis eundi ad baptisterium via preparatur, vela cortineque appenduntur, hinc inde platee stermentur, ecclesia componitur, baptisterium balsamo ceterisque odoramentis aspergitur tantamque dominus populo gratiam subministrabat, ut odoribus se paradisi refoveri gauderet* (Ibidem).

тился голубь, белый как снег, несущий в клюве склянку со священным елем, посланным свыше. Елей источал столь дивный аромат, что все присутствующие почувствовали радость, какую ранее никогда не испытывали. Как только прелат вылил елей в воду, приготовленную для крещения, голубь исчез<sup>102</sup>. Хлодвиг же, пораженный божественным чудом, заявил о своей готовности принять христианство, был окрещен, а вместе с ним таинство восприняли две его сестры и 3 тысячи франкских воинов, не считая женщин и детей<sup>103</sup>.

Как мне представляется, в этом пассаже и в рассказе Жанны есть много схожих деталей: это и вечернее время визита к королю; и встреча с ним в его личных покоях; и присутствие приближенных; и откровения о судьбах страны, полученные главными действующими лицами; и дивный аромат, источаемый принесенными свыше дарами; и мгновенное исчезновение посланца небес после передачи этих даров.

Конечно, утверждать, что Жанна д'Арк знала, а тем более читала рассказ Флодоарда, было бы преувеличением. Скорее, интересующие ее сведения она могла почерпнуть из устных сообщений жителей Реймса (священников капитула, членов аббатства св. Ремигия, должностных лиц), придававших огромное значение тому обстоятельству, что именно в их городе хранилась ампула со священным елеем<sup>104</sup>. Подобное «заимствование» могло бы объяснить некоторые особенности показаний Жанны д'Арк на

---

<sup>102</sup> “Ubi vero ad preparatum baptisterii perventum est locum, clericus crisma ferens a populo interceptus, ad fontem pertingere penitus est impeditas. Sanctificato denique fonte nutu divino crisma defuit. Sanctus autem pontifex oculis ad celum porrectis tacite traditur orasse cum lacrimis. Et esse subito columba ceu nix advolat candida rostro deferens ampullam celestis doni chrismate repletam. Cuius odoris mirabili respersi nectare inestimabili, qui aderant, super omnia, quibus antea delectati fuerant, replentur suavitate. Accepta itaque sanctus presul ampulla postquam chrismate fontem conspersit, species mox columbe disparuit” (Ibid. S. 88-89).

<sup>103</sup> “Rex autem tante gratie conspecto miraculo letus actulum diaboli pompis et operibus abnegatis, a reverendo se petit pontifice baptizari... Baptizantur sorores regis... simulque de Francorum exercitu virorum tria milia preter mulierum parvulorumque nomina” (Ibid. S. 89).

<sup>104</sup> Подробнее об этом: *Togoeva O.* Op. cit.

процессе — стройность и логичность ее рассказа, массу «второстепенных» деталей, которыми он был украшен, и его общую политическую направленность.

История о принесении короны должна была произвести на судей Жанны неизгладимое впечатление. Ведь она была выстроена в строгом соответствии с современной христианской теологией и полностью подтверждала законность прав Карла VII на французский престол. Ничего более убедительного, чем явление ангела, принесшего корону и таким образом официально объявившего дофина наместником Бога на земле, придумать было невозможно.

\* \* \*

Для нас гипотеза об использовании текста Флодоарда в качестве основы для истории о «королевском секрете» также имеет особое значение. Как, впрочем, и предположение о возможных прототипах сцены опознания дофина в присутствии трехсот шевалье.

Безусловно, предложенные в качестве трех основных образцов для описания «свидания в Шиноне» истории Гедонеа, Давида и Хлодвига ни на шаг не приближают нас к полной и окончательной реконструкции этой «исторической встречи». И с этой точки зрения, им не находится и никогда не найдется места в ее каноническом прочтении.

Скорее, анализ таких «фантастических» деталей, как присутствие в Шинонском замке трехсот шевалье, игра французского дофина в прятки и принесение ему короны ангелом, способен в какой-то степени приблизить нас к пониманию того, как оценивали происходившее современники событий, какие возможные аналогии они использовали для их осмысления, на какие повествовательные схемы при этом опирались. Конечно, их объяснительная логика, их общий культурный уровень и роль в их представлениях символической составляющей существенно отличались от современных, а потому могут казаться не слишком рациональными. Это, однако, вовсе не означает, что их не следует учитывать, выстраивая диалог с прошлым.

## ГЛАВА 18

# ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ТЕХНОЛОГИИ АНТИКВАРНОГО ДИСКУРСА

## АНГЛИЯ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ

Благодаря неизменному интересу современных исследователей к наследию английских антиквариетов XVI–XVII вв., их значительный вклад в развитие исторической мысли раннего Нового времени не вызывает сомнения<sup>1</sup>. Сказанное относится в равной степени как к дальнейшему развитию в рамках антикварных студий основных жанровых особенностей историописания, масштабу выполненных ими исследований, методам критики исторических источников, так и к интеллектуально-психологическим установкам и ценностям антикварного дискурса в целом. Подмеченные специалистами особенности антикварного сознания сполна демонстрируют характерное для английских ученых этого круга стремление придать структуре исторического повествования определенные черты, индивидуализирующие вплетенные в него судьбы людей, конкретные факты и события. Нарочито прописанные курьезы в жизни мифических и реальных персонажей, развенчание сло-

---

<sup>1</sup> English Historical Scholarship in Sixteenth and Seventeenth Centuries / Ed. by L. Fox. Oxford, 1956; *Helgerson R.* Forms of Nationhood: the Elizabethan Writing of England. Chicago, 1992; *Parry G.* The Trophies of Time: English Antiquaries of the Seventeenth Century. Oxford, New York, 1995; *Shapiro B.* A Culture of Fact. England, 1550–1720. Cambridge, 2003; *Зверева В. В.* Представление прошлого в трудах английских антикваров // Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2003. С. 223–242; *Паламарчук А. А., Федоров С. Е.* Рубежи антикварного сознания: история и современность в раннеюжартовской Англии // «Цепь времен»: проблемы исторического сознания / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2005. С. 151–198; *Федоров С. Е.* Антикварное историописание: история и современность в якобитской Англии. СПб., 2007.

жившихся стереотипов в отношении регионального и более широко — национального прошлого, обескураживающее прочтение этимологии слов, терминов и понятий, лексикографические опыты — все это подчинялось у антиквариев вполне определенной задаче. Историческое явление складывалось из своеобразия и неповторимости составлявших его элементов, значение отдельных слов и понятий — из множества определявших их постепенную эволюцию смыслов, обновленная национальная история — из составлявших ее богатую палитру региональных оттенков.

Создаваемые антиквариями тексты также были преисполнены авторской индивидуальности, отличались особой вовлеченностью повествователя в описываемые события. Опиравшиеся по-прежнему на авторитет предшественников, эти тексты уже не подходили на традиционные, характерные для средневековой традиции компиляции. Используемый антиквариями материал из сочинений предшественников либо свободно излагался в характерной для заимствовавшего манере, либо — там, где этого требовал принцип изложения, — оформлялся в виде выделенной особым шрифтом цитаты с указанием автора или даже замыкался в кавычки. При этом перелагаемый или включаемый без изменений отрывок сопровождался необходимыми пояснениями и замечаниями рассказчика. Созданный таким образом текст был всегда узнаваем и неповторим: антикварии были обречены на индивидуальную славу или поругание, каждый из них нес персональную ответственность за созданное ими сочинение.

Индивидуальная неповторимость антикварных текстов, тем не менее, не исключала легко распознаваемые в них общие черты, объединявшие их создателей в единое интеллектуальное целое. Точность исторической реконструкции зависела не только от критического прочтения письменных свидетельств прошлого, объективного отношения к его материальным артефактам, но и от организации подчиненного задачам подобного рода исследования стилистического, лексического и даже грамматического пространства исторического повествования. Антикварное сознание требовало в интересах историописания первоначально «свернуть» реконструированные факты и события в текст со всеми присутствующими ему особенностями с тем, чтобы затем при каждом прочтении вербально организованная действительность могла



«разворачиваться» перед читателем и тем самым приобретать необходимые черты реальной действительности.

«Сворачивание» и повторное «разворачивание»<sup>2</sup> действительности в свою очередь подчинялось в сознании антиквариетов вполне определенной цели. Ее исходным концептом оказывалось присущее организованным таким образом студиям неизменное стремление использовать характерные для общества раннего Нового времени «процедуры» поддержания и воспроизведения исторической памяти<sup>3</sup>. Опираясь в своей реконструкции и изложении фактов на древние, средневековые, а также введенные в оборот их современниками исторические ресурсы, антиквариеты ориентировались не только на запросы своих влиятельных патронов, но и на интеллектуальные и политические потребности образованной элиты британского общества раннего Нового времени. Провозглашаемый каждым из них объективный подход к свидетельствам прошлого, при всей его несомненной значимости, все-таки определялся потребностями времени. В этом смысле доминирующие общественные идеалы определяли как стратегию «сворачивания» действительности в антикварных текстах, так и допустимые механизмы ее «разворачивания» уже за пределами их вербального пространства.

Динамика такого «развертывания» подразумевала, что созданный антиквариетом текст первоначально воскрешает в сознании современника известные образы и ассоциации, затем соотносящиеся с ними факты и события, потом — определенные переживания и только далее — возможные умозаключения. Стремясь контролировать отдельные фазы такой процедуры, антиквариеты

---

<sup>2</sup> Федоров С.Е. 1) *Honor Redivivus: Риторика представлений современников о стюартовской аристократии* // Вестник С.-Петербургского Ун-та. Серия 2. Вып. 4. 1998. С. 16-25; 2) О некоторых особенностях представлений об аристократии в Англии раннего Нового времени // Проблемы социальной истории и культуры Средневековья и раннего Нового времени / Под ред. Г. Е. Лебедевой. СПб., 2000. С. 160-179.

<sup>3</sup> Используемое нами понятие восходит к термину «процедуры признания исторической памяти», впервые введенному английской исследовательницей С. Рэдстоун: *Radstone S. Reconceiving Binaries: the Limits of Memory* // *History Workshop Journal*. 2005. Vol. 51. No. 1. P. 134-135. О перспективности наблюдений Рэдстоун см.: *Репина Л. П. Память и историописание* // История и память. Историческая культура Европы до начала Нового времени / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2006. С. 27-28.

тщательно выверяли структуру и содержание создаваемых ими текстов: общая картина прошлого должна была покоиться на известных образах и вызывать определенные ассоциации. Известность и узнаваемость образов, хотя и допускала некоторую свободу в определении соответствующих их восприятию фактов и событий, ограничивалась господствующими стереотипами. Целостность образов и предопределенных таким образом ассоциаций гарантировала возможные оттенки их восприятия и — что самое главное — предопределяла потенциальные ракурсы умозаключений. Текст, его форма и способы организации становились важнейшими рычагами, управлявшими общественным сознанием элиты и контролировавшим ее историческую память.

Процедуры поддержания и воспроизведения исторической памяти, содержащиеся в антикварных текстах, при всей их нормативности, опять-таки не исключали индивидуальных решений. В этом смысле корпоративность антикварного сознания на деле оказывалась достаточно гибкой, и если предлагаемая новация не нарушала культивируемой этим сообществом нормы, ее охотно принимали и даже заимствовали.

Среди подобного рода новаций существует ряд предложенных антиквариями решений, потенциальное значение которых для развития историописательных стратегий и самого антикварного дискурса в целом было достаточно велико. Именно подобного рода решения вызывали у читающей и интересующейся историческим прошлым Британских островов публики весьма определенные ассоциации. Их смысловые рамки не только выстраивали в сознании современников необходимые с точки зрения автора причинно-следственные связи, но и определяли контекст конечного восприятия собирательных образов, метафор, а также излагаемой вереницы событий и фактов. Такое «подталкивание» читателя к желательному итогу, провоцируемое отдельными антикварными текстами или группой связанных между собой текстов, обеспечивало поддержание определенного типа исторической памяти и его регулярное воспроизведение.

Наиболее характерными для англичан конца XVI — первой половины XVII в. были три типа исторической памяти<sup>4</sup>, меха-

---

<sup>4</sup> Авторы этой статьи сознательно пошли на подобную схематизацию типов исторической памяти, руководствуясь интересами обсуждаемой про-

низмы которых устойчиво ориентировали современников либо на последовательную романизацию германского прошлого Британских островов, либо на повторную германизацию уже изрядно романизированной усилиями предшественников национальной истории, либо, наконец, — на разумное сочетание каждого из упомянутых концептов. Рождавшиеся в связи с римской историей ассоциации и параллели не только украшали и героизировали таким образом интерпретированное национальное прошлое, но и с легкостью вычерчивали величественный профиль династий, отдельных монархов, а также преемственность в публично-правовых и административно-судебных институтах. Германизация усиливала вариации этнополитического и этноконфессионального, ориентируя восприятие современников на признание специфики и неповторимости пройденного пути. Умеренное сочетание романских и германских концептов обеспечивало необходимые при объективном подходе эволюционную преемственность и разрыв.

Если романизирующий тип исторического сознания относился к числу повсеместно признаваемого, то два последующих типа исторической памяти, характеризовавших антикварный дискурс тех лет, весьма избирательно оценивались как интеллектуальным сообществом той поры, так и определявшей его основные вкусы политической элитой. Повторно германизирующий национальную историю подход вызывал наибольшее недовольство среди облеченных властью патронов, поскольку нарочито подчеркиваемая национальная специфика не всегда могла конкурировать со значительно романизированными континентальными примерами. Очевидно, комбинированный подход при всей его эклектичности был более приемлемым, хотя и уступал романизирующему подходу в яркости и емкости конечных формулировок.

Каждый из указанных подходов с характерной для него картиной исторического прошлого и механизмами ее поддержания либо, как романизирующий вариант, уже упрочивал собственные

---

блематики, но не отрицая при этом других более дробных бытующих в литературе классификаций: English Historical Scholarship in Sixteenth and Seventeenth Centuries / Ed. by L. Fox. Oxford, 1956; Levy F. Tudor Historical Thought. San Marino, 1967; Shapiro B. A Culture of Fact. England, 1550-1720. Cambridge, 2003.

позиции, либо, как германизирующий или комбинирующий оба концепта, усиленно пробивал себе дорогу к интеллектуальному пространству английского общества раннего Нового времени. И там, где речь шла о завоевании позиций, акцент на новаторском характере самих репрезентирующих прошлое технологий оказывался особенно очевидным.

Технологии, конечно, — понятие условное, но именно оно, с присущей такого рода обобщениям суммарностью, вполне удачно отражает и схематизирует процесс постепенной адаптации менее привычных форм исторической памяти. Антикварию, заинтересованные в укоренении менее популярных взглядов на прошлое, весьма широко использовали интеллектуальные и ментальные ресурсы англичан с тем, чтобы предлагаемые в их сочинениях варианты «распознавания» прошлого аккумулировали если не широко распространенные приемы его репрезентации, то, во всяком случае, «запускали» в сознании современников своеобразные работающие механизмы.

К таким безотказно работающим механизмам могли относиться смысловые параллели, уравнивавшие, к примеру, ремесло историка с ремеслом популярных и более известных профессий, а также уподобление историописания другим более доступным занятиям или даже развлечениям.

### **«Orbis gestas» и «orbis loci» Уильяма Кэмдена**

Среди английских антиквариев старшего поколения Уильяму Кэмдену — автору знаменитой «Британии» принадлежит исключительное место. Исследователи и по сей день продолжают спорить об идейной направленности этого произведения и о своеобразии лежащих в его основе концептов, определявших характерный для этого автора вариант воссоздания исторического прошлого Британских островов. Большинство из них полагают, что сконструированный Кэмденом вариант национальной истории ориентировался в основном на воспроизведение характерных для гуманистической традиции исторических концептов, под влиянием которых складывалась вполне определенная, акцентирующая создающую силу римского субстрата, модель повествования. Вызывавшая у современников весьма характерные для такого прочтения ассоциации, она наталкивала потенциального читателя на

вполне естественные умозаключения, общим местом которых оказывалась параллель между двумя великими империями<sup>5</sup>.

Выдвигаемая специалистами общая оценка «Британии» согласовалась также со взглядами Уильяма Сесила, будущего лорда Бэрли, патронировавшего труд Кэмдена на стадии подготовки, а также с настроениями ближайшего придворного окружения этого могущественного елизаветинца<sup>6</sup>, но не учитывала при этом ряд важных для понимания кэмденовского варианта национальной истории моментов<sup>7</sup>. Известно, что по совету голландского географа Авраама Ортелиуса, Кэмден, действительно, намеревался «восстановить британскую историю до ее древнейших времен и сделать эти древности достоянием Британии»<sup>8</sup>. При этом намеченный им объем работы не только хронологически выходил за рамки римского периода национальной истории, простираясь в глубину веков, но, как представляется, ориентировался на иного рода предпочтения.

Уже в первом издании «Британии» (1586 г.) Кэмден писал о том, что он «на протяжении многих лет, вплоть до конца работы над этим сочинением собирал свидетельства о наиболее древних

---

<sup>5</sup> Powicke M. William Camden // *Essays and Studies*. 1948. Vol. I. P. 74-75; Kendrick T. *British Antiquity*. London, 1950. P. 145; Piggott S. William Camden and the Britannia // *Proceedings of the Royal British Academy*. 1951. Vol. 37. P. 208-209; *The Making Camden's Britannia* // *Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance*. 1964. Vol. 26. P. 70-98; Levine J. *Humanism and History: Origins of Modern English Historiography*. Ithaca, 1987. P. 13-14; 93; Woolf D. *Idea of History in Early Stuart England*. Toronto, 1990. P. 166-117; Helgerson R. *Forms of Nationhood: the Elizabethan Writing of History*. Chicago, 1992. P. 114-118. См. также: Levy F. *Tudor Historical Thought*. P. 144-159.

<sup>6</sup> Об этом подробнее см.: Canny N. *Making Ireland British. 1580-1650*. Oxford, 2001. P. 42-55; Ohlmeyer J. *Seventeenth Century Ireland and the New British and Atlantic Histories* // *The American Historical Review*. 1999. Vol. 104. No. 2. P. 446-462; Percival-Maxwell M. *Ireland and the Monarchy in the Early Stuart Multiple Kingdom* // *The Historical Journal*. 1991. Vol. 34. No. 2. P. 279-295; *Kingdom United? Great Britain and Ireland since 1500: Integration and Diversity* / Ed. by S. Connolly. Dublin, 1999.

<sup>7</sup> Об этом в частности пишет: Rockett W. *The Structural Plan of Camden's Britannia* // *Sixteenth Century Journal*. 1995. Vol. 26. No. 4. P. 829.

<sup>8</sup> Camden W. *Britannia: sive Florentissimorum Regnorum, Angliae, Scotiae, Hiberniae, et Insularum Adiacentium ex intima antiquitate chorographica descriptio*. London, 1586. Sig.A.2r.

обитателях британских островов и стремился определить происхождение англичан, а также вывести из забвения названия древних британских городов, упомянутые Птоломеем, Антонином и другими источниками<sup>9</sup>. Материализовавшись на бумаге, каждая из намеченных Кэмденом задач определила бинарно-зеркальную структуру<sup>10</sup> его повествования.

Бинарность повествования проистекала из заложенных в структуру «Британии» двух описательных приемов. Первый — условно хронологический — определял последовательность фактов и событий, живописующих этнополитический компонент национальной истории в ее буквальном универсалистском прочтении: границы собственно британского пространства размыкались там, где того требовала линия повествования, уводящая историю этносов и народов, населявших острова, далеко на континент. Второй — условно хорографический — влиял на структуру изложения топографического материала и в этом смысле дополнял горизонтально простертую этнополитическую историю вертикальной локально ориентированной составляющей. Двухмерность повествовательного пространства становилась отличительной чертой созданного Кэмденом текста.

Зеркальность изложения — это еще один характерный для «Британии» прием, наряду с принципом бинарности определявший «технологию» репрезентации прошлого в кэмденовских текстах. Этносы и народы, населявшие в различные эпохи британский мир, образовывали совокупный портрет — своеобразное этнополитическое измерение и специфику той самой общности, которая еще с римских времен была известна как островная Британия. При этом зоны их обитания, оформившиеся сначала в варварские королевства, а затем трансформировавшиеся в привычные для елизаветинской поры графства образовывали вертикаль,

---

<sup>9</sup> Ibid. Sig.A3v. Эта фраза присутствует и в трех последующих (1590, 1594, 1600): Sig.A4v. (P.8); Sig.A4v. (P.8) и Sig.A4r. (P.7). В последнем прижизненном издании «Британии» (1607 г.), послужившем основой для ее перевода на английский язык (1610), раздел «Ad lectorem» переработан, и эта фраза опущена.

<sup>10</sup> Уильям Роккетт придерживается мысли, что структурный план «Британии» Кэмдена был трехмерным, но при этом не видит ее зеркальных механизмов: *Rockett W. The Structural Plan of Camden's Britannia... P. 831.*

которая всей своей протяженностью демонстрировала специфику этой общности в ее территориальном измерении. Британия оказывалась единой и в этнокультурном, и в культурно-территориальном измерении. Она складывалась и как конгломерат этносов, и как группа объединенных единым германским прошлым территорий, в буквальном смысле «перемоловших» последствия римского завоевания.

Можно, конечно, возразить, упрекнув Кэмдена в использовании широко известных репрезентативных клише. На самом деле, реконструкция древнейших материалов и свидетельств о первых обитателях Британских островов, с одной стороны, и ранняя этнополитическая история английского народа — с другой — и как объект и как одна из целей исследования — сюжеты, весьма типичные для британского историописания. Впервые опробованные Бедой Достопочтенным, они стали своеобразной «классикой» еще во времена Ранульфа Хигдена. Топография английских городов римского происхождения — сюжет куда менее классический, но при этом также уже достаточно разработанный Гиральдом Камбийским, Джоном Лэландом и прочими менее известными английскими хорографами<sup>11</sup>.

Типичность этих схем, конечно, оставалась общеизвестной в конце XVI века, но только в рамках обособленной жанровой специфики. История народов, населявших британские острова, в ее этнополитическом измерении не выходила за рамки хроник. Построенная исключительно в хронологическом ключе, она лишь в самом общем виде иллюстрировала историю правящих домов и сменявших друг друга династий или же оставалась неотъемлемой частью более широко осознаваемой политической истории острова. Топографические экскурсы, подчас проникавшие в текст исторических хроник, по большей части формировали самостоятельный жанр средневековых хорографий. Симфония двух жанров, в свое время обозначенных Хигденом как *orbis gestas* и *orbis loca* — никогда, вплоть до Кэмдена, не становилась реальностью<sup>12</sup>. Объединенные в рамках смыслового пространства «Бри-

---

<sup>11</sup> Об этом см. подробнее: *Cormack L. Charting an Empire: Geography at the English Universities. Chicago, 1997.*

<sup>12</sup> *Helgerson R. The Land Speaks: Cartography, Chrography, and Subversion in Renaissance England // Representations. 1986. No. 16. P. 71-73.*

тании», два повествовательных приема открывали перед Кэмденом достаточно широкие возможности для манипулирования общеизвестными пластами культурной памяти англичан.

О наиболее древних обитателях Британских островов (*primi incolae*) Кэмден пишет, воспроизводя часть широко известной истории о сыновьях Ноя. Акцент на библейском (ветхозаветном) происхождении легенды о предках островитян наряду с указанием на континентальный характер их первоначального расселения — системообразующий во всем последующем изложении. Общность с племенами и народами, населявшими континентальную Европу, очевидно, воспринимается Кэмденом как необходимое условие, указывающее на определенное, изначально установленное божественным промыслом равенство возможностей, последующая перспектива которых, однако, высвечивала преимущество и достоинство островного образа жизни. Иафиты (или арийцы), восходящие к одному из сыновей Ноя — народ, как известно, включавший потомков Гомера (одного из его внуков) — древних киммерийцев, или кимров, наряду с другими племенами заселявших территорию Германии и Галлии, был, как и полагается, континентального происхождения. Бритты, а так стали называть кимров после переселения, говорили с галлами, опять-таки германцами, на одном и том же языке; у них существовали одни и те же обычаи, а также действовали весьма схожие институты. Именно бритты (кимры) составили исходный массив переселявшихся в Британию народов и, судя по всему, им Кэмден отводил одну из ключевых ролей в создании сначала британского сообщества народов, а потом и той этнической общности, которая ассоциировалась в его сознании с ее англоговорящей доминантой.

Интерпретируя сохранившиеся свидетельства о древнейших обитателях британских островов, Кэмден по существу намечает основную линию своего этнокультурного исследования. Его интересует происхождение тех живших на континенте племен, которые после переселения на британские острова активно способствовали формированию классических этнических групп британского архипелага. Кэмден, по всей видимости, был убежден, что современная ему этнокультурная панорама островов сформировалась под влиянием многочисленных миграций различных групп континентального происхождения. Думается, что



именно с этой целью в его работе последовательно воздвигнут потенциально значимый с точки зрения «Великой Британии» пантеон племен и народов, повлиявший на становление основных этносов, населяющих острова уже во времена Елизаветы Тюдор. Кэмден последовательно выводит на страницах своего сочинения пиктов, скотов, англоv, саксов, ютов, данов и, естественно, бриттов, обращая внимание сначала на границы их континентальных зон обитания, а затем показывает, как они расселялись и мигрировали в пределах новых островных территорий. Отношения между различными этносами складывались в основном под влиянием кровопролитных межрегиональных конфликтов и даже завоеваний, конец которым был положен Вильгельмом Нормандским, чье воцарение на английском троне открыло эру мирного сосуществования британских народов и во многом предопределило современный этнокультурный облик острова<sup>13</sup>. Важные с точки зрения Кэмдена мутации заканчиваются в XI веке. При этом важнейший пласт этнополитического измерения Британских островов обретает некую стабильную форму, а дальнейшее значимое с точки зрения Британии этнокультурное развитие начинает движение вглубь, отчетливее проявляясь на уровне региональных сообществ и мирков.

Генезис таких локальных сообществ британского архипелага со всей присущей им этнокультурной неповторимостью, подобно самой «Великой Британии», начинается с переселения континентальных племен и народов. Их проникновение на острова и в особенности неизбежная в таких случаях борьба за зоны расселения постепенно сращивают пришельцев и территории, которые они выбирают для последующего проживания. Очевидно, что последствия такого процесса расселения в представлении Кэмдена обретают двойную направленность: не только переселяющиеся племена начинают облагораживать территорию, превращая ее в более пригодную для обитания, но и территория постепенно начинает изменять облик пришельцев. Поскольку сама территория изначально воспринимается и как часть единого архипелага, и как гарант его же географического единства, то взаимовлияние первоначально разнородных племен и исторически объединен-

---

<sup>13</sup> *Camden W. Britannia... Sig.C7v.*

ных в пределах островов территорий обуславливает новые формы этнокультурного единства. Отстаивая тезис такого потенциально становящегося единства, Кэмден, по всей видимости, не упускал из вида роднящие переселенцев германские корни.

Создавая панораму таких локальных сообществ, Кэмден со всей тщательностью собирает накопленный к тому времени материал. При этом его внимание привлекают не только центральные части британского архипелага, но и те территории, которые к моменту создания сочинения находились на периферии британской государственности. Рудольф Готфрид, изучивший все прижизненные издания «Британии», весьма убедительно показал, что ее ирландская часть значительно выросла по объему в конечной версии 1607 года<sup>14</sup>. При этом расширилась не только и без того богатая наблюдениями исходная часть материала, но и усилились ее основные акценты. Кэмдена, по всей видимости, интересовала возможная связь, известная еще со времен Гильды, которая увязывала в единое целое исконных обитателей зеленого острова и его ближайших соседей, а самое главное — подчеркивала их многосторонние контакты. Именно скотты ирландского побережья, генетически восходившие к так называемым истинным скоттам<sup>15</sup>, населявшим западные и восточные районы Шотландии, в ходе этнокультурного обмена способствовали распространению оседлого образа жизни и внедрению ранее неизвестных жителям Далриады форм ведения хозяйства. При этом не менее важной оказывалась связь, роднившая всем известных лоулендеров с саксами, обитавшими в северных и центральных частях основного островного архипелага<sup>16</sup>. Гэльская часть населения британских островов с незапамятных времен вполне достойно уживалась с англоговорящими соседями. Связь, которую Кэмден последовательно пытался установить между различными племенами архипелага, играла ведущую роль в сознании историка как решающая в формировании общей картины многоликого британского единства.

Локальный мир, который раскрывался перед читателем во второй части «Британии» был кульминацией повествования и,

---

<sup>14</sup> *Gottfried R. The Early Development of the Section on Ireland in Camden's Britannia // English Literary History. 1943. Vol. 10. No. 2. P. 117-130.*

<sup>15</sup> *Ibid. Sig.D5r.*

<sup>16</sup> *Ibid. Sig.D6v.*

очевидно, его этнокультурное многообразие фиксировало в сознании Кэмдена итог исторического развития архипелага. «Свернутый» структурой топографического описания, он с легкостью «разворачивался» читателем, блистая своей колоритной вертикалью. Прочный каркас этнополитического единства британцев, воссозданный в первой части произведения, обеспечивал известную стабильность их этнокультурного многообразия. Германские племена, переселившиеся в Британию, облагораживая для себя ее территорию, оказались во власти ее региональных измерений — прошлого и настоящего.

Между прошлым и настоящим продолжала сохраняться неразрывная связь, определявшая культурную память валлийцев, шотландцев, ирландцев и англичан — с одной стороны, и их переселившихся с континента предков — с другой. Думается, что желание продемонстрировать подобного рода преемственность заставляло Кэмдена искать наиболее адекватные формы ее текстуального воплощения. В этом смысле локальный мир британских островов и его описание выстраивались Кэмденом одновременно в двух плоскостях, открывавших перспективу современного автору и ретроспективного измерения.

С учетом двух ракурсов восприятия определялись координаты локального пространства и затем очерчивались его зримые границы. Заимствованный у Птолемея и Антонина материал позволял восстановить исходные точки в его бифокальном изображении. Римские названия городов и населенных пунктов оказывались всего лишь началом более широкой реконструкции. Перед любознательным путешественником одновременно раскрывались, пока еще в тексте<sup>17</sup>, два параллельно существующих в во-

---

<sup>17</sup> Речь идет о том, что начиная с издания 1594 года в повествовательную структуру произведения начинают внедряться карты отдельных графств и территорий, количество которых уже достигает 39-ти в издании 1607 года. Исходным материалом служил в основном атлас Сакстона, а в посмертных изданиях «Британии» — уже под влиянием учеников Кэмдена — и Спида. Карты, как известно, визуализировали принципы описания локально-ограниченного пространства у Кэмдена. *Collinson P. One of Us. William Camden and the Making of History // Transactions of Royal Historical Society. 6<sup>th</sup> series. 1998. No. 8. P. 139-164; Klein B. Maps and the Writing of Space in Early Modern England and Ireland. Balsingstoke, 2001. P. 63-65.*

ображении измерения<sup>18</sup>. Отобранный у римских авторов материал позволял восстановить названия более 300 топонимов, содержательное значение которых сначала дешифровалось до известных кельтских названий, которые расписывались в соответствии с восемнадцатью известными в доримский период территориальными объединениями. Затем осуществлялся поиск современных аналогий, и такого рода идентификация позволяла реконструировать находившийся в распоряжении историка материал до уровня известного в конце XVI в. административно-территориального деления<sup>19</sup>. Своеобразное напластование двух временных срезов позволяло Кэмдену беспрепятственно погружать читателя в атмосферу как раннего Средневековья, так и современного ему настоящего. За каждым названием, либо умело дешифрованным до кельтского субстрата, либо доведенным до привычного каждому состояния, скрывался теперь уже понятный прием. Погружая читателя в прошлое, Кэмден, очевидно, надеялся продемонстрировать становящееся единство в его этнополитическом измерении. Приподнимая любопытствующего до уровня настоящего, он, видимо, рассчитывал получить обратный эффект — заставить увидеть порожденное этим единством многообразие.

Достаточно сложно судить, насколько предлагаемые Кэмденом маршруты путешествий по островам архипелага, были опробованы им лично. Судя по всему, приводимая во второй части «Британии» информация была почерпнута из вторых рук, но суммарный эффект таким образом собранных сведений не становился менее значительным. Потрясающие своей фундированностью экскурсии в историю городов, расположенных на их территории достопримечательностей, описания нравов и обычаев отдельных графств, характерных для них систем местного самоуправления и институтов — все высвечивало продолжающее сохранять исходную форму единство и множасьее на его фоне многообразие. Британия оказывалась одновременно объединенным германской в основе историей архипелагом и совокупностью неповторимых в своем современном облике территорий.

---

<sup>18</sup> *Rocket W. Historical Topography and British History in Camden's Britannia // Renaissance and Reformation. 1990. Vol. 14. P. 77-78.*

<sup>19</sup> *Camden W. Britannia...Sig.H3r, L4r, Hh7r.*

### «Corpus juris» и «corpus gestas» Джона Сэлдена

Джон Сэлден — одна из самых ярких личностей в истории Антикварного общества — эрудит, интересы которого простирались от изучения восточных языков до математических наук, одновременно участвовавший в оппозиционных выступлениях Общин в парламентах 1640-х гг. Историк, рассуждавший традиционно в вопросах устройства светского государства и общества — и умеренно радикальный политик, человек, мысливший неординарно и часто скептически в самых разных областях знания. Его успешная юридическая практика, политическая деятельность и сочинения освещаются в современной историографии<sup>20</sup> более подробно по сравнению с деятельностью его собратьев по антикварному обществу.

В центре внимания Сэлдена оказываются самые разнообразные (исторические, церемониальные, властные, иерархические, правовые) вопросы состояния знати и монархии не только Англии, но и большинства европейских стран. Хронологические рамки его исследований также впечатляют, поскольку история Европы освещается им начиная с великих империй древности и заканчивая современной автору эпохой. В отличие от более «британоцентричных» антиквариев, Сэлдену удастся проводить не только хронологическую реконструкцию обычаев Английского королевства, но и сравнительный анализ конституций европейских монархий и выявить характерные черты английского права, определившие исключительный, неповторимый облик британского государства и общества. Сочинения Сэлдена, сочетающие пространственный авторский текст и огромное количество цитируемых и приводимых полностью разнообразных источников и иллюстраций, стали исключительно авторитетными для всех авторов антикварного круга, что следует из многочисленных ссылок в трудах авторов, писавших всего несколько лет спустя после сэлденовских публикаций.

Одним из общих мест в историографических очерках, как правило, является указание на важную роль, которую стюартовские антиквариаты сыграли в развитии исторической науки, в част-

---

<sup>20</sup> *Christianson P.* Discourse on History, Law and Governance in the Public Career of John Selden, 1610–1635. Toronto – L., 1996; *Berkowitz D.* John Selden's formative years. Washington, 1988.

ности — в области методологии, источниковедения и критики источников. Действительно, с деятельностью антиквариетов связывается открытие значительного пласта источников, прежде всего относящихся к средневековой истории Британии. С одной стороны, их заслугой является формирование обширных и разнообразных коллекций (таких, как собрания Р. Коттона и Дж. Сэлдена)<sup>21</sup>, включавших книги и рукописи самого разнообразного характера; с другой — понимание важности критического подхода к источнику, внимание к вопросам подлинности документа, времени его создания, авторства, происхождения, филологический интерес к языку источника и др.

Что же касается методологической стороны, то важным открытием, определившим дальнейшее развитие антикварного направления, было перенесение практик и ценностей, выработанных на протяжении нескольких столетий юристами Общего права, в область исторических исследований<sup>22</sup>. В сочинениях Сэлдена историописательные и критические методы антикварного движения отчетливо формулируются, в полном объеме реализуются и отрабатываются на обширном и разнообразном источниковом материале.

Перенесение принципов Общего права в область разысканий о прошлом открывает перед Сэлденом оригинальную перспективу видения прошлого и настоящего Британии, понимания как внутренних закономерностей развития английского государства, так и общеевропейского исторического контекста. Правовые практики и концепции давали те методы работы с фактологическим материалом, которые были одинаково действенными и при исследовании развития государственных институтов, и при анализе истории и современности социальных явлений — то есть при изучении тем, преимущественно Сэлдена интересовавших.

Кроме того, в случае Сэлдена, сближение историописания и Общего права определяло, какие элементы исторической культу-

---

<sup>21</sup> Подробнее об антикварных коллекциях см.: *Peck L. L. Consuming Splendour: Society and Culture in Seventeenth-Century England*. Cambridge., 2005; *Sir Robert Cotton as collector : essays on an early Stuart courtier and his legacy / Ed. by C. J. Wright*. L., 1997.

<sup>22</sup> *Sommerville J. Politics and Ideology in England 1603–1640*. L., 1995. P. 90-95.

ры англичан могли быть органично вписаны в историю британской монархии, в историю, которая представлялась историей развития власти и права, а каким элементам (прежде всего это касалось таких явлений, прочно укоренившихся в памяти британцев, как артуровская легенда и миф о завоевании Англии Брутом, потомком Энея) надлежит покинуть пределы собственно истории и перейти в сферу «поэзии». С другой стороны, педантичное следование прецедентному методу при исследовании истории Британии привело Сэлдена к построению отличавшейся от традиционных установок картины этапов развития английского государства и общества.

Право, безусловно, являлось для Сэлдена, как и для большинства его современников, системообразующим фактором, определявшим национальную самобытность и превосходство английской конституции, и, более того, гарантировавшим существование всей английской государственности как независимого и целостного организма.

Общее право, противопоставленное праву римскому, «цивильному», с одной стороны (римское право в сознании англичан XVI–XVII вв. имело как минимум две отрицательных коннотации: оно ассоциировалось с римским «универсализмом» в противовес национальному; а также с «универсализмом» папистским)<sup>23</sup>, и континентальным традициям — с другой, воспринималось как один из главных — наряду с монархией — элементов «национальности», «английскости», в определенном смысле играло в их глазах роль стержня национальной и культурной идентичности. Следовательно, использование принципов Общего права историками-антиквариями создавало практически идеальную картину: история Англии изучается методом, рожденным в Англии, — концепция, сама по себе способная работать на национальную гордость британцев.

Кажется, что Сэлден отдает себе в этом отчет и не упускает случая подчеркнуть, что приемы, коими он пользуется при решении спорных вопросов — явление специфически англий-

---

<sup>23</sup> *Lancaster C.* «Learned, Judicious and Laborious» Gentlemen: Collectors of genealogies and Gentry Histories in Later Seventeenth-Century England // *LIMINA*. 1999. Vol. 5. P. 76-92.

ское, а значит — являющее собой венец возможностей человеческого разума. (Впрочем, чем более спорной оказывается проблема — скажем, происхождение отдельных титулов или привилегии монарха в отношении подданных — тем более «уникально британской» она преподносится.)

На каких же «исконно британских» приемах и культурных установках, заимствованных из «исконно британского» права, строят Сэлден и его последователи свои исследования?

Первое, на что необходимо указать, это уподобление исторического факта судебному прецеденту. Точно так же, как в основе Общего права лежал прецедент, так и в основе антикварного поиска находился «факт» — будь то документ, объемный трактат или фрагмент утраченной рукописи, надгробная плита, или монета, печать или герб — любое осязаемое свидетельство свершившегося события.

Параллель «прецедент-факт» трактовалась Сэлденом и в другой плоскости. Юристу следует всегда искать необходимый прецедент, так же как антикварию — искать «факт»; только найденный прецедент мог стать основой для официального суждения. В той же мере отобранный факт — основа для суждения историка.

Если же необходимого прецедента не существует, то судья создает его сам, и новый прецедент в свою очередь становится основой для всех последующих суждений. При этом созданный прецедент все равно опирается на традицию. Отсутствие знания или факта заставляет антикварию трудиться над его созданием, но создается он с учетом традиции. Так, языковые реалии прошлого помогают создавать для антиквариев факты настоящего. По убеждению Сэлдена, историк-антикварий должен стремиться не к завещанному древними морализаторству, которое неизбежно увело бы его от истории к поэзии, но к установлению истины, и, следовательно, очищать свой труд от всевозможных мифов и невероятных историй, «поэтических выдумок», «гимнов древних бардов» и «мифических рассказней», по его ироническому выражению. Мнение предшественников могло оказаться предвзятым, а их информация — ошибочной. Если следовать рассуждениям Дж. Сэлдена, извращение истории происходит потому, что недобросовестные авторы склонны бездумно повторять мнения других историков, причем если обращение к Плутарху или Поли-



бию оправдано древностью и авторитетом их сочинений, то цитировать «современного голландского автора — все равно что обращаться к поваренку с кухни»<sup>24</sup>. Иными словами, частное мнение не должно было становиться основой для выводов.

Разбирая каждый конкретный исторический прецедент, следовало обращаться к «фактам», то есть к оригинальным письменным (или даже материальным) источникам. Информация, почерпнутая из документов, приравнивалась к показаниям, а сами источники уподоблялись присутствующим на процессе свидетелям. Так, например, Сэлден писал: «Когда я цитирую [документ], я будто бы вызываю свидетеля»<sup>25</sup>.

Умение юриста оперировать большими объемами зачастую разноплановых материалов сыграло свою роль в том, насколько насыщенными всевозможными цитатами оказывались лучшие творения антикварной школы. В трактатах самого Сэлдена мысль нередко утопает в большом количестве текстов источников, относящихся к значительно отстоящим друга от друга эпохам и областям знания.

Одновременно привычное для юристов обращение как к уже опубликованным, так и к хранящимся в архивах статутам и юридическим «ежегодникам» формировало отношение к прошлому — и особенно к английскому Средневековью — не как к абсолютно прошедшему и не связанному с реальностью периода, а как к эпохе, актуально и осязаемо влияющей на разрешение насущных теоретических и практических вопросов.

В глазах современников английское общее право предоставляло кратчайший по сравнению с другими правовыми системами (прежде всего с правом римским) путь к постижению истины именно потому, что основывалось на фактах, а не на суждениях. Доказательство должно было строиться в первую очередь на поиске аналогичных явлений и решений в прошлом, и только потом — на логике, увязывавшей обнаруженные факты друг с другом.

Без сомнения, в глазах антиквариетов-юристов огромной ценностью английской правовой системы являлось существование суда присяжных, роль которых состояла не в составлении ком-

---

<sup>24</sup> *Selden J. Table talk, being the discourse of John Selden. L., 1899. P. 21.*

<sup>25</sup> *Ibidem.*

ментариев или выдвижении догадок, а в процедуре вынесения вердикта на основе представленных их взорам фактов и свидетельских показаний. Дабы уберечь присяжных от возможных заблуждений, юридическая традиция выработала сложные правила, позволявшие определить степень доверия к свидетелю и исключить возможность некомпетентных, двусмысленных или заинтересованных показаний. В случае серьезных преступлений, когда невозможно было получить показания двух надежных свидетелей, необходимых для «полного» доказательства вины, а признания самого обвиняемого не было, судье было достаточно показаний одного или нескольких менее надежных свидетелей. Для определения степени доверия к свидетелям использовались критерии, восходящие к античной риторической традиции (пол, возраст, социальный статус, образование и т. д.).

Показания «свидетельствующих» документов с необходимостью выносились на суд публики, то есть включались в текст сочинения. Действительно, прецедентный подход к изучению истории требовал представить все доступные свидетельства, но нельзя забывать, что сам по себе этот принцип не служил гарантией объективности автора по отношению к той или иной концепции знатности или нюансов понимания королевских прерогатив: историк-адвокат был волен трактовать найденные улики по своему усмотрению, подбирая их так, чтобы подтвердить собственную точку зрения. «Беспристрастность» в понимании эрудитов XVII века означала, прежде всего, неприятие сторонних необоснованных суждений. Даже такие знаковые для истории английской правовой мысли фигуры, как Г. Брактон и Дж. Фортескью, влияние которых на антиквариетов очевидно, присутствуют в антикварных реконструкциях лишь наряду с прочими источниками, и нередко подвергаются филологическому анализу наравне с другими современными им текстами. Лишь в считанных местах цитируются концептуально значимые фрагменты средневековых теоретиков.

Что же касается достоверности и степени авторитетности источников, то, безусловно, наибольшей степенью авторитетности обладают документы, исходящие от монарха — вне зависимости от того, к какой именно сфере они относятся: это могут быть документы о пожаловании титулов и земель, тексты коро-

национных клятв, финансовые документы королевского двора и т. п. Разумеется, антикварию активно используют документы Канцелярии, Казначейства, «ежегодники» судов Общего права и прерогативных судов, документы церковной администрации. Разумеется, свидетельства, заимствованные из текстов, не относящихся к собственно документальным источникам, обладают в глазах антикварию несколько меньшим весом, зато активно привлекаются в тех случаях, когда авторитетных документов, способных проиллюстрировать ту или иную концепцию, не существует. Более того, использование не-документальных источников позволяет «удревнить» область поиска доказательств, включив в область «актуального» прошлого не только англо-саксонский период истории Британии, но и — в концептуальных целях — эпизоды истории Древнего мира.

Данные, почерпнутые антикварию из привлекаемых ими документов и текстов подвергаются тщательной проверке — тем более критической и внимательной была работа с текстом, если речь шла о публикации знаковых текстов, как, например, в случае «Диссертации к Флету» предпосланной Сэлденом публикации средневекового юридического трактата<sup>26</sup>.

Осмысление национальной исключительности англичан, коренившееся в размышлениях о процессе формирования и роли права в британской истории, подталкивало авторов, писавших на исторические темы, к созданию национально ориентированных историй. Даже если рассматривать на первый взгляд почти «экуменический» труд Дж. Сэлдена «О титулах достоинств», окажется, что, несмотря на бесспорную научность и содержательную ценность глав, повествующих об истории знати континентальной Европы, древней и новой, все европейские сюжеты, в конечном счете, подчинены главной цели: через них читатель лучше понимает норму, образцовость, превосходство всего английского: монархии, социальной иерархии, критериев знатности, даже нравов. И, с точки зрения английских интеллектуалов, оттачивание английской «нормы» происходило благодаря благодатному действию системы английских законов и обычаев королевства и их постоянного соблюдения.

---

<sup>26</sup> *Selden J. Dissertation of John Selden annexed to Fleta. L., 1771.*

«Единственное предпочтение, которое выказывала наша нация, — пишет Сэлден, — было предпочтение закону «страны», называемому Общим правом, и это засвидетельствовано статутами и исками короны... Доказательства тому можно увидеть в трудах Хоудена и Матфея Парижского, равно как и в писаниях известных в то время юристов, однако особенно — во всевозможных публичных актах»<sup>27</sup>.

Из логики рассуждений Сэлдена следует вывод, что право есть обычай, проверенный временем и практикой, а главное — обычай, «отшлифованный» человеческим разумом. Общее право, избегая опасных обобщений, основывалось, с его точки зрения, на индивидуальном подходе к рассмотрению любой проблемы, при котором одни и те же прецеденты не копировались многократно (тогда спектр возможных решений либо оставался бы неизменным, либо постепенно сужался), но, напротив, через анализ событий прошлого создавались новые, индивидуальные решения, соответствовавшие менявшимся условиям и все более совершенные.

Сэлден не был единственным теоретиком, пытавшимся решить вопрос о роли Общего права в истории английского государства, и не единственным историком-практиком, взявшимся выстроить концепцию истории королевств исходя из развития законов и обычаев Британии.

Первым из достойных соперников Сэлдена был Эдуард Кок<sup>28</sup>, который озвучивал идею континуитета английского права, обеспечивавшую, по аналогии, континуитет английской истории. Подходу Кока было свойственно в высшей мере спокойное отношение к случавшимся время от времени завоеваниям Альбиона («Тогда как краса других стран меркла и уходила с кровавыми войнами, я благодарю Господа за тот удивительный мир, который в сем государстве неизменно процветал благодаря правлению согласно нашим Законам<sup>29</sup>»), которые, в его понимании, лишь поверхностно влияли на правовые основы, заложенные в незапамятные времена. «Если бы древние законы нашего благородного острова не превосходили все прочие, они были бы всего лишь

---

<sup>27</sup> Ibid., P. 242.

<sup>28</sup> *Coke E. The Institutes of the laws of England, concerning the Jurisdiction of Courts. L., 1644.*

<sup>29</sup> Ibid., P. 39

законами многочисленных его завоевателей и правителей, как то: римлян, саксов, данов или нормандцев»<sup>30</sup>.

Действительно, последнее, нормандское, завоевание серьезно повлияло на правовую ситуацию в королевстве: появился источник совершенно нового, четко фиксируемого права, права статутного, творимого как реакция на вызовы современности, и этот источник невозможно было игнорировать: монарх, его совет, его парламент, его администрация. Однако, отмечал Кок, «Необходимо знать, что Общее право существовало до каких бы то ни было статутов»<sup>31</sup>. Тем не менее, статутное право и вообще действия монархии лишь упорядочивали и более четко формулировали изначально действовавшие обычаи, к тому же сообщая им новую обязывающую силу.

Источником построений Кока, помимо его собственных штудий, было наследие Дж. Фортеस्कью, который, воспроизводя легенду об основании английской монархии Брутом, представлял «тело» государства, с главой — королем, сердцем — подданными, и законами — кровеносными сосудами, неизменным. Право в понимании Фортеस्कью — право, прежде всего, обычное, распространяющее свое влияние вплоть до самой королевской законодательной инициативы. Тезис о «смешанной монархии», существующей в Англии, помимо прочих коннотаций, должен был трактоваться как правление короля, ограничивавшего свою волю добровольным подчинением и согласованием нововведений с уже существующими обычаями.

Оппонентом Кока по вопросу правового континуитета был Генри Спелман, опиравшийся на идеи Полидора Вергилия. Ключевым моментом в размышлении о роли нормандского завоевания здесь было понимание того, что в интересах короля Вильгельма было укрепление позиций его собственной знати через привнесение континентальных механизмов управления, социальных явлений и законодательных методов.

Подход Сэлдена и остальных эрудитов, примыкавших к антикварному направлению, к проблеме права представлял собой срединный — и потому во многом более трезвый путь по сравнению с позициями Кока и Спелмана. В немалой степени это было обусловлено как более широким кругом источников, не ограни-

---

<sup>30</sup> Ibid., P. 40.

<sup>31</sup> Ibid., P. 41.

чивавшимся сугубо юридическими и административными документами, так и характерной для антиквариев установкой на поиск компромисса и умеренных, взвешенных формулировок.

Сэлден прекрасно осознавал своеобразие раннесредневековой эпохи, оценивая ее как время специфических критериев построения общества и природы власти. Англо-саксонские королевства представлялись объединениями тех же «воинственных племен», чьи стремительные рейды тревожили континент; подчеркивая обособленность британских обычаев от образцов античности, он указывает на общие черты в развитии германских племен, среди которых англо-саксы — вполне типичный случай. Описанное в данном контексте англо-саксонское государство, основанное на милитантных и родовых ценностях действительно резко отличается от современных реалий, где приоритет отдается причастности политическому управлению. Нередко исследователи политической мысли отмечают, что англо-саксонская эпоха давала британцам XVII века образец «ограниченной монархии», с уитенагемом-парламентом, принимавшим самое деятельное участие в принятии политических решений. Но если такое утверждение может считаться справедливым для радикальных публицистов 1640-х годов, развивавших линию Фортескью — Кока, то для антиквариев, писавших в первые три десятилетия XVII века, донормандская история демонстрирует, скорее, возможные проблемы монархической власти. Хотя, по мнению Сэлдена и его последователей, монархия возникла на Британских островах в незапамятные времена, в англо-саксонских королевствах она еще не была властью, конституировавшей общество и полностью регулировавшей его жизнь. Рассуждая об эрлах и тэнах, сравнивая эти достоинства с графскими и баронскими титулами постнормандского времени, Сэлден открыто признает, что точно определить привилегии и обязанности их носителей невозможно не из-за недостатка источников, а из-за неупорядоченности, царившей в тогдашнем обществе<sup>32</sup>. Если помнить о завидном умении представителей антикварной школы выстраивать убедительно логич-

---

<sup>32</sup> *Selden J. Titles of Honor. L., 1672. P. 500-501, 510-511.* К современному пониманию графского титула приближаются англо-саксонские достоинства, обозначавшиеся в источниках следующими именованиями: *Etheling, Ealdorman, Eorle, Senior, Senator, Subregulus, Princeps* и т. д.

ные доказательства чего бы то ни было, то отказ видеть логику в англо-саксонских источниках можно объяснить только тем, что у автором изначально не было намерения такую логику обнаружить. Прошлое Англии представлено эпохой практически не регулируемого королевской властью обычая, допускающего сумятицу в распределении держаний, форм их наследования и обязательств (или отсутствия таковых) знати перед королем<sup>33</sup>.

Завоевание 1066 года выделяется антиквариями как исключительно важный, поворотный момент британской истории: через анализ этого события Сэлден демонстрирует роль активной воли монарха в истории страны и ее значение для складывания гармоничного управления королевством. Воспроизводя мысль Аристотеля, Сэлден допускает, что если правление осуществляется исключительно по воле и прихоти монарха, оно неизбежно вырождается в тиранию; очевидно, что у нормандского герцога были все шансы заслужить от потомков клеймо самовластного государя-деспота. Однако Вильгельм Бастард (так его часто именуют антикварию), как на страницах «титолов достоинств», так и в сочинениях антиквариюев У. Сегара и позднее М. Картера, предстает фигурой, воплощавшей столь близкую антиквариям идею компромисса и сочетания на первый взгляд несовместимых вещей: сохранения и систематизации прежде спонтанно формировавшихся саксонских обычаев (изучающих знатное общество более всего занимало сохранение достоинств и владений лояльных представителей англо-саксонской знати) и насаждения инородных методов управления. Царствование Вильгельма — особый сюжет для всех без исключения историков антикварного круга. Оно позволяет показать, как в личности конкретного государя воплощены едва ли не все черты, составляющие идею монархии на рубеже XVI–XVII столетий.

Вильгельм приобретает английский трон, фактически не имея на него династического права, и вопрос о легитимности основанной им династии не ставится антиквариями не только из методологических принципов (установление нормандского правления — свершившийся факт, и просто «отменить» прецедент невозможно); основа его власти — обладание королевским титулом, следовательно, именно само королевское достоинство,

---

<sup>33</sup> *Spelman H.* The Original, Growth, Propagation and Condition of Feuds and Tenures. P. 4-6 // *The English Works of Sir Henry Spelman...* L., 1723.

«должность» короля освящает занявшего эту должность. Преемственность власти саксонских королей, нормандской династии и так вплоть до Тюдоров и Стюартов доказывается антиквариями не через реконструкцию часто сомнительных династических связей, не через обращение к документам, а через причастность монархов священному королевскому титулу. Здесь, безусловно, происходит апелляция к понятию обычая — но не в смысле строгого соблюдения уже действующих неписаных установлений, а к пониманию того, что обычай постоянно развивается, а не существует в зафиксированных раз и навсегда формах.

Герцог Нормандский на страницах антикварных сочинений оказывается самым активным и деятельным правотворцем, что подтверждается многочисленными документальными свидетельствами, фиксирующими распоряжения государя касательно своих баронов. Пожалуй, главная заслуга Вильгельма виделась эрудитами Антикварного общества в упорядочении иерархии знатных достоинств. При этом те нормы, которые при повествовании о событиях XI века относятся ими в разряд «нововведений», «руководного» законодательства Вильгельма, в рассуждениях о более близких к современности временах относятся уже в разряд «обычаев», учитывая, что к имеющим правовой авторитет обычаям можно было относить любую практику, о существовании которой было известно более или менее длительное время<sup>34</sup>.

Завоевание ставит и разрешает вопросы, не подававшиеся разрешению при осмыслении реалий донормандских времен. Каким образом в руках англо-саксонских тэнов и эрлов оказывались обширные земельные владения, и кто давал им право прибавлять к своему имени то или иное почетное звание, даже Генри Спелман, досконально описавший историю рыцарских держаний<sup>35</sup>, не считает возможным определить. И даже когда обнаруживаются свидетельства, показывающие, что короли древней Англии лично жаловали владения подданным на короткий срок (редко — на срок жизни), проблема наследования возникала по разумеющейся антиквариями, хотя и не названной открыто причине: существовавший тогда обычай не определял, каким правом на подвластные ему земли обладает король; закрепить же за другим то, что

---

<sup>34</sup> *Sommerville J. P. Politics and Ideology... P. 87-89.*

<sup>35</sup> *Spelman H. The Original, Growth... P. 34.*



не принадлежит тебе самому, невозможно. Когда после 1066 года монарх приобретает безусловное право собственности на земли королевства, местонахождение «источника милостей», “*fountain of honour*”, становится очевидным и входит в число незывлемых «обычаев королевства». Монарх впервые изображается средоточием власти, добровольным блюстителем обычая и творцом права. Правотворчество понимается антиквариями в немалой степени не столько как целенаправленное законодательство и волевое введение в употребление новых практик, сколько как возможность поддерживать адекватное исполнение вновь учрежденных порядков и способность власти регулировать функционирование уже существующих норм. Общим местом английской юридической традиции было утверждение, что для нормального развития и реализации права необходимо поддержание внешнего и внутреннего мира в стране<sup>36</sup>, что, безусловно, в полной мере могла гарантировать постнормандская монархия.

Даже «злоупотребления» и «амбиции», справедливо приписанные Сэлденом и Миллзом<sup>37</sup> королям-нормандцам, в конечном итоге служат во благо страны, поскольку именно через исправление совершенных предками ошибок пролегает путь к «умеренности» в законах и обычаях. Представление о том, что право — это обычай, проверенный временем и практикой, обычай, «отшлифованный» человеческим разумом, давало еще один повод объявить о совершенности форм управления Британией.

В этой связи можно провести еще одну аналогию: если государство представлялось лондонским историкам основанным и скрепленным индивидуальными узами верности между монархом и его подданными, то также и Общее право, избегая опасных обобщений, основывалось, с их точки зрения, на индивидуальном подходе к рассмотрению любой проблемы, при котором одни и те же прецеденты не копировались многократно (тогда спектр возможных решений либо оставался бы неизменным, либо постепенно сужался), но, напротив, через анализ событий прошлого создавались новые, индивидуальные решения, соответствовавшие менявшимся условиям и все более совершенные.

<sup>36</sup> *Sommerville J. P. Politics and Ideology... P. 100-101.*

<sup>37</sup> *Selden J. Titles of Honor. L., 1672. P. 495; Milles T. A Catalogue of Honor. L., 1612.*

## ГЛАВА 19

# МОДЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ\*

Естественная история — вид ученого сочинения, распространенный в европейском знании позднего Ренессанса и раннего Нового времени. В настоящей статье естественные истории рассматриваются в контексте культурной истории знания XVI–XVII вв. — времени, когда в исследованиях «книги природы» изменялись принципы производства значений, языки описания и методы анализа, отрабатывались различные социальные модели научности. Естественную историю раннего Нового времени можно метафорически сопоставить с «инструментом» познания, устроенным по определенным правилам. Проследим, что он позволял узнать о мире, как строились и трансформировались модели естественноисторического нарратива.

### **I. Истории о природе вещей**

В естественных историях соединялся массив разрозненных сведений, «рассказов» о мироздании. В центре их внимания была природа с ее творениями. Естественные истории содержали детальное повествование о «поверхности мира»<sup>1</sup>. Но «естественное» и «природа» — сложные, контекстуально обусловленные конструкции, поэтому вплоть до XVIII в. в таких сочинениях присутствовали описания самых разнообразных «вещей» («res»), от растений и животных до мифологических существ и древностей. Структура знания о «естественном» с течением времени претерпевала большие изменения. Различалось и то, что могло стать достойным внимания, и содержание знания, и форма, в которую оно облекалось.

---

\* Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 06–01–00453а «Образы времени и исторические представления в цивилизационном контексте: Россия — Восток — Запад»).

<sup>1</sup> См.: *Allen D. E. Natural History and Visual Taste: Some Parallel Tendencies // The Natural Sciences and the Arts. Uppsala, 1985. P. 32–33.*

В современной культуре из-за другого разделения дисциплин отсутствует общее понятие для предмета изучения ренессансных и нововременных естественных историй. Области естествознания и естественной истории пересекаются, но далеко не совпадают. Можно выделить два устойчивых значения этого словосочетания, распространенных в XVI–XVII вв. С одной стороны, оно указывало на предмет — нерукотворный, природный мир. Именно в этом смысле оно продолжает использоваться в интеллектуальной культуре XX–XXI вв. С другой стороны, в культуре Ренессанса и раннего Нового времени естественная история понималась и по-иному, как вид ученого нарратива, устойчивая форма повествования со своими правилами производства значений. Такая двойственность смыслов оставляла определенный зазор, позволявший предмету исследования в естественных историях варьироваться<sup>2</sup>.

В настоящей статье естественная история рассматривается как *вид текста*, часто (хотя и не исключительно) применявшийся для описания природных объектов. Нарративы естественной истории в ученой культуре в XVI–XVII вв. изменялись: их разнообразие было связано с эпистемологическими трансформациями, с различным наполнением понятий «естественное» и «история».

Латинское слово “*naturalis*” отсылало к Природе (*natura*), но помимо этого оно имело и другую коннотацию. Речь также шла о «природе вещей» (*natura rerum*). Сочинения по естественной истории были сфокусированы на сущностных качествах растений, животных, птиц, рыб и насекомых. В XVI–XVII вв. такие тексты могли включать обсуждения древностей, редкостей и искусств, отчего их современный читатель обращает внимание на кажущуюся противоречивость принципов отбора объектов<sup>3</sup>. В

---

<sup>2</sup> Ученый раннего Нового времени, изучавший природу, мог представить свои идеи в форме естественной истории (как, например, Геснер или Альдрованди), но в то же время он имел возможность выбрать для этого иную форму повествования, отличную от естественноисторической (как Белон).

<sup>3</sup> Классическую естественную историю для современного читателя отличает некая неправильность включенного и исключенного. Для описания странного принципа систематики в естественных историях Мишель Фуко в «Словах и вещах» цитировал Китайскую энциклопедию Борхеса, в которой «говорится, что "животные подразделяются на: а) принадлежащих Императору, б) бальзамированных, в) прирученных, г) молочных поросят, д) сирен,

XVIII–XIX вв. значения, связанные с «природой вещей» постепенно исключались из области «естественного». Это понятие получало все более строгое определение в связи с оформлением и специализацией наук.

Ключевое слово “*historia*” также передавало различные смыслы<sup>4</sup>. За «историей» закрепилось значение «исследования». В культуре позднего Ренессанса это понятие подразумевало не хронологически организованную подборку сведений, а нарратив, «правдивое» повествование о результатах изучения какого-либо предмета. Историческое знание ассоциировалось со штудиями единичного, уникального — в противоположность исследованиям общих, типических вещей. Авторы естественных историй могли собирать в своих книгах множество объектов (например, виды рыб или змей) или обсуждать частный случай (определенного «монстра», природную аномалию) — тогда он мыслился как фрагмент некоего большего нарратива<sup>5</sup>.

Изучаемые тексты в XVI–XVII в. отличает большое разнообразие. Несмотря на подвижность значений, естественные истории имели ряд общих дискурсивных черт. Эти сочинения сводили воедино массив разрозненных сведений об отдельных предметах, организуя их в форме коллекции<sup>6</sup>. В них говорилось о сути каждой из вещей, приводилось описание и «расследование»

---

е) сказочных, ж) бродячих собак, з) включенных в настоящую классификацию, и) буйствующих, как в безумии, к) неисчислимых, л) нарисованных очень тонкой кисточкой из верблюжьей шерсти, м) и прочих, п) только что разбивших кувшин, о) издавляемых мухами». Действительно, присутствие и постепенное исчезновение «лишней» информации в этих текстах создает методологическую проблему. Эта странность может рассматриваться как знак, указывающий на знание, неспециализированное по логикам науки эпохи модерна. Важно зафиксировать исчезновение этой черты в изучаемых текстах: оно будет свидетельствовать о складывании новой логики научного знания, которая в XIX в. станет основополагающей. Такое исчезновение происходило не одновременно, не необратимо; но в целом именно оно определяло направление перемен.

<sup>4</sup> См. подробнее: *Historia. Empiricism and Erudition in Early Modern Europe* / Ed. by Gianna Pomata and Nancy G. Siraisi. Camb. (Mass.), 2005.

<sup>5</sup> См., например: *Belon P. Histoire naturelle des estranges poissons. P., 1551* — естественная история, в которой Белон писал только о дельфинах.

<sup>6</sup> О нарративной стратегии «коллекционирования» см.: *Kenny N. The Uses of Curiosity in Early Modern France and Germany. L., 2004.*

их признаков и свойств. В идеале естественная история должна была служить упорядочиванию всех известных объектов, выделенных на общих основаниях и относившихся к одному типу предметов (все когда-либо упомянутые в книгах животные, или все растения Англии, и т. п.). Каждому из них отводилось в тексте отдельное пространство. «Истории» собирались в целое последовательно; между ними в книгах не устанавливались внутренние связи. Гуманистическая естественная история XVI века не сосредоточивала внимание на поиске причин и следствий между фактами; такое исследование началось в XVII в. в научных естественноисторических трудах.

Естественные истории можно изучать как допустимый для ученой культуры способ описания мира, как «инструмент» познания. Как он изменялся? Что с его помощью было возможно узнать о «вещах»?

У естественной истории как чувствительного «прибора» были определенные параметры — «фильтр» категорий, регламентировавший отбор важного и достойного изучения, отношения порядка между частями и правила их организации в целое, а также своя «пропускная способность», менявшаяся со временем. В одном и том же историко-культурном контексте могли сосуществовать разные версии естественных историй, предлагавшие несхожие пути узнавания и репрезентации природы. Было бы неверно рассматривать смену таких образцов сочинения как последовательную, как историю превращений одного и того же типа текста.

Естественная история впервые появилась в античной интеллектуальной культуре. Ее основоположником считается Аристотель, описавший в десяти книгах «Истории животных» систему живых существ, зверей, птиц, рыб, насекомых. По аналогии с этим сочинением ученик Аристотеля Теофраст составил трактаты «О растениях» и «О причинах растений», которые, по-видимому, мыслились как части естественной истории растений<sup>7</sup>. Иная версия «большого нарратива» о вещах была представлена в много-томной «Естественной истории» Плиния Старшего. Это энциклопедическое сочинение давало свод знаний о мироздании,

---

<sup>7</sup> См. подробнее: *Старостин Б. А.* Аристотелевская «история животных» как памятник естественнонаучной и гуманитарной мысли // Аристотель. История животных. М., 1996.

животных и растениях, народах, искусствах. В Средние века форма естественной истории в ученой культуре оказалась на время забытой. Сведения из античных трудов включались в иные по смыслу и назначению книги — в христианские космологии, физиологии, бестиарии, трактаты<sup>8</sup>.

В XVI в. исследователи вновь обратились к естественной истории, модифицировав античные образцы. Ее актуализация связана с именем швейцарского ученого Конрада Геснера, автора «Истории живых существ» (1550-е гг.). Хотя это название и отсылает к произведению Аристотеля, форма сочинения Геснера была оригинальной. Этот новый вид текста-исследования стал моделью для гуманистической естественной истории, которая просуществовала около ста лет. Облик естественных историй в XVI–XVII вв., структура текстов, характер вопросов и ответов на них варьировались, отражая постепенные, а иногда и резкие изменения в способах мышления интеллектуалов<sup>9</sup>. В то же время этот тип ученого труда оставался весьма популярным в интеллектуальной культуре. Такая востребованность была связана со способностью естественной истории упорядочивать разнообразные

---

<sup>8</sup> «Естественную историю» Плиния активно читали в Средние века. В XVI в. этот текст неоднократно издавался, комментировался, дополнялся и подвергался критике. «Историю животных» Аристотеля с арабского на латынь в начале XIII в. перевел Майкл Скот. Альберт Великий в трактате «О животных» представил комментированный пересказ этого труда с дополнениями (о некоторых неизвестных Аристотелю животных, таких как белый медведь или соболь, и о фантастических единорогах, пегасах и гарпиях, с упоминанием о малой достоверности этих историй). «История животных» Аристотеля была одной из первых напечатанных книг. В XV в. ее перевел на латынь Теодор Газа, подготовивший и первое греческое издание текста в 1497 г. В XVI в. «История животных» переиздавалась около сорока раз.

<sup>9</sup> См, например: *Maplet J.* A greene forest, or A naturall historie. L., 1567; *Scribonius W. A.* Naturall philosophy, or, A description of the world, namely, of angels, of man, of the heauens, of the ayre, of the earth, of the water and of the creatures in the whole world. L., 1621; *Simson A.* Hieroglyphica animalium terrestrium, volatilium, natatiliu, reptiliu, insectorum, vegetivorum, metallorum, lapidum: &c. quae in scripturis Sacris inveniuntur. Edinburgh, 1624; *Bacon F.* Sylva sylvarum: or A naturall historie. L., 1627; *Ross A.* Arcana microcosmi: or, The hid secrets of mans body disclosed. L., 1651; *Boate G.* Irelands natural history. L., 1652; *Childrey J.* Britannia Baconica, or, The natural rarities of England, Scotland & Wales. L., 1661, и др.

факты и приводить их в систему. Естественная история была открыта для модификаций (ее написание не регламентировал какой-либо институт) и для инноваций (логика коллекционирования позволяла включать в текст наблюдения на основе персонального опыта, эмпирических исследований, освоения земель Нового Света и т. п.). Таким образом, естественная история была гибким инструментом, сочетаемым с другими типами учебного текста (например, с хорографией, с антикварным исследованием древностей). Возможно, с этим связана ее способность адаптироваться к разным эпистемологическим контекстам: случайно понятие естественной истории не исчезло в XIX веке.

На рубеже XVIII–XIX вв. эти сочинения утратили прежний авторитет со специализацией естественнонаучных дисциплин и становлением современного научного знания. Естественная история осталась верна принципу глобального описания «вещей», которые, в конечном счете, оказались распределенными по ведомству разных наук. Они начали рассматриваться как сочинения ученых дилетантов. В XIX в. в их форме воплощалось любительское естествознание, часто с моралью, иногда в виде назидательных историй для юношества о природе.

В англосаксонской культуре XX века, особенно в Британии, где поддерживаются традиции любительского натурализма, популярная естественная история сохранила свое влияние: она рассматривается как важная часть увлечений культурного человека; интересоваться ее сюжетами считается хорошим тоном. Однако сама конструкция естественной истории выстроена совершенно по-иному. Она потеряла специфичные для Возрождения и раннего Нового времени черты, связанные с особым типом текста, с до-модерными формами категоризации, со «странным» определением предмета и порядка изложения. “Natural history” мыслится как подборка популярных историй о природе; но «поверхность мира» в настоящее время определяется при помощи сетки координат, задаваемой современными науками. Наконец, естественная история как приватная познавательная практика оказалась переводимой на язык новых медиа: в этой связи показателен успех телепрограмм BBC о живой природе<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> К современной естественной истории относится то, что могло бы изучаться в рамках географии и топографии, биологии, зоологии, орнито-

## II. Гуманистическая естественная история

В XVI в. естественные истории относились к кругу сочинений, в которых познание мира божественных творений производилось через изучение знаков, «вписанных» в вещи. Такие тексты имели разное назначение. К ним могли относиться исследования по медицине (травники, анатомические трактаты), филологии, алхимии, географии и астрономии (трактаты, представлявшие новое знание о мире), а также книги о символах мира, в которых ученое знание сочеталось с элементами развлечения (сборники эмблем, пословиц, секретов).

В интеллектуальной культуре процесс расширения пределов мира и границ возможного предполагал пересмотр всего комплекса знаний и избавление от накопившихся в нем противоречий. Включение инноваций и переоценка традиционных представлений о мироздании давали возможность для более гармоничного обоснования устройства сотворенного мира<sup>11</sup>. В этом контексте у естественной истории был системообразующий смысл. В ее текстах обнаруживается одна из форм нового универсализма, построения всеобъемлющей системы, позволявшей упорядочить разнообразие вещей в мире, выразить их красоту, внутреннюю стройность и согласованность, собрать воедино множество разрозненных сведений — знаний, накопленных в культуре за столетия, и найти среди них место для современных ученых изысканий.

Написание естественных историй подкреплялось рядом культурных практик: развитием книгопечатания и книжной иллюстрации, открытиями в науках, путешествиями в страны Ста-

---

логии. Но при этом все сюжеты должны быть рассмотрены на уровне просвещенного любительства, а не науки. Здесь естественная история сочетает признаки текста, произведенного в целях просвещения и «умного» развлечения публики, со стилистикой записок путешественника-натуралиста. В нее включена идея досуга, знания для удовольствия; прагматика и польза предполагают исключительно частный, персональный уровень. Послание авторов XVII века о любопытстве как добродетели и особом сорте ума (*wit*) для фиксации предмета исследования стало частью современной естественной истории. Вероятно, решающую роль в этом сыграла популярная культура ученых джентльменов XIX века.

<sup>11</sup> См. об этом: *Дмитриев И.* Испытание святого Коперника: ненаучная структура научной революции // Новое литературное обозрение. № 64. 2003.



рого и Нового Света, патронажем князей, устройством новых пространств для наблюдения «естественного» — садов, кабинетов редкостей, коллекций. На рубеже XVI–XVII вв. к этим практикам добавилась деятельность академий и научных обществ, систематические эксперименты, призванные исследовать «великую Книгу Природы», и разработка новых техник исследования.

Тексты многих естественных историй XVI–XVII вв. отличают общие принципы производства значений и организации нарратива. «Моделью» для гуманистической естественной истории послужила «История живых существ» Конрада Геснера. Эта форма сочинения просуществовала около ста лет, в 1550–1650-х гг. Условным завершением «эпохи» гуманистических естественных историй может считаться публикация «Естественной истории четвероногих» Яна Йонстона. Проследим характерные черты таких повествований на примере фундаментального труда Геснера.

Швейцарский естествоиспытатель, филолог и библиограф **Конрад Геснер** (1516–1565) оставил обширное наследие, которое едва ли подлежит классификации. Помимо ботанических сочинений “Enchiridion historiae plantarum” (1541) и “Catalogus plantarum” (1542), которые снискали ему славу и у современников, и в XVIII в.<sup>12</sup>, он написал «классические» гуманистические труды: “Bibliotheca universalis” (1545), каталог на латыни, греческом и еврейском всех когда-либо живших авторов с названиями их произведений, “Mithridates de differentis linguis” (1555), перечень 130-ти известных языков с переводом Господней молитвы на 22 из них, и другие работы. Среди этих энциклопедических подборок и вышли пять томов «Истории живых существ» (Historia animalium, 1551–1558 г.) — по одному тому о животных живородящих, яйцекладущих, о птицах, рыбах и водных животных, змеях. На протяжении более ста лет этот труд неоднократно публиковался на латыни и в переводах, полностью и с сокращениями. У этого сочинения не было прямых аналогов: Геснер предложил свой способ повествования о естественном мире, причем форма большого энциклопедического описания оказалась очень устойчивой; ее приняли другие ученые и читатели. Названия «естественная история» и «история живых существ»

---

<sup>12</sup> Они были впервые опубликованы лишь в 1751–1771 гг.

(“*Historia naturalis*”, “*Historia animalium*”), ставшие со времени выхода книг Геснера распространенной формой именования такого рода текстов, напоминали о классических трудах Аристотеля и Плиния. Но ренессансная естественная история сильно отличалась от обоих «прототипов». Из обоих сочинений заимствовались сведения, рассказы, повторявшиеся из произведения в произведение. Но принципы производства значений и изложения материала изменились. Из книг Плиния была взята в самом общем виде модель организации нарратива. От труда греческого философа сохранились лишь предмет исследования — животный мир, и идея истории как описания, а изучение «причин» уступило место коллекционированию «слов» — эрудитскому перечню всех известных значений, связанных в культуре с тем или иным животным. В гуманистической естественной истории культурная семантика объекта изучения была не менее важна, чем эмпирические данные. В тексте изучалась «природа» существа и определялось его место в системе других творений.

Описание и познание в гуманистической естественной истории максимально сближались, поэтому о своем предмете ученый «знал» тем больше, чем больше «историй» он приводил. Нарратив строился по принципу полноты; его размеры не были ограничены, поскольку в идеале ему следовало объять всю природу, соединив в целое возможно больше сведений. Поэтому естественная история Геснера включала «всех» живых существ, известных человеку, причем задача исследователя состояла в том, чтобы сделать этот список максимально полным. Этот инструмент познания не был предназначен для исключения информации. Поэтому сочинение Геснера — огромный текст, который дополнялся автором в переизданиях.

Знание, которое предлагала эта естественная история, было опосредовано сочинениями предшественников, из которых и заимствовалась основная часть информации. Естественная история представляла вторичное описание «вещей». Геснер прибегал к текстам античных и средневековых авторов не от недостатка материала (так, например, он ссылался на других ученых, делая самые очевидные высказывания — «Тело белки чуть больше и полнее, чем тело ласки, но не длиннее. Альберт Великий»). Животные для Геснера водились не в природе, а в других книгах, и

лишь во вторую очередь их существование подкреплялось собственным исследовательским опытом.

Каждому герою повествования — животному, птице или рыбе — в тексте естественной истории отводилась отдельная глава. На ее первых страницах помещалась гравюра, сделанная по рисунку с натуры или, в случае фантастических животных, с других изображений. Схожие или родственные формы были сгруппированы вместе. Внутри глав материал не подразделялся на важный и неважный, основной и второстепенный. В этом знании не была выстроена иерархия: единственное отличие касалось количества деталей, которые можно было собрать для характеристики более и менее популярных существ.

Естественная история также не подразумевала отбора источников, из которых заимствовалась информация. Среди них фигурировали широко распространенные в то время книги (сочинения Аристотеля, Плиния, Дискорида, Альберта Великого<sup>13</sup>), малоизвестные сочинения, труды не только ученых, писавших о природе, но и поэтов, разнообразных писателей, старых и новых (как, например энциклопедия пословиц Эразма). Геснер называл всех авторов, на которых он ссылался.

Таким образом, метод исследования Геснера состоял не в наблюдении или самостоятельном изучении предмета, а в обширном чтении произведений древних и современных писателей, в производстве выписок из книг. Все нужные сведения о природном мире содержались в библиотеке. Это утверждение не настолько странно, чтобы его нельзя было бы применить к современному знанию, однако в культуре модернизируется существует несопоставимо большее число вопросов к природному миру, которые решаются при помощи наблюдения и эксперимента. В произведении Геснера есть место для нового знания, полученного на личном опыте (но не при помощи *постановки* опытов), однако того, что можно вычитать из книг, может быть вполне достаточно для характеристики животного. В понимании автора естественная история не предполагала задавания новых вопросов. От ученого требовалось вносить уточнения и дополнения в надежный и

---

<sup>13</sup> Дискорид (I в. н. э.) родился на Сицилии, путешествовал по Греции, Криту, Египту; был автором трактата о медицинском использовании трав, животных и минералов (“De Materia Medica”).

прочный корпус знания. Сам момент предъявления «вещи» в тексте отменял необходимость ее интерпретации.

Естественная история предполагала одинаковое отношение к обычным животным, редким или новым видам, вымышленным существам, не устанавливая для них особые правила, поскольку все они в равной степени имели текстовую природу. Фантастические драконы, сирены, морские змеи, рогатые зайцы описывались наравне с привычными собаками, медведями и обезьянами. Напрашивающийся вопрос, верил ли Геснер в предания, которые приводил, неточен. Для автора естественной истории единороги, возможно, где-то обитали на самом деле, но главное, чтобы о них существовали упоминания в других книгах. Желательно, чтобы знание о «вещах» подтверждалось опытом, однако это требование не было обязательным. Способы производства знания о мифических и реальных животных не отличались друг от друга. Было невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность грифона, но это и не требовалось; поэтому эти гости из легенд и бестиариев дожили в ученых трактатах до второй половины XVII века.

Гуманистическая естественная история устанавливала свои принципы систематики. Мир природы по этой логике подчинялся языку, управлялся им, мог быть расклассифицирован с его помощью. В естественной истории действовал алфавитный принцип расположения живых существ. В этом смысле такой текст отвечал способу составления средневековой энциклопедии (хотя в ней алфавит не был обязательным принципом организации материала).

Наиболее заметная отличительная черта естественной истории XVI в. — включение в текст «филологических» материалов о животных. Каждая статья разбивалась на части, названные буквами алфавита. В первой («А») говорилось об именах — о том, какие слова обозначают этого зверя в старых и новых языках. В части «В» — о разновидностях этого животного, известных людям (о лисах обычных рыжих, белых, что обитают в Испании, чернобурых, встречающихся в России...), о признаках (пушистый хвост). Затем «С» — о нраве, повадках, голосе, питании, о том, могло ли это животное пригодиться человеку, можно ли его есть, изготавливать из него лекарства. (Скажем, лисы осторожно переходят замерзшую реку по льду; они издают пронзительное тьяканье — и этим словом *gannire* некоторые римские поэты описывают «тьякающих» на других людей; лисы вываливаются в глине и прики-

дываются дохлыми, чтобы заманить птиц). Часть «Н» содержала эмблематические описания зверя<sup>14</sup>, рассказы о его «симпатиях» и «антипатиях» с другими существами, и т. д. В естественной истории говорилось о приметах, легендах, девизах, в которых фигурировало животное, делались ссылки на литературные произведения античных и новых писателей, цитировались фрагменты из Св. Писания (Матфей 8: «у лис есть норы, у птиц гнезда, а Христу негде преклонить голову»), где с этим зверем сравнивались праведники и грешники, раскрывалось аллегорическое значение животного в различных контекстах; затем следовало несколько страниц пословиц («лису выдает ее хвост»)… Таким образом, гуманистическая естественная история предполагала изучение природы через ответы на вопрос, о том, как культура в прошлом и настоящем отзывалась на существование того или иного божьего творения. Знание о знаках мыслилось как важнейшая часть знания о природе.

Естественнoисторический нарратив был гибкой и открытой формой, и его «пропускная способность» была высокой: он позволял включать в себя новые материалы, отвечая желанию найти место в традиции для современных знаний. Такое сочинение могло учитывать данные из опыта наблюдения за природой, например, из записок очевидцев о Новом Свете. Основанное на личном опыте знание также облекалось в форму историй. Эти истории не имели принципиально другой организации, которая вступила бы в противоречие с остальными материалами из книг. Описания недавно открытых животных — гвинейской свиньи, опоссума, райской птицы — включались Геснером в текст, несмотря на то,

---

<sup>14</sup> Эмблемы — жанр, который сложился и приобрел огромную популярность в шестнадцатом веке. Эмблема состояла из картинки, девиза или морали и текста, часто стихотворного: например: слова «то, к чему стремишься, получит твой враг» сопровождалась картиной: лиса занимает нору барсука; далее в стихах коротко рассказывалась соответствующая история. Основоположителем этого жанра считается Андреа Альчиати, опубликовавший в 1531 г. книгу с подборкой из таких текстов с изображениями. Ей сопутствовал большой успех: эмблемы Альчиати многократно воспроизводились в других сборниках. Не менее известна была «Книга эмблем» Иохима Камерария. Несмотря на развлекательность, считалось, что эмблемы содержали важное знание о мире через поиск и обнаружение символических смыслов и скрытых истин.

что об этих существах ничего не рассказывал Плиний или евангелисты, что о них не было эмблем, пословиц и легенд.

Если на первый взгляд может показаться, что созданный Геснером инструментарий позволил охватить и измерить всю природу, то при сравнении материала его сочинения с информацией в аристотелевской «Истории животных» становится очевидным их контраст при явном сходстве ряда сюжетов. Аристотеля занимал вопрос об органах и жизненных функциях в теле животного, о крови, пищеварении, размножении. Он мог рассказывать отдельно о частях зверей, птиц и рыб, сопоставляя желудки, клювы, плавники и т. п. Его взгляд шел от анатомии, от рассеченного тела к телу целому и функционирующему. В гуманистической естественной истории не было ничего близкого этому способу видения. В ней почти не находилось места для абстракции, выделения самостоятельных признаков, по которым могло производиться сравнение. Такой прием появился в ученых текстах в XVII в. Хотя и здесь были исключения, например, в трудах Пьера Белона.

Язык описания в естественной истории не был предметом авторской рефлексии. В многоголосии этого произведения собственный голос ученого не был каким-либо способом выделен. Инновация Геснера касалась визуального языка репрезентации: по логике этого автора, одних лишь слов не хватало для представления природных существ. И если раньше сам вербальный текст давал сведения, необходимые для полного и верного знания о предмете, то в гуманистическом исследовании слова утратили самодостаточность. При новых изданиях «Истории» Геснер дополнял их не эмблематическими стихами, а иллюстрациями. Черно-белые гравюры первой публикации впоследствии были раскрашены: живая природа обретала свой конвенциональный облик, приемлемый для книжного знания. Для представления природы была выбрана именно «реалистическая» иллюстрация. Идея изображения животных с натуры была новой для книг XVI века. До этого времени в средневековых bestiариях могли приводиться выполненные по определенным образцам стилизованные миниатюры, где воспроизводилась сцена из рассказа о характерном поведении животного с аллегорическим смыслом. Традиция более реалистических изображений зверей сложилась в трактатах по искусству охоты.

Первым из ренессансных ученых трудов, где текст сопровождался схематическими гравюрами, выполненными по рисункам

растений и животных с натуры, был «Сад Здоровья» (“Gart der Gesundheit”, изданный в Майнце в 1485 г.). Другие сочинения о живых существах обходились без иллюстраций. В ботанической иллюстрации произошел поворот, когда Отто Брунфельс издал труд “Herbarium vivae eicones” (Страсбург, 1530 г.), предназначенный для идентификации лекарственных растений. В этой книге рисунки выполнил художник из мастерской Дюрера Ханс Вайдиц. Для «зоологических» текстов новый стандарт задала «История живых существ» Геснера.

Иллюстрация в его сочинении представляла собой или «портрет» животного, или сцену из истории об этом звере. Такие изображения соответствовали потребности в наглядном объяснении того, с какой сущностью имел дело читатель. Иллюстрацию в ренессансной естественной истории характеризовало стремление к драматизации, внутреннему конфликту. Льву подобало быть грозным, белке — стремительной, сирене — таинственной, акуле — ужасной. Визуальный образ передавал не только сходство с «прототипом», реальным или фантастическим, но и показывал, что значило *быть* тем или иным существом.

С какой целью создавался такой текст? Конрада Геснера называют родоначальником зоологии, однако животные были не первостепенным предметом изучения естественной истории. Этот «прибор» был сфокусирован так, чтобы смотреть *на животных*, но и *сквозь них*, сквозь окружавшие их слова.

Один из «больших нарративов» XVI века рассказывал историю Адама, который до грехопадения знал все имена и сущности вещей — историю утраты мудрости, легенду о Вавилонской башне, о потере универсального божественного языка и о смешении человеческих языков<sup>15</sup>. Ученые-гуманисты искали способы открытия «природы вещей» при помощи восстановления первоязыка, расшифровки символов мира через приметы в окружающем мире. (В этом контексте объясним интерес Геснера к мировым языкам и богословию). Ученые, фиксируя в природе симпатии и антипатии, сходства, аналогии, аллегии, качества, находили подобия, через которые объясняли феномены, и пребывали в поисках знаков, которые могли привести их к «древней

---

<sup>15</sup> О теориях языка в изучаемый период см.: Bono J. J. The Word of God and the Languages of Man. Wisconsin, 1995.

мудрости» (“*sapientia pristina*”)<sup>16</sup>. Естественную историю можно рассматривать в ряду исследований в области астрологии и алхимии, в контексте интереса к иероглифам, поэтическим и визуальным метафорам, практикам расшифровки скрытых смыслов.

Гуманистическая естественная история была приспособлена для исследования божественного текста Книги Природы. Она «не стояла в одиночестве на своей собственной полке, чтобы люди открывали ее и извлекали части и фрагменты информации. Скорее, она стояла тайно, скрытая другими томами. Человек мог открыть видимый Божественный текст о вещах, только прежде сняв эти тома»<sup>17</sup>. Естественная история давала возможности для символической экзегезы. Ее задача заключалась не в том, чтобы аккуратно описать зоологические виды, заботясь о правильной таксономии. Мысль о том, что животных надо изучать самих по себе, ограничиваясь физиологией и поверхностью, была чуждой для ученых. Знание накапливалось в ходе раскрытия *значений*, кладезя смыслов природы. Частью знания о животном (шире — о природе) был символизм того или иного существа, мудрость древних и современных авторов, которые видели в животном подобия, отсылавшие к высшей истине, к культуре и к миру природы. Львы, вороны, киты представляли собой части божественного текста; «животные были живыми буквами в языке Творца»<sup>18</sup>. Целью таких ученых занятий было понимание единства Творения в его разнообразии. В то же время, в сочинениях обнаруживался интерес к играм природы, к ее искусству, «шуткам», отклонениям от правил, подчеркивавшим общие законы<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> «Звезды, — говорит Кроллиус, — это родоначальницы всех трав, и каждая звезда на небе есть не что иное, как духовный прообраз именно той травы, которую она представляет, и как каждая былинка или растение — это земная звезда, глядящая в небо, точно так же каждая звезда есть небесное растение в духовном обличии, отличающееся от земных растений лишь материей... небесные растения и травы обращены к земле и взирают прямо на порожденные ими травы, сообщая им какое-нибудь особенное свойство». Цит. по: Фуко М. Слова и вещи. М., 1994. С. 57.

<sup>17</sup> Там же. С. 175.

<sup>18</sup> *Ashworth W. B. Natural history and the emblematic world view // Reappraisals of the Scientific Revolution / Eds. D. C. Lindberg, R. S. Westman. Cambridge, 1990. P. 308.*

<sup>19</sup> См. подробнее: *Findlen P. Possessing Nature. Museums, Collecting, and Scientific Culture in Early Modern Italy. Berkeley, 1994.*



Элементы иных способов производства знания и его организации появились в естественной истории уже в середине XVI века<sup>20</sup>. Сам Геснер в ботанических трактатах опирался не только на сочинения предшественников, но «и на рассказы, и на свои собственные исследования и поездки»<sup>21</sup>. Французский натуралист **Пьер Белон** (1517–1564), путешествовавший в Грецию, Малую Азию, Египет, Аравию, Палестину, писал труды о рыбах и птицах, исходя из личного опыта, а не из гуманистической книжной традиции<sup>22</sup>.

Белон первым из европейских ученых изучил многие неизвестные виды. В труде о морских животных он исследовал около 110 видов рыб, предложив их классификацию. Таким же образом, он составил описание всех известных ему птиц и систематизировал их, исходя, в том числе, из сопоставления анатомического строения разных видов. Среди работ Белона были и трактаты по ботанике; в частности, в своих путешествиях он стремился найти те виды растений, которые были упомянуты Дискоридом<sup>23</sup>. В то время, когда Геснер помещал в текст о животных девизы, надписи на гербах, рецепты и другую информацию из мира «слов», Белон включал в сочинения материалы непосредственных наблюдений. Он также мыслил сходствами и подобиями, взаимосвязями между

---

<sup>20</sup> В то же время Геснер-ботаник производил несколько иное знание, чем Геснер-зоолог. Ср.: «Изучая растения, Геснер делал тысячи набросков побегов, цветков и плодов. Благодаря постоянному упражнению руки и глаза, он достиг большой точности рисунка. Обнаруживая тонкие детали структуры органов, вглядываясь в оттенки красок, Геснер выявлял важные для диагностики видов признаки, тем самым развивая метод познания, совершенствуя не только качество научного рисунка, но и понятия органографии и систематики. Оригинальные рисунки Геснера менее условны, чем гравюры по дереву, иллюстрировавшие его естественнонаучные труды». — *Сытин А. К.* Особенности русской ботанической иллюстрации первой половины XVIII века (<http://herba.msu.ru/russian/journals/herba/icones/syтин2.html> [февраль, 2008]).

<sup>21</sup> *Belon P.* De raris et admirandis herbis.

<sup>22</sup> *Belon P.* L'histoire naturelle des estranges poissons marins, avec la vraie peinture et description du daulphin, et de plusieurs autres de son espèce. 1551; *Idem.* La Nature et diversité des poissons, avec leurs pourtraicts représentez au plus près du naturel. 1555. *Idem.* Histoire de la nature des oyseaux, avec leurs descriptions et naïfs portraits retirez du naturel. 1555.

<sup>23</sup> *Belon P.* Voyage au Levant, les observations de Pierre Belon du Mans, de plusieurs singularités et choses mémorables, trouvées en Grèce, Turquie, Judée, Égypte, Arabie et autres pays estranges. 1553.

вещами, которые замыкались на человеке<sup>24</sup>; но при этом его текст был более специализирован и приближен к современным ожиданиям от работы натуралиста. Естественная история Белона не кажется «странным» текстом; однако в его время ожидания читателей, по-видимому, были иными, так как его произведения в XVI в. не пользовались успехом.

Но в целом нарратив естественной истории изменялся медленно. Свое продолжение эта традиция описания мира получила в трудах итальянского ученого *Улисса Альдрованди* (1522–1605). Альдрованди преподавал в Болонье философию и естественные науки; основатель первого публичного ботанического сада, он собрал обширную коллекцию ботанических и зоологических видов. Подобно Геснеру, Альдрованди попытался собрать в одном сочинении всеобъемлющие сведения по естественной истории и представить их в сходной текстуальной форме. Первые три тома (опубл. 1599) посвящались орнитологии, в четвертом шла речь о насекомых (опубл. 1602). После смерти автора еще несколько томов были скомпилированы его учениками из материалов его рукописей — о рыбах, змеях и драконах, деревьях, и т. п. Публикации дополнялись дорогостоящими иллюстрациями, которые Альдрованди заказывал известным художникам на протяжении тридцати лет. Хотя он был всего на пять лет моложе Геснера, свои работы он писал на пятьдесят лет позже. Альдрованди иногда называют вторым Геснером, который не знал, где остановиться. Это сравнение не вполне точно: он также ставил задачу исчерпывающего описания физического и символического мира животных. Но за полвека эти миры чрезвычайно расширились из-за потока новой информации. В естественной истории Альдрованди знание создавалось по тем же правилам, что и в работе его предшественника; в ней знаки продолжали рассматриваться как часть вещей. Однако то, что Геснер мог изложить в 5 томах, итальянский гуманист был способен представить в тринадцати.

---

<sup>24</sup> «...Описание Белона обнаруживает всего лишь ту позитивность, которая в его время делала его возможным. Оно не является ни более рациональным, ни более научным, чем наблюдение Альдрованди, когда он сравнивает низменные части человека с омерзительными частями мира, с Адом, с его мраком, с осужденными на муки грешниками, являющимися как бы экскрементами Вселенной; оно принадлежит к той же самой аналогизирующей космографии, что и классическое в эпоху Кролиуса сравнение апоплексии с бурей». — *Фуко М.* Слова и вещи. С. 59-60.

Большой проект гуманистической естественной истории завершился на сочинении «Естественная история четвероногих» (1657) **Яна Йонстона** (англ. Джон Джонстон, 1603–1675), польского ученого и врача. Хотя этот текст писался в соответствии с моделью Геснера, способы производства значений в нем изменились.

Система живых существ и, соответственно, текст книги уже не строились в соответствии с алфавитом. Йонстон располагал объекты своего описания в порядке, связанном с их местом в живой природе (начиная с «царя зверей» льва и заканчивая монстрами), выстраивал классификацию — непарнокопытные, парнокопытные, животные «с пальцами», живородящие и яйцекладущие. Разрыв с предшествующей традицией заключался в том, что автор опустил большую часть филологического материала. Удалив часть «предания», Йонстон сделал его сопоставимым по объему с описанием животного.

По замечанию М. Фуко, было бы правильным сказать, что этот автор в своей работе обнаружил гораздо *меньше* знаний о мире, чем Альдрованди, и в этом состояло его новаторство. «Последний по поводу каждого изученного животного давал развернутое, и на том же уровне, описание его анатомии и способов его ловли; его аллегорическое использование и его способ размножения; зону его распространения и дворцы его легенд; его питание и наилучший способ приготовления из него соуса. Джонстон же подразделяет свою главу о лошади на двенадцать рубрик: имя, анатомическое строение, обитание, возраст, размножение, голос, движения, симпатия и антипатия, использование, употребление в целебных целях и т. д... А ведь существенное различие кроется как раз в том, что отсутствует. Как мертвый и бесполезный груз, опущена вся семантика, связанная с животным»<sup>25</sup>. Предмет естественной истории у Йонстона разделился на две разные сферы знания, которые с тех пор больше не сходились вместе.

Изменились и способы визуальной репрезентации животных. Многие рисунки были выполнены не просто с натуры, но с использованием необычных живых ракурсов зверей, которые отсылали читателя к контексту эмпирического знания.

На листе располагались несколько родственных существ на фоне их «среды обитания». Иллюстрации в естественной истории

---

<sup>25</sup> Фуко М. Слова и вещи. С. 159.

Йонстона обретали черты «научной» презентации материала, дававшей возможность обнаружения различий между сопоставимыми видами. Изображения животных сопровождалась подписями с названием вида и указанием на источник, откуда они были заимствованы. Из визуального ряда ушли параллели с иконографией бестиария или эмблемы; в иллюстрациях были представлены животные «какими они были», а не как о них рассказывали, т. е. вне *истории* о них.

В естественной истории в последний раз присутствовал все тот же ряд вымышленных героев — василисков, русалок и драконов. Но Йонстон обнаруживал стремление к их более точной систематике, такое же, какое он проявлял по отношению к реальным существам. О единороге по-прежнему следовало писать, поскольку он был постоянным персонажем множества текстов (то есть, потому, что на него столетиями откликалась книжная культура). Но натуралиста занимало сопоставление близких видов, обнаружение отличий между похожими существами. По мнению Йонстона, под именем единорога в традиции скрывалось много разных зверей: это были и разновидности самого единорога, и носороги, и дикие рогатые ослы. Йонстон пытался разобраться, как между собой соотносились описания животных у древних авторов. Так, читатель узнавал, что, согласно Страбону, у единорога было тело лошади, что Плиний «добавлял» к этому телу голову оленя, слоновьи ноги, кабаньих хвост, а также один черный рог, что Исидор путал его с носорогом, и т. п. В этой естественной истории прослеживается желание ученого упорядочить имевшиеся в его распоряжения материалы. Поэтому в тексте приводились подсчеты размера единорога (в «локтях» — *sex / septem cubitos*) и его веса (*decem et septem libras*), выяснялись места обитания онагров (была ли это Африка, Скифия или Индия). Стремление к различению схожих пород животных вызвало к жизни причудливую систематизацию фантастических существ: на изображении размещались три вида единорогов: обычный (*monoceros seu unicornis*), гривистый (*monoceros seu unicornis jubatus*) и онагр (*onager*). Все в иллюстрации свидетельствовало о максимальной точности изображаемого: пропорции животных, анатомическое правдоподобие, переданное движение, фон, указывавший на место обитания того или иного вида. Таким образом, естественная история Йонстона представляла собой *исследование* природы, выполненное на основании других книг.

### III. Естественная история и экспериментальная наука

Упадок гуманистической естественной истории был связан с более глобальными трансформациями в европейской интеллектуальной культуре XVII в. — утратой прежнего самостоятельного статуса языка, «отнесенного к орудиям или средству изящного стиля» (Р. Барт), переопределением роли знака, который из неотъемлемой части самой вещи превратился в элемент ее репрезентации, складыванием новых критериев экспериментального знания.

Изменились и способы производства знания о «естественном мире» в связи со становлением научных обществ и академий (Академия Линчеи, Королевское научное общество), постановкой новых вопросов к «вещам», превращением наблюдения за природными объектами и постановки опытов в систематическую практику. В ученой культуре постепенно создавались новые пространства изучения природы — ботанические сады, гербарии, коллекции животных и редкостей — которые позволяли видеть и анализировать животных и растения вне системы символов и текстуальных коннотаций.

«История» меняла свое значение: она фокусировалась не на исследовании культурной семантики, но на непосредственном пристальном рассматривании предметов и на их описании в нейтральных, свободных от красот стиля и риторических фигур словах. Естественной истории следовало «максимально приблизить язык к наблюдению, а наблюдаемые вещи — к словам. Естественная история — это не что иное, как именование видимого. Отсюда ее кажущаяся простота и та манера, которая издали представляется наивной, настолько она проста и обусловлена очевидностью вещей»<sup>26</sup>.

В естественноисторическом дискурсе XVII века можно выделить несколько близких, но все же различных направлений. При всей общности базовых научных принципов, экспериментальная естественная история отличалась от таксономической и антикварной версий. *Фрэнсис Бэкон*, рассуждая о методе «истинной индукции», или восхождения от предмета через эксперимент к теоретическому умозаключению о вещи, предложил свой вариант естественной истории. Экспериментальная естественная история Бэкона осталась незавершенным проектом: “*Sylva*

---

<sup>26</sup> Фуко М. Слова и вещи. С. 162.

Sylvarum” была скомпонована и издана после смерти ученого. И хотя он ввел эпистемологические новации, его «Естественная история» не стала модельной.

Ее текст строился на совершенно иных основаниях. В «Лесе Лесов» рассказывалось не о животных или растениях, но об абстрагированных свойствах и «поведении» физических тел. Естественная история представляла собой сумму («десять центурий») экспериментов, которые следовало провести с вещами. Природу, начиная с простых веществ, нужно было подвергнуть испытаниям, чтобы найти знание, свободное от книжных домыслов. Бэкон предлагал собирать разнообразие сведения о природных объектах: о жидкостях, разделении тел при помощи жидкости, огне, воздухе, взаимных переходах тел, морозе, жаре, симпатиях и антипатиях растений или звуков, высоких и низких звуках, их отражении, эхе, эпидемиях, сладких запахах, о любопытных растениях и фруктах. Ученому следовало узнавать о насморке, зевании, о полезных вещах, связанных с излечением ран, улучшением слуха, вина, формы тела, увеличением дойности коров и др.

В естественной истории Бэкона сложно найти какую-либо систему, даже с учетом незавершенности этой работы. Предмет исследования — «природа» — и вмещающий ее текст не были ничем ограничены или структурированы — ни языком (алфавитным принципом упорядочивания вещей), ни количеством видов, которые можно было подсчитать и описать, ни территорией (как это происходило позже в антикварной естественной истории). Исследователь не формулировал единых правил, в соответствии с которыми выделялись бы объекты. К ним принадлежали и типичные, и странные, редкие, аномальные явления и виды. Только сам ученый, с его постоянным неиссякаемым любопытством, практикуемый экспериментальный метод и общая идея «пользы» естественнонаучных штудий вносили единство и согласованность в представленный в тексте мир природы.

В сочинении Бэкона обнаруживается резкий контраст с гуманистическими трудами — не только из-за отсутствия «предания», но из-за изобилия новых вопросов к природе. Каждая вещь в мире мыслилась автором как неизученная, требовавшая вопрошания. Естественная история, таким образом, становилась пространством для обращения с неизвестным. Для самого Бэкона она рассматривалась как «инвестиция» в будущее, план огромного коллективно-

го труда ученых. Все ответы на поставленные вопросы должны были вести не просто к открытию истины: научное познание приближало Золотой век, время искупления первородного греха.

У Бэкона как автора естественной истории было мало прямых последователей, в чьих работах воплощались бы близкие способы рассуждения. Самые известные из них — Роберт Бойль<sup>27</sup> и Роберт Плот. Однако естественная история и философия трактовались широко, и под этими словами фигурировали несхожие интеллектуальные течения<sup>28</sup>. В сочинениях натуралистов можно было найти строгий язык таксономии, как в трудах ботаника Джона Рэя, поиски языка для описания опытов с оптическими приборами, как в «Микрографии» Роберта Хука, поэтику природных чудес, как в книге священника Джошуа Чилдея, смешение систематики с перечислением экспонатов в текстах-коллекциях, как в сочинении Джеймса Петтивера. Фрагменты уходящей гуманистической традиции сочетались с элементами эмпирического метода, нового «аналитического» знания, антикварианизма и магических практик.

Значительная часть естественноисторических сочинений XVII века тяготела к *таксономическому описанию видов*. В таком нарративе разнообразие природных вещей должно было располагаться в правильном порядке, который устанавливался на основе выделения простых признаков у объектов и их сравнения между собой. Взгляд исследователя фиксировал протяженность физического тела и вычленил его атрибуты — форму элементов, их число, размеры и расположение<sup>29</sup>. Обнаруженные различия позволяли выстроить последовательную схему — таксономию, в которой каждый следующий вид отстоял от предыдущего на один интервал. Таким образом, повествование в естественной истории делалось более последовательным, линейным. Часть информации в тексте могла переводиться на язык подсчетов и измерений.

Взгляд исследователя в естественной истории, как правило, был ограничен рассмотрением поверхностей объектов, занят

---

<sup>27</sup> Boyle R. The general history of the air. L., 1692.

<sup>28</sup> См.: Hunter M. Science and Society in Restoration England. Cambridge, 1981; Parry G. The Trophies of Time: English Antiquarians of the Seventeenth Century. Oxford, 1995; Jardine L. Ingenious Pursuits. Building the Scientific Revolution. L., 1999.

<sup>29</sup> См.: Фуко М. Слова и вещи. Гл. V. 3. Структура.

фиксацией признаков, установлением сходств и различий. Со временем он все больше сосредоточивался на поиске «причин»; однако в сочинениях XVII века внешнее описание объектов и их классификация могли быть самодостаточными.

Важную роль в созидании «новой науки» играл язык визуальной очевидности. Мир, представавший перед глазами исследователя, был неисчерпаемым источником знания, и сама возможность созерцать феномен наделяла его статусом «любопытной вещи», заслуживавшей внимания. Глаз ученого, оснащенный оптическими приборами, проникал туда, куда прежде было невозможно добраться, от небесных тел до волосков на голове мухи (как в «Микрографии» Роберта Хука).

В иллюстрациях естественных историй произошли изменения. Визуальный язык тяготел к буквальности описания: предмет изображался максимально точно, часто в сопровождении шкалы измерения, инструментов для математических расчетов, и т.п. Текст мог сопровождаться таблицами, позволявшими сопоставлять родственные виды растений и животных. В иных случаях иллюстрации представляли коллекцию диковин в миниатюре, со странными окаменелостями и костями, экзотическими животными, скелетами «монстров».

В изображениях нарушился принцип целостности образа: голову или кости животного можно было изучать и рисовать отдельно от него самого. Взгляд исследователя проник вовнутрь, зафиксировав особенности строения скелета, характерные и необычные органы изучаемого существа. Интерес к инструментам и приборам позволил им оказаться на одной иллюстрации с изображаемым животным. В картину вписывался сам процесс изучения, извлечения знания. Растения и животные стали постепенно открывать читателю механику своих тел. Иллюстрация больше не отвечала на вопрос, *как быть* тем или иным существом, но рассказывала о его характерных признаках и о том, *как оно было устроено*.

Одна из самых известных таксономических моделей естественной истории была предложена *Джоном Рэем* (1627–1705) и его соавтором *Фрэнсисом Уиллоби* (1546–1596). Рэй и Уиллоби планировали написать новую всеобъемлющую естественную историю растений, рыб, насекомых, птиц и животных, и выстроить глобальную систему классификации природных видов. Рэй, высоко отзываясь об индуктивном методе Бэкона, говорил о необ-



ходимости создания новой экспериментальной науки. По его мнению, образцы естественной истории Геснера и Альдрованди сильно устарели; из прямых предшественников ученый называл Цезальпина, а из современников — Мальпиги, Грю и Юнга<sup>30</sup>.

Сочинения о растениях, насекомых и рыбах базировались на материалах их наблюдений во время путешествий по Европе и Британии, итогах сбора и сопоставления образцов. Так, в «Истории растений» Рэя говорилось о 18 625 видов. Естественноисторический текст Рэя и Уиллоби соединял обширные эмпирические исследования с логическими построениями в области таксономии.

В ранних работах Рэй еще придерживался алфавитного принципа упорядочивания объектов (*Catalogus plantarum circa Cantabrigiam nascentium*, 1660, *Catalogus plantarum Angliae*, 1670), но позднее отказался от него и классифицировал цветущие растения на основе различий признаков — по числу семядолей. В труде 1693 г. о рептилиях и млекопитающих животные подразделялись на основе сопоставления зубов, копыт и пальцев лап. В медленно изменявшейся естественной истории животных Рэй распределил материал на параграфы, в которых описывались близкие подвиды зверей (например, белка обычная — белка серая виргинская — белка летяга — белка варварская; хотя принципы их деления были не строгими).

Естественная история этих авторов была сфокусирована на классификации и методе. Сочинения сопровождалась методическими рекомендациями — *Methodus*, *Methodus plantarum nova* (1682), *Synopsis methodica Animalium Quadrupedum et Serpentinae Generis* (1693). В них единица описания была иной, чем в естественноисторическом повествовании: не отдельные растения и живые существа, но их абстрагированные части и органы со своими функциями. В самих же естественных историях, и в особенности, в самом фундаментальном труде «Истории растений», объектом анализа были «виды»; впоследствии Линней использовал их как готовые «кирпичи» для построения собственной многоуровневой классификации.

---

<sup>30</sup> *Caesalpinus A.* De plantis. Florence, 1583; *Malpighi M.* Anatomia Plantarum. 1671; *Grew N.* Anatomy of Plants, L., 1682. Рэй использовал неопубликованные работы философа и натуралиста Иоахима Юнга (ум. 1657), в которых тот предложил систему классификации и ряд терминов для описания растений.

#### IV. Естественная история антикваров

Для изучения культуры естественноисторических сочинений в XVII веке можно ввести дополнительный контекст. Особенно ясно его влияние прослеживается на материале английских источников. Естественная история приобрела новое значение в контексте складывания национального государства, империи. В работах ученых XVI–XVII вв. приобретала популярность идея составления полного перечня земель и богатств государства в прошлом и настоящем. Природные богатства, исторические события, примечательные редкости, чудеса колоний рассматривались как потенциальные единицы большого нарратива. В этой связи новую актуальность приобрела «Естественная история» Плиния, чей автор мыслил «империей», смотрел из Рима, центра, на периферию государства и составлял своеобразный реестр всего, что находилось в его пределах.

В 1546 г. Джон Лиланд, капеллан и библиотекарь Генриха VIII, путешествовавший по поручению короля по Англии, составил план исследований, которые следовало провести ученым любителям древностей. На основании классических и средневековых трудов надлежало изучить все упоминания о тех или иных местах в Британии, сверить их, добавляя данные вещественных свидетельств прошлого — руин, надгробий, монет и т. п. В результате Лиланд хотел составить карту и детальное описание топографии Англии, дополненное изложением истории по отдельным графствам. Так была сформулирована обширная программа деятельности для нескольких поколений антикваров; и хотя сам Лиланд не смог претворить в жизнь эту задачу, за ее выполнение взялись его последователи. Одной из наиболее известных в этой области книг была «Британия» Уильяма Кемдена (издания 1586–1606 гг.) — результат почти тридцатилетнего исследования, путешествий, изучения историй, документов, памятников прошлого. Кемден рассказывал об областях Англии, их границах, о природных ресурсах, об истории владельцев земель, писал о римской, англо-саксонской и нормандской Британии, основываясь на письменных свидетельствах, находках древних орудий, монет, погребениях, и т. п. В приложении приводился указатель прежних названий народов, городов и рек, согласованных с современной английской топонимикой. Сочинение Кемдена послужило образцом антикварного исследования и источником сведений для других авторов.

В текстах хорографий описания рукотворных и природных древностей, редкостей и богатств соседствовали друг с другом. Рассказы о замках, соборах, гербах, могильных плитах, обычаях и легендах включались в те же сочинения, что и истории о почвах, окаменелостях, водах, растениях, необычных погодных явлениях и монстрах (например, в «Бэконовской Британии» Джошуа Чилдрея, 1660 г., «Истории достопримечательностей Англии» Томаса Фуллера, 1662 г., «Естественной истории Уилтшира» Джона Обри, 1656–1691 гг., и др.).

Для антикваров XVII века предметы и методы исторического и естественного знания были связаны. В пользу этого союза Фрэнсис Бэкон приводил следующие аргументы: и та, и другая сферы деятельности соотносились со способностью человека запоминать. Память же имела дело с индивидуальным и единичным. Таким образом, история, изучение древностей и естественные науки имели общий фундамент, повествуя о частных вещах или событиях<sup>31</sup>. Даже Джон Рэй был автором таких сочинений как «Коллекция английских пословиц» (1670) и «Коллекция устаревших английских слов» (1674).

В «Древностях Уорвикшира» Уильяма Дагдейла (1656) естественнонаучный материал был редок; в сочинении Чилдрея, описывавшего Британию по графствам, именно на нем было сфокусировано основное внимание. В работах Фуллера под «достопримечательностями» Англии понимались и исторические свидетельства, и древности, и плоды «механических искусств», и

---

<sup>31</sup> «Наиболее правильным разделением человеческого знания является то, которое исходит из трех способностей разумной души, сосредоточивающей в себе знание. История соответствует памяти, поэзия — воображению, философия — рассудку. <...> История, собственно говоря, имеет дело с *индивидуумами*, которые рассматриваются в определенных условиях места и времени. Ибо, хотя естественная история на первый взгляд занимается *видами*, это происходит лишь благодаря существующему во многих отношениях сходству между всеми предметами, входящими в один вид, так что если известен один, то известны и все. Если же где-нибудь встречаются предметы, являющиеся *единственными в своем роде*, например солнце и луна, или значительно отклоняющиеся от вида, например, чудовища (монстры), то мы имеем такое же право рассказывать о них в естественной истории, с каким мы повествуем в гражданской истории о выдающихся личностях. Все это имеет отношение к памяти». (Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук // Сочинения в двух томах. Т. 1. М., 1971. С. 156-157.

природные чудеса. В текстах Обри эти темы переплетались настолько, что он сам не мог точно выразить предмет своего интереса к прошлому, объемлющему историю и человеческого, и природного мира<sup>32</sup>. К концу века обе линии постепенно стали расходиться, на их основании складывались новые дисциплины.

Оригинальная модель естественноисторического нарратива была предложена **Робертом Плотом** (1640–1696) в сочинениях «Естественная история Оксфордшира» (1677) и «Естественная история Стафффордшира» (1686)<sup>33</sup>. Плот, профессор химии в Оксфорде, естествоиспытатель, первый хранитель знаменитого Ашмолеанского музея старины и диковин, был горячим приверженцем и последователем философской системы Ф. Бэкона. Однако в его работах сочетались разные традиции исследований мира вещей, включая антикварную, и его тексты сильно отличались и от гуманистической естественной истории, и от экспериментальной бэконовской, и от таксономии Рэя.

В обширной исследовательской литературе, посвященной ранним формам научного знания, работы Плота упоминаются вскользь и рассматриваются редко. Отчасти это объясняется тем, что его версия ученого текста о природе, оценивавшаяся современниками как новаторская и чрезвычайно популярная в течение четырех десятилетий, не получила продолжения в XVIII в. Она

---

<sup>32</sup> В сочинении Обри прошлое и настоящее было представлено через причудливое соединение вещей, расположенных над и под землей. «Я назвал бы это описание частей Англии, которые я видел, *Наземной и Подземной Хорографией* (или придумайте этому более подходящее имя)». В его «естественной истории» сочетались, казалось бы, несочетаемые сюжеты: «Часть 1. Описание земель; Воздух: ветры, туманы, штормы, метеоры, эхо, звуки; Медицинские источники; Реки; Почвы; Растительность; Минералы и Раковины; Камни; Камни, имеющие форму; Растения; Звери; Рыбы; Птицы; Рептилии и насекомые; Мужчины и женщины: долгожительство, удивительные рождения; Болезни и лекарства... <и т. д.> Часть 2. Достопримечательности: короли, святые, прелаты, государственные мужи, писатели, музыканты; Величие Хербертов, эрлов Пемброка; Ученые мужи, пенсии которым назначили эрлы Пемброка; Искусства, свободные и механические; Архитектура; Агрикультура; Шерсть; История торговли одеждой; Ярмарки и рынки; Соколы и соколиная охота: необычные полеты; Проклятия над семьями и местами; Случай или замечательные происшествия. <и прочее>». (Aubrey J. Op. cit. P.6).

<sup>33</sup> Plot R. The Natural History of Oxford-shire. Oxford, 1677; *Idem*. The Natural History of Stafford-shire, Oxford, 1686.

могла бы рассматриваться как своего рода «тупиковая ветвь» среди других вариантов естественных историй.

Труды Плота были задуманы как образец для научного описания земель Британии. В этом замысле Плот следовал за антикварами и, в то же время, за Бэконом, имевшим в виду всеобъемлющее исследование природы. Автор стремился представить читателям точный и полный отчет о «всеобщем Содержимом Мира», и начать с «содержимого» двух английских графств<sup>34</sup>. Исследователю надлежало составить карту каждого графства, каталогизировать известные виды и все отдельные природные явления, попытаться объяснить природу необычных феноменов, и, таким образом, собрать огромный музей, куда бы поместилась вся Британия с ее полезными вещами и редкостями. По словам Плота, он предпринял свое исследование ради «продвижения не только того вида Знания, которым так пренебрегают в Англии, но и Торговли»<sup>35</sup>. По примеру Плота другие ученые начали писать собственные произведения, стремясь к приращению знания: каждая новая книга повествовала о новой территории, о ее достопримечательностях<sup>36</sup>.

Отличительная черта естественноисторического повествования Плота состоит в том, что его основные логические построения имеют внутренние противоречия, которые, тем не менее, не выглядели странными ни для самого автора, ни для его современников.

Наиболее проблемным кажется понятие «естественного». Книги делились на главы «о небесах и воздухе», «о водах», «о землях», «о камнях», «о камнях, имеющих форму», «о растениях», «о животных», «о мужчинах и женщинах», «об искусствах», «о древностях»<sup>37</sup>. В сферу внимания попадали как привычные

---

<sup>34</sup> Ibid. P. 1.

<sup>35</sup> *Idem.* The Natural History of Oxford-shire. P. 1.

<sup>36</sup> См.: *Aubrey J.* The Natural History of Wiltshire. 1656-91. Publ. L., 1847; *Idem.* The Natural History and Antiquities of the County of Surrey. 1673. Publ. L., 1718-9; *Leigh Ch.* The Natural History of Lancashire, Cheshire, and the Peak, in Derbyshire. Oxford, 1700; *Morton J.* The Natural History of Northamptonshire. L., 1712.

<sup>37</sup> Такая последовательность напоминала о порядке сотворения мира. Сходные ассоциации рождал и выбор слов для обозначения предмета исследования: «От Небесной Тверди (исключая все рассуждения о чистом Эфире, о котором нам известно так мало, что я ничего о нем не скажу) я

объекты изучения «Книги природы», так и рукотворные вещи, интересовавшие антикваров. По словам автора, его предмет требовал «наиболее естественного Метода» изложения, и поэтому в книге сперва надлежало говорить об *обычных* «Природных Вещах», затем — об «излишествах, недостатках» и «*ошибках Природы*» («монстрах»), наконец, об *изобретениях* человека (оптических приборах, фонтанах и т. п.) и о «*древностях*».

Главы, посвященные механическим искусствам, по мысли Плота, рассказывали о той же природе — но укрощенной, переустроенной или украшенной по воле человека. Плот оговаривал эту странность: предметы искусства «не отличаются от Природных Вещей ни по форме, ни по содержанию, но только по действительности»<sup>38</sup>. Вслед за Бэконом он считал, что у человека не было иной власти над природой, кроме способности соединять и разъединять природные тела. Поэтому все манипуляции с ними подпадали под определение «естественного» и могли быть описаны в естественной истории. Ссылка на Бэкона в этом контексте была едва ли корректной: для родоначальника «экспериментальной философии» разделы, посвященные руинам и археологическим находкам, не должны были включаться в текст, однако они там были. Так, в сочинениях Плота соперничали два начала: преимущественное внимание к природному миру, рассмотренному вместе с трудами человека, или к союзу территории и прошлого.

Территория, земля, подчиненная государственному административному делению, играла важную роль для «укрощения» многообразия природного мира. Предмет изучения Плота был ограничен пределами графства; в этом заключалось еще одно противоречие: универсализм естественноисторического описания контрастировал с локальным взглядом ученого. В идеале предмет познания должен был быть «компактным» событием или вещью; при этом он рассматривался как фрагмент, осколок чего-то большего. За ним угадывались контуры целого — универсума в его разнообразии. Мир, который пытался вместить в свою книгу Плот, значительно превосходил территорию двух графств. Автор

---

естественным образом спущусь к нижнему Небу, то есть к тому тонкому телу, которое непосредственно охватывает Землю, насыщенному всеми видами испарений, оттого обычно именуемому Атмосферой». (*Plot R. The Natural History of Oxford-shire. P. 4.*)

<sup>38</sup> Ibid. P. 1.

мог писать о «Небесной Тверди», но не целиком, а о фрагменте небес, увиденных из Оксфорда. Рассказ о солнечных затмениях или звездах, которые видны из этого уголка Англии, помещался в текст потому, что в Оксфордшире, по мнению Плота, были сконструированы наилучшие оптические приборы.

Предшествующая традиция землеописаний легитимировала эту локальность взгляда. Ей хорошо соответствовали и научные изыскания Бэкона. «Истинная индукция» могла осуществляться только в результате отдельных экспериментов, проведенных в конкретном месте в определенное время. Естественная история Плота строилась именно на таком «местном» взгляде и личностном знании. Сумма таких частей должна была дать большое кумулятивное описание всей Британии.

Плот рассматривал свою деятельность как научную, то есть, как основанную на проверенных данных, индукции и точных расчетах. Естественная история должна была опираться на продуманный метод — систематические наблюдения и эксперименты. В рассуждениях автора отчетливо звучало сознание новизны и широких перспектив предлагаемого способа исследования, «нового аналитического Метода Лорда Бэкона». При этом стремление построить всеобъемлющий корпус подтвержденного опытами знания соединилось в книгах Плота подходом любопытствующего регистратора следов тайны в мироздании. С одной стороны, он пытался, следуя принципам научного знания, изучать свойства обычных, повседневных вещей, заявлял о намерении исследовать общее и типическое. С другой стороны, автора привлекала мысль о составлении текстовой коллекции редкостей. Взгляд исследователя сосредоточивался на индивидуальном, на исключениях, а не на правилах, на секретах природы, которые легче всего обнаруживались в уникальных или редких явлениях и находках. В результате он писал далеко не обо всем «содержимом» английских графств. Говоря о растениях, птицах и животных, Плот избегал рассказывать о привычных видах, отсылая читателя к работам Рэя и других натуралистов и отдавая предпочтение неописанным существам или «монстрам». Парадоксальным образом книги Плота обнаружили невозможность построения аналитической естественной истории, опиравшейся на антикварную традицию.

Предметом специальной рефлексии Плота был язык описания. Здесь также проявилась двойственность авторского подхода.

Ученому полагалось стремиться к правдивому и точному описанию своего предмета «простым, легким, безыскусным стилем, усердно избегающим всех украшений языка». В этом смысле, язык, направленный на предмет изучения должен был быть нейтральным, прозрачным посредником, сокращавшим дистанцию между предметом и текстом. Но в то же время Плота, заботившегося о занимательности чтения и развлечении читателя, отличала склонность к литературной изысканности. В результате в тексте авторские переживания, волнения, его заинтересованность, чувство необычного сосуществовали с объективно-отстраненной интонацией. Слова, указывавшие на эмоциональные состояния исследователя и на эстетическое совершенство вещи, сообщали читателю чувство восхищения от столкновения с диковинным. (Например: «Такие молнии, возникающие в зимние месяцы, всегда считались великой редкостью; но мне в Стаффорде довелось видеть не просто такой, но гораздо более необычный случай. Может быть, он повторится снова только спустя много веков»<sup>39</sup>).

Описания в книгах Плота сочетали стилистику занимательной истории и документального свидетельства. Объяснения, устраивавшие автора, лежали в сфере физических и химических причин. Однако, рассматривая странные случаи, он не мог отказать читателю в увлекательном объяснении, которое опровергалось им же самим. Наука должна была быть интересной для публики. Так, говоря о необыкновенных кругах правильной формы, неизвестно почему возникающих на деревенских полях, Плот с удовольствием перебирал возможные решения загадки: «Вызывает ли их Молния? Или это, и в самом деле, места Ведьмовских Сборищ? Или там танцуют маленькие крошечные Духи, называемые Эльфами или Феями? <...> Впрочем, я, со своей стороны, слабо верю в эти вещи». После этого автор переходил к более правдоподобным естественным причинам, таким как химический состав почвы<sup>40</sup>.

Нарратив, предложенный Плотом, позволял связать познание с многообразием личного опыта человека. В отличие от всех других моделей естественноисторического описания, за исключением бэконовской, естественная история Плота была персона-

---

<sup>39</sup> Ibid. P. 9.

<sup>40</sup> *Plot R. The Natural History of Stafford-shire.* P. 14.



лизированной, опиралась не столько на знание из книг и на научность классификации, сколько на частные познавательные практики, повседневное наблюдение и любопытство, наделенное добродетелями. В естественную историю проник прагматический интерес, размышления о выгоде государства, использующего природные богатства, и пользе ученых-джентльменов, которые не только приобретают мудрость, но и благосостояние.

Границы возможностей такой естественной истории также очевидны. Естественная история по-прежнему занималась единичным, индивидуальным. Эта единичность у Плота достигла триумфа: в идеале тотальное описание Британии должны были составить отдельные ученые, наблюдающие разрозненные виды и явления и сводящие эти материалы в целое. В книгах Плота было представлено неспециализированное знание. Фигура производившего его исследователя отсылала к образу позднеренессансного ученого, знавшего понемногу обо всем. Отсутствие системы, таксономии и специализации вместе со склонностью Плота к изящности в экспериментах (например, «ухаживание за нимфой Эхо») привели к тому, что его труды спустя несколько десятилетий стали рассматриваться как дилетантское знание, не поддающееся разделению на научные дисциплины.

В XVIII в. получили преимущественное развитие две версии естественных историй. Одна была связана с последовательным именованьем многообразных существ, с описанием «поверхности мира». Анатомия была вынесена за пределы такого текста; в то же время из него не полностью ушли «истории» о мире творений, с моральным подтекстом и дидактикой. Другая ориентировалась на построение всеобъемлющей классификации видов растений и животных. Кульминацию этих двух логик можно увидеть в «Естественной истории» Жоржа Луи Леклера де Бюффона и «Системе природы» Карла Линнея — двух последних больших естественноисторических проектах. Модель антикварной естественной истории много раньше была расценена как неактуальная для научного знания. Но она и ее модификации приобрели популярность в качестве частной познавательной практики ученых любителей и стали важной опорой *культуры* естественнонаучного знания в Британии и Европе.

## ГЛАВА 20

# ОТ ПРОСВЕЩЕНИЯ К РОМАНТИЗМУ ШОТЛАНДСКАЯ АНТИКВАРНАЯ ТРАДИЦИЯ И ПОИСКИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОШЛОГО

*Конец комнаты был заставлен книжными полками. Занимаемое ими пространство было явно мало для размещенных на них томов, и поэтому книги стояли в два и три ряда, а бесчисленное множество других валялось на полу и на столах среди хаоса географических карт, гравюр, обрывков пергамента, связок бумаг, старинных доспехов, мечей, кинжалов, шлемов и щитов шотландских горцев.*

В. Скотт. Антикварий

На рубеже XVII–XVIII вв. Шотландия переживала кризис идентичности, связанный с двойственным процессом. С одной стороны, все более нарастала интеграция двух систем, делая неизбежной унию, а, с другой, характер этого объединения, которое могло быть реализовано в инкорпоративной или федеративной форме, отражал кризисные представления шотландцев, стремящихся сохранить свое прошлое, а, значит, и собственную идентичность. Этот конфликт ошибочно было бы представлять как экономическое, политическое, внешнеполитическое или даже культурное противостояние. В равной степени не совсем верной будет характеристика этого процесса как инициированного какой-то одной стороной или социальной группой. Скорее, истоки противоречий кроются во все возрастающей англо-шотландской зависимости, уходящей корнями еще в средневековую историю, где и следовало искать корни идентификационного кризиса. Однако же, взаимная зависимость, еще более окрепшая и формализовавшаяся в условиях парламентской унии 1707 г., приходила в столкновение с традиционными шотландскими представлениями

о гордой независимой нации, свобода которой на протяжении столетий отстаивалась предками.

В результате сформировался кризис идентичности, вызванный расхождениями между идеей независимого прошлого, которое, казалось, должно обусловить столь же независимое настоящее, и униатской реальностью. Сложность этого процесса определялась как тем, что он был вызван целым рядом драматических, а, порой, и трагических событий в англо-шотландских отношениях, таких как резня в Гленко, Дарьенская авантюра, уния 1707 г., так и тем, что все это реализовывалось в условиях модернизации. Преодоление кризиса идентичности было связано с необходимостью трансформации сознания и формирования такого языка, и, шире, такой знаковой системы, в категориях которой можно было бы объяснить происходящие изменения. В результате длительного процесса сформировались и до сих пор существуют бинарные оппозиции, отражающие противоречивое отношение к процессу англо-шотландской интеграции, однако все они ориентированы не по вертикали, то есть имеют не диахронный, а синхронный характер, подчиняя тем самым прошлое настоящему и именно настоящее рассматривая как ту систему координат, в которой оценивается событие. Среди таких дихотомий наибольшее значение имели противопоставление «разума», фиксировавшего целесообразность упрочения англо-шотландских контактов, и «души», зовущей шотландцев в независимое прошлое; т. н. «изобретение традиции», которая должна была примирить прошлое и настоящее; и, в конечном счете, сама категория «юнионистский национализм», в которой националистические сантименты шотландцев могли быть наиболее полно реализованы лишь в союзе с Англией.

Удивительным образом эти противоречия преодолевались в процессе обработки прошлого, формируя новый нарратив, отвечающий потребностям времени. Шотландские интеллектуалы XVIII – начала XIX в., которым довелось жить в период наиболее драматической ломки идентичности, сочетая разум, воспетый идеологами Просвещения, и сердце, призывающее сохранить исконный шотландский дух, отыскивали ответы на волнующие их вопросы. Шотландское антикварное движение стало, таким образом, тем, что связало две эпохи — Просвещения и романтизма.

Несмотря на более позднее, по сравнению с Англией, его появление, шотландских любителей древности роднит с их южными коллегами тот факт, что прошлое для них было средством объяснения настоящего. Делая предмет своих изысканий прошлое, они транслировали его в современную им Шотландию.

Если появление английской антикварной традиции было в определенной степени реакцией на восшествие Стюартов на престол, что являлось отражением системной трансформации английского общества в целом, то и шотландские антиквариаты в такой же степени были современниками драматических и судьбоносных событий. В этой связи антикварное сознание, как форма исторического, является средством преодоления кризиса идентичности, его перевода из конфликтной в консенсусную стадию. Такой переход требует приложения определенных интеллектуальных усилий, сознательных, а чаще неосознанных, которые в результате формируют новый тип мировосприятия.

Будучи современницей эпохи Просвещения, шотландская антикварная традиция в полной мере усвоила ее уроки. История человечества, согласно просветителям, представляет собой необратимый и неизбежный прогресс — прогресс морали, форм производства, закона и типов власти. Две черты феодального общества, как правило, становились объектами наиболее яростной критики со стороны просветителей — постоянная вражда феодалов друг с другом и аграрная экономика, не способная к развитию. Уния же 1707 г. способствовала изживанию этих черт, приближая Шотландию к процветающему коммерческому обществу<sup>1</sup>. Рождение Великобритании окончательно утвердило идею необходимости гражданской свободы и экономического развития посредством дефеодализации Шотландии. По мнению антикваров, этот процесс поступательного развития оставил множество следов, которые необходимо отыскивать и представлять в качестве свидетельств движения вперед.

В соответствии с просветительской парадигмой антикварами рассматривался и период шотландской истории, предшествовавший тем революционным переменам XVIII века, свидетелями которых они являлись. Эта оценка становилась своего рода кон-

---

<sup>1</sup> *Kidd C. Subverting Scotland's Past. Cambridge. 1993. P. 109-112.*

цептуальной основой, в соответствии с которой подбирались и трактовались исторические материалы. Даже в подходе антикваров к отбору свидетельств прошлого отчетливо прослеживается их отношение к настоящему. Однако эта убежденность в необходимости следования принципам прогресса, который был принесен вхождением Шотландии в состав Великобритании, сталкивалась с верой в свое собственное прошлое. Это столкновение и порождало кризис идентичности, в условиях которого шотландские элиты, в первую очередь, интеллектуальные, столкнулись с проблемой, как отстоять собственное культурное прошлое.

Осознавая себя одной из древнейших наций Европы, шотландцы уже в XVII в. реанимируют интерес к т.н. «свитку королей», насчитывавшему сотни поколений. Этот проект действительно имел успех, и в письме, посланном шотландскому парламенту в 1641 г., Карл I, согласно этому списку, называл себя сто восьмым монархом. Церковь тоже являлась активным участником этого процесса, поскольку шотландский пресвитерианизм ощущал зримую угрозу со стороны южного соседа. Результатом усилий в этом направлении становится утверждение, что шотландцы, обращенные в христианство во II в. при короле Доналде, уже тогда заложили основы пресвитерианской церкви, а епископы, появившись в V в., узурпировали церковную власть<sup>2</sup>.

Разрешить многочисленные культурно-исторические противоречия, возникшие в условиях кризиса шотландской идентичности, предстояло интеллектуалам, которым эти сложности были наиболее очевидны. Первая половина XVIII в. в шотландской истории — это период национализма и антикварианизма, точнее, национализма, принимающего форму антикварианизма, когда, во многом предвосхищая Просвещение, были сделаны попытки объяснить настоящее Шотландии, только что принявшей унию, категориями прошлого.

Впервые на эту особенность шотландского национализма, опиравшегося на антикварную традицию, обратил внимание Дэвид Дайчез, филолог по образованию, избравший объектом своего исследования эволюцию концепта свободы и национализма. Он пишет: «Принятие унии было поистине травмой для шотланд-

---

<sup>2</sup> *Ash M. The Strange Death of Scottish History. Edinburgh, 1980. P. 30-31.*

ского народа. Люди совершенно не представляли, что с ними произошло и кто они теперь. В этой атмосфере многие шотландцы обратились к шотландскому культурному прошлому, чувствуя себя там более комфортно и ощущая принадлежность к шотландской национальности»<sup>3</sup>.

Оппозиция унии привела к всплеску патриотизма, который принимал культурные формы; одной из них стало антикварное движение. Этот «культурный национализм» компенсировал потерю независимости, а в более длительной перспективе закладывал основы новой шотландской идентичности. И исторические, и литературные произведения того времени выполняли функцию консолидации общества на основе осознания величия прошлого шотландского народа.

Истоки традиции антиквариата восходят к работе Уильяма Кемдена, опубликовавшего в 1586 г. свою «Британию» (*Britannia*), которая выдержала несколько изданий на протяжении ближайших двух столетий и пользовалась огромной популярностью, в том числе и на севере. В издании 1696 г. был сделан целый ряд вставок, автором которых стал первый шотландский антикварий Роберт Сиббалд, родившийся в Эдинбурге в 1641 г. В 1682 г. он был назначен придворным физиком и географом при дворе Карла II и пожалован рыцарским званием за свою службу<sup>4</sup>. Помимо прочего, известен он еще и тем, что вместе с доктором Эндрю Балфором основал маленький экспериментальный сад на территории Холирудского дворца, ставший со временем прообразом Королевского Ботанического сада. Искренне интересуясь историей, Сиббалд понимал ее не только как прошлое вещей и общества, слагающееся из источников, но и как историю природы, которую он называет натуральной историей. Именно эти взгляды оказали непосредственное влияние на творчество его ученика Джона Кларка Пенн-куика — одного из участников шотландского антикварного движения, с чьими идеями теперь связывается развитие основ рационального подхода к историописанию в Шотландии.

---

<sup>3</sup> *Daiches D. Scholarship, Literature and Nationalism in 18<sup>th</sup> Century Scotland // Literary Theory and Criticism: Festschrift presented to Rene Wellek. Ed. by Joseph P. Strelka. 2 vol. Vol. 2 N. Y., 1984. P. 748.*

<sup>4</sup> *Ash M. The Strange Death of Scottish History. P. 35.*

Получив образование в Глазго, Лейдене, путешествуя по Европе, в 1700 г. Джон Кларк Пеникуик стал членом самой влиятельной юридической организации Шотландии — Факультета адвокатов, посредством которого на север Британии проникали континентальные правовые нормы. Вскоре Пеникуик стал одним из тех, кто принял участие в подготовке грядущих преобразований, изучая степень готовности общественного мнения для осуществления унии<sup>5</sup>. В 1705 г., в период активизации торговли, в том числе и с Англией, он, будучи членом Совета по торговле и комиссионером группы, занимавшейся подготовкой унии, особое внимание уделял вопросу о возможных торговых и финансовых последствий будущего соглашения. В то время в Шотландии не было более осведомленного в экономических вопросах страны эксперта, способного не только собирать сведения об уровне развития торговли и производства, но и анализировать динамику развития экономики в период до и после Унии. Иными словами, Кларк не только был представителем того поколения, которое испытало на себе экономические и политические последствия унии, но и входил в число лиц, непосредственным образом повлиявших на ее подготовку.

В своих работах Пеникуик выступает уже как просветительская фигура, говорит с рациональных позиций и искренне верит в то, о чем пишет. Эта вера позволила ему уже в 1744 г., оглядываясь назад, написать: «Я чрезвычайно рад, что судьба сделала меня инструментом великого процветания этого Острова»<sup>6</sup>. Шотландия, которая ранее была «бедной старой матроной в отрепьях», после Унии стала «такой богатой и процветающей», какими оба королевства никогда ранее не были. Кроме того, очевидно, что большая часть его работ, особенно касающихся экономических вопросов, экспертом в которых себя считал сам Пеникуик, построены в виде своеобразного ответа тем скептикам, которые,

---

<sup>5</sup> Среди шотландской элиты Уния рассматривалась в двух вариантах — федеративной и инкорпоративной. Большая часть парламентариев высказывалась за Унию-федерацию, позволявшую сохранить собственный Парламент и легислатуры и получить при этом доступ на британский рынок.

<sup>6</sup> *Brown I. G. Modern Rome and Ancient Caledonia: the Union and the Politics of Scottish Culture // The History of Scottish Literature. 4 vol. Vol. 2. 1660–1800. Aberdeen, 1987. P. 36.*

аргументируя свою позицию патриотической риторикой и романтическими сантиментами, не желают видеть экономических благ унии для Шотландии. Таким образом, Джон Кларк пытается рационально объяснить современные позиции Шотландии и ее связи с южным соседом, апеллируя к прошлому величию в контексте преодоления кризиса (и экономического, и идентичности), с которым народ столкнулся в период после унии.

Этот подход характерен и для «Истории Унии Шотландии и Англии», задуманной и написанной Джоном Кларком несколько лет спустя после 1707 г. Исполненная на латинском языке, она посвящена идее воссоздания британского прошлого «от дней Юлия Цезаря до великого деяния наших дней». Другое аналогичное произведение «История Унии» (1709 г.), автором которого стал современник Джона Кларка, Даниель Дефо — непосредственный свидетель подписания Акта унии, рассматривает идею единения двух соседних королевств лишь начиная с правления Эдуарда I. Используя категорию “*De Imperio Britannico*”, автор подразумевает не «империю» в современном смысле этого слова, а скорее употребляет термин как синоним «доминиона», что подчеркивает главенствующую роль объединенного союза, в котором множество явлено в единстве, причем, по мнению Пеникуика, Британия исторически обречена (термин *fata Britannica*) на это единство суверенных множественностей<sup>7</sup>. В этом проявляется и божественный промысел, и вера в прогресс, которые парадоксальным образом сочетались в деятельности Джона Кларка, что дает возможность отнести его к первым шотландским просветителям.

Хотя и в экономических работах, и в «Истории Унии» сэръ Пеникуик выступает с рациональных и просветительских позиций, романтические сантименты были ему не чужды. Более того, если экономические выгоды унии, хотя и не всегда легко, но поддавались рациональному объяснению, то как было примирить другое, более осязаемое противоречие, связанное с потерей древней шотландской свободы? Этому он посвящал другую часть своей жизни.

---

<sup>7</sup> *Sir John Clerk of Penicuik. History of the Union of Scotland and England. Edinburgh, 1993. P. 8-9.*



В период между 1720-ми и 1750-ми гг. он являлся признанным лидером и патроном шотландского искусства и наук, покровительствуя и поэту Алану Рамсею, и художнику Уильяму Айкману, и музыканту и антикварию Александру Гордону, и ученым Джеймсу Андерсону и Томасу Блэквулу, и братьям архитекторам Уильяму и Роберту Адамам, благодаря чьим усилиям Эдинбург обрел свое новое имперское лицо. Обладая не столь значительными материальными возможностями, он лишь в малой степени повысил свой социальный статус, но завоевал при этом прозвище «Северного Аполлона искусств». Джон Кларк в равной степени интересовался геологией, астрономией, химией и медициной, так же, как сельскохозяйственным производством и промышленным развитием, являясь при этом основателем и покровителем направления искусства, которое мы сегодня называем ландшафтный дизайн. Кроме того, был он и музыкантом, учеником Корелли, с которым встретился в Риме во время своего путешествия по Европе. Таким образом, известность среди современников он получил как меценат и творческая личность<sup>8</sup>.

Однако себя он считал в первую очередь антикварием. Кларк был первым историком после подписания Унии, который попытался объяснить противоречия истории государства, которого не существовало. Для него попытка примирить эти противоречия была не только вопросом формы и содержания его творчества, но и, в первую очередь, вопросом морали.

Антикварианизм Кларка наибольшее выражение находил в его археологической деятельности. Пеникуик считается пионером изучения римских древностей на территории Шотландии. Однако, живя прошлым, он рассматривал материальную культуру ушедших веков не просто как источник знаний о пребывании римлян на территории Британии. Для него это был образец культуры, на основании которого Джон Кларк строил свою политическую философию, которую условно можно обозначить как «полезный утилитарный антикварианизм»<sup>9</sup>. Иными словами, археологические памятники для него — это своеобразные моральные аргументы в пользу патриотических чувств. И в этом Кларк — парадоксальная

---

<sup>8</sup> *Brown I. G. Modern Rome and Ancient Caledonia... P. 35.*

<sup>9</sup> *Ibidem.*

фигура. Будучи сторонником унии и изучая римские древности, он пытался нарисовать рост и эволюцию древней Каледонии под влиянием Рима и использовал эти аргументы для описания современной ему действительности. Занятия древнеримской историей, таким образом, способствовали постановке Джоном Кларком и ряда вопросов шотландской истории.

Римское прошлое Каледонии, перенесенное в XVIII столетие, по его мнению, решало проблему шотландской культуры и идентичности XVIII века. Кларк описывал преимущества меньшей нации, столкнувшейся с экономической, политической и интеллектуальной мощью Англии. И он желал совместить, казалось, несовместимые вещи — чтобы Шотландия стала частью более широкого мира, но в то же время сохранила свои исторические черты характера, независимую национальность, суверенное прошлое. Одновременно он был римлянином и каледонцем, северо-британцем и шотландцем. Важным фактом Джон Кларк считал то, что уния являлась именно продуктом взаимного договора, осознанного выбора шотландцев, согласия между двумя частями королевства<sup>10</sup>.

Изучая материальную культуру Римской Британии, Джон Кларк сталкивался с проблемой интерпретации археологических находок, и найденные древности говорили ему о величии каледонцев. Но это величественное прошлое вытекало как раз из метода интерпретации. Он хотел верить, например, что найденное им бронзовое оружие принадлежало разбитым каледонцами римлянам, а не местным племенам. Подобные находки пробуждали интерес к имперской истории и истории завоевания Британии Римом, и это была своеобразная дань шотландской древности<sup>11</sup>. В этом подход Кларка принципиально отличался от оценки подобных находок его английскими коллегами, например, Роджером Гэйлом, который считал, что оружие, найденное близ римских укреплений, могло быть обронено или утеряно местными воинами во время атаки римского лагеря.

Александр Гордон, другой известный шотландский антикварий, определял мечи, найденные на месте сражения у Бэннокберна,

---

<sup>10</sup> Ibid. P. 36.

<sup>11</sup> *Sir John Clerk of Penicuik*. Op. cit. P. 36.

как необязательно английские, и утверждал, что «стоит отбросить все сомнения по поводу [их] римского происхождения»<sup>12</sup>. Иными словами, патриотические настроения шотландских антиквариев не удовлетворялись констатацией побед над англичанами, необходимо было удревнять историю каледонских побед.

Однако и Гордон, и Кларк, люди, получившие классическое образование, имели очень двойственное отношение к римскому завоеванию. Им сложно было игнорировать тот факт, что, благодаря римлянам, на короткое время Шотландия стала частью обширного цивилизованного мира. К тому же эта проблема приобретала особое звучание в Шотландии их времени, поскольку они являлись современниками аналогичных процессов эволюции культуры, прогресса, но ценой этого прогресса являлась потеря независимости. И им ничего не оставалось делать, кроме как апеллировать к посмертной славе, к моральному единению с прошлым, оперируя при этом такими категориями, как «прародители», «предки», «Родина» — категориями, которые в Шотландии того времени неизменно ассоциировались с экспрессивными речами лорда Белхавена и других противников Унии, воспевавших прошлое «нашей Древней Матери Каледонии». Но если Белхавен своей целью видел политическое политическую борьбу, то сэр Кларк ареной борьбы избрал культурное прошлое Каледонии.

Нигде это двойственное отношение к шотландскому прошлому и, в частности, к римскому завоеванию не проявлялось столь резко, как в интерпретации истории Адрианова вала. Еще в 1739 г. он подготовил для Эдинбургского философского общества записку об Адриановом вале, где обосновывал свой патриотический интерес к прошлому<sup>13</sup>.

Для Кларка центр конфликта между римской цивилизацией и каледонцами сосредотачивался именно на Адриановом валу<sup>14</sup>. С одной стороны, это был центр римской культуры, но с дру-

---

<sup>12</sup> *Brown I. G. Modern Rome and Ancient Caledonia...* P. 36.

<sup>13</sup> Некоторое время спустя великий шотландский математик Колин Макларен озвучил общее впечатление шотландских интеллектуалов о представленном документе, который был прочитан «с соответствующим признанием от представленного исследования... и удовольствием от патриотизма» (*Ibidem*).

<sup>14</sup> *Sir John Clerk of Penicuik. Op. cit. P. 38-39.*

гой — центр войны свободолюбивых племен его родной земли, которые штурмовали римские укрепления. Как можно было совместить эти две интерпретации римского вала для человека, который принимал участие в создании унии 1707 г.? И Джон Кларк приходит к выводу, что «вал был необходим, вал сделал из нас людей»<sup>15</sup>. «Он сделал для нас больше, чем все наши военные экспедиции вместе взятые»<sup>16</sup>. Причем интересно, что Кларк склонен считать Адрианов вал не столько «римским», сколько «варварским», каледонским, тем самым акцентируя внимание на собственном выборе каледонцев в пользу цивилизации.

Во всем этом сложно не заметить уважения к имперскому духу. Римское завоевание рассматривалось как несомненное благо, принесшее плоды цивилизации и обогатившее каледонскую культуру. Как член антикварного клуба «Римских рыцарей», Кларк взял прозвище Агрикола, в честь римского полководца, завоевавшего Каледонию в 84 г. Его друг и соратник Александр Гордон при этом взял имя Калгасуса — вождя каледонцев. Конечно, Гордон, известный своими националистическими настроениями, не занимал, в отличие от Кларка, пост Лорда Казначая, но выбор Пеникуика показателен. Как Агрикола, Кларк был человеком проримских симпатий, а в терминах XVIII века — северобританцем. По его мнению, вместе Англия и Шотландия могли бы создать империю еще более великую, чем римская. То есть, Кларк был шотландцем-патриотом, готовым подчинить свою «шотландскость» интересам «британскости». Рассуждая о римлянах в Британии, он использовал терминологию современного ему ганноверского государства, и эти рассуждения приводили его к мысли о выгодности для Шотландии союза с Англией. Однако, несмотря на теоретические рассуждения по поводу взаимобязательств в рамках такого союза, Кларку, хорошо знакомому с экономическими реалиями своего времени, сложно было не признать превосходства Англии, и поэтому в англо-шотландских отношениях именно Англия играла роль Рима. Как и много веков назад, империя обеспечивала себе безопасность границ, распространяя свою культуру. В этом смысле Кларк был типичным британским антик-

---

<sup>15</sup> *Ash M.* The Strange Death of Scottish History. P. 36.

<sup>16</sup> *Brown I. G.* Modern Rome and Ancient Caledonia... P. 37.

варием. Как и многих других коллег, древности занимали его лишь постольку, поскольку помогали понять современные ему реалии<sup>17</sup>.

Трезво оценивая уровень современных англо-шотландских отношений и не питая иллюзий по поводу разницы в уровне развития двух частей королевства, Кларк при этом считал, что Англия может и должна помочь Шотландии реализовать потенциал, заложенный в недрах самобытной шотландской культуры, носителем которого является своеобразный шотландский характер. Иными словами, патриотизм антиквария заключался в желании спасти шотландское культурное величие, а суверенная нация им понималась как носитель культурных стереотипов, образцов поведения и характера, причем залогом выживания этих культурных норм должен стать именно союз с Англией.

Хотя патриотизм Кларка, основанный на изучении римской археологии имел значительную эмоциональную и ностальгическую окраску, ничто не связывало его с якобитским движением. Думается, что причина этого в его достаточной осведомленности о горных районах страны, которые составили основную опору шотландским якобитам. Более того, события весны 1745 г., когда войска под командованием Камберленда разбили при Каллодене якобитскую армию, а Красавчик Принц Чарльз бежал во Францию, на чем и закончилась «якобитская сага», были восприняты Джоном Кларком как освобождение Шотландии от пут, сдерживающих ее развитие. Парадокс! Но, будучи романтиком, он крайне критически относился к самой романтической странице шотландской истории. И в этом он был шотландцем нового поколения.

К моменту битвы при Каллодене Джону Кларку было уже 69 лет. И он уже написал и «Историю Унии», и целый ряд трактатов. Большая часть его работ была известна лишь узкому кругу коллег или сослуживцев. Судьба отмерила ему еще десять лет, в которые он становится свидетелем очень странного процесса, который, на первый взгляд, должен был показать иллюзорность и идеальность мечтаний антиквария по поводу возможности сохранения шотландской культуры в рамках Британии.

---

<sup>17</sup> Подробнее об этом см. *Паламарчук А. А., Федоров С. Е.* Рубежи антикварного сознания: история и современность в Раннестюартовской Англии // *Цепь времен: Проблемы исторического сознания.* М., 2005.

В самом деле, 1746–1747 гг. стали тем периодом, когда в результате целого ряда актов Горная Шотландия, олицетворявшая шотландскую культуру в целом, подвергается насильственной «британизации» — процесс, получивший название «хайлендерских чисток», когда местному населению запрещалось под угрозой отправки на галеры носить оружие, пользоваться традиционной одеждой и волынками, иными словами уничтожалось все то, что составляло основу шотландской культуры. Но параллельно этому шел и другой процесс — процесс интеграции Хайленда в рыночную экономику Британии, и все большее число хайлендеров уходило на военную службу в колонии.

И в этот же период происходит отчетливое явление того, что позже назовут феноменом двойной или концентрической идентичности. Большая часть шотландцев чувствовала себя одновременно и шотландцами, и британцами. Если Шотландия была провинцией или нацией (шотландцы использовали оба термина), Англия, считали они, была другой провинцией или нацией. Будучи убежденными, что с Англией они объединились как с равным партнером, шотландцы очень редко соглашались с тем, что стали объектом управления, младшим партнером, ведомым более богатым и, возможно, более сильным южным соседом. Как написал Александр Веддербурн в «Эдинбургском Обзрении» в 1756 г.: «Северная Британия может быть описана как молодое государство, ведомое и поддерживаемое сильной родственной страной»<sup>18</sup>. Именно эта мысль являлась лейтмотивом «Истории» Джона Кларка, отразившей трансформацию шотландской идентичности.

Снова и снова возникал вопрос, требующий постоянных поисков ответа: «Кто такие шотландцы? В чем их отличие? Носит ли оно визуальный характер?» Тот же Юм, который много внимания уделял вопросу об особенностях шотландцев, писал, что не стоит извиняться за то, кем мы являемся, не стоит стремиться быть похожим на соседа, который хорошо говорит и пользуется при еде ножом<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Edinburgh Review. 1755–1756. Preface.

<sup>19</sup> Smout T. C. Problems of Nationalism Identity and Improvement in later Eighteenth-Century Scotland // Improvement and Enlightenment. Ed. by T. M. Devine. Edinb., 1989. P. 7.

Более ярким примером начавшейся трансформации идентичности является творчество Вальтера Скотта, родившегося через шестнадцать лет после смерти Джона Кларка. У Скотта, который не раз приезжал в дом потомков Джона Кларка, сохранились очень теплые отношения с его семьей, особенно, внуком, Уильямом Кларком Элдином. И говоря о том, что образ Джонатана Олдбока, одного из героев «Антиквария», является «обобщенным портретом», Скотт, конечно же, не мог не иметь в виду и Джона Кларка, а идея ценности римских древностей не раз будет появляться в его произведениях, в том числе и в «Антикварии». Именно антикварная традиция стала основой, которая в условиях просветительского мировоззрения и «вызова» идентификационного кризиса породила «ответ» в форме «романтической революции», реализованной В. Скоттом, который вместе с его современниками-интеллектуалами — писателями и журналистами, деятелями образования и историками, юристами и архивариусами — собирали и, переосмыслив, тиражировали и шотландское прошлое.

В этом процессе были совмещены и просветительские представления об исторических законах (основным из них являлся прогресс) и романтическая тоска по величественной шотландской истории. Две стороны работы с остатками прошлого — подбор и трактовка исторических источников — осуществлялись соответственно в русле двух традиций — просветительской и романтической. Уже в том, как скрупулезно и рационалистически шотландские любители древности подходили к отбору источников, говорит об их нескончаемой вере в прогресс человеческого общества, в неизбежно поступательный ход исторического развития. Но, вынужденные выбирать между разумом, диктующим необходимость более плотной англо-шотландской унии, и сердцем, тоскующим по независимому шотландскому прошлому, современники и последователи В. Скотта находили выход в романтической трактовке исторических источников.

Вслед за Джоном Кларком, тщательно подходившим к самой процедуре отбора исторических материалов и делавшим первые попытки трактовки свидетельств прошлого, В. Скотт внедряет первые приемы рациональной критики источников. Однако, в то же время, необходимость создания нового образа шотландского прошлого в условиях активной интеграции в британские струк-

туры вынуждает его заняться поиском «шотландской души», сохранившейся в балладах, легендах, предметах быта, верованиях, костюмах былых эпох. В результате, благодаря Вальтеру Скотту и его последователям, был создан абсолютно уникальный образ шотландского прошлого, который сочетал в себе, казалось, несовместимые вещи — с одной стороны, любовь и уважение к величественной шотландской истории, а с другой — осознание того факта, что эта любовь может быть реализована лишь в союзе с Англией, обеспечившей шотландцам не только выход на колониальные рынки, но также позволявшей северо-британцам исповедовать собственную культуру и сохранившей целый ряд их собственных легислатур.

Несколько факторов оказали влияние на формирование собственного мировоззрения Скотта, важнейшими среди которых были детство, проведенное в шотландском Приграничье, антикварное движение, давшее основу подлинно научному, опирающемуся на изучение источников, подходу к шотландскому прошлому, и просветительские идеи.

Приграничное детство Скотта в Келсо, в нескольких милях от границы с Англией, оставило в его памяти многочисленные пограничные сказания, легенды, баллады. Тогда же он прочел впервые «Реликвии древней поэзии», написанные и опубликованные в 1765 г. епископом Перси. Все это со временем привело Скотта к мысли стать собирателем и издателем шотландских преданий. Баллады для В. Скотта стали и историческим источником, и законченным творением искусства. В них выражались и динамизм, присущий средневековому шотландскому обществу, и то, что оно порождало — набеги, убийства, перемирия и предательства, погони и шантаж. Шотландское Пограничье еще и в XIX в. было социумом, основанном на родстве, с его законами, кровной местью и другими институтами традиционного общества. Именно там Скотт впервые нашел свой исторический мир. Вместе со своим другом Робертом Шортридом он отправился на поиски сказаний. Сначала они путешествовали пешком, перебираясь от хижины к хижине по шотландским долинам, потом наняли экипаж, на котором переезжали из одной деревни в другую. Коллекционируя пограничные баллады, Скотт впервые выступает как антикварий и антрополог, он знакомится не только с этими пре-



даниями — перед ним открывается целый мир, произведший эти памятники прошлого. Но, записывая эти остатки старины, Скотт не просто механически фиксировал полученную информацию, он вносил в нее свое поэтическое понимание человека рубежа XVIII–XIX вв., времени успешно развивающейся шотландской модернизации. Эта деятельность Скотта стала первым шагом на пути к произведенной им шотландской романтической революции в историописании<sup>20</sup>. Несомненно, оказала на него влияние и деятельность предшественников, таких, как Джон Кларк Пенникуик или Уильям Кемден с его «Британией», содержавшей помимо стихов, материалы о развитии языка, подборки поговорок, описание имен. На то время это был один из основополагающих трудов в области исторического исследования языка и фольклора.

Коллекционируя баллады, эти свидетельства минувшей эпохи, В. Скотт не единожды должен был возвращаться к вопросу, который занимал умы наиболее просвещенных шотландцев — что есть прогресс, какова его природа и природа экономического роста, а также каковы должны быть социальные и культурные процессы, сопровождающие модернизацию. Иными словами, вопрос о том, что модернизация оставит будущим поколениям, был одним из существенных. В 1819 г. в «Эдинбургском Обозрении» В. Скотт пишет ряд сатирических статей по поводу готовящейся парламентской реформы, изданных под общим названием «Мечтатель»<sup>21</sup>. Их центральным образом является капризный и придурковатый архитектор — мистер Витрувиус Вигхам, который, задумав построить новую абсолютно вульгарную и неэстетичную мансарду, разрушает элегантную и симметричную старую готическую крепость. Причем он старается убедить народ в необходимости этих изменений. Итогом этих преобразований становится кровавая гражданская война сторонников и противников старого замка, в результате которой Шотландия превращается в «страну Радикалов», где уничтожается частная собственность, происходят необратимые социальные перемены, общество постепенно опускается до анархии и варварства, а люди возвращаются

---

<sup>20</sup> *Ash M.* The Strange Death of Scottish History. P. 39.

<sup>21</sup> *Fontana B.* Rethinking the Politics of Commercial Society: Edinburgh Review 1802–1832. Cambridge, 1985. P. 165.

к племенному образу жизни. И, наконец, вслед за этим начинается последний этап, на котором политический демагог Боб Баблекус убеждает народ, что настала пора демократической политической системы, в которой все, включая женщин и детей, будут обладать политическими правами. Страна в это время парализована бесконечными митингами, предвыборными кампаниями, сопровождающимися коррупцией<sup>22</sup>.

Даже не касаясь проблемы политической подоплеку событий и отношения к ним Скотта, стоит обратить внимание на тот образ, который используется — старая готическая крепость. Именно в таких остатках прошлого, по мнению Скотта и других современных ему любителей и собирателей старины, сохраняется само прошлое. Будучи убежденным тори и лелея героическое шотландское прошлое, патриархальные пейзажи и многовековую культуру своей страны, он не мог без боли смотреть на то, как она разрушается, исчезая под натиском британской модернизации. Но, искренне любя свою Шотландию, Скотт столь же отчетливо понимал, что ее процветание отныне связано только с Англией. Воспетая им Каледония с ее пурпурными холмами, королями долин, мистическими озерами и бравыми хайлендерами отныне превращалась в Северную Британию, в которой процветание отдельных частей зависело от благосостояния целого. Отсюда проистекал и особый взгляд на шотландское прошлое.

В своих поисках и коллекционировании Скотт опирался на сложившуюся антикварную традицию. Уже не раз подчеркивалось, что европейский и, в частности, британский антикварианизм был не просто движением, изучающим прошлое. Это была попытка найти объяснение многим проблемам, с которыми интеллектуалы сталкивались в быстро меняющемся мире, часто — попытка найти в нем собственное место, определить свою идентичность. Примирить шотландское и британское было основной задачей любителей древностей на севере Британии, реализованной в форме романтического интереса к шотландскому прошлому. Те факты шотландской истории, которые могли трактоваться как сопротивление прогрессу, необходимо было нейтрализовать, санировать, превратить в романтические и безобидные эпизоды.

---

<sup>22</sup> Ibid. P. 166.

Одним из таких событий прошлого являлось якобитское движение, в 40-е гг. XVIII в. представлявшее реальную угрозу существованию самой британской монархии. В том, как В. Скотт операционализирует шотландский якобитизм, вписывая его в контекст не только шотландской, но и британской истории, отчетливо проявляется уникальное соотношение в его представлениях локального и универсального британского патриотизма. И сложно различить, какой из этих уровней является для Скотта национальным. Его якобитизм — это не просто потерянный, упущенный шанс, но явление, базирующееся скорее на эмоциях, нежели реальности. Якобиты под пером В. Скотта, как и в произведениях Р. Бернса или Р. Л. Стивенсона, не находят себе места в измененном мире второй половины XVIII века.

Бернс, симпатизируя якобитизму, сам того не сознавая, помог тем, кто желал восстановить представление о нем как о замечательном, уникальном явлении, но феномене не политическом, а, скорее, культурном. Якобитская традиция с ее гэльской культурной основой, благодаря Бернсу и Скотту, становилась сердцем шотландской национальной идентичности. Шотландия начала ощущать себя вновь кельтской страной, чему способствовал именно «якобитский миф». Но эти кельтицизмы, отзывавшиеся эхом во всей культуре, реализовывались не напрямую, а посредством символов (например, тартаномании), которые сепарировали новую шотландскую идентичность и от политической борьбы XVIII века, и от трагедии «улучшений», которую переживал Хайленд в XIX в. Увлечение кельтицизмами, начавшееся задолго до XIX в., когда культура романтизма принесла поголовную моду на «готику», является свидетельством романтизации прошлого, насыщения его мифами, и сопровождает процесс создания новых мифов.

По словам шотландского историка Мюррея Питтока, на рубеже XVIII–XIX вв. шотландский патриотизм остался в детском возрасте, а британский вырос<sup>23</sup>. Эта «детскость», в которой выражалась шотландскость, являла себя как в мелочной страсти ко всем вещам, связанным с шотландским прошлым, так и в стрем-

---

<sup>23</sup> *Pittock M. The Invention of Scotland: the Stuart myth and the Scottish Identity, 1638 to the present. L. 1991. P. 85.*

лении к подлинно научному подходу к его изучению. Шотландский патриотизм стал своего рода эмоциональным, если угодно, примитивным вариантом идентичности, основу для которого подбирали антиквары, в то время как британский был представлен рациональной ее разновидностью. Именно благодаря Скотту шотландский национализм стал видеться как старомодное явление, потерявшее ориентацию и потому исчезающее. Причем в формировании своего взгляда писатель исходит как раз из шотландских, а не английских реалий и интересов. По его мнению, шотландцы — это разделенная нация. И хотя это разделение на кельтов и скоттов носит скорее расовый характер, его следствием является политический конфликт, а потому уния 1707 г. — необходимое явление не только с точки зрения объединения Англии и Шотландии, но и воссоединения самих шотландцев. Парадокс, но, будучи тори, Скотт заложил основы и принадлежал, скорее, вигской школе историописания.

Манифестом тартаномании, основанной на принятии символов прошлого в качестве самого прошлого, стал визит Георга IV в Шотландию в 1822 г. В ходе монаршего посещения Шотландии было продемонстрировано, что, с одной стороны, дух шотландцев, их культура сохранились в форме собранных и хранимых частичек истории, а с другой, это минувшее уже не является угрозой Британии. «Когда новость о королевском визите стала известна, пишет Элизабет Грант, вся страна словно сошла с ума, и все устремились в Эдинбург, чтобы увидеть его»<sup>24</sup>.

К этому времени в Хайленде были еще живы люди, помнившие запах пушек Каллодена — последнего крупного сражения между англичанами и шотландцами, люди, принимавшие непосредственное участие в битве. Один из них, 109-летний Патрик Грант, сражался в рядах клана МакДоналдов Гленгари и был тем, кто оттолкнул лодку с принцем Чарльзом, который, спасаясь, направлялся во Францию от шотландского берега. Проведя несколько следующих за Каллоденом месяцев среди холмов Хайленда в компании Флоры Макдоналд и получив уже прозвище «верескового принца», теперь он бежал во Францию, чтобы больше никогда не вернуться на шотландскую землю. В 1766 г.,

---

<sup>24</sup> *Prebble J. The King's Jaunt. Edinburgh, 1988. P. 79.*

после смерти своего отца, он стал уже не претендентом, а монархом в глазах своих сторонников, но постепенно спился и умер в Риме в 1788 г. Однако этой правды никто не знал — для шотландцев, чья память оберегалась их историками-антикварами, принц навсегда остался Красавчиком-Чарли, хотя для его сторонников, оставшихся на территории Британии, конец этой истории был гораздо менее романтичен.

Еще одна памятная страница хранилась вдовой, Маргарет Лоу, чей муж Джеймс Стюарт Туллок поднял королевский штандарт над Каллоденом. Женщина, видевшая Принца накануне сражения, в свои сто лет могла описать его манеры, детали его одежды, его улыбку<sup>25</sup>. Не столь важно, насколько ее описания соответствовали действительности. Важно то, что эта память хранилась как священное воспоминание о героическом и трагическом прошлом Шотландии.

Мастером церемонии приема монарха был назначен Вальтер Скотт, но это назначение, сделанное лордом-провостом Эдинбурга, Уильямом Арбутнотом, было в определенной степени случайным, поскольку последний сильно нервничал из-за свалившейся на него организации визита. В Шотландию, писал В. Скотт, с каждой почтой приходят противоречивые сообщения. Вчера было объявлено, что визит Георга готовится незамедлительно, сегодня — что он отложен. Однако мало на севере нашлось бы людей, которые желали этого визита больше, чем сам писатель.

Проскрипционный акт, последовавший сразу вслед за подавлением восстания 1745 г., предусматривал обязательство никогда не использовать тартан, плед или другие части хайлендерской амуниции. В случае нарушения этого закона слушник мог быть разлучен со своей семьей и в качестве наказания отправлен на войну как клятвопреступник. Теперь же в ходе подготовки к приезду монарха была создана комиссия, в задачу которой входило составить полный комплект хайлендерской одежды для всей делегации, в том числе и для короля. В итоге костюмы обошлись в 1354 фунта, а Хайлендерское общество Эдинбурга объявило отныне своей целью защиту и «развитие использования древней хайлендерской одежды».

---

<sup>25</sup> Ibid. P. 19.

Был образован комитет по подготовке визита, одной из самых ярких фигур которого был Дэвид Стюарт Гарт — антиквар, энтузиаст, собиратель фольклора и знаток хайлендерской истории и гэльской культуры. «Король едет! Люди и оружие — вот лучшее, что мы можем показать ему», — эти слова, обращенные к хайлендерским вождям в ходе подготовки визита, знаменовали новую эру в отношениях Лондона и Эдинбурга.

Вскоре после того, как стало известно о приезде короля, начались работы по реставрации Холирудского замка — древней резиденции шотландских королей. Работы велись под руководством лейтенанта Бенджамина Стефенсона и королевского архитектора Роберта Рэйда. Восстановления требовал не сам дворец, а парк вокруг него, дорога к нему и вообще окружающая замок местность. В этой связи старые здания вокруг Холируда были снесены, а на их месте Эдинбургской газовой компанией были установлены фонари, должные придать необходимое освещение. Большой зал здания старого парламента на Хай Стрит, последнее заседание в котором ратифицировало унию 1707 г., был отреставрирован и готов принять 250 гостей одновременно. Зал был украшен картинами, привезенными из Холируда, и древним оружием горцев. Прошлое возвращалось в форме его символов.

В Эдинбург съезжались представители магистратов городов Шотландии, город был «полон людей, способных незначительное сделать могущественным и великое мелким»<sup>26</sup>. Английские журналы слали на север своих представителей.

Визит начался 13 августа. Навстречу королевской яхте «Royal George» был выслан баркас, в котором находились Роберт Пиль и Вальтер Скотт. Последний, правда, был явно не в форме. Во-первых, в течение нескольких последних дней он был измучен раздражавшей его сыпью, покрывшей все тело. К счастью, ее не было видно на лице и на руках, но килт, сшитый специально к этому случаю, он надеть не мог. А, во-вторых, утром он получил известие о смерти его близкого, еще школьного, друга Уильяма Эрскина. Первыми словами Георга были: «Неужели! Сэр Вальтер Скотт! Шотландец, которого я более всего хочу видеть!».

20 августа 457 женщин, пришедших поприветствовать монарха, заполнили королевскую гостиную. Согласно обычаю, каж-

---

<sup>26</sup> Ibid. P. 206.

дую король должен был поцеловать. В тот день «Скотсмен» написала, что короля теперь можно называть «Джордж Патриотический», и, по мнению монарха, «теперь мы все якобиты». Своим визитом он поселил Империю в сердцах шотландцев, многие из которых все еще не верили в те блага, которые им сулило единение с Англией. Шотландия и ее культура теперь не угрожали Британии, иначе сложно объяснить, почему монарх был одет в экзотический для него шотландский килт, как и его приближенные, такие как, например, сэр Уильям Кертис. Подобное уважительное отношение к культуре Хайленда было и неожиданным для шотландцев, и приятным.

В. Скотт сопровождал монарха во время его прогулки от Холирудского дворца до Эдинбургской крепости, давая свои комментарии, в то время как тысячи восторженных шотландцев, приветствовали короля, высунувшись из окон домов, расположенных по обе стороны Хай Стрит. «Его Величество теперь может быть доволен тем, что ему продемонстрировано: в Шотландии люди всех классов действительно лояльны», — написала шотландская «Скотсмен» в один из дней визита<sup>27</sup>.

Вечером за ужином было произнесено сорок семь тостов — за Британскую Конституцию и за лорда-президента Судебной Сессии, за «наши странные отличия от Англии», за покойного лорда Нельсона, за герцога Веллингтона (тост сопровождался музыкой «Посмотри на этого героя-завоевателя»), за мистера Роберта Пиля, за город Лондон и сэра Уильяма Кертиса, в честь памяти мистера Питта, за автора Уэверли, за Вождя Вождей — Короля, за цветы города Эдинбурга, и опять за короля, но уже как барона Ренфрю, за здоровье графа Атолла и за Национальный Монумент. Атолл был тронут и в ответном тосте признался, что он считает себя шотландцем и по рождению, и по образу мыслей, и искренне и тепло любит Шотландию, при этом выразив надежду, что Национальный Монумент, закладка камня в основание которого должна была состояться на следующий день, станет символом этой любви. Задолго до того, как был произнесен последний тост, король покинул банкет, сопровождаемый звуками музыки и хора. После его ухода Аласдар Ранолдсон Макдоннел Гленгари, одной ногой стоя в своем кресле, другой — на столе,

---

<sup>27</sup> *Prebble J. The King's Jaunt. P. 223.*

украшенном в хайлендерском стиле, произнес тост на гэльском — за здоровье его Величества — короля Островов. Он вызвался произнести тост сам, в нарушение протокола, но речь была встречена с энтузиазмом и восторгом.

Королевский визит Георга IV был не просто политическим шагом, и он не мог не оставить следов. После его завершения Шотландия не была уже прежней провинцией Британии, «бедной, старой матроной в лохмотьях». Шотландцы почувствовали свою значимость для империи и то, что отныне их культура не будет подвергаться истреблению, а история — осмеянию. Они чувствовали гордость за свое великое прошлое, но оно нуждалось в переосмыслении, осуществлявшемся в процессе формирования шотландской исторической традиции.

Письменная традиция, как часть исторического прошлого, была очень важна для антикварного движения, не случайно самой большой ценностью и сердцем коллекции сэра Олдбока в шоттовском «Антиквари» являются книги, собиранию которых шотландскими любителями старины отводилась особая роль. Происхождение шотландцев, взаимоотношения пиктов, кельтов, римлян являлись наиболее острыми вопросами. Зарождение систематического интереса к кельтской проблематике относится к самому началу XVIII в. — времени, когда волна англizations все более охватывала Шотландию. В это время Эдвард Лхуид, музейный хранитель из Оксфорда, издал свою «Британскую археологию», в которой предпринял попытку сравнительного изучения кельтского языка и народа. Однако труд остался незамеченным, а поистине бесценное собрание гэльских материалов, фольклора, большей частью собранного на севере Шотландии, была утеряна. Затем в 1724–1737 гг. в четырех объемных томах вышел сборник традиционных гэльских песен и баллад, собранных и обработанных Аланом Рамсеем, который в предисловии к первому тому писал, что когда добрые старые барды создавали свои песни, шотландский народ еще не использовал импортной одежды и иностранной вышивки. Поэзия этих певцов, по его мнению, была продуктом их собственной земли, который не подвергся иностранной обработке, а образы этих песен являются родными, списанными «с наших полей и лугов, которые мы видим каждый день». Конфликт «родного» и «импортного», пожалуй, впервые в столь острой форме появился именно у Рамсея, а затем вдохновил и



Макферсона, чье представление о древней Шотландии, опираясь на антикварную традицию, все же отличается от патриотических призывных якобитских песен. Макферсон с его искренней верой в просветительские идеалы действительно являлся идеологом примитивизма, но такого, который способствовал открытию гэльской культуры цивилизованной Европе.

Стремясь отыскивать и сохранять былое, шотландцы строили и создавали новое знаковое поле своей современной культуры. В этой связи не удивительно, что центром шотландской романтической революции, основу которой заложил В. Скотт, был не овеянный легендами Старый город Эдинбурга, с его узкими, мощенными камнем улочками, древними зданиями из посеревшего, но сохранившего прочность камня, — город, который хранил историю борьбы против унии, — а классические широкие улицы и светлые площади Нового города. В. Скотт писал свои новеллы в квартире, расположенной на Касл Стрит — улице, обрамляющей Замок, сердце Старого города. Подобно этому, сердце шотландского прошлого было перемещено в суровые геометрические пропорции Дворца Записей — первого здания, воздвигнутого в классическом Новом городе.

Это здание было задумано как хранилище национального архива, включающего не только государственные документы, такие как королевские грамоты, парламентские записи и указы, но также и правовые документы, подтверждающие, например, движение земельной собственности или фиксирующие клановые истории и события «эпохи набегов» в Хайленде. На протяжении многих столетий все эти бумаги хранились, оберегая память шотландского прошлого. Накануне кромвелевского вторжения в Эдинбург многие архивные документы были перевезены из хранилища в Стирлингский замок для обеспечения сохранности, которую не могла гарантировать столица, подвергшаяся английскому завоеванию. Но когда Стирлинг был взят войсками Кромвеля, большая часть архивов, олицетворявших шотландское прошлое, была переправлена в Лондон, а некоторые бумаги разошлись по частным коллекциям. Записи Тайной печати исчезли где-то в Хайленде и были восстановлены национальным архивом только в 1707 г. В 1660 г. восемьдесят пять томов грамот погибли в море во время возвращения их из Лондона в Шотландию, и в 1662 г. шотландский парламент приказал перевести Записи Судебной сессии в здание, где

заседали депутаты. В Эдинбургской крепости осталась только часть парламентских документов, материалы Большой Печати и другие бумаги, связанные с деятельностью короны и правительства. Но позже даже эти документы были переведены в парламентское здание, что вскоре стало настоящей проблемой. Многие акты хранились на территории Старого города, часть из них — в домах, квартиры которых сдавались в наем, и исторические реликвии часто были отделены лишь деревянной перегородкой от жилых помещений. Другие хранилища вообще представляли собой «часть кухни, в которой жила семья, и вода часто попадала на документы». Еще одна часть коллекции хранилась в Старом колледже — здании, мало приспособленном для хранения исторических реликвий. Но даже документы, хранившиеся в парламенте, постоянно подвергались риску, поскольку здание было очень ветхим, постепенно уходило под землю, зимой стены его постоянно были влажными, а летом угрожали пожары.

Было очевидно, что необходимо новое хранилище для государственного архива, и в самом начале 1722 г. городской совет Эдинбурга инициировал акт парламента, согласно которому каждая пинта пива и эля облагалась дополнительными двумя пенсами, должными пойти на нужды «строительства здания или удобного помещения для хранения записей, находящихся в ведении лорда-клерка регистраций записей Шотландии». Правда, подобный источник поступления денег оказался ненадежным. И после восстания 1745 г. был найден новый — деньги стали поступать от конфискованных поместий участников якобитского движения. Это была поистине символическая трансформация, когда последствия политического протеста были направлены на воссоздание и сохранение культуры, которую отстаивали бунтовщики. Курировал строительство сам лорд-клерк регистрации, которым в 1768 г. был назначен лорд Фредерик Кемпбелл, сын Четвертого графа Аргайла. Работы были закончены в 1788 г., и это было первое в Британии каменное здание, которое строилось специально для хранения архива. Перевоз документов в него завершился к 1791 г.

Рос статус и самого лорда-клерка регистрации. Он был ответственен за все письменные документы, исходящие от королевского имени, а также являлся хранителем важнейших государственных бумаг. Коллекционирование и хранение свидетельств прошлого становится, таким образом, государственным занятием.

Однако же частные антикварные коллекции составляли значительную часть фондов, а антиквары-любители продолжали свою деятельность. В подчинении лорда-клерка, ведавшего архивами, находились Александр и Уильям Робертсоны, а с 1780-х гг. и два сына Уильяма. Но лорд-клерк был не только ответственен за хранение документов, он еще стремился и к тому, чтобы публиковать некоторые из них. Офис его, открытый впервые в 1707 г., находился в Эдинбургской крепости, и там он проводил работу по отысканию ранних парламентских записей Шотландии. Часть материалов были найдены в Лондоне и перевезены в Эдинбург.

На поиск новых бумаг были направлены братья Робертсоны, которыми были найдены интересные источники, однако вставал вопрос о финансовой поддержке их публикации. В 1799 г. было достигнуто соглашение о том, что общество писателей будет финансировать публикацию записей Шотландского парламента и Тайного совета. Но в последующие годы издание этих документов перешло в ведение только что возникшей Комиссии Записей, в основании которой принимала участие королевская семья. Традиции поддержки издания исторических публикаций короной восходит еще к правлению Марии Шотландской, когда впервые опубликовали первое издание парламентских актов. Было достигнуто соглашение, что первая серия будет состоять из 15-ти томов. Первый том Парламентских записей Шотландии под редакцией Уильяма Робертсона и его сыновей был подготовлен в 1803 г. Но Комиссия Записей, по поручению которой адвокат Томас Томпсон составил отчет о содержании и качестве информации, считала, что необходима переработка издания, и на это ушло еще несколько лет. За это время умер Уильям Робертсон, чья вдова полагала, что это работа над томом убила его и одного из их сыновей. Однако, несмотря на критические замечания, Томпсон считал, что работа над изданием должна продолжаться, и в 1806 г. он был назначен новым клерком регистрации.

Будучи знакомым с лордом Хайлисом, Томпсон давно интересовался феодальным шотландским правом и его источниками, что делало необходимым знакомство с оригинальными документами. Именно тогда он впервые встретился со Скоттом, с которым они вместе стали изучать немецкий язык, для того чтобы читать немецких романтических поэтов. В тот же период он стал собирать и правовые документы, выискивая их в архивах и частных коллек-

циях антикваров-любителей. Много важных источников, включая коллекцию средневековых шотландских законов, было открыто в Берне в 1814 г., аналогичное собрание было привезено школьным учителем из Айра в 1824 г. Еще одним источником документов стали частные архивы шотландских юристов. Так начала формироваться коллекция шотландских правовых источников.

Но тут появилась новая проблема. Оказалось, что в Шотландии нет ни одного специалиста, который мог бы провести экспертизу подлинности документов. Тогда из Англии была привезена некая леди — мисс Уэйр, которая на протяжении трех или четырех лет работала с документами по своей собственной методике. Многие из томов были отвергнуты ею как фальшивые. В частности, Регистр Большой печати, привезенный из России и предлагаемый за крайне высокую цену, был признан фальшивым, хотя кожа его переплета была специально состарена и повреждена. В период между 1807 и 1816 гг. из двенадцати тысяч томов, хранящихся в Доме Записей, шесть с половиной тысяч были признаны подделками, не говоря уже о том, что было обнаружено около тридцати тысяч более поздних интерполяций.

Еще одно направление работы Томпсона заключалось в обеспечении доступа к этим материалам. Был составлен каталог источников, а в 1830 г. открыто специальное помещение, где с ними можно было работать. Правда свободный доступ позволялся лишь к очень ограниченному числу документов, большая же их часть была закрыта. И только в 1847 г., уже после Томпсона, доступ к архивам был значительно расширен, и в 1848 г. с ними работало десять исследователей.

Продолжалась работа и по изданию источников, наибольшей заслугой которой стала публикация парламентских актов Шотландии. Правда, из-за финансовых сложностей с изданием Томпсону пришлось приостановить работу. И хотя в последующие годы его друг и ученик, Космо Иннес, предлагал вернуться к продолжению работы, Томас Томпсон наложил табу на подобные разговоры, считая, что это перевернутая страница его жизни. Последние годы жизни он провел с женой в своей квартире на Джордж-стрит, навещаемый друзьями — историками и антикварами.

Еще в январе 1823 г. В. Скотт написал своему другу Роберту Питскарну: «Я долго думал, что подобие общества библиоманов может быть создано у нас для обсуждения издаваемых работ. Не-

сколько человек, как я думаю, могли бы стать его членами, и этого достаточно. Что ты думаешь по этому поводу?»<sup>28</sup>. «Общество библиоманов» стало Баннатэйн-Клубом — первым и наиболее примечательным объединением антиквариетов, которое издавало исторические материалы. Таким образом, была заложена основа слияния антикварной и издательской деятельности. Со временем сложилось ядро клуба в составе Скотта, Кобурна, Джона Кларка, Уильяма Адама, Патрика Фрезера Тайтлера и Джеймса Балантайна. В 1827 г. число его членов достигло ста, среди них было множество людей самых разных политических взглядов. Клуб выпустил сорок три тома, что составляло треть всей выпускаемой клубной продукции Шотландии. Новое направление развитию клуба придало издание «Криминальных записей» Роберта Питскарна, решение о котором было принято 19 ноября 1827 г.

На волне романтизации шотландского прошлого растет и количество людей, занимающихся коллекционированием книг — направлением антикварной деятельности, приобретшим особую моду. В 1809 г. Томас Дибдин издает книгу о книжных коллекциях «Библиомания», выход которой стал результатом возросшего интереса к средневековой истории. Вместе с повальным увлечением коллекционированием книг растет и цена на них. Так, герцог Роксбурн купил редчайший экземпляр «Декамерона» Боккаччо издания 1471 г. за сто фунтов стерлингов<sup>29</sup>. Для сравнения, зарплата члена королевского совета Казначейства составляла сто пятьдесят фунтов в год.

Однажды вечером Дибдин и еще несколько человек встретились в таверне Святого Албана, чтобы поговорить о ценах на книги. Среди присутствовавших находился и лорд Спенсер, которому не удалось перекупить Боккаччо. Именно он высказал предложение о создании клуба, где за ужином можно было бы обсуждать книжные вопросы. Члены клуба могли также издавать книги под клубной маркой, а расходы осуществлялись из средств клуба или за счет спонсора. Роксбурн-Клуб стал одним из сообществ, на долю которых выпало издание множества редких книг.

Среди многочисленных других клубов выделяется, например, Мэйтланд-Клуб, основанный в Глазго и включавший в ос-

---

<sup>28</sup> *Ash M.* The Strange Death of Scottish History. P. 59.

<sup>29</sup> *Ibid.* P. 60.

новном юристов. Еще один Айона-Клуб, основанный в 1833 г., своей целью ставил изучение и издание материалов, касающихся отдельных частей Шотландии и, главным образом, Хайленда — его «истории, древностей и литературы, обычаев, характера его обитателей»<sup>30</sup>. Клуб был основан У. Скене — сыном Дж. Скене, который был близким другом В. Скотта.

В конце 1830-х гг. появляется новая тенденция в развитии шотландского клубного движения, начало которой положило создание в Абердине Камден-Клуба в 1838 г. и Спалдинг-Клуба в 1839 г. Началась эра массовых клубов. В первый же год число членов Камден-Клуба достигло тысячи человек, членство в Спалдинг клубе было ограничено сначала 300, потом — 500 чел. Взнос составлял всего один фунт в год. Около 70% членов клуба были местными жителями, другие приезжали в Абердин, часто, из Ливерпуля. Публикации оплачивались из клубных денег, но иногда были отдельные спонсоры, например, президент Спалдинг-Клуба, граф Абердин, неоднократно выступал в качестве спонсора. Среди изданий клуба значительное место занимали источники по истории города Абердина, что стало показателем развития «локального патриотизма», которому были чужды социальные рамки — среди членов клуба были как знать и джентри, составлявшие 30%, профессионалы и торговцы — 49%, так и владельцы мануфактур, книготорговцы, горожане — 21%<sup>31</sup>. Интерес к прошлому охватывал все слои.

В середине века стал очевиден кризис клубного движения — старейший Баннатин-Клуб стал разваливаться после смерти его президента лорда Кобурна, которому никто не наследовал. Последняя встреча членов клуба состоялась в 1861 г. в апартаментах общества древностей Королевской Шотландской Академии. Дэвид Лайн, который вел заседание, произнес речь, напоминавшую элегию клубному движению, которое, однако же, сыграло свою историческую роль. Был выработан целый ряд символов, касающихся шотландского прошлого, которые когда-то были отысканы и интерпретированы небольшой группой интеллектуалов-антиквариев, а теперь разделялись большинством шотландцев.

---

<sup>30</sup> *Collectanea de Rebus Albanicis*. Ed. by Iona club. Edinburgh, 1889.

<sup>31</sup> *Ash M. The Strange Death of Scottish History*. P. 82.

В июле того же 1823 г., когда было положено начало клубному движению, Патрик Фрейзер Тайтлер и Александр Прингл Уайтбанк гостили в графстве Роксбурн в доме Вальтера Скотта. Оба были близкими друзьями писателя. За ужином хозяин предложил Тайтлеру взяться за написание истории Шотландии, необходимость которой не давала покоя Скотту уже в течение нескольких лет. В 1816 г. он сам составил обзор бумаг Каллодена для «Квартального обозрения», которое, как он планировал, станет частью введения для общей истории Шотландии, основанной на материалах, создаваемых писателем для своих детей. Друзья и коллеги Скотта по-разному относились к этой идее, особенно когда работа была уже в стадии завершения. Томпсон писал Фрэнсису Хорнеру: «Вальтер Скотт согласился написать популярную историю Шотландии с ранних времен до 1745 г. в четырех или пяти томах и завершить работу к следующему рождеству. Это будет очень забавная книга. Не сомневаюсь, в ней будет множество ошибок и неверных толкований... но я также не сомневаюсь, что эта книга станет любимой книгой этого столетия в Шотландии... Не будучи собственно хорошей историей, она прославится как коллекция замечательных картинок и характеров с незначительной их связью с [реальным] историческим контекстом»<sup>32</sup>. В ответ Хорнер писал, что, несмотря на абсурдность предполагаемой книги, Скотт окажет огромную услугу своей Родине, поскольку этим проектом он свяжет людей и страну<sup>33</sup>. Однако, намерения Скотта были куда серьезнее, чем создать просто коллекцию занимательных рассказов. С этим предложением, обещая всяческую поддержку и содействие, он и обратился к Патрику Фрейзеру Тайтлеру, поскольку к 1823 г. ему казалось, что сам он не осилит подобный проект.

Эта встреча и сама идея создания общей истории Шотландии знаменуют самой замечательный момент формирования профессиональной шотландской историографии, что, казалось, должно было уничтожить антикварную традицию, поскольку та уже не соответствовала сложившемуся уровню историописания. Однако в реальности идеи и методы антиквариев не только продолжали существовать, но и оказывали заметное влияние на фор-

---

<sup>32</sup> Memoir of Thomas Thomson. Edinburgh, 1854. P. 155-156.

<sup>33</sup> Ibid. P. 156.

мирующуюся профессиональную историографию. Несмотря на амбициозные намерения, «История» Патрика Тайтлера, как и написанные В. Скоттом «Рассказы деда. История Шотландии...»<sup>34</sup>, являются, по существу, собранием замечательных эпизодов из шотландского прошлого. Подбор и анализ этих событий осуществлялся, во-первых, в соответствии с просветительскими представлениями о прогрессе, а, во-вторых, с использованием формирующихся методов критического анализа источников, но сам подход, основанный на идее, что ценно не само прошлое, а остатки былого, призванные выразить его дух (дань романтизму!), был характерен для антикварного сознания.

Первым историческим сочинением Патрика Фрейзера Тайтлера, так никогда не опубликованным, стало исследование феодального шотландского права — работа, которую он начал, еще будучи студентом, в 1811 г. и завершил в 1817 г., и в которой отчетливо проявляется интерес, подобный раннему интересу Скотта, к феодальному праву. Особенностью сочинения является релятивистский взгляд на природу феодализма, заимствованный, очевидно, из работ Монтескье и шотландских социальных философов.

Зарождение систематического интереса к истории Шотландии у Тайтлера относится к 20-м гг. XIX в., когда его внимание было сосредоточено на сборе материалов, связанных с жизнью Уильяма Уоллеса. Выгодный брак обеспечил Тайтлеру финансовую независимость, в новом доме в самом центре Нового города Эдинбурга увидел свет первый том «Истории Шотландии». «Я начал историю Шотландии с правления Александра III, потому что именно в этот период появляются национальные анналы, материал которых может быть интересен массовому читателю. В период правления этого монарха Англия впервые предприняла попытку вторжения в пределы своей сестры-соседки... При подготовке настоящей работы я использовал соответствующие источники информации, которые открывают читателю истинную картину истории без прикрас и купюр». Но несколькими строками ниже он говорит, что сохраняет авторское право на трактовку событий и надеется, что читатели не будут его упрекать за это<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> *Sir W. Scott. The Tales of Grandfather: being the History of Scotland from the earliest period to the close of Rebellion 1745–1746. L., 1925.*

<sup>35</sup> *Tytler P. F. History of Scotland. Edinburgh, 1845.*



Первые два тома включали период древнего шотландского королевства вплоть до Дэвида II.

Скотт пишет рецензию, в которой упрекает Тайтлера в излишней приверженности к идеям его предшественников и, в частности, вига — лорда Хайлиса, чьи мысли в значительной степени заимствовал Тайтлер. Сам Скотт в 1829 г. все же выпускает свою «Историю Шотландии», в ответ на которую Тайтлер пишет рецензию и говорит о недостаточно критичном отношении Скотта (который «не посчитал необходимым проверять используемые им документы) к источникам. Как бы то ни было, тайтлеровский ответ Скотту означал поворотную точку в его жизни, и следующие несколько лет оказались для него крайне сложными и несчастливими. Постоянным стремлением было закончить «мою историю», ради этого он пожертвовал многими вещами и, в конце концов, своим здоровьем.

Проблема, с которой постоянно сталкивался Тайтлер, заключалась в сложности получения доступа к источникам, что означало угрозу его «Истории». Между тем, он был убежден, что историю можно писать только по оригинальным документам. Во второй половине 30-х гг. он работал над периодом Джеймса (Якова) V, Марии и Джеймса VI, что, по его мнению, было наиболее важной и сложной частью исследования, и здесь как никогда важны были оригинальные источники. В июле 1840 г. был опубликован седьмой том «Истории», который встретил разные отклики. В частности, шотландское «Квартальное обозрение», которое редактировал зять Скотта, написало, что «История» на долгое время станет стандартом шотландского историописания, а «Реформаторская газета» Глазго назвала работу «гораздо более чем просто важной исторической работой нашей страны и нашего времени» и позже рекомендовала ее «каждому шотландцу, которому небезынтересна история его страны»<sup>36</sup>.

Как бы то ни было, в конце 1843 г. работа была близка к завершению. «Мне осталось только убить Елизавету и посадить доброго короля Джеймса на трон старой леди и завершить... Историю вообще». Сестра Тайтлера записала в своем дневнике: «Вчера вечером [25 октября 1843 г.] мой брат закончил свою историю Шотландии. За чаем он выглядел излишне задумчивым и

---

<sup>36</sup> Ibid. P. 116.

забыл попросить свою обычную третью чашку чая. Затем отправился в библиотеку и стоял за своим высоким столом в течение некоторого времени, и потом, вернувшись в столовую, сообщил об окончании книги»<sup>37</sup>.

Тайтлеровская «История Шотландии» стала одним из примеров того, как в условиях потери политической независимости делались попытки отстоять самобытность культурную, иными словами, сформировать новую идентичность. Сам подход, который использовался Тайтлером, сложно назвать научным в полном смысле слова — факты подбирались и выстраивались в соответствии с определенной задачей, заключающейся в том, чтобы показать постепенное движение Шотландии по пути прогресса и сближения с Англией. Сложность же для Тайтлера заключалась в том, что он, в отличие от Скотта, жил в то время, когда впервые в Шотландии стал зарождаться национализм нового толка — то движение, которое мы сегодня чаще именуем политическим национализмом. Здесь нет смысла говорить и спорить о дефинициях и истоках т. н. «политического национализма», а также о его отличиях от «культурного национализма», стоит лишь отметить, что именно 1840-е годы были отмечены всплеском националистических настроений в Шотландии и призывов к возвращению ей политической независимости.

Несколько факторов оказали влияние на трансформацию националистических требований. В 1843 г. произошел церковный раскол, в ходе которого три возникшие шотландские церкви стали претендовать на то, чтобы называться истинными наследницами шотландской пресвитерианской церкви, отражавшей национальные интересы и на протяжении многих лет бывшей символом шотландской идентичности. Это породило настроения пессимизма, поскольку распадался один из основных институтов формирования национального самосознания. Этот пессимизм достиг своей высшей точки в 1853 г. созданием Ассоциации по отстаиванию шотландских прав, которая впервые после 1707 г. выдвинула политические требования. Середина века знаменует собой уже начало другого, сепаратистского национализма, пришедшего на смену юнионистскому.

---

<sup>37</sup> *Burton J. W. The Portrait of a Christian Gentleman, a memoir of Patrick Fraser Tytler. L. 1859. P. 324.*

Впервые этот новый национализм заявил о себе именно в связи с «Историей» Тайтлера, когда в форме памфлета в 1846 г. был опубликован отзыв на исследование, подписанный Джоном Стиллом. Автор, один из первых «романтических» националистов, лидер «Молодой Ирландии» и, пожалуй, единственный в тот период столь радикально анти-юнионистски настроенный общественный деятель, рассматривал англо-шотландские отношения как постоянный прессинг со стороны южной соседки, которая «уничтожала шотландских сынов и дочерей направо и налево». В этой связи, Стилл обвиняет Тайтлера в «холодном, кровавом безразличии» к судьбе своей Родины<sup>38</sup>. Новое движение нуждалось, скорее, в политических лозунгах и действиях, ориентированных в будущее, нежели в поисках и коллекционировании прошлого.

12 мая 1851 г. Британское правительство учредило Археологический музей Шотландии, который в будущем станет Национальным музеем Шотландии, существующим по сей день. В свою очередь, его основа была заложена Антикварным музеем, начавшим функционировать еще в 1781 г. и существовавшим на пожертвования, что позволило в конце XVIII столетия организовать выставку коллекции вещей бронзового века из озера Даддингстон. После смерти первого хранителя этой коллекции ее судьба была крайне неопределенной, пока она не перешла в руки Дэвида Лэйнга, который, стремясь разрешить финансовые сложности, выступил с идеей придать ей форму не просто Музея общества антиквариев, а национального института. В течение следующих десяти лет шла борьба с правительством за новый статус музея, увенчавшаяся успехом лишь в 1851 г. Однако именно этот формализующий шаг означал закат шотландского антикварного движения.

Шотландская антикварная традиция в XVIII в. представляла собой форму исторического сознания, ставшую реакцией на потребность создания новой идентичности в условиях утраты политической независимости. Смыслом в ней наделялось не само прошлое, поскольку оно не соответствовало современным реалиям, а его остатки, включавшие символы, вещи, письменные памятники. Само минувшее отождествлялось с этими символами. Несмотря на то, что первые антикварии появляются в Шотландии

---

<sup>38</sup> *Steill J. P. F. Tytler called to account for his misrepresentations of the life and character of Sir William Wallace. Edinb. 1846. P. 3-4.*

уже в конце XVI в., на протяжении XVII столетия антикварная традиция не сформировалась в том завершенном виде, в котором она существовала, например, в Англии. Лишь в следующем столетии возникшая потребность в осмыслении прошлого, связанная с кризисом идентичности, сформированном англо-шотландской унией 1707 г., привела к ее расцвету на севере Британии. Прошлое являло себя лишь постольку, поскольку в нем нуждалось настоящее, определявшее как саму необходимость в нем, так и его форму — не история англо-шотландского противостояния, а шотландская культура.

Фактором, оказавшим определяющее влияние на формирование шотландского антикварного сознания, помимо кризиса идентичности, стало Просвещение. Наложение просветительских идей на поиски антикваров привело к зарождению в рамках антикварной традиции основ такого рационалистического подхода к историописанию, в рамках которого подбор и трактовка свидетельств прошлого осуществлялись в соответствии с просветительскими принципами прогресса, а поиск пути «от дикаря до шотландца» провозглашался главной целью познания. Одновременно основным объектом изысканий антиквариев было то, что более всего выражает шотландскую душу, шотландский характер, обычаи и культура народа. В результате сформировалась своего рода эволюционная теория выживания культуры, и впервые была сделана попытка соединить убежденный прогрессизм эпохи Просвещения и мечты романтиков.

Закат антикварной традиции в середине XIX в. связан не только с интеллектуальными процессами, хотя, безусловно, сформировавшаяся профессиональная историография со временем должна была вытеснить антикварную. Решающую роль оказала динамика трансформации национального сознания. Происходит изменение в понимании нации, ее основ, на смену нации как духовной общности, объединенной единством прошлого и его символов, культуры и ее проявлений, а потому не нуждающейся в независимых политических институтах, приходит политическая нация, выдвигавшая требования политической независимости, что формирует сепаратистский национализм, в противоположность прежнему — юнионистскому. Потребность в прошлом уже не определяет нацию, а потому исчезает и необходимость в коллекционировании и популяризации его символов.

## ГЛАВА 21

# ИДЕОЛОГИЯ ИСТОРИИ ИВАНА ГРОЗНОГО ВЗГЛЯД ИЗ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ\*

Восприятие европейцами России середины и второй половины XVI века — ее истории, культуры, политико-административного устройства, экономики — давно привлекает внимание исследователей и достаточно полно изучено<sup>1</sup>. Труднее узнать, как в названный период происходил интеллектуальный обмен между Российским царством и Европой, читались ли российские

---

\* Текст подготовлен при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 06–01–00453а «Образы времени и исторические представления в цивилизационном контексте: Россия — Восток — Запад»). Исследования в Кракове и Варшаве были осуществлены благодаря поддержке фондов им. Королевы Ядвиги Ягеллонского университета и Поддержки польской науки им. Ю. Мянковского. Слова благодарности за помощь в написании статьи адресую д-ру Мареку Ференцу, д-ру Дариушу Домбровскому, к. и. н. Д. В. Карнаухову, А. В. Кузьмину, к. и. н. А. С. Усачеву, к. и. н. А. И. Филюшкину; перевод польских цитат выполнен при участии к. ф. н. О. А. Остапчук.

<sup>1</sup> *Kappeler A.* Ivan Groznyj im Spiegel der ausländischen Druckschriften seiner Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte des westlichen Russlandbildes. Bern; Frankfurt / M., 1972; *Алпатов М. А.* Русская историческая мысль и Западная Европа XII–XVII вв. М., 1973; *Он же.* Русская историческая мысль и Западная Европа XVII – первая четверть XVIII века. М., 1976; *Россия в первой половине XVI в.: взгляд из Европы / Сост. О. Ф. Кудрявцев.* М., 1997; *Мыльников А. С.* Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Этногенетические легенды, догадки, протогипотезы XVI – начала XVIII в. СПб., 1996; *Он же.* Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы: Представления об этнической номинации и этничности XVI – начала XVIII века. СПб., 1999; *Poe M. T.* “A People Born to Slavery”: Russia in Early Modern European Ethnography, 1476–1748. Ithaca; London, 2000; *Mund S.* Orbis Russiarum. Genèse et développement de la représentation du monde “russe” en Occident à la Renaissance. Genève, 2003.

тексты, воздействовало ли самосознание «москвитов» на европейский образ России. Немногим из ее жителей удалось рассказать о своей стране: спрос на повествование из первых рук о владениях великого князя натолкнулся на старательно организованную Москвой завесу молчания и посольские мифы. Европейская историография, преодолевая эти препятствия, черпала сведения для страноведческого описания из дипломатических реляций, разведанных, бесед с российскими дипломатами и перебежчиками. И в исключительных случаях в европейских описаниях Московской Руси оставляла следы ее историческая мысль, историографические стереотипы, отраженная в хронографах, летописях, исторических сказаниях память о своем прошлом. Однако и в исторических текстах происходила реорганизация, отразившаяся на доступных для иностранцев сведениях. Дискурс новых империй о своем прошлом был тесно связан с дипломатическими ведомствами, формировался в их стенах, их персоналом и в соответствии с их оптикой и задачами. Вряд ли случайно, что именно разнообразные дипломатические фабрикации о прошлом России были предметом постоянного обсуждения и обеспечивали своеобразную конкуренцию исторических моделей в Европе. Такое, на первый взгляд, опосредованное использование прошлого в международном противостоянии империй было, как нам представляется, ведущей формой бытования «посольской» историографии, воплощаясь как в литературных памятниках, так и в архитектуре, придворном церемониале и повседневной жизни имперских элит. И с этой точки зрения не покажется парадоксом, что историческое сознание Московской Руси вызвало больший интерес политиков и интеллектуалов дипломатических ведомств, чем эрудитов, сочинявших подчас масштабные трактаты о России.

Предметом сравнения в этой работе служат, с одной стороны, документы посольских ведомств России и Польско-Литовской унии, переписка литовских магнатов о посольских отношениях с восточным соседом, аналогов которой в московских источниках интересующего нас периода не сохранилось, с другой — исторические сочинения польских и литовско-русских писателей XVI века. В объектив нашего исследования попадают исторические хроники, начиная с *Трактата о двух Сарматиях* Мачея Меховского и заканчивая *Польской хроникой* Мачея Стрыйковского.

Трактат Меховского увидел свет в 1517 г. и издавался в 1518–1600 гг. 9 раз на латыни, дважды на немецком, трижды на польском, трижды на итальянском и один раз на голландском, был одним из самых читаемых в Европе текстов о России до издания записок Сигизмунда Герберштейна и послужил опорой для ряда исторических и космографических обобщений. *Хроника всего света* Марчина Бельского впервые издана на польском языке в 1551 г., затем она переиздавалась с дополнениями в 1554 и 1564 гг. и в 1597 г. его сыном Иоахимом Бельским как *Польская хроника*. *Хроника О происхождении и деяниях поляков* Марчина Кромера издана по-латыни впервые в 1555 г. и затем еще четырежды — в 1558, 1568, 1582 и 1589 гг. Первые четыре издания вышли в Базеле, последнее — в Кёльне. Немецкий перевод опубликован в Базеле в 1562 г., польский — в Кракове в 1611 г. Текст Кромера, опирающийся на достижения предшествующей польской историографии, в том числе на исторические трактаты Я. Длугоша, М. Меховского, Б. Ваповского, пользовался европейским признанием и в отрывках вошел в компиляции и компендиумы по истории Польши.

Основное наше внимание будет посвящено Мачею Стрыйковскому. Ему принадлежит ряд исторических и историко-поэтических сочинений, из которых крупнейшими были: изданный в 1574 г. *Гонец добродетели*, сохранившаяся в списках и не публиковавшаяся до XX века историко-эпическая поэма *О началах, происхождении и деяниях славного народа литовского и Хроника польская, литовская, жмудская и всей Руси*, развивающая текст поэмы и опубликованная в Кенигсберге в 1582 г. Латинская хроника Стрыйковского *Описание Европейской Сарматии* была опубликована под именем его командира по витебскому гарнизону Алессандро Гваньини. Это событие вызвало судебный процесс об авторском праве, в результате которого виленским привилеем от 14 июля 1580 г. король признал авторство Стрыйковского, однако санкций в отношении издания Гваньини не последовало, и он сам во время похода под Великие Луки поднес королю хронику — возможно, переработанное издание, опубликованное в Шпеере в 1581 г. *Хроника* Стрыйковского вышла уже год спустя после второго издания *Описания*. Гваньини пережил Стрыйковского, умершего около 1590 г., отредактировал *Описание* еще раз и издал его в 1611 г. по-польски, причем переводчик М. Пашковский жаловался,

что дополнения в тексте по истории Польши принадлежат не Гваньини, а ему самому<sup>2</sup>.

Польско-литовская дипломатия второй половины XVI века опиралась на идеологические заготовки, которые — как и московские исторические легенды — призваны были церемониально обустроить прошлое и настоящее в торжественное чинопоследование с устойчивыми ролями героев, заданной стадиальностью и предписанной преемственностью между стадиями<sup>3</sup>. В связи с обсуждаемой в современной историографии проблемой формирования этнополитического сознания в так называемой Восточной Европе особый интерес вызывает вопрос, каким образом представления о «всей Руси» российского имперского дискурса отразились на польско-литовской идеологии истории<sup>4</sup>. С этой точки

---

<sup>2</sup> Radziszewska J. Maciej Strykowski: historyk-poeta z epoki Odrodzenia. Katowice, 1978. S. 71-80; Wojtkowiak Z. Maciej Strykowski — dziejopis Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kalendarium życia i działalności. Poznań, 1990. S. 177-180; биографические данные о Гваньини пересмотрены в: Дячок О. Хроніст Алессандро Гваньїні // Український археографічний щорічник. Нова серія. Київ; Нью Йорк, 2004. Вип. 8/9. С. 299-321, дело о плагиате см. с. 317-319. Впрочем, нельзя исключать, что Гваньини самостоятельно редактировал подготовительные материалы Стрыйковского и отчасти обработал, а отчасти написал сам разделы о современных ему битвах литвинов с москвитями (кн. 1) и о землях ВКЛ (кн. 2, ч. 3) — см.: Jurkiewicz J. Czy tylko plagiat? Uwagi w kwestii autorstwa Sarmatiae Europaeae Descriptio (1578) // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai. Faktas. Kontekstas. Interpretacija. Vilnius, 2007. S. 67-93.

<sup>3</sup> В данном случае не столь важно, что польско-литовская дипломатия в сравнении с российской оставляла за послами несопоставимо большую свободу произнесения речей во время переговоров. Изучению поддаются главным образом следы церемониального дискурса, которые оформлены в посольских дневниках, реляциях, посланиях и т. д. Даже если предположить, что этот дискурс имел сравнительно небольшой вес в социальной памяти и не составлял целостного дискурсивного комплекса, он все же наделен теми качествами, которые, по нашему мнению, характерны для посольского понимания истории (подробнее см.: Ерусалимский К. Ю. История на посольской службе: дипломатия и память в России XVI века // История и память: Историческая культура Европы до начала нового времени. М., 2006. С. 664-731).

<sup>4</sup> Превращение России в глазах европейцев в «дикое и варварское царство» было частью формирующегося «Востока» на ментальной карте «Запада» и своеобразным промежуточным этапом в становлении концепта «Восточной Европы», сложившегося в Европе к XVIII в. Наша задача не



зрения могут быть изучены как памятники польской и литовской иностранной политики, так и отзывы представителей высшей власти и шляхты о российских исторических стереотипах. Восточная политика Великого княжества Литовского (ВКЛ) и Короны Польской в середине XVI века была нацелена на нивелирование захватнических планов великих князей Московских и возвращение земель, которые в геополитических проектах и общественной мысли были представлены как русские земли ВКЛ<sup>5</sup>. Вопрос о праве Короны и ВКЛ на инкорпорацию восточных территорий, включая все «Киевское наследство» и уже входившие в состав объединенного государства русские земли, не вызывал согласия, а потому споры об исторических воззрениях Москвы касались не только враждебного соседа, но и внутренних отношений между частями рождающейся в канун Люблинской унии и в первые годы после нее «республики обоих народов».

Польско-литовская дипломатия XVI века в своих отношениях с Россией исходила из демаркаций, разработанных в противостоянии взаимных территориальных претензий. Для подданных Ягеллонов было сформировано и акцентировалось различие между *русским* и *московским*, которое распространялось на население, территории, языки, обычаи и историческое сознание<sup>6</sup>. Этот взгляд подкреплялся записками путешественников и эрудитски-

---

будет так обширна, чтобы показать, как «Россия» заняла место «Татарии» в европейских дискурсах раннего нового времени, процесс такой подмены будет изучен ниже лишь на примере польско-литовских интерпретаций московских высказываний о прошлом. О «Востоке» и «Восточной Европе» в европейских дискурсах см.: *Said E. W. Orientalism*. London, 2003; *Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения*. М., 2003.

<sup>5</sup> *Флоря Б. Н.* Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI – начале XVII в. М., 1978.

<sup>6</sup> *Флоря Б. Н.* О некоторых особенностях развития этнического самосознания восточных славян в эпоху средневековья — раннего Нового времени // *Россия — Украина: история взаимоотношений*. М., 1997. С. 13-14; *Mund S. Orbis...* P. 313-317; *Карнаухов Д. В.* Формирование исторического образа Руси в польской хронографии XV–XVI вв. (Источники и историография исследования) // *История и историки: историографический вестник*. 2005. М., 2006. С. 53-83; *Danylenko A.* On the Name(s) of the *Prostaja Mova* in the Polish-Lithuanian Commonwealth // *Studia Slavica Hungarica*. 2006. Т. 51. № 1-2. P. 101-105.

ми описаниями «Московии» и «Татарии». Закрытие «врат христианского мира» в Польше, Литве и Галицко-Волынской Руси было объявлено римским папой Иннокентием IV перед лицом татарской угрозы. Северо-Восточная Русь не была при этом «забыта» или сознательно «оставлена без поддержки». Ее территория уже была частью «Татарии». Лишь в середине XIV века возникло подобие «защитной стены христианства» в той миссии, которой наделила византийская церковь московского митрополита и его паству. Однако к концу XV века в московском историческом сознании идея защиты восточных границ срослась с местными религиозными идеалами, тогда как великие князья Литовские рассматривали свои владения как *antimurale christianitatis*, оплот христианства против варваров, роль которых была занята не только традиционными для европейских фобий татарами и турками, но и потеснившими их московитами<sup>7</sup>. При этом, как показывают эрудитские сочинения XVI века о России, в Польско-Литовском государстве «христианская общность с православным миром, как с населением Украины, так и с жителями Московии, не подвергалась сомнению»<sup>8</sup>.

Латиноязычная польская историография, пользовавшаяся популярностью у литовских магнатов и шляхты, утверждала не только отличие московитов от русских, но и отношение первых ко вторым как части к целому, а также право польских королей на всю территорию Руси вплоть до легендарных «столпов» Болеслава Храброго, Киева, Дона, Волги и «Азиатской Европы». Московитам отведено особое место в польско-литовской ментальной географии: они обитают на северо-восток от русских, на «Севере», граничат с татарами и напоминают их своей дикостью. Образ «диких и варварских московитов» входит в этнографию на рубеже XV–XVI вв., чему способствовал оживленный интерес европейцев к военным успехам великого князя. Первые книги, содержащие информацию о России, *Заблуждения дичайших ру-*

---

<sup>7</sup> *Tazbir J. Poland and the Concept of Europe in the Sixteenth-Eighteenth Century // European Studies Review. 1977. Vol. 7. P. 31; Klug E. Das "asiatische" Russland: Über die Entstehung eines europäischen Vorurteils // Historische Zeitschrift. 1987. Bd. 245. S. 275.*

<sup>8</sup> *Лескинен М. В. Мифы и образы сарматизма: Истоки национальной идеологии Речи Посполитой. М., 2002. С. 71-72, см. также с. 74-76.*

тенов (1507) и *Прекрасная история* (1508), были написаны ливонским рыцарем Христианом Бомховером и напечатаны в Кельне в условиях готовящегося крестового похода против Москвы<sup>9</sup>. Реляция короля Польши и великого князя Литовского Сигизмунда I о битве с москвитами под Оршей, направленная в Рим в 1514 г., изображала победу польско-литовских войск над неверными варварами, подобными туркам, остановленными у самых ворот христианства, и была опубликована в собрании текстов, посвященных крестовому походу против Турции. Королевское послание послужило отправной точкой для историографических обобщений и расхожих «неформальных» оценок. Историографический прецедент «демонизации» восточных соседей создан в *Трактате о двух Сарматиях* Меховского (1517): подданные великого князя, согласно Меховскому, своей рабской зависимостью не отличаются от подданных турецкого султана; людей продают, как скот, а бедность у москвитов такая, что родители продают детей и самих себя, чтобы только прокормиться<sup>10</sup>. Эта оценка была подхвачена и неоднократно приводилась в европейской москвитике<sup>11</sup>.

К моменту венчания Ивана IV на царство и выхода в свет вскоре после этого события *Записок о Московии* Сигизмунда Герберштейна сформировалось представление о «натиске с Востока». М. Я. Радзивилл Черный желает двоюродному брату М. Ю. Радзивиллу Рыжему, ловчему Великого Княжества Литовского, ловить не только зверей, но и врагов христианства — москвитов, татар, валахов и т. д.<sup>12</sup>. Сравнение «врагов христианской веры» москвитов с дичью вписывается в риторику идеологического, политического и военного противостояния, в которой вызревал топос «неверного Моска» и связанный с ним топос Польско-Литовской республики как «защитной стены христианского мира», противостоящей восточной стихии. Послы, направленные

---

<sup>9</sup> *Poe M. T. Foreign Descriptions of Muscovy: An Analytic Bibliography of Primary and Secondary Sources.* Columbus, Ohio, 1995. P. 59.

<sup>10</sup> *Флоря Б. Н.* О некоторых особенностях... С. 13; *Poe M. T.* "A People Born to Slavery"... P. 18-21, 28-29, 37, 157.

<sup>11</sup> *Герберштейн С.* Записки о Московии / Пер. А. И. Малеина и А. В. Назаренко. М., 1988. С. 112-113.

<sup>12</sup> *Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Radziwiłłów. Dział IV: Listy ks. Radziwiłłów. Teka 34. Koperta 498. S. 31-32 (7 мая 1549 г.).*

во Францию для приглашения Генриха Валуа на польский престол, обращаются 19 июля 1573 г. к саксонскому курфюрсту Августу с просьбой пропустить их через территорию Саксонии, так как от этого зависит спокойствие христианских государств. Христианство окружено скифами — «турками, венграми и никогда нам в действительности не верными москалями, которые, если вторгнутся с варварским натиском в наши владения, без сомнения сотворят огромное разрушение не только нам, но всему христианскому обществу»<sup>13</sup>. Москали признаны наиболее опасными для христиан скифами — варварами и разрушителями. Происхождение, состояние культуры и политические интенции этих скифов сведены в единство, скрепленное посольской вечностью («никогда»). Угрозе противостоит Речь Посполитая — «стена и опора христианства», падение которой означает разрушение всех остальных христианских государств, в том числе княжества саксонского курфюрста<sup>14</sup>.

Представления о дикости, варварстве, язычестве московитов получают дополнительное развитие в дискуссии об их скифском происхождении, о московской тирании, в сопоставлении Ивана Грозного с королем Владиславом Ягелло, турецким султаном, татарскими ханами, египетскими фараонами, римскими тиранами и т. д., которые были известны в России и даже использовались царем и посольской службой в межгосударственной конкуренции. Российская дипломатия содействовала становлению «неверного Мосха» в западной пропаганде и своими военными действиями, посольскими демаршами, имперским видением своего прошлого подпитывала этот стереотип. Понятие врага в годы Ливонской войны в польско-литовской общественной жизни срослось с образом восточного соседа, «неприятеля звыклого великого князства Литовского»<sup>15</sup>. В переписке с Елизаветой Тюдор Сигизмунд Август, призывая Англию к экономической и инфор-

---

<sup>13</sup> *Dyplomaci w dawnych czasach. Relacje staropolskie z XVI–XVIII stulecia / Oprac. A. Przyboś, R. Żelewski. Kraków, 1959. S. 103-104* (обращение составлено от лица каштеляна саночского и старосты пшемыского Яна Хербурта).

<sup>14</sup> *Ibid.* S. 103.

<sup>15</sup> См. постановление виленского сейма 1 марта 1566 г., разд. I ст. 7, 11; разд. III ст. 13 Второго Статута (Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 года. Мінск, 2003. С. 35-263).

мационной блокаде России, называет великого князя «врагом всей существующей под небесами свободы»<sup>16</sup>. В 1562–1563 гг. в Короне Польской началась «эзекуция имений и прав», направленная на ограничение полномочий короля, и опричина служила наглядным примером для утверждения позиции эзекуционистов<sup>17</sup>. Война возобновила унийную тенденцию. Осенью 1562 г. литовский сейм, собравшийся под Витебском, направил королю петицию с требованием политической унии ВКЛ и Короны, и, хотя король не принял литовскую делегацию на эзекуционном сейме, восточный фактор определился как доминирующий в деле объединения королевства и великого княжества. Падение Полоцка настроило короля на поддержку унии, а поражение московских войск на реке Уле 26 января 1564 г. уподобило М. Ю. Радзивилла Рыжего князю К. И. Острожскому, нанесшему тяжелое поражение Москве в битве под Оршей, и оттянуло реализацию объединительной идеи в ВКЛ<sup>18</sup>.

Война за земли Ливонского Ордена стимулировала исторические разыскания государственных канцелярий, дипломатических ведомств, интеллектуальных кругов воюющих стран. Права Москвы на Ливонию обсуждались на сеймиках и сеймах, и исторические обоснования этих прав вызывали протест, разоблачительные выпады, ответные исторические экскурсы. Посольский приказ возводил принадлежность орденских земель русским господам к первой половине XI века и к эпохе императора Августа; московские легенды о Прусе и призвании Рюрика наделяли легитимностью борьбу за Прибалтику, включая Пруссию. Исторические экскурсы москвитов опровергались указанием на то, что великие князья проводили с Ливонским орденом переговоры как с сувереном, а исторические права Москвы не имеют подтверждений в источниках. Если отчинное право московских великих князей на Галич выводилось из летописных сообщений о

---

<sup>16</sup> *Klug E.* Das “asiatische” Russland... S. 276; *Kirby D.* Northern Europe in the Early Modern Period. The Baltic World 1492–1772. New York, 1990. P. 72.

<sup>17</sup> *Полосин И. И.* Социально-политическая история России XVI – начала XVII в.: Сб. ст. М., 1963. С. 156–181; см. также об отношении к опричнине в ВКЛ: *Флоря Б. Н.* Русско-польские отношения... С. 44, 51.

<sup>18</sup> *Konopczyński W.* Dzieje Polski nowożytnej. Wyd. 4. Warszawa, 1999. S. 160–161.

господстве Рюриковичей в «Червонной Руси», ответное требование вернуть Литве Можайск получает опору в *Трактате* Меховского и применение в ходе переговоров с Иваном Грозным посольства Юрия Ходкевича в 1566 г.<sup>19</sup> Как предположил Б. Н. Флоря, право на Можайск было заявлено под воздействием трактата Меховского или его литературной традиции<sup>20</sup>. Послы в Москве торжественно отказались от прав короля на Можайск. Историография же от них не отказывалась. Стрыйковский полемизировал с популярным мнением о возникновении границы с Москвой «за Можайском» в правление Витовта, доказывая, что еще Ольгерд «литовские границы отложил за Можайск, 28 миль от Москвы, каковое деяние несведущие в истории лживо приписывают Витовту»<sup>21</sup>.

В польской историографии середины XVI в. благодаря Кромеру и его хронике сложилась легитимация польского господства над русскими землями<sup>22</sup>. Согласно Кромеру, после того, как вымерло потомство короля русского Даниила, все прилежащие к Литве русские государства и главный русский город Львов занял литовский князь Любарт Гедиминович, женившийся на дочери князя Андрея Владимир-Волынского Анне, а после него господарем в принадлежавших польским королям и утраченных ими русских землях стал польский король Казимир Великий, а литовские князья утвердились во Владимире-Волынском, Луцке, Белзе, Холме и Бресте-Литовском. Король Казимир и литовский князь

<sup>19</sup> Сборник Императорского Русского Исторического Общества. СПб., 1892. Т. 71. С. 369 (после Новгорода в выписке 1572 г. указан также Псков).

<sup>20</sup> Флоря Б. Н. Русско-польские отношения... С. 23.

<sup>21</sup> *Strykowski M.* O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przed tym nigdy od żadnego ani kuszone, ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzemnie pilnego doświadczenia / Oprac. J. Radziszewska. Warszawa, 1978. S. 36 (перевод цитаты), см. также с. 42, 90, 262 (цитата ниже в примечании), 368 (Можайск во владениях Витовта). В поэтическом отрывке о московском походе Ольгерда восточные границы определены Можайском и Калугой и в глоссе отнесены к Можайску, но на «18 миль» от Москвы: «Granice, jako sam chciał, tak z Moskwą założył, / Po Możajsk, po Kołuchę państwa swe rozmnożył?».

<sup>22</sup> Отличия латинских изданий от польского в вопросе о происхождении славян и москвитов изучены Д. В. Карнауховым в подготовленной им к печати работе, за ознакомление с которой сердечно благодарю автора.

Любарт предвосхитили унию двух государств, договорившись о взаимопомощи, а русские государства с тех пор «никогда в общих делах от поляков не отступали»<sup>23</sup>. На исторические указания хроники Кромера ссылались не только политики в борьбе за международный статус Польши и Литвы, но и польские депутаты на Варшавском сейме 1563–1564 гг. и Люблинском 1568–1569 гг., когда оспаривали у Литвы принадлежность Волини, тогда как сторонники сохранения целостности и расширения Литвы опирались в своем обращении к Сигизмунду II Августу на данное королевом в 1547 г. обязательство не отнимать у ВКЛ земель и вернуть ему когда-либо отнятые, на историю спорного города Дрогичина, на границы владений Ягелло до и после его вступления на польский трон<sup>24</sup>.

Польско-литовская историография была вовлечена в войну между великими княжествами, раскрывала ее смысл, показывала ее неизбежность и недостижимость мира до тех пор, пока Русская земля не воссоединится. Политические расхождения между *московитами* и *русскими*, в этом смысле, не мыслились как легитимное состояние. Зеркально сходного понимания прошлого и настоящего придерживались в Москве. Требование москвитов в обмен на «вечный мир» с ВКЛ отдать им «отчину» своего господаря — всю Русскую землю с Киевом, Смоленском и «иными городами» — прозвучало после победы на реке Ведроши на переговорах 1503 и 1504 гг. Потеря Смоленска в 1514 г. не окупилась для ВКЛ победой, одержанной над московским войском в том же году под Оршей, но мобилизовала общественную мысль и вызва-

---

<sup>23</sup> Martini Cromeri de origine et rebus gestis Polonorum libri XXX. Basileae, 1555. P. 302 (цит.: “Neque deinceps consilio publico ea pars Russiae a Polonis desciiuit”); Kromer M. Kronika Polska. Sanok, 1857. S. 603-605 (цит.: “Od tegoż czasu krainy one ruskie nigdy radą pospolitą od Polaków nie odpadały”); Strykowski M. O początkach... S. 258-259 (цит.: “jakoż potym ona część Rusi w pospolitej radzie od Polaków nie odstąpiła”). Источником Кромера в истории короля Казимира Великого, как указал нам Д. В. Карнаухов, послужила девятая книга хроники Длугоша: *Długosz J. Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae*. Warszawa, 1978. Liber IX. P. 215-217.

<sup>24</sup> *Halecki O. Przyłączenie Podlasia, Wołunia i Kijowszczyzny do Korony w roku 1569*. Kraków, 1915. S. 50, 67-68, 78, 120-121; *Januszkiewicz A. Książka jako broń polityczna w Wielkim Księstwie Litewskim w połowie XVI wieku // Księga – Nauka – Wiara w średniowiecznej Europie*. Poznań, 2004. S. 88-91.

ла к жизни историографическую модель травмы и реванша в отношениях с Россией. После венчания на царство Ивана Грозного Корона Польская и ВКЛ поддерживали топор враждебного восточного варвара, оказывая сопротивление титульным претензиям Москвы, упреждая ее амбиции в отношении Киева. Первые после принятия царского титула великим князем переговоры с Польско-Литовской унией, о которых сохранились сведения в записных книгах Посольского приказа, относятся в 1549 г. Посольство воеводы витебского Станислава Кишки, выдвинувшее претензии на Новгород, Псков, Торопец, Луки и «иные города и волости», было встречено требованием к королю поступиться Киевом, Волынью, Полоцком, Витебском «и всеми города русскими»<sup>25</sup>.

Территориальные претензии польско-литовской стороны к России были такими же невыполнимыми и провокационными, как и претензии России. Первое место в условиях «вечного мира» с польско-литовской стороны обычно занимали Новгород и Псков. Вину за их утрату литовские магнаты возлагали на короля Казимира IV. Жмудский староста Ян Ходкевич, выступавший за наступательную войну против Москвы, произнес на Люблинском сейме речь о том, как польские короли утратили свои русские земли на восточной границе из-за невнимания к Великому Княжеству Литовскому<sup>26</sup>. Сходные мотивы повторяются почти без изменений десятилетие спустя на сейме 1581 г. в речи все того же каштеляна виленского Я. И. Ходкевича: король Казимир был слишком занят прусскими делами и оставил без присмотра восточные границы ВКЛ, чем не преминул воспользоваться Московит<sup>27</sup>.

Московская версия присоединения Пскова и Новгорода не вызывала согласия в польско-литовском обществе и периодически возникала в дискуссиях о территориальном целом ВКЛ. Пространственный ответ царя на польско-литовские исторические выкладки в отношении Новгорода и Пскова прозвучал на приеме римского легата А. Поссевино 31 августа 1581 г. Новгород служил для царя мерой в иерархии государств. Поскольку, согласно

---

<sup>25</sup> СИРИО. СПб., 1887. Т. 59. С. 274; Памятники... Т. 2. С. 179 (в выписке не указан Мглин); Книга посольская метрики Литовской Великому княжеству Литовского. М., 1843. Т. 1. С. 50.

<sup>26</sup> *Halecki O. Przyłączenie...* S. 204.

<sup>27</sup> Biblioteka Jagiellońska. Rękopis 3705. K. 5v.



царю, все переговоры до войны Ливония вела с Москвой через Новгород, ее положение по отношению к московским царям было сугубо подчиненным. Царь требовал, чтобы король прислал грамоты, в которых предки царя уступали эти земли его предшественникам на троне, и отказался признавать существование договоренностей, которые противоречили современному состоянию дел, сравнивая статус Ливонии в составе России со статусом Пруссии в составе Польского королевства. Попытка Ливонии выйти из московского подданства при великом князе и «царе» Василии III определена как восстание, которое подавляется так же, как подавлялись выступления Пруссии против Ягайло и Витовта, Альбрехта Прусского против Сигизмунда Старого, Гданьска против Стефана Батория. Все эти сравнения должны были подвести к выводу о полном подчинении Новгорода Москве и карательном, а не завоевательном, характере ливонских походов царских войск<sup>28</sup>.

Право Москвы на Новгород и Псков в Польско-Литовском государстве не признавалось. Дипломатическому “*para bellum*” обнаруживаются прямые параллели в географических и исторических сочинениях. Серьезным интеллектуальным ресурсом в формировании «ментальных границ» были карты, сопровождавшие космографические и историко-этнографические сочинения европейцев. Различия в точности картографирования для нас не так важны, как территориально-политическая номенклатура в соотношении Новгорода и Пскова с Москвой на картах XVI века. Одним из первых картографов, отказавшихся от средневековой географической традиции, был С. Мюнстер, изобразивший центральную и восточную Европу на основе данных московита-эмигранта И. В. Ляцкого, имперского посла С. Герберштейна, И. Гарновского, А. Гурки, С. Лаского и М. Меховского. На его картах от Московии обособлена “*Nouogardia magna*”, и еще в издании “*Cosmographia Universalis*” 1572 года регион “*Plescouia*” расположен между регионами “*Littaw*” на западе, “*Liuania*” на севере, “*Tartaria*” на северо-востоке, “*Moscou*” на юго-востоке и Смоленском и Скифией на юге<sup>29</sup>. В качестве «городов-

---

<sup>28</sup> Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. СПб., 1871. Т. X. Стб. 157-164, см. здесь ниже.

<sup>29</sup> Багров Л. История русской картографии. М., 2005. С. 86. Рис. 19. Карта из издания С. Мюнстера 1572 г. воспроизведена: Вяликае Княства Літоўскае: Энцыклапедыя ў двух тамах. Мінск, 2005. Т. 1. С. 35.

государств» под названиями “Nougardia” и “Plescouia”, сходными в окончаниях с самостоятельными регионами “Moscovia”, “Livonia”, “Lituania”, “Pomerania” и т. д., Новгород и Псков встречаются на картах Я. Гастальди, вышедших отдельным изданием в 1546 г., в «Географии» Птолемея 1548 года, в приложении к «Запискам» Герберштейна 1550 года, а также как особые княжества на картах Г. Меркатора 1554–1595 гг.<sup>30</sup>

Польские историки также убеждены, что прошлое Новгорода и Пскова тесно связано с их страной. В исторической поэме Стрыйковского стереотипы были нарушены. Автор одобрительно отзывается о правах «Московского» на Новгород и другие северные и северо-западные земли:

«А сегодня справедливо Московский претендует на Финляндию,  
Ибо это его собственность, как сообщает хроника.  
Ибо русская монархия была даже до Лопов,  
Из-за этого Москва Ливонию, Швецию называет холопами.  
Великие новгородцы — держали Финляндию,  
А псковитяне с давних лет брали дань со Скандинавии.  
В то время, когда русская монархия была сформирована,  
Она имела первенство перед прилежащими государствами,  
Из-за этого, брат Литвин, не завидуй Руси,  
Ибо они पहले тебя — это должен признать каждый.  
Без них ты не можешь знать порядка в своих делах,  
Так как русаки в своих государствах издавна сидят»<sup>31</sup>.

В поэтической форме здесь отражены притязания «Москвы» и их историографическое обоснование. «Московский» убежден в рабском подчинении своих «холопов» Ливонии, Финляндии, Швеции, стремится владеть землями «даже до Лопов», опирается на хроники и на централизаторское понимание новгородского и псковского прошлого в составе «Москвы»<sup>32</sup>. Русская монархия, в

<sup>30</sup> Багров Л. История... С. 124. Рис. 39; С. 127. Рис. 41; С. 129. Рис. 42; С. 133. Рис. 44; С. 135. Рис. 45; С. 136. Рис. 46 и др.

<sup>31</sup> Strykowski M. O początkach... S. 154.

<sup>32</sup> Хроника подтверждала право наследников «русской монархии» на Финляндию. Со ссылкой на Кадлубека, Меховского, Бельского и Ваповского, Стрыйковский рассказывает о победе русских князей над половцами Боняком и Шаруканом в битве на реке Суле 12 августа 1107 г. Далее, ориентируясь на Ваповского, он приводит версию о том, что половцев гнали “aż do Chorek” и отождествляет эту местность с Корелой. Там, насколько

представлении автора этих строк М. Стрыйковского, была унаследована не москвитами, а литовско-русскими князьями, потомку которых, князю Ю. Ю. Олельковичу-Слуцкому, он посвятил свой труд *О началах*<sup>33</sup>. Московскому пониманию историко-политической географии противопоставлен тезис о том, что земли “aż po Lory” населены потомками литовцев, а еще при великом князе Витовте ВКЛ на севере уходило “aż za Wielki Nowogród i Psków”<sup>34</sup>. Новгород и Псков, согласно Стрыйковскому, отличались от других русских городов тем, что не были завоеваны татарами и сохраняли самостоятельность. Принадлежность новгородско-псковских земель Литве доказывается, во-первых, феодальной зависимостью московского великого князя от его тестя Витовта, во-вторых, склонностью этих земель к Москве. Витовту требовалось лишь усмирить их силой, сохранив им свободы на условии признания его верховенства:

«Витовт потребовал, чтобы они это прекратили,  
А в своих вольностях оставаясь, знали его верховенство»<sup>35</sup>.

Новгород, по словам хрониста, был отнят вместе с 70 замками и городами Иваном III у ВКЛ. Псков был владением полоцкого князя и первого среди литовских князей христианина Гинвила Мингайловича. Завоевание Новгорода великим князем Иваном III интерпретируется Стрыйковским, со ссылкой на Герберштейна, как результат военного напора со стороны Москвы и невнимания со стороны Литвы и короля Казимира — это истолкование сход-

---

известно Стрыйковскому, говорят на языке, похожем на литовский, а значит, половцы, жившие тогда в Карелии, “jednego narodu z Litwą byli”. Сходство всех половцев от Валахии до Финляндии с литовцами открывает перспективу пересмотра отношений между двумя родственными народами. Однако в настоящее время остатки этих половцев говорят на своем старом половецком языке и подчиняются московскому князю, “a Moskwa ich Igwiany i Woskami zowie” — вероятно, подразумеваются ижора и весь (*Strykowski M. O początkach...* S. 110-111; ср.: *Wojtkowiak Z. Maciej Strykowski...* S. 67-68).

<sup>33</sup> *Strykowski M. O początkach...* S. 33, см. также с. 40, 167-169, 263, 571; см. также: *Radziszewska J. Maciej Strykowski...* S. 32-34, 55-59; *Wojtkowiak Z. Maciej Strykowski...* S. 81-82, 108-109, 131-136, 192, 207-209.

<sup>34</sup> *Strykowski M. O początkach...* S. 78, 89, 110-111, см. также с. 183-185, 576.

<sup>35</sup> *Ibid.* S. 367-368.

но с тем, которое неоднократно звучало на сеймах Польско-Литовской унии<sup>36</sup>. Появление в тексте исторической поэмы высказываний, оправдывающих имперские планы Москвы, требует дополнительных пояснений, которые мы приведем в конце нашей работы.

\* \* \*

Русское прошлое ряда территорий Речи Посполитой становилось в военно-дипломатической обстановке начала 1560-х годов проблемой общего государственного суверенитета. Не была ли инкорпорация Волыни, Подляшья, Киевщины и Брацлавщины в состав Короны ответом на московские выкладки о русском прошлом этих территорий? С первых лет войны между Россией и Польско-Литовским государством в Москве велась работа по обоснованию наследственных прав Ивана Грозного на Литву, что в сочетании с правами на Русскую землю должно было создать историко-идеологическую программу мирного подчинения одного из двух политических народов Речи Посполитой. Полоцк, согласно сфабрикованной в XVI в. генеалогии литовских князей, давал исторические ключи к наследию потомков Гедимина. Литве эта генеалогия приписывает в XII в. феодальную зависимость от полоцких князей и приглашение на княжение из Константинополя сыновей полоцкого князя Давила и Мовколда Ростиславовичей<sup>37</sup>.

На предложение московской стороны о браке Ивана Грозного с Анной или Катериной Ягеллонкой в 1560 г. были выдвинуты условия отдать ВКЛ земли, завоеванные Иваном III и Василием III, и не вступаться в Ливонию. В боярском ответе королевским послам Яну Шимковичу и Яну Гайку 16 февраля 1561 г. на требование вернуть Новгород, Псков, Северу, Смоленск и Ливонию «старинными» и «извечными» вотчинами царя названы все объекты польско-литовских притязаний, а также Киев, Волынь, Подолье, Полоцк, Витебск и Смоленск<sup>38</sup>. После взятия Полоцка царскими войсками на переговорах 1563–1564 гг. московские послы потребовали в обмен на «вечный мир» отдать царю все русские

---

<sup>36</sup> Ibid. S. 529, 530.

<sup>37</sup> *Флоря Б. Н.* Русско-польские отношения... С. 35-36.

<sup>38</sup> СИРИО. Т. 71. С. 40-43.

земли Короны Польской и ВКЛ, включая Галицкую<sup>39</sup>. В послании Ивана IV, привезенном в Вильно послом Василием Мацкевичем 4 октября 1563 г., вотчиной российского господаря названы Вильно, Подольская земля, Галицкая земля «и Волынская земля вся к Киеву»<sup>40</sup>. Великое посольство Юрия Ходкевича, Григория Воловича и Михаила Гарабурды получило в декабре того же года в Москве более полный список, включающий помимо Галича Перемышль, Холм и Брест Литовский<sup>41</sup>. Все ВКЛ и часть Короны Польской ожидала участь Полоцка. Начало октября 1563 г. послужило отправной точкой для дискуссии в Польско-Литовском государстве о судьбах восточных окраин. Уже через три дня после получения письма из-за приближающегося окончания перемирия король объявил всеобщую мобилизацию, литовским магнатам указано было съехаться в Венгрове и затем направиться в Варшавский сейм, задачей которого было обновить и утвердить унию ВКЛ и Короны Польской<sup>42</sup>. По наблюдениям М. Яницкого, письмо Ивана Грозного вызвало агитационную волну в пользу унии и против Москвы: каштеляну добрынскому Винценту Жельскому и, предположительно, другим «младшим каштелянам» король направил перевод письма Ивана IV со своим комментарием, причем в переводе была допущена неточность как раз в перечислении «вотчин» царя и вместо «Галицкая земля и Волынская земля вся к Киеву» значилось “Wołyńska wszystkie ku Lwowu”. Эта неточность, как отмечает польский исследователь, имела прямое отношение к унийным проектам короля. Согласно московским представлениям, Волынь была лишь частью Киевского княжества, тогда как польскоязычная шляхта, получив перевод царского послания, узнавала, что Волынь относится к Галицкой земле, входящей в состав Короны Польской. На сейме в своей речи подканцлер П. Мышковский расширил претензии царя землями до Вислы (“po Białą Wodę”), что означало опасность для всей восточной части

<sup>39</sup> *Флоря Б. Н.* Русско-польские отношения... С. 20-21, 24, 57-68.

<sup>40</sup> СИРИО. Т. 71. С. 172.

<sup>41</sup> Там же. С. 260.

<sup>42</sup> *Janicki M. A.* tłumaczenie listu Iwana Groźnego do Zygmunta Augusta i jego rola w agitacji przed sejmem warszawskim 1563 r. // Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych między władzą a społeczeństwem. Materiały konferencji naukowej. Kraków, 14 kwietnia 2004. Kraków, 2006. Cz. 2. S. 76-78.

Короны Польской, и содержание письма Ивана Грозного было передано в дневнике сейма в версии подканцлера<sup>43</sup>.

В польской историографии до первых лет Ливонской войны в ряду претендентов на Волынь и Подолье Москве не находилось места. Общая схема «волынского наследства» представлялась в виде последовательности от Даниила Галицкого к его потомкам, а после их вымирания к Казимиру Великому, затем к Ягелло, который «уступил Волынь и Подолье» своему двоюродному брату Витовту<sup>44</sup>. Протест, прозвучавший со стороны литовско-русского историка, наметил недоговоренность в исторической аргументации эпохи унии. М. Стрыйковский оспаривает мнение польских хронистов, ведущих отсчет литовского господства на Волыни со смерти короля Людовика Венгерского (ум. 10–11 сентября 1382 г.), и доказывает, что Литва захватила Волынь в правление Миндовга и Гедимина<sup>45</sup>. Уточнение сроков не устраняет вопрос легитимности, поскольку Литва захватила Волынь «у Руси силой» (“*mośc pod Rusią*”), то есть в то время, когда еще были живы законные русские правители этого государства. Несогласие Стрыйковского с польскими хронистами затрагивает геополитическую легитимацию лишь «по касательной», углубляя литовское присутствие на русских землях. Сватовство великого князя Ягелло к королеве Ядвиге сопровождалось «кондициями», одна из которых — «вернуть и присоединить к Польше все державы, которые Литва вырвала и оторвала от Польши, как замки, людей, так и города, а особенно русские края и все Подляшье»<sup>46</sup>. Сыну Ягелло польскому королю Владиславу подчинились русские и подольские земли, принявшие, что Стрыйковский оговаривает, вслед за Длугошем и Кроммером, вместо литовского «польское

---

<sup>43</sup> М. Яницкий предполагает, что эта версия подкреплялась особым источником, происходящим из королевско-великокняжеской канцелярии, и отражала планы агитационного использования царского письма королем Сигизмундом Августом. Подробнее см.: *Janicki M. A. tłumaczenie...* S. 78–83. Ниже мы высказываем предположение об оригинале царского послания как возможном источнике версии подканцлера.

<sup>44</sup> См. эту схему со ссылкой на привилеи с подписью и печатью Витовта: *Kromer M. Kronika Polska*. S. 716.

<sup>45</sup> *Strykowski M. O początkach...* S. 301.

<sup>46</sup> *Ibid.* S. 304.

право»<sup>47</sup>. Вторжение Ивана Грозного в качестве «третьей силы» в историко-политическое противостояние Польши и Литвы не могло быть воспринято иначе, как попытка «восточного соседа» вернуть состояние границ в 80-е годы XIV в., разрушить унию и установить свое доминирование в границах великого княжества Витовта. Ни в одном ныне известном посольском тексте, исходящем из России, именно так требования не формулировались, по крайней мере, до смерти Сигизмунда Августа, однако такое прочтение московских требований было логичным не только как пропагандистская мистификация, но и как реализация модели, пробуждающей историческую память и наполняющей современность смыслами, почерпнутыми из исторических дискуссий. Язык дипломатической претензии неразрывно связан со структурами исторической легитимации, которые выходят за пределы историографии как таковой и складываются в идеологические конструкции. Заявка Москвы на Волынь и Галицкую Русь попала в контекст дискуссий о современном статусе Волыни внутри Польско-Литовской унии и вызывала аналогию с событиями XIV в., в которых одновременно решался вопрос о статусе Волыни и устанавливались границы между Польшей и Литвой «по Белую Воду, то есть по Вислу»<sup>48</sup>. Вместе с тем слова подканцлера о претензиях москвитов на территории вплоть до Вислы находят опору в ответе царя посольству Ю.А. Ходкевича. Согласно словам царя, кесарь Август поставил своего брата Пруса «на березех Вислы реки во град Машборк и Торунь и Хвоиница и Преслава и Гданеск и иных многих городов по реку, глаголемую Немон, впадшую в море Варяжское, до сего часа по имени его Пруская земля»<sup>49</sup>. Вряд ли кого-то в Польско-Литовской унии могла обмануть восточная граница мифических владений Пруса — для московских имперских планов посольская легенда создавала право на земли к востоку не от Немана, а от Вислы.

Угроза со стороны России требовала от польских и литовских историков пересмотра легитимации. Вскоре, в 1564 г., поя-

---

<sup>47</sup> Ibid. S. 410.

<sup>48</sup> Упоминание границы по Белую Воду должно было воскрешать в памяти образ Ягелло, который “z Polaki granice litewskie uczynił męstwem po Białą Wodę, to jest po Wisłę” (*Strykowski M. O początkach... S. 301*).

<sup>49</sup> СИРИО. Т. 71. С. 231.

вилось на свет третье издание *Хроники всего света* М. Бельского, которое было по сравнению с изданиями 1551 и 1554 гг. пополнено пересказом *Записок о Московии* Герберштейна, краткой «генеалогией» русских князей и иллюстрациями с изображением Ивана Грозного и военной амуниции московитов<sup>50</sup>. Изобразительный ряд издания формировал «образ врага» по портрету его правителя и одеянию его воинов<sup>51</sup>. Стихотворение над портретом Ивана Грозного представляет царя его словами как законного наследника своей земли, происходящего от Ивана Васильевича и Владимира Святого. Он пришел к своей власти «не так, как соседние князья, короли, которые пришли на свои владения со стороны по договору». Царь «умывает руки» и отказывается от дружественного соглашения со всеми этими князьями и королями. Помимо открытой угрозы этого образа для всех «князей и королей» обращает на себя внимание заимствование для стиха слов из дипломатических посланий Ивана IV. Изображение многими деталями сходно с портретом отца Ивана Грозного, выполненным А. Хиршфогелем в 1544–1547 гг. для венского издания записок Герберштейна, вышедшего в 1549 г.<sup>52</sup> Стих же представляет версию, отличную от тех, которые встречаются на портретах Василия III или Ивана Грозного в переизданиях *Записок о Московии* и является переработкой посланий Ивана IV — причем в данном случае мы имеем дело не с «Псевдо-Грозным», а с польской переработкой подлинных дипломатических высказываний, но частично восходящей, как и изображение великого князя, к изданиям записок имперского посла<sup>53</sup>. Воздействие Герберштейна на мнение о России было стремительным, его текст был использован уже Кромером, изменил оценки в новом издании хроники Бельского, позднее был принят как один из важнейших источников М. Стрыйковским, использовался в *Истории о князя великого мос-*

---

<sup>50</sup> Карнаухова Д. В. Формирование исторического образа Руси... С. 59.

<sup>51</sup> Воспроизведено: Radziszewska J. Maciej Strykowski... S. 100-101.

<sup>52</sup> Герберштейн С. Записки... С. 355-356, 365. Воспроизведено: Россия в первой половине XVI в... С. 131.

<sup>53</sup> Этот портрет в издании М. Бельского 1564 г. не учитывается в исследовании европейских стихов об Иване Грозном: Капугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный: (Теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя). М., 1998. С. 210-212.



ковского делех А. М. Курбским, читался в окружении Стефана Батория как правдивое описание соседа.

С первых лет войны против России в Польско-Литовской унии велись переговоры о создании объединенной республики и перенесении всех «нелитовских» территорий ВКЛ под управление Короны Польской. Король проявил непреклонность и вплоть до смерти оставался при своем взгляде на принадлежность этих земель. Однако его позиция, несмотря на положительное решение вопроса уже на Люблинском сейме, не была в полной мере принята<sup>54</sup>. Переговоры волынской делегации о присоединении Киевского воеводства к Волынскому предполагали, что Волыни «принадлежит» также Брацлавское и Винницкое воеводство<sup>55</sup>. Король и его сторонники стремились устранить связь между спорными с Россией территориями и *Русью* как историко-территориальной общностью. Поэтому речь шла не только о присяге этих земель польскому королю, но и о переходе на латынь и польский язык. Этого как раз добиться не удалось, и даже после инкорпорации значительная автономия поддерживалась в русских землях Короны. *Русью* волынцы на Люблинском сейме называют Великое Княжество Литовское, от которого они решились отступить лишь под давлением господаря и при условии сохранения русского языка, своего законодательства, неприкосновенности недвижимости и княжеских привилегий, равенства в правах с коронной шляхтой<sup>56</sup>. Для Сигизмунда II имел значение не только переход инкорпорированных земель в новое подданство, которое было определяющим для их судьбы в составе республики после его смерти и при возможной последующей сепаратной элекции в русских и польских землях. Короля беспокоило также, какой будет их культурно-языковая ориентация, а перемены именно в этой области могли бы в перспективе лишить аргументы Москвы формального основания<sup>57</sup>.

После смерти короля Сигизмунда II Августа царь не принял предложения об участии своих детей в элекции, пытаясь навязать

---

<sup>54</sup> AGAD. AR. Dz. V. Sygn. 2044. S. 14 (Я. И. Ходкевич М. Ю. Радзивиллу, 28 мая 1569 г.).

<sup>55</sup> Mazur K. W stronę integracji z Koroną: Sejmiki Wołynia i Ukrainy w latach 1569–1648. Warszawa, 2006. S. 41, 44, 54.

<sup>56</sup> Ibid. S. 34–36, 349–402.

<sup>57</sup> Halecki O. Przyłączenie... S. 177, 182–183.

собственный проект наследования престола. Впечатление от предложений царя, зачитанных в сенате 19 апреля 1573 г. М. Б. Гарабурдой, было сопоставимо с тем, которое вызвало прочтение царского письма после потери Полоцка<sup>58</sup>. Царь требовал отдать ему Киев и всю Ливонию до Курляндии, пытался разорвать унию и избираться только на трон ВКЛ, уступая трон в Короне Польской имперскому кандидату. Чтение этого обращения получило отражение в *Польской хронике* И. Бельского и было определено им как решающее в отказе от кандидатуры царя<sup>59</sup>. Ответ царю был послан с намеренным промедлением, которое литовская рада оправдывала моровым поветрием и задержками Гарабурды в пути<sup>60</sup>. Элекционные перспективы Ивана Грозного таяли по мере обсуждения и разоблачения его намерений, слухи о которых наполнялись угрожающими подтекстами для Короны Польской, ВКЛ и для унии как единого целого, и среди прочего обсуждались возможные территориальные потери унии в случае занятия трона самим царем.

Помимо перспектив разрыва унии элита Речи Посполитой опасалась военного вторжения московитов в ходе избирательных кампаний и вскоре после них. Разжигание военной угрозы в качестве политической технологии было особенно действенным в тех регионах, на которые распространялись споры о «Киевском наследстве». Слухи о подготовке царя к походу для осуществления своих планов держали в напряжении киевскую шляхту в 1575 г., а во время конвокационного сейма января 1576 г. сын киевского воеводы К. К. Острожский вызвал замешательство и подозрения в корыстолюбии, когда призвал укрепить вверенный ему киевский замок против московских сил, якобы собирающихся под Черниговом<sup>61</sup>. В сентябре 1579 г. князь К. К. Острожский делился своими планами с гетманом польным К. М. Радзивиллом: в его планы входило отвоевание у Москвы левобережного Днепра — Чернигова, а за ним Северной земли. Эти ожидания на восста-

---

<sup>58</sup> Biblioteka Czartoryskich. Teki Naruszewicza. Rkps 81. S. 15-17, 155-159, здесь реляция о ходе посольства у царя: с. 329-339. Копия реляции о посольстве Михаила Гарабурды у царя: BCz. Rkps 1585. K. 188-197v.

<sup>59</sup> *Флоря Б. Н.* Русско-польские отношения... С. 89.

<sup>60</sup> AGAD. AR. Dz. II. Dokumenty historyczne. Teka 1. Sygn. 89. S. 1-2; Sygn. 91. S. 1-10; Sygn. 92. S. 1-8; BJ. Rkps Akc. 3/52. K. 125v.

<sup>61</sup> *Mazur K.* W stronę integracji z Koroną... S. 48, 50-51.

новление юго-восточных пределов Речи Посполитой в границах конца XV в. могли оправдаться, если бы король прислушался к предложению Константина Острожского и прислал пехоту<sup>62</sup>. Древности Чернигова, сопоставимые с киевскими, имели далеко не антикварный смысл для крупнейшего магната Речи Посполитой, а приближали, по его мнению, «восстановление» Киевской империи. Надежды на присвоение Киевского наследства в равной мере питали в 1570-е годы ближайшие родственники Острожских, князья Олельковичи-Слуцкие.

Антимосковская пропаганда зазвучала в Речи Посполитой еще убедительнее, когда из Москвы вернулось посольство воеводы влоцлавского Я. Кротоского. 28 августа 1570 г. подканцлер ВКЛ О. Б. Волович заметил в письме к надворному маршалку ВКЛ М. К. Радзивиллу, что «грубый тиран» своим обращением с послами показал свое истинное лицо, о котором ранее многие только догадывались<sup>63</sup>. Показания бежавшего из России Шлихтинга о зверствах царя, кратко изложенные в письме Воловича М. К. Радзивиллу Сиротке от 23 ноября 1570 г., легли в основу записки Шлихтинга о Московии, использованной позднее в хронике Стрыйковским и Гваньини<sup>64</sup>.

Московская сторона, как ясно из результатов этого посольства, приложила значительные усилия, чтобы дискредитировать противника, опровергнуть претензии на владения московских великих князей, а также легенду о получении Ливонии Ягеллонами от императоров Священной Римской Империи. После смерти Сигизмунда II российская дипломатия рассматривала несколько возможностей воспользоваться бескоролевьем в Речи

---

<sup>62</sup> AGAD. AR. Dz. V. Sygn. 11078. S. 98 (28 сентября 1579 г.).

<sup>63</sup> Ibid. Sygn. 17959/I. S. 185.

<sup>64</sup> Ibid. S. 205; подробнее см.: *Grala H. Wokół dzieła i osoby Alberta Schlichtinga. (Przyczynek do dziejów propagandy antymoskiewskiej w drugiej połowie XVI w.) // Studia Źródłoznawcze. Warszawa, 2000. T. XXXVIII. S. 46. См. также: Старостина И. П. Иван Грозный в изображении Шлихтинга-Стрыйковского // Восточная Европа в древности и средневековье: X Чтения памяти В. Т. Пашуто: Материалы конференции. М., 1998. С. 112-117. Зависимость Стрыйковского от Шлихтинга не учтена в работе, вышедшей уже после появления публикаций И. Грали и И. П. Старостиной: *Jurkiewicz J. Czy tylko plagiat? S. 92.**

Посполитой<sup>65</sup>. Помимо наиболее радужной надежды превратить Речь Посполитую и Московское царство в одно государство с двумя королевствами и одним великим княжеством учитывались перспективы отделения ВКЛ от Речи Посполитой и правления там московского кандидата, а также занятие королевского престола Эрнестом Габсбургом. Последний вариант считался в Москве оптимистичным как в случае перехода Литвы под власть царя, так и при сохранении польско-литовской унии. В ответе посланникам Максимилиана II Я. Кобенцлю и Д. Принцу в 1575 г. царь выражает симпатии имперской кандидатуре и надежды, что в случае сепаратной элекции в Польше и Литве первая достанется эрцгерцогу, а Литва, Киевская земля и Ливония с Курляндией — царю<sup>66</sup>. Сепаратная элекция с юридическим сохранением государственности, но фактическим разделом Речи Посполитой между Империей и Россией казалась царю и во второе польское бескорольевье лучшим выходом для соседа, о чем он прямо писал Панам Рад в январе 1576 г.<sup>67</sup> Проект московского царя, получивший известность в Речи Посполитой, вряд ли мог быть новостью, если учитывать предложения Ивана Грозного литовским сенаторам еще в ответе Ф. Воропаю в сентябре 1572 г., М. Гарабурде в начале 1573 г. и К. Граевскому уже после побега Генриха Валуа, допускавшие избрание московского кандидата в одной Литве.

\* \* \*

Новый виток противостояния инициировал Иван IV во время Ливонского похода, добавив масла в огонь своими письмами А. И. Полубенскому, Я. И. Ходкевичу, А. М. Курбскому летом и осенью 1577 г.<sup>68</sup>. В своем письме от 9 июля 1577 г., направлен-

<sup>65</sup> *Ланно И. И.* Великое Княжество Литовское за время от заключения Люблинской унии до смерти Стефана Батория (1569–1586). Опыт исследования политического и общественного строя. СПб., 1901. Т. 1. С. 106–109.

<sup>66</sup> AGAD. AR. Dz. II. TeKa 1. Sygn. 89a. S. 10.

<sup>67</sup> AGAD. AR. Dz. II. TeKa 2. Sygn. 106. S. 1–4 (письмо Ивана Грозного к Панам Рад ВКЛ от января 1576 г.); Sygn. 110. S. 1–5 (ответ Панов Рад ВКЛ от 21 февраля 1576 г.).

<sup>68</sup> *Форстен Г. В.* Балтийский вопрос в XVI и XVII столетиях: (1544–1648). Т. I. Борьба из-за Ливонии. СПб., 1893. С. 131; *Филлюшкин А. И.* Дискурсы Ливонской войны // *Ab Imperio*. 2001. № 4. С. 48, 51.

ном из Пскова старосте вольмарскому и зегевольдскому кн. А. И. Полубенскому перед походом московского войска в Ливонию, царь начал рассказ о своей власти от Сотворения Мира и особенно ярко изобразил спасительное для вселенной и прославленное Богом правление Цезаря Августа:

«...якоже божественным своим рождеством Августа кесаря прославив в его же кесарство родитися благоизволи, и его и тем воспрослави и распространи его царство, дарова ему не токмо римскою властью, но и всею вселенною владети, и Готфы, и Савроматы, и Италия, вся Далматия и Натолия и Макидония и ино бо – Ази и Асия и Сирия и Междоречье и Египет и Еросалим, и даже до предел Перских. И сице обладающею Августу всею вселенною и посади брата своего Пруса во град глаголемый Малборок и Торун и Хвойницу и преславный Гданеск по реке глаголемую Неман, яже течет в море Варяжское. Господу же нашему Иисусу Христу смотрения тайну совершившу, посла божественныя своя ученики в весь мир просветити вселенную»<sup>69</sup>.

Право на Пруссию разрабатывалось в Москве на рубеже 1510-х и 1520-х годов и позднее упоминалось Иваном IV с оговоркой о том, что на саму территорию Пруссии он не претендует. В московской литературной традиции представление о родстве Пруса и Августа возникло не сразу. В послании Спиридона-Саввы еще не говорилось о том, кем приходился Прус Цезарю Августу. Но уже в *Сказании о князьях владимирских*, составленном до 1533 г. и неоднократно перерабатывавшемся до 1561 г., Прус был назван «сродником» Августа, а в версиях *Сказания* 1540-х – 1560-х гг. он — его «брат» и предок Рюрика в 14-м или, по распространенной ошибке, даже в 4-м колене<sup>70</sup>. Римский император получил всю вселенную в награду за то, что оказывается современником Рождества. Тем не менее, ни царство Августа, ни царство Пруса не отличались благочестием. Новое качество имперской власти возникло, когда прекратились гонения на христиан. В Римской империи при Константине Флавии, в Российской

<sup>69</sup> ПИГ. С. 200.

<sup>70</sup> Мыльников А. С. Мифологемы «Кесарь Август» и «Москва — третий Рим», или Московская страница в истории европейского измерения славянского мира // Славяне и их соседи. Славянский мир между Римом и Константинополем. М., 2004. Вып. 11. С. 184-208, здесь с. 194.

земле в правление Владимира Святославича, «второго Павла» равного «великому Константину», занимающего 17-е «колено» (поколение) от Пруса<sup>71</sup>. В риторике последних лет правления Ивана Грозного Август и Прус осмыслены в качестве политических метафор, наделяющих легитимностью проект раздела Речи Посполитой между Империей и Россией. Кроме того, в легенде о Прусе возникла эффектная параллель родства Владимира и Пруса с родством царя Ивана и Владимира, так как в Степенной книге современное царство было воссоздано как 17-я степень от Владимира Крестителя<sup>72</sup>.

Ответ на письма Ивана Грозного, разосланные летом 1577 г., прозвучал в Речи Посполитой публично. В Инструкции послам на сеймики Великого княжества Литовского от 2 ноября 1577 г. было предписано обратить внимание на претензии противника в Ливонии:

«Потреба се и на то огледати, иж Московский з давних веков и продков своих менить мети право на землю Прусскую, выводечи, якобы продькове его Кгданск, Малборьк, Хоиницу и иныя места пруские заложьти мели, который вывод свой шыроко выписал князю Алексьаньдру Полубеньскому, а он его королевской милости до рук одослал. А так не треба в том ничего вонтьпити, иж бы се тот неприятель, окрутенством пануючы, и о землю Прусскую за тою прылеглостью, которую опановал, певне кусить, нехай теперь того жаден не розумееть, абы ве Великое князство Литовьское тым способом, як перед тым без земли Лифлянтьское обыти и безпечно быти мело. Иншыый час был оного веку, кгда крыжаки сами толко в

<sup>71</sup> Там же. С. 201.

<sup>72</sup> *Miller D.* The Velikie Minei Chetii and the Stepennaia kniga of Metropolitan Macarii and the Origins of Russian National Consciousness // FOG. 1979. Bd. 26. S. 263-382; *Покровский Н. Н.* Исторические постулаты Степенной книги царского родословия // Исторические источники и литературные памятники XVI–XX вв.: Развитие традиций. Новосибирск, 2004. С. 3-36; *Суренов А. В.* Формирование идеологии русской монархии в XVI в. и Степенная книга // Cahiers du Monde russe. 2005. Т. 46. № 1-2. Р. 337-344; *Усачев А. С.* Образ Владимира Святославича в Степенной книге: Как работал русский книжник середины XVI в.? // Диалог со временем. М., 2005. Вып. 14. С. 66-105; *Ленхофф Ф. Д.* Степенная книга: замысел, идеология, адресация // Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам. М., 2007. Т. 1. С. 120-144.

Ыфляньтех розказовали, которые будучы обычаев народом хрестьянским прывыклых иначе ся Великому князству Литовскому ставили и вечным миром успокоены были и овым воины уставичные ведучи з Московским, немалую оборону от свое стороны Великому князству Литовскому чынили»<sup>73</sup>.

Прус, таким образом, был объявлен мистификацией. Впрочем, происхождение Пруссии от Пруса обсуждалось и в европейской историографии. Стронником этой версии был лейпцигский историк Э. Штюлер (Erasmus Stella, ум. 1521 г.), автор книги *De Borussiae antiquitatibus libri duo*. Длугош и вслед за ним Кромер убеждены в преемственности Пруссии от Римской империи. Прусская столица *Romnove* произведена от *Roma nova*, основана римским князем Libo, от имени которого образованы названия *Livonia* и *Litwania*<sup>74</sup>. Меховский ведет право Короны на Пруссию с похода первого польского короля Болеслава Храброго и передает версию о происхождении Пруссии от короля азиатской Битинии по имени *Prusse*, правившего в древней «столице турецких королей» Бруссе. Он был современником Ганнибала, вел на его стороне войну против Рима, но был разгромлен и вместе с греками и азиатами ушел на север, где основал за 200 лет до Р. Х. Прусскую землю<sup>75</sup>. Ваповский и вслед за ним Бельский во втором издании *Хроники всего света* и Стрыйковский в поэме *О началах* подвергли сомнению легенду о Пруссе<sup>76</sup>. Стрыйковский, знавший мнения предшествующих польских историков и базельское издание книги Штюлера 1575 года, передавал этиологическую легенду в поэтической форме:

«Как от Леха — Лехи, от Чеха — Чехи,  
Русь — от Руса, от Пруса названы Прусы»<sup>77</sup>.

Поэтические задачи не затмевают сомнений, о которых поэт, превращаясь в историка, пишет в своем комментарии, утверждая,

---

<sup>73</sup> Российский государственный архив древних актов. Ф. 389. Оп. 1. Д. 60. Л. 140-140 об.

<sup>74</sup> *Strykowski M. O początках...* S. 71, 73 (Стрыйковскому Длугош известен в пересказе Кромера, в изданиях 1558 и 1568 гг. — см. там же во введении Ю. Радзишевской, с. 14-15).

<sup>75</sup> Польский перевод приведен в: *Ibid.* S. 73.

<sup>76</sup> *Ibid.* S. 74.

<sup>77</sup> *Ibid.* S. 56.

что древние пруссы “byli z Litwą jednego narodu”, и когда *новые пруссы*, крестоносцы, сражались с литвинами, *древние пруссы* были более склонны поддерживать литвинов, чем немцев<sup>78</sup>. Когда первый великий князь Литовский Рынгольт Альгимунтович готовил поход против немцев, границы против крестоносцев обороняли пруссы, литва и жмудь, и им почти удалось изгнать противника из Пруссии, но с польской помощью вновь ввели Орден в Ливонию<sup>79</sup>. На основе версии Штюлера в эпической поэме *О началах* создана концепция отношений между Пруссией и Литвой, решающая «пруссский вопрос» в пользу Литвы и в ущерб сразу трем ее конкурентам — Польше, Империи и России<sup>80</sup>. В *Хронике*, вышедшей в 1582 г. в иных условиях, Стрыйковский меняет острие полемики: там нет упоминания о европейских легендах, но подвержена критике московская история о Прусе<sup>81</sup>.

В европейской пропаганде с начала 1550-х гг. распространялось убеждение в планах «Мосоха» захватить Пруссию. Потеря ее территории воспринималась в Польше как потенциальное начало решающего поражения в войне с Россией, которое может неминуемо привести к захвату всей республики. Когда 25 февраля 1563 г. в Петрков пришла весть о взятии царем Полоцка, канцлер от имени короля призвал собравшуюся на сейм шляхту к мобилизации: «ибо уже на кону Пруссия и Инфлянты, а следующая — Польша»<sup>82</sup>. Преувеличения польской пропаганды в прусском вопросе сопоставимы с тем, как отозвались в Короне

---

<sup>78</sup> Пруссос и литвинов Стрыйковский производит от готов, часть которых из-за чужого народа перепутала язык (“przez obsu naród zmylili język”) и еще сохранилась в нескольких десятках деревень за Кенигсбергом в сторону Литвы — их языка никто не понимает кроме них самих. Далее ключевой для аргументации личный опыт: Стрыйковский слышал и речь, когда бывал в Гданьске, и считает, что она похожа на речь литвинов-куров, живущих на Куронском заливе (Ibid. S. 74, далее обсуждается также версия финского происхождения литвинов и пруссов, отождествление прусской земли с родиной массагетов, происхождение Литвы от подданных алан-литвина и прусского короля Литалана).

<sup>79</sup> Ibid. S. 188 и сл.

<sup>80</sup> История короля Вейденута и его потомства подробно см.: Ibid. S. 80-85.

<sup>81</sup> На обсуждение московских представлений о Прусе в хронике не обратила внимания Ю. Радзишевская, перечисляя отличия *Хроники* от эпоса *О началах*.

<sup>82</sup> Źródłopisma do dziejów unii Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Poznań, 1856. Cz. II. S. 102.



Польской и ВКЛ претензии Ивана Грозного на Галич. В обоих случаях пропаганда обращалась к историческому мифотворчеству противника, чтобы показать, насколько страшна угроза нашествия варваров: *hodie mihi cras tibi*. Страхи за немецкие земли отразились на переизданных в 1567 г. на немецком языке *Записках* Герберштейна. Одно из дополнений, повествующее о войнах московитов с поляками, здесь гласит: «Вследствие столь многочисленных походов и славных деяний имя московитов стало предметом великих страхов для всех соседних народов и даже в немецких землях, так что возникает опасение, что господь по великим нашим грехам и преступлениям, если не обратимся к нему с искренним раскаянием, подвергнет нас тяжким испытанием от московитов, турок или каких-либо других великих монархов и строго покарает нас»<sup>83</sup>. Уже на Люблинском сейме в 1569 г. звучало предложение по примеру Волыни, Брацлавщины и Подляшья обособить от Литвы Жмудь и присоединить ее к Пруссии<sup>84</sup>. Так могло быть достигнуто свертывание территории Литвы в границы *Russi* и тем самым ограничение московских притязаний на восстановление целостной исторической *всей Руси*. В отношениях с Москвой уверенности за вассальную Пруссию у короля было больше, чем за более независимую Литву. Эта уверенность умерла вместе с Сигизмундом II Августом. В первые же дни бескоролья прусская шляхта выдвинула претензии, что соседи ограничивают местные права и свободы, и потребовала рассмотреть эту жалобу на готовящемся сейме Речи Посполитой<sup>85</sup>. Памфлетист и противник германской экспансии Петр Мычельский в начале 1573 г. убежден, что Пруссия, Поморье и Ливония стремятся обособиться от Речи Посполитой и добиваются этого с помощью Империи, и только избрание на польский трон московского царя заставит их выполнять ленные обязательства<sup>86</sup>. На фоне растущего прусского сепаратизма и польско-литовских несогласий об

<sup>83</sup> *Герберштейн С. Записки...* С. 78. Далее ссылка на историю московитов в изложении П. Йовия и М. Кромера.

<sup>84</sup> AGAD. AR. Dz. V. Sygn. 2044. S. 17 (Я. И. Ходкевич М. Я. Радзивиллу, 31 мая 1569 г.).

<sup>85</sup> AGAD. AR. Dz. V. Sygn. 2627 (воевода мальборский Ахаций Чема М. Ю. Радзивиллу, 13 августа 1572 г.).

<sup>86</sup> *Czubek J. Pisma polityczne...* S. 373-374, 395; *Флоря Б. Н.* Русско-польские отношения... С. 72-73.

административной принадлежности Пруссии угрожающе выглядели попытки Ивана Грозного с помощью принца Магнуса переманить Ливонию в состав России на прусском ленном праве<sup>87</sup>.

Европейские интеллектуальные круги были осведомлены о происхождении российских государей от Августа и Пруса благодаря брошюре, вышедшей в Кёльне в 1576 г. по заказу из Москвы<sup>88</sup>. А уже в январе 1578 г. посольство Станислава Крыского натолкнулось на ультимативные требования царя признать его титульное право на владение Смоленском, Полоцком и Ливонией вплоть до Пруссии<sup>89</sup>. Ответ польско-литовской стороны на притязания Москвы был сопряжен с прочтением прошлого. Осмеяние российской исторической заготовки перерастает в особый прием идеологической борьбы в самой Речи Посполитой, одновременно позволяющий дезавуировать имперские амбиции царя и представить его в облики беспринципного агрессора<sup>90</sup>.

В окружной королевской грамоте Панам Рад ВКЛ в апреле 1578 года на дипломатических отношениях с Москвой был поставлен крест, прозвучал призыв готовиться к войне: великий князь, по словам короля, без всяких оснований называет Ливонию своей «и замки наши и княжати Курляньского с княжеством себе привлащаючи, вже границу по землю Прускую замеряет»<sup>91</sup>. На гродненских переговорах декабря 1578 года король отказался вставать с трона и спрашивать о здоровье, когда было произнесено имя царя. Это был ответ на аналогичное оскорбление со стороны Москвы. Послы вступили в спор, и отказались продолжать церемонию. Как показывает переписка О. Б. Воловича с М. Ю. Радзивиллом, для Панов Рад ВКЛ было очевидно, что нарушение посольского обычая связано, с одной стороны, с борьбой Ивана Грозного за царский титул и, с другой стороны, с московскими притязаниями на Ливонию и последующей угрозой Пруссии<sup>92</sup>.

<sup>87</sup> Гейденштейн П. Записки... С. 3.

<sup>88</sup> Дмитриева Р. П. Сказание... С. 129; Мыльников А. С. Мифологемы «Кесарь Август»... С. 196.

<sup>89</sup> См. о результатах переговоров: Гейденштейн П. Записки... С. 16.

<sup>90</sup> Lulewicz H. Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569–1588. Warszawa, 2002. S. 312–313.

<sup>91</sup> Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археологическою комиссиею. СПб., 1848. Т. 3. С. 225.

<sup>92</sup> AGAD. AR. Dz. V. Sygn. 17959/III. S. 58 (О.Б. Волович М.Ю. Радзивиллу, 9 декабря 1578 г.).

Пруссия, хотела того Москва или нет, была воспринята как сфера притязаний России, призыв защитить эту территорию звучал в пропаганде Речи Посполитой особенно выразительно, поскольку сама угроза показывала, как разрушительны для республики могут быть последствия московской экспансии. Письмо Ивана Грозного кн. А.И. Полубенскому и заявления царской дипломатии конца 1577 — середины 1579 г. были тому наглядным примером и служили основой для исторических разоблачений. Легенда об Августе и Прусе была осмеяна в письме Стефана Батория 26 июня 1579 г. Король напоминает, что отправил к царю посольство, чтобы заключить мир, а московские войска в это время уже вели боевые действия во владениях Речи Посполитой:

«Когда [королевские послы. — *К. Е.*] приехали туда к тебе и дошло до переговоров между ними и тобой в лице твоих бояр, ты слишком надменно и высокомерно им наказывал о заключении [мира] в земле Инфлянтской. И говоришь, что не хотел, однако же на наши земли и на величество наше ты набрасывался словами и письмом, не только для христианского правителя, но и для человека учтивого неприличным, вывода какое-то свое право на Корону Польскую и Великое Княжество Литовское, начиная от *Прусса*, брата *Цесаря Римского Августа*, потомком которого ты назвал себя в четырнадцатом колене. А ведь Прусса этого, который был бы Братом Августа, отродясь не было на свете, да и не было у Августа никакого брата»<sup>93</sup>.

Прус, любой другой «брат Августа», родство царя с этим братом в 14-м колене — не более чем овеществленное притязание, желаемое «право» московской власти на Корону Польскую и Великое княжество Литовское. Московская историческая легенда получила в восприятии короля Стефана и его окружения дополнительный смысл, воплощая не имперскую идею как таковую, а имперские амбиции обрести «право» на польско-литовский престол. Российская имперская идея воспринята как прикрытое историческим флером покушение на Польско-Литовское государст-

---

<sup>93</sup> BCz. Rkps. 1664. S. 97-98. Слово «мира» (*pokoiiu*) вписано над строкой. Курсивом — подчеркнуто в источнике. Речь идет о посольстве воеводы мазовецкого старосты плоцкого и добрынского Станислава Крыского с Дробнина, воеводы минского Миколая Павловича Сапеги и подскарбия дворного ВКЛ Федора Скумина Тишковича.

во. Отношение к московским претензиям и вымыслам, звучавшим на переговорах Крыского в Москве, передал Стрыйковский. Царь, по словам хрониста,

«...не дал им даже упомянуть о Лифлянтской земле и, более того, еще вспоминал всю Курляндскую землю и краев иных поморских даже до Пруссии, заявляя, что имеет наследственное право не только на это, но и на всю Пруссию и на Польское и Литовское государства по брату цесаря Октавиана Прусу, которого отродясь не было на свете и которого он лживо, основываясь на лживых баснях, бесстыдно называл себя потомком в четырнадцатом колене»<sup>94</sup>.

Слова «которого отродясь не было на свете» (*który jako żywo nie był na świecie*) почти буквально совпадают с текстом королевского послания 1579 г. Грозному. С дипломатическим противостоянием России и Речи Посполитой по вопросу о правах на Пруссию может быть связано то, что Стрыйковский, обсуждавший легенду о возникновении Пруссии в поэме *О началах*, не включил ее в свою хронику<sup>95</sup>. Отличает хронику от письма Батория упоминание у Стрыйковского помимо Короны Польской и ВКЛ «всей Пруссии» (*wszystkich Prus*) в претензиях Ивана IV. Небольшой отрывок, ставший хроникальной записью, впитал пропагандистскую модель осмысления дипломатического дискурса, превращавшую политику в историю и, наоборот, служившую рессорой для историзации политического участия.

Еще через год польский король намекал на претензии царя и заявил, что сам не нуждается в том, что не принадлежит его королевскому достоинству: «тытулов малопотребных не желаем»<sup>96</sup>. Под Великими Луками 29 августа 1580 г. Стефан Баторий принимал московское посольство кн. И. В. Сицкого, уже захватив Велиж и Усвят и рассчитывая на значительные уступки. Однако вопреки ожиданиям в титуле московского господаря прозвучали Полоцк и «вся Инфлянцкая земля»<sup>97</sup>. Царь в доказательство сво-

<sup>94</sup> Strykowski M. Kronika polska, litewska, zmodzka i wszystkiej Rusi. Warszawa, 1846. Т. II. S. 426.

<sup>95</sup> См. также: Radziszewska J. Maciej Strykowski i jego dzieło // Strykowski M. O początkach... S. 21.

<sup>96</sup> РГАДА. Ф. 79. Оп. 2. Д. 5. Л. 1.

<sup>97</sup> ВЛ. Rkps 107. S. 359.

их прав на Ливонию послал в Речь Посполитую списки со старых грамот. Переговоры с посольством А. М. Пушкина в начале 1581 г. проходили в ожидании полного отречения России от Ливонии, а в придворных кругах и среди магнатории Речи Посполитой обсуждалось возвращение Полоцка и Заволочья<sup>98</sup>. Исторические экскурсы московской стороны в этой ситуации были беспомощны: противник не признавал ни спорных титулов Ивана Грозного, ни древних прав московских государей, ни легендарных царственных предков великих князей, — и оценивал все подобные темы как затягивание переговоров. В начале августа 1581 г. было составлено королевское послание, в котором исторические знания великого князя были подвержены бескомпромиссной оценке:

«Каждый подданный повинен есть пану своему, а в тых листех которые еси нам послал того нет; оказуешься за того, ж не толко псалмы пишно чтеш, але и летописцы. Чтеш правдивых летописцов, а не тверди басен бахорев своих, або того себе не змышляй, чего в речи николи не было, яко еси смыслил о Прусе брате своем Августовом, в чом дурное змышлене твое. Вжо есть явно всему хрестьянству за казаньем в том легкомыслности и фалшу твоего. Але тым листом так слабым, с которым еси послал, ещо нет сполна лет ста»<sup>99</sup>.

Правдивые летописцы помещены здесь в оппозицию «басням бахорев» именно в том значении, в котором басни (*fabula*) противостоят правдивым рассказам в исторических трактатах Кромера или Курбского. Вероятно, на удостоверение в Речь Посполитую были отправлены списки договоров Василия II и Ивана III с Ливонией или даже только список с договора 1503 г. При всем желании связать эти тексты с легендой о происхождении русских государей от Пруса было немыслимо. Европейской дипломатии конструкции, сходные с московской генеалогической легендой, были хорошо известны еще со времен Средневековья, но такие тексты, как *О даре Константина* Л. Валла, предлагали средство для разоблачения «фалшу» и «дурного змышления». В историческую память европейцев вошла неудача российских ис-

---

<sup>98</sup> AGAD. AR. Dz. V. Sygn. 75. S. 2 (Д. Аламани княгине К. с Тенчина Слуцкой, 31 мая 1581 г.).

<sup>99</sup> РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Кн. 13. Л. 299-299 об.

ториков в одном из самых насущных вопросов «посольской» историографии, организующем историко-географические права и имперскую легитимацию правящей династии. Как мы видели, историческая легенда московитов обсуждалась на сеймовых совещаниях, ее высмеяли король и его окружение. Историки присоединились. По словам Р. Гейденштейна, в письме к королю царь «выводил свой род от какого-то Прусса, брата Августа Цезаря, никому раньше неизвестного, о котором он утверждал, будто бы он управлял в Хойнице и Мариенбурге и на обширном пространстве в остальной Пруссии, для того, чтобы тем заявить притязание на господство до самых границ Пруссии»<sup>100</sup>. Происхождение Грозного «от брата славного римского императора Августа по имени Прус» сам царь, по словам П. Петрея, «ничем не мог доказать»<sup>101</sup>.

Согласно ответу Ивана IV Баторию от сентября 1581 г., прошлое русских князей было наполнено победами и славой по всей вселенной. Царю, впрочем, требовалось доказать, что это прошлое имеет отношение к московским государям. Дипломатические заявления московской власти в последний год войны не отражают ни уверенности в происхождении московских государей от Пруса, ни угроз о превращении вопроса о Прусе в «Прусский вопрос»: «А что пишет о Прусе, будто мы то не гараздо пишем, что он не был, и Стефан бы корол то нам указал, коли уж Пруса на сем свете не было, почему ныне называетца Прусская земля, от ково она то прозвище взяла? А мы то писали для своего государства, извещая откудова наше государство пошло. А под ним Прусские земли не подискиваем»<sup>102</sup>. От претензий на Прусскую землю царь демонстративно отказывался, как если бы их с русской стороны никогда не было, но историю о крестоносцах в Ливонии разоблачал как не имеющую отношения к Речи Посполитой. Ивану IV кажется удачным приведенный в письме короля Стефана пример войны короля Казимира Ягеллончика с Пруссией, поскольку это была такая же война короля за свою вотчину, как и война царя за Ливонию. Царь увеличивает число историче-

---

<sup>100</sup> Гейденштейн Р. Записки о московской войне. СПб., 1889. С. 5.

<sup>101</sup> Алпатов М. А. Русская историческая мысль... М., 1976. С. 59; Мельников А. С. Картина славянского мира... СПб., 1996. С. 215-216.

<sup>102</sup> РГАДА. Ф. 78. Оп. 1. Кн. 1. Л. 281; ПДС. Т. X. Стб. 231.

ских параллелей. Пример Альбрехта Гогенцоллерна, племянника короля Сигизмунда I Старого по сестре («сестренца»), по его мнению, показывал, что Пруссия действительно подчиняется Речи Посполитой, в отличие от Ливонии, из которой магистры и князья к прежним польским королям не «прихаживали». При этом «забвению» в послании Ивана Грозного предана война 1519–1521 гг. между Альбрехтом Прусским и Сигизмундом Старым, вызванная отказом магистра признавать Торунский договор 1466 г. о «голде» Пруссии польскому королю. Война формально закончилась «пруссим голдом» Альбрехта польскому королю и Краковским трактатом 1525 г. Три десятилетия спустя Альбрехт принял участие в разжигании Ливонской войны. В 1552–1553 гг. он вел секретные переговоры с Сигизмундом II Августом о создании условий для присоединения Ордена к Польше. С датским королем Христианом III он обсуждал возвращение Дании Харрина, Вирланда и Ревеля. Поводом для вмешательства Сигизмунда II в ливонские дела стали условия не вступать ни в какие соглашения с польским королем, выдвинутые ливонскими сословиями протезе Альбрехта герцогу Кристоферу Мекленбургскому при его избрании на должность коадьютора рижского архиепископа. Степень осведомленности Ивана IV об этих планах остается загадкой. Продление перемирия с ВКЛ в 1556 г., возможно, сопровождалось обсуждением мирного раздела Ливонии между Россией и Польско-Литовской унией<sup>103</sup>.

Царь постоянно возвращается к острому и спорному вопросу о предыстории ливонской войны и не сдерживается, чтобы поспорить, кто лучше знает историю: «И он пишет нам, что мы пишем неведомостью, а он сам пишет неведомостью. А Ягайло и до королевства был ведом, что он великого роду. А что пишет, что крыжакков тех земли лифляньские занехал, и он бы указал, какую Ягайло крепость на них имел. А и сам о том писал, кабы нас почествуючи, что прежние короли некоторого права над Лифляньскою землею не имели». Никакие наследственные права на Ливонию царь за королями польскими и великими князьями литовскими не признавал и

---

<sup>103</sup> Подробнее см.: *Tiberg E. Zur Vorgeschichte des Livländischen Krieges. Die Beziehungen zwischen Moskau und Litauen 1549–1562.* Uppsala, 1984. S. 92-95; *Kirby D. Northern Europe...* P. 69-70, 73, 86-88, 109.

напоминал, что король «сам писал, что при Жигимонте Августе короле и при нем то дело началось»<sup>104</sup>. История из способа легитимации превращается в посланиях царя в череду неразрешенных проблем. Приходится доказывать, что примеры из прошлого приведены «не от своего умыслу», а «с полною ведомостью». Эта историческая правда звучит не так ультимативно, как два десятилетия назад, когда масштабная работа Посольского приказа и связанных с ним ведомств подводила дискурсивные «основанья» под российское «кровопролитье» в Ливонии.

Разоблачительные заявления Батория в переписке с Иваном Грозным и особенно во время переговоров под Ямом Запольским в 1581–1582 гг., подкрепленные военными успехами короля, лишили московские исторические легенды их былой привлекательности. Противостояние историй получило наивысшее воплощение в своеобразном историко-идеологическом жесте. В июле – начале августа 1581 г. в королевском военном лагере готовился ответ на обширное и язвительное послание царя, к этому ответу были присоединены сочинения о тирании «Московита». В опровержение генеалогической легенды о происхождении литовских князей Иван Васильевич получил полоцкую летопись, а о московской тирании — целую подборку, в которую вошли *Записки о Московии* Герберштейна, *Описание Европейской Сарматии* Гваньини и *Вандалия* А. Кранция<sup>105</sup>, причем король (его письмо составлялось коллективно под руководством канцлера Я. Замоиского) обещал, в случае необходимости, прислать царю другие сочинения<sup>106</sup>. Реак-

---

<sup>104</sup> РГАДА. Ф. 78. Оп. 1. Кн. 1. Л. 266 об.; ПДС. Т. X. Стб. 218.

<sup>105</sup> *Новодворский В.* Борьба за Ливонию... С. 219–220. Прим. 3; *Grala H.* Die Rezeption der “Rerum Moscoviticarum Commentarii” des Sigismund von Herberstein in Polen-Litauen in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts // 450 Jahre... S. 322. Сочинения Герберштейна и Кранция были в распоряжении Стрыйковского при написании им *О началах* и *Хроники*. Подготовка к переизданию *Описания* Гваньини, поднесенного самозванным автором королю, видимо, связана с этим «историографическим демаршем» против Ивана Грозного.

<sup>106</sup> РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Кн. 13. Л. 333 об. К этому событию Гваньини должен был поднести королю экземпляр подготовленной им хроники, что повлекло за собой судебный процесс со Стрыйковским. Примерно в то же время, вероятно, составлялись другие сочинения о тирании Ивана Грозного. Одно из них — *История* А. М. Курбского. Как раз тогда король или, вероят-



ция царя на эту посылку также известна, и из ответа ясно, что прислана была одна книга с выписками: «А что прислал к нам книгу свою, и мы коли вычтем, тогда тому и ответ учиним»<sup>107</sup>.

\* \* \*

Из сочинений, которые были посланы царю, только одно касалось современного положения дел в России — *Описание Гваньини*, принадлежащее в значительной мере или полностью перу Стрыйковского и в оценке Ивана Грозного опирающееся на записку Шлихтинга. В ходе нашей работы мы уже сталкивались с двойственной позицией Стрыйковского в оценке настоящего и прошлого России. Споры о культурно-политической идентификации этого писателя-воина могут быть сведены к трем точкам зрения, каждая из которых находит подтверждение в его текстах разных периодов. Ориентация его *Гонца добродетели*, исторической «рапсодии» *О началах* и *Хроники* на клан православных магнатов ВКЛ заслуживает более подробного рассмотрения в связи с культурной идентичностью автора. Аудитория Стрыйковского — польскоязычная. Согласно Ю. Бардаху и Ю. Радзишевской, он был «польским патриотом», стремился ознакомить польскую публику с деяниями Руси и Литвы. Неосуществленными остались его планы перевести Длугоша на польский язык и издать свою хронику на латыни и немецком<sup>108</sup>. Впрочем, польский язык в магнатской среде ВКЛ воспринимался как язык утонченной литературы и просвещения, а уния идея Стрыйковского отличается от концепции «республики обоих народов». Показательный факт: в *Описании*, вышедшем почти через десять лет после подписания Люблинской унии, только западное Подляшье названо в числе коронных воеводств<sup>109</sup>. З. Войтковяк отметил,

---

нее, канцлер Ян Замойский проявил интерес к переписке Курбского с Иваном Грозным. Подробнее см.: *Юзефович Л. А.* Стефан Баторий о переписке Ивана Грозного и Курбского // АЕ за 1974 год. М., 1975. С. 143-144; *Грехем Х. Ф.* Вновь о переписке Грозного и Курбского // ВИ. 1984. № 5. С. 174-178.

<sup>107</sup> РГАДА. Ф. 78. Оп. 1. Кн. 1. Л. 284 об.

<sup>108</sup> *Bardach J.* Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVII w. Warszawa, 1970. S. 73-74; *Radziszewska J.* Maciej Strykowski... S. 12, 67-70.

<sup>109</sup> *Jurkiewicz J.* Czy tylko plagiat? S. 86.

что отрывки на литовском языке вошли только в поэму *О началах*, написанную на дворе Слуцких, и не отразились в *Описании и Хронике*<sup>110</sup>. Язык маркировал политическое участие народа, и можно предположить, что мера литовского, как и московского, участия в делах Сарматии была автором в хронике приглушена. Как заметил А. Миронович, свою хронику, в отличие от поэмы, Стрыйковский адресовал всем магнатам и шляхте Литвы<sup>111</sup>.

Эклектичный и эрудитский по духу опус Стрыйковского *О началах* вместил предысторию сарматских народов, позаимствованную им у «стародавнего» славянского историка, сочинение которого он раздобыл в Кракове и хранил в своей личной библиотеке. Прежде чем задаться вопросом, что за краковская рукопись была в его распоряжении, рассмотрим ее историческую канву. Появление литвинов и жмуди на полотне истории после поражения князя Романа Мстиславича Галицкого под Завихостом сопровождается подробным изложением этногенетической легенды таинственного манускрипта о происхождении народов «северных земель азиатской и европейской Сарматии». Согласно легенде, один из рыцарей Немрода по имени Мид (Med) или Мадем, заложив Мидию (Medya), добрался до Москвы. Там внук Иафета и шестой сын Немрода по имени Москва родил двух близнецов Леха и Чеха, а также Москву и Руса — предков поляков, чехов, московитов и русских. У Леха родилось три сына — Литва, Кашуба и Самога, предки литвинов, жмуди и прусско-поморских кашубов. Все они должны были говорить по-русски, но забыли свой “język ruskі przyrodzony”, обитая в окружении других народов. Через 375 лет после Потопа умер 270-летний Москва. Младшие братья заложили свои города: на реке Москве — Москву и на Немане — Руссу. История возводилась, как и указывал Стрыйковский, к древнеавилонскому жрецу Беросу и всплыла в конце XV в. в обработке — или под авторством — доминиканского монаха Г. Нанни из Витербо. Она была незначительно уточнена хронистом по Герберштейну и Децию: первый

<sup>110</sup> *Wojtkowiak Z. Maciej Strykowski...* S. 44-45, 203.

<sup>111</sup> *Mironowicz A. Latopisy supraskie jako jedno ze źródeł “Kroniki Polskiej” Macieja Strykowskiego // Studia polsko-litewsko-białoruskie. Warszawa, 1988. S. 23-32, здесь с. 25; Wojtkowiak Z. Maciej Strykowski...* S. 140-174.

из них описал город Руссу на Немане как древнейший в северной Руси, а второй указывал на его старшинство во всей Руси. Вывод звучал смело для военного времени: древнейший народ в сарматских странах и предок остальных сарматских народов — москвиты. Чтобы концепция звучала не слишком экстравагантно, Стрыйковский подтвердил ее ссылками на Птолемея, Плиния, Помпония Мелу, Орозия, Овидия, Страбона и Флавию<sup>112</sup>.

Поиск аналогичных концепций сосредоточен на предполагаемых ренессансными историками потомках Иафета и топосе трех братьев, предков поляков, русских и чехов. Эпоним *Рус*, относящийся к основателю «королевства русских», среднему брату *Леха* и *Чеха*, в польской историографии восходит к *Великопольской хронике* начала XIV в. и через хронику Длугоша проникает в польскую историографию XVI в.<sup>113</sup>. Версии о происхождении славянских народов представлены в XII главе I книги хроники Кромера. Он признал достоверность «Руссы» и расположил ее в новгородской земле, однако, не обнаружив «Роса» в сочинениях Моисея, Авраама, Бероса, «а также в древних генеалогиях», опроверг свидетельство пророка Иезекииля о князьях по именам Рос, Мосох и Тубал, а также не признал «древность» и «известность» народа Россов до VII в., считая их потомками сарматского народа *Roxani*. Этот комментарий содержится лишь в первых двух изданиях хроники<sup>114</sup>. Сомнения в происхождении братьев отразились и на сочинениях Стрыйковского. Как показал З. Войтковяк, концепция Стрыйковского расходится с концепцией *Великопольской хроники*, в которой братья Лех, Чех и Рус — сыновья Панона, а не Москвы, также не известны ей сыновья Леха, причем эпоним Кашуб вообще не встречается ни в одном известном более раннем тексте<sup>115</sup>.

<sup>112</sup> Strykowski M. O początkach... S. 147-152.

<sup>113</sup> Лескинен М. В. Мифы... С. 39-68.

<sup>114</sup> Мыльников А. С. Картина славянского мира... СПб., 1996. С. 212-213; Карнаухов Д. В. Развитие представлений о номинации восточных славян в исторической мысли Польши на рубеже Средневековья и Нового времени // Вопросы всеобщей истории и историографии: Сборник научных статей памяти профессора А. В. Эдакова. Новосибирск, 2006. С. 263-279, здесь с. 266-267, 272-273.

<sup>115</sup> Wojtkowiak Z. "Starodawny historyk", "stary komentarzyk" — zapoznane źródła Strykowskiego // *Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich*. Poznań, 1984. S. 349-356, здесь с. 352.

Загадки на этом не заканчиваются. *Хроника* Стрыйковского, вышедшая в условиях войны против Ивана IV и свертывания «русских» проектов, не содержит никаких следов происхождения сарматских народов от Москвы. В *Хронике* нет упоминаний «краковско-манускрипта» и нет следов концепции «стародавнего историка»<sup>116</sup>. Стрыйковский не стремился устранять различные точки зрения, например, на причины прихода римлян в Литву и происхождение названия «Литва». Эти примеры не проясняют, почему из текста, сходного с поэмой *О началах*, в *Хронике* регулярно — разумеется, не считая прочих редакционных вторжений — устранялись сюжеты, касающиеся московского доминирования в настоящем и прошлом. По мнению З. Войтковяка, в эту закономерность не вписывается устранение отрывка о битве на реке Ведроши в 1500 г., а также связанной с ним ссылки на летописец смоленского монаха Дмитрия и другие «московские хроники», поскольку вместе со ссылками на московские источники устранен рассказ о победоносных действиях князей Гедройцев против московских войск и их успешной защите Дорогобужа. Учитывая, что одним из опекунов Стрыйковского после смерти Юрия Слуцкого и во время работы над хроникой был епископ Мельхиор Гедройц, автор считает невозможным предположение об «автоцензуре» Стрыйковского.

Однако, как нам представляется, это ненадежный контраргумент. Как позднее показал сам исследователь, еще до покровительства епископа Мельхиора в распоряжении поэта-хрониста было неизвестное ныне по другим источникам свидетельство о конфликте князя Довмонта Гедройца с великим князем Витовтом<sup>117</sup>. Мера участия «опекуна» в работе над хроникой неясна, отредактированный отрывок о битве на Ведроши — очевидно травматичный для исторической памяти Польско-Литовского государства, и характерно, что старательно устранены ссылки не только на исторический сюжет, но и на сами источники, могущие свидетельствовать о связи автора с Москвой. Ссылка на летопи-

---

<sup>116</sup> *Wojtkowiak Z. Maciej Strykowski... S. 196-198, 206.*

<sup>117</sup> *Wojtkowiak Z. O Smoleńskim Latopisie Demetriusza, nieznanym źródle Macieja Strykowskiego i o przyczynach jego "zapomnienia" // Scriptura custos memoriae. Prace historyczne. Poznań, 2001. S. 260-262.*

сец Дмитрия, написанный “Ruteno caractere antiquitus”, содержится в предисловии изданной в 1574 г. поэмы *Гонец добродетели* Стрыйковского, посвященной Я.И. Ходкевичу — речь идет о той же летописи, но она не может быть «древней», если в ней говорится о битве на р. Ведроши. Сюжеты происхождения Литвы, прибытия Палемона из Рима, сведения о происхождении литовских князей и недавних событий, описанных с точки зрения князей Гедройцев, как представляется, не противоречат той возможности, которая была намечена З. Войтковяком: «смоленская летопись» представляла собой список *Летописца Великого Князьства Литовского и Жомошского*, который был известен Стрыйковскому и по другим спискам и подразумевался им в ссылке: “Według Latopisców Ruskich”, “Ruś pisze”<sup>118</sup>. Устраняя имя смоленского монаха и сюжет, отразившийся в его списке, автор *Хроники* менял историческое построение незначительно. Принципиально было, на наш взгляд, именно устранение из издания ссылок, которые могли бы послужить основой для подозрений в государственной измене.

Кроме того, польский исследователь не учитывает исправлений «московских сюжетов» в тексте поэмы. Более ранние тексты Стрыйковского, отразившиеся в его *Гонце добродетели* и *Описании* Гваньини, по предположению Я. Юркевича, содержат выдержки из «летописца Дмитрия». К таковым исследователь относит историю заложения Вилкомира сыном или внуком Палемона Сперой<sup>119</sup>. Однако в «записках о литовской истории» вряд ли содержались как раз те сведения, которые отличают *Описание* от сочинений Стрыйковского. По крайней мере, если бы они там действительно содержались, требовалось бы объяснить, почему знакомившийся с «записками Дмитрия» Стрыйковский не связывает их с этими «записками» и вообще не признает их ни в одном из своих исторических сочинений, кроме того, которое ре-

---

<sup>118</sup> Kraszewski J. I. Wilno od początków jego do roku 1750. Wilno, 1840. T. 1. S. 431-437. Сравнение свидетельств этих «русских летописей» и фактов известных летописей показало сходство источников Стрыйковского, кроме данных о битве на Ведроши, с «западнорусскими» летописями: Wojtkowiak Z. O Smoleńskim Latopisie... S. 258-259.

<sup>119</sup> Jurkiewicz J. Czy tylko plagiat? S. 75-76, см. также с. 78-79.

дактировалось Гваньини. В поэтическом отрывке о правах «Московского», который приведен нами выше, призыв к литвину признать первенство Руси основан на этногенетической легенде, но предшествующие стихи добавляют этому первенству историко-географическую легитимацию. Оправдание московских притязаний в историко-поэтическом трактате, начатом, видимо, около 1571 г. и завершенном в 1577–1578 гг., звучит на грани с государственной изменой. Вместе с тем, необходимо учитывать, по меньшей мере, три обстоятельства. Во-первых, вывод Стрыйковского, увидевший свет в версии *Описания* Гваньини, по сути повторяет рассуждения о первенстве Мосха, впервые высказанные еще до войны во второй редакции *Хроники* Бельского 1554 г.<sup>120</sup>. Во-вторых, отрывок о происхождении народов Сарматии был составлен в бескорольеве, когда фигура «Московского» учитывалась в качестве кандидатуры на польско-литовский или только литовско-русский трон. Ссылка Стрыйковского на краковский манускрипт относит время написания данного отрывка к периоду пребывания автора в польской столице. Этот период приходится примерно на 1574–1575 гг. и совпадает со вторым бескорольевым, наступившим после бегства Генриха Валуа во Францию 19 июня 1574 г. и закончившимся избранием Стефана Батория на польский трон 13 декабря 1575 г.<sup>121</sup>. В-третьих, права «Московского» на Финляндию, Ливонию и т. д. служат, как явствует из обращения к литвину *Przeto, Litwinie, bracie...* чтобы подтвердить не столько права Москвы на Сарматию, сколько права Руси на Литву. Допустимость прочтения его текста с точки зрения Москвы, видимо, заставила Стрыйковского отказаться от этого отрывка в *Хронике*. Тогда как второе прочтение во время элекций должно было звучать как манифест сторонников «русского» кандидата.

---

<sup>120</sup> Ulewicz T. Sarmacja. Studium z problematyki słowiańskiej XV i XVI w. Kraków, 1950. S. 116-118, 185. Przym. 13; Мильников А. С. Картина славянского мира... СПб., 1996. С. 104, 263; Момрик А. Біблійна генеалогія в етногенетичних концепціях польських та українських хроністів (до постановки проблеми) // Mediaevalia Ucrainica: Ментальність та історія ідей. Київ, 1998. Т. V. С. 111-117, особенно с. 113-114; Карнаухов Д. В. Развитие представленный... С. 275-279.

<sup>121</sup> О продолжительности пребывания историка в Кракове см.: Wojtkowiak Z. Maciej Strykowski... S. 193.

Единственным «своим» православным кандидатом на польско-литовский трон во время второго бескорольевья предположительно был патрон Стрыйковского князь Юрий Олелькович-Слуцкий<sup>122</sup>. Не исключено, что хронист знал о московских имперских проектах. Можно считать его концепцию родственной московским имперским планам и связывать ее со встречными проектами литовско-русской элиты. Границы исторической «Руси» в представлениях Стрыйковского соответствуют «Киевскому наследиству» и допускают унификацию земель Московии и ВКЛ. В цитированном нами пространном стихотворном отрывке в хронике устранены слова о правах «Московского» *A dziś słusznie Filandów Moskiewski dochodzi... zowie chłopy* и смягчено сравнение литвинов с русью: *gdyż też są niemniej sławni, zeznać każdy musi*<sup>123</sup>.

Откуда же взялась «двухсотлетней давности» рукопись, почему ее версия возникновения народов не была востребована при издании хроники, почему она не имеет аналогов в книжной традиции, не отражена в ссылках и дискуссиях других историков, наконец, почему Стрыйковский устранил следы ее существования в своей хронике? К ответам приближается З. Войтковяк, обнаружив в тексте поэмы еще одну уникальную ссылку на источник, не отразившийся на хронике. Стрыйковский критикует Деция за использование сведений Иеронима без правильного понимания того, кем он был. Превосходство перед Децием раскрывается перед читателем в словах, из которых следует, что у автора был *старый рассказик* (*stary komentarzyk*) этого Иеронима о Литве, купил он рукопись у доктора Щерца (*Sierca*) в Вильно, но потерял на фронте<sup>124</sup>. Иероним Чех, по словам историка-поэта, был священником из Праги и каноником краковского замка, а в годы христианизации Литвы был отправлен королем Владисла-

---

<sup>122</sup> Подробнее о православной кандидатуре на трон ВКЛ см.: *Jerusalimski K. Rosyjska emigracja w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVI w.: nowe problemy, źródła, interpretacje // Канструкцыя і дэканструкцыя Вялікага княства Літоўскага: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, Гродна, 23-25 красавіка 2004 г. Мінск, 2007. S. 143-163.*

<sup>123</sup> *Strykowski M. Kronika Polska, Litewska, Zmudzka i wszystkiew Rusi... Królewiec, 1582. S. 247.*

<sup>124</sup> *Strykowski M. O początkach... S. 75.*

вом-Ягелло каноником в Вильно. Эта информация навела исследователей на мысль, что Стрыйковский по ошибке контаминировал сведения о гусите Иерониме Пражском и виленском канонике Яне Чехе. Владелец *старого рассказа* также обнаруживается — им мог быть ученый виленский каноник Войчех Грабовский с Щерпца, хотя допускает исследователь и то, что эта древняя рукопись была по просту выдумана хронистом<sup>125</sup>. Купюры в *Хронике* объясняются изменившейся политико-дипломатической конъюнктурой: «Опущенное свидетельство показывало, что Лех является отцом основателей балтийских народов, что выразительно определяло политическую иерархию Короны и Литвы. Такой тезис определенно не мог понравиться литовским меценатам Стрыйковского. Автором такой концепции мог быть только представитель Короны, однако же, вероятно, не Стрыйковский, довольно часто и, конечно, искренно акцентировавшей свою привязанность к Литве. Аргументы «стародавнего хрониста» также и для польских современников не звучали привлекательно. Во время конфликта с московским государством превращение Москвы в отца Леха, а Леха только в брата, хотя и старшего, другого Москвы могло звучать двусмысленно»<sup>126</sup>.

Продолжая эту же логику, можно предположить, что помимо легендарного происхождения сарматских народов от Москвы потребовалось устранить из текста хроники следы московских источников и источников, поддерживающих московское первенство в сарматском прошлом, потребовалось отказаться от легендарного основателя прусского народа и добавить критику в адрес московской версии легенды о том же самом Пруссе, потребовалось также вырезать стихотворный отрывок о правах царя на северные русские земли «до Лопов», Ливонию, Швецию и Финляндию. Если принять во внимание текстологическую связь обновленной хроники с посланием Стефана Батория Ивану Грозному, то можно предположить, что подготовка новой версии, отразившейся в *Описании* и *Хронике*, была направлена на устранение следов московского участия в овладении «сарматским наследством». Новая версия ис-

---

<sup>125</sup> Wojtkowiak Z. “Starodawny historyk”... S. 353-354; *Idem*. O Smoleńskim Latopisie... S. 262.

<sup>126</sup> Wojtkowiak Z. “Starodawny historyk”... S. 356.



тории была написана так, чтобы опровергнуть историческую легитимацию великого князя Московского. Такая цель, по всей видимости, преследовалась не только при переработке поэмы *О начале в Описание*, но и при переработке поэмы в *Хронику*.

\* \* \*

Подводя итоги нашим рассуждениям, зададимся вопросом, почему российская историческая мысль эпохи Ивана Грозного не удерживала своих позиций в конкуренции с историческими моделями и агитацией Польско-Литовского государства. Ответ на этот вопрос возможен в плоскости как геополитической, так и книжно-интеллектуальной культуры. Выше мы пытались показать, что дипломатические переговоры имели инфраструктурное значение для формирования исторических знаний, официальные аудиенции были местом обсуждения и инсценирования историй, исторические нарративы были частью посольского церемониала, а рождавшиеся «на злобу дня» посольские мифы оказывали воздействие на построения историков, становились предметом дискуссий, основной мишенью в исторической критике и консолидирующим фактором. Дипломатическое происхождение исторических моделей обрекало историю как форму знания на обслуживание международного статуса императора — царя и великого князя. В Речи Посполитой окружение короля также чутко следило за исторической конъюнктурой и не допускало отступлений от королевских интересов в исторической идеологии, формируя имперский этос Польско-Литовской унии одновременно в историографии, политике и социальном сознании.

Отличием королевской историографии от царской было исходное — в «идеологическом подтексте» — оборонительное, освободительное отношение к историческим моделям восточного соседа и — в лингвистическом протоколе — иронический модус в их оценке. Перемены на «восточном фронте» побуждали к пересмотру исторического прошлого, что было делом короля, интеллектуалов-эрудитов и всей шляхты. Именно этот третий компонент внес решающее отличие в исторической идеологии двух противоборствующих империй. Шляхта имела доступ к историческим ресурсам, читала и сравнивала, поэтому королевские универ-

салы, письма и устные обращения встречали понимание широких кругов польско-литовского общества, вызывали дискуссии и при необходимости манипулировали шляхтой с использованием тех исторических моделей, которые вырабатывались в России.

Расцвет печатной историографии приходится в Польско-Литовском государстве как раз на период противостояния дипломатических дискурсов. До 1564 г. доминирующими в историографии были оценки «Москвы» в сочинениях Я. Длугоша, М. Меховского, С. Герберштейна. Уже в 1550-е годы М. Кромер и М. Бельский открыли для шляхты историю как действенное интеллектуальное оружие. Хроники оказали воздействие на парламентарные и социальные структуры Речи Посполитой, становясь предметом обсуждения, служа образцом для ведения «дневников» сеймов и для создания семейных преданий шляхты (дневники, мемуары, *silva rerum*). Стремительный рост противостояния с Москвой отразился на исторической культуре, которая изменила образ противника в уже известных и в новейших исторических текстах. Вехой в формировании «московской тирании» было посольство воеводы влоцлавского Яна Кротоского 1570 г. Террор Ивана «по прозвищу Тиран» был испытан послами не по слухам, а «на самих себе». После возвращения послов на родину образцовым и самым тиражируемым текстом о России наряду с записками Герберштейна стали литературно обработанные донесения А. Шлихтинга, послужившие источником для печатных хроник М. Стрыйковского и А. Гваньини. Образ Ивана Грозного служил отныне образцом тирании, получил популярность благодаря «летучим листкам» и обсуждался в теоретических трактатах и памфлетах.

Российское прошлое пришло в Европу в восприятии имперского дипломата, чье влияние на польско-литовскую общественную жизнь трудно переоценить. В польской нарративной истории, и прежде всего в хронике Кромера, это восприятие вызвало новые комментарии в ходе борьбы Москвы за легитимность царского титула и противостояния между Коронай Польской и Великим Княжеством Литовским за русские земли. На основе тех же записок Герберштейна и сочинений Посольского приказа, написанных от лица Ивана Грозного, переосмыслил и визуально воплотил российское прошлое в переиздании своей хроники Бельский. «Моско-

вит» был наделен хорошо знакомыми польско-литовским читателям качествами, соответствующими «идеальному варвару» — непримиримостью, алчностью, готовностью воспользоваться «древними правами» для осуществления своих завоевательных планов. Попытки Стрыйковского смягчить этот образ в его исторической поэме, написанной в годы вынужденного перемирия с Москвой, предполагали осторожное и в ряде случаев подчеркнуто комплиментарное отношение к имперским амбициям царя, служившим предметом ожесточенного дипломатического противостояния. Сравнение более поздней хроники Стрыйковского с его исторической поэмой показало направление переработки концепции «московского участия» в «сарматском наследии». Хронист устранил из прошлого основоположника Пруссии, вызывавшего аналогию с мистифицированным в Посольском приказе братом императора Августа, внес в свой первоначальный текст критику московской легенды о Прусе, почти дословно совпадая в этой критике с королевским ответом Ивану Грозному, удалил отрывки, содержащие намек на исторические «права» московитов, и ссылки на свои прочтения московских «хроник».

Исторические экскурсы московской власти вошли в польско-литовскую историографию в их дипломатических версиях, посредством не столько исторических сочинений московитов, сколько переговоров с представителями царя и царских посланий. Посольский приказ был лишен сопоставимых с западными средств интеллектуальной борьбы и выстраивал свою линию в противоположном направлении. Историография становилась делом господаря, единственным не только предметом, но и источником историй становился царь, после 1567 г. были свернуты или перенесены в его ближайшее окружение государственные летописные работы, печатное дело не было допущено до пропаганды, а на время войны почти полностью свернуто, боярская, приказная элита и дети боярские слушали истории, которые создавались в глубокой секретности близкими к царю и посольскому ведомству интеллектуалами. Переход к типичной для европейской интеллектуальной среды дипломатической и этнографической истории усложнил формирование в России публичной сферы и протонациональных дискурсов.

## ГЛАВА 22

# ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ОБРАЗЫ ПРОШЛОГО

## В КУЛЬТУРЕ ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ

В начале XX столетия знаменитый российский философ Н. А. Бердяев писал, что память представляет собой не просто пассивное воспроизведение прошлого; что это род «духовной активности», избирающей и творческой, направленной не только на понимание прошлого, но и на его преображение<sup>1</sup>. По мнению многих современных мыслителей, то же самое может быть сказано о коллективной исторической памяти. Историческую память часто интерпретируют как «колонизацию времени» (М. Хальбвакс), «изобретение традиции» (Э. Хобсбаум), «изобретающее воспоминание» (А. Реннер), «построение генеалогии» (Б. Андерсон); как «конструирование прошлого», его (ре)конструкцию и (ре)интерпретацию, а также намеренное «забывание»<sup>2</sup>.

В наших представлениях о прошлом обычно присутствует несколько компонентов: информативный (сведения о том или ином историческом событии, лице, явлении), концептуальный (целостное представление о ходе и смысле исторического процесса, о его факторах, о силах, борющихся в истории и т. д.), аксиологический (оценка исторических событий и явлений с точки зрения определенных ценностных приоритетов). И, что немало важно, исторические представления несут в себе эмпатическую составляющую, основанную на способности человека к сопереживанию, к эмоциональному отклику: мы способны испытывать

---

\* Исследование подготовлено при поддержке фонда Герды Хенкель (Gerda Henkel Stiftung), Дюссельдорф, Германия (грант AZ 21/SR/05).

<sup>1</sup> Бердяев Н. А. Смысл истории. М., 1990. С. 16-17, 57-59.

<sup>2</sup> Савельева И. М., Полетаев А. В. Знание о прошлом: теория и история. Т. 1. Конструирование прошлого. СПб., 2003. Гл. 5.

восхищение или ужас, сострадание или гордость по отношению к событиям давних лет, как будто речь идет о фактах нашей собственной жизни. «Вспоминая» то или иное историческое событие или явление, мы вместе с тем помещаем его в определенный смысловой контекст; характер этой интерпретации определяется нормативами и ценностями нашей собственной культуры, социальным контекстом и интеллектуальным климатом современности, наконец, спектром настроений общества — от ностальгии до попыток осознанно «забыть» нежелательный исторический опыт.

Особенно актуальной становится проблема отношения к прошлому в исторической памяти, если общество проходит через период серьезных социокультурных перемен, ломки традиционных стандартов и стереотипов мышления, если в сознании людей сталкиваются несхожие, а подчас и противоположные ценностные системы. Как мы знаем из собственного опыта, смысл любого исторического события и значение деятельности любого исторического персонажа могут подвергнуться радикальному переосмыслению на протяжении жизни одного и того же поколения. Более того: в коллективной памяти могут одновременно уживаться различные образы прошлого и способы повествования о прошлом; в каждом из таких повествований могут присутствовать одни и те же опорные моменты, персонажи, сюжетные эпизоды, но смысловое наполнение этих сюжетов будет различным. В таких ситуациях, по словам А. Эткинды, «борьба за содержание исторической памяти подобна театру военных действий, на котором совершаются стратегические и тактические акции, выполняемые разными силами и средствами»<sup>3</sup>.

В силу этого реконструкция исторических представлений, существовавших в памяти той или иной эпохи, представляет собой благодатное поле для исследований, поскольку позволяет нам «изнутри» понять мир культурных предпочтений и ценностных конфликтов не только «вспоминавшегося» времени, но и — главным образом — времени «вспоминавшего». Обращаясь к знаниям о прошлом, существовавшим в ту или иную эпоху, и к образам прошлого, созданным в ее художественной культуре, мы

---

<sup>3</sup> Эткинды А. Столетняя революция: юбилей начала и начало конца // Отечественные записки. 2004. № 5. С. 46.

вправе поставить ряд вопросов: каковы были побуждения, заставлявшие людей данной эпохи обращаться к прошлому? Какие исторические сюжеты были наиболее востребованы общественным сознанием того времени? Какие способы реконструкции исторического прошлого существовали в науке и искусстве, и насколько осознавалась учеными и художниками задача исторического *понимания* — проникновения во внутренний мир, в сферу побуждений и ценностей людей прошлого? Какие ценностные конфликты крылись за спорами об историческом значении того или иного события, о моральной стороне поступков того или иного исторического деятеля?

В настоящем исследовании эти вопросы будут поставлены применительно к историческому сознанию пореформенной России, со второй половины 1850-х до середины 1890-х гг. То была эпоха стремительных социальных перемен, на которую выпали: закат крепостничества, Великие реформы, невиданная прежде социальная мобильность, рождение политических движений, «хождение в народ» и народовольческий террор, наконец, попытки консервативного «подмораживания» страны. Неудивительно, что пореформенная эпоха была отмечена повышенным интересом образованного общества к историческим сюжетам: в прошлом своей страны видели ключ к пониманию ее настоящего, к формированию идентичности российского общества.

В общественной мысли пореформенной России соперничало несколько проектов коллективной идентичности: *династический*, основанный на традиционной преданности правящему дому (он сохранялся, прежде всего, в официальной политической риторике); *национально-государственный в его либеральном и консервативном вариантах* (либеральный был наиболее ярко представлен «государственной школой», консервативный — М. Н. Катковым и К. П. Победоносцевым); *национально-культурный* (позднее славянофильство, почвенничество); и, наконец, *демократический или народнический* (историографическая традиция, идущая от Н. И. Костомарова и А. П. Щапова; философия «субъективной школы»; поэзия Н. А. Некрасова, очерки Г. И. Успенского и т. д.). Каждый из этих проектов идентичности был связан с определенным типом исторического нарратива: историю России можно было писать как коллективную биографию правящей династии или

развивающейся государственности, русского народа-нации или трудового народа-демоса.

Династическая интерпретация истории, опиравшаяся на карамзинский принцип «История народа принадлежит царю», во второй половине XIX века еще сохраняла сильные позиции в науке и в школьном преподавании (знаменитые учебники Д. И. Иловайского), в иконографии и даже в монументальном искусстве (памятник «Тысячелетию России» М. О. Микешина). Но в пореформенную эпоху она стремительно теряла авторитет в глазах образованного общества, пока штампы верноподданнической историографии не превратились в объект хлестких литературных пародий: достаточно вспомнить «Историю государства Российского от Гостомысла до Тимашева» А. К. Толстого (1868 г.) или «Историю одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина (1869–1870 гг.).

В концепциях сторонников национально-государственной стратегии государство признавалось высшей стадией развития народности, разумной силой, воплощающей идею общего блага и коллективную волю народа. Но при этом, если для консерваторов безусловной ценностью было православное самодержавное государство, верное традиционным устоям и опирающееся на религиозную веру подданных, то с точки зрения либеральной общественности государство было вправе жертвовать традициями во имя иных ценностей: просвещения, прогресса, светской культуры, развития личности. Отсюда характерный для либерального направления культ Петра Первого — и характерный для пореформенных консерваторов культ «старой доброй» Московской Руси при весьма сдержанной оценке реформ «нигилиста» Петра.

Национально-культурное и народническое понимание русской истории были довольно близки; трудно однозначно отнести к одному из них монументальную народную оперу «Могучей кучки» или реалистическую живопись передвижников. Приверженцы и национального, и народнического проектов идентичности исходили из убеждения, «что главный факт в истории есть сам народ, дух народный, творящий историю; что сущность и содержание истории есть — жизнь народная»<sup>4</sup>; различие между ними определялось интерпретацией понятия «народ». В культуре

---

<sup>4</sup> Шапов А. П. Соч. В 3-х тт. Т. 3: С биографией А. П. Шапова. СПб., 1908. С. XXXI.

России второй половины XIX века народ мог трактоваться и как «народ-нация» (этническая, политическая и культурная общность, объединяющая людей вне зависимости от их социальной принадлежности), и как «народ-демос» (преимущественно крестьянство). Граница между этими интерпретациями была подвижной; подчас в понимании того, что есть народ, радикально расходились между собой даже ближайšie единомышленники. Характерный пример таких расхождений сохранила, например, переписка В. В. Стасова и М. П. Мусоргского в период их совместной работы над либретто «Хованщины»: Стасов возмущался, что опера «будет состоять только и исключительно из князей и княгинь... Да, что это наконец за княжеская опера такая, между тем, как вы именно все собираетесь делать оперу народную?»<sup>5</sup>. Очевидно, для Стасова «князь» и «народ» были антонимами, тогда как для Мусоргского и князь, и стрельца, и раскольники были частью народа, понятого как нация. Но при этом и национально-культурная, и народническая трактовка русской истории отличались резко негативным отношением к самодержавному государству как таковому — в этих версиях русской истории государство обычно выступало в роли насильника над заветными верованиями народа-нации и угнетателя трудового народа-демоса.

И все же соперничавшие проекты коллективной идентичности существовали в одном и том же культурном пространстве. Их роднили друг с другом схожие цели обращения к историческому прошлому и общие способы реконструкции прошлого; их объединял интерес к одним и тем же историческим сюжетам, к одним и тем же «поворотным моментам» родной истории, игравшим ключевую роль в историческом повествовании.

Любая коллективная идентичность немыслима без исторических мифов: устойчивых образно-символических представлений о прошлом, обращение к которым обладает мобилизующим эффектом, позволяя сплотить членов общества в едином *сопереживании*. В основе исторического мифа, как правило, лежит реальное (то есть установленное с высокой степенью достоверности) историческое событие; «механизм» создания мифа заключается в том, чтобы должным образом расставить в повествовании

---

<sup>5</sup> Стасов В. В. Избранные статьи о М. П. Мусоргском. М., 1952. С. 220-221.



об этом событии смысловые акценты, соотности повествование с «циркулирующими в культуре универсальными сюжетами» и с актуальной системой ценностных координат и, наконец, «перевести» повествование в яркий образный ряд<sup>6</sup>. Таким образом, исторические мифы воссоединяют «знание о прошлом» (логически структурированное и внутренне непротиворечивое) и «образы прошлого» (апеллирующие к эмоциональному и образно-символическому восприятию мира, допускающие полисемантические толкования); они пронизывают всю сферу исторических представлений общества — «обширную и все более расширяющуюся область, простирающуюся от историографии через исторические романы к изобразительному искусству, спектаклям и историческому музею»<sup>7</sup>.

Представители исторической науки в пореформенной России осознанно брали на себя задачу формирования исторической памяти общества — актуализации исторических сюжетов и создания живых образов прошлого. С их точки зрения, реконструирующая работа науки напрямую смыкалась с животворящей силой памяти; согласно известному изречению В. О. Ключевского, «предмет истории — то в прошедшем, что не проходит, как наследство, урок, неоконченный процесс, как вечный закон»<sup>8</sup>. Поэтому характерной чертой пореформенной эпохи была значительно меньшая, чем в наши дни, дистанция между профессиональной исторической наукой и историческими представлениями широких кругов «образованного общества».

Прежде всего, это проявлялось на уровне коммуникации и трансляции исторических знаний. Академические историки эпохи реформ постоянно публиковали свои научные труды на страницах общественно-публицистических журналов («Русского вестника», «Вестника Европы» и т. д.); специализированные исторические издания того времени — скажем, «Русский архив» и «Русскую старину» — с позиций сегодняшнего дня можно было

---

<sup>6</sup> См.: Нуркова В. Историческое событие как факт автобиографической памяти // Воображаемое прошлое Америки: история как культурный конструкт. М., 2001. С. 28-30.

<sup>7</sup> Bann S. The Clothing of Clio: A Study of the Representation of History in Nineteenth-century Britain and France. Cambridge, 1984. P. 3-4.

<sup>8</sup> Ключевский В. О. Соч. В 9-ти тт. Т. 9. М., 1990. С. 375.

бы охарактеризовать как научно-популярные.читающая публика российских столиц охотно посещала не только, например, лекции Ключевского, но и защиты диссертаций по историческим наукам, — академическая процедура тем самым превращалась в общественную акцию, где публика играла роль своеобразного «третьего оппонента», весьма эмоционально выражая свое согласие или несогласие с тезисами выступающих<sup>9</sup>.

Существенно меньше, чем ныне, была в пореформенной России и дистанция между знаниями о прошлом, добываемыми исторической наукой, и образами прошлого, которые создает искусство. Период стремительного развития профессиональной исторической науки, когда были заложены основы московской и петербургской школ, совпал во времени с расцветом исторических жанров в русской культуре: исторического романа, исторической живописи, исторической драмы, в том числе и музыкальной драмы — оперы. Современники прекрасно осознавали огромные возможности произведений искусства в деле формирования исторического сознания общества: как писал К. Н. Бестужев-Рюмин, «действительные исторические лица, раз воспроизведенные поэтом, мы представляем себе более или менее так, как их представляет поэт»<sup>10</sup>.

В одних случаях историческая наука выступала как «поставщик материала» для художественных воплощений прошлого: так, сцена провоза по Москве «с великим бесчестьем» опальной Феодосии Прокофьевны Морозовой была вначале подробно описана в историческом очерке Н. Тихонравова (1865 г.), затем превратилась в один из кульминационных эпизодов романа Д. Л. Мордовцева «Великий раскол» (1880 г.), и, наконец, в 1887 г. воочию предстала перед зрителем на полотне В. И. Сурикова «Боярыня Морозова». В других случаях художественные произведения становились импульсами к историческим дискуссиям; например, разгоревшийся в 1871 г. спор К. Н. Бестужева-Рюмина

---

<sup>9</sup> Sanders Th. The Third Opponent: Dissertation Defenses and the Public Profile of Academic History in Late Imperial Russia // *Historiography of Imperial Russia: The Profession and Writing of History in a Multinational State* / Ed. by T. Sanders. Armonk, N. Y., 1999. P. 69-97.

<sup>10</sup> Бестужев-Рюмин К. Н. Несколько слов по поводу поэтических воспроизведений характера Иоанна Грозного // *Заря*. Т. 3 (1871). № 3. С. 83.

и Н. И. Костомарова об историческом значении правления Ивана Грозного вырос из отклика на сценическую постановку трагедии А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного»<sup>11</sup>. Были и ситуации, когда художник и историк в тесном сотрудничестве работали над одним и тем же сюжетом: Н. Н. Ге в период создания своего прославленного исторического полотна «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» тесно общался с Н. И. Костомаровым, который когда-то преподавал историю в киевской гимназии, где учился Ге; а вскоре после экспонирования картины Костомаров опубликовал статью о царевиче Алексее, впоследствии вошедшую отдельной главой в его знаменитый труд «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». Современники вспоминали, что Костомаров и Ге «были вполне согласны друг с другом» в трактовке дела царевича Алексея, — как, впрочем, и во многих других исторических вопросах<sup>12</sup>.

Разумеется, взаимодействие и внутренняя близость науки и искусства в деле формирования исторической памяти проявлялись не только в обращении к одним и тем же сквозным сюжетам, но и на более глубоком — методологическом и даже эпистемологическом уровне. Художественные искания шли параллельно с поисками в области теории исторического знания.

Как показали в своих исследованиях П. Новик и Ф. Анкерсмит, время становления академической исторической науки и формирования «профессионального кодекса» историка-исследователя — середина и вторая половина XIX века — соответствовало эпохе расцвета реалистического искусства, и это было не случайным совпадением. «Благородная мечта» об объективном научном знании естественным образом сочеталась с реалистическим направлением в искусстве: реалистический роман и профессиональная историография XIX века опирались на одни и те же познавательные установки и следовали сходной методической практике. Скрупулезный сбор обширной информации о том или ином периоде, регионе или социальном слое; интерес к типично-

---

<sup>11</sup> *Бестужев-Рюмин К. Н.* Несколько слов по поводу... *Костомаров Н. И.* Личность царя Ивана Васильевича Грозного // Вестник Европы. 1871. Т. 5. Кн. 10 (октябрь). С. 499-571.

<sup>12</sup> См.: *Николай Николаевич Ге. Письма, статьи, критика, воспоминания современников.* М., 1978. С. 263.

му, чем к исключительному; понимание человека как продукта исторической наследственности и социальной среды; стремление избегать субъективности и соответствующий «прозрачный» стиль повествования, созданного с позиций «идеального наблюдателя», — все это в совокупности должно было создавать тот эффект, который Ролан Барт назвал «эффектом реальности»<sup>13</sup>.

Убеждение, что задачи науки и искусства в деле воссоздания прошлого принципиально едины, было распространено и в России второй половины XIX века. Тому были наглядные доказательства — например, судьба Д. Л. Мордовцева, ученика Н. И. Костомарова, который в 1870-е годы ушел из сферы исторической науки и посвятил себя созданию исторических романов и повестей из жизни России XVII–XVIII вв. Сам Мордовцев при этом был убежден, что сохранил верность делу своей жизни: историческая беллетристика, по его мнению, дает историку возможность реализовать тайную заветную мечту «переноситься из столетия в столетие и все видеть своими глазами»<sup>14</sup>. Да и небывалая популярность жанров исторического очерка и исторической биографии в 1860–1880-е годы свидетельствует о том, что сам труд историка зачастую сближался с литературным творчеством.

Добавим к этому, что к созданию эффекта реальности во второй половине XIX века стремились не только авторы научных или же беллетристических нарративных текстов. Реалистическая живопись трудилась над созданием иллюзии «прозрачного стекла» между зрителем и изображенным объектом; в случае исторической живописи целью было обеспечить эффект присутствия, непосредственного наблюдения за давно прошедшим событием — отсюда внимание и вкус к точности исторической детали. (В. И. Суриков рассказывал М. А. Волошину: «А дуги-то, телеги для “Стрельцов” — это я по рынкам писал. Пишешь и думаешь — это самое важное во всей картине... И вот среди всех

---

<sup>13</sup> *Novick P.* That Noble Dream: The «Objectivity Question» and the American Historical Profession. Cambridge, 1988. P. 31-46; *Ankersmit F. R.* The Reality Effect in the Writing of History: the Dynamics of Historiographical Topology. Amsterdam; N. Y., 1989; *Барт Р.* Эффект реальности // *Барт Р.* Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 392-400.

<sup>14</sup> *Мордовцев Д. Л.* Соч. в 2-х тт. Т. 1. М., 1991. С. 39.

драм, что я писал, я эти детали любил...»<sup>15</sup>). Реализм в музыке, крупнейшим представителем которого был М. П. Мусоргский, стремился дать максимально адекватное музыкальное воплощение живой, естественной человеческой речи. Зримого «воскрешения прошлого» добивались авторы исторических театральных работ: признанных мастеров исторической живописи — В. Г. Шварца, В. М. Васнецова — не раз приглашали к работе над театральными спектаклями, а Н. И. Костомаров выступал в качестве исторического консультанта при постановке «Смерти Иоанна Грозного» в Александринском театре. Ранкеанское стремление воссоздать прошлое «как оно было на самом деле» определяло интеллектуальный климат и эстетические запросы эпохи.

Целью всех этих вдохновенных и упорных трудов по воссозданию исторического прошлого был, однако, не сам по себе «эффект реальности». Исторический реализм служил скорее орудием, средством для решения других задач: в первую очередь — для формирования коллективной идентичности российского общества, переживавшего один из поворотных моментов своей истории.

Обращение к «образам прошлого», формировавшимся в русской культуре пореформенной эпохи, дает возможность проследить, как вокруг реальных исторических событий постепенно выстраивались мифологизированные представления, как одни и те же сюжеты и образы подвергались постоянному переосмыслению, вплоть до радикальной семантической инверсии, и тем самым выявить творческий и диалогический характер исторической памяти.

### **«Возрождение Московии»**

Особый интерес у деятелей русской культуры пореформенной эпохи вызывала далекая и непохожая на современность Московская Русь XVI–XVII вв., Московия, как называли ее иноземные путешественники. Этот интерес проявлялся в самых разных сферах: научно-популярные труды о повседневной жизни и политических интригах Московской Руси создавали И. Е. Забелин и Н. И. Костомаров, М. И. Семевский и П. И. Мельников-Печерский; традиционное внимание к сюжетам из жизни Московии проявляли журналы «Вестник Европы», «Исторический вестник»,

---

<sup>15</sup> *Волошин М. А.* Суриков: Материалы для биографии // *Волошин М. А.* Лики творчества. Л., 1989. С. 340, 345.

«Русская старина»; в исторических драмах А. К. Толстого, Д. Н. Аверкиева и А. Н. Островского, в операх М. П. Мусоргского и Н. К. Римского-Корсакова на театральные подмостки выходили Иван Грозный и Борис Годунов, бояре и опричники; образы Московии представляли перед зрителем на исторических полотнах В. Г. Шварца и К. Е. Маковского, В. В. Сурикова и И. Е. Репина.

Наконец, «узорочье» Московской Руси начало зримо возвращаться к жизни: с конца 1850-х гг. в церковной и светской архитектуре утвердился «псевдорусский» или «московский» стиль, представлявший собой имитацию зодчества XVII века; новейшие по тем временам технические приемы строительства удивительным образом сочетались с шатровыми перекрытиями, кокошниками и гирьками в декоративном убранстве зданий (яркий пример — комплекс Торговых рядов на Красной площади). В книгоиздательском и рекламном деле широко применялись заставки и шрифт-вязь в стиле XVII века; в «русском» стиле — т. е. опять-таки в стиле допетровской Руси — декорировали столовые в домах аристократов и нуворишей; на знаменитый Зимний бал 1903 года при дворе Николая II все гости обязаны были явиться в костюмах XVII века, да и сам последний император охотно позировал фотографам в золототканых одеждах, венце и бармах Мономаха. Как нам представляется, «московский стиль» во второй половине XIX века явно имел шансы стать «большим стилем» эпохи, объединяющим самые разнообразные виды искусств.

Невольно задумываешься: почему именно сюжеты из отечественной истории XVI–XVII вв. были так востребованы общественным сознанием пореформенной эпохи? На какие вопросы стремились получить ответ люди второй половины XIX века, переносясь мыслью и чувствами в далекую Московию? Следует ли воспринимать парадокс «возрождения Московии» как проявление политического консерватизма и русского национализма<sup>16</sup>? Как следствие типологического сходства двух эпох модернизации и вестернизации — второй половины XVII и второй половины XIX века<sup>17</sup>? Как проявление национального ренессанса,

---

<sup>16</sup> Уортман Р. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. В 2-х тт. Т. 2. М., 2004. С. 322-369 (цит. с. 325).

<sup>17</sup> Биллингтон Дж. Х. Икона и топор: Опыт истолкования истории русской культуры. М., 2001. С. 475-488 (цит. с. 475).

стремление создать национальный миф и в то же время найти ответы на злободневные общественно-политические вопросы<sup>18</sup>?

Безусловно, интерес к эпохе Московского царства был формой поиска национальных корней и национальной идентичности. XVI и XVII века привлекали внимание историков и художников как период, когда в русской культуре *уже* отсутствовало византийское влияние, и *еще* отсутствовало влияние западноевропейское: так, В. В. Стасов — ведущий идеолог реалистического и национального искусства — был убежден, что именно в эпоху Московской Руси выработался яркий и неповторимый русский стиль, «составилась наша своеобразная национальная физиономия»<sup>19</sup>. Поиск исторических корней был тогда общеевропейским явлением, симптомом национального пробуждения; как правило, он сопровождался «изобретением традиций» — культурным новаторством, которое современники воспринимали (зачастую чистосердечно) как возрождение далекого прошлого<sup>20</sup>.

Но для представителей российской интеллектуальной элиты XIX века важна была не только самобытность как таковая. Согласно их представлениям, в культуре Московской Руси не существовало непроходимой культурной пропасти между высшими и низшими социальными слоями. Так, И. Е. Забелин в работе «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях» (1862 г.) подчеркивал, что, «несмотря, однако ж, на расстояние, которое отделило каждого земца от “пресветлого царского величества”, ...великий государь, при всей высоте политического значения, на волос не удалился от народных корней... Одни и те же понятия и даже уровень образования, одни привычки, вкусы, обычаи, домашние порядки, предания и верования, одни нравы, — вот что равняло быт государя не только с боярским, но и вообще с крестьянским бытом»<sup>21</sup>. Ту же тему развивал В. О. Ключевский в

---

<sup>18</sup> *Figes O. Natasha's Dance: A Cultural History of Russia. L., 2003. Ch. 3 «Moscow! Moscow!».* P. 150-216.

<sup>19</sup> *Стасов В. В. Собр. соч. 1847–1886. Т. 1: Художественные статьи.* СПб., 1894. С. 553.

<sup>20</sup> См.: *Hobsbawm E. Introduction: Inventing Traditions // The Invention of Tradition / Ed. by E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge, 2004. P. 1-11.*

<sup>21</sup> *Забелин И. Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетиях. Т. 1. Ч. 1. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях.* М., 2000. С. 4.

своем знаменитом лекционном курсе (первая публикация — 1904 г.): «русское общество [XVII века] отличалось однородностью, цельностью своего нравственно-религиозного состава. При всем различии общественных положений древнерусские люди по своему духовному облику были очень похожи друг на друга, утоляли свои духовные потребности из одних и тех же источников. Боярин и холоп, грамотей и безграмотный... твердили один и тот же катехизис, ...одинаково легкомысленно грешили и с одинаковым страхом Божиим приступали к покаянию и причащению до ближайшего разрешения “на вся”. Такие однообразные изгибы автоматической совести помогали древнерусским людям хорошо понимать друг друга, составлять однородную нравственную массу, устанавливали между ними некоторое духовное согласие вопреки социальной розни и делали сменяющиеся поколения периодическим повторением раз установившегося типа»<sup>22</sup>.

Важность этой характеристики становится понятной, если вспомнить, что на протяжении всего XIX века одной из самых болезненных проблем русского общества считался культурный раскол, со времен Петра I разделявший образованное общество — европеизированных «иностранцев дома, иностранцев на чужбине», — и простой народ, крестьянство, сохранившее традиционные устои старинной русской жизни. Говоря о целостном русском обществе XVI–XVII вв., спаянном единством ценностей и норм поведения, историки и публицисты противопоставляли его послепетровскому обществу, расколотому и страдающему от внутренних противоречий.

Таким образом, важнейшими характеристиками Московской Руси в восприятии образованных россиян XIX века были национальная самобытность и внутренняя цельность культуры, — или, говоря иными словами, отсутствие внешних заимствований и внутреннего раскола. Следовательно, глядя в «зеркало» Московии, можно было понять, что представляет собой русский народ по сути своей, каковы его определяющие качества. Именно поэтому в шедеврах русского искусства пореформенной эпохи — в эпической музыкальной драме М. П. Мусоргского, «хоровых» исторических

---

<sup>22</sup> *Ключевский В. О.* Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. М., 1993. Т. 2. С. 451.



полотнах В. В. Сурикова, — эпоха Московского царства представляла как своеобразное архетипическое время русской истории, как особый хронотоп. «Время в этом хронотопе спрессовывает прошлое и настоящее: прошлое является... собственно не прошлым, а расширенной вдаль от нас жизнью, то есть уже не *“так было”*, а *“так бывает”*» (прошедшее — настоящее, перфектум)<sup>23</sup>.

События истории Московского царства, — будь то правление Ивана Грозного или Смуты, стрелецкие и казачьи бунты или церковный раскол, начало петровских реформ или трагическая история воспитанного в московских традициях царевича Алексея Петровича, — трактовались в культуре пореформенной России как символы, архетипы, обращение к которым позволит понять сокровенную сущность русского народа и смысл его истории. В частности, именно обращение к истории Московской Руси позволяло с предельной остротой поставить в культуре пореформенной России проблему взаимоотношений народа и власти.

### **Миф о «кроновой жертве»: Иван Грозный**

Не рискуя впасть в преувеличение, можно сказать, что из всех правителей России наибольшее внимание историков и деятелей искусства пореформенного периода привлекали фигуры Ивана IV и Петра I<sup>24</sup>. Даже если говорить лишь о наиболее значимых культурных событиях (т. е. о тех, которые представляются наиболее значимыми с позиций сегодняшнего дня), трудно отделаться от ощущения, что образы этих царей в пореформенную эпоху прожили целую жизнь, столь же бурную и богатую событиями, как жизнь их прототипов.

В профессиональной исторической науке XIX века соперничали противоположные трактовки правления Грозного — в частности, концепция Н. М. Карамзина, представленная в восьмом и девятом томах его «Истории государства Российского» (1818–1819), и концепция историков государственной школы, сформулированная во «Взгляде на юридический быт древней России»

---

<sup>23</sup> Бурлина Е. Я. Культура и жанр. Методологические проблемы жанрового синтеза. Саратов, 1987. С. 117.

<sup>24</sup> См. подробнее: Леонтьева О. Б. Личность Ивана Грозного в исторической памяти российского общества эпохи Великих реформ: научное знание и художественный образ // Диалог со временем. Вып. 18. 2007. С. 19-34.

К. Д. Кавелина (1847), V–VI томах «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева (1855–1856) и других работах. Расхождения этих концепций были порождены как различными ценностными предпочтениями историков, так и их кардинально несхожими представлениями о методологии исторического исследования и о назначении исторической науки.

Для Н. М. Карамзина важнейшим назначением исторического знания было нравственное (в том числе и патриотическое, гражданственное) воспитание человека; смысловым стержнем «Истории государства Российского» был суд над историей с позиции «вечных» нравственных ценностей — то есть с позиций просвещенного гуманиста, чьи убеждения сложились в последней четверти XVIII в. В соответствии с этими принципами Карамзин трактовал историю Ивана Грозного как трагедию деспота, дошедшего в конце концов до «предела во зле» и получившего заслуженное воздаяние за пролитую кровь невинных — «адскую казнь сыноубийства»; повествование о правлении Ивана Грозного было призвано «озарять для нас, в пространстве веков, бездну возможного человеческого разврата, да видя содрогаемся!»<sup>25</sup>.

Для историков середины XIX века на первый план выступали другие критерии. Принцип морального ригоризма был к тому времени изгнан из профессиональной исторической науки, чтобы уступить место принципу историзма, требовавшему оценивать каждое историческое явление и каждого исторического деятеля не с позиций современности, а с учетом специфики той стадии развития, на которой стояло тогда общество, тех исторических задач, которые приходилось решать этим деятелям. На страницах трудов К. Д. Кавелина, С. М. Соловьева и сочувствовавшего многим принципам государственной школы К. Н. Бестужева-Рюмина Иван Грозный выступал как персонификация исторически прогрессивного государственного начала, которому в XVI веке пришлось вступить в борьбу не на жизнь, а на смерть с отживающим родовым началом в лице боярства. В этих трудах утверждалось представление о Грозном как об исторически прогрессивном деятеле, реформаторе и стратеге, чьи замыслы гениально предвосхи-

---

<sup>25</sup> Карамзин Н. М. История государства Российского. В 12-ти тт. Т. 9. СПб., 1821. С. 439.

тили будущие свершения Петра Великого и Александра II<sup>26</sup>; а созданный Кавелиным трагический образ Ивана IV — гения-одиночки, жестоко отомстившего «тупой и бессмысленной среде» за крах своих великих замыслов, — явно соотносился с романтической литературной традицией<sup>27</sup>.

Таким образом, стремясь возвысить образ Ивана Грозного в глазах своих читателей, Кавелин, Соловьев и Бестужев-Рюмин апеллировали к тем идеалам, которые были близки уму и сердцу просвещенной российской публики пореформенной эпохи: развитие, прогресс, реформы, личностное достоинство.

Тем не менее, в искусстве пореформенной эпохи оказался востребованным образ грозного царя, созданный в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, — несмотря на то, что профессиональная историческая наука к тому времени признала карамзинскую «Историю» устаревшей в методологическом и концептуальном отношении. Так, сюжетная канва романа А. К. Толстого «Князь Серебряный» (1862) и его трагедии «Смерть Иоанна Грозного» (1863–1866) была основана на материалах девятого тома карамзинской «Истории»; литературоведы обнаружили множество прямых соответствий — сюжетных моментов, описательных деталей, и даже отдельных словесных выражений — между текстом Карамзина и произведениями А. К. Толстого<sup>28</sup>. Знаменитое полотно И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван» (1885) представляет собой, по сути дела, художественную параллель к тексту девятого тома «Истории государства Российского»: художник в точности воспроизвел на полотне вымышленный Карамзиным отчаянный жест царя-сыноубийцы — «удерживал кровь, текущую из глубокой язвы...»<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> Взгляд на юридический быт древней России // *Кавелин К. Д.* Наш умственный строй. М., 1989. С. 49-55; *Соловьев С. М.* Соч. В 18-ти кн. Кн. III: История России с древнейших времен. Т. 5-6. М., 1989. С. 681-690; *Бестужев-Рюмин К. Н.* Несколько слов по поводу поэтических воспроизведений характера Иоанна Грозного. С. 86, 88.

<sup>27</sup> Взгляд на юридический быт древней России // *Кавелин К. Д.* Наш умственный строй. С. 49-50, 55.

<sup>28</sup> См.: *Ямпольский И.* Примечания // *Толстой А. К.* Собр. соч.: в 4-х тт. М., 1969. Т. 3: Драматическая трилогия / Под ред. И. Ямпольского. С. 538-540.

<sup>29</sup> *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 9. С. 353.

Образ Ивана Грозного слагался в художественных произведениях той эпохи прежде всего как образ-архетип деспота: властолюбивого и мстительного, подозрительного и коварного, и — что, пожалуй, самое важное, — непредсказуемого в своих жестоких или же милостивых решениях. Вполне определенную семантическую нагрузку несла в этом плане такая выразительная деталь, как царский жезл-посох с железным наконечником: в балладах А. К. Толстого «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» (1840-е гг., опубл. в 1860-е), в скульптурном портрете Ивана Грозного работы М. А. Антокольского (1871), у И. Е. Репина. Жезл — символ монаршей власти, превращавшийся в руках грозного царя в орудие пытки и убийства, — стал метафорическим образом правления Ивана IV; этот выбор был тем более удачен, что мог пробудить у читателя библейские аллюзии (Откр. 19: 15).

Стержневой темой художественных произведений, посвященных Ивану Грозному в пореформенную эпоху, стала тема сыноубийства; так, она звучит в романе А. К. Толстого «Князь Серебряный» и выступает в качестве отправного фабульного эпизода в «Смерти Иоанна Грозного». Гибели царевича Ивана и запоздалому раскаянию царя-отца посвящены исторические полотна В. Г. Шварца («Иоанн Грозный у тела убитого им сына», 1864 г.) и Репина; первоначально Репин намеревался назвать свою картину «Сыноубийца» и лишь по совету П. М. Третьякова согласился дать ей протокольно сухое название, лишенное каких бы то ни было оценок: «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»<sup>30</sup>. Важно отметить, что никто из авторов, обращавшихся к этой теме, не пытался изобразить гибель наследника престола как результат конфликта личностей или конфликта убеждений: для формирования исторического мифа существенной представлялась именно немотивированность сыноубийства, совершенного деспотом, дошедшего тем самым «до предела во зле». Тема детоубийства в русской культуре XIX века была столь неразрывно связана с образом Грозного, что Л. А. Мей спроецировал эту коллизию на вымышленную ситуацию с участием вымышленного персонажа: в

---

<sup>30</sup> Репин И. Е. Избранные письма в 2-х тт. Т. 1: 1867–1892. М., 1969. С. 301, 331.

его драме «Псковитянка» (1860) Иван Васильевич становится невольным виновником самоубийства своей внебрачной дочери, псковской боярышни Ольги Токмаковой<sup>31</sup>.

Образ Грозного как царя-детоубийцы (явно перекликавшийся с мифом о Кроносе) в контексте пореформенной культуры приобретал актуальное политическое содержание: деспот убивает своих детей, деспотизм губит будущее страны. Едва ли можно считать случайным совпадением, что в культуре пореформенной эпохи оказался востребованным образ еще одного «преступного царя» Московии — Бориса Годунова (в драматической трилогии А. К. Толстого, в прославленной опере М. П. Мусоргского по драме А. С. Пушкина), и что его образ опять-таки был неразрывно связан с сюжетом детоубийства. В общественном сознании формировалась моральная атмосфера ожидания суда над деспотизмом, и тем самым, возможно, завязывался один из узлов будущей трагедии 1881 года. Рядом с этим историческим мифом меркнул и отходил на второй план общественного сознания альтернативный образ Грозного как царя-преобразователя, непонятого своими современниками, — тот образ, который пытались создать историки государственной школы в противовес Карамзину. Художественные образы прошлого оказались вовлеченными в актуальные политические дебаты.

Заслуживает внимания, что в дискуссии с К. Н. Бестужевым-Рюминым об историческом значении царствования Ивана Грозного Н. И. Костомаров — признанный лидер демократически-народнического направления в историографии — апеллировал к Карамзину как к высшему авторитету<sup>32</sup>. Для историка-народника оказалась актуальной карамзинская стратегия построения исторического повествования, — суд над историей с позиций неких абсолютных критериев. С точки зрения историографа начала XIX века, этому суду подлежали сами исторические деятели; с точки

---

<sup>31</sup> Псковитянка // *Мей Л. А.* Полн. собр. соч. в 2-х тт. Т. 2: Драматические произведения и рассказы. СПб., 1911. С. 138-210, 325-330.

<sup>32</sup> *Костомаров Н. И.* Личность царя Ивана Васильевича Грозного. С. 499-500. См. также: *Богатырев С. Н.* Грозный царь или грозное время? Психологический образ Ивана Грозного в историографии // *История и историки: историографический вестник 2004* / Отв. ред. А. Н. Сахаров. М., 2005. С. 69-70.

же зрения историка эпохи реформ, история, «исследуя причины явлений, должна судить *те неестественные общественные условия*, которые производят подобные явления»<sup>33</sup>. Развернувшийся в историческом сознании пореформенной эпохи выбор между противоположными образами Ивана IV был в то же самое время выбором между двумя способами восприятия прошлого, двумя различными стратегиями поиска смысла истории.

Но обращение к проблеме деспотизма ставило перед художником и перед его аудиторией мучительные нравственные проблемы. Если Н. М. Карамзин в свое время считал знаменитое «народное безмолвие» адекватным и достойным ответом на жестокость власти<sup>34</sup>, то в эпоху Великих реформ народное долготерпение служило уже не предметом гордости, но скорее поводом для весьма невеселых раздумий (вспомним некрасовские «Размышления у парадного подъезда»). Как писал А. К. Толстой в предисловии к роману «Князь Серебряный», «при чтении источников книга не раз выпадала у него из рук, и он бросал перо в негодовании, не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования»<sup>35</sup>. Н. И. Костомаров с не меньшей горечью размышлял о том, что кровавые эксцессы правления Грозного были возможны только в силу «рабского бессмысленного страха и терпения» подданных, и что «московские люди, даже лучшие, были слуги, а не граждане»<sup>36</sup>.

Для общественного сознания XIX века — века национальных движений и веры в демократию, — Народ был достоин своего гордого имени лишь в том случае, если он способен на осознанное коллективное действие в защиту своих идеалов. Поэтому сложившийся в исторической памяти пореформенной эпохи образ «преступных царей» необходимо было уравновесить — и в

---

<sup>33</sup> Костомаров Н. И. Личность царя Ивана Васильевича Грозного. С. 522-524.

<sup>34</sup> Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М., 1991. С. 25.

<sup>35</sup> Толстой А. К. Собр. соч. в 4-х тт. Т. 2: Художественная проза. М., 1980. С. 75.

<sup>36</sup> Костомаров Н. И. Личность царя Ивана Васильевича Грозного. С. 522-523.

плане художественном, и в плане идейном — столь же яркими образами народного действия и народных героев. Такую компенсаторную функцию в исторической памяти эпохи Великих реформ сыграло, с одной стороны, обращение к истории народных восстаний, с другой — к истории церковного раскола XVII века, порожденного никоновской реформой.

**«Вольница и подвижники»:  
интеллигенция в поисках народа**

В культуре пореформенной России шел деятельный поиск таких форм, которые позволили бы адекватно воплотить идею Народа как ведущего субъекта истории. В исторической науке это стремление выразилось в деятельности историков народнического, демократического направления; в искусстве оно привело к рождению жанров «хоровой картины», «народной драмы» и «народной оперы» (определения В. В. Стасова)<sup>37</sup>.

Тема активного народного протеста, «русского бунта» проходила красной нитью сквозь исторические труды и историческую прозу пореформенной эпохи, начиная с монографии Н. И. Костомарова «Бунт Стеньки Разина» (1858) и до романа Д. Л. Мордовцева о Разине «За чьи грехи» (1891). Явным знамением эпохи можно считать дополнения, внесенные М. П. Мусоргским в текст пушкинского «Бориса Годунова» при работе над одноименной оперой: как известно, в некоторых случаях композитор самостоятельно сочинял целые драматические сцены. По свидетельству Стасова, в 1871 г., перерабатывая оперу, Мусоргский «решил кончить ее не смертью Бориса, а сценою восставшего расходившегося народа, торжеством Самозванца и плачем юродивого о бедной Руси»<sup>38</sup>. На смену пушкинскому «народ безмолвствует» пришла знаменитая «сцена под Кромами», яркая картина разудалого и грозного, но краткого и заведомо обреченного народного торжества.

Исторические представления формировали сферу политических ожиданий. М. А. Бакунин, утверждавший, что русское кре-

---

<sup>37</sup> Стасов В. В. Избр. соч. в 3-х тт. Т. 3. М., 1952. С. 60-61.

<sup>38</sup> Орлова А. Труды и дни Мусоргского. Летопись жизни и творчества. М., 1963. С. 236.

стьянство ждет только искры, чтобы разрозненные бунты слились в «бунтующий океан», и веривший в огромный революционный потенциал разбойничьего мира, ссылаясь при этом не только на современное ему положение дел, но и на исторические реалии времен Степана Разина и Емельяна Пугачева<sup>39</sup>. К образу Степана Разина активно обращались народники в агитационной литературе 1870-х годов — причем во всех ее жанрах, от исторической хроники до стихотворений и поэм<sup>40</sup>. В последней трети XIX века удалой атаман покорил без боя городскую песенную культуру: одной из самых популярных русских песен на долгие десятилетия стала «Из-за острова на стрежень» на слова Д. Н. Садовникова (1883), а на вечеринках оппозиционных кружков непременно пели «Утес Стеньки Разина» на слова народника А. Навроцкого (1870). Крайняя мифологизированность образа Разина в русской пореформенной культуре не нуждается в доказательствах: этот образ, вобравший в себя черты «благородного разбойника» из романтической литературы, стал воплощением архетипических народных представлений о «воле-волюшке»<sup>41</sup>.

Однако внимание деятелей пореформенной культуры, обращавшихся к прошлому России в поисках образов народных героев, привлекали не только яркие вспышки протеста, но и повседневная практика стоического диссидентства — используя терминологию Н. К. Михайловского, не только «вольница», но и «подвижники»<sup>42</sup>. Неотъемлемой частью исторического мировоззрения российской интеллигенции второй половины XIX века стала тема старообрядчества в России.

---

<sup>39</sup> Письмо М. А. Бакунина к С. Г. Нечаеву 2-го июня 1870 г. // *Бакунин М. А.* Философия, социология и политика. М., 1989. С. 540-542.

<sup>40</sup> Агитационная литература русских народников: Потаенные произведения 1873–1875 гг. Л., 1970. С. 416-433.

<sup>41</sup> См., напр.: *Костомаров Н. И.* Бунт Стеньки Разина. Исторические монографии и исследования. М., 1994. С. 351-352.

<sup>42</sup> Заслуживает внимания, что свою социально-психологическую концепцию «вольницы» и «подвижников» как двух типов общественного протеста Н. К. Михайловский разработал под явным влиянием исторических трудов Д. Л. Мордовцева. См.: *Мордовцев Д. Л.* Самозванцы и понизовая вольница. В 2-х тт. СПб., 1867 (2-е изд.: СПб., 1884); *Михайловский Н. К.* Вольница и подвижники [1877] // *Михайловский Н. К.* Полн. собр. соч. Изд. 5-е. СПб., 1911. Т. 1. Стб. 579-582.



Благодаря потеплению политического климата в эпоху Великих реформ была прорвана завеса молчания вокруг преследуемых, социально изолированных приверженцев «древлего благочестия». С момента публикации исторических исследований о Макарии Булгакова «История русского раскола, известного под именем старообрядства» (1855) и А. П. Шапова «Русский раскол старообрядства» (1859) эта тема стала вызывать поистине шквальный интерес. Расколу посвящали исторические, историко-правовые и этнографические исследования; параллельно осуществлялась публикация источников по истории старообрядчества<sup>43</sup>. Интерес к истории раскола, безусловно, стимулировался тем, что эта история продолжалась и в XIX веке: как писал П. И. Мельников-Печерский, «русская публика... горячо желает, чтобы путем просвещающего анализа разъяснили ей наконец загадочное явление, отражающееся на десятке миллионов русских людей»<sup>44</sup>.

Но при обращении к истории церковного раскола ученые пореформенной эпохи сталкивались с проблемой принципиальной инаковости людей прошлого, культурной дистанции между XVII и XIX в. Глядя с позиций своего времени, века реализма и прогресса, историки пореформенной России часто оценивали Московское царство времен Алексея Михайловича как «темное царство», погруженное в «долговременный застой», где господствовало «обрядовое суеверие» и «безграничное национальное самомнение»; характерно, что такую оценку разделяли и отец-основатель «государственной школы» С. М. Соловьев, и историки, связанные с народнической традицией<sup>45</sup>. Чем же могли заинтере-

---

<sup>43</sup> См., напр.: *Кельсиев В. И.* Сборник правительственных сведений о раскольниках. Лейпциг, 1860-1862; *он же.* Собрание постановлений по части раскола. Лейпциг, 1863; *Есипов Г.* Раскольничьи дела XVIII столетия. В 2-х тт. СПб., 1861-1863; *Житие протопопа Аввакума, им самим написанное* / Под ред. Н. С. Тихонравова. СПб., 1862; *Попов Н.* Сборник для истории старообрядчества. М., 1864; *Субботин Н.* Материалы для истории раскола за первое время его существования. В 8 тт. М., 1875-1887; *Пругавин А. С.* Раскол-сектантство. Вып. 1. Библиография старообрядчества и его разветвлений. М., 1887; *Плотников К.* История русского раскола. СПб., 1891-1892; и мн. др.

<sup>44</sup> *Мельников-Печерский П. И.* Собр. соч. В 8 тт. Т. 8. М., 1976. С. 6-7.

<sup>45</sup> *Соловьев С. М.* Сочинения: В 18-ти кн. Кн. 6: История России с древнейших времен. Т. 11-12. С. 192-195; Кн. 7: История России с древней-

совать российское общество пореформенной эпохи раскольники времен Алексея Михайловича — религиозные фанатики-фундаменталисты, готовые безоговорочно «умереть за единый аз»?

Историкам, обращавшимся к теме раскола, предстояло решить проблему *понимания* в историческом смысле слова: «перевести» верования и чаяния старообрядцев на язык светской культуры XIX века, расставить в истории раскола акценты в соответствии с ценностями российского общества пореформенной эпохи. Сами историки считали, что их задача — отыскать «истинную сущность», «подлинный смысл раскола»; типичными были такие утверждения: «здравый смысл отказывается верить, чтобы раскол, внесший такую рознь в среду миллионов русских людей, был следствием отступления во второстепенных подробностях религиозного догматизма и церковной обрядности... Истинная причина происхождения раскола, очевидно, глубже»; или даже — «лучшим объяснением будет то, что в расколе главной движущей силой является не религия, а нечто другое»<sup>46</sup>.

Безусловно, эта задача допускала и «негативное», и «позитивное» решение. «Негативное» — состояло в том, чтобы изобразить старообрядцев как врагов прогресса и просвещения (по этому пути пошел С. М. Соловьев в своем национально-государственном нарративе); «позитивное» — в том, чтобы показать старообрядцев как носителей ценностей, остающихся значимыми и для российского общества эпохи реформ.

«Позитивное» решение этой задачи первым предложил А. П. Шапов, историк, сумевший пробудить мощный общественный интерес к теме раскола. Шапов отыскал способ вписать ис-

---

ших времен. Т. 13-14. С. 157-158; *Шапов А. П.* Русский раскол старообрядства, рассматриваемый в связи с внутренним состоянием русской церкви и гражданственности в XVII веке и в первой половине XVIII. Опыт исторического исследования о причинах происхождения и распространения русского раскола. Казань, 1859. С. I-III, 35-55; *Костомаров Н. И.* История раскола у раскольников // Вестник Европы. 1871. Т. 3. Кн. 4. С. 469-480; *Пытин А. Н.* История русской литературы. Т. 2. Древняя письменность. Времена Московского царства. Канун преобразования. СПб., 1898. С. 271.

<sup>46</sup> *Андреев В. В.* Раскол и его значение в народной русской истории. Исторический очерк. СПб., 1870. С. 1-2; *Каблиц [Юзов] И.* Русские диссиденты. Староверы и духовные христиане. СПб., 1881. С. 10.

торию *церковного* раскола в историю *народа*: в своих исследованиях он сформировал представление о расколе как о широком народном движении за демократические земские идеалы, как о «могучей, страшной общинной оппозиции податного земства, массы народной против всего государственного строя — церковного и гражданского», против крепостнического Московского царства<sup>47</sup>. История старообрядчества превратилась под его пером в доказательство способности русского народа восстать на борьбу за народную Правду и вести эту борьбу, не отступая в течение многих десятилетий. Ученик Щапова Н. Я. Аристов, а также известный этнограф и публицист А. С. Пругавин предприняли попытку реконструировать то «положительное, во имя чего они [раскольники] так горячо ратовали»; они стремились доказать, что старообрядческие братства представляли собой своеобразный островок общинного коммунизма среди крепостной России, зримое воплощение народной Правды; что «раскол, в лице передовых сект... путем критики современных отношений, вырабатывает идеал будущего и отношений в человечестве [sic]»<sup>48</sup>.

Представление о старообрядцах как о бунтарях и оппозиционерах, борцах за земско-демократические или же общинно-коммунистические идеалы, стало в пореформенной науке и публицистике «общим местом»<sup>49</sup>. Поэтому славянофил И. С. Аксаков, боровшийся за права старообрядцев, был вынужден специально доказывать, что сторонники «древлего благочестия» являются вполне законопослушными подданными; старообрядцы в восприятии Аксакова были стихийными консерваторами — «из лучших сынов Русского народа по благочестию и строгости нравов, по крепости духа, по верности отеческим, народным, историческим преданиям»<sup>50</sup>.

Яркую национально-культурную интерпретацию раскола предложил в своих исторических работах, а затем и в знаменитой

---

<sup>47</sup> Щапов А. П. Земство и раскол. Вып. 1. СПб., 1862. С. 28.

<sup>48</sup> См.: Пругавин А. С. Значение сектантства в русской народной жизни // Русская мысль. 1881. № 1. С. 301-363 (цит. с. 362); *он же*. Раскол и его исследователи // Русская мысль. 1881. № 2. С. 332-357; Аристов Н. Я. Устройство раскольничьих общин // Библиотека для чтения. 1863. № 7. С. 1-32.

<sup>49</sup> Язвительную критику таких представлений о расколе см.: Харламов И. Идеализаторы раскола // Дело. 1881. № 8-9.

<sup>50</sup> Аксаков И. С. Сочинения. Т. 4. СПб., 1903. С. 92, 172-173.

дилогии о заволжских старообрядцах П. И. Мельников-Печерский. Раскольники-старообрядцы представлялись ему не просто наиболее сильными и цельными натурами русского общества<sup>51</sup>, но и последними хранителями подлинно русской, допетровской и даже домонгольской идентичности: «Старая там Русь, исконная, кондовая, — писал Мельников-Печерский о старообрядческих поселениях в романе «В лесах». — С той поры, как зачиналась земля Русская, там чуждых насельников не бывало. Там Русь сысстари на чистоте стоит, — какова была при прадедах, такова хранится до наших дней»<sup>52</sup>. Если Щапов превратил историю раскола в важный эпизод истории народа-демоса (угнетенного, страдающего, но не сломленного), то Мельников-Печерский вписал историю раскола в повествование об исторической судьбе народа-нации.

Наконец, видный представитель народнического направления в историографии Н. И. Костомаров воспринимал раскол как «крупное явление народного умственного прогресса». Раскол, писал Костомаров, «расшевелил спавший мозг русского человека»: когда возникла потребность «удерживать то, что прежде многие века стояло твердо», «защищать то, чему слепо верили, не размышляя», сторонники старого обряда должны были научиться «мыслить и спорить». В результате с ходом времени сформировалась особая культура и этика старообрядцев, основанная на таких качествах, как грамотность, беглость ума, трудолюбие, предприимчивость, взаимопомощь, честность, аккуратность, добросердечие и трезвость... «Раскол есть явление новое, чуждое старой Руси», — подводил итог Костомаров; старообрядцы представляли в его изображении как наиболее развитая часть русского «простонародья», носители прогрессивных начал<sup>53</sup>.

Таким образом, в российской исторической мысли пореформенного периода был представлен самый широкий спектр образов раскольников-старообрядцев: от борцов против крепостниче-

---

<sup>51</sup> Мельников-Печерский П. И. Исторические очерки поповщины. М., 1864. С. 15.

<sup>52</sup> Мельников-Печерский П. И. В лесах. Роман в 2-х кн. Кн. 1. М., 1994. С. 3-4.

<sup>53</sup> Костомаров Н. И. История раскола у раскольников // Вестник Европы. 1871. № 4. С. 469-470, 496-499.

ского Московского царства — до благочестивых консерваторов, последних хранителей истинно русской идентичности; от фанатиков-мракобесов — до носителей прогрессивной этики Нового времени. Насколько удачными оказались эти стратегии актуализации, «осовременивания» раскола? Какие из этих оценок оказались востребованными в культуре пореформенного общества и смогли укорениться в его исторической памяти?

Безусловно, в художественной культуре пореформенной эпохи история старообрядчества оказалась одним из самых актуальных исторических сюжетов. Расколу и раскольникам посвящали романы-эпопеи («из народного быта» (дилогия П. И. Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах», 1871–1881), исторические повести («Запечатленный ангел» Н. С. Лескова, 1873) и исторические романы («Великий раскол» Д. Л. Мордовцева, 1880); живописные полотна («Никита Пустосвят» В. Г. Перова, 1880–1881; «Черный собор» С. Д. Милорадовича, 1885; «Боярыня Морозова» В. И. Сурикова, 1887) и оперы («Хованщина» М. П. Мусоргского, 1872–1881). Характерно, что в большинстве своем эти произведения были проникнуты самым искренним сочувствием к гонимым и преследуемым старообрядцам.

Обращение искусства к теме раскола позволило утолить потребность российской общественности в образах народных героев и в формировании национального мартиролога. Протопоп Аввакум и боярыня Морозова были единодушно возведены в ранг самых ярких личностей российской истории, героев «с великими, шекспировскими характерами»<sup>54</sup>. Образы старообрядцев естественно вписались в парадигму национально-культурного возрождения. Раскольничья и стрелецкая допетровская Русь была воспета и оплакана в «Хованщине» М. П. Мусоргского; символично, что в этой опере тема увертюры «Рассвет на Москве-реке», идеально-прекрасного образа утраченной старины, интонационно и мелодически перекликается с финальным хором раскольников, идущих на саможжение<sup>55</sup> («саможжение древней, погибающей России», как интерпретировал эту сцену Стасов<sup>56</sup>).

---

<sup>54</sup> Мордовцев Д. Л. Великий раскол // Мордовцев Д. Л. Соч. в 2-х тт. Т. 1. М., 1991. С. 411.

<sup>55</sup> Бакаева Г. «Хованщина» М. Мусоргского — историческая народная музыкальная драма. Киев, 1976. С. 175.

<sup>56</sup> Стасов В. В. Избранные статьи о М. П. Мусоргском. С. 231.

Важно отметить, что и народническая интеллигенция, придерживавшаяся радикальных политических убеждений, тоже сочувствовала раскольникам и считала их «правыми в своем праве». Это представляется тем более удивительным, что сами по себе религиозные идеалы и апокалиптические чаяния «расколоучителей» не могли вызывать особенного сочувствия у пореформенной интеллигенции. Но зато их безусловное понимание находила сама способность раскольников к сознательному самопожертвованию, умение «страдать с дерзновением»<sup>57</sup>. Ирония исторического сознания пореформенной эпохи состояла в том, что, отторгая «домостроевские», «душные и темные идеалы» Московской Руси XVII столетия, интеллигенция при этом восхищалась старообрядцами — «замечательными», «удивительными» людьми, которые во имя этих «душных и темных идеалов» бестрепетно шли на смерть<sup>58</sup>.

С этими историческими представлениями был связан парадокс народнического движения, на который обратил внимание А. Эткинд: уходя «в народ», молодые революционеры-народники 1870-х годов зачастую стремились вести пропаганду прежде всего среди раскольников и сектантов, воспринимая их как преимущественных носителей бунтарского народного духа<sup>59</sup>. История раскола была своеобразным «зеркалом прошедшего времени», в которое смотрелось народническое движение: так, в знаменитой повести В. Г. Короленко «Чудная» гордая и непримиримая девушка-народоволка, умирающая от туберкулеза в сибирской ссылке, сравнивалась с боярыней Морозовой<sup>60</sup>.

Это означало, что исторической мысли пореформенной России удалось выполнить сложную задачу: сомкнуть дистанцию между прошлым и настоящим, превратить чуждое и непонятное в

---

<sup>57</sup> Мордовцев Д. Л. Великий раскол. С. 300; ср.: Степняк-Кравчинский С. Андрей Кожухов: Роман. Минск, 1982. С. 226-227.

<sup>58</sup> См. отзыв В. М. Гаршина о полотне В. И. Сурикова «Боярыня Морозова»: Гаршин В. М. Сочинения. М.-Л., 1963. С. 424-430, а также: Мякотин В. А. Протопоп Аввакум. Его жизнь и деятельность [ЖЗЛ: Биографическая библиотека Ф. Павленкова]. СПб., 1894. С. 10-22, 40, 52-56, 143-145.

<sup>59</sup> Etkind A. Whirling with the Other: Russian Populism and Religious Sects // The Russian Review 62 (October 2003). P. 565-588.

<sup>60</sup> Короленко В. Г. Собр. соч. в 5-ти тт. Т. 1: Повести и рассказы. 1879-1888. Л., 1989. С. 93-94.

объект сочувствия и гордости, подражания и осуждения. В историческом сознании пореформенной эпохи раскол воспринимался как своеобразный «момент истины», позволивший выявить истинное лицо русского человека; старообрядцы — как носители «здоровых и привлекательных черт чисто-русского национального характера»<sup>61</sup>; а художественный образ женщины-раскольницы, гордой и цельной, истовой в вере и в любви, готовой к мученичеству вплоть до самосожжения (Морозовой у Мордовцева и Сурикова, Манефы у Мельникова-Печерского, Марфы у Мусоргского) в пореформенном русском искусстве поднялся на высоту архетипа, символа Руси.

Но если эпоха Московской Руси воспринималась в пореформенной русской культуре как сокровищница самобытной культуры, старообрядцы — как самые верные и стойкие хранители народной Правды и национальной идентичности, то неминуемо должно было измениться отношение к тому историческому деятелю, который целенаправленно противостоял традициям Московской Руси, к тому, на чью политику старообрядцы отвечали массовыми самосожжениями. В самом начале эпохи Великих реформ перед «судом истории» — то есть перед судом общественного мнения — предстал Петр Великий.

### **«Гений-палач»: Петр Великий**

Безусловно, общественному сознанию эпохи реформ Александра II требовался свой пантеон героев, свои исторические мифы, с которыми можно было бы соотносить явления современности. В середине 1850-х гг. на роль «культурного героя» вполне мог претендовать Петр Великий — фигура решительного реформатора, смело сокрушавшего пережитки прошлого, не могла не привлекать симпатий общества, жаждавшего перемен<sup>62</sup>. Эпоха Петра была «актуальным прошлым», к которому постоянно апеллировали при обсуждении насущных вопросов современности.

Но в то же самое время восприятие Петра Великого в пореформенной культуре было далеко не однозначным. Как писал в

---

<sup>61</sup> *Пытин А. Н.* История русской этнографии. Т. 1. СПб., 1890. С. 38.

<sup>62</sup> См., напр.: *Огарев Н. А.* Что бы сделал Петр Великий? [1856 или 1857] Публикация С. Переселенкова // Литературное наследство. Т. 39-40: А. И. Герцен. М., 1941. С. 317-322.

своем фундаментальном исследовании Н. Рязановский, «вновь были поставлены проблемы жестокости, издержек, негативных или по меньшей мере сомнительных результатов реформ, совершенных ценой невероятного напряжения сил — но теперь они были более солидно обоснованы, и к ним присоединились бесчисленные новые обвинения»<sup>63</sup>.

Одной из важнейших тем, которая неотступно возникала в дебатах о Петре Первом, была проблема политической и моральной оправданности жестоких расправ царя-реформатора над его противниками. И, разумеется, перед каждым, кто обращался к истории Петра, вставал вопрос: прав ли был Петр, осудив на смерть своего сына и наследника, царевича Алексея?

Представление о том, что Петр Первый был вынужден совершить «авраамово жертвоприношение» — пожертвовать собственным сыном ради успеха реформ и блага страны, вошло в обиход русской культуры еще в XVIII веке, во многом благодаря самому Петру, который был склонен трактовать свои деяния «в их символическом значении» и активно формировать мифологию своего правления<sup>64</sup>. В историографии XVIII и первой половины XIX в. поступок Петра, «заглушившего чувства отца перед гласом отечества», интерпретировался в духе классической трагедии — как единственно достойное разрешение конфликта между чувством и долгом<sup>65</sup>. Но к началу эпохи реформ Александра II столь простые и однозначные решения уже не могли удовлетворить образованных современников, стремившихся к переосмыслению и моральной переоценке русского прошлого, к «суду над историей».

Показательно, что общественная дискуссия о Петре и Алексее открылась с началом эпохи гласности в России. Сигналом к ней — в 1858 г. — послужила публикация в герценовской «Поллярной звезде» письма А. Румянцева к некоему Д. И. Титову, датированного 1718 годом, с подробным рассказом о тайном убий-

---

<sup>63</sup> *Riasanovsky N. The Image of Peter the Great in Russian History and Thought.* N. Y.; Oxford, 1985. P. 152-153.

<sup>64</sup> *Уортман Р. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии.* В 2-х тт. Т. 1: От Петра Великого до смерти Николая I. М., 2002. С. 77, 97-98.

<sup>65</sup> *Устрялов Н. Г. Русская история до 1855 года.* В 2-х ч. Петрозаводск, 1997. С. 502.



стве царевича Алексея Петровича, совершенном по приказу Петра в каземате Петропавловской крепости (большинство историков считали и считают это письмо подложным). Публикация румянцевского письма прозвучала как вызов правительственной идеологии: на протяжении ста сорока лет официальная версия событий гласила, что царевич Алексей Петрович скончался от апоплексического удара, произошедшего в момент оглашения смертного приговора. По свидетельствам современников, рукописные копии письма Румянцева ходили по рукам за несколько лет до публикации<sup>66</sup>.

В 1859 г. историограф Н. Г. Устрялов опубликовал шестой том своей «Истории царствования Петра Великого», посвященный делу царевича Алексея; в «Приложениях» к этому тому было еще раз опубликовано письмо А. Румянцева с комментарием Устрялова, считавшего письмо подделкой<sup>67</sup>. Решительный Герцен и осторожный Устрялов сделали общее дело: трагическая история конфликта Петра I и его наследника, окутанная облаком версий, гипотез и домыслов, стала достоянием общественности. За 1859–1860 годы письмо Румянцева было перепечатано в различных изданиях, по меньшей мере, четыре раза<sup>68</sup>.

Сразу же вслед за этими публикациями в российской печати разгорелась дискуссия о Петре и Алексее; с подробнейшими разборами шестого тома устряловской «Истории» выступили М. И. Семевский и М. П. Погодин. «Суд современников, со всеми его решениями, предается высшему суду, суду потомства, истории, и сами судьи, поднятые из гробов, поступают в ряды ими обвиненных», — патетически сформулировал Погодин<sup>69</sup>.

---

<sup>66</sup> Убиение царевича Алексея Петровича. Письмо Александра Румянцева к Титову Дмитрию Ивановичу // Полярная звезда: Журнал А. И. Герцена и Н. П. Огарева. В 8 кн. Кн. 4. М., 1967. С. 279–287. Упоминания о рукописных копиях письма см.: *Семевский М. И.* Царевич Алексей Петрович. 1690–1718 // Русское слово. 1860. № 1. С. 50; *П. [Пекарский П. П.]* Сведения о жизни и смерти царевича Алексея Петровича // Современник. 1860. № 1. С. 96.

<sup>67</sup> Там же. С. 280–294, 626–628.

<sup>68</sup> Подробно история публикации этого письма рассказана у Эйдельмана: *Эйдельман Н. Я.* Герцен против самодержавия: Секретная политическая история России XVIII–XIX веков и Вольная печать. Изд. 2-е, испр. М., 1984. С. 50–84.

<sup>69</sup> *Погодин М. П.* Суд над царевичем Алексеем Петровичем. Эпизод из жизни Петра Великого // Русская беседа. 1860. № 1. С. 1.

Если Устрялов возлагал моральную ответственность за трагическую судьбу Алексея Петровича на самого царевича, а также на интриганов и ретроградов из его окружения<sup>70</sup>, то его оппоненты — и славянофил Погодин, и тяготевший к демократическому направлению Семевский — не сговариваясь, интерпретировали историю Петра и Алексея как историю тирана и невинной жертвы. Оба они стремились создать в своих работах максимально привлекательный портрет Алексея Петровича — добросердечного, хорошо образованного, рассудительного и набожного юноши, «при других обстоятельствах могшаго быть человеком замечательным, по крайней мере правителем кротким, мирным»<sup>71</sup>. Оба отказывались видеть в действиях Алексея состав преступления, который мог бы дать основание для смертного приговора. Оба указывали на чрезвычайную жестокость, с которой велось петровское следствие, на бессердечность, «огнеупорность» Петра, который в дни пыток, приговоров и казней хладнокровно занимался текущими делами, подписав, в числе прочих, указ «о собирании натуральных уродов и всяких редкостей»<sup>72</sup>. Обнародование румянцевского письма и полемика вокруг него существенно повредили образу Петра в представлениях образованного общества: великий реформатор, создатель новой России предстал перед читателем в отталкивающем облике «пьяного отца», пировавшего со своими клеветами «через несколько часов после того, как задушил измученного пытками сына»<sup>73</sup>.

Следующий шаг на пути развенчания образа царя-реформатора был сделан очень скоро. В 1861–1862 гг. М. И. Семевский выступил в журналах «Время», «Светоч», «Рассвет», «Иллюстратор», «Библиотека для чтения» с циклом публикаций

---

<sup>70</sup> Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. Т. 6: Царевич Алексей Петрович. СПб., 1859. С. 17-18.

<sup>71</sup> Погодин М. П. Суд над царевичем Алексеем Петровичем. С. 72-74; Семевский М. И. Царевич Алексей Петрович. С. 7, 20-21 (цит. с. 20-21); Семевский М. И. Странники царевича Алексея (исторический очерк по вновь открытым материалам). 1705–1724 // Библиотека для чтения. 1861. № 5. С. 28-29.

<sup>72</sup> Погодин М. П. Суд над царевичем Алексеем Петровичем. С. 84-85.

<sup>73</sup> Герцен А. И. Россия и Польша // Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти тт. Т. 14. М., 1958. С. 48.

по истории петровской эпохи: «Царица Прасковья», «“Слово и дело!”», «Царица Катерина Алексеевна», «Семейство Монсов», «Сторонники царевича Алексея», «Кормилица царевича Алексея». Органично сочетая обширные цитаты из документальных источников и живой, беллетризованный слог повествования, Семевский последовательно и беспощадно вскрывал перед читателем черную изнанку петровской эпохи. Петровская Россия на страницах исследований Семевского представляла как царство всеобщего страха, подозрительности и доносительства, как огромный застенок, где никто — от подьячего до архимандрита, от солдатской женки до княгини — не был застрахован от «пыточного обряда»: «Аресты... допросы... тюрьмы... дыба... кнут... клещи... жжение живых... плаха... стоны... вопли... мольбы о пощаде... и всюду кровь, кровь и кровь!»<sup>74</sup>.

Над составлением мартиролога петровского правления работал и Г. В. Есипов, «трудолюбивый исследователь Петровской старины», опубликовавший несколько документальных очерков о жертвах Преображенского приказа и Тайной канцелярии<sup>75</sup>. Как правило, и Семевский, и Есипов писали о невинных жертвах, о людях, подвергнутых страшным наказаниям за поступки, которые с точки зрения просвещенного человека XIX столетия нельзя было считать преступлениями: «не только за дело, нет, за слово, полуслово, за мысль “непотребную”, мелькнувшую в голове дерзкого», или даже за «поклон не по обряду»<sup>76</sup>.

Публикации 1850-х – 1860-х гг. с их «обстоятельным и правдивым» рассказом о жертвах репрессивной системы петровских времен, по словам А. Н. Пыпина, «бросили на XVIII век такую мрачную тень, которая естественно стала заслонять самую традиционную славу Петра Великого». Дело царевича Алексея стало восприниматься не как нечто исключительное, а как одно из звеньев в бесконечной цепи насилия; история стрелецких каз-

---

<sup>74</sup> Семевский М. И. Тайная служба Петра I: Документальные повести. М., 1996. С. 277.

<sup>75</sup> Есипов Г. В. Раскольничьи дела XVIII столетия, извлеченные из дел Преображенского приказа и Тайной розыскных дел канцелярии. В 2-х тт. СПб., 1861–1863; *Он же*. Люди старого века: Рассказы из дел Преображенского приказа и Тайной канцелярии. СПб., 1880.

<sup>76</sup> Семевский М. И. Тайная служба Петра I. С. 292, 208-213.

ней, картины повседневной работы Преображенского приказа и тайной канцелярии выстраивались в мрачный ряд свидетельств «о безграничной свирепости правления и о полной подавленности общественного чувства и личного достоинства»<sup>77</sup>. «Петр I — самый полный тип эпохи, или призванный к жизни гений-палач, для которого государство было все, а человек ничего», — афористически сформулировал А. И. Герцен<sup>78</sup>.

Важно отметить, что в исторической литературе 1860-х годов неизменный интерес вызывала тема антипетровской пропаганды в правление Петра I, в особенности известной народной легенды о Петре-антихристе. Героями исторических публикаций (причем безусловно *положительными* героями) в те годы неоднократно становились, в частности, раскольник-книгописец Григорий Талицкий и монах Варлаам Левин, казненные за публичное обличение «антихриста» в начале XVIII в.<sup>79</sup> Просвещенные читатели эпохи Александра II больше не верили в скорое пришествие антихриста, но не могли не сочувствовать людям, отдавшим жизнь за свои убеждения. Отождествление же Петра с антихристом — то есть антиподом Христа — приобрело в пореформенную эпоху новый смысл, далекий от эсхатологического: в высокой русской культуре XIX века, несмотря на кризис традиционной религиозности (а, возможно, даже благодаря этому кризису) образ Христа воспринимался прежде всего как олицетворение милосердия и жертвенной любви к людям.

Однако времена — а с ними и исторические мифы — имеют свойство меняться. Через десять лет после дискуссии о Петре и Алексее, разгоревшейся в 1859–1861 гг., фигура первого императора вновь оказалась в центре общественного интереса: петровский юбилей 1872 года послужил импульсом к переосмыслению роли царя-реформатора в российской истории. Аналитические статьи о «петровском наследии» поместили все ведущие российские журналы; крупнейшие российские историки, в том числе С. М. Соловьев и К. Н. Бестужев-Рюмин, выступили с публичны-

---

<sup>77</sup> Пытин А. Н. Новый вопрос о Петре Великом // Вестник Европы. 1886. № 5. С. 324–325.

<sup>78</sup> Цит. по: Эйдельман Н. Я. Герцен против самодержавия. С. 50.

<sup>79</sup> См.: Семевский М. И. Тайная служба Петра I; Есинов Г. В. Раскольничьи дела XVIII столетия.

ми лекциями о Петре<sup>80</sup>; появление картины Н. Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» и статуи Петра I работы М. М. Антокольского также было приурочено к юбилейному году. На этот раз голоса порицателей Петра Великого были далеко не так слышны, как голоса панегиристов: представители самых разных направлений общественной мысли — от либералов до народников — развернули между собой борьбу за право считаться идейными наследниками царя-реформатора, «идущими по его следам»<sup>81</sup>.

По всей видимости, столь существенные перемены в восприятии Петра I и петровских реформ были связаны с изменениями общественно-политической и историографической ситуации. В 1850-х — начале 1860-х гг., накануне отмены крепостного права, публицисты и историки осуждали авторитарный и насильственный характер петровских реформ в надежде, что их собственному поколению удастся найти более демократический и гармоничный путь общественных преобразований. К 1872 году, когда с момента отмены крепостного права прошло более десяти лет, когда результаты Великих реформ казались уже не столь впечатляющими, а порожденные реформами социальные противоречия заявляли о себе все громче, реформы Петра стали восприниматься более позитивно, и дифирамбы «царю-работнику» — по тонкому наблюдению Р. Уортмана — звучали теперь скрытым укором в адрес его не столь энергичного и последовательного преемника — Александра II<sup>82</sup>.

Кроме того, в течение первого пореформенного десятилетия — в 1863–1868 гг. — один за другим выходили в свет оче-

---

<sup>80</sup> Соловьев С. М. Публичные чтения о Петре Великом // Соловьев С. М. Чтения и рассказы по истории России. М., 1989; Бестужев-Рюмин К. Н. Причины различных взглядов на Петра Великого в русской науке и русском обществе // Журнал Министерства народного просвещения. Т. 161. 1872. № 5. С. 149-156.

<sup>81</sup> Государственные идеи Петра Великого и их судьба. — 30-го мая 1672 — 30-го мая 1872 г. // Вестник Европы. 1872. № 6. С. 770-796; Шашков С. Всенародной памяти царя-работника // Дело. 1872. № 7. С. 301; Михайловский Н. К. Из литературных и журнальных заметок 1872 года. Стб. 647-648, 651.

<sup>82</sup> Уортман Р. Сценарии власти. Т. 2: От Александра II до отречения Николая II. М., 2004. С. 173-180.

редные шесть томов «Истории России» С. М. Соловьева (с тринадцатого по восемнадцатый), посвященные истории петровских реформ. Логическим завершением этой темы в творчестве Соловьева стали его «Публичные чтения о Петре Великом» — публицистическое просветительское сочинение, цель которого состояла в том, чтобы сформировать в сознании российской читающей публики определенное отношение к Петру: «разъяснить для себя значение деятельности великого человека; сознать свое отношение к этой деятельности, к ее результатам; узнать, во сколько эти результаты вошли в нашу жизнь, что они произвели в ней, какое их значение для настоящего, для будущего»<sup>83</sup>.

Последовательно и обстоятельно выстраивая историческую панораму петровского правления, Соловьев доказывал, что реформы явились своевременным ответом на настоятельные потребности страны и эпохи, что они представляли собой «естественное и необходимое явление в народной жизни», и потому Петра невозможно упрекать в том, что он своевольно переломил ход русской истории. Преобразовательная деятельность Петра представала в многотомной «Истории» Соловьева как своеобразная кульминация, переломный момент всего повествования об историческом пути России. Именно в эпоху Петра, как доказывал историк, «народ малоизвестный, бедный, слабый» поднялся до понимания своего незавидного положения и его причин — и, с помощью энергичного вождя, сделал решающие шаги на пути преодоления причин своей бедности, шаги к современному, промышленному и торговому обществу со светской культурой, наукой и просвещением<sup>84</sup>.

Но Соловьев не просто выстроил вокруг истории петровских реформ новый нарратив (в соответствии с типологией Х. Уайта этот нарратив можно было бы классифицировать как «роман» — историю победы творческих сил человека над неблагоприятными внешними условиями<sup>85</sup>). В «Публичных чтениях о Петре Вели-

---

<sup>83</sup> Соловьев С. М. Публичные чтения о Петре Великом. С. 414.

<sup>84</sup> Соловьев С. М. Соч. В 18 кн. Кн. 9: История России с древнейших времен. Т. 17-18. М., 1993. С. 532-533. Ср.: Соловьев С. М. Публичные чтения о Петре Великом. С. 442.

<sup>85</sup> Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002. С. 27-30.

ком» Соловьев нашел удачную стержневую метафору для описания деяний императора: согласно Соловьеву, вся эпоха Петра была «великой народной школой», «школой, взятой в самых широких размерах». Сам же Петр сумел стать «великим народным учителем», который, чтобы «употребить наглядный способ обучения», показывал своим подданным пример делом и «первый подставлял свои могучие плечи под тяжесть»<sup>86</sup>. Метафора школы и воспитания позволила Соловьеву перевести вопрос о жестокости петровского правления в ироническую плоскость: знаменитую петровскую дубинку историк интерпретировал как воспитательное средство «для взрослых детей», надобность в котором отпадет, как только подданные избавятся от «детских побуждений»<sup>87</sup>. Успех реформ предстал в таком случае как педагогическое достижение Петра: «Значит, была хорошая школа, хороший учитель и хорошие ученики»<sup>88</sup>.

Конфликт Петра и Алексея в исторических произведениях Соловьева превращался не просто в драматическую кульминацию повествования о реформах, но в некий «момент истины», когда Петр был поставлен лицом к лицу перед дилеммой, из которой не может быть этически безупречного выхода — перед страшным выбором между Россией и сыном: «Надобно выбирать: ...или преобразованная Россия в руках человека, сочувствующего преобразованию, готового далее вести дело, или видеть эту Россию в руках человека, который со своими Досифеями будет с наслаждением истреблять память великой деятельности. Надобно выбирать: среднего быть не может... Для блага общего надобно пожертвовать недостойным сыном; надобно одним ударом уничтожить все преступные надежды. Но казнить родного сына!..»<sup>89</sup>. Настоящей жертвой в таком случае, с точки зрения Соловьева, оказывался не замученный в каземате Алексей, а

---

<sup>86</sup> Соловьев С. М. Публичные чтения о Петре Великом. С. 464-469, 481, 491, 500-501, 507, 509-510, 520-521, 531-534, 558-560, 569. Ср.: Соловьев С. М. Соч. В 18 кн. Кн. 9. С. 528-533.

<sup>87</sup> Там же. С. 560.

<sup>88</sup> Соловьев С. М. Публичные чтения о Петре Великом. С. 563. См. также: Соколовский И. В. Петр Великий как воспитатель и учитель народа. Казань, 1873.

<sup>89</sup> Соловьев С. М. Соч. В 18 кн. Кн. 9. С. 175-176.

Петр, вынужденный вынести суровый приговор собственному ребенку<sup>90</sup>.

Но ставить точку в диспуте о Петре было рано. Представление о Петре как о палаче собственного народа за прошедшие годы успело глубоко укорениться в сознании пореформенного общества. Возражения «панегиристам Петра Великого» — образные, и потому особенно мощные по эмоциональному воздействию — звучали уже не только в прессе и в исторических монографиях, но с оперной сцены, со страниц исторических романов, даже с живописного полотна. В «Хованщине» Мусоргского (1872–1881) Петр ни разу не появлялся на сцене, но был назван инициатором расправы над главными героями; «петровцы» из Преображенского полка выходили на сцену в неблагодарной роли карателей и были охарактеризованы через напористую и самоуверенную, механически-однообразную мелодию военного марша — как «представители чего-то безликого и жестокого, грубо вторгающегося в [народную] жизнь»<sup>91</sup>. На картине В. И. Сурикова «Утро стрелецкой казни» (1881) Петр фигурировал в качестве распорядителя экзекуции, не способного на сострадание и прощение.

Наконец, в романе Д. Л. Мордовцева с прозрачно-аллегорическим названием «Тень Ирода» (1876) Петр I предстал в облике людоеда из страшной сказки: «Нечеловеческий рост, нечеловеческие поступки, нечеловеческое сердце — да, это он, под ногами которого трещит земля и стонут люди... Ох ты, Петр, Петр! Много тобою душ съедено, много... Великан, саженная душа, саженное сердце, злоба саженная!»<sup>92</sup>. Оппонент Петра — царевич Алексей Петрович — был показан в романе не просто как кроткий, ангелоподобный юноша, над «добрым лицом» которого «как-то не думалось видеть царскую корону»; он превратился в заступника простого народа, страдальца за «матушку Русь, обездоленную, голодную»<sup>93</sup>. Эпоха Некрасова и Перова, Лаврова и Михайловского, чайковцев и землевольцев расставляла свои акценты в восприятии исторических персонажей XVIII века.

---

<sup>90</sup> Соловьев С. М. Публичные чтения о Петре Великом. С. 571.

<sup>91</sup> Фрид Э. Прошедшее, настоящее и будущее в «Хованщине» Мусоргского. С. 122-127.

<sup>92</sup> Мордовцев Д. Л. Ирод; Тень Ирода. Ставрополь, 1993. С. 61, 107, 109.

<sup>93</sup> Там же. С. 31, 33.



Таким образом, в начале 1870-х годов вокруг фигуры Петра I сложилось несколько соперничающих нарративов, каждый из которых обладал своим образно-метафорическим рядом. Образ великого реформатора, пожертвовавшего собственным сыном ради блага страны, приходил в непримиримое столкновение с образом жестокого деспота, хладнокровно терзавшего своего ребенка и свой народ во имя сомнительных политических задач. При этом контрастирующие представления о Петре могли уживаться друг с другом даже в творчестве одного и того же человека.

Примером тому может служить одно из самых знаменитых произведений русской исторической живописи — историческое полотно Н. Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе», экспонированное на первой выставке Товарищества передвижников в 1871 г. Картина вызвала живейший интерес публики и множество откликов в прессе; одним из главных показателей успеха стало то, что Ге шесть раз копировал «Петра I с Алексеем» для различных заказчиков — одну из авторских копий картины приобрел Александр II<sup>94</sup>. Однако диапазон мнений по поводу исторического содержания картины был весьма широк. «Русский вестник» М. Н. Каткова сетовал на то, что художник слишком явно выразил «свое несочувствие царевичу, как представителю старой допетровской Руси» и тем самым «отступил от роли правдивого, объективного историка»; М. Е. Салтыков-Щедрин в «Отечественных записках» высказывал убеждение, что, «по-видимому, личность Петра чрезвычайно симпатична Ге», ибо Петр «суров и даже жесток, но жестокость его осмысленна и не имеет... характера зверства для зверства»; а обозреватель народнического «Дела» явно проецировал на полотно политические реалии России 1870-х: «Вы словно видите чрезвычайно симпатичного, развитого, но ползузамученного узника, стоящего перед торжествующим следователем из буржуа, с животными наклонностями станового, заполучившего в свои руки несчастную жертву...»<sup>95</sup>.

Сам по себе неувидителен тот факт, что полемика вокруг картины Ге выявила и столкнула друг с другом противоположные

---

<sup>94</sup> *Стасов В. В.* Николай Николаевич Ге, его жизнь, произведения и переписка. М., 1904. С. 252.

<sup>95</sup> Там же. С. 231-239.

трактовки образа Петра и его конфликта с наследником, сформировавшиеся к тому времени в сознании образованного российского общества. Важнее, что для самого Ге к моменту завершения работы над полотном вопрос о том, как оценивать действия Петра, оставался открытым.

В автобиографических записках, написанных в 1892 г., Ге признавался: «Десять лет, прожитых в Италии [с 1857 по 1869 гг. — *О. Л.*], оказали на меня свое влияние, и я вернулся оттуда совершенным итальянцем, видящим все в России в новом свете. Я чувствовал во всем и везде влияние и след петровской реформы. Чувство это было так сильно, что я невольно увлекся Петром и, под влиянием этого увлечения, задумал свою картину...»<sup>96</sup>. Тем горше было разочарование художника в недавнем кумире, приходившее по мере более глубокого знакомства с историческими реалиями петровской эпохи. «Во время писания картины “Петр I и царевич Алексей” я питал симпатии к Петру, — вспоминал Ге, — но затем, изучив многие документы, увидел, что симпатии не может быть. Я взвинчивал в себе симпатию к Петру, говорил, что у него общественные интересы были выше чувства отца, и это оправдывало жестокость его, но убивало идеал»<sup>97</sup>.

Трактовка Ге, как было отмечено выше, перекликается с трудом Костомарова «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей», включающим биографии Петра I и царевича Алексея. Как отметил А. Н. Пыпин, Костомаров в этой книге попытался уравновесить свет и тени в изображении Петра, воздать должное петровским реформам, но не впадать в «фальшивый патриотизм, который для достигнутой цели считал бы дозволенным всякие средства»<sup>98</sup>.

Безусловно, Костомаров — всегда искренне восхищавшийся богато одаренными, сильными и яркими натурами, писал ли он о казачьей вольнице или о русской Смуте — во многом был под обаянием личности Петра I, «человека с неудержимой и неутомимой волею», одаренного «безмерным неутомимым трудолюбием». Но в то же время главу о Петре в «Русской истории в жиз-

---

<sup>96</sup> Там же. С. 227-228.

<sup>97</sup> Там же. С. 239.

<sup>98</sup> *Пыпин А. Н.* Новый вопрос о Петре Великом. С. 325.

неописаниях» можно прочесть как скрытую полемику с Соловьевым: по мнению Костомарова, Петр оказался несостоятельным прежде всего как учитель и воспитатель народа. Да, «во все продолжение своего царствования Петр боролся с предрассудками и злонравием своих подвластных»; но такими средствами борьбы с пороками, как «мучительные смертные казни, тюрьмы, каторги, кнуты, рвание ноздрей, шпионство», «Петр не мог привить в России ни гражданского мужества, ни чувства долга, ни той любви к своим ближним, которые выше всяких материальных и умственных сил». «Много новых учреждений и жизненных приемов внес преобразователь в Россию, новой души он не мог в нее вдохнуть», — подытоживал Костомаров; «деморализующий деспотизм» Петра, подчеркивал он, «отразился зловредным влиянием и на потомстве»<sup>99</sup>.

В описании конфликта между Петром и Алексеем Костомаров стремился соблюсти тот же баланс света и теней, не занимая безоговорочно ни той, ни другой стороны. Ни малейших симпатий у историка не вызывала «мелкая, эгоистическая натура» «жалкого и ничтожного» Алексея Петровича, надеявшегося ценной оговора преданных ему людей «купить себе спокойствие и безмятежную жизнь со своей дорогой Ефросинией»<sup>100</sup>, — но в то же время Костомаров сурово осуждал кровожадное вероломство Петра, который клятвенно обещал простить бежавшего сына и сознательно нарушил свою клятву<sup>101</sup>. Подчеркивая политическую мотивированность выбора Петра — если бы царевич остался жив и заявил свои претензии на престол, «тогда погибель грозила бы всем петровым сподвижникам и всему тому, что Петр готовил для русского государства», — Костомаров в то же самое время протестовал против безжалостной логики политической борьбы, гласящей, «что можно делать все, что полезно, хотя бы оно было и безнравственно»<sup>102</sup>.

Задавшись ключевым для пореформенной эпохи вопросом — любил ли Петр I свой народ? — Костомаров дал на него

---

<sup>99</sup> Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. В 3-х тт. Т. 3. Ростов-на-Дону, 1995. С. 239-241.

<sup>100</sup> Там же. С. 280, 289, 291.

<sup>101</sup> Там же. С. 241-242, 294.

<sup>102</sup> Там же. С. 295.

весьма противоречивый ответ: «Петр не относился к этому народу сердечно. Для него народ существовал только как сумма цифр, как материал, годный для построения государства»; и в то же время «он любил Россию, любил русский народ, любил его не в смысле массы современных и подвластных ему русских людей, а в смысле того идеала, до какого желал довести этот народ, и вот эта-то любовь составляет в нем то высокое качество, которое побуждает нас помимо нашей собственной воли любить его личность»<sup>103</sup>.

Признания Ге и Костомарова звучат различно по смыслу, но сходно по настроению: один из них «взвинчивал в себе симпатию к Петру», другой, напротив, признавался, что любит Петра «помимо собственной воли». Вынести «приговор потомства» Петру I оказалось сложной, почти непосильной задачей для образованного человека того времени — именно потому, что при вынесении этого приговора предстояло сделать выбор между ценностями, равно важными для эпохи Великих реформ. Что важнее — прогресс или национально-культурная самобытность? Волевой реформаторский курс — или уважение к человеческому достоинству и гражданскому выбору? Политическая целесообразность — или родительская любовь, милосердие, верность слову? Просвещение — или отсутствие угнетения? Развитие государства — или благо народа?

По всей вероятности, именно невозможность сделать такой выбор и привела к тому, что в русской культуре пореформенной эпохи сформировался глубоко противоречивый, амбивалентный образ Петра I — труженика и угнетателя, народолюбца и деспота, учителя и палача. При этом отношение российского общества к Петру за вторую половину XIX века прошло почти полный цикл эволюции: чем более осторожной и консервативной становилась власть в России конца XIX века, чем более неопределенными и тревожными казались перспективы развития страны, тем ярче становился романтический ореол, окружавший фигуру Петра I в исторической памяти общества.

Памятником исторического сознания той эпохи осталась картина Ге, по праву признанная шедевром реалистической исто-

---

<sup>103</sup> Там же. С. 243.

рической живописи. Художник изобразил момент напряженной паузы в решающем объяснении между Петром и Алексеем, когда бесповоротное решение еще не принято, окончательное слово Петра еще не произнесено, — но, может быть, прозвучит через мгновение («Картина... дает одну минуту, и в этой минуте должно быть все — а нет — нет картины»<sup>104</sup>, — писал Ге). При этом обе фигуры — отца и сына, судьи и подсудимого — в напряженном молчаливом ожидании обращены не только друг к другу, но и к зрителю (разворот фигуры Петра, лицо потупившего глаза Алексея, угол стола, буквально «указующий» на стоящего перед картиной зрителя). Зритель оказывается третьим, невидимым персонажем, включенным в пространство картины и вовлеченным в ситуацию выбора; именно он должен произнести главное слово в споре Петра и Алексея. Картина Ге предстает в таком случае как своеобразная апелляция к суду потомства: не столько к безличному «суду истории», сколько к «суду над историей».

### «Суд над историей»

Именно так называлась статья молодого историка Н. И. Кареева, опубликованная в 1884 г. в журнале «Русская мысль». Центральная идея этой статьи состояла в том, что историческое знание неизбежно включает моральную оценку. Если историки откажутся от оценки людей прошлого и их действий, — писал Кареев, — то «нельзя будет заняться ничем живым, тогда за историей останется узкое поле критики источников..., решения разных археологических вопросов, в котором году, на каком месте, как звали, чей был сын и т. п. исторических ребусов»<sup>105</sup>.

Призыв к этической оценке прошлого, безусловно, представлял собой существенную поправку к познавательной программе позитивизма, которая тогда, в 1880-е годы, завоевывала господствующие позиции в исторической науке. Сам Кареев раз-

---

<sup>104</sup> Н. Н. Ге — Т. Л. Толстой. 15 декабря 1892 г. // Николай Николаевич Ге. С. 232. На эту идею Ге, как на выражение его творческого кредо, ссылается С. А. Экштут в статье «И в этой минуте должно быть все...» — *Экштут С. А.* Битвы за храм Мнемозины: Очерки интеллектуальной истории. СПб., 2003. С. 225-262.

<sup>105</sup> Кареев Н. И. Суд над историей (Нечто о философии истории) // Русская мысль. 1884. № 2. С. 23, 25.

делял основные методологические установки позитивистской историографии с присущим ей объективизмом; но, провозглашая, что в историческом исследовании необходим оценочный, «субъективный» элемент, он тем самым протягивал руку народнической «субъективной школе в социологии», представленной именами П. Л. Лаврова, Н. К. Михайловского, С. Н. Южакова и отвергавшей идеал беспристрастного объективизма в социальном познании. «Да, объективизм! — восклицал историк. — Мы сами вотируем за объективизм... Констатируйте факты *sine ira et studio*, как говорит Тацит. Истина, говорят, нага: обнажайте истину, не подрубляйте и не черните ее... Но неужели затем мы с одинаковым чувством будем смотреть на Венеру Милосскую и на Квазимодо? Тут объективизм переходит уже в индифферентизм, беспристрастие делается бесстрастием, а последнее есть, переводя буквально, апатия. Неужели мы будем апатию возводить в догмат?...»<sup>106</sup>. «Субъективный элемент» исследования, в таком случае, — это воплощение неустранимой потребности человечества в ценностной рефлексии над пройденным историческим путем.

Методологические искания «субъективной школы», на наш взгляд, стали попыткой теоретически оформить парадигму «суда над историей» — особое понимание исторической науки и ее задач, которое формировалось в российском обществе в течение всего пореформенного периода. Эта парадигма предполагала, что в историческом исследовании должны сочетаться «объективизм» и «субъективизм»: достоверная, максимально реалистическая реконструкция исторического прошлого — и манифестация ценностей, убеждений и идеалов автора; кроме того, парадигма «суда над историей» опиралась на веру в существование общезначимых ценностей, с позиций которых должен быть вынесен «приговор». Как писал старший друг Кареева и его единомышленник по «субъективной школе» П. Л. Лавров, «приговор “виновен” или “невиновен” произносит не история как наука. Его произносит общественный идеал каждого живого общества над своими предшественниками, во имя того понимания истины и справедливости, которое присуще этому новому идеалу»<sup>107</sup>.

---

<sup>106</sup> Там же. С. 14.

<sup>107</sup> Лавров П. Л. Собр. соч. / Под ред. Н. Русанова, П. Витязева, А. Гизетти. IV сер. Статьи историко-философские. Вып. 1. Пг., 1918. С. 190.

Характерно, что свое стремление к «суду над историей» в первую очередь декларировали ученые, стремившиеся создать историю народа-нации или народа-демоса: Н. И. Костомаров, М. П. Погодин, М. И. Семевский, Д. Л. Мордовцев и др. Но и представители других направлений исторической науки — С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин, К. Н. Бестужев-Рюмин — тоже говорили об «узловых событиях» прошлого на языке аксиологических и этических категорий. Любой из споров, разворачивавшихся в России второй половины XIX века вокруг узловых событий российского прошлого, был отражением ценностных конфликтов пореформенной эпохи, попыткой выстроить иерархию ценностей — прогресса и просвещения, национально-культурных традиций, интересов трудового народа. Идея «суда над историей» создавала пространство диалога между представителями разных научных школ и направлений, сталкивала друг с другом приверженцев разных проектов коллективной идентичности — и привлекала к этим дебатам напряженное внимание публики, «третьего оппонента».

Не менее важно отметить, что в формировании парадигмы «суда над историей» ключевую роль сыграли не только историки-профессионалы, но и крупнейшие деятели художественной культуры того периода. Показательно, что в пореформенную эпоху центральной категорией художественного мышления становится Правда — одна из основополагающих категорий русской культуры, которая, согласно знаменитому определению Н. К. Михайловского, объединяет в себе «правду-истину» и «правду-справедливость»<sup>108</sup>.

Согласно реконструкции литературоведа К. Исупова, Правда по своему существу сакральна, апофатична, вербально невыразима, но интуитивно опознаваема; она полностью преображает внутренний мир познавшего ее человека, но может быть высказана вслух только ценою жизни<sup>109</sup>. Поэтому в традиции русского реализма момент обнародования, открытого высказывания Прав-

---

<sup>108</sup> Михайловский Н. К. Полн. собр. соч. Т. 1. Стб. V; Т. 4. Стб. 405-406.

<sup>109</sup> Исупов К. Правда/истина // Идеи в России. Ideas in Russia. Idee w Rosji, Leksykon rosyjsko-polsko-angielski / Pod redakcją Andrzeja de Lazari. T. 1-5. Warszawa; Łódź, 1999-2003. Т. 4. С. 442-449.

ды часто становится кульминационным, катаргическим моментом художественного произведения.

Первым, кто попытался превратить категорию Правды в категорию научного социального мышления, был Н. К. Михайловский. Восхищаясь «поразительной внутренней красотой» русского слова «правда», в котором «как бы сливаются в одно великое целое» истина и справедливость, Михайловский считал целью своей литературной деятельности «найти такую точку зрения, с которой правда-истина и правда-справедливость являлись бы рука об руку, одна другую пополняя»<sup>110</sup>.

Для русской культуры второй половины XIX века не было сомнений в том, где именно следует искать Правду. И крупнейший идеолог почвенничества Ф. М. Достоевский, и народник Н. К. Михайловский выражали общее убеждение, когда писали, что сознание Правды живет в народе, что искание Правды («правдоискательство») и стремление воплотить ее в жизнь составляют одну из основополагающих черт духовного облика русского народа, и что эта черта сулит народу великое будущее<sup>111</sup>.

Поразительное истолкование категории Правды применительно к историческому знанию предложил основоположник демократического направления в отечественной исторической науке Н. И. Костомаров: как писал он, в народных преданиях мало «исторической фактической правды», но «это несколько не отнимает у них высокого исторического значения правды, того образа, в каком эти времена с своими событиями и действовавшими лицами явились в народном воззрении»<sup>112</sup>. Таким образом, для Костомарова «высокая» историческая правда фактически приравнивалась к содержанию исторической памяти народа; понятие исторической правды включало, в данном случае, и образный ряд повествования о прошлом, и те смысловые акценты, которые расставляются в этом повествовании.

---

<sup>110</sup> Михайловский Н. К. Полн. собр. соч. Т. 1. Стб. V.

<sup>111</sup> См., напр.: Достоевский Ф. М. Дневник писателя // Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 15-ти тт. Т. 14. СПб., 1995. С. 59, 64-65, Михайловский Н. К. Полн. собр. соч. Т. 4. Стб. 405-406.

<sup>112</sup> Костомаров Н. И. Предания первоначальной русской летописи в соображениях с русскими народными преданиями в песнях, сказках и обычаях // Костомаров Н. И. Раскол: Исторические монографии и исследования. М., 1994. С. 130.



Поэтому, на наш взгляд, именно категория Правды позволяла связать воедино, уравновесить стремление пореформенной науки и искусства к «эффекту реальности» — и потребность общества в «суде над историей», которая выразилась в своеобразном историческом мифотворчестве. Миф о преступных царях-сыноубийцах — и об «авраамовом жертвоприношении» Петра I во благо страны; миф о Московской Руси как о кладезе народной самобытности — и как о «душном и темном» царстве, страдающем от деспотизма и невежества; о казаках-разбойниках как носителях вольнолюбивого народного духа — и о старообрядцах как хранителях народной Правды... Все эти исторические мифы ярко характеризуют общественное сознание пореформенной интеллигенции, со свойственным ей глубоко трагичным восприятием прошлого и напряженным стремлением к искуплению «исторических грехов» через воссоединение с народом.

Культура исторической памяти в пореформенной России была основана на парадоксе: реалистическое воспроизведение прошлого, объективизм взгляда историка или художника были призваны служить критериями достоверности мифологизированных представлений о прошлом. Этот парадокс был порожден общественной потребностью в исторической самоидентификации: научное историческое знание было активно востребовано как инструмент верификации представлений о прошлом в коллективной памяти, как способ формирования коллективной идентичности российского общества. Идея истории, воссозданной с позиций народной Правды, превратилась в один из самых грандиозных мифов пореформенной русской культуры; и это представление о миссии исторического знания продолжало жить, даже когда сама породившая его пореформенная эпоха ушла в далекое прошлое.

## ГЛАВА 23

# МИФОЛОГИЗАЦИЯ ПРОШЛОГО

## СОВЕТСКИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРАЗДНЕСТВА 1917–1920-х ГОДОВ

В культурной революции в России первой четверти XX в., в ментальной революции первых постреволюционных десятилетий весьма важную роль сыграли так называемые «революционные празднества» 1917–1920 гг., наиболее яркими из которых стали массовые инсценировки и постановки (часто — под открытым небом)<sup>1</sup>. В присущих этому жанру формах происходила интерпретация и реинтерпретация истории и отдельных исторических событий.

Историко-культурный и социально-психологический смысл празднеств был намного сложнее, чем просто иллюстрация основных положений теории классовой борьбы примерами из прошлого. В эти годы закладывалась советская «масс-культура». В силу неграмотности и малограмотности тех слоев, которым предстояло стать ее носителями, эта культура (как и любая культура в ее первоначальных формах, согласно Й. Хейзинге) вначале «игралась». «Игры» были основаны на непосредственном участии в

---

\* Благодарю профессора Д. Байрау (Тюбингенский университет) за идею этой статьи, родившуюся в беседах с ним. Исследование проводилось в рамках гранта Фонды Герды Хенкель (Gerda Henkel Stiftung, Duesseldorf, Bundesrepublik Deutschland) AZ 02/SR/03.

<sup>1</sup> В последние годы ранние советские празднества и праздничная культура привлекли пристальное внимание многих отечественных и зарубежных исследователей, в основном в рамках культурных исследований. См. об этом: *Малышева С. Ю.* Праздничная культура российской революции в современной зарубежной историографии: советские «революционные празднества» 1917–1920-х гг. // *Clio moderna: Зарубежная история и историография.* Сб. науч. ст. Вып. 3. Казань, 2002. С. 120–138.

происходящем широких масс, чаще всего на примитивных и схематичных сценариях, иногда текст как таковой отсутствовал. Большие пространства, на которых ставились массовые празднества, требовали, по мнению организаторов, большей импровизации, условности. Условный характер постановок проявлялся в их приемах и сюжетах. В ходе таких массовых действий эмоциональный настрой и упрощенные представления «толпы» оказывали мощное воздействие на психологию и сознание отдельной личности<sup>2</sup>. В сознании масс конструировалась и закреплялась «другая реальность», создавались основы новой исторической мифологии, нашедшие вскоре применение не только в сфере культуры, но и в профессиональной историографии.

Не вполне соглашаясь с утверждением Карла Шлегеля о том, что театрализация жизни в ходе подобных празднеств, инсценировок — характерная черта эпох, близящихся к своему закату<sup>3</sup>, можно уточнить: скорее, это — черта рубежа эпох, их смены. Именно эти периоды рождают острую потребность в новой исторической мифологии и символике как способе осознания себя и окружающего мира, адаптации к новой реальности человека, отдельных социальных групп, общества, нации. Массовые празднества — один из важнейших полигонов создания и апробации новых исторических мифологий, значение которого в первые годы советской власти возрастало еще и потому, что вскоре было отменено преподавание истории в школах, и историческое сознание широких масс формировали празднества, песни, фольклор — вкупе с популярной литературой.

В исторической мифологии, создававшейся в ходе советских «революционных празднеств» 1917–1920 гг., можно условно выделить несколько уровней осмысления и истолкования исторических событий: «глобальный» (представление об истории, ее ходе, об историческом времени); мифология конкретных исторических

---

<sup>2</sup> Как писал один из организаторов празднеств, в ходе импровизации «жизненно-реальное переживание актеров, основанное на психологизме, будет заменено переживанием толпы». См.: *Цехновицер О.* Демонстрация и карнавал. К 10-й годовщине Октябрьской революции. М., 1927. С. 35.

<sup>3</sup> *Schlögel K.* Jenseits des Großen Oktober. Das Laboratorium der Moderne Petersburg, 1909–1921. Berlin, 1988. S. 355.

событий; мифология личности. Данная статья посвящена рассмотрению лишь двух из названных аспектов<sup>4</sup>.

### Время и пространство истории

«Революционным празднествам» было присуще особое восприятие исторического процесса. Образ истории в них дискретен, размыт. Красноречиво характеризует это видение истории аллегорическая фигура «Фантома-Призрака истории» в инсценировке «Сон и явь (Памяти “кровавого января”», рекомендованной для постановки в 1925 г.: «фигура, задрапированная в широкое бесформенное одеяние, должна производить впечатление громадной серой глыбы. Лицо полузакрывается»<sup>5</sup>. Достойными инсценирования оказывались лишь отдельные события мировой истории и ее персонажи. Из этих дискретных, не связанных между собою событий конструировалась преемственность исторического процесса. Набор событий был весьма ограничен, хотя вариантов их компоновки предлагалось немало. Рядом авторов уже отмечено наличие двух «генеалогических линий» русской революции, выстраиваемых революционными празднествами и создававшимся ими мифом: «русская линия» (крестьянские восстания, интеллигентский радикализм, народничество, русская революция 1905 года, мировая война, революция 1917 года) и «европейская линия» (восстания эксплуатируемых, Великая Французская революция, Парижская Коммуна, три поколения «социалистической семьи» — деды [утопический социализм], отцы [Маркс и Энгельс] и дети [большевики — они присутствовали в обеих линиях])<sup>6</sup>. Сценарии постановок часто включали сюжеты и «русской», и «европейской» линии.

Событие с его реальным содержанием и обстоятельствами не имело значения само по себе, а лишь как знак, этап «шестивия

---

<sup>4</sup> О мифологии личности см.: *Мальшева С. Ю.* Советская праздничная культура в провинции: пространство, символы, исторические мифы (1917–1927). Казань, 2005.

<sup>5</sup> Революционные инсценировки. М., 1925. С. 77.

<sup>6</sup> Например: *Stites R.* Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life on the Russian Revolution. N. Y., Oxford, 1989. P. 97.

мирового духа» — идеи революции и ее носителя-пролетария. Показательна аллегорическая фигура Времени, комментирующая действие одной из массовых клубных постановок «Историческое развитие Спартака» в Ленинграде в октябре 1925 г. — «Время» выступало задрапированным в красные революционные одежды<sup>7</sup>. Как верно подметил А. И. Мазаев, действие инсценировок «опиралось на представление о едином растущем и борющемся пролетариате и обычно не связывалось единством времени. Поэтому для самих событий, инсценируемых здесь, было характерным начинаться в дни Парижской Коммуны, продолжаться в годы первой русской революции и заканчиваться в Октябрьские дни или даже в дни Коммуны мировой»<sup>8</sup>. Забегая вперед, заметим, что будущее все же фигурировало чрезвычайно редко.

Очередность исторических событий вполне могла быть принесена в жертву логике создаваемого мифа. Один из организаторов празднеств А. И. Пиотровский, характеризуя их особенность, писал: «Никакого временного правдоподобия: события сменяются через произвольные, никакими антрактами не заполненные сроки, или же последовательно изображаются события одновременные»<sup>9</sup>. Хронологией оперировали свободно, нарушая подчас очередность событий. Так, в октябрьской постановке 1927 года в Ленинграде сцена приезда в Петроград Ленина (апрель 1917 г.) давалась после сюжета об июльских днях<sup>10</sup>. Во время массового зрелища в рамках антирелигиозной кампании — инсценирования сожжения инквизицией Джордано Бруно (Ленинград, май 1929 г.) неожиданно появлялись пионеры и пожарные, которые разгоняли инквизиторов и тушили костер<sup>11</sup>. В ленинградской постановке «Парижская Коммуна» (1921–1924 гг.) коммунары пели «Интер-

---

<sup>7</sup> *Лежоева О. М.* Восьмая годовщина в клубах // Массовые празднества. Сб. Комитета социологического изучения искусств. Л., 1926. С. 185.

<sup>8</sup> *Мазаев А. И.* Праздник как социально-художественное явление. Опыт историко-теоретического исследования. М., 1978. С. 312.

<sup>9</sup> *Пиотровский А. К.* Теории самодеятельного театра // Проблемы социологии искусства. Сборник Комитета социологического изучения искусств. Л., 1926. С. 126.

<sup>10</sup> *Цехновицер О.* Празднества революции. 2-е изд. 1931. С. 23.

<sup>11</sup> Там же. С. 30.

национал»<sup>12</sup>, текст которого хотя и был написан в 1871 г., но музыка создана лишь в 1888 г., тогда же «Интернационал» был исполнен впервые. И таких анахронизмов было немало.

Искусственная конструкция избранных исторических сюжетов и произвольное размещение их во времени и пространстве приводили к тому, что действия часто протекали вообще вне времени и вне конкретного пространства. Разбитое на нужные искусственно соединенные «кусочки» событий время казалось почти что неподвижным<sup>13</sup>. Какова же была логика размещения сюжетов во времени? В каком направлении «двигалось» историческое время в празднествах? Казалось, ответ лежит на поверхности: «бесперывность времени при общем эпизодическом строении сценария»<sup>14</sup> означала простую прогрессивную линейность времени — многовековая борьба «униженных и угнетенных» за свое освобождение увенчивалась в сценариях празднеств их победой в России в 1917 г. Идея прогрессивного развития, воплощенная в празднествах, хронологическая линейность (и, кстати, ее нарушение) были замечены, например, Катериной Кларк<sup>15</sup>. Но Джеймс фон Гельдерн, напротив, подчеркивал, что в мифологии празднеств история представлялась, в сущности, цикличной — эпизоды подбирались и компоновались по принципу подобия, хотя кульминацией была русская революция<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup> Парижская Коммуна. Инсценировка Адр. Пиотровского. Л., 1924. С. 7.

<sup>13</sup> Многие авторы отмечали условность времени в празднествах революции, их «вневременность». «Понятие исторического времени доведено здесь до совершенной абстракции, столетия сведены к полутора часам непрерывного действия при остающихся неизменными действующими силами». *Мазаев А.И.* Указ. соч. С. 336–337, 258. Это игнорирование временного континуума было, вероятно, характерной чертой советской культуры первых ее десятилетий. М. Вайскопф отметил «хронофобию» Сталина, а также синхронизацию разновременных явлений в культурной и политической практике российских социалистических партий. См.: *Вайскопф М.* Писатель Сталин. М., 2000. С. 117, 47.

<sup>14</sup> Массовые празднества. Сборник Комитета социологического изучения искусств. Л., 1926. С. 64.

<sup>15</sup> *Clark K.* Petersburg, Cruisible of Cultural Revolution. Cambridge, 1995. P. 129, 246.

<sup>16</sup> *Geldern, von J.* Festivals of the Revolution. 1917–1920: Art and Theater in the Formation of Soviet Culture. PhD Diss. Ann Arbor, 1987. P. 123.

Вероятно, следует говорить о некоей смешанной хронологической модели: общая модель истории в празднествах, согласно марксистскому учению о формациях, мыслилась линейно-прогрессивной, но каждый сюжет внутри сценария вынужденно строился по одной и той же схеме — страдания угнетенных, их борьба, поражение — пока этот замкнутый круг, набор схожих циклов, не был разорван событиями октября 1917 г. в России. Здесь цикличность нарушалась, и идея прогресса торжествовала.

Российский исследователь В. В. Глебкин убедительно аргументировал причины использования циклической модели в советских праздниках: необходимо было выработать язык перевода теоретических понятий, являвшихся для масс «китайской грамотой», на понятный им язык<sup>17</sup>. В рамках циклической модели при инсценировании сюжетов, относящихся к разным эпохам и к разным странам, воспроизводился один и тот же бой «мирового пролетариата» с «мировой буржуазией», своеобразная вселенская битва Добра со Злом. Любой из инсценировавшихся эпизодов легко укладывался в эту знакомую и донельзя упрощенную схему.

Дискретный образ истории проявлялся и в игнорировании целостности исторического процесса, исторического события, проглядывавшем в грандиозных постановках с цельным сценарием, отдельные части которого разыгрывались в разных концах города (постановка 1921 года в Пскове), или в инсценировании постановки на такой громадной площади, что отдельный зритель не мог видеть ее целиком (постановка 1920 года в Петрограде у Фондовой Биржи «К мировой Коммуне», воспринять которую в целом «мог лишь зритель, поместившийся на шпиле Петропавловской крепости»<sup>18</sup>). Инсценировки исторических событий ста-

---

<sup>17</sup> «Категории, воплощавшие линейно-прогрессивную модель времени и требующие для своего освоения развернутого теоретического дискурса, переводились в понятия, соответствующие циклической модели, соответствующие находящемуся на расстоянии вытянутой руки “сегодня”». См.: Глебкин В. В. Ритуал в советской культуре. М., 1998. С. 102.

<sup>18</sup> Цехновицер О. Демонстрация и карнавал. С. 52-53. Автор критиковал вышеуказанные опыты, но тут же предлагал при массовой постановке «Десяти Октябрей» — о послеоктябрьской жизни страны, — разбить действие на шесть эпизодов — по числу городских районов, и в каждом районе инсценировать один из сюжетов (С. 50).

вились вовсе не для отдельного зрителя, и не для *зрителей* вообще. «Голпа», «масса» *участвовала* в этих постановках в роли себя самой — с одной стороны, как коллективный исторический персонаж уже отдаленных по времени событий, с другой — как реальный творец современного ей мифа об этом событии и его интерпретатор (хотя бы в процессе пересказа друг другу о том, что происходило в разных местах единого действия). Кроме того, разбросанность, дискретность частей-событий единой постановки как бы подтверждала и символизировала невозможность постичь, охватить историю целиком во всем ее многообразии и противоречивости: достаточно было четко представлять себе линейную схему развития мировой истории (такие социологические схемы «по Марксу» и вводились для преподавания в школах).

Важная черта «глобальной» мифологии празднеств — отсутствие традиционной триады «прошлое — настоящее — будущее». Как уже было отмечено историками, «будущее» в ней отсутствовало, основное содержание «истории» в «революционных празднествах» — противопоставление «прошлого» («покоренного и низвергнутого»<sup>19</sup>) и «настоящего». «Разрушительное» начало истории преобладало в инсценировках, они «идеологически и психологически доделывали то, что физически свершила сама революция — разрушение старого мира»<sup>20</sup>. (Вероятно, потому и были столь популярны инсценировки судебных процессов, в ходе которых, в конечном счете, судили прошлое и его носителей; а также обряды сжигания атрибутов «старого мира» или, например, «сжигание Бастилии» в ходе празднования Октября на Балтфлоте в 1918 г.). Попутно стигматизация прошлого формировала упрощенную, лишнюю полутонов, черно-белую картину мира.

Особенность восприятия исторического процесса в мифологии празднеств напрямую отражалась и в использовании пространства. Как отмечал А. И. Мазаев, создавалось «ощущение особого пространства, в котором “масштаб” России как бы перекрывается “масштабом” земного шара. Этот праздник по сути дела не знает пространственных границ. Его территория — Вселенная, загоревшаяся пламенем мировой революции». Символично, что главное

---

<sup>19</sup> *Цехновицер О.* Празднества Революции. С. 119.

<sup>20</sup> *Мазаев А. И.* Указ. соч. С. 329-331.



место в пространстве одной из первых петроградских инсценировок под открытым небом («Третий Интернационал», 1 мая 1919 г. на площади перед Народным домом) занимала громадная и ярко раскрашенная модель земного шара<sup>21</sup>.

Так же произвольно, как обращались со временем в ходе празднеств, обращались и с местом действия: «...очень часто пользуются своеобразной симультанной декорацией, на сцене одновременно Париж и Версаль, между ними разыгрывается сражение»<sup>22</sup>. Это искусственное «столкновение пространств», на которых локализовались противоборствующие силы, выразилось также в расчленении праздничного пространства — условной сцены празднества на две или три части, на которых попеременно или одновременно шло действие. Праздничное пространство массовых действий отличалось от театра с его единой нейтральной сценической площадкой, с рампой, коробкой сцены. Пространство революционного празднества — это открытая со всех сторон площадка, расчлененная на две или три части. Третья часть — так называемый «мостик» или «дорога манифестаций» — неширокий, но длинный проход между двумя сценическими пространствами. Ее происхождение авторы 1920-х гг. объясняли то опосредованным заимствованием «мостика» японского театра<sup>23</sup>, то заимствованием «дороги шестивей» из массовых представлений в Швейцарии<sup>24</sup>.

Две площадки — «красная» и «белая» (независимо от содержания инсценировки и локализации описываемых событий во времени и пространстве — даже если речь шла, скажем, о противостоянии «Парижа» и «Версаля»), как правило, изображали противоборствующие силы: например, «зона красных войск» и «зона белых войск» в ноябрьской 1927 года инсценировке на Семеновском плацу Московско-Нарвского района Ленинграда, или «капиталистическая площадка» и «площадка СССР» — в инсценировке в августе того же года на площади Урицкого<sup>25</sup>.

---

<sup>21</sup> Там же. С. 259, 316.

<sup>22</sup> *Пиотровский А. И.* К теории “самодеятельного театра”. С. 126.

<sup>23</sup> Массовые празднества. Сборник... С. 60.

<sup>24</sup> *Цехновицер О.* Празднества Революции. С. 172.

<sup>25</sup> Там же. С. 26, 31.

Один из первых случаев использования двух площадок и мостика **зафиксирован** в инсценировке на тему свержения самодержавия в Железном зале Народного дома в Петрограде в марте 1919 г.: одна из площадок была «самодержавной» — здесь попеременно находились Зимний дворец, полицейский участок, Ставка, вторая площадка — «революционная» — завод, фронтовой комитет, революционный штаб. На мостике происходили шествия, манифестации, «классовые столкновения»<sup>26</sup>. Затем эти площадки и мостик воспроизводились во всех последующих многочисленных постановках этого праздника под открытым небом — «Свержение самодержавия», «Красный год», включая и самую знаменитую петроградскую инсценировку 1920 года — «Взятие Зимнего дворца» 7 ноября. В последнем случае еще четче была обозначена главная функция «мостика»: «мост между двумя мирами — арена их столкновений. Здесь сражаются и убивают, здесь побеждают и отсюда отступают»<sup>27</sup>. Расчлененное таким образом праздничное пространство становилось реальным, не похожим на условное пространство театральной сцены.

Восприятие пространства революции как «всей Вселенной» обусловило и пространственную **грандиозность массовых** празднеств — они ставились часто на огромных территориях, на суше и на воде<sup>28</sup>. Так, «великие петроградские празднества» 1920 года постепенно охватывали все большую площадь (и, разумеется, все большее число участников и зрителей): 1 мая постановка «Мистерия освобожденного труда» занимала ступени и портал Фондовой Биржи (2 тыс. участников, 35 тыс. зрителей), 19 июля празднество «К мировой коммуне» развернулось на портале Биржи, на боковых парапетах, роstralных маяках, сходах к Неве, на Биржевом и

---

<sup>26</sup> *Цехновицер О.* Демонстрация и карнавал. С. 41.

<sup>27</sup> *Шубский Н.* На площади Урицкого // Вестник театра. 1920. 30 ноября. № 75. С. 4-5.

<sup>28</sup> В конце 1910-х гг. празднества «вышли» на улицы и площади из закрытых помещений; в середине-конце 20-х они, с одной стороны, «вернулись» туда — в связи с бурным развитием клубной самодеятельности, а с другой стороны, дали жизнь «индустриальным зрелищам» — масштабным постановкам с широким применением технических средств и минимальным участием живых действующих лиц.

Дворцовом мостах (4 тыс. участников, 45 тыс. зрителей), 7 ноября «Взятие Зимнего дворца» охватило всю Дворцовую площадь, сам Зимний дворец, Александровскую колонну и арку Генерального Штаба (по разным оценкам, от 6 до 10 тыс. участников, от 45 до 150 тыс. зрителей). Еще более грандиозными были революционные празднества второй половины 1920-х гг., приобретающие черты «индустриальных зрелищ»: постановка к 10-летию Октября, разогранная в ноябре 1927 г. в Ленинграде, задействовала территорию в несколько квадратных километров воды и суши, в том числе Петропавловскую крепость, две набережные, пространство Невы между мостами Республиканским и Равенства<sup>29</sup>.

Не только в Петрограде-Ленинграде, но и в других городах страны для постановки массовых празднеств использовались огромные пространства, часто местом действия служил городской центр или даже весь город. Празднество «Три Интернационала», поставленное в 1920 г. в Москве, охватывало не только город, но и загородные районы: действие начиналось с семнадцати застав Москвы, продолжалось в центре, а заканчивалось за городом на «поле Интернационала», где и разыгрывалась кульминация<sup>30</sup>. Одной из грандиознейших провинциальных массовых постановок стало общегородское празднество 1923 года в Иванове в память восьмой годовщины Иваново-Вознесенской забастовки 10(23) августа 1915 г.: празднество охватило весь город и всех рабочих местных заводов — около 20 тыс. чел.<sup>31</sup>. Огромные территории использовались в казанских летних празднествах 1924 года — в инсценировке на тему гражданской войны «Гибель шестнадцати» (поставленной дважды — 15 и 25 июня) на берегу озера Дальний Кабан и на самом озере (в действе участвовало около 1000 человек, не считая зрителей), и в общегородской многочасовой (с 11 час. утра до 18.10 вечера) инсценировке Империалистической войны, охватившей 3 августа 1924 г. весь городской центр — Театральную площадь, центральные улицы — Чернышевскую, Карла Маркса, Жуковскую, Покровскую, Лобачевскую и др. (вместе с 2 тыс. актеров в празднестве приняли участие 10 тыс. чел., т. е.

---

<sup>29</sup> Цехновицер О. Празднества Революции. С. 22.

<sup>30</sup> Мазаев А. И. Указ. соч. С. 294-295.

<sup>31</sup> Цехновицер О. Демонстрация и карнавал. С. 44.

примерно каждый двенадцатый-пятнадцатый горожанин)<sup>32</sup>. 8 ноября 1927 г. в Воронеже было поставлено действо «Октябрьский переворот в Воронеже» (с участием 4 тыс. чел.), которое разворачивалось у Дома народных организаций, у Митрофановского монастыря, в театре, на площади. Значительную часть города охватила инсценировка 1927 года Октябрьского переворота в Вязьме, событий гражданской войны в Курске, и пр.<sup>33</sup>.

Сама локализация постановок, привязка их к определенной местности имела большой смысловой подтекст. Исследователями подмечено, что массовые празднества, митинги и демонстрации первых лет советской власти чаще всего использовали уже сакрализованные предыдущей историей, мифологизированные пространства и объекты<sup>34</sup>. Проведение празднеств на этих пространствах закрепляли их роль как сакральных «мест памяти». Однако эти места в результате проведения в них массовых действий не только обретали почетный статус в иерархии городского пространства и тем самым способствовали его реорганизации. Площади, улицы, дворцы, прочие архитектурные объекты, целые города становились действующими лицами, персонажами массовых празднеств, творя общий и свой собственный миф.

Так, в знаменитом петроградском «Взятии Зимнего дворца» 1920 года Зимний дворец «играл» свою вымышленную роль оплота реакции, он мигал огнями в окнах, в них мелькали силуэты, дворец «реагировал» на происходившее на площади<sup>35</sup>. В ленинградской ноябрьской постановке 1927 года полноправным действующим лицом выступала Петропавловская крепость, ее и описывали как живое действующее лицо: «Крепость обнаруживает свое лицо гигантской тюрьмы... Завод (его “играл” Монетный двор. — С. М.) вступает в состязание с крепостью»<sup>36</sup>. Крепость

---

<sup>32</sup> Сценарий инсценировки империалистической войны. Казань, 3 августа 1924 г. Казань, 1924; см. также: *Мальшева С.Ю.* Казанские “игры” 1924 г. // Гасырлар авазы=Эхо веков. Казань, 2001. № 3/4. С. 274-281.

<sup>33</sup> *Цехновицер О.* Празднества Революции. С. 27-30.

<sup>34</sup> *Street Art of the Revolution: Festivals and Celebrations in Russia. 1918-1932.* L., 1990. P. 12; *Schloegel K.* Jenseits des Grossen Oktober... S. 366.

<sup>35</sup> См.: *Шубский Н.* Указ. соч.

<sup>36</sup> *Цехновицер О.* Празднества Революции. С. 22-23.

«реагирует» на происходящее — меняется ее освещение, звучащая из нее музыка. 8 ноября 1927 г. в инсценировке восстания арсенальцев в Киеве самого себя «играл» Арсенал<sup>37</sup>. «Играло» **самое** себя периода 1915 года и пространство города Иваново в процессе инсценировки в августе 1923 г. своей знаменитой стачки — на домах вновь появились вывески, которые еще помнили многие жители — «полицейский участок», «городская управа» и др.<sup>38</sup>.

Однако при инсценировании на местах не региональных, а центральных, в частности, петроградских сюжетов, привязка к уже сакрализованному, освященному революционной историей месту отсутствовала. В таком случае часто производился «перенос» ауры сакрализованного пространства Петрограда на местные объекты, наделение их на время празднества священными значениями.

Таким образом, «социальные маски» в процессе празднеств надевали не только люди, но и здания, улицы, города. Поскольку в различных городах страны в 1920-е гг. многократно инсценировался «кульминационный пункт» Октября — «штурм Зимнего дворца», то во многих городах на время появлялись свои «Зимние дворцы» (интересно, что в самом Ленинграде в ходе ноябрьской постановки 1927 года роль Зимнего дворца — резиденции враждебных сил, которая была взята штурмом — играла Петропавловская крепость!). В ноябре 1927 г. в Армавире Зимний дворец изображала Первая советская гостиница, в г. Николаеве — музей Верещагина<sup>39</sup>. В Казани в 1924 г. роль Зимнего дворца «играло» здание бывшего Дворянского собрания, а роль Таврического дворца — «сгоревший театр»<sup>40</sup>. Таким образом петроградский миф о «штурме Зимнего» закреплялся и на региональном уровне.

Некоторые объекты могли символизировать намного более глобальные пространства. Например, во время петроградского зрелища «Блокады России» в 1920 г. островок, на котором разво-

---

<sup>37</sup> Там же. С. 27.

<sup>38</sup> Цехновицер О. Демонстрация и карнавал. С. 44.

<sup>39</sup> Цехновицер О. Празднества Революции. С. 28-29.

<sup>40</sup> Сценарий инсценировки империалистической войны. С. 5.

рачивалась часть действия, означал осажденную Россию; ее же символизировало небольшое пространство перед Фондовой Биржей в празднестве «К мировой коммуне» в июле 1920 года<sup>41</sup>.

Итак, мифология раннесоветских празднеств воплощала смешанную модель исторического развития, общее течение которого представлялось линейно-прогрессивным (в соответствии с марксовым учением об общественно-экономических формациях), в то время как каждый сюжет строился по циклической схеме, в рамках которой вновь и вновь воспроизводилась идея борьбы Добра и Зла («вечных» мирового пролетариата и мировой буржуазии). Образ истории в этой мифологии дискретен, время почти что неподвижно. Время раннесоветских празднеств — это то самое «Время-1» — статичное, дискретное, гомогенное и каузально-нейтральное (в отличие от «Времени-2» — динамичного, континуального, гетерогенного и каузально-эффективного), образ которого предложили И. М. Савельева и А. В. Полетаев<sup>42</sup>. Пространство, в котором совершается исторический процесс, для мифологии раннесоветских празднеств — это пространство революции — «вся Вселенная» (эта установка расширяла праздничное пространство до масштабов целых городов). Пространство в этой мифологии нестабильно и неконкретно (практиковались «столкновения пространств», перенос сакральных объектов и т. д.).

Произвольное обращение со временем и пространством в интересах творимых мифов — характерная черта постановок 1917–1920-х гг. Власть над временем и пространством была одной из самых распространенных утопий советской культуры, выраженной во вдохновлявших многие поколения советских людей строках: «Мы покоряем пространство и время...».

### Мифология события

Мифологизация конкретных исторических событий касалась прежде всего истории российской революции, гражданской вой-

---

<sup>41</sup> Массовые празднества. Сборник... С. 64; Массовые праздники и зрелища. М., 1961. С. 8-9.

<sup>42</sup> Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время. В поисках утраченного. М., 1997. С. 73-89.

ны и их отдельных сюжетов (т. е. событий недавних). Но очень часто инсценировавшиеся вариации на эти темы были весьма абстрактны и обобщены до уровня вечной борьбы Добра со Злом: например, **популярные** постановки «Борьба за власть Советов» с набором штампов классовой борьбы — зверства белых, борьба подполья и митинги рабочих, наступление красных, бегство белых, торжество красных и суд над тиранами.

Обобщивший в 1927 г. опыт организации массовых постановок М. Данилевский предлагал в своем методическом пособии «рыбу» сценариев двух постановок на тему «Борьба за власть Советов», первый из которых представлял собой именно такой штамп (второй предполагал использование для инсценирования реальных местных событий, поэтому характеризовался автором как более сложный и дорогостоящий)<sup>43</sup>. Одна из постановок 1920-х годов («Среди пламени») также написана на весьма абстрактный сюжет классовой борьбы, происходящий «где-то на Западе». Как писал автор сценария П. М. Керженцев, «основную линию пьесы можно охарактеризовать двумя фразами — от хаоса к организованности, от стихийного бунта к классовой революции, от распыленности сил к их мощному сплочению ради победного удара... главное действующее лицо — масса в ее общественных выступлениях»<sup>44</sup>. Такой примитивный, абстрактный сюжет вполне соответствовал уровню политической культуры широких народных масс, он прекрасно иллюстрировал необходимый минимум понимания теории классовой борьбы. Жанр сказки-были был близок политической культуре масс, ее младенческому состоянию.

Но и сценарии инсценировок конкретных реальных исторических событий часто были столь же абстрактными. М. Данилевский обмолвился в своей «методичке»: «сюжетная сторона... очень упрощена... Действующие... и само действие частично носит символический характер... Иногда сюда *ввертываются* (выделено мной. — С. М.) эпизоды или отдельные лица революционно-исторического порядка: Спартак, Стенька Разин,

---

<sup>43</sup> Данилевский М. Улица и площадь в Октябрьские дни. Сценарий массовых действий и методика их проведения. М.-Л., 1927. С. 38-42.

<sup>44</sup> Керженцев П. М. Среди пламени. Театральное представление в 3-х действиях и интермедиями. Пг., 1921. С. 43.

эпизоды из времени французской революции, которыми вносится определенная красочность в общий колорит постановки»<sup>45</sup>.

Как отмечалось выше, в тематике театрализованных празднеств прослеживались две «генеалогические» линии — российская и «европейская». И в той, и в другой были востребованы сюжеты классовой борьбы, весьма далекие друг от друга по времени и локализации. Некоторые авторы отмечают, что празднества слабо востребовали многие сюжеты российского революционного движения — декабристов, народничества, петрашевцев<sup>46</sup>. Однако следует сказать, что при всем кажущемся «интернационализме» постановок историческая мифология празднеств в целом была россиецентрична. И дело не только в численном преобладании инсценировок на российские темы. В сценариях, составленных из сюжетов борьбы униженных и угнетенных разных стран и времен, кульминацией непременно была победа пролетариата России.

Даже при инсценировании глобального мирового или европейского события акцент делался именно на их внутренней значимости для России. Скажем, широкомасштабная общегородская инсценировка «Империалистическая война» в Казани в 1924 г., поставленная к 10-летию начала мировой войны, представляла исключительно российские события, причем в основном петроградские, даже как бы — петроградские события глазами питерских рабочих. Война здесь обозначена косвенно — сценами оглашения манифеста о ее объявлении, мобилизации и обучения солдат, парадов и смотров войскам, прибытия раненых, выступления патриотических ораторов и пр. Характерно, что инсценировка заканчивалась Октябрьским вооруженным восстанием 1917 года, а события 1918 года и окончание мировой войны из сценария вообще «выпали»: они не представляли интерес с точки зрения общего замысла — показа того «перерастания империалистической войны в гражданскую», о котором писали большевики.

Какие же конкретно сюжеты истории стали объектами инсценировок, какие темы преобладали в них? В методических рекомендациях 1927 года по программе октябрьского вечера в клубе отчасти отражены сюжеты и темы, ставшие к этому времени

---

<sup>45</sup> Данилевский М. Улица и площадь... С. 31.

<sup>46</sup> Stites R. Revolutionary Dreams... P. 94-95.



объектами инсценирования. В рекомендациях предлагалось пять тем — «ступеней борьбы, приведших к Октябрю»: — Парижская Коммуна, русское революционное подполье, 1905 год, Февральская революция, Октябрь 1917 года<sup>47</sup>.

В празднествах 1917–20-х годов использовались ряд сюжетов зарубежной истории разных времен. Так, в 1917 г. на многих открытых площадках в Петрограде были разыграны действия «Марсельеза», «Спартак — бунт рабов», «Восстание немецких крестьян под знаком “Башмака”», «Французская революция», «Гарибальди». Эти инсценировки имели большей частью лубочный, иллюстративный характер<sup>48</sup>. В плане петроградских революционных торжеств на лето 1920 г. (он не был осуществлен) фигурировало массовое действие «Взятие Бастилии», которое предполагалось развернуть в Летнем саду<sup>49</sup>. «Взятие Бастилии» ставилось в эти годы в России неоднократно. В его инсценировке на Балтийском флоте под руководством Льва Никулина (1918 г.) приняли участие до 1000 чел.<sup>50</sup>. В сознании читающей России и в сознании «продвинутых масс» этих лет Бастилия была, может быть, не меньшим символом старого режима, чем для французов эпохи Великой французской революции. Как справедливо заметила Катерина Кларк, именно взятие Бастилии стало матрицей для создания образа «Штурм Зимнего дворца»<sup>51</sup>. Действительно, «штурм», «взятие Зимнего» — это в значительной степени образы, мифы, рожденные именно массовыми празднествами, кинофильмом С. Эйзенштейна и воплощенные затем в художественный и научный нарратив. Ведь, судя по ранним воспоминаниям зарубежных авторов (Дж. Рид, Л. Брайант, А. Р. Вильямс) и российских участников и свидетелей событий вокруг Зимнего дворца (В. Набоков), «штурм» как такового не было: «штурмующие» практически бес-

---

<sup>47</sup> Материалы по проведению X годовщины Октября в рабочем клубе, красном уголке и библиотеке. 2-е изд. М., 1927. С. 26-29.

<sup>48</sup> Агитационно-массовое искусство первых лет Октября. Материалы и исследования. М., 1971. С. 45-46.

<sup>49</sup> История советского театра. Т. 1. Петроградские театры на пороге Октября и в эпоху военного коммунизма. 1917–1921 / Ред. В. Е. Рафалович, Е. М. Кузнецов. Л., 1933. С. 271.

<sup>50</sup> История советского театра. Т. 1. С. 227.

<sup>51</sup> Clark K. Petersburg, Cruisible of Cultural Revolution. P. 134.

препятственно проникали через многочисленные входы-выходы дворца, к которым просто невозможно было поставить охрану.

Одним из самых распространенных «зарубежных» сюжетов была, безусловно, история Парижской Коммуны. «День Парижской Коммуны» — 18 марта — даже стал официальным праздником первого советского праздничного календаря. Если рассмотреть два сценария действия на тему Парижской Коммуны — поставленную в Ленинграде инсценировку Адриана Пиотровского<sup>52</sup> и изданный в Харькове сценарий инсценировки В. Жемчужного «Дневник Коммуны»<sup>53</sup>, то станет очевидно, что реальные исторические события, факты, персонажи даны весьма скупо, в общем. Эти события — лишь повод, декорации для вневременной борьбы угнетенных и угнетателей, бедных и богатых. В то же время смыслы событий и действующих лиц узнаваемы зрителями и участниками праздника: национальная измена правящих в то время, как враг стоит у ворот столицы, создание революционных органов восставшими, бои на баррикадах, митинги и речи, уличные перестрелки — все это было реалиями недавнего прошлого для тех, кто ставил, участвовал, сопереживал в постановках. Инсценировка этих моментов в «декорациях» исторических событий позволяла переосмысливать историю только в одном ключе — как непрерывной битвы мирового «пролетариата» с мировой «буржуазией». В одной из знаменитых петроградских постановок 1920 года «К мировой Коммуне» эпизоды некоторых исторических событий и исторические периоды (Парижская Коммуна, II Интернационал, мировая война, российская революция, гражданская война) были представлены как этапы борьбы «рабов» и «господ», «труда» и «капитала», вневременных групп «пролетариата» и «буржуазии».

Показательно, что организаторы постановок не обременяли себя и зрителей обилием реальных исторических персонажей. В инсценировке Пиотровского из реальных персонажей — только Тьер и Делеклюз, в инсценировке Жемчужного отсутствуют и они. Инсценировки вполне обходятся анонимными «рабочими», «прохожими», «женщинами», «газетчиками» и прочими предста-

---

<sup>52</sup> Парижская Коммуна. Инсценировка Адр. Пиотровского.

<sup>53</sup> Краткое описание в: Юренев В., Иркутов А. Составление сценария и текста (В помощь самодеятельности). М. — Л., 1927. С. 40-41.

вителями «толпы», «народа». В инсценировке «К мировой Коммуне» чуть ли не единственный реальный исторический персонаж — Жорес, обратившийся к народу накануне мировой войны с призывом к борьбе и тут же сраженный пулей врагов.

Показательна и грубая, плохо мотивированная привязка отдаленных по времени исторических событий к российским событиям и реалиям (или, скорее, наоборот). Так, в конце сценария Пиотровского парижские рабочие — наследники Парижской Коммуны — выходят в 1924 г. на демонстрацию почтить память Ленина. В этой же инсценировке Делеклюз, призывая на помощь сражающейся Парижской Коммуне французские города, выкрикивает: «Петербург!»<sup>54</sup>. А в «Дневнике Коммуны» в эпизоде «Мы и Коммуна» рассуждалось об ошибках «первой пролетарской Коммуны», и она непосредственно сравнивалась с Октябрьской революцией<sup>55</sup>.

Но все же абсолютное большинство празднеств использовали более близкие и знакомые сюжеты российской революционной истории. В 1919 г. в Петрограде под руководством Д. А. Щеглова был поставлен ряд действий на темы революционной борьбы — «Ленский расстрел», «Восстание в селе Бездна», «Из мрака к свету»<sup>56</sup>. Из постановок на российские темы самым «ранним» инсценировавшимся событием было, пожалуй, восстание Степана Разина<sup>57</sup>. Событию местной революционной истории была посвящена уже упоминавшаяся общегородская инсценировка забастовки 1915 г. в Иваново-Вознесенске в 1923 г. Исключительно российские события изображались в инсценировке «Три дня», многократно ставившейся в начале 1920-х годов в Петрограде и уездах (восстание декабристов 14 декабря 1825 г., 9 января 1905 г., 25 октября 1917 г.). «Кровавое воскресенье» официально вошло в советский революционный календарь, поэтому в 1920-е годы инсценировалось весьма часто<sup>58</sup>. Однако абсолютное большинство инсценировок представляло и закрепляло

---

<sup>54</sup> Парижская Коммуна. Инсценировка Адр. Пиотровского. С. 10.

<sup>55</sup> Юрнев В., Иркутов А. Указ. соч. С. 41.

<sup>56</sup> История советского театра. Т. 1. С. 252.

<sup>57</sup> Цехновицер О. Демонстрация и карнавал. С. 46.

<sup>58</sup> Массовые празднества. Сб. комитета... С. 58-59.

«правильный» образ событий недавних — революции 1917 года и гражданской войны, которые начинали отсчет нового времени и были наиболее важными объектами мифологизации. Именно мифологизация этих недавних событий должна была легитимизировать новую власть и создать идейную мотивацию для принятия этой власти большинством населения.

1917 год и его события заняли центральное место в сотворении мифа. Один из исследователей революционных празднеств Джеймс фон Гельдерн считал наиболее показательным и важным событием процесса мифологизации революции инсценировку «Взятие Зимнего дворца», поставленную в ноябре 1920 г. в Петрограде к третьей годовщине Октября. Именно она, по мнению фон Гельдерна, была важна для создания мифа о происхождении власти большевиков: это был момент перехода, момент, с которого начиналась история и с которого разворачивалось будущее, это массовое празднество должно было «очистить» историческое событие от всего «ненужного», «улучшить» его<sup>59</sup>.

Историческая мифология событий 1917 года, нашедшая своеобразную кульминацию во «Взятии Зимнего дворца», формировалась на протяжении по крайней мере двух лет. 12 марта 1919 года к годовщине Февральской революции созданная за месяц до этого Театрально-драматургическая мастерская Красной Армии поставила в Петрограде, в зале Рождественского Совета свою первую импровизированную инсценировку «Свержение самодержавия». В ней присутствовали лишь две конкретные даты: 9 января 1905 г. — расстрел мирной рабочей демонстрации, и 2 марта 1917 г. — отречение царя от престола. Между двумя этими событиями в инсценировке — двенадцатилетняя хронологическая «дыра», безвременье, заполненное «битвами» рабочих, солдат, революционеров-подпольщиков с самодержавием. Никаких «третьих» сил, партий, Государственной Думы, Временного правительства здесь нет. Они просто «выключены» из истории. На сцене — борьба труда и капитала, власти и народа, Добра и Зла — в чистом виде. Этот взгляд на события февраля-марта

---

<sup>59</sup> Geldern, von J. *Festivals of the Revolution*. P. 160; *Idem*. *Bolshevik Festivals, 1917–1920*. Berkeley; Los Angeles; L., 1993. P. 199, 201, 203, 206.

1917 г. был запечатлен весьма основательно и многократно: до конца 1919 г. празднество «Свержение самодержавия» инсценировалось в казармах и митинговых залах, на ступенях зданий, на площади перед Зимним дворцом, на фронте — 250 раз! Причем, вначале в том же самом виде, что и 12 марта, а после годовщины Октябрьской революции — в расширенном виде под названием «Красный год». В видеоизмененном варианте инсценировка включала три части: 1 — Февральская революция (прежнее «Свержение самодержавия»), 2 — Керенщина (в виде буффонадной пантомимы), 3 — Октябрь<sup>60</sup>.

«Взятие Зимнего дворца», инсценированное 7 ноября 1920 г. на площади перед Зимним дворцом, стало кульминацией петроградских массовых инсценировок 1920 года, представляло собой усовершенствованный и широкомасштабно поставленный «итоговый» вариант «Свержения самодержавия» и «Красного года». Всего в действе играли — по разным сведениям — от 6 до 10 тыс. профессиональных и непрофессиональных (членов театральных кружков и просто красноармейцев и краснофлотцев) актеров для (опять-таки по разным сведениям) от 45 до 150 тыс. зрителей.

Действо разворачивалось на трех больших соединенных сценических площадках. События на красной сцене (с декорациями в виде фабрик и заводов, рабочих кварталов) подавались в героико-драматическом, монументальном тоне, а главное действующее лицо было довольно «безлично», носило «коллективный характер» (культы вождя, как видим, здесь пока нет) — в этом качестве выступали в основном рабочие и красноармейцы (по словам очевидца, сначала «там царствовала масса серая, тупая, неорганизованная, потом все более активная, стройная, мощная... превратилась в красную гвардию»). События на белой сцене изображались комедийно, в стиле оперы-буфф, цирка, кукольного театра, здесь действующие лица персонифицированы — это «Керенский, Временное правительство, старорежимные сановники и вельможи, женский батальон, юнкеры, банкиры и купцы, фронтовики, калеки и инвалиды, восторженные дамы и господа соглашательского типа». Мост-сцена, соединявший красную и белую пло-

---

<sup>60</sup> История советского театра. Т. 1. С. 246.

щадки, представлял собой «мост между двумя мирами, арену их столкновений. Здесь сражаются и убивают, здесь побеждают и отсюда отступают». Здесь события разыгрывались «в тонах батального зрелища». Полторачасовое действие начиналось победой «белых» и их окарикатуренным торжеством под звуки «Марсельезы» — имела в виду Февральская революция. Керенский занимал вершину пирамиды (использована идея социальной пирамиды из петроградских празднеств 1920 года «Мистерия освобожденного труда» и «К мировой Коммуне»), ниже располагались правительство, банкиры и прочие «господа». Действие происходило не только на сценических площадках, но и на земле (в конце действия герои белой сцены бежали в сторону Зимнего дворца, а за ними неслись атакующие), а также в воздухе — над дворцом гудели аэропланы. Все это сопровождалось залпами «Авроры», треском ружей и пулеметов, звучанием колоколов, гудками заводов, сиренами, фейерверками, в небо взлетали ракеты. Дворец тоже выступал в роли отдельного действующего лица: все действие каждое из 50-ти окон второго этажа мигало в такт событий. Как заметил очевидец, в 1917 г. пуль и шума было намного меньше<sup>61</sup>.

Картина исторических событий, которая вырисовывалась из этих театрализованных действий, отчасти претендовала на хроникальность и формировала представление о них широких масс, стирая собственный опыт и воспоминания отдельного человека. «Театрализация жизни» немало способствовала мифологизации и героизации событий революции, и очень скоро штампы, созданные на подмостках, проникнут и в историческую литературу.

В постановке штурма Зимнего мы видим упрощение событий, четкое разделение мира 1917 года на два лагеря — две сцены; мостик, на котором встречаются действующие лица, имеет лишь одну функцию — это место для сражений, а не встреч, переговоров или компромиссов. Это то, что вскоре отразит и советская историография — полное вычеркивание из истории револю-

---

<sup>61</sup> *Шубский Н.* На площади Урицкого. С. 4-5; см. также: Агитационно-массовое искусство. Оформление празднеств / Ред. В. П. Толстой и др. Серия «Советское декоративное искусство. Материалы и документы. 1917–1922». М., 1984. С. 26-27, 114-117.

ции и истории власти «третьей силы», демократического периода, и полное отрицание какой-либо конструктивной роли за социалистами, демократами, либералами, Временным правительством, отрицание роли коалиции. Здесь Февраль — «не наша» революция, это победа «белых»! Все персонажи вне большевистского лагеря изображаются карикатурно, в части, которая касается отрицательных персонажей, действие переходит в клоунаду. Ярчайший пример влияния празднеств на изображение событий в литературе и на историческую память широких слоев народа — это нарочитая карикатурная феминизация личности А. Ф. Керенского, легитимация в ходе этих празднеств слухов 1917 года о его бегстве из Зимнего дворца в платье сестры милосердия (именно это происходило в ходе действия 1920 года) — штамп настолько устойчивый, что он нашел позже отражение и в популярной литературе, и даже в живописи — в Третьяковской галерее хранится картина Г. М. Шегала «Бегство Керенского из Гатчины 1(14) ноября 1917 г.» (1936–1938 гг.), запечатлевшая этот недостоверный факт. Обратная сторона этой стигматизации, принижения противника — героизация и увенчание нимбами собственных вождей — тоже имеет корни в празднествах и также нашла воплощение в исторической литературе.

Многokrратно инсценировавшиеся затем события 1917 года, в том числе отдельные эпизоды, воспроизводили, дополняли, «улучшали» мифы, рожденные на подмостках в 1919–20-х гг. В 1922 г. в Петрограде впервые были поставлены зрелища «Июльские дни». Они инсценировались в основном клубами, существовало около десятка вариантов инсценировок, но содержание их было примерно одинаково<sup>62</sup>.

Это была упрощенная трактовка той версии событий, что присутствовала с 1917 г. в большевистской публицистике, а затем и в советской историографии 1920-х годов: партийное руководство яростно отвергало утверждения о том, что июльские события были ничем иным, как неудачной попыткой захвата власти большевиками, которые спровоцировали выступление и июльскую трагедию. В указанной инсценировке инициатива выступления всецело принадлежит рабочим, крестьянам и солдатам, а

---

<sup>62</sup> Массовые празднества. Сб. комитета... С. 79.

большевик недаром появляется только в конце, в процессе подавления восстания, и пророчит об отмщении.

Инсценировки петроградских событий 1917 года осуществлялись по всей стране на протяжении 1920-х годов. В ноябре 1927 г. «Взятие Зимнего дворца» было инсценировано в Армавире, брали «Зимний» — Музей Верещагина — и в Николаеве<sup>63</sup>, в 1924 г. в ходе общегородской многочасовой инсценировки «Империалистическая война» в Казани фактически была представлена версия истории России накануне и в 1917 г.

Так тиражировался миф о штурме. Десятки и сотни тысяч людей, участвовавших в его инсценировке или бывшие наблюдателями и зрителями, испытывали незабываемое эмоциональное состояние, подчас — потрясение. Они воспринимали творимый при их участии миф всеми органами чувств, запоминали его «памятью тела», синяками и шишками, полученными в «классовых битвах» с «полицией» на импровизированных баррикадах, чуть не лопавшимися от грохота канонад и выстрелов барабанными перепонками (шумовой эффект постановок, как правило, намного превосходил шум реальных событий). Инсценированный миф накладывал неизгладимый отпечаток на живую человеческую память, память о реальных событиях бледнела перед этой «ожившей историей».

Инсценировки местных «октябрьских переворотов», как правило, экстраполировали петроградский миф о штурме на местные события октября 1917 года. «Штурм», вооруженная схватка с «буржуазией» — неременный атрибут этих празднеств (в местностях, где власть перешла в руки большевиков мирно, сюжеты об этом редко пользовались успехом у организаторов празднеств) — в массовой инсценировке «Октябрьский переворот в Воронеже» (Воронеж, ноябрь 1927 г.), в действе «Октябрьский переворот в Вязьме» в эти же дни 1927 года, в других городах<sup>64</sup>.

Весьма популярными сюжетами для инсценировок были события гражданской войны и интервенции. Все постановки на эту тему можно условно разбить на несколько групп:

---

<sup>63</sup> *Цехновицер О.* Празднества Революции. С. 28-29.

<sup>64</sup> Там же. С. 28.



- инсценировки борьбы «белых» и «красных» с абстрактным сюжетом,
- инсценировки реальных местных событий периода гражданской войны,
- инсценировки известных реальных сюжетов истории гражданской войны, не имевших отношения к данной местности.

К первой группе можно отнести, например, «Массовку на тему из гражданской войны», поставленную к 10-летию Октябрьской революции в Курске<sup>65</sup>, двукратную инсценировку «Гибель шестнадцати» (о событиях гражданской войны «на Юге», судя по всему, авторы сценария вдохновлялись историей 26-ти бакинских комиссаров, тем не менее, сюжет довольно абстрактен), а также сугубо «батальные» постановки 1927 года в Нахичевани («Бой красных с белогвардейцами Каледина в 1917 году») или постановку с «национальным» колоритом в Самарканде — «Бой с басмачами и дашнаками» (!), в которой помимо четырехсот участников «сражения» в бой радостно ввязались многочисленные толпы зрителей<sup>66</sup>.

Иногда и инсценировки реальных событий носили весьма абстрактный, аллегорический характер. Например, постановка 23 февраля 1920 г. в цирке Чинизелли в Петрограде инсценировки «Меч мира», посвященной второй годовщине Красной Армии (изображалось создание Красной Армии и ряд исторических событий — заключение Брестского мира, организация Красной гвардии и Красной Армии, защита Петрограда), изобиловала аллегориями. А «Блокада России», поставленная в июне 1920 г. в Петрограде на Каменном острове, хотя и включала изображение двух реальных исторических событий — интервенцию Антанты, нашествие Польши — но представляла их в цирковой, буффонадной манере<sup>67</sup>.

Ко второй группе сюжетов можно отнести впечатляющую инсценировку восстания арсенальцев в Киеве и борьбы за власть

---

<sup>65</sup> Там же. С. 29.

<sup>66</sup> Там же. С. 30.

<sup>67</sup> Цит. по: *Мазаев А. И.* Указ. соч. С. 308-309.

Советов в 1917/1918 г., в которой для 50 тыс. активно участвовавших в действе зрителей играли и сами участники тех событий<sup>68</sup>.

Наконец, к третьей группе можно отнести, например, инсценировку взятия Перекопа, осуществленную гарнизоном города Тирасполь (ноябрь 1927 г.)<sup>69</sup>.

В ходе революционных празднеств предпринимались и попытки представить всю недолгую тогда советскую историю, дать ее своеобразную периодизацию. Так, 7 ноября 1922 г. в действии к Празднику Конституции на площади Урицкого в Петрограде (праздник был связан также с торжественными проходами делегатов IV конгресса Коминтерна) каждый год советской власти обозначался взлетом ракет — по количеству лет — и комментарием в рупор: «В первый год нашей власти мы освободили землю от собственников и заводы от подневольного труда. Да здравствуют свободные наши дети!», «Год второй. Мы призвали народы всего мира к восстанию. Мы сказали им: вместе зажжем революции всемирный костер», «Год третий. Тогда враги окружили кольцом блокады Республику нашу. Мы взяли в руки оружие и победили. Да здравствует Красная Армия!»<sup>70</sup>.

Мифологизация отдельных событий осуществлялась в ходе весьма разнообразных по масштабу постановок. Наиболее впечатляющим по воздействию следует считать распространенный в первой половине 1920-х годов прием создания атмосферы «коллективного переживания» и «эмоциональной заразительности», который можно обозначить, как «погружение» целых городов на несколько часов и даже на сутки в прошлые события и эпохи (ряд петроградских постановок; «Империалистическая война» — в Казани в 1924 г.; общегородская инсценировка местных событий периода Октября в Воронеже и Вязьме; «Забастовка иваново-вознесенских рабочих 1915 г.» — в 1923 г. в Иваново-Вознесенске; и многие другие). В этих «играх» активно участвовали тысячи горожан, многие тысячи пассивных зрителей невольно вовлекались по ходу событий. Постановки дышали реализмом, пугавшим неосведомленного обывателя или случайно забредшего в город

---

<sup>68</sup> *Цехновицер О.* Празднества Революции. С. 27.

<sup>69</sup> Там же. С. 29.

<sup>70</sup> Массовые празднества. Сб. комитета... С. 80.

крестьянина: на улицах города появлялись городовые и околоточные, гарцевали казаки, раздавалось «Боже, Царя храни!», толпы сражались с полицией и били фонари. Разумеется, такие «игры» оставляли неизгладимый след в исторической памяти, сценарий постановки и ее воплощение рождали миф, порой основательно стиравший собственные воспоминания о реальном событии или его прежние интерпретации.

Одна из существенных черт инсценирования реальных событий — весьма произвольное обращение с фактами в угоду логике создававшегося мифа. Джеймс фон Гельдерн, описывая «Взятие Зимнего дворца» в ноябре 1920 г. в Петрограде, отметил ряд несоответствий постановки фактам: упрощения (например, «слияние» всех реальных фигур руководителей восстания в одной фигуре Ленина) и преувеличения (реальное число участников событий 25 октября 1917 г. было намного меньше тех, по Гельдерну, 8 тыс., а по другим оценкам, от 6 до 10 тыс. человек, «штурмовавших» Зимний в 1920 г.)<sup>71</sup>. Такое происходило во многих инсценировках. В 1927 г. в ходе инсценирования событий Октября на огромном пространстве Невы, ее набережных и мостов в Ленинграде «брали» вообще не Зимний дворец, а Петропавловскую крепость, как своеобразный аналог Бастилии, к тому же РСФСР в инсценировке возникла ранее наступления «Октября»<sup>72</sup>!

Другой еще более показательный пример грубого искажения фактов в ходе революционных празднеств — сюжет из казанской инсценировки «Империалистическая война» в августе 1924 г. В сцене августовского 1917 года Московского Государственного совещания после речи А. Керенского Л. Корнилов и Н. Чхеидзе подают друг другу руки и целуются<sup>73</sup>! Каждому, кто знаком с историей революции 1917 года, взаимоотношения основных фигур российской политики этого периода, ясна принципиальная невозможность этой сцены. Тем не менее, эта фантастическая сцена объятий Корнилова и Чхеидзе — перифраз известного реального факта — публичного рукопожатия представителя торго-

---

<sup>71</sup> Geldern, von J. *Festivals of the Revolution*. P. 158, 163.

<sup>72</sup> Цехновицер О. *Празднества Революции*. С. 23.

<sup>73</sup> Сценарий инсценировки империалистической войны. С. 9.

во-промышленных кругов А. А. Бубликова и одного из лидеров и идеологов революционной демократии И. Г. Церетели, символизировавшего готовность предпринимателей к сотрудничеству с революционной демократией. Вряд ли авторы сценария перепутали действующих лиц. Просто объятия Главковерха Л. Г. Корнилова и председателя ВЦИК Советов Н. С. Чхеидзе накануне корниловского выступления должно было означать в инсценировке объединение всего спектра контрреволюции — от «мелкобуржуазных» партий и советов до крайне правых сил.

Как видим, произвольное обращение с историческими фактами, «подправление» истории в угоду логике создаваемого мифа было одной из характерных черт революционных празднеств. В целом же мифология события характеризовалась условностью, абстрактностью (борьба Добра и Зла), но при этом ярко выраженной россиецентричностью.

К концу 1920-х гг. (в Ленинграде к середине 20-х) инсценировка с историко-революционной тематикой исчезает из массовых празднеств — это отразилось и в праздничном декоре: в октябре 1924 г. при анализе художественного оформления ленинградских демонстраций и празднеств выяснилось, что лишь 9,5% его относилось к историко-революционной теме (остальные были посвящены современной проблематике)<sup>74</sup>. На смену историко-революционному празднеству приходят «индустриальные зрелища» и «политкарнавалы» (просуществовали до начала-середины 1930-х гг.). В индустриальных зрелищах изображались «все важнейшие события того времени (съезды партии, провозглашение новой Конституции, пятилетки, начало и окончание важнейших строек, события в Испании, эпопея "Челюскина", полярные экспедиции, перелеты советских летчиков и др.)»<sup>75</sup>, политкарнавал чаще обращался к сюжетам мировой политики, высмеивал отдельных зарубежных политических деятелей.

Широкое распространение индустриальных зрелищ вызвало к жизни идею строительства специальных стадионов (одним из воплощений которой стал проект стадиона в Измайлове в Моск-

---

<sup>74</sup> Массовые празднества. Сб. комитета... С. 98.

<sup>75</sup> *Мазаев А.И.* Указ. соч. С. 375.

ве<sup>76</sup>) — «стадионов массовых постановок для участия десятка тысяч зрителей, где они *рассядутся по местам*, где выверенная, точная, раз навсегда испытанная радиоустановка донесет до них каждое слово оратора, где гигантское кино будет сменяться игрою разноцветных теней на экране, в то время как по проложенным на площадке рельсам будут проноситься трамваи и паровозы, а по каналу, *отделяющему зрителей от места действия*, шнырять лодки гребцов (выделено мной. — С. М.)»<sup>77</sup>. Место историко-революционных инсценировок должен был занять эдакий «пролетарский Дисней-Ленд», с его здоровым потребительским (хлеба и зрелищ!) оптимизмом, пониманием условности и правил игры.

Историко-революционные героические действия отличались неистойой серьезностью в осмыслении прошлого и настоящего, нешуточным свирепым реализмом, которого пугались подчас сами организаторы празднеств. Например, в августе 1924 г. в Казани организаторы инсценировки отменили ее кульминацию — сцену Октябрьской революции — штурма Зимнего! Сделано это было, как проговорила местная пресса, «из боязни эксцессов»<sup>78</sup>. В этой фразе — простодушное признание не только причины «отмены Октябрьской революции» в Казани, но и сворачивания в дальнейшем практики таких масштабных исторических инсценировок с участием широких масс. Политика советской власти тех лет вызывала, как известно, весьма неоднозначные и далеко не всегда восторженные оценки населения страны. Благоразумные политические руководители хорошо понимали непредсказуемость психологии толпы даже при наличии четкого сценария, учитывали эффект эмоциональной заразительности, который был широко использован в агитационно-массовой работе в первые годы революции, и не хотели рисковать, вводя толпу в соблазн эксцессов или, тем более, в соблазн по-своему «подправить» историю.

---

<sup>76</sup> Там же.

<sup>77</sup> Он же. Празднества Революции. С. 54.

<sup>78</sup> Симкин Б. Современная форма агитации // Красная Татария. 1924. 5 августа.

Причина исчезновения историко-революционных инсценировок, разумеется, заключалась не только в боязни эксцессов. Времена, когда большевистской власти был нужен народ, как ее со-творитель и, следовательно, как соавтор и союзник в создании новой исторической мифологии, прошли. Стабильной власти, как и всякой другой нормальной власти, требовался обыватель, мещанин, средний слой — спокойный, надежный, предсказуемый. К началу 1930-х годов историческая мифология революционных празднеств выполнила свою функцию. «Визуальное» и через личное участие познание истории уже не было единственным путем для вчерашних неграмотных масс, в результате овладения грамотой получивших доступ к популярной литературе. Сюжеты мифологии революционных празднеств воплотились и закрепились в общеисторическом нарративе советской историографии. В ней к началу 1930-х годов завершался процесс формирования единого мифа о революции и власти, который будет вскоре закреплён официально в «Истории гражданской войны» и в «Кратком курсе истории ВКП(б)». Историческая мифология революционных празднеств выполнила свою задачу, создав общепонятное семантическое поле, в рамках и в понятиях которого мыслил исторический процесс рядовой советский гражданин, и которое в значительной степени творило его самого. Эта мифология надежно связывала его с властью, гарантируя стабильность режима.

## ГЛАВА 24

# РЕВОЛЮЦИЯ В ДИАЛОГАХ ЭМИГРАНТОВ О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ РОССИИ

Русская революция резко перечеркнула прежний исторический опыт России, развернув ее движение по линии неизвестного ранее социокультурного эксперимента. Интеллектуалы-современники не могли не отреагировать на это мировое по значимости и драматическое по содержанию явление. Оно выдвинуло проблемы перспектив новой геополитической ситуации в мире и социокультурного развития будущей России. Процесс осознания самой революции, ее грядущих последствий был для современников сопряжен с переосмыслением всего предшествующего исторического пути страны.

Особенно эмоционально напряженно и непримиримо критически революционные события воспринимались интеллектуальной средой русских эмигрантов, оказавшихся вне контекста новейшей истории страны, но сохранивших чувства родины и родства с культурным прошлым России. Русская революция воспринималась многими из них как сложный и длительный процесс. Г. В. Вернадский в 1931 г. отсчитывал ее начало с 1905 года, полагая, что «этот процесс не прекратился и теперь, через тринадцать лет после начала революции»<sup>1</sup>. Г. П. Федотов в этом же году констатировал продолжение революционной трансформации России, называя ее «русской революцией сверху» под диктаторской властью Сталина<sup>2</sup>. Как у Вернадского, так и у Федотова в общей картине российского развития революционный кризис

---

<sup>1</sup> *Вернадский Г. В.* Ленин — красный диктатор. М., 1998. С. 5-6.

<sup>2</sup> *Федотов Г. П.* Проблемы будущей России (первая статья) // *Федотов Г. П.* Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. В 2-х тт. СПб., 1991. Т. 1. С. 229.

1905 года занимал место важного этапа революционных изменений начала XX в. По версии Федотова, именно в 1905 г. сложился союз революционной интеллигенции, пролетариата и крестьянства<sup>3</sup>. Но, в отличие от Вернадского, он более определенно дифференцировал революционные волны дальнейшего политического процесса в России. Это особенно заметно в его сравнительной характеристике Февральской и Октябрьской революций<sup>4</sup>. Соединяя, с одной стороны, эти две революции («Февраль-зачинатель» и «Октябрь-завершитель») как взаимосвязанные моменты грандиозного распада старой государственной власти, Федотов различал их духовную основу. Октябрь, по его версии, символизировал «иммориализм», Февраль же являлся «символом Свободы»<sup>5</sup>.

В общем же контексте размышлений интеллектуалов-эмигрантов под русской революцией понималась, прежде всего, Октябрьская революция, а также ее долговременные последствия. Осознавая внутреннюю потребность и ощущая острую необходимость, представители русского зарубежья первыми начали разговор о судьбе пореволюционной России. Значение их трудов невозможно переоценить: в эмиграции был сосредоточен цвет философской и гуманитарной мысли, их голос, к тому же, долгие десятилетия являлся единственным «голосом свободы» заинтересованных соотечественников, взявших на себя труд представить свои размышления по поводу случившейся исторической катастрофы. «На нас, на русскую эмиграцию возложена своя миссия: борьба с коммунизмом. Для того мы здесь, на чужой земле, чтобы выполнить наш долг», — так определял задачи эмиграции Федотов<sup>6</sup>. Мыслительный процесс культурной среды эмиграции был связан с попытками определить «истоки и смысл русского коммунизма», а также предвидеть будущее России.

Воззрения группы евразийцев (П. Н. Савицкого, Н. С. Трубецкого, Л. П. Карсавина, отчасти — Г. В. Вернадского) и Г. П. Федотова представляют лишь фрагмент исторического и исто-

---

<sup>3</sup> См.: *Федотов Г. П. Революция идет // Федотов Г. П. Указ. соч. Т. 1. С. 158.*

<sup>4</sup> См.: *Федотов Г. П. Февраль и Октябрь // Федотов Г. П. Указ. соч. Т. 2.*

<sup>5</sup> Там же. С. 133, 135.

<sup>6</sup> *Федотов Г. П. Новый идол // Федотов Г. П. Указ. соч. Т. 2. С. 50.*



риософского восприятия проблем российской истории и русской революции интеллектуальным сообществом эмиграции. Несомненно, тема русской революции являлась общим лейтмотивом историософских, публицистических, конкретно-исторических работ русских эмигрантов-мыслителей, а перечень известных имен, оставивших в творческом наследии свой взгляд на очерченный круг вопросов, разумеется, гораздо шире.

Соединение в данном исследовании евразийцев и Федотова не случайно. При всем различии взглядов двух групп мыслителей на судьбу России в прошлом, настоящем и будущем их объединял схожий спектр некоторых идейных подходов в понимании происхождения и смысла революции, который определялся актуализацией ими национальной идеи. Предложенный выбор персон определен их богатым интеллектуальным наследием по избранной теме. Современная историография, обращенная к творчеству, как евразийцев, так и Г. П. Федотова весьма представительна. Не предполагая в данном случае ее специального анализа, сошлемся на некоторые исследования А. В. Антощенко, в которых авторское внимание обращено к разнообразному жанровому спектру (методологическому, историографическому, библиографическому) изучения творчества интересующих нас мыслителей<sup>7</sup>. Монографическое исследование историка (2003 г.) особенно интересно для нас. Уже в самом его названии А. В. Антощенко как будто бы предлагает разнополюсное расположение евразийцев и Г. П. Федотова (а также и А. В. Карташева) в пространстве интеллектуальных и идейных баталий русской эмиграции. Вместе с тем, в ходе исследования автор замечает некоторые линии пересечений их отдельных воззрений и оценок. Хотя эти наблюдения не могут стать основой представлений о единстве взглядов Г. П. Федотова и евразийцев, совпадающем понимании ими различных проблем России (в этом мы вполне солидарны с автором), тем не менее, для той и другой стороны характерен схо-

---

<sup>7</sup> *Антощенко А. В.* Споры о евразийстве // О Евразии и евразийцах. Библиографический указатель / Научная ред. А. В. Антощенко, А. А. Кожанова. Петрозаводск, 1997; *Антощенко А. В.* «Евразия» или «Святая Русь»? (Российские эмигранты в поисках самосознания на путях истории). Петрозаводск, 2003.

жий стержень в их самом общем подходе к российской истории, в котором доминирует, на наш взгляд, консервативное начало.

В ряду многочисленных аспектов истории русской революции интересующие нас личности пытались определить причины этого драматического факта истории. Любопытно, что та и другая сторона не в последнюю очередь отреагировала на состояние русской исторической мысли, которая оказывала воздействие на умы современников и потому учитывалась ими в ряду интеллектуальных причин этого события. Общим для них являлось ощущение необходимости переоценки сложившегося к началу XX века историографического образа России. Явно или в скрытой форме евразийцы и Федотов подвергли сомнению оправданность тех исторических схем и концепций российского пути развития, которые выработала историческая мысль. Совершенно не случайно в евразийском наследии появилась статья Л. П. Карсавина «Без догмата» (1926 г.). Свой обзор состояния исторической мысли он начал постановкой задачи «умственного» постижения «*смысла* русской революции»<sup>8</sup>. Федотов же один из своих публицистических циклов завершил очерком «Россия Ключевского» (1932 г.)<sup>9</sup>. И в том, и в другом случае авторами отрицалась актуальность недавних исторических построений отечественной науки, не сумевшей, по их мнению, предвидеть национальной катастрофы. В этой связи впервые творчество известного русского историка В. О. Ключевского было подано в критически-негативном ракурсе<sup>10</sup>. По мысли Л. П. Карсавина, на рубеже XIX–XX вв. произошел «разрыв» между исторической наукой и «национальным самосознанием», наука замкнулась на уровне своих корпоративных интересов<sup>11</sup>. Федотов считал, что старая историография с ее схемами российской истории в первые десятилетия XX века превратилась «в грудку устарелых гипотез». Как

---

<sup>8</sup> Карсавин Л. П. Без догмата // Карсавин Л. П. Сочинения. М., 1993. С. 443.

<sup>9</sup> Федотов Г. П. Россия Ключевского // Федотов Г. П. Указ соч. Т. 1.

<sup>10</sup> См.: Алеврас Н. Н., Гришина Н. В. «Историческая правда» и «домыслы историка»: Ключевский и его школа в окуляре критики историков-эмигрантов 1920–30-х гг. // Век памяти, память века. Опыт обращения к прошлым в XX столетии. Сб. статей. Челябинск, 2004.

<sup>11</sup> Карсавин Л. П. Без догмата. С. 453.

философ, он полагал, что новое видение российской истории должно сформировать у ученых интерес к древним ее корням, полагая, что в факте революции проявилось действие закона «отрицание отрицания», восстанавливающего для России «древнюю правду»<sup>12</sup>. Оба мыслителя, представляя различные интеллектуальные ветви эмигрантской культуры, под воздействием революции поставили вопрос о создании новой версии российской истории, которую, в противовес старой, дореволюционной исторической концепции и марксистской схеме в Советской России<sup>13</sup>, необходимо было создать с целью «духовного возрождения родины»<sup>14</sup> и формирования «пробуждающегося русского самосознания»<sup>15</sup>.

Евразийцы и Федотов, конечно, не находились в едином идейном пространстве творческой деятельности, хотя, как известно, первые публицистические работы Федотова за рубежом были в 1926 г. опубликованы в евразийском журнале «Версты». В последующем, не выступая с резкой критикой их трудов, он неоднократно пробрасывал свои критические замечания в их адрес. Федотов вглядывался в прошлое России под иным, чем евразийцы, углом зрения. Восточное пространство страны и азиатский вектор ее исторического движения он расценивал как тяжелое и коварное наследие, обрекающее ее на бесконечную и неэффективную в культурном отношении «историю бродячей Руси»<sup>16</sup>. По-иному он воспринимал и имперский облик России. Если евразийцы вдохновлялись имперской сущностью российского исторического процесса, связывая ее с имманентной чертой изначально заданных природно-географических и геополитических параметров России-Евразии, то Федотов видел преходящий характер имперской модели развития. С существованием России, в том числе и Советской, как имперской державы, он связывал проявление эффекта запазды-

---

<sup>12</sup> См.: *Федотов Г. П.* Россия Ключевского. С. 330; *Он же.* Проблемы будущей России (вторая статья) // *Федотов Г. П.* Указ. соч. Т. 1. С. 268-269.

<sup>13</sup> См. оценку Федотовым (1937 г.) марксистских учебников истории: *Федотов Г. П.* Как Сталин видит историю России // *Вопросы философии.* 1990. № 8. С. 156-159.

<sup>14</sup> *Федотов Г. П.* Россия Ключевского. С. 330.

<sup>15</sup> *Карсавин Л. П.* Без догмата. С. 458.

<sup>16</sup> *Федотов Г. П.* Трагедия интеллигенции // *Федотов Г. П.* Указ соч. Т. 1. С. 77.

вающего развития, и был уверен, что рано или поздно рухнет и Российская империя: «Все старые Империи исчезнут. ... Потеря Империи есть нравственное очищение, освобождение русской культуры от страшного бремени, искажающего ее духовный облик»<sup>17</sup>. Но, несмотря на эти концептуальные несовпадения взглядов той и другой стороны, Федотова с евразийцами все же связывает ряд других важных размышлений о смысле русской революции и определений ее исторических предпосылок.

Общим в восприятии революции и революционной России являлось убеждение в исторической предопределенности революционного кризиса. Точкой отсчета начала инверсионного состояния русского общества и русской культуры, как для Федотова, так и особенно для евразийцев стала эпоха Петра I. Осознавая неотвратимость революции, но не принимая ее большевистский вариант с идейно-нравственных позиций как социополитическую и культурную данность, евразийцы и Федотов сохраняли к России, русской культуре глубокое патриотическое чувство. Хотя его оттенки у них не во всем совпадали, они были единодушны в отвержении идей насильственной деформации коммунистического режима. При всей критичности восприятия политического курса новой власти, евразийцы и Федотов были убеждены в том, что русский народ и общество сами должны были в какой-то исторической перспективе сделать иной политический выбор и изменить свою историческую судьбу.

Взгляды и оценки прошлого избранной когорты мыслителей базировались на характерном для них настроении, которое относительно Федотова определяется иногда как «почвенный идеализм»<sup>18</sup>. Вполне идентичным качеством обладали и взгляды евразийцев<sup>19</sup>. Но Федотов в своем интеллектуализме был глубже,

---

<sup>17</sup> Федотов Г. П. Судьба империй // Федотов Г. П. Указ. соч. Т. 2. С. 327.

<sup>18</sup> См.: Бойков В. Ф. Судьба и грехи России (Философско-историческая публикация Г. П. Федотова) // Федотов Г. П. Указ. соч. Т. 1. С. 15.

<sup>19</sup> См., например: Исаев И. А. Геополитическая утопия евразийства // Исаев И. А. Политико-правовая утопия в России (конец XIX – начало XX в.). М., 1991; Он же. Евразийство: идеология государственности // Общественные науки и современность. 1994. № 5; Люкс Л. Евразийство и консервативная революция. Соблазн антизападничества в России и Германии //

тоньше, аристократичнее евразийцев, особенно, если иметь в виду политических активистов их движения. Мысли Федотова не окрашены идеологическим пафосом и мечтой (как, например, у П. Н. Савицкого) о личном участии в политическом переустройстве большевистской России. Ему не свойственна идейная эмоциональность и политические амбиции евразийцев, а характерно обстоятельное историко-философское погружение в социокультурные пласты прошлого и настоящего России.

Однако при всех политических и идейных расхождениях, для той и другой интеллектуальной традиции характерен антизападнический комплекс, представленный лишь в разной степени насыщенной эмоционально-концептуальной окраске. Не примкнув к евразийцам и внутренне сопротивляясь их доктрине, Федотов, тем не менее, развивал свои идеи в рамках умеренного консерватизма. Иногда же он высказывал мысли, довольно близкие евразийцам. Характерна его статья «Сумерки отечества» (1931 г.), в которой он обнаруживает иные, чем в послевоенной Европе, тенденции российского развития. Россия у него предстает в виде «третьего культурного материка между Европой и Азией, со своими собственными историческими судьбами». Как и евразийцы, Федотов сетует по поводу победившего в 1840-е годы западничества, что приостановило естественное формирование «русского национального сознания». Он констатирует факт «неизжитых возможностей для относительной хозяйственной автаркии», пытается очертить перспективы мировой миссии России, смысл которой он связывал с решением насущной национальной проблемы. По его предположению, перспективы развития страны были связаны с отказом от политического курса великодержавного национализма и созданием сильного «государства национальностей», способного решить «великую задачу опытного построения политического общежития народов»<sup>20</sup>.

---

Рубежи. 1997. № 6; *Вандалковская М. Г.* Историческая наука российской эмиграции. «Евразийский соблазн». М., 1997; *Вилента И. В.* Идея самобытности в исторической концепции евразийцев // Вестник Московского ун-та. Серия 8. 1998. № 1 и мн. др.

<sup>20</sup> *Федотов Г. П.* Сумерки отечества // *Федотов Г. П.* Указ. соч. Т. 1. С. 327-328.

Весьма схожими оказываются призывы той и другой стороны относительно направленности движения современной исторической мысли. Критикуя в упомянутых статьях научно-историческую версию В. О. Ключевского<sup>21</sup>, Карсавин и Федотов в схожей историографической манере призывали вернуться к истокам старой научной традиции. Как для Карсавина, так и для Федотова не потеряли своего значения славянофильские построения. Близкими являлись также идеи, связанные с созданием образа самостоятельного и сильного государственного организма будущей России. Оба мыслителя, оглядываясь назад, искали опору в концепциях давно ушедшей исторической эпохи.

Таким образом, ряд характеристик идейно-мировоззренческого порядка позволяет рассматривать евразийцев и Федотова в качестве интеллектуальных явлений, принадлежавших к пространству консервативной мысли русской эмиграции.

Известная группа евразийцев представляла молодое поколение эмиграции. Нереализованный на родине творческий потенциал 20-30-летних интеллектуалов со всей силой проявился за рубежом в разработке оригинальных, хотя не бесспорных историософских, исторических и геополитических воззрений, а также идейно-политической системы, нацеленных на создание идеологической основы для будущего государственного образования Россия-Евразия. Представители этого сообщества, практически, первыми в интеллектуальной среде эмигрантов попытались включить фактор российской революции в общемировой процесс и со своих позиций определить ее смысл и роль для государственно-исторической перспективы российского развития.

Схожая по общим параметрам идейно-концептуальная платформа евразийцев, не исключала оригинальности взглядов на историю и современность России каждого из среды их лидеров. Общей основой их подхода к русской революции была мысль о ее неизбежности вследствие «саморазложения» старого строя.

---

<sup>21</sup> Можно заметить, что у Г. П. Федотова размышления об исторической науке и российских историках XIX века фрагментами рассыпаны во многих работах. Для евразийцев также характерны историко-научные рефлексии, направленные, прежде всего, в плоскость поисков своих интеллектуальных предшественников. В данном случае указаны наиболее значимые и целенаправленно созданные историографические пассажи.

Недавняя общественно-политическая система, приведшая Россию к революции и военно-политическому кризису, воспринималась ими как чуждая национальным основам русской культуры, сложившимся в допетровский период. По взглядам одного из лидеров евразийства Н.С. Трубецкого, европеизация привела Россию к трудно излечимой болезни: распаду нации на чуждые друг другу, полярные культуры. Он пришел к известному выводу, что в «нездоровых» нациях (к каковым им была отнесена и Россия), «зараженных недугом европеизации», происходит внутринациональный раскол на «верхи» и «низы», представляющие качественно различные субкультуры. Первая восприняла «романо-германскую» традицию, вторая подпитывалась «обломками... туземной национальной культуры». То есть, ранний этап модернизационных подвижек и инверсионное состояние общества стали, по Трубецкому, историческими условиями революционного кризиса начала XX века<sup>22</sup>. Отвергая послепетровский опыт исторического развития России как позитивный, евразийцы полагали, что русская революция свидетельствовала не только об историческом тупике, в котором Россия оказалась в результате нарастания модернизационного напряжения, но и о глубоком кризисе самой европейской культуры. Как негативный итог разлагающего влияния Запада евразийцы воспринимали проникновение оттуда неприемлемых для них политических идей. Резюме Трубецкого: «Социализм и коммунизм суть порождения романо-германской цивилизации»<sup>23</sup> в одинаковой мере несет негативный подтекст, как в отношении европейской политической мысли, так и российского левого политического радикализма, ставшего непосредственным проводником революции. Поиск нового самобытного пути, как вне европейской социополитической традиции, так и за пределами большевистского политического проекта, стал основной историософской и политической задачей евразийцев.

Сам факт революции воспринимался евразийцами как реальность, с которой нельзя было не считаться. Для них характер-

---

<sup>22</sup> См.: *Трубецкой Н. С. Верх и низы русской культуры // Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. М., 2000. С. 118-119, 134-135; Он же. Мы и другие // Трубецкой Н. С. Указ соч. С. 406-407.*

<sup>23</sup> *Трубецкой Н. С. Русская проблема // Там же. С. 333.*

но было стремление определить те ее стороны, которые бы позволили в будущем сменить большевистское правительство и политический строй на иную идейно-мировоззренческую и государственно-политическую систему, определяемую ими как евразийскую. Савицкий в 1925 г. вполне определенно сформулировал программную задачу евразийского движения: «Заменить в качестве руководящего принципа в жизни России-СССР коммунистический интернационализм общеевразийским национализмом...»<sup>24</sup>. Богатая публицистика представителей этого течения эмиграции призвана была заложить основы евразийской идейной программы. Нацеленные на разработку преобразовательных проектов, лидеры евразийства в то же время не склонны были не замечать и не учитывать, на их взгляд, достижений Советской России в области экономики, государственного устройства страны, ее общей геополитической стратегии. Ее успехи, особенно в разработке природных ресурсов восточной части страны, а также в укреплении российской государственности в национальных окраинах, становились для них аргументами в обосновании исторических и геополитических особенностей России как Евразии, а также правомочности и убедительности своей евразийской программы.

Несмотря на идеологическое неприятие большевистской революции, евразийцы с интересом наблюдали за ее развитием, в частности, за перерастанием ее в Гражданскую войну. Еще в 1919 г. Савицкий пытался уловить соотношение сил и историко-политических возможностей для преобразования России, которые просматривались в «белом» и «красном» движениях. Феноменальность Гражданской войны он видел в открытом и выразительном противостоянии идей и формировании идейно закаленных и последовательных типов людей, ориентированных на создание новой культуры: «В такой войне выковываются и оттачиваются идеологии, увеличивается самосознание борющихся сторон, создаются кадры идейных и военных борцов, дающие впоследствии победившей стороне, неизбежно в этом случае инкорпорировавшей в себя и большую часть своих противников,

---

<sup>24</sup> Савицкий П. Н. Евразийство // Савицкий П. Н. Континент-океан. М., 1997. С. 110.



возможность совершить великие национальные деяния»<sup>25</sup>. Имперский пафос, характерный уже для раннего (дореволюционного) периода творчества Савицкого<sup>26</sup>, сглаживал его оценки «двух великих полюсов» Гражданской войны, представленных Колчаком и Деникиным, с одной стороны, и большевиками, с другой. Вероятно, можно предполагать, что его, вполне сознательно примкнувшего к белому движению, в конечном итоге волновал не столько вопрос «кто победит: национальный лагерь или советский», сколько судьба Имперской России в результате борьбы двух сторон. В рассуждениях 1919 года Савицкий, в сущности, невольно поднимался над антагонизмом «красных» и «белых», стремясь уловить ведущую историческую тенденцию революции и Гражданской войны. Его симпатии, конечно, на стороне «белых», но он поддерживал линию большевиков, направленную на уничтожение политического сепаратизма и воссоединение прежних территорий Российской империи. Его не смущали предположения, что большевики могут «одолеть» Колчака и Деникина и при этом восстановить, а, может быть, и расширить бывшие границы России. В этих тенденциях, за политикой большевиков он видел проявление имманентно заложенной, по его мысли, природно-географической и историко-геополитической основы ее общего развития. Савицкий полагал, что в случае победы любой стороны «итог исторического развития был тот же самый, различались бы лишь пути»: в первом случае они были бы «прямые», во втором — «окольные». «В этом и заключается существо великодержавия живых народов, что они остаются великодержавными при всех поворотах своей истории», — резюмировал Савицкий, полагая, что в этом процессе проявляются «сила» и «великая историческая судьба» российского народа и государства<sup>27</sup>. Философский взгляд лидера евразийцев базировался на идее «исторической необходимости», против которой большевистский режим был бессилён. Он был убежден, что собственническое начало на-

---

<sup>25</sup> Савицкий П. Н. Очерки международных отношений // Савицкий П. Н. Указ. соч. С. 389.

<sup>26</sup> См.: Алеврас Н. Н. Начала евразийской концепции в раннем творчестве Г. В. Вернадского и П. Н. Савицкого // Вестник Евразии. Независимый научный журнал. М., 1996. №1(2).

<sup>27</sup> Савицкий П. Н. Очерки международных отношений. С. 390.

родной психологии, подавляемое большевистской идеологией, рано или поздно неизбежно заставит новую власть отказаться от своей «ненависти» к исторически сложившемуся институту права собственности. В 1920 г. Савицкий обращал внимание на те коррективы, которые привносились народом в практику первоначальных проектов революционных преобразований «“западников”-марксистов». Он был склонен определять это явление как «народный большевизм». Не случайно в программе евразийцев 1926 года отмечалась привлекательная для них черта новой власти: «Новый правящий слой естественно-органически вырос из народного материка»<sup>28</sup>.

Евразийцев, и особенно Савицкого, покорила масштабность и оригинальность большевистского переворота, повлекшего создание государства, не имевшего «прототипов в истории Запада»<sup>29</sup>. В первом евразийском издании – сборнике «Исход к востоку» (1921 г.) Савицкий на волне евразийского творческого вдохновения пытался вписать факт революции в систему аргументов, доказывавших особенности России-Евразии как историко-культурного и геополитического феномена. Война и революция, подчеркивал он, сняли, как маску, «европейскость» России, обнажив ее двуликость. «Одним лицом она обращена в Европу. ...Как Франция 1793 г. она несет Европе “новое слово” — на этот раз новое слово “пролетарской революции”... Но другим лицом она отвернулась от Европы»<sup>30</sup>. В традициях почвеннических идеологий, Савицкий в русской революции видел проявление общемировой миссии России. В данном случае факт революции приобретал в его концепции значение всемирного, вследствие принципиальной новизны предлагаемого большевиками неевропейского пути. «Россия приняла на себя бремя искания истины за всех и для всех», — писал он, подчеркивая этим самобытность ее исторического выбора. Много позднее, в 1933 г., продолжая размышления на тему русской революции, и подчеркивая, факт заимствования

---

<sup>28</sup> Савицкий П. Н. Евразийство (опыт систематического изложения) // Савицкий П. Н. Указ. соч. С. 54.

<sup>29</sup> Савицкий П. Н. Европа и Евразия // Савицкий П. Н. Указ соч. С. 151.

<sup>30</sup> Савицкий П. Н. Поворот к востоку // Савицкий П. Н. Указ. соч. С. 136.

российскими коммунистами основ своего учения из Европы, Савицкий утверждал, что «в жизненной практике они осуществили нечто такое, чего ни в Европе, ни в Америке нет». Он продолжал настаивать на характеристике русской революции как события, отсекающим Россию от Европы. С точки зрения евразийца в этом был позитивный смысл: «Русская революция ...обнаружила природу России как особого исторического мира»<sup>31</sup>. Научная основа его доктрины, доказывавшая специфику и неповторимость исторического облика России, сохраняет определенную привлекательность и в рамках современных поисков особенностей ее исторического пути. Однако идейно-политическую сферу его мировоззрения нельзя не воспринимать как результат политической беспринципности, а устойчивые антизападнические настроения — как тупиковый итог эволюции российского почвенничества.

Н. С. Трубецким русская революция также воспринималась как всемирно значимое явление. Однако его беспокоила перспектива превращения России в колониальный придаток Европы в любой ситуации: и в случае сохранения в Европе буржуазного строя, и в случае победы всемирной коммунистической революции, о которой мечтали большевики. Единственной возможностью для России (при втором варианте развития событий) противостоять Европе и сохранить свое национальное лицо, являлась, по его мнению, выработка «азиатской ориентации» во внешней политике, означавшей приобретение лидерства в антиколониальном движении<sup>32</sup>. Вырваться из замкнутого круга этой неприемлемой для философа предопределенности можно было только через выбор иного «плана» исторического движения, минуя крайние «полюса» — левый и правый — европейской общественно-политической традиции<sup>33</sup>.

Предлагаемый Трубецким проект исторического обновления России по ряду основных принципов был созвучен мыслям Фе-

---

<sup>31</sup> Савицкий П. Н. Евразийство как исторический замысел // Савицкий П. Н. Указ. соч. С. 100, 101.

<sup>32</sup> Трубецкой Н. С. Русская проблема. С. 328-342.

<sup>33</sup> См.: Трубецкой Н. С. У дверей реакция? революция? // Трубецкой Н. С. Указ. соч. С. 358-366.

дотова, что еще раз подтверждает их подспудно выраженную идейную близость. Тот и другой полагали, что пути ее преобразования должны быть связаны с отказом от своего недавнего прошлого, как не оправдавшего себя исторического опыта. Россия, по их мысли, должна была возвратиться к своим историко-культурным истокам, лежащим в древней истории. «Элементы отдаленного прошлого, вырванные из исторической перспективы и пересаженные в новый для них контекст современности, начинают жить совершенно новой жизнью и способны вдохновлять к подлинно новому творчеству», — считал Трубецкой, выстраивая перспективы освобождения России как от бремени европеизации, так и от последствий большевистского эксперимента<sup>34</sup>. Он предполагал, что «древний» исторический опыт приведет к новой революционной трансформации, связанной с идейным «переворотом в сознании». Его прогнозы и призывы отражали поиски евразийцами «грядущего идеала» для России. Наполненное предположениями и намеками, абстрактное полотно публицистической программы мыслителя в то же время достаточно четко отражает выбор своего рода «третьего пути» для России и акцентирует внимание на идеологической составляющей будущего российского государства.

Не принимая, как и все евразийцы, большевистской революции, Трубецкой, тем не менее, с пониманием относился к отказу новой власти следовать традициям старой, то есть, европеизированной культуры. Однако классовый подход большевистской программы социокультурного переустройства вызывал у него принципиальное неприятие. Идеалу ее «пролетарской культуры» он противопоставлял образ «национальной культуры». Его знаменитая статья «Верхи и низы русской культуры», формально не обсуждавшая проблемы революции, по сути, содержала ее «евразийское» объяснение, но с характерным именно для Трубецкого культурологическим анализом. Внутринациональный раскол, обрисованный Трубецким, должен быть, по его мысли, преодолен на основе возрождения древних традиций восточнославянской культуры и ее тесного взаимодействия с многообразием иных этнокультурных элементов.

---

<sup>34</sup> Там же С. 365.

Г. П. Федотов разделял мысли Трубецкого об историческом противостоянии двух культур: «Две разные культуры сожительства в России XVIII века. Одна представляла варваризированный пережиток Византии, другая — ученическое усвоение европеизма»<sup>35</sup>. Он полагал, что внутринациональный дуализм проявлялся не столько в розни дворянства и крестьянства, сколько в непонимании и отчуждении, которые сложились между народом и интеллигенцией. Подобная трактовка близка толкованию Трубецким верхов и низов русской культуры, хотя Федотов не акцентировал специального внимания на многоэтничности народной массы, а Трубецкой не был так внимателен к интеллигенции как культурной категории. Однако тот и другой в этом культурном противостоянии видели давние (с эпохи Петра I) корни национального раскола, приведшего к русской революции.

Размышления Федотова о будущем России связаны с его представлениями о цельности исторической судьбы русского народа. Подчеркивая невозможность прервать ход истории и разрушить древние основы культуры того или другого народа революционными катаклизмами, он, как и Трубецкой, полагал, что из-под руин революции может возродиться «подпочвенная», «древняя традиция»: «Из катастроф встают ожившими гораздо более древние пласты. Можно сказать, пожалуй, что в человеческой истории, как в истории земли, чем древнее, тем тверже: гранит и порфир не легко рассыпаются. Вот почему, мечтая о воскрешении начал XIX века, мы можем ожидать... воскрешения старых и даже древних пластов русской культуры»<sup>36</sup>. Не относя себя к приверженцам исторического детерминизма, Федотов все же утверждал, что свободу исторического выбора неминуемо ограничивает «тяжелый или благодетельный груз традиций». Имея в виду уже послевоенную Россию 1940-х годов, он сделал предположение, что она возвращается к своим историческим истокам: «...ее прошлое более, чем это казалось вчера, чревато буду-

---

<sup>35</sup> Федотов Г. П. Россия и свобода // Федотов Г. П. Указ. соч. Т. 2. С. 288-289.

<sup>36</sup> Федотов Г. П. Письма о русской культуре // Федотов Г. П. Указ. соч. Т. 2. С. 164.

щим»<sup>37</sup>. Возможно, подобные ощущения возникли у Федотова вследствие пережитого опыта мировой войны и победы в ней Советской России, что могло содействовать, по его мысли, возрождению национальной исторической памяти.

Вместе с тем, восприятие и оценки различных пластов древней истории России у Федотова не совпадали с евразийским подходом. Не раз, подчеркивая негативное отношение к взглядам евразийцев на роль татаро-монгольского компонента в русской истории, он в поисках утраченных традиций русской культуры обращался к ее домонгольскому периоду.

Критически воспринимая историко-культурную модель Московской Руси и московский тип русского человека, Федотов был устремлен к идеалу культуры «Киевско-Новгородской Руси». По крайней мере, два обстоятельства заставляли его считать ее образцом для возрождения России, пережившей разрыв связей с прежней культурой. В первую очередь, его привлекал вариант «древней свободы», присущей Киевской Руси. Древняя Русь, полагал он, «не была государством, а лишь системой связанных культурно, религиозно, династически, но *независимых* (подчеркнуто мною. — *Н. А.*) государств»<sup>38</sup>. В этом суждении можно уловить прямой намек на политическую несвободу, деспотию и тоталитаризм, которые были присущи как государственному образованию Московской Руси, так и Союзу Советских Республик. Другой стороной избранного Федотовым исторического образца («Киевско-Новгородской Руси») была его связь с европейской культурой, ставшей впоследствии основой культурного подъема в XIX в. Он утверждал в 1940-е годы, что именно в «древних пластах Киевско-Новгородской Руси «...легко и свободно совершался обмен духовных веществ с христианским Западом»<sup>39</sup>. Оценивая XIX век как период расцвета русской национальной культуры, он объяснял ее феномен «прививкой к русскому дичку западной культуры». В результате этого культурного взаимодействия («...между Россией и Западом было из-

---

<sup>37</sup> Федотов Г. П. Россия и свобода. С. 277.

<sup>38</sup> Федотов Г. П. Новое отечество // Федотов Г. П. Указ. соч. Т. 2. С. 247.

<sup>39</sup> Федотов Г. П. Россия и свобода. С. 289.

вестное средство...»), по мысли историка-публициста, со времен Петра I сформировалась так называемая «бытовая свобода». Она возникла как результат европейского просвещения и стала ценнейшим культурным приобретением (в виде дворянской привилегии) императорской России в условиях отсутствия в ней политических свобод<sup>40</sup>. Нельзя не заметить, что в сравнении с евразийцами Федотов не отрицает благотельного влияния Европы. Однако в шкале ценностей Федотова из разновидностей европейских «свобод» он отдает предпочтение так называемой «бытовой свободе» перед политической свободой. Публицист полагал, что именно первая из названных «свобод» представляла органичное выражение национальной культуры. В пореволюционной же Советской России он не обнаруживает ни политической, ни «бытовой» свободы.

Однако позитивный «западнический» акцент в приведенных выше рассуждениях Федотова сведен к минимуму в главном его труде — «Святые Древней Руси» (1931 г.). Мысль о влиянии Запада упоминается здесь более в негативном, чем позитивном контексте: «Новая Россия, вооруженная всем аппаратом западной науки прошла равнодушно мимо самой темы «Святой Руси», не заметив, что развитием этой темы, в конце концов, определяется судьба России»<sup>41</sup>. Антизападнический подтекст чувствуется и при определении исторической вехи окончательного упадка «допетровской святости Русской Церкви». Таковой, по наблюдениям историка, стал конец XVII века, который в историографии по давней традиции связывается с первыми проявлениями европеизации России. Для Федотова же это время означало точку отсчета церковного и культурного раскола, «духовного окостенения русской жизни»<sup>42</sup>. Значимость западной культуры определялась Федотовым с позиций христианских ценностей. Общественно-политические и другие блага западной цивилизации оставались на периферии его внимания и за пределами принимаемых им ценностных категорий.

---

<sup>40</sup> Там же. С. 290-291.

<sup>41</sup> Федотов Г. П. Святые Древней Руси. Ростов-на-Дону, 1999. С. 11.

<sup>42</sup> Там же. С. 304-305.

Л. П. Карсавин впервые выразил свое отношение к революции в «Философии истории» (1923 г.). Не будучи в период создания этого труда формально связанным с евразийцами, он подошел к явлению революции со схожих с ними позиций. Рассматривая революции и войны как область «социально-психологического», где сталкиваются интересы социальных групп и личностей, Карсавин и русскую революцию воспринимал как арену социально-психологического конфликта, в котором себя и свои настроения выразили представители различных внутринациональных культур. Он пытался определить смысл революции через взгляд на Россию как страну, которая переживала сложный процесс угасания старого типа русской личности, возникшего еще в эпоху Смуты, и зарождения «носителя новой российской культуры»<sup>43</sup>. В этом контексте философ попытался заимствовать из лексикона еще мало ему известных представителей евразийства их новаторское понятие «евразиец» для обозначения социально-психологической сущности этого «новорожденного или даже пребывающего во чреве» «носителя»<sup>44</sup>. Понимая под «личностью» и «носителем» некую человеческую массу, консолидированную сходными чертами своего культурного облика, он стремился создать исторический образ русского народа, который определял масштабы и сущность революционной трансформации. Именно этой «коллективной личности», считал он, вынуждены были подчинить свою политику большевики, чью «коммунистическую идеологию» философ связывал с самым поверхностным слоем историко-культурных традиций России<sup>45</sup>. Размышления Карсавина в «Философии истории» находят подтверждение в его доэмигрантской статье «Восток, Запад и русская идея», в которой он уточнял свое понимание «русского народа»: «Нас ближайшим образом занимает субъект русской культуры, в частности, русской государственности. Его я называю русским народом, не придавая этому термину никакого определенного этнологического смысла. Русский народ — многоединство... частью существующих, частью исчезнувших, частью,

---

<sup>43</sup> См.: Карсавин Л. П. Философия истории. СПб., 1993. С. 99, 176-177.

<sup>44</sup> Там же. С. 177.

<sup>45</sup> Там же. С. 310.



на наших глазах определяющихся или ожидающих самоопределения в будущем народностей, соподчиненных — пока что — великороссийской»<sup>46</sup>. Так или иначе, Карсавин в современной ему России отделял политическую власть большевиков, как социополитическое явление поверхностного типа, от многоликой в этнополитическом смысле народной среды, поведение которой обуславливалось глубокими историческими традициями. Именно эта народная масса и определяла, в конечном итоге, смену типов личностей, а, возможно, и смену культурных ориентаций России начала XX века. Исходя из этого, Карсавин, не принимая простых объяснений победы большевизма над белым движением, задавался серией вопросов, на которые у него не было однозначных ответов. «...Почему русский народ не только их (большевиков. — *Н. А.*) терпел (именно терпел, потому что “коммунистический опыт” обошелся ему очень не дешево), но и защищал от Колчака и Деникина, Юденича и Польши? Почему население, приветствовавшее “белую власть”, так скоро от нее отвращалось и начинало снова ждать большевиков?»<sup>47</sup>.

Характеризуя большевизм как власть деспотическую, носителям которой были свойственны невежество, беспринципность, лукавство и лживость, он, тем не менее, делал заключение, что она — «наилучшая из всех ныне в России возможных»<sup>48</sup>. Объяснение Карсавиным парадоксальности защиты народом «деспотического» большевизма можно, вероятно, связывать с признанием факта известного раскола русской культуры, о котором писали и Трубецкой, и Федотов. Философ полагал, что за всеми действиями большевиков, в том числе и за их политикой террора против «“бар” и живших по-барски носителей культуры» стояли социальные низы: «Не являются ли большевики лишь организаторами стихийной ненависти и воли темных масс?», — в очередной раз вопрошал он. Можно полагать, что образ предреволюционной России для Карсавина был тесно сопряжен со стихией низовой культуры, отделявшей себя от культуры «бар».

---

<sup>46</sup> Карсавин Л.П. Восток, Запад и русская идея // Карсавин Л.П. Сочинения. М., 1993. С. 160.

<sup>47</sup> Карсавин Л.П. Философия истории. С. 306

<sup>48</sup> Там же. С. 307.

Большевики, по его версии, «понятным темному народу» языком транслировали свою идеологию, используя ее как инструмент для направления народной стихии в нужном для них направлении. Смысл коммунистической идеологии он уподоблял антибарским лозунгам разиновского движения — «сарынь на кичку». Поэтому большевистская власть приобретала характер народной власти. Но она же, по его мысли, сыграла позитивную роль, устанавливая, посредством правил революционной законности, определенные ограничители социальной ненависти низов. Особо Карсавин подчеркивал, что в сложившихся условиях революции, политика большевиков была «может быть единственно пригодным средством для сохранения русской государственности и культуры»<sup>49</sup>. При этом он выявлял сходство основных линий социальной политики поздней Российской империи и большевистского правительства, полагая, что мероприятия министра земледелия А. А. Риттиха по организации хлебной разверстки имели прямое продолжение в политике большевиков. Это наблюдение давало основание Карсавину видеть некую закономерность трансформации царской России в Советскую: и в том, и в другом случае направление развития страны задавали количественно преобладавшие низы нации. Не случайно он подчеркивал устарелость историографических концепций, опиравшихся на веру историков в возможность созидания истории «силою персон»<sup>50</sup>.

Тема народа и его места в истории занимала особое место в историософских размышлениях Карсавина. Русская революция убеждала его в исторической значимости народного компонента. Он критически воспринимал позицию историков, пренебрегавших употреблением понятия «народ», полагая, что без него исторической науке не обойтись: история «сразу превратится в бесконечную грудку единичных фактов»<sup>51</sup>. Представления о народе как «симфонической личности» и носителя исторического своеобразия российской культуры, вероятно, стали одной из идейно-методологических причин его дальнейшего сближения с евразийцами.

---

<sup>49</sup> Там же. С. 308, 310-311.

<sup>50</sup> Там же. С. 306.

<sup>51</sup> Там же. С. 94-95; см. также: С. 117-120, 175-177.

Проблемы большевистской власти и народа в революционных перипетиях были не менее актуальны и для Федотова. Признавая неоднозначность политики новой власти, он составил перечень ее благодеяний и преступлений<sup>52</sup>. Но он более определенно, чем многие из евразийцев пришел к заключению, что все их благодеяния преобразовались, в конечном итоге, в преступления. Большевики, по его мнению, оказались предателями изначальной сущности социалистической идеи, создав государственность национал-социалистической природы. В созданном им портрете типичного (из «лучших образцов») большевика, хотя и признается сила идейного борца, что импонировало евразийцам, но бескомпромиссно отвергается Федотовым как безнравственное начало подобного типа: «Большевик не верит в возможность бескорыстных и благородных поступков. Везде он чувствует низкую подоплеку классового интереса и подлости... Зло, совершаемое в интересах пролетариата, заменяет для него добро...»<sup>53</sup>. Отсутствие свободы, режим диктатуры в большевистской России не позволяли ему хоть в малой мере оправдывать новую власть. Из представителей евразийского круга к характеристикам Федотова, вероятно, наиболее близок Вернадский в книге «Ленин – красный диктатор» и других работах о русской революции, вышедших в американский период его эмиграции.

Федотова глубоко угнетало осознание того, что в современной ему России развивается цивилизация, а не культура. Одной из задач возрождения России он считал необходимость воссоздания разрушенной большевиками культуры и культурной элиты былой России<sup>54</sup>. В этой связи тема народа в российской истории приобретала особую актуальность. Народ России Федотов воспринимал как социально неоднородную субстанцию, оставшуюся за пределами влияния европейской культурной традиции. Его центральным звеном являлось, конечно, крестьянство («серое море крестьянства»)<sup>55</sup>. Отождествляя народ с низовой культурой,

---

<sup>52</sup> См.: Федотов Г. П. Правда побежденных // Федотов Г. П. Указ соч. Т. 2. С. 24-28.

<sup>53</sup> Там же. С. 32-33.

<sup>54</sup> См.: Федотов Г. П. Создание элиты // Федотов Г. П. Указ. соч. Т. 2. С. 208-211.

<sup>55</sup> Федотов Г. П. Революция идет. С. 154.

Федотов был озабочен отсутствием в его среде представлений о свободе и необходимостью воспитания особой культуры свободы. Его рассуждения по этому поводу перекликались с мыслями Н. А. Бердяева, который подчеркивал, что свобода по своей природе аристократична. Восставшие же массы «не нуждаются в ней» и «не могут вынести бремени свободы»<sup>56</sup>. Федотов, почти повторяя его, замечал, что «массы долго не понимают ее и не нуждаются в ней, как не нуждаются и в высоких формах культуры»<sup>57</sup>. Русский народ, отмечал Федотов, хотя и был втянут в революционный водоворот, не приобрел самостоятельной политической функции, оставаясь ведомым различными политическими силами. В отличие от евразийцев, публицист не ощущал органической связи большевизма с народом. Его наблюдения позволяли утверждать, что в Советской России правящий слой, связанный с «государством и службой ...уже резко отталкивается от народной массы»<sup>58</sup>. Политику большевиков по принципу «все для народа» он считал не только фальшивой в политическом смысле, но и несущей непоправимый вред, поскольку она осуществлялась «ценой разрушения высших этажей культуры». Последнее обстоятельство объясняет его особое внимание к проблеме создания культурной элиты в России. Для Федотова гораздо характернее, чем для евразийцев, восприятие народа в контексте социокультурной стратификации России, что получило выражение, например, в его публицистических шедеврах: «Трагедия интеллигенции», «Революция идет», «Новая Россия». Их специальный анализ в затронутом аспекте, несомненно, требует отдельного разговора. Отметим в данном случае его лаконичный ответ на вопрос об исторических виновниках революционной трагедии России: «В ней одинаково повинны три главнейшие силы, составлявшие русское общество в эпоху Империи: так называемый народ, так называемая интеллигенция и власть»<sup>59</sup>. Этот вывод вобрал в себя концентрированное выражение системного

---

<sup>56</sup> Бердяев Н. А. Самопознание. Опыт философской автобиографии. М., 1991. С. 231.

<sup>57</sup> Федотов Г. П. Рождение свободы // Федотов Г. П. Указ. соч. Т. 2. С. 262.

<sup>58</sup> Федотов Г. П. Создание элиты. С. 217.

<sup>59</sup> Федотов Г. П. Проблемы будущей России (первая статья). С. 245.

кризиса России периода поздней империи, не сумевшей адаптироваться к условиям модернизационного вызова.

На фоне известных традиций советской историографии Октябрьской революции, сосредоточенной либо на скрупулезном восстановлении событийной канвы, либо на идеологически заданном обосновании закономерностей революции и ее значения, восприятие русской революции интеллектуальной эмиграцией и ее исследовательские программы были ориентированы к поискам глубинных истоков внутреннего социокультурного конфликта, который обнаруживался ими в плоскости взаимоотношений народа, общества и власти. Методологии познания революционного процесса мыслителей-эмигрантов, при всех их отличиях, базировались на историософских воззрениях, ценностным компонентом которых становился образ русского человека, осмысленный в контексте социальной иерархии, историко-культурных трансформаций и особенностей природно-географической среды России, отслеженных в рамках длительного процесса истории. Вследствие этого, версии русской революции в трудах интересовавших нас мыслителей насыщены размышлениями и интерпретациями, позволяющими погрузиться в историко-психологическую подоплеку национальной драмы. Подчеркнутая эмоциональная напряженность придает особый колорит их творческому почерку, выявляя в них тип исследователей, с характерным внутренним сопереживанием изучаемым историко-культурным процессам.

Интеллектуальное наследие русской эмиграции — это своеобразный остров культурного мира дореволюционной России, историографическое погружение в который еще далеко от завершения. Дальнейших исследований потребуют и проблемы осознания мыслителями русского зарубежья феномена русской революции. Соприкосновения и точки расхождений во взглядах на русскую революцию составляли главный импульс творческой и общественно-политической деятельности интеллектуалов-эмигрантов, становились основой их культурного общения и размежевания, дружеских связей и личностных конфликтов. Без преувеличения можно сказать, что русская революция, став личной драмой эмигрантов-мыслителей, так и не отпустила их от себя, превратившись для многих в главный источник их творческих раздумий о прошлой и будущей судьбе потерянной России.

## ГЛАВА 25

# ФОЛЬКЛОР КАК УСТНАЯ ФОРМА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ

(НА ПРИМЕРЕ КАЗАЧЕСТВА)

Проблема исторической памяти, не только письменной (историография), но и устной («историоговорение»)<sup>1</sup>, обусловленная многими факторами, находит отражение в материалах научных конференций и «круглых столов», в публикуемых исследованиях, статьях и монографиях. Это разговор о состоянии и проблемах формирования исторической памяти, ее взаимоотношениях с историческим сознанием и этническим самосознанием народа, интерпретации исторических событий, об особенностях социокультурной памяти и т. д.<sup>2</sup>.

Историописание всегда было социально ориентированным. Примеры можно найти уже в «Повести временных лет», в которой, помимо легенд и преданий, сохранились и другие формы устной исторической памяти: устные рассказы, княжеские родовые предания, дружинная поэзия. Летопись пользовалась устной народной исторической памятью не только как историческим источником: она во многом черпала идеи, самое освещение прошлого Русской земли<sup>3</sup>. Различия в оценке исторической личности в фольклоре обу-

---

<sup>1</sup> *Матвеев О. В.* История как система сбережения народа // Сбережения народа: Традиционная народная культура: Материалы научно-практической конференции. Краснодар, 2007. С. 47.

<sup>2</sup> См.: *Полянский В. С.* Историческая память в этническом самосознании народа // СоцИс. 1999. № 3. С. 11-20; *Бойков В. Э.* Состояние и проблемы формирования исторической памяти // СоцИс. 2002. № 8. С. 85-89; *Косик В. И.* К проблеме исторической памяти [Диалог] // Педагогика. 2004. № 4. С. 87-94; *Батонумкуева Р. А.* Социальная память как парадигма настоящего // Образование и общество. 2004. № 6. С. 33-35 и др.

<sup>3</sup> *Лихачев Д. С.* Великое наследие. М., 1975. С. 29-34.

словлены разными факторами, в т. ч. — социальной принадлежностью создателей и средой бытования фольклорных произведений<sup>4</sup>.

Взгляд на историю как на способ самопознания и самоидентификации общества, осознанную память о прошлом, передающуюся по различным каналам ретрансляции<sup>5</sup>, дает возможность нового обращения к традиционному народному творчеству. И хотя фольклор неоднократно рассматривался как форма общественного сознания, как отражение различных аспектов общественной жизни коллектива<sup>6</sup>, это направление в его изучении по-прежнему актуально, тем более в изменившихся исторических условиях.

Системный подход в исследовании фольклора дает возможность для выявления и / или моделирования картины мира — наивной, народной, связанной с фольклорным сознанием, которое создает «цельную, гигантскую реконструкцию мира», сложно и своеобразно соотносимую с миром реальной действительности<sup>7</sup>. Фольклорные произведения служат в качестве важного источника и для историков, так как место и роль устной истории в последние десятилетия стали более значимыми.

Необходимость комплексного подхода очевидна, и не случайно важными составляющими в изучении исторической картины

---

<sup>4</sup> Довольно противоречивую память о себе оставил атаман донского казачества, генерал от кавалерии, М. И. Платов. Его современники из высшего общества отзывались о нем в большинстве случаев с некоторым пренебрежением, отказывая ему даже в способностях военачальника. Устных преданий о нем в фольклоре сохранилось немного, зато в песнях он занял место национального героя, далеко опередив современных ему полководцев, включая Кутузова. — Атаман Платов в песнях и преданиях. М., 2001. С. 3.

<sup>5</sup> История исторического знания / Л. П. Репина, В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова. М., 2004. С. 276; История и память: Историческая культура Европы до начала Нового времени. М., 2006. С. 734.

<sup>6</sup> См.: Соколова В. К. Песни и предания о крестьянских восстаниях Разина и Пугачева // Русское народно-поэтическое творчество: материалы для изучения общественно-политических воззрений народа. М., 1953. С. 17-56; Путилов Б. Н. Типология фольклорного историзма // Типология народного эпоса. М., 1975. С. 164; Криничная Н. А. Русская народная историческая проза: вопросы генезиса и структуры. Л., 1987; Блажес В. В. Фольклор Урала: народная история о Ермаке (исследование и тексты). Екатеринбург, 2002; Буганов А. В. Личности и события истории в памяти русских крестьян XIX — начала XX века // Вопросы истории. 2005. № 12. С. 120-126; и др.

<sup>7</sup> Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура. СПб., 1994. С. 59.

мира кубанского казачества, по мнению О. В. Матвеева, являются опыт и наследие таких научных дисциплин и направлений второй половины XX столетия, как: 1) историческая антропология; 2) литературоведение, фольклористика и этнография; 3) устная история<sup>8</sup>. Признание историками активной роли языка, текста и нарративных структур в созидании и описании исторической реальности является базовой характеристикой культурологического подхода к истории<sup>9</sup>; изучение фольклора определенной социальной группы как социокультурного феномена способствует более глубокому постижению его сути и значимости для общества.

Особую актуальность приобретает изучение устной истории казачества. Об этом свидетельствуют материалы проведенных конференций и другие публикации<sup>10</sup>. Нельзя не согласиться с высказыванием кубанского историка О. В. Матвеева, которое, без сомнения, можно отнести к истории других казачьих групп, в частности, терцев: «...Долгое игнорирование исторических представлений казачества о себе, своем предназначении, о взаимоотношениях с властью и окружающими социальными институтами и соседними народами, образов военного и гражданского миров приводило и продолжает приводить к непониманию особенностей мировоззрения, системы взглядов, поведенческих стереотипов кубанцев»<sup>11</sup>. Альтернативность народной истории способствует сбережению народа, сохранению его исторической памяти<sup>12</sup>.

В локальном репертуаре терцев, уральцев, донцов и т. д. можно выделить собственно казачьи песни, в которых выражает-

---

<sup>8</sup> Матвеев О. В. Историческая картина мира кубанского казачества (конец XVIII – начало XX в.): категории воинской ментальности. Краснодар, 2005. С. 39.

<sup>9</sup> История исторического знания. С. 248.

<sup>10</sup> См.: Сибирское казачество: прошлое, настоящее, будущее: материалы Межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 420-летию Сибирского казачьего войска. Омск, 2003; 5 конференций цикла «Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа» (Армавир, 1998–2006); материалы 10-ти сборников «Дикаревских чтений» (Краснодар, 1995–2004); сборники научных статей «Мир славян Северного Кавказа» (Вып. 1–3. Краснодар, 2004–2007) и «Мир казачества» (Вып. 1–2. Краснодар, 2006–2007) и др.

<sup>11</sup> Матвеев О. В. История как система сбережения народа. С. 49.

<sup>12</sup> Там же. С. 53.



ся социальная психология субэтноса. Н. Г. Мякушин отметил особое значение песен в жизни уральского казачества: «...У нас песни не удовлетворяют какой-либо пустой прихоти казака, а составляют его существенную потребность и имеют на казака сильное оживляющее и воодушевляющее влияние, особенно в его трудной походной и боевой жизни»<sup>13</sup>.

Каждая локальная группа обладает своим песенным репертуаром, в котором большая часть песен относится к общеказачьим, наряду с местными сюжетами. Исторические песни терских казаков исследованы лучше, чем прозаический фольклор<sup>14</sup>. Этому способствовали не только дореволюционные публикации, но и песни, собранные в экспедициях 1945 г., 1965–1990 гг. на территории бывшей Чечено-Ингушской АССР<sup>15</sup>. Историческая проза в записях экспедиций почти не встречалась, поэтому дореволюционные публикации прозаических жанров содержат ценные материалы для воссоздания быта и мировоззрения казаков конца XIX века.

Немало произведений фольклорной прозы приводит Г. Малявкин в очерках, посвященных станице Червленной<sup>16</sup>. Собственно исторического материала в традиционном понимании почти нет, однако представления казаков о жизни, походной и станичной, отражены достаточно полно<sup>17</sup>. В статье приводятся особенно-

<sup>13</sup> Сборник уральских казачьих песен / Собр. и издал Н. Г. Мякушин. СПб., 1890. С. VII.

<sup>14</sup> См.: Исторические песни на Тереке / Подгот. текстов, статья и примеч. Б. Н. Путилова. Грозный, 1948.

<sup>15</sup> Материалы экспедиции 1945 года опубликованы (Песни гребенских казаков / Публ. текстов, вступ. ст. и коммент. Б. Н. Путилова. Грозный, 1946), записи экспедиций 1965–1967 гг. частично вошли в сборник «Песни Терека: Песни гребенских и сунженских казаков» (Публ. текстов, вступ. статья и примеч. Ю. Г. Агаджанова. Грозный, 1974), а также в сборник «Терек вспышный» (Сост. Е. М. Белецкая. Худ. С. В. Наймушина. Грозный – Екатеринбург, 1991–2007). Большая часть собранного материала не опубликована.

<sup>16</sup> *Малявкин Г.* Станица Червленая, Кизлярского отдела Терской обл. // Этнографическое обозрение. 1891. Кн. 8. № 1. С. 128-129; Кн. 10. № 3. С. 50-58.

<sup>17</sup> Это пословицы о стремлении казака к семейной жизни: «Казаку одному жить не приходится», «Лучше плохой постой, чем хороший поход» и «Хорошей женой дом держится». Автор отмечает, что принцип «Стерпится — слобитися», по которому раньше строили семью, постепенно заменяется другим: «Насильно мил не будешь». (*Малявкин Г.* Станица Червленая... Кн. 8. № 1. С. 128-129).

сти мировоззрения казаков. «Судьбы конем не объедешь», — говорит пословица, и действительно, считает Г. Малявкин, казаки глубоко верят в существование предопределения<sup>18</sup>. В третьем очерке автор излагает взгляды казака на окружающий мир и природу, пересказывая «своеобразные толкования» о небесных светилах и явлениях (о Млечном пути, который называется «Бекеевой дорогой», и др.)<sup>19</sup>. Сообщает он о вере в силу слова «на известный случай» — заклятия, наложенного на какую-нибудь вещь, которое грозит гибелью тому, кто до нее дотронется, а также о значении различных заговоров. В прежние времена, сообщает Малявкин, когда было много сторожевых постов, некоторые казаки умели заговаривать свой пост, а сами спокойно отлучались по своим делам, потому что, по рассказам, никто не смел не только подходить к самому посту, но даже приближаться к нему безнаказанно. Приведено достаточное количество быличек — о колдунах, или ведунках, которые могут изгонять бесов, вселившихся в человека, управлять действиями чертей и т. д. Автор очерка не использует термин «быличка», называя текст «рассказом», хотя отмечает его характерные черты: на силу колдунов «указывает один факт, который передавали мне за верный» (о том, как один ведун заставил чертей считать деревья, на одном из которых вырезал крест)<sup>20</sup>. Текст часто вводится словами: «Рассказывают такой случай...» (о том, как один казак не пригласил на свадьбу «злого» ведуна).

Вызывает интерес рассказ, отражающий взаимоотношения казаков и чеченцев: «Ехали по полю два казака (один из них был ведун) и три женщины. Дело было под вечер. Вдруг показались 12 чеченцев и скачут прямо на них. Все, конечно, обмерли от страха, один только старик-ведун совершенно хладнокровен и успокаивает остальных. Между тем чеченцы вот-вот настигнут. “Ну, теперь заедем в Балку”, — произнес старик, когда чеченцы были чуть не в десяти шагах. Чеченцы целую ночь промучились, искавши: то подойдут к тому месту, где казаки скрылись, то вновь отойдут, пронесутся чуть не над головой, а все-таки не заметят. Слышно было

---

<sup>18</sup> Для доказательства автор приводит «легенду» — о том, как хотел избавиться от нареченной невесты молодой казак, и что из этого получилось (Там же. С. 135–136).

<sup>19</sup> Малявкин Г. Станица Червленая ... Кн. 10. № 3. С. 51.

<sup>20</sup> Там же. С. 52.

даже, как разговаривали чеченцы: “Ведь вон и след, а их нет, что за чудо!” Они уже хотели ехать дальше, но лошади упрямо возвращали их на прежнее место. “Собака-казак, видно, мучает нас нарочно”, — говорили между собой чеченцы. Только поутру старик отпустил их»<sup>21</sup>.

В тексте есть косвенное доказательство знания казаками чеченского языка. Во время фольклорной экспедиции 1968 года в станице Гребенской<sup>22</sup> было записано два предания: о чеченцах — «благородных разбойниках» и о том, как вернулась домой украденная девушка, оставившая у чеченцев рожденного в неволе сына. Сюжет первого предания сводится к тому, что чеченцы собирались украсть у вдовы единственную корову, а женщина услышала их разговор и попросила их не делать этого. — «Вон там живет богатая женщина, у нее 7 коров, а у меня одна корова и семеро детей». Чеченцы не стали обижать вдову. Вряд ли разговор между чеченцами шел на русском языке, и если вдова его поняла, следовательно, она знала их язык, что довольно часто встречалось в действительности. Второе предание заканчивается моральным уроком, который мать преподнесла дочери: «Какая ты мать, если ты бросила своего ребенка!».

В очерке Г. Малявкина приведены тексты еще четырех «легенд», по терминологии автора, хотя одна из них («Разрытый курган») — предание о кладах: «там много денег скрыто, хотя часть их уже и взята казаками донцами — это было давно»<sup>23</sup>. Вторая легенда о том, как черт с Христом мельницу построили, третья и четвертая — былички: «Смерть чертовой тещи» и «Происхождение табака». Автор знакомит читателей и с некоторыми поверьями: о том, что воры могут с успехом воровать, запасшись свечкой из человеческого жира; сообщает о вере в летающих «огненных змеев»<sup>24</sup>.

Во время фольклорной практики 1980 г. студенты Чечено-Ингушского госуниверситета записали в станице Червленной не-

---

<sup>21</sup> Там же. С. 52-53.

<sup>22</sup> До 1906 г. — станица Новогладковская, относится к числу пяти старейших поселений (Червленная, Щедринская, Новогладковская, Старогладковская, Курдюковская) гребенских казаков (XVI в.). На момент записей — Гребенская Шелковского р-на Чечено-Ингушской АССР.

<sup>23</sup> Там же. С. 56.

<sup>24</sup> Там же. С. 54-55, 57-59.

сколько прозаических текстов от Я. С. Миштушкина (1900 г. р.) и Е. Ф. Миштушкиной (1905 г. р.). Это «Богатыри окаменели» (за то, что воевали с ангелами); «Пименов дуб» и др. В станице Гребенской жители пересказывали предание «Сонный дуб» — о том, как рос большой дуб за станицей, и казаки, прежде чем отправиться в поход, всегда под этим дубом устраивали пир, как бы заручаясь его помощью. Но однажды они перепились и уснули. Их там всех и перебили. Червленское предание «Пименов дуб» начинается словами: «Об этом дубе рассказывал старый чеченец». «Старый большой дуб рос в Гребнях. Старик-чеченец слышал от более древних стариков, что около дуба жили русские казаки. Чеченцы-старики не трогали этот дуб, а молодые чеченцы распилили дуб в лесу. Там они нашли медный крест. В Старом Юрте также стоит такой дуб».

Примечательно, что казаки пересказывают чеченское предание о русских. Подобные материалы привлекали внимание Л. Н. Толстого. По свидетельству У. Б. Далгат, предание «О Тарасе русском» (чеченское) дважды отчеркнуто ногтем на полях, есть закладка на этой странице<sup>25</sup>. Предание говорит о том, что когда русские ушли за Терек, то остался в Чечне один только русский, Тарас, человек зажиточный и мужественный. Жилье его выстроено было на развесистом дубе. О мужестве Тараса и об отношении к нему зумсоевцев говорится в конце предания так: «И мертвый он не свалился с ног, но умер, прислонившись к двери, и был им еще страшен. Полагая, что он употребляет против них хитрость, они только через два дня удостоверились в его смерти и тогда забрали его имущество». Этот абзац также отчеркнут карандашом Льва Толстого.

Заслуживает внимания записанное студентами в Червленной от Е. Ф. Миштушкиной предание «Гунойский народ»: «Казаки не подчинились крепостному праву, пришли в Астрахань, но там их не приняли, сказали, чтоб они шли на Гребень. Они приехали [и поселились] напротив Нового Юрта, где Сунжа сходилась с Терekom. Чеченцы помнят, что казачьи кладбища были в горах. Когда казаки прибыли на Кавказ, они в большинстве прибыли без жен.

---

<sup>25</sup> Это предание опубликовано в «Сборнике сведений о кавказских горах» (вып. VI, отд. I, с. 36). См.: *Далгат У. Б.* Работа Л. Н. Толстого над изданиями кавказского фольклора // *Фольклор: Образ и поэтическое слово в контексте.* М., 1984. С. 267.

Они здесь жен воровали. Женщин, которых воровали, пускали на жереб, кому она достанется. В станице Червленной живут и калмычки, и ногайцы, и чеченцы, и тавлины. У червленцев чисто русских нет. Ходили мы в кафтанах и штанах, как чеченки, только показачьи крутили платком [платки, концами] вперед. Нас называли «гунойский народ»». Обычай куначества между жителями Червленной и с. Гуни подтверждается и документами.

Записи прозаического фольклора представлены также преданием «Сын Степана Разина» и рассказами исполнителей о случаях из жизни, аналогичных ситуациям, отраженным в казачьих песнях (в Гребенской — о том, как увез казак молодую полячку), а также воспоминаниями о казаках — авторах песенных слов (например, о Богдашкине). В последнем рассказе противопоставляются две версии происхождения баллады «Как в Червленном жила-была вдовушка». В примечаниях Ф. С. Панкратова и Б. Н. Путилова указано, что сочинил песню отставной генерал Беллик<sup>26</sup>. Иначе об этом говорится в наших записях. По словам исполнителя, эту песню составил казак Богданчик. «Когда его посадили на гауптвахту и спросили, не хочет ли он попросить прощения, он ответил согласием: «Ваше высокоблагородие, свиньи вольно ходят, а львы на цепях сидят». Его отправили в Сибирь. Между Бел[л]иком и Богданчиком была эта ссора. Бел[л]ик — полковник [отставной генерал-майор], Богданчик — умный, находчивый, своевольный, любую песню сочинял». Трудно сказать, фамилия это, форма имени «Богдан» или кличка. Фамилия Багдашкиных встречалась среди исполнителей Червленной в примечаниях указанного выше сборника Ф. С. Панкратова («бабука Акимовна» Багдашкина и Т. Багдашкин).

В станице Гребенской от А. И. Лимановой (1901 г. р.) записано несколько пословиц: «Бог душу не вынет, а сама душа не выйдет», «Песню до конца не поют, а мужу правду не говорят». По-

---

<sup>26</sup> «Эта песня составлена отст. генер. Б. одной вдовушке, за дочькую которой он ухаживал безнадежно» (Гребенцы в песнях: сборник старинных, бытовых, любовных, обрядовых и скоморошных песен гребенских казаков с кратким очерком Гребенского войска и примечаниями / Собр. Ф. С. Панкратов. Владикавказ, 1895. С. VIII). В сборнике Б. Н. Путилова приведен комментарий из книги Г. А. Ткачева «Станица Червленная: Исторический очерк» (Владикавказ, 1912. С. 217), из которого следует, что червленцы считали автором песни отставного генерал-майора Беллика (Песни гребенских казаков. С. 301).

следняя является очень распространенной среди казачек, как и другие, связанные с песенным творчеством. Она часто варьируется: «Песня не допеваётся, а мужу правда не говорится». Широко бытовали пословицы о профессиональном исполнительстве: «Каждый споёт, да не так, как скоморох», «Песню сыграть — не сапог с ноги снять». В ответ на просьбы собирателей что-нибудь спеть обычно с улыбкой отвечали: «Песню — хоть тресни, и есть не проси!». Необходимо отметить яркую образность повседневной речи, которая часто не уступает пословичным выражениям. Так, стодвухлетняя Е. М. Иванова из станицы Гребенской сказала нам о своей любви к песням так: «Я песней смерти назло старость свою забавляю».

Песенное творчество терских казаков остается и сегодня не только богатейшим наследием прошлого, но и частью современной культуры. Основными хранителями песенного фольклора в станицах являлись мужчины и женщины старшего поколения, однако во время собирательской работы обнаружилась следующая тенденция: большую часть мужских казачьих песен, исторических и военно-бытовых, исполняли женщины. Это объясняется, по-видимому, не только количественным соотношением мужского и женского населения и большей продолжительностью жизни женщин, но и высоким уровнем их певческой культуры. Однако часто женщины говорили: «Мне одной не спеть, надо собрать несколько человек», и даже называли, кого именно. Необходимость хорового исполнения определялась развитым многоголосьем казачьих песен.

Жанровый состав песенного фольклора гребенских казаков в 1960-е гг. был представлен фрагментами былинных и ранних балладных песен, историческими и военно-бытовыми, протяжными лирическими песнями и «частыми» (быстрыми), плясовыми («скоморошными»), отчасти игровыми хороводными, а также поздними балладами и романсами книжного характера. Записано несколько колыбельных песен и детских «потешек». В обрядовый песенный фольклор вошли календарные (святочные, масленичные и троицкие) и свадебные песни. Количество сюжетов, зафиксированных в станице Гребенской<sup>27</sup>, распределено по жанровым груп-

---

<sup>27</sup> Планомерные экспедиции в этой станице проводились неоднократно — с 1965 г., в течение 20-ти лет, с повторными записями, в результате чего

пам равномерно, причем уменьшению текстов одной разновидности соответствует увеличение примерно на такое же количество в другой. Такие отклонения от среднего арифметического составляют около 10%. Это свидетельствует, во-первых, о том, что песенная форма отражения окружающего мира у гребенских казаков преобладает; а во-вторых, она является универсальной, так как охватывает все стороны жизни казаков.

По сравнению с репертуаром гребенских станиц конца XIX века, сто лет спустя почти исчезли былинные песни (всего их было зафиксировано около 15 сюжетов, что составляло 52 текста<sup>28</sup>). Значительно сократилось число исторических сюжетов, хотя благодаря поездкам в разные станицы увеличилось количество их вариантов<sup>29</sup>. Хорошо сохранился свадебный фольклор, лирические необрядовые песни, причем соотношение частых и протяжных приближается к пропорции 1:1.

Исторический фольклор — это фольклор, отражающий различные аспекты общественной жизни, исторические события и участников этих событий. Определяя место исторических песен в русской народной поэзии, Б. Н. Путилов отметил их большую содержательность и проблемность, широту изображения в них некоторых существенных сторон жизни народа, а также «неповторимость сосредоточенных здесь народных исторических суждений, оценок, характеристик», определенной концепции исторического процесса. Критерии оценки исторических песен — судить не по верности их фактам, а по степени глубины проникновения в действительность и ее осознания<sup>30</sup>.

---

было зафиксировано около 315 песенных сюжетов (более 800 текстов), поэтому полученные результаты вполне достоверны.

<sup>28</sup> Обстоятельный анализ собирания и изучения былины на Тереке сделал Б. Н. Путилов. См.: *Путилов Б. Н. Русская былина на Тереке (собрание и изучение терской казачьей поэзии, особенно эпической) // Ученые зап. Грозненского гос. пед. института. № 3. Филологическая сер. Вып. 3 / Под ред. Н. И. Пруцкова. Грозный, 1947. С. 7-46.*

<sup>29</sup> В сборнике «Исторические песни на Тереке» было опубликовано 100 песен (Исторические песни на Тереке / Подгот. текстов, статья и примеч. Б. Н. Путилова. Грозный, 1948). Далее — ИПТ; ссылки на это издание с указанием номера песни или страницы даются в круглых скобках в тексте.

<sup>30</sup> Народные исторические песни / Вступ. ст. Б. Н. Путилова. М.; Л., 1962. С. 5-10.

Необходимой предпосылкой создания исторических песен является осознание личностью своих связей с общественной жизнью, осознание себя как члена социальной общности. Возникновение исторических песен в XVI в. связано с образованием гребенского (терского) казачества как специфической локальной группы, поэтому они могут служить материалом для изучения истории и социальной психологии казаков Терека.

Исторические песни не только художественно изображают — с определенной долей вымысла — те или иные исторические события, они создают философию истории, которая проявляется и в отборе типичных для российской истории ситуаций, и в способах воплощения, и в их оценке. В сюжетных ситуациях, отраженных в исторических песнях, казаки показаны как единый коллектив — в сражениях с внешними врагами (хивинцами, турками и т. д.) и в отношении к атаману, что характерно для социально-исторических песен XVI–XVII вв., или к военачальнику (в поздних военно-исторических песнях).

Взаимоотношения между атаманом и казаками в песне строятся по определенному стереотипу: атаман (Ермак Тимофеевич) обращается к казакам с речью («Уж он речи говорит, ровно как в трубу трубит»), советуется с ними, где лучше зимовать («Да не на реченьке было, братцы, на Камышинке» — ИПТ, № 8–9). Традиция обращения с речью сохраняется и в военно-исторических песнях XVIII–XIX вв., но обращается уже не атаман, а казачий генерал, полковник, командир, пользующийся уважением среди рядовых казаков. Композиция и структура речи, таким образом, способствуют не только запоминанию ситуации, но и воспроизведению типовой схемы применительно к более позднему историческому материалу.

Своеобразно выражено социальное самосознание казаков в гребенской песне «Не из тучушки они ветерочки дуют», широко известной на Тереке, в основе которой лежит предание о встрече казаков с Иваном Грозным<sup>31</sup>. Казаки обращаются к царю с речью, укоряя его в социальной несправедливости: он «много дарил-жаловал» князей да бояр, а не казаков. В ответ на это Иван Гроз-

---

<sup>31</sup> Великая Н. Н. Казаки Восточного Предкавказья в XVIII–XIX вв. Ростов-на-Дону, 2001. С. 10.



ный жалует гребенских казаков рекой Терекон «со притоками» (ИПТ, № 1).

Другой сюжет, связанный с образом царя, содержит очень важный для казаков мотив — право на ношение бороды. Обращение к Ивану Грозному в жанровой форме плача делает эту тему необычайно выразительной: «Гребенской казак на часах стоит, На часах стоит, как свеча горит, Как свеча горит, сам слезьми плачет...»<sup>32</sup>. Казак просит буйные ветры разнести царскую могилушку, оторвать гробову доску, развернуть золоту парчу: «Уж ты встань-ка, восстань, православный царь... Вот твоя армеюшка стоит все по-новому... Да как хотят нам, бравым казачинкам, усы-бороды брить... Да вы не брейте-ка... да бородушки, да вы снесите-ка... да вы наши головушки» (ИПТ, 23). В этой песне отразилась психология казачества как субэтноса, традиции которого явились основой социального облика казака<sup>33</sup>.

Песня хранилась в репертуаре казаков до 1960–1980 гг., чему способствовала не только актуальность ее содержания, но и типичность фольклорной формы, предназначенной для устного восприятия и запоминания. Цепочное строение предложений, ступенчатое сужение образа, постоянные эпитеты, повторы и другие приемы, неоднократно исследованные фольклористами, нашли самое широкое применение в ранних исторических песнях.

Одна из особенностей социальной психологии казачества заключается в идее братства казаков по духу, что закреплено песенной формулой «все донские, гребенские да яицкие они казаки» и формой обращения «братцы». Иногда этому сопутствуют собственные местоимения (мы, нас), например: «Не под славным было городочком, Было, братцы, под Виндером...», «Есть у нас, казаченьков, крупа и мука» («Полно вам, снежочки...») и т. п.

Философия исторических отношений определяется поведением песенного героя. В ситуации «Казак в турецкой неволе» обоб-

<sup>32</sup> Записано от Е. М. Ивановой, 1863 г.р., в 1965 г. в ст. Гребенской.

<sup>33</sup> По свидетельству этнографических источников, усы и борода служили элементами маркировки возрастных групп: малолетки были безусыми, служилые казаки носили усы; вышедшие в отставку отращивали бороду. Для атамана наличие усов и бороды было обязательным (См.: Рыблова М. А. Хранители казачьих кладов: к вопросу о концепции судьбы в русской народной традиции // Судьба. Интерпретация культурных кодов: 2003. Саратов, 2004. С. 133).

щен не только образ, который легко прикрепляется к историческому лицу (Ермаку, Разину и т.д.), но и сама ситуация неволи. В различных вариантах кульминация наполняется разным содержанием. Так, сюжет «Ермак в турецкой тюрьме» имеет две концовки: более жесткую («...Отпусти меня на волюшку; Я всю Турцию повырублю, А тебя, Султана, во полон возьму») и более мягкую: «...Прикажи кормить-поить меня, Прикажи на волю выпустить, Посмотреть небо-землюшку, Взглянуть на свою сторонушку» (ИПТ, №№ 14–15).

Стремление к воле — доминанта социально-исторических песен XVI–XVII века. Это понятие является пространственной составляющей русской души; «воля вольная» — это свобода, соединенная с простором, ничем не ограниченным пространством. Пространство трехмерно, для простора определяющим критерием служит горизонтальное измерение. Пространство может быть замкнутым, для простора нет границ<sup>34</sup>. Даль, долина, «раздолье широкое» встречаются в песнях казаков и в общерусском песенном репертуаре, что свидетельствует о единстве этнического и субэтнического, но для казачества они являются определяющими.

В историческом фольклоре изображаются не только события, но и личности, значимые для истории. Если в песнях социального плана это атаманы (Ермак Тимофеевич, Степан Разин, Емельян Пугачев), то в военно-исторических — военачальники, государь или его брат (наследник-цесаревич назначался атаманом всех казачьих войск). Царь воспринимался как высшая инстанция власти, в том числе военной<sup>35</sup>.

Не менее значима в песенной истории роль военачальников — от атамана и генерала до хорунжего и урядника. Герои песен — командир Миллер и «Евдокимов наш удалый», «храбрый

---

<sup>34</sup> Шмелев А. Д. Русская языковая модель мира: материалы к словарю. М., 2002. С. 69-77.

<sup>35</sup> Более подробно образы царей в исторической картине мира и устной песенной истории казачества рассмотрены в работах: Матвеев О. В. Герои и войны в исторической памяти кубанского казачества. Краснодар, 2003. С. 169-183; Он же: Историческая картина мира кубанского казачества. С. 267-306; Белецкая Е. М. Традиции служения Российской государственности в песенном фольклоре казачества // Алексеевские чтения. Краснодар, 2004. С. 74-81.

Волженский полковник», генералы Ермолов, Бакланов и др. Немало сюжетов посвящено Кавказской войне:

В тихи ночи осенью казаки гуляли  
 И про службу свою песни распевали.  
 Скоро, братцы, нам в поход, зима наступает,  
 Злой Шамиль зовет на бой, зовет и не унывает.  
 Для нас вызов — не беда, был бы Слепцов с нами,  
 С ним готовы хоть куда на конях орлами.  
 ...В поле лучше помереть, дома не годится:  
 Если дома помереть — лучше б не родиться.  
 Пусть объявит свой приказ, коней поседлаем —  
 И готовы в дальний путь, песни заиграем.  
 ...Наш наместник Воронцов всем пример покажет,  
 И навешает крестов, и спасибо скажет<sup>36</sup>.

(РС, № 83)

Исторические песни периода Кавказской войны о генерале Слепцове созданы преимущественно сунженскими казаками. Л. Н. Толстой в письме к младшему брату, С. Н. Толстому, назвал Н. П. Слепцова храбрым и умным генералом<sup>37</sup>. Дворянин по происхождению, он мечтал о военной карьере, в которой видел свое призвание. Его энергичная натура жаждала сильных ощущений и подвигов. По личной просьбе его перевели из столицы на Кавказ, к месту его будущей славы и преждевременной гибели<sup>38</sup>. Из пяти песен, приведенных в работе Н. В. Ратушняка<sup>39</sup>, четыре написаны

<sup>36</sup> Текст цитируется по копии рукописного сборника казачьих песен (скопирован почти полностью, 126 текстов) конца XIX в., который хранился у А. Е. Хаврониной, 1922 г.р., внучки певца Рогожина. Тексты песен написаны тремя разными почерками, указаны в качестве подписи три фамилии — Ф. Рогожин, С. Пимычев, Я. Феньев. Встречаются даты написания песенных текстов (1891–1894 гг.) и места, где стояли казаки. После одной из песен — следующая запись: «Эта песня писана в память перехода из г. Гатчины в г. Петергоф 28 мая 1894 год, а писал собственноручно казак Лейб-гвардии 4-й Терской сотни собственного Его Императорского Величества конвой С. Пимычев». (Далее — РС, с указанием № текста, проставленного для удобства ссылок на копию).

<sup>37</sup> *Виноградов В. Б.* Н. П. Слепцов — «храбрый и умный генерал». Армавир, 2000. С. 9.

<sup>38</sup> *Ратушняк В. Н.* Неустрасимый генерал. Краснодар, 2001. С. 10-11 и далее.

<sup>39</sup> Там же. С. 41-47. Приведенные казачьи песни (№№ 1–5) и русский перевод чеченской песни о Н. П. Слепцове даны без паспортизации, однако



Но вас богом я прошу:  
Не ходите вы в корчму.  
Вы там денежки пропьете,  
А в поход ни с чем пойдете!  
Вас отцы будут встречать,  
А вам нечем отвечать.  
— Ты, дедушка Аликуй,  
Нам про это не толкуй!  
Сухарей мы напечем,  
Сами в шалаши пойдем.  
Сухарей мы поедим,  
На Слепцова поглядим.  
— Хорошо вам рассуждать,  
Иль провиантских денег дать?  
Вы терпите до числа,  
Вам картошка не кисла,  
Поколь месяц окончу,  
Из Капкай<sup>43</sup> получу,  
По сотням разочту,  
По станицам разошлю.  
А сказали: «Слепцов злой».  
Слепцов — батюшка родной:  
Он положит, станет бить —  
С плеч рубашечка летить,  
Но хоть больно он нас бьет,  
Да под суд не отдает.  
— Как же больно вас не бить,  
Сорванцов, вас не бранить;  
Добрых коней распродали,  
Сударушек посправляли,  
Порезали чепраки —  
Девкам шили башмаки.  
В Первом Сунженском полку  
Носят шапку на боку.  
Носят шапку на боку,  
По сту плетей во боку.  
По сту плетей во боку,  
Курят трубки табаку<sup>44</sup>.

(РС, № 41).

---

<sup>43</sup> Капкай — г. Владикавказ.

<sup>44</sup> Текст недавно опубликован (Терек вспышный. С. 64-68. Далее — ТВ). Сходные взаимоотношения между казаками и генералами (Бабычем, Е. Ф. Семенкиным) отражены в кубанских песнях. См.: *Матвеев О. В.* Офицерский корпус в исторических представлениях кубанских казаков // *Дворяне в истории и культуре Кубани.* Краснодар, 2001. С. 106-107.

Песни о гибели 36-летнего генерала Слепцова в сражении с чеченцами под Гехами выделяются тем, что, с одной стороны, в них сохраняются лучшие традиции исторической и военно-бытовой лирики (“Ой да ты, заря ли моя...”), а с другой — та же тема воплощается в книжной форме: «Из-за вала<sup>45</sup> поразила Пуля меткая его! Наше сердце схоронила, Жизнь отнявши у него! Как же, братцы, нам не плакать, Как нам, братцы, не тужить. Отца-друга командира Кто нам может заменить?! Мы его несли на бурках, Он уже едва дышал И, собрав последни силы, Свою волю завещал: Чтобы храбро и отважно Нам вперед, как с ним служить, Чтобы имени Слепцова Нам вовек не посрамить»<sup>46</sup>.

События Кавказской войны с участием генерала Слепцова были особенно значимыми в среде казаков, сражавшихся с горцами. Не случайно его именем была названа станица Сунженская (Слепцовская). Песни о храбром генерале вошли в сунженский, терский и кубанский казачий репертуар<sup>47</sup>, сохранились в нем и активно бытовали до конца XX века, как память об этом талантливом и благородном человеке. Встречаются в сборниках и авторские тексты, которые дают прямую характеристику полководцу:

Честь прадедов, атаман,  
 Богатырь, боец лихой,  
 Здравствуй, храбрый наш Бакланов,  
 Разудальный ты герой.  
 ...Ты геройскими делами  
 Славу дедов и отцов  
 Воскресил опять меж нами  
 Ты, казак из казаков.  
 ...Древней славы Ермаковой  
 Над тобою блещет луч,  
 Бьешь сноровкою Платовой  
 Ты как сокол из-за туч...<sup>48</sup>

(РС, № 110)

<sup>45</sup> В наших записях — «из завала».

<sup>46</sup> *Ратушняк В. Н.* Неустрасимый генерал. С. 41.

<sup>47</sup> Имя Слепцова упоминается и в редком варианте песни «С Малки, с Терека, с Кубани», отражающем пребывание казаков в Сербии в 1876 г. в связи с освободительным движением на Балканах. См.: *Матвеев О. В.* Враги, союзники, соседи: Этническая картина мира в исторических представлениях кубанских казаков. Краснодар, 2002. С. 41.

<sup>48</sup> Автором этого текста является донской поэт А. А. Леонов. См.: *Бачер Д., Рабинович Б.* Русская народная музыка: нотографический указатель (1776–1973). В 2-х ч. Ч. 2. М., 1984. С. 536.

Подобные песни фольклористы 1960-х годов называли “ура-патриотическими”, к тому же тема русско-кавказской войны в то время была закрытой, поэтому ни публикаций, ни исследований на эту тему почти не было. Вместе с тем фольклорные тексты содержат не только описания побед. В одном из вариантов песни «Пыль клубится по дороге» есть и ход боя, и поведение сражающихся, и характеристика врага:

Пыль клубится по дороге  
 Темно длинной полосой,  
 Там в Червленной по тревоге  
 Скачет полк наш Гребенской.  
 Скачет, мчится, точно буря,  
 К Гудермесу прискакал,  
 Где Казы-мулла с ордою  
 Десять тысяч ожидал.  
 Полк не дрогнул, увидавши  
 Таку силу пред собой.  
 Шашки вынул и помчался  
 На бой смертный с той ордой...  
 Все рубились, насмерть бились  
 Удалые гребенцы.  
 Храбрый Волженский полковник  
 Кричал: «Браво, молодцы!»  
 Орда дрогнула, бежала,  
 Мы помчались за ней,  
 Но ждала нас там засада  
 Из отважных всех людей...  
 Вмиг собрались чеченцы,  
 Все отважные бойцы.  
 Вот от них-то пострадали  
 Тогда наши гребенцы. ...<sup>49</sup>

(РС, № 63)

В песенном репертуаре казаков были отражены и события XIX века, исторически значимые для всей России. В них также принимали участие и казаки:

Торжествует вся наша Россия,  
 Ой, Николаев трон гремит,

---

<sup>49</sup> Очень близкий вариант под заголовком «Смерть Волженского. Дело 19 августа 1832 года» см.: ИПТ, № 89.

На все страны меч его блистает,  
 Остращает всех врагов.  
 Остращает всех врагов,  
 И французов, поляков<sup>50</sup>.  
 Вы разбейтесь, варвары-французы,  
 Вы узнайте, кто мы есть...

(РС, № 110)

В текст песни включается образ исполнителей / создателей, прикрепленный к определенному географическому пространству:

Во Российской было стороне,  
 Петербург стоит на Неве.  
 Там лейб-гвардия наша стояла,  
 К себе шефа дождала.  
 Шеф — полковник да он командир,  
 Предводитель войску был.

(РС, № 110)

Пространство в исторических песнях выполняет жанрообразующую функцию: герои действуют в определенном, исторически конкретном пространстве как участники важных событий; именно пространственные координаты являются определяющими в песенных зачинах; наконец, повторение аналогичных по смыслу событий (сражение, взятие города и т.д.) формирует стереотип описания и основу для вариантов и версий при замене исторических героев другими. В этом принципиальное отличие устной истории от письменной.

Установлению соотношения между реальной и песенной историей помогают, помимо пространственных ориентиров, исторические имена. Достоверность песенных эпизодов обусловлена их повторяемостью в реальной жизни, как, например, факта встречи государя с казаками, а также и документальным подтверждением<sup>51</sup>.

<sup>50</sup> Далее после каждого двустишья — припев: «То-то любо, любо да люли» с повторением последней строки.

<sup>51</sup> Песня «День двенадцатый апреля», известная не только гребенцам, но и кубанцам, повествует об объявлении войны с турками и встрече Государя императора и Августейшего Главнокомандующего с эскадром конвойцев. О. В. Матвеев приводит изложение этого эпизода в песне и в служебной записке штаб-ротмистра П. Т. Кулебякина (*Матвеев О. В. Историческая картина мира кубанского казачества*. С. 223-224).



Исторические песни казачества, таким образом, исполняют роль устных документов, подтверждающих те или иные факты социальной (XVI–XVII вв.) или военной (XVIII–XIX вв.) истории, а также содержат оценку истории в целом. Они закрепляют нормы социального поведения, преимущественно мужского, определяют место казака в системе общественных отношений (атаман и казаки; герой и враги).

В песенном фольклоре XIX века отражены Отечественная война 1812 года<sup>52</sup>, Кавказская и русско-турецкие войны<sup>53</sup>. Исторический материал укладывался в типовые ситуации, разработанные еще в песнях XVIII века: выступление армии в поход, сражения, осада крепости, взятие вражеского города или аула, смерть и похороны военачальника и т. п. Все больше песен подвергалось влиянию литературы, сближаясь с ней по форме и содержанию. Поведение казаков, отраженное в песнях, соответствует исторической оценке их военных действий: «И всегда и во все времена казаки своим героизмом и бесстрашием, воинской выучкой и дисциплинированностью, взаимовыручкой и смекалкой добавляли ратную славу российскому оружию»<sup>54</sup>.

Персонажи устной истории одновременно реальны и условны, устойчиво стереотипны. Действуя в данных реальной историей обстоятельствах, совершая поступки, не противоречащие сведениям документов, они руководствуются воинским кодексом, доминантой которого является концепция героического<sup>55</sup>.

<sup>52</sup> О песнях Отечественной войны есть публикации общего характера, а также специально посвященные песенному творчеству казаков. См.: *Горелов А. А.* Отечественная война 1812 г. и русское народное творчество // Отечественная война 1812 г. и литература XIX века. М., 1998. С. 5-57; *Белецкая Е. М.* Отечественная война 1812 года в народных исторических песнях // Тверская губерния в Отечественной войне 1812 года: Сб. материалов историко-краеведческой конференции. Тверь, 2002. С. 81-84 и др.

<sup>53</sup> *Белецкая Е. М.* Русско-турецкая война 1877–1878 гг. в песенном фольклоре гребенских и терских казаков // «Да кто душу положит за други своя...» (К 130-летию участия русского дворянства в освобождении православного населения Балкан от османского ига): Материалы II Международных Дворянских чтений. Краснодар (Екатеринодар), 2006. С. 29-35; *она же.* Казачество в народном творчестве и в русской литературе XIX века. Тверь, 2004. С. 33-41.

<sup>54</sup> Казаки в войнах России: краткие исторические очерки / Под общ. ред. Б. Б. Игнатьева. М., 1999. С. 4.

<sup>55</sup> *Матвеев О. В.* Историческая картина мира кубанского казачества. С. 215.

Военно-бытовые песни занимают в репертуаре гребенских, терских, донских, уральских казаков весьма значительное место<sup>56</sup>. Это песни «проводные» и «походные», песни о временной побывке и о смерти на поле боя. В эту жанровую группу попадают военно-исторические песни, лишенные со временем формальных признаков конкретного историзма — указания на место или время описываемого действия. В проводных песнях, которые исполняются как женщинами, так и мужчинами, выражается прежде всего воинская психология («За горами, братцы, нас было не видно»): «...Мы походов, братцы, не боимся, больно радуемся», но далее — «На конь сели, песенки запели, Прослезили, братцы, да мы весь народ»<sup>57</sup>. Особенно характерна следующая песня, известная во многих вариантах, в которой описан психологический переход от станичного быта к жизни походной:

Полно вам, снежочки, на талой земле лежать,  
 Полно нам, казаченьки, горе горевать!  
 Оставим тоску-печаль во темнаих лесах,  
 Будем привыкать к чужой дальней стороне.  
 Будем привыкать к чужой дальней стороне,  
 Будем уважать чужой молодой жене.  
 С девками-молодками полно пить-гулять,  
 Перины-подушечки пора нам забывать<sup>58</sup>.

Вторая часть песни продолжает описание походного быта: казаки сами пекут хлеб, варят кашу, в складчину («сложимся по денежке») покупают вино («пошлем за винцом»). После традиционных трех рюмочек (выпьем мы по первой — позавтракаем, по второй — разговоры заведем, по третьей — «с горя песню запоём») начинается «песня в песне»:

<sup>56</sup> Анализ военно-бытовой лирики см. в работах: Песни гребенских казаков. С. 37-38; *Матвеев О. В.* Историческая картина мира кубанского казачества. С. 150-174; *Белецкая Е. М.* Мир казака в военно-бытовых песнях // Мужской сборник. Вып. 2. «Мужское» в традиционном и современном обществе. М., 2004. С. 237-246 и др.

<sup>57</sup> Эта песня известна по дореволюционным публикациям, в записи Б. Н. Путилова (Песни гребенских казаков, № 125 — далее ссылки на это издание даются в сокращении — ПГК), а также в записях экспедиций ЧИГПИ 1965–1966 гг.

<sup>58</sup> Песня является одной из самых популярных на Терекe, эта запись сделана в ст. Старый Щедрин от Е. Г. Широковой (1898 г. р.) в 1965 г. См.: ТВ. С. 92.

Мы поем, поем про свое житье-бытье.  
 Казачье житье, право, лучше всего:  
 У казака дом — черна бурочка,  
 Жена молодая есть винтовочка,  
 А отец наш, родитель — начальник.  
 Ходя поедим, стоя выпьемся;  
 Вспомню про жану, на винтовку погляжу,  
 Чтоб она была чисто смазанная,  
 Вдруг тревогою, чтоб готова была,  
 Во секрет садиться, чтоб заряжена была.  
 (ТВ, 90)

По сравнению с известной солдатской песней «Солдатушки, браво, ребятушки» казачий сюжет ближе к реальному быту и вполне может использоваться как этнографический источник.

Если исторические песни отражают героическую сторону жизни казаков, то военно-бытовая лирика передает особенности повседневной походной жизни, отношение к службе. Достаточно сравнить приведенную выше песню «В тихи ночи осенью казаки гуляли» и следующий текст:

Грусть, тоска, печаль, досада,  
 Не могу ее снести.  
 Куда служба меня отзывает,  
 Туда должен я пойти.  
 Должен, должен да я непременно  
 Сказать: «Милая, прощай!  
 Ты прощай, прощай, моя милая,  
 Прощай, жизнь-радость моя!»<sup>59</sup>.

Отражая различные сюжетные ситуации, песни в локальном репертуаре выстраиваются в циклы, как линейно-биографические (от рождения до смерти), так и «круговые», в которых варианты сюжета или сюжетной ситуации образуют аксиологический круг (от печально-трагического до сатирически веселого). Бытовали среди гребенцов песни о смерти на поле боя, о том, как товарищи привозят домой тело казака, погибшего в сражении («Уж мне, ма-тушка-сударушка, грустненько» и др.), но были и шуточные песни о возвращении со службы:

...Получили мы приказ:  
 Полку нашему Кавказ.

<sup>59</sup> Записано от А. Т. Кальченко (1900 г.р.) в ст. Гребенской в 1965 г.

Получили мы другой —  
Полку нашему домой.  
Вот мы тронулись, пошли,  
Да на быстрый Терек перешли.  
— Здравствуй, Терек Гребенец,  
Ты родной наш отец!  
Здравствуй, женушка-жена!  
Да Расскажи-ка, как жила.  
— Пожила я с мужиками —  
Прожила арбу с быками.  
Пожила я с казаками —  
Нажила арбу с быками.  
Иванович похвалил,  
Да пятьсот плетей заложил.  
А наутро похмелил  
Да еще триста доложил.  
— Иванович, хорошо!  
Хоть бы годик там еще!  
Хоть бы год и хоть бы два,  
Хоть бы года полтора!<sup>60</sup>

К песням внутреннего быта относятся не только социально маркированные тексты, однако специфика казачьего репертуара проявляется в отборе тех или иных сюжетов из общерусского фонда, в соотношении протяжных и частых песен, в характере мелодии и манере исполнения песен. Специфика казачества отразилась и в обрядовом фольклоре («Леску, леску, на желтом песку», «Как со вечера дождь, со полуночи мороз» и др.) Особое место в репертуаре казаков занимают баллады, не только питавшие литературу, но и питавшиеся ею. Заслуживают внимания песни, созданные на стыке фольклорной и литературной традиций, а также «оказаченные» сюжеты. Все это составляет социокультурный феномен песенного фольклора казаков.

Механизмы устной памяти — особый предмет для исследователя. Обозначим лишь некоторые приемы, способствующие запоминанию и последующему воспроизведению песен. Фольклорные тексты, как правило, стабильны, и характер вариативности вписывается в рамки фольклорной традиции. Структура текста иногда способствует возникновению процессов контаминации или импро-

---

<sup>60</sup> Записано от А. Н. Пангелевой, 1905 г. р., там же, в 1965 г.

визации. Сочетание импровизации с традиционной основой наглядно отразилось в шуточной песне «Как у нашей Дуни», в которой обычно обыгрывались имена гостей, присутствующих на «беседе» (ТВ, 245–246). Процесс запоминания основан на единой структуре каждого фрагмента: название домашнего животного или птицы женского рода — женское имя, название домашнего животного или птицы мужского рода — мужское имя. В эту схему вставляются, как в раму, имена присутствующих гостей<sup>61</sup>. Вполне вероятно, что текст постепенно из импровизационного превращался в постоянный, повторяющийся без изменений при любом составе и количестве гостей, о чем свидетельствует, в частности, последняя экспедиционная запись середины 1980-х гг. Не менее интересна композиция другой песни, «Да как будем, женушка, домик наживать», построенной по принципу кумуляции, т.е. «повторения с нарастанием». Сначала муж предлагает купить в Питере курочку, потом уточку, затем гусочку, индюшку, козочку, барашка, коровку, лошадку, кошечку и, наконец, собачку. После каждой покупки исполняется звукоподражательный припев, с повторением предыдущего. Все это проговаривается в довольно быстром темпе, часто на одном дыхании, поется только последняя фраза (ТВ, 244–245). Еще один способ организации текста в частой песне связан с особым видом повторения, который можно определить как повторение с изменением. На фоне неизменяющейся части текста особо выделяется новое слово. Как правило, это синоним («Ой вы девицы, Вы красавицы») или словоопределитель (качественное прилагательное): «Люблю я казаченьку, Люблю молодого» и т.д. В более ранних хороводно-игровых песнях трижды повторяются довольно крупные фрагменты, как, например, в песне «Я поеду во Китай-город гулять», при этом сочетание слов песни с двигательными действиями, иллюстрирующими текст, помогает последующему воспроизведению текста («Как во городе»). Запоминанию способствует четкий ритм и рифмованные окончания строк в частых песнях, а также обязательное повторение двустушией. Протяжная мелодия, соответствующая

---

<sup>61</sup> По словам исполнительницы, Секлетьи Фоминичны Данилиной, 1902 г. р., из ст. Гребенской, одна женщина как-то сказала: «Неужели я буду в этой песне? Если буду, то поведу всю компанию к себе в гости!» Ее имя в песню попало, и свое обещание она исполнила.

эмоциональному содержанию текста, дает возможность варьировать его, вставляя частицы (“ой”, “да” и др.), повторять те или иные слова или части слов. Композицию в одном случае определяет последовательность действий, в другом — цепочное построение, при котором ключевое слово предыдущей фразы, усиленное повторами, получает дальнейшее развитие в следующих строках. Такая форма исполнения располагает к варьированию текста.

Все рассмотренные виды организации традиционного песенного текста принадлежат к синхронному уровню. Они сосуществуют в едином локальном репертуаре, напоминая слоеный пирог, где каждый слой представлен разным типом структуры текста. Вместе с тем, в том же репертуаре присутствуют и диахронные варианты — песенные тексты, неодинаковые по времени происхождения, что выражается в изменении образной системы, ритмики, стиля при сохранении основы сюжета (цикл песен: «Как ни по морю было по морюшку» — «Зацветало чисто поле» — «Катя-Катерина»; две формы сюжета о неузнанном возвращении мужа и сына: «Из похода и шли два героя» — «Садилось солнце ясное»).

Социокультурный песенный образ казака формируется через сравнение. Иногда в одном сюжете встречаются солдат, поляк и казак («Шинкует шинкарочка»), и победу одерживает казак. Любопытно, что, сманивая шинкарочку «на Кавказик жить» (или на Дон), казак рисует идеальную картину: «У нас на Кавказике не шьют, не прядут — хорошо ходят», или: «У нас на Дону не сеют, не жнут — хорошо ходят».

«Оказачивание» литературных по происхождению текстов иногда существенно их меняет: так, например, «Похороны разбойника Чуркина» превратились в погребение кизлярского (сунженского, червленского) казака; появились образы «коника» и жены<sup>62</sup>. Песня литературного происхождения «Скакал казак через долину» имеет приуроченность к тому месту, где исполняется. Так, на Северном Кавказе поют: «через кавказские края», на Урале — «через манжурские края», кольцо «уралка подарила», «пускай уралка вспоминает меня, лихого казака»<sup>63</sup>.

---

<sup>62</sup> Песни гребенских казаков. С. 133-134. С. 303.

<sup>63</sup> Песни уральских казаков / Запись, нотирование, сост., вступит. статья. и коммент. Т. И. Калужниковой. Екатеринбург, 1998. С. 199.

В XIX в. возникают и песни на местные сюжеты, в которых отражаются станичные герои. Это Лев Сотвалов из станицы Старый Щедрин, который «на завалы взвод повел», и дочь вдовушки из ст. Червленной, к которой «офицерик стал ходить, стал Дуняше таки речи говорить» — предлагать домик, дрожки и коня, чтобы только Дуня согласилась его любить. Но словесный диалог — столкновение двух типов морали — завершился достойно:

— Я казачка, я простая для тебя.  
Чечь велика дорога для меня.

Созданная в XIX в., песня получила широкое распространение среди гребенских казаков, особенно в станице Червленной, благодаря названному месту балладного действия и воспевания благородства простой казачки, для которой чечь дороже материальных благ.

Заслуживает внимания и рукописный текст сочиненной в той же станице песни «Мамука», довольно большой по объему (80 строк), с повтором после каждого четверостишья слов «Мамуки мои!» Это типичное обращение к женщинам: мамука, бабука, (дедука — дедушка). Старшего по возрасту мужчину называют в гребенских станицах «батьяка». Это название перешло на всех жителей-старообрядцев — «батьяков».

Стихотворная повесть начинается словами:

Как вчера я во садочке  
Целый день копала:  
Виноградные кусточки  
В землю зарывала,  
Мамуки мои!  
Всю мотыженьку мою  
Страшно иступила,  
Не жалея грудь свою  
Рук не опустила.  
Мамуки мои!<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Описана трудоемкая процедура укрывания сортового винограда землей на зиму. Делалось это при помощи мотыги (род тяпки, местное название). Физическая нагрузка отягощается душевной обидой на золовку, которой «злая маменька моя (т. е. свекровь) дает повадку», а та «шепчет на ухо свекрови вздор и небылицы».

Обнищание казачества, лишение его привилегий прежде всего сказалось на рядовых казаках:

Мужа в службу снарядили –  
Корову продали.  
Просто в корень разорили,  
На посмеих отдали.

Самое дорогое у гребенички — припойки (нанизанные на нитку за припаянные «ушки» монеты) да «монисты» ниток с янтарями, но — добрались и до припоек, едва муж отстоял — «заплакал чуть не кровью — припоек не дам». Свекровь выгнала молодую пару из дома с проклятьями, и поселились они в «избушонке на куриных ножках». Новая беда — «воры-супостаты телушку украли» («вот уж свиньи полосаты, черти б их побрали!»).

Развелось воров не в меру,  
Нет семьи без вора!  
Поругали стару веру...  
Все погибнем скоро.

Завершает песню перечисление того, что крадут, сетования на болезни винограда, на морозы и засуху, непосильную работу «и в дому и в поле» и — грустная концовка: «Сердце горе иссушило, Дождались потомки!»<sup>65</sup>.

Литературное влияние на казачьи песни в конце XIX – начале XX в. проявлялось в книжном характере ритмики, наличии рифмы, в изменении принципов, средств и приемов изображения действительности, в упрощении мелодии. Смешение традиций ведет к нарушению законов устно-поэтического творчества. Смена одной традиции, рассчитанной на устное восприятие, на другую приводит к нарушению привычных механизмов памяти, что выражается в потребности или необходимости записать песню, чтоб не забыть, или воспользоваться фольклорным сборником как песенником.

---

<sup>65</sup> Текст записан студентками ЧИГУ на фольклорной практике в ст. Червленной в 1980 г. от Дегтяревой Веры Семеновны. Это стихотворное произведение распространено только в Червленной, причем в рукописном виде, никогда не публиковалось. «Мамука» — одно из немногих произведений женского авторского творчества. Текст хранится в личном архиве автора.



Воспроизведение традиции в живом исполнении фольклорными коллективами — один из путей сохранения культурного наследия, в связи с чем нельзя не отметить деятельность Кубанского казачьего хора, фольклорных коллективов «Казачий круг», «Братина», «Воля» (Первоуральск) и многих других. Восстановлению и ретрансляции традиционной песенной культуры казачества способствуют аудио- и видеозаписи, перевод текста и мелодии на цифровые носители, фиксация на дисках, т. е. создание звукового культурного фонда.

Итак, песенный репертуар казачества представляет собой устную форму социокультурной памяти особой этнической группы русского населения, спецификой которого является военизированный быт, основными функциями — защита государства, охрана приграничных территорий. В исторических и военно-бытовых песнях отражены события социальной значимости (сражения, герои, социальные взаимоотношения), в изображении которых сочетается типология самосознания, стереотипы восприятия действительности с исторической конкретностью. Уникальность и ценность культурного наследия заключается в том, что казачество на протяжении четырех веков верой и правдой служило государству, сохраняя и умножая славу предков. Героизм и патриотизм, честь и достоинство, храбрость и отвага казаков, сохраненные в устной памяти поколений, актуальны и сегодня, в эпоху восстановления института казачества и признания не только его прошлых заслуг, но и важной роли в современном обществе. Устные рассказы, дневники, письма и другие документы, семейные предания и т. д., представляют особую ценность для воссоздания устной истории казачества, наряду с дореволюционными публикациями очерков о станицах, песен и фольклорной прозы. Не меньшее значение имеют материалы, вошедшие в литературные произведения, не только классиков, но и малоизвестных писателей и поэтов, сохранивших в художественной форме исторические факты и характеры, особенности мировоззрения, элементы быта, основанные на личных наблюдениях, устных рассказах и письменных источниках. Только в совокупности всего перечисленного можно воссоздать исторический портрет казачества.

## ГЛАВА 26

# ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ГЕРОИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

### НА МАТЕРИАЛЕ МОСКОВСКИХ ГОРОДСКИХ ЛЕГЕНД

В последнее время к исследованию проблемы исторической памяти обращаются специалисты целого ряда дисциплин: культурологи, социологи, антропологи, психологи и, конечно, историки, которые расширяют как источниковую базу, так и научную методологию работы<sup>1</sup>. Акцент исследовательского интереса переносится с исторического события или какого-либо исторического факта на представление о нем, закрепившееся в профессиональном и массовом сознании. Рассматривая историю под этим углом зрения, исследователи все чаще обращаются к новым «нетрадиционным» историческим источникам. И в этой связи ценным источником может оказаться фольклор, отражающий коллективные представления о прошлом<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> *Савельева И. М., Полетаев А. В.* «Историческая память»: К вопросу о границах познания // Феномен прошлого. М., 2005; *Шкуратов В. А.* Историческая психология. М., 1997; *Ассман Я.* Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004; *Нора П.* Франция — память. СПб, 1999; «Цепь времен»: проблемы исторического сознания. М., 2005; История и память: Историческая культура Европы до начала нового времени. М., 2006; Век памяти, память века: Опыт обращения с прошлым в XX столетии. Челябинск, 2004; Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала нового времени. М., 2003; Историческая память в массовом сознании Российской Федерации. М., 2002; Историческая память: Преемственность и трансформация (круглый стол, ноябрь 2001) // Социологические исследования. М., 2002. № 8. С. 76-85; *Левинсон А. Г.* Массовые представления об «исторических личностях» // Одиссей: Человек в истории. М., 1996. С. 252-267.

<sup>2</sup> *Репина Л. П.* От редактора // Образы прошлого и коллективная идентичность... С. 5-6; *Левинсон А. Г.* Указ. соч. С. 252-253.

Каждый человек обладает какой-то уникальной частицей исторического знания. Это знание формируется под воздействием множества факторов, в том числе и благодаря фольклорной традиции. Исследователями не раз отмечалось, что фольклор отражает, хранит и передает общую культурную память общества, одной из составляющих которой является память историческая<sup>3</sup>. Историческое знание через фольклор передается из поколения в поколение, изменяется, приобретает новые черты и оценки.

Феномен исторической памяти будет рассмотрен в данной работе на примере московских городских легенд<sup>4</sup>. Речь пойдет, таким образом, не о конкретных событиях, а о тех образах истории, которые сложились и бытовали среди москвичей в начале XX и в начале XXI века. Городские легенды повествуют о различных периодах истории, героях и событиях. В легендах затрагиваются вопросы, актуальные для своего времени, даются оценки деятельности правителей, проявляется отношение к власти. Этот фольклорный материал является богатым историческим источником, ярко отражающим исторические представления москвичей о государстве в целом и отдельных исторических деятелях.

Рассматриваемые мною московские городские легенды были записаны в период с начала XX до начала XXI века. Общее количество легенд — 420. Основу источникового корпуса составляют

---

<sup>3</sup> *Богданов К. А.* Повседневность и мифология. Исследования по семиотике фольклорной действительности. СПб., 2001. С. 5-86; *Лотман Ю. М.* Избранные статьи. Таллинн, 1992. Т. 1. С. 142, 145, 200-203; *Протт В. Я.* Фольклор и действительность. Избранные статьи. М., 1976. С. 185-191.; *Юнг К. Г.* Об архетипах коллективного бессознательного // *Юнг К. Г.* Архетип и символ. М., 1991. С. 35-128; *Репина Л. П.* Память и историописание // *История и память...* М., 2006. С. 25-26; *Урсу Д. П.* Методологические проблемы устной истории // *Источниковедение отечественной истории.* М., 1989. С. 3-26; *Мельникова Е. А.* Историческая память в устной традиции // *Восточная Европа в древности и средневековье: историческая память и формы ее воплощения.* М., 2000. С. 4; *Шмидт С. О.* «Устная» история в системе источниковедения исторических знаний // *Шмидт С. О.* Путь историка. М., 1997.

<sup>4</sup> Под термином «городская легенда» мною понимается устный прозаический рассказ, имеющий установку на достоверность, основным содержанием которого является описание реальных или возможных фактов прошлого.

два собрания, тексты из которых отвечают требованиям записи фольклорных материалов:

- легенды начала XX в., собранные Е. З. Барановым в 1914–1925 гг. (38 легенд);
- легенды, записанные мною в 2000–2007 гг., а также современные записи легенд, сделанные фольклористами (96 легенд).

Благодаря тому, что два этих корпуса легенд относятся к разному времени, их сравнение является перспективным и плодотворным.

К проблеме отражения в городской фольклорной традиции образа власти и исторических представлений москвичей я обращаюсь уже не в первый раз<sup>5</sup>. В своих предыдущих работах, в основном опираясь на весь корпус собранных городских легенд, я пыталась выявить общие представления москвичей о различных исторических периодах, государственных деятелях и событиях. Новизна же этой работы заключается в том, что мое внимание будет сосредоточено на сравнении двух упомянутых выше групп легенд — записанных в начале XX и в начале XXI в. Такое сравнение поможет проследить динамику изменений исторических представлений москвичей на протяжении столетия. Центральное место будет уделено вопросу о том, как горожане воспринимают события прошлого, какие исторические образы и стереотипы они формируют, тем самым идентифицируя себя с историей города и страны.

Перед тем как перейти к анализу текстов легенд, необходимо сказать несколько слов об их форме и структуре. Современные городские легенды по своей структуре — это, как правило, не развернутые рассказы, дополненные художественными описаниями, а небольшие по объему тексты. По мнению К. А. Богданова, «разрушение нарративных структур, сюжетов, коллаж вместо повествования соответствует <...> аксиологии <...> современной куль-

---

<sup>5</sup> Майер А. С. История в зеркале московских городских легенд // Историк и художник М., 2006. № 2 (8). С. 171-179; Кукатова А. С. Исследование и собрание городских легенд в отечественной и зарубежной фольклористике // Взаимодействие культур в историческом контексте. М., 2005; и др.

туры, педалирующей в целом не столько ценность сюжета, сколько семиотическую эффективность образа и факта»<sup>6</sup>.

Тексты легенд, записанные Е. З. Барановым в 1914–1925 гг., отличаются от современных записей. Многие легенды имеют развернутое повествование, отступления от основного сюжета, с прямой речью героев и пр. Хотя и среди этих записей можно встретить легенды иного характера, похожие на современные, состоящие всего из нескольких предложений.

Анализ двух корпусов текстов позволяет предположить, что горожанам в наибольшей степени свойственно рассказывать легенды об относительно недавних для себя событиях в истории Москвы, так как большинство легенд, собранных мной, рассказывает об истории XX века (50 из 96), а почти половина легенд, записанных Е. З. Барановым в начале XX в., посвящены истории XIX века (22 из 38). Более давние события также не обделены вниманием москвичей, однако чем больше удалено событие прошлого от рассказчика, тем меньше о нем встречается текстов. Так, среди текстов, собранных Е. З. Барановым, о событиях XVIII века рассказывают 7, а о событиях XVI века — всего четыре (о более ранних событиях и о XVII в. не повествует ни одна легенда). Похожая ситуация наблюдается и среди легенд, собранных мной: о XIX в. — 11 из 96, о XVIII в. — 15, о XVII в. — 1, но о XVI в. — 6, также по одной легенде приходится на XV и XIV вв. и на время основания Москвы. Легенды о событиях XVI века, как видно, нарушают эту последовательность. Все тексты об этом времени так или иначе связаны с именем царя Ивана Грозного, и возможно, что такую популярность сюжетов об этом времени можно объяснить возросшим интересом в середине XX в. к этой личности, как в научных кругах, так и в массовой культуре (отчасти этому способствовала, подогревая интерес, официальная идеология)<sup>7</sup>.

Таким образом, хронологическую структуру представлений о прошлом москвичей можно представить в виде следующей таблицы<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Богданов К. А. Повседневность и мифология... С. 64.

<sup>7</sup> Миллер Ф. Сталинский фольклор / Пер. с англ. Л. Н. Высоцкого. СПб., 2006.

<sup>8</sup> Необходимо отметить, что в одной и той же легенде речь может идти о нескольких исторических периодах.

Период	Легенды, собранные Е. З. Барановым	Современные легенды
Начало Москвы	0	1
XIII–XV века	0	2
XVI век	4	6
XVII век	0	1
XVIII век	7	15
XIX век	22	11
XX век	4	50
Без указания на ка- кую-либо эпоху	1	
Всего	38	96

Из таблицы хорошо видно, что глубина исторической памяти москвича начала XX и начала XXI в. различна. На мой взгляд, это объясняется повышением уровня образования горожан. Е. З. Баранов при сборе московских городских легенд не ограничивал круг опрашиваемых какими-либо критериями. Поэтому среди его респондентов были москвичи различного социального статуса, уровня образования, возраста и пола. Огромную ценность представляет то, что Е. З. Баранов снабдил каждую записанную им легенду подробным описанием рассказчика. Аналогичным образом строилась моя методика формирования корпуса текстов. Я также не ограничивала респондентов никакими критериями, снабжая каждую легенду небольшой анкетой, указывая пол, возраст, социальный статус и образование. Исследование зависимости между тематикой и формой повествования и гендерной, возрастной, социальной и культурной принадлежностью является темой для специального исследования.

Большинство легенд из обеих коллекций помимо указания на период истории имеет и пространственную привязку, т.е. в легендах указывается время и место какого-либо общественного или значимого, с точки зрения рассказчика, события. Толчком к созданию легенды всегда является историческая действительность, подлинное событие или впечатление горожан. В основе сюжета обычно лежит какое-нибудь реальное событие, например, татаро-монгольское нашествие, Отечественная война 1812 года или сталинские стройки. Правда, описание, как самих персонажей, так и исторических событий, не всегда соответствует фактам. Рассказчики используют характерные обобщения, часто исторические события по аналогии переносятся из одного места в другое, присутствуют ассоциации и смешения понятий. «Наслоение домислов,

“бродячие мотивы” и разного рода контаминации сводят до минимума фактическую достоверность большинства преданий<sup>9</sup>.

Тематика легенд разнообразна. В исторической памяти москвичей хранятся образы событий прошлого, как «большой истории», так и рассказы о незначительных происшествиях, курьезных случаях. Зачастую в легенды вносятся элементы мистического и религиозного характера. «Вымысел появляется, как правило, в результате стремления объяснить непонятные факты действительности или дополнить ее желаемым, т.е. он бессознателен и имеет иллюзорный характер. Вымышленное считается, таким образом, достоверным и равноценным действительности»<sup>10</sup>.

Некоторые тексты, рассказывающие о разных периодах, как из моей коллекции, так и из коллекции Е. З. Баранова, имеют сюжетные сходства. Встречаются общие мотивы, повторяются типические ситуации. И этот факт позволяет предположить, что эти сюжеты, приобретая новые черты и оценки, бытовали в городской фольклорной традиции на протяжении всего XX века, тем самым сохраняя стереотипные и мифологизированные исторические представления москвичей о власти, отдельных исторических деятелях и истории Москвы. Соотношение факта и вымысла в легендах — самое различное. Иногда в них исторично только имя действующего героя. Чаще всего это реально существовавшее историческое лицо, причем обычно — крупного масштаба: Иван Грозный, Петр I, Сталин и др.

Также интересно отметить, что вокруг крупного исторического деятеля часто объединяются самые разные мотивы и сюжеты, которые отбираются в соответствии с представлениями, сложившимися о данном лице и характере его деятельности. В легендах обобщаются конкретные факты из жизни определенного героя. События в текстах разворачиваются так, как они действительно могли происходить, но нередко в легенды вносятся элемент чудесного и сверхъестественного: в них рассказывается о необыкновенных явлениях, сбывшихся пророчествах и т. п.

---

<sup>9</sup> *Азбелев С. Н.* О подразделениях сказочной прозы // Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия по фольклористике: Учеб. пособие для филол. спец. пед. ин-тов / Сост. Ю. Г. Круглов. М., 1986. С. 288.

<sup>10</sup> *Чистов К. В.* Русские народные социально-утопические легенды XVIII–XX вв. // Русское народное поэтическое творчество... С. 263.

Анализ всех текстов двух корпусов позволяет выделить несколько переходящих мотивов, которые встречаются в московских легендах, описывающих разные периоды истории. К таким мотивам относятся:

**1. Мотив защиты от внешнего врага**

В легендах с этим мотивом упоминаются такие события как татаро-монгольское иго, Отечественная война 1812 года, Русско-японская война, Первая мировая война, Великая Отечественная война.

**2. Мотив взаимоотношения правителя с высокопоставленными, мудрыми или просто влиятельными лицами**

В этих легендах описываются взаимоотношения таких личностей как: Иван Калита и митрополит Петр, Иван Грозный и Малюта Скуратов, Петр I и Яков Брюс, Николай II и Григорий Распутин.

**3. Мотив внутреннего кризиса**

В текстах, связанных с этим мотивом, мы встречаем упоминания таких событий как: Опричнина, пожар в Москве 1812 года, давка на Ходынском поле, революции Февральская и Октябрьская, события октября 1993 года.

**4. Мотив сверхъестественных явлений**

В этих легендах описываются: чудесное спасение Москвы от неприятеля, появление Девы Марии и Святых отцов церкви, различного рода предсказания, а также появление привидений, рассказы о магии и чародействе.

**5. Мотив строительства**

В текстах с этим мотивом рассказывается о строительстве как отдельных архитектурных памятников, так и целых районов. В легендах встречаем описания строительства Кремля, Царицыно, храма Христа Спасителя, Александровского сада, главного здания МГУ, МИДа, театра Красной армии и др.

**6. Мотив персональной истории культурных деятелей, предпринимателей и меценатов**

В текстах с этим мотивом встречаем: А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, Марину Цветаеву, Савву Морозова и др.

Необходимо отметить, что легенды схожей тематики зачастую включают в себя два и более мотивов, образуя, таким образом, неизменные сюжетные линии, которые встречаются в текстах, описывающих различные исторические события. Факт шаблонности и клишированности сюжетных линий, а также вне-



сение во многие легенды мотива сверхъестественного и чудесного позволяют нам говорить о том, что для изучения исторической памяти москвичей главной ценностью становится не само описание того или иного события, а, во-первых, собственно его упоминание в легендах (что свидетельствует о фиксации его в памяти горожан) и, во-вторых, те оценки и характеристики, которые даются событиям и героям с позиций настоящего.

Далее я попытаюсь показать, как в городских легендах характеризуются различные исторические периоды, что доминирует в их описании, как оценивается деятельность героев и какие мифологические образы у москвичей начала XX и начала XXI в. Особое внимание будет уделено XVI, XVIII и XIX вв., поскольку описание этих периодов присутствует как в легендах, собранных мной, так и в легендах, записанных Е. З. Барановым.

Тематику легенд о XVI веке можно представить в виде следующей таблицы<sup>11</sup>:

Событие	Легенды, собранные Е. З. Барановым	Современные легенды
Иван Грозный и Малюта Скуратов	1	0
Строительство	3	1
Опричнина	1	1
Библиотека Ивана Грозного	0	1
Иван Грозный и районы Москвы	0	3

Тема строительства представлена в четырех легендах об этом времени. В легенде, записанной мной, речь идет о строительстве Покровского собора. В легендах, из коллекции Е. З. Баранова — о строительстве кремлевских стен (одна легенда), причем в тексте строительство Кремля связывается с Иваном Грозным, а не с Иваном III, и две легенды также повествуют о строительстве Покровского собора. Легендарный образ Ивана Грозного — царя-строителя противоречив. В легендах, записанных Е. З. Барановым, царь характеризуется как очень жестокий, беспощадный и несправедливый по отношению к строителям правитель.

<sup>11</sup> Необходимо отметить, что в одной и той же легенде может встречаться несколько тем.

Эти стены кремлевские царь Иван Грозный построил. Погнал из деревень народу множество, может, тысяч двадцать. — Чтобы, говорит, в один месяц было все готово. Ну, стал работать народ. А платил царь каждому человеку по пятнадцати копеек в день. А какие это деньги? На них рабочий человек сыт не будет. И много тут народу от голода помирало. А царю что: одни умрут, других пригонят. Да это еще что — голод! Колотили, били людей. <...>Ну, через силу работали. Работает-работает, сковырнется, и ноги вытянул. А на его место сто новых найдется. А царь говорит: — Душа из вас вон, а чтобы в месяц все готово было! Ну, мастера и старались — себя и людей не жалели. И сколько народу загублено. Ну, все же к сроку кончили. А царь только посмеивается: — Иной бы, говорит, эти стены три года строил, а у меня в месяц готово. Вот и недаром старые люди говорят: «Кремлевские стены на костях человеческих стоят». Так оно и есть<sup>12</sup>.

В легенде же из моей коллекции Иван Грозный представлен человеком набожным, мудрым и щедрым, построившим храм по просьбе юродивого Василия Блаженного.

Почти все в Москве знают, что Покровский собор (Собор Василия Блаженного) построен на деньги юродивого Василия Блаженного. Он в течение всей своей жизни собирал деньги и клал их в специальный тайник на Красной площади. И вот когда почувствовал он, что жизнь его подходит к концу, то пошел он к Ивану Грозному и отдал деньги, и объяснил, что деньги эти на храм, который нужно построить. Пошел Василий Блаженный на то место, где сейчас стоит Храм, лег и умер. А Иван Грозный взял деньги, добавил еще из казны и на том месте, где умер Василий, построил собор<sup>13</sup>.

В легендах обоих корпусов текстов мы встречаем описания жестокостей Опричнины. В легенде из моей коллекции встречаем:

В Китай-городе, как известно, сохранились палаты с двором Малюты Скуратова. По легенде, в этом доме в XVI веке, во времена опричнины, пытали и мучили людей. Для того чтобы скрыть пытки, двор был засыпан песком (кровь в песок впитывалась), и до сих пор двор этот песком засыпан<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Московские легенды, записанные Евгением Барановым / Сост., вступ. ст. и примеч. В. М. Боковой. М., 1993. С. 88-89.

<sup>13</sup> Легенда записана в 2002 г. со слов студентки педагогического вуза.

<sup>14</sup> Легенда записана в 2001 г. со слов Е. Ю. Агафоновой, студентки гуманитарного вуза, 1982 года рождения.

В текстах из собрания Е. З. Баранова присутствуют подробные описания жестоких казней и расправ над боярами; деятельность Ивана Грозного осуждается горожанами:

...Жестокий был царь, прямо сказать, кровопивец. Мучил людей — кожу с живого человека сдирал, в кипятке варил, на огне жег...<sup>15</sup>

В тексте упоминается, что Иван Грозный владел черной магией:

Государь Иван Васильевич с малолетства с колдунами, ворожеями, чернокнижниками знался. Сам многому научился. Одним взглядом мог человека усыпить и заставить во сне что угодно вытворять. Ему колдовские книги, рецепты древние и прочие таинства со всего мира везли...<sup>16</sup>

По представлениям москвичей начала XX в. Иван Грозный, с одной стороны, был человеком негибкого ума, с другой стороны, человеком много знающим. Кроме этого, его называют вспыльчивым, очень жестоким, и даже применяют к нему эпитет — «царь-зверь». По представлениям же современных москвичей, Иван Грозный был человеком образованным, щедрым, набожным, жестоким и даже немного трусливым.

Известно, что Иван Грозный, будучи образованным человеком, владел богатой библиотекой. Среди ученых существует мнение, что библиотека эта затерялась в подземельях Москвы...<sup>17</sup>

Вообще это место известное, про него ходит много разных легенд. Рассказывают, например, что Иван Грозный прятался в стогу сена на Воробьевых горах во время пожара и восстания в Москве в XVI веке...<sup>18</sup>

Ближайший соратник Ивана Грозного, опричник Малюта Скуратов упоминается также в двух корпусах текстов. Деятельности этого человека даются такие нелицеприятные характеристики:

---

<sup>15</sup> Московские легенды, записанные Евгением Барановым. С. 85.

<sup>16</sup> *Бурлак В. Н.* Москва таинственная: Легенды вечного города. М., 2001. С. 121.

<sup>17</sup> Легенда записана автором в 2001 г. со слов М. Петровой, студентки гуманитарного вуза 1982 года рождения.

<sup>18</sup> Данная легенда записана в 2002 г. со слов Ю. М. Михина, учителя географии частной школы «Генезис», 1960 года рождения, с высшим техническим образованием.

...А заправилой главным у него был Малюта Скуратович. — Ну-ка, говорит, Малюта Скуратович, наведи порядок. А Малюта мастер был на это: кого удавит, кого на кол посадит, кого живьем сварит...<sup>19</sup>.

Малюта Скуратов представлен в легендах жестоким, кровавым. Кроме того, в легендах начала XX в. отмечается, что он был человеком хитрым, рассудительным и по своему уму превосходил Ивана Грозного, поэтому мог ему перечить.

...Как увидел Иван — взбеленился: — Малюта, кричит, удави этого мальчонку! А Малюта говорит: — Я кого хочешь удавлю, но только дай, говорит, наперед тебе слово сказать. — Ну, — говорит Иван, — какое там слово, сказывай... — А вот какое, — говорит Малюта. — Ты хоть и царь, а дурак! Иван Грозный и глаза на него вытаращил: — Как ты смеешь, кричит, да я, говорит, из тебя пепел сделаю! А Малюта подставил ему шею и говорит: — Меня не напугаешь. Сколько, говорит, ни живу, а умереть должен. А нынче ли умру, завтра ли мне все едино. А только, говорит, ты настоящего дела не знаешь<sup>20</sup>.

Таким образом, можно заключить, что XVI век, переданный, в основном, через описание личности Ивана Грозного, по представлениям москвичей является кровопролитным, темным временем. В то же время фигура царя оценивается неоднозначно, очевидно, что в начале XX в. Иван Грозный представлялся горожанам более жестоким, кровавым и беспощадным, нежели современным москвичам, но, бесспорно и то, что Иван Грозный является ярким, культовым персонажем, олицетворяющим свою эпоху.

Легенд о событиях XVIII в. значительно больше, как в моей коллекции (15 легенд), так и в коллекции Е. З. Баранова (7 легенд). Легенды о XVIII в. рассказывают о светской жизни, о дворцовых интригах, о причудах и нравах двора, о колдовстве и суеверии<sup>21</sup>:

---

<sup>19</sup> Московские легенды, записанные Евгением Барановым. С. 82-88.

<sup>20</sup> Там же. С. 82-88.

<sup>21</sup> Необходимо отметить, что в одной и той же легенде может встречаться несколько тем.

Тема	Легенды, собранные Е. З. Барановым	Современные легенды
Деятельность Петра I	5	10
Из них:	5	1
Петр I и Яков Брюс		
Деятельность Екатерины I	1	0
Деятельность Екатерины II	0	8
Придворные интриги	1	0
Строительство	0	3
Деятельность Екатерины II	0	5

Петр I — популярный герой московских городских легенд. Его деятельность оценивается в большинстве легенд положительно. В текстах, собранных Е. З. Барановым, он представляется деятельным, трудолюбивым, любознательным, умным, великодушным, немного вспыльчивым, но главное — человечным. Его прямо называют «великим», и особо отмечается, что он был всеми уважаем. В представлениях современных москвичей Петр I изображается реформатором, повернувшим все мировоззрение от религиозных идеалов к светским, в подтверждение этого можно привести слова одного информанта, который начал свое повествование о петровской эпохе следующим образом: «Во времена, когда Петр I прорубал окно в Европу...»<sup>22</sup>. Московские легенды из моей коллекции рассказывают о молодых годах Петра I, о его «потешном флоте» в Измайлово, о перенесении им мощей Александра Невского.

Главной особенностью современных московских городских легенд, связанных с личностью Петра I, является попытка горожан связать историю своего района или какой-то местности Москвы с деятельностью Петра I, тем самым включив ее в общегородскую и даже общероссийскую историю. Петр I упоминается в текстах, рассказывающих о районах Измайлово, Голубино, о Чистых прудах, об улицах Басманная и Довженко. В моем архиве есть шесть вариантов легенд о запрещении Петром I селиться людям на Юго-Западе современной Москвы. Этот же сюжет в нескольких легендах связывается с Иваном Грозным.

<sup>22</sup> Легенда передана автору в 2001 г. Д. В. Ивковым, студентом педагогического вуза 1979 года рождения.

Надо отметить, что образ Петра I и Ивана Грозного в легендах во многом схож. На это сходство указывали многие исследователи. По мнению В. К. Соколовой, фольклорные образы Петра I и Ивана Грозного «в русском историческом фольклоре стали типологическими образами «справедливых» государей»<sup>23</sup>. Н. А. Криничная считает, что «правомерна постановка вопроса о существовании некоего стереотипного образа, который в конкретных социально-экономических условиях приобретает специфическое содержание, варьируясь, однако, лишь в определенных пределах»<sup>24</sup>. Анализ всего корпуса текстов показал, что мифологический образ Ивана Грозного противоречивее образа Петра I. Схожесть этих персонажей обнаруживается в тех текстах, где оба правителя характеризуются положительно, где высвечиваются лучшие стороны их деятельности.

Самым распространенным мотивом легенд о XVIII в. из коллекции Е. З. Баранова является мотив взаимоотношений между правителем и его приближенным, в данном случае — между Петром I и Яковом Брюсом. Петр I выступает в них даже в качестве ученика Якова Брюса.

Тогда еще царь Петр был... И раз спрашивает: — А скажи, говорит, Брюс, как на твое мнение: природа одолеет человека или человек природу? А Брюс отвечает: — Это глядя по человеку. — Как так? — спрашивает Петр. Тут Брюс выломал из улья сот меду и спрашивает: — Знаешь, что это за штука? — Мед, — говорит Петр. — А как он делается, знаешь? — спрашивает Брюс. — Да как? — говорит Петр. — Пчела летает по цветам, по травам, высасывает сладкий сок и несет в улей. — Это ты правильно объясняешь, — говорит Брюс. <...>Но только, говорит, и паук одобряет мух — вкусная пища для него. Вот какую загадку загадал он Петру. Только Петр был башковитый. — А это, говорит, вот отчего: ежели, говорит, пчела берет сок, то обрабатывает его: что нужно — тащит в сот, а что не нужно — бросает. А муравей и муха, хоть и высасывает сок, да не могут обработать его и жрут целиком. — А почему не могут? — спрашивают Брюс. — Потому не могут, — говорит Петр, — что им этого не дано. Тогда Брюс и говорит: — То же самое и с человеком.

---

<sup>23</sup> Соколова В. К. Русские исторические предания. М., 1970. С. 49.

<sup>24</sup> Криничная Н. А. Русская народная историческая проза: Вопросы генезиса и структуры. Л., 1987. С. 149.

Дано ему — он одолеет природу, а не дано — не одолеет. Тут хоть сто лет трудись — толку не будет. Тут, говорит, важно, чтобы котелок твой варил, да и было бы чем варить<sup>25</sup>.

Рассказы о графе Я. Брюсе в начале XX в., по-видимому, были чрезвычайно популярны, так как из 35-ти легенд, собранных Е. З. Барановым, о Брюсе — семь. Кроме того, те же рассказы встречаются в сочинениях П. В. Сытина<sup>26</sup> и М. И. Пыляева<sup>27</sup>.

В современном московском фольклоре также можно встретить легенды о Я. Брюсе. В моей коллекции о нем есть одна легенда. Несколько легенд о Я. Брюсе были найдены мною в периодической печати последнего времени<sup>28</sup>.

Я. Брюс представляется в легендах колдуном и чародеем, ученым, изобретателем, лекарем, подчеркивается, что он обладал редким умом, и ему было достижимо то, что другим не дано познать. Кроме того, подчеркивается, что он был гордецом, весельчаком, бесстрашным, не боялся царя, даже чувствовал себя наравне с ним. В московских легендах рассказывается о чудесах Я. Брюса: о том, как он сделал женщину из цветов, сконструировал вечные часы, говорится, что он умел летать, вызывать снег и дождь, специальными растворами оживлять людей. Личность Якова Брюса связана с самыми разнообразными мотивами и сюжетами<sup>29</sup>.

Интересно отметить, что, в отличие от описаний Ивана Грозного, Петр I в представлениях москвичей начала XX в. является фигурой положительной, в описаниях прослеживается явная симпатия к нему горожан. Внимание в тексте уделяется не государственной деятельности Петра I, а описываются его личные качества, его добродушие, любознательность и простая человеческая натура.

---

<sup>25</sup> Московские легенды, записанные Евгением Барановым. С. 32-35.

<sup>26</sup> *Сытин П. В.* Сухарева башня (1692–1926). Народные легенды о башне, ее история, реставрация, современное состояние. М., 1993. С. 7-10.

<sup>27</sup> *Пыляев М. Н.* Старая Москва: Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы. М., 1996. С. 189.

<sup>28</sup> *Шайдакова С., Пыляевская Г.* Проклятые места столицы // Комсомольская Правда. 18.10.2002. М., 2002. С. 24-25.

<sup>29</sup> Московские легенды, записанные Евгением Барановым. С. 12-33.

Среди сподвижников Петра I встречается и Меньшиков, в одной легенде из моей коллекции. В легенде рассказывается о его стремлении превзойти Петра I, повествуется о том, что именно с этой целью была построена так называемая Меньшикова башня (Архангельский пер., д. 17 а).

В одной легенде из коллекции Е. З. Баранова упоминается Екатерина I. Она представлена своенравной царицей невеликого ума. В легенде повествуется о приказе Екатерины I починить «вечные часы» Якова Брюса.

...При Петре и при Брюсе ходили часы. А стала царицей Екатерина, тут и пришел им конец. Конечно, затея глупая, женская. — Мне, говорит, желательно, чтобы ровно в двенадцать часов дня из нутра часов солдат с ружьем выбегал и кричал: — Здравия желаем, ваше величество! Это вроде как раньше были часы с кукушкой: «дон... ку-ку... дон... ку-ку...»...<sup>30</sup>

Екатерина II встречается только в пяти московских легендах из моей коллекции. Четыре из них рассказывают о строительстве, одна — о постройке В. Баженовым загородной резиденции Екатерины II в Царицыно, еще две вариации сюжета о перестройке Московского Кремля, а также две легенды о подавлении Чумного бунта в Москве.

Таким образом, можно сказать, что легенды о XVIII в. имеют светский характер. В этих текстах акцент ставится не на описание какого-либо события, а непосредственно на описание героев. И именно их образы и поступки характеризуют эпоху. Легенды о XVIII в. довольно сильно отличаются от текстов о допетровской эпохе. В легендах о XVIII в. на первый план выходит личность монархов, их образ жизни, причуды и интересы.

Образы XVIII века в представлении москвичей начала XX и XXI вв. различаются в расстановке акцентов. Так, современные москвичи воспринимают эту эпоху как довольно удаленную от сегодняшнего дня, поэтому отмечают, прежде всего, события, связанные с государственной деятельностью монархов, строительством, объяснением названий, подавлением Чумного бунта и пр. Москвичи начала XX в. уделяют внимание в легендах непо-

---

<sup>30</sup> Там же. С. 21.



средственно личностям монархов, их взаимоотношениям с ближайшим окружением, привычкам и нравам. Немаловажно и то, что некоторые тексты содержат передачу образов эпохи через описания неизвестных героев XVIII века в курьезных, светских повседневных ситуациях.

Среди записей собранных мной и современными фольклористами легенд о XIX веке — 22. Текстов легенд, собранных Е. З. Барановым, 15. Тематику этих текстов можно представить в виде таблицы<sup>31</sup>:

Тема	Легенды, собранные Е. З. Барановым	Современные легенды
Строительство	1	2
Отечественная война 1812 г.	2	3
Мистика	5	3
Развлечения	0	1
Культура	6	3
Личная жизнь купцов, промышленников, меценатов	9	0

Легенды о XIX веке распространены в московском фольклоре, их героями становятся не государственные деятели, а представители дворянства, купечества, промышленников, меценатов и культурной элиты. Часто это рассказы о повседневной жизни отдельно взятой личности в работе, в семье, в быту, о ее участии в культурной и благотворительной деятельности и взаимоотношениях с властью. Темы строительства и защиты города от неприятеля также остаются популярными.

Отечественная война 1812 года не смогла не оставить след в исторической памяти москвичей. Очевидно, что во всех текстах об этом времени главным героем становится Наполеон. Три легенды из моей коллекции посвящены войне 1812 года, в одной из них рассказывается о том, что москвичи сами подожгли город, чтобы не отдать его неприятелю. Две других легенды объясняют второе название Парка Победы — «Поклонная гора». Причем объяснения разнятся: в одной говорится о том, что сюда после войны приходили кланяться погибшим воинам, в другой версии

<sup>31</sup> В одной и той же легенде может встречаться несколько тем.

сообщается, что в этом месте Наполеон ждал поклона горожан после того, как вошел в Москву. Во всех трех легендах не встречаются какие-либо характеристики или подробные описания событий. Все тексты отличаются лаконичностью, и можно характеризовать их как простую констатацию факта войны 1812 года, сохранившейся в исторической памяти москвичей.

Отечественная война 1812 года упоминается в двух легендах из коллекции Е. З. Баранова. Речь в одной из них идет не о войне, а об обустройстве Александром I Александровского сада вблизи Кремля.

Про этот сад Александровский никто тебе верно не скажет, кто его развел... Слышал, будто царя Александра это работа, будто, как Наполеон ушел из Москвы, он и приказал, чтобы сад был. — Пусть, говорит, чтобы память о Наполеоне осталась...<sup>32</sup>

Другая легенда также вскользь упоминает войну 1812 года. Речь в ней идет о том, что якобы Наполеон очень хотел посмотреть, что же такое Лобное место. В этой легенде характеризуется личность Наполеона, отмечается его ум и любознательность.

...Это вот тоже история: Наполеон хотел узнать, какое это — Лобное место. Это в двенадцатом году, когда он в Москве объявился. Вот приезжает на буланом коне и спрашивает: — А где это, говорит, тут у вас, на Красной площади, Лобное место? Ему и указывают: — А вот это, говорят, самое. Вот он посмотрел, посмотрел: — Ну-ну-ну, — говорит. — Это действительно!.. Конечно, человек по описанию знал... Да ему ли было не знать! Такой умнейший человек, да чтобы про Лобное место не знал. Да он все, все на свете знал! Хоть чего и не видал, а знал по книгам. А тут своими глазами увидел, какое есть русское Лобное место в Москве...<sup>33</sup>.

Как уже было отмечено, с темой строительства также связаны легенды об этом времени, в моей коллекции есть 4 легенды такой тематики. Это рассказы о строительстве Манежа, Храма Христа Спасителя, церкви Казанской божьей матери в Головинском районе и «дома-чая» на Мясницкой улице. В легендах из

---

<sup>32</sup> Московские легенды, записанные Евгением Барановым. С. 61.

<sup>33</sup> Там же. С. 82-88.

коллекции Е. З. Баранова мы также уже встретили упоминание об обустройстве Александровского сада.

Императоры Николай I, Александр II и Александр III не упоминаются в легендах из моей коллекции, однако они встречаются в семи легендах, записанных Е. З. Барановым. Николай I и Александр II упоминаются в двух легендах, Александр III — в пяти, в одной легенде Александр II и Александр III упоминаются вместе. Эти тексты повествуют о взаимоотношениях монархов с московским купечеством и дворянством:

...Царю Александру III очень понравилось имение, и хотел он его купить, а Петр Ионыч говорит: — Продать и за сто миле-нов не продам, а подарю с удовольствием. Царь рассердился и давай его ругать: — Ах ты, говорит, скотина! Да нешто ты мне ровня, что я от тебя буду подарки принимать? Да я, говорит, тебя за такие слова в бараний рог согну! Ну, Губонин и тут вывернулся: — Я, говорит, ваше императорское величество, не из дворянского сословия, а человек простой, из мужиков, без образования и тонкого обращения не знаю. Царь взял да и выгнал его из кабинета. Тем и дело кончилось...<sup>34</sup>.

В московских легендах начала XX в. нет прямых характеристик личностей императоров, акцент ставится на подробный рассказ о том или ином случае, детальном описании главных героев. Главы государства уходят на второй план. Этот факт можно объяснить тем, что рассказчиков легенд в первую очередь интересовал факт случившегося с тем или иным купцом, промышленником или культурным деятелем, многие из которых являлись их современниками. Надо оговориться, что иная ситуация наблюдается, когда речь в легендах идет о политических событиях конца XIX и начала XX в. и связана с деятельностью Николая II, его семьей и Григорием Распутиным. Здесь главным героем легенд становится сам император, и эти тексты изобилуют различного рода характеристиками. Речь об этом пойдет ниже.

Как уже было отмечено, главными героями в большинстве легенд о XIX в. являются дворяне, купцы, промышленники, меценаты. Легенды из моей коллекции рассказывают о таких деятелях, как Савва Морозов, помещик И. В. Головин и некие безы-

---

<sup>34</sup> Там же. С. 155-160.

мянные «богатый торговец» и «богатый купец». Историческая память москвичей начала XX в. сохранила намного больше имен. В легендах встречаются имена: генерал-губернатора В. А. Долго-рукова, князя М. И. Хилкова, князя Д. П. Юсупова, князя А. Д. Оболенского, купца К. Д. Молодцова, купца Е. Л. Михеева, купца С. Т. Морозова, а также представителей купеческих фамилий, таких как Карзинкины, Солодовниковы, Губонины, Бахрушины.

Большой пласт легенд о XIX в. связан с культурными деятелями «золотого века». Самым главным героем становится А. С. Пушкин. Его имя встречается в одной легенде, записанной мной, и в пяти из коллекции Е. З. Баранова. В легенде из моей коллекции рассказывается о его венчании с Натальей Гончаровой в церкви Большого Вознесения в Москве.

Рассказывают, что когда Пушкин венчался в этой церкви с Натальей Гончаровой, он получил предзнаменование своей будущей несчастной судьбы. При обмене кольцами кольцо Пушкина упало на пол, после чего у него еще в руках погасла венчальная свеча. Как известно, эти приметы в народе считаются очень плохими и сулят скорую смерть<sup>35</sup>.

В легендах, записанных Е. З. Барановым, рассказывается о лицейских годах Пушкина (1 легенда), о взаимоотношениях с Натальей Гончаровой, а также о причинах и обстоятельствах дуэли, на которой он был убит (2 легенды), о взаимоотношениях с властью (1 легенда)<sup>36</sup>. Неоднократно подчеркивается, что от природы Пушкин был одарен, с детства был умнее многих «профессоров», создается представление о нем как о человеке, интересующемся многими науками, полиглоте. Основными его заслугами называется общая образованность и острый ум, а не его литературная деятельность<sup>37</sup>. Отмечается, что он был человеком уважаемым, не лишенным амбиций и приближенным к власти. Особое место в легендах уделяется его отношениям с женой и рассказывается о причинах и обстоятельствах дуэли. Во всех

---

<sup>35</sup> Легенда записана в 2002 г. со слов К. Б. Стерниной, студентки гуманитарного вуза.

<sup>36</sup> В одной и той же легенде может встречаться несколько тем.

<sup>37</sup> Московские легенды, записанные Евгением Барановым. С. 125-141.

легендах образ Натальи Гончаровой крайне отрицательный, в них она представляется главной виновницей смерти Пушкина<sup>38</sup>.

Большой интерес представляет одна легенда из собрания Е. З. Баранова. В ней главными героями стали представители разных эпох: А. С. Пушкин, Я. Брюс и Сухарев. Фольклорные образы этих персонажей, сложившиеся в народном сознании в начале века, очень ярко раскрыты в этом тексте.

Их было трое: Брюс, Сухарев и Пушкин. Брюс на небо летал смотреть, есть ли Бог. <...> И мог он обернуться птицей. А жил в Сухаревой башне. <...> А башню эту Сухарев построил... Вот по этому самому и называется она «Сухарева башня». А Сухарев этот был купец богатый, мукой торговал. <...> Пушкин в Москве жил и планы разводил: ведь это он застроил Москву, ведь это он завел порядок. А ежели бы не Пушкин, была бы не Москва, а черт знает что... <...> Вот и завел порядок. Умнейший был господин. И книги тоже писал, все описывал. И чтоб люди жили без свары, без обмана, по хорошему... — Вы, говорит, живите для радости. Да ведь наш народ какой? <...> Вот Пушкин и хотел, чтобы у нас дружелюбие было, чтобы мы не хватали один другого за горло, чтобы свиной жизни не было. Только у нас дело на свой лад идет, не на пушкинский. <...> Пушкин-то хорошо знал обхождение наше — какой мы народ... Человек умнейший был, а иначе нешто поставили бы ему памятник? <...> Вот и поставили памятник Пушкину, и стоит... Да ведь наш народ какой? Проклятый народ, с ним не сговоришь. Иной-то тысячу раз прошел мимо памятника, а спроси его: какой был человек Пушкин? — Не знаю, — говорит. «Не знаю». Да ведь и я тоже не знал, а как расспросил знающих, и узнал...<sup>39</sup>.

Такое смешение представлений о времени характерно для многих текстов, причем для обеих коллекций.

Кроме А. С. Пушкина в легендах, записанных в начале XX в., упоминаются также писатели Н. В. Гоголь и Л. Н. Толстой.

Образ Л. Н. Толстого довольно ярко описан в легенде. Он представлен как человек мудрый и патриотичный. Рассказывается о причинах отлучения его от православной церкви и сообщает-

---

<sup>38</sup> Там же. С. 125-129.

<sup>39</sup> Там же. С. 128.

ся, что якобы американцы на выгодных условиях предлагали ему уехать из страны, а он не согласился.

...Только Толстой не согласился. — Я, говорит, в России родился, в России страдания принимаю, в России и помереть должен. А что, говорит, касается Сибири, так я ее не боюсь: пусть ссылают — и в Сибири люди живут. Так и не поехал...<sup>40</sup>

Н. В. Гоголь представлен в легенде человеком смелым и отважным, борющимся с несправедливостью и государственным произволом, за это его неоднократно сажали в тюрьму: «*Ежели за воровство или убил кого, а то ведь за книгу, за правду*»<sup>41</sup>.

Анализ всех легенд о XIX в. позволяет заключить, что XIX век как для современных москвичей, так и для горожан начала XX в. представляется временем, связанным больше не с политическими событиями и государственными деятелями, а с отдельными героями и их персональной историей. Главными героями легенд становятся известные и малоизвестные представители дворянства и купечества. Интересно отметить, что герои легенд нередко вступают в конфликт с монархами, ведут с ними споры, за что и получают от них определенное наказание. Русские императоры XIX в. упоминаются вскользь и только в легендах, записанных Е. З. Барановым, но эти тексты не дают представления об отношении рассказчика к личностям императоров и никак не характеризуют последних. События времен Отечественной войны 1812 года также сохранились в исторической памяти москвичей обоих периодов.

Образ XX века складывается на материале двух коллекций: события начала века, дореволюционной России, нашли свое отражение в коллекции легенд Е. З. Баранова, тексты легенд, собранные мною, рассказывают о событиях от сталинской эпохи и вплоть до конца столетия. Исключения составляют два текста из моей коллекции, в которых упоминаются в одной В. И. Ленин, в другой — Марина Цветаева. В связи с этим детальное сравнение двух корпусов легенд о XX веке не предоставляется возможным.

Тематику легенд о XX веке можно представить в виде таблицы:

---

<sup>40</sup> Московские легенды, записанные Евгением Барановым. С. 142.

<sup>41</sup> Там же. С. 128.

Событие	Легенды в коллекции Е. З. Баранова	Современные легенды
Деятельность Николая II	4	0
Из них: Русско-японская и Первая мировая войны	2	0
Из них: Революционные события	2	0
И. В. Сталин и сталинские стройки	0	20
Великая Отечественная Война	0	6
О современности	0	20
Другое	0	5

В тех случаях, когда рассказчики были современниками описанных в легендах событий и жизни героев, эти тексты больше напоминают «слухи» и «толки», нежели в строгом смысле легенды. И. А. Разумова пишет: «Едва ли не самую значительную часть городской бытовой словесности составляют слухи и толки. Они легко актуализируются в большинстве коммуникативных ситуаций. Функция слуха — заполнение информационного вакуума, утверждением или опровержением факта. Функция толка — интерпретация факта в соответствии с традиционными представлениями»<sup>42</sup>.

Несмотря на это, в текстах прослеживаются традиционные мотивы: взаимоотношения правителя с приближенными, защита от внешнего врага, мистика.

Император Николай II упоминается только в пяти легендах, записанных Е. З. Барановым. Эти тексты были услышаны им в период с 1923 по 1925 год. Во всех пяти легендах Николай II изображается слабым, безвольным человеком, непригодным для управления страной, злоупотребляющим алкоголем и неуважаемым государственным деятелем<sup>43</sup>. Резко отрицательно в легендах оценивается жена Николая II Александра Федоровна. Она представляется в текстах не в лучшем свете, отмечается ее связь с неприятелем и участие в сговоре с императором Вильгельмом. В двух легендах осуждается ее недостойное поведение в отношении

<sup>42</sup> Разумова И. А. Несказочная проза провинциального города // Современный городской фольклор. М., 2003. С. 554.

<sup>43</sup> Московские легенды, записанные Евгением Барановым. С. 102-116.

ях с Григорием Распутиным<sup>44</sup>. Образ Григория Распутина крайне негативный. Во всех текстах москвичи характеризуют его как разбойника, жулика, пьяницу, распутника, подлеца и знахаря, использующего свои способности в корыстных интересах<sup>45</sup>.

Ох... ох... дожила, нечего сказать! И никогда таких делов не было, а тут на-ко тебе на старости лет! <...>А все царица виновата. Она да еще этот подлец Гришка Распутин: столкнулись оба Расею продать. Подкуп, вишь, был им от Вильгельма, чтобы ему Расею себе взять... Царица-то сродствие Вильгельму приходится, племянница, что ли... Ну, и согласилась... А Распутин примазался к ней. Да нешто такой проходимец не примажется? Он ведь на все руки, настоящий мазурик. И был промежду них такой уговор: царя прогнать... <...>Ну, Гришка и раздобыл этот самый рог и взял ножичком или напильником наскоблил этого рога в стакан с вином и подает эту препорцию царю. А царь выпил, и погнало его после этого на вино. Он и раньше-то, сказывают, был очень охоч до винца, а тут запоем стал пить... И что ни день, то пьян и пьян... Лежит себе, а дела забросил. <...> И стал царь как бы не свой, настоящего, что требуется, не понимает. И никакого внимания, что война идет, нашего войска невесть сколько побили и будто двадцать крепостей забрали... А он все пьет, распьянствовался, как мужик... Вот как подделал ему каторжная душа Распутин!<sup>46</sup>

О Русско-японской и Первой мировой войнах упоминания встречаются в двух московских легендах, записанных Е. З. Барановым<sup>47</sup>. В трех текстах из его собрания описываются революционные события, которые напрямую связываются с неправильной, с точки зрения рассказчиков, политикой Николая II. Отмечается полная неразбериха и смятение, а главными виновниками этого называются царь, Григорий Распутин и Александра Федоровна. Причем рассказчики явно не сострадают им, а скорее наоборот, подчеркивается, что они получили по заслугам. В двух легендах рассказывается, что эти события были предсказаны афонским монахом Иоанном Кронштадтским и юродивой Матрешкой Николаю II, но государь не прислушался к ним, за что и пострадал.

---

<sup>44</sup> Там же. С. 102-106, 113-115.

<sup>45</sup> Там же. С. 102-113.

<sup>46</sup> Там же. С. 102-103.

<sup>47</sup> Там же. С. 102-109.



...От этой самой Матрешки был Николаю подарок, такой подарок, что и на всем белом свете никому такого подарка еще не было. Это когда Николай с царицей приезжал на открытие мощей Серафима Саровского. И вот тут Матрешка поднесла ему платок весь в крови, а царице — холстину длинную и узкую, вроде такой, на которой гроб с покойником несут хоронить. <...> А Николай и не знает, что ему делать с платком. <...> А Матрешка говорит: — Принимайте и разумеете. Вот Николай видит — платок весь в крови, взял, да и бросил его, и царица тоже бросила холстину. А Матрешка засмеялась и говорит: — Бросайте, не бросайте, а оба изойдете кровью...<sup>48</sup>

Как ни странно, В. И. Ленин фигурирует всего в одной легенде, записанной мной, которая никак не связана с революционными событиями. В ней повествуется о том, что он якобы людям запрещал селиться на Юго-Западе Москвы, причем в других вариантах той же легенды фигурируют Петр I, Иван Грозный и Алексей Михайлович.

Больше всего среди тестов из моей коллекции о XX веке легенд о советском времени. Все они проникнуты духом той эпохи. Как пример можно привести три выдержки из легенд:

...В больших коммунальных квартирах вместе жили «сидевшие, севшие и сажившиеся», в общем, публика очень интересная. Раньше ведь как было, если настучишь на своего соседа по коммуналке — получаешь его комнату...<sup>49</sup>

...В проект «дома на набережной» были заложены довольно широкие проемы между квартирами, в которых несли вахту сотрудники НКВД и слышали все, что произносилось за стенами...<sup>50</sup>

...Все большое должны строить эски, потому что их не жалко. Такое мнение было распространено в середине XX века...<sup>51</sup>

Очень много московских легенд посвящено сталинским стройкам и личному участию И. В. Сталина в реконструкции Мо-

---

<sup>48</sup> Там же. С. 106-109.

<sup>49</sup> Легенда записана в 2002 г. со слов женщины 1950 года рождения с высшим медицинским образованием.

<sup>50</sup> Легенда передана автору в 2001 г. Д. В. Ивковым, студентом педагогического вуза 1979 года рождения.

<sup>51</sup> Записана в 2002 г. со слов мужчины 1970 года рождения с высшим педагогическим образованием.

сквы. Среди анализируемых текстов есть три варианта легенды о строительстве гостиницы «Москва», семь легенд о строительстве главного здания МГУ, из которых пять — варианты легенды о побеге заключенного со строительства. Есть два варианта легенды о строительстве МИДа, одна легенда о строительстве «Дома на набережной», еще одна — о строительстве театра «Красной армии». В качестве примера можно привести следующую легенду:

Существовало, как рассказывают, два проекта гостиницы «Москва». Когда Сталину принесли утверждать эти проекты, которые ради экономии бумаги начертили на одном листе, по половинке зданий, он взял и расписался посередине. Спорить с ним никто не решился и менять поэтому ничего не стали. Так и получилось, что гостиница «Москва» несимметричная<sup>52</sup>.

Приводимые ниже тексты также характеризует то почтительное и боязливое отношение к “вождю”, которое, по представлению современных москвичей, существовало в XX в.

...Здания уже все новые, остался лишь один старый дом с участком. Оставили его потому, что в нем жил актер Алексей Дикий, который в 40-х годах играл роль Сталина. В этом доме и сейчас закрытый музей<sup>53</sup>. (Речь идет о районе Новогиреево.)

Все знают, что в Матвеевском микрорайоне на территории 4-ой клинической больницы была сталинская дача, и многие рассказывают, что из нее идет ветка метро прямо в Кремль. Также рассказывают, что эта ветка соединяется с подземным городом под Мичуринским проспектом. Говорят, именно поэтому Мичуринский проспект не расширяют. Все это было сделано для того, чтобы Сталин не поверху, а понизу ездил<sup>54</sup>.

Очень интересно отметить, что некоторые легенды до сих пор рассказываются с опаской. Именно так, например, рассказывают легенду о подземном городе под микрорайоном Раменки:

---

<sup>52</sup> Легенда записана в 2002 г. со слов женщины с высшим медицинским образованием 1950 года рождения.

<sup>53</sup> Записана в 2001 г. со слов Е. Губернаторовой, студентки музыкального училища 1979 года рождения.

<sup>54</sup> Легенда записана в 2000 г. и передана автору И. Л. Кукатовой, 1964 года рождения, с высшим техническим образованием.

В Раменках все знают, что под микрорайоном находится подземный город, т. е. там внизу есть всякие жилые и административные помещения, там же находятся огромные запасы продовольствия (сгущенка, тушенка), и многие хотели там побывать, кто за сгущенкой, тушенкой, а кто за приключениями, но говорят, если ты все же попадешь в нужное помещение (в канализации), там ты увидишь табличку «огонь на поражение», в общем, все это очень опасно, а главное — засекречено. Кстати, туда идет ветка подземной железной дороги, связанная с Кремлем и метро<sup>55</sup>.

События Великой Отечественной войны упоминаются в семи легендах, четыре из которых — это варианты легенды о совершении крестного хода (пешего / на самолете) с иконой (Казанской / Владимирской) Богородицы вокруг Кремля. Согласно легенде, Богородица защитила город, и поэтому Москва не была взята немецкими войсками.

В Великую Отечественную войну, во время наступления фашистов на Москву, Сталин, который скрывал свое духовное образование, но все-таки верил в Бога, приказал взять из Третьяковской галереи икону Божьей Матери и на самолете облететь с ней вокруг Москвы, чтобы защитить город. По другой версии, Сталин приказал, чтобы икону обнесли пешком вокруг Кремля<sup>56</sup>.

Интересно, что в легендах о Великой Отечественной войне Сталин изображается верующим человеком, обратившимся в трудный момент к Богу.

Сталин вместе с Жуковым в самый тяжелый момент войны молились вместе в Елоховской церкви. Жуков был в тяжелом состоянии — он только что объехал фронт и увидел, что все в тяжелейшем состоянии, что практически не удержат. Вот Сталин жестко взял его, и вместе пошли они в Елоховскую церковь, помолились, после этого Жуков воспрял духом. Ну и помог воспрянуть остальным. Ну, вот я еще слышал, но это надо проверить, что в тот трудный момент приходили к Сталину Маленков и Ворошилов, и они пели «Чертог твой вижу спасе»<sup>57</sup>.

---

<sup>55</sup> Легенда записана в 2002 г. со слов А. Енина, студента гуманитарного вуза 1979 года рождения.

<sup>56</sup> Легенда записана в 2001 г. А. Д. Гинсбургом, студентом экономического вуза и передана автору.

<sup>57</sup> *Левкиевская Е. Е.* Москва в зеркале современных православных легенд // Живая старина. М., 1997. № 3. С. 15.

Надо сказать, что образ И. В. Сталина очень противоречив, во многом он схож с фольклорными образами Ивана Грозного и Петра I. В легендах его поступки напрямую не оцениваются, но специально подчеркивается его безграничная власть. Особо отмечается его религиозность, которую, по словам рассказчиков, он тщательно скрывал. Чаще всего его имя упоминается в связи со строительством. Кроме Сталина, который упоминается в 13-ти текстах, героями легенд о XX в. стали известные политические деятели. Л. П. Берия, упоминается в двух легендах. Его личность так характеризуется горожанами:

...Чтобы шок мой был понятнее, надо добавить, что особняк, неподалеку от которого мы дежури́м и напротив которого остановилась машина-невидимка, старожилам известен как «Дом Берии». Здесь жил этот кровавый человек<sup>58</sup>.

Л. М. Каганович упоминается в одной легенде, в связи со строительством театра «Красной армии». Г. К. Жуков, Г. М. Маленков, К. Е. Ворошилов встречаются в одной легенде, выше процитированной.

Деятели культуры и искусства также являются героями легенд о XX веке. В одной легенде рассказывается о Марине Цветаевой. Одна легенда посвящена С. Эйзенштейну. В текстах упоминаются и архитекторы — А. Щусев (3 легенды), К. Алабян (одна легенда) и В. Симбирцев (одна легенда).

Легенды о нашем времени, еще только начинающие свой жизненный путь, либо связаны с какими-то курьезными ситуациями, либо, что чаще, представляют собой страшные истории. Подобных текстов в городском фольклоре бытует очень много. В основном все они относятся к таким фольклорным жанрам как «слухи» и «толки». Эти тексты обычно небольшие по объему и рассказывают о загадочных и невероятных городских происшествиях. Всего легенд о современности — 14.

События 3-4 октября 1993 года нашли свое отражение в одной легенде из моей коллекции. В этом тексте прослеживается мотив чудесного спасения некоей жительницы Москвы во время обстрела Белого дома.

---

<sup>58</sup> *Веселова И. С.* Жанры современного городского фольклора: повествовательные традиции. Дис... канд. филол. наук. М., 2000. С. 91.

В одной из московских квартир, обстрел которой продолжался более двух часов, было все разрушено и сожжено. «Хозяйка квартиры не могла подняться во время обстрела и лежала на полу у стены с иконой. Эта стена напротив окна была особенно изрешечена пулями. Все, что висело, свалилось. Все, что могло в квартире разбиться, разбилось. Единственная вещь, которая осталась висеть на этой дырявой стене, была икона Божией Матери. На иконе не было ни одной царапины»<sup>59</sup>.

Также религиозную окраску получила легенда о пожаре Манежа в 2004 г.

Это я слышала, по телевизору говорили. В Манеже проходила выставка, и один из павильонов освятили и поставили в нем иконку маленькую. Когда Манеж горел, сгорело все кроме этого помещения<sup>60</sup>.

Надо отметить, что легенды о современности еще не до конца закрепились в городской фольклорной традиции и описываемые события еще не приобрели устойчивые, клишированные и мифологизированные черты.

Таким образом, легенды, записанные Е. З. Барановым, освещают события начала XX в., связанные с императором Николаем II, его семьей, Г. Распутиным и революцией. В этих текстах есть упоминания о Русско-японской и Первой Мировой войнах. События Советской России освещаются в 36-ти легендах, записанных в начале XXI в. Многие легенды рассказывают о сталинских стройках и Великой Отечественной войне. Большинство событий, описанных в легендах, так или иначе связывается с именем И. В. Сталина. Легенды о современности рассказывают в основном о загадочных и курьезных городских происшествиях.

XX век по материалам двух собраний представляется веком, насыщенным различного рода социально-политическими событиями. Слабый и безвольный правитель сменяется жестким и авторитарным. Описания хаоса и беспорядка в легендах о начале века — повествованием о полном контроле властью всех сфер человеческой жизни в легендах о середине XX в. Легендарный

---

<sup>59</sup> Левкиевская Е. Е. Указ. соч. С. 16.

<sup>60</sup> Записано автором в 2004 г. со слов К. Б. Стерниной, студентки гуманитарного вуза 1982 года рождения.

образ XX века характеризуются динамичностью времени, переменами различного рода, которые, по представлению москвичей, были закономерными и неоднократно предсказанными провидцами. Мистика и религиозные представления переплетаются с политическими событиями, причем это характерно как для легенд начала XX в., так и для начала XXI в. Падение монархии и печальная судьба Николая II напрямую связывается с божественной карой за бездарное, по мнению москвичей начала века, правление. Образ Сталина в коллективных исторических представлениях открыто не оценивается, он в чем-то схож с образом жесткого, но справедливого Ивана Грозного. Во многих легендах Сталин представлен человеком религиозным. На первый план выходит его деятельность по перестройке Москвы, в качестве «первого архитектора». Его образ, в целом, можно назвать положительным, в отличие, например, от образа Николая II.

В статье была предпринята попытка выявить образы событий и исторических личностей, нашедших свое отражение в исторической памяти горожан. Выводы, сделанные в настоящей работе, являются, конечно, далеко не окончательными, поскольку оба рассмотренных корпуса легенд не могут передать целостной картины коллективных представлений москвичей о прошлом. Тем не менее, выявленные образы исторических событий, государственных и культурных деятелей позволяют нам составить представление об актуальных для москвичей начала XX в. и начала XXI в. героях и моментах истории. Тексты легенд рассказывают о значимых исторических событиях, связанных с историей Москвы: о татаро-монгольских набегах, об Опричнине, об Отечественной войне 1812 года, о русско-японской и Первой мировой войнах, о сталинских стройках, Великой Отечественной войне. В них упоминаются государственные деятели разных эпох. Встречаются чтимые святые, митрополиты и юродивые, а также известные архитекторы, писатели, поэты, меценаты и купцы, представители дворянских фамилий.

# DIALOGUES WITH TIME

## MEMORY AND HISTORY

Interdisciplinary interaction between history and cultural anthropology as well as expansion of the postmodernist paradigm into 'forbidden land' of historical discipline focuses the attention of contemporary scholarship on studies of mental stereotypes (including the views of time) and on the phenomenon of historical memory.

Postmodernist paradigm defines the collective memory's vitality by its immanent connection with conscious memory of the members of a group. The second key moment that creates collective memory's superiority over History is seen in the plurality of the former as compared with normative and unitary character of the latter. At the same time the myths of collective memory that support a group's claims to high status, or material, territorial, political and other privileges are based on stereotypes and are intolerant to alternatives or any pluralism of opinions. Desire to create a collective genealogy, to 'appropriate the past' by construction of continuing historical 'narrative of identity' as well as clear evidence of the breaks in cultural memory could be found in different societies, including the earliest epochs of world history.

A society's past is not 'natural', constant or objective. The image of the past is subjected to changes; it adjusts to current situation. Maintaining an identity requires a feeling of historical continuity. While embracing new phenomena and ideas a group or a society should reinterpret its past from time to time so that the charm of novelty is lost, and the new looks as continuation of historical tradition. Thus in collective memory the past is being constantly reorganized (especially at the times of great changes or breaks) so that a group could always recognize itself in the past on any historical stage.

Collective memory gives a sense of shared past to society members; it creates an emotional attitude of shared historical experience, translates values and the models of behaviour. Collective memory also preserves and sacralises the symbols of collective identity that build common semiotic space and establish the group's framework. Within

this space some events lose their particularity and turn into historical myths of good and evil.

Communicative approach to social (cultural) memory is focused on the collective memory's existence within the process of social communication as well as on structural limitations set by the context on the participants of this interaction who want to re-interpret the past in their own interests. Memory has ability to structure series of singular events into orderly narratives. The same events could have various meanings depending on what narrative structure they have become a part of. The structuring process has its logical stages. The temporal perspective is chosen in accordance with contemporary perspective. A group could look to more or less distant past. A society finds some ancestors in history, points to the events and periods that are of considerable importance to its identity. Changes in the distance between the historical past that shapes a group's identity and the present could lead to changes in the identity itself. Collective genealogy and biography needs to establish a firm connection with 'own' past as well as to state an opposition between 'our own' and 'aliens'. Going deep into historical past could widen 'our' ancestors group and our identity accordingly almost ad infinitum.

Thus a group's past is shaped, on one hand, by group consensus, and on the other — by its opposition to other groups. The building of group or individual past is characterized by embellishments and re-touching, by lacunas (gaps) connected with events 'inconvenient' for the group. Thence some groups — participants (real or imaginary) in historical events often claim their memories to be the "correct" version of those events.

Social construing of identity is a complex process that takes place in the context of historical situations replacing each other; it is subjected to the influence of various forces and numerous accidents. In this dynamic context the images of past reality undergo the process of stereotypization; they interact with old, seemingly worn-out but in fact surprisingly vital myths that have an ability to be actualized in new historical circumstances and be transformed in accordance with arising social demands. Social memory 'grows' out of shared or contested meanings and values of the past that are intertwined with the understanding of the present and with the projections of the future. At the same time the past appears to be no less projective as the future.

The ideas of the past viewed as reliable 'memories' (as the 'history') and made a significant part of a world image play an important



role in shaping and maintaining of collective identity and in translating of moral values. Accordingly, one needs to analyse particular historical myths, their existence, marginalization or re-actualization in ordinary historical conscience, their use and ideological re-evaluation, including the narratives of national history replacing or competing with each other (since all nations think of themselves in terms of historical experience rooted in the past). The defining role in the formation of collective identity belongs to memory of central events of the past, either within a 'national catastrophe' or a 'triumph' models.

The studies of historical consciousness and historical memory suggest analysing the concepts of time in historical traditions of various cultures and epochs: the views of time's partition, its passage and value, of the correlation between the past, the present and the future (the link of times or the break between them), as well as the images of meaningful past — epochs, events, heroes etc. The task here is not only to find peculiarities but also to search for general features shared by the whole humankind in different cultural concepts of time, to define general components of the collective versions of the past, for example, typical structural elements of ethnocentric historical mythology that was supposed to consolidate its supporters and define their actions (myths of 'golden age', 'glorious ancestors', 'sworn enemy' etc).

As a whole contemporary scholarship is characterised by separating the present from the future. This break between the present and the future is often described as 'presentism': the disappearance of the future as such, since, being separated from the present, ceases to be real. Its effects could be seen in the fact that historians have rejected the idea of foretelling the future and excluded the theme of the future from their professional interests almost completely; they have agreed that history does not repeat itself, so that even though the knowledge of the societies of the past helps one to understand one's own society it does not give one any reliable knowledge of what is to come. Meanwhile the theme of the future is of extreme importance in the context of the history of collective views of the time and memory studies. Desire to know the future is inherent in all human societies; it could be found everywhere at all times, but the means to fulfil it, and the representations of imaginary future vary in different cultures depending on prevalent religious beliefs and forms of rationality typical for the society in question.

The problem of the link of the times as well as the general question of how social / cultural memory, knowledge of the past and history are related are interpreted in ambiguous ways. Even the die-hard

advocates of objective history admit that history and memory could not be always separated completely, all attempts to polarise them notwithstanding. By producing facts-events from 'reliable sources' a historian, after all, presents a society with his/her 'genuine history' that claims to become commonly shared social memory or at least its authoritative version.

Professional historians participate in the process of collective memory's transformation as they respond to a society's demands. On one hand, they formulate questions on the most important moral problems of historical profession, on overcoming Eurocentrism, 'orientalism' and national myths, and underline the inadmissibility of 'inventing the past', distorting it or making it a political instrument. On the other hand, they debate the role of history as a 'social therapy' factor that helps a nation or a social group to deal with 'traumatological historical experience'.

At the same time social memory does not only provide members of a group or a society with a set of categories to be guided by them; it is also a source of knowledge, rich in material for conscious reflection and interpretation of the translated images of the past, cultural views and values.

The analysis of the means of control over historical memory presents even more difficulties. It is well-known that 'who controls the past, controls the future'. One is referred to historical legitimating as a source of power and to the use of historical myths in solving political problems. It is known that struggle for political leadership could reveal itself in the competition of various versions of historical memory and various symbols of nation's glory or disgrace or in debates on what events of national history a nation should be proud or ashamed of. The collective memory's contents change according to social context and priorities of practice. The image of the past that had been enforced on an audience becomes the norms of its own views of itself and defines its real behaviour.

Dialogue with time is a constant and dynamic factor in the development of each civilisation. Thus in the research project 'Images of time and historical ideas in the context of civilizations: Russia — the East — the West' (its first results are presented in this book) we pursued an ambitious goal to define the key aspects of this complicated problem using empirical evidence from different regions of Western Europe, Russia, and the countries of the East, to study cultural universalities (given all particularities of historical cultures and unique trajectories of their development), the results of cultural interaction as well

as the specific of civilisations and their transformation on various stages of the societies' history. The project is focused on historical consciousness, its generic link with historical experience, its normative and value-oriented character, on the admission — in various ways and terms — of the difference between the past and the present, and the understanding of history as a process connecting events in time.

The group of authors has worked on the two interconnected problems: they have looked on how the members of different societies interpreted the past, and also have analysed the genesis, structure, social functions and the replacement mechanism of the most tenacious historical myths and stereotypes at stable periods and turning points of history.

The book consists of three parts. The Part I is dedicated to theoretical problems, to the characteristic of numerous approaches and concepts that exist within this research field. The Part II deals with ideas and images of time in various cultural traditions and civilisations. It includes studies of different types of historical consciousness in connection with the development of historical thought and the practice of history writing: the forms of talking about and the uses of the future in Medieval Europe, the historical conscience of Anglo-Saxon chroniclers, the temporal organization of history in works by Late Medieval and Early Modern thinkers, the views of space and time and basic characteristics of historical consciousness of non-European cultures and civilisations (Arab, Indian, Chinese etc.).

Finally, the Part III presents research focused on forms and means of construing the images of the past, on the way historical legends and myths functioned, on numerous interpretations of events, types of historical discourse, on forming new models of history writing, in various cultures and on different stages of development — from Antiquity to Modernity (in Classical Greece, in Medieval and Early Modern Europe, in Russia of the XVI–XX cc.).

The authors suggest that while creating the image of the past historical consciousness reflects social and cultural demands of its time. Changes in a society provoke new questions to the past, transform established views of history. The more radical the social changes are, the more important changes take place within the image of the past, which, in its turn, influences social development.

Widening of special and temporal framework of this study, the analysis of historical views reflected in written sources of various epochs, cultures, civilisations requires new descriptive models and new typologies of historical consciousness (being one of fundamental components of a civilisation). This work will certainly be continued.

# CONTENTS

PREFACE	Memory of the past and History ( <i>L. P. Repina</i> ).....	7
---------	---	---

## PART I

### THEORIES, METHODS, PERSPECTIVES

CHAPTER 1	Contemporary memory studies and the transformation of classical heritage ( <i>A. G. Vasiliev</i> ).....	19
CHAPTER 2	Common views of the past: theoretical approaches ( <i>I. M. Savelieva, A. V. Poletaev</i> ).....	50
CHAPTER 3	Common views of the past: empirical analysis ( <i>I. M. Savelieva, A. V. Poletaev</i> ).....	77
CHAPTER 4	Nation of citizens and non-citizens history writing ( <i>E. E. Savitsky</i> ).....	100

## PART II

### IDEA OF TIME AND HISTORICAL CONSCIOUSNESS

CHAPTER 5	Appropriating the future ( <i>J.-C. Schmitt</i> ), translated from French by <i>M. P. Maysuls</i> .....	127
CHAPTER 6	History in chronicles: historical consciousness of Anglo-Saxon England ( <i>Z. Yu. Metlitskaya</i> ).....	149
CHAPTER 7	Temporal organization of history: views of medieval and early modern thinkers ( <i>M. S. Bobkova</i> ).....	202
CHAPTER 8	Religious polemics and chronology: paschalia in English religious controversies of the XVI c. ( <i>A. Yu. Seregina</i> ).....	222
CHAPTER 9	Sacred history in printed sermons: Simeon Polotsky ( <i>M. S. Kiseleva</i> ).....	239
CHAPTER 10	Temporal depth of space in the texts by medieval Arab geographers ( <i>I. G. Konovalova</i> ).....	254
CHAPTER 11	The course of time and the tide of history: medieval India ( <i>E. Yu. Vanina</i> ).....	283

CHAPTER 12	The past serving the present: historical consciousness and modernization process in China ( <i>B. G. Doronin</i> ).....	318
CHAPTER 13	Images of space and time in Imperial / colonial and postcolonial discourse ( <i>I. N. Ionov</i> ).....	337

## PART III

FORMS AND WAYS OF SHAPING  
IMAGES OF THE PAST

CHAPTER 14	History in drama — the drama of history: some aspects of historical consciousness in Classical Greece ( <i>I. E. Surikov</i> ).....	371
CHAPTER 15	Legends of the past: Trojan war in medieval Western tradition ( <i>A. N. Maslov</i> ).....	410
CHAPTER 16	«Holy Year» and the «Eternal City»: the image of Rome during Jubilee ( <i>N. A. Selunskaya</i> ).....	447
CHAPTER 17	An event and its interpretation: ‘meeting at Chinon’ ( <i>O. I. Togoeva</i> ).....	467
CHAPTER 18	Historical memory and the technology of antiquarian discourse: early modern England ( <i>A. A. Palamarchuk, S. E. Fedorov</i> ).....	495
CHAPTER 19	Models of natural history ( <i>V. V. Zvereva</i> ).....	522
CHAPTER 20	From Enlightenment to Romanticism: Scottish antiquarian tradition in search for national past ( <i>V. Yu. Aprytshenko</i> ).....	554
CHAPTER 21	Ideology of history by Ivan the Terrible: a view from Poland ( <i>K. Yu. Erusalimsky</i> ).....	589
CHAPTER 22	Historical memory and the images of the past in the culture of post-reform Russia ( <i>O. B. Leontieva</i> ).....	636
CHAPTER 23	Myths of the past: Soviet revolutionary feasts of 1917–1920s ( <i>S. Yu. Malysheva</i> ).....	682
CHAPTER 24	Revolution in émigrés’ dialogues on Russia’s past and future ( <i>N. N. Alebras</i> ).....	711
CHAPTER 25	Folklore as an oral form of cultural memory (the example of Cossacks) ( <i>E. M. Beletskaya</i> ).....	734
CHAPTER 26	Time, events, heroes in historical memory (Moscow urban legends) ( <i>A. S. Mayer</i> ).....	762
SUMMARY	.....	791
CONTENTS	.....	796
CONTRIBUTORS	.....	798

## АВТОРЫ

- АЛЕВРАС Наталия Николаевна — доктор исторических наук, профессор кафедры истории дореволюционной России Челябинского государственного университета.
- АПРЫЩЕНКО Виктор Юрьевич — кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории Южного федерального университета.
- БЕЛЕЦКАЯ Екатерина Михайловна — кандидат филологических наук, доцент Тверского государственного университета.
- БОБКОВА Марина Станиславовна — кандидат исторических наук, руководитель Центра истории исторического знания Института всеобщей истории РАН.
- ВАНИНА Евгения Юрьевна — доктор исторических наук, зав. сектором истории и культуры Центра индийских исследований Института востоковедения РАН.
- ВАСИЛЬЕВ Алексей Григорьевич — кандидат исторических наук, доцент кафедры культурологии Московского государственного педагогического университета.
- ДОРОНИН Борис Григорьевич — доктор исторических наук, профессор кафедры истории стран Дальнего Востока Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета.
- ЕРУСАЛИМСКИЙ Константин Юрьевич — кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории и теории культуры Российского государственного гуманитарного университета.
- ЗВЕРЕВА Вера Владимировна — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН.
- ИОНОВ Игорь Николаевич — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН.
- КИСЕЛЕВА Марина Сергеевна — доктор философских наук, зав. сектором методологии междисциплинарных исследований человека Института философии РАН.
- КОНОВАЛОВА Ирина Геннадьевна — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра «Восточная Европа в античном и средневековом мире» Института всеобщей истории РАН.
- ЛЕОНТЬЕВА Ольга Борисовна — доктор исторических наук, профессор кафедры Российской истории Самарского государственного университета.
- МАЙЕР Анастасия Сергеевна — аспирант Государственного университета гуманитарных наук.

- МАЛЫШЕВА Светлана Юрьевна — доктор исторических наук, профессор кафедры историографии, источниковедения и методов исторического исследования Казанского государственного университета.
- МАСЛОВ Артем Николаевич — кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории древнего мира и средних веков Нижегородского государственного университета.
- МЕТЛИЦКАЯ Зоя Юрьевна — кандидат исторических наук, научный сотрудник Отдела истории Института информации по общественным наукам РАН.
- ПАЛАМАРЧУК Анастасия Андреевна — кандидат исторических наук, ассистент кафедры истории средних веков Санкт-Петербургского государственного университета.
- ПОЛЕТАЕВ Андрей Владимирович — доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Института гуманитарных историко-теоретических исследований Государственного университета — Высшей школы экономики.
- РЕПИНА Лорина Петровна — доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра интеллектуальной истории, заместитель директора Института всеобщей истории РАН.
- САВЕЛЬЕВА Ирина Максимовна — доктор исторических наук, профессор, директор Института гуманитарных историко-теоретических исследований Государственного университета — Высшей школы экономики.
- САВИЦКИЙ Евгений Евгеньевич — кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории и теории культуры Российского государственного гуманитарного университета.
- СЕЛУНСКАЯ Надежда Андреевна — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН.
- СЕРЕГИНА Анна Юрьевна — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН.
- СУРИКОВ Игорь Евгеньевич — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра античной истории Института всеобщей истории РАН.
- ТОГОЕВА Ольга Игоревна — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра «История частной жизни и повседневности» Института всеобщей истории РАН.
- ФЕДОРОВ Сергей Егорович — доктор исторических наук, профессор кафедры истории средних веков Санкт-Петербургского государственного университета.
- ШМИТТ, Жан-Клод (Jean-Claude SCHMITT) — профессор Высшей школы социальных исследований (EHESS, Paris), директор Центра исторических исследований.

# ДИАЛОГИ СО ВРЕМЕНЕМ

## ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ

*Научное издание*

Общая редакция  
Лорины Петровны Репиной

Директор издательства *И. В. Дергачева*

Корректор *М. М. Горелов*

Дизайн обложки *И. Н. Граве*

Художественное оформление и компьютерная верстка *Ф. В. Петров*

ЛР 066332 от 23. 12. 1999

Подписано в печать 21. 04. 2008

Формат 60x90/16. Бумага офсетная № 1.

Гарнитура Таймс. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 50. Тираж 800. Заказ №

Издательство «Кругъ»

Тел. / факс: (495) 729 72 00

e-mail: [info@krugh.ru](mailto:info@krugh.ru)

<http://www.krugh.ru>

Отпечатано в полном соответствии  
с качеством предоставленных диапозитивов  
в ОАО ордена «Знак Почета»  
«Смоленская областная типография им. В. И. Смирнова».  
214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2.



9 785739 601377